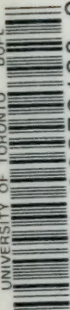

UNIVERSITY OF TORONTO DUPL
3 1761 00276160 9

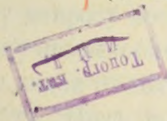
Николай Энгельгардтъ

ИСТОРІЯ
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
XIX СТОЛѢТІЯ

ТОМЪ ВТОРОЙ

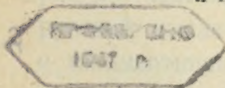
1850—1900

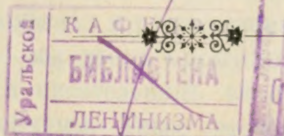
(КРИТИКА, РОМАНЪ, ПОЭЗІЯ И ДРАМА)



СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ:

СИНХРОНИСТИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЫ, ХРОНОЛОГІИ ПИСАТЕЛЕЙ, ПОЛНОЙ БИБЛІОГРАФІИ И АЛФАВИТНАГО УКАЗАТЕЛЯ КЪ ОБОИМЪ ТОМАМЪ.





С.-ПЕТЕРБУРГЪ
ИЗДАНІЕ А. С. СУВОРИНА
1903

Типографія А. С. Суворина. Эртелевъ пер., д. 13

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Мы дали въ двухъ томахъ нашей «Исторіи Русской Литературы XIX столѣтія» полный перечень всѣхъ существенно-важныхъ явленій въ области критики, формы повѣствовательной прозы и формы стихотворной, наконецъ въ области драматургіи за сто лѣтъ. Мы выяснили всѣ главные моменты литературной эволюціи, которая у насъ подчинялась характерному, бросающемуся въ глаза хронологическому ритму десятилѣтій («годовъ») и если не достигли въ нашемъ изслѣдованіи окончательной научной обработки предмета, то все-же положили начало сравнительной повѣркѣ фактовъ и данныхъ, подвергли такъ сказать перекрестному допросу весь накопленный въ массѣ отдѣльныхъ монографій научно-историческій матеріалъ нашего предмета.

Въ связи съ текстомъ даемъ синхронистическую таблицу за сто лѣтъ. Подъ каждымъ годомъ читатель здѣсь находитъ перечень всѣхъ выдающихся явленій западныхъ и русской литературъ. Наглядно рѣшается при этомъ вопросъ объ отношеніи русской мысли къ западной, и сами собой являются соображенія о взаимоотношеніи именъ и твореній литературъ германо-романскихъ, англо-саксонскихъ и русско-славянскихъ міровъ.

Во вторыхъ—мы даемъ хронологическій указатель русскихъ писателей и писательницъ за сто лѣтъ, расположенный по годамъ ихъ кончины. Такое расположеніе имѣетъ важныя преимущества и принято между прочимъ въ превосходномъ трудѣ Деможо (Histoire de la littérature française depuis ses origines jusqu'à nos jours par I. Demogeot, vingt—troisième édition. 1889.).

Годъ смерти писателя говоритъ больше года его рожденія. Годы смерти — рубежи литературныхъ эпохъ, смѣны литературныхъ поколѣній, звенья литературной эволюціи. Предъ такимъ годомъ возстаетъ весь совершенный писателемъ трудъ. За этимъ годомъ—эпоха посмертнаго воздѣйствія сочиненій писателя или забвеніе ихъ.

Въ третьихъ—мы даемъ необходимую и достаточную библіографію за сто лѣтъ. Въ первомъ томѣ введено пятьдесятъ абзацевъ библіографіи. Во второмъ свыше сорока абзацевъ. При составленіи этого указателя мы пользовались библіографическими трудами Шторха, Сопикова, Рогожина, Анастасевича, Межова, Пыпина, Неустроева, словарями Брокгаузъ-Эфронъ и Венгерова и мн. др. При чемъ должно принять во вниманіе, что всеисчерпывающая полнота достигается чисто механически, и гораздо легче, нежели полнота выбора изъ массы книгъ только тѣхъ, которыя представляютъ не балластъ или повтореніе, а даютъ новое, важное и дѣйствительно существенное.

Въ четвертыхъ — мы даемъ свыше тысячи цитатъ изъ сочиненій разбираемыхъ авторовъ и изъ трудовъ нашихъ выдающихся критиковъ, что составляетъ какъ-бы литературную энциклопедію. Найти, отмѣтить, выбрать, сгрупировать, объединить литературной обработкой въ связное, сочлененное цѣлое, въ «мозаику»—картину, такую массу цитатъ—трудъ кропотливый, тяжелый, какъ это извѣстно всякому спеціалисту. Наконецъ, «мозаика» требуетъ предварительной разрисовки «картона» т. е. составленія общаго, архитектурнаго плана сочиненія.

Въ общемъ мы даемъ свыше 1200 страницъ текста, такъ что на каждое десятилѣтіе приходится въ среднемъ 120 страницъ. Трудъ нашъ при этомъ распадается на три цѣльныхъ сочиненія:

Первое: Историческій очеркъ литературныхъ школъ, направленій, кружковъ, критики и публицистики.

Второе: Историческій очеркъ прозаической и стихотворной формы.

Третье: Историческій очеркъ драматургіи.

Наконецъ, къ этому, второму тому нашего изслѣдованія мы приложили алфавитный указатель и подробное оглавленіе—кон-

спектъ къ обоимъ томамъ сочиненія, которые позволяютъ быстро и удобно наводить справки.

Въ нашемъ трудѣ мы держались хронологическаго метода изложенія, по десятилѣтіямъ, всѣхъ фактовъ и данныхъ литературной эволюціи, признавая его единственнымъ точнымъ и научнымъ. Въ самомъ дѣлѣ, излагая исторію литературы по авторамъ, всегда даютъ выборъ, такъ сказать, букетъ литературныхъ цвѣтовъ, при чемъ на оцѣнку непремѣнно вліяютъ или политическіе взгляды автора или его эстетическія пристрастія. Методъ этотъ совершенно субъективный, слѣдовательно, анти-научный.

Наоборотъ, при хронологическомъ изложеніи всѣхъ явленій литературы по десятилѣтіямъ мы руководимся сравненіемъ и сопоставленіемъ, и логическій выводъ даетъ совершенно отъ насъ независящую, при всеисчерпывающей полнотѣ научнаго изученія, математически точную оцѣнку авторовъ и произведеній. Итакъ, здѣсь мы имѣемъ дѣло съ методомъ совершенно объективнымъ, значитъ научнымъ. А главное, тутъ мы видимъ литературу такъ сказать «въ лицо» въ ея цѣломъ, какъ выраженіе народнаго и всечеловѣческаго самосознанія, какъ откровеніе духа народа и человѣчества. Большія личности отдѣльныхъ писателей не закрываютъ истиннаго колосса — народа, выразителями думъ и чувствъ котораго они являются. Принявъ методъ хронологическій по десятилѣтіямъ мы вступили въ области исторіи русской литературы XIX-го столѣтія на путь объективной научности. Насколько подвинулись мы по этому пути къ идеалу, судить, конечно, не намъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, хронологическое изложеніе чрезвычайно помогаетъ памяти усвоивать и припоминать историко-литературные факты, благодаря дѣйствующему здѣсь закону аналогіи.

Помимо метода работы, мы поставили передъ собою общую задачу и руководящіе взгляды, опредѣляющіе общія точки зрѣнія и всю систему нашего историко-литературнаго міросозерцанія. Намъ казалось, что послѣ субъективности метода обычнаго, популярно-учебнаго изложенія предмета исторіи литературы «по авторамъ»,—научности изслѣдованія мѣшаетъ односторонность задачъ, хотя именно эта-то односторонность и можетъ сообщить книгѣ законченность краткой схемы. Намъ каза-

лось, что исторія литературы должна быть построена по четыремъ координатамъ. Основная задача—выясненіе преемства писателей въ выработкѣ литературныхъ формъ и самаго «образотворства». Форма прежде всего. Ибо пока не создана форма, самое богатое содержаніе остается безъ выраженія, скрытымъ, in potentia. Пусть народная душа чревата неисчерпаемыми сокровищами. Пока не выработана форма, или выработана несоотвѣтствующая народной идеѣ, это богатство остается подъ спудомъ, какъ бы его и нѣтъ. Чтобы выразиться ярко для всего человѣчества, душа русскаго народа потребовала двухъ вѣковъ литературно-художественной эволюціи. Вопросы формы поэтому первые вопросы исторіи литературы. Она должна показать, какъ формы словеснаго искусства развивались, пока не были возведены въ перлъ созданія, и какую роль игралъ въ этой выработкѣ каждый писатель. Форма въ свою очередь опредѣляетъ литературныя школы.

Каждая школа является попыткой создать всестороннюю форму для всѣхъ выраженій народнаго творчества, для всѣхъ проявленій народнаго духа, и когда ея ограниченность, односторонность, неприспособленность выясняется, школа отживаетъ свое и замѣняется новой, молодой, которой однако долго не уступаетъ, съ которой борется иногда яростно. Языкъ, стиль, вкусъ, проза и стихъ, конечно, прежде всего разрабатываются школами. Формы романа, драмы, лирики являются дальнѣйшей стадіей развитія школъ. Въ нашемъ трудѣ мы даемъ исторію борьбы «шишковистовъ» съ «карамзинистами», «классиковъ» съ «романтиками», «западниковъ» съ «славянофилами», характеризуемъ направленія «шеллингіанцевъ» и «гегельянцевъ», «натуральную» школу, «народничество», «пессимистовъ» 80-хъ годовъ и «эклектиковъ» fin de siècle.

Но если развивается форма, то не остается недвижной и живая полнота сущности народной души. Историческія событія и общественныя движенія колеблютъ народный океанъ и поднимаютъ со дна его такія мощныя движенія, что они сами бьютъ въ душу писателя и побуждаютъ его къ творчеству. Резонаторъ народной жизни, художникъ жадно ищетъ новыхъ формъ для выраженія того содержанія, которымъ переполнилась его душа благодаря приливу общественныхъ настроеній. Правда, иногда эти движенія бываютъ настолько бурны, а потому смѣ-

шанины и мутны, что художникъ не можетъ быстро удовлетворить потребности народной въ выраженіи ихъ въ словѣ. Онъ-же творитъ медленно, вынашивая и для вѣковъ. Поэтому простой барабанщикъ, своимъ чуждымъ всякаго сомнѣнія быстрымъ боемъ, часто удовлетворяетъ скорѣе художника потребности минуты. Но хотя художникъ часто именно во время отлива и затишья выражаетъ въ вѣчныхъ образахъ то, что дала ему эпоха бури и натиска, войны и смуты, движенія и страстей народной души, хотя онъ пребываетъ въ безмятежной области чистой красоты и строгаго искусства, ни одна струйка народной жизни не пройдетъ безъ удара во всеотзывчивое сердце поэта и, слѣдовательно, не пройдетъ и безъ отзвука и отраженія въ его творчествѣ.

Писатель, если только онъ
Волна, а океанъ Россія,
Не можетъ быть не потрясенъ,
Когда возмущена стихія.

Вотъ почему историкъ литературы не можетъ пройти мимо явленій общественной жизни, великихъ реформъ, великихъ историческихъ событій изучаемой имъ эпохи. Онъ долженъ отмѣтить вліяніе ихъ на литературу.

Наконецъ, послѣдняя задача историка литературы должна состоять въ попыткѣ разгадать общую мысль данной эпохи, тотъ основной «тезисъ», который разрабатывала литература, ту тайну души народной, которая въ ней раскрылась.

Вотъ общія цѣли, которыя мы ставили себѣ въ нашемъ трудѣ.

Николай Энгельгардтъ.

Петербургъ.
16-го марта 1902 года.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Пятидесятые годы.

(1850—1860).

I. Литература и цензура.—Министръ просвѣщенія Ширинскій-Шихматовъ.—Просвѣщеніе «восточнымъ свѣтомъ».—«Разсмотрѣніе» философскихъ наукъ.—«Московскій Сборникъ».—Донесеніе Дубельта объ обществѣ славянофиловъ.—Ихъ чины и званія.—Воспрещеніе славянофиламъ писать и явный полицейскій надзоръ за ними.—1853, 1854 и 1855 гг.—Стихи Хомякова.—«Флотъ пьяницы Непира».—Мудрая предусмотрительность.—Записка Погодина.—Проэктъ союза славянъ.—Кончина Николая I.—Записка «о царскомъ времени».—«Гласность въ предѣлахъ осторожности».—Сдача Севастополя.—Впечатлѣніе удара.—Численное обиліе журналистики второй половины 50-хъ годовъ.—Конецъ «Москвитянина».—Первый періодъ дѣятельности Каткова.—«Русскій Вѣстникъ».—«Англоманство» Каткова.—Заграничная дѣятельность Герцена.—«Колоколъ».—Свиданіе Чичерина съ Герценомъ и его послѣдствія.—«Русская Бесѣда».—Русское воззрѣніе.—Т. И. Филипповъ о «Лукреціи Флоріани».—Неуспѣхъ журнала.—«Молва».—Статья К. Аксакова: «Опытъ синонимовъ—Публика—Народъ».—Запрещеніе газеты.—Идеи Ив. Кирѣевскаго.—Идеи Герцена.—Точки соприкосновенія.—Критика пятидесятыхъ годовъ.—Возрожденіе ея въ 1855—1856 гг.—«Утилитарная» критика.—Николай Александровичъ Добролюбовъ.—Николай Гавриловичъ Чернышевскій.—«Эстетическая» критика.—Павелъ Васильевичъ Анненковъ.—«Органическая» критика.—Аполлонъ Александровичъ Григорьевъ.—«Историческая» критика.—Александръ Васильевичъ Дружининъ.—II. Проза 50-хъ годовъ.—Гр. Левъ Николаевичъ Толстой.—«Дѣтство» и «Отрочество».—Способъ созданія.—«Казаки».—Основная идея Толстого.—«Холстомѣръ».—Военные разсказы.—«Семейное счастье».—Творчество Тургенева.—Очерки изъ народнаго быта.—Типы культурныхъ классовъ.—Лишніе люди.—«Дворянское гнѣздо».—Необыкновенный успѣхъ романа.—Типы Лизы и Лаврецкаго.—Типы Варвары Павловны и Паншина.—Сергѣй Тимофеевичъ Аксаковъ.—Охотничьи книги его.—Литературныя воспоминанія.—«Семейная хроника».—Ея значеніе.—Народническая литература 50-хъ годовъ.—Повѣсти Григоровича. Потѣхина. Писем-

скаго. Иванъ Тимофеевичъ Кокоревъ и его «Саввушка».—«Обломовъ».—Что такое обломовщина?—«Тысяча Душъ».—Михаилъ Евграфовичъ Салтыковъ.—Его первыя повѣсти.—Ссылка въ Вятку.—Служебная карьера.—«Губернскіе очерки».—III. Гоненіе на поэзію въ началѣ 50-хъ годовъ.—Постепенное упраздненіе отдѣла стихотвореній въ журналахъ.—Ѳедоръ Ивановичъ Тютчевъ.—Заграничная жизнь его.—Первое появленіе въ литературѣ и четырнадцатилѣтнее молчаніе.—Вторичное появленіе въ 1854 году.—Тютчевъ открытъ и признанъ.—Записка Тютчева о цензурѣ 1857 г.—Особенности творчества Тютчева.—Первоклассное значеніе его лирики.—Фетъ и Майковъ.—Дидактическій и патріотическій періодъ творчества Майкова.—Поэмы «Двѣ судьбы» и «Барышня».—Возвращеніе къ чистой художественности.—«Рыбная ловля».—«Саванаролла».—«Три смерти».—Графъ Алексѣй Константиновичъ Толстой.—«Упырь».—Четырнадцатилѣтнее молчаніе гр. А. Толстого.—Появленіе въ 1854 г.—Лирика и баллады.—«Грѣшница».—«Іоаннъ Домаскинъ».—Левъ Александровичъ Мей.—Стихотворенія въ народномъ духѣ.—Библейскія подражанія.—«Пѣснь пѣсней».—«Отойди отъ меня сатана».—Анакреонъ и Ѳеокритъ.—Переводы изъ славянскихъ поэтовъ.—Беранже.—Я. П. Полонскій.—Гр. Ростопчина.—Н. Огаревъ.—«Зимній путь».—Ю. В. Жадовская.—Бенедиктовъ.—Плещеевъ.—Появленіе Апухтина и Случевскаго.—Молчаніе обоихъ на долгіе годы.—Творчество Некрасова.—«Маша», «Филантропъ», «Въ больницѣ». «Поэтъ и гражданинъ», «Убогая и нарядная», «Размышленіе у параднаго подъѣзда».—Муза—Гарпія.—«Саша».—«Власъ».—Иванъ Саввичъ Никитинъ.—«Русь».—«Кулакъ».—Михаилъ Павловичъ Розенгеймъ.—IV. Драматическая литература 50-хъ годовъ.—Комедіи Островскаго.—«Бѣдная невѣста».—Трилогія: «Праздничный сонъ—до обѣда», «Свои собаки грызутся» и «Зачѣмъ пойдешь, то и найдешь».—«Гроза».—Алексѣй Антиповичъ Потѣхинъ.—«Судъ людской—не Божій».—«Чужое добро въ прокъ не идетъ».—Александръ Васильевичъ Сухово-Кобылинъ.—«Женитьба Кречинскаго».—«Дѣло».—«Смерть Тарелкина».

I.

§ 1. Пятидесятые годы съ полнымъ правомъ можно назвать «переходнымъ» временемъ. Первая половина десятилѣтія характеризуется доведеніемъ до послѣднихъ предѣловъ слѣпой системы подавленія всякой живой мысли, всякаго добраго общественнаго почина. Система приводитъ къ полному краху. Россія потрясена севастопольскимъ громомъ. Императоръ Николай умираетъ, и съ воцареніемъ Александра II начинаютъ проникать первые лучи возрожденія въ затхлую атмосферу онѣмѣвшаго въ косной спячкѣ общества. Мы присутствуемъ какъ бы при началѣ весенняго половодья, которое наконецъ широкимъ разливомъ перебрасываетъ насъ въ великую эпоху шестидесятыхъ годовъ, эпоху 19-го февраля и послѣдующихъ реформъ.

Своею необычайной яркостью 60-е годы заслонили переходное предшествующее имъ десятилѣтіе, такъ что оно кажется намъ безцвѣтнымъ и не

значительнымъ. Но это не такъ. 50-е годы—интереснѣйшее и полное живаго содержанія время.

«Намъ вздумалось составить списокъ московскихъ литераторовъ,—писалъ Погодинъ,—и мы удивились, увидя передъ своими глазами около ста именъ. Между ними вы не найдете и пяти лицъ, которыя бы не имѣли опредѣленнаго предмета своихъ занятій, которыя бы не смотрѣли на литературу и науку съ важной точки зрѣнія».

Дѣйствительно, въ обществѣ русскомъ имѣлся запасъ людей, умовъ и талантовъ первоклассныхъ, сильныхъ характеровъ, ждавшихъ только минуты, чтобы начать дружную работу на всѣхъ поприщахъ. Но угнетеніе мысли въ первые годы десятилѣтія превосходило всякое вѣроятіе. Все было запрещено. Всѣ отдушины, чрезъ которыя мысль могла бы проникнуть къ солнечному свѣту и явить себя міру, были тщательнѣйшимъ образомъ закупорены.

«Вотъ сколько у насъ нынѣ цензуръ: общая при Министерствѣ народнаго Просвѣщенія, Главное управленіе цензуры, верховный негласный Комитетъ, духовная цензура, военная, цензура при Министер. Иностр. дѣлъ, театральная при Министер. Импер. Двора, газетная при Почтовомъ Департаментѣ, цензура при Третьемъ Отдѣленіи и новая педагогическая. Итого, десять цензурныхъ вѣдомствъ. Если сосчитать всѣхъ лицъ, завѣдывающихъ цензурою, ихъ окажется больше, чѣмъ книгъ, печатаемыхъ въ теченіе года. Я ошибся: больше. Еще цензура по части сочиненій юридическихъ при Второмъ Отдѣленіи и цензура иностранныхъ книгъ; всего двѣнадцать». (Никитенко).

27 января 1850 г. вышелъ указъ о назначеніи князя Пл. Алек. Ширинскаго—Шихматова министромъ народнаго просвѣщенія. Митрополитъ Филаретъ писалъ по этому случаю А. Н. Муравьеву: «князь Ширинскій—Шихматовъ министръ просвѣщенія; Норовъ его товарищъ; сіи конечно пожелаютъ просвѣщать восточнымъ свѣтомъ»[1]).

Просвѣщеніе «восточнымъ свѣтомъ» началось немедленно. Новый министръ заявилъ, что «польза философіи не доказана, а вредъ отъ нея возможенъ». Императоръ Николай, при назначеніи Ширинскаго, повелѣлъ ему представить соображенія, полезно ли преподаваніе философіи при «предосудительномъ» развитіи этой науки Германскими учеными, и не слѣдуетъ ли принять мѣры къ огражденію нашего юношества «отъ обольстительныхъ мудрованій новѣйшихъ философскихъ системъ».

Министръ представилъ свои соображенія, «разсмотрѣвъ» философскія науки — логику, опытную психологію, теорію познанія, метафизику, нравственную философію.

По его сужденію Кантъ, Фихте, Шеллингъ и Гегель «въ философскихъ

---

[1]) Барсуковъ, Погодинъ. Книга одиннадцатая, стр. 20.

изслѣдованіяхъ своихъ не замѣчаютъ даже, существуетъ ли вѣра христіанская, а сами, съ помощью одного только ума, дерзновенно мечтаютъ познать начало». Хотя «приняты дѣятельныя мѣры къ наблюденію за духомъ и направленіемъ преподаванія», «сама наука по шаткости своихъ началъ», «всегда представляетъ случаи къ поползновенію». Князь признавалъ поэтому необходимымъ «изъять» изъ преподаванія философіи теорію познанія, метафизику и нравственную философію; послѣднюю «по практической безполезности ея для молодыхъ людей, ознакомленныхъ съ правоученіемъ христіанскимъ». Докладъ одобренъ и повелѣно читать одну логику и психологію, причемъ соединить каѳедру философіи и богословія.

Это распоряженіе лишило каѳедры въ московскомъ университетѣ Каткова. Въ это время въ Москву пріѣхала балерина Фанни Эльслеръ. Какъ-то разъ поклонники запряглись въ ея карету. На козлахъ же помѣстился редакторъ «Московскихъ Вѣдомостей» Хлоповъ. За это его лишили мѣста редактора и передали его съ 1851 года Каткову. Благодаря этой случайности онъ вступилъ на поприще публициста[2]).

§ 2. Послѣ того, какъ въ университетахъ былъ угашенъ «западный свѣтъ» философіи, угасили и «свѣтъ восточный» въ лицѣ «славянофиловъ».

А. И. Кошелевъ предложилъ И. С. Аксакову приступить къ продолженію изданія Московскаго Сборника, обезпечивая изданіе своими средствами. 26 ноября 1851 г. И. С. Аксаковъ писалъ объ этомъ И. С. Тургеневу, сообщая, что «на общемъ совѣтѣ теперь рѣшено» «расширить кругъ сотрудниковъ»; «Грановскій также участвуетъ и уже пишетъ статью: Братъ и я просимъ васъ, прислать непремѣнно что-нибудь для нашего Сборника»[3]).

21 апрѣля 1852 года появился первый томъ Московскаго Сборника, задуманный въ четырехъ томахъ.

Вотъ его содержаніе: 1) Нѣсколько словъ о Гоголѣ. 2) О характерѣ просвѣщенія Европы и о его отношеніи къ просвѣщенію Россіи (письмо къ графу Е. Е. Комаровскому), И. В. Кирѣевскаго; 3) О древнемъ бытѣ у Славянъ вообще и у Русскихъ въ особенности (по поводу мнѣній о родовомъ бытѣ), К. С. Аксакова. 4) Мы родъ избранный, стихотвореніе А. С. Хомякова. 5) Могучимъ юности призывомъ, стихотвореніе И. С. Аксакова. 6) Поѣздка русскаго землевладѣльца въ Англію на всемірную выставку, А. И. Кошелева. 7) Псковъ и Ливонія, С. М. Соловьева. 8) Русскія народныя пѣсни (изъ приготовленнаго къ изданію собранія П. В. Кирѣевскаго), съ предисловіемъ А. С. Хомякова. 9) Служилые люди въ Московскомъ Государствѣ, И. Д. Бѣляева. 10) Отрывокъ изъ первой части Бродяги, И. С. Аксакова.

[2]) Н. А. Любимовъ. Статья о Катковѣ въ «Русскомъ Вѣстникѣ», 1888 г., № 1, стр. 44.

[3]) Барсуковъ, Погодинъ. Книга двѣнадцатая, стр. 110.

На первый томъ Московскаго Сборника обратилъ особенное вниманіе министръ Народнаго Просвѣщенія, князь П. А. Ширинскій — Шихматовъ. Онъ тотчасъ же по выходѣ его въ свѣтъ разсмотрѣлъ содержаніе его подробно и сдѣлалъ замѣчанія, которыхъ результатъ, 19 мая 1852 г., представилъ государю, пребывавшему въ то время въ Варшавѣ.

А. В. Никитенко, подъ 28 апрѣля 1852 года, записалъ въ своемъ Дневникѣ: «Въ Москвѣ опять переполохъ. Тамъ изданъ Сборникъ Хомяковымъ, Кирѣевскимъ и Аксаковымъ, въ которомъ, говорятъ, напечатаны очень сильныя вещи... О сборникѣ уже много толкуютъ въ публикѣ. Тучи собираются: быть грозѣ. А кто виноватъ?»

Дѣйствительно, виноваты были «безпокойные» люди, которые вмѣсто того, чтобы мирно получать оброки съ крестьянъ и ставить «благородные спектакли», «мыслили, всему хотѣли знать корень—причину».

Въ своемъ докладѣ министръ просвѣщенія обращалъ вниманіе прежде всего на «безотчетное расточеніе, выходящихъ изъ всякой мѣры, похвалъ Гоголю», на то, что И. Кирѣевскій «утверждаетъ, что западное Просвѣщеніе не соотвѣтствуетъ пользамъ Россіи; что у нея были особенныя начала Просвѣщенія, не оцѣненныя Европейскимъ умомъ, которыми она жила прежде»... «Явно, что въ этой, повидимому, благонамѣренной статьѣ, онъ не отдаетъ должной справедливости безсмертнымъ заслугамъ великаго преобразователя Россіи и державныхъ его преемниковъ, которые не щадили трудовъ и издержекъ для усвоенія намъ образованности Запада».

Относительно статьи К. С. Аксакова «О древнемъ бытѣ» Ширинскій писалъ: Авторъ «утверждаетъ, что въ древней Руси было общинное устройство или общинный бытъ; другими словами, въ ней преобладало начало демократическое. По мнѣнію К. Аксакова, примѣръ такого быта можно видѣть въ Новгородскомъ вѣчевомъ управленіи, а въ наше время онъ сохранился въ сходкѣ крестьянъ. Хотя съ одной стороны, эта статья имѣетъ форму историческаго изысканія, а съ другой — сухостью изложенія и длиннотой, отталкиваетъ отъ себя любителей легкаго чтенія, не менѣе того, она заслуживаетъ вниманія цензуры, какъ по новости взгляда на предметъ, давно уже обсуженный, такъ и по распространившемуся демократическому направленію общественнаго мнѣнія въ иностранныхъ государствахъ, отъ котораго мы должны ограждать себя всѣми возможными мѣрами. По моему убѣжденію, — заявляетъ знатокъ философскихъ наукъ, — демократическое начало было вообще чуждо древнему Рускому быту, и общинное устройство въ Новгородѣ и Псковѣ, безъ сомнѣнія, приписать должно разнымъ торговымъ сношеніемъ ихъ съ Нѣмцами».

Съ своей стороны, и предсѣдатель негласнаго комитета генералъ-адъютантъ Н. Н. Анненковъ обратилъ особенное вниманіе на «примѣчательную статью» К. С. Аксакова. Комитетъ по разсмотрѣніи нашелъ, что «открытіе

исторической истины тогда только получаетъ практическую свою пользу и перестаетъ быть одной суетною игрою ума, когда, вмѣстѣ съ этою истиною, открываются и ея послѣдствія». «Если неоспоримо, что до Татарскаго періода въ устройствѣ Славянскихъ общинъ, господствовало нѣкоторое начало народнаго правленія и напримѣръ, въ удѣлахъ нерѣдко народъ призывалъ князей къ себѣ на княженіе, и даже изгонялъ ихъ, слѣдовательно, изысканія автора въ семъ отношеніи не отклоняются отъ исторической истины, но неоспоримо, однакоже, и то, что по сверженіи Монгольскаго ига, указавшаго горькимъ опытомъ, какихъ послѣдствій ожидать должно отъ своевольства и безначалія, въ жизни Русскаго народа постепенно возникало совсѣмъ другое начало, именно начало единовластія и неограниченнаго самодержавія, утвержденное потомъ могучею рукою Петра Великаго, на началахъ Европейской государственной жизни. Слѣдственно, Аксакову надлежало указать, съ тѣмъ же неоспоримымъ его талантомъ, и всѣ помянутые перевороты, приведшіе насъ къ нынѣшнему порядку вещей—единственной основѣ покоя и благоденствія Россіи. Но онъ не дорисовалъ своей картины... Безъ объясненія перехода обновленной Россіи къ другимъ понятіямъ и къ другимъ формамъ, статья Аксакова, по мнѣнію Комитета, не слѣдовала быть допущена къ напечатанію не только въ литературномъ Сборникѣ, но даже въ изданіи спеціально посвященномъ ученой цѣли».

Комитетъ, слѣдовательно, требовалъ отъ К. С. Аксакова, чтобы онъ отказался отъ самой сути воззрѣній славянофильской доктрины и принялъ совершенно противоположный ей взглядъ, такъ сказать «офиціальнаго западничества». А министръ по вопросу о народности не нашелъ у Аксакова народности «офиціальной».

Разсмотрѣвъ Московскій Сборникъ «отъ доски до доски», князь П. А. Ширинскій-Шихматовъ пришелъ къ такому заключенію: «Когда я кончилъ разсмотрѣніе цѣлой книги, мнѣ само собою представилось замѣчательное сходство во взглядахъ участниковъ этого изданія... Осмѣливаюсь думать, что хотя народность и составляетъ одну изъ главныхъ основъ нашего государственнаго быта, но развитіе понятія о ней не должно быть одностороннее и безусловное, иначе безотчетное стремленіе къ народности можетъ перейти въ крайность и, вмѣсто пользы, принести существенный вредъ. Повергая все сіе на благоразсмотрѣніе... считаю долгомъ донести, что мною сдѣланы слѣдующія распоряженія: 1) цензору, статскому совѣтнику князю Львову, разсматривавшему первый томъ Московскаго Сборника, за необращеніе надлежащаго вниманія на содержаніе заключающихся въ немъ статей, сдѣланъ строгій выговоръ... 2) Я обратилъ вниманіе... на собранія сочиненій разныхъ писателей, извѣстныя у насъ подъ названіемъ Сборниковъ... эти изданія, замѣняя нѣкоторымъ образомъ журналы, представляютъ ту же удобность развивать и распространять между читателями одну или нѣ-

сколько главныхъ идей, съ сохраненіемъ, при видимомъ разнообразіи статей своего содержанія, постояннаго направленія... Возможность злоупотребленія со стороны неблагонамѣренныхъ издателей здѣсь очевидна... 3) Признавая необходимымъ, и съ своей стороны, за сборниками имѣть самый бдительный надзоръ, я предложилъ... по мѣрѣ разсмотрѣнія... предполагаемыхъ къ изданію остальныхъ трехъ томовъ Московскаго Сборника, представлять ихъ въ рукописи и т. д. [4]).

Надо замѣтить, что эти «Сборники» только что появились и всего въ двухъ изданіяхъ — сначала «Петербургскій», потомъ «Московскій». Ихъ не было даже въ такомъ количествѣ, какъ альманаховъ въ 20-хъ годахъ. А Ширинскій такъ пишетъ, словно «Сборники» наводнили книжный рынокъ.

§ 3. Не смотря на зловѣщіе признаки, И. С. Аксаковъ сдалъ въ московскій цензурный комитетъ и второй томъ Московскаго Сборника. Между тѣмъ, еще 14 іюля 1852 г. Л. В. Дубельтъ писалъ министру народнаго просвѣщенія: «Съ нѣкотораго времени образовалось въ Москвѣ Общество Славянофиловъ; цѣль этихъ людей состоитъ въ томъ, дабы сдѣлать переворотъ въ русской литературѣ, не подражать иностраннымъ западнымъ писателямъ, искать для сочиненій своихъ предметовъ самобытныхъ и народныхъ; хотя секретное наблюденіе за членами сего Общества не обнаружило до сего времени ничего положительно вреднаго, но какъ Общество это, подъ руководствомъ людей неблагонамѣренныхъ, легко можетъ получить вредное политическое направленіе, и какъ члены онаго большею частью литераторы», то московскій военный генералъ-губернаторъ «признавалъ совершенно необходимымъ кромѣ личнаго за ними надзора, обратить особенное вниманіе цензуры на ихъ сочиненія». При семъ прилагалась «копія списка славянофиламъ», сохраненная княземъ П. А. Вяземскимъ въ «Старой Записной Книжкѣ». Въ списокъ попалъ, между прочимъ, и западникъ Чаадаевъ.

Относительно «общаго духа и направленія» второго тома Московскаго Сборника московскій цензурный комитетъ находилъ, что и духъ, и направленіе «тѣ-же самые, какіе были замѣчены и обратили на себя вниманіе правительства и въ первомъ томѣ». Получивъ это «донесеніе», князь П. А. Ширинскій-Шихматовъ обратился къ московскому попечителю съ запросомъ: «Какіе имѣютъ званіе и чины К. С. Аксаковъ, И. С. Аксаковъ, И. Д. Бѣляевъ, И. В. Кирѣевскій, П. В. Кирѣевскій, А. И. Кошелевъ и А. С. Хомяковъ?» Попечитель отвѣчалъ: «1) Издатель Сборника — отставной надворный совѣтникъ И. С. Аксаковъ. 2) Братъ его К. С. Аксаковъ, также

[4]) Барсуковъ. Погодинъ. Книга двѣнадцатая, стр. 112, 114, 118, 120, 130, 131, 132.

не служащій. Имѣютъ очень хорошее состояніе. 3) Иванъ и 4) братъ его Петръ Васильевичи Кирѣевскіе имѣютъ достаточное состояніе въ Тульской и Орловской губерніяхъ; изъ нихъ Петръ въ отставкѣ, а Иванъ служитъ почетнымъ смотрителемъ бѣлевскаго уѣзднаго училища. 5) А. И. Кошелевъ—отставной надворный совѣтникъ, имѣетъ до четырехъ тысячъ душъ крестьянъ въ Рязанской губерніи и домъ въ Москвѣ. 6) А. С. Хомяковъ, служившій въ военной службѣ,—кажется въ чинѣ маіора, имѣетъ до трехъ тысячъ душъ крестьянъ въ Тульской губерніи. 7) Коллежскій ассесоръ И. Д. Бѣляевъ служитъ совѣтникомъ въ Государственномъ Архивѣ Старыхъ Дѣлъ».

Одновременно третье отдѣленіе потребовало къ себѣ рукопись второго тома Московскаго Сборника. По разсмотрѣніи 23 января 1853 года, А. В. Дубельтъ довелъ до свѣдѣнія Министра Народнаго Просвѣщенія слѣдующее: «Разсмотрѣвъ статьи, помѣщенныя во второмъ томѣ Московскаго Сборника, я нахожу, что московскіе славянофилы смѣшиваютъ приверженность свою къ Русской старинѣ съ такими началами, которыя не могутъ существовать въ монархическомъ государствѣ, и, явно недоброжелательствуя нынѣшнему порядку вещей, въ заблужденіи мыслей своихъ безпрерывно желаютъ оттолкнуть наше отечество ко временамъ равноапостольнаго князя Владиміра; что хотя нѣкоторымъ изъ нихъ, какъ-то: Ивану Аксакову, Константину Аксакову и Хомякову, уже были дѣлаемы внушенія, но это на нихъ не подѣйствовало... они, даже послѣ сдѣланныхъ имъ внушеній, дерзко представляютъ къ напечатанію статьи, которыя обнаруживаютъ ихъ открытое противодѣйствіе правительству. Дабы разъ навсегда положить предѣлъ распространенію таковаго вреднаго образа мыслей, и предупредить строгія, но справедливыя взысканія правительства, которымъ подвергаются цензоры, я полагаю: 1) Второй томъ Московскаго Сборника вполнѣ запретить. 2) Равно прекратить и дальнѣйшее изданіе этого Сборника. 3) Редактора Ивана Аксакова лишить права быть редакторомъ какихъ бы то ни было изданій. 4) Ивану Аксакову, Константину Аксакову, Хомякову, Кирѣевскому и князю Черкасскому, сдѣлавъ наистрожайшее внушеніе за желаніе распространять нелѣпыя и вредныя понятія, воспретить даже и представлять къ напечатанію свои сочиненія. 5) Всѣхъ ихъ, какъ людей открыто неблагонамѣренныхъ, подвергнуть не секретному, но явному полицейскому надзору»[5]).

Постановленіе это оставалось въ силѣ до конца царствованія императора Николая I-го.

Угашеніе «западнаго свѣта» и «восточнаго свѣта» сопровождалось цензурнымъ терроромъ, при которомъ не могъ угодить даже Ѳаддей Вене-

[5]) Барсуковъ, Погодинъ. Книга двѣнадцатая, стр. 133, 134, 145.

диктовичъ Булгаринъ своею «Пчелой». Отъ 10-го мая 1853 года Булгаринъ пишетъ Усову: «Послѣднія поправки цензора Крылова принять нельзя, потому что не будетъ мѣры въ стихѣ. Выраженіе «сладостная молитва» вредно, по мнѣнію цензуры!!! О Боже, гдѣ мы живемъ?!».

Цензура была строго безпристрастна и не щадила никого.

§ 4. Между тѣмъ назрѣвали грозныя событія. Николаевская система доживала послѣдніе дни. Въ три года (1853, 1854 и 1855) совершилось ея паденіе. Правда открылась рѣшительно всѣмъ. Общее сознаніе подсказало, что идти далѣе по гибельному пути немыслимо.

«Вся эта страшная севастопольская исторія случилась какъ-то вдругъ, неожиданно: неожиданно началась война, неожиданно палъ Севастополь. Но когда эта громада пала, когда оказалось, что Россія не имѣетъ ни денегъ, ни людей, чтобы продолжать борьбу; когда двѣ такія неожиданности, какъ смерть императора Николая (18 февраля 1855 года) и павшій Севастополь (27 августа), точно два громовыхъ удара повторились одинъ за другимъ, Россія точно проснулась отъ летаргическаго сна»[6]).

Выясняя этотъ моментъ, Шелгуновъ указываетъ, что по внѣшности все могло-бы идти въ обычномъ, установившемся порядкѣ. Государь умеръ, на престолъ вступилъ его наслѣдникъ безъ потрясеній и безпорядковъ, война кончилась... Но старое уже не могло больше повториться; всѣ чувствовали, что порвался какой-то нервъ, что дорога къ старому закрылась. Исчезла единичная воля. Всѣми сверху до низу, овладѣлъ одинъ общій жизненный порывъ, въ началѣ инстинктивный, какъ глубокій вздохъ послѣ летаргическаго сна, какъ первое свѣтлое пробужденіе послѣ горячки; но затѣмъ, послѣ безсознательнаго, инстиктивнаго душевнаго движенія, является понемногу свѣтлое состояніе сознанія. Каждый и всѣ почувствовали переломъ, въ каждомъ и во всѣхъ пробудилась критическая мысль, каждый и всѣ начали думать.

«Въ томъ, говоритъ Шелгуновъ, что послѣ Севастополя всѣ очнулись, всѣ стали думать и всѣми овладѣло критическое настроеніе, и заключается разгадка мистическаго секрета шестидесятыхъ годовъ. Вѣ вотъ секретъ того времени и секретъ успѣха всѣхъ реформъ»[7]). Война приковала общее вниманіе. «Не философія нѣмецкая, не община, писалъ одинъ славянофилъ, занимали насъ... Грозныя событія приковали все наше вниманіе. Мы всѣ чувствовали, что бѣдствія, которыя испытывала Россія, вполнѣ заслужены, и по этому поводу Хомяковъ съ особеннымъ жаромъ и увлеченіемъ говорилъ о томъ, что безнаказанно нельзя, ни стѣ-

---

[6]) Н. В. Шелгуновъ. Соч. Т. II-й. Спб., 1891 г., стр. 639.

[7]) Id., стр. 640.

снять и подавлять духъ человѣческій, ни допускать его стѣсненіе и подавленіе».

«Приходится расплатиться,—писалъ историкъ С. М. Соловьевъ,—за полную остановку именно того, что нужно было болѣе всего поощрять».

Манифестъ 9 февраля 1854 года объявлялъ войну сразу тремъ государствамъ, что не повторялось до тѣхъ поръ еще со временъ Павла Петровича: «Англійское и французское правительство вступились за Турцію, появленіе соединенныхъ ихъ флотовъ у Царьграда послужило вящшимъ поощреніемъ ея упорству. Наконецъ обѣ западныя державы безъ предварительнаго объявленія войны ввели свои флоты въ Черное море, провозгласивъ намѣреніе защищать турокъ и препятствовать нашимъ военнымъ судамъ въ свободномъ плаваніи для обороны береговъ нашихъ. Послѣ столь неслыханнаго между просвѣщенными государствами образа дѣйствія, мы отозвали наши посольства изъ Англіи и Франціи и прервали всякія политическія сношенія съ сими державами. И такъ, противъ Россіи, сражающейся за православіе, рядомъ съ врагами христіанства становятся Англія и Франція».

Въ этотъ моментъ появились знаменитые стихи Хомякова «Россія»:

Вставай, страна моя родная,
За братьевъ! Богъ тебя зоветъ...
Но помни: быть орудьемъ Бога
Земнымъ созданьямъ тяжело;
Своихъ рабовъ Онъ судитъ строго,—
А на тебя, увы! какъ много
Грѣховъ ужасныхъ налегло!
Въ судахъ черна неправдой черной,
И игомъ рабства клеймена;
Безбожной лести, лжи тлетворной,
И лѣни мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна!
О, недостойная избранья,
Ты избрана!..

Стихи эти облетѣли всю Россію въ спискахъ. Многіе однако разозлились на Хомякова. Поэтъ написалъ тогда другіе стихи «Раскаявшейся Россіи»:

О, Русь моя! какъ мужъ разумный,
Сурово совѣсть допросивъ,
Съ душею свѣтлой, многодумной,
Идешь на Божескій призывъ!..

По поводу этихъ стиховъ Хомяковъ былъ «спрошенъ» изъ Петербурга.

28 марта 1854 года послѣдовало объявленіе войны со стороны Франціи и Англіи. 10 апрѣля непріятельскій флотъ бомбардировалъ Одессу. Въ концѣ іюля 1854 года два непріятельскихъ парохода открыли канонаду ядрами и

бомбами по Соловецкому монастырю. Наконецъ большой Англо-Французскій флотъ, подъ начальствомъ Англійскаго адмирала Чарльса Непира, появился въ Балтійскомъ морѣ. Изъ столицы предпринимались безпечныя поѣздки, чтобы изъ Ораніенбаума полюбоваться на врага и на «флотъ пьяницы Непира».

И. И. Давыдовъ, «великій ловецъ благъ» по опредѣленію Никитенки, получившій владимірскую звѣзду, писалъ Погодину: «У насъ о Балтійскомъ флотѣ англичанъ никто не думаетъ. По мудрой предусмотрительности обожаемаго нашего Отца Отечества, мы спокойно занимаемся дѣлами, какъ и всегда прежде. Если враги наши ничего не взяли у Одессы, то чтожъ могутъ они сдѣлать Петербургу? Любо смотрѣть, какъ мы выросли и окрѣпли въ настоящее царствованіе!».

Западные флоты вступили въ Черное море. Императоръ Николай велѣлъ главнокомандующему арміею перейти Дунай. Въ мартѣ 1854 г., русская армія заняла Добруджу и осадила Силистрію. Австрія, встревоженная переходомъ русскихъ за Дунай, для обезпеченія себя съ фланга, заключила, 20 апрѣля 1854 года, съ Пруссіей союзъ, для совокупнаго нападенія на Россію, въ случаѣ, если русская армія перейдетъ Балканы. Измѣна Австріи пронзила сердце Николая.

БИБЛІОГРАФІЯ: Достаточное число документовъ для сужденія о пятидесятыхъ годахъ собрано въ книгахъ XI—XVI изданія Н. Барсукова «Жизнь и труды Погодина».—Исторія цензуры до кончины Николая I и во второй половинѣ 50-хъ годовъ: Дневникъ Никитенко.—Н. А. Энгельгардтъ: Цензура въ эпоху великихъ реформъ. Историч. Вѣстн. 1902. Сентябрь — декабрь.—Матеріалы: К. Аксаковъ. Обозрѣніе современной литературы. Русск. Бесѣда. 1857 г., 5.—Воспоминанія Венюкова (1852—54 г.г. въ Петербургѣ) Русск. Стар. 91 г. I. — Л. Жемчужниковъ. Отрывки изъ моихъ воспоминаній о 50-хъ годахъ. В. Е. 90 г. II.—Н. С. Усовъ. Изъ моихъ воспоминаній. Историч. Вѣстн. 82 г. I.—3, 5. 83 г. 2—5. 94 г. 3.—Его же. Булгаринъ въ послѣднее десятилѣтіе его жизни (1850—1859). Истор. Вѣстн. 1883. Августъ.—Пыпинъ. Характеристики. Гл. X. Заключеніе.

§ 5. Въ апрѣлѣ 1854 года, Погодинъ написалъ: «Взглядъ на Русскую политику въ нынѣшнемъ столѣтіи». Указавъ, что Александръ I два раза посылалъ свои войска спасать Австрію (1805) и Пруссію (1806) противъ Наполеона, что на Вѣнскомъ конгрессѣ были возстановлены всѣ разрушенные престолы, что когда въ 1849 году Австрія приведена была на край гибели, вслѣдствіе венгерскаго возстанія, то двѣсти тысячъ русскаго войска принудило Венгровъ сдаться, и что все это совершено безкорыстно, все для европейскаго порядка, который былъ высшею единственною цѣлію Русскаго Правительства, Погодинъ жалуется, что въ то же время тридцать милліо-

новъ народа славянскаго было оставляемо безъ малѣйшей помощи, на жертву всѣмъ истязаніямъ.

«Измѣна Австріи — горькій плодъ пятидесятилѣтней русской политики, со всѣми ея жертвами, благодѣяніями, услугами, любезностями въ отношеніи къ Австріи, Пруссіи и Германіи. И такъ, русская политика въ отношеніи къ европейскимъ государямъ, которые всѣ становятся противъ нея, оказалась очевидно несостоятельною, и слѣдовательно съ этой стороны не принесла намъ ничего кромѣ вреда. Не оказала ли русская политика послѣдствій, болѣе благопріятныхъ со стороны народовъ? Народы возненавидѣли Россію, и теперь русскому почти невозможно путешествовать, не подвергаясь самымъ чувствительнымъ оскорбленіямъ. Народы видятъ въ Россіи главнѣйшее препятствіе къ ихъ развитію и преуспѣянію, злобствуютъ за ея вмѣшательство въ ихъ дѣла.

«Вотъ результаты нашей политики! Правительства насъ предали, народы возненавидѣли, а порядокъ, нами поддерживаемый, нарушился, нарушается и будетъ нарушаться. Слѣдовательно, политика наша была не только для насъ вредна, но и вообще безуспѣшна».

Въ другомъ своемъ произведеніи Погодинъ спрашиваетъ: «А гдѣ же искать намъ союзниковъ? Кажется, всѣ европейцы теперь противъ насъ?» И въ отвѣтъ перечисляетъ: Болгарія, Сербія, Боснія, Герцеговина, Черногорія и т. д. и т. д. Восемьдесятъ слишкомъ милліоновъ! Почтенное количество! Порядочный союзецъ! Славяне были затерты исторіей, славяне были затерты географіей, славяне были затерты дипломатіей и политикой, но наступаетъ видно время, когда по слову Писанія, послѣдніе должны сдѣлаться первыми. Къ тому стремятся всѣ событія».

«Никто не хотѣлъ сначала войны, Россія всѣхъ меньше, а война началась. Стали мы на Дунаѣ, и стояли долго, переходить не рѣшались; но вотъ, толкнулъ, наконецъ, кто-то въ шею, и волей-неволей перешли мы на другую сторону... А на другой сторонѣ, смотрите, бѣжитъ на встрѣчу народъ, съ хлѣбомъ и солью, крестами и святой водой. Вотъ ударилъ неслыханный четыреста лѣтъ колоколъ, раздался первый благовѣстъ, вознесся первый крестъ надъ православною церковью... Что-же вы допустите, чтобъ крестъ былъ снятъ? Что-же вы допустите, чтобы изъ колокола вырванъ былъ языкъ? Нѣтъ, это не можетъ быть и этого не будетъ! Слѣдовательно, Болгарія свободна. Откажетесь-ли вы ей покровительствовать? Уступите-ли вы ее католической Франціи, протестантской Англіи, Пруссіи, или іезуитской, безъ вѣры Австріи? Нѣтъ, это невозможно! Слѣдовательно, первый членъ славянскаго союза уже готовъ... А тамъ дальше, слышите, что восклицаетъ къ несчастнымъ жителямъ Герцеговины молодой князь Данило съ своими черногорцами: настала минута, когда каждый христіанинъ, подавленный оттоманскимъ преобладаніемъ, долженъ возстать противъ притѣсни-

телей, и если вы упустите эту благопріятную минуту, то вамъ не останется ничего, кромѣ вѣчнаго угрызенія совѣсти и вѣчнаго стыда».

Новый союзъ Погодинъ предлагаетъ назвать Дунайскимъ, Славянскимъ, Юго-Восточнымъ Европейскимъ, съ столицею его въ Константинополѣ, предвосхищая идею Данилевскаго въ его извѣстной книгѣ «Россія и Европа».

Россія должна сдѣлаться главою Славянскаго союза, не по своему желанію, не по произволу, не изъ честолюбія и властолюбія, а по необходимости, по естеству вещей, точно какъ русскій языкъ долженъ со временемъ сдѣлаться общимъ, литературнымъ языкомъ для всѣхъ славянскихъ племенъ, не по принужденію Русскаго Правительства, а по законамъ филологіи, какъ настоящій ихъ представитель.

Союзное войско (болѣе 60,000) высадилось въ Крымъ 2 сентября 1854 года. Бомбардировка съ моря и суши и первый приступъ послѣдовали 5 октября. Враги наши выбрали самое благопріятное для себя время, чтобы нагрянуть на Россію, по мнѣнію Погодина. «Умъ у насъ притупленъ, воля ослабѣла, духъ упалъ, невѣжество распространилось, подлость взяла вездѣ верхъ, слово закоснѣло, мысль остановилась, люди обмелѣли, страсти самыя низкія выступили наружу, и жалкая посредственность, пошлость, бездарность взяли въ свои руки по всѣмъ вѣдомствамъ бразды правленія».

Однако Погодинъ полагаетъ, что «опрометчивая ломка причинитъ еще больше вреда». «Лѣкарство — легкое, удобное и безопасное, — это гласность». Какъ увидимъ, этотъ рецептъ выразилъ «среднюю пропорціональную» общественнаго почина въ первые годы царствованія Александра II-го.

§ 6. Роковой моментъ приближался. Севастополь обливался кровью. «Страшная борьба! — восклицалъ И. С. Аксаковъ, — на ихъ сторонѣ наука, искусство, талантъ, храбрость, всѣ матеріальныя средства, на нашей — только правота дѣла и личное мужество войскъ; остального ничего нѣтъ».

Въ 1-мъ часу дня, 18-го февраля скончался Николай I-й и 5 марта 1855 былъ погребенъ. Въ день погребенія Ап. Ник. Майковъ прислалъ Погодину, съ просьбой напечатать въ «Москвитянинѣ», написанное имъ годомъ раньше стихотвореніе въ честь Николая Павловича:

«Когда по улицѣ въ откинутой коляскѣ».

Это стихотвореніе навлекло долгія нареканія на поэта. Въ немъ усмотрѣли раболѣпство. Однако, личность Николая отдѣлялась отъ строя, который онъ и поддерживалъ, и пытался разрушить, все царствованіе не покидая мысли объ освобожденіи крестьянъ. Въ своихъ «Воспоминаніяхъ» Н. В. Шелгуновъ, котораго никто не заподозритъ въ раболѣпствѣ, говоритъ: «Въ близкихъ ко двору лицахъ смерть Императора вызвала самую искрен-

нюю скорбь. Женщины плакали. Для женщинъ, да и не для нихъ однѣхъ, Николай былъ легендарнымъ героемъ, коронованнымъ рыцаремъ»[8]).

Погодинъ подалъ молодому Государю, сейчасъ по его воцареніи записку о «Царскомъ времени».

«Время царское дороже всего на свѣтѣ,—говоритъ Погодинъ. Оно должно быть сберегаемо и соблюдаемо до послѣдней минуты, для рѣшенія важнѣйшихъ вопросовъ государственныхъ, для размышленія о существенныхъ предметахъ управленія».

«Занимать царя частностями и подробностями, развлекать формами и церемоніями—есть величайшее гражданское преступленіе».

«Несчастная система, низведшая во гробъ вмѣстѣ съ внѣшними неожиданными ударами, покойнаго Императора Николая Павловича! Въ порывѣ неограниченнаго своего усердія ко благу отечества онъ хотѣлъ дѣлать все самъ»...

«Первая... задача Государственному Совѣту въ наше время, — разобрать и опредѣлить, какія дѣла должны быть представляемы на высочайшее воззрѣніе, и какія, безъ малѣйшаго нарушенія самодержавной власти, могутъ быть рѣшаемы разными отдѣльными высшими вѣдомствами».

«Вторая задача,—опредѣлить, въ какой степени можетъ быть допущена гласность, въ видахъ предохраненія правительственныхъ и прочихъ рѣшеній отъ произвольности, и учрежденія надъ ними новой необходимой инстанціи—бдительнаго общаго мнѣнія, безъ котораго само правительство остается часто во тьмѣ. «Эта гласность, въ предѣлахъ благоразумной осторожности доставитъ... средство узнавать людей»[9]).

24 августа 1855 года началось послѣднее бомбардированіе Севастополя, продолжавшееся три дня.

27 августа 1855 г. въ 10 часовъ пополудни князь М. Д. Горчаковъ отправилъ къ государю, слѣдующую депешу:

«Войска вашего императорскаго величества защищали Севастополь до крайности, но болѣе держаться въ немъ за адскимъ огнемъ, коему городъ подверженъ, было невозможно... Враги найдутъ въ Севастополѣ однѣ окровавленныя развалины».

Закончилась кровавая одиннадцатимѣсячная эпопея. Закончилась для защитниковъ Севастополя славно, но для вершителей судебъ Россіи позорно. Ударъ былъ страшный. И никто не ожидалъ такого исхода, до того отупѣло въ спячкѣ и праздномысліи русское общество. Лучшіе люди были въ отчаяніи. «Вѣсть о паденіи Севастополя,—писалъ Т. Н. Грановскій,—заставила меня плакать. А какія новыя утраты и позоры готовитъ намъ буду-

---

[8]) Соч. Т. II-й, стр. 639.

[9]) Историко-политич. письма и записки. М. 1874, стр. 310—313.

щее. Будь я здоровъ, — я ушелъ бы въ милицію, безъ желанія побѣды Россіи, но съ желаніемъ умереть за нее. Душа наболѣла за это время. Здѣсь всѣ порядочные люди поникли головами». И. С. Тургеневъ писалъ С. Т. Аксакову: «Извѣстіе о Севастополѣ, полученное здѣсь вчера, лишило меня всякой бодрости. Хотя бы мы умѣли воспользоваться этимъ страшнымъ урокомъ, какъ Пруссаки Іенскимъ пораженіемъ».

«Впечатлѣніе, произведенное отдачею Севастополя, — писалъ С. Т. Аксаковъ сыну, — со всѣми пушками и безчисленнымъ множествомъ снарядовъ, — не слабѣетъ, а напротивъ разростается часъ отъ часу болѣе. Съ Севастополемъ былъ связанъ великій вопросъ: его не сюрпризомъ взяли у насъ, а послѣ годовой осады мы сами сдали его, торжественно признавшись предъ цѣлой Европой, что вся Россія не могла противиться какой-нибудь стотысячной французской арміи. Остальныхъ я ни за что считаю».

«Какъ неумолимо правосудна судьба, — писалъ И. С. Аксаковъ въ отвѣтъ своему отцу; какъ жестока въ своей логикѣ! Признаюсь — я не очень негодую на Горчакова; Севастополь палъ не случайно, не по его милости; я жалѣю, что не было тутъ искуснѣйшаго генерала, чтобы отнять всякій поводъ къ искаженію истины; онъ долженъ былъ пасть, чтобы явилось въ немъ дѣло Божіе, т. е. обличеніе всей гнили правительственной системы, всѣхъ послѣдствій удушающаго принципа. Видно — еще мало жертвъ, — мало позора, еще слабы уроки; нигдѣ сквозь окружающую насъ мглу не пробивается луча новой мысли, новаго начала»[10].

§ 7. Одинъ рубиконъ былъ перейденъ. Началось медленное, но неудержимое пробужденіе общественной мысли. Это выразилось прежде всего въ литературѣ.

«Еще никогда не бывало въ Россіи такой массы листковъ, газетъ и журналовъ, какая явилась въ 1856—1858 гг. Изданія являлись какъ грибы, хотя точнѣе было бы сказать, какъ водяные пузыри въ дождь, потому что какъ много ихъ появлялось, такъ-же много и исчезало. Одними объявленіями объ изданіяхъ можно было-бы оклеить башню московскаго Ивана Великаго. Изданія были всевозможныхъ фасоновъ, размѣровъ и направленій, большія и малыя, дешевыя и дорогія, серьезныя и юмористическія, литературныя и научныя, политическія и вовсе неполитическія. Появлялись даже летучіе, уличные листки»[11].

Главными мѣстами изданій, какъ и главными очагами русской мысли, были Москва и С.-Петербургъ. Какъ только явилась возможность говорить, возникли въ Москвѣ славянофильскіе и полуславянофильскіе органы. Въ

---

[10]) Погодинъ. Барсуковъ. Книга четырнадцатая, стр. 87, 88 и 89.
[11]) Шелгуновъ. Воспоминанія, стр. 652.

поддержку «Русской Бесѣды» Кошелева, возникъ «Парусъ» Ив. Аксакова. Но та-же Москва создала и солидный органъ на западно-европейской подкладкѣ—«Русскій Вѣстникъ», основанный въ 1856 г., въ умѣренно либеральномъ направленіи и сразу завоевавшій популярность дѣльностью содержанія. Но уже въ 1857 г. возникъ въ «Русскомъ Вѣстникѣ» расколъ по вопросу о централизаціи, и часть его сотрудниковъ, отдѣлившись, основала «Атеней», гдѣ писали статейки «О сухихъ туманахъ», погибшій скоро «въ борьбѣ съ равнодушіемъ публики» (фраза, сдѣлавшаяся классической). Въ Москвѣ-же издавали безыменные сотрудники независимый критическій органъ «Московское Обозрѣніе». Но все-же Петербургъ былъ головою движенія. Первое мѣсто между журналами занималъ «Современникъ». За нимъ стояли «Отечественныя записки», и «Библіотека для чтенія». Петербургъ не уступилъ Москвѣ, а превзошелъ ее обиліемъ и разнообразіемъ новыхъ органовъ. Тамъ явился «Экономическій указатель», проповѣдывавшій свободу торговли, неограниченную конкуренцію и личную поземельную собственность; В. Курочкинъ съ цѣлой компаньей поэтовъ и юмористовъ основалъ «Искру», а въ 1858 г. стало выходить «Русское Слово» графа Кушелева—Безбородко.

Но въ то-же время совершилась и литературная смерть «Москвитянина» Погодина, хлопотавшаго столько о «гласности въ предѣлахъ благоразумной осторожности».

Съ 1850 года возникъ такъ называемый «молодой» «Москвитянинъ». Редакцію составляли Островскій, Писемскій, Т. И Филипповъ, Е. Н. Эдельсонъ, Б. Н. Алмазовъ, А. А. Григорьевъ. Объ отношеніи «молодой» редакціи къ старой разсказываетъ самъ Аполлонъ Григорьевъ.

«Погодинъ нерѣдко бывалъ недоволенъ мнѣніями своихъ молодыхъ сотрудниковъ и не стѣснялся высказывать это печатно, въ примѣчаніяхъ къ ихъ статьямъ; иногда онъ пускалъ въ ходъ и другіе пріемы. Старый хламъ и старыя тряпки подрѣзывали всѣ побѣги жизни въ «Москвитянинѣ» 50-хъ годовъ. Напишешь, бывало, статью о современной литературѣ,—ну, положимъ хоть о лирическихъ поэтахъ,—и вдругъ, къ изумленію и ужасу, видишь, что въ нее къ именамъ Пушкина, Лермонтова, Кольцова, Хомякова, Огарева, Фета, Полонскаго, Мея втискались въ сосѣдство имена графини Ростопчиной, г-жи Каролины Павловой, г. М. Дмитріева, г. Ѳедорова. ...и, о ужасъ!—Авдотьи Глинки! Видишь — и глазамъ своимъ не вѣришь! Кажется и послѣднюю корректуру и сверстку даже прочелъ,—и вдругъ, точно по мановенію волшебнаго жезла, явились въ печати незванные гости! Или слѣдитъ, бывало, зорко и подозрительно слѣдитъ молодая редакція, чтобы какая-нибудь элегія г. М. Дмитріева или какой нибудь старческій грѣхъ какого-либо другого, столь-же знаменитаго литератора, не проскочилъ въ нумеръ журнала. Чуть немного поослабленъ надзоръ—и г. М. Дмитріевъ на лицо,

г-жа К. Павлова что-нибудь соорудила. и. наконецъ. къ крайнѣйшему отчаянію молодой редакціи. на видномъ-то самомъ мѣстѣ какая-нибудь инквизиторская статья г. Стурдзы красуется [12]).

Въ 1855 г. Москвитянину оставались вѣрны А. Н. Островскій и А. А. Григорьевъ. Послѣдній обозрѣвалъ журналы. писалъ о русскихъ пѣсняхъ, объ отношеніи современной критики къ искусству, о наличныхъ литературныхъ дѣятеляхъ и проч. Началъ печатать обширное изслѣдованіе «О комедіяхъ А. Н. Островскаго и объ ихъ значеніи въ литературѣ и на сценѣ». Упорный неуспѣхъ журнала, безденежье и фальшивое положеніе заставило, наконецъ, уйти и Ап. Григорьева. На зазыванія Погодина онъ отвѣчалъ:

«Вы звали меня нѣсколько разъ, достопочтеннѣйшій Михаилъ Петровичъ—и я не являлся. Не явлюсь даже и теперь, по послѣднему вашему зову. Я погибъ вмѣстѣ съ Москвитяниномъ, ибо Москвитянинъ, въ послѣднее время, былъ я. Мнѣ остается одно утѣшеніе—знать, что я могъ матеріально не погибнуть, перейдя подъ другія знамена,—и предпочелъ, предпочитаю и предпочту честную (предъ внутреннимъ судомъ) гибель—житейскимъ выгодамъ».

«...Я одинъ, да...Эдельсонъ твердо знаемъ, что нашъ журналъ, наше направленіе—былъ не Вѣстникъ, не Бесѣда, которая едва-ли не будетъ журналомъ Троицкой Лавры и проч., а Москвитянинъ и ваше направленіе (народность демократическая и прогрессивная) и изъ насъ двухъ плотью и кровью связанъ съ литературой только я...Я лично истерзанъ до того, что желаю только покоя смерти; безъ малѣйшей фразы, если что еще воздерживаетъ меня отъ самоубійства, такъ это...вопросъ, къ чему же дана эта жажда дѣятельности, эта раздражительная способность жить высшими интересами?» [13]).

Изъ переговоровъ Погодина съ Григорьевымъ о возстановленіи Москвитянина ничего не вышло. Неизданныя книжки 1855 г. вышли только въ 1856. Въ послѣдней книжкѣ 1855 года, вышедшей въ апрѣлѣ 1856, Погодинъ прощался съ публикой: «Пятнадцать лѣтъ издавалъ я Москвитянинъ. Тяжело мнѣ приходилось часто во многихъ отношеніяхъ, но я держался крѣпко, убѣжденный, что изданіе было нужно и полезно».

«Многіе писатели новаго поколѣнія, украшающіе своими произведеніями текущую Русскую Словесность, начали свое дѣланіе и знакомство съ публикою посредствомъ нашего журнала».

«Москвитянинъ вмѣняетъ себѣ такъ же въ заслугу, что онъ одинъ твердилъ и твердилъ неумолчно о славянахъ».

Послѣдніе №№ Москвитянина 1856 г. вышли въ самомъ концѣ 1857.

---

[12]) Образованіе, 1896, № 5—6, II отд., стр. 100—101.

[13]) Барсуковъ, Погодинъ, Книга четырнадцатая, 360—361.

§ 8. Въ 1850 году защитили диссертаціи П. Н. Кудрявцевъ («О судьбахъ Италіи») и П. М. Леонтьевъ («О поклоненіи Зевсу въ древней Греціи»). Въ томъ же году въ имѣніи отставного министра графа С. С. Уварова гостили ученые—Леонтьевъ, Погодинъ, а такъ-же роковой въ послѣдующихъ судьбахъ русскаго просвѣщенія графъ Дмитрій Андреевичъ Толстой. Леонтьевъ работалъ въ богатѣйшемъ собраніи антиковъ Уварова, глубокаго классика, и плодомъ этихъ работъ была статья «Вакхическій памятникъ графа С. С. Уварова», напечатанная затѣмъ въ «Пропилеяхъ», изданномъ имъ сборникѣ статей по классической древности. «Пропилеями, читаемъ въ предисловіи, «назывались у грековъ священныя врата, вводившія въ ограды храмовъ и акрополей—врата главныя». Здѣсь была заложена традиція классицизма, какъ главныхъ и единственныхъ вратъ, ведущихъ во храмъ просвѣщенія. Въ первой книжкѣ «Пропилей» между прочимъ находимъ статью Каткова «О греческихъ философахъ до Сократа», т. е. о софистахъ, которой враги потомъ часто кололи глаза Каткову, называя его ученикомъ софистовъ.

Михаилъ Никифоровичъ Катковъ родился въ Москвѣ въ 1818 году. Отецъ его рано умеръ. Семейство не располагало никакими средствами. Самоотверженію матери, печатно благодарившей благодѣтелей за подаянія ей, убогой вдовѣ—дворянкѣ, онъ и его братъ обязаны были воспитаніемъ и дальнѣйшимъ образованіемъ. Приготовительный къ университету курсъ Катковъ кончилъ въ пансіонѣ шеллингіанца Павлова и въ 1834 году поступилъ на словесное отдѣленіе московскаго университета [14]).

За время пребыванія въ университетѣ (1834—1838 гг.), Катковъ слушалъ классика-Надеждина, читавшаго въ 1834—1835 году курсъ теоріи изящныхъ искусствъ и логики, затѣмъ ветхаго Каченовскаго, угловатаго Погодина и медоточиваго Шевырева. Катковъ принадлежалъ къ знаменитому кружку Станкевича и Бѣлинскаго, сгруппировавшаго столько выдающихся людей 60-хъ годовъ. Катковъ изучалъ Гегеля и опровергалъ съ Гегелемъ въ рукахъ «примирительныя» сужденія Бѣлинскаго. Въ «Московскомъ наблюдателѣ», органѣ Бѣлинскаго, онъ помѣщалъ свои стихотворные переводы. Въ статьяхъ его, помѣщавшихся въ «Отеч. Зап.», Катковъ является западникомъ, вѣрующимъ, что геній Петра «вдунулъ душу живу въ исполинское тѣло Россіи, что онъ «началъ собою новый, уже свѣтлый періодъ русской исторіи». Въ слогѣ Каткова въ то время чувствовалась риторика и декламація, нѣмецкое доктринерство и изрядное филистерство. Въ концѣ 1840 года Бѣлинскій писалъ Боткину: «Отеч. Записки существуютъ трудами трехъ только человѣкъ: Краевскаго, Каткова и меня». Значитъ участіе Каткова

[14]) Біографическій словарь профессоровъ и преподавателей Московскаго университета, 1855 г., ч. I, стр. 381 и 382.

имѣло большое значеніе. Катковъ былъ въ то время не только гегельянцемъ, но и романтикомъ. Онъ упивался Гофманомъ. Въ денежномъ отношеніи Катковъ былъ тогда обставленъ очень скудно. Въ 1840 г. онъ уѣхалъ заграницу со 100 или 200 рублей ассигнаціями. До Кронштадта его провожали петербургскіе друзья: Бѣлинскій, Панаевъ, Кольцовъ. Катковъ попалъ заграницу, когда шла яростная полемика правой и лѣвой гегельянства. Все его вниманіе было устремлено на философію. Во второй годъ пребыванія Каткова въ Берлинѣ, гдѣ онъ страшно бѣдствовалъ, кстати сказать, тамъ явился старый Шеллингъ со своей „второй" философіей Откровенія, приспособленной къ Прусскому строю.

Послѣ смерти Гегеля въ 1831 году, его преданными разжевывателями явились ограниченные философастеры Вердеръ, Ватке, Маргейнеке, Неандеръ, а „лѣвая" дала Штрауса, Фейербаха, Бруно, Бауера. Тогда-то прусское правительство пригласило 65-лѣтняго ветерана идеализма — Шеллинга. Катковъ прослушалъ два курса. Приливъ студентовъ на первый семестръ былъ необыкновенно великъ. А на второй не осталось десятой части... Время „сухихъ тумановъ" проходило. Катковъ-же былъ въ восхищеніи и нашелъ, что новая философія Шеллинга „глубже всего, что только есть на свѣтѣ".

По возвращеніи Каткова встрѣча его съ Бѣлинскимъ была враждебна. «Это Хлестаковъ въ нѣмецкомъ вкусѣ, писалъ Бѣлинскій отъ 6 февраля 1843 года Боткину. Я теперь понялъ, отчего во время самаго разгара моей мнимой къ нему дружбы, меня дико поражали его зеленые, стеклянные глаза... Онъ было вошелъ на ходуляхъ, но наша полная презрѣнія холодность заставила его сойти съ нихъ».

Въ 1845 году Катковъ защитилъ диссертацію („Объ элементахъ и формахъ славяно-русскаго языка") и получилъ каѳедру философіи, на которой и оставался до 1850 года.

Съ прекращеніемъ философскаго курса, Катковъ оставался нѣкоторое время адъюнктомъ университета безъ каѳедры, а затѣмъ получилъ въ 1851 году завѣдываніе редакціей „Московскихъ Вѣдомостей", съ назначеніемъ чиновникомъ особыхъ порученій при министерствѣ народнаго просвѣщенія... Насколько зависѣло отъ Каткова, онъ оживилъ казенную газету. Въ ней стали принимать участіе московскіе профессора; былъ заведенъ постоянный литературный отдѣлъ. Матеріальная сторона тогдашняго положенія Каткова представлялась весьма скромной. Онъ получалъ 2000 руб. содержанія съ прибавкой по четвертаку съ подписчика. Была еще у него казенная квартира въ домѣ университетской типографіи [15]).

Подписка на „Моск. Вѣд." достигла уже тогда 15.000.

Въ 1851 году онъ женился на княжнѣ Софьѣ Сергѣевнѣ Шаликовой,

[15]) С. Невѣдѣнскій. Катковъ и его время. Спб., 1888, стр. 98.

дочери не безъизвѣстнаго чувствительнаго литератора Шаликова, въ «Дамскомъ журналѣ» котораго и печатала бѣдная мать Каткова вышеупомянутыя благодарности благодѣтелямъ.

Леонтьевъ издавалъ «Пропилеи» съ 1851 по 1856 годъ. Катковъ принималъ дѣятельное участіе въ сборникѣ, который вводилъ «въ храмъ классической, т. е. греческой и римской древности, въ тотъ изящный и стройный міръ, въ которомъ человѣкъ впервые началъ жить по человѣчески и наслаждаться жизнью».

Новое царствованіе открыло «пропилеи» новой дѣятельности Каткова.

Катковъ пріѣхалъ въ Петербургъ и 29 мая 1855 года представилъ Министру Народнаго Просвѣщенія докладную записку, въ которой изложилъ проэктъ предполагаемаго имъ изданія журнала Русскій Вѣстникъ.

Въ запискѣ говорилось: «Образованное общество заговорило по русски и предѣлъ между живымъ и книжнымъ слогомъ исчезаетъ непрерывно. Народное самопознаніе развилось блистательно быстро, и правительство не пощадило средствъ для открытія и обнародованія памятниковъ нашей древности».

«Должно желать, чтобы образованіе наше укрѣплялось въ этомъ направленіи; чтобы все болѣе и болѣе прояснялся собственный Русскій взглядъ на вещи; чтобы Русскій умъ также свергъ съ себя иго чужой мысли, какъ уже свергъ иго чуждаго слова; чтобы наша литература, созрѣвая и обогащаясь, могла доставлять удовлетвореніе всѣмъ умственнымъ потребностямъ Русскаго человѣка».

«Въ настоящихъ обстоятельствахъ, напоминающихъ великую эпоху двѣнадцатаго года, мы не имѣемъ ни одного изданія въ родѣ Вѣстника Европы и Сына Отечества, съ которыми связано столько патріотическихъ воспоминаній».

Итакъ, Катковъ ставилъ патріотическую задачу своему журналу, служить русской «самобытности», и это при всемъ своемъ западничествѣ и англоманствѣ.

31 окт. 1855 г. въ Бахчисараѣ государь разрѣшилъ журналъ.

15 ноября появилось объявленіе о немъ: — «Сотоварищами, говорилъ Катковъ, нижеподписавшагося по трудамъ редакціи будетъ: В. Ѳ. Коршъ, П. Н. Кудрявцевъ, П. М. Леонтьевъ».

Въ спискѣ сотрудниковъ стояли: С. Т., К. С. и И. С. Аксаковъ, Анненковъ, Аѳанасьевъ, В. П. Боткинъ, И. А. Гончаровъ, Д. В. Григоровичъ, А. В. Дружининъ, К. Д. Кавелинъ, Н. Х. Кетчеръ, В. Ѳ. Коршъ, С. М. Соловьевъ, М. А. Михайловъ, Никитенко, Огаревъ, Писемскій, Полонскій, Потѣхинъ, А. Н. Пыпинъ, С. А. Рачинскій, Евгенія Туръ, И. С. Тургеневъ, Б. Н. Чичеринъ и др.

Западники, славянофилы и народники здѣсь соединились вкупѣ.

Изъ сотоварищей Каткова Кудрявцевъ въ 1858 году умеръ. Коршъ вскорѣ удалился, такъ что издателями остались неразлучные въ дальнѣйшей карьерѣ Катковъ и Леонтьевъ. Политика была запрещена при Николаѣ I-мъ. Только въ серединѣ 1855 года — по вступленіи на престолъ Императора Александра II, послѣдовало Высочайшее дозволеніе двумъ журналамъ: «Современнику» и «Отечественнымъ Запискамъ» перепечатывать военныя извѣстія изъ «Русскаго Инвалида». Затѣмъ политика стала вторгаться въ журналы. Катковъ уже въ серединѣ 1858 года высказываетъ въ одномъ политическомъ обозрѣніи горячій панегирикъ строю англійской государственной жизни. Катковъ въ это время изучилъ политическія науки, читалъ Глейста, Блакстона. «Съ давнихъ поръ, писалъ онъ, еще съ прошлаго столѣтія, государственное устройство Англіи было предметомъ тщательныхъ изученій... Но никогда страна эта не возбуждала столь сильнаго и столь сознательнаго интереса, какъ въ наше время... Англійское устройство не есть конституція на бумагѣ, это не книга, это даже не нація; это — жизнь и природа въ своемъ развитіи, въ своемъ дѣйствительномъ созиданіи»[16]).

Въ 1859 году Катковъ посѣтилъ Англію. «Единственнымъ ручательствомъ за искренность сужденій, писалъ Катковъ въ 1861 году, служитъ гражданское обезпеченіе личной свободы. Обезпеченіе это заключается въ твердости и ясности закона и въ безпристрастіи его примѣненія. Разсматривая съ этой точки зрѣнія Западно-Европейскія государства, мы опять находимъ, что въ Англіи болѣе, нежели въ какомъ либо изъ нихъ, личность и собственность обезпечены, а законъ, безъ всякаго сомнѣнія, стоитъ тверже и примѣняется безпристрастнѣе, нежели гдѣ-бы то ни было».

Такова основа «англофильства» Каткова, въ первый періодъ его публицистической дѣятельности. «Его завѣтной мечтой было положить въ основаніе обновлявшагося строя русской жизни твердый и способный къ самоуправленію классъ землевладѣльцевъ, на подобіе англійскаго»[17]).

Книжки «Русскаго Вѣстника» 50-хъ и начала 60-хъ годовъ составлялись превосходно, изобилуя историческими трудами Кудрявцева, Щебальскаго, Вызинскаго, Лонгинова, Ѳеоктистова, Устрялова, Семевскаго и др. По экономическимъ вопросамъ писалъ сначала кіевскій профессоръ Бунге, впослѣдствіи просвѣщенный и гуманный министръ финансовъ, потомъ де-Молинари. Кромѣ спеціальныхъ статей, Бунге писалъ и по общимъ вопросамъ. Такъ въ 1858 г. въ № 3 «Р. В.» появились его статьи о университетской реформѣ. Б. Утинъ помѣщалъ письма изъ Германіи, разсуждалъ о судѣ присяжныхъ въ Англіи. Даровитый переводчикъ Гейне Михай-

---

[16]) Русскій Вѣстникъ, 1858 г., іюль, книга 2-я.

[17]) С. Невѣдѣнскій. Катковъ и его время. Спб., 1888, стр. 116.

ловъ печатался рядомъ съ Георгіевскимъ (объ уничтоженіи невольничества въ англійскихъ колоніяхъ) и Любимовымъ. Повѣсти гр. Л. Н. Толстого, романы Гончарова и Тургенева появлялись то въ «Русскомъ Вѣстникѣ», то въ «Современникѣ». Романистка Евгенія Туръ, писавшая и статьи, въ 1860 г., разойдясь съ Катковымъ во взглядѣ на г-жу Свѣчину [18]), перешла въ Русское Слово.

Обсужденіе внутреннихъ дѣлъ не допускалось въ продолженіе 50-хъ годовъ. Въ «Русск. Вѣст.» былъ заведенъ отдѣлъ современной лѣтописи, но онъ состоялъ въ первые годы большею частью изъ свода мелкихъ статей разныхъ авторовъ по частнымъ предметамъ. Только съ 1858 года, когда приступлено было къ крестьянской реформѣ, «Русск. Вѣст.» получилъ возможность обсуждать реформу и крестьянскій вопросъ. Катковъ высказывался въ смыслѣ дарованія крестьянамъ гражданской полноправности, освобожденія крестьянъ съ землей и осуществленія операціи выкупа съ помощью правительства, т. е. пребылъ вѣрнымъ «аннибаловой клятвѣ» («Р. В.» 1858 г., т. I). Статьи печатались только съ конца апрѣля по іюль 1858 года, по независящимъ обстоятельствамъ онѣ затѣмъ прекратились. По вопросу о будущемъ положеніи дворянства послѣ осуществленія крестьянской реформы писалъ въ 1858 и 1859 гг. Безобразовъ («О сословныхъ интересахъ», «Аристократія и интересы дворянства»). Главною опорою сословія признавалось самоуправленіе. Обращали вниманіе на себя также обличительныя статьи Громеки (о взяткахъ, о предѣлахъ полицейской власти, о полицейскомъ дѣлопроизводствѣ, о полиціи внѣ полиціи, послѣднее слово о полиціи). Это тотъ Громека, котораго Добролюбовъ упоминаетъ въ «Свисткѣ»:

...Громека съ силой адской
Все о полиціи писалъ.

Самъ Катковъ выступилъ въ 1856 году со статьями о Пушкинѣ, въ которыхъ ставилъ задачею возстановленіе традицій «чистаго искусства» [19]).

Таковъ былъ этотъ первый періодъ публицистической дѣятельности Каткова и его органа: западническій, англоманскій, либеральнопрогрессивный, вѣрный «аннибаловой клятвѣ», съ тенденціями аристократизма, классицизма, чистаго искусства, «обличительный».

БИБЛІОГРАФІЯ; Софья Петровна Свѣчина, ея жизнь и переписка. Русск. Стар. 1900 г. № 9, 10, 11, 12.—Евг. Туръ. Г-жа Свѣчина. Русск. Вѣстн. 1860, т. 26.—Les grands écrivains français. Lacordaire, par Le Comte d'Haussonville. Paris. 1895. Ch. IV. p. 83—90.

---

[18]) Русская дама, перешедшая въ католицизмъ подъ вліяніемъ графа Де-Мэстра, пріятельница проповѣдника Лакордера, написала книгу подъ заглавіемъ Airelles klukva podsnejnaia.

[19]) Невѣдѣнскій. Стр. 119, 120, 121, 122, 123.

§ 9. Западническая, либеральная печать Москвы и Петербурга дѣйствовала за одно съ заграничной свободной печатью, во главѣ которой стоялъ Александръ Ивановичъ Герценъ и знаменитый „Колоколъ“ съ эпиграфомъ: Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango (призываю живыхъ, оплакиваю мертвыхъ, сокрушаю молнію — средневѣковая колокольная надпись). „Колоколъ“ въ 50-хъ годахъ и до польскаго повстанья 1864 г., лежалъ на столѣ всѣхъ сановниковъ и самого Государя. Первыя Лондонскія изданія Герцена начались въ 1853 году, когда онъ завелъ русскую типографію. „Колоколъ“, вслѣдъ возобновленной „Полярной звѣздѣ“, начался съ іюля 1857 года. Въ первый годъ Герценъ выпускалъ по одному номеру въ мѣсяцъ, а съ 1858—еженедѣльно. Спросъ на изданіе усилился на столько, что въ началѣ 60-хъ годовъ „Колоколъ“ расходился въ 2,500 экземплярахъ. Но въ 1863 г., когда началось польское возстаніе, продажа „Колокола“ упала сразу до 500 экз. Время „Колокола“ кончилось, а съ нимъ и наиболѣе яркій періодъ значенія и популярности Герцена[20]).

Въ концѣ апрѣля 1858 года, Б. Н. Чичеринъ поѣхалъ заграницу для приготовленія къ каѳедрѣ. Осенью того же года онъ свидѣлся въ Лондонѣ съ Герценомъ. „Мы ждали Чичерина съ нетерпѣніемъ, читаемъ у Герцена: нѣкогда одинъ изъ любимыхъ учениковъ Грановскаго, другъ Корша и Кавелина, онъ для насъ представлялъ близкаго человѣка“. При первомъ посѣщеніи, Чичеринъ сказалъ ему: „Я долго думалъ, ѣхать мнѣ къ вамъ, или нѣтъ? Къ вамъ теперь такъ много ѣздитъ Русскихъ, что право, надобно имѣть больше храбрости не быть у васъ, чѣмъ быть; я же, — какъ вы знаете,—вполнѣ уважая васъ, далеко не во всемъ согласенъ съ вами“. Приступъ этотъ не понравился Герцену: «Чичеринъ подходилъ не просто, не юно, у него были камни за пазухой; свѣтъ его глазъ былъ холоденъ; въ тэмбрѣ голоса былъ вызовъ и странная отталкивающая самоувѣренность. Съ первыхъ словъ я понялъ, что это не противникъ, а врагъ; но подавилъ физіологическій сторожевой окрикъ, и мы разговорились“.

«Онъ былъ почитатель французскаго демократическаго строя и имѣлъ нелюбовь къ Англійской, неприведенной въ порядокъ, свободѣ. Онъ въ императорствѣ видѣлъ воспитаніе народа, и проповѣдывалъ сильное государство и ничтожность лица передъ нимъ. Можно понять, что были эти мысли въ приложеніи къ русскому вопросу. Онъ былъ гувернменталистъ, считалъ правительство гораздо выше общества и его стремленій, и принималъ императрицу Екатерину II-ю почти за идеалъ того, что надобно Россіи. Все это ученіе шло у него изъ цѣлаго догматическаго построенія, изъ котораго онъ могъ всегда и тотчасъ выводить свою философію бюрократіи“. „Зачѣмъ вы хотите быть профессоромъ? — спросилъ Герценъ. Вы должны быть мини-

[20]) Шелгуновъ. Соч. Т. II-й. Воспоминанія, стр. 678.

стромъ». Герценъ однако проводилъ Чичерина на желѣзную дорогу, и они разстались несогласные во всемъ, «кромѣ взаимнаго уваженія».

Б. Н. Чичеринъ написалъ Герцену письмо, названное послѣднимъ «обвинительнымъ актомъ». Въ немъ онъ говорилъ между прочимъ: «Вспомните значеніе и характеръ той эпохи, въ которую мы живемъ въ Россіи. Послѣ Севастопольскаго разгрома, послѣ бѣдствій послѣдней войны, старая система управленія рушилась сама собою. Стало очевиднымъ, что прежнимъ путемъ идти невозможно, что военный порядокъ и бюрократическій формализмъ одни не въ состояніи упрочить государственное благоустройство, что общее дѣло не можетъ обойтись безъ содѣйствія всѣхъ живыхъ силъ народа. Между тѣмъ правительство не рѣшается еще прямо, явно вступить на новую дорогу; оно ни въ себѣ, ни въ обществѣ не находитъ для этого достаточной опоры; оно идетъ какъ будто ощупью, колеблясь, дѣлая шагъ впередъ и шагъ назадъ, но прислушиваясь однако же къ разнымъ голосамъ, до него долетающимъ... Съ другой стороны, народъ съ ужасомъ увидѣлъ внутреннее свое растлѣніе, онъ проситъ свѣта, проситъ лекарствъ отъ наболѣвшихъ ранъ. Какая почва для политическаго писателя: правительство, ищущее опоры! Народъ, жаждущій гласности! И передъ этими требованіями стоите вы одинъ, далеко отъ стѣсненій, вдали отъ партій, отъ мгновенныхъ страстей, отъ сплетенъ и дрязгъ, окружающихъ ежедневную жизнь».

«... Вы можете показать, что такое свободное русское слово. Въ вашемъ положеніи все, что вы говорите, имѣетъ значеніе; вы сила, вы власть въ русскомъ государствѣ. Какъ же исполняете вы свою задачу? Какую пищу вы намъ даете? Что мы отъ васъ слышимъ? Мы слышимъ отъ васъ не слово разума, а слово страсти... Вы человѣкъ брошенный въ борьбу, вы исходите страстной вѣрой и страстнымъ сомнѣніемъ, истощаетесь гнѣвомъ и негодованіемъ, впадаете въ крайность, спотыкаетесь много разъ. Это ваши собственныя слова. Но неужели это требуется отъ политической дѣятельности? Я полагалъ, что здѣсь именно необходимы обдуманность, осторожность, ясное и точное пониманіе вещей, спокойное обсужденіе цѣли и средствъ... Необузданные порывы могутъ имѣть свою поэтическую прелесть, но въ общественныхъ дѣлахъ прежде всего требуется политическій смыслъ, политическій тактъ, который знаетъ мѣру и угадываетъ пору... Какая искусная рука нужна, чтобы примирить противуборствующія стремленія, согласить враждебные интересы, развязать вѣковые узлы, чтобы путемъ закона перевести одинъ гражданскій порядокъ на другой!..»

Самъ Чичеринъ назвалъ это письмо «первымъ протестомъ русскаго человѣка» противъ направленія «Колокола», «направленія, которое компрометируетъ самое имя свободы»[21]).

---

[21]) Б. Н. Чичеринъ. Нѣсколько современныхъ вопросовъ. М. 1862. Предисловіе

«Протестъ» этотъ не имѣлъ тогда никакого смысла, ни такта. Чичеринъ именно не угадывалъ времени. Терпѣніе истощалось, минута родовъ наступала, общество металось въ предродовыхъ мукахъ. Чичеринъ же хотѣлъ «затворить чрево рождающее», проповѣдовалъ умѣренность, осторожность, когда нужно было сейчасъ начать, и кончить, и сдѣлать. Какъ и было 19 февраля.

Печатая въ «Колоколѣ» письмо Чичерина, Герценъ писалъ: «Я являюсь передъ нашими читателями съ обвинительнымъ актомъ въ рукѣ. На этотъ разъ обвиняемый не Панинъ, не Закревскій — обвиняемый я самъ. Обвиненіе это, высказанное отъ имени значительного числа мыслящихъ людей въ Россіи (выраженіе Чичерина) для меня имѣетъ большую важность. Его послѣднее слово состоитъ въ томъ, что вся дѣятельность моя, т. е. дѣло моей жизни,—приноситъ вредъ Россіи...

... Я безъ комментарій передаю обвиненіе на судъ общественнаго мнѣнія».

«До тѣхъ поръ, пока оно не станетъ громко со стороны обвиненія,— я упорно пойду тѣмъ путемъ, которымъ шелъ. До тѣхъ поръ, пока на одно такое письмо я буду получать десятки самыхъ пламенныхъ выраженій сочувствія,—я буду упорствовать. До тѣхъ поръ, пока число читателей будетъ возрастать, какъ оно теперь возростаетъ,—я буду упорствовать... Я стою передъ вами въ моей «неисправимой закоренѣлости»...

«Насъ упрекаютъ либеральные консерваторы въ томъ, что мы слишкомъ нападаемъ на правительство, выражаемся рѣзко, бранимся крупно. Насъ упрекаютъ свирѣпые красные демократы въ томъ, что мы мирволимъ Александру II, хвалимъ его, когда онъ дѣлаетъ что либо хорошее и вѣримъ, что онъ хочетъ освобожденія крестьянъ».

«Насъ упрекаютъ Славянофилы въ западномъ направленіи».

«Насъ упрекаютъ Западники въ славянофильствѣ».

«Насъ упрекаютъ прямолинейные доктринеры въ легкомысліи и шаткости, оттого что мы зимой жалуемся на холодъ, а лѣтомъ, совсѣмъ напротивъ,— на жару».

Чернышевскій и вся журналистика петербургская вознегодовала на Чичерина. Замѣчателенъ протестъ на его письмо, заключающійся такимъ воззваніемъ къ молодому поколѣнію: «Къ вамъ, молодые люди, къ вамъ, сидящимъ еще на скамейкахъ и въ аудиторіяхъ, обращаюсь я теперь. Вамъ выпадаетъ на долю великое, небывалое дѣло... умрите за сохраненіе равнаго права каждаго крестьянина на землю, умрите за общинное начало».

«Чичеринъ кампанію проигралъ, писалъ Герценъ, въ этомъ для меня нѣтъ сомнѣнія. Взрывъ негодованія, вызванный его письмомъ, былъ общимъ въ молодомъ обществѣ, въ литературныхъ кругахъ... На сторонѣ Чичерина стали: великая княгиня Елена Павловна, Тимашевъ, начальникъ III-го отдѣленія, и Н. Х. Кетчеръ».

Вождемъ движенія 50-хъ годовъ былъ несомнѣнно Герценъ и «Колоколъ» — заграничный органъ. Затѣмъ въ Петербургѣ «Современникъ» съ Чернышевскимъ и Добролюбовымъ во главѣ — органъ радикальный, дѣйствовавшій въ молчаливомъ соглашеніи съ «Колоколомъ». Затѣмъ шла уже Москва съ умѣренно — либеральнымъ постепеновцемъ «Русскимъ Вѣстникомъ», выступавшимъ осторожной, крадущейся походочкой. Сзади всѣхъ шла «Русская Бесѣда» славянофиловъ, не измѣнявшая «аннибаловой клятвѣ», но никакого успѣха со своимъ «восточнымъ свѣтомъ» не имѣвшая. Вся эта шеренга, — лѣвымъ флангомъ впередъ наступала, пока не перевалила роковой рубежъ 19 февраля 1861 года. Затѣмъ значеніе «Колокола» стало падать. Добролюбовъ и Чернышевскій выбыли изъ строя и значеніе «Современника» умалилось. Въ «Русскомъ Словѣ» началъ Писаревъ, но его радикализмъ принялъ мальчишескій характеръ. 1863 годъ создалъ успѣхъ Каткова, и онъ явился тѣмъ Катковымъ, который извѣстенъ въ литературѣ — націоналистомъ — государственникомъ. Славянофилы съ своими журналами безъ подписчиковъ сидѣли (по выраженію Каткова) въ положеніи человѣка, собравшагося чихнуть и все не чихающаго. Въ 1868 году преобразуются «Отечественныя Записки» во главѣ съ Щедринымъ и сразу роли распредѣляются. Во главѣ консервативной печати «Русскій Вѣстникъ». Во главѣ либеральной печати «Отеч. Записки».

§ 10. 23 февраля 1855 г. А. И. Кошелевъ и Т. И. Филипповъ «вошли съ прошеніемъ» о разрѣшеніи имъ съ 1856 года издавать въ Москвѣ журналъ, подъ заглавіемъ «Русская Бесѣда».

«Народность, по убѣжденію издателей, есть необходимая почва для самобытнаго и полного развитія всякаго народа, а потому они полагаютъ главною цѣлью своего журнала: изученіе Русской жизни въ Исторіи и въ настоящемъ быту... они убѣждены въ необходимости для Русскихъ оживляться въ струѣ Русскаго духа, высказываемаго Исторіею, великими событіями нашего времени и знаменательнымъ бытомъ нашего народа».

«Основное начало мнѣній, распространенію коихъ посвящается сей журналъ, есть Православіе. Оно душа всей Русской жизни; оно же должно опредѣлить характеръ всякой умственной дѣятельности въ нашей родинѣ: таково убѣжденіе издателей».

Т. Н. Грановскій, за три дня до своей кончины, 2 октября 1855 года, писалъ К. Д. Кавелину: «Я до смерти радъ, что Славянофилы затѣяли журналъ. Капиталъ даетъ Кошелевъ. Отвѣтственнымъ редакторомъ будетъ Филипповъ; критикомъ литературныхъ произведеній будетъ Григорьевъ».

27 января 1856 года воспослѣдовало высочайшее соизволеніе на то, чтобы сочиненія опальныхъ славянофиловъ разсматривать обыкновеннымъ цензурнымъ порядкомъ. 3 февраля была разрѣшена «Русская Бесѣда».

«Русская Бесѣда» провозгласила необходимость и возможность новыхъ началъ для философіи; она ратовала за народность въ наукѣ и русское воззрѣніе; отстаивала русскую сельскую общину; выразила несочувствіе къ писателямъ натуральной школы. возстала. нѣсколько поздно. потому что увлеченіе этой писательницей уже проходило. противъ Жоржъ-Зандъ.

«Мы,—писалъ Самаринъ,—только тогда достигнемъ умственной самостоятельности, когда мысль наша найдетъ своенародную Русскую точку зрѣнія».

Въ лицѣ М. Н. Каткова и Б. Н. Чичерина противъ этого возсталъ «Русскій Вѣстникъ» и утверждалъ, что въ наукѣ имѣетъ цѣну только «общечеловѣческое воззрѣніе, а не народное».

К. С. Аксаковъ писалъ:

«Недавно одно выраженіе, употребленное въ объявленіи о Русской Бесѣдѣ, подало поводъ къ нападеніямъ и толкамъ. Выраженіе это — Русское воззрѣніе... послышались возраженія такого рода: «Воззрѣніе должно быть общечеловѣческое! Какой смыслъ можетъ имѣть Русское воззрѣніе?» Но неужели можно было думать, что въ программѣ Русской Бесѣды предполагалось такое Русское воззрѣніе, которое не будетъ въ то же время общечеловѣческимъ?

«Тогда только и является произведеніе литературы, или другое какое, вполнѣ общечеловѣческимъ, когда оно въ то же время совершенно народно».

Во второй книгѣ Русской Бесѣды, было напечатано посмертное сочиненіе И. В. Кирѣевскаго: «О необходимости новыхъ началъ для философіи».

«Оно содержитъ, – писалъ Хомяковъ, – критику историческаго движенія философской науки; слѣдующая часть должна была заключать въ себѣ догматическое построеніе новыхъ для нея началъ. Таково было намѣреніе автора, таковы были наши надежды; но Богъ судилъ иначе».

Въ Русскомъ Вѣстникѣ появилась статья Б. Н. Чичерина: «О сельской общинѣ въ Россіи». Онъ утверждалъ, что наша община вовсе не патріархальная, не родовая, а государственная, вытекла изъ прикрѣпленія и изъ разложенія податей по душамъ. Противъ Чичерина въ Русской Бесѣдѣ выступилъ И. Д. Бѣляевъ. Онъ доказывалъ, что община «вытекла изъ самой души и жизни народной».

«Современникъ» о «Русской Бесѣдѣ» писалъ такъ: «Всѣ статьи, сколько нибудь выражающія духъ журнала, таковы, что ни одна не могла бы быть напечатана ни въ Русскомъ Вѣстникѣ, ни въ Отеч. Зап., ни въ Современникѣ... И, однако-же, мы отъ искренняго сердца повторяемъ свое привѣтствіе Русской Бесѣдѣ, желаемъ ей долгаго, полнаго силы существованія... Разногласіе между убѣжденіями Славянофиловъ, органомъ которыхъ хочетъ быть Русская Бесѣда, и убѣжденіями людей, противъ которыхъ они возстаютъ, касается многихъ очень важныхъ вопросовъ. Но въ другихъ еще

болѣе существенныхъ стремленіяхъ противники сходятся совершенно, мы въ томъ убѣждены; мы хотимъ свѣта и правды—Русская Бесѣда такъ-же; мы, по мѣрѣ силъ, возстаемъ противъ пошлаго, низкаго и грязнаго—Р. Б. такъ же и т. д».

Въ первой-же книгѣ Р. Б. на 1856 годъ появился разборъ драмы Островскаго «Не такъ живи, какъ хочется», написанный Т. И. Филипповымъ.

Критикъ по романамъ Жоржъ-Зандъ обличаетъ западное воззрѣніе на семейныя отношенія: «Самымъ полнѣйшимъ образомъ выражены понятія Жоржъ-Зандъ о любви въ ея знаменитомъ романѣ Лукреція Флоріани... Что же такое Лукреція Флоріани? Это есть мать четверыхъ дѣтей отъ различныхъ и живыхъ еще отцовъ и т. д.».

Т. И. Филипповъ обращается затѣмъ къ русской пѣснѣ. Сестра жалуется брату:

У меня ли, братецъ, есть четыре горя,
Есть четыре горя, пятая кручина:
Какъ первое горе—свекоръ-то бранчивый;
А второе горе—свекры ворчаливы,
Какъ третіе горе—деверекъ насмѣшникъ,
Четвертое горе—золовка смутьянка,
Пятая кручина—мужъ жену не любитъ.

Что-же отвѣчаетъ братъ? «Сохраняя полную ясность невозмущеннаго ума», онъ обозрѣлъ ея положеніе и посовѣтовалъ трудное, но лучшее:

Потерпи, сестрица, потерпи, родная!

Взрывъ журнальнаго негодованія встрѣтилъ лицемѣрную статейку Филиппова. Еще большее неудовольствіе навлекла безтактная и недоброжелательная статейка нѣкоего В. В. Григорьева (не должно смѣшивать его съ критикомъ Аполлономъ Григорьевымъ) о Грановскомъ. Московскіе студенты въ Татьянинъ день на обѣдѣ кричали: Pereat Grigorieff! Шевыревъ удивлялся, какъ могла «Бесѣда» напечатать грязный пасквиль на человѣка, только что сошедшаго въ могилу и свѣтлый образъ котораго благоговѣйно чтился всей просвѣщенной Россіей. Такъ каждой почти статьей «Бесѣда» роняла себя во мнѣніи русскаго общества и въ литературныхъ преданіяхъ осталась, какъ символъ заплѣснѣвѣлой отсталости, мертвой византійщины и лицемѣрія, хотя въ ней и писали многіе весьма замѣчательные умы. Вообще, славянофилы не имѣли никакого успѣха. Въ этомъ отношеніи весьма характерны показанія Ивана Сергѣевича Аксакова.

«Много я ѣздилъ по Россіи: имя Бѣлинскаго извѣстно каждому сколько—нибудь мыслящему юношѣ, всякому жаждущему свѣжаго воздуха среди вонючаго болота провинціальной жизни. Нѣтъ ни одного учителя гимназіи въ губернскихъ городахъ, которые-бы не знали наизусть письма Бѣлинскаго

къ Гоголю... Мы Бѣлинскому обязаны своимъ спасеніемъ, говорятъ мнѣ вездѣ молодые, честные люди въ провинціяхъ. И въ самомъ дѣлѣ, въ провинціи вы можете видѣть два класса людей: съ одной стороны — взяточниковъ, чиновниковъ въ полномъ смыслѣ этого слова, жаждущихъ лентъ, крестовъ и чиновъ; помѣщиковъ, презирающихъ идеалоговъ, привязанныхъ къ своему барскому достоинству и крѣпостному праву, вообще довольно гнусныхъ. Вы отворачиваетесь отъ нихъ, обращаетесь къ другой сторонѣ, гдѣ видите людей молодыхъ, честныхъ, возмущающихся зломъ и гнетомъ, поборниковъ эмансипаціи и всякаго простора съ идеями гуманными».

«...И если вамъ нужно честнаго человѣка, способнаго сострадать болѣзнямъ и несчастіямъ угнетенныхъ... ищите таковыхъ въ провинціи между послѣдователями Бѣлинскаго. О славянофильствѣ здѣсь въ провинціи и слыхомъ не слыхать... получается «Русскій Вѣстникъ» и другіе журналы. Въ нихъ слышится направленіе новое, требованіе просвѣщенія, жизни, простора; ему сочувствуютъ съ жаромъ»: (Письма И. С. Аксакова).

Славянофилы пытались издавать и газету. Еженедѣльная «Молва» вся почти наполнялась статьями Константина С. Аксакова.

Аксаковъ, однако, проклиналъ Молву. Хотя подписка шла хорошо, но вражда журналовъ его разстраивала. Скоро и цензуру переполошили его передовыя статьи. Прекратила газету статья его «Опытъ Синонимовъ Публика—Народъ». «Было время, когда у насъ не было публики, писалъ Аксаковъ. Возможно-ли это?— скажутъ мнѣ. Очень возможно и совершенно вѣрно: у насъ не было публики, а былъ народъ. Это было еще до построенія Петербурга...»

«Публика выписываетъ изъ-за моря мысли и чувства, мазурки и польки, народъ черпаетъ жизнь изъ родного источника. Публика говоритъ по-французски, народъ по-русски. Публика ходитъ въ нѣмецкомъ платьѣ, народъ — въ русскомъ... Публика, впередъ! народъ, назадъ! такъ воскликнулъ многозначительно одинъ хожалый».

Государь на докладѣ объ этой статьѣ начерталъ: «Статья эта мнѣ извѣстна. Нахожу, что она написана въ весьма дурномъ смыслѣ. Объявить редакціи Молвы, что если и впредь будутъ замѣчены подобныя статьи, то газета сія будетъ запрещена, а редакторъ и цензоръ подвергнутся строгому взысканію» [22]).

«Молва» скоро и была запрещена.

§ 11. Нарождалось новое «литературное племя». Остатки «олигархіи» пушкинскихъ временъ, старые арзамасцы, кружекъ Плетнева — все это отживало и заживо становилось исторіей. 7 іюля 1855 г. въ Вологдѣ

---

[22]) Барсуковъ, Погодинъ. Книга пятнадцатая, стр. 285.

скончался Батюшковъ (родился въ 1787 году), волею судебъ переживший все, чему онъ былъ зарей въ поэзіи XIX-го вѣка. Предъ кончиною просвѣтлѣлъ разумъ больного поэта. Батюшковъ внезапно пришелъ въ сознаніе и, услышавъ объ осадѣ Севастополя, попросилъ, чтобы ему собрали по болѣе картъ этой мѣстности и занимался ими.

Вскорѣ послѣ Батюшкова, скончался и старый товарищъ его по Арзамасу, графъ Сергій Семеновичъ Уваровъ, умершій въ Москвѣ 4-го сентября 1855 г. Въ этомъ году кн. Вяземскій былъ назначенъ товарищемъ министра народнаго просвѣщенія. Въ концѣ января П. В. Анненковъ выпустилъ въ свѣтъ два первые тома полнаго собр. соч. А. С. Пушкина. 15-го мая 1855 г. послѣдовало въ Царскомъ Селѣ высочайшее соизволеніе на печатаніе сочиненій Гоголя, «безъ всякихъ исключеній и измѣненій». 4-го октября умеръ Тимофей Николаевичъ Грановскій. Слѣдующій, 1856 годъ былъ особенно богатъ литературными смертями. 15-го апрѣля 1856 года умеръ Чаадаевъ. 15-го іюля—Иванъ Васильевичъ Кирѣевскій, а 25-го октября и Петръ Васильевичъ Кирѣевскій, умеръ съ горя отъ кончины брата, котораго нѣжно любилъ. Въ 1857 г. прекратилась «Сѣверная Пчела» а въ 1859 г. умеръ ея основатель знаменитый Ѳаддей Венедиктовичъ Булгаринъ. Статьи «О характерѣ просвѣщенія Европы и о его отношеніи къ просвѣщенію Россіи» (Письмо къ гр. Е. Е. Комаровскому) и «О необходимости и возможности новыхъ началъ для философіи», являются лебединой пѣсней Ивана Васильевича Кирѣевскаго, и представляютъ попытку примѣнить Кантовъ анализъ самаго орудія мышленія, самаго разума, восприемника и творца познанія, къ разуму національному и расовому, разуму германо-романскихъ и англо-саксонскихъ народовъ и разуму греко-славянскому, къ разуму запада и къ разуму востока и изъ ихъ несходства и отличій вывести несходство и отличія плода коллективнаго разума, міросозерцаній, вѣрованій, просвѣщенія и культуры Запада и Востока. Не можетъ быть задачи болѣе глубокой, трудной и плодотворной. Кирѣевскій далъ конечно только набросокъ, опытъ, но кто могъ сочувствовать и понять этого созерцателя въ такой моментъ, каковъ былъ тогда, наканунѣ реформъ чисто практическихъ?

Кирѣевской задается цѣлью опредѣлить «характеръ того просвѣщенія Россіи, которое принадлежало ей въ древнія времена, и котораго слѣды, до сихъ поръ еще, не только замѣчаются въ нравахъ, обычаяхъ и образѣ мыслей простаго народа, но проникаютъ, такъ сказать, всю душу, весь складъ ума, весь, если можно такъ выразиться, внутренній составъ Русскаго человѣка, не переработаннаго еще западнымъ воспитаніемъ» [23]).

Кирѣевскій выступаетъ противъ «общаго мнѣнія», что «различіе между просвѣщеніемъ Европы и Россіи существуетъ только въ степени, а не

[23]) Соч. т. II, 1861, стр. 229.

въ характерѣ, и еще менѣе, въ духѣ или основныхъ началахъ образованности», что «у насъ было прежде только варварство», образованность наша начинается съ той минуты, какъ мы начали подражать Европѣ», что «тамъ учители, мы ученики»[24]).

Кирѣевскій разсматриваетъ западное просвѣщеніе. «Результатъ полноты развитія, ясности итоговъ западнаго просвѣщенія во второй половины XIX-го вѣка «былъ почти всеобщее чувство недовольства и обманутой надежды». «Многовѣковой холодный анализъ разрушилъ всѣ тѣ основы, на которыхъ стояло Европейское просвѣщеніе отъ самаго начала своего развитія; такъ что собственныя его коренныя начала, изъ которыхъ оно выросло, сдѣлались для него посторонними, чужими, противорѣчащими его послѣднимъ результатамъ; между тѣмъ какъ прямою собственностью его оказался этотъ самый разрушившій его корни анализъ, этотъ самодвижущійся ножъ разума, этотъ отвлеченный силлогизмъ, не признающій ничего, кромѣ себя и личнаго опыта, этотъ самовластный разсудокъ, или, какъ вѣрнѣе назвать, эту логическую дѣятельность, отрѣшенную отъ всѣхъ другихъ познавательныхъ силъ человѣка, кромѣ самыхъ грубыхъ, — самыхъ первыхъ чувственныхъ данныхъ, и на нихъ однихъ созидающую свои воздушныя діалектическія построенія». Западный человѣкъ вѣрилъ, что «собственнымъ отвлеченнымъ умомъ можетъ создать разумную жизнь». «Цѣлая вѣчность неудачныхъ попытокъ могла-бы только утомить, но не могла-бы разочаровать его самоувѣренность, если-бы тотъ-же самый отвлеченный разумъ, на который онъ надѣялся, силою собственнаго развитія не дошелъ до сознанія своей ограниченной односторонности».

Кирѣевскій отожествляетъ здѣсь крахъ гегелевой философіи, дѣйствительный, съ мнимымъ крахомъ западнаго просвѣщенія, «ибо для человѣка, оторваннаго отъ всѣхъ другихъ вѣрованій, кромѣ вѣры въ раціональную науку, и не признающаго другого источника истины, кромѣ выводовъ собственнаго разума, судьба философіи дѣлается судьбою всей умственной жизни».

«Логическій разумъ Европы, достигнувъ высшей степени своего развитія, дошелъ до сознанія своей ограниченности, и, уяснивъ себѣ законы собственной дѣятельности, убѣдился, что весь объемъ его самодвижной силы не простирается далѣе отрицательной стороны человѣческаго знанія; что его умозрительное сцѣпленіе выводныхъ понятій требуетъ основаній, почерпнутыхъ изъ другихъ источниковъ познаванія, что высшія истины ума, его живыя зрѣнія, его существенныя убѣжденія, всѣ лежатъ внѣ отвлеченнаго круга его діалектическаго процесса»[25]).

---

[24]) Id., стр. 230.

[25]) Соч. стр. 232, 234.

Въ свою очередь въ Россіи «большая часть людей, слѣдившихъ за явленіями западной мысли, убѣдившись въ неудовлетворительности Европейской образованности, обратили вниманіе свое на тѣ особенныя начала просвѣщенія, неоцѣненныя Европейскимъ умомъ, которыми прежде жила Россія, и которыя теперь еще замѣчаются въ ней помимо Европейскаго вліянія».

«Русскіе ученые... обратили безпристрастный, испытующій взглядъ внутрь себя, своего отечества, и, изучая въ немъ новые для нихъ элементы умственной жизни, поражены были страннымъ явленіемъ: они съ изумленіемъ увидѣли, что почти во всемъ, что касается до Россіи, ея исторіи, ея народа, ея вѣры, ея коренныхъ основъ просвѣщенія, и явныхъ, еще теплыхъ слѣдовъ этого просвѣщенія на прежней Русской жизни, на характерѣ и умѣ народа... они были до сихъ поръ обмануты; не потому, чтобы ктонибудь съ намѣреніемъ хотѣлъ обмануть ихъ, но потому, что безусловное пристрастіе къ западной образованности и безотчетное предубѣжденіе противъ Русскаго варварства, заслонили отъ нихъ разумѣніе Россіи».

Теперь передъ ними становится задача «понять и выразить» «основныя начала, изъ которыхъ сложилась особенность Русскаго быта». Но «коренныя начала» эти «не раскрылись въ жизни до очевидности». Чтобы ихъ найти, надобно «искать», «они не бросаются сами въ глаза, какъ бросается образованность Европейская».

Сбереглось не «полное и досказанное выраженіе» этого просвѣщенія, но одни «намеки на его истинный смыслъ, одни его первыя начала и ихъ первые слѣды на умѣ и жизни Русскаго человѣка».

Затѣмъ Кирѣевскій ставитъ рядъ вопросовъ. «Въ чемъ-же заключаются эти начала просвѣщенія Русскаго? Что представляютъ они особеннаго отъ тѣхъ началъ, изъ которыхъ развилось просвѣщеніе Западное? и возможноли ихъ дальнѣйшее развитіе? и если возможно, то что обѣщаютъ они для умственной жизни Россіи? что могутъ принести для умственной жизни Европы»?

Полнаго отвѣта на всѣ эти вопросы Кирѣевскій не далъ, да и не могъ дать. Онъ указываетъ на «три историческія особенности», которыя дали отличительный характеръ всему развитію просвѣщенія на Западѣ.

«Особая форма, черезъ которую проникало въ него христіанство, особый видъ, въ которомъ перешла къ нему образованность древне-классическаго міра, особые элементы, изъ которыхъ сложилась въ немъ государственость».

На Западѣ «безконечная утомительная игра понятій впродолженіе семи сотъ лѣтъ; этотъ безполезный, передъ умственнымъ зрѣніемъ безпрестанно вертящійся калейдоскопъ отвлеченныхъ категорій, должны были неминуемо произвести общую слѣпоту къ тѣмъ живымъ убѣжденіямъ, которыя лежатъ выше сферы разсудка и логики; къ убѣжденіямъ, до которыхъ чело-

вѣкъ доходитъ не путемъ силлогизмовъ, но напротивъ, стараясь основать ихъ на силлогистическомъ выводѣ, только искажаетъ ихъ правду, когда не уничтожаетъ ее совершенно»[26]).

Кирѣевскій пытается затѣмъ характеризовать Западъ и Востокъ антитезой. «Тамъ раздвоеніе силъ разума,—здѣсь стремленіе къ ихъ живой совокупности; тамъ движеніе ума къ истинѣ посредствомъ логическаго сцѣпленія понятій,—здѣсь стремленіе къ ней посредствомъ внутренняго возвышенія самосознанія къ сердечной цѣльности и средоточію разума... тамъ раздвоеніе духа, раздвоеніе мыслей, раздвоеніе наукъ, раздвоеніе государства, раздвоеніе сословій; раздвоеніе общества, раздвоеніе семейныхъ правъ и обязанностей, раздвоеніе нравственнаго и сердечнаго состоянія, раздвоеніе всей совокупности всѣхъ отдѣльныхъ видовъ бытія человѣческаго общественнаго и частнаго;—въ Россіи, напротивъ того, преимущественное стремленіе къ цѣльности бытія внутренняго и внѣшняго, общественнаго и частнаго, умозрительнаго и житейскаго, искуственнаго и нравственнаго»[27]).

«Особенность Россіи заключалась въ полнотѣ и чистотѣ того выраженія, которое Христіанское ученіе получило въ ней, — во всемъ объемѣ ея общественнаго и частнаго бытія».

«Корень образованности Россіи живетъ еще въ ея народѣ и, что всего важнѣе, онъ живетъ въ его Святой, Православной Церкви». Когда высшій классъ «живѣе почувствуетъ потребность новыхъ умственныхъ началъ, когда съ разумною жаждою полной правды, онъ обратится къ чистымъ источникамъ древней Православной вѣры своего народа и чуткимъ сердцемъ будетъ прислушиваться къ яснымъ еще отголоскамъ этой Святой вѣры отечества въ прежней, родимой жизни Россіи, тогда,—вырвавшись изъ подъ гнета разсудочныхъ системъ Европейскаго любомудрія, Русскій образованный человѣкъ, въ глубинѣ особеннаго, недоступнаго для Западныхъ понятій, живого, цѣльнаго умозрѣнія Святыхъ Отцевъ Церкви, найдетъ самые полные отвѣты именно на тѣ вопросы ума и сердца, которые всего болѣе тревожатъ душу, обманутую послѣдними результатами Западнаго самосознанія».

Во второй статьѣ «О необходимости и возможности новыхъ началъ для философіи», Кирѣевскій пытается указать эти новыя начала въ «цѣлости»: «Первое условіе для возвышенія разума, — чтобы онъ стремился собрать въ одну недѣлимую цѣльность всѣ свои отдѣльныя силы, которыя въ обыкновенномъ положеніи человѣка находятся въ состояніи разрозненности... Чтобы постоянно искалъ въ глубинѣ души того внутренняго

[26]) Id. стр. 252.
[27]) Стр. 275. 276.

корня разумѣнія, гдѣ всѣ отдѣльныя силы сливаются въ одно живое и цѣльное зрѣніе ума». Это Кирѣевскій поясняетъ образно:

«Въ цѣльномъ мышленіи, при каждомъ движеніи души, всѣ ея струны должны быть слышны въ полномъ аккордѣ, сливаясь въ одинъ гармоническій звукъ».

БИБЛІОГРАФІЯ: И. В. Кирѣевскій. Полное собраніе сочиненій. Въ 2-хъ томахъ. Изд. А. И. Кошелева. М. 1861 г. Въ первомъ томѣ: Матеріалы для біографіи его. Во второмъ статьи «О характерѣ просвѣщенія» и «О необходимости новыхъ началъ».—Біографія К—го и письма братьевъ К—ихъ въ Русск. Архивѣ. 1894 г. № 7, 10 и дальше.—Г. Князевъ. Братья Кирѣевскіе. Біогр. очеркъ. Спб. 1898.— В. Лясковскій. Братья Кирѣевскіе. Жизнь и труды ихъ. Спб. 99 г. Изд. О. Р. Р. истор. просв. вып. III. — Статья П. Милюкова. Словарь Брокгаузъ-Эфронъ. т. XV. –Оцѣнка идей: Чернышевскій. Очерки гоголевск. періода. — Писаревъ. Русскій Донъ-Кихотъ. Соч. т. II. 1894 г. 215 — 234 стр. — Пыпинъ. Характеристики, гл. VI и VII.—К. Бестужевъ-Рюминъ. Славянофильское ученіе. Отеч. Зап. 1862 г. 1 -3. — Ф. Терновскій. Два пути духовнаго развитія. Тр. Кіевск. Дух. Акад. 1864 г. 4.—П. Виноградовъ. И. В. К -ій. Вопр. Философ. и Психол. 1861 г. кн. XI. Еще въ V-й книгѣ Приложеній этого изданія.— Иберверсъ. Исторія философіи. Философія у русскихъ, Колубовскаго. Здѣсь приведена библіографія.

§ 12. Если мы сравнимъ міросозерцанія Кирѣевскаго и Герцена, то увидимъ весьма многія общія черты, объясняющія, почему Западники находили, что Герценъ — славянофилъ. Не мудрено. Оба вышли изъ Канта, Шеллинга, Фихте и Гегеля, оба—романтики.

«Умирая на чужбинѣ, — говорилъ Герценъ, — сохраню вѣру въ будущность русскаго народа, и благословлю его изъ дали моей добровольной ссылки»[28]).

Прежде всего, конечно, Герценъ повторяетъ «аннибалову» клятву ненависти къ гангренѣ крѣпостнаго строя. Крѣпостники—сами рабы.

«Мы рабы, потому-что наши праотцы продали свое человѣческое достоинство за нечеловѣческія права, а мы пользуемся ими. Мы рабы — потому что мы господа. Мы слуги — потому что мы помѣщики, и помѣщики безъ вѣры въ наше право. Мы крѣпостные—потому что держимъ въ неволѣ нашихъ братій, равныхъ намъ по рожденію, по крови, по языку. Нѣтъ свободы для насъ, пока проклятіе крѣпостного состоянія тяготитъ надъ нами, пока у насъ будетъ существовать гнусное, позорное, ничѣмъ неоправданное рабство крестьянъ»[29]).

«Русское правительство соединено съ Англіей договоромъ противъ торга

[28]) Соч. т. V, стр. 15.

[29]) Писано въ 1853 г. Соч. V, стр. 302.

невольниками. Отчего-же надо непремѣнно быть чернымъ, чтобы быть человѣкомъ въ глазахъ бѣлаго царя? Или отчего онъ не произведетъ всѣхъ крѣпостныхъ въ негры? Придворные истопники за услугу и отличие состоятъ же иногда на правахъ Араповъ»[30]).

Но разъ совершится освобожденіе, что будетъ потомъ? «Должна-ли Россія, спрашиваетъ Герценъ, пройти всѣми фазами европейскаго развитія, или ея жизнь пойдетъ по инымъ законамъ?»[31]).

Нѣтъ въ мірѣ неблагодарнѣе занятія, какъ сражаться за покойниковъ. Мы вовсе не врачи — мы боль; что выйдетъ изъ нашего кряхтенія и стона, мы не знаемъ—но боль заявлена. Люди вообще принадлежатъ къ разнымъ возрастамъ человѣчества, къ разнымъ формаціямъ его, къ разнымъ томамъ всемірной исторіи. Считать существеннымъ одно неточимое молью, вѣчное, значитъ чаще всего имѣть понятія очищенныя отъ живой жизни, вродѣ гербарія логическихъ тѣней. Герценъ, какъ и Кирѣевскій, высказываетъ отвращеніе къ силлогистикѣ отвлеченія.

Баконъ Веруламскій давнымъ давно уже раздѣлилъ ученыхъ на пауковъ и пчелъ. Есть эпохи, въ которыхъ пауки рѣшительно берутъ верхъ и тогда развивается бездна паутины—но мало собирается меду. Есть условія жизни, особенно способствующія паукамъ. Для меда надобны липовыя рощи, цвѣтистыя поля, и пуще всего крылья и общежительный образъ мыслей. Для паутины достаточенъ тихій уголъ, невозмущаемый досугъ, много пыли и безучастіе ко всему, внѣ внутренняго процесса.

Да, наука есть царство безличности, успокоенное отъ страстей, почившее въ величайшемъ самопознаніи, озаренное всепроникающимъ свѣтомъ разума,— царство идей. Не мертвое, не остылое, какъ трупъ, но покойное въ самомъ движеніи своемъ какъ океанъ. Въ наукѣ, истина облеченная не въ вещественное тѣло, а въ логическій организмъ, живая архитектоникой діалектическаго развитія, а не эпопеей временнаго бытія; въ ней законъ — мысль исторгнутая, спасенная отъ бурь существованія, отъ возмущеній внѣшнихъ и случайныхъ... Мы согласны съ формалистами, наука выше жизни, но въ этой высотѣ свидѣтельство ея односторонности: конкретно-истинное не можетъ быть ни ниже, ни выше жизни, оно должно быть въ самомъ средоточіи ея, какъ сердце въ серединѣ организма. Отъ того, что наука выше жизни, ея область отвлеченна, ея полнота не полна... Мысль должна принять плоть, сойти на торжище жизни, раскрыться со всей роскошью и красотой временнаго бытія, безъ котораго нѣтъ животрепещущаго, страстнаго, увлекательнаго дѣянія.

Наука не только сознала свою самозаконность, но себя сознала зако-

---

[30]) Соч. V, 231.
[31]) Соч. V, 278.

номъ міра: переводя его въ мысль, она отреклась отъ него, какъ отъ сущаго, улетучила его своимъ отрицаніемъ, противъ дыханія котораго ничто фактическое несостоятельно. Наука разрушаетъ въ области положительно сущаго и созидаетъ въ области логики,—таково ея призваніе. Но человѣкъ призванъ не въ одну логику—а еще въ міръ соціально-историческій, нравственно-свободный и положительно-дѣятельный; у него не одна способность отрѣшающаго пониманія, но и воля, которую можно назвать разумомъ положительнымъ, разумомъ творящимъ[32]).

Тутъ Герценъ особенно близокъ съ философіей Кирѣевскаго.

Оглядываясь на путь, пройденный западной мыслью съ начала столѣтія, Герценъ остроумно выясняетъ безпочвенность классицизма и романтизма.

Ватерлоо рѣшило... кому владѣть полемъ: Наполеону — классику, или романтикамъ — Веллингтону и Блюхеру. Въ лицѣ Наполеона, императора французовъ и корсиканца, представителя классической цивилизаціи и романской Европы, германцы снова побѣдили Римъ, и снова провозгласили торжество готическихъ идей. Романтизмъ торжествовалъ; классицизмъ былъ гонимъ: съ классицизмомъ сопрягались воспоминанія, которыя хотѣли забыть, а романтизмъ выкопалъ забытое, которое хотѣли вспомнить.

Пока классицизмъ и романтизмъ воевали, одинъ, обращая міръ въ античную форму, другой въ рыцарство, возрастало болѣе и болѣе нѣчто сильное, могучее; оно прошло между ними и они не узнали властителя по царственному виду его; оно оперлось однимъ локтемъ на классиковъ, другимъ на романтиковъ, и стало выше ихъ — какъ «власть имущее»; признало тѣхъ и другихъ и отреклось отъ нихъ обоихъ:—это была внутренняя мысль, живая психея современнаго намъ міра.

Мечтательный романтизмъ сталъ ненавидѣть новое направленіе за его реализмъ!

Щупающій пальцами классицизмъ сталъ презирать его за идеализмъ.

Война оборотней.

Основа романтизма—спиритуализмъ, трансцендентность. Духъ и матерія для него не въ гармоническомъ развитіи, а въ борьбѣ, въ диссонансѣ. Природа — ложь, неистинное: все естественное отринуто. Духовная субстанція человѣка «краснѣла отъ того, что тѣло бросаетъ тѣнь» (Данте).

Романтизмъ былъ прелестная роза, выросшая у подножія распятія, обвившаяся около него, но корни ея, какъ всякаго растенія, питались изъ земли. Этого романтизмъ знать не хотѣлъ[33]).

---

[32]) Соч. т. I, 301, т. X, 215, т. I, 367.

[33]) Соч. т. I, стр. 305, 306, 310 и 311.

Во всемъ реформаціонномъ образованіи была какая-то недодѣлка: не доставало силъ идти до послѣдняго слѣдствія, не доставало геройства логики: часто ставили громогласно начало и робко отрекались отъ естественныхъ послѣдствій: часто разрушали зданіе и берегли мусоръ и битый кирпичъ; часто не умѣли ни благочестиво уважить существующее, ни смѣло отречься отъ него.

Гегель, не смотря на всю мощь и величіе своего генія, былъ тоже человѣкъ: онъ испытывалъ паническій страхъ просто выговориться въ эпоху, выражавшуюся ломаннымъ языкомъ, такъ же боялся идти до послѣдняго слѣдствія своихъ началъ: у него не достало геройства послѣдовательности, самоотверженія въ принятіи истины во всю ширину ея и чего бы она ни стоила.

Присовокупимъ къ этому дурную привычку говорить языкомъ школы, которую онъ поневолѣ долженъ былъ пріобрѣсти, говоря всю жизнь съ нѣмецкими учеными. Но мощный геній его и тутъ прорывается во всемъ колоссальномъ своемъ величіи. Возлѣ запутанныхъ періодовъ, вдругъ одно слово, какъ молнія, освѣщаетъ безконечное пространство вокругъ, и душа ваша долго еще трепещетъ отъ громовыхъ раскатовъ этого слова и благоговѣетъ передъ высказавшимъ его[34]).

Въ европейскомъ строѣ Герценъ глубоко разочарованъ. „Западъ гніетъ"—съ этимъ выраженіемъ Шевырева и онъ согласенъ. Въ Европѣ реформаторы хотятъ, не мѣняя стѣнъ, дать имъ иное назначеніе, какъ-будто планъ острога можетъ годиться для свободной жизни.

Ветхій міръ, католико-феодальный, далъ всѣ видоизмѣненія, къ которымъ онъ былъ способенъ, развился во всѣ стороны, до высшей степени изящнаго и отвратительнаго, до обличенія всей истины въ немъ заключенной, и всей лжи; наконецъ онъ истощился[35]).

Народное представительство—идея новой, буржуазной Европы, по мнѣнію Герцена,—многоголовый Калигула, Бурбонъ—размѣнянный на мѣдные гроши.

Буржуазія—классъ людей, который при общей потерѣ пріобрѣтаетъ: дворянство лишается правъ—они усугубляютъ свои; народъ умираетъ съ голоду—они сыты; народъ вооружается и идетъ громить враговъ—они выгодно поставляютъ сукна, провіантъ.

Буржуазія не имѣетъ великаго прошедшаго и никакой будущности. Она была минутно хороша, какъ отрицаніе,—какъ переходъ, какъ противуположность, какъ отстаиваніе себя. Ея силъ стало на борьбу и на побѣду; но сладить съ побѣдою она не могла: не такъ воспитана. Дворянство имѣло

[34]) Соч. т. V, стр. 331, т. I, 349 и 350.

[35]) Соч. т. V, стр. 55.

свою общественную религію; правилами политической экономіи нельзя замѣнить догматы патріотизма, преданія мужества, святыню чести; есть, правда, религія противуположная феодализму, (т. е. соціализмъ), но буржуа поставленъ между двумя этими религіями. Наслѣдникъ блестящаго дворянства и грубаго плебеизма, буржуа соединилъ въ себѣ самые рѣзкіе недостатки обоихъ, утративъ достоинства ихъ. Онъ богатъ какъ вельможа, но скупъ какъ лавочникъ.

Во время Бомарше Фигаро былъ внѣ закона, въ наше время Фигаро законодатель; тогда онъ былъ бѣденъ, униженъ, и оттого сочувствовалъ голоду и въ смѣхѣ его скрывалось много злобы. Теперь его Богъ благословилъ всѣми дарами земными, онъ обрюзгъ, отяжелѣлъ, ненавидитъ голодныхъ и не вѣритъ въ бѣдность, называя ее лѣнью и бродяжничествомъ. У обоихъ Фигаро общее одно лакейство, но изъ-подъ ливреи Фигаро-стараго виденъ человѣкъ, а изъ-подъ чернаго фрака Фигаро-новаго проглядываетъ ливрея [36]).

Ничто въ Россіи не имѣетъ того характера застоя или смерти, который постоянно и утомительно встрѣчается въ неизмѣняемыхъ повтореніяхъ одного и того-же, изъ рода въ родъ, у старыхъ народовъ Запада [37]).

Мы довольно долго изучали хилый организмъ Европы во всѣхъ слояхъ и вездѣ находили вблизи перстъ смерти, и только изрѣдка вдали слышалось пророчество. Мы сначала тоже надѣялись, вѣрили, старались вѣрить. Предсмертная борьба такъ быстро искажала одну черту за другой, что нельзя было обманываться. Жизнь потухала, какъ послѣдняя свѣчка въ окнахъ, прежде разсвѣта.

Все получаетъ значеніе гуртовое, оптовое, рядовое, почти всѣмъ доступное, но не допускающее ни эстетической отдѣлки, ни личнаго вкуса. Возлѣ, за угломъ, вездѣ дожидается стотысячеголовая гидра, готовая безъ разбора все слушать, все смотрѣть, всячески одѣться, всѣмъ наѣстся — это та самодержавная толпа сплоченной посредственности (conglomerated mediocrity) Стюарта Милля, которая все покупаетъ, и потому всѣмъ владѣетъ—толпа безъ невѣжества, но и безъ образованія.

Внизу средніе вѣка народныхъ массъ, надъ ними вольноотпущенные горожане, еще выше кондотьеры и философы, попы безумія и попы разума, живые представители всѣхъ варварствъ отъ герцога Альбы до Кавеньяка, и всѣхъ цивилизацій отъ Гуго Гроція и до Прудона, отъ Лайолы до Бланки—вотъ Европа.

Государственныя формы Франціи и другихъ европейскихъ державъ — не совмѣстны по внутреннему своему понятію ни съ свободой, ни съ ра-

---

36) Соч. т. IV, стр. 151, 152, 153.

37) Соч. V, стр. 277.

венствомъ, ни съ братствомъ, всякое осуществленіе этихъ идей будетъ отрицанемъ современной европейской жизни, ея смертью [38]).

Все въ Европѣ стремится съ необычайной быстротой къ коренному перевороту или къ коренной гибели; нѣтъ точки, на которую бы можно опереться; все горитъ какъ на огнѣ—преданія и теоріи, религія и наука, новое и старое.

Трудно себѣ представить въ какомъ безвыходномъ, замкнутомъ на-глухо кругѣ понятій бьется современный европейскій человѣкъ, и какъ ему трудно достается, какъ его сбиваетъ съ толку, какъ ему становится ребромъ, всякая мысль, неподходящая подъ заученныя имъ правила, подъ заготовленныя имъ рубрики [39]).

«Европа не спитъ — она умираетъ!» восклицаетъ Герценъ въ 1850 г. (соч. т. V, стр. 137). Послѣдніе, слабые и болѣзненные остатки прежней жизни едва достаточны, чтобы удержать на нѣсколько времени распадающіяся части тѣла, которыя стремятся къ новымъ сочетаніямъ, къ развитію иныхъ формъ.

Какъ же долженъ отнестись русскій человѣкъ къ европейскому гніенію?

Русскій, снимая съ себя цѣпи, становится самымъ свободнымъ человѣкомъ въ Европѣ... Что намъ за дѣло до вашихъ преемственныхъ обязанностей, намъ меньшимъ и лишеннымъ наслѣдства? И какъ намъ принять вашу поблеклую нравственность, не человѣческую и не христіанскую, существующую только въ риторическихъ упражненіяхъ, въ воскресныхъ проповѣдяхъ, въ прокурорскихъ разглагольствованіяхъ? Съ чего намъ уважать ваши судебныя палаты, съ ихъ тяжелыми, давящими сводами безъ свѣта и воздуха, перестроенныя на готическій ладъ въ средніе вѣка, и побѣленныя вольноотпущенными мѣщанами послѣ революціи?.. [40]).

Понятно, съ какимъ озлобленіемъ идеи Герцена долженъ былъ встрѣтить «Русскій Вѣстникъ» съ его англоманствомъ и поклоненіемъ буржуазному либерализму. Не съ меньшимъ чѣмъ и воззрѣнія Кирѣевскаго съ братіей.

БИБЛІОГРАФІЯ: Сочиненія Герцена только въ заграничномъ изданіи.—Біографія: Смирновъ. Жизнь и дѣятельность Г—на въ Россіи и заграницей. Спб. 1897.—Вѣтринскій. Въ сороковыхъ годахъ. Стр. 96—120. М. 1899.—Пассекъ. Изъ дальнихъ лѣтъ. Воспоминанія. Спб. 1878—1879.—Тучкова-Огарева. Болѣзнь и смерть Г—на. Сѣв. Вѣстн. 1896. 4.—Иностранныя газеты о Герценѣ. Недѣля. 1870. № 5.—Письма: Письма Герцена къ Д. П. Голохвастову (1839—1840). Р. Арх. 1887 г. II.—Изъ переписки недавнихъ дѣятелей. Русск. Мысль. 1888 г. 7, 9—11; 89 г.

[38]) Соч. т. V, стр. 139, т. IV, стр. 123, т. X, стр. 207, т. V, стр. 59.

[39]) Соч. т. IV, 336 и т. V, стр. 249.

[40]) Соч. т. IV, стр. 392.

1. 4. 10, 12; 90 г. 3, 4. 8—10; 92 г. 7—9.—А. И. Герценъ и Н. А. Захарьина. Ихъ переписка. Р. М. 93 г. 1. 3. 4. 6—8. 11. Нов. Слово. 96 г. 4. 5. 7. 9. 10 и 97 г. 4—6. 8.—Неизданныя письма Бѣлинскаго къ А. И. Г-ну Р. М. 91 г. 1.—Некрасова. Связка писемъ Г-на. Сѣв. Вѣстн. 94 г. 7, 8. — Оцѣнка идей Герцена, наиболѣе полная, хотя все-же недостаточная, въ книгѣ Страхова «Борьба съ западомъ», т. I.—Полная библіографія въ словарѣ Венгерова.

§ 13. Критика 50-хъ годовъ мало изучена, а между тѣмъ чрезвычайно содержательна. 1855 — 1856 г. является эпохой ея цвѣтенія, такъ какъ время съ 1848 по 1855—роковое семилѣтіе, когда реакція подавила почти всякую серьезную мысль въ литературѣ. Критика 50-хъ годовъ является съ одной стороны въ антитезѣ теоріи чистаго искусства и теоріи утилитарной, и вмѣстѣ съ тѣмъ представляетъ двѣ весьма замѣчательныя попытки синтеза обоихъ направленій въ «органической» критикѣ Апол. Григорьева и въ «исторической» критикѣ Дружинина. Представителемъ теоріи чистаго искусства является Анненковъ. Продолжателями утилитарныхъ началъ критики Бѣлинскаго въ его послѣдній, петербургскій періодъ времени были два богато одаренные критика— Добролюбовъ и Чернышевскій.

Сынъ чрезвычайно бѣднаго священника, Николай Александровичъ Добролюбовъ родился въ Нижнемъ-Новгородѣ, 24-го января 1836 г. Однообразное, скаредное житье-бытье въ семьѣ наложило печать замкнутости и суровости на характеръ будущаго знаменитаго критика. Въ 1848 г. онъ поступаетъ въ семинарію. Чуждаясь товарищей, Добролюбовъ зарылся въ книги. Въ среднихъ классахъ онъ подавалъ огромныя сочиненія по русской церковной исторіи и по ученію отцовъ церкви. Выйдя изъ семинаріи за два года до окончанія курса, въ августѣ 1853 г., Добролюбовъ ѣдетъ въ Петербургъ, намѣреваясь держать экзаменъ въ Духовную Академію, но вмѣсто того поступаетъ въ Педагогическій институтъ. Здѣсь, по прежнему погруженный въ книги, онъ исполняется гражданскаго аскетизма, сурово отвергаетъ всѣ удовольствія, усматривая въ нихъ «начало примиренія съ обществомъ», «питаетъ желчь свою».

Уже въ началѣ 1855 года онъ познакомился съ Н. Г. Чернышевскимъ. Въ 1856 году, за годъ до окончанія курса въ Педагогическомъ институтѣ, въ «Современникѣ» появилась его первая, критико-библіографическая статья о «Собесѣдникѣ», журналѣ екатерининскаго времени. Она обратила на себя вниманіе. По окончаніи курса, въ половинѣ 1857 года, Добролюбовъ становится постояннымъ сотрудникомъ «Современника», а въ концѣ 1858, принимаетъ на себя веденіе отдѣловъ критики и библіографіи. За три года работы написаны имъ тѣ четыре компактные тома, которые составляютъ его сочиненія, и 17-го ноября 1861 года его уже не стало.

Добролюбовъ, какъ извѣстно, писалъ стихи, чуждые истинной поэзіи, но

въ которыхъ было, по выраженію Тургенева, нѣчто не хуже поэзіи. Въ нихъ прорывается та половина его души, жаждущей счастья, которую онъ подавилъ суровымъ гражданскимъ долгомъ и честностью, въ смыслѣ непримиримой вражды къ крѣпостническому строю, въ садахъ котораго онъ не желалъ сорвать ни одной розы. Да, онъ могъ сказать—

Милый другъ, я умираю,
Потому что былъ я честенъ.

19-е февраля озарило ослѣпительнымъ блескомъ критика — гражданина, но оно не могло воскресить той половины души его, которую онъ принесъ въ жертву величественному идеалу. И вотъ, скорбное признаніе въ неудовлетворенности человѣческихъ потребностей, не смотря на осуществленіе гражданскихъ чаяній, породило извѣстное всѣмъ стихотвореніе:

Пускай умру — печали мало,
Одно страшитъ мой умъ больной,
Чтобы и смерть не разыграла
Обидной шутки надо мной.
Боюсь, чтобъ надъ холоднымъ трупомъ
Не пролилось горячихъ слезъ,
Чтобъ кто-нибудь въ усердьи глупомъ
На гробъ цвѣтовъ мнѣ не принесъ.
...Чтобъ все, чего желалъ такъ жадно
И такъ напрасно я живой,
Не улыбнулось мнѣ отрадно
Надъ гробовой моей доской.

Нѣкоторая отрѣшенность отъ жизни, міръ книгъ и теорій, незначительный опытъ, малый кругъ впечатлѣній провинціальнаго города и Петербурга, семинарской среды и узкаго литературнаго кружка не могли не сказаться на произведеніяхъ мысли и міросозерцаніи Добролюбова нѣкоторою узостью, но тѣмъ сильнѣе было дѣйствіе его писаній на современниковъ. Въ своихъ приговорахъ Добролюбовъ нерѣдко какъ критикъ судилъ криво, но какъ гражданинъ не ошибался никогда. Всякая строка его била не мимо, а прямо въ цѣль. Публицистическая критика Добролюбова шла отъ гражданскаго безошибочнаго чувства, но не имѣла стройныхъ философскихъ предпосылокъ. Въ наше время многое въ его произведеніяхъ обветшало, не ветшаетъ только идеально чистая личность критика и никогда не обветшаетъ! Эту прекрасную личность мы всегда будемъ находить въ каждой его строкѣ, и она не утратитъ никогда своего обновляющаго дѣйствія на русскаго человѣка, какъ личности Грановскаго, Бѣлинскаго, Станкевича, Веневитинова, Радищева, Вл. Соловьева. Замѣчательнѣйшія изъ статей Добролюбова: «Органическое развитіе человѣка», «Николай Владиміровичъ Станкевичъ»

(1858 г.): «Что такое Обломовщина?» (1859 г.); «Темное царство» (1859 г.); «Когда-же придетъ настоящій день?» (1860 г.): «Лучъ Свѣта въ темномъ царствѣ» (1860 г.): наконецъ «Свитокъ», въ которомъ онъ высмѣялъ ту «гласность» и «обличительное направленіе», которое довольствовалось словами, и не думало о необходимости прямыхъ и коренныхъ реформъ.

Болѣе опредѣленную и законченную систему критическихъ началъ даетъ Чернышевскій, человѣкъ громадныхъ знаній и колоссальнаго ума, «der grosse russische Gelehrte und Kritiker» (Карлъ Марксъ).

Николай Гавриловичъ Чернышевскій родился въ Саратовѣ 19-го іюня 1828 г. Его отецъ сначала занималъ мѣсто инспектора духовнаго училища, а потомъ былъ священникомъ. Образованный и умный человѣкъ, онъ отличался отзывчивымъ сердцемъ и честностью. Маленькій Чернышевскій счастливо и беззаботно провелъ дѣтство въ семьѣ, былъ чрезвычайно религіозенъ: много читалъ, пользуясь библіотеками сосѣдей — помѣщиковъ. Въ 1842 году онъ поступилъ въ семинарію на 15-мъ году отъ рожденія. Средняго роста, съ тихимъ голосомъ, волнистыми, мягкими волосами, застѣнчивый, какъ дѣвушка, и крайне близорукій, онъ занимался языками (татарскимъ, арабскимъ, еврейскимъ, сверхъ древнихъ и новыхъ). Учителя были отъ него въ восторгѣ. Въ ноябрѣ 1844 г. онъ вышелъ изъ семинаріи и подготовившись, въ 1846 поступилъ въ петербургскій университетъ.

Духъ времени быстро разрушилъ инстинктивную религіозность Чернышевскаго. Втеченіе университетскаго курса онъ занимался древними языками, словесностью, славянскими нарѣчіями, слушалъ лекціи И. И. Срезневскаго, и подъ его руководствомъ составилъ словарь къ Ипатьевской лѣтописи, напечатанный въ прибавленіяхъ къ «Изв. II. отд. Акад. Наукъ» 1853 г. Въ 1850 году выпущенный кандидатомъ, Чернышевскій занимаетъ затѣмъ мѣсто учителя въ Саратовѣ. Уже женатымъ, въ 1854 году онъ перемѣщенъ былъ во 2-й корпусъ въ Петербургъ, но еще съ 1853 начинаютъ въ «Современникѣ» появляться его переводы и библіографическія статьи. Въ 1855 г. онъ выдержалъ магистерскій экзаменъ и защитилъ диссертацію, но министръ Норовъ конфисковалъ ее и степени Чернышевскій не получилъ.

До 1858 года Чернышевскій завѣдывалъ критическимъ отдѣломъ Современника; двѣ крупныя работы его за это время: «Очерки Гоголевскаго періода» и «Лессингъ и его время». Когда отдѣлъ этотъ перешелъ къ Добролюбову, онъ всецѣло отдался публицистикѣ. Въ этотъ періодъ 1859, 1860, 1861, 1862 и 1863 г. главнымъ образомъ Чернышевскій являлся экономистомъ. Его «примѣчанія» къ переводу политической экономіи Милля, по словамъ Карла Маркса, сокрушили буржуазную экономику. Наконецъ тогда-же явился его утопическій романъ «Что дѣлать?».

Съ 1864 г. дѣятельность Чернышевскаго прекращается до возвращенія на родину въ Саратовъ въ 1883 году. До своей смерти затѣмъ онъ пере-

водитъ исторію Вебера. Изъ этого сочиненія имъ переведены одиннадцать томовъ и 2/3 12-го, по тысячѣ страницъ и изданы Солдатенковымъ.

Этотъ великій подвижникъ мысли и страдалецъ идеи почилъ въ 12 час. 35 минутъ ночи, съ 16-го на 17-е октября 1889 г.[41]).

Такимъ образомъ, какъ критикъ, Чернышевскій вполнѣ выразился въ 50-хъ годахъ.

Взглядъ на литературную эволюцію выраженъ въ его „Очеркахъ гоголевскаго періода русской литературы". (1855—1856 г.г.) въ которыхъ онъ воскрешалъ затоптанныя семилѣтней реакціей, традиціи критики Бѣлинскаго. „Гоголевское направленіе, говоритъ онъ здѣсь, до сихъ поръ остается въ нашей литературѣ единственнымъ сильнымъ и плодотворнымъ", хотя на многихъ страницахъ 2-го тома „Мертвыхъ Душъ" Гоголь является „адвокатомъ закоснѣлости". „Давно уже не было въ мірѣ писателя, который былъ-бы такъ важенъ для своего народа, какъ Гоголь для Россіи. Гоголя должно считать отцомъ русской прозаической литературы, какъ Пушкина — отцомъ русской поэзіи. Мало того, Гоголь быстро доставилъ прозѣ рѣшительный перевѣсъ надъ поэзіей, перевѣсъ, сохраняемый ею до сихъ поръ. За Гоголемъ остается заслуга, что онъ первый далъ русской литературѣ рѣшительное стремленіе въ столь плодотворномъ направленіи, какъ критическое. Пушкина давно уже всѣ признали великимъ, неоспоримо великимъ писателемъ; имя его — священный авторитетъ для каждаго русскаго читателя и даже нечитателя. Никто не находитъ неудобнымъ для себя признавать его великимъ писателемъ, потому что поклоненіе Пушкину не обязываетъ ни къ чему. Гоголь, напротивъ, принадлежитъ къ числу тѣхъ писателей, любовь къ которымъ требуетъ одинаковаго съ ними настроенія души, потому что ихъ дѣятельность есть служеніе опредѣленному направленію нравственныхъ стремленій[42]).

Разсмотрѣвъ затѣмъ дѣятельность Николая Полеваго и Сенковскаго, критикъ переходитъ къ славянофиламъ и утверждаетъ, что „славянофильство навѣяно къ намъ съ запада". „Нѣтъ ни одной существенной мысли въ немъ (рѣшительно ни одной), которая не была-бы заимствована изъ нѣкоторыхъ второстепенныхъ (?) французскихъ и нѣмецкихъ писателей"[43]).

Указавъ на неуспѣхъ критики пушкинскаго „Современника", Чернышевскій выясняетъ причину этого неуспѣха:

„Для распространенія въ публикѣ какихъ-бы то ни было, хотя бы самыхъ простыхъ и справедливыхъ мнѣній, необходимо высказывать ихъ

---

[41]) Біографич. данныя о Чернышевскомъ и Добролюбовѣ, заимствованы нами въ «Исторіи новѣйшей русской литературы» А. М. Скабичевскаго. Изд. 4-е, 1900 г., стр. 60—65 и 68—72.

[42]) Очерки. Изд. 2-е, 1893, стр. 21 и предыдущія.

[43]) Id., стр. 103.

очень настойчиво, упорно, съ энтузіазмомъ страстнаго увлеченія, не утомляющагося скучными для самого критика, но нужными для массы повтореніями, не пренебрегающаго подробнымъ разборомъ книгъ и сужденій, которыя важны только по своему внѣшнему значенію—по вліянію на публику, а не по внутреннему интересу для искусства, наконецъ не отвращающагося, ради интересовъ публики, даже отъ споровъ съ людьми, вступать въ споръ съ которыми вовсе непріятно и не почетно... Критикъ, который хочетъ говорить только о томъ, о чемъ интересно говорить для него самого, который хочетъ сохранить въ своей дѣятельности столько-же гордаго спокойствія и достоинства, сколько сохраняетъ поэтъ или ученый — такой критикъ пишетъ для немногихъ [11]).

Итакъ, критика Чернышевскаго, чисто утилитарная, приспособленная къ времени и средѣ (ради интересовъ публики). Далѣе онъ выясняетъ достоинства критиковъ гоголевскаго періода. Всѣ они пріобрѣтали жизнь, смыслъ и силу отъ одной одушевлявшей ихъ страсти—отъ пламеннаго патріотизма. Для насъ идеалъ патріота — Петръ Великій; высочайшій патріотизмъ—страстное, безпредѣльное желаніе блага родинѣ, одушевлявшее всю жизнь, направлявшее всю дѣятельность этого великаго человѣка. Бэконъ, Декартъ, Галилей, Лейбницъ, Ньютонъ, нынѣ Гумбольдъ и Либихъ, Кювье и Фареде трудились и трудятся, думая о пользахъ науки вообще, а не о томъ, что именно въ данное время нужно для блага извѣстной страны. Мы не знаемъ и не спрашиваемъ себя, любили ли они родину: такъ далеко ихъ слава отъ связи съ патріотическими заслугами. Они, какъ дѣятели умственнаго міра, космополиты. То-же надобно сказать о многихъ великихъ поэтахъ западной Европы. Укажемъ въ примѣръ на величайшаго изъ нихъ—Шекспира... Онъ служилъ искусству, а не родинѣ: не патріотическія стремленія, а только художественно-психологическіе вопросы были двинуты впередъ Макбетомъ и Лиромъ, Ромео и Отелло. Изъ другихъ великихъ поэтовъ о многихъ надобно сказать то-же самое. Назовемъ Аріосто, Корнеля, Гете... У насъ не то: историческое значеніе каждаго русскаго великаго человѣка измѣряется его заслугами родинѣ, его человѣческое достоинство силою его патріотизма... Ломоносовъ страстно любилъ науку, но думалъ и заботился исключительно о томъ, что нужно было для блага его родины. Онъ хотѣлъ служить не чистой наукѣ, а только отечеству... Русскій, у кого есть здравый умъ и живое сердце, до сихъ поръ не могъ и не можетъ быть ничѣмъ инымъ, какъ патріотомъ, въ смыслѣ Петра Великаго—дѣятелемъ въ великой задачѣ просвѣщенія русской земли. Всѣ остальные интересы его дѣятельности—служеніе чистой наукѣ, если онъ ученый, чистому искусству, если онъ художникъ, даже идеѣ общечеловѣческой

---

[11]) Id., стр. 165.

правды, если онъ юристъ — подчиняются у русскаго ученаго, художника, юриста, великой идеѣ служенія на пользу своего отечества. Въ этомъ смыслѣ не много найдется въ нашей литературной исторіи явленій, вызванныхъ такимъ чистымъ патріотизмомъ, какъ критика гоголевскаго періода. Любовь къ благу родины была единственною страстью, которая руководила ею: каждый фактъ искусства цѣнила она по мѣрѣ того, какое значеніе онъ имѣетъ для русской жизни. Эта идея — паѳосъ всей ея дѣятельности. Въ этомъ паѳосѣ и тайна ея собственнаго могущества... человѣка, который былъ органомъ этой критики (т. е. Бѣлинскаго), невозможно не признать геніальнымъ»[45]).

Здѣсь чрезвычайно рельефно выяснена та точка зрѣнія, съ которой смотрѣла утилитарная критика. Всѣ помыслы ея сосредоточены на томъ, чтобы опредѣлить, что именно въ данное время нужно для блага страны, и каждый фактъ искусства цѣнила она по мѣрѣ того, по скольку онъ помогалъ, или былъ безразличенъ, или вредилъ осуществленію блага общественнаго «данной минуты». И наука, и искусство, и право, все должно служить пропагандѣ и осуществленію извѣстнаго практическаго блага. Время дѣйствительно способствовало успѣху такой критики, такъ какъ предъ людьми 50-хъ годовъ стояла одна ясная задача — уничтоженіе рабства, и эта задача все проницала, все осоляла. Всѣ сознавали, что пока не рѣшенъ этотъ вопросъ, нельзя жить, дышать, мыслить, ни о чемъ еще думать нельзя, и все общество инстинктивно во всемъ искало и во все проводило это единственное, безъ чего нельзя было упразднить и остальныя язвы, проѣвшія тѣло страны. Но разъ проходитъ такая напряженная минута, наука и искусство уже не могутъ быть ancillae sociologiae. Тогда это псевдо-наука и псевдо-искусство и задачи ихъ вовсе не въ томъ, чтобы служить въ данную минуту потребностямъ общества, хотя-бы самымъ насущнымъ, а въ томъ, чтобы искать истину и красоту и вѣчный смыслъ жизни.

По мнѣнію Чернышевскаго, Бѣлинскій и главнѣйшіе изъ его сподвижниковъ «стали людьми вполнѣ самостоятельными въ умственномъ отношеніи». А до Бѣлинскаго наша критика была отраженіемъ то французскихъ, то нѣмецкихъ теорій[46]).

Можно, конечно, возразить на это, что утилитарная критика вся вышла изъ нѣмецкихъ книжекъ.

«Прочное наслажденіе, утверждаетъ Чернышевскій, дается человѣку только дѣйствительностью; серьезное значеніе имѣютъ только тѣ желанія, которыя основаніемъ имѣютъ дѣйствительность; успѣха можно ожидать только въ тѣхъ надеждахъ, которыя возбуждаются дѣйствительностью».

---

[45]) Очерки. Стр. 168, 169, 170 и 171.

[46]) Очерки. Стр. 280.

«Достичь до такого убѣжденія и дѣйствовать сообразно съ нимъ значитъ сдѣлаться человѣкомъ положительнымъ».

«Положителенъ только тотъ, кто хочетъ быть вполнѣ человѣкомъ; заботясь о собственномъ благосостояніи, любитъ и другихъ людей (потому что одинокого счастья нѣтъ); отказываясь отъ мечтаній, несообразныхъ съ законами природы, не отказывается отъ полезной дѣятельности». «Критика Бѣлинскаго прошла нѣсколько фазисовъ, и, начавъ съ отвлеченныхъ понятій, доведенныхъ до крайности, она достигла совершенной положительности»[47]).

Еще болѣе утилитарное и чисто служебное значеніе замѣны дѣйствительности придаетъ искусству Чернышевскій въ своей диссертаціи «Эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности». Самое милое человѣку, объясняетъ здѣсь критикъ, есть жизнь. Поэтому прекрасное есть жизнь, хотя жизнь, дѣйствительность всегда выше искусства. «Неодушевленная природа не думаетъ о красотѣ своихъ произведеній, какъ дерево не думаетъ о томъ, чтобы его плоды были вкусны. Но тѣмъ не менѣе надобно признаться, что наше искусство до сихъ поръ не могло создать ничего подобнаго даже апельсину или яблоку, не говоря уже о роскошныхъ плодахъ тропическихъ земель». Итакъ, апельсинъ или яблоки на лоткѣ разнощика лучше nature morte въ Эрмитажѣ. Странно, почему яблоко можно купить за гривенникъ, а nature morte можетъ стоить сотни рублей... «Красота статуи не можетъ быть выше красоты живаго индивидуальнаго человѣка; потому что снимокъ не можетъ быть прекраснѣе оригинала». «Топорная работа»—вотъ настоящее имя всѣхъ пластическихъ искусствъ, какъ скоро сравнимъ ихъ съ природою». «Всегда и само собою» въ природѣ: «очень рѣдко и съ величайшимъ напряженіемъ силъ» въ искусствѣ — вотъ фактъ». Различіе между актеромъ, играющимъ роль веселаго или печальнаго, и человѣкомъ, который въ самомъ дѣлѣ обрадованъ или опечаленъ чѣмъ-нибудь—различіе между оригиналомъ и копіею, между дѣйствительностью и подражаніемъ». Всякій чувствуетъ, — утверждаетъ Чернышевскій, что красота дѣйствительной жизни выше красоты созданій «творческой» «фантазіи». «Конечно, гораздо лучше смотрѣть на самое море, нежели на его изображеніе; но за недостаткомъ лучшаго, человѣкъ довольствуется и худшимъ, за недостаткомъ вещи—ея суррогатомъ». «Единственная цѣль и значеніе очень многихъ (большей части) произведеній искусства: дать возможность, хотя въ нѣкоторой степени, познакомиться съ прекраснымъ въ дѣйствительности тѣмъ людямъ, которые не имѣли возможности наслаждаться имъ на самомъ дѣлѣ... Предметъ прекрасный въ дѣйствительности доступенъ не всякому и не всегда, воспроизведенный (слабо, грубо, блѣдно, это правда, но все-таки воспроиз-

[47]) Очерки. Стр. 287, 289 и 310.

веденный) искусствомъ, онъ доступенъ всякому и всегда (?)». «Единственная цѣль искусства — воспроизведеніе дѣйствительности».

Чернышевскій даетъ такую пошлую роль искусству, что сразу видна совершенная несостоятельность его теоріи. Неужели nature morte пишутъ, для того, чтобы тотъ, кто не можетъ купить плодовъ или раковъ, замѣнялъ ихъ подобіемъ дѣйствительности? Неужели пейзажи пишутъ только какъ иллюстраціи путешествій, чтобы замѣнить дорогое путешествіе? Неужели женщины Рафаэля, Тиціана и Рубенса писаны для замѣны недостающихъ женщинъ? Чернышевскій не замѣчаетъ, что именно рыночная дѣйствительность противорѣчитъ его теоріи. Произведенія искусства рѣже произведеній природы и потому цѣнятся дороже. Картина Тиціана и Рубенса на стѣнахъ спальни прекрасной куртизанки дороже ея ночи. Смотрѣть на нагую натурщицу дешевле, чѣмъ купить писанный съ нея этюдъ. Если «смотрѣть лучше на самое море, нежели на его изображеніе», то почему же за марину Айвазовскаго заплатишь столько, что на эти деньги можно купить виллу на берегу моря? Писаревъ отвѣтитъ на это — потому что люди глупы... Но кромѣ воспроизведенія дѣйствительности, чтобы имѣть «Швейцарію въ карманѣ», или альбомъ «женскихъ тѣлъ», за неимѣніемъ живаго гарема, или атласъ «тропическихъ плодовъ» вмѣсто дессерта послѣ обѣда, — кромѣ этой цѣли, искусство еще произноситъ приговоръ о явленіяхъ жизни, объясняетъ жизнь, поучаетъ.

Эта роль, однако, въ диссертаціи Чернышевскаго прилѣплена совершенно искуственно. Взгляды Чернышевскаго, смягченные въ критикѣ Добролюбова, были въ 60-хъ годахъ доведены до крайнихъ своихъ выводовъ Писаревымъ, вся критическая дѣятельность котораго представляетъ доказательно ad absurdum несостоятельности утилитарной теоріи искусства.

БИБЛІОГРАФІЯ. А.) Сочиненія Добролюбова. 4 т. Съ портретомъ и біографіей, составленной А. М. Скабичевскимъ. Изд. 5-е. Спб. 1896 г. Съ указат. литературы о Добролюбовѣ, библіограф. перечнемъ его сочиненій и псевдонимовъ.—Матеріалы для біографіи Н. А. Добролюбова, собранные въ 1861—1862 г.г. Н. Г. Чернышевскимъ. Т. I. Изд. Солдатенкова. М. 1890. (Переписка съ августа 1853 по ноябрь 1861 г.).— Статья Венгерова въ Словарѣ Брокгауз. Ефронъ. т. X. - Н. Островскій. Мои воспоминанія о Д. Волж. Вѣстн. 1893 г. № 296. — Модестовъ. Д-овъ. Воспоминанія о личности и взглядѣ на писателя. Новь. 86 г. 6. — А. Г—фовъ. Похороны Д—ва. Рус. Міръ. 61 г. № 91. — И. Панаевъ. Петербургская жизнь. Замѣтки новаго поэта по поводу похоронъ Д. Совр. 1861. 11. — Т—скій. Д—овъ, его жизнь и литературная дѣятельность. Нов. Слово. 94 г. № 1. 2. — И. Ивановъ. Исторія русской критики. Т. II, ч. IV, гл. XXXVI—XXXVII. —А. Коллонтай. Основы воспитанія по взглядамъ Д—ва. Образованіе. 98 г. 9—11. — Б.) Н. Г. Чернышевскій. Что дѣлать? Изъ разсказовъ о новыхъ людяхъ. Ром. Совр. 63. 3—5. —Гимнъ Дѣвѣ Неба (Подп. Андреевъ). Р. Мысль. 85 г. № 7. —Заграницей изданы 13 томовъ его сочиненій и романъ «Прологъ къ прологу». Въ Россіи—

четыре тома критич. статей. — А. В. Смирновъ. Ч—ій. Біограф. и библіограф. свѣдѣнія. Р. Старина. 90 г. № 5. Списокъ произведеній. — А. Розановъ. Ч—ій. Матеріалы для біографіи. Р. Стар. 89 г. № 11.— Его жизнь въ Саратовѣ. Ф. В. Духовникова. Рус. Стар. 1890. LXIII. Сент. 531—568. Еще въ Р. Стар. 1889. LXIV. Дек. 830 стр. 1890. LXVI. Апр. 201—204 стр.— Фаресовъ. Ч—ій. Некрологъ. Ист. Вѣстн. 89 г. № 12. Списокъ сочиненій. — Ивановъ. Исторія русской критики. Т. II. ч. IV. гл. XXVII — XXXI. Философская и критическая дѣятельность Ч—го.

§ 14. Талантливѣйшимъ представителемъ теоріи чистаго искусства въ 50-е годы являлся Павелъ Васильевичъ Анненковъ. Онъ родился въ Москвѣ 19-го іюля 1813 года. Отецъ — богатый симбирскій помѣщикъ. Учился сначала въ Горномъ Институтѣ, гдѣ дошелъ до спеціальныхъ классовъ; затѣмъ былъ вольнослушателемъ на историко-филологическомъ факультетѣ въ петербургскомъ университетѣ. Въ 1833 г. поступилъ было на службу, но уже въ 1840 уѣхалъ заграницу. Его путевыя письма печатались въ «Отеч. зап.». 1840—42 гг. Особенно оживилась дѣятельность Анненкова въ 50-хъ годахъ. Въ 1850 вышло его изданіе сочиненій Пушкина съ матеріалами для біографіи его. До половины 60-хъ годовъ Анненковъ занимаетъ въ литературѣ почтенное положеніе глубокаго знатока искусства. И дѣйствительно—онъ расцѣниваетъ произведенія и всѣ ихъ детали, какъ ювелиръ драгоцѣнные камни, съ изумительной тонкостью вкуса и чутьемъ къ малѣйшей погрѣшности. Съ 1865 года онъ опять уѣзжаетъ заграницу, печатая воспоминанія о дѣятеляхъ литературы 40-хъ годовъ въ «Вѣстникѣ Европы». Умеръ Анненковъ 8-го марта 1887 г. въ Дрезденѣ.

Съ особенной полнотой выражены эстетическіе взгляды критика въ статьяхъ его «О мысли въ произведеніяхъ изящной словесности»[48]) написанной въ 1854 г. и «Старая и новая критика» въ 1856 г., т. е. одновременно съ «Очерками» Чернышевскаго.

Самая поучительная и самая важная часть во всякомъ человѣкѣ, посвятившемъ себя искусству, съ точки зрѣнія эстетики Анненкова, художественныя привычки писателя, его сноровка и своеобычный образъ исполненія темъ. Открыть и уяснить все это себѣ, вотъ прямая задача критики. Поэтому критикъ преимущественно обсуждаетъ внѣшнюю сторону авторскаго таланта, его пріемы и способы созданія, оставляя въ сторонѣ сущность произведеній. Полная объективность —первое условіе художествен-

---

[48]) Эта статья появилась т. XLIX. Отд. III. «Современника». 1855 г. Она помѣщена подъ заглавіемъ «Характеристики: И. С. Тургеневъ и Л. Н. Толстой» въ собраніи статей и замѣтокъ П. В. Анненкова «Воспоминанія и критическіе очерки». Спб. 1879 г. Отдѣлъ второй, стр. 84.

ности. Произведеніе должно носить въ самомъ себѣ все, что нужно, и не допускать вмѣшательства автора. Указанія послѣдняго всегда дѣлаютъ непріятное впечатлѣніе, напоминая вывѣску съ изображеніемъ вытянутаго перста. Художникъ не долженъ забѣгать впередъ, чтобъ предварительно увѣдомить о выходѣ героя, о его способностяхъ и о мысли, которую призванъ олицетворить; еще менѣе позволяетъ себѣ истинный художникъ слѣдить за лицами своими, какъ нянька, наблюдая, чтобъ каждое шло прямо по начертанной дорогѣ и по сторонамъ не зѣвало. Свободно движется его герой, сохраняя безъ примѣси свою родовую физіономію.

Уясненіе истинныхъ принциповъ художественности чрезвычайно важно для словесника. Манера изложенія измѣняется вмѣстѣ съ взглядомъ на значеніе, достоинство и сущность повѣствованія. Подробности начинаютъ ложиться ровнѣе и постепеннѣе, не скопляясь въ одну массу и не разражаясь вдругъ, на подобіе шумнаго и блестящаго фейерверка. Характеры начинаютъ развиваться послѣдовательнѣе, выясняясь все болѣе и болѣе съ теченіемъ времени, какъ это и бываетъ въ жизни, а не вставая съ перваго раза совсѣмъ цѣльные и обдѣланные какъ статуя, съ которой сорвали покрывало. Сущность самихъ характеровъ дѣлается уже не такъ очевидна — вмѣсто рѣзкихъ фигуръ, требующихъ остроумія и наблюдательности, являются сложныя, нѣсколько запутанныя физіономіи, требующія уже мысли и творчества. Юморъ старается, по возможности, избѣжать передразниванья и гримасы. Поэтическій элементъ уже не собирается въ одни извѣстныя точки и не бьетъ оттуда яркимъ огнемъ, какъ съ острія электрическаго аппарата, а разлитъ по всему произведенію, принимаетъ множество оттѣнковъ. Упрощеніе способовъ повѣствованія есть послѣдствіе упрощеннаго взгляда на искусство и награда за него. Произведенія, основанныя на другихъ началахъ, никогда не достигнутъ той степени крѣпости, которая отличаетъ произведенія явившіяся просто изъ созерцанія жизни безъ всякихъ посредниковъ.

Въ каждую эпоху въ литературѣ есть какой нибудь любимый типъ, надъ которымъ всѣ пробуютъ свои силы. Этотъ типъ пропадаетъ въ искусствѣ только тогда, когда сильный талантъ внезапно или рядомъ послѣдовательныхъ очерковъ изобразитъ его во всей полнотѣ и самую идею, съ нимъ соединенную, исчерпаетъ до основанія. Съ этой поры прилежная работа писателей къ уясненію типа кончается, а начинается блѣдное подражание образу, данному сильнымъ талантомъ. Несравненно важнѣе этого явленія тѣ послѣдствія для общества, которое рождаетъ характеръ, вполнѣ доконченный, совершенно развитый въ искусствѣ; онъ начинаетъ пропадать мало по малу въ средѣ самой жизни. Въ этомъ обратномъ дѣйствіи искусства на жизнь, особенно замѣтномъ у насъ, состоитъ его положительная связь съ

нею и его моральное значеніе, въ которомъ могутъ сомнѣваться только поверхностные эстетики.

Во всякомъ истинно художественномъ произведеніи чувствуется вѣяніе мысли. А между тѣмъ, при всякомъ появленіи замѣчательнаго произведенія раздаются въ публикѣ восклицанія: это хорошо, но какая тутъ мысль и сколько тутъ мысли?

Постоянныя хлопоты о мысли, которыми занята не одна публика, но и критика, сообщаютъ педагогическій характеръ изящной литературѣ. Отъ усиленнаго умничанья свѣжесть пониманія явленій, простодушіе во взглядѣ на предметы, смѣлость обращенія съ ними—исчезаетъ. Обыкновенно предъявляютъ требованія не на художническую мысль, а на мысль или философскую или педагогическую. Съ такого рода мыслями искусство никогда имѣть дѣла не можетъ.

Каждый изъ отдѣловъ изящнаго имѣетъ свой кругъ, свой циклъ идей, нисколько не сходныхъ съ идеями, какія можетъ производить до безконечности способность разсужденія вообще. Такъ есть музыкальная, скульптурная, архитектурная, а такъ-же и литературная мысль. Всѣ онѣ обладаютъ качествами полной самостоятельности и не могутъ быть перенесены изъ одного отдѣла въ другой безъ того, чтобъ въ ту же минуту перемѣщенная мысль не сдѣлалась, вмѣсто истины, какою была на своемъ мѣстѣ, парадоксомъ и чудовищностью на другомъ. Замѣна идеи художественной—посторонней идеей, чуждой, какъ бы она въ сущности ни была глубока и почтенна, уже ничего произвести не можетъ, кромѣ умствованія безъ цѣли въ критикѣ и ложнаго произведенія безъ жизни въ созданіи.

Какого-же рода циклъ идей принадлежитъ повѣствованію и въ чемъ состоитъ сущность его?

Развитіе психологическихъ сторонъ лица или многихъ лицъ составляетъ основную идею всякаго повѣствованія, которое почерпаетъ жизнь и силу въ наблюденіи душевныхъ оттѣнковъ, тонкихъ характерныхъ отличій, игры безчисленныхъ волненій человѣческаго нравственнаго существа, въ соприкосновеніи его съ другими людьми. Никакой другой мысли не можетъ дать повѣствованіе и не обязано къ тому.

Изъ соединенія художественнаго труда съ простымъ взглядомъ на предметы, терпимостію и поэтическимъ пониманіемъ жизни являются тѣ стройныя, ясныя, и вмѣстѣ мудрыя въ простотѣ своей созданія, которыя остаются памятниками въ литературѣ.

Произведенія истинно изящныя создаются только на естественной поэтической воспріимчивости художника. Горькій, болѣзненный опытъ, воображеніе, распаленное уединенной мыслію, размышленіе, доведенное до состоянія экстаза или восторженности, разрѣшаются обыкновенно произве-

деніями, имѣющими свое относительное достоинство, но по большей части не удачными отъ разнородной смѣси, которую представляютъ.

Отъ нихъ уже нельзя ожидать полноты эстетическаго наслажденія, которое поминутно прерывается и безпрестанно возмущено грубостью первыхъ поводовъ. Высшій родъ повѣствованія тотъ, въ которомъ событія и характеры, выставленные спокойно, безъ всякой утайки и вмѣстѣ безъ наговора, сами въ себѣ носятъ свой судъ, приговоръ и мысль, присущую имъ.

Въ статьѣ «Старая и новая критика» Анненковъ разсматриваетъ идею художественности произведеній и идею народности, указывая, что эти идеи въ пятилѣтіе, съ 1850 по 1856 г., обратились почти въ единственный серьезный вопросъ, возникавшій отъ времени до времени на шумномъ полѣ, такъ называемыхъ, обозрѣній, замѣтокъ журналистики.

Понятіе о художественности является у насъ въ половинѣ 30-хъ годовъ и вытѣсняетъ сперва прежнія эстетическія ученія, о добромъ, трогательномъ, возвышенномъ и проч., а наконецъ и понятіе о романтизмѣ.

Теорія художественности выросла у старой критики до идеальнаго представленія, которое почти исключало писателей съ обыкновенными человѣческими способностями и нуждалось въ геніяхъ, колоссальныхъ талантахъ для своего воплощенія въ какомъ-либо произведеніи. Однако, сама старая критика первая и замѣтила, что теоретическія требованія ея оставляютъ въ сиротствѣ и неуваженіи многія явленія, принесшія свою долю нравственной пользы. Критика сороковыхъ годовъ сама почувствовала несостоятельность своей теоріи творчества. Не весь горизонтъ искусства обнимала она, и не всѣ явленія изящной письменности могли свободно держаться въ ней. Не покидая ни одного изъ своихъ основныхъ эстетическихъ убѣжденій, критика взялась пособить рѣзкой исключительности прежней теоріи и составила нѣчто въ родѣ пріемной залы, гдѣ съ надлежащимъ почетомъ могли быть собраны произведенія, лишенныя права на входъ въ самое святилище искусства. Она создала два отдѣльные міра для разрѣшенія противорѣчащихъ сторонъ собственной теоріи: во-первыхъ, міръ свѣтлаго искусства, непогрѣшительнаго, непричастнаго спорамъ, не подверженнаго измѣненіямъ, а за нимъ міръ необходимостей, болѣе или менѣе разумныхъ случайностей, всей спорной работы современности, которая не заботится о дипломѣ на существованіе, потому что сама есть жизнь.

Разъ оторвавшись отъ идеи чистаго искусства, какъ она представлялась ей, критика уже не знала, гдѣ остановиться, и сама подпала всѣмъ условіямъ и невзгодамъ случайности.

Теорія старой критики — несмотря на размѣры свои, слишкомъ колоссальные для содержанія, которому предназначалось въ ней жить, и которое все таки было ничто иное, какъ наша отечественная литература, — остается еще стройнымъ зданіемъ, не потрясеннымъ возраженіями и опроверженіями;

значительная доля эстетическихъ положеній старой критики еще доселѣ составляетъ лучшее достояніе нашей науки объ изящномъ и останется истиной, какъ полагать слѣдуетъ, навсегда. Съ 50-хъ годовъ начинается у насъ провѣрка всего сказаннаго прежде, и здѣсь является уже раздробленіе понятій и разнообразіе взглядовъ на искусство и художественность.

Въ безпристрастныхъ умахъ, понимавшихъ, что художественность, какъ цѣль всякаго созданія, не можетъ быть отстранена, явилось требованіе свести прежнее идеальное представленіе художественности на болѣе скромное и простое опредѣленіе, которое не нуждалось-бы въ пристройкахъ, и заключало бы довольно пространства, для вмѣщенія всѣхъ явленій словесности.

Критики, будучи черезъ мѣру устрашены ученіемъ о непосредственномъ творчествѣ, искусствѣ для самого себя, всесильномъ вдохновеніи заключили, что художественность, въ мнѣніи ея преверженцевъ, можетъ быть достигнута и безъ познаній, безъ науки, безъ живого пониманія современности. Отъ одной гипотезы было уже недалеко до другой, еще болѣе рѣзкой, именно, что въ самомъ существѣ понятія о художественности скрыто отрицаніе опыта, размышленія и образованности. Слѣдовало-бы обратить вниманіе на одно изъ первыхъ условій художественности, полноту и жизненность содержанія, которыя иначе и не пріобрѣтаются, какъ посредствомъ соединенія творческаго таланта съ обширнымъ, многостороннимъ пониманіемъ выбранной темы: недостаетъ одной изъ этихъ частей, и предметъ не исчерпанъ, цѣль произведенія не достигнута, и погрѣшность его организма отражается въ самой формѣ.

Если писатель не причастенъ труду современности, мысли ее оживляющей, если вообще онъ стоитъ ниже или внѣ ея, — ограниченность его побужденій отразится на произведеніяхъ его. Такимъ образомъ, по самой теоріи художественности, каждый художникъ въ своей сферѣ обязанъ находиться въ полномъ обладаніи матеріалами, касающимися предмета его: задача не легкая — и отъ нея сколько мы знаемъ, никто еще не отдѣлывался однимъ талантомъ! Истина природы, такъ же какъ и жизненная истина, выражаются въ наукѣ закономъ и мыслію, тѣ-же самыя истины въ искусствѣ являются въ видѣ образа и чувствованія. Тамъ изслѣдованіе, здѣсь созерцаніе, и какой бы анализъ и разборъ явленія ни былъ положенъ въ основаніе творчества, результатъ все долженъ быть одинъ и тотъ же — живой образъ и ничего болѣе.

Осудивъ прежнюю теорію искусства, какъ исканіе условныхъ формъ безъ заботы о содержаніи, критики противупоставили художественности идею народности. Но художественность не можетъ быть противупоставлена народности, такъ какъ послѣдняя есть членъ второстепенный, подчиненный; отдѣльно, безъ опредѣляющей и художественной формы, народность

искусству не принадлежитъ, а принадлежитъ этнографіи. Какъ только художникъ отстраненъ, какъ только понятіе народности переходитъ въ споръ или разсужденіе, оно теряетъ тотчасъ-же всю свою ясность, опредѣленность. Нѣтъ никакой другой формы, кромѣ чисто художественной формы, для передачи или выраженія народности.

Утилитарная критика считаетъ исканіе художественности въ искусствѣ забавой людей, имѣющихъ досугъ на забавы, а проявленіе его — игрой формъ, потѣшающихъ ухо, глазъ, воображеніе, но не болѣе. Наравнѣ съ такимъ искусствомъ или даже выше его, ставитъ она благородный поступокъ, полезную мысль, и наконецъ видимую природу и дѣйствительнаго человѣка. Эта теорія требуетъ, чтобъ искусство отказалось отъ свободнаго выбора, отъ созерцанія, отъ претензіи создавать безъ отчета, и посвятило себя преимущественно прямому служенію обществу, какъ должности.

Опыты всѣхъ вѣковъ доказали, что въ униженномъ положеніи, на второмъ планѣ и въ подчиненности, искусство всегда теряло способность производительности.

Стремленіе къ чистой художественности въ искусствѣ должно быть не только допущено у насъ, но сильно возбуждено и проповѣдуемо, какъ правило, безъ котораго вліяніе литературы на общество совершенно невозможно.

§ 15. Утилитарная теорія была выставлена Чернышевскимъ для того, чтобы отвлечь общество отъ искусства и эстетическихъ наслажденій, и направить всѣ его силы къ осуществленію практическихъ задачъ времени. Какъ ни была глубока и справедлива теорія чистаго искусства, все-же въ ней была несомнѣнная доза эпикурейства. Этическій моментъ искусства не былъ уловленъ этой теоріей. Вотъ почему явились попытки синтеза утилитарной и эстетической теорій. Одною изъ наиболѣе удачныхъ попытокъ такого рода является «органическая» критика Апол. Григорьева.

Аполлонъ Александровичъ Григорьевъ родился въ Москвѣ 1822 г. Кончилъ курсъ первымъ кандидатомъ Моск. универс. въ 1842 г. Въ 1844—46 г. сотрудничалъ въ журналахъ «Репертуаръ и Пантеонъ», въ 1849—50 (о моск. театрѣ) въ «Отеч. Зап.» Съ 1851—1855 въ Москвитянинѣ. Въ 1856 въ «Русск. Бесѣдѣ». Затѣмъ скитается по разнымъ изданіямъ, и только съ 1861—1863 пишетъ во «Времени». Въ 1864 редакторъ еженедѣльной газеты «Якорь». Въ 1864 работаетъ въ «Эпохѣ». Умеръ 25 сент. 1864 г.

Отдѣльно вышли въ 1864 г. «Стихотворенія Аполлона Григорьева», а въ 1876 г. Страховымъ изданъ 1-й томъ его сочиненій, съ портретомъ. Здѣсь помѣщены всѣ общія, руководящія статьи Ап. Григорьева за время съ 1851 по 1864 г. Какъ писатель, Ап. Григорьевъ отличался глубоко-искренностью. «Наши мысли вообще (если онѣ точно мысли, а не баловство

ство одно) суть плоть и кровь наша, суть наши чувства, вымучившіяся до формулъ и опредѣленій, говоритъ онъ. Немногіе въ этомъ сознаются, ибо и немногіе имѣютъ счастіе или несчастье рождать изъ себя собственныя, а не чужія мысли»[49]).

Ап. Григорьевъ называлъ всѣхъ, не признававшихъ высшаго значенія искусства, теоретиками, понимая подъ словомъ теорія все, что противоположно жизни, а слѣдовательно и искусству, какъ прямому «органу жизни».

Искусство не есть простое изображеніе жизни; оно есть непремѣнно и судъ надъ нею, судъ во имя самыхъ высшихъ началъ: намъ доступна, однако, только цвѣтная истина; ея выраженіе есть художество. Искусство по самой своей сущности національно. Самое творчество заключается главнымъ образомъ въ созданіи типовъ, то-есть образовъ, представляющихъ намъ опредѣленный, органически-цѣльный, и слѣдовательно носящій на себѣ печать извѣстной народности, складъ душевной жизни. Типическое (или лучше типовое) въ этомъ смыслѣ не значитъ общее, отвлеченное, одностороннее, а напротивъ частное, конкретное, многосложное, какъ явленія дѣйствительной жизни. Искусство — руководящій органъ жизни. Критику, глядящую съ такой точки зрѣнія, Ап. Григорьевъ называлъ органическою; онъ противополагалъ ее и эстетической критикѣ, какъ совершенно отвлеченной, и исторической, для которой искусство есть результатъ жизни, а не выраженіе того стремленія къ идеалу, которымъ управляется самая жизнь.

Явленія русской литературы, о которыхъ писалъ Апол. Григорьевъ, относятся главнымъ образомъ только къ періоду времени отъ Карамзина до конца жизни критика.

«Имя Ап. Григорьева,—говоритъ Ник. Ник. Страховъ,—останется навсегда связаннымъ съ тремя именами: Пушкина, Островскаго и Тургенева». Въ Островскомъ онъ первый указалъ Новое слово нашей литературы и постоянно истолковывалъ, что это поэтъ, который совершенно просто подходитъ къ изображаемому имъ быту и выводитъ изъ него цѣлый рядъ новыхъ образовъ. Всѣ эти образы—чисто-народные и изображены съ небывалою вѣрностію языка и быта.

У Ап. Григорьева мы встрѣчаемъ отзывы о множествѣ писателей, такъ какъ онъ старался показать всегда связь и внутреннія отношенія между различными литературными явленіями. Въ Пушкинѣ, говорилъ онъ, наши «объемъ и мѣра». Всѣ послѣдующія явленія представляютъ развитіе тѣхъ элементовъ, которые сказались въ Пушкинѣ.

Указавъ на появленіе новаго понятія «историческая критика», став-

---

[49]) Эпоха. 1865. № 2.

шаго достоянiемъ «фельетонистовъ» (здѣсь критикъ видимо подразумѣваетъ Дружинина). Ап. Григорьевъ писалъ еще въ 1851 году:

«Сколько-нибудь дѣльные и ученые люди, въ борьбѣ, завязавшейся въ послѣднее время между фельетонистами и людьми, вѣрующими въ значенiе искусства, приняли сторону не этихъ послѣднихъ, какъ слѣдовало-бы ожидать, а фельетонистовъ — и точно также разятъ своихъ якобы противниковъ — исторической критикой... И какъ будто-бы съ этой минуты Немезида отяготѣла надъ русской критикой. Все болѣе и болѣе впадала она въ мелочность, и дошла наконецъ до крайней точки обмелѣнiя, до дендизма»[50].

Но что-же такое въ самомъ дѣлѣ эта историческая критика? «Мы сами, — объясняетъ Ап. Григорьевъ, поборники исторической критики».

Историческая критика разсматриваетъ литературу, какъ органическiй продуктъ вѣка и народа въ связи съ развитiемъ государственныхъ, общественныхъ и моральныхъ понятiй. Всякое произведенiе литературы является на судъ ея живымъ отголоскомъ времени, его понятiй, вѣрованiй и убѣжденiй, и по стольку замѣчательнымъ, по сколько отразило оно жизнь вѣка и народа. Но, такъ какъ во всемъ временномъ есть частица вѣчнаго, непремѣннаго, и такъ какъ это вѣчное, непремѣнное остается постояннымъ масштабомъ для оцѣнки различныхъ видимыхъ явленiй, то и слѣдуетъ отсюда прямо, что общiе эстетическiе законы подразумѣваются исторической критикой художественныхъ произведенiй.

Показать относительное значенiе всѣхъ литературныхъ произведенiй въ массѣ, опредѣлить каждому подобающее мѣсто, какъ органическому, живому продукту жизни — и повѣрить каждое безотносительными законами изящнаго, непремѣнно повѣрить каждое — вотъ дѣло исторической критики... Историческая критика, разсматривая литературное произведенiе, какъ живой продуктъ общественной и моральной жизни, опредѣляетъ, что произведенiе принесло, или лучше, отразило въ себѣ живого, т. е. непремѣннаго, какихъ новыхъ струнъ коснулось оно въ душѣ человѣческой, или на какихъ старыхъ струнахъ играетъ оно искусно — что, однимъ словомъ, внесло оно содержанiемъ своимъ въ массу познанiй о человѣкѣ. Ясно, что съ этой точки зрѣнiя теряютъ въ литературѣ значенiе такiя произведенiя, которыя повторяютъ или распложаютъ мысль другихъ произведенiй...

«Каждая литературная эпоха имѣетъ своего главнаго представителя, отъ котораго, какъ отъ исходнаго пункта, ведетъ она свое начало... Такимъ генiемъ литературной эпохи, которую переживаемъ мы до сихъ поръ, по всей справедливости можетъ быть названъ Гоголь».

«Истинный художникъ самъ вѣруетъ въ разумность создаваемой имъ жизни, свято дорожитъ правдою, и оттого мы въ него вѣруемъ, и оттого

---

[50]) Русская литература въ 1851 году. Москва, 1852, № 1—4.

въ прозрачномъ его произведеніи сквозитъ очевидно созерцаемый имъ идеалъ».

Гоголь «не могъ холодно списывать, потому что самъ на себѣ носилъ язвы имъ изображаемыя; не увлекся онъ и личною раздражительностью, потому что весь проникнутъ былъ желаніемъ усовершенствованія». Въ произведеніяхъ двухъ натуральныхъ школъ («голая копировка дѣйствительности» и «исчадія, пропитанныя зловоніемъ внутренней болѣзни», какъ Голядкинъ, Прохарчинъ повѣстей Достоевскаго и др.) «раздвоился полный цѣльный Гоголь» [51]).

«Паѳосъ Гоголя—не ювеналовскій паѳосъ» [52]).

«Юморъ Гофмана только въ эксцентричностяхъ находитъ спасеніе отъ удушливой тюрьмы филистерства; Диккенсъ также полонъ любви, какъ Гоголь, но его идеалы правды, красоты и добра чрезвычайно узки, и его примиреніе, по крайней мѣрѣ для насъ русскихъ, довольно неудовлетворительно, чтобы не сказать пошло; юморъ Стерна весь вышелъ изъ скептицизма XVIII вѣка, и разлагается на двѣ составныя части: на слезливую сентиментальность, и на скептическую иронію Гамлета надъ черепомъ Іорика. Юморъ Гоголя полонъ, цѣленъ, неразложимъ» [53]).

Отъ Гоголя ведетъ свое начало весь тотъ многообразный, болѣе или менѣе удачный разносторонній анализъ повседневной, окружающей насъ дѣйствительности,- стремленіе къ которому составляетъ собою законъ настоящаго литературнаго процесса; все, что есть живого въ произведеніяхъ современной словесности, отсюда ведетъ свое начало. Такимъ образомъ у Апол. Григорьева мы находимъ гораздо болѣе глубокое пониманіе Гоголя, чѣмъ у критиковъ утилитарной школы, видѣвшей въ его произведеніяхъ, именно «ювеналовское» обличеніе общественныхъ пороковъ.

«Послѣдствія гоголевскаго слова», замѣчаетъ Ап. Григорьевъ, «можно раздѣлить на слѣдующія группы:

1) Такія произведенія, въ которыхъ взята только форма гоголевскаго творчества, а сущность міросозерцанія—лермонтовская.

2) Такія произведенія, въ которыхъ гоголевскій юморъ отдѣленъ отъ стремленія къ идеалу и господствуетъ одинъ,—дошедшій до самыхъ крайнихъ причудъ и странностей.

3) Наконецъ такія, которыя, слѣдуя пути проложенному Гоголемъ, носятъ на себѣ, однако, признаки таланта, самобытности, жизни хотя не представляютъ собою разрѣшенія никакихъ новыхъ задачъ.

Историческое происхожденіе всѣхъ этихъ трехъ категорій весьма по-

[51]) Соч. т. I, стр. 15.
[52]) Соч. т. I, стр. 17.
[53]) Соч. т. I, стр. 21.

нятно для всякаго, кто слѣдитъ постоянно за ходомъ нашей литературы и критики».

Ап. Григорьевъ указываетъ, что отношеніе Гоголя къ дѣйствительности, выразившееся по преимуществу въ юморѣ, его смѣхъ, карающій какъ Немезида потому, что въ немъ слышатся слезы по идеалѣ, могъ явиться трезвымъ лишь въ великой и цѣльной натурѣ истиннаго художника; большинствомъ онъ не былъ даже понятъ какъ слѣдуетъ и выродился въ простой протестъ личности противъ пошлой дѣйствительности, въ Лермонтовскую горечь. Понята была только форма произведеній Гоголя, понято было что новая руда открыта поэтомъ, руда анализа повседневной, обычной дѣйствительности.

Отсюда ведутъ свое начало разные сатирическіе очерки, отсюда безконечное множество повѣстей, кончающихся припѣвомъ: «и вотъ что можетъ сдѣлаться изъ человѣка», повѣстей, въ которыхъ по волѣ и прихоти ихъ авторовъ, съ героями и героинями, задохнувшимися, по ихъ мнѣнію, въ грязной дѣйствительности совершались самыя удивительныя превращенія, въ которыхъ все, окружавшее героя или героиню, намѣренно, изображалось каррикатурно.

Была своя хорошая сторона, своя заслуга въ этой манерѣ, но односторонность ея скоро обнаружилась весьма явно. Забавнѣе всего было то, что никогда такъ сильно не бранили романтизма, какъ въ этомъ періодѣ самыхъ романтическихъ отношеній авторовъ къ дѣйствительности.

Этотъ протестъ романтической Лермонтовской личности, принявшись за Гоголевскій анализъ «грязной» дѣйствительности, скоро истощился и посмѣялся самъ надъ собою.

Теперь отдѣлите болѣзненный юморъ раздраженной натуры отъ стремленія къ идеалу въ произведеніяхъ Гоголя, — чудовища явятся на свѣтъ Божій вслѣдствіе причудъ этого болѣзненнаго юмора, явятся — Макаръ Дѣвушкинъ, господинъ Голядкинъ, господинъ Прохарчинъ (Достоевскаго), всѣ эти герои зловонныхъ, темныхъ угловъ.

Третья категорія литературныхъ произведеній, обязанныхъ бытіемъ своимъ творчеству Гоголя, представляетъ собою простое изображеніе и изученіе дѣйствительности; нельзя сказать, чтобы всѣ они были чужды одинаково заднихъ мыслей, да и трудно потребовать этого въ наше время.

Послѣднее слово литературы — прямое отношеніе художника къ дѣйствительности. Внѣ этого прямого отношенія нѣтъ для таланта ничего въ настоящую минуту.

Послѣ смерти Гоголя, въ статьѣ «Русская изящная литература въ 1852 году» (Москвитянинъ 1853, № 1), Ап. Григорьевъ опять повторяетъ: «Все, что есть живаго въ современной словесности, отъ Гоголя ведетъ свое начало, или, по крайней мѣрѣ, считаетъ себя происходящимъ отъ Гоголя.

Колебаніе, броженіе, и наконецъ совершенная порча гоголевскихъ элементовъ выразились въ такъ называемой натуральной школѣ; смѣсь ихъ съ лермонтовскимъ воззрѣніемъ — въ другой категоріи произведеній; наконецъ, прямое происхожденіе отъ исходной точки приписали мы немногимъ произведеніямъ... въ которыхъ мы видѣли и видимъ новое слово искуства... новое слово жизни» [54]).

Должно изслѣдовать, какіе элементы въ литературѣ умерли или умираютъ. Во-первыхъ, умерло совсѣмъ направленіе, которое обозначали и обозначаютъ именемъ лермонтовскаго. Самымъ замѣчательнымъ остаткомъ, сознательно или безсознательно засвидѣтельствовавшимъ все безсиліе и безсодержательность этого направленія, былъ, конечно, романъ г. Авдѣева «Тамаринъ».

Другой, сколько-нибудь замѣтный отпрыскъ лермонтовскаго направленія Ап. Григорьевъ видитъ въ стихотвореніяхъ Хвощинской. Наконецъ, самымъ невиннымъ отпрыскомъ лермонтовскаго направленія можно считать различныя пословицы, расплодившіяся въ наше время (1852), въ которыхъ являются разочарованные герои и разочарованныя героини. Въ нѣсколькихъ такихъ пословицахъ, къ сожалѣнію, грѣшна и г-жа Евгенія Туръ.

Во-вторыхъ, умираетъ явно направленіе лермонтовское, принявшее гоголевскую форму, т. е. работавшее надъ дѣйствительностью съ постоянною заднею мыслію о грубости этой дѣйствительности... Сатирическіе очерки... въ которыхъ все окружавшее героя и героиню, нарочно, намѣренно изображалось карикатурно. Произведенія съ такимъ направленіемъ писались въ былую пору въ безчисленномъ количествѣ... Эта категорія произведеній литературныхъ въ свою очередь подраздѣляется на нѣсколько родовъ и видовъ. Главнымъ образомъ выдвигаются тутъ два рода: 1) родъ произведеній прямо обращенныхъ на бытъ и 2) родъ произведеній, гдѣ бытъ является удушливою сферою для прекрасныхъ, страдающихъ и развитыхъ личностей, которыя вслѣдствіе сего физически или нравственно гибнутъ... Все это умираетъ или уже вымерло въ нашей литературѣ. — вымираетъ такъ-же и ложная реакція, вызванная такимъ ложнымъ отношеніемъ къ дѣйствительности. Мы приняли за такую реакцію — практическое направленіе, выразившееся съ безжалостнымъ и сухимъ догматизмомъ въ «Обыкновенной исторіи» (Гончарова).

Въ-третьихъ, наконецъ, умерло то направленіе, которое за нѣсколько лѣтъ назадъ свирѣпствовало въ литературѣ подъ именемъ натуральной школы, и которое нѣкоторые близорукіе критики считали за прямое послѣдствіе Гоголя, но которое собственно взяло только тотъ болѣзненный

---

[54]) Соч. т. I. стр. 50.

тонъ юмора, который звучитъ въ «Запискахъ сумасшедшаго» и въ «Шинели»... міросозерцаніе этой школы было міросозерцаніемъ душныхъ и грязныхъ угловъ.

Что-же именно живетъ въ настоящей литературѣ? спрашиваетъ критикъ, и переходитъ къ «Бѣдной невѣстѣ» Островскаго, произведеніямъ Писемскаго, Потѣхина, Крестовскаго, къ «Саввушкѣ» Кокорева.

Въ статьѣ «О комедіяхъ Островскаго и ихъ значеніи въ литературѣ и на сценѣ» (Москвитянинъ, 1855 г., № 3), Ап. Григорьевъ опредѣляетъ: что-же именно есть въ немъ такого новаго, что не принимается критикою? Онъ говоритъ: «Новы въ талантѣ Островскаго, какъ во всякомъ самобытномъ талантѣ, — содержаніе и форма. Подъ содержаніемъ разумѣю я: 1) общее отношеніе поэта къ жизни, его міросозерцаніе; 2) типы, имъ создаваемые, и манеру ихъ изображенія. Подъ формою: 1) самобытность постройки произведеній, и 2) особенность языка.

Новое Слово Островскаго есть самое старое слово — народность; новое отношеніе его есть только прямое, чистое, непосредственное отношеніе къ жизни»[55]).

«Жизнь таланта есть правда»[56]).

Въ статьѣ «И. С. Тургеневъ и его дѣятельность по поводу романа: Дворянское гнѣздо» (Русское Слово, 1859 г. №№ 4, 5, 6 и 8), въ прибавленіи къ первой статьѣ: «нѣсколько словъ о законахъ и терминахъ органической критики» Ап. Григорьевъ старается показать несостоятельность критики чисто-эстетической и критики исторической, а необходимость критики **органической**.

«Изъ того, что умерла у насъ критика чисто-эстетическая, т. е. взглядъ на искусство, какъ на нѣчто отъ жизни отрѣшенное, какъ на особую, рѣзко отграниченную область, — равно какъ изъ того, что несостоятельною оказалась и критика односторонне-историческая, т. е. взглядъ на искусство, какъ на нѣчто жизнию подчиненное, дагеротипно-безмысленно отражающее жизнь во всемъ ея случайномъ и неслучайномъ, — логически вытекало требованіе инаго рода критики. Логически-же обозначалось и общее значеніе этой критики: взглядъ на искусство, какъ на синтетическое, цѣльное, непосредственное, пожалуй, интуитивное разумѣніе жизни, въ отличіе отъ знанія, т. е. разумѣнія аналитическаго, почастнаго, собирательнаго, повѣряемаго данными. Логически-же вытекало изъ этого и значеніе самаго искусства, какъ фокуса или сосредоточеннаго отраженія жизни въ томъ вѣчномъ, разумномъ и прекрасномъ, что таится надъ ея случайными явленіями.

[55]) Соч. т. I, стр. 119.
[56]) Соч. т. I, стр. 134.

Еще отчетливѣе выражаетъ свой методъ критики Ап. Григорьевъ въ статьѣ «Послѣ «Грозы» Островскаго» («Русскій Міръ», 1860 г. №№ 5, 6, 9 и 11). Свой общій взглядъ на искусство и отношенія искусства къ жизни онъ тутъ называетъ идеально - художественнымъ, въ противоположность двумъ другимъ: 1) взгляду, присвоившему себѣ въ послѣднее время названіе реальнаго, но въ сущности теоретическому, разстилающему бѣдную жизнь на прокрустово ложе, подчиняющему ее болѣе или менѣе узкой теоріи, т. е. совокупности результатовъ, добытыхъ разсудкомъ въ послѣднюю минуту современной жизни, и 2) взгляду, присвоивающему себѣ названіе эстетическаго, проповѣдывающему свое диллетантское равнодушіе къ жизни и къ ея существеннымъ вопросамъ, во имя какого-то искусства для искусства, а потому гораздо болѣе заслуживающаго названіе взгляда матеріальнаго,— грубо-ли матеріальнаго, тонко-ли матеріальнаго, это совершенно все равно».

«Искусство существуетъ для души человѣческой и выражаетъ ея вѣчную сущность въ свободномъ творчествѣ образовъ, и поэтому самому оно— независимо, существуетъ само по себѣ, и само для себя, какъ все органическое, но душу и жизнь, а не пустую игру, имѣетъ своимъ органическимъ содержаніемъ»[57]).

§ 16. Нельзя не видѣть, что не смотря на возвышенный характеръ «органической» теоріи Апол. Григорьева, она составлена все-же изъ догматическихъ положеній и страдаетъ идеализмомъ. Все выводится изъ личности одного писателя—Гоголя, при чемъ литература становится размѣненнымъ на мелкую монету Гоголемъ. Попытка научной теоріи, критическое сопоставленіе всѣхъ наличныхъ фактовъ данной литературы въ исторической и хронологической послѣдовательности этихъ фактовъ дана Дружининымъ. Отношеніе къ Дружинину установилось въ литературѣ довольно поверхностное, какъ къ блестящему фельетонисту, которымъ онъ и былъ конечно. Но рядомъ находимъ въ немъ и чрезвычайно просвѣщеннаго критика.

Въ первой половинѣ 50-хъ годовъ журналистика, главный представитель которой, Бѣлинскій, умеръ вскорѣ (въ маѣ 1848 года), сдѣлалась дѣломъ и опаснымъ, и въ высшей степени затруднительнымъ. Нужно было на срокъ придумывать о чемъ бы писать, потому-что грозное veto лежало на всемъ, что составляетъ обыкновенную пищу журналовъ... Въ такихъ обстоятельствахъ Дружининъ, застигнутый бурей при самомъ началѣ своего литературнаго поприща, оказался драгоцѣннѣйшимъ сотрудникомъ «Современника». Въ немъ неожиданно для всѣхъ проявились неисчерпа-

[57]) Соч. т. I, стр. 451.

емыя средства къ тому, чтобы поддерживать интересъ журнала. Онъ обладалъ между прочимъ удивительною силою воли и замѣчательнымъ характеромъ. Услыхавъ о затрудненіи къ появленію въ свѣтъ статьи только что оконченной, онъ тотчасъ-же принимался писать другую. Если и эту постигала та-же участь, онъ, не разгибая спины, начиналъ и оканчивалъ третью.

Блестящіе фельетоны Александра Васильевича Дружинина во всей журналистикѣ того времени одни только носили на себѣ печать жизни.

Однако серьезныя критическія статьи Дружинина о явленіяхъ словесности 50-хъ годовъ составляютъ цѣлый томъ въ его собраніи сочиненій. Характеристики Дружинина блестящи и часто глубоки. Другой томъ заключаетъ «Письма иногородняго подписчика». Это разнообразные, но часто мелочные критическіе фельетоны. Его «Сантиментальное путешествіе Ивана Чернокнижникова по петербургскимъ дачамъ», полное намековъ, теперь утратило всякую соль, но можетъ дать матеріалы для характеристики тогдашняго общества. Наиболѣе замѣчательны статьи Дружинина о произведеніяхъ англійской литературы.

А. В. Дружининъ родился въ 1825 г. и воспитывался въ Пажескомъ корпусѣ. Послѣ кратковременной службы, онъ всецѣло отдался литературѣ. Въ 1851—52 гг. онъ помѣстилъ въ «Библіотекѣ для чтенія» рядъ историко-литературныхъ статей «Джонсонъ и Босвелъ. Картины британскихъ литературныхъ нравовъ во второй половинѣ XVIII вѣка». Въ теченіе первой половины 50-хъ годовъ въ «Современникѣ» печатались его критическіе фельетоны: «Письма иногородняго подписчика о русской журналистикѣ». Съ появленіемъ съ 1856 г. въ «Современникѣ» новыхъ критиковъ, онъ перенесъ эти фельетоны въ «Библіотеку для чтенія», редакторомъ которой сдѣлался. Въ 1859 г. Дружининъ основалъ «Общество для пособія нуждающимся литераторамъ и ученымъ». 10-го января 1864 г. умеръ отъ чахотки въ Петербургѣ на 39 году жизни.

Періодъ времени съ 1848 по 1856 гг. ознаменовался гоненіемъ на стихи въ петербургскихъ изданіяхъ «Современникѣ» и «Отеч. Зап.». Стихотворенія лучшихъ лириковъ, хотя бы Фета, исчезли со страницъ журналовъ. Ихъ не пускали даже для «затычки» бѣлыхъ неполныхъ страницъ многолистныхъ серьезныхъ статей. Поэты наши пѣли лѣниво, не смѣло, рѣдко, посреди общей холодности къ дѣлу чистой поэзіи, въ бурномъ хаосѣ столкнувшихся теорій, при шумѣ полемики и борьбы, во время успѣха сатирическихъ, психологическихъ, ультрареалистическихъ прозаиковъ [28]).

Общее оживленіе съ половины 50-хъ годовъ сказалось съ одной стороны на поэзіи, а съ другой и на защитникахъ ея. Закипѣла борьба «утилитаристовъ» съ «эстетиками», которая была перенесена и въ слѣдующее

---

[28]) Сочиненія Дружинина. Томъ седьмой. Спб. 1865. стр. 13.

десятилѣтіе (60-е годы). Въ 1856 г., когда Чернышевскій и Анненковъ опредѣлили свое отношеніе къ критикѣ гоголевскаго періода, и Дружининъ пишетъ статью подъ заглавіемъ: «Критика гоголевскаго періода русской литературы и наше къ ней отношеніе». Въ сущности, всѣ названные критики устанавливали свое отношеніе къ Бѣлинскому, имя котораго только въ этомъ году стало возможнымъ называть прямо въ печати (раньше только глухо говорили объ «авторѣ статей о Пушкинѣ»).

Въ этой статьѣ Дружининъ говоритъ, что собираясь выступить передъ публикой (въ «Библіотекѣ для чтенія», послѣ того какъ роль перваго критика въ «Современникѣ» перешла къ Чернышевскому), какъ дѣятель по части критики исторіи литературы, онъ считаетъ своей обязанностью объяснить свои отношенія къ журнальнымъ судіямъ того періода, который былъ прославленъ въ художественномъ отношеніи Гоголемъ, а въ критическомъ— заслугами цѣнителей, разъяснившихъ значеніе Гоголя, и къ критикѣ вообще, между 1830 и 1848 годами сосредоточивавшейся въ журналахъ «Телеграфъ», «Телескопъ», «Отечественныя Записки» и «Современникъ».

Истинный критикъ есть дѣятель своего поколѣнія, источникъ нѣсколькихъ благотворныхъ преданій для потомства. Ему дано великое могущество, но срокъ его могущества не дологъ. Поколѣніе, живущее съ нимъ вмѣстѣ, будетъ полно его идеями и стремленіями. Новое уже не отзовется на его призывъ. Объ этомъ критики не помнятъ [59]). Такъ, главная и существенная слабость критики Гоголевскаго періода заключалась не столько въ этой самой критикѣ, сколько въ той литературной средѣ, среди которой ей приходилось дѣйствовать. Критика сороковыхъ годовъ не имѣла ни надъ собою, ни противъ себя никакой основательной критики. Далеко ниже ея, въ невѣдомыхъ литературныхъ трущобахъ, раздавалась пристрастная и жосткая полемика, не основанная ни на какихъ теоріяхъ, не приносившая никакого плода. Такова была критика «Сѣверной Пчелы». (Когда-то и булгаринская «Сѣверная Пчела» имѣла свою критику!) Въ теченіе десяти слишкомъ лѣтъ ни одинъ уважающій себя литераторъ не отвѣчалъ на ея нападенія, если даже они были полны явнымъ искаженіемъ фактовъ.

Критика 40-хъ годовъ встрѣчала въ литературѣ или полное молчаніе, или полную симпатію, или жалкую брань. Не встрѣчая серьезныхъ возраженій, критика приняла диктаторскій тонъ, стала утрачивать терпимость и хладнокровіе, такъ необходимыя для пониманія истины. Привыкнувъ къ жестокости и неправдѣ своихъ шумливыхъ соперниковъ, она слишкомъ привыкла видѣть жестокость, отсталость и неправду во всякомъ противорѣчіи. Затѣмъ, критика была голосомъ круга или кружка молодежи. Полный жизни и силъ, онъ печатно высказывалъ сегодня то, чему

---

[59]) Сочиненія Дружинина. Томъ седьмой. 1865, стр. 191 и 192.

успѣлъ выучиться вчера; торопясь бесѣдовать съ читателемъ о законахъ искусства, онъ самъ учился поучая и стремился скорѣе пускать въ оборотъ идеи объ искусствѣ, имъ самимъ только что добытыя. При самомъ началѣ своей дѣятельности, критика встрѣтила двѣ важныя задачи. Ей предстояло провѣрить теоріи и выводы старыхъ цѣнителей русской словесности, прослѣдить всю исторію литературы, и назначить мѣсто каждому изъ первыхъ дѣятелей словесности стараго времени. Въ то же время критика должна была произносить свои сужденія надъ произведеніями ей современныхъ писателей. Обѣ задачи, сливаясь въ одну, представляли изъ себя трудъ колоссальный.

Въ историко-критической оцѣнкѣ русской литературы, до Пушкинскаго періода, критика 40-хъ годовъ оказала нерушимыя услуги. Характеризуя, анализируя, воскрешая, ставя на свое мѣсто всѣхъ нашихъ писателей отъ Кантемира до Карамзина включительно, она создала рядъ этюдовъ великолѣпныхъ по исполненію. Исторія словесности получила прочныя основы. Но относясь съ величайшею правдою къ писателямъ первостепеннымъ, критика Гоголевскаго періода была менѣе справедлива къ талантамъ второго разряда. «Изъ поэтовъ и прозаиковъ, указываетъ Дружининъ, которыхъ недавняя слава была безжалостно разрушена новой критикою, многіе живутъ и благородно трудятся до нашего времени... Назовемъ хоть имя Марлинскаго... До сихъ поръ Марлинскій еще нуждается въ хладнокровной оцѣнкѣ»...

Такимъ образомъ, работа критики намѣтила только главныя вершины нашей литературы. А между тѣмъ старые писатели были почти цѣликомъ сданы въ архивъ.

Однимъ изъ существенныхъ вредныхъ недостатковъ новой русской журналистики Дружининъ признавалъ ея замѣчательное невниманіе къ дѣятелямъ нашей словесности, жившимъ до пушкинскаго періода. «Мы вѣтрены, заносчивы, лѣнивы и весьма бѣдны образованіемъ. Мы не любимъ говорить о старомъ только потому, что по этой части знаемъ весьма мало». Говоря старинными слогомъ, «вертоградъ современнаго русскаго Пинда, изобилуя цвѣтами благоуханными и плодами прелестными, полонъ крапивы и сорныхъ травъ, въ количествѣ ужасающемъ». Эта крапива, эти сорныя травы, являются въ видѣ парадоксовъ, опрометчивыхъ сужденій, ложныхъ взглядовъ, одностороннихъ выводовъ, наконецъ цѣлаго разсадника общихъ мѣстъ, сдѣлавшихся законами литературными.

«Не желаете ли перечня этихъ общихъ мѣстъ? спрашиваетъ Дружининъ. У насъ въ литературѣ весьма часто упоминается имя Нарѣжнаго, хотя мы вполнѣ убѣждены, что изъ лицъ, упоминающихъ это имя, можетъ быть, одно или два знаютъ Нарѣжнаго не по наслышкѣ. И такъ, Нарѣжнаго признано называть не бездарнымъ юмористомъ, имѣющимъ кое-что общее съ

Гоголемъ, но все-таки писателемъ отжившимъ, нелѣпымъ, неудобочитаемымъ. Когда придетъ время и этотъ въ высшей степени замѣчательный разсказчикъ будетъ оцѣненъ по совѣсти, прежній вѣтренный предразсудокъ погибнетъ на вѣки,—но теперь этотъ предразсудокъ живетъ, и стоитъ несокрушимымъ общимъ мѣсомъ, кустомъ зловредной крапивы въ нашемъ вертоградѣ!»

«Что такое Батюшковъ?—человѣкъ понимавшій древнее художество и подававшій надежды. Лермонтовъ?—поэтъ, обладавшій желѣзнымъ стихомъ, представитель байронизма въ Россіи. Грибоѣдовъ?—Сатирикъ съ озлобленнымъ умомъ, котораго «Горе отъ ума» имѣетъ недостатокъ въ драматизмѣ.

Романисты старой школы: Загоскинъ, Вельтманъ, Степановъ, Лажечниковъ?—добрые люди, которыхъ мы еще въ дѣтствѣ читали съ удовольствіемъ, но люди теперь намъ чуждые, ибо мы читаемъ другихъ, истинныхъ романистовъ. Полевой?—Критикъ съ добрыми побужденіями, хорошій журналистъ, но дѣятель, не имѣющій таланта литературнаго. Сенковскій?—остроумнѣйшій фельетонистъ, направлявшій стрѣлы своего остроумія на все великое въ словесности. Вотъ малая частица общихъ мѣстъ и вѣтренныхъ выводовъ, сравниваемыхъ нами съ сорной травой. Если бы эти выводы были въ конецъ ложны, ихъ было бы легко осмѣять и сокрушить на вѣки,—но они хуже, чѣмъ ложны—они не полны, они вѣтрены, они состоятъ изъ смѣшенія крупицы правды съ океаномъ невѣжественнаго пустословія [60]).

«Вліяніе общихъ мѣстъ и жалкихъ литературныхъ предразсудковъ еще такъ сильно въ нашей журналистикѣ, что оно по временамъ вторгается даже въ текущую словесность и вредитъ ей, и гнѣздится по угламъ журналовъ, и если его оттуда изгоняютъ, уходитъ прочь не безъ злобы и шипѣнія... Г. Островскій, напримѣръ, писатель дарованія необыкновеннаго, человѣкъ сильный и честный, достойный любви, сочувствія, уваженія со стороны всѣхъ пишущихъ,—на нашихъ глазахъ былъ провозглашенъ бездарнымъ дидактикомъ, выписавшимся драматургомъ школы Коцебу, дѣятелемъ слабымъ и недобросовѣстнымъ. Общее мѣсто было составлено, сорная трава разрослась около имени Островскаго» [61]).

Это указаніе Дружинина чрезвычайно важно. Онъ требовалъ той черновой разработки литературной эволюціи, которая одна даетъ возможность правильно оцѣнить всѣ ея крупныя и мелкія явленія—разработки историко-хронологической.

Затѣмъ онъ переходитъ въ изслѣдованію тѣхъ эстетическихъ иностран-

---

60) Соч. Др—на. Томъ 7-й. Стр. 143—144.

61) Id. 144.

ныхъ источниковъ, изъ которыхъ были почерпнуты руководящія воззрѣнія критики 40-хъ годовъ, и доказываетъ ихъ неполноту и односторонность.

Всякій русскій писатель, въ особенности если онъ принимаетъ на себя обязанность литературнаго цѣнителя, долженъ быть знакомъ съ ходомъ идей и словесности трехъ самыхъ литературныхъ государствъ Европы. Каковы бы ни были его критическія способности, онъ не въ силахъ обойтись безъ этого знакомства. Учась у нѣмца, мы должны знать, что думаетъ французъ объ идеяхъ нашего учителя. — Заимствуя понятія у француза, намъ не мѣшаетъ повѣрить то, какъ смотрятъ англичане на это понятіе. — Изъ взаимнаго международнаго контроля, проведеннаго черезъ русскій умъ и примѣненнаго къ русскому міру, и выйдетъ та истина, которою мы можемъ руководиться [62]).

Критики сороковыхъ годовъ были знакомы съ старой и новой французской словесностью, слѣдили за умственнымъ движеніемъ Германіи, но по части англійской словесности познанія ихъ были болѣе, чѣмъ ничтожны. А между тѣмъ англійскія эстетическія воззрѣнія могли бы быть вѣрнымъ противоядіемъ германской неодидактики и сентиментальнаго жоржъ-зандизма.

Лучшая пора дѣятельности критики гоголевскаго періода совпадаетъ съ послѣдними годами полнаго владычества философіи Гегеля. Гегелевское воззрѣніе, искусно приложенное къ потребностямъ русскаго искусства, начинало у насъ укореняться, какъ вдругъ въ направленіи нашей критики почувствовались колебанія. Причина? Слово Гегеля начало утрачивать свою силу въ самой Германіи. Тамъ водворилась общественная дидактика. И новая французская литература быстрыми шагами пошла къ неодидактизму. Только въ Англіи эти начала встрѣтили отпоръ. Наши критики были молоды, довѣрчивы ко всему новому, ихъ по справедливости слѣдовало назвать современными людьми, не чуждыми ничему современному.

Послѣ довольно долгихъ колебаній, замѣтно отразившихся въ ея дѣятельности, критика гоголевскаго періода поступила такъ, какъ она не могла не поступить въ своемъ положеніи, лишенная помощи, лишенная указаній. Она восприняла эстетическія теоріи нео-германскихъ дидактиковъ, но отъ примѣненія ихъ во всей ихъ жестокой непоэтичности она не могла не уклониться, благодаря своей талантливости. Жоржъ-Зандъ сталъ ея идеаломъ и кумиромъ, новые французскіе историки и экономисты приковали къ себѣ ея сочувствіе.

Великій подводный камень писателей-дидактиковъ, или, вѣрнѣе сказать, та безпощадная мель, на которую каждый изъ нихъ набѣгаетъ, едва выступивъ въ открытое море, — есть притупленіе общаго вкуса, неми-

[62]) Сочиненія Дружинина. Томъ седьмой. Стр. 210.

нуемо производимое ихъ твореніями, по существу своему однообразными. Дидактическія заблужденія критики гоголевскаго періода прежде всего отразились на текущей журнальной литературѣ, и дѣятеляхъ второклассныхъ. Беллетристика наша, поощряемая одобреніемъ своихъ судей, и указанными образцами, быстро наводнилась потокомъ самыхъ странныхъ произведеній. Реализмъ, сантиментальность новаго покроя, дидактическая тенденція основной мысли – вотъ три условія, которыми стоило только ловко распоряжаться для того, чтобъ явиться въ печати съ похвалою. Критика перестала обхватывать во всей ширинѣ Пушкина и Гоголя. Горизонтъ Пушкина, какъ горизонтъ великаго художника, былъ безпредѣльно шире горизонта всѣхъ дидактиковъ, прошедшихъ, настоящихъ и будущихъ. Гоголь не есть поэтъ отрицанія, а между тѣмъ критика сороковыхъ годовъ, сама вдавшись въ одностороннее отрицательное направленіе, силилась видѣть въ Гоголѣ его полное воплощеніе.

Изъ камня хлѣба не добудешь. Тенденція не есть еще вдохновеніе и отъ отрицанія той или другой среды до малѣйшаго поэтическаго образа разстояніе безконечно.

Но есть въ нашей молодой словесности два великихъ достоинства, два основныхъ элемента, обильныхъ будущностью, два краеугольныхъ камня. Первый изъ этихъ элементовъ есть энергія — та энергія сильныхъ организмовъ, что выражается здоровьемъ, живучестью, долговѣчіемъ, «силой на перенесеніе тяжестей», говоря карлейлевскимъ слогомъ. Эта словесность безвредно пережила періоды, грозившіе ей полнымъ извращеніемъ, униженіемъ, разслабленіемъ, и пережила ихъ такъ, что послѣ болѣзненныхъ годовъ дѣлалась еще крѣпче, еще живучѣе.

Второй основной элементъ русской литературы, составляющій ея какъ бы родовую особенность, и могущественно высказавшійся во всѣ ея, даже самые слабые, періоды, есть здравость направленія, которой нельзя не дивиться. Энергія, живучесть, устойчивость русской словесности суть качества сильнаго тѣла, а въ сильномъ этомъ тѣлѣ живетъ разумная, прямая душа. Изъ критики гоголевскаго періода, такъ страстно увлекавшей насъ, мы восприняли все свѣтлое и здравое, навсегда оттолкнувши отъ себя все случайное, вредное искусству, разрушительное по части творчества. Въ тѣ самые годы, когда эта критика должна была принести свой дидактическій плодъ, въ цѣломъ рядѣ дидактическихъ писателей, русская литература обогатилась талантами Толстого, Писемскаго и Островскаго, талантами независимыми отъ дидактическихъ теорій. Скоро появились и симптомы протеста противъ рутинной «направленщины». Прежде всего прекратилось гоненіе на поэтовъ, гоненіе, можетъ быть, имѣвшее свой смыслъ въ древнемъ Лакедемонѣ, но въ нашемъ обществѣ непонятное.

Поэты, подобные Фету и Тютчеву, будто появились съизнова. Изъ бел-

летристики начали исчезать затхлые мизантропическіе разсказчики съ однообразнымъ лиризмомъ. Читателей перестали душить слабыми переводами слабѣйшихъ вещей Жоржъ-Зандъ. Сильная и многосторонняя англійская словесность стала изучаться[63]).

«Дидактическому» направленію въ русской литературѣ еще предстояло однако долго держаться, и даже на многихъ произведеніяхъ художниковъ 40-хъ годовъ въ 60-хъ сказался гибельный дидактизмъ только въ сторону не художественнаго отношенія къ типамъ «отрицателей», въ сторону отрицанія «отрицателей» на почвѣ поученія («Взбаломученное море», Маркъ въ «Обрывѣ», «Новь» и «Дымъ» Тургенева и др.).

БИБЛІОГРАФІЯ: 1) П. В. Анненковъ. Воспоминанія и критическіе очерки 1859—1868 г.г. Собраніе статей и замѣтокъ. 3 т. Спб. 77—81 г.г. Во второмъ томѣ статья «Старая и новая критика».—О немъ: А. Н. Пыпинъ. А—въ, критикъ переходнаго времени. Сл. 80 г. 3.—2) Аполлонъ Григорьевъ. Сочиненія. Т. I. Спб. 76 г.—Его статьи: Критическій взглядъ на современную критику искусства. Библ. для Чтен. 58 г.—Нѣсколько словъ о законахъ и терминахъ органической критики. Рус. Сл. 59 г. № 5.—Народность и литература. Вр. 61 г. № 2.—Реализмъ и идеализмъ въ нашей литературѣ. Свѣточъ. 61 г. № 4.—Мои литературныя и нравственныя скитальчества. Вр. 62 г. № 11 и 12. Эпоха. 64 г. № 3. 5.—Біографическіе матеріалы: Н. Страховъ. Воспоминанія объ Ап. Григорьевѣ. Съ примѣч. Ө. Достоевскаго. Эпоха. 64 г. № 9.—А. А. Григорьевъ (сынъ). Одинокій критикъ. Недѣля (книжки). 95 г. № 8 и 9.—Пл. Красновъ. Забытая книга (о стихотвореніяхъ Ап. Григорьева). Нед. 95 г. № 10.—Шахъ-Параніянцъ. Критикъ-самобытникъ. А. Г—евъ. Біограф. очеркъ. 99 г.—Михайловъ. А. Г—евъ: жизнь въ связи съ характер. литератури. дѣят. 1900.—Н. Языковъ. Пророкъ славянофильскаго идеализма. Дѣло. 1876 г. № 9.—3) А. В. Дружининъ. Собраніе сочиненій. Изд. подъ ред. Н. В. Гербеля. 8 томовъ. Спб. 1865—1867. (Критика и библіографія, т. VII-й).—Венгеровъ. Крит. біограф. словарь, т. V. Стр. 376—433.—Кирпичниковъ. Очерки. Спб. 96 г. Здѣсь статья о Д.—А. В. Старчевскій. А. В. Д—нинъ. Изъ воспоминаній стараго журналиста. Набл. 85 г. № 4—6.—Ахматова. Знакомство съ Д-нымъ. Русск. Мысль. 91 г. № 12.

II.

§ 1. Въ 50-хъ годахъ выступилъ писатель, которому предстояло озарить сіяніемъ своего генія всю вторую половину XIX вѣка, дать эпопею русскаго народа, и въ концѣ вѣка стать властителемъ думъ не только въ своемъ отечествѣ, но и во всемъ мыслящемъ человѣчествѣ. Мы говоримъ о великомъ писателѣ земли русской, о графѣ Львѣ Николаевичѣ Толстомъ

[63]) Сочиненія Дружинина. Томъ седьмой. Стр. 259, 260, 261, 265, 266, 267

Левъ Николаевичъ родился въ 1828 году 28-го августа въ селѣ Ясная Поляна, Тульской губерніи. Онъ рано потерялъ горячо любимую мать Марью Николаевну, рожденную княжну Волконскую. Отецъ его, Николай Ильичъ, тоже умеръ вскорѣ послѣ переѣзда всей семьи въ 1837 году въ Москву. Левъ Николаевичъ получилъ домашнее воспитаніе въ традиціяхъ стараго московскаго дворянства, и въ 1843 г. поступилъ въ Казанскій университетъ. Побывалъ на филологическомъ и юридическомъ факультетахъ, а въ 1848 г. сдалъ въ Петербургскомъ университетѣ не безъ успѣха кандидатскій экзаменъ. Затѣмъ онъ уединился въ Ясной Полянѣ, гдѣ и прожилъ до 1851 года, когда поступивъ юнкеромъ въ артиллерійскую бригаду, стоявшую на Терекѣ въ станицѣ Старо-Медовской, среди кавказской природы и походной жизни написалъ нѣсколько художественныхъ произведеній, сразу поставившихъ его въ рядъ первыхъ русскихъ талантовъ. Во время крымской кампаніи великій писатель состоялъ при штабѣ дунайской арміи. Затѣмъ участвовалъ при штурмѣ Севастополя 27-го августа. Севастопольскія впечатлѣнія дали нѣсколько высоко-художественныхъ очерковъ русской литературѣ. Выйдя въ отставку по окончаніи войны, графъ Левъ Николаевичъ пріѣхалъ въ Петербургъ и вступилъ въ среду корифеевъ литературы второй половины 50-хъ годовъ, познакомившись и тѣсно сойдясь съ Дружининымъ, Тургеневымъ, Некрасовымъ, Гончаровымъ, Фетомъ и т. д. Извѣстность его достигла уже высокой степени. Поѣздки за границу не разсѣяли того мрачнаго состоянія духа, мятущагося и ищущаго, въ которомъ, не смотря на славу, находился въ этотъ періодъ жизни Левъ Николаевичъ. Исканія его разрѣшились поселеніемъ и педагогической дѣятельностью въ Ясной Полянѣ. Русская педагогика обогатилась замѣчательными статьями графа, обнаружившими въ немъ весьма глубокаго публициста-мыслителя. Въ 1862 году Левъ Николаевичъ женился на дочери доктора Берсъ, Софьѣ Андреевнѣ. Произведенія этого перваго періода по времени написанія располагаются въ такомъ хронологическомъ порядкѣ: 1851—1855—«Исторія моего дѣтства», «Набѣгъ», «Отрочество», «Утро помѣщика», «Казаки». 4 севастопольскихъ очерка. 1856 г.: «Записки маркера», «Два гусара». «Метель». 1857: «Изъ записной книжки кн. Нехлюдова», «Альбертъ»; 1859: «Три смерти». «Семейное счастье»; 1860: «Поликушка»; 1861: «Холстомѣръ» и 1862 педагогическія статьи.

Когда Толстой далъ только «Дѣтство» и «Отрочество», Анненковъ находилъ, что уже способъ созданья его достаточно уяснился и можетъ быть уясненъ критикой. Но кромѣ этого «способа созданія» въ первомъ періодѣ творчества великаго писателя (1851—1861) выяснилось разнообразіе содержанія его души и міросозерцанія. Его произведенія за это время распадаются на слѣдующія группы: чисто художественныя психологическія и бытовыя вещи (Дѣтство и отрочество, Казаки, Военные разсказы, Метель,

Поликушка, Семейное счастье и др.); произведенія, въ которыхъ является князь Неклюдовъ, типъ искателя правды, безпокойно мятущагося духомъ («Изъ записной книжки», «Утро помѣщика», «Маркеръ»); наконецъ, въ нѣкоторыхъ вещахъ съ необычайной силой выражается матеріалистически—пессимистическій взглядъ и отрицаніе всего строя бытовыхъ отношеній, поэзію которыхъ такъ умѣлъ показывать Толстой; таковы «Три смерти» и «Холстомѣръ». Въ сложной сѣти этихъ первыхъ 18 произведеній виденъ уже весь грядущій Толстой въ эмбріонѣ, въ намекахъ и проблескахъ.

Выясняя «способъ созданія» Толстого въ его первыхъ, чисто художественныхъ вещахъ, Анненковъ указываетъ, что повѣствованіе здѣсь имѣетъ многія существенныя качества изслѣдованія, не имѣя ни малѣйшихъ внѣшнихъ признаковъ его и оставаясь, по преимуществу, произведеніемъ изящной словесности. Авторъ держится перваго жизненнаго условія всякаго художественнаго повѣствованія: не отступаетъ ни на шагъ отъ простого психологическаго анализа факта, не задается похвальными цѣлями обличенія, избѣгъ этихъ «пятенъ» направленской беллетристики. Оттого и содержаніе произведеній его имѣетъ здоровый видъ, убѣдительность и ясность почти физическихъ предметовъ. У него уже почти нѣтъ мало значительныхъ внѣшнихъ признаковъ для лица, ничтожныхъ подробностей для событія. Каждая черта въ тѣхъ и другихъ доведена до значенія, иногда до разумности. Отсюда рождается замѣчательная выпуклость какъ лицъ, такъ и происшествій. Авторъ доводитъ читателя, неослабной провѣркой всего встрѣчающагося ему, до убѣжденія, что въ одномъ жестѣ, въ незначительной привычкѣ, въ необдуманномъ словѣ человѣка скрывается иногда душа его, и что они часто опредѣляютъ характеръ лица такъ-же вѣрно и несомнѣнно, какъ самые яркіе, очевидные поступки его. Такъ не говоря ни слова о разницѣ характеровъ Любиньки и Катеньки, художникъ открываетъ нравственную сущность обѣихъ дѣвушекъ—въ манерѣ ходить, носить голову, складывать руки, говорить съ людьми и смотрѣть на подходящаго. Каждая дробная часть душевной, нравственной жизни отражается у автора въ такомъ-же дробномъ, мелкомъ, но граціозномъ и вѣрномъ случаѣ.

Толстой обладаетъ даромъ чрезвычайно тонкаго анализа помысловъ и душевныхъ движеній человѣка и употребляетъ въ первыхъ своихъ вещахъ этотъ даръ на преслѣдованіе всего того, что ему кажется искусственнымъ, ложнымъ и условнымъ въ цивилизованномъ обществѣ. Сомнѣніе относительно искренности и достоинства большей части побужденій и чувствъ, такъ-называемаго, образованнаго русскаго человѣка, вмѣстѣ съ искусствомъ передать нравственные кризисы, которые посѣщаютъ его постоянно,—составляютъ отличительную черту творчества Толстого этой эпохи. Онъ проникаетъ, не разбирая пола и возраста, до дна тѣхъ кокетливыхъ и наруж-

но—благообразныхъ душевныхъ порывовъ человѣка, которые прикрываютъ другой, тайный міръ его ощущеній и мыслей, исполненный страшилищъ[64]).

Съ необыкновенной глубиной критикъ указываетъ на особое свойство мысли Толстого, въ которомъ зародышъ всей дальнѣйшей эволюціи его дѣятельности. Привычка къ сомнѣнію и анализу воспитала въ немъ самомъ капризную и заносчиво—оригинальную мысль, которая уже не сноситъ какого бы то ни было самаго законнаго посягательства на свою свободу. Страстное влеченіе къ простотѣ, естественности, силѣ и правдивости непосредственныхъ явленій жизни—вотъ идеалъ Толстого. Воплощеніе этой идеи у Толстого разнообразно, но постоянно и безпрерывно. Идея глядитъ отовсюду въ его произведеніяхъ. Она стоитъ невидимо за всѣми видами и формами его творчества. Въ частности, она даетъ смыслъ повѣсти «Казаки».

Это произведеніе Анненковъ признаетъ капитальнымъ произведеніемъ русской литературы. Предъ нами картина свободной, казацкой общины, основной грунтъ которой—поэзія. Предъ нами казаки Ерошка и Лукашка. Ерошка погруженъ въ самое наивное, откровенное и вмѣстѣ серьезное служеніе своимъ животнымъ инстинктамъ. Онъ сохраняетъ при этомъ беззлобныя отношенія къ людямъ, философическое спокойствіе и безграничную терпимость къ звѣрю, птицѣ, горцу. Лукашка—типъ разбойничьей удали. Толстой съ неподражаемымъ искусствомъ и съ едва сдерживаемымъ удивленіемъ передаетъ свободу и красоту всѣхъ движеній Лукашки, его хвастовство своей силой, молодостью, здоровьемъ, дѣтское щегольство безстрашіемъ. Не менѣе поэтическаго и художническаго таланта употребилъ Толстой и на созданіе лица Маріанны, невѣсты Лукашки, и неожиданной возлюбленной «больного цивилизаціей», заѣзжаго и романическаго юнкера Оленина.

Маріанна исполнена граціи женщины, созрѣвшей для мужа и ожидающей его. У ней, въ моральномъ смыслѣ, нѣтъ никакой покрышки, наряда. Она вся наружу—и опирается на свою природу. Влюбившись въ Маріанну, Оленинъ пожелалъ сдѣлаться казакомъ. У него, конечно, «не вышло», какъ «не вышло» и съ Маріанной. Послѣ героической смерти Лукашки въ рукопашномъ бою съ засадой горцевъ, Маріанна съ ненавистью отвергаетъ постылую любовь, слабосильнаго, нерѣшительнаго Оленина, и бѣдный юнкеръ уѣзжаетъ, сопутствуемый презрѣніемъ всей станицы.

Но верхъ злобы и сарказма, съ которыми «естественность» торжествуетъ надъ «искуственностью», и вмѣстѣ съ тѣмъ изумительную способность проникнуть въ безсознательное, посмотрѣть на міръ «съ лошадиной точки зрѣнія», представляетъ разсказъ «Холстомѣръ» (1861 г.), который можно сопоставить только съ описаніемъ острова Гуигнмовъ, разумныхъ лошадей Свифта. «Я задумывался, говоритъ Холстомѣръ (конь), надъ свойствами той

64) П. В. Анненковъ. Собраніе статей. Отд. 2-й, стр. 287.

странной породы животныхъ, съ которыми мы такъ тѣсно связаны и которыхъ мы называемъ людьми! Поразительна картина старости и смерти Холстомѣра и его кутилы-барина. Трупъ коня сожрала волчица съ волчанятами, а трупъ барина и на это не пригодился: „Мертвые, хоронившіе мертвыхъ, нашли нужнымъ одѣть это, тотчасъ же загнившее, пухлое тѣло въ хорошій мундиръ ... и отвезти его въ Москву, и тамъ раскопать давнишнія людскія кости, и именно тамъ спрятать“. Мрачный колоритъ этой вещи удручаетъ матеріализмомъ. Здѣсь Толстой — Гамлетъ, нюхающій черепъ, и признающій, что скверный запахъ, вотъ все, что осталось отъ духа, обитавшаго въ немъ. Въ своихъ севастопольскихъ разсказахъ Левъ Толстой далъ уже совершенно оригинальный простотою и правдивостью образецъ батальныхъ картинъ. Онъ первый сталъ изображать войну, какъ войну, во всемъ ея ужасѣ, а не какъ парадъ съ красивыми позами и геройскими фразами. Это отмѣтилъ Дружининъ. „Изъ числа всѣхъ державъ, войска которыхъ бились подъ стѣнами нашей Трои, говоритъ онъ, ни одна не имѣла у себя хроникёра осады, который могъ-бы соперничать съ графомъ Львомъ Толстымъ, авторомъ немногихъ замѣтокъ о Севастополѣ, небольшихъ по объему и далеко не охватывающихъ всего предмета... Англія была богата отличными корреспондентами газетъ, и изъ нихъ нѣкоторые, особенно знаменитый корреспондентъ газеты Times, превосходили графа Толстого великолѣпной художественностью изложенія, замѣченною всѣми европейскими читателями. И не смотря на огромность таланта, британскіе корреспонденты были все-таки ничѣмъ инымъ, какъ фельетонистами, хотя фельетонистами великаго дарованія. Они гнались за красотой слога, были бѣдны по части безпристрастія, наконецъ смотрѣли на дѣло не глазами поэтовъ и мыслителей, а глазами восторженной театральной публики, опьяненной видомъ красныхъ мундировъ, сверкающихъ штыковъ, скачущихъ коней и стрѣляющихъ орудій. — Они были фразерами, сами того не вѣдая... Графъ Толстой скупъ на великолѣпныя описанія, ибо хорошо знаетъ, что война кажется великолѣпнымъ дѣломъ только для поверхностныхъ зрителей“ [65]).

Наконецъ въ повѣсти „Семейное счастье“ находимъ уже тѣ женскіе типы, которые потомъ во всей полнотѣ рисуются въ гигантскихъ эпопеяхъ Толстого: „Война и миръ“ и „Анна Каренина“ — этихъ „Иліадѣ“ и „Одиссеѣ“ русской литературы.

БИБЛІОГРАФІЯ: а) Сергѣенко. Какъ живетъ и работаетъ г. Л. Н. Толстой. Со многими портрет. и рисунками. М. 1898 г. — Левенфельдъ. Гр. Л. Н. Т—ой: его жизнь, произведенія и міросозерцаніе. Пер. съ нѣм. Шклявера. Спб. 1896 г. — Зелинскій. Критическая литература о гр. Л. Т—омъ. Часть I-я. О. Н. Булгаковъ. Біографическія свѣдѣнія о гр. Л.

---

[65]) Дружининъ. Соч. т. 7-й, стр. 169—171.

Т—омъ. Здѣсь критика 50-хъ годовъ (изъ статей Анненкова, Дружинина, Дудышкина и др.). -Евг. Соловьевъ. Гр. Л. Н. Т—ой. его жизнь и литературная дѣятельность. Біограф. очеркъ. Спб. 1894 г.—Еще см. «Волжскій Вѣстникъ» 1891. №№ 318. 319, 322. 326, 330. 331: 1893: №№ 70, 98 и «Русск. Вѣд.» 1898 г. №№ 194, 196.— б) Критическія статьи о первыхъ произведеніяхъ Толстого: Анненковъ. Современная беллетристика («Казаки»). Восп. и критич. оч., ч. II-я.—Е. Марковъ. Народные типы въ русской литературѣ. О. З. 65 г. 1, 2.—Статья Е. Туръ (О. З. 63 г. 6); Едельсона (Б. д. Ч. 63 г. 6); Писарева: «Прогулка по садамъ росс. слов. Соч. IV, изд. 94 г.—«Военные разсказы». Ст. Дудышкина. О. З. 55 г. № 12.—«Дѣтство и отрочество». «Мятель». «Два гусара». «Утро помѣщика». «Люцернъ»: Чернышевскій. Критич. статьи: Анненковъ. О мысли въ произв. изящ. слов.: Писаревъ. Промахи незрѣлой мысли. Соч., т. IV; ст. Дружинина. Соч., т. VII.—К. Аксаковъ. Объ анализѣ Л. Н. Т—ого. Русск. Бесѣда. 57 г. № 1.—А. Григорьевъ. Статья во «Времени». 62 г. № 1 и 9.

§ 2. Рядомъ съ талантомъ гр. Л. Н. Толстого въ 50-хъ годахъ развертывается и другой, несравненный художественный талантъ Тургенева. «Записки Охотника» въ цѣломъ ихъ составѣ, такія характерныя произведенія, какъ «Фаустъ», «Ася», «Муму», заключаются романами «Рудинъ», «Дворянское гнѣздо», «Наканунѣ».

Хронологическій порядокъ перечисленныхъ произведеній такой: «Записки Охотника» въ цѣлой книгѣ вышли въ 1852 году. Они писаны заграницей, куда послѣ смерти Бѣлинскаго въ 1848 г. и съ воцареніемъ въ литературѣ «моровой полосы», укрылся Тургеневъ. Севастопольскіе годы застали писателя уже въ Россіи. Такъ, когда Тургеневъ поселился на дачѣ между Петергофомъ и Ораніенбаумомъ, у него, 20-го іюня 1854 года, завтракали: графъ Алекс. К. Толстой, начинающій поэтъ тогда, Маркевичъ, Анненковъ и Некрасовъ. Самъ онъ ѣздилъ на Красную Горку, чтобы смотрѣть оттуда на Англійскій флотъ. Въ мартѣ 1852 года по случаю кончины Гоголя, Иванъ Сергѣевичъ помѣстилъ письмо въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ», за которое и былъ посаженъ «на съѣзжую», гдѣ и написалъ «Муму». Въ 1855 г. онъ опять уѣзжаетъ заграницу. Притягательной силой являлась для него дружба съ Полиной Віардо—Гарсіа, знаменитой пѣвицей, съ которой онъ познакомился въ Петербургѣ еще въ 1845 г. Въ 1855 г. появился его «Яковъ Пасынковъ»; въ 1856—«Рудинъ» и «Фаустъ»; въ 1858—«Ася»; въ 1859—«Дворянское гнѣздо»; въ 1860—«Наканунѣ» и «Первая любовь». Въ своемъ интересномъ изслѣдованіи «Русскій романъ и русское общество» г. К. Головинъ замѣчаетъ, что вплоть до самаго конца пятидесятыхъ годовъ, т. е. до появленія повѣсти «Наканунѣ», образующей рѣзкую грань въ литературной дѣятельности Тургенева, плоды его творчества распадаются на три группы, одинаковыя по красотѣ и блеску, но далеко не равныя по внутреннему достоинству. Первая группа — очерки изъ народнаго бы-

та. Тургеневъ былъ у насъ создателемъ особой литературной формы мелкаго эскизнаго очерка, для котораго онъ и далъ истинно неподражаемые образцы. Несмотря на видное значеніе, признанное за Тургеневымъ, какъ за однимъ изъ главныхъ подготовителей реформы 19-го февраля, мы въ «Запискахъ Охотника» отыщемъ очень немного разсказовъ тенденціозныхъ, рѣзко обличающихъ крѣпостной строй. Таковы «Бурмистръ», «Контора», «Свиданіе», «Ермолай и Мельничиха», «Два помѣщика», «Льговъ». Сюда же тѣсно примыкаютъ и отдѣльно стоящіе: «Муму» и «Постоялый дворъ». Въ остальныхъ разсказахъ «Записокъ Охотника» заступничество за народъ выражается лишь косвенно, посредствомъ живого сочувствія, вызываемаго къ нему, благодаря человѣчности и мягкости образовъ. «Бѣжинъ лугъ», «Пѣвцы», «Касьянъ съ красивой Мечи», эти истинные перлы поэзіи, чужды тенденціи и до сихъ поръ сохранили свою плѣнительную прелесть. Во второй группѣ разсказовъ, какъ бы въ параллель съ первой, выведены типы культурнаго класса: помѣщики средней руки, чиновники, военные, студенты. Таковы въ «Запискахъ Охотника» разсказы: «Мой сосѣдъ Радиловъ», «Лебедянь», «Татьяна Борисовна и ея племянникъ», «Петръ Петровичъ Каратаевъ», «Чертопхановъ и Недопюскинъ». Затѣмъ, большинство раннихъ повѣстей Тургенева: «Андрей Колосовъ», «Бретёръ», «Жидъ», «Три портрета», «Пѣтушковъ», «Два пріятеля»; изъ болѣе позднихъ произведеній: «Три встрѣчи» и «Первая любовь».

Настоящую идею творчества Тургенева слѣдуетъ искать въ третьей группѣ его произведеній, посвященныхъ изображенію «лишнихъ людей». Сюда относятся: «Гамлетъ Щигровскаго уѣзда», «Дневникъ лишняго человѣка», «Яковъ Пасынковъ», «Затишье», «Переписка», «Фаустъ», «Рудинъ», «Ася» и «Дворянское гнѣздо». Изъ перечисленныхъ повѣстей три особенно выдаются изяществомъ формы и нѣжною поэтичностью содержанія. Это — «Переписка», «Фаустъ» и «Ася» [66]).

Выясняя пріемы и способы созданія, которыми обладаетъ Тургеневъ, Анненковъ указываетъ, что у него каждая подробность тщательно обдумана и при томъ еще, можно сказать, переполнена содержаніемъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ является она почти какъ нѣчто самостоятельное, какъ отдѣльная мысль, способная выразиться и внѣ той сферы, гдѣ заключена, принять особенное, своеобычное развитіе. Это стремленіе къ выразительности иногда переходитъ въ переработку — слѣдствіе той усиленной работы, которая придаетъ какой-либо подробности вѣрность математическую, но лишаетъ ее жизненнаго выраженія. Все, что авторъ отнялъ отъ цѣлаго, перешло въ частности, надѣливъ ихъ полнотой жизни, на какую они врядъ

---

[66]) К. Головинъ. Русскій романъ и русское общество. Спб. 1897 г., стр. 68, 69, 70, 71, 72, 76, 83.

ли имѣли право, если смотрѣть на дѣло съ эстетической точки зрѣнія. Типы комическіе отдѣланы у Тургенева съ участіемъ, со всѣми мелкими подробностями. Можно назвать даже преслѣдованіемъ его безотвязную, неугомонную повѣрку всякой оригинальной или странной физіономіи, которую встрѣтилъ. Иногда кажется, что если бы смѣшные типы Тургенева позанялись своимъ образованіемъ и исправились, то и перестали бы казаться смѣшными. У чистыхъ юмористовъ смѣшная сторона есть родовая принадлежность лицъ, съ которой они сойдутъ въ гробъ и которая ихъ не покинетъ, какъ бы ни поставили они себя въ отношеніи общества и различныхъ требованій его. Вотъ почему, при необычайно развитой наблюдательности, въ первыхъ произведеніяхъ Тургенева чувствуется болѣе насмѣшливости, чѣмъ настоящаго юмора, болѣе пересуда, чѣмъ описанія, и болѣе остроумія, чѣмъ истинной юмористической веселости. Въ тѣхъ повѣствованіяхъ, гдѣ поэзія участвуетъ вмѣстѣ съ передачей жизненныхъ явленій, она достигаетъ результатовъ истинно замѣчательныхъ. Жестокость наблюденія исчезаетъ тогда въ тепломъ поэтическомъ одушевленіи и сама форма разсказа отъ собственнаго лица является счастливой помощницей дѣлу. Личное настроеніе художника облекаетъ особеннымъ, кроткимъ свѣтомъ фигуры и предметы, исправляя и превосходно дополняя все то, чего недостаетъ юмору его. Поэтическій элементъ повѣстей Тургенева исправляетъ всѣ черезчуръ крупныя линіи ихъ и значительно ослабляетъ дѣйствіе энергическаго выраженія, сообщеннаго физіономіямъ и частностямъ. Эта полупрозрачная атмосфера, которая приводитъ въ гармонію краски и очертанія предметовъ, и это транспарантъ, укрощающій излишнюю яркость цвѣтовъ и самаго грунта картины. Анализируя характеръ героя повѣсти „Ася", принадлежащаго къ семьѣ слабосильныхъ, но сластолюбивыхъ личностей, Анненковъ отмѣчаетъ, что писатели 40-хъ и 50-хъ годовъ завладѣли этимъ характеромъ, когда уже онъ сдѣлался общимъ, и такъ сказать, будничнымъ явленіемъ жизни. Всѣ лица длиннаго разсказа, который вела наша литература о безполезныхъ людяхъ, всѣ близкая родня между собой, всѣ принадлежатъ къ одной фамиліи. И все-таки „слабый" человѣкъ, какъ бы малъ ни былъ въ сущности, еще выше всѣхъ другихъ собратій, перебивающихъ ему дорогу: онъ несетъ въ рукахъ своихъ образованіе, гуманность. Лучшее средство убѣдиться въ значеніи „слабаго" человѣка состоитъ въ томъ, чтобъ на минуту отвернуться отъ него, и посмотрѣть, нѣтъ ли чего другого въ образованномъ обществѣ, за нимъ или около него. Литература, по чутью истины, ей свойственному, не забывала поставить рядомъ съ «слабымъ» человѣкомъ и человѣка «сильнаго». Тургеневъ показалъ намъ въ «Запискахъ Охотника» образцы цѣльныхъ характеровъ, получившихъ хорошее модное воспитаніе. Аксаковъ представилъ ихъ намъ въ свѣтѣ патріархальнаго величія и еще не тронутыхъ образованіемъ. Островскій вывелъ цѣлый рядъ силь-

ныхъ характеровъ изъ купеческаго званія, гдѣ на живописномъ языкѣ сословія они извѣстны подъ именемъ «самодуровъ»; Щедринъ, наконецъ, собралъ въ многочисленную группу изображенія «сильныхъ» людей, выработанныхъ провинціальнымъ чиновничествомъ въ нѣдрахъ своихъ. И когда насмотришься на «сильные» характеры русской жизни, потребность возвратиться для освѣженія мысли и чувства, въ кругъ «слабыхъ», становится ничѣмъ неудержимой, страстной потребностью.

Появленіе «Дворянскаго гнѣзда» вызвало въ русскомъ обществѣ единогласное сочувствіе и одобреніе, восторгъ и увлеченіе. Успѣхъ былъ громадный, и по единодушію едва ли не представлялъ кульминаціонный пунктъ тургеневскаго успѣха вообще. Въ 60-хъ годахъ составъ аудиторіи Тургенева и прочихъ мастеровъ словъ 40-хъ и 50-хъ годовъ быстро мѣняется. Но въ 1859 г. Тургеневъ зналъ, для кого писалъ, и читатели единодушно признавали его властителемъ думъ молодого поколѣнія. «До этой вещи, Тургеневъ являлся главнымъ образомъ, по опредѣленію Анненкова, разсказчикомъ поэтическихъ анекдотовъ съ тонкими чертами изъ народнаго быта, съ мастерски-заостреннымъ юмористическимъ словомъ, съ легкими, повидимому, но глубоко задуманными и сильно выработанными картинами и положеніями.

Кромѣ сельскихъ подробностей, помѣщичьихъ и чиновничьихъ нравовъ, на очереди художническаго воспроизведенія стояло еще тогда цѣлое, такъ называемое образованное общество, однообразное по своему составу. Немного ранѣе «Рудина», и особенно съ этого романа, мы видимъ Тургенева уже въ серединѣ того круга, по внѣшней окраинѣ котораго ходила вся наша литература, и не только въ серединѣ, но въ прямомъ, открытомъ и свободномъ общеніи со всѣмъ его поэтическимъ, комическимъ, и подчасъ трагическимъ населеніемъ. Черезъ рядъ болѣе или менѣе удачныхъ опытовъ, Тургеневъ дошелъ, наконецъ, до простой, многозначительной драмы, дошелъ до лицъ и характеровъ, нисколько не запятнанныхъ грубымъ авторскимъ произволомъ, а взятыхъ изъ движущейся толпы такъ называемаго образованнаго общества, гдѣ они укрываются отъ лѣниваго наблюденія; словомъ, онъ изобразилъ такое событіе, которое оказалось связаннымъ тончайшими нитями съ современностію — съ сердцемъ всего настоящаго, или, лучше, **всего отживающаго поколѣнія**» [67]).

Замѣчаніе это, сдѣланное Анненковымъ въ годъ выхода «Дворянскаго гнѣзда», имѣло значеніе пророчества. Дѣйствительно, то поколѣніе, съ сердцемъ котораго всѣми фибрами былъ связанъ Тургеневъ, преходило, «отживало». Скоро новыя волны общественныя, поднятыя реформами, прихлынули, и отзвучность всего общества на голосъ Тургенева нарушилась.

---

[67]) Анненковъ. Собр. статей и зам. Отд. 2-й. 1879. стр. 197.

Въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“, рядомъ съ четой Лизы и Лаврецкаго, стоитъ другая чета — Паншина и Варвары Павловны. Паншинъ, по выдѣлкѣ, по обилію и роскоши второстепенныхъ подробностей, обработанъ съ изумительною тщательностью. Удивительный представитель русской полуобразованности и русскаго фальшиваго развитія, которыя такъ изумляли иностранцевъ, онъ надѣленъ всѣми возможными талантами: талантомъ живописца, музыканта, чиновничьимъ, но въ той степени, какая нужна, чтобы занимать, тѣшить людей, и никогда не приносить имъ ни духовной, ни вещественной пользы. Онъ и ораторъ, и берейторъ, и свѣтскій человѣкъ — и все это въ мѣру, такъ, чтобы ничто не походило на настоящее дѣло или призваніе.

Варвара Павловна сразу приспособляетъ къ себѣ Паншина. Они и созданы другъ для друга. Торжествующій образъ Варвары Павловны нарисованъ такъ ярко у Тургенева, что почти выходитъ изъ рамы повѣствованія, и противорѣчитъ общему его колориту, выдержанному въ томномъ и нѣжномъ полусвѣтѣ. Существо, болѣе безобразное въ нравственномъ отношеніи и болѣе искушающее и раздражающее въ физическомъ смыслѣ — трудно и представить себѣ. Это порожденіе особаго рода сборной, такъ сказать, цивилизаціи, которая по частямъ наплываетъ съ разныхъ сторонъ на человѣка, нисколько не заботясь о томъ, гдѣ она ляжетъ, на чемъ ляжетъ, и какъ ляжетъ. Одно лицемѣріе еще связываетъ львицу Варвару Павловну съ гражданскимъ обществомъ; не будь лицемѣрія, она была бы такъ гола, такъ отвратительно свободна, какъ Отаитянка или жительница Сандвичевыхъ острововъ.

Изъ среды патріархальнаго, но уже суетнаго и испорченнаго семейнаго быта, Тургеневъ вывелъ образъ молодого существа, которое съ первыхъ шаговъ на поприщѣ жизни замѣчаетъ, что оно не вторитъ общимъ интересамъ окружающихъ, ихъ понятіямъ, радостямъ и заботамъ. Въ душѣ Лизы созрѣлъ и выросъ религіозно-нравственный идеалъ существованія, который не можетъ сдружиться съ тѣмъ, что представляется дѣвушкѣ въ настоящемъ. Послѣ первыхъ неудачныхъ усилій помириться на чемъ-нибудь въ текущей жизни, она быстро разрываетъ съ ней всѣ связи и заключается въ монастырь.

Герои романа, Лиза и Лаврецкій, лишены всякой возможности существовать въ мірѣ на тѣхъ основаніяхъ, какія выпали имъ на долю, или какія они избрали себѣ. Бѣдственная, роковая невозможность эта сказывается съ перваго появленія ихъ на сцену отсутствіемъ свободнаго движенія, мертвенностью воли и безсиліемъ передъ гнетомъ внѣшняго міра, то-есть всѣми признаками зловѣщей агоніи, поэтическій характеръ которой не спасаетъ однакожъ человѣка отъ гибели. Они стоятъ передъ читателемъ, открытые для всѣхъ житейскихъ бурь и не имѣя ничего въ рукахъ, чѣмъ бы защи-

титься. Фигуры Лизы и Лаврецкаго написаны Тургеневымъ въ легкомъ, полупрозрачномъ тонѣ, который не даетъ усмотрѣть и распознать тотчасъ же ихъ лица, и свойственное имъ выраженіе. Мѣсто сильныхъ красокъ жизни замѣнено тутъ безчисленными и тончайшими чертами: каждая изъ нихъ отвѣчаетъ какой-либо тайной сторонѣ ихъ существованія, и каждая будитъ въ душѣ читателя множество личныхъ воспоминаній, множество знакомыхъ и родныхъ уму ощущеній. Удивительное обаяніе, производимое героями, зиждется именно на обиліи, выразительности и значеніи этихъ подробностей.

Заключая свой разборъ романа, Анненковъ строитъ такой выводъ:

«Настроеніе, родившее всѣ прежніе романы Тургенева, исчерпано послѣднимъ «Дворянскимъ гнѣздомъ», кажется намъ до капли. «Дворянскимъ гнѣздомъ» авторъ завершилъ всѣ старыя свои представленія, всѣ образы, тревожившіе душу его въ теченіи многихъ лѣтъ: онъ возвелъ ихъ, наконецъ, до полнаго выраженія и тѣмъ самымъ простился съ ними навсегда. Таково обычное дѣйствіе мастерскихъ произведеній на самого писателя» [68]).

БИБЛІОГРАФІЯ: Ив. Ивановъ. И. С. Тургеневъ. Жизнь, личность, творчество. Спб. 96 г. — С. Венгеровъ. И. С. Т—евъ. Критико-біографич. этюдъ. 2 ч. Спб. 75 г. — Письма: Первое собраніе писемъ 1840—1884 г. Изд. общ. для пособ. нужд. литер. и учен. Спб. 1885. Стр. 564. — Неизданныя письма къ Віардо, Флоберу, Зола и др. Съ пред. Гальперинъ-Каменскаго. Перев. съ франц. М. 1900 г.—Переписка съ Анненковымъ (1856—62, 1871—83 г.г.). В. Е. 85 г. № 3, 4. Р. Об. 98 г. 3, 4, 5: съ В. Стасовымъ. С. В. 88 г. 10; съ Милютиными (1867—1875 г.г.). Р. Ст. 84 г. № 1; съ А. О. Писемскимъ. Новь. 86 г. № 2, 3; съ братомъ Н. С. Тургеневымъ (1863—78 г.г.). Р. Ст. 85 г. № 8, 10, 12; 86 г. № 3; съ Аксаковыми (1852—1857). В. Е. 94 г. № 1, 2; съ С. К. Брюловой (1871—1877). Р. М. 97 г. № 6; съ К. Н. Леонтьевымъ. Р. М. 86 г. № 11; съ А. В. Топоровымъ (1882—1883 г.г.). Р. Ст. 83 г. Къ Е. Н. Ковалевскому (1858—1863 г.г.). Р. Ст. 84 г.; къ Фр. Боденштету. Р. Ст. 87 г.; съ одной петербургской дамой (1874—1880). Р. Ст. 1883 г. — Оцѣнка произведеній 50-хъ годовъ: Зелинскій. Собраніе критич. матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева. Выпускъ I-й. Изд. 3-е М. 1899 г.

§ 3. «30-го апрѣля 1859 г., въ 3-мъ часу пополуночи скончался патріархъ нашей литературы, Сергѣй Тимоѳеевичъ Аксаковъ». Такъ писали въ некрологахъ.

С. Т. Аксаковъ родился въ Уфѣ, 20-го сентября 1791 года. Въ концѣ 1799 г. онъ поступилъ въ казанскую гимназію и оттуда перешелъ въ ка

[68]) «Русскій Вѣстникъ». 1859. № 16. Собраніе статей. Отдѣлъ второй. стр. 221.

занскій университетъ, при самомъ его основаніи, въ концѣ 1804 года. Окончивъ курсъ въ 1807 году, онъ пріѣхалъ въ Петербургъ, и служилъ до 1812 года въ коммиссіи составленія законовъ. Съ 1812 по 1826 г. онъ жилъ въ оренбургской деревнѣ, а съ 1826 г. сдѣлался постояннымъ московскимъ жителемъ. Здѣсь, въ Москвѣ прожилъ онъ свыше тридцати лѣтъ. Около него поднялись его сыновья, славянофилы Иванъ и Константинъ Аксаковы. Другъ Гоголя, онъ пережилъ и его.

Въ юности С. Т. занималъ больше всего театръ. Въ 1815 г. онъ перевелъ «Филоктета» трагедію Лагарпа, переводилъ Мольера, писалъ о театрѣ и вращался въ кружкѣ Шаховского, Загоскина, Кокошкина, водевилиста Писарева. Вплоть до 40-хъ годовъ ничто не предвѣщало въ немъ истиннаго художника, эпическаго повѣствователя-мастера. Однако Гоголь восхищался отрывками его «хроники» въ рукописи. Начало «Семейной хроники» помѣщено въ «Московскомъ Сборникѣ» 1846 г. и обратило на себя вниманіе знатоковъ. Въ 1847 г. вышли его «Записки объ уженьи рыбы»; описанія природы и прелесть художественнаго разсказа поразили читателя. Въ 1854 и 1856 г.г. явились новыя изданія книги.

Въ 1852 г. вышли «Записки ружейнаго охотника Оренбургской губерніи».

«Мы поздравляемъ, писалъ въ Современникѣ И. С. Тургеневъ, Русскую литературу и читателей нашихъ съ появленіемъ этихъ Записокъ. Кому еще не знакомо новое сочиненіе С. Т. Аксакова, тотъ не можетъ себѣ представить, до какой степени оно занимательно, какою обаятельною свѣжестью вѣетъ отъ его страницъ. Да не подумаютъ читатели, что Записки ружейнаго охотника имѣютъ цѣну для однихъ охотниковъ: всякій, кто только любитъ природу, всякій, кому дорого проявленіе жизни всеобщей, не оторвется отъ сочиненія Аксакова: оно станетъ его настольною книгой, онъ будетъ ее съ наслажденіемъ читать и перечитывать; естествоиспытатель прійдетъ отъ нея въ восторгъ... Эту книгу нельзя читать безъ какого-то отраднаго, яснаго и полнаго ощущенія, подобнаго тѣмъ ощущеніямъ, которыя возбуждаетъ въ насъ сама природа, а выше этой похвалы мы никакой не знаемъ».

Книга въ томъ же 1852 г. вышла вторымъ изданіемъ, и въ 1857 г. вышла третьимъ. Въ 1855 г. вышли «Разсказы и воспоминанія охотника», потребовавшіе новаго изданія черезъ годъ (1856).

Въ 1856 вышла въ свѣтъ его «Семейная хроника и воспоминанія». Успѣхъ былъ громадный. Въ нѣсколько мѣсяцевъ изданіе было все распродано. «Дѣтскіе годы Багрова внука» были окончены въ 1857 и вышли въ 1858 г. Этими двумя произведеніями Сергѣй Тимофеевичъ занялъ мѣсто въ первомъ ряду нашихъ прозаиковъ-повѣствователей. Въ 1858 г. вышли

его литературныя и театральныя воспоминанія отдѣльной книгой («Разныя сочиненія»).

«Семейная хроника» является произведеніемъ, какъ бы занимающимъ посредствующее мѣсто между «Капитанской дочкой» и «Войной и миръ». Огромная бытовая картина — хроника ставитъ имя С. Т. Аксакова между Пушкинымъ и Толстымъ. Кисть его, рисуя бытъ, даетъ картину историческую; онъ съ изумительнымъ совершенствомъ выражаетъ эпоху въ преданіяхъ русскаго семейства. Типъ скрытнаго, свирѣпаго и развратнаго Куролесова, типъ Степана Михайловича Багрова, патріарха въ своей семьѣ и въ своемъ помѣстьѣ, передъ волей котораго трепещутъ всѣ, отъ мала до велика, типъ Софіи Николаевны — истинно русской женщины, наконецъ мужъ ея — Алексѣй Степановичъ Багровъ, окруженные домочадцами, дворней, крестьянами — это цѣлый міръ, цѣлая эпоха русской жизни, возстановленная съ художественной правдой и полнотой.

Вмѣстѣ съ бытомъ, Аксаковъ рисуетъ съ неподражаемымъ совершенствомъ и реализмомъ русскую природу. Видно, что онъ съ дѣтства жилъ, охваченный ею, долго питался ея крѣпительными ощущеніями, принялъ въ себя мысль и душу ея. Это природный сынъ русской степи, и, когда заговоритъ онъ о ней, возстаютъ чудныя картины передъ читателемъ; вся груда впечатлѣній, накопленныхъ авторомъ долгимъ наблюденіемъ, выходитъ прозрачной, свѣтлой рѣкой въ его изображеніи, и рѣка эта катитъ безпрестанно свои чистыя волны, несетъ поминутно новыя подробности, новыя соображенія для картины и увлекаетъ за собой неудержимо сердце и воображеніе читателя. Природа, съ жизнью лѣса и поля, птицъ и звѣрей, уже отразившаяся въ его охотничьихъ очеркахъ; историческія и бытовыя одновременно фигуры, уже испробованныя имъ въ біографіяхъ Шишкова, Загоскина, Шушерина, — теперь все сошлось въ одной безпредѣльной, и вольной, какъ сама степь, картинѣ. Жизнь, преданіе, изустный разсказъ, видимо дали Аксакову только первый, простой очеркъ, которому онъ уже сообщилъ всю полноту жизни, и всю теплоту красокъ. Для этого онъ на каждомъ шагу угадываетъ тончайшіе оттѣнки мыслей своего образца, подмѣчаетъ нѣжнѣйшія движенія его сердца, разоблачаетъ глубокія тайны его души, словомъ, созидаетъ характеръ, какъ настоящій художникъ (Анненковъ). С. Т. Аксаковъ является образцомъ того прямого отношенія къ дѣйствительности, которое одно даетъ истинно художественные результаты.

Слогъ С. Т. Аксаковъ и вообще изложеніе признаны были образцовыми по правильности, чисто русскому складу, народному ритму и музыкальности ихъ. Какой пушкинской простотой и силой отличаются хотя-бы первыя строки его хроники: «Тѣсно стало моему дѣдушкѣ жить въ Симбирской губерніи, въ родовой отчинѣ своей, жалованной предкамъ его отъ царей московскихъ; тѣсно стало ему, не потому, чтобъ въ самомъ дѣлѣ было тѣсно, чтобъ не

доставало лѣсу, пашни, луговъ и другихъ угодьевъ, — всего находилось въ излишествѣ, а потому, что отчина, вполнѣ еще прадѣду его принадлежавшая, сдѣлалась разномѣстною. Событіе совершилось очень просто и т. д.» Проза Аксакова просится для заучиванія наизусть.

Рядомъ съ произведеніями Аксакова, рисующими мощный бытовой, патріархальный укладъ, покажутся уже гораздо мельче «народническія» произведенія 50-хъ годовъ, какъ-то «Рыбаки» (1852) Григоровича; «Титъ Софоновъ», «Крестьянка» — повѣсти Алексѣя Антиповича Потѣхина, земляка А. Н. Островскаго и А. Ѳ. Писемскаго, выступившаго въ 1851 г. съ очеркомъ «Путь по Волгѣ», напечатанномъ въ «Моск. Вѣд.» (Род. 1-го іюля 1829 года); «Питерщикъ» и «Лѣшій» Писемскаго; наконецъ «Саввушка» Ивана Тимофеевича Кокорева. Всѣ эти произведенія, въ общемъ болѣе или менѣе полныя бытовыхъ чертъ, носятъ на себѣ оттѣнокъ идиллическаго сентиментализма 50-хъ и 40-хъ годовъ.

Но быть можетъ для насъ всего интереснѣе забытый Кокоревъ, вышедшій изъ народа, изъ бѣдности, работавшій за ничтожный гонораръ въ «Москвитянинѣ» молодой редакціи. До него мы видимъ Кольцова, Никитина — поэтовъ. Кокоревъ являлся предвѣстникомъ плеяды прозаиковъ 60-хъ и 70-хъ годовъ, выдвинутыхъ изъ сословія «разночинцевъ» въ литературу реформаціоннымъ движеніемъ. Иванъ Тимофеевичъ скончался 14-го іюня 1853 года. Лучшая его вещь, «Саввушка» появилась въ Москвитянинѣ 1852 г. Умеръ онъ 28 лѣтъ, тихо, одиноко, истощенный нуждой, работой, въ Екатерининской больницѣ и погребенъ на Лазаревскомъ кладбищѣ, такъ элегически описанномъ имъ въ «Саввушкѣ». Разсказы и очерки Кокорева писаны были прекраснымъ языкомъ, художественно выдержаны и представляли вѣрныя картины изъ народнаго быта.

БИБЛІОГРАФІЯ: а) Полное собраніе сочиненій С. Т. Аксакова. 6 томовъ, изд. Мартынова. Спб. 86 г. Къ 1-му тому прилож. статьи критико-біограф. А. С. Хомякова и М. Н. Лонгинова. — Біографич. матеріалы: Острогорскій. С. Т. Аксаковъ. 1791—1891. Критико-біограф. очеркъ. Спб. 91 г. — Ор. Миллеръ. Русскіе писат. послѣ Гоголя, ч. III. С. Т. А—овъ. Спб. 88 г. — Ю. Самаринъ. Соч., т. I. С. Т. А—овъ и его литер. произведенія. — П. Милюковъ. С. Т. А—овъ. Р. М. 91 г. № 9.— Добролюбовъ. Соч., т. I-й. — В. Майковъ, Гоголь и Аксаковъ. Р. Об. 91 г. № 5. — Библіографія: Венгеровъ. Критико-біограф. словарь, т. I. — Межовъ. С. Т. А — овъ. Указатель книгъ и статей о жизни и сочиненіяхъ его. 1816 — 1852 г. Спб. 1888 г.—б) И. Т. Кокоревъ. Очерки и разсказы. 3 т. М. 58 г.—О немъ у Ап. Григорьева. Соч., т. I. Взглядъ на русск. литературу въ 1852 г.— Добролюбовъ. Соч., т. II. Разсказы К—ва.

§ 2. Въ 50-хъ годахъ появилось еще три крупныхъ произведенія, доказывавшихъ необыкновенно высокую степень развитія, на которую уже

сталъ русскій романъ. Эти произведенія: «Обломовъ» Гончарова. «Тысяча душъ» Писемскаго и «Проселочныя дороги» Григоровича.

«Обломовъ» въ оконченномъ видѣ появился въ одинъ годъ съ «Дворянскимъ гнѣздомъ» (1859). Современная критика свидѣтельствуетъ:

«Успѣхъ «Дворянскаго гнѣзда» оказался такимъ, какого мы за много лѣтъ не упомнимъ. Небольшимъ романомъ Тургенева зачитывались до изступленія, онъ проникъ повсюду и сдѣлался такимъ популярнымъ, что не читать «Дворянскаго гнѣзда» было непозволительнымъ дѣломъ. Его ждали нѣсколько мѣсяцевъ и кинулись на него, какъ на давно ожидаемое сокровище. Но положимъ «Дворянское Гнѣздо» появилось въ январѣ мѣсяцѣ, мѣсяцѣ новостей, толковъ и т. д., романъ вышелъ въ свѣтъ во всей цѣлости, при всѣхъ наиблагопріятнѣйшихъ условіяхъ для его оцѣнки. Но вотъ «Обломовъ» Гончарова. Трудно пересчитать всѣ шансы, собранные противъ этого художественнаго созданія. Оно печаталось помѣсячно, стало быть перерывалось три или четыре раза... Люди, знавшіе весь романъ, восхищенные имъ до глубины души, въ теченіе долгихъ дней трепетали за Гончарова; что же долженъ былъ перечувствовать самъ авторъ, пока рѣшилась судьба книги, которую онъ болѣе десяти лѣтъ носилъ въ своемъ сердцѣ? Но опасенія были напрасны. Жажда свѣта и поэзіи взяла свое въ молодомъ читающемъ мірѣ. Наперекоръ всѣмъ препятствіямъ «Обломовъ» побѣдоносно захватилъ собою всѣ страсти, все вниманіе, всѣ помыслы читателей. Въ какихъ-то пароксизмахъ наслажденія всѣ грамотные люди прочли «Обломова». Толпы людей, какъ будто чего-то ждавшихъ, шумно кинулись къ «Обломову». Безъ всякаго преувеличенія можно сказать, что, въ настоящую минуту, во всей Россіи нѣтъ ни одного малѣйшаго, безъуѣзднаго, заштатнѣйшаго городка, гдѣ-бы не читали «Обломова», не хвалили «Обломова», не спорили объ «Обломовѣ.»[69]).

Обломовъ и «обломовщина»: эти слова не даромъ облетѣли всю Россію. Они разъясняли цѣлый кругъ явленій, раскрыли цѣлый міръ идей, образовъ и подробностей. Силой своего художническаго труда, человѣкъ съ глубокимъ поэтическимъ дарованіемъ, сдѣлалъ для извѣстной полосы русской жизни то, что сдѣлали родственные ему фламандцы со многими сторонами своей родной дѣйствительности. Обломова изучилъ и узналъ цѣлый народъ, по преимуществу богатый «обломовщиной», и мало того, что узналъ, но полюбилъ его всѣмъ сердцемъ, потому что не возможно узнать Обломова и не полюбить его глубоко. Подъ первой частью романа подписанъ 1849 годъ, подъ остальными тремя 1857 и 58. Почти десять лѣтъ отдѣляютъ первоначальный, многотрудный и еще не вполнѣ выяснившійся замыселъ отъ его зрѣлаго осуществленія. Между Обломовымъ, который безжалостно му-

[69]) Дружининъ. Сочиненія. Т. 7-й, стр. 584 и 585.

чить своего Захара, и Обломовымъ, влюбленнымъ въ Ольгу, лежитъ пропасть. Насколько Илья Ильичъ, валяющійся на диванѣ между Алексѣевымъ и Тарантьевымъ, кажется намъ заплеснѣвшимъ и почти гадкимъ, на столько тотъ-же Илья Ильичъ, самъ разрушающій любовь избранной имъ женщины, и плачущій надъ обломками своего счастья, глубокъ, трогателенъ и симпатиченъ въ своемъ грустномъ комизмѣ. Черты, лежащей между этими двумя героями, авторъ не былъ въ силахъ сгладить. Всѣ его старанія въ этой части пропали даромъ: какъ всѣ художники по натурѣ, Гончаровъ безсиленъ вездѣ, гдѣ требуется дѣланая работа. Между двумя его романами, изъ которыхъ первый весь протекаетъ въ душной комнатѣ на продавленномъ диванѣ, лежитъ одна переходная доска — «Сонъ Обломова». Всѣ усилія прибавить къ ней что-нибудь оказались тщетными. Убѣдясь въ этомъ, художникъ махнулъ рукой и подписалъ подъ первою частью романа всеобъясняющую цифру 49 года. «Сонъ Обломова» — этотъ великолѣпнѣйшій эпизодъ, который останется въ нашей словесности на вѣчныя времена, былъ первымъ, могущественнымъ шагомъ къ уясненію Обломова съ его обломовщиной[76]).

За выясненіе вопроса «Что такое Обломовщина?» взялся молодой критикъ Добролюбовъ, и исполнилъ свою задачу блестяще, хотя нѣсколько и односторонне. «Нѣкоторымъ, говоритъ критикъ, кажется романъ Гончарова растянутымъ. Онъ, если хотите, дѣйствительно растянутъ».

Въ первой части Обломовъ лежитъ на диванѣ, во второй ѣздитъ къ Ильинскимъ и влюбляется въ Ольгу, а она въ него; въ третьей она видитъ, что ошиблась въ Обломовѣ, и они расходятся; въ четвертой она выходитъ замужъ за друга его Штольца, а онъ женится на хозяйкѣ того дома, гдѣ нанимаетъ квартиру. Вотъ и все. Никакихъ внѣшнихъ событій, никакихъ препятствій, кромѣ развѣ разведенія моста черезъ Неву, прекратившаго свиданія Ольги съ Обломовымъ, никакихъ постороннихъ обстоятельствъ не вмѣшивается въ романъ. Лѣнь и апатія Обломова—единственная пружина дѣйствій во всей его исторіи. Какъ-же это можно было растянуть на четыре части! Гончаровъ не хотѣлъ отстать отъ явленія, на которое однажды бросилъ свой взглядъ, не прослѣдивши его до конца, не отыскавши его причины, не понявши связи его со всѣми окружающими явленіями. Онъ хотѣлъ добиться того, чтобы случайный образъ, мелькнувшій передъ нимъ, возвести въ типъ, придать ему родовое и постоянное значеніе.

Какъ-же выразился, на что потратился талантъ Гончарова? Повидимому не обширную сферу избралъ Гончаровъ для своихъ изображеній. Исторія о томъ, какъ лежитъ и спитъ добрякъ—лѣнивецъ Обломовъ, и какъ ни дружба, ни любовь не могутъ пробудить и поднять его,—не Богъ вѣсть какая важная исторія. Но въ ней отразилась русская жизнь, въ ней предстаетъ пе-

---

[76]) Дружининъ. VII. 589.

редъ нами живой русскій типъ, отчеканенный съ безпощадною строгостью и правильностью; въ немъ сказалось новое слово... Слово это — *обломовщина*.

Обломовъ есть лицо не совсѣмъ новое въ нашей литературѣ. Родовыя черты обломовскаго типа мы находимъ еще въ Онѣгинѣ, и затѣмъ нѣсколько разъ встрѣчаемъ ихъ повтореніе въ лучшихъ нашихъ литературныхъ произведеніяхъ. Это *коренной, народный* нашъ типъ, отъ котораго не могъ отдѣлаться ни одинъ изъ нашихъ серьезныхъ художниковъ. Раскройте «Онѣгина», «Героя нашего времени», «Кто виноватъ?», «Рудина» или «Лишняго человѣка», или «Гамлета Щигровскаго уѣзда», — въ каждомъ изъ нихъ вы найдете черты, почти буквально сходныя съ чертами Обломова. Тентетниковъ много лѣтъ занимался «колоссальнымъ сочиненіемъ, долженствовавшимъ обнять всю Россію со всѣхъ точекъ зрѣнія». Илья Ильичъ не отсталъ въ этомъ отъ своихъ собратій: онъ то-же писалъ и переводилъ, Сэя даже переводилъ. Книги читалъ. Онѣгинъ—

Отрядомъ книгъ уставилъ полку
...Читалъ, читалъ...

и оставилъ книги, какъ женщинъ. Тентетниковъ тоже такъ читалъ книги, большею частью во время обѣда: «съ супомъ, съ соусомъ, съ жаркимъ, и даже съ пирожнымъ»... Рудинъ тоже признается Лежневу, что накупилъ онъ себѣ какихъ-то агрономическихъ книгъ, но ни одной до конца не прочелъ. Обломовцы и служатъ: Бельтовъ четырнадцать лѣтъ и шесть мѣсяцевъ не дослужилъ до пряжки. Тентетниковъ поговорилъ крупно съ начальникомъ. Рудинъ поссорился съ директоромъ гимназіи, гдѣ былъ учителемъ. Обломову не понравилось, что съ начальникомъ всѣ говорятъ «не своимъ голосомъ, а какимъ-то другимъ, тоненькимъ и гадкимъ». Людей обломовцы вообще презираютъ. «Это все чернорабочіе», небрежно отзывается даже Бельтовъ, гуманнѣйшій между ними. Рудинъ наивно воображаетъ себя геніемъ, котораго никто не въ состояніи понять. Печоринъ, ужъ разумѣется, топчетъ всѣхъ ногами. Даже Онѣгинъ имѣетъ за собою два стиха, гласящіе, что—

Кто жилъ и мыслилъ, тотъ не можетъ
Въ душѣ не презирать людей.

Тентетниковъ даже, — ужъ на что смирный, — и тотъ, пришедши въ департаментъ, почувствовалъ, что «какъ-будто его за проступокъ перевели изъ верхняго класса въ нижній». Обломовъ въ свою очередь даже весьма категорически выражаетъ Штольцу сознаніе своего превосходства надъ всѣми людьми: «Все это мертвецы, спящіе люди, хуже меня, эти члены свѣта и общества!» И затѣмъ Илья Ильичъ очень пространно и краснорѣчиво го-

ворить на эту тему, такъ что хоть бы Рудину такъ поговорить. Въ отношеніи къ женщинамъ всѣ обломовцы ведутъ себя одинаково постыднымъ образомъ. Они вовсе не умѣютъ любить. Трусость у всѣхъ этихъ господъ непомѣрная. Онѣгинъ струсилъ предъ Татьяной, дважды струсилъ. Бельтовъ съ Круциферской, какъ извѣстно, тоже не посмѣлъ идти до конца и убѣжалъ отъ нея. Рудинъ—этотъ уже совершенно растерялся, когда Наталья хотѣла отъ него добиться чего-нибудь рѣшительнаго. Онъ ничего болѣе не сумѣлъ, какъ только посовѣтовать ей «покориться». Нельзя не видѣть разницы личнаго темперамента, напр. у Печорина и Обломова, такъ же точно, какъ не можемъ не найти ее и у Печорина съ Онѣгинымъ, и у Рудина съ Бельтовымъ. Но дѣло въ томъ, что надъ всѣми этими лицами тяготѣетъ одна и та-же обломовщина, которая кладетъ на нихъ неизгладимую печать бездѣльничества, дармоѣдства и совершенной ненужности на свѣтѣ. Въ нихъ общая черта — сознаніе, что изъ нихъ многое могло бы выйти, но не выйдетъ ничего. «Пробѣгаю въ памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачѣмъ я жилъ? для какой цѣли я родился?.. А вѣрно она существовала и, вѣрно, было мнѣ назначеніе высокое, потому что я чувствую въ душѣ моей силы необъятныя. Но я не угадалъ этого назначенія, я увлекся приманками страстей пустыхъ и неблагодарныхъ».

Это — Печоринъ... А вотъ какъ разсуждаетъ о себѣ Рудинъ. «Да, природа мнѣ много дала; но я умру, не сдѣлавъ ничего достойнаго силъ моихъ, не оставивъ за собою никакого благотворнаго слѣда. Все мое богатство пропадаетъ даромъ: я не увижу плодовъ отъ сѣмянъ своихъ». Илья Ильичъ то-же болѣзненно чувствовалъ, что въ немъ зарыто, какъ въ могилѣ, какое-то хорошее свѣтлое начало, можетъ быть теперь уже умершее... Глубоко и тяжело заваленъ кладъ дрянью, наноснымъ соромъ[71]).

Такова блестящая, сравнительная характеристика Обломова, данная Добролюбовымъ. Ея недостатокъ—именно словцо, казавшееся всеобъясняющимъ, «обломовщина»—наличность условій, порождающихъ будто бы Обломова. Но безъ этихъ условій, если бы нужда и заставила Обломова работать, служить, все равно—сущность его осталась бы прежней. Души онъ въ дѣло бы не вложилъ, а она предавалась бы по прежнему безцѣльному созерцанію. «Это коренной, народный нашъ типъ», говоритъ Добролюбовъ. Вотъ почему Обломовъ всѣмъ милъ. Осужденіе только притворно, для очистки совѣсти произносится надъ нимъ. Въ сущности, Гончаровъ имъ любуется, какъ большимъ ребенкомъ. Это типъ лучшаго человѣка. Это— Крыловъ, «ума палата», ограничившійся лѣнью, обжорствомъ, насмѣшливо-снисходительными баснями, и еще Батюшковымъ въ его «Видѣніи на берегахъ Леты», отправленный въ засаленномъ шлафрокѣ «обѣдать прямо въ рай»...

[71]) Сочиненія Добролюбова. Томъ II. Изд. 4-е. 1885 г., стр. 476, 479, 480, 486, 487, 488, 489, 490, 493.

§ 5. Добролюбовъ указываетъ, что отдавая дань своему времени, Гончаровъ вывелъ и противоядiе Обломову — Штольца. Но литература не можетъ забѣгать слишкомъ далеко впередъ жизни. Штольцевъ, людей съ цѣльнымъ, дѣятельнымъ характеромъ, при которомъ всякая мысль тотчасъ же является стремленiемъ и переходитъ въ дѣло, Добролюбовъ не находитъ въ современномъ ему обществѣ, хотя изъ среды этого самаго общества вербовались члены редакцiонной комиссiи Положенiя и потомъ фаланга «безъ страха и упрека» посредниковъ перваго призыва и первыхъ дѣятелей новыхъ судовъ. Оттого-то изъ романа Гончарова мы и видимъ только, что Штольцъ — человѣкъ дѣятельный, все о чемъ-то хлопочетъ, бѣгаетъ, прiобрѣтаетъ, говоритъ, что жить — значитъ трудиться, и пр. Но что онъ дѣлаетъ и какъ онъ ухитряется дѣлать что-либо порядочное тамъ, гдѣ другiе ничего не могутъ сдѣлать, — это для насъ остается тайной. По мнѣнiю Добролюбова, — Штольцъ не доросъ еще до идеала общественнаго русскаго дѣятеля. Да и нельзя еще: рано. Теперь еще, — т. е. въ 1859 г. — хоть будь семи пядей во лбу, а въ замѣтной общественной дѣятельности можешь, пожалуй, быть добродѣтельнымъ откупщикомъ Муразовымъ, дѣлающимъ добрыя дѣла изъ десяти миллiоновъ своего состоянiя, или благороднымъ помѣщикомъ Костонджогло, — но далѣе не пойдешь... [72]).

Годомъ раньше «Обломова», вышелъ романъ Писемскаго «Тысяча душъ», въ которомъ былъ изображенъ «общественный дѣятель», типъ дѣлового человѣка предреформеннаго времени, человѣка «пятидесятыхъ годовъ».

Романъ «Тысяча душъ», появился въ свѣтъ въ началѣ 1858 г., въ самый разгаръ обличительныхъ повѣствованiй, обличительныхъ драмъ и обличительныхъ стихотворенiй.

Журналы, по замѣчанiю Дружинина, были наводнены произведенiями, достойными съѣзжихъ дворовъ и иныхъ заведенiй, можетъ быть очень почтенными по части исправленiя нравовъ, но нисколько не подходящими къ области искусствъ. И подобно тому какъ народные разсказы Писемскаго разрушили сантиментальность и идилличность воззрѣнiя на русскаго мужика, такъ романъ «Тысяча душъ» разрушаетъ дѣло сантиментальнаго общественнаго поученiя, въ томъ же 1858 году, впрочемъ, вызвавшаго ѣдкую сатиру Добролюбовскаго «Свистка». Романъ былъ очень хорошо встрѣченъ и публикою, и критикой. Анненковъ опредѣлилъ его, какъ «дѣловой романъ», какъ «исторiю ложнаго исправителя нравовъ и гражданскихъ злоупотребленiй, поддѣльнаго государственнаго человѣка, Калиновича» (имя героя романа). Въ романѣ много достоинствъ — живыя, чрезвычайно выпуклыя и оригинальныя физiономiи, которыя художникъ вырываетъ изъ толпы удивительно легко и смѣло, ставитъ передъ глазами читателя на

[72]) Сочиненiя Добролюбова. Томъ II. Изд. 4-е. 1885, стр. 504, 505.

нѣсколько мгновеній, ослѣпляя ихъ поразительной вѣрностью изображенія, и возвращаетъ снова въ толпу; мастерскія описанія провинціальнаго быта, отличающіяся теплымъ колоритомъ, свободой и широтой кисти. Предъ нами рядъ яркихъ силуэтовъ — наставники провинціальнаго училища, лѣнивый, мрачный сторожъ Терка, ростовщикъ-почтмейстеръ, суровый настоятель монастыря, паралична́я старуха высшаго общества, у которой вся жизнь ушла въ желудокъ, практическій философъ — подрядчикъ Папушкинъ и множество другихъ. Отличительное качество романа, гдѣ гражданское дѣло составляетъ главную пружину событія, есть нѣкотораго рода сухость. Онъ способенъ возбуждать самыя разнородныя ощущенія, кромѣ одного: чувства поэзіи. Негодованіе, смѣхъ, благородныя стремленія къ высшей нравственной идеѣ, состраданіе, ужасъ — всѣ эти и множество другихъ психическихъ ощущеній легко пробуждаются въ читателѣ дѣловымъ романомъ, но до поэзіи и поэтическаго обаянія достигаетъ онъ рѣдко. Поэзія обнаруживается только по закраинамъ романа Писемскаго. Краски жизни, игра ея и живописные мотивы бѣгутъ отъ него въ дальніе углы романа, и, притаившись тамъ, робко горятъ въ чащѣ переплетающихся событій, какъ свѣтящіяся червячки въ зелени. Передъ глазами читателя прямо разстилается одна безплодная, сухая степь, гдѣ, поднимая ѣдкую пыль, свирѣпо сталкиваются животныя страсти человѣка — корысть, злоба, эгоистическій разсчетъ: таково условіе неизбѣжное всякаго романа, занимающагося судьбой дѣлового человѣка.

«Авторъ «Тысячи душъ», — писалъ Анненковъ, — далъ намъ все, что̀ только способна была дать почва, на которой онъ установился — и, между прочимъ, Калиновича, замѣчательный типъ, стоящій всего нашего вниманія; лицо это есть порожденіе нашего времени, образовавшееся, что называется, на самыхъ глазахъ нашихъ» [73]).

Въ первой части романа Калиновичъ, по ненасытному, но мелкому честолюбію, по сухости сердца, способнаго на отвратительное лицемѣріе, по эгоизму, приносящему въ жертву доброе имя и честь его любовницы, Настеньки, и неотступающему даже передъ самой безобразной ложью, — Калиновичъ является намъ гораздо ниже того грубаго, но добродушнаго общества, которое его окружаетъ, и передъ которымъ онъ гордится своей приличной физіономіей.

Въ послѣдней четвертой части, когда, миновавъ лабиринтъ темныхъ и бо̀льшей частью позорныхъ интригъ, Калиновичъ достигаетъ своего жизненнаго идеала, становится славенъ, богатъ, силенъ и дѣятеленъ, является у автора нѣчто похожее на сочувствіе къ нему и на увлеченіе. Онъ горячо и по обыкновенію мастерски описываетъ намъ подвиги этого человѣка,

---

[73]) «Атеней», 1859. № 2.

ополчившагося на злоупотребленія и начинающаго истреблять ихъ направо и налѣво въ кругу своей власти, помимо всѣхъ мѣстныхъ соображеній, иногда помимо приличія и необходимости, иногда даже помимо закона и установленій. Со всѣмъ тѣмъ (и это великое достоинство романа!) сужденіе читателя о Калиновичѣ нисколько не задерживается проблесками мѣняющихся отношеній автора къ герою: истина всѣхъ изображеній такъ велика у автора, характеръ лица такъ полонъ жизни и правды, типъ такъ ясно обрисованъ, что настоящая мысль романа является сама собой. Калиновичъ есть произведеніе той самой почвы, отъ которой онъ хочетъ отдѣлиться, которую онъ хочетъ исправить, которую попираетъ съ презрѣніемъ, и изъ которой, при дѣйствительной обработкѣ ея, онъ, вѣроятно, будетъ первый вырванъ и отброшенъ, какъ сорная трава.

§ 6. Намъ остается еще коснуться «Губернскихъ Очерковъ» Щедрина-Салтыкова, чтобы дать отчетъ о тѣхъ произведеніяхъ художественной прозы 50-хъ годовъ, которые представляютъ дальнѣйшія ступени въ развитіи повѣствовательныхъ формъ.

Михаилъ Евграфовичъ Салтыковъ родился 15-го января 1826 года въ помѣщичьей семьѣ. Первоначальное обученіе онъ получилъ дома и въ августѣ 1836 г. принятъ былъ въ третій классъ шестикласнаго московскаго дворянскаго института. Въ 1838 г. Салтыковъ былъ переведенъ въ царскосельскій лицей. Здѣсь уже въ младшемъ классѣ Салтыковъ почувствовалъ влеченіе къ литературѣ и сталъ писать стихи. За это, и за чтеніе книгъ, онъ терпѣлъ всевозможныя преслѣдованія, какъ со стороны гувернеровъ, такъ и въ особенности со стороны учителя русскаго языка. Начиная со второго класса, въ лицеѣ дозволялось выписывать журналы на свой счетъ. При Салтыковѣ получались «Отеч. Записки», «Библ. для Чтенія», «Сынъ Отеч.», «Маякъ», «Revue étrangère». Журналы читались воспитанниками съ жадностью; особенно сильно было вліяніе «Отеч. Записокъ», благодаря критикѣ Бѣлинскаго; вліяніе литературы было тогда вообще очень сильно въ лицеѣ: воспоминаніе о Пушкинѣ какъ будто обязывало, и въ каждомъ курсѣ предполагался продолжатель Пушкина. Первое стихотвореніе Салтыкова «Лира», было напечатано въ «Библ. для Чт.» 1841 г., (т. 45, стр. 105—6), за подписью С—въ. Въ слѣдующемъ, 1842 году появилась въ томъ-же журналѣ (т. 50, стр. 10) другая его пьеса: «Двѣ Жизни»[74]).

Ко времени пребыванія въ лицеѣ относятся и всѣ остальныя стихотворенія Салтыкова, хотя они появились въ «Современникѣ», выходившемъ

---

[74]) См. Матеріалы для біографіи М. Е. Салтыкова. К. К. Арсеньевъ, стр. XV. Собр. соч. Т. I. Изд. 3-е. Спб. 1894.

тогда подъ редакціей Плетнева, — уже послѣ выпуска его изъ лицея, въ 1844 и 1845 г. «Я только что оставилъ школьную скамью, писалъ Салтыковъ объ этомъ времени въ четвертой главѣ «За рубежемъ», — и, воспитанный на статьяхъ Бѣлинскаго, естественно примкнулъ къ западникамъ ..къ тому безвѣстному кружку, который инстинктивно прилѣпился къ Франціи. Разумѣется, не къ Франціи Луи-Филиппа и Гизо, а къ Франціи Сенъ-Симона, Кабе, Фурье, Луи Блана и въ особенности Жоржъ-Занда. Оттуда лилась на насъ вѣра въ человѣчество, оттуда возсіяла намъ увѣренность, что золотой вѣкъ находится не позади, а впереди насъ... Въ Россіи все казалось поконченнымъ, запакованнымъ, и за пятью печатью сданнымъ на почту для выдачи адресату, котораго заранѣе предположено не разыскивать».

Еще до 1847 г., когда въ ноябрьской книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ» помѣщена была первая прозаическая повѣсть Салтыкова «Противорѣчія», онъ помѣщалъ въ томъ-же журналѣ, въ библіографическомъ отдѣлѣ рецензіи объ учебникахъ и книгахъ для дѣтскаго чтенія. Первая повѣсть была подписана—М. Непановъ. Въ 1848 появилась тамъ-же вторая его повѣсть: «Запутанное дѣло», подписанная иниціалами М. С. 23-го августа 1844 г. Салтыковъ былъ зачисленъ въ канцелярію военнаго министра, а два года спустя, 8-го августа 1846 г., получилъ тамъ мѣсто помощника секретаря. Занятія литературой повели къ нежданнымъ послѣдствіямъ.

Гр. Чернышевъ спросилъ Салтыкова: «Вы, кажется, въ журналахъ пишете?» На утвердительный отвѣтъ послѣдняго гр. Чернышевъ потребовалъ, чтобы онъ представилъ ему свои сочиненія. Салтыковъ представилъ министру свои два разсказа; министръ поручилъ Н. Кукольнику написать ему о нихъ докладъ. Заклятый врагъ натуральной школы, Н. Кукольникъ представилъ докладъ министру въ такомъ родѣ, что гр. Чернышевъ только ужаснулся, что такой опасный человѣкъ, какъ Салтыковъ, служитъ въ его министерствѣ—и тотчасъ же представилъ докладъ Кукольника въ Бутурлинскій комитетъ, а Салтыкова уволилъ изъ министерства. Бутурлинскій комитетъ препроводилъ докладъ Кукольника въ третье отдѣленіе,—и вотъ, въ одинъ прекрасный день, передъ квартирой Салтыкова остановилась ямская тройка съ жандармомъ, и объявлено было ему повелѣніе тотчасъ же ѣхать въ Вятку. Это было 28-го апрѣля 1848 г. Въ Вяткѣ Салтыковъ былъ зачисленъ сначала въ канцелярскіе чиновники при губернскомъ правленіи, т. е. пониженъ по службѣ, поставленъ въ самые послѣдніе ряды губернской административной іерархіи; но уже въ ноябрѣ мѣсяцѣ того-же 1848 г. онъ былъ назначенъ старшимъ чиновникомъ особыхъ порученій при вятскомъ гражданскомъ губернаторѣ. 5-го августа 1850 г. Салтыковъ былъ назначенъ совѣтникомъ вятскаго губернскаго правленія. Въ Вяткѣ онъ пробылъ всего семь лѣтъ. Снятіемъ съ него полицейскаго надзора онъ былъ

обязанъ новому вятскому губернатору Ланскому. Вскорѣ послѣ того, 12-го февраля 1856 г., онъ былъ уволенъ отъ должности совѣтника вятскаго губернскаго правленія, съ причисленіемъ къ министерству внутреннихъ дѣлъ.

Въ 1856 г. надворный совѣтникъ Салтыковъ былъ переведенъ изъ Вятки въ Петербургъ — и въ томъ-же году — надворный совѣтникъ Щедринъ помѣстилъ въ «Русскомъ Вѣстникѣ» первые изъ своихъ «Губернскихъ Очерковъ», сразу доставившихъ ему огромную извѣстность. Къ тому же году относится и женитьба Салтыкова.

Въ мартѣ 1858 г. Салтыковъ былъ назначенъ рязанскимъ вице-губернаторомъ; 3-го апрѣля 1860 г. онъ былъ переведенъ на ту-же должность въ Тверь, нѣсколько разъ исполнялъ тамъ обязанности губернатора. Въ тоже время онъ продолжалъ писать. Въ 1857 г. окончились «Губернскіе Очерки» въ «Русскомъ Вѣстникѣ», и вслѣдъ затѣмъ они вышли въ свѣтъ особой книжкой; въ томъ-же году Салтыковъ напечаталъ еще нѣсколько произведеній, отчасти вошедшихъ, отчасти не вошедшихъ въ полное собраніе его сочиненій. Къ послѣдней категоріи принадлежитъ комедія «Смерть Пазухина» («Русскій Вѣстникъ», № 19) и «Женихъ», картина провинціальныхъ нравовъ («Современникъ», № 10). Въ 1858 и 1859 г. произведенія Салтыкова появлялись въ «Русскомъ Вѣстникѣ», «Атенеѣ», «Современникѣ», «Библіотекѣ для Чтенія», «Московскомъ Вѣстникѣ»; почти все, написанное имъ за это время, вошло въ составъ «Невинныхъ разсказовъ». Съ 1860 г. Салтыковъ становится постояннымъ сотрудникомъ «Современника».

Въ статьѣ, посвященной «Губернскимъ Очеркамъ», Добролюбовъ отмѣчаетъ, что они «встрѣчены были восторженнымъ одобреніемъ всей русской публики». Мало того, явились многочисленныя подражанія въ свою очередь, имѣвшія большой успѣхъ, и «разсказы въ щедринскомъ родѣ прежде всего прочитывались въ журналахъ»[75]).

Вотъ что писалъ Дружининъ: «Въ «Губернскихъ Очеркахъ» Щедрина сказывается намъ писатель, несомнѣнно обладающій знаніемъ дѣла и пониманіемъ быта, имъ изображаемаго. Безъ заданной темы и мизантропическихъ умствованій, авторъ приступаетъ къ изложенію своей задачи, состоящей въ томъ, чтобъ передать читателю, въ рядѣ разностороннихъ и разнообразныхъ очерковъ, весь бытъ маленькаго провинціальнаго города Крутогорска. «Губернскіе Очерки» Щедрина получили у читателей большой успѣхъ, не смотря на суровый тонъ нѣкоторыхъ подробностей, и мрачныя краски, на которыя онъ не поскупился въ иныхъ этюдахъ. Дѣло въ томъ, что Щедринъ умѣлъ всюду провести, не взирая на темныя стороны раз-

[75]) Соч. Добролюбова. Т. I. Изд. 4-е. 1885, стр. 393.

сказа. одно честное и доброе лицо. Это лицо — истина. не отвлеченная и сухая истина. а истина живущая своей жизнью и наполняющая собой всѣ части разсказа.

Читая «Очерки» Щедрина. общество 50-хъ годовъ видѣло въ нихъ. что время приспѣло. что изобличенное въ нихъ и выведенное на свѣтъ не останется спокойно продолжать свое грабительское дѣло. какъ было послѣ «Ревизора». но «Очерки» являются какъ-бы «разслѣдованіемъ» сенаторской ревизіи. за которымъ послѣдуетъ и резолюція. Но это самое, что усиливало интересъ въ читателяхъ 50-хъ годахъ. въ наши дни лишаетъ многихъ достоинствъ «Очерки». Они тяжеловаты и скучноваты для современнаго читателя. Въ нихъ еще нѣтъ того сатирика, котораго мы знаемъ позднѣе, онъ еще ищетъ свою манеру и порою впадаетъ въ сентиментализмъ и псевдонародный тонъ причитанія.

Анненковъ отмѣчалъ съ одной стороны «какой-то суровый характеръ» пера Щедрина, указывая въ то-же время его откровенный юморъ и замѣчательную способность къ политической каррикатурѣ и къ «шаржѣ» вообще.

БИБЛІОГРАФІЯ: «Обломовъ»: Добролюбовъ. Что такое обломовщина? Соч., ч. II.—Писаревъ. Писемскій, Тургеневъ и Гончаровъ. Соч.. т. I. — Ор. Миллеръ. Русскіе писатели послѣ Гоголя. Спб. 96 г.—Стоюнинъ. Р. Міръ. 1859 г. № 20. 21.— Дружининъ. Соч.. т. VII. — А. Милюковъ. Отголоски. Критич. очерки. Спб. 1875 г. — Н. Ахшарумовъ. Обломовъ. Р. В. 1860 г. № 3.—«Тысяча душъ»: Анненковъ. Восп. и критич. оч. II. Дѣловой романъ. — Н. Ахшарумовъ. Статья въ сборн. «Весна». 1859 г. Стр. 291—345. — Е. Эдельсонъ. Р. Сл. 1859 г. № 1. — Дружининъ. Соч., т. VII. — «Губернскіе очерки»: Анненковъ. Восп. и критич. оч. II. — Чернышевскій. Критич. статьи. Изд. 1893 г. — Дружининъ. Соч. VII.—Добролюбовъ. Соч., т. I.

III.

§ 1. Особенность конца сороковыхъ и начала пятидесятыхъ годовъ— гоненіе на поэзію и постепенное исчезновеніе самаго отдѣла стихотвореній изъ тогдашнихъ журналовъ. «Читателей нашихъ, говоритъ объ этомъ времени Дружининъ, — вообще немного шаткихъ и насмѣшливыхъ — критика и журналистика въ теченіе долгихъ лѣтъ усиленно отвращали отъ сочувствія къ дѣлу поэзіи... Тамъ публикѣ говорили. что въ дѣлѣ стихотворства нѣтъ средины между всѣмъ и ничѣмъ, геніемъ и бездарностью, возвышенной дидактикой и гаерствомъ; въ другомъ мѣстѣ провозглашалась рѣшительная безполезность стихотвореній. даже хорошихъ, даже весьма хорошихъ». (VII. 116. 117).

Поэты или совсѣмъ молчали или писали лѣниво и не смѣло, рѣдко и какъ будто разсѣянно, посреди общей холодности къ дѣлу чистой поэзіи, въ бурномъ хаосѣ столкнувшихся теорій, при шумѣ полемики и борьбы, во время успѣха сатирическихъ, психологическихъ, ультрареалистическихъ прозаиковъ. Съ 1854 года началась реакція, когда буквально былъ открытъ Тютчевъ.

Ѳедоръ Ивановичъ былъ второй и меньшой сынъ Ивана Николаевича и Екатерины Львовны Тютчевыхъ и родился въ 1803 г. 23 ноября, въ родовомъ имѣніи, селѣ Овстугъ, Орловской губерніи Брянскаго уѣзда. Тютчевы принадлежали къ старинному русскому дворянству. Семейное преданіе выводило этотъ родъ изъ Флоренціи. Не выдѣляясь ничѣмъ изъ общаго типа Московскихъ барскихъ домовъ того времени, домъ Тютчевыхъ — открытый, гостепріимный, охотно посѣщаемый многочисленною роднею и московскимъ свѣтомъ — былъ совершенно чуждъ интересамъ литературнымъ, и въ особенности русской литературы.

Въ семействѣ Тютчевыхъ преобладалъ и почти исключительно господствовалъ французскій языкъ, такъ что не только всѣ разговоры, но и вся переписка родителей съ дѣтьми и дѣтей между собою, какъ въ ту пору, такъ и потомъ, втеченіи всей жизни, велась не иначе, какъ по французски [76]).

Тютчеву было почти 9 лѣтъ, когда насталъ 1812 годъ. Семья провела все это тревожное время въ Ярославлѣ. Немедленно послѣ французовъ къ нему пригласили воспитателемъ Семена Егоровича Раича (Амфитеатрова). Знатокъ классической древней и иностранной словесности, Раичъ пробылъ въ домѣ Тютчевыхъ семь лѣтъ. Тамъ одновременно трудился онъ надъ переводами Георгикъ, Освобожденнаго Іерусалима, Неистоваго Орланда и надъ воспитаніемъ будущаго русскаго поэта [77]).

Ученикъ скоро сталъ гордостью учителя, и уже 14-ти лѣтъ перевелъ посланіе Горація къ Меценату. Раичъ, какъ членъ основаннаго въ 1811 г. въ Москвѣ Общества Любителей Россійской словесности, не замедлилъ представить этотъ переводъ Обществу.

Стихотвореніе появилось въ „Трудахъ" (М. 1819, ч. 14, кн. 21). Это первое напечатанное произведеніе поэта, за которое 30 марта 1818 г. Общество почтило 14-лѣтняго переводчика званіемъ сотрудника. Не вошло ни въ одно изданіе до 1900 г.

Въ 1818 году Тютчевъ поступилъ въ Московскій университетъ. Тамъ онъ познакомился съ студентомъ Погодинымъ (будущій историкъ). Въ 1821 г., когда Тютчеву не было еще и 18-ти лѣтъ, онъ получилъ канди-

---

[76]) И. С. Аксаковъ. Ѳедоръ Ивановичъ Тютчевъ. (Біографическій очеркъ). М. 1874, стр. 11.

[77]) Аксаковъ, 15.

датскую степень. Въ 1822 г. онъ былъ отправленъ въ Петербургъ, на службу въ Государственную Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ. Но въ іюнѣ мѣсяцѣ того-же года, его родственникъ, знаменитый герой Кульмской битвы, потерявшій руку на полѣ сраженія, графъ А. И. Остерманъ—Толстой посадилъ его съ собой въ карету и увезъ за границу, гдѣ и пристроилъ сверхштатнымъ чиновникомъ къ русской миссіи въ Мюнхенѣ.

На козлахъ той кареты, которая увезла графа Остермана-Толстаго и 18-ти-лѣтняго Тютчева заграницу, усѣлся и благополучно прибылъ съ ними старикъ-дядька Ѳедора Ивановича, Николай Аѳанасьевичъ Хлоповъ. Онъ не хотѣлъ разстаться съ «дитятею», которое взлелѣялъ съ 4-хъ-лѣтняго возраста. Въ Мюнхенѣ старикъ остался вѣренъ всѣмъ русскимъ обычаямъ, и въ нѣмецкой квартирѣ Тютчева устроилъ себѣ уютный русскій уголокъ съ иконою и лампадою. Онъ взялъ въ свое завѣдываніе хозяйство юнаго дипломата и собственноручно готовилъ ему столъ, угощая его, а порою и его пріятелей-иностранцевъ, произведеніями русской кухни. Вѣрный дядька оставался въ Мюнхенѣ до самой женитьбы Ѳедора Ивановича въ 1826 году, Онъ игралъ въ жизни поэта роль няни Пушкина [78]).

Въ 1826 году Тютчевъ 23-хъ лѣтъ отъ роду женился въ Мюнхенѣ на милой, граціозной, умной, нѣсколько старшей его, вдовѣ нашего бывшаго министра при одномъ изъ второстепенныхъ германскихъ дворовъ, Петерсона. Урожденная графиня Ботмеръ, она происходила по матери изъ рода Ганштейнъ. Такимъ образомъ Тютчевъ породнился разомъ съ двумя старыми аристократическими фамиліями Баваріи и попалъ въ цѣлый сонмъ нѣмцевъ-родственниковъ. Скромная гостиная Тютчева (Herr Тутшѐвъ), при общительномъ характерѣ прелестной хозяйки, стала вскорѣ сборнымъ мѣстомъ всѣхъ даровитыхъ и вообще замѣчательныхъ людей въ городѣ; особенно часто посѣщалъ ее поэтъ Гейне. Въ 1830 г. братья Кирѣевскіе слушали въ Мюнхенѣ лекціи Шеллинга, и постоянно посѣщали Тютчевыхъ. Въ томъ-же году Тютчевъ возилъ свою жену въ Петербургъ знакомиться съ ея русскими родными. Въ 1833 году онъ былъ отправленъ курьеромъ съ дипломатическимъ порученіемъ на Іоническіе острова.

Въ концѣ 1837 года, уже каммергеръ и статскій совѣтникъ, онъ былъ повышенъ по службѣ, именно назначенъ старшимъ секретаремъ посольства въ Туринъ. Осенью того-же года въ Туринѣ скончалась его жена.

Въ 1839 г. Тютчевъ во второй разъ женился и опять на вдовѣ баронессѣ Эрнестинѣ Дёрнгеймъ, урожденной Пфеффель († 17 апр. 1894 г.), женщинѣ замѣчательной красоты и ума, впрочемъ изъ семейства болѣе французскаго, чѣмъ нѣмецкаго, происхожденіемъ изъ Эльзаса. Она изучила русскій языкъ, чтобы имѣть возможность читать стихотворенія мужа, что открыло ей всю

[78]) Аксаковъ. Стр. 23.

красоту и глубину произведенiй поэта. Ей русская литература несомнѣнно обязана сохраненiемъ большинства его произведенiй, которыя иначе, при полномъ равнодушiи автора къ ихъ участи, были-бы утрачены навсегда. Тютчевъ не долго оставался въ столицѣ Пiемонта; исправляя за отсутствiемъ посланника должность повѣреннаго въ дѣлахъ, и видя, что дѣлъ собственно не было никакихъ, поэтъ въ одинъ прекрасный день, имѣя неотложную надобность съѣздить на короткiй срокъ въ Швейцарiю, заперъ дверь посольства и отлучился изъ Турина, не испросивъ себѣ формальнаго разрѣшенiя. Но эта самовольная отлучка не прошла ему даромъ. О ней узнали въ Петербургѣ, и ему повелѣно было оставить службу, при чемъ сняли съ него и званiе камергера. Тютчевъ однако не поѣхалъ въ Россiю, а съ 1840 г. зажилъ въ Мюнхенѣ прежнею жизнью. Однако уже лѣтомъ 1844 г. видимъ Тютчева въ Россiи. Онъ поселяется въ Петербургѣ, изрѣдка совершая поѣздки заграницу и ежегодно въ Москву. Появленiе его въ петербургскомъ свѣтѣ сопровождалось блестящимъ успѣхомъ. Въ 1848 г. Тютчевъ опредѣленъ старшимъ цензоромъ при Особой Канцелярiи Министерства Иностранныхъ дѣлъ, съ оставленiемъ въ прежней должности. Въ 1854 появилось въ IV кн. журнала «Современникъ» (изданiе Некрасова и Панаева) собранiе стихотворенiй Тютчева.

§ 2. «Вдохновенныя произведенiя Тютчева столько лѣтъ оставались въ нашей литературѣ безъ слова сочувствiя, безъ вниманiя читателей»[79]).

Съ 1840 по 1854 годъ, слѣдовательно въ теченiе четырнадцати лѣтъ, не появлялось въ печати ни одного стихотворенiя Тютчева, если не считать его перевода изъ Шиллера «Поминки», помѣщеннаго въ «Раутѣ». Между тѣмъ эти года были самыми обильными творчествомъ[80]).

«Въ 1836 году Пушкинъ основалъ новый журналъ «Современникъ», говоритъ Н. А. Некрасовъ въ своей статьѣ — «Русскiе второстепенные поэты» («Современникъ», 1850, № 1, отд. VI, стр. 56). Съ третьяго же тома въ «Современникѣ» начали появляться стихотворенiя, въ которыхъ было столько оригинальности мысли и прелести изложенiя, столько, однимъ словомъ, поэзiи, что, казалось, только самъ же издатель журнала могъ быть авторомъ ихъ. Но подъ ними весьма четко выставлены были буквы: «Ѳ. Т.» носили они одно общее заглавiе: «Стихотворенiя, присланныя изъ Германiи...». Съ тѣхъ поръ (съ 1836), время отъ времени, продолжали появляться въ «Современникѣ» стихотворенiя за этою подписью, до 1840 года включительно. Съ 1841 года мы уже не встрѣчали этого имени въ «Современникѣ», въ другихъ журналахъ оно также не появлялось, и, можно сказать,

79) Дружининъ, VII, 488.

80) Аксаковъ. Стр. 44, 45, 46, 47.

что съ того времени оно вовсе исчезло изъ русской литературы. Неизвѣстно навѣрное, обратило ли оно на себя какое-нибудь вниманіе публики въ то время, когда появлялось въ печати, но положительно можно сказать, что ни одинъ журналъ не обратилъ на него ни малѣйшаго вниманія. Между тѣмъ стихотворенія Ѳ. Т. принадлежатъ къ немногимъ блестящимъ явленіямъ въ области русской поэзіи.

По отъѣздѣ Тютчева въ Мюнхенъ въ 1822 году, первыя его стихотворенія появляются въ Альманахѣ «Уранія» на 1826 г., изданномъ въ Москвѣ М. П. Погодинымъ и Раичемъ. Въ журналѣ Раича «Галатея» въ 1829 и 1830 г.г. Тютчевъ помѣщаетъ 13 стихотвореній; въ томъ числѣ нѣсколько пьесъ первостепеннаго достоинства, признанныхъ потомъ всѣми критиками за лучшія. Въ то время они прошли незамѣченными. Черезъ пять лѣтъ въ «Молвѣ» (еженед. прибавл. къ «Телескопу» Надеждина) появилось превосходное по содержанію и по формѣ стихотвореніе его Silentium, такъ же вовсе не замѣченное публикой.

Нашелся въ Мюнхенѣ русскій, который понялъ значеніе поэтическаго таланта Тютчева, собралъ, сколько могъ, его стихотвореній, и доставилъ въ 1836 году Пушкину. Это былъ князь Иванъ Сергѣевичъ Гагаринъ (впослѣдствіи іезуитъ). Пушкинъ тотчасъ же оцѣнилъ стихи Тютчева, и съ III-го же тома своего «Современника», началъ ихъ послѣдовательное печатаніе подъ общимъ заглавіемъ: «Стихотворенія, присланныя изъ Германіи», и за подписью: Ѳ. Т. По смерти Пушкина, «Современникъ», издаваемый уже Плетневымъ, продолжалъ ежегодно помѣщать на своихъ страницахъ нѣсколько стихотвореній Тютчева, до начала 1840 г. включительно. Всего съ 1836 по 1840 г. напечатано въ «Современникѣ» 39 пьесъ, въ томъ числѣ перепечатано Silentium и еще пьесы изъ «Галатеи». Стихотворенія Ѳ. Т. обратили на себя вниманіе публики, но не вызвали ни одного отзыва въ тогдашнихъ журналахъ.

«Г-нъ Ѳ. Т. написалъ очень немного, — говоритъ Некрасовъ,— но все написанное имъ носитъ на себѣ печать истиннаго и прекраснаго таланта, нерѣдко самобытнаго, всегда граціознаго, исполненнаго мысли и неподдѣльнаго чувства».

Стихотворенія Ѳ. Т., о которыхъ здѣсь говоритъ Некрасовъ, есть тѣ 39 стихотвореній, помѣщенныхъ въ 3, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 19 и 20 томахъ «Современника» Пушкина и Плетнева на 1836—1840 годъ, которыя, вмѣстѣ съ прежде напечатанными, въ числѣ 96 пьесъ, были перепечатаны «Современникомъ» Панаева и Некрасова въ 1854 году, въ видѣ прибавленія къ 3-й книжкѣ журнала, и которыя были встрѣчены такими восторженными похвалами критики и читающей публики. «Удивительное измѣненіе вкусовъ! — замѣчаетъ Н. В. Гербель, — то, что было пропущено безъ вниманія въ 1836 — 1840 годахъ, то въ 1854 г. вызываетъ востор-

женныя похвалы». Вмѣстѣ съ тѣмъ это было какъ бы разрѣшеніе, послѣ долгаго поста, «отъ вина и елея» — стихи опять вернулись въ журналы.

«Мы не могли душевно не порадоваться, писалъ И. С. Тургеневъ, собранію во едино разбросанныхъ доселѣ стихотвореній одного изъ самыхъ замѣчательныхъ нашихъ поэтовъ, какъ бы завѣщаннаго намъ привѣтомъ и одобреніемъ Пушкина — Ѳ. И. Тютчева... Тютчевъ стоитъ рѣшительно выше всѣхъ своихъ собратовъ по Аполлону. Легко указать на тѣ отдѣльныя качества, которыми превосходятъ его болѣе даровитые изъ теперешнихъ нашихъ поэтовъ: на плѣнительную, хотя нѣсколько однообразную, грацію Фета, на энергическую, часто сухую и жесткую страстность Некрасова, на правильную, иногда холодную живопись Майкова: но на одномъ Тютчевѣ лежитъ печать той великой эпохи, къ которой онъ принадлежитъ, и которая такъ ярко и сильно выразилась въ Пушкинѣ; въ немъ одномъ замѣчается соразмѣрность таланта съ самимъ собою... хотя часть того, что въ полномъ развитіи своемъ составляетъ отличительные признаки великихъ дарованій... Талантъ его не состоитъ изъ безсвязно разбросанныхъ частей: онъ замкнутъ и владѣетъ собою; въ немъ нѣтъ другихъ элементовъ, кромѣ элементовъ чисто-лирическихъ; но эти элементы опредѣлительно ясны... отъ его стиховъ не вѣетъ сочиненіемъ... они не придуманы, а выросли сами, какъ плодъ на деревѣ, и по этому драгоцѣнному качеству мы узнаемъ, между прочимъ, вліяніе на нихъ Пушкина, видимъ въ нихъ отблескъ его времени... Сочинительство не исчезло въ нашей литературѣ. Слѣды его, и довольно сильные, можно замѣтить въ произведеніяхъ многихъ нашихъ писателей, но въ Тютчевѣ его нѣтъ. У него часто попадаются устарѣлыя выраженія... но все выкупается неподдѣльностью его вдохновенія... Самый языкъ Тютчева часто поражаетъ читателя счастливой смѣлостью и почти Пушкинской красотой своихъ оборотовъ... Каждое его стихотвореніе начиналось мыслью, но мыслію, которая, какъ огненная точка, вспыхивала подъ вліяніемъ глубокаго чувства или сильнаго впечатлѣнія; вслѣдствіе этого, если можно такъ выразиться, свойства происхожденія своего, мысль Тютчева никогда не является нагою и отвлеченною, но всегда сливается съ образомъ, взятымъ изъ міра души или природы, проникается имъ, и сама его проникаетъ нераздѣльно и неразрывно. Исключительно, почти мгновенно, лирическое настроеніе поэзіи Тютчева заставляетъ его выражаться сжато и кратко, какъ бы окружаетъ себя стыдливо-тѣсной и изящной чертой. Самыя короткія стихотворенія Тютчева почти всегда самыя удачныя. Чувство природы въ немъ необыкновенно тонко, живо и вѣрно».

Въ Тютчевѣ замѣтенъ тонкій вкусъ — плодъ многосторонняго образованія, чтенія и богатой жизненной опытности. Языкъ страсти, языкъ женскаго сердца ему знакомъ и дается ему... Талантъ его, по самому свойству

своему, не обращенъ къ толпѣ и не отъ нея ждетъ отзыва и одобренія; для того, чтобы вполнѣ оцѣнить Тютчева, надо самому читателю быть одареннымъ нѣкоторою тонкостію пониманія, нѣкоторою гибкостію мысли... Тютчевъ можетъ сказать себѣ, что онъ, по выраженію одного поэта, создалъ рѣчи, которымъ не суждено умереть; а для истиннаго художника выше подобнаго сознанія награды нѣтъ[81]).

«Тютчевъ былъ не только самобытный, глубокій мыслитель, не только своеобразный, истинный художникъ-поэтъ, но и одинъ изъ малаго числа носителей, даже двигателей нашего русскаго народнаго самосознанія». (И. С. Аксаковъ).

Въ 1857 году Тютчевъ написалъ, въ видѣ письма къ князю Горчакову статью или записку о цензурѣ, которая тогда ходила въ рукописныхъ спискахъ и, можетъ быть, не мало содѣйствовала болѣе разумному и свободному взгляду на значеніе печатнаго слова въ нашихъ правительственныхъ сферахъ.

Вотъ какъ характеризовалъ Тютчевъ результаты николаевской цензуры:

«S'il est une vérité, parmi beaucoup d'autres, qui soit sortie, entourée d'une grande évidence, de la sévère expérience des dernières années, c'est assurément celle-ci: il nous a été rudement prouvé qu'on ne saurait imposer aux intelligences une contrainte, une compression trop absolue, trop prolongée, sans qu'il en résulte des dommages graves pour l'organisme social tout entier. Il paraît que tout affaiblissement, toute diminution notable de la vie intellectuelle dans une société tourne nécessairement au profit des appétits matériels et des instincts sordidement égoïstes. Le Pouvoir lui-même n'échappe pas à la longue aux inconvénients d'un pareil régime. Un désert, un vide intellectuel immense se fait autour de la sphère où il réside, et la pensée dirigeante, ne trouvant en dehors d'elle-même ni contrôle, ni indication, ni un point d'appui quelconque, finit par se troubler et par s'affaisser sous son propre poids, avant même que de succomber sous la fatalité des événements. Heureusement cette rude leçon n'a pas été perdue. Le sens droit et la nature bienveillante de l'Empereur régnant ont compris qu'il y avait lieu à se relâcher de la rigueur excessive du système précédent et à rendre aux intelligences l'air qui leur manquait... т. е. если среди многихъ другихъ существуетъ истина, которая опирается на полнѣйшей очевидности и на тяжеломъ опытѣ послѣднихъ годовъ, то эта истина есть несомнѣнно слѣдующая: намъ было жестоко доказано, что нельзя налагать на умы безусловное и слишкомъ продолжительное стѣсненіе и гнетъ, безъ существеннаго вреда для всего общественнаго организма. Видно, всякое ослабленіе и замѣтное умаленіе умственной жизни въ обществѣ неизбѣжно влечетъ за собою усиленіе матеріальныхъ наклонностей и

[81]) «Современникъ». 1854, № 4. Соч. Т. X. Изд. 3-е, 1891, стр. 418—423.

гиусно-эгоистическихъ инстинктовъ. Даже сама власть съ теченіемъ времени не можетъ уклониться отъ неудобствъ подобной системы. Вокругъ той сферы, гдѣ она присутствуетъ, образуется пустыня и громадная умственная пустота, и правительственная мысль, не встрѣчая извнѣ ни контроля, ни указанія, ни малѣйшей точки опоры, кончаетъ тѣмъ, что приходитъ въ смущеніе и изнемогаетъ подъ собственнымъ бременемъ еще прежде, чѣмъ бы ей суждено пасть подъ ударами злополучныхъ событій. Къ счастью, этотъ жестокій урокъ не пропалъ даромъ. Здравый смыслъ и благодушная природа царствующаго императора уразумѣли, что наступила пора ослабить чрезвычайную суровость предшествующей системы и вновь даровать умамъ недостававшій имъ просторъ»[82].

Въ томъ же 1857 году Тютчевъ занялъ мѣсто предсѣдателя спб. комитета иностранной цензуры. Объ этомъ самъ онъ писалъ:

Велѣнью высшему покорны,
У мысли стоя на часахъ,
Не очень были мы задорны,
Хоть и со штуцеромъ въ рукахъ.
Мы имъ владѣли неохотно,
Грозили рѣдко, и скорѣй
Не арестантскій, а почетный
Держали караулъ при ней[83].

Скончался Тютчевъ 15 іюля 1873 года.

БИБЛІОГРАФІЯ: Изданія сочиненій Ѳ. И. Тютчева: Стихотворенія. Спб. 1854. То же Москва, 1868. То же. М. 1883. Сочиненія. Стихотворенія и политическія статьи. Спб. 1886. Стихотворенія. М. 1886 (при участіи Ап. Н. Майкова). То же. М. 1899 (Изданіе «Русск. Архива»). «Новонайденныя стихотворенія» (31 пьеса). М. 1879. Въ 1900 г. вышло новое, обозначенное вторымъ изданіе «Сочиненій Ѳ. И. Тютчева». Стихотворенія и политическія статьи (Россія и Германія. 1844 г. Россія и революція. 1848. Папство и римскій вопросъ съ русской точки зрѣнія. 1849. О цензурѣ въ Россіи. 1857. Статьи въ переводѣ и въ франц. подлинникѣ). Съ портретомъ и снимкомъ съ рукописи автора. Дополненное нѣсколькими стихотвореніями. Съ указаніемъ времени и мѣста появленія пьесъ. При содѣйствіи библіографа А. А. Флоридова. Хронологія произведеній Тютчева была дана Н. В. Гербелемъ (Русскіе поэты. Спб. 1873 г., стр. 345—348). Исправлена И. С. Аксаковымъ въ приложеніи къ его біографіи поэта. Окончательно обработана въ примѣчаніяхъ къ изданію 1900 г. Біографія: И. С. Аксаковъ. Ѳ. И. Тютчевъ.

---

[82]) Lettre sur la censure en Russie. pg. 604. Соч. Изд. 1900 г.

[83]) Экспромтъ. Въ альбомъ Ваккара, члена комитета иностр. цензуры, въ то время какъ Тютчевъ былъ предсѣдателемъ онаго, октябрь, 1870 г.

Біографич. очеркъ. М. 1874 г.—Кн. В. П. Мещерскій. Воспоминанія. Спб. 1897 г., ч. I. стр. 325—326.—А. В. Никитенко. Записки и дневникъ. Спб. 1893, т. 3, стр. 22—23, 113, 226. 234—235.—Рецензія на изд. Соч. Спб. 1886 г. въ «Русск. Арх.», 1886, III, 534.—П. Плетневъ. Записка о Ѳ. И. Т—вѣ. Уч. Зап. 2-го Отд. Имп. Ак. Н., т. V.—Вл. Соловьевъ. Поэзія Ѳ. И. Тютчева. В. Е. 1895 г. № 4.—Н. Страховъ. О Тютчевѣ въ книгѣ «Замѣтки о Пушкинѣ и другихъ поэтахъ». Спб. 1888 г.—И. Тургеневъ. Нѣсколько словъ о стихотвореніяхъ Ѳ. И. Тютчева. Соч., т. XII.—Разборъ А. А. Фета («Русское Слово», кн. II, 1859 г.).—F. J. Tjutschew's Lyrische Gedichte. In den Versmaassen des Originals, dem Russ. nachgebildet von H. Noe. München. 1861.—Изъ писемъ Ѳ. И. Тютчева (1846—1853). Р. Арх. 98 г. № 12.

§ 3. «Среди громовъ, среди огней, среди клокочущихъ зыбей, въ стихійномъ, пламенномъ раздорѣ, она съ небесъ слетаетъ къ намъ—небесная—къ земнымъ сынамъ, съ лазурной ясностью во взорѣ, и на бунтующее море льетъ примирительный елей»[84]).

Такъ опредѣляетъ поэзію Тютчевъ. Но поэзія его глубже этого опредѣленія. «Подъ нею хаосъ шевелится!» «Ропщетъ мыслящій тростникъ» и этотъ ропотъ возмущаетъ кристаллъ чистаго искусства. Наконецъ, Тютчевъ — пѣвецъ Руси и славянства, пѣвецъ-гражданинъ, хотя этимъ гражданскимъ стремленіямъ онъ умѣлъ придать форму совершенной красоты.

Въ рядѣ стихотвореній Тютчева раскрывается какъ бы исторія его настроеній, сперва художественно беззаботныхъ:

«Весь день, въ бездѣйствіи глубокомъ, весенній теплый воздухъ пить; на небѣ чистомъ и высокомъ порою облака слѣдить; бродить безъ дѣла и безъ цѣли и, ненарокомъ, на лету, набресть на свѣжій духъ синели или на свѣтлую мечту!..»[85]).

«Вѣтеръ тихій мимолетомъ твоей одеждою игралъ и съ дикихъ яблонь цвѣтъ за цвѣтомъ на плечи юныя свѣвалъ. Ты беззаботно въ даль глядѣла... Край неба дымно гасъ въ лучахъ; день догоралъ; звучнѣе пѣла рѣка въ померкшихъ берегахъ. И ты, съ веселостью безпечной, счастливый провожала день... И сладко жизни быстротечной надъ нами пролетала тѣнь». Скоро однако, тѣнь эта сгущается и разражается душевными бурями. Сначала видимъ стремленіе бѣжать отъ прозы современности.

«О, какъ пронзительны и дики, какъ ненавистны для меня сей шумъ, движенье, говоръ, клики младого, пламеннаго дня!.. Какъ грустно полусонной тѣнью, съ изнеможеніемъ въ кости, на встрѣчу солнцу и движенью за новымъ племенемъ брести!»[86]). Это странное вычисленіе себя изъ «новаго

[84]) Поэзія. Послѣ 1850 г., стр. 160, Изд. 1900 г.
[85]) Стр. 43. Написано въ 20-хъ годахъ.
[86]) Стр. 36 и 37. Написано до 25 года.

племени», смѣняется желаніемъ самому явиться «младымъ, пламеннымъ днемъ» и заканчивается гамлетовскимъ «Silentium»:

«Какъ надъ горячею золой дымится свитокъ и сгораетъ, и огнь, сокрытый и глухой, слова и строки пожираетъ: такъ грустно тлится жизнь моя и съ каждымъ днемъ уходитъ дымомъ: такъ постепенно гасну я въ однообразьи нестерпимомъ... О, небо, если бы хоть разъ сей пламень развился по волѣ, и не томясь, не мучась долѣ, я просіялъ бы — и погасъ!»[87]).

«Молчи, скрывайся и таи и чувства, и мечты свои! Пускай въ душевной глубинѣ и всходятъ, и зайдутъ онѣ, какъ звѣзды ясныя въ ночи: любуйся ими и молчи! Какъ сердцу высказать себя? Другому какъ понять тебя? Пойметъ ли онъ, чѣмъ ты живешь? Мысль изреченная есть ложь. Взрывая, возмутишь ключи: Питайся ими и молчи!»[88]).

Изображая природу, Тютчевъ смѣлъ до невѣроятія, такъ какъ она для него раскрывается въ своей самой интимной сущности. «Поютъ деревья, блещутъ воды...» Кто бы рѣшился кромѣ Тютчева, такъ выразиться? Въ цѣломъ рядѣ образовъ природа живетъ предъ нами, не какъ частность, но какъ цѣлое, объятое въ полнотѣ:

«Рѣка воздушная полнѣй течетъ межъ небомъ и землею, грудь дышетъ легче и вольнѣй, освобожденная отъ зноя. И сладкій трепетъ, какъ струя, по жиламъ пробѣжалъ природы, какъ бы горячихъ ногъ ея, коснулись ключевыя воды!»[89]).

«Подъ дыханьемъ непогоды, вздувшись, потемнѣли воды и подернулись свинцомъ, и сквозь глянецъ ихъ суровый вечеръ пасмурно-багровый свѣтитъ радужнымъ лучемъ. Сыплетъ искры золотыя, сѣетъ розы огневыя и уноситъ ихъ потокъ: надъ волной темно-лазурной вечеръ пламенный и бурный обрываетъ свой вѣнокъ»[90]).

«Смотри, какъ днемъ туманисто — бѣло чуть брежжетъ въ небѣ мѣсяцъ свѣтозарный, наступитъ ночь, и въ чистое стекло вольетъ елей душистый и янтарный»[91]).

«Ночь хмурая, какъ звѣрь стоокій, глядитъ изъ каждаго куста...»[92]).

«Есть въ свѣтлости осеннихъ вечеровъ умильная, таинственная прелесть... Зловѣщій блескъ и пестрота деревъ, багряныхъ листьевъ томный, легкій шелестъ... ущербъ, изнеможенье и во всемъ та кроткая улыбка увя-

---

[87]) Писано въ 30-хъ гг., стр. 93.
[88]) Selentium. Въ 30-хъ гг., стр. 103.
[89]) **Лѣтній вечеръ. Стр. 56. Писано въ 1829 г.**
[90]) **12-го августа 1850 г., стр. 179.**
[91]) Соч. Изд. 2-е. Спб. 1900, стр. 25.
[92]) 1830, стр. 74.

данья, что въ существѣ разумномъ мы зовемъ возвышенной стыдливостью страданья»[93]).

Способность видѣть цѣлое, «космосъ» въ его полнотѣ, одна изъ отличительныхъ чертъ Тютчева. У другихъ поэтовъ не видно этого ощущенія цѣлаго природы, человѣчества, бытія. Только Тютчевъ могъ сказать:

«На древѣ человѣчества высокомъ ты лучшимъ былъ его листомъ, воспитанный его чистѣйшимъ сокомъ, развитъ чистѣйшимъ солнечнымъ лучемъ»[94]).

Но ощущая цѣлое, космосъ, Тютчевъ въ то же время волнуемъ той невѣдомой все же частью, которая скрыта и въ природѣ, какъ хаосъ, и въ человѣкѣ, какъ зло и возмущеніе. Это порождаетъ цѣлый рядъ поразительныхъ картинъ и настроеній:

«Какъ жадно міръ души ночной внимаетъ повѣсти любимой! Изъ смертной рвется онъ груди и съ безпредѣльнымъ жаждетъ слиться. О, бурь заснувшихъ не буди: подъ ними хаосъ шевелится»[95]).

«Тѣни сизыя смѣсились, цвѣтъ поблекнулъ, звукъ уснулъ; жизнь, движенье разрѣшились въ сумракъ зыбкій, въ дальній гулъ... Мотылька полетъ незримый слышенъ въ воздухѣ ночномъ... часъ тоски невыразимой! Все во мнѣ — и я во всемъ...»[96]).

«...Въ тихую область видѣній и сновъ врывалася пѣна ревущихъ валовъ...»[97]).

«Люблю сей Божій гнѣвъ! Люблю сіе, незримо во всемъ разлитое, таинственное зло — въ цвѣтахъ, въ источникѣ прозрачномъ, какъ стекло, и въ радужныхъ лучахъ, и въ самомъ небѣ Рима! Все та-жъ высокая, безоблачная твердь, все также грудь твоя легко и сладко дышетъ, все тотъ же теплый вѣтръ верхи деревъ колышетъ, все тотъ же запахъ розъ... и это — все есть смерть!»[98]).

«Какъ океанъ объемлетъ шаръ земной, земная жизнь кругомъ объята снами, настанетъ ночь, и звучными волнами стихія бьетъ о берегъ свой. То гласъ ея: онъ нудитъ насъ и проситъ. Ужъ въ пристани волшебный ожилъ челнъ, приливъ ростетъ и быстро насъ уноситъ въ неизмѣримость темныхъ волнъ. Небесный сводъ, горящій славой звѣздной, таинственно глядитъ изъ глубины, и мы плывемъ, пылающею бездной со всѣхъ сторонъ окружены»[99]).

---

93) Осенній вечеръ, конецъ 30-хъ гг., стр. 129.
94) На смерть Гете. 1832, стр. 84.
95) Писано въ 30-хъ годахъ, стр. 99.
96) Сумерки. 20-е годы, стр. 29.
97) Сонъ на морѣ. Стр. 49. Написано въ 20-хъ годахъ.
98) Mal'aria. 1830, стр. 73.
99) Писано въ 30-хъ гг., стр. 80.

На міръ дневной спустилася завѣса; изнемогло движенье, трудъ уснулъ надъ спящимъ градомъ, какъ въ вершинахъ лѣса, проснулся чудный, еженочный гулъ... Откуда онъ, сей гулъ непостижимый? Иль смертныхъ думъ, освобожденныхъ сномъ, міръ безтѣлесный, слышный, но незримый, теперь роится въ хаосѣ ночномъ?...»[100]).

«...Зарницы огневыя, воспламеняясь чередой, какъ демоны глухонѣмые, ведутъ бесѣду межъ собой»[101]).

Этотъ міръ «демоновъ глухонѣмыхъ», и «безтѣлесный міръ, освобожденный сномъ», «пылающая бездна», окружающая насъ, «хаосъ» шевелящійся грезится поэту, но проникнуть въ него возможно только безумію, если возможно только:

«Тамъ, гдѣ съ землею обгорѣлой слился, какъ дымъ, небесный сводъ, тамъ въ беззаботности веселой безумье жалкое живетъ. Подъ раскаленными лучами, зарывшись въ пламенныхъ пескахъ, оно стеклянными очами чего-то ищетъ въ облакахъ. То вспрянетъ вдругъ и, чуткимъ ухомъ припавъ къ растреснувшей землѣ, чему-то внемлетъ жаднымъ слухомъ съ довольствомъ тайнымъ на челѣ. И мнитъ, что слышитъ струй кипѣнье, что слышитъ токъ подземныхъ водъ, и колыбельное ихъ пѣнье, и шумный изъ земли исходъ»[102]).

Этотъ «хаосъ», шевелящійся подъ космосомъ, родитъ сомнѣнія въ груди поэта, которыя выражены имъ съ разительной силой и краткостью:

«И чувства нѣтъ въ твоихъ очахъ, и правды нѣтъ въ твоихъ рѣчахъ, и нѣтъ души въ тебѣ. Мужайся, сердце, до конца: и нѣтъ въ твореньи Творца, и смысла нѣтъ въ мольбѣ!»[103]).

«Природа—сфинксъ. И тѣмъ она вѣрнѣй своимъ искусствомъ губитъ человѣка, что, можетъ статься, никакой отъ вѣка загадки нѣтъ и не было у ней»[104]).

Но и сомнѣнія, и «ропотъ мыслящаго тростника» не побѣждаетъ чувство цѣлостности, присущее генію поэта. И вотъ выше природы и человѣка съ ихъ «глухонѣмыми демонами» страстей, зла и хаоса, возносится міръ цѣльной красоты. Здѣсь, въ земной долинѣ, минутныя розы цвѣтутъ, и снѣгъ падаетъ и таетъ, и все неповторимо, но за-то и мгновенно:

«А который вѣкъ бѣлѣетъ тамъ, на высяхъ снѣговыхъ? А заря и нынѣ сѣетъ розы свѣжія на нихъ!..»[105]).

«И между тѣмъ, какъ полусонный, нашъ дальній міръ, лишенный силъ, проникнутъ нѣгой благовонной, во мглѣ полуденной почилъ, горѣ, какъ бо-

[100]) Ночные голоса. Нап. въ 30-е годы, стр. 86.
[101]) 18 авг. 1865 г., стр. 284.
[102]) Безуміе. Писано въ началѣ 30-хъ гг., стр. 88.
[103]) Между 1859 и 1860 гг., стр. 238.
[104]) 1869 г., стр. 327.
[105]) Въ 30-хъ гг., стр. 92.

жества родныя, надъ издыхающей землей, играютъ выси ледяныя съ лазурью неба огневой [106]).

«На недоступныя громады смотрю по цѣлымъ я часамъ, какія росы и прохлады оттуда съ шумомъ льются къ намъ! Вдругъ просвѣтлѣютъ огнецвѣтно ихъ непорочные снѣга: по нимъ проходитъ незамѣтно небесныхъ ангеловъ нога...[107]).

Эта философская глубина лирики Тютчева не мѣшаетъ его человѣчности и близости къ жизни. Вотъ примѣръ:

«Слезы людскія, о слезы людскія, льетесь вы ранней и поздней порой, льетесь безвѣстныя, льетесь незримыя, неистощимыя, неисчислимыя льетесь, какъ льются струи дождевыя въ осень глухую, порою ночной»[108]).

Такою-же человѣчностью отличаются и политическія стихотворенія Тютчева:

...Державы цѣлость соблюсти, славянъ родныя поколѣнья подъ знамя русское собрать и весть на подвигъ просвѣщенья единомысленную рать...»

«...Ты-жъ, братскою стрѣлой пронзенный, судебъ свершая приговоръ, ты палъ, орелъ одноплеменный, на очистительный костеръ! Вѣрь слову русскаго народа: твой пепелъ мы свято сбережемъ, и наша общая свобода, какъ фениксъ, возродится въ немъ!..»[109]).

«Эти бѣдныя селенья, эта скудная природа—край родной долготерпѣнья, край ты русскаго народа! Не пойметъ и не замѣтитъ гордый взоръ иноплеменный, что сквозитъ и тайно свѣтитъ въ наготѣ твоей смиренной. Удрученный ношей крестной, всю тебя земля родная, въ рабскомъ видѣ Царь Небесный исходилъ благословляя»[110]).

«Умомъ Россію не понять, аршиномъ общимъ не измѣрить: у ней особенная стать—въ Россію можно только вѣрить»[111]).

§ 4. Въ 1856 г. вышли «Стихотворенія» А. А. Фета. «Такія книги не часто выходятъ изъ типографій, — писалъ Дружининъ, — такіе поэты не всякій годъ даются той или другой словесности, хотя бы изъ числа самыхъ богатыхъ въ Европѣ... Признаемся съ полной откровенностью—судьба книжки, нынѣ лежащей передъ нами, интересуетъ насъ до крайности. Имя Фета давно знакомо всѣмъ людямъ съ изящнымъ вкусомъ, всѣмъ дилетантамъ по части чистаго искусства, всѣмъ читателямъ, способнымъ понимать живую поэзію, свободно выливающуюся изъ души симпатичнаго смертнаго; но все-таки намъ кажется, что большинство нашей публики еще не высказа-

---

[106]) Въ 30-хъ гг., стр. 97.
[107]) 1861, стр. 250.
[108]) 50-е годы, стр. 166.
[109]) На взятіе Варшавы, 1831, стр. 83.
[110]) 1855 г., стр. 216.
[111]) 28 ноября 1866 г., стр. 296.

лось относительно поэта нашего. Въ Англіи, въ Германіи, у насъ во время Пушкина, книжка, о которой говоримъ мы, выдержала бы нѣсколько изданій въ самое короткое время, такъ она плѣнительна и оригинальна, такъ богата она сокровищами самой ясной, самой благородной поэзіи. А въ настоящее время успѣхъ стихотвореній Фета есть еще для него дѣло загадочное».

«Не изъ неразвитости и не изъ холодности наша публика можетъ не оцѣнить поэта, о которомъ здѣсь говорится — эта самая публика одобряла талантъ Пушкина, раскупала стихи Лермонтова и списывала своей рукой экземпляры комедіи Грибоѣдова. Но не забудемъ того, что читателей нашихъ—вообще немного шаткихъ и насмѣшливыхъ— наша критика и журналистика въ теченіе долгихъ лѣтъ усиленно отвращала отъ сочувствія къ дѣлу поэзіи... Съ одной стороны его заставляли преклоняться предъ поэтами, не имѣвшими никакого поэтическаго дара, съ другой стороны его сушили неодидактическими теоріями, по свойству своему противными всякому проявленію искусства чистаго... Поэту начинающему и второстепенному не было уголка на русскомъ Пиндѣ того времени. Печальная повѣсть, при всей бездарности нувеллиста, цѣнилась за мысль въ ней скрытую, но никто не цѣнилъ второстепеннаго поэта за изящную картинку, за теплое чувство, за искру небеснаго свѣта... Четыре человѣка вполнѣ даровитые... остались намъ... Мы говоримъ про г. Некрасова — сильнаго человѣка, умѣвшаго слить свою энергическую поэзію даже съ нео-дидактикой стараго времени, про г. Майкова, неутомимо трудящагося на пользу родной словесности, про г. Полонскаго, столько лѣтъ хранившаго свой скромный свѣтильникъ посреди холодности и невниманія цѣнителей, и наконецъ про г. Фета, котораго оригинальное дарованіе, приближающееся къ дару импровизаторовъ, или еще вѣрнѣе, древнихъ труверовъ, неспособно пострадать ни отъ какого литературнаго направленія»[112]).

Съ помощью какой силы, съ помощью какой особенности нашъ поэтъ произвелъ свое дѣло, остановилъ вниманіе читателя, заставилъ его сердце биться сильнѣе? Очевидно не обиліемъ внѣшняго интереса, не драматизмомъ описанныхъ событій — такихъ достоинствъ отъ поэзіи не требуется. Равнымъ образомъ у Фета не находимъ мы ни глубокихъ міровыхъ мыслей, ни остроумныхъ афоризмовъ, ни сатирическаго направленія, ни особенной страстности въ изложеніи. Поэзія его состоитъ изъ ряда картинъ природы, изъ антологическихъ очерковъ, изъ сжатаго изображенія немногихъ неуловимыхъ ощущеній души нашей.

Стало быть сердце читателя волнуется отъ вѣрности этихъ картинъ природѣ, отъ мастерскаго исполненія антологическихъ очерковъ, отъ умѣнья

---

[112]) Дружининъ. Соч. Т. 7, стр. 117.

поэта ловить неуловимое, давать образъ и названіе тому, что до него было ничѣмъ инымъ, какъ смутнымъ мимолетнымъ ощущеніемъ души человѣческой, ощущеніемъ безъ образа и названія. Но знаетъ-ли человѣкъ о томъ, какую великую роль въ его жизни играютъ мимолетныя духовныя ощущенія, какъ сильно сплетаются они съ его существованіемъ, какъ крѣпко помнятся онѣ, какъ трепещетъ душа его при каждомъ о нихъ намекѣ?

Сила Фета въ томъ, что поэтъ нашъ, руководимый своимъ вдохновеніемъ, умѣетъ забираться въ сокровеннѣйшіе тайники души человѣческой. Область его не велика, но въ ней онъ полный властелинъ, неспособный бояться никакого совмѣстничества. Вдохновеніе и вѣра въ силу вдохновенія, глубокое пониманіе красотъ природы, сознаніе того, что проза жизни кажется прозой лишь для очей непросвѣтленныхъ поэзіей — вотъ особенности Фета, обличающія въ немъ поэта несомнѣннаго, чистаго, неспособнаго къ скептицизму или колебанію въ своемъ призваніи. Сверхъ того у поэта нашего есть еще два драгоцѣнныхъ качества—зоркость взгляда, разгадывающаго поэзію въ предметахъ самыхъ обыкновенныхъ, и неотступное упорство въ творчествѣ, неуспокоивающееся до тѣхъ поръ, пока данный и подсмотрѣнный поэтическій моментъ не переданъ съ безграничной вѣрностью»[113]).

«Въ книжкѣ, которая теперь лежитъ передъ читателемъ, нѣтъ произведеній слабыхъ или недодѣланныхъ. Тутъ видимъ мы поэта нашего побѣдителемъ во всѣхъ пунктахъ. Здѣсь неуловимое является схваченнымъ: поэзія воплощена въ гармоническое слово, туманнѣйшіе моменты нашей жизни разъяснены... Фетъ является тѣмъ, чѣмъ всегда долженъ быть поэтъ могущественнаго дарованія, то есть человѣкомъ зрячимъ по преимуществу, истолкователемъ нашей житейской поэзіи»[114]).

Отличительные признаки поэта: Онъ весь живетъ моментомъ имъ схваченнымъ, онъ какъ-бы отрѣшается отъ своей личности и возсоздаетъ поразившую его картину, не выпуская изъ нея малѣйшей подробности. Пушкинъ, какъ художникъ близкій къ геніальности, набрасываетъ свое созданіе небольшимъ числомъ штриховъ неподражаемо вѣрныхъ, а затѣмъ оставляетъ читателя работать своимъ воображеніемъ. Лермонтовъ вноситъ свои личныя воспоминанія, свою собственную поэтическую грусть... Фетъ, уступая обоимъ поэтамъ въ ширинѣ кисти, въ энергіи замысла, восполняетъ неравенство черезъ группированіе и отдѣлку подробностей. Не смотря на нѣкоторую неправильность въ языкѣ, отъ которой Фетъ едва-ли когда-либо отдѣлается, онъ въ высокой степени обладаетъ еще одной особенностью—рѣдкою въ нынѣшнихъ поэтахъ—а именно высокой музыкальностью стиха.

---

[113]) Собр. соч. А. В. Дружинина. Томъ седьмой, стр. 120.
[114]) Id. 121.

§ 5. Разбирая стихотворенія Аполлона Майкова, вышедшія въ 1858 г., Дружининъ писалъ: «Многосторонность и разнообразіе, вотъ отличительныя качества музы Майкова». Онъ имѣетъ свою собственную область, свою отличительную особенность, заключающуюся въ строгой пластической, почти античной красотѣ стиха, но онъ никогда не довольствовался одной этой особенностью, а, напротивъ того, постоянно стремился расширить владѣнія, доставшіяся на его долю. Этотъ неуклонный трудъ надъ своимъ призваніемъ, эти нескончаемыя попытки къ открытію новыхъ художественныхъ путей, не всегда увѣнчивались успѣхомъ, не всегда вели за собой усовершенствованіе и крѣпость таланта. Нѣтъ нужды въ томъ, что нашъ поэтъ, платя дань общему направленію сороковыхъ годовъ, вдавался въ погоню за общественнымъ дидактизмомъ, и, вслѣдствіе того, потратилъ множество молодыхъ силъ на поэму поучительнаго свойства — если поэма не удалась, за то самъ поэтъ окрѣпнулъ и сталъ независимъ въ своихъ воззрѣніяхъ.

Поэтъ-художникъ, но не лирикъ, писатель замѣчательный мастерскою, спокойною отдѣлкою своихъ стихотвореній, Аполлонъ Майковъ, съ перваго своего появленія передъ русскою публикою, сталъ поэтомъ мысли и безтрепетно принялъ на себя весь нескончаемый трудъ, сопряженный съ этимъ званіемъ. Поэтъ не страстный, но чуткій на поэзію и исполненный наблюдательностью высокаго живописца, смѣло рѣшается передать словами то, что доступно лишь кисти мастера, и, не взирая на необычайную трудность задачи, почти всегда выходитъ побѣдителемъ. Не затемняя своихъ очертаній ни рефлексіею, ни взрывами восторга, онъ осмотрительно свершаетъ свой трудъ и заканчиваетъ его, ни на минуту не разставаясь съ своимъ величавымъ спокойствіемъ.

Превосходно владѣя стихомъ, чувствуя себя полнымъ хозяиномъ въ области спокойнаго художественнаго созерцанія, мастерски передавая намъ античную прелесть древней поэзіи, онъ могъ-бы замкнуться въ предѣлахъ ему хорошо извѣстныхъ, и все-таки остаться однимъ изъ первокласныхъ русскихъ поэтовъ; но онъ не сдѣлалъ этого.

Къ эпохѣ между 1844 и 1850 годами относится поэма «Двѣ судьбы» и отрывокъ «Барышня». Поэма — произведеніе, превознесенное дидактиками, грѣшитъ и неопредѣленностью замысла, и ошибками въ постройкѣ, но нѣкоторыя подробности поэмы выполнены блистательно. Родъ ложенъ, и поэтъ это скоро понялъ. Не смотря на поощренія цѣнителей, не смотря на временныя требованія публики, не смотря на то, что въ концѣ 40-хъ годовъ всякое слово (даже полуслово) отрицанія казалось чѣмъ-то плѣнительнымъ и смѣлымъ, поэтъ повѣрилъ своему собственному опыту больше, чѣмъ современной прихоти. Напрасно ему говорили, что безплодное поле только кажется безплоднымъ, — онъ хорошо и по опыту зналъ, что изъ камня хлѣба не добудешь. Напрасно цѣнители искренно восхищались тенденціей его

поэмы,—Майковъ узналъ, что благонамѣренная тенденція не есть еще вдохновенное слово, и что отъ отрицанія той или другой среды до малѣйшаго поэтическаго образа разстояніе безконечно.

Дидактика соціальная, смутная, дидактика, построенная на вяломъ отрицаніи, была извѣдана поэтомъ, и ея мертвенная сторона раскрылась передъ нимъ во всей своей ужасающей наготѣ.

Патріотически—дидактическая дѣятельность Майкова,—дѣятельность, когда-то такъ сильно осуждаемая, была прямымъ плодомъ того соціально-дидактическаго настроенія, которое разрѣшилось поэмой «Двѣ судьбы». Въ концѣ сороковыхъ годовъ Майковъ вполнѣ понялъ, что прежніе его учители ошибались.

Сколько ни старались русскіе поэты, какъ ни обливалось ихъ сердце кровью при слухахъ о страждущихъ и гонимыхъ турецкихъ подданныхъ, слово ихъ не было словомъ того, кто самъ терпитъ и носитъ на себѣ гнетъ отъ иновѣрца—притѣснителя. А потому, во всей массѣ стихотвореній, порожденныхъ событіями войны 1853—1855 г.г., стоятъ на первомъ планѣ не стихотворенія Майкова, не пѣсня о воеводѣ Пальмерстонѣ. Впечатлѣніе, произведенное на нѣкоторую часть строгихъ цѣнителей патріотическими стремленіями Майкова, было необыкновенно странно, и не взирая на свою нелогичность, плодотворно для поэта. Новая, воинственная дидактика возбудила въ литературѣ столько-же порицаній, сколько похвалъ было когда-то возбуждено Майковской дидактикой перваго періода (особенно поэмою «Двѣ судьбы»). Лучшіе органы журналистики не раздѣляли этого охужденія, но за-то весь задній дворъ литературы съ озлобленіемъ великимъ накинулся на прежде прославляемаго поэта. Майкова безъ церемоніи называли шаткимъ, угодникомъ неразвитой толпы, отступникомъ отъ прежнихъ гуманныхъ теорій, въ его стихахъ видѣли не добрую цѣль, не національныя стремленія, но какой-то недостойный разсчетъ, чуждый душѣ благороднаго писателя.

Во всякой литературѣ имѣется большое количество лицъ честныхъ и трудолюбивыхъ, хорошо владѣющихъ перомъ, но ровно ничего не понимающихъ въ дѣятельности поэтовъ и въ законахъ поэзіи. Всѣ эти лица, по устройству своего разсудка, способны видѣть поэзію лишь въ одной дидактикѣ. Для честнаго, но не развитаго въ поэтическомъ смыслѣ цѣнителя, обличительная повѣсть важнѣе Гончаровскаго романа, и Пушкинское стихотвореніе меркнетъ въ сравненіи съ какой-нибудь современной сатирой. Такіе-то почтенные люди—истинная чума для поэтовъ, присоединили свой голосъ къ голосу ничтожныхъ крикуновъ, присоединили его не изъ злобы или разсчета, но вслѣдствіе искренняго убѣжденія, искренняго недовольства новымъ направленіемъ Майкова. Возгласы ихъ были довольно сильны, и выдалось нѣсколько мѣсяцевъ, въ теченіе которыхъ почти вся русская но-

вая литература стала къ Ап. Майкову въ крайне недружелюбное положеніе. Для нашего незлобнаго пѣвца наступило самое тяжелое время, но онъ пережилъ его съ честью, не уступая общему голосу и не раздражая его какой-нибудь извинительной въ ту пору протестацией.

Слѣдствіемъ было убѣжденіе самого Майкова въ полной несостоятельности всякаго дидактическаго или поучительнаго направленія въ поэзіи. Поученіе, которому поэтъ служилъ въ сороковыхъ годахъ, столкнулось съ поученіемъ, впослѣдствіи его увлекшимъ,—и къ величайшему счастью для дѣла поэзіи, столкновеніе это въ конецъ сокрушило оба поученія. Въ своихъ патріотическихъ произведеніяхъ, Майковъ не нарушилъ ни одного изъ законовъ дидактической поэзіи. Его слова имѣли смыслъ и вѣсъ: они касались важнѣйшаго вопроса времени, они имѣли сильный отголосокъ въ обществѣ. Въ нихъ не было ничего противнаго честнымъ стремленіямъ человѣка, ихъ основаніе глубже лежало въ народѣ, чѣмъ, напримѣръ, основаніе той философско-соціальной дидактики, на основаніи которой поэма «Двѣ судьбы» была задумана и выполнена. Ясно, что такъ восхваляемое право поэта — научать современниковъ, есть ничто иное, какъ жесточайшее изъ стѣсненій дѣлу поэзіи. Вы имѣете право учить себѣ подобныхъ,— но учить ихъ такъ, какъ мы, цѣнители, того хотимъ. Если вы переросли свои старыя теоріи, если вы независимы по духу, если вы ищете новыхъ, нами еще не одобренныхъ, путей къ поэтической дидактикѣ, вы не поэтъ — гражданинъ, но отсталый виршеплетъ и ничего болѣе. Спрашивается послѣ этого, что же такое поэтическій дидактизмъ, если не полное подчиненіе вдохновенія поэта духу той или другой партіи, подчиненіе унизительное, вялое и безплодное!

Поэтъ ясно сознавалъ, что его судятъ съ точки зрѣнія духа партіи, и, сознавши это, не могъ уже увернуться отъ совершенно логическаго вопроса: чего же ожидать поэту поучительнаго направленія, если всякая литературная партія начнетъ судить его, сообразно съ временными цѣлями и стремленіями?

Едва замолкъ послѣдній отголосокъ патріотическихъ пѣсенъ Майкова, какъ онъ выступилъ впередъ съ новыми произведеніями, давно заготовленными и словно приберегаемыми къ трудной минутѣ.

Произведенія эти, относящіяся къ 1851—1856 годамъ, состояли изъ нѣсколькихъ сценъ изъ древняго міра, небольшихъ, но въ высшей степени замѣчательныхъ стихотвореній, въ краткой и художественно-законченной поэмѣ «Рыбная ловля» (1855) и, наконецъ, въ двухъ другихъ поэмахъ: «Саванарола» и «Три смерти». Въ нихъ поэтъ является вполнѣ независимымъ и всестороннимъ творцомъ, служителемъ искусства, чистаго искусства, не чуждаго ничему мірскому, но съ тѣмъ вмѣстѣ не подчиненнаго никакимъ временнымъ, преходящимъ цѣлямъ. Но главная заслуга Майкова

за 50-ые годы, это его поэма «Три смерти», оконченная въ 1852 г., въ печати же появившаяся чрезъ четыре года послѣ ея окончанія. Въ ней нельзя не признать конечной точки, до которой въ ту эпоху дошелъ его талантъ.

§ 6. Въ 1841 году вышло въ Петербургѣ въ ограниченномъ числѣ экземпляровъ первое произведеніе начинающаго писателя подъ псевдонимомъ Краснорогскаго. Оно было замѣчено Бѣлинскимъ. «Книжка носитъ на себѣ всѣ признаки еще слишкомъ молодого, но тѣмъ не менѣе замѣчательнаго дарованія, которое нѣчто обѣщаетъ въ будущемъ,—писалъ критикъ.— «Упырь» произведеніе фантастическое... оно можетъ насытить прелестью ужаснаго всякое молодое воображеніе... Мастерское изложеніе, умѣніе сдѣлать изъ своихъ лицъ что-то въ родѣ характеровъ, способность схватить духъ страны и времени, къ которымъ относится событіе, прекрасный языкъ, иногда похожій даже на «слогъ», словомъ, во всемъ отпечатокъ руки твердой, литературной—все это заставляетъ надѣяться въ будущемъ многаго отъ автора «Упыря». Въ комъ есть талантъ, въ томъ жизнь и наука сдѣлаютъ свое дѣло, а въ авторѣ «Упыря» повторяемъ, есть рѣшительное дарованіе». Эстетическая чуткость Бѣлинскаго не обманула его и на этотъ разъ. Авторъ «Упыря» былъ графъ Алексѣй Константиновичъ Толстой [115]).

Однако до 1855 г. гр. Толстой, послѣ перваго своего опыта, ничего затѣмъ не печаталъ. А въ этомъ году выступилъ въ журналахъ съ стихотвореніями и быстро пріобрѣлъ извѣстность, какъ даровитый поэтъ.

Такъ въ 3-й книжкѣ «Современника» на 1854 годъ появилось шесть прекрасныхъ пьесъ: «Колокольчики», «Ой, стоги, стоги!», «По греблѣ неровной и тряской», «Коль любить», «Умѣренность» и «Ты знаешь край». Во второй книжкѣ «Современника» на 1856 годъ напечатано было еще шесть стихотвореній, между которыми въ оригинальной, народной манерѣ: «Ой, кабы Волга» и «Ходитъ Спѣсь, надуваючись»; въ 11-й—восемь пьесъ, подъ общимъ заглавіемъ: «Крымские очерки» и въ 1-й 1857 г. — пять: «Волны», «Не вѣрь», «Изъ Сведенборга», «Острою сѣкирой ранена береза», «О, не пытайся духъ унять тревожный». Въ «Русской бесѣдѣ» 1857—1859 годовъ появился цѣлый рядъ стихотвореній гр. Ал. Толстого и двѣ поэмы: «Грѣшница» и «Іоаннъ Дамаскинъ». Помѣщалъ съ 1857 г. поэтъ и въ «Русскомъ Вѣстникѣ» свои замѣчательныя баллады.

Такимъ образомъ, рядомъ съ чистой лирикой и антологіей поэтовъ Тютчева, Фета и Майкова, въ 50-хъ годахъ выступаетъ еще своеобразное новое дарованіе Толстого, который даетъ опыты чисто русской баллады. Въ этомъ отношеніи Толстого можно сопоставить съ Меемъ, богатая палитра кото-

---

[115]) Этотъ разсказъ переиздана въ 1900 г., съ предисловіемъ Владиміра Соловьева.

раго обладала и красками народно-эпической жизни. Алексѣй Константиновичъ Толстой родился 24-го августа 1817 г. въ Петербургѣ, но раннее дѣтство провелъ въ Малороссіи, подъ воспитательнымъ воздѣйствіемъ дяди его, Алексѣя Алексѣевича Перовскаго, извѣстнаго въ русской литературѣ подъ псевдонимомъ Антона Погорѣльскаго, автора «Монастырки». Эти годы до 8 лѣтъ, поэтъ называетъ счастливыми и полными однихъ только свѣтлыхъ воспоминаній. Затѣмъ Толстой былъ отвезенъ въ Петербургъ и допущенъ въ кругъ дѣтей, составлявшихъ воскресное общество цесаревича (Александра II). Отсюда извѣстная близость къ трону поэта, сохранившаяся до конца дней его.

Десяти лѣтъ мальчикъ съ матерью и дядей ѣдетъ въ Германію; во время пребыванія въ Веймарѣ дядя взялъ его къ Гете. Отъ этого посѣщенія въ памяти поэта сохранились величественныя черты Гете и то, что онъ сидѣлъ у творца «Фауста» на колѣняхъ. До 17-ти лѣтняго возраста, когда поэтъ выдержалъ выпускной экзаменъ въ московскомъ университетѣ, онъ безпрерывно путешествовалъ съ родными, то по Россіи, то за-границей. Въ 1836 г. Толстой былъ причисленъ къ русской миссіи при германскомъ сеймѣ во Франкфуртѣ-на-Майнѣ; позднѣе, перешелъ во II-е отдѣленіе собственной Е. В. канцеляріи, редактирующее законы. Въ 1855 г. пошелъ въ число охотниковъ, образовавшихъ стрѣлковый полкъ Императорской фамиліи, съ цѣлью принять участіе въ крымской кампаніи. Полкъ въ дѣлѣ не былъ, но дошелъ только до Одессы, потерявъ отъ тифа болѣе тысячи человѣкъ. Болѣлъ и поэтъ. Во время коронаціи императоръ Александръ II назначилъ его своимъ флигель-адъютантомъ, а затѣмъ егермейстеромъ — званіе, въ которомъ поэтъ и умеръ 28 сентября 1875 г. (въ черниговскомъ имѣніи Красный Рогъ близь Почепа). Страсть къ охотѣ дала массу впечатлѣній поэту. Искусство онъ воспринялъ въ его лучшихъ проявленіяхъ еще юношей, знакомясь съ художественными сокровищами Милана, Флоренціи, Венеціи, Рима, Неаполя. Въ своей автобіографіи, поэтъ разсказываетъ о чувствахъ, пережитыхъ имъ въ эти ранніе годы. Естественно поэтому, что въ поэмѣ «Іоаннъ Дамаскинъ» онъ вступается за права творчества и свободнаго слова:

Надъ вольной мыслью Богу неугодны
Насилье и гнетъ:
Она, въ душѣ рожденная свободно,
Въ оковахъ не умретъ!

Левъ Александровичъ Мей родился въ Москвѣ, 13 февраля 1822 года, гдѣ и получилъ образованіе въ московскомъ дворянскомъ институтѣ. 14 лѣтъ онъ былъ переведенъ въ лицей, гдѣ и оставался съ 1836 до половины 1841 г. Учился онъ превосходно. Стихи началъ писать еще въ Москвѣ. Кончивъ лицей, онъ служилъ въ Москвѣ, при чемъ занимался богословіемъ подъ вліяніемъ знакомыхъ духовныхъ лицъ. 10 апрѣля 1852 года онъ женился.

На лѣто молодые переѣхали въ небольшой домикъ на берегу Москвы рѣки, противъ Нескучнаго сада. Къ нимъ собирались друзья и знакомые—А. Н. Островскій, Н. В. Бергъ, заходилъ М. П. Погодинъ, жившій по сосѣдству, заѣзжала гр. Ростопчина, бывалъ и пѣвалъ Т. И Филипповъ. Мей получилъ было мѣсто инспектора второй гимназіи, но недоразумѣнія съ директоромъ, котораго тяготила популярность, быстро пріобрѣтенная Меемъ среди учениковъ, заставила его отказаться черезъ годъ отъ педагогики. Посвятивъ себя затѣмъ всецѣло литературѣ, и переѣхавъ въ Петербургъ, Мей первое время сильно нуждался. Мало-по-малу положеніе его упрочилось. Домъ его посѣщали Щербина, Н. В. Гербель, М. И. Михайловъ, Полонскій, братья Курочкины, С. В. Максимовъ, А. Н. Пыпинъ, Н. Г. Чернышевскій, Тургеневъ, Майковъ, Гончаровъ, Вс. Крестовскій и К. Случевскій, тогда еще учащіеся юноши, М. А. Загуляевъ. Въ московскій періодъ Мей мало печаталъ. Въ «Москвитянинѣ» съ 1845 года стали появляться его переводы и мелкія стихотворенія. Въ 1849 году тамъ же явилась драма «Царская невѣста», въ 1850 г. переводъ «Слова о полку Игоря». Мей былъ знатокомъ русскаго языка, страстно любилъ его и изучилъ во всѣхъ оттѣнкахъ и особенностяхъ. Въ то же время это былъ замѣчательный лингвистъ. Приступая къ переводамъ съ иностранныхъ языковъ, онъ тщательно изучалъ подлинники, свѣрялъ разныя изданія, дѣлалъ обширныя выписки; какъ новые, такъ и древніе языки были ему вполнѣ извѣстны. Для двухъ своихъ пьесъ изъ эпохи Ивана Грознаго, онъ перечиталъ множество лѣтописей и источниковъ, для драмы изъ римской жизни — всѣхъ историковъ, писавшихъ о Неронѣ и его времени.

Въ бумагахъ его нашлось огромное количество выписокъ, цитатъ, историческихъ, филологическихъ, граматическихъ извлеченій изъ множества руководствъ и пособій. Мей щеголялъ богатствомъ рифмъ, и въ этомъ отношеніи можетъ быть названъ русскимъ «парнассцемъ». Еще въ лицеѣ онъ поставилъ себѣ задачею подыскать рифмы на всѣ слова въ русскомъ языкѣ, созвучія которыхъ признаны несуществующими.

Въ біографіи поэта, составленной В. Р. Зотовымъ, приводится такая курьезная рифма: У Палкина поэтъ встрѣчался съ извѣстнымъ редакторомъ «Домашней Бесѣды», Аскоченскимъ. Тотъ, однажды, играя съ нимъ на билліардѣ, жаловался, что въ эпиграмахъ на него неправильно придаютъ его фамиліи польскую форму, перенося по законамъ польскаго языка удареніе на предпослѣдній слогъ: Аскочѐнскій и рифмуя ее съ «деревенскій, крещенскій», тогда какъ онъ чисто русскій человѣкъ Аско̀ченскій, на котораго рифмы не прибрать.—Ну, вотъ еще не прибрать? сказалъ Мей: да вотъ маркеръ подастъ вамъ кій и навѣрно скажетъ:

Вотъ-съ, господинъ Аско̀ченскій!
Извольте-съ, вамъ наточенъ-съ кій!

Отлично зная европейскіе языки, Мей переводилъ изъ нихъ стихами такъ, что, по всей справедливости, долженъ быть названъ первымъ русскимъ переводчикомъ. Онъ передавалъ не только звучный стихъ, но и духъ иностранныхъ поэтовъ. Какъ оригинальный писатель, Мей болѣе всего замѣчателенъ пьесами изъ русскаго быта. Его стихотворенія изъ народной жизни носятъ на себѣ отпечатокъ близкаго знакомства съ этою жизнью, тщательнаго изученія нашей родной старины. Въ его былинахъ не только пахнетъ русскимъ духомъ, но весь этотъ духъ воспроизводится въ нихъ, со всѣми его особенностями, понятными только намъ. Мей вполнѣ постигнулъ этотъ духъ и мастерски передавалъ его... Псковитянка въ особенности имѣетъ огромное значеніе. Языкъ драмы поразителенъ простотою и близостью къ народному говору... Необходимость существовать литературнымъ заработкомъ заставляла поэта иногда отдавать въ печать не вполнѣ обработанныя, слабыя произведенія. Знаніе русскаго языка заставляло откапывать старинныя и придумывать новыя слова, которымъ онъ не могъ дать правъ гражданства. Не смотря на это, онъ былъ такой знатокъ въ версификаціи и разнообразныхъ метрахъ русскаго языка, что мы не знаемъ другого равнаго ему въ этомъ отношеніи»[116]).

Чрезвычайно интересны замѣчанія Мея о русскомъ метрѣ и рифмахъ: «Нѣтъ въ русскомъ языкѣ ни чистыхъ ямбовъ, ни чистыхъ хореевъ. Въ сущности ямбическіе и хореическіе стихи читаются народнымъ, нашимъ размѣромъ объ одномъ и двухъ удареніяхъ, съ равнымъ количествомъ слоговъ между этими удареніями. Опредѣляется этотъ размѣръ различно, судя по числу стопъ; напримѣръ, такъ называемый четырехстопный ямбическій мужской стихъ размѣряется двухстопнымъ извращеннымъ трибрахіемъ ⌣ ⌣ ⌣ – – , и совершенно правильно.

Глазами громы я слѣдилъ,
Руками молніи ловилъ.

То есть, между двумя удареніями помѣщаются по три краткихъ слога... Во всякомъ случаѣ никто не читаетъ такъ:

Не то | чи свой | ята | ганъ...

Разнообразіе русскихъ размѣровъ изумительно, по самому свойству языка — переносить ударенія безъ ущерба гармоніи, а потому нечего и жаловаться на искусственность версификаціи: русскій языкъ ей не поддается... Русскій языкъ колоссаленъ во всякомъ отношеніи; но, сравнительно съ другими, мало разработанъ, да не всякому еще и подъ силу»[117]).

[116]) В. Р. Зотовъ. Критико-біографическій очеркъ, стр. XIX и XX. При соч. Мея, т. I. Изд. 1887 г.

[117]) Id. Стр. XXXV—XXXVII.

Нельзя не признать вмѣстѣ съ біографомъ поэта, что если бы Мей оставилъ послѣ себя только пьесы изъ русской народной жизни, онъ и тогда могъ быть причисленъ къ выдающимся современнымъ поэтамъ.

Въ народномъ складѣ Мея не чувствуется поддѣлки, подмѣси фальшиваго руссизма, грубости простонародничающаго барича, какъ иногда у гр. Ал. Толстого, въ его пѣсняхъ и балладахъ.

Ветхій завѣтъ послужилъ Мею канвою нѣсколькихъ поэмъ, въ которыхъ библейскія сказанія переданы истинно художественными картинами и мастерскимъ, необыкновенно звучнымъ стихомъ. Таковы «Сампсонъ», «Юдиѳь», «Притча пророка Наѳана», «Изъ книги Іова», «Эндорская прорицательница». Стихъ достигаетъ высшей степени виртуозности въ переложеніи «Пѣсни пѣсней». Изъ новаго завѣта онъ заимствовалъ содержаніе не менѣе художественныхъ поэмъ: «Слѣпорожденный» и «Отойди отъ меня, сатана». Изумительна роскошь красокъ и полнота впечатлѣнія пейзажей Палестины, Аравіи, Египта, Индіи, Эллады, Рима, Капреи и величіе картины спящаго сѣвера въ послѣдней поэмѣ. Мей замѣчателенъ и какъ переводчикъ классиковъ. Положительный tour de force искусства его передача шести идиллій Ѳеокрита рифмованными стихами. Рифмы встрѣчаются и почти во всѣхъ переводахъ его изъ Анакреона. Теосскаго лирика переводили почти всѣ наши поэты, начиная съ Кантемира, Ломоносова и Державина и оканчивая Пушкинымъ, Майковымъ, Фетомъ, Щербиной, Н. Бергомъ, Водовозовымъ; его передавали Жуковскій и Гнѣдичъ, въ одно время съ малоизвѣстными и малодаровитыми переводчиками: Кутузовымъ, Мартыновымъ, Виноградовымъ, Баженовымъ. Но едва ли кто-нибудь, если исключить Пушкина, передалъ Анакреона лучше Мея. Какъ добросовѣстно изучилъ переводчикъ анакреоновскія схоліи, доказываютъ его «замѣтки» о теосскомъ пѣвцѣ веселья и прелести жизни. Переводы изъ Мильтона, Байрона, Шиллера, Гете тоже весьма замѣчательны. Хороши и переводы Беранже, хотя у Мея было трое даровитыхъ конкурента: Василій Курочкинъ, М. И. Михайловъ и Ленскій.

Поражаютъ изяществомъ и совершенствомъ переводы изъ польскихъ поэтовъ Залѣсскаго, Одинца, Реута, Ходзьки, Мицкевича и Сырокомли. Переводъ «Капрала Тереферы» до того поразилъ Сырокомлю, что больной поэтъ (онъ умеръ вслѣдъ за Меемъ) написалъ переводчику восторженное стихотвореніе. Циклъ своихъ переводовъ со славянскихъ языковъ Мей завершилъ руснацкими, моравскими и волынскими народными пѣснями. Мей переводилъ и писалъ также прозою. Переводы прозаиковъ воспроизводятъ слогъ и манеру иностранныхъ авторовъ; это истинное усвоеніе ихъ русскою литературою. Изъ оригинальныхъ разсказовъ Мея назовемъ изображенія крѣпостныхъ типовъ («Кирилычъ», «Софья» и «Батя»), бытовые очерки («Сборное воскресенье», «Медвѣжья травля», «Казусъ», «Швей-

ка»); фантастическіе разсказы («Парельщикъ». «На паперти». «Гривенникъ». «Чубукъ»).

Мей умеръ утромъ 16 мая 1862 года. Похороны поэта, на Митрофаніевскомъ кладбищѣ, были скромны и немноголюдны. Десятокъ писателей, да столько же родныхъ и близкихъ провожали въ могилу поэта. Многіе и не знали о его смерти.

БИБЛІОГРАФІЯ: а) Гр. А. К. Толстой. Автобіографическій очеркъ (французскій подлинникъ и переводъ) при собраніи сочиненій: первоначально появился въ «Revista Europea», декабрь, 1875 г. подъ заглавіемъ: «Autobiographia di Alessio Tolstoi».—«Послѣднее слово русской исторической драмы. Царь Федоръ Ивановичъ». П. Анненковъ. Русскій Вѣстникъ. 1868 г., № 7. т. LXXVI; стр. 130—151 и въ «Воспоминаніяхъ», т. 2-й. —Біографическій очеркъ. Всемірная Иллюстрація, 1870, № 68. —По поводу обѣда, даннаго гр. А. К. Толстому, 14 марта. Одесскій Вѣстникъ. 1869. № 60.—Въ «Русскихъ поэтахъ» Н. В. Гербеля. 1873 г., стр. 478.—Языковъ. Д. Матеріалы для полнаго собранія сочиненій гр. А. К. Толстого. Ист. Вѣстн. 85 г. № 10.—Ефремовъ. Къ матеріаламъ для полн. собр. соч. Т—го. Ibid. 1885. № 11.—Полное собраніе соч. Изд. 4-е, подъ ред. кн. Д. Н. Цертелева. Спб. 84 г. (повторено въ 95 и 98—99 г.г.) 4 тома: т. I и II. Автобіографич. очеркъ. Полное собраніе стихотвореній: т. III. Драматич. трилогія: т. IV. Князь Серебряный, ром.—Упырь. Разсказъ. Съ предисл. Вл. Соловьева. Спб. 1900.— Письма поэта: Рус. Стар. 84 г., т. XLI; Вѣстн. Евр. 1875 г. № 12. ibid. 1895. № 10—12 и 1897. №№ 4, 6, 7. Оцѣнки творчества: Вл. Соловьевъ. Поэзія гр. А. К. Толстого. Вѣстн. Евр. 1895. № 5.—Ор. Миллеръ. Гр. А. К. Т., какъ лирическій поэтъ. В. Е. 75 г. № 12. —Кн. Д. Н. Цертелевъ. Драматическая трилогія гр. А. К. Т. Рус. Вѣстн. 1899 г. № 10. —Н. М. Соколовъ. Иллюзія поэтическаго творчества.—Эпосъ и лирика гр. А. К. Т. Критическое изслѣдованіе. Спб. 1890 г. —П. Щебальскій. Искусство, религія, народность. (По поводу соч. гр. А. К. Т.). Р. В. 83 г. № 3.—Отрицательныя оцѣнки: Н. Языковъ. Поэтъ-Космополитъ. Д. 1876 г. № 1.—А. М. Скабичевскій. Поэзія гр. А. К. Толстого, какъ типъ чужеяднаго творчества. О. Зап. 77 г. № 2 и Соч. т. II. б) Л. А. Мей: Библіографическій указатель состав. П. В. Быковымъ при собраніи сочиненій. Отдѣльныя изданія: Царская невѣста. М. 1849, 2-е изд., 1861. Слово о полку Игоревѣ. М. 1850 и Спб. 1856. Сервилія. Спб., 1854. 2-е изд., Спб., 1861. Цвѣты. Спб., 1857. Стихотворенія Л. Мея. Спб., 1857. Псковитянка. 1860. Сочиненія. Книга первая. Былины и пѣсни. Спб., 1861. Соч. въ 3-хъ томахъ. Спб., 1862—1863. Пѣсни Беранже въ переводѣ Л. А. Мея. Спб., 1887. Полное собр. соч. въ 5-ти томахъ. Спб., 1887. Статья о «Псковитянкѣ» А. П. Милюкова. Свѣточъ. 1860, кн. V-я.—Біограф. данныя Геннади. Русскій Архивъ. 1864. стр. 1098. Біографич. статьи въ разныхъ изданіяхъ: Иллюстрація. 1862, № 228. Воскресный Досугъ. 1866. № 167. Зритель. 1862, № 22. Астрах. справочн. листокъ. 1867. № 193. Свѣточъ. 1862. № 5. (Петерб. лѣтоп.) Стр., 71—72.—В. Зотовъ. Левъ Алекс. Мей и его значеніе въ русск. литер. Крит.-біограф. очеркъ. Спб. 1887 г. (и при собр.

соч. Мея).—С. Л. Максимовъ. Л. А. Мей. Изъ личныхъ воспоминаній. Р. Мысль. 1887. № 7.—А. П. Полонскій. Л. А. Мей, какъ человѣкъ и писатель. Русск. Вѣстн. 1896 г. № 9.

§ 7. Въ 1855 г. вышли стихотворенія гр. Ростопчиной и Я. П. Полонскаго. Стихотворенія гр. Ростопчиной не возбуждаютъ полнаго сочувствія. Но вспомнимъ, что и Жуковскій, и Лермонтовъ, и Бѣлинскій увлекались ими. Ростопчина имѣла множество страстныхъ поклонницъ между женщинами. Всѣ ея стихотворенія вылились въ болѣе или менѣе однообразной формѣ, какъ мимолетныя впечатлѣнія почти всегда одинаково настроеннаго чувства. Графиню Растопчину когда-то называли поэтессой бала. Но балъ ея жизни уже клонился къ закату; въ 1858 году 3-го декабря она скончалась, послѣ долгой болѣзни, на 47 году отъ рожденія. «Муза разсуждающая и свѣтская» — выразился о ней въ 1841 г. Бѣлинскій. «Счастливая женщина» и «У пристани» - два романа ея, вышедшіе въ 50-хъ годахъ, даютъ ключъ къ этой своеобразной и богато-одаренной натурѣ. Даже самый строгій критикъ почувствуетъ истинный родникъ поэзіи въ стихахъ графини. «Огонь не потухъ еще на романтическомъ алтарѣ» (Дружининъ).

«Яковъ Петровичъ Полонскій, писалъ Дружининъ, принадлежитъ къ числу безупречныхъ поэтовъ нашего времени. Мало того — онъ одинъ изъ талантливѣйшихъ. Молодое поколѣніе знаетъ наизусть многія стихотворенія Полонскаго; дѣти твердятъ его прекрасную пьесу «Солнце и мѣсяцъ». Въ чемъ же заключается оригинальная сторона произведеній Полонскаго? Онъ всѣхъ болѣе отличается теплотою чувства, проявленіемъ симпатической личности въ своихъ стихотвореніяхъ».

Разбирая поэму Огарева «Зимній путь», напечатанную въ № 6 «Русскаго Вѣстника» на 1856 г., Дружининъ называетъ его «поэтомъ того періода нашей словесности, который не имѣлъ поэтовъ». Унылый, недовольный, грустно-лѣнивый элементъ безпрерывно проявляется въ стихотвореніяхъ Огарева, сообщая имъ печать однообразія и, что еще хуже, безсилія. Когда и читатель и критикъ стали обращаться съ стихотвореніями гораздо деликатнѣе, нежели обращались съ ними прежде, талантъ Огарева не откликнулся на реакцію въ пользу поэзіи. Посреди голосовъ свѣжихъ, сильныхъ, самоувѣренныхъ, иногда нестройныхъ, едва-едва слышался лѣнивый шепотъ поэта, шепотъ какъ будто насмѣшливый. Молодой поэтъ Майковъ могъ увлекаться природою и древнимъ міромъ, Фетъ сочинялъ свои произведенія, исполненныя жизни и свѣжести, Щербина отправлялся за вдохновеніемъ въ древнюю Грецію, Полонскій изображалъ Кавказъ и Тифлисъ, всѣ эти поэты пѣли горячо и бодро, но примѣръ ихъ не увлекалъ Огарева. Изрѣдка появлялось какое-нибудь грустное стихотвореньице его, какое-то литературное memento mori. Никакой поэтъ не можетъ существовать безъ

энергіи, безъ того живого и необходимаго элемента, съ которымъ лѣниво-грустная муза Огарева никакъ не можетъ поладить. Подъ словомъ энергія тутъ должно понимать не пламенность, не особенную фактуру стиха, дѣлающую стихъ желѣзнымъ и алмазнымъ (любимые эпитеты старыхъ критиковъ), даже не выдержанность манеры, даже не трудолюбіе, такъ необходимое и первокласснымъ геніямъ. Подъ словомъ поэтическая энергія, здѣсь разумѣется убѣжденіе самого поэта въ томъ, что онъ имѣетъ право жить и пѣть во весь свой голосъ, совершая тѣмъ призваніе, ему данное отъ природы. Поэтъ съ энергіей всегда будетъ имѣть свой вѣсъ и свою цѣну, хотя бы въ общей сложности своего направленія, онъ грѣшилъ противъ самыхъ важныхъ законовъ искусства. Жизнь и постоянство, сила и сосредоточенная жизнь способны всюду влить настоящую кровь, всюду высказаться самымъ мѣткимъ способомъ.

Раздробивъ «Земний путь», и выбросивъ изъ него слабыя строки, мы все-таки получимъ въ результатѣ рядъ мелкихъ стихотвореній, поэтически задуманныхъ и отчетливо выполненныхъ.

Въ 50-хъ годахъ писали стихи Хвощинская, скоро обратившаяся къ беллетристикѣ (Крестовскій, псевдонимъ) и Юлія Валеріановна Жадовская. Она выступила съ книжкой стиховъ въ 1846 году не безъ успѣха.

Въ 1858 г. вышелъ болѣе полный сборникъ ея стиховъ (119 пьесъ). Въ 1857 г. въ «Русскомъ Вѣстникѣ» появился ея романъ: «Въ сторонѣ отъ большого свѣта». Въ 1858 — «Повѣсти». Въ 1861 г. во «Времени» романъ «Женская исторія» и повѣсть «Отсталая».

«Задушевность, полная искренность чувства и спокойная простота его выраженія — вотъ главныя достоинства стихотвореній Жадовской. Настроеніе чувствъ ея — грустное; главные мотивы ея — задумчивое созерцаніе природы, сознаніе одиночества въ мірѣ, воспоминаніе о быломъ, когда-то свѣтломъ, счастливомъ, но безвозвратно прошедшемъ». (Добролюбовъ). Изъ поэтовъ 30-хъ годовъ явился въ обновленномъ видѣ съ «обличительными» стихотвореніями сладкозвучный Бенедиктовъ. Въ 1857 г. вышли его «Новыя стихотворенія». Изъ поэтовъ 40-хъ годовъ, Плещеевъ, по дѣлу Петрашевскаго приговоренный вмѣстѣ съ Достоевскимъ и 22 другими лицами къ смертной казни чрезъ разстрѣляніе и помилованный, съ лишеніемъ всѣхъ правъ состоянія, служившій въ ссылкѣ въ Оренбургской губерніи рядовымъ, молчалъ ровно семь лѣтъ. Въ 1856—59 гг. въ «Русскомъ Вѣстникѣ» опять раздался благородный голосъ поэта, появился рядъ его стихотвореній. Въ 1858 г. вышелъ сборникъ его задушевныхъ пьесъ и переводовъ. Въ 1860 г. «Повѣсти и разсказы». Въ 1861 г. новое, дополненное изданіе стихотвореній. Наконецъ въ 50-хъ годахъ выступили съ первыми произведеніями два поэта: Алексѣй Николаевичъ Апухтинъ (въ «Современникѣ» 1859—1862 г.), затѣмъ замолчавшій на цѣлое десятилѣтіе до 70-хъ годовъ и

Константинъ Константиновичъ Случевскій, то же въ періодъ съ 1857 по 1860 г. появившійся было съ нѣсколькими прекрасными стихотвореніями и убоявшись гвалта полемики 60-хъ годовъ, скрывшійся изъ литературы на многіе годы.

БИБЛІОГРАФІЯ: Н. П. Огаревъ. Стихотворенія изд. въ 1856, 59 и 63 г.г.—Нѣсколько стихотвор. и поэма «Радаевъ» въ Р. Стар. 86 г. № 2; 88 г. № 11—12; 90 г. № 11 и 91 г. № 10. —Зимній путь, поэма. Р. Вѣстн. 56 г. № 6.—Письма поэта. Р. Мысль. 88 г. № 7, 9—11; 89 г. № 1, 4. 10—12; 90 г. № 3. 4, 8—10; 91 г. № 6—8; 92 г. № 7—9. (Переписка Огарева съ Герценомъ); въ сборн. «Помощь голодающимъ». М. 92 г.—Оцѣнка творчества: Въ «Воспомин. и критич. очерк.» Анненкова и въ книгѣ «П. Анненковъ и его друзья». —Дружининъ. Соч. т. VII; В. Боткинъ. Соч. т. II. — Статья Щербины въ Библ. для Чтен. 1857 г., т. 142, № 3, стр. 1—40.

§ 8. Конецъ 40-хъ гг. наложилъ печать временнаго молчанія даже на гражданскую музу Некрасова. Однако малочисленность стихотвореній, написанныхъ поэтомъ въ 1848 и 1849 годахъ объясняется и тѣмъ, что онъ во первыхъ, писалъ и печаталъ въ сотрудничествѣ съ Н. Станицкимъ (А. Я. Панаева) большой романъ «Три страны свѣта», а во вторыхъ много работалъ по редактированію «Современника», такъ какъ Никитенко съ IX тома 1848 года оставилъ редакцію. Гоненіе на стихи возбудилъ самъ-же «Современникъ» въ лицѣ фельетониста журнала—Новаго поэта (Панаевъ, Некрасовъ, Гаевскій и К^{с}). За нимъ и «Отеч. Записки», скоро по толщинѣ достигшія предѣла—50 листовъ на книжку, закрыли свои страницы для рифмъ. Около трехъ лѣтъ молчалъ Некрасовъ. Въ 1850 г. появилась его «Буря»: «Долго не сдавалась Любушка сосѣдка».. Должно отмѣтить, что стихотворенія Некрасова отвѣчали тому признаку истинно поэтическихъ произведеній, на который указываетъ Вольтеръ — они сейчасъ же всѣми заучивались наизусть. Это даже наложило печать «заѣзженности», стертости на такія знаменитыя произведенія поэта въ пятидесятыхъ годахъ, какъ «Маша» (Бѣлый день занялся надъ столицей...), «Филантропъ», «Несжатая полоса», «Въ больницѣ», «Поэтъ и гражданинъ», «Убогая и нарядная», «Размышленіе у параднаго подъѣзда». Эти произведенія чисто гражданскія и носятъ всѣ признаки одоиѣнія. Въ самомъ дѣлѣ сравните «Вельможу» Державина съ «Размышленіемъ у параднаго подъѣзда».

Вельможу должны составлять
Умъ здравый, сердце просвѣщенно...
А ты, второй Сарданапалъ,
Къ чему стремишь всѣхъ мыслей бѣги?
На то-ль, чтобъ вѣкъ твой протекалъ
Средь игръ, средь праздности и нѣги?..

...Тамъ — вдова стоитъ въ сѣняхъ
И горьки слезы проливаетъ,
Съ груднымъ младенцемъ на рукахъ
Покрова твоего желаетъ...
А тамъ — гдѣ жирный песъ лежитъ,
Гордится вратникъ галунами,
Заимодавцевъ полкъ стоитъ,
Къ тебѣ пришедшихъ за долгами.
Проснися Сибаритъ!..

У Некрасова:

...Владѣлецъ роскошныхъ палатъ
Еще сномъ былъ глубокимъ объятъ...
Ты, считающій жизнью завидною,
Упоеніе лестью безстыдною,
Волокитство, обжорство, игру,
Пробудись!..

Оба произведенія писаны по однимъ риторическимъ правиламъ антитезы. «Вратникъ» съ голунами и «швейцаръ», который не пустилъ скудной лепты не взявъ; даже «громы» поэта XVIII-го и XIX-го вѣка одни («Злодѣй, увы! и грянулъ громъ!» Державина и «Не страшатъ тебя громы небесные» Некрасова). Даже одинаково невозможно узнать, по какому вѣдомству служили «Вельможа» Державина и «Особа» Некрасова. Болѣе того — анализъ критико - историческій находитъ гораздо болѣе реальныхъ чертъ въ одѣ Державина, у Некрасова же однѣ общія мѣста и картины. Такимъ образомъ въ гражданской лирикѣ Некрасова воскресала лирика державинская, болѣе проникнутая чувствомъ, но не менѣе риторическая.

Гражданскую «оду»: «Бѣлый день занялся надъ столицей» Григорьевъ назвалъ «Пѣснопѣнье о чиновникѣ, который доводитъ себя до чахотки, трудясь для нарядовъ жены». Не менѣе прозаиченъ знаменитый «Филантропъ» (Частію по глупой честности, частію по простотѣ...) «Въ больницѣ» — всегда будетъ дорого писателямъ, по щемящему душу обращенію:

Братья — писатели! Въ вашей судьбѣ,
Что-то лежитъ роковое...

Но все же и это «гражданская ода» — больничное или исправительное стихотвореніе (Григорьевъ). Относительно стремленія утилитарной критики 50-хъ годовъ свести всю поэзію къ гражданскимъ мотивамъ Апол. Григорьевъ писалъ: «Правиломъ поставлено было одобрять только такія поэтическія произведенія, въ которыхъ есть протестъ Лермонтовскій, или болѣзненность Гейневская, или, наконецъ, извѣстная степень ядовитости. Умъ въ стихотвореніяхъ считался выше таланта; снисходительно смотрѣли если этотъ умъ являлся совсѣмъ голый, — выступай онъ только самъ раз-

драженный и въ свою очередь раздражающій, —и преслѣдовали талантъ, если онъ не допускалъ заднихъ мыслей въ свои вдохновенія: все однимъ словомъ, что не брало въ руки метлу или другое какое-либо полезное орудіе—клеймилось именемъ рифмоплетства»[118]).

Такое отношеніе критики къ поэтамъ объясняется историческимъ моментомъ. Критикъ—гражданинъ боялся, что истинная поэзія отвлечетъ общество отъ злобы дня, отъ цѣли истинно великой и святой—сокрушенія крѣпостного строя, поэтому онъ прямо гналъ истинную поэзію. Но поэзіи нѣтъ дѣла до злобы дня. Она—вѣчна. И съ другой стороны, только великая цѣль, какъ сокрушеніе крѣпостнаго права, можетъ оправдать подобную „критику", не сдѣлавъ ее однако истинной критикой. Къ числу гражданскихъ одъ надо отнести и знаменитое «Блаженъ незлобивый поэтъ» Некрасова, написаное 25-го февраля 1852 г., на кончину Гоголя (21-го февраля 1852 г.). Это стихотвореніе—прозаическій пересказъ рифмованными, дубовыми виршами высоко поэтической прозы Гоголя изъ «Мертвыхъ Душъ».

Счастливъ писатель, который, мимо характеровъ скучныхъ, противныхъ, поражающихъ печальною своею дѣйствительностью, приближается къ характерамъ, являющимъ высокое достоинство человѣка, который, изъ великаго омута ежедневно вращающихся образовъ, избралъ одни немногія исключенія, который не измѣнялъ ни разу возвышеннаго строя своей лиры, не ниспускался съ вершины своей къ бѣднымъ ничтожнымъ своимъ собратьямъ и, не касаясь земли, весь повергался въ свои далеко отторгнутые отъ нея и возвеличенные образы! Вдвойнѣ завиденъ прекрасный удѣлъ его: онъ среди ихъ, какъ въ родной семьѣ; а между тѣмъ далеко и громко разносится его слава. Онъ окурилъ упоительнымъ куревомъ людскія очи; онъ чудно польстилъ имъ, сокрывъ печальное въ жизни, показавъ имъ прекраснаго человѣка. Все, рукоплеща, несется за нимъ и мчится вслѣдъ за торжественной его колесницей. Великимъ всемірнымъ поэтомъ именуютъ его, парящимъ высоко надъ всѣми другими геніями міра, какъ паритъ орелъ надъ другими, высоколетающими. При одномъ имени его уже объемлются трепетомъ молодыя пылкія сердца, отвѣтныя слезы ему блещутъ во всѣхъ очахъ. Нѣтъ равнаго ему въ силѣ!.. Но не таковъ удѣлъ, и другая судьба писателя, дерзнувшаго вызвать наружу все, что ежеминутно предъ очами и чего не зрятъ равнодушныя очи,—всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавшихъ нашу жизнь, всю глубину холодныхъ, раздробленныхъ, повседневныхъ характеровъ, которыми кишитъ наша земная, подъ-часъ горькая и скучная дорога, — и, крѣпкою силою неумолимаго рѣзца, дерзнувшаго выставить ихъ выпукло и ярко на всенародныя очи!

---

[118]) Москвитянинъ. 1885. № 15—16, стр. 175.

Ему не собрать народныхъ рукоплесканій, ему не зрѣть признательныхъ слезъ и единодушнаго восторга взволнованныхъ имъ душъ; къ нему не полетитъ на встрѣчу шестнадцати-лѣтняя дѣвушка съ закружившеюся головою и геройскимъ увлеченіемъ; ему не позабыться въ сладкомъ обаяніи имъ же исторгнутыхъ звуковъ; ему не избѣжать, наконецъ, современнаго суда, лицемѣрно—безчувственнаго современнаго суда, который назоветъ ничтожными и низкими имъ лелѣянныя созданія, отведетъ ему презрѣнный уголъ въ ряду писателей, оскорбляющихъ человѣчество».

Эту вдохновенную прозу Некрасовъ изложилъ своими словами въ куплетахъ рифмованными ловкими стишками:

Первый куплетъ.

Блаженъ незлобивый поэтъ,
Въ комъ мало желчи, много чувства:
Ему такъ искрененъ привѣтъ
Друзей спокойнаго искусства;

Второй куплетъ.

Ему сочувствіе въ толпѣ,
Какъ ропотъ волнъ, ласкаетъ ухо:
Онъ чуждъ сомнѣнія въ себѣ —
Сей (sic!) пытки творческаго духа.

Третій куплетъ.

Любя безпечность и покой,
Гнушаясь дерзкою сатирой,
Онъ прочно властвуетъ толпой
Съ своей миролюбивой лирой...

Такъ и видишь подмостки и рампу «Александринки» и ждешь послѣ каждаго «куплетца» ритурнель оркестра.

Но нѣтъ пощады и судьбы
Тому, чей благородный геній
Сталъ обличителемъ толпы,
Ея страстей и заблужденій.
Питая ненавистью грудь,
Уста вооруживъ сатирой,
Проходитъ онъ тернистый путь
Съ своей карающею лирой.
Его преслѣдуютъ хулы...

Звукъ его рѣчей «плодитъ ему враговъ», въ лицѣ «и умныхъ, и пустыхъ людей», «равно готовыхъ» его клеймить, его клянутъ «со всѣхъ сторонъ», и только увидя его «трупъ» поймутъ, «какъ много онъ сдѣлалъ».

Въ стихахъ — реляція. Прекрасно! Я зѣваю... Или вѣрнѣе «передовица», писанная газетнымъ жаргономъ.

Быстро наставшій чрезвычайный успѣхъ «обличительно—гражданской поэзіи» и гоненіе на истинную поэзію дало право Полонскому въ 70-хъ уже годахъ сочинить куплеты въ обратномъ уже смыслѣ:

Блаженъ озлобленный поэтъ,
Будь онъ хоть нравственный калѣка.
Ему вѣнцы, ему привѣтъ
Друзей озлобленнаго вѣка...
...Ядъ—въ глубинѣ его страстей,
Спасенье—въ силѣ отрицанья.
Въ любви—зародыши идей,
Въ идеяхъ—выходъ изъ страданья.

Гораздо выше поэтическое достоинство сатиръ Некрасова, подъ общимъ заглавіемъ «О погодѣ». Въ нихъ передана вся особая скорбь петербургскаго житья, вся раздражающая масса уличныхъ столичныхъ впечатлѣній. Если Пушкинъ изобразилъ все величаво — прекрасное въ державномъ теченіи Невы, береговыхъ ея гранитахъ, въ однообразной красивости «Петра творенья», если Достоевскій въ «Преступленіе и наказаніе» воплотилъ ужасъ «лѣтняго» Петербурга съ его Сѣнной, то Некрасовъ далъ «поэзію отвратительнаго» осеннихъ сумерокъ, мрази и слякоти Петербурга. Истинной поэзіей проникнуты и стихотворенія «Муза» (по выраженію Апол. Григорьева это «Муза Гарпія»), «Праздникъ жизни, молодости годы», «Замолкни, Муза мести и печали», «Послѣднія элегіи», въ которыхъ поэтъ вскрываетъ внутренніе родники своего поэтическаго чувства, говоритъ, что стихи его:

...Внезапно хлынувшія слезы
Съ огорченнаго лица.

«Великая, но попорченная сила—эта Муза мести и печали»,—не могъ не признаться Апол. Григорьевъ.

Но истинная поэзія въ стихахъ Некрасова начинается тамъ, гдѣ онъ отъ лирики гражданскихъ негодующихъ чувствъ, злободневныхъ и въ тоже время общихъ до риторики, переходитъ къ лирикѣ чувства субъективнаго (любовь къ матери, умиленіе предъ народной чистой душой) или къ объективной живописи природы и быта великорусской деревни. Таковы, среди произведеній 50-хъ годовъ: «Власъ», «Внимая ужасамъ войны», «Школьникъ» поэмы «Саша», «Несчастные», «Тишина», «На Волгѣ» и высоко поэтическая «Рыцарь на часъ». Въ послѣдней поэмѣ критики и читатели единодушно оцѣнили выстраданное и воплемъ вылетающее изъ сердца обращеніе къ матери:

Повидайся со мною, родимая!
Появись легкой тѣнью на мигъ!

Поэма «Саша» писалась въ теченіи четырехъ лѣтъ 1852—1855 и явилась въ одно время, въ одной книжкѣ «Современника» съ Рудинымъ Тургенева, съ которымъ по очерку любящейся пары героевъ сходна. «Саша» имѣла большой и заслуженный успѣхъ. Въ 1857 году К. С. Аксаковъ уже относилъ Некрасова къ числу поэтовъ наиболѣе замѣчательныхъ и ставилъ его во главѣ современныхъ поэтовъ — Полонскаго, Фета, Майкова, Щербины, гр. А. Толстого. «Стихотворенія Некрасова означены какой-то сдержанною силою выраженія, какимъ то своеобразнымъ стихомъ». И указываетъ на «Сашу»[119].

На поэмѣ «Саша»—мнѣнія критиковъ сошлись. «Удивительная между прочимъ вещь эта небольшая вещь «Саша»—говоритъ Ап. Григорьевъ. У меня къ ней глубокая симпатія и вмѣстѣ антипатія: симпатія къ ея краскамъ и подробностямъ, антипатія за то, что она весьма удобно поддается аллегорическому толкованію».

Разбирая балладу Некрасова «Власъ», Достоевскій тонко отмѣтилъ фальшивыя ея мѣста, показывающія высокомѣрное отношеніе поэта къ религіозной жизни народа.

«У этого Власа, какъ извѣстно, прежде «Бога не было»... Заболѣлъ Власъ и видѣлъ видѣніе, послѣ котораго поклялся пойти по міру и собирать на храмъ.

Видѣлъ онъ адъ-съ, ни мало, ни меньше:

Видѣлъ свѣта представленіе,
Видѣлъ грѣшниковъ въ аду:
Мучатъ бѣсы ихъ проворные,
Жалитъ вѣдьма — егоза,
Эфіопы — видомъ черные
И какъ угліе глаза.

«Но всего не описать»—продолжаетъ поэтъ,

Богомолки, бабы умныя,
Могутъ лучше разсказать.

Достоевскій удивляется оскорбительному выводу, что вотъ изъ такихъ-то, въ концѣ концовъ, бабьихъ пустяковъ происходитъ нравственное перерожденіе Власовъ, подвижничество, странничество ихъ, и—

Выростаютъ храмы Божіи
По лицу земли родной.

Но хоть и по «глупости» своей ходитъ съ котомкою Власъ, но серьезность его страданія вы все-таки поняли: все же васъ поразила величавая фигура его. (Да вѣдь и поэтъ же вы: не могло быть иначе).

---

[119]) «Русск. Бесѣда». 1857. № 1. Обозрѣніе русской литературы». стр. 8.

Сила вся души великая
Въ дѣло Божіе ушла

великолѣпно говорите вы».

Полонъ скорбью неутѣшною
Смуглолицъ, высокъ и прямъ,

(Чудо какъ хорошо!)

Ходитъ онъ стопой неспѣшною
По селеньямъ, городамъ.
. . . .
Ходитъ съ образомъ и съ книгрю.
Самъ съ собой все говоритъ
И желѣзною веригою
Тихо на ходу звенитъ.

Чудо, чудо какъ хорошо! Даже такъ хорошо, что точно и не вы писали; точно это не вы, а другой кто замѣсто васъ кривлялся потомъ, «на Волгѣ», въ великолѣпныхъ тоже стихахъ, про бурлацкія пѣсни. А впрочемъ,—не кривлялись вы и «На Волгѣ», развѣ только немножко». («Дневникъ писателя 1873 г.»).

Позднѣе въ 1877 г. Достоевскій призналъ поэму «На Волгѣ» «одной изъ могучихъ и самыхъ зовущихъ поэмъ Некрасова... Это настоящій духъ и тонъ Байрона». Григорьевъ считалъ ее превосходнымъ, здоровымъ и могучимъ стихотвореніемъ, видѣлъ въ ней простыя любовныя впечатлѣнія и заключалъ изъ нея, что Некрасовъ любилъ родную почву, какъ весьма немногіе, что ему даже она одна только и мила»[120]).

Послѣ смерти Некрасова, оцѣнивая его поэзію, Достоевскій сказалъ: «Это было раненое въ самомъ началѣ жизни сердце, и эта то никогда не заживавшая рана его и была началомъ и источникомъ всей страстной, страдательной поэзіи его на всю потомъ жизнь, всей страстной до мученія любви этого человѣка ко всему, что страдаетъ отъ насилія, отъ жестокости необузданой воли, что гнететъ нашу русскую женщину, нашего ребенка въ русской семьѣ, нашего простолюдина въ горькой, такъ часто, долѣ его. Въ поэзіи нашей, признаетъ Достоевскій, Некрасовъ заключилъ собою рядъ тѣхъ поэтовъ, которые приходили со своимъ «новымъ словомъ».

§ 9. Намъ остается характеризовать еще поэтическую дѣятельность Никитина и Розенгейма—поэтовъ, всецѣло принадлежащихъ эпохѣ пятидесятыхъ годовъ и Освобожденія.

Иванъ Саввичъ Никитинъ обязанъ своею извѣстностью стихотворенію «Русь», которое появилось въ самый разгаръ Крымской войны и поста-

---

[120]) «Время». 1862, № 7, стр. 5, 35 и 38.

вило его имя рядомъ съ именемъ Кольцова, его земляка. Онъ родился въ Воронежѣ 21-го сентября 1824 г. Отецъ его, Савва Евтихіевичъ, происходилъ изъ духовнаго званія. Мать изъ воронежскихъ мѣщанъ. У нихъ былъ свой домъ на высокомъ мѣстѣ, надъ рѣкою. Эта часть Воронежа очень хороша и много напоминаетъ Москву. Родители Никитина жили хорошо. Отецъ былъ умный и относительно образованный человѣкъ. Небольшого роста, коренастый, знаменитый кулачный боецъ, любилъ духовныя книги и хорошо зналъ старую русскую литературу до Пушкина. Первымъ учителемъ маленькаго Никитина былъ сапожникъ, научившій его грамотѣ. Первыми прочитанными книгами — «Мальчикъ у ручья» Коцебу и «Луиза или подземельеЛіонскаго Замка» Радклифъ. Въ 1832 г., отецъ отдалъ его въ духовное училище. Въ 1841 г. юноша поступаетъ и въ семинарію. Въ началѣ 40-хъ годовъ въ Воронежской семинаріи были еще свѣжи воспоминанія о Серебрянскомъ и Кольцовѣ. Литература пользовалась почетомъ. Никитинъ учился превосходно, писалъ отлично сочиненія, между прочимъ и стихи.

Въ 1843 году Иванъ Саввичъ окончилъ философскій курсъ. Отецъ, несмотря на разстройство своихъ дѣлъ, хотѣлъ послать сына въ университетъ; но этому рѣшительно воспротивилась мать, убѣждавшая поскорѣе женить его и посадить въ лавку. Невѣсты не отыскалось, но полъ года сидѣлъ поэтъ въ лавкѣ, до смерти матери. Смерть жены потрясла Савву Евтихіевича. И раньше запивавшій, онъ тутъ сталъ пить горькую чашу. Слѣдствіемъ было полное раззореніе Никитиныхъ. Отецъ буйствовалъ, ругалъ и попрекалъ сына. Нищета глянула въ домъ. Все, что можно было прожить, прожито — платье, вещи; все, что добывалось, шло на водку. И среди этого пьянаго содома — страдающій, мечтающій, загнанный, часто голодный юноша — поэтъ. Однако онъ воспрянулъ духомъ. Онъ сталъ «дворничать» — содержать постоялый дворъ для извозчиковъ. Извозчики полюбили его и называли Савельичемъ. Онъ подрѣзалъ волосы въ кружекъ, надѣлъ сапоги «бутылками», лѣтомъ носилъ чуйку, зимой — нагольный тулупъ, выдавалъ сѣно и овесъ, стряпалъ, самъ иной разъ бѣгалъ въ кабакъ за водкой для обозныхъ извозчиковъ.

Дѣла поправились, но отецъ продолжалъ пить и безобразничать. Отношенія отца съ сыномъ были весьма своеобразны. Когда отецъ былъ въ трезвомъ состояніи, онъ кротко и любовно относился къ сыну; за то сынъ отвѣчалъ суровостью и злобой. Когда же отецъ бывалъ пьянъ и буйствовалъ, можно было удивляться кротости сына, ухаживавшаго за нимъ, какъ за ребенкомъ, безъ всякой горечи и досады. «Любовь къ родной литературѣ, говоритъ Никитинъ въ одномъ изъ писемъ, къ родному русскому слову не угасла во мнѣ среди новой, совершенно незнакомой мнѣ дѣятельности. Окруженный людьми, лишенными малѣйшаго образованія, не имѣя руководителей, не слыша разумнаго совѣта, за что и какъ мнѣ нужно

взяться, я бросался на всякое сколько нибудь замѣчательное произведенie, бросался и на посредственное, за неимѣнiемъ лучшаго. Продавая извозчикамъ овесъ и сѣно, я обдумывалъ прочитанныя мною и поразившiя меня строки, обдумывалъ ихъ въ грязной избѣ, нерѣдко подъ крикъ и пѣсни разгулявшихся мужичковъ. Сердце мое обливалось кровью отъ грязныхъ сценъ; но съ помощiю доброй воли я не развратилъ своей души. Найдя свободную минуту я уходилъ въ какой нибудь отдаленный уголокъ моего дома. Тамъ я знакомился съ тѣмъ, что составляетъ гордость человѣчества, тамъ я слагалъ скромный стихъ, просившiйся у меня изъ сердца...

Извѣстность Никитина скоро распространилась и за предѣлами Воронежа, хотя онъ и не рѣшался еще посылать куда-либо свои произведенiя. Нѣкоторыя газеты не замедлили перепечатать изъ «Воронежскихъ Губернскихъ Вѣдомостей» помѣщенныя въ нихъ два стихотворенiя «Русь» и «Война за вѣру». Особенно же популярность Никитина возросла послѣ написаннаго имъ стихотворенiя «Моленiе о чашѣ»; о Никитинѣ заговорили во всѣхъ даже едва грамотныхъ слояхъ общества; стихотворенiе переписывалось во множествѣ экземпляровъ и распространялось далеко за предѣлы Воронежа и даже губернiи. Всѣ бросились знакомиться съ поэтомъ. Изъ столичныхъ литераторовъ завели съ Никитинымъ сношенiя А. Н. Майковъ и Н. В. Кукольникъ, проживiшiй зиму 1853 — 1854 г. въ Воронежѣ. Въ 1856 году, благодаря содѣйствiю графа Д. Н. Толстого, вышла книжка стихотворенiй Никитина.

Наружно жизнь Никитина, не смотря на успѣхъ, осталась прежней. Вотъ отрывки изъ его писемъ: Отъ 5 сентября 1858 г... «Я все читаю разныя серьезныя вещи на французскомъ языкѣ... Между прочимъ, я недавно познакомился съ Шенье. Какiя у него картины въ антологическомъ родѣ! Но его предсмертныя стихотворенiя такъ и хватаютъ душу. Какое присутствiе духа! Писать стихи въ то время, когда жизнь виситъ на волоскѣ, когда въ корридорѣ тюрьмы уже слышны шаги солдатъ, идущихъ за поэтомъ!..»

Отъ 5 октября 1857 г.: «За отсутствiемъ дворника, я отпускаю извозщикамъ овесъ и сѣно и распоряжаюсь помѣщенiемъ ихъ телѣгъ на моемъ дворѣ... Утомившись порядочно за день, въ сумерки я зажигаю свѣчу, читаю какой-нибудь журналъ. Когда же чувствую себя нѣсколько здоровѣе, берусь за Шиллера и копаюсь въ лексиконѣ, покамѣстъ зарябитъ въ глазахъ».

Наиболѣе замѣчательное произведенiе Никитина — поэма «Кулакъ», надъ которою онъ трудился почти два года (съ октября 1854 г. по сентябрь 1856 г.). Никитинъ изображалъ въ этой поэмѣ почти тотъ же бытъ, что и Островскiй въ комедiи «Свои люди — сочтемся». Можно провести параллель между Подхалюзинымъ и Таракановымъ, Сашей и Липочкой. «Ку-

лакъ», вышедшій въ концѣ 1857 г. былъ хорошо принятъ публикою и журналами. Академикъ А. К. Гротъ напечаталъ въ «Извѣстіяхъ II Отдѣленія Академіи Наукъ» разборъ поэмы, гдѣ называетъ ее «замѣчательнымъ явленіемъ въ русской поэзіи».

Въ февралѣ 1859 г. Никитинъ открылъ книжный магазинъ въ Воронежѣ. Дѣла его идутъ недурно, но онъ таетъ и догораетъ, какъ свѣча, не замѣчая того самъ. Доктора говорятъ, что у него чахотка.

Въ это время Никитинъ написалъ прекрасной прозой повѣсть «Дневникъ семинариста», въ которой много превосходныхъ картинъ изъ быта духовенства, теплоты, искренности, поэзіи. Между тѣмъ болѣзнь ѣла Никитина. Евангеліе—была послѣдняя книга, которую Никитинъ читалъ въ своей жизни, читалъ до самой смерти. Лѣтомъ 1861 года пользовавшій его врачъ объявилъ друзьямъ поэта, что дни его сочтены.

Большею частью поэтъ лежалъ молча съ закрытыми глазами. Какъ нарочно, все лѣто старикъ-отецъ пилъ безъ удержу. Часто онъ пугалъ умирающаго сына, врываясь въ его комнату въ пьяномъ, безобразномъ видѣ, босой и въ одномъ бѣльѣ... Смерть прекратила страданія Никитина 16-го октября 1861 г., въ половинѣ пятаго часа пополудни.

Въ стихахъ Никитина мы не найдемъ того своеобразія, которое отличаетъ геніальныя пѣсни Кольцова. Однако описанія природы у него проникнуты тепломъ, свѣтомъ, истинной поэзіей.

«Вокругъ тишина и безлюдье: и поле, и берегъ уснули; лишь мельницы старой колеса, алмазъ разсыпая, шумятъ, да съ вѣтромъ волнистыя нивы, Богъ знаетъ о чемъ говорятъ. На кольяхъ, вдоль берега вбитыхъ, раскинуты мокрыя сѣти: вотъ бѣдный шалашъ рыболова, гдѣ вечеромъ рѣзвыя дѣти играютъ трепещущей рыбой и ищутъ въ травѣ водяной улитокъ и маленькихъ камней, обточенныхъ синей волной...»[121]).

Описываетъ ли онъ мѣсячную, зимнюю ночь въ деревнѣ, васъ охватываетъ настроеніе дивной картины:

«Весело сіяетъ мѣсяцъ надъ селомъ: бѣлый снѣгъ сверкаетъ синимъ огонькомъ. Мѣсяца лучами Божій храмъ облитъ: крестъ подъ облаками, какъ свѣча, горитъ; пусто, одиноко сонное село; вьюгами глубоко избы занесло: помолися Богу, спитъ крестьянскій людъ, позабывъ тревогу и тяжелый трудъ»[122]).

Или ведетъ насъ поэтъ на берегъ озера въ тихое лѣтнее утро и вы видите всю красу его передъ собою.

«Ясно утро. Тихо вѣетъ теплый вѣтерокъ; лугъ, какъ бархатъ, зеленѣетъ, въ заревѣ востокъ. Окаймленное кустами молодыхъ ракитъ, разно-

[121]) Ночь. 1850.

[122]) Зимняя ночь въ деревнѣ. 1853.

цвѣтными огнями озеро блеститъ. Тишинѣ и солнцу радо, по равнинѣ водъ, лебедей ручное стадо медленно плыветъ...» и этотъ образъ изобиженной дѣвочки-сиротки: «А дѣвчонка провожала грустнымъ взглядомъ ихъ, и слеза у ней дрожала въ глазкахъ голубыхъ»[123]).

Поэзія Никитина достигаетъ замѣчательныхъ эффектовъ самыми простыми, казалось бы прозаическими описаніями. Что безхитростнѣе, и въ тоже время прекраснѣе этого совершенно реальнаго описанія:

«Поутру вчера дождь въ стекла оконъ стучалъ; надъ землею туманъ облаками вставалъ. Вѣялъ холодъ въ лицо отъ угрюмыхъ небесъ, и, Богъ знаетъ о чемъ плакалъ сумрачный лѣсъ. Въ полдень дождь перестал, и, что бѣлый пушокъ, на осеннюю грязь началъ падать снѣжокъ. Ночь прошла. Разсвѣло. Нѣтъ нигдѣ облачка. Воздухъ легокъ и чистъ, и замерзла рѣка»[124]).

Во всѣ хрестоматіи вошло описаніе деревенской мельницы, такъ гармонично передающее шумъ и стукъ нехитраго прибора:

«Кипитъ вода, реветъ ручьемъ— на мельницѣ и стукъ и громъ, колеса-то въ водѣ шумятъ, а брызги вверхъ огнемъ летятъ; отъ пѣны-то бугоръ стоитъ, что мостъ живой, весь полъ дрожитъ, шумитъ вода, рукавъ трясетъ, на камни рожь дождемъ течетъ, подъ жерновомъ муку родитъ, идетъ мука—въ глаза пылитъ»[125]).

Порою чувство природы у Никитина сливается съ глубоко трогательной исповѣдью сердца.

Въ нижеслѣдующемъ отрывкѣ поразительно смѣлое описаніе мощнымъ аккордомъ скорби разрѣшается красиво и внезапно:

«Разсыпались звѣзды, дрожатъ и горятъ... за пашнями диво творится: на воздухѣ синія горы висятъ, и въ полыми людъ шевелится. Подвинулось небо назадъ отъ земли, — водѣ золотой уступило: безъ вѣтра плывутъ по водѣ корабли, бока ихъ огнемъ охватило... А ночь черезъ лѣсъ торопливо ползетъ, ползетъ и листа не зацѣпитъ; насупила брови, глазами сверкнетъ,—широкое поле освѣтитъ. Опять я съ тоскою домой ворочусь, молчалъ бы, да нѣтъ моей мочи... Одинъ я средь поля пятномъ остаюсь, чернѣе и пашень и ночи. Гляжу и любуюсь: просторъ и краса... Въ себя заглянуть только стыдно: закиданы грязью мои небеса, звѣзды ни единой не видно» (1856).

Но сейчасъ же неистощимыя силы юности берутъ верхъ надъ скорбью. Поэтъ снова становится ребенкомъ и безпечно отдается тихимъ, мирнымъ

---

[123]) Утро на берегу озера, 1854.

[124]) Встрѣча зимы, 1854.

[125]) Гнѣздо ласточки, 1856.

впечатлѣніямъ деревенскаго закоулка, жизни кроткой и полной безсознательной поэзіи.

«Помнишь? — съ алыми краями тучки въ озерѣ играли; шапки на ухо, верхами ребятишки въ лѣсъ скакали. Табуномъ своимъ покинутъ, конь въ водѣ остановился и, какъ-будто опрокинутъ, недвижимъ въ ней отразился» (1858).

Прекрасны у Никитина описанія сельскаго кладбища — «Божьей нивы», послѣдняго успокоенія тѣхъ незамѣтныхъ существованій, которые, однако, были чьею-то радостью, этого ребенка, которымъ такъ любовались отецъ и мать, рѣзвившагося, игравшаго и теперь мирно спящаго въ маленькой могилкѣ:

«Надъ твоей могилкой солнышко сіяетъ; въ зелени сирени птичка распѣваетъ. Вьются — распѣваютъ пчелы надъ цвѣтами, вѣтерокъ лепечетъ съ темными листами. Спишь-ли ты, малютка, или такъ лежится?.. Встань и полюбуйся, что кругомъ творится. Всталъ бы ты, — нѣтъ воли; тѣсный домъ твой прочен, выходъ на свѣтъ Божій крѣпко заколоченъ. Спи, дитя! Едва-ли стоитъ просыпаться, на людское горе сердцемъ надрываться[126]).

Или это описаніе погоста:

«Глубина небесъ синѣетъ, свѣтитъ яркая луна, церковь въ сумракѣ бѣлѣетъ, на погостѣ тишина. Тишина — не слышно звука, не горитъ огня въ селѣ. Безпробудно скорбь и мука спитъ въ кормилицѣ землѣ»[127]).

Иногда Никитинъ двумя, тремя чертами рисуетъ цѣлую картину бѣдной и тяжкой жизни:

«Худа, ветха избушка и, какъ тюрьма тѣсна; слѣпая мать-старушка, какъ полотно, блѣдна...»[128])

Какъ хорошъ Никитинъ въ своихъ «гражданскихъ» гимнахъ! Тутъ вся чистая и вѣрующая натура его раскрывается такъ полно, съ такою искренностью!

«Медленно движется время, — вѣруй, надѣйся и жди... Зрѣй, наше юное племя! Путь твой широкъ впереди. Молніи насъ освѣтили, мы на распутьи стоимъ... Мертвые въ мирѣ почили, дѣло настало живымъ» (1857).

Кромѣ лирическихъ стихотвореній у Никитина находимъ рядъ прекрасныхъ поэмъ и балладъ, — «Моленіе о чашѣ» (1854), «Ночлегъ извозчиковъ» (1854), «Купецъ на пчельникѣ», «Неудачная присуха» (1854), «Подлѣ рѣки одиноко стою я...», «Лѣсникъ и его внукъ», «Буря» (1854), «Ѣхалъ изъ ярмарки ухарь-купецъ, ухарь-купецъ, удалой молодецъ» (1858).

Лучшее произведеніе Никитина, это поэма «Кулакъ». Описаніе ярмарки

---

126) Могила дитяти, 1859.

127) Погостъ, 1860.

128) Мать и дочь, 1860.

здѣсь вынесетъ сравненіе даже съ описаніями первоклассныхъ нашихъ поэтовъ.

«Флагъ поднятъ. Ярмарка открыта. Народомъ площадь вся покрыта. На море пестрое головъ громада бѣлая домовъ глядитъ стеклянными очами; недвижная затоплена вся солнца золотомъ она. Людъ божій движется волнами... И кички съ острыми углами, подолы красные рубахъ, на черныхъ шляпахъ позументы, и вѣтромъ въ дѣвичьихъ косахъ едва колеблемыя ленты—вся деревенская краса вотъ такъ и мечется въ глаза! Изъ лавокъ, хитрая приманка, высматриваютъ кушаки и разноцвѣтные платки, и разноцвѣтная сермянка... Веселый говоръ, крикъ торговли, пискъ дудокъ, пѣсни мужичковъ и ранній звонъ колоколовъ — все въ гулъ слилось. Межъ тѣмъ оглобли приподнялись поверхъ возовъ, какъ лѣсъ безъ вѣтокъ и листовъ...» [129])

Съ необыкновенной рельефностью и прелестью изображаетъ поэтъ свою смиренную героиню, дѣвушку-мѣщанку, которую суровый отецъ «Кулакъ» неволитъ идти за немилаго:

«Взялась за дверь: была готова ее нежданно отворить, явиться предъ отцомъ, и снова отказъ отъ брака повторить. Старикъ вспылитъ. Въ пылу досады не будетъ отъ него пощады... Что-жъ! такъ и быть! Но, Боже! мать грозой семейной испугать, заставить плакать... развѣ мало она слезъ горькихъ пролила? У Саши силы не достало, и глупымъ бредомъ назвала порывъ свой дѣвушка. Какъ сладко въ саду малиновка поетъ! И какъ не пѣть! Въ глуши живетъ, въ кустѣ гнѣздо свила украдкой, въ гнѣздѣ малютки!.. любо ей! Міръ Божій свѣтелъ...»

А вотъ описаніе ея возлюбленнаго:

«Сосѣдъ—столяръ высокъ и строенъ, не очень смуглъ, не слишкомъ бѣлъ, веселый взглядъ его спокоенъ и простодушно твердъ и смѣлъ. Въ обтяжку казакинъ изъ нанки, рубашка красная чиста: не въ тяготу ему рубанки и не въ кручину бѣднота».

Одно изъ лучшихъ отступленій превосходной поэмы Никитина — описаніе бѣдняка — страстнаго птицелова и его поучительной, философской смерти: «Чудакъ! онъ жилъ въ своемъ домишкѣ, такъ — въ старой мазанкѣ! ходилъ зимой и лѣтомъ въ халатишкѣ, щегловъ, чижей, синицъ ловилъ. Бывало, раннею зарей, въ лѣсъ проберется съ западнею, да съ сѣтью—холодъ ни по чемъ. Разставитъ сѣть, а съ птицей клѣтку на сукъ повѣситъ, иль на вѣтку, и на сторожѣ за кустомъ дрожитъ въ снѣгу... Одну заботу, покуда кончился, имѣлъ: не во время, молъ, заболѣлъ. Теперь—вотъ въ лѣсъ бы на охоту... Сталъ умирать, какъ закричитъ: жена, пусти на волю дѣтокъ! — Какихъ тамъ дѣтокъ, говоритъ.—Моихъ-то вонъ, моихъ! Изъ клѣтокъ!»

[129]) «Кулакъ».

Но вотъ описаніе мѣщанской свадьбы:

«Домъ Лукича горитъ огнями, кругомъ ночь черная лежитъ, отъ красныхъ оконъ полосами, свѣтъ сонный въ улицѣ виситъ. Гостями горенка набита. Женихъ высокъ, румянъ, курчавъ, веселый взглядъ его лукавъ; невѣста бѣдная убита, разноситъ чай, а гости пьютъ, да рѣчи умныя ведутъ. Съ досадой женщины толкуютъ, что оплошалъ гостиный рядъ, товары завалью глядятъ, купцы безсовѣстно плутуютъ, на шаляхъ мало пестроты, на ситцахъ блѣдные цвѣты...

...Гости весело шумѣли, подруги Саши пѣсни пѣли; простой напѣвъ ихъ грустенъ былъ, тоску и думу наводилъ. Вино лилось. Съ улыбкой сладкой женихъ невѣсту цѣловалъ. Арина плакала украдкой. Лукичъ безъ устали плясалъ. Межъ тѣмъ невзгода бушевала: вылъ вѣтеръ, молнии струя, сквозь ливень крупнаго дождя, по темнымъ стекламъ пробѣгала, за нею вслѣдъ катился громъ, и вздрагивалъ непрочный домъ. Невѣста блѣдная сидѣла, всему чужда, едва жива; какъ въ полымѣ, у ней горѣла потупленная голова. Не въ радость былъ ей пиръ веселый, звонъ рюмокъ и напѣвъ подругъ. Нѣтъ! Сашу мучилъ бредъ тяжелый: надъ садомъ звѣзды. Тишь вокругъ... Припавъ щекой къ плечу сосѣда, она подъ ивой съ нимъ стоитъ, чуть внятный шопотъ — ихъ бесѣда, да громко сердцу говоритъ... Какъ темны листья сонной ивы! Какъ ясенъ мѣсяцъ молчаливый! Вотъ полдень. Жарко. Вѣтеръ спитъ. Песокъ горячъ. Рѣка блеститъ. Сосѣдъ на берегу: онъ блѣденъ! «Что-жъ, говоритъ: я, Саша, бѣденъ! Все вздоръ! отецъ твой не палачъ! Проси, мой другъ, и рвись, и плачь!..

Продана бѣдная дѣвушка! Но кулакъ не въ барышахъ. Онъ только задолжалъ, справляя свадьбу. Прекрасна сцена, гдѣ онъ проситъ денегъ у стараго скряги-купца.

«Хозяинъ поглядѣлъ пытливо на гостя, поднялся лѣниво, бумажкой книгу заложилъ, зѣвнулъ, молитву сотворилъ и отвѣчалъ: «Да, дождь сегодня. Все хорошо — все власть Господня. Ты здѣшній? - Здѣшній мѣщанинъ. Не угадали?... Карпъ Лукинъ. — И рѣчь повелъ онъ стороною: я, молъ, извѣстенъ вамъ давно, и позабыть меня грѣшно: служилъ, какъ надобно. Нуждою теперь убитъ. Имѣю дочь... И разсказалъ Лукичъ, въ чемъ дѣло. «Гм... жаль, что не могу помочь! Мое богатство улетѣло, какъ дымъ въ трубу. Все разошлось по добрымъ людямъ. Да авось промаюсь... Старъ... гляжу въ могилу... И время! Господи помилуй! — Нельзя-ли, сударь, пожалѣть! Вы сомнѣваетесь, извѣстно... Вотъ образъ — заплачу вамъ честно! Безъ покаянья умереть, коли солгу! — Зачѣмъ божиться? — Да тошно! Кажется, готовъ сквозь землю лучше провалиться, чѣмъ эдакъ вотъ изъ пустяковъ просить и мучиться напрасно. — Охъ, милый, вѣрить-то опасно!.

Напрасно тѣломъ и душою Лукичъ божился, умолялъ, въ закладъ домишко предлагалъ... Кремень-купецъ махнулъ рукою: «Эхъ, ну, тебя! за-

кладъ не тотъ! Твой домъ не каменный! нейдетъ».— Несытая твоя утроба! ну, стало, голову мнѣ снять и подъ залогъ тебѣ отдать? Вѣдь, ты глядишь подъ крышку гроба!.. Кому казну-то ты копишь! «Опомнись, съ кѣмъ ты говоришь!» -Съ тобою, старый песъ, съ тобою!»

Послѣ этого минутнаго взрыва, еще тѣснѣе наваливается на жалкаго ярмарочнаго «кулака» черная нужда.

Нѣтъ, не дождаться мнѣ помоги!- грустилъ дорогою бѣднякъ: не вѣрятъ мнѣ, я голь! Кулакъ! Вотъ и ходи, считай пороги, и гнись, и гибни ни за что. На то, молъ, голь! Кулакъ на то! Гм... да! Упрекъ-то, вѣдь, забавный! Эхъ, ты—народецъ православный! Не честь тебѣ лежачихъ бить, безъ шапки сильныхъ обходить! Кулакъ... да мало-ль ихъ на свѣтѣ? Кулакъ катается въ каретѣ, изъ грязи да въ князья ползетъ и кровь изъ бѣднаго сосетъ... Кулакъ во фракѣ, въ полушубкѣ, и съ золотымъ шитьемъ, и въ юбкѣ,—гдѣ и не думаешь,—онъ тутъ! Не мелочь, не грошовый плутъ, не намъ чета.—подниметъ плечи, прикрикнетъ,— не найдешь и рѣчи, рубашку сниметъ,—все молчи. Господа суди васъ, палачи!»

Эту повѣсть безъисходной нужды поэтъ заключаетъ такой сильной лирической апоѳегмой:

«Страшна ты, роковая сила нужды и мелочнаго зла! Какъ громъ, ты не убьешь мгновенно, войдешь ты — полъ не заскрипитъ, а душишь, душишь постепенно, покуда жертва захрипитъ!

И все-таки, жизнь идетъ своимъ чередомъ:

Бѣгутъ часы, идутъ недѣли, чредѣ обычной нѣтъ конца! Кричитъ младенецъ въ колыбели, несутъ въ могилу мертвеца. Живи, трудись, людское племя...»

БИБЛІОГРАФІЯ: Стихотворенія И. С. Никитина при жизни его были изданы два раза. Первое изданіе, сдѣланное графомъ Д. Н. Толстымъ (псев. Знаменскій) вышло въ Петербургѣ, въ 1856 году. Второе изданіе было напечатано черезъ три года, на средства В. А. Кокорева, и подъ наблюденіемъ Н. И. Второва, жившаго тогда въ Петербургѣ. Никитинъ особенно работалъ надъ текстомъ изданія 1859 года. Поэтому Кокоревское изданіе признается основнымъ для дальнѣйшихъ посмертныхъ. Такъ смотрѣлъ редакторъ 1-го посмертнаго изданія Н. П. Курбатовъ. Наиболѣе полное пока изданіе восьмое, 1900 г. (М.) съ портретомъ, fac-simile и біографіей редактора изданія М. Ѳ. де-Пуле.—Ѳ. Е. Савицкій. И. С. Н—инъ, его жизнь и сочиненія (Библіогр. библіотека Павленкова). Спб. 93 г.—Ив. Ивановъ. Поэтъ горькой правды. Р. Мысль. 1896 г. № 1. — Н. К. Михайловскій. Жизнь и соч. Н—на. Собр. соч. Изд. 1897 г., т. IV. — Нордштейнъ. Біографическія данныя о Н — нѣ. О. З. 1854 г. № 6. — В. Зубковъ. Памяти И. С. Н—на. Жизнь. 1899. № 10.

§ 10. Михаилъ Павловичъ Розенгеймъ родился 19-го іюля 1820 года. Мать его овдовѣла, когда будущему поэту было четыре года, узнала боль-

шую нужду и своимъ трудомъ содержала семью. Въ 1827 году Михаилъ Павловичъ поступилъ въ 1-й кадетскій корпусъ, откуда 16-го марта 1838 года выпущенъ прапорщикомъ въ полевую конную артиллерію и затѣмъ въ строю прослужилъ десять лѣтъ. Произведенный въ офицеры въ 1837 году, былъ только капитаномъ въ 1866 г., когда состоялась военносудная реформа. Не смотря на свои 45 лѣтъ, онъ вступилъ въ образованную тогда военно юридическую академію, кончилъ ее, былъ судьею кіевскаго военно-окружнаго суда, а въ 1876 году судьею въ петербургскомъ округѣ. Скончался онъ на 66 году отъ роду, 7-го марта 1887 г., не доживъ одного только года до пятидесятилѣтняго юбилея какъ служебной, такъ и литературной дѣятельности. Погребенъ въ Александро-Невской лаврѣ.

Изъ среды кадетъ 1-го корпуса, какъ извѣстно, вышли первые русскіе драматурги — Сумароковъ, Княжнинъ, Крюковскій, Озеровъ, вышелъ и Булгаринъ. Въ корпусѣ хранились въ рукописяхъ стихи его бывшихъ воспитанниковъ — Ѳ. Н. Глинки, Рылѣева, Домонтовича, Карабанова и мн. др. Героемъ этихъ стихотвореній чаще всего былъ А. И. Бобровъ, бывшій около 40 лѣтъ экономомъ корпуса, великій оригиналъ. Розенгеймъ написалъ нѣсколько пѣсенъ, которыя пѣлись кадетами на походѣ въ лагерь. Впервые обратилъ вниманіе на талантъ Розенгейма критикъ Полевой, помѣстившій нѣкоторыя изъ его стихотвореній въ своемъ «Сынѣ Отечества». Затѣмъ въ 1840 г. нѣсколько пьесъ Розенгейма, безъ подписи, явились въ «Библіотекѣ для Чтенія». Однако съ печатаньемъ поэту не повезло. Цензура ополчилась на гражданскую ноту его произведеній. Такъ, стихотворенія «Памятникъ» и «Старый городъ» не были тогда пропущены, и появились лишь черезъ 20 лѣтъ спустя. Они ходили по рукамъ въ спискахъ. Съ 1840 по 1858 г. Розенгеймъ не напечаталъ ни строки. Стихи его ходили по рукамъ, но часто приписывались перу другихъ поэтовъ.

Наконецъ его гражданская элегія: «Что ты вздыхаешь, читая газету», безъ вѣдома поэта, попала въ «Русскій Вѣстникъ», и какъ «обличительное» стихотвореніе, имѣла большой успѣхъ. Тотчасъ же Дудышкинъ (ред. «Отеч. Зап.»), Старчевскій («Сынъ Отеч.») и Писемскій («Библ. для Чт.») предложили ему сотрудничать въ своихъ органахъ, и не безъ колебанія послѣ 20-ти-лѣтняго молчанія Розенгеймъ выступилъ въ качествѣ юмориста-обличителя. Появились: «Воевода», «Недоимка», «Русская элегія», «Плачъ откупщика», «Акціи» (по поводу акціонерной горячки). По времени эти элегіи имѣли колоссальный успѣхъ и читались на публичныхъ эстрадахъ. Наконецъ, весною 1858 г. поэтъ приступилъ къ изданію книжки своихъ стихотвореній. Она, однако, еле прошла черезъ цензуру и явилась въ самомъ жалкомъ видѣ. Почти всѣ пьесы, которыя считалъ поэтъ лучшими, не были дозволены. Книжка была принята недружелюбно критикой. Дружининъ искалъ и не нашелъ въ ней «художественности». До-

бролюбовъ высмѣялъ ее, какъ запоздалый протестъ, уже будто бы отвлекающій общество отъ дѣла и позволяющій ему покоиться на словесныхъ обличеніяхъ. Въ «Свисткѣ» потомъ появился Конрадъ Лиліеншвагеръ съ пародіями. Однако публика раскупила сборникъ Розенгейма и онъ сталъ печататься во многихъ журналахъ. Съ 1858 по 1863 гг. появилась большая часть извѣстныхъ стихотвореній Розенгейма. Въ 1864 году вышло 2-е изданіе его сочиненій, при гробовомъ молчаніи критики, однако немедленно раскупленное. Розенгеймъ писалъ и прозою, издавалъ сатирическую газету съ каррикатурами «Заноза» (1863 — 1865), успѣшно конкурировавшую съ «Искрой», но съѣденную немедленно цензурой Валуева. Наконецъ въ «Голосѣ» съ 1866 по 1868 годъ, почти ежедневно являлись статьи Розенгейма по самымъ жгучимъ вопросамъ -польскому, еврейскому, остзейскому и желѣзнодорожному. Въ 1878 г. онъ издалъ цѣнную работу по архивнымъ матеріаламъ: «Очеркъ исторіи военно-судныхъ учрежденій въ Россіи до кончины Петра Великаго». Посмертное четвертое изданіе его съ портретомъ и біографическимъ очеркомъ вышло въ 2-хъ томахъ въ 1889 г Несомнѣнно, что гражданская поэзія Розенгейма и теперь имѣетъ обширный кругъ читателей.

Въ самомъ дѣлѣ, міръ чувствъ и картинъ, въ которомъ живетъ Розенгеймъ, довольно широкъ. На первомъ мѣстѣ должно поставить его баллады—былины на народныя темы, которыя, не выдерживая по художественности сравненія съ такими-же произведеніями Мея и гр. Толстого, все-же замѣчательны. Таковы: «Русалка». «Старый городъ». «Гремячая башня», «Святогоръ и Микула Селяниновичъ», «Кудесникъ», «Ночной ѣздокъ», и особенно истинно поэтическія баллады: «Іерей» и «Невидимый городъ»:

...Въ ясную пору на озерѣ томъ
Видаютъ въ водѣ отраженье
Церквей златоглавыхъ и княжьихъ хоромъ,
Да красныя избы посадскихъ кругомъ;
Не всѣмъ лишь дано то видѣнье...
...И жизнь стародавней своей колеей
Въ Китежѣ течетъ и донынѣ:
И держится крѣпко укладъ вѣчевой,
Князь судитъ и рядитъ со всею землей,
Владыко радѣетъ святынѣ.
И тотъ же житейскій во всемъ обиходъ
Остался, какъ въ пору былую,
И древлее тамъ благочестье народъ
Хранитъ нерушимо...

Вторую группу составляютъ стихотворенія, проникнутыя гражданскимъ пафосомъ; характерное изъ нихъ «Лермонтову»:

Понятно мнѣ твое душевное томленье,
Твоя глубокая сердечная тоска;

Но если ты падешь средь общаго паденья,
Чья братій поддержать протянется рука?
Кто рѣчью теплою согрѣетъ огорченныхъ?
Кто дѣвѣ разъяснитъ загадку юныхъ грезъ?
Чье слово, чей призывъ пробудитъ усыпленныхъ?
Кто души освѣжитъ потокомъ сладкихъ слезъ?
Кто пѣснью смѣлою поддержитъ гражданина,
Какъ бранная труба средь схватки боевой,
Когда онъ выступитъ войной на исполина,
На битву смертную съ неправдой вѣковой?
Не клевещи на жизнь: тебѣ въ ней много дѣла!

Къ этимъ стихамъ можно приложить слова Тургенева: «Если это и не поэзія, то нѣчто, не хуже ея». Тоже можно сказать о такихъ пьесахъ, какъ обширный разсказъ «Три встрѣчи», «Нашъ пролетарій», «Самоубійца», «Книга», «Муза», всѣ его севастопольскія элегіи: «Высадка въ Крыму», «Послѣдній штурмъ Севастополя», «Молитва», «Дума на развалинахъ Севастополя», «Пріятель, поэтъ и посторонній», «Русь, проснися! Время, время!», «Послѣдняя элегія», «Пустая церковь», «19-е февраля», «Космополиту». Уступая Некрасову, поэтъ однако интересенъ, искренен и поднимаетъ бремя въ уровень своему таланту. Розенгеймъ въ литературѣ — опредѣленная личность, съ которымъ всегда стоитъ ознакомиться. Наконецъ, есть у него и глубоко прочувствованныя пьесы субъективнаго лиризма. Напримѣръ:

Горе ты горе, змѣя подколодная,
        Ворогъ старинный ты мой:
Ты неотступное, ты безысходное,
        Рано сошлись мы съ тобой.
Рано сошлись мы, сошлись и схватилися:
        Чья-то, посмотримъ, возьметъ?
Сильны знать оба съ тобой мы родилися —
        Схватка идетъ да идетъ.
Грустно проносится жизнь безотрадная
        Въ этой борьбѣ роковой:
Можетъ быть, сломишь меня, непощадное...
        Только не дамся живой.

Или это стихотвореніе, пѣсеннымъ складомъ:

Сердце безпокойное,
Что опять зажглось?
Ретивое, знойное,
Что отозвалось?
Про иную долюшку
Новыя мечты...
Аль еще не вволюшку
Наболѣло ты?

Наконецъ истинно мастерская по суровому лаконизму лирическая пьеса:

Тяжела дорога:
Камень да песокъ.
Ну, теперь немного,
Путь ужъ недалекъ.
Трудновато было,
Что-то впереди?
— Впереди? — Могила.
Что же сталъ?.. Иди.

Розенгеймъ остается въ литературѣ выразителемъ настроеній общественнаго подъема 50-хъ годовъ, поэтомъ не безъ недостатковъ, однако несомнѣннымъ поэтомъ.

БИБЛІОГРАФІЯ: М. П. Розенгеймъ. Стихотворенія. Изд. 5-е, съ портр. и біографическ. очеркомъ. Спб. 1896 г.—О поэтѣ писано мало. Крайне несправедливая статья Н. Добролюбова (Соч. т. IV): столь же мало дающая статья Дружинина (Соч. т. VII) и ехидная въ Рус. Словѣ 1864 г. № 6 (стр. 27—42). М. Бурбонова (?): «Резервные стихотворцы.»— Замѣтки: Голосъ. 1864 г. № 235.—Вѣкъ. 1882. № 3.

IV.

§ 1. Обновленіе театра, начатое Островскимъ, продолжалось и въ 50-хъ годахъ. Появился Потѣхинъ. Тѣмъ не менѣе, имѣла успѣхъ и старая, ложно-патріотическая, надуто-величавая драма. Такъ блестящій успѣхъ имѣла въ сезонъ 1851 — 1852 гг. пьеса Н. В. Кукольника «Деньщикъ», изъ временъ Петра Великаго. Она, по словамъ Булгарина, «оживила русскую сцену, явно доказала любовь нашей публики къ народному, обнаружила русскій патріотизмъ». Между прочимъ здѣсь говорилось, какъ

...степь Московская, Китай Европы,
За дивныя заслуги Государя,
Въ Имперію возведена соборнѣ!

Погодина оскорбило это производство въ чинъ Руси святой. А. А. Григорьевъ писалъ ему: «Умоляю васъ исключить выходку противъ Деньщика... Вспомните Телеграфъ и Руку Всевышняго». Погодинъ не послушался и поплатился, какъ платился всякій, кто осмѣливался говорить непочтительно о Кукольникѣ. Подъ 20 апрѣля 1852 года, А. В. Никитенко записалъ въ своемъ Дневникѣ: «Погодина велѣно отдать подъ надзоръ полиціи за статью, напечатанную въ Москвитянинѣ на пьесу Кукольника «Денщикъ» и за то еще, что онъ выпустилъ пятый нумеръ своего журнала съ чернымъ бордюромъ на обложкѣ, по случаю смерти Гоголя».

Кукольникъ подарилъ сцену 50-хъ годовъ и другими произведеніями. Такъ въ сезонъ 1852—1853 гг. шелъ «Ермилъ Ивановичъ Костровъ», а

въ сезонъ 1853—1854 патріотическія пьесы: «Морской праздникъ въ Севастополѣ» и «Маркитантка». Изъ старыхъ драматурговъ нашихъ выступилъ еще Загоскинъ, его «Поѣздка заграницу» (1850—1851) осмѣивала охотниковъ «вояжировать данъ летранже», именно въ то время, когда выѣздъ заграницу былъ сопряженъ съ величайшими трудностями.

Рядомъ съ псевдо-историческими драмами Кукольника шла и художественная «Царская невѣста» Мея.

Въ началѣ 50-хъ годовъ сдѣлалъ попытку, очень удачную въ общемъ, писать для сцены Тургеневъ. Появились его пьесы въ реалистическомъ жанрѣ, конечно представлявшія перлы посреди хлама Александринки: «Холостякъ», «Завтракъ у предводителя», «Провинціалка», «Гдѣ тонко, тамъ и рвется», «Безденежье».

Рядомъ съ «Денщикомъ» на Александринской сценѣ толпились князья, княгини, графы, графини, маркизы, бароны и прочіе представители и представительницы великосвѣтскихъ салоновъ; наконецъ, еще игрались мелодрамы, вродѣ «Тридцать лѣтъ или жизнь игрока». Пытались затрагивать на сценѣ литературные кружки, но неудачно. Такъ провалилась пьеса Н. И. Куликова «Школа натуральная», высмѣивавшая молодыхъ писателей этого направленія, не имѣла успѣха и пьеса Гр. Соллогуба «Сотрудники», гдѣ былъ изображенъ славянофилъ — москвичъ и петербуржецъ — западникъ. «Обличительная» эпоха 1855—1857 гг. сказалась двумя произведеніями: «Чиновникомъ» гр. Соллогуба и комедіей Н. М. Львова «Свѣтъ не безъ добрыхъ людей», предварительно напечатанной въ «Отечеств. запискахъ». Пьеса ошеломила публику смѣлымъ обличеніемъ взяточничества, произвола и подкупа въ чиновной средѣ Петербурга.

Назовемъ еще рядъ легкихъ комедій, шумнымъ роемъ мелькнувшихъ въ 50-хъ годахъ: «Страшная ночь», Жемчужникова, «Домашняя язва» Дементьева, «Бѣда отъ нѣжнаго сердца» гр. Соллогуба, «Не всякому слуху вѣрь» Дружинина.

Въ апрѣльской книжкѣ «Москвитянина» 1852 года появилась комедія Островскаго «Бѣдная невѣста» и имѣла громадный успѣхъ: «Нравилась всѣмъ безъ исключенія», по словамъ Писемскаго. Въ 1853 г. тамъ же была напечатана комедія «Не въ свои сани не садись». Въ томъ-же году окончена: «Бѣдность не порокъ».

Вотъ въ какомъ порядкѣ шли комедіи Островскаго въ 50-хъ годахъ: 19 февр. 1853 г. «Не въ свои сани не садись», нѣсколькими днями раньше: «Утро молодого человѣка»; въ сезонъ 1853—1854 гг. «Бѣдная невѣста»; 1854—1855: «Бѣдность не порокъ» и «Не такъ живи, какъ хочется»; 1855—1856: «Картина семейнаго счастья», «Въ чужемъ пиру похмѣлье»; 1858—1859: «Не сошлись характерами» и 2-го декабря 1859, «Гроза».

Въ 1851 г. на литературное поприще выступилъ землякъ А. Н. Островскаго и А. Ѳ. Писемскаго. Алексѣй Антроповичъ Потѣхинъ. Первыя его комедіи въ народномъ духѣ: «Судъ людской не Божій». «Чужое добро въ прокъ не идетъ». Въ сезонъ 1856 — 1857 г. явилось замѣчательное произведеніе: «Свадьба Кречинскаго», выдержавшая 100 представленій за 25 лѣтъ.

Въ Москвитянинѣ 1854 года была напечатана небольшая драматическая сцена изъ крестьянской жизни, подъ названіемъ «Ночное», соч. Стаховича. Ее поставили на сцену. Въ ней въ первый разъ явился на сценѣ Иванъ Ѳедоровичъ Горбуновъ.

Укажемъ еще слѣдующія драматическія произведенія 50-хъ годовъ: «Русская свадьба» Сухонина, безпритязательное «драматическое представленіе»; «Женихъ изъ ножевой линіи» Красовскаго; «Ипохондрикъ» Писемскаго; «Женихъ изъ долговаго отдѣленія» и «Не въ деньгахъ счастье» Чернышева.

Народная комедія заняла торжествующее положеніе въ драматической литературѣ 50-хъ годовъ.

§ 2. Творчество Островскаго въ разсматриваемое десятилѣтіе почти исчерпало, свойственную его кругозору, бытовую комедію. Русская литература обогатилась такими комедіями, какъ «Бѣдная невѣста», комической трилогіей, составляющей истинный перлъ среди бытовыхъ комедій нашей драматургіи, полной юмора исторіей Миши Бальзаминова: «Праздничный сонъ — до обѣда», «Свои собаки грызутся, чужая не приставай» и «Зачѣмъ пойдешь, то и найдешь» (женитьба Бальзаминова). Наконецъ явилась высокая бытовая драма: «Гроза», произведеніе, составляющее фондовое пріобрѣтеніе нашего классическаго репертуара истинно художественныхъ созданій самобытной драматургіи. Въ этихъ перечисленныхъ произведеніяхъ Островскій показалъ всѣ средства своего прекраснаго искусства.

Въ слѣдующее десятилѣтіе Островскій пытаетъ силы уже въ иной области исторической драмы.

«Бѣдная невѣста» — изображеніе тихой, незамѣтной жизненной трагедіи; тутъ прекрасная, цвѣтущая молодая жизнь заклана, во имя торжествующихъ экономическихъ условій. Предъ нами съ первой сцены раскрывается то бездушное жизненное колесо, которое должно прокатиться чрезъ бѣдную Марью Андреевну. «Какъ это безъ мужчины въ домѣ, посудите?» — восклицаетъ ея мать, — «женщина я слабая, сырая, позабывчивая». «Вотъ домъ то отнимутъ, что тогда дѣлать-то? Ты только подумай, какъ мы тогда жить-то будемъ!» — вотъ главная причина, заставляющая мать высказать задушевное желаніе: «хоть-бы ты замужъ, что-ль, Маша, шла поскорѣе». Да, поскорѣе! «Вотъ цѣлое утро денегъ не сочту. Какъ это безъ мужчины,

это я ужь и не знаю». А разъ надо выйти «поскорѣе», то разбирать нечего: «Нынче хорошіе-то женихи все денегъ ищутъ, не хотятъ видѣть, что ты у меня красавица».

Несчастная невѣста понимаетъ весь ужасъ своего положенія: «Я безъ ужаса себѣ представить не могу, говоритъ она, какъ выдти за человѣка, къ которому, кромѣ отвращенія, ничего не чувствуешь».

Но ей приходится выносить съ одной стороны неустанные попреки матери, съ другой позорныя сцены подыскиваній жениха старымъ стряпчимъ, другомъ ея семейства, и свахами, ходящими «по дворянству» и «по купечеству». «Я въ названномъ вами присутственномъ мѣстѣ былъ, — доноситъ стряпчій, — холостыхъ чиновниковъ для Марьи Андреевны достойныхъ нѣтъ: есть одинъ... очень великъ ростомъ, — весьма много больше обыкновеннаго, и рябой». У свахи «по дворянству» то-же женихи не завидные: «Служатъ, матушка, жалованье получаютъ. Одинъ стихи пишетъ, другой все поетъ цѣлый день. А ужъ какіе учтивые, да какіе влюбчивые! Чины небольшіе, изъ себя ужь больно красавцы». Сваха «по купечеству» предлагаетъ «милліонщика» Саву Савича Бѣлугина, котораго «дѣти одолѣли»: «Сыновья-то запрутся, да и пьютъ, кранболь у нихъ тамъ всякій идетъ. Да что-жь выдумали: выскочитъ это который-нибудь на балконъ, глаза вытаращитъ, руки подыметъ, закричитъ страшнымъ голосомъ — да назадъ; потомъ, погодя немного, другой...» Наконецъ женихъ найденъ солидный, и между матерью и дочерью происходитъ такое объясненіе: «Ты Максиму Дорофеичу очень понравилась» — Очень рада. — «Ну, и слава Богу, что рада: онъ предложеніе дѣлаетъ». — «Ни за что на свѣтѣ!» — «Ты никакъ съума сошла, какъ я погляжу на тебя. Развѣ ты не видишь, что намъ теперь больше дѣлать нечего: не по міру-же намъ идти». И въ самомъ дѣлѣ нечего дѣлать: «Мы съ тобой нищіи теперь, — объясняетъ мать, — дѣло-то наше проиграно, домъ-то отнимутъ, да еще взысканіе положено».

Бѣдная дѣвушка обращается за помощью къ другу семьи — старому стряпчему Добротворскому: «Я люблю другаго: онъ хорошъ, уменъ, образованъ...» — «Да онъ молодой человѣкъ, барышня?» — Очень молодой... — «Свистуны, вѣдь, они, матушка... Не вѣрьте вы имъ. Нынче любятъ, а завтра разлюбятъ. Имъ потѣха, а бѣдныя дѣвушки плачутъ. — Я не знаю, говоритъ «бѣдная невѣста», — разлюбитъ онъ меня, или нѣтъ, только я его люблю».

Островскій выводитъ передъ нами съ одной стороны трехъ «свистуновъ» — Мерича, Хорькова и Милашина, а съ другой солиднаго жениха — коллежскаго секретаря Беневоленскаго, который «къ службѣ человѣкъ усердный, съ подчиненными строгъ» и... «говорятъ, онъ грубъ, необразованъ, взяточникъ».

Это вполнѣ положительный типъ: «Ты говорилъ, что здѣсь есть ба-

рышня хорошенькая. Ты смотри—я. вѣдь, разборчивъ», — предупреждаетъ онъ старика Добротворскаго. «У меня и состояніе есть. и мѣсто. ну. и знакомство. Мнѣ такую невѣсту нужно. чтобы не стыдно было въ люди показать».

«Сколько мнѣ извѣстно,—докладываетъ онъ матери невѣсты,—всякая жена есть подруга жизни. Я долженъ преимущественно искать хозяйку. Мое дѣло пріобрѣтать всѣми силами. а ея дѣло хозяйничать. У меня порядка нѣтъ въ домѣ. Дѣвушку съ состояніемъ за меня не отдадутъ. по незначительности моего происхожденія и даже самаго положенія въ свѣтѣ. А есть невѣсты благородныя и образованныя. но бѣдныя — и для нихъ-то. я вамъ безъ гордости скажу, такой женихъ. какъ я—находка. Я красотой не могу похвалиться; образованіе я тоже получилъ на мѣдныя деньги; но я видѣлъ людей, не конфужусь въ обществѣ. и могу сказать, что очень развязенъ даже съ дамами... Умная дѣвушка не обратитъ вниманія на красоту; для нея довольно. чтобы мужчина былъ уменъ. ну. тамъ... одѣтъ порядочно...» — Не пьющій. вставляетъ мать невѣсты. «Въ женщинѣ это порокъ. возражаетъ женихъ, а для мужчины даже составляетъ иногда необходимую потребность.»

Что касается «развязности» Беневоленскаго съ дамами. то о ней мы узнаемъ изъ послѣдняго дѣйствія. въ которомъ является на свадьбу проститься съ нимъ какая-то Дуня. которая повѣствуетъ, что пріѣдетъ онъ, бывало. «пьяный да олоберный—такъ какъ обѣснующій какой».

Марьѣ Андреевнѣ господинъ Беневоленскій объясняетъ, что онъ «прежде читалъ. а теперь. знаете-ли. дѣла. такъ рѣшительно ничего не читаю», хвалитъ ея музыкальныя способности: «Вы прекрасно играете, главное — нигдѣ не сбиваетесь; а то барышни обыкновенно сбиваются». О себѣ прибавляетъ, что онъ «игралъ прежде на гитарѣ. да и то бросилъ—нѣкогда, совершенно нѣкогда». Однимъ словомъ. съ этой стороны все ясно и просто. Невѣста ему нравится: «Я влюбленъ. Я дѣловой человѣкъ. ты меня знаешь. я пустяками заниматься не охотникъ; но я тебѣ говорю: я влюбленъ. Кажется, этого довольно».

Посмотримъ-же, каковы трое «свистуновъ».

Первый изъ нихъ— Милашинъ. совершенное дрянцо. и на восклицаніе его: «Одна мысль, что вы когда-нибудь будете принадлежать другому. убиваетъ меня» —Марья Андреевна отвѣчаетъ словами, вполнѣ точно опредѣляющими удѣльный вѣсъ этого сопляка: «Вы все о себѣ. Вы обо мнѣ-то подумайте хоть немножко». Да. о бѣдной дѣвушкѣ некому подумать. Молодой человѣкъ. которымъ она увлекается. Меричъ. сразу виденъ: «Это жалко, говоритъ онъ о Марьѣ Андреевнѣ. если она выйдетъ замужъ: она такая хорошенькая. Мнѣ всегда жаль. когда хорошенькія дѣвушки замужъ выходятъ». Это совершенно ничтожный фатишка. «Ахъ. Мери. много я пережилъ... я

боюсь, ломается Меричъ, хватитъ-ли у меня силъ, чтобъ отвѣчать твоей дѣтской любви. Если-бъ я встрѣтилъ тебя, Мери, года два тому назадъ!..» — «Пріѣхалъ этотъ Беневоленскій, — жалуется бѣдная дѣвушка, — онъ грубъ, необразованъ — просто ужасъ!» «Мери, вѣдь это скучная матерія. Зачѣмъ намъ на эти пустяки терять драгоцѣнное время?» Наступаетъ рѣшительная минута.

«Маменька говоритъ, что намъ будетъ жить нечѣмъ. Единственное средство мнѣ — пожертвовать собой, выйти за Беневоленскаго. Я не могу опомниться, нынче я должна дать отвѣтъ», — говоритъ Марья Андреевна. «Какъ это скверно!» восклицаетъ Меричъ. «Владиміръ, спаси меня!» «Погоди, погоди. Поговоримъ хладнокровно... Ахъ, какъ это не хорошо, я совсѣмъ этого не ожидалъ!.. ахаетъ Меричъ. Скажи-же мнѣ, Мери, сдѣлай милость, чего тебѣ отъ меня хочется?» «Владиміръ, опомнись, что ты говоришь!» — корить бѣдная дѣвушка, пораженная той деревяшкой, которая вдругъ открылась въ этой красивой куколкѣ. — «Въ какое ты меня ставишь положеніе. Мнѣ стыдно за себя. Я тебѣ, какъ другу, разсказываю свое горе, а ты спрашиваешь, чего мнѣ хочется! Что-же мнѣ сказать тебѣ: женись на мнѣ? Пощади меня!» — «Я думалъ, возражаетъ Меричъ, что изъ нашихъ отношеній не выйдетъ ничего серьезнаго». И онъ правъ. Въ ихъ отношеніяхъ, дѣйствительно, ничего «серьезнаго» не было. Дальше поцѣлуевъ дѣло не шло! Нужды нѣтъ, что онъ похитилъ первый трепетъ дѣвственнаго сердца, охваченнаго чувствомъ. Это — невещественное нѣчто. Тутъ съ поличнымъ не поймаешь. Но Марья Андреевна знаетъ, что похищено у ней этимъ человѣкомъ. «Для чего ты меня обманывалъ, зачѣмъ клялся?» спрашиваетъ она. «Я увлекся, я не сообразилъ. Я человѣкъ очень страстный». — «Ты любилъ? Никогда ты не любилъ меня. Я одна любила», — вырывается гордый окрикъ оскорбленнаго женскаго сердца. «Ты ошибаешься и обижаешь меня... При другихъ обстоятельствахъ, я-бы отдалъ все на свѣтѣ за счастіе обладать тобой».

Таковъ второй «свистунъ». Ну, а третій? Этотъ какъ-будто и любитъ искренно, но въ сущности цѣпляется за Марью Андреевну, чтобы вылѣзть изъ того болота, въ которое погрязъ. Исторія его весьма обыкновенна, и передается двумя-тремя фразами его монолога: «Вотъ ужъ три года, какъ я кончилъ курсъ. Меня обдаетъ холодомъ, когда я вспомню, какъ я прожилъ эти три года! Лѣнь, праздность, грязная холостая жизнь. Неужели она не сжалится надо мной? Для нея я-бы сталъ работать, трудиться, она одна только способна привязать меня къ жизни».

Отвѣтъ Марьи Андреевны: «Я съ вами дружна, а любить васъ не могу». И Хорьковъ немедленно раскисаетъ и уже по уши уходитъ въ болото. Въ концѣ четвертаго дѣйствія онъ является «просить прощенія...». «Маменька, онъ, кажется, пьянъ!» — «Онъ ужъ четвертый день пьетъ, какъ ушелъ

тогда отъ васъ, и запилъ. Ходитъ по комнатѣ, плачетъ и пьетъ». Ему говорятъ, что Марья Андреевна идетъ замужъ и женихъ ея — «человѣкъ хорошій и съ состояніемъ». «Да, съ состояніемъ, бормочетъ пьяный. Слезы, слезы... вѣчныя слезы... чахотка, не жившіи, не видавшіи радостей жизни...».

Въ послѣднемъ дѣйствіи, какъ послѣднее появленіе утопающаго на поверхности темнаго, тинистаго пруда, раздаются рыдающія слова бѣдной дѣвушки:

«Мнѣ показалось, что я затѣмъ иду за него замужъ, чтобы исправить его, сдѣлать изъ него порядочнаго человѣка. Глупо вѣдь это?— раздирающимъ воплемъ вырывается сознаніе горькой дѣйствительности. Вѣдь, это пустяки, нельзя этого сдѣлать, а? Все это дѣтскія мечты?.. Только этимъ я теперь и живу».

Но не долго покрасоваться ея мечтамъ. Господинъ Беневоленскій постоитъ за себя. И какъ эпитафія надъ горемычной головушкой раздается краткій, заключительный діалогъ въ толпѣ женщинъ и старухъ:

«Эта, что-ль, невѣста-то? — Эта, матушка, эта. «Ишь какъ плачетъ, бѣдная».

— Да, матушка, бѣдная: за красоту беретъ.

И въ этомъ тупомъ каламбурѣ опредѣлена вся судьба Марьи Андреевны и все право судьбы съ ней такъ распорядиться.

§ 3. Та-же сила — «бѣдность», какъ рокъ у древнихъ, распоряжается и въ комической трилогіи, герой которой Мишенька Бальзаминовъ. Но къ нему эта роковая сила снисходительна. Онъ выходитъ изъ подъ ея власти, потому что живетъ въ томъ сказочномъ мірѣ, гдѣ именно Иванушкѣ-дурачку сыплется счастье, оставляя умниковъ съ носомъ.

Миша Бальзаминовъ простодушенъ и безхитростенъ. У него все наружу. Утаить онъ ничего не можетъ. Онъ вѣритъ снамъ, примѣтамъ, планидѣ — счастью. Но и всѣ кругомъ въ это вѣрятъ. Онъ хочетъ избавиться отъ бѣдности, но всѣ ее проклинаютъ. Онъ хочетъ быть богатымъ. И всѣ этого хотятъ. «Я, маменька, мотать не стану, а пожить — поживу, съ шикомъ поживу». Надо деньги нажить. А какъ ихъ наживешь? «Особенно если человѣкъ со вкусомъ-съ, просто, долженъ страдать. Хочется жить прилично, а способовъ никакихъ нѣтъ-съ». Одинъ «способъ» — понравиться богатой невѣстѣ.

«Все завивается, все завивается! Красотой-то своей ужь очень занятъ. Эхъ, молодо, зелено! Все счастье себѣ хочетъ составить, прельстить кого-нибудь. А я такъ думаю, не прельститъ онъ никого: разумомъ-то онъ у меня больно плохъ. Другой и собой-то, изъ лица-то не казистъ, такъ словами

обойдетъ: а мой-то умныхъ словъ совсѣмъ не знаетъ... Да и набраться-то нѣгдѣ... А понравиться хочется, особенно кабы богатой невѣстѣ».

Съ откровенной наивностью Миша повѣряетъ свои мечты матери:

«Ахъ, маменька, не повѣрите, какъ мнѣ хочется быть богатымъ, такъ и сплю, и вижу. Кажется... эхъ... разорвался бы! Ужь такъ хочется, такъ хочется!.. хоть бы вотъ на смѣхъ одинъ сонъ сбылся! Ужь сколько я такихъ сновъ видѣлъ: и денегъ-то у меня много, и одѣть-то я очень хорошо проснешься, хвать, анъ, нѣтъ ничего. Одинъ разъ генераломъ себя видѣлъ. Какъ обрадовался! Нѣтъ! Перестану вѣрить снамъ! — Какъ можно не вѣрить», — возражаетъ мать.

Бальзаминовъ знакомится съ двумя богатыми невѣстами. Устинька и Капочка — купеческія дочери «новыхъ понятій». «Надъ сердцемъ нельзя шутить»; «нынче уже тиранство-то не въ модѣ», говорятъ онѣ. «А въ чахотку-то, маменька, развѣ не приходятъ отъ родителей?» — «Развѣ есть законы для чувствъ?» — «Развѣ не бѣгаютъ изъ дому-то въ слуховое окно?» — «Самыя нынѣшнія понятія». — «Мы вообще говоримъ про дѣвушекъ, что довольно смѣшно ихъ запирать, потому что можно найти тысячу средствъ... и кто-жь ихъ не знаетъ». — «Маменька судитъ по-старому, какъ въ ея время было».

«Нынче ужь дѣвушки стали гораздо благороднѣе во всѣхъ направленіяхъ». Къ этимъ краткимъ сентенціямъ прибавляются восклицанія романтической Капочки, которая «тѣломъ сахаръ, изъ себя солидна, во всей полнотѣ: какъ одѣвается, двѣ дѣвки насилу застегнутъ... даже нѣсколько совѣстится»: «Я умру отъ любви». «Для моихъ чувствъ нѣтъ границъ» «Сверхъ силъ моихъ».

Что касается старшаго поколѣнія, то мамаша твердо убѣждена, что «у всякаго человѣка есть своя планида».

Однако здѣсь у Бальзаминова не вытанцовалось и онъ долженъ былъ ретироваться весьма обидно.

Во второй части трилогіи мы знакомимся съ дальнѣйшими похожденіями Бальзаминова: «У Миши, разсуждаетъ въ слухъ его мамаша, должно быть, опять какіе-нибудь планы въ головѣ... Гдѣ-то онъ, бѣдный, бродитъ? Придетъ всегда такой измученный, усталый, и лица-то на немъ нѣтъ, и не ѣстъ ничего, только все вздыхаетъ... Все разбогатѣть-то ему, бѣдному, хочется... А ужь сколько у него къ этому дѣлу старанія!.. Должно быть, счастья нѣтъ?.. Говорятъ, и грибы искать — счастье нужно: а ужь невѣсть-то и подавно».

Является Устрашимовъ, соперникъ Миши, у котораго тотъ, пользуясь его ссорой съ нѣкоей вдовой, перебѣжалъ дорогу.

«Тутъ, братъ, два года хожено. Это не другое что-нибудь. Этого уступить нельзя» — восклицаетъ Устрашимовъ. «Должно быть, за одной уха-

живаютъ... догадывается мать. Ишь ты, еще пугать выдумалъ! Такъ его и побоялись!.. Тебѣ ходить мимо оконъ не мѣшаютъ, и ты другимъ не мѣшай! Кому Богъ пошлетъ, того и счастье». Миша Бальзаминовъ вѣритъ во всѣ «примѣты». — Что это ты скоро воротился, али забылъ что? «Такъ, раздумалъ, маменька. У меня такая примѣта есть. И ужь эта примѣта самая вѣрная. Если ты идешь и задумалъ что-нибудь, и вдругъ тебѣ встрѣча нехорошая: лучше воротись, а то ничего не будетъ». — Какой ты, Миша, молодой еще ты, можно сказать, мальчикъ, а примѣты разбираешь, точно старуха какая. — «Въ нашемъ дѣлѣ нельзя примѣтамъ не вѣрить, потому что, маменька, въ нашемъ дѣлѣ все отъ счастья, рѣшительно все». — Да въ какомъ же это въ вашемъ дѣлѣ?

«Да какъ же, маменька! У другого дѣло вѣрное, такъ что̀ ему до примѣтъ!.. А у насъ все отъ случая, все отъ счастья. Мы никуда навѣрное не ходимъ. Иду по улицѣ — вдругъ понравился, ну, и богатъ, и счастливъ: не понравился — ну, всю жизнь бѣдствуй... Вы только представьте это себѣ, маменька, вдругъ вижу я подъ окномъ даму или дѣвицу. Разъ прохожу, два — бросаю нѣжный взглядъ; она мнѣ отвѣчаетъ тѣмъ же. Я знакомлюсь черезъ кого-нибудь, и вдругъ, представьте, домъ этотъ, въ которомъ я ее видѣлъ, — мой; и сижу я по утру за чашкой кофею въ бархатномъ халатѣ... И можетъ быть, маменька, мнѣ это счастье суждено; можетъ, оно ждетъ меня гдѣ-нибудь; я только не знаю, гдѣ оно, тамъ, или тамъ, или тамъ. Я только не знаю, куда идти, гдѣ его искать-то... и вдругъ судьба...» — Мечты, вѣдь, это все, мой другъ, такъ все одно — облако. «Ахъ, маменька, зачѣмъ вы меня прервали! Вы не знаете, какое это удовольствіе — мечтать».

При всѣхъ обстоятельствахъ Миша весь наружу. Антрыгиной, которая — «не скажу, чтобы красавица, а пышна ужь очень. Такъ пышна, что нынче мало можно найти такихъ женщинъ», — онъ объясняетъ на чистоту: «За что же онъ (соперникъ — Устрашимовъ) меня хочетъ убить до смерти-съ? За то, что я къ вамъ въ домъ пришелъ-съ? Такъ ужь, вѣдь, это кому счастье-съ! Зачѣмъ же мнѣ отъ своего счастья бѣгать! При томъ же, я человѣкъ съ большимъ вкусомъ-съ, у меня вкусу-то гораздо больше, чѣмъ у Устрашимова, а средствъ къ жизни нѣту. Слѣдственно, я долженъ ихъ искать». Миша строитъ неопровержимый силлогизмъ: «Не отъ зависти я хочу жениться на богатой, а оттого, что у меня благородныя чувства. Развѣ можно съ облагороженными понятіями въ бѣдности жить? А коли я не могу никакими средствами достать себѣ денегъ, значитъ я долженъ жениться на богатой».

«Жениться на богатой». А кто она, откуда, умна или глупа, зла или добра, даже красива или безобразна, Мишѣ все равно:

— А которая лучше лицомъ-то изъ нихъ? — «Мнѣ, маменька, всѣ богатыя невѣсты красавицами кажутся; я ужь тутъ лица никакъ не разберу».

Со своей наивной глупостью Миша порою неподражаемъ:

«Вѣдь, вотъ теперь надо въ любви открываться, а я ничего не придумалъ, никакихъ словъ не прибралъ... Вотъ каковы пріятели! Сколько разъ просилъ, чтобы показали, какъ въ любви объясняться — ни одинъ не показалъ. Все изъ зависти, всякій для себя бережетъ».

Третья часть. Миша все ходитъ, хотя и ничего не выходило пока. Маменька горюетъ:

«Говорятъ, зачѣмъ пойдешь, то и найдешь! Видно, не всегда такъ бываетъ. Вотъ, Миша, ходитъ—ходитъ, а все не находитъ ничего. Другой бы бросилъ давно, а мой все не унимается. Да коли правду сказать, такъ Миша очень справедливо разсуждаетъ: «Вѣдь, мнѣ, говоритъ, убытку нѣтъ, что я хожу, а прибыль можетъ быть большая; слѣдовательно, я долженъ ходить. Ходить понапрасну, говоритъ, скучно, а бѣдность-то еще скучнѣе». Что правда, то правда. Нечего съ нимъ и спорить.

Миша — деликатнаго обращенія, а самому ему подчасъ не сладко приходится: «Какое необразованіе свирѣпствуетъ въ нашей сторонѣ, страсть! Обращенія не понимаютъ, человѣчества нѣтъ никакого! Пройду по рынку мимо лавокъ лишній разъ — сейчасъ тебѣ прозвище дадутъ, кличку какую-нибудь. Почти у всякихъ воротъ кучера сидятъ, толстые, какъ мясники какіе... Сейчасъ засвищутъ, и давай собаками травить». — «Какъ же это можно живого человѣка собаками травить?» — «Какъ можно? Что вы, маменька! Развѣ они знаютъ учтивость? Ему бы только хохотать, дураку, благо горло широко, а тамъ хоть человѣка до смерти загрызи: ему все равно» — «Какое необразованіе!» — «Меня раза три травили: во первыхъ, перепугаютъ до смерти, да еще бѣжишь съ версту, духу потомъ не переведешь. Да и срамъ! какой срамъ-то, маменька! Ты тутъ ухаживаешь, стараешься понравиться—и вдругъ видятъ тебя изъ окна, что ты летишь во всѣ лопатки. Что за видъ, со стороны-то посмотрѣть!» Есть отъ чего въ отчаяніе прійти! Даже и Мишино терпѣніе начинаетъ лопаться и онъ ропщетъ на судьбу:

«Я самый несчастный человѣкъ въ мірѣ... Въ какомъ я мѣсяцѣ, маменька, родился?» — «Въ маѣ.» — «Ну вотъ всю жизнь и маяться».

Но «планида» выводитъ Мишу на дорогу. Сваха подыскиваетъ ему «вдову и съ большимъ капиталомъ», которая «отъ этого самаго и скучаетъ». Насчетъ состоянія — «сверхъ границъ». «Однѣхъ только денегъ и билетовъ мы двѣ считали — считали, счесть не могли, такъ и бросили. Да я такъ думаю, что не то что намъ, бабамъ, а и мужчинамъ, если двухъ хорошихъ взять, и то не счесть!.. посчитаютъ, посчитаютъ да и бросятъ. Ты думаешь, считать-то легко?.. Что-то строили, ужъ я не припомню, такъ архитехторы считали, считали, цыфирю не хватило[130]).

---

[130]) «И скопилъ Іосифъ хлѣба весьма много, какъ песку морского, такъ что перестали и считать; ибо не стало счета». Бытія, 41; ст. 49.

«Ну, деньги деньгами—это само по себѣ, а еще домъ... Мало тебѣ этого, такъ у насъ еще лавки есть».

«Ты глупый человѣкъ,— разсуждаетъ сваха,—значитъ тебѣ умнѣй себя искать невѣсту нельзя... Значитъ тебѣ нужно искать глупѣй себя. Вотъ такую-то я тебѣ теперь...». Однако при свиданіи Миша было запнулся: «Ужь очинно онѣ полны».—«Ты еще разговаривать сталъ!» Происходитъ объясненіе Миши съ Бѣлотѣловой: «Какъ же это вы?»—«Черезъ заборъ-съ».—«Отчего черезъ заборъ?»—«Отъ любви-съ. Вы не сердитесь на меня-съ?»—«Нѣтъ, я никогда не сержусь. Я добрая. Вы что дѣлаете?»—«Я? ничего-съ».—«И я тоже ничего. Скучно одной-то ничего не дѣлать, а вмѣстѣ веселѣе».—«Какъ же можно-съ, гораздо веселѣе!»—«Вы хотите вмѣстѣ?»—«Даже за счастье почту-съ».

Сваха спрашиваетъ: «Ну, какъ тебѣ?»—«Онъ мнѣ понравился. Ты мнѣ его!»—«Ну его, такъ его».

Такимъ образомъ все завершается въ стилѣ народныхъ сказокъ, гдѣ рано-ли, поздно ли, дуракъ перегонитъ всѣхъ умниковъ.

§ 4. Особое мѣсто въ творчествѣ Островскаго занимаетъ «Гроза», эта колоритная поэма изъ быта коренной Руси. Разбирая это образцовое произведеніе, Добролюбовъ говоритъ: «Люди, которыхъ мы видимъ въ «Грозѣ», живутъ въ благословенныхъ мѣстахъ: городъ стоитъ на берегу Волги, весь въ зелени; съ крутыхъ береговъ видны далекія пространства, покрытыя селеньями и нивами; лѣтній благодатный день такъ и манитъ на берегъ, на воздухъ, подъ открытое небо, подъ этотъ вѣтерокъ, освѣжительно вѣющій съ Волги...И жители, точно, гуляютъ иногда по бульвару надъ рѣкой, хоть ужъ и приглядѣлись къ красотамъ волжскихъ видовъ; вечеромъ сидятъ на завалинкахъ у воротъ, и занимаются благочестивыми разговорами; но больше проводятъ время у себя дома, занимаются хозяйствомъ, кушаютъ, спятъ,—спать ложатся очень рано, такъ что непривычному человѣку трудно и выдержать такую сонную ночь, какую они задаютъ себѣ. Но что же имъ дѣлать, какъ не спать, когда они сыты? Ихъ жизнь течетъ такъ ровно и мирно, никакіе интересы міра ихъ не тревожатъ, потому что не доходятъ до нихъ; царства могутъ рушиться, новыя страны открываться, лицо земли можетъ измѣняться, какъ ему угодно, міръ можетъ начать новую жизнь на новыхъ началахъ,—обитатели городка Калинова будутъ себѣ существовать по прежнему въ полнѣйшемъ невѣдѣніи объ остальномъ мірѣ».

Но—чудное дѣло!—въ своемъ непререкаемомъ, безотвѣтственномъ темномъ владычествѣ, давая полную свободу своимъ прихотямъ, ставя ни во что всякіе законы и логику, самодуры русской жизни начинаютъ, однакоже, ощущать какое-то недовольство и страхъ, сами не зная передъ чѣмъ и почему. Все, кажется, по прежнему, все хорошо: Дикой ругаетъ, кого хо-

четъ... Кабанова держитъ по прежнему въ страхѣ своихъ дѣтей, заставляетъ невѣстку соблюдать всѣ этикеты старины, ѣстъ ее какъ ржа желѣзо, считаетъ себя вполнѣ непогрѣшимой... А все какъ-то неспокойно, нехорошо имъ. Помимо ихъ, не спросясь ихъ, выросла другая жизнь, съ другими началами, и хоть далеко она, еще и не видна хорошенько, но уже даетъ себя предчувствовать и посылаетъ нехорошія видѣнія темному произволу самодуровъ. «Гроза» есть, безъ сомнѣнія, самое рѣшительное произведеніе Островскаго; взаимныя отношенія и самодурства и безгласности доведены въ ней до самыхъ трагическихъ послѣдствій, и при всемъ томъ, большая часть читавшихъ и видѣвшихъ эту пьесу соглашается, что она производитъ впечатлѣніе менѣе тяжкое и грустное, нежели другія пьесы Островскаго. Въ «Грозѣ» есть что-то освѣжающее и ободряющее. Это что-то — фонъ пьесы, обнаруживающій шаткость и близкій конецъ самодурства. Затѣмъ, характеръ Катерины, рисующійся на этомъ фонѣ, то-же вѣетъ на насъ новою жизнью, которая открывается намъ въ самой ея гибели.

Характеръ Катерины, какъ онъ исполненъ въ «Грозѣ», составляетъ шагъ впередъ, не только въ драматической дѣятельности Островскаго, но и во всей нашей литературѣ. Онъ соотвѣтствуетъ новой фазѣ нашей народной жизни. Онъ давно требовалъ своего осуществленія въ литературѣ. Около него вертѣлись наши лучшіе писатели. Но они умѣли только понять его надобность и не могли уразумѣть и почувствовать его сущности: это сумѣлъ сдѣлать Островскій.

Въ «Грозѣ» понятъ и выраженъ русскій сильный характеръ. Онъ прежде всего поражаетъ насъ своею противоположностью всякимъ самодурнымъ началамъ. Не съ инстинктомъ буйства и разрушенія, но и не съ практической ловкостью улаживать для высокихъ цѣлей свои собственныя дѣлишки, — не съ безсмысленнымъ, трескучимъ паѳосомъ, но и не съ дипломатическимъ, педантскимъ разсчетомъ является онъ передъ нами. Нѣтъ, онъ сосредоточенно-рѣшителенъ, неуклонно вѣренъ чутью естественной правды, исполненъ вѣры въ новые идеалы и самоотверженъ, въ томъ смыслѣ, что ему лучше гибель, нежели жизнь при тѣхъ началахъ, которыя ему противны. Онъ водится не отвлеченными принципами, не практическими соображеніями, не мгновеннымъ паѳосомъ, а просто натурою, всѣмъ существомъ своимъ. Въ этой цѣльности и гармоніи характера заключается его сила и существенная необходимость его въ то время, когда старыя, дикія отношенія, потерявъ всякую внутреннюю силу, продолжаютъ держаться внѣшнею механическою связью.

Вольный воздухъ и свѣтъ, вопреки всѣмъ предосторожностямъ погибающаго самодурства, врываются въ келью Катерины; она чувствуетъ возможность удовлетворить естественной жаждѣ своей души, и не можетъ долѣе оставаться неподвижною: она рвется къ новой жизни, хотя-бы пришлось

умереть въ этомъ порывѣ. Что ей смерть? Все равно — она не считаетъ жизнью и то прозябаніе, которое выпало ей на долю... Васъ поражаетъ необыкновенная своеобразность этого характера. Ничего нѣтъ въ немъ внѣшняго, чужого, а все выходитъ какъ-то изнутри его; всякое впечатлѣніе перерабатывается въ немъ и затѣмъ сростается съ нимъ органически. Катерина вовсе не принадлежитъ къ буйнымъ характерамъ, никогда не довольнымъ, любящимъ разрушать, во что бы то ни стало. Напротивъ, это характеръ по преимуществу созидающій, любящій, идеальный. Всякій внѣшній диссонансъ она старается согласить съ гармоніей своей души, всякій недостатокъ покрываетъ изъ полноты своихъ внутреннихъ силъ. Грубые, суевѣрные разсказы и безсмысленныя бредни странницъ превращаются у ней въ золотые, поэтическіе сны воображенія, не устрашающіе, а ясные, добрые. Бѣдны ея образы, потому что матеріалы, представляемые ей дѣйствительностью, такъ однообразны, но и съ этими скудными средствами ея воображеніе работаетъ неутомимо и уноситъ ее въ новый міръ, тихій и свѣтлый. Ее занимаютъ деревья, странно нарисованныя на образахъ, и она воображаетъ себѣ цѣлую страну садовъ, гдѣ все такія деревья, и все это цвѣтетъ, благоухаетъ, все полно райскаго пѣнія.

Развязка ея любви при всей домашней обстановкѣ видна заранѣе, еще тогда, какъ она только подходитъ къ дѣлу... Это—страсть; и ужъ видно, что какъ она себя ни сдерживай, а страсть выше ея, выше всѣхъ ея предразсудковъ и страховъ, выше всѣхъ внушеній, слышанныхъ ею съ дѣтства. Въ этой страсти заключается для нея вся жизнь; вся сила ея натуры, всѣ ея живыя стремленія сливаются здѣсь. Къ Борису влечетъ ее не одно то, что онъ ей нравится, что онъ и съ виду и по рѣчамъ не похожъ на остальныхъ, окружающихъ ее; къ нему влечетъ ее и потребность любви, не нашедшая себѣ отзыва въ мужѣ, и оскорбленное чувство жены и женщины, и смертельная тоска ея однообразной жизни и желаніе воли, простора, горячей, беззапретной свободы.

«Русская жизнь и русская сила вызваны художникомъ въ «Грозѣ» на рѣшительное дѣло».—заключаетъ свой разборъ Добролюбовъ.

БИБЛІОГРАФІЯ: Д. Языковъ. Библіографическій очеркъ дѣятельности Островскаго (Списокъ трудовъ его). Вѣстн. Евр. 1886. № 7 и Ист. В. 1889. № 12. -А. Незеленовъ. Островскій въ его произведеніяхъ. Первый періодъ дѣят. Спб. 1888 г.— Ор. Миллеръ. Русскіе писатели. ч. III-я. Спб. 1890 г.—В. Зелинскій. Критическій комментарій къ сочиненіямъ А. Н. О—го, ч. I. Біографич. свѣдѣнія. Критика 50-хъ годовъ.— О «Грозѣ» статьи Анненкова. Григорьева. Добролюбова и Писарева въ ихъ соч. —Отзывы Плетнева, Галахова и Гончарова въ «Отчетѣ о 4-мъ присужденіи наградъ гр. Уварова». Спб. 1860 г.

§ 5. Въ драматургіи пятидесятыхъ годовъ, послѣ Островскаго, выдающееся мѣсто занимаютъ произведенія Алексѣя Потѣхина и Сухово-Кобылина.

Прекрасную характеристику Потѣхина, ко дню его пятидесятилѣтняго юбилея, далъ одинъ изъ нашихъ выдающихся критиковъ.

А. А. Потѣхинъ началъ свою дѣятельность повѣстями и романами изъ крестьянскаго быта и быта средняго дворянства, но потомъ перешелъ въ область драматургіи и здѣсь занялъ мѣсто если не на-ряду съ Островскимъ, то во всякомъ случаѣ тотчасъ же послѣ него. Онъ воспитывалъ свое творчество въ хорошей литературной школѣ, въ той школѣ, которая пошла отъ Гоголя, не совсѣмъ точно называлась въ свое время «натуральною» и руководилась тремя дорогими завѣтами: художественнымъ реализмомъ, освободительными началами и стремленіемъ къ уразумѣнію народной жизни и возсозданію ея бытового и духовнаго уклада. Въ своихъ первыхъ, равно какъ и болѣе позднихъ, беллетристическихъ работахъ А. А. Потѣхинъ неуклонно слѣдовалъ этимъ дорогимъ завѣтамъ и одушевлялъ ими свое творчество. Его два лучшіе и наиболѣе обработанные романа «Бѣдные дворяне» и «Около денегъ» остаются до сихъ поръ и вѣроятно останутся навсегда замѣчательными произведеніями, какъ въ смыслѣ широкихъ реалистическихъ бытовыхъ картинъ, такъ равно и въ смыслѣ живого протеста противъ той «власти тьмы», которая такъ долго тяготѣла надъ русскою жизнью въ доброе старое время, увы!— еще не отошедшее вполнѣ и отзывающееся еще и въ теперешнемъ нашемъ нравственномъ и общественномъ строѣ.

Тѣ же самые дорогіе завѣты, какимъ А. А. Потѣхинъ слѣдовалъ въ своихъ беллетристическихъ произведеніяхъ, онъ внесъ и въ свою драматургическую дѣятельность, создавшую ему крупное имя и выдающееся значеніе. Потѣхинъ очевидно съ ранней юности тяготѣлъ къ театру, такъ какъ самые первые его литературные опыты были театральными рецензіями. Очень естественно, что, появившись какъ-разъ въ то время, когда Островскій началъ созданіе національной сцены, молодой Потѣхинъ увлекся по слѣдамъ автора «Своихъ людей» и обратился отъ беллетристическихъ работъ къ драматургическимъ. Островскій воспроизводилъ бытъ купеческой среды, отыскивая тамъ коренныя черты русской народной жизни и отливая ихъ въ удивительно рельефные и крупные образы. Потѣхинъ въ драмѣ «Судъ людской не Божій» первый сдѣлалъ попытку показать на сценѣ среду крестьянскую. Эта драма была кажется единственной изъ его выдающихся пьесъ, не встрѣтившей цензурныхъ затрудненій при ея появленіи. Теперь, послѣ того какъ надъ изученіемъ народной жизни потрудилось столько позднѣйшихъ дарованій, послѣ того, какъ величайшій изъ нашихъ писателей далъ необычайно яркій и сильный драматическій шедевръ, въ которомъ воспроизведенъ крестьянскій бытъ и крестьянскіе типы, («Власть тьмы»),

Л. Н. Толстого). пьеса конечно можетъ показаться нѣсколько искуственной въ смыслѣ разумѣнія истинныхъ основъ народной жизни и даже въ смыслѣ реалистическаго возсозданія крестьянскаго быта. Но не надо забывать, что вѣдь въ свое время эта пьеса была, если можно такъ выразиться, первой ласточкой, возвѣстившей на сценѣ о бытѣ и жизни крестьянина, потому что предшествовавшія ей сценическія попытки временъ Полевого и Кукольника не могутъ идти въ счетъ. Въ этомъ отношеніи Потѣхинъ является зачинателемъ въ русскомъ театрѣ, а быть зачинателемъ въ чемъ либо, хотя бы и не особенно сильнымъ, найти хотя бы только тропинку, ведущую на широкій путь — это во всякомъ случаѣ заслуга, которая всегда остается въ памяти позднѣйшихъ поколѣній. Подобнаго рода заслуги всегда придаютъ серьезное значеніе тому, кому посчастливилось ихъ оказать литературѣ.

Разъ выступивъ драматургомъ и притомъ выступивъ удачно, Потѣхинъ предался театру съ большимъ рвеніемъ и далъ нѣсколько вещей, не забытыхъ до сихъ поръ и въ свое время считавшихся крупными сценическими произведеніями. Таковы его пьесы: «Мишура», «Отрѣзанный ломоть», «Вакантное мѣсто». Эти пьесы по своимъ общественнымъ задачамъ оказались при ихъ появленіи «неудобными» для театральныхъ подмостковъ; онѣ должны были выдерживать цензурный карантинъ, длившійся цѣлые годы. Въ наши дни «смѣлые уроки» этихъ пьесъ безъ сомнѣнія не кажутся уже опасными, но онѣ остаются и теперь еще живыми и рельефными картинами отрицательныхъ сторонъ русской дѣйствительности послѣреформеннаго періода. Въ нихъ, несмотря на нѣкоторую тяжеловатость общей сценической постройки, даровитый художникъ проявляетъ всѣ хорошія качества истиннаго драматурга: искренность и глубину замысла, ясность и опредѣленность характеровъ, рельефность бытовыхъ чертъ, наконецъ силу и живость комизма, силу и живость сатирическаго отрицанія. Въ нашей драматургической литературѣ онѣ занимаютъ почетное мѣсто и принадлежатъ къ числу такихъ вещей, которыя еще долго останутся на сценѣ.

Александръ Васильевичъ Сухово-Кобылинъ создалъ драматическую трилогію, художественное достоинство которой выдержало долгій искусъ времени. Эта трилогія останется въ классическомъ репертуарѣ нашей сцены, хотя только первая часть ея пока привилась къ подмосткамъ.

Драматургъ родился въ 1820 г.; отецъ его — ветеранъ 1812 г., сестра — извѣстная романистка Евгенія Туръ. Въ домѣ его отца бывали Надеждинъ, Погодинъ, Максимовичъ, Морошкинъ и др. Кончивъ Московскій университетъ, драматургъ много занимался нѣмецкимъ идеализмомъ, и это философское направленіе сказалось на символикѣ его пьесъ, хотя порождены онѣ передрягой, которую Кобылину пришлось перенести въ юности по дѣлу

французженки Диманшъ. Тутъ онъ на себѣ испыталъ неправду, волокиту и вымогательство старыхъ судовъ и полиціи.

Первая часть трилогіи, наиболѣе прославившаяся, «Свадьба Кречинскаго» появилась на сценѣ 26 ноября 1855 г. Вторая: «Дѣло», драма въ 5 дѣйствіяхъ, написана въ 1862 г. Третья: «Смерть Тарелкина» — комедія-шутка въ 3-хъ дѣйствіяхъ, написана въ 1868 г. и сыграна впервые только въ 1899 г. подъ перемѣненнымъ заглавіемъ — «Расплюевскіе веселые дни».

«Свадьба Кречинскаго» — вполнѣ художественное созданіе въ стилѣ легкой комедіи. Расположена она почти по правиламъ трехъ единствъ. Типы Кречинскаго, Расплюева, Муромскаго, Адуева такъ-же безсмертны, какъ герои Гоголя или Грибоѣдова. Каждое словцо Расплюева сдѣлалось пословицей, хотя-бы знаменитое: «Оболванилъ человѣка... Человѣка?.. Нѣтъ! ростовщика оболванилъ...

Вторая часть трилогіи — «Дѣло» достигаетъ уже высокаго драматизма. Кромѣ Муромскаго, здѣсь являются жрецы правосудія, акулы, проглатывающія несчастнаго добряка — Варравинъ и Тарелкинъ:

— Богиня-то Правосудія, Ѳемида-то, вѣдь она такъ и пишется: Вѣсы и мечъ!

— Гмъ... Вѣсы и Мечъ... ну мечомъ то она конечно сѣчетъ, а на вѣсахъ-то?

— И на вѣсахъ, варварка, торгуетъ.

Въ третьей части предъ нами старый знакомый, Расплюевъ, но въ новой роли — квартальнаго.

Спасаясь отъ долговъ, Тарелкинъ сказывается умершимъ. Великолѣпна рѣчь, которую надъ нимъ произноситъ Варравинъ.

«Умеръ! Несомнѣнно умеръ, ибо и протухъ!.. Нѣтъ вѣсти, которая принесла бы мнѣ такое удовольствіе, скажу, такую сладость... Точно съ моихъ плечъ свалилась цѣлая гора грязи, помоевъ и всякой падали. Точно послѣ долгихъ лѣтъ томительной жажды я вдругъ потянулъ въ себя прозрачную ключевую воду — и освѣжился. Самая бездѣльная и безпокойная тварь убралась въ свою дыру. Самая омерзительная жаба ушла въ свою нору; самая ядовитая и злоносная гадина оползла свой циклъ и на указанномъ судьбою мѣстѣ преткнулась и околѣла!.. Умеръ... Самая гнилая душа отлетѣла изъ самаго протухлаго тѣла: какъ не вонять! — по моему онъ мало воняетъ, надо-бы больше».

На вопросъ, присутствующаго подъ другимъ именемъ Тарелкина: Какія-же чувства оскорблялъ покойникъ? Варравинъ восклицаетъ:

— Всѣ, говорю вамъ, всѣ! Зрѣніе, ибо рожа его была отвратительна. Слухъ, ибо голосъ его дребезжалъ, какъ худая балалайка. Осязаніе, ибо

кожу его по самыя оконечности рукъ покрывалъ ослизлый и злокачественный потъ!

Когда, облеченный новою властью, Расплюевъ вопіетъ: «Я всякаго подозрѣваю!» — «Все наше! Всю Россію потребуемъ!» Какъ созвучное эхо ему отвѣчаютъ обывательскіе голоса:

«Одно спасеніе—Полиція».

Трилогія Сухово-Кобылина характерна для того гражданскаго подъема, который предшествовалъ реформамъ 60-хъ годовъ.

БИБЛІОГРАФІЯ: Ал. А. Потѣхинъ. Сочиненія. 7 томовъ. Изд. 1873—1874 г. Спб.—Послѣ освобожденія. Разсказы изъ крестьянскаго быта. 3 т. Спб. 1891.—О немъ Скабичевскій (соч. т. II), Добролюбовъ (соч. т. II), Ап. Григорьевъ (соч. т. I, краткія замѣчанія въ разныхъ статьяхъ).—Никитенко. Три литературно-критич. очерка. Спб. 1866.—В. Марковъ. На встрѣчу. Спб. 1878 г.—А. Сухово-Кобылинъ. Картины прошлаго. М. 69 г. (Трилогія: Свадьба Кречинскаго, Дѣло и Смерть Тарелкина).—Свадьба Кречинскаго. Ком. въ 3 д. Съ фототипіями сцены театра Корша. М. 1898 г.—Рецензіи: Дѣло. 1869. № 8; Вѣстн. Европы. 1869. № 9; Отеч. Зап. 1869. № 6; Всем. Трудъ. 1869. № 6.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Шестидесятые годы.

(1860—1870).

I. Освобожденіе крестьянъ 19 февраля 1861 года.—Отмѣна тѣлесныхъ наказаній. —Земская реформа. —Судебная реформа.—Законъ о печати 6-го апрѣля 1865 г. — Статистика газетъ и журналовъ. - Истинное положеніе «свободной» печати. — Система предостереженій. — «Русскій Вѣстникъ» и «Московскія Вѣдомости».—Адресъ «Объ увѣнчаніи зданія реформъ». Польское повстанье. Роль Каткова. — Его борьба съ цензурой. — Патріотическая манифестація московскихъ студентовъ въ честь Каткова. - Пріостановка «Моск. Вѣд.» Валуевымъ.—Побѣда Каткова.—Пожары и салопы. —Покушеніе Каракозова 1866 г.— Муравьевъ и Некрасовъ на обѣдѣ въ Англійскомъ клубѣ.—«Ваше сіятельство, надо вырвать это зло съ корнями!» — Паденіе популярности Герцена. Нечаевъ.— Бакунинъ. — Смерть Добролюбова. — Арестъ и ссылка Михайлова. — Ссылка Чернышевскаго. —Время съ 1863 по 1868 г.г. «Время» и «Эпоха». - Николай Николаевичъ Страховъ-Косица. Полемика «Современника» съ «Русскимъ Словомъ». — «Лукошко», «фига». «бутерброды» и проч. Запрещеніе «Современника» и «Русскаго Слова». «Дѣло» Благосвѣтлова.— Герценъ о базаровщинѣ. —Дмитрій Ивановичъ Писаревъ. «Разрушеніе эстетики». «Мыслящіе реалисты». - II. Двѣ школы беллетристовъ. - Художники школы сороковыхъ годовъ. - Тенденціозная беллетристика шестидесятниковъ. Шаблонъ радикальнаго романа. Шаблонъ консервативнаго романа. - «Война и миръ». Романы Достоевскаго. —«Униженные и оскорбленные». —«Записки изъ Мертваго Дома». — «Преступленіе и Наказаніе». — «Идіотъ». -Трилогія Тургенева: «Наканунѣ». «Отцы и дѣти» и «Дымъ». «Взбаломученное море» Писемскаго. — Николай Семеновичъ Лѣсковъ. — «Некуда». — Викторъ Петровичъ Клюшниковъ. — «Марево» — «Обрывъ» Гончарова. Надежда Степановна Соханская-Кохановская. —Отрицательное отношеніе художниковъ сороковыхъ годовъ къ «шестидесятникамъ». Сатиры Щедрина. «Исторія одного города». - Вліяніе семинаристовъ на литературу. — «Отреченіе отъ Пушкина». — Беллетристы-шестидесятники.—Николай Васильевичъ Успенскій.—Павелъ Ивановичъ Якушкинъ. — Василій Алексѣевичъ Слѣпцовъ. — Ѳедоръ Михайловичъ Рѣшетни-

ковъ.—Николай Герасимовичъ Помяловскій. «Очерки бурсы». «Мѣщанское счастье». «Молотовъ». — Глѣбъ Ивановичъ Успенскій. «Нравы Растеряевой улицы». «Будка». — Хвощинская и ея романы. — Александръ Константиновичъ Шеллеръ-Михайловъ.—«Гнилыя болота».—«Жизнь Шупова».—Авдѣевъ. Гр. Данилевскій, Вс. Крестовскій, Авсѣенко, Авенаріусъ. — Романъ гр. Ал. Толстого «Князь Серебряный».—III.—Гоненіе на поэзію.—Отсутствіе новыхъ поэтовъ. — Отожествленіе «эстетики» съ «застоемъ». — Писаревъ о призваніи поэта.—«Козявка, копающаяся въ цвѣточной пыли».—Иванъ Сергѣевичъ Аксаковъ о свободѣ слова. — «Собраніе матеріаловъ о направленіи различныхъ областей русской словесности». — «Секретная» эстетика и классификація поэтовъ.—IV. Расцвѣтъ исторической драмы.—Мей: «Псковитянка». — Островскій: «Мининъ».—«Воевода». «Дмитрій Самозванецъ».—«Василій Шуйскій».—«Тушино». «Василиса Мелентьева».—Трилогія гр. Ал. Толстого.—«Смерть Ивана Грознаго».—«Царь Өедоръ Ивановичъ». «Царь Борисъ».— Дмитрій Васильевичъ Аверкіевъ. — «Слобода Неволя». — «Фролъ Скобѣевъ». — «Донъ-Жуанъ» гр. Ал. Толстого. — Тенденціозная драматургія шестидесятыхъ годовъ.— Репертуарныя пьесы.

I.

§ 1. «Шестидесятые годы слишкомъ серьезное явленіе въ исторической жизни Россіи и они заключали въ себѣ такую всеобщую обновляющую силу, что о нихъ слѣдуетъ или совсѣмъ не говорить, или говорить съ тѣмъ глубокимъ уваженіемъ къ людямъ и идеямъ того времени и къ вожакамъ общественнаго сознанія, какое вызывается величіемъ самого явленія и прогрессивнымъ мѣстомъ, которое оно занимаетъ въ ряду другихъ явленій русской исторіи». (Шелгуновъ).

Шестидесятые годы это — 19-е февраля. Во всей исторіи Россіи быть можетъ не было болѣе великаго мгновенія. Осуществлялось то, что составляло предѣлъ желаній, завѣтнѣйшую мечту лучшихъ людей Россіи, начиная съ Радищева. Послѣдовавшія реформы только логическое развитіе этого дня.

«Пора, писалъ въ 1857 г. Н. Тургеневъ, нѣсколько поколѣній жило безъ надежды и умерло безъ отрады подъ незаслуженнымъ игомъ крѣпостнаго права. Наконецъ, настало время искупленія! Помѣщики! не торгуйтесь. Святымъ пожертвованіемъ искупите Россію». Какъ отвѣтило на этотъ призывъ русское первенствующее сословіе? «Меньшая часть его, небогатое, но развитое, образованное дворянство пошло по влеченію сердца, и по правильно понятому политическому разсчету на встрѣчу свободѣ и необходимымъ жертвамъ; за то крупное землевладѣніе и чиновная знать, частью по историческому недоразвитію, частью по соображеніямъ узкаго себялюбія, считала

и выставляла крѣпостное право оплотомъ не только своего матеріальнаго благополучія, но и государственной силы и порядка".

Однако реформа шла впередъ. Работы редакціонныхъ комиссій завершились. Государь присоединился къ меньшинству. 16-го февраля разсмотрѣніе проекта и всѣ подготовительныя работы были окончены. 19-го февраля государственный секретарь В. П. Бутковъ отвезъ въ Зимній дворецъ проектъ манифеста и указа сенату. Александръ II пожелалъ въ эту святую минуту, когда совершалось важнѣйшее дѣло его царствованія и обозначался поворотный пунктъ въ исторіи новой Россіи, остаться наединѣ съ своею совѣстью, безъ свидѣтелей. Историческимъ гусинымъ перомъ (хранится въ Москвѣ въ Историческомъ Музеѣ) былъ подписанъ 19-го февраля освободительный манифестъ, въ филаретовской редакціи, и на другой день высланъ въ Государственную Канцелярію. Еще въ ноябрѣ 1860 г. собраны были свѣдѣнія о силахъ важнѣйшихъ петербургскихъ типографій [131]).

Нужно было напечатать въ огромномъ количествѣ Манифестъ и Положенія. Какъ только былъ подписанъ освободительный актъ, въ тотъ же самый день приступлено было въ типографіи II отд. къ набору. При усиленныхъ работахъ въ четырехъ типографіяхъ печатаніе было окончено въ девять дней. Приняты были строжайшія мѣры къ тому, чтобы преждевременно не прошелъ въ публику слухъ о печатаемыхъ документахъ. Новость, однако, разгласилъ какой-то наборщикъ [132]).

2-го марта, безъ предварительныхъ повѣстокъ, созвано было общее собраніе Сената въ присутствіи н. д. министра юстиціи Д. Н. Замятнина. Сенату прочитанъ былъ манифестъ 19-го февраля, затѣмъ онъ былъ положенъ въ министерскій портфель и обратно увезенъ, прочимъ сенаторамъ было внушено хранить строжайшее молчаніе. Сенатъ подалъ Государю благодарственный адресъ. Адресъ былъ принятъ, но приказано не печатать.

Объявленіе воли 5-го марта пришлось на "прощеный день", масляничнаго апофеоза разгула. Но на этотъ разъ откупщики не выручили суммы, обычной для масляницы. Въ Петербургѣ и Москвѣ все было тихо и торжественно трезво. Тихо было и въ газетахъ. Ни строки о волѣ... Можно было подумать, что они издавались заграницей. 5-го марта читаютъ въ Петербургѣ манифестъ. Въ печати ничего или почти ничего. Съ 4-го по 6-е марта „Моск. Вѣд." (ред. В. Θ. Корша) не выходили. Въ № отъ 7-го марта, за помѣткою «сообщено»,— офиціальное свѣдѣніе о чтеніи манифеста въ московскихъ церквахъ и о молебствіи. Только въ глухомъ углу газеты, въ би-

---

[131]) Джаншіевъ. Эпоха великихъ реформъ. Изд. 6-е. М. 1896. Стр. 23.

[132]) Журналъ Министер. Внутр. Дѣлъ. Прилож. Апрѣль. 1861. Стр. 152. Воспоминанія Щербачева. Русск. Арх. 1891. № 1. Джаншіевъ. Стр. 45—47.

бліографіи, гдѣ говорилось о книгѣ Тройницкаго «Крѣпостное населеніе по 10-й ревизіи», газета помѣстила нѣсколько прочувствованныхъ строкъ о событіи дня...

Объявленіе воли въ губернскихъ городахъ совершилось въ такой послѣдовательности: 7-го марта: во Владимірѣ и Рязани, 8-го марта: въ Витебскѣ, Ковнѣ, Тулѣ и Ярославлѣ, 9-го марта: въ Вильнѣ, Вологдѣ, Калугѣ, Костромѣ, Минскѣ, Могилевѣ, Орлѣ, Псковѣ, Смоленскѣ, Твери и Черниговѣ; 10-го марта: въ Воронежѣ, Гроднѣ, Кіевѣ, Новгородѣ, Симбирскѣ и Тамбовѣ; 11-го марта: въ Житомірѣ, Казани, Курскѣ, Самарѣ и Харьковѣ 12-го марта: въ Вяткѣ, Нижнемъ-Новгородѣ, Пензѣ, Перми и Полтавѣ; 13-го марта: въ Екатеринославѣ, Каменецъ-Подольскѣ и Саратовѣ; 14-го марта: въ Петрозаводскѣ; 15-го марта: въ Симферополѣ и Уфѣ; 19-го марта: въ Архангельскѣ и Херсонѣ, 21-го марта: въ Астрахани. 2-го апрѣля: въ Кишиневѣ. Изо всѣхъ губерній получались извѣстія о необыкновенной трезвости народа во все это время.

Такъ совершилось освобожденіе 21, 625, 609 крѣпостныхъ крестьянъ! 17-го апрѣля 1863 года послѣдовалъ законъ о полной отмѣнѣ жестокихъ тѣлесныхъ наказаній въ гражданскомъ вѣдомствѣ, въ арміи и во флотѣ. Эта могучая побѣда милосердія, благородной отважной вѣры въ силу добра и довѣрія къ человѣчнымъ инстинктамъ «вчерашняго раба», была вмѣстѣ съ тѣмъ крупною побѣдою честныхъ и человѣколюбивыхъ друзей народной свободы надъ мнительными и своекорыстными крѣпостниками, которые приходили въ ужасъ при одной мысли объ отмѣнѣ плетей и розогъ тотчасъ послѣ объявленія воли.

Продолжительное господство жесточайшихъ наказаній, вопреки желанію гуманнѣйшихъ и сильнѣйшихъ монарховъ, объясняется, главнымъ образомъ, тѣмъ, что въ основѣ всего стараго русскаго государственнаго и общественнаго строя лежало безчеловѣчное крѣпостное право, сохраненіе и охраненіе котораго только и возможно было при помощи жесточайшихъ наказаній. Дѣлу уничтоженія наказаній оказала громадное содѣйствіе и литература 60-хъ годовъ. Въ ряду литературныхъ вліяній исключительное мѣсто въ дѣлѣ проповѣди гуманности по отношенію къ несчастнымъ принадлежитъ Ѳ. М. Достоевскому, испытавшему на себѣ всѣ ужасы каторги. Его романъ «Записки изъ мертваго дома», печатавшійся въ 1861—1862 гг., подготовилъ почву для закона 17-го апрѣля, какъ Записки охотника или Хижина дяди Тома для освобожденія отъ рабства.

18-го іюня 1863 г. былъ Высочайше утвержденъ новый университетскій уставъ, въ которомъ мин. народн. просвѣщ. А. В. Головнинъ далеко не вполнѣ успѣлъ осуществить свою программу. Въ указѣ Сенату реформа мотивировалась желаніемъ преобразовать университеты «согласно

современнымъ потребностямъ». Уставъ былъ «плодъ искренняго компромисса»[133]).

Корень земской реформы 1864 г., какъ и всѣхъ другихъ реформъ 60-хъ годовъ (и частью и 70-хъ: Городовое Положеніе 1870 г. и Уставъ о воинской повинности 1874 г.) лежитъ все въ томъ же великомъ освободительно-гуманномъ движеніи конца 50-хъ годовъ; ближайшимъ же источникомъ земскаго Положенія служитъ русская magna charta libertatum, великій законодательный актъ 19-го февраля 1861 г. Такая тѣсная связь, не только внѣшняя, хронологическая, но и внутренняя, нравственная, причинная признается не только историками и публицистами, но и оффиціальными документами.

Начиная съ 7-го февраля 1865 г. постепенно стали открываться земскія учрежденія. Въ 1865—1866 г. они были введены въ 27 губерніяхъ Европейской Россіи, въ 1867—1875 г. еще въ 6-ти губерніяхъ.

Трудами одного изъ виднѣйшихъ дѣятелей судебной реформы и ея руководителя С. И. Заруднаго собраны и разсортированы обширные подлинные матеріалы, легшіе въ основу великаго законодательнаго акта 1864 г. Эти матеріалы—74 тома in folio—«дѣла о преобразованіи судебной части въ Россіи», даютъ самый надежный ключъ къ уразумѣнію хода и исхода дѣла о преобразованіи судебной части въ Россіи. Кромѣ того, существуетъ прекрасное, популярное изданіе, въ 4-хъ томахъ, «Судебныхъ Уставовъ съ изложеніемъ разсужденій, на коихъ они основаны», заключающее массу цѣнныхъ законодательныхъ соображеній и появившееся въ свѣтъ, благодаря трудамъ того-же С. И. Заруднаго[134]).

Напоминая слова манифеста 19-го марта 1856 г.: «Правда и милость да царствуетъ въ судахъ», указъ о судебной реформѣ выражаетъ желаніе «водворить въ Россіи судъ скорый, правый, милостивый, равный для всѣхъ подданныхъ».

Исторія подготовки, составленія и примѣненія закона о печати 6-го апрѣля 1865 г. представляетъ много своеобразнаго и поучительнаго сравнительно съ другими законоположеніями эпохи великихъ реформъ. Для подготовки и редактированія такого громаднаго и по объему, и по важности затрагиваемыхъ интересовъ законодательнаго акта, какъ Положенія о крестьянахъ 19-го февраля, потребовалось съ небольшимъ три года (съ 20-го ноября 1857 г. по 19-е февраля 1861 г.). Образцовое по внѣшности и заключавшее полное переустройство сверху до низу всего судебнаго строя законодательства, какъ Судебные Уставы 20-го ноября 1864 г., было составлено тоже въ три года. Еще меньше времени потребовалось для выра-

---

[133]) Джаншіевъ. Стр. 274.

[134]) Джаншіевъ. 371—372 стр.

ботки органическихъ законоположеній о земскомъ и университетскомъ самоуправленіи 1862 и 1864 годовъ. На подготовительныя же работы закона о печати ушло 10 лѣтъ, начиная съ 1855 г. при чемъ составлялось нѣсколько проектовъ, образовывалось нѣсколько комиссій. Успѣли смѣниться четыре министра народнаго просвѣщенія (Норовъ, Ковалевскій, Путятинъ, Головнинъ). Даже само дѣло цензурнаго надзора успѣло въ это время перейти изъ одного вѣдомства въ другое — изъ министерства народнаго просвѣщенія, въ министерство внутреннихъ дѣлъ. Въ результатѣ усиленныхъ десятилѣтнихъ работъ получился крайне неудовлетворительный законъ 6-го апрѣля 1865 г., никого, кромѣ автора, П. А. Валуева, не удовлетворившій и одобренный государственнымъ совѣтомъ съ оговоркою, что законъ вводится, какъ «временная, переходная мѣра»[135]).

Въ 1863 г. въ Россіи выходило 301 періодическое изданіе. Въ томъ числѣ частнымъ лицамъ принадлежало 124, изъ нихъ 70 политическаго содержанія. «Сынъ Отечества» и «Русскія Вѣдомости» имѣли 20.000 подписчиковъ; «Московскія Вѣдомости» — 12.000; «Сѣверная Пчела» — 5.000; «Голосъ» (годъ основанія) — 2.000; «Спб. Вѣд.» — 8.000; «День» — 8.000; «Искра» — 7.000; «Отечественныя Записки» — 4.000; «Русскій Вѣстникъ» — 5.700; «Современникъ» — 7.000 подп.; «Русское Слово» — 4.000. Общее число подписчиковъ на изданія частныхъ лицъ немногимъ превышало 100.000 человѣкъ.

4-го сентября 1865 года, впервые за все время существованія русской печати, вышли въ свѣтъ, въ силу закона 6-го апрѣля 1865 г., произведенія печатнаго слова безъ предварительнаго цензурнаго просмотра и одобренія. «Сѣверная Почта», органъ П. Валуева, привѣтствовала законъ, подчеркивая однако, что «свобода — обязываетъ» (№ 189, 1865 г.). В. Ѳ. Коршъ ликовалъ: «Крѣпостная зависимость наша отъ цензуры... кончилась... мы будемъ зависѣть съ настоящаго дня отъ нашей собственной воли... мы очутились, какъ люди свободные, лицомъ къ лицу съ закономъ и т. д. и т. д.»[136]).

Скоро выяснилось, съ чѣмъ именно «лицомъ къ лицу» стала литература!.. Не прошло и двухъ недѣль со дня введенія новаго закона, какъ 18-го сентября послѣдовало первое изъ первыхъ предостереженій. Оно было дано «Спб. Вѣд.» за полемическую статью противъ «Сѣверной Пчелы», въ которой высказано было мнѣніе, что осуществленіе предположеннаго, по газетнымъ извѣстіямъ, проэкта о залогѣ части государственныхъ имуществъ и о второмъ выпускѣ 5% банковыхъ билетовъ невозможно, безъ выкупа перваго выпуска, который обезпеченъ государственными имуществами.

Послѣ небольшой передышки, предостереженія посыпались отъ П. А. Валуева съ новою силою, въ которой явственно слышалась нота личнаго

---

[135]) Джаншіевъ. Стр. 321—322.
[136]) С.-Петерб. Вѣд. 1865. № 229.

раздраженія. Не прошло и года со времени введенія новаго закона, какъ подъ предостереженіями очутились журналы и газеты самыхъ различныхъ, часто противуположныхъ направленій. Предостереженія, мотивированныя самыми разнообразными соображеніями (изъ коихъ далеко не всѣ приводились оффиціально) были даны: радикальнымъ «Современнику» и «Русскому Слову», умѣренно-либеральнымъ «С.-Петербургскимъ Вѣдомостямъ» и «Голосу», крѣпостнической «Вѣсти», славянофильскому «Дню» и «Москвѣ»; не были пощажены и «Московскія Вѣдомости». «Голосу» давалось предостереженіе и за непочтительный отзывъ о туркестанской администраціи и за неуважительный отзывъ о Наполеонѣ и объ остзейскихъ баронахъ.

Въ первые два года существованія безцензурной печати дано было 24 предостереженія. «С.-Петербургскія Вѣдомости», «Голосъ», «Москва», «Московскія Вѣдомости» пріостановлены были послѣ третьихъ предостереженій. Прекращены были «Современникъ», «Русское Слово», «Москва». Всего съ 1865 г. до 1880 г. дано было 177 предостереженій и сдѣлано 52 пріостановки. («Вѣстн. Евр.» 1880. № 6).

Безпрестанныя и совершенно неожиданныя предостереженія, сыпавшіяся на печать, создали для нея невыносимое положеніе. Рядомъ же съ административными взысканіями шли въ 65—66 гг. судебныя преслѣдованія газетъ и журналовъ.

§ 2. Предѣлы освободительнаго движенія были не ясны для тогдашняго общества. Вожакамъ представлялись весьма отдаленныя перспективы. Событія польскаго возстанія, однако, выяснили эти предѣлы. Съ ними связано у насъ и развитіе націоналистическаго направленія, во главѣ котораго сталъ Катковъ.

Въ 1861 году «Современная Лѣтопись» отдѣляется отъ «Русскаго Вѣстника» и обращается въ дополнительное къ нему изданіе. Это какъ бы еженедѣльная газета. Отдѣлъ внутренняго обозрѣнія въ «Русскомъ Вѣстникѣ» превращается въ журнальное обозрѣніе.

Въ теченіе первыхъ десяти мѣсяцевъ 1861 года Катковъ почти не пускается въ обсужденіе внутреннихъ вопросовъ нашей политической жизни. Онъ заявляетъ, правда, что «великое пріобрѣтеніе нашего времени состоитъ въ томъ, что «начало свободы», которое было главною движущею силою новѣйшей исторіи, перестало быть пугаломъ, грозою, тревогой, смутой. Оно все болѣе и болѣе становится началомъ консервативнымъ, въ истинномъ и лучшемъ смыслѣ этого слова. Оно для современныхъ обществъ не есть уже что-то странное, чуждое, приходящее издали, вносящее тревогу въ жизнь и бурный энтузіазмъ въ умы; для современныхъ обществъ оно становится необходимымъ условіемъ жизни; оно уже въ немъ не пришлецъ, а почти хозяинъ». (Совр. Лѣтоп. 1861 г. № 1 стр. 14).

Но на практикѣ русская публицистика пока не придерживалась упомянутаго начала и хранила почти безусловное молчаніе относительно большей части явленій внутренней жизни.

Когда Аксаковъ, въ концѣ октября мѣсяца 1861 года, приступилъ къ изданію газеты «День», онъ укорялъ печать, что она болѣе занимается Лондономъ и Парижемъ чѣмъ Тулой и Рязанью. Между тѣмъ печать просто боялась ротъ раскрыть о такихъ опасныхъ вещахъ, какъ Рязань и Тула. Одинъ органъ дерзнулъ, за нимъ и другіе. Не долго обходились безъ каръ. Уже въ маѣ 1862 г. «Современникъ» и «Русское Слово» подверглись запрещенію на 8 мѣсяцевъ. Аксаковъ то-же замолкъ до сентября мѣсяца тогоже года.

Въ началѣ 1862 года въ «Русскомъ Вѣстникѣ» появилась статья: «Къ какой мы принадлежимъ партіи?» Катковъ относилъ себя къ числу людей, стоящихъ особнякомъ. Въ то-же время онъ нападаетъ на Герцена въ «Замѣткѣ для издателей «Колокола». (Русск. Вѣстн. 1862. № 6). «Можно-ли, не имѣя вѣры, быть проповѣдникомъ?» спрашиваетъ Катковъ и указываетъ на скептицизмъ Герцена. И появившаяся въ 1862 г. на улицахъ Москвы и Петербурга прокламація: «Молодая Россія» указывала уже на то, что Герценъ отсталъ, что онъ сбивается на тонъ простыхъ либераловъ. Дирижерская палочка перешла къ Чернышевскому. Свое обаяніе въ умѣренной либеральной средѣ Герценъ потерялъ въ 1863—1864 г. во время польскаго повстанья, безтактной статьей: «Поляки насъ прощаютъ». На упрекъ прокламаціи 1862 г. Герценъ отвѣчалъ очень двусмысленно: «Вы насъ считаете отсталыми, мы не сердимся за это, и если отстали отъ васъ въ мнѣніяхъ, то не отстали отъ васъ сердцемъ, а сердце даетъ тактъ». Въ 1865 году въ всеподданѣйшемъ ходатайствѣ московскаго дворянства еще представляли «объ увѣнчаніи зданія реформъ». Этой мысли еще не покидалъ тогда и Катковъ.

Въ 1862 г. Катковъ и Леонтьевъ представлялись Государю и получили въ аренду «Московскія Вѣдомости».

Уже въ 1862 г. Моск. Вѣд. имѣли около 6,000 подписч. «Современная Лѣтопись» обращается съ 1863 года въ воскресное прибавленіе къ «Моск. Вѣд.» и продолжается въ такомъ видѣ до 1871 г.

«Переходъ Московскихъ Вѣдомостей къ Каткову почти совпалъ съ началомъ польскаго мятежа, говоритъ Невѣдѣнскій въ своемъ прекрасномъ трудѣ. Событія, сопровождавшія это возстаніе, вызвали рядъ одушевленныхъ искреннимъ патріотизмомъ статей Каткова, послужившихъ вполнѣ заслуженнымъ пьедесталомъ его публицистической дѣятельности. Вся земская Россія съ большимъ сочувствіемъ внимала страстной рѣчи публициста; его статьи обратили на себя также вниманіе европейской прессы — и Катковъ сдѣлался знаменитостью».

Въ бумагахъ графа Замойскаго была найдена программа польскаго возстанья, гдѣ «польскій герценизмъ издали помогаетъ польскому освобожденію, терзая внутренности царизма», но «перенесеніе его въ предѣлы Польши будетъ считаться измѣною отчизнѣ и будетъ наказываться смертью (sic!), какъ государственная измѣна». Эта программа укоренила въ Катковѣ мысль, что русскій нигилизмъ и социализмъ есть польское насажденіе.

Такъ-ли это, вопросъ не имѣющій непосредственнаго отношенія къ литературѣ, но во всякомъ случаѣ программа Замойскаго хорошо объясняетъ ошибку Герцена — народника, приставшаго къ шляхетскому польскому дѣлу.

Петербургское дворянство представило 26-го марта адресъ, въ которомъ высказывалось энергически за сохраненіе цѣлости русскаго государства; а затѣмъ со всѣхъ сторонъ посыпались адреса. Катковъ составилъ адресъ старообрядцевъ безпоповцевъ, гдѣ были слова: «Въ новизнахъ твоего царствованія старина наша слышится».

Изъ Варшавы прибыла депутація Замойскаго, который на аудіенціи у Государя настойчиво требовалъ автономіи Польши и возстановленія ея въ предѣлахъ 1772 года. Страхъ правительства нашего былъ такъ великъ, что Замойскаго приняли и выслушали весьма милостиво, хотя не согласились на его предложеніе и попросили выѣхать заграницу [137]).

Катковъ требовалъ полнаго слiянія Польши съ Россіей.

Обстоятельства 1862 — 1866 годовъ заставили Каткова поднять національное знамя. О Катковѣ спорили въ иностранной прессѣ. The foremost journal in Russia (органъ, дающій направленіе въ Россіи), писалъ въ 1865 году корреспондентъ Times про «Моск. Вѣдомости». «Въ нашей газетѣ хотятъ видѣть органъ партіи, которую называютъ русскою, ультра-русскою, исключительно русскою. Мы предоставляемъ всякому судить, въ какой мѣрѣ можетъ идти рѣчь о русской партіи въ Россіи. Принадлежать къ русской партіи въ Россіи, не значитъ ли одно и то-же, что быть русскимъ подданнымъ, быть гражданиномъ русскаго государства?» [138]).

Съ Катковымъ воевалъ консервативный органъ старо-помѣщичьей партіи «Вѣсть». Но и начавшійся въ 1863 г. «Голосъ» сталъ самымъ ярымъ представителемъ антагонизма Каткову. «Голосъ» обвинялъ Каткова въ сепаратизмоманіи, въ томъ, что ему постоянно мерещится призракъ разъяренныхъ стихій, что онъ имѣетъ въ виду запугиваніе общества.

Въ 1865—1866 годахъ подписка «Моск. Вѣд.» достигла 12.000.

Завѣдывавшій «Московскими Вѣдомостями», во время борьбы съ полонизмомъ, цензоръ Петровъ, дрожалъ отъ страха, когда носилъ печатные

[137]) Русская Старина, 1882 г. Ноябрь.
[138]) Моск. Вѣд. 1865, № 195.

столбцы отъ Каткова назадъ въ типографію для окончательнаго напечатанія.

«Штрафовъ, писалъ Катковъ, взыскано было съ насъ шесть въ теченіи одного мѣсяца, всего на сумму 950 рублей», наконецъ газетѣ было дано предостереженіе за «возбужденіе недовѣрія къ правительству»[139]).

«Моск. Вѣд.» были четвертымъ изъ органовъ печати, навлекшихъ на себя предостереженія по изданіи новаго закона о печати. Первыми постигла административная кара «Современникъ» и «Русское Слово», органы соціалистической окраски, потомъ она задѣла по пути консервативную «Вѣсть» и устремилась противъ руссофильскаго направленія Каткова. Такимъ образомъ, въ спискѣ предостереженій сошлись люди и органы, самыхъ противоположныхъ, самыхъ ненавистныхъ другъ другу взглядовъ.

Катковъ отказался напечатать предостереженіе на столбцахъ своей газеты, предложилъ правительству взять это предостереженіе назадъ и объявилъ, что онъ прекратитъ изданіе «Моск. Вѣд.». Объявилъ свое рѣшеніе Катковъ 3-го апрѣля 1866 г., а на слѣдующій день, 4-го апрѣля, произведено было Каракозовымъ покушеніе. 14-го апр. графъ Д. А. Толстой былъ назначенъ министромъ народнаго просвѣщенія.

Въ «Сѣверной Почтѣ» были напечатаны объясненія главнаго управленія по дѣламъ печати по поводу статьи Каткова, отъ 3-го апрѣля. Одни изъ членовъ высказались за судебное преслѣдованіе противъ «Московскихъ Вѣдомостей», другіе—за второе престереженіе. Было прибавлено, что министръ не принимаетъ ни того, ни другого рѣшенія въ уваженіе къ нынѣшнему настроенію общественнаго мнѣнія. 11-го апрѣля въ Москвѣ произошла патріотическая манифестація студентовъ. Подойдя къ дому университетской типографіи, студенты шесть разъ пропѣли народный гимнъ и кричали Каткову: «не прекращайте вашей дѣятельности»[140]).

Валуевъ далъ Каткову 2-е предостереженіе 6-го мая, а на слѣдующій день 7-го—третье, съ пріостановкой на два мѣсяца. (Съ 9-го по 18-го мая «Моск. Вѣд.» не выходили. 18-го появился прощальный номеръ. Издатели говорили: «До сихъ поръ въ исторіи этого столѣтняго изданія было только два случая перерыва: одинъ въ 70-хъ годахъ прошлаго столѣтія во время чумы; другой въ 12-мъ году —при нашествіи французовъ; третьему случаю суждено было осуществиться въ настоящее время по нашей винѣ». Но 25 мая Александръ II посѣтилъ Москву. Катковъ получилъ аудіенцію и 25-го іюня ранѣе истеченія срока положеннаго министромъ внутреннихъ дѣлъ запрещенія, Катковъ возобновилъ изданіе. Общественное сочувствіе къ Каткову по поводу его возвращенія къ публицистической дѣятельности

---

[139]) «Сѣв. Почта». 1866 № 66.

[140]) Моск. Вѣд. 1866. № 76. Невѣдѣнскій. 251.

выразилось обѣдомъ, даннымъ ему въ университетскомъ залѣ 17-го іюля 1866 года. Пріѣздъ Муравьева въ Петербургъ 25-го апрѣля 1864 г. былъ тріумфомъ усмирителя: его вынесли на креслѣ изъ вагона въ экипажъ, и вся галлерея вокзала гремѣла продолжительными привѣтственными криками. По увольненіи его, 17-го апр. 1865 г., отъ должности, усмиритель получилъ множество сочувственныхъ телеграммъ отъ лицъ всѣхъ сословій. Катковъ поддерживалъ политику Милютина и кн. Черкасскаго въ Царствѣ Польскомъ. Лѣтомъ 1864 происходили пожары въ разныхъ мѣстностяхъ Россіи. Выгорѣли Симбирскъ, Козловъ и др. Толпа говорила: «Поляки поджигаютъ» и на это указывалъ Катковъ [141]).

Катковъ нападалъ на «Голосъ», «Петербургскія» и «Биржевыя Вѣдомости», за то, что они не признаютъ политическихъ поджоговъ, называя ихъ оффиціозными органами [142])

Наконецъ графъ Валуевъ, въ октябрѣ мѣсяцѣ 1865 г., объявилъ въ «Сѣверной почтѣ», приведя статистику пожаровъ за многіе годы, что прямыя указанія на поджигателей существуютъ относительно Западнаго края: нѣкоторые поджоги и въ другихъ мѣстахъ обнаруживали злонамѣренныя стремленія, которыя такъ ярко были освѣщены заревомъ петербургскихъ пожаровъ 1862 года, но что нѣтъ основанія относить всѣ поджоги 1864 и 1865 гг. къ польской или другой интригѣ [143]).

28 марта 1867 года возвѣщено было полное сліяніе губерній Царства Польскаго съ прочими частями Имперіи. 29 февраля 1868 года былъ сдѣланъ къ этому главный шагъ посредствомъ упраздненія самостоятельно существовавшей въ Польшѣ комиссіи внутреннихъ дѣлъ. Конецъ 60-хъ годовъ Катковъ употребилъ изслѣдованію вопроса о дамскихъ салонахъ, полекъ, не носившихъ трауръ по отчизнѣ, испорченныхъ въ Вильнѣ въ 1868 и 1869 годахъ. Катковъ объяснялъ это тѣмъ, что вновь зашевелились національныя тенденціи. Сообщенныя корреспондентомъ Каткова свѣдѣнія о салонахъ не могли быть, несмотря на всѣ стремленія администраціи, опровергнуты. Разногласіе было только о числѣ испорченныхъ салоновъ: Катковъ указывалъ на 37, а мѣстное начальство признавало лишь 11 [144]).

Всѣ эти лжеученія, говорилъ Катковъ, всѣ эти дурныя направленія родились и пріобрѣли силу посреди общества, не знавшаго ни науки, свободной, уважаемой и сильной, ни публичности въ дѣлахъ, касающихся самыхъ дорогихъ для него интересовъ, — посреди общества, находившагося подъ цензурой и полицейскимъ надзоромъ во всѣхъ сферахъ своей жизни.

---

141) Моск. Вѣд. 1864, № 268, 1865, № 172.

142) Моск. Вѣд. 1865, № 176.

143) Моск. Вѣд. 1865, № 231.

144) Моск. Вѣд. 1869, №№ 23 и 24. Невѣдѣнскій (Щегловитовъ). Стр. 273.

Всѣ эти лжеученія и дурныя направленія, на которыя слышатся теперь жалобы, суть плодъ мысли подавленной, неразвитой, рабской во всѣхъ своихъ инстинктахъ, одичавшей въ своихъ темныхъ трущобахъ»[145]).

Выстрѣлъ Каракозова 4-го апрѣля 1866 года страшно поразилъ все общество. Герценъ въ появившейся 1-го мая 1866 года въ «Колоколѣ» статьѣ «Иркутскъ и Петербургъ»,—осудилъ это преступленіе. «Мы поражены при мысли объ отвѣтственности, которую взялъ на себя этотъ фанатикъ», — писалъ Герценъ. «Только у варварскихъ народовъ или у стоящихъ на склонѣ цивилизаціи существуетъ стремленіе прибѣгать къ убійствамъ». Два революціонныхъ комитета: лондонскій и московскій, напечатали на убійственномъ французскомъ языкѣ протестъ противъ заявленія Герцена.

На слѣдующій день послѣ покушенія, 5-го апрѣля, на представленіи «Жизнь за Царя» въ московскомъ Большомъ театрѣ произошла манифестація противъ поляковъ. Второй актъ оперы, происходившій въ польскомъ станѣ, былъ прерванъ. Лишь только раздались первые аккорды хора польскихъ воиновъ и первыя пары стали подвигаться польскимъ къ авансценѣ, послѣдовали крики: «Не надо! не надо! Третій актъ!» Актеры побросали конфедератки и, по требованію публики, исполнили народный гимнъ.

«Пусть не говорятъ намъ о нашихъ нигилистахъ, о нашихъ, такъ называемыхъ, красныхъ, это обманъ, которымъ хотятъ отвести намъ глаза—говорилъ Катковъ (очевидное противорѣчіе выше приведенныхъ словъ его о «плодахъ подавленной мысли»), — источникомъ этого злоумышленія можетъ быть только то анти—русское, національное дѣло въ Россіи, которое въ своемъ патріотизмѣ не можетъ дѣйствовать иначе, какъ мятежами, тайными подкопами, и обманами, дѣло, варварски организованное и уже выставившее столько убійцъ изъ политическихъ фанатиковъ, изъ подкупленныхъ негодяевъ, изъ обманутыхъ безумцевъ». Моск. Вѣд. 1866 г. № 73.

Руководство слѣдствія по Каракозовскому покушенію возложено было на бывшаго виленскаго генералъ-губернатора графа Муравьева въ надеждѣ, что его неутомимой и рѣшительной энергіи удастся открыть всѣ нити заговора. «Мои силы уже слабы, я боленъ и старъ, — заявилъ Муравьевъ на обѣдѣ, данномъ ему 10-го апрѣля петербургскимъ англійскимъ клубомъ по случаю его назначенія, — но я скорѣе лягу костьми, чѣмъ оставлю неоткрытымъ это зло, зло не одного человѣка, а многихъ, дѣйствующихъ въ совокупности».

Послѣ обѣда графъ Муравьевъ воспользовался присутствіемъ издателя «Современника» Некрасова, чтобы указать на вредныя ученія, распространяемыя въ обществѣ, на ядъ, прививаемый молодому поколѣнію. Въ на-

[145]) Моск. Вѣд. 1866. № 205.

деждѣ спасти журналъ. Некрасовъ повторялъ вслѣдъ за графомъ фразу Надимова изъ «Чиновника» Соллогуба: «Да, ваше сіятельство, надо искоренить это зло съ корнемъ».

Однако, слѣдственная комиссія, со всѣми принятыми чрезвычайными усиліями, открыла только существованіе кружка нигилистовъ менѣе, чѣмъ изъ 20 человѣкъ. Нельзя даже сказать, чтобы этотъ кружекъ весь затѣялъ цареубійство. Къ Муравьеву охладѣли и между прочимъ Катковъ, и графъ, послѣ разсмотрѣнія дѣла верховнымъ судомъ, выѣхалъ изъ Петербурга въ свое имѣніе, находившееся въ Лужскомъ уѣздѣ, гдѣ въ августѣ и умеръ. Послѣдствіемъ Каракозовскаго дѣла было запрещеніе, по Высочайшему повелѣнію, «Современника». Это было вызвано показаніемъ нѣсколькихъ подсудимыхъ, что они будто-бы дѣйствовали, начитавшись романа «Что дѣлать?», который печатался въ «Современникѣ», хотя этотъ романъ только доводилъ до нелѣпости взгляды знаменитой «Полиньки Саксъ» Дружинина. Въ 1869 году произошли студенческіе безпорядки и въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ» появилось сообщеніе о Нечаевѣ, бывшемъ однимъ изъ дѣятельныхъ зачинщиковъ безпорядковъ въ петербургскихъ заведеніяхъ, но успѣвшемъ скрыться. Нечаева не поймали, но скоро всплыло наружу дѣло его рукъ. Совершено было убійство Иванова, котораго подозрѣвали въ шпіонствѣ. Самъ Нечаевъ оказался уже черезъ нѣкоторое время опять заграницей. Рошфоръ объявилъ его сотрудникомъ въ «la Marseillaise» подъ именемъ: «le grand patriote russe». Звѣзда Герцена закатилась. Прогремѣлъ Бакунинъ.

БИБЛІОГРАФІЯ. а) Шестидесятые годы. Джаншіевъ. Эпоха великихъ реформъ. 8-ое изд. М. 1900 г. – Н. А. Бѣлоголовый. Воспоминанія. Въ соч. — Г. Благосвѣтловъ. Сочиненія. Спб. 1882 г. — Волынскій (Флексеръ). Русскіе критики. Спб. 1896 г. Книга неудовлетворит. въ научномъ отношеніи. Явное желаніе унизить безупречную личность Добролюбова, Чернышевскаго и Писарева: при оцѣнкѣ явленій журналистики, не приняты въ разсчетъ историческій моментъ и цензурныя условія эпохи. Интересенъ богатый подборъ цитатъ изъ полемическихъ статей 60-хъ годовъ. Первая попытка, хотя и неудачная, отнестись къ этому времени критически, безъ идолопоклонства.—И. Ивановъ. Исторія русской критики. Т. II. Стр. 508—716. –В. Мещерскій. Очерки нынѣшней общественной жизни въ Россіи. 2 т. Спб. 1868 –1870. Его-же Въ улику времени. Спб. 79 г. - Дневникъ Никитенко.—К. Случевскій. Явленія русской жизни подъ критикою эстетики. (О томъ, какъ Писаревъ эстетику разрушалъ). Спб. 1866– –1867 г.—Соловьевъ. Искусство и жизнь. Критическія сочиненія. Изд. М. 1869. См. ч. I. Теорія Безобразія. Литературный разладъ. Здѣсь изображена полемическая свистопляска 60-хъ годовъ. Отсюда черпалъ г. Волынскій взгляды на это время.—Н. Страховъ. Изъ исторіи литературнаго нигилизма. 1861– –1865 гг. Спб. 90 г. — Чернышевскій. Замѣтки. Спб. 1894 г. См. «Полемическія красоты». В. Д. Спасовичъ. За много лѣтъ. (1859—1871). Спб. 72 г.

б) О М. Н. Катковѣ. Сементковскій. Катковъ, его жизнь и дѣятельность. Біограф. библ. Павленкова. Спб. 1891 г.—Н. Любимовъ. Катковъ по личнымъ воспоминаніямъ. Р. В. 1888 г. № 1—4, 7, 8; 1889 г. № 2 и 3.—Невѣдѣнскій (Щегловитовъ). Катковъ и его время. Спб. 1888 г.— Памяти М. Н. Каткова. Русск. Вѣстн. 1897 г. № 8, (статьи) Грингмута, Мещерскаго, Воронова, Татищева. Переписка К—ва съ гр. М. Н. Муравьевымъ.—Ив. Ив. Ивановъ. Исторія русской критики. Т. II, ч. IV, гл. XXV. — Катковъ, какъ редакторъ «Моск. Вѣд.» и «Русск. Вѣстн.» Русск. Стар. 1897 г. № 11 и 12.—Собраніе передовыхъ статей Каткова 25 томовъ.

в) Полемика шестидесятыхъ годовъ: статьи М. А. Антоновича. Асмодей нашего времени. (По поводу «Отцовъ и дѣтей» Тургенева). Совр. 1862 г. т. 93. № 3.—Отдѣлъ въ «Современникѣ» «Литературныя мелочи», подъ псевдонимомъ Посторонній Сатирикъ. Торжество ерундистовъ. (1864 г. № 7, 8 и 10). «Русскому Слову» (Id. № 11 и 12).—Денежное несчастіе съ г. Благосвѣтловымъ. (1865 г. № 1).—Глуповцы въ «Русскомъ Словѣ» (Id. № 2). Барскіе лакеи въ Русск. Словѣ» (Id. № 3).—Лже реалисты. Совр. 1865 г. № 7. Стр. 53—93.—М. А. Антоновичъ и Ю. Г. Жуковскій. Матеріалы для характеристики современной литературы. (Здѣсь выложены внутренніе дѣла гибнущаго «Современника») Спб. 1869 г.—Полемич. статьи Зайцева и Благосвѣтлова. Зайцевъ: Глуповцы, попавшіе въ «Современникъ». Русское Слово. 1864 г. № 2.—Кающійся, но не раскаявшійся фельетонистъ Современника. Id. № 4. — Нѣсколько словъ г. Антоновичу. Id. 1865 г. № 2. — Постороннему и всякимъ прочимъ сатирикамъ. Id. № 2. Статья Благосвѣтлова: Послѣднее мое объясненіе съ Постороннимъ Сатирикомъ. Id. № 2. Статьи Писарева см. въ собр. его сочиненій.—Статьи Н. Страхова (Косицы) во «Времени:» Нѣчто о петерб. литературѣ 1861 г. № 4.—Нѣчто о полемикѣ Id. № 8.—Объ индюшкахъ и о Гегелѣ. Id. № 9.—Нѣчто объ авторитетахъ. 1862 г. № 12.—Необходимое литературное объясненіе. 1863. № 1.—Статьи по поводу полемики «Современника» съ «Русскимъ Словомъ»: Провинціалъ. Покорнѣйшая просьба. Отеч. Зап. 1865 г. № 9. — Курьезы за предѣлами невѣроятнаго. Id. № 12. — Incognito (Е. Ф. Заринъ). Статьи въ №№ 6, 10 на 1864 г. Отеч. Зап. и въ № 13. 1865 г.—Лѣтопись литературныхъ странностей и безобразій. Литер. Библ. 1867 г. 17 и 20; т. IX и X.—Полемическая смѣсь. Время. 1861 г. № 3. Стр. 39—84. Появленіе литературныхъ башибузуковъ въ «Отеч. Зап.» Всемірн. Трудъ. 1868 г. № 4.—Щедринъ или расколъ въ нигилистахъ. Эпоха 1864. № 5. Стр. 274—295. г. Студенческіе безпорядки 60-хъ годовъ: Шестаковъ. Студ. волненія въ 1861 г. Руск. Старина. 1888 г. № 11.

§ 3. Эпоха шестидесятыхъ годовъ, въ воспоминаніи пережившихъ ее, обыкновенно порождаетъ хронологическую неопредѣленность. Часто, говоря о 60-хъ годахъ, въ сущности вспоминаютъ 50-е, ибо періодъ съ 1856 по 1866 г. составляетъ нѣчто цѣлое, объединенное единымъ духомъ. Это былъ грандіозный порывъ къ освобожденію всей страны, всѣхъ слоевъ общества, когда всѣ силы общества напряглись въ одну сторону, били въ одну точку— перевалить рубиконъ 19 февраля. Во главѣ журналистики съ 1856 г. сто-

ляли Чернышевскій и Добролюбовъ. Не только все, что противилось реформѣ, но что было къ ней равнодушно или отвлекало отъ нее — клеймилось ими и осмѣивалось. Такъ критика осмѣивала эстетическое наслажденіе, боясь, чтобы оно не отвлекало вниманіе общества отъ единой великой задачи. Даже мирно-обличительное направленіе освистывалось, чтобы общество на немъ не успокоилось.

Но 19-е февраля совершилось. Рубиконъ былъ пройденъ. Тогда уже не требовалось такого сосредоточенія силъ, ибо остальныя реформы логически истекали изъ экономическаго переворота и подготовляли, проводили ихъ серьезные дѣятели — практики. Уничтоженіе тѣлесныхъ наказаній, уставы и новый судъ, земство и городское самоуправленіе — все это логически вытекало изъ 19-го февраля, какъ необходимое слѣдствіе. У общества поэтому открылась возможность разсѣять свое вниманіе на разные предметы, тѣмъ болѣе, что такое устремленіе въ одну точку и могло быть непродолжительно. Но разъ теченіе разбилось на отдѣльныя струи, сила его ослабѣла и въ немъ стали тонуть слишкомъ много запросившіе у своего времени вожаки — публицисты. Въ томъ-же 1861 г. Добролюбовъ умеръ. А Чернышевскій продолжалъ катиться впередъ по инерціи. Этотъ публицистъ и та часть общества, наиболѣе пылкая, которая къ нему примыкала, смотрѣли на реформы, только какъ на ступень къ «алюминіевымъ дворцамъ». Въ 1862 г. онъ былъ арестованъ, но инерція общественнаго порыва все еще дѣйствовала. Изъ крѣпости онъ печатаетъ въ «Современникѣ» романъ «Что дѣлать?» Еще раньше былъ арестованъ Михайловъ. Жандармскій офицеръ и обличительный писатель Громека ѣздилъ и собиралъ подписи литераторовъ подъ адресомъ объ освобожденіи Михайлова. Москва однако не подписалась подъ адресомъ. Собраніе литераторовъ у Каткова нашло себя не компетентнымъ. Арестъ Михайлова потрясъ общество. Свобода, безнаказанность общества, растерянность самой администраціи, которая не знала, до какихъ предѣловъ «сія свобода простираться можетъ», прокламаціи начала 60-хъ, эманципація дворянскихъ дочерей, нигилисты изъ лицеистовъ и камеръ — юнкеровъ, безчисленные бурсаки и семинаристы и т. д., все это сбивало съ толку.

Перелому взглядовъ правительства и общества положили начало польское повстанье 1863—1864 гг. и покушеніе Каракозова 1866 г. Катковъ, еще въ началѣ 1863 года двоившійся во взглядѣ на повстанье, къ концу его взялъ опредѣленную ноту, съ которой уже не спадалъ. Въ обществѣ вспыхнулъ патріотизмъ. Герценъ высказался за поляковъ — («Поляки насъ прощаютъ!») и значеніе его въ русскомъ обществѣ пало; высказался потомъ противъ Каракозова, отъ него отшатнулись революціонеры. Послѣ смерти Добролюбова и ареста Чернышевскаго въ «Современникѣ» выступаетъ Антоновичъ. Въ «Русскомъ Словѣ» Писаревъ, Зайцевъ и Благосвѣтловъ. Скоро

подъ давленіемъ Валуева всякое серьезное содержаніе изъ публицистики исчезаетъ. Начинается дикая ругонь. Подъ ней быть можетъ скрывался радикальный духъ, но страннаго букета и запаха... Изъ всего Чернышевскаго Писаревъ взялъ однѣ нападки на эстетику, оправдываемыя у него исторической минутой, и довелъ ихъ до абсурда.

До 1860 года общественное вниманіе было занято освобожденіемъ крестьянъ. Когда-же всѣ основанія освобожденія опредѣлились и шла редакціонная работа Положенія 19-го февраля, у общества поднялись и другіе запросы. Поэтому съ 1860 года начинается какъ бы иной періодъ въ работѣ общественной мысли. «Мы, современники этого перелома, говоритъ Шелгуновъ, стремясь къ личной и общественной свободѣ и работая только для нея, конечно не имѣли времени думать, дѣлаемъ-ли мы что нибудь великое или не великое. Мы просто стремились къ простору и каждый освобождался гдѣ и какъ онъ могъ и отъ чего ему было нужно». Люди недалекіе «освобождались» подъ часъ и отъ примитивныхъ приличій, и отъ той крупицы здраваго разсудка, которую получили отъ природы. Семинаристы толпами уходили въ университетъ, такъ что число студентовъ съ 300 возросло внезапно до 1,500.

Въ 1860 году П. И. Вейнбергъ началъ издавать «Вѣкъ» въ сотрудничествѣ съ К. Д. Кавелинымъ, А. В. Дружининымъ и В. П. Безобразовымъ. «Вѣкъ» не пошелъ и въ 1861 г. былъ пріобрѣтенъ артелью молодыхъ писателей изъ 32 пайщиковъ. Тутъ были Г. З. Елисѣевъ, Щаповъ, А. Потѣхинъ, Н. и А. Серно-Соловьевичи, А. Н. Энгельгардтъ, Курочкинъ. Редакторомъ былъ выбранъ Елисѣевъ, но и у «артели» дѣло не пошло. Григорій Захаровичъ Елисѣевъ былъ изъ духовнаго званія и сибирякъ, профессоръ русской исторіи въ казанской духовной академіи. Своими «внутренними обозрѣніями» онъ вносилъ существенное содержаніе въ «Современникъ» и затѣмъ былъ главнымъ руководителемъ и направителемъ «Отеч. Записокъ» Некрасова. Щаповъ, то-же семинаристъ, въ 1860 г. занималъ каѳедру исторіи въ Казанскомъ университетѣ.

Въ 1862 г. «Современникъ» и «Русское Слово» были по Высочайшему повелѣнію пріостановлены на 8 мѣсяцевъ, и Чернышевскій арестованъ. Со смертью Добролюбова, исчезновеніемъ съ литературнаго горизонта Чернышевскаго и съ закрытіемъ «Современника» кончился первый и самый яркій литературный періодъ 60-хъ годовъ. Возникшія затѣмъ «Отечественныя Записки» новой редакціи были уже иными и по составу сотрудниковъ, и по содержанію, и по направленію. Умственное направленіе 60-хъ годовъ, въ области литературнаго движенія мысли выразившееся наиболѣе ярко съ 1859 по 1862 годъ, создалось не въ эти годы.

«Русское Слово» было журналомъ подростающаго поколѣнія, въ отличіе отъ «Современника», который считался журналомъ поколѣнія молодого.

Читатели «Современника» смотрѣли на «Русское Слово» съ оттѣнкомъ нѣкотораго высокомѣрія, какъ на журналъ начинающихъ писателей для начинающихъ читателей. Между «шестидесятниками», много считающихъ себя умственно обязанными во всемъ «Современнику» и у которыхъ для «Русскаго Слова» не сохранилось никакихъ благодарныхъ воспоминаній. «Современникъ» началъ занимать свое руководящее положеніе въ 1855 г., когда «Русское Слово» еще не существовало. Когда-же «Русское Слово» начало пріобрѣтать значеніе, т. е. когда въ 1860—1861 годахъ въ немъ явился Писаревъ и Зайцевъ, — Добролюбовъ уже умеръ, освобожденіе крестьянъ совершилось, а вскорѣ выбылъ изъ «Современника» и Чернышевскій. Такимъ образомъ эти журналы принадлежатъ разному времени. Въ 1866 г. Благосвѣтловъ на развалинахъ «Русскаго Слова» основалъ «Дѣло». Журналистика тогда напоминала утлый челнъ, получившій пробоину. «Современникъ» и «Русское Слово» были закрыты окончательно; остались только пухлыя «Отечественныя Записки», «Литературная Библіотека», старенькая «Библіотека для Чтенія», «Женскій Вѣстникъ», «Русскій Вѣстникъ», «Всемірный Трудъ», въ которомъ роль перваго критика игралъ Николай Соловьевъ. Писаревъ разошелся съ Благосвѣтловымъ. Съ 1868 года «Отечественныя Записки» стали выходить подъ редакціей Некрасова при новомъ составѣ сотрудниковъ. Въ число ихъ вступилъ и Писаревъ, но лѣтомъ же утонулъ, купаясь въ Дуббельнѣ.

Въ 1866 году «Современникъ» и «Русское Слово» были запрещены совсѣмъ, но это было лишь видимою смертью двухъ главныхъ представителей журналистики 60-хъ годовъ. «Современникъ» уже умеръ со смертью Добролюбова и удаленіемъ Чернышевскаго, «Русское Слово» жило дольше, потому что жить начало позже.

§ 4. Въ 1861 г. въ Петербургѣ сталъ издаваться новый литературно-политическій журналъ подъ редакціей М. Достоевскаго «Время», въ которомъ главную роль игралъ братъ издателя, романистъ Ѳ. М. Достоевскій. Журналъ этотъ выходилъ не долго. Съ выпускомъ апрѣльской книги 1863 г. «Время» прекратило свое существованіе. Ѳ. М. Достоевскій открылъ въ немъ «Рядъ статей о русской литературѣ».

«Кто явился преемникомъ Гоголя?—спрашивало «Время».—Посмотрите кругомъ себя, и вы увидите печальную правду. Громко звякнула лира Розенгейма, раздался густой голосъ Громеки, мелькнули братья Мелеанты. Закишѣли безсчетные иксы и зеты съ жалобами другъ на друга въ газетахъ и повременныхъ изданіяхъ. Явились поэты, прозаики — такіе поэты и прозаики, которыхъ могла призвать къ жизни только обличительная литература. Гласность смѣшалась съ литературнымъ скандаломъ[146].

[146]) «Время» 1861. Январь. Критич. обозр. Стр. 24.

По мнѣнію Достоевскаго, вопросъ объ искусствѣ поставленъ въ русской литературѣ совершенно невѣрно, ложно, въ полномъ противорѣчіи съ истинными законами художественнаго творчества. Русская критика пошлѣетъ и мельчаетъ, настоящая литература развивается помимо этой критики, не находя въ ней отзыва и поддержки своимъ симпатіямъ, своимъ думамъ и стремленіямъ.

«Пушкинъ, — говоритъ Достоевскій — знамя, точка соединенія всѣхъ жаждущихъ образованія и развитія, потому что онъ наиболѣе художественъ, чѣмъ всѣ наши поэты, наиболѣе простъ, наиболѣе плѣнителенъ, наиболѣе понятенъ». Апол. Григорьевъ здѣсь выступалъ подъ романтическимъ псевдонимомъ: «Одинъ изъ многихъ ненужныхъ людей».

«Время» полемизировало съ «Современникомъ», Катковымъ и Аксаковымъ.

«Правда, у насъ нѣтъ амазонскихъ полковъ и женскихъ департаментовъ, но неужели же женщина этого хочетъ? восклицаете вы. Браво! Ѳаддей Булгаринъ не сказалъ бы лучше. За то смотрите, какой успѣхъ: ха-ха-ха! кричатъ кругомъ: амазонскіе полки и департаменты! Ха-ха-ха! Молодецъ «Русскій Вѣстникъ»[147]).

Полемика «Времени» съ «Днемъ» Аксакова, начавшаяся въ 1861 г. и продолжавшаяся въ 1862 г., обнаружила промежуточное отношеніе редакціи новаго журнала къ славянофильскому вопросу. Не соглашаясь съ типичными западниками, «Время» не чувствуетъ себя солидарнымъ и съ проповѣдниками до петровской жизни. Какъ слѣпой, оно все щупаетъ длиннымъ посохомъ «почву», но тычетъ больше мимо. Однако журналъ имѣлъ успѣхъ и въ теченіи одного года пріобрѣлъ себѣ болѣе четырехъ тысячъ абонентовъ.

Страховъ — человѣкъ съ изысканнымъ, но блѣдноватымъ литературнымъ талантомъ, съ превосходнымъ европейскимъ образованіемъ и эстетическимъ вкусомъ, но какъ то вѣчно съ поджатой губой, выступилъ съ щепетильными статейками о микроскопическихъ явленіяхъ текущей литературы, которыя онъ, натуралистъ по образованію, анализировалъ, какъ энтомологъ козявку: «Нѣчто о петербургской литературѣ», «Еще о петербургской литературѣ», «Нѣчто о полемикѣ». Первая замѣтка подписана иниціалами Н. К., слѣдующая: Н. Ко. Съ каждой новой статьей подпись удлиняется: Н. Кос., Н. Косп., Н. Н. Косиц., и наконецъ: Н. Косица. Это жеманство характерно для Страхова, который всю жизнь недомолвливалъ, хихикалъ въ кулачекъ и стыдливо запахивался больше, чѣмъ настоящее дѣло дѣлалъ.

На страницахъ «Искры» 1863 г. не разъ изображался коренастый и

[147]) «Время» 1861. Май. Стр. 25. Отвѣтъ «Русскому Вѣстнику».

взъерошенный Мих. Достоевскій, а передъ нимъ маленькій, тоненькій, угодливо извивающійся Косица, во фракѣ и напудренномъ парикѣ, постоянно отворачивающій куда-то въ сторону свое лицо.

Однако именно за статью уклончиваго Косицы о польскихъ отношеніяхъ («Роковой вопросъ», Время 1863 г. апрѣль), обличенную Катковымъ, журналъ былъ запрещенъ навсегда.

Въ 1864 г. М. Достоевскій попытался издавать «Эпоху», но дѣло не пошло и журналъ закрылся на февральской книжкѣ 1865 г.

Щедринъ въ «Современникѣ» пустилъ кличку: Косица, Страховъ, Апол. Григорьевъ, Достоевскій — стрижи. Что сіе значило? Невѣдомо и по нынѣ.

Писаревъ, Зайцевъ, Николай Соколовъ и Благосвѣтловъ въ «Русскомъ Словѣ» пошли въ походъ за направленскія преступленія Антоновича и Щедрина въ «Современникѣ», какъ преемниковъ Добролюбова и Чернышевскаго. Полемика по красотѣ и выразительности почти достигла уровня заборной письменности...

«По силѣ таланта, утверждалъ Антоновичъ, по значительности содержанія «Отцы и дѣти» ничѣмъ не отличаются отъ романа Аскоченскаго Асмодей нашего времени... Говоримъ совершенно искренно и серьезно»[148]).

Щедринъ называетъ Зайцева и Писарева, пишущихъ въ «невинномъ, но разухабистомъ органѣ невинной нигилистической ерунды» — «вислоухими». Редакція «Русскаго Слова» не замедлила отвѣтить, что фельетонистъ «Современника» доказалъ, что его чаша полна, но что въ ней заключается не нектаръ, а какая-то «желтая жидкость». Отъ остротъ Щедрина «пахнетъ саломъ курдюцкаго барана». Затѣмъ Писаревъ назвалъ Антоновича «лукошкомъ». Антоновичъ отвѣчалъ, что Тургеневъ показалъ «Русскому Слову» фигу, а оно стало цѣловать эту фигу и «водянымъ настоемъ этой фиги» стало разбалтывать свою критику, которую онъ отнынѣ будетъ называть «бутербродомъ глубокомыслія», бутербродомъ гнилымъ и заразительнымъ. Эта грязная пошлятина достигла апогея въ 1865 году.

Намекая на то, что Благосвѣтловъ получилъ журналъ отъ графа Кушелева-Безбородко, Антоновичъ пишетъ: «Вы, г. Благосвѣтловъ, нѣкогда въ графской передней почивали на связкѣ парадныхъ гербовыхъ ливрей». «По истинѣ, вы — бутербродъ и больше ничего! Бутербродъ съ размазней, да еще гнилой»[149]).

«Ахъ вы, лгунишка! Ахъ вы, сплетникъ литературный! вопитъ Благосвѣтловъ,—вы собираетесь посадить меня на ладонь и показать публикѣ, а я совѣтовалъ бы вамъ спрятаться куда нибудь въ сапогъ и не показы-

---

[148]) «Современникъ», 1862. Май, Асмодей нашего времени.

[149]) «Современникъ» 1865 г., февраль, Глуповцы въ «Русскомъ Словѣ».

вать вашихъ безстыжихъ глазъ ни въ редакціи «Современника», ни своимъ знакомымъ». Антоновичъ затѣмъ сообщаетъ какое-то темное извѣстіе: «Опасно полемизировать съ тѣми, которые могутъ послать на вашу квартиру двухъ огромныхъ дѣтинъ гайдуковъ для вашего вразумленія», которые «прибѣгаютъ къ такимъ краснорѣчивымъ увѣщаніямъ, что для удержанія ихъ требуются дворники и городовые»[150]). Кто посылалъ гайдуковъ, остается тайной.

Непристойная полемика продолжается: «О, недоносокъ Благосвѣтловскій! О, скудоумный Писаревъ!..» реветъ Антоновичъ[151]).

Въ отвѣтной статьѣ Писаревъ переходитъ къ литературному тону, признаваясь, что «полемика приняла характеръ дикой оргіи»[152]).

Въ «Отеч. Запискахъ» Заринъ далъ подробное обозрѣніе всѣхъ стадій этой пошлой междуусобной грызни въ радикальномъ лагерѣ (1865 г. т. CLXI. Verba novissima). А газета Аксакова «День» сказала, что новый духъ, вѣющій въ «Современникѣ», — только духота отъ міазмовъ его разложенія.

Въ 1866 г. и «Современникъ», и «Русское Слово» были закрыты, причемъ Некрасовъ въ апрѣльской книжкѣ «Современника» помѣстилъ стихи «Осипу Ивановичу Комиссарову», а въ «Современное Обозрѣніе» подболталъ патріотизма. Это журналъ не спасло, только запачкало Некрасова. Вслѣдъ за тѣмъ въ 1868 г. стали выходить перерожденныя «Отеч. Записки», причемъ въ нихъ явился Щедринъ, а Некрасовъ соединился съ Краевскимъ. Создалось «Дѣло» Благосвѣтлова и двѣ вліятельныя либеральныя газеты: «Голосъ» А. Краевскаго и «С.-Петербургскія Вѣдомости» подъ редакціей Валентина Корша. Въ Москвѣ «Русскій Вѣстникъ» и «Моск. Вѣд.» Каткова «гремѣли славу трубой». Только славянофилы по прежнему сидѣли въ позѣ человѣка, который собрался чихнуть и никакъ не чихнетъ. Антоновичъ нѣкоторое время писалъ ругательныя статейки въ журнальцѣ «Космосъ». Затѣмъ издалъ «Матеріалы для характеристики современной русской литературы. Литературное объясненіе М. А. Антоновича съ Н. А. Некрасовымъ» (Спб. 1869 г.), гдѣ закидалъ грязью своего бывшаго сотоварища по «Современнику». И наконецъ замолкъ навсегда.

Нѣсколько вѣрныхъ замѣчаній о безобразной и безъидейной полемикѣ 60-хъ годовъ находимъ въ статьяхъ одного изъ тогдашнихъ критиковъ, Николая Соловьева, имѣвшаго малый успѣхъ. «Не встрѣчалось ни одного вопроса, по которому бы Писаревъ не расходился съ Антоновичемъ. Поле-

150) «Современникъ». 1865. Мартъ. Литературныя мелочи. 216.
151) «Современникъ». 1865. Іюль. Лже-реалисты.
152) «Русское Слово». 1865. Сентябрь. «Посмотримъ».

мика приняла мало по-малу самые грандіозные размѣры: образовался новый литературный родъ «ругня»[153]).

«Любить и прощать — прекрасное занятіе», восклицалъ Писаревъ, разбирая романъ Помяловскаго, «но иного подлеца не мѣшаетъ по мордѣ треснуть».

Чѣмъ же однако объясняется это столь продолжительное торжество новаго литературнаго рода?

Отрицанію искусства придали какой-то политическій смыслъ.

§ 5. Расхожденіе «отцовъ» и «дѣтей», людей 40-хъ годовъ съ юными шестидесятниками ярко подчеркнуто Герценомъ въ статьѣ, помѣщенной въ посмертномъ томѣ его сочиненій. Здѣсь достаточно рѣзко очерчены тѣ ультра, тѣ угловатые и шершавые представители «новаго поколѣнія», которыхъ можно назвать Собакевичами и Ноздревыми — нигилизма. «Едва Кельсіевъ ушелъ за порогъ», говоритъ Герценъ, «новые люди, вытѣсненные суровымъ холодомъ 1863, стучались у нашихъ дверей... Я чувствовалъ, что съ появленіемъ новыхъ людей горизонтъ нашъ не расширился, а съузился; діаметръ разговоровъ сталъ короче: намъ иной разъ нечего было другъ другу сказать»[154]).

«Снимая все до послѣдняго клочка, наши enfants terribles гордо являлись какъ мать родила, а родила-то она ихъ плохо, вовсе не простыми дебелыми парнями, а наслѣдниками дурной и нездоровой жизни низшихъ петербургскихъ слоевъ. Вмѣсто атлетическихъ мышцъ и юной наготы, обнаружились печальные слѣды наслѣдственнаго худосочія, слѣды застарѣлыхъ язвъ и разнаго рода колодокъ и ошейниковъ. Изъ народа было мало выходцевъ между ними. Передняя, казарма, семинарія, мелкопомѣстная господская усадьба, перегнувшись въ противуположное, сохранились въ крови и мозгу, не теряя отличительныхъ чертъ своихъ».

«Но съ другой стороны эта, отрѣшенная отъ обыкновенныхъ формъ общежительства, личность была полна своихъ наслѣдственныхъ недуговъ и уродствъ... Нагота не скрыла, а раскрыла, кто они. Она раскрыла, что ихъ систематическая неотесанность, ихъ грубая и дерзкая рѣчь, не имѣетъ ничего общаго съ неоскорбительной и простодушной грубостью крестьянина, и очень много съ пріемами подъяческаго круга, торговаго прилавка и лакейской помѣщичьяго дома. Вы лицемѣры, мы будемъ циники; вы были нравственны на словахъ, мы будемъ на словахъ злодѣями; вы были учтивы съ высшими и грубы съ низшими, мы будемъ грубы со всѣми; вы кла-

---

153) «Искусство и жизнь». Критическія сочиненія Николая Соловьева, М. 1869. т. I. Стр. 179.

154) 179. XI.

нетесь не уважая, мы будемъ толкаться не извиняясь; у васъ чувство достоинства было въ одномъ приличіи и внѣшней чести, мы за честь себѣ поставимъ попраніе всѣхъ приличій и презрѣніе всѣхъ points d'honneur'овъ [155]).

Развѣ въ нахальной дерзости манеръ и отвѣтовъ вы не ясно видите дерзость николаевской офицерщины и въ людяхъ, говорящихъ съ высока и съ пренебреженіемъ о Шекспирѣ и Пушкинѣ, внучатъ Скалозуба, получившихъ воспитаніе въ домѣ дѣдушки, хотѣвшаго «дать фельдфебеля въ Вольтеры? Это—дантисты нигилизма и базаровской безпардонной вольницы».

«Много дренажа требуютъ наши черноземы» [156]).

Самолюбіе ихъ не было такъ велико, какъ задорно и раздражительно, а главное не воздержанно на слова. Они не могли скрыть ни зависти, ни своего рода щепетильнаго требованія,—чинопочитанія по рангу, ими присвоенному. При этомъ сами они смотрѣли на все свысока, и постоянно трунили другъ надъ другомъ, отчего ихъ дружбы никогда не продолжались больше мѣсяца. На насъ они смотрѣли, какъ на почтенныхъ инвалидовъ, какъ на прошедшее, и наивно дивились, что мы еще не очень отстали отъ нихъ. Я всегда и во всемъ боялся пуще всѣхъ печалей» мезальянсевъ, всегда ихъ допускалъ долею по гуманности, долею по небрежности, и всегда страдалъ отъ нихъ...

Въ этой характеристикѣ, конечно, достаточно правды, но много и личной обиды.

§ 6. Публицистика и критика 60-хъ годовъ запечатлѣна странной, при колоссальной силѣ общественнаго подъема и возбужденія, и непрерывномъ творчествѣ реформъ, ничтожностью. На порогѣ десятилѣтія стоятъ послѣднія критическія статьи Добролюбова: «Когда-же придетъ настоящій день?», «Лучъ свѣта въ темномъ царствѣ», «Забытые люди»—статьи, имѣвшія колоссальное значеніе для той исторической минуты, но тѣмъ самымъ исключенныя изъ области произведеній, не взбудораженно-политической, утилитарной мысли, но объективно—творческой, единственно имѣющей непреходящее значеніе. Чернышевскій въ первые годы десятилѣтія далъ рядъ замѣчательныхъ, капитальныхъ трудовъ, въ которыхъ предварялъ Карла Маркса, опять таки имѣвшихъ громадное практическое значеніе въ моментъ дебатовъ о земельномъ устройствѣ освобождавшихся крестьянъ, но спеціально экономическихъ: «Капиталъ и трудъ», «Антропологическій методъ въ философіи», «Политическая экономія» Милля съ примѣчаніями,

[155]) 189. XI.
[156]) 191. XI.

Хотя и односторонния въ своемъ направлении, замѣчательны труды Щапова по исторіи русскаго самосознанія: «Общій взглядъ на исторію интеллектуальнаго развитія въ Россіи» (Дѣло. 1866.), «Историческія условія интеллектуальнаго развитія въ Россіи» (Дѣло. 1868.), «Естественно-психологическія условія умственнаго и соціальнаго развитія русскаго народа». (Отеч. Записки. 1870) и «Соціально-педагогическія условія умственнаго развитія русскаго народа». (1870.) Наконецъ въ высшей степени характерны критическія статьи Писарева: «Стоячая вода», «Женскіе типы», «Базаровъ», «Разрушеніе эстетики», «Пушкинъ и Бѣлинскій».

Дмитрій Ивановичъ Писаревъ родился въ 1841 году на границѣ Орловской и Воронежской губерніи. Принадлежалъ онъ къ старому и зажиточному дворянскому роду, и дѣтство его протекло въ мирной, патріархальной семьѣ подъ руководствомъ матери, образованной женщины. Четырехъ лѣтъ Писаревъ читалъ на трехъ языкахъ. Въ декабрѣ 1851 г. мальчикъ былъ привезенъ въ Петербургъ и помѣщенъ въ третью (единственную тогда классическую) гимназію. Онъ былъ все время первымъ, кончилъ съ медалью и въ 1856 году поступилъ въ университетъ на филологич. факультетъ. Въ началѣ 1858 года Писаревъ сталъ вести отдѣлъ библіографіи въ журналѣ Кремнина «Разсвѣтъ». Лѣто 1859 было для него временемъ умственнаго кризиса, такъ что ему пришлось на четыре мѣсяца поступить въ психіатрическую больницу. Выздоровѣвъ, онъ написалъ диссертацію на факультетскую тему «Объ Аполлоніи Тіанскомъ», получилъ серебряную медаль и помѣстилъ свою работу въ «Русскомъ Словѣ» 1861 г. Отсюда начинается его сотрудничество въ журналѣ Благосвѣтлова.

Въ апрѣлѣ 1862 г. вышла брошюра Шедо - Ферроти противъ Герцена. Писаревъ написалъ на нее рецензію. Цензура ее не пропустила. Тогда одинъ пріятель Писарева тиснулъ ее на тайномъ станкѣ. Вскорѣ онъ былъ арестованъ, и за нимъ 3-го іюля и Писаревъ. Онъ провелъ 4 года въ крѣпости, откуда были написаны всѣ его статьи, пріобрѣвшія ему извѣстность. Въ 1866 г. онъ былъ освобожденъ.

Разойдясь съ Благосвѣтловымъ, молодой критикъ въ 1868 году сталъ сотрудничать въ «Отеч. Зап.», преобразованныхъ Некрасовымъ. 4 іюля 1868 г., купаясь въ Дуббельнѣ, Писаревъ утонулъ.

Не помню гдѣ именно мы прочитали такое опредѣленіе: Бѣлинскій — Фаустъ нашей критики, Писаревъ — ея Мефистофель. Трудно придумать болѣе неудачное сопоставленіе. Если Бѣлинскій, съ нѣкоторой натяжкой, и можетъ быть уподобленъ Фаусту, которому «судьба дала духъ, стремящійся впередъ, который долженъ «цѣпляться, рваться, вглядываться, липнуть ко всему и въ своей ненасытности постоянно видѣть передъ собою призракъ пищи, проносящейся мимо жадныхъ губъ, едва онѣ коснулись ея», который «лишь грезилъ и гнался за своими грезами», то ничего

мефистофельскаго невозможно открыть ни въ личности, ни въ писаніяхъ Писарева.

Писаревъ—это честный и чистый русскій юноша, съ душою открытой добру, романтикъ по природѣ, реалистъ по разсудку, безконечно одинокій и рвущійся къ жизни, юноша еще зеленый и постоянно выкидывающій самыя мальчишескія выходки. Драгоцѣннѣйшее въ твореніяхъ нашихъ публицистовъ и критиковъ чаще всего они сами, ихъ личность, чего никакъ нельзя сказать о западныхъ мыслителяхъ. Вольтеръ-человѣкъ и Вольтеръ-мыслитель—двѣ вещи разныя. Фридрихъ Великій, обожая до гроба Вольтера-мыслителя, называлъ Вольтера-человѣка «злой обезьяной».

Русская молодежь, именно самая зеленая, провинціальная молодежь, инстинктивно выбрала въ свои наставники Писарева. Можно сказать, что этотъ критикъ такъ же превратился изъ критика для взрослыхъ въ критика для юношества, какъ романы Купера, которые прежде читали старшіе, всецѣло перешли въ обладаніе младшихъ. Русская молодежь инстинктивно тянется къ обаятельно простодушной личности Писарева. Съ его именемъ въ воображеніи всегда возстаетъ невозвратное время. Представляется тихій городокъ, бѣдная слободка на окраинѣ, домики, тонущіе въ зелени бузины и черемухи, зеленые склоны оврага и широкое поле, откуда бредетъ на закатѣ городское стадо. Представляются таинственныя собранія въ крохотной хибаркѣ на краю оврага, условные стуки въ подслѣповатое окно, вождь и развиватель — студентъ Ивановъ въ высокихъ сапогахъ и косовороткѣ подъ грязнѣйшимъ сюртукомъ... О, моя юность! о, моя свѣжесть! Какъ тогда упивались мы Писаревымъ! Какъ презирали Пушкина и гнилыхъ эстетиковъ! И надо признать, что Писаревъ съ своимъ задорнымъ стилемъ, съ мальчишеской смѣлостью и прямолинейностью необыкновенно какъ будилъ мысль и заставлялъ работать юный мозгъ. Писаревъ отвѣчалъ на всѣ запросы. Онъ съ той жаждой жизни и стремленіемъ къ дѣятельности, которыми проникнута каждая строка его статей, вполнѣ отвѣчалъ настроенію всѣхъ этихъ гимназистовъ, реалистовъ и семинаристовъ, которые составляли провинціальный кружокъ «самообразованія».

Писаревъ—Мефистофель! Что за неудачное сопоставленіе.

Грустно перечитывать Писарева. Вообще перечитывать тѣ книги, которыми восторгался въ ранней юности, значитъ оборвать нѣсколько лепестковъ у прекрасныхъ воспоминаній прошлаго. Вторичное чтеніе, когда видишь всѣ прорѣхи, всѣ недостатки книги, когда она уже не покоряетъ, а наоборотъ, ею владѣешь и видишь насквозь ея автора, неумолимо стираетъ первое впечатлѣніе, которое свѣтлымъ и радостнымъ слѣдомъ лежало въ воспоминаніи.

Книга, которую читалъ въ далекомъ прошломъ, при перечитываніи

превращается въ бездыханный, засохшій цвѣтокъ, положенный между листами на память и преданный забвенью.

Писаревъ боролся съ эстетикой. Вотъ его единственный почти врагъ. При этомъ онъ прежде всего отказывается отъ наслѣдства 40-хъ годовъ, какъ дѣлали это въ наши дни нѣкоторые восьмидесятники по отношенію къ «шестидесятникамъ».

«Когда наши дѣдушки забавлялись мартинизмомъ, масонствомъ или вольтерьянствомъ, — говоритъ Писаревъ, — когда наши папеньки увлекались романтизмомъ, байронизмомъ или гегелизмомъ, тогда они были похожи на очень юныхъ гимназистовъ, которые, во что бы то ни стало, стараются себя увѣрить, что чувствуютъ неодолимую потребность затянуться послѣ обѣда крѣпкой папиросой... У нихъ существовала дѣйствительная потребность занять мозги какимъ-нибудь размышленіемъ, но почему выписывался изъ-за границы мартинизмъ, или байронизмъ, или гегелизмъ — на этотъ вопросъ не ищите отвѣта».

На смѣну этихъ гимназистовъ-гегелистовъ выходятъ серьезные, мыслящіе реалисты, которые ужасно какъ солидны, по сторонамъ не глядятъ, пустяками не занимаются, видятся только съ тѣми людьми, съ которыми имъ «нужно» видѣться; читаютъ только тѣ книги, которыя имъ «нужно» прочесть; они даже ѣдятъ только ту пищу, которую имъ «нужно» ѣсть... У нихъ есть только одна слабость: хорошая сигара, безъ которой они не могутъ вполнѣ успѣшно размышлять. Но и это наслажденіе служитъ имъ только средствомъ: они курятъ не потому, что это доставляетъ имъ удовольствіе, а потому, что куреніе «возбуждаетъ ихъ мозговую дѣятельность». Любители сигаръ, мыслящіе реалисты съ полнымъ презрѣніемъ относятся къ старикамъ, затягивавшимся только крѣпкими папиросами. Происходитъ то же, что на нашихъ глазахъ случилось въ концѣ вѣка, когда объективные «марксисты» съ юношескимъ задоромъ назвали Михайловскаго, Южакова, В. В., Николая—она и проч. «субъективными старичками», чѣмъ тѣ обидѣлись до глубины души.

Грановскій и Кудрявцевъ! «Эти два професора, — снисходительно замѣчаетъ Писаревъ, — жили и умерли вполнѣ честными людьми, но надо сказать правду, что имъ въ этомъ отношеніи сильно посчастливилось: ихъ выручила своевременная смерть, которую ихъ почитатели совершенно неосновательно называютъ преждевременной. Между такимъ историкомъ, какъ Грановскій, и такимъ, какъ Костомаровъ, лежитъ дистанція огромнаго размѣра, а извѣстно, что даже Костомарова застаютъ иногда врасплохъ и ставятъ въ тупикъ запросы пробуждающейся жизни».

Бѣлинскій и Добролюбовъ! «Еслибы Бѣлинскій и Добролюбовъ поговорили между собою съ глаза на глазъ, съ полной откровенностью, то они разошлись бы между собою на очень многихъ пунктахъ. А если бы мы по-

говорили такимъ же образомъ съ Добролюбовымъ, то мы не сошлись бы съ нимъ почти ни на одномъ пунктѣ... Идеи.. Бѣлинскаго уже не годятся для нашего времени... Бѣлинскій—натуралистъ, а не эстетикъ и не гегельянецъ, принесъ бы въ десять разъ больше пользы».

Жуковскій и Пушкинъ! «У насъ были или зародыши поэтовъ, или пародіи на поэта. Зародышами можно назвать Лермонтова, Гоголя, Полежаева, Крылова, Грибоѣдова; а къ числу пародій я отношу Пушкина и Жуковскаго... Зародыши все-таки заслуживаютъ нашего уваженія... О пародіяхъ на поэта намъ приходится высказать совершенно противоположное мнѣніе... Мы можемъ надѣяться, что ихъ прославленныя имена скоро забудутся... Говорятъ, напримѣръ, что Пушкинъ—великій поэтъ, и всѣ этому вѣрятъ. А на повѣрку выходитъ, что Пушкинъ просто великій стилистъ, и больше ничего».

Щедринъ! «Я совѣтовалъ Щедрину,—съ убійственнымъ простодушіемъ замѣчаетъ Писаревъ,—заняться компиляціями по естественнымъ наукамъ».

Намъ кажется, что дальнѣйшихъ выписокъ не потребуется. И приведенныхъ отзывовъ достаточно, чтобы вполнѣ охарактеризовать Писарева, какъ критика. Надо, однако, сказать, что рядомъ съ этимъ, Писаревъ чрезвычайно высоко ставитъ Гете, Гейне, Виктора Гюго, хотя въ число «пустяковъ» изъ западной литературы у него и попалъ романъ «Саламбо» — Флобера, а изъ русской—повѣсть Тургенева «Первая любовь»...

Чрезвычайная наивность, юношески простодушная, съ которой Писаревъ «ляпаетъ» свои приговоры, совершенно обезоруживаетъ.

«Разрушеніе эстетики»—вотъ основная задача юноши-Писарева. Эстетика его главный, почти единственный врагъ. Правда, въ своемъ походѣ на эстетику онъ только слѣдуетъ по стопамъ Чернышевскаго.

Отвертываясь отъ «явленій плюгавой старости», онъ проповѣдуетъ «мыслящій реализмъ».

«Реализмъ долженъ радикально истребить эстетику». «Эстетика есть самый прочный элементъ умственнаго застоя и самый надежный врагъ разумнаго прогресса». Вотъ основное положеніе Писарева.

Смѣшавъ затѣмъ съ искусствомъ «эстетику», какъ эпикурейское смакованіе всевозможнаго рода «красивостей», отъ гармоничныхъ стиховъ до мягкой кушетки и отъ вылощеннаго сонета до тонкаго вина, какъ украшеніе жизни богатыхъ и праздныхъ людей, какъ паразитную плѣсень меценатства и роскоши, Писаревъ выбрасываетъ эстетику за бортъ вмѣстѣ съ искусствомъ.

«Нашихъ реалистовъ,—говоритъ онъ,—упрекаютъ давно и сильно въ томъ, что они не понимаютъ и не уважаютъ искусство (NB. Упрекъ справедливый: Писаревъ потому и не уважалъ искусство, что въ немъ не разобрался и не отдѣлилъ эстетическую шелуху отъ питательнаго ядра). Упрекъ

въ непониманіи несправедливъ; а что они не уважаютъ искусство, — это вѣрно». «Вкусы человѣческіе безконечно разнообразны: одному желательно выпить передъ обѣдомъ рюмку очищенной водки; другому — выкурить послѣ обѣда трубку махорки; третьему — побаловаться вечеромъ на скрипкѣ или на флейтѣ; четвертому — придти въ восторгъ и въ ужасъ отъ взвизгиваній Ольриджа въ роли Отелло. Ну, и безподобно. Пускай утѣшаются... «Общество любителей псовой охоты», «общество театраловъ», «общество любителей слоеныхъ пирожковъ», «общество любителей музыки»... великій Бетховенъ, великій Рафаэль, великій Канова, великій шахматный игрокъ Морфи, великій поваръ Дюссо, великій маркеръ Тюря. Мы можемъ только радоваться этому обилію человѣческой геніальности и осторожно проходить мимо всѣхъ этихъ «обществъ любителей», тщательно скрывая улыбку... Впрочемъ, отрицать совершенно практическую пользу живописи мы, конечно, не рѣшимся. Черченіе плановъ необходимо для архитектуры, почти во всѣхъ сочиненіяхъ по естественнымъ наукамъ требуются рисунки. Даровитый и образованный художникъ можетъ своимъ карандашемъ помогать натуралисту въ распространеніи полезныхъ знаній. Но, вѣдь, ни Рембрантъ, ни Тиціанъ, — съ обезоруживающимъ простодушіемъ продолжаетъ свои «съ-ногъ-сшибательныя» разсужденія зеленый критикъ, — не стали бы рисовать картинки для популярнаго сочиненія по зоологіи или ботаникѣ. А ужъ какимъ образомъ Моцартъ и Фанни Ельслеръ, Тальма и Рубини ухитрились бы пристроить свои великія дарованія къ какому-нибудь разумному дѣлу, этого я даже и представить себѣ не умѣю».

Нельзя не признать, что эти взгляды, впитанные рядомъ поколѣній въ ранней юности, благодаря гоненіямъ на Писарева и запрещенію его сочиненій, много способствовали одичанію и огрубенію русской, особенно провинціальной жизни, подготовивъ ее къ современному всестороннему «опрощенію». Начитавшись Писарева (а какъ не читать, разъ онъ запрещенъ!), молодежь выбрасывала въ печку Пушкина, отвертывалась отъ искусства и грубѣла, лишенная его гуманитарнаго вліянія. Писаревъ уважалъ Гёте. Но и на него скоро установился остракизмъ, потому что Гёте былъ «тайнымъ совѣтникомъ» и «лизоблюдничалъ» при Веймарскомъ дворѣ.

Вслѣдъ за искусствомъ выбрасывалъ Писаревъ и все, отзывавшееся на его вкусъ «эстетикой» въ области наукъ. Онъ предупреждаетъ вступающихъ въ храмъ наукъ молодыхъ людей, что изъ преддверія идутъ два коридора: «Пойдешь налѣво — тебѣ покажутъ тысячи палисандровыхъ дощечекъ и атласныхъ лоскутковъ, которые тебѣ придется жевать для утоленія умственнаго голода. А пойдешь направо — тебя накормятъ, одѣнутъ, обмоютъ и покажутъ кромѣ того, какъ кормить, одѣвать и обмывать другихъ людей».

«Палисандровыя дощечки» и «атласные лоскутки»—это филологическія науки и толпа различныхъ «правъ». Кому же охота идти налѣво и жевать атласъ?! Всякій мыслящій реалистъ пойдетъ направо. Тамъ то работа кипитъ! «Одинъ добываетъ какую-нибудь кислоту, другой анатомируетъ пузырчатую глисту, третій изслѣдуетъ химическія свойства гуано... шестой анализируетъ мочу помѣшанныхъ людей, и такъ далѣе...»

Отрицаніе «эстетики» съ одной стороны и анализы «мочи помѣшанныхъ людей» съ другой—не исчерпываютъ содержанія того типа, который Писаревъ называетъ «мыслящимъ реалистомъ». Онъ указываетъ затѣмъ основныя черты нравственнаго облика реалиста, и вотъ тутъ-то онъ постоянно противорѣчитъ себѣ, или вѣрнѣе его собственная чистая, самоотверженная натура идеалиста постоянно прорывается и уничтожаетъ выдуманную черствую личину, которую Писаревъ старается на себя натянуть. Мы видѣли, что онъ потому, между прочимъ, совѣтуетъ молодежи идти «направо», что тамъ ее научатъ «какъ кормить, одѣвать и обмывать другихъ людей». «Ранній человѣколюбецъ» уже смотритъ изъ этихъ словъ. Далѣе онъ говоритъ: «Надо повиноваться голосу желудка, потому что урезонить его невозможно, апеллировать на него некуда, а бороться съ нимъ, значитъ только вызвать тошноту и разныя другія болѣзненныя явленія». Увы, эту истину бѣднякъ, вѣроятно, не разъ провѣрялъ на себѣ, сидя на скудномъ харчѣ Благосвѣтлова.

Реалистъ прежде всего долженъ «очистить свою личность отъ всѣхъ грязныхъ ингредіентовъ, вошедшихъ въ нее изъ почвы» при помощи «умныхъ людей и умныхъ книгъ». Затѣмъ реалистъ—«мыслящій работникъ, съ любовью занимающійся трудомъ»; «у реалиста трудъ стоитъ на первомъ планѣ; что помогаетъ успѣху его труда, то онъ любитъ; что мѣшаетъ его труду, то онъ ненавидитъ»; «послѣдовательный реалистъ безусловно презираетъ все, что не приноситъ существенной пользы»; наконецъ—эстетикъ и реалистъ, оба вполнѣ эгоисты. Но эгоизмъ эстетика похожъ на безсмысленный эгоизмъ ребенка, готоваго ежеминутно облопаться сквернѣйшими леденцами и коврижками. А эгоизмъ реалиста есть сознательный и глубоко-разсчетливый эгоизмъ зрѣлаго человѣка, заготовляющаго себѣ на цѣлую жизнь неистощимые запасы свѣжаго наслажденія». Не должно, однако, пугаться этой черствой проповѣди самодовлѣющаго труда, существенной пользы, разсчетливаго эгоизма и свѣжаго наслажденія, да еще «на цѣлую жизнь». Все это только страшныя слова, та «хорошая сигара», которую юноша Писаревъ противопоставляетъ «крѣпкой папиросѣ» романтиковъ гегелистовъ и вообще всякаго «гнилаго старичья». При ближайшемъ разсмотрѣніи, весь этотъ эгоизмъ таетъ, какъ снѣгъ. Оказывается, что «вполнѣ разсчетливый эгоизмъ совершенно совпадаетъ съ результатами самаго сознательнаго человѣколюбія» и для реалиста «идея общечеловѣческой со-

лидарности есть просто одинъ изъ основныхъ законовъ человѣческой природы»; болѣе того, мыслящій реалистъ считаетъ совершенно возможнымъ «провести идею дѣятельной любви во всѣ мельчайшіе поступки собственной жизни». Но окончательно улетучивается вмѣстѣ съ дымомъ хорошей сигары писаревскій эгоистическій утилитаризмъ, когда онъ начинаетъ говорить о призваніи поэта. «Поэтъ, какъ человѣкъ страстный и впечатлительный, непремѣнно долженъ всѣми силами своего существа любить то, что кажется ему добрымъ, истиннымъ и прекраснымъ, и ненавидѣть святой и великой ненавистью ту огромную массу мелкихъ и дрянныхъ глупостей, которая мѣшаетъ идеямъ истины, добра и красоты облечься въ плоть и кровь и превратиться въ живую дѣйствительность».

Писаревъ былъ очень юнъ, очень честенъ, очень уменъ и очень талантливъ. Но онъ былъ одинокъ. Нечего поэтому удивляться, если анализъ писаній Писарева покажетъ, что все содержаніе своего «мыслящаго реализма» Писаревъ взялъ изъ «Отцовъ и дѣтей» Тургенева. Въ самомъ дѣлѣ, реалистическія статьи Писарева — обширные комментаріи къ краткимъ рѣчамъ Базарова. У Тургенева Базаровъ говоритъ Аркадію: «Твой отецъ — добрый малый, но онъ человѣкъ отставной, его пѣсенка спѣта. Онъ читаетъ Пушкина». Эти слова опредѣлили воззрѣнія Писарева на Пушкина. Писаревъ самъ признается: «Базаровъ съ первой минуты своего появленія приковалъ къ себѣ всѣ мои симпатіи, и онъ продолжаетъ быть моимъ любимцемъ даже теперь... Базаровъ говоритъ немного, и выражаетъ свои мысли такъ коротко и отрывисто, что почти каждое слово требуетъ дополнительныхъ и пояснительныхъ коментаріевъ... Такъ говорятъ только дѣловые люди». Вотъ «дополнительные и пояснительные комментаріи» къ краткимъ и отрывистымъ словамъ Базарова и представляютъ всѣ лучшія статьи Писарева. Писаревъ, конечно, полагалъ, что Базаровъ взятъ Тургеневымъ изъ русской дѣйствительности. Но бѣда въ томъ, что Тургеневъ своего нигилиста отчасти списалъ съ какого-то доктора-француза, отчасти выдумалъ, поэтому болѣе опытный «Современникъ» и не призналъ его своимъ. Писаревъ же, какъ зеленый юноша, по уши влюбился въ Базарова, плѣненный его смѣлостью и дерзостью.

Писаревъ не замѣтилъ, что Базаровъ по своей натурѣ — анахронизмъ, что это чадо XVIII вѣка, съ его вѣрой въ безличный, международный разумъ, въ эгоизмъ, уживающейся съ «общей пользой», съ его прямолинейнымъ утилитаризмомъ. Человѣкъ средины XIX вѣка, Писаревъ не можетъ усидѣть на старомъ, изъѣзженномъ конькѣ энциклопедизма, поминутно съ него съѣзжая. Писаревъ подноситъ свой заношенный «реализмъ», какъ какую-то новинку, да при этомъ еще утверждаетъ, что Вольтеръ былъ эстетикъ и не зналъ «чистаго реализма». Иначе говоря, вольтеровымъ до-

бромъ, да ему же челомъ... Все это потому произошло, что Писаревъ совсѣмъ не зналъ жизни.

Намъ кажется, что заплѣснeвѣлость публицистическихъ идей юноши Писарева, какъ и всю несуразность его критическихъ воззрѣній, нечего далѣе доказывать. Самое драгоцѣнное въ писаніяхъ Писарева — онъ самъ, его привлекательная, чистая и честная личность. Наслѣдіе же писаревскихъ идей не велико. Однако оно есть, и мы лично подписываемся обѣими руками подъ слѣдующими положеніями критика:

«Во-первыхъ мы бѣдны, а во-вторыхъ—глупы». Это было сказано сорокъ лѣтъ тому назадъ. Но съ тѣхъ поръ мы не только не разбогатѣли, а по мнѣнію однихъ такъ же бѣдны, по мнѣнію другихъ стали еще бѣднѣе. А если мы спустя сорокъ лѣтъ все же бѣдны, ясно, что мы такъ же глупы, если еще не стали глупѣе. Въ силу же того, что мы бѣдны, «тѣ люди, которые, по своему положенію могутъ и по своему личному характеру желаютъ работать умомъ, должны расходовать свои силы съ крайней осмотрительностью и разсчетливостью: то-есть, они должны браться лишь за тѣ работы, которыя могутъ принести обществу дѣйствительную пользу».

И наша литература могла бы принести очень много пользы, если бы она тщательно подмѣтила и основательно разоблачила различныя проявленія мартышкина труда, свирѣпствующаго въ нашемъ обществѣ и отравляющаго нашу умственную жизнь».

Какъ противникъ «мартышкина труда», я вполнѣ раздѣляю и мнѣніе Писарева, что «эстетика», если подъ ней подразумѣвать всякое тунеядское роскошество разъѣвшихся міроѣдовъ, «есть самый прочный элементъ умственнаго застоя и самый надежный врагъ разумнаго прогреса». Мнѣ лично всегда былъ отвратителенъ тотъ декадентскій эстетизмъ, которымъ въ послѣдніе годы силились развращать русскую публику наши «ницшеане», дѣлавшіе, впрочемъ, это скверное дѣло столь смѣхотворно и глупо, въ такомъ отталкивающемъ нравственномъ безобразіи уча насъ находить демоническую, вакхическую и символическую красоту, что никого не увлекли, всѣмъ стали тошны и нынѣ гибнутъ отъ худосочія и равнодушія публики. Здравое зерно здраваго смысла, бывшее въ Писаревѣ, не должно заглохнуть. Я думаю, что нѣтъ ничего хуже, какъ прививка молодежи эстетизма, да еще мѣщанскаго пошиба, эстетизма мягкихъ дивановъ, модныхъ галстуховъ, бѣлой подкладки, тонкихъ винъ, кокотокъ, игривыхъ мотивовъ и безсмысленно-красивыхъ стиховъ, который такъ непріятно бьетъ въ современныхъ «знажникахъ». Но молодежь, конечно, не должна порывать съ искусствомъ, съ строгимъ искусствомъ, съ искусствомъ серьезныхъ запросовъ жизни и высокихъ идеаловъ.

БИБЛІОГРАФІЯ: Сочиненія Д. И. Писарева 6 томовъ. Съ портретомъ и біографіей. Изд. Ф. Павленкова. Спб. 1894 г. Здѣсь замѣч. статьи Стоячая вода. Писемскій. Тургеневъ и Гончаровъ (въ I т.): Пчелы. Базаровъ (II т.): Наша университетская наука. Цвѣты невиннаго юмора (т. III): Реалисты. Промахи незрѣлой мысли. Романъ Кисейной дѣвушки. Разрушеніе эстетики (IV т.): Пушкинъ и Бѣлинскій. Посмотримъ (V т.).— Сочиненія 10 томовъ. Изд. Ф. Павленкова. Спб. 66—69 гг. Здѣсь статьи. Бѣдная русская мысль. Кукольная трагедія съ букетомъ гражданской скорби (т. II); Сердитое безсиліе (т. III): Мыслящій пролетаріатъ (т. IV).

Біографія и оцѣнки: Евг. Соловьевъ. Писаревъ, его жизнь и дѣятельность. Біографич. библіотека Павленкова. Спб. 1894 г. — Ивановъ. Исторія русской критики. Т. II. ч. IV. Стр. 623—688. Писаревъ, какъ личность и какъ писатель. — Скабичевскій. Писаревъ, его критическая дѣятельность въ связи съ характеромъ его умственнаго развиванія. Соч. т. I. — М. Протопоповъ. Писаревъ. Русск. Богат. 1895 г. № 1. — Барро. Д. И. Писаревъ. Критико-Біографическій очеркъ. Новое Слово. 1894 г. № 3. — Н. Соловьевъ. Безплодная плодовитость (О дѣятельности Писарева въ Русскомъ Словѣ). Эпоха 1864 г. № 12 Моралисты новой школы. Покойный Писаревъ и его читатели. Русск. Вѣстн. 1870 г. № 7 и 9.

II.

§ 1. Чтобы дать ясный отчетъ въ развитіи русскаго романа въ эпоху 60-хъ годовъ, надо принять во вниманіе, что тогда дѣйствовали двѣ школы беллетристовъ: художники плеяды сороковыхъ годовъ и собственно беллетристы—шестидесятники. Первая школа по традиціямъ, воспитанію, по аудиторіи, съ которой имѣла раньше дѣло, глубоко отличается отъ второй, воспитанной на критикѣ Чернышевскаго и сложившейся въ эпоху глубокихъ общественныхъ волненій. Дворянское гнѣздо и Обломовъ появились четырьмя годами позже первыхъ статей Добролюбова и диссертаціи объ отношеніи искусства къ дѣйствительности Чернышевскаго. Произведенія обѣихъ школъ довольно долго печатались на страницахъ тогдашнихъ журналовъ рядомъ. Толькъ въ 70-хъ годахъ пріютомъ для старыхъ художественныхъ силъ преимущественно сталъ „Русскій Вѣстникъ“, а для новыхъ беллетристовъ „Отечественныя Записки“. Еще болѣе, чѣмъ идейное содержаніе литературы, измѣнился составъ и характеръ читателей. Новый читатель предъявлялъ и новыя требованія, и эта перемѣна аудиторіи, внезапно наполнившейся новыми людьми, удручала старыхъ словесниковъ, хотя-бы Тургенева и Гончарова. Тутъ не идейное только различіе было, но бытовое.

Человѣкъ 40-хъ годовъ, говоритъ г. Головинъ въ своемъ изслѣдованіи,—могъ увлекаться радикальными теоріями, но объектъ этого радика-

лизма—народъ, оставался для него чѣмъ-то далекимъ, почти отвлеченнымъ... Человѣкъ 40-хъ годовъ, при всемъ своемъ демократизмѣ, оставался человѣкомъ высшаго культурнаго слоя... Культъ изящнаго и въ жизненной обстановкѣ, и въ литературномъ творчествѣ—этотъ культъ совершенно исчезаетъ въ поколѣніи 60-хъ годовъ. Поколѣніе это прямо даже проповѣдуетъ небрежность формы, презрѣніе къ изяществу и явно подсмѣивается надъ желаніемъ говорить и держать себя красиво, отличавшимъ людей сороковыхъ годовъ. И перемѣна замѣтна не только въ способѣ изложенія, въ манерѣ писателей—она касается и сюжета.»[157]).

Однако эпоха сказалась и на словесникахъ 40-хъ годовъ. Они то-же пустились въ тенденціозную беллетристику, осмѣивая въ желчныхъ каррикатурахъ отрицательныя стороны движенія.

Такимъ образомъ беллетристику 60-хъ годовъ можно подраздѣлить такъ: Двѣ школы романистовъ.

А. Беллетристы—шестидесятники.

Тенденціозная радикальная беллетристика.

«Что дѣлать?» Чернышевскаго.

Герои Помяловскаго, Слѣпцова, Омулевскаго, Шеллера — Михайлова, Крестовскаго (Хвощинской).

Этнографическо-народническая беллетристика.

Рѣшетниковъ; Гл. Успенскій.

Б. Художники сороковыхъ годовъ.

Тенденціозная беллетристика.

1860. Наканунѣ. 1862. Отцы и дѣти. 1863. Взбаломученное море. 1864. Марево. 1865. Некуда. 1867. Дымъ. 1868. Обрывъ.

Сатира Щедрина.

Чисто-художественныя созданія.

Война и миръ.

Преступленіе и наказаніе.

Съ одного взгляда видно, что силы обѣихъ школъ не равномѣрны, и что вторая превосходитъ первую обиліемъ и совершенствомъ созданій. Тенденціозная беллетристика собственно шестидесятниковъ почти вся цѣликомъ носитъ шаблонный и противохудожественный характеръ. Между тѣмъ тенденціозные романы старыхъ художниковъ полны художественными образами, рядомъ съ шаржемъ и каррикатурой.

§ 2. Тенденціозная радикальная беллетристика шестидесятниковъ по своему содержанію распадается на двѣ, довольно рѣзко очерченныя группы. Съ одной стороны она рисуетъ борьбу новыхъ людей съ прежнимъ строемъ

[157]) Русскій романъ и русское общество Спб. 1897. Стр. 147—149.

жизни и понятій въ культурномъ обществѣ и въ низшихъ сословіяхъ. Страстный пафосъ ея изображеній портитъ отсутствіе безпристрастія и часто фальшь самыхъ новыхъ идей, за которыя бьются герои семейнаго, общественнаго и политическаго протеста.

Рядомъ идетъ разработка народнаго быта, рисуется безконечно видоизмѣняющійся образъ мужика, какъ болѣе или менѣе пассивной жертвы всевозможныхъ притѣсненій и невзгодъ. Въ области этихъ изображеній беллетристы 60-хъ годовъ проявили всего больше художественности, какъ и вообще въ рисовкѣ купеческаго, священническаго, мелко-чиновническаго и разночинскаго быта, и быта фабричныхъ, мастеровыхъ и т. д. Часто выйдя изъ среды ими изображаемой, они давали такую правду, которую дворяне-художники старой школы не могли дать, наблюдая низшіе классы издалека. Исключеніе составлялъ Достоевскій, котораго каторга сблизила съ народной средой.

Въ тенденціозныхъ повѣстяхъ и романахъ тамъ, гдѣ выступаютъ дѣйствующія лица изъ образованной среды, идетъ горячая борьба противоположныхъ взглядовъ на жизнь; несмотря на обиліе мелкихъ бытовыхъ чертъ, вмѣсто типическихъ фигуръ зачастую передъ нами отвлеченная идея въ лицахъ или прямо пламенныя рѣчи безъ лицъ.

Тамъ-же, гдѣ исключительно рисуется народная среда, для идейныхъ столкновеній нѣтъ уже мѣста, появляется прямое и простое отношеніе къ дѣйствительности и правдивое изображеніе быта. Къ сожалѣнію, редакціонная цензура иногда проходилась по первоначальному рисунку мастера и стирала или ослабляла тѣ черты народной жизни, отъ которыхъ вѣяло «славянофильствомъ». Это особенно замѣтно на Глѣбѣ Успенскомъ. Въ вышеупомянутомъ изслѣдованіи г. Головинъ даетъ, хотя и саркастическую, но очень меткую характеристику «направленской» беллетристики, романовъ и повѣстей съ «радикальной начинкой». Онъ только упускаетъ искреннее увлеченіе писателей той эпохи и ту внутреннюю правдивость, которая одушевляла ихъ, какъ фанатическая вѣра въ ихъ идеалы. Романы и повѣсти 60-хъ годовъ, насколько они вращаются въ среднихъ и высшихъ классахъ, носятъ на себѣ отпечатокъ двухъ главныхъ теченій эпохи— практическаго реализма и революціоннаго идеализма, проникнуты то побѣдоносно-задорнымъ, то мрачно-востороженнымъ настроеніемъ. Фигуры героевъ то щеголяютъ реалистическимъ эгоизмомъ, то самоотверженнымъ энтузіазмомъ. Громадное вліяніе на нихъ имѣли герои нѣмецкаго романиста Шпильгагена. Таковы — Молотовъ (Помяловскаго), Рязановъ (Слѣпцова), герои Михайлова—Шеллера и Крестовскаго (псевдонимъ), наконецъ Свѣтловъ (Омулевскаго).

Таковы и герои романа Чернышевскаго «Что дѣлать?», совершенно лишеннаго всякаго художественнаго достоинства— Лопуховъ, Кирсановъ, спя-

щій на гвоздяхъ Рахметовъ... Они невозмутимо тверды въ своихъ рѣшеніяхъ, проникнуты уваженіемъ къ самимъ себѣ, обладаютъ физической силой неимовѣрной. Такъ и герои Шпильгагена всегда атлеты. Сходясь съ семнадцати лѣтней Вѣрочкой, мыслящій Кирсановъ говоритъ: «У тебя будетъ своя комната, у меня тоже. Никто изъ насъ не смѣетъ ходить другъ къ другу безъ позволенія и въ особенности не должны мы смѣть о чемъ-нибудь другъ друга распрашивать, потому что это будетъ нарушеніемъ взаимной свободы. Между этими комнатами—третья, нейтральная, гдѣ мы будемъ сходиться. Никто изъ насъ не долженъ чѣмъ-либо жертвовать для другого, потому что тамъ, гдѣ жертва, нѣтъ свободы и, стало быть, нѣтъ и счастья. А счастье, т. е. жизнь по вкусамъ, безъ стѣсненій, для человѣка единственная разумная цѣль».

Не всегда въ литературныхъ произведеніяхъ новый человѣкъ являлся въ образѣ передоваго разночинца и не всегда онъ принадлежалъ къ юному поколѣнію. Случалось, что герой выступалъ изъ помѣщичьей среды, отряхая прахъ отъ ногъ своихъ. Порой за новыя начала выступали отцы противъ дѣтей—ретроградовъ, выродковъ поколѣнія. Но у всѣхъ, старыхъ и молодыхъ, кающихся дворянъ и твердо — пламенныхъ разночинцевъ, цѣль была одна—радикальное переустройство общества, до мелочей вседневной жизни включительно, и такъ какъ общее благо сливается съ личнымъ, самый беззастѣнчивый реализмъ аппетитовъ. Конечно, ретрограды писались сажей, а новаторы— бѣлилами. При всей грубой шаблонности этого пріема въ основѣ его лежала опредѣленная доктрина, въ правильность которой твердо вѣровали. Бѣда была только въ томъ, что для этой доктрины приходилось выдумывать и людей, и дѣйствительность. Въ реальной средѣ эти блѣдные призраки мозговой горячки гибли и распадались прахомъ.

«Въ бесѣдахъ съ представителями застоя авторскіе избранники высказывали глубокомысліе и остроуміе поразительныя и одерживали надъ ними верхъ тѣмъ легче, что послѣднихъ авторъ надѣлялъ непроходимою глупостью... Если судьба передовыхъ героевъ не всегда совершалась благополучно, если имъ не разъ приходилось въ концѣ концовъ принять мученическій вѣнецъ... тогда получалась побѣда чисто нравственная, и самая гибель симпатичнаго героя тѣмъ сильнѣе пріобрѣтала ему сочувствіе читателей... Новымъ людямъ надо было чѣмъ-нибудь вознаградить себя за не совсѣмъ казистую дѣйствительность, и они приписывали себѣ въ области фантазіи блестящія побѣды, которыхъ въ дѣйствительности не было... И наряду съ этими героями, какъ неизмѣнная спутница, является героиня 60-хъ годовъ, иногда угнетаемая въ семьѣ, но чаще съ самаго дѣтства съумѣвшая выказать самостоятельность и всегда готовая проникнуться вѣрою въ новую правду. Она шаблонна не менѣе героя мужскаго пола... Однообразна развязка: юная героиня либо проникается умственнымъ вели-

ціемъ героя, изъявляя готовность за нимъ слѣдовать повсюду, либо, найдя, что герой этотъ великъ только на словахъ, что на самомъ дѣлѣ натура его только подкрашена подъ настоящую сталь, она презрительно отъ него отворачивается, обрекая себя на одиночество, либо посвящая себя либеральной профессіи —акушерству или обученію дѣтей. Какъ въ алгебраической формулѣ можно буквы замѣнить числами, такъ и здѣсь можно приведенныя черты замѣнить собственными именами героевъ и героинь, и получается содержаніе подавляющаго большинства тогдашнихъ повѣстей и романовъ»[158]).

§ 3. Двѣ школы продолжали дѣйствовать и въ 70-е годы. Но въ «Отечественныхъ Запискахъ», беллетристика «шестидесятниковъ» и «семидесятниковъ», какъ народническо-бытовая, такъ и тенденціозно-радикальная, подчинилась художественному вкусу Щедрина—Салтыкова, человѣка 50-хъ годовъ, съ воспитаніемъ старой школы словесниковъ. Онъ ввелъ это теченіе въ художественныя рамки, и подъ его редакціей стала вырабатываться школа бытовиковъ и жанристовъ, несравнимая съ беллетристикой Благосвѣтловскаго «Русскаго Слова». Элементъ художественности былъ развитъ въ ней Щедринымъ. Въ то-же время «Русскій Вѣстникъ» сталъ пріютомъ крупныхъ художественныхъ силъ старой школы 40-хъ годовъ и своего рода литературной Вандеей. Тамъ развилась консервативная тенденціозная беллетристика, совершенно по своей антихудожественной шаблонности аналогичная радикально - тенденціозной беллетристикѣ 60 - хъ годовъ. Самымъ талантливымъ представителемъ ея былъ Болеславъ Маркевичъ.

«Беллетристы реакціоннаго лагеря, подвизавшіеся по большей части на страницахъ Русскаго Вѣстника, говоритъ г. Скабичевскій, въ своей «Исторіи новѣйшей русской литературы», до такой степени всѣ подъ-рядъ пѣли въ одинъ голосъ, и оставались вѣрными своему шаблону, что нѣтъ ничего легче начертать стереотипный планъ, подъ который подойдутъ большинство реакціонныхъ романовъ... На первомъ планѣ въ каждомъ реакціонномъ романѣ рисуется герой — охранитель— красивый, статный, съ изысканно свѣтскими манерами. Если онъ не князь и не графъ, то во всякомъ случаѣ принадлежитъ къ очень древнему дворянскому роду... Характера герой долженъ быть гордаго, непреклонно — твердаго, храбро-отважнаго, немного пожалуй вспыльчиваго. Убѣжденіями проникнутъ онъ, конечно, ужъ самыми благоразумными и спасительно - консервативными, и всѣ силы души его стремятся къ борьбѣ съ неправдою и зломъ, на охраненіе коренныхъ основъ религіи, нравственности, семьи, собственности...»

Зло, съ которымъ борется герой, представляется въ двоякомъ видѣ:

[158]) Головинъ, 222 и 223.

въ видѣ коварной польской интриги, и въ видѣ многоглавой гидры нигилизма, которая изображается въ романахъ не иначе, какъ панурговымъ стадомъ саврасовъ безъ узды. Въ борьбѣ со всѣми этими исчадіями ада герой бываетъ оклеветанъ и попадаетъ подъ судъ; его отравляютъ, нѣсколько разъ истекаетъ онъ кровью отъ ранъ, но въ концѣ концовъ выходитъ сухимъ изъ воды, побѣдя и посрамя и польскую интригу, и панургово стадо нигилизма. Въ перемежку между общественными подвигами идутъ любовныя приключенія героя, обладающаго между прочимъ и даромъ покорять женскія сердца»[159]).

Какъ г. Головинъ даетъ «алгебраическую формулу» тенденціознаго радикальнаго романа 60-хъ годовъ, такъ и г. Скабичевскій — для консервативнаго романа «съ начинкой» 70-хъ годовъ. Суть одна — антихудожественность, ставящая почти всегда такого рода партійныя произведенія за предѣлами искусства.

§ 4. Въ концѣ 60-хъ годовъ русскій романъ достигъ своего апогея. Съ 1868 г. въ «Русскомъ Вѣстникѣ» стала печататься великая эпопея гр. Льва Николаевича Толстого «Война и Миръ». Это произведеніе можно назвать «Иліадой» русскаго народа—полнымъ воплощеніемъ народнаго духа. Въ то-же время это обличеніе всей лжи и шумихи поддѣльной, бутафорской «народности», съ громкими фразами и театральными позами. Стремленіе дать «эпопею», не покидавшее и Пушкина, удовлетворено этимъ твореніемъ высокаго поэтическаго генія.

«Какая громада и какая стройность! Ничего подобнаго не представляетъ намъ ни одна литература. Тысячи лицъ, тысячи сценъ, всевозможныя сферы государственной и частной жизни, исторія, война, всѣ ужасы, какіе есть на землѣ, всѣ страсти, всѣ моменты человѣческой жизни, отъ крика новорожденнаго ребенка, до послѣдней вспышки чувства умирающаго старика, всѣ радости и горести, доступныя человѣку, всевозможныя душевныя настроенія, отъ ощущеній вора, укравшаго червонцы у своего товарища, до высочайшихъ движеній героизма и думъ внутренняго просвѣтлѣнія — все есть въ этой картинѣ. А между тѣмъ, ни одна фигура не заслоняетъ другой, ни одна сцена, ни одно впечатлѣніе не мѣшаютъ другимъ сценамъ и впечатлѣніямъ, все на мѣстѣ, все ясно, все раздѣльно и все гармонируетъ между собою и съ цѣлымъ. Подобнаго чуда въ искусствѣ, притомъ чуда, достигнутаго самыми простыми средствами, еще не бывало на свѣтѣ».

«Эта простая и въ то-же время невообразимо-искусная группировка не есть дѣло внѣшнихъ соображеній и прилаживаній; она могла быть только

---

[159]) Истор. новѣйш. русск. литературы. Изд. 4-е. Спб. 1903. Стр. 329 и 330.

плодомъ геніальнаго прозрѣнія, которое однимъ взглядомъ, простымъ и яснымъ, объемлетъ и проникаетъ все многообразное теченіе жизни [160]).

«Всѣ лица выдержаны, всѣ стороны дѣла схвачены, и художникъ до послѣдней сцены не отступилъ отъ своего безмѣрно-широкаго плана, не опустилъ ни одного существеннаго момента, и довелъ свой трудъ до конца безъ всякаго признака измѣненія въ тонѣ, взглядѣ, въ пріемахъ и силѣ творчества. Дѣло поистинѣ изумительное!»

«Когда начинался разсказъ, передъ нами открывались два семейства, уже давно сложившіяся, — семейство Болконскихъ, въ которомъ были взрослые сынъ и дочь, и семейство Ростовыхъ, въ которомъ Николай былъ еще только студентомъ, а Наташѣ было двѣнадцать лѣтъ. Черезъ пятнадцать лѣтъ (таковъ періодъ, обнимаемый хроникою), передъ нами являются двѣ молодыя семьи съ маленькими дѣтьми... Полная картина человѣческой жизни. Полная картина тогдашней Россіи. Полная картина того, что называется исторіею и борьбою народовъ... Полная картина всего, въ чемъ люди полагаютъ свое счастіе и величіе, свое горе и униженіе. Вотъ что такое «Война и Миръ».

Далѣе Страховъ старается опредѣлить «смыслъ великаго произведенія», «существенную мысль, разлитую въ этой огромной эпопеѣ».

По его убѣжденію, здѣсь задача художника состояла въ томъ, чтобы изобразить истинное величіе, какъ онъ его понимаетъ, и противупоставить его ложному величію, которое онъ отвергаетъ. Эта задача выразилась не только въ противопоставленіи Кутузова и Наполеона, но и во всѣхъ малѣйшихъ подробностяхъ борьбы, вынесенной цѣлою Россіею, въ образѣ чувствъ и мыслей каждаго солдата, во всемъ нравственномъ мірѣ русскихъ людей, во всемъ ихъ бытѣ, во всѣхъ явленіяхъ ихъ жизни, въ ихъ манерѣ любить, страдать, умирать. Художникъ далъ намъ новую, русскую формулу героической жизни, ту формулу, подъ которую подходитъ Кутузовъ и подъ которую никакъ не можетъ подойти Наполеонъ. Чисто-русскій героизмъ, чисто-русское героическое во всевозможныхъ сферахъ жизни — вотъ что далъ намъ гр. Л. Н. Толстой, вотъ главный предметъ «Войны и Мира». Смыслъ произведенія — голосъ за простое и доброе противъ ложнаго и хищнаго.

Къ категоріи дѣятельнаго героизма относятся не только французы вообще и Наполеонъ въ особенности, но и множество русскихъ лицъ — Растопчинъ, Ермоловъ, Милорадовичъ, Дохтуровъ. Къ категоріи смирнаго героизма принадлежитъ прежде всего — самъ Кутузовъ, величайшій образецъ этого типа — Тушинъ, Тимохинъ, Дохтуровъ, Коновницынъ; вообще — вся

[160]) По поводу выхода V и VI т. «Войны и миръ». М. 1869. Статья Н. Страхова. «Заря». 1870 г. № 1. Январь.

масса нашихъ военныхъ и вся масса русскаго народа. Весь разсказъ «Войны и Мира» какъ будто имѣетъ цѣлью доказать превосходство смирнаго героизма надъ героизмомъ дѣятельнымъ, который повсюду оказывается не только побѣжденнымъ, но и смѣшнымъ, не только безсильнымъ, но и вреднымъ.

«Съ 1868 года, говоритъ Н. Н. Страховъ, то есть съ появленія «Войны и Мира», составъ того, что собственно называется русскою литературой, то есть составъ нашихъ художественныхъ писателей, получилъ иной видъ, иной смыслъ. Гр. Л. Н. Толстой занялъ первое мѣсто въ этомъ составѣ, мѣсто неизмѣримо высокое, поставившее его далеко выше уровня остальной литературы. Писатели, бывшіе прежде первостепенными, обратились теперь во второстепенныхъ, отошли на задній планъ».

«Та могучая, гармоническая сила, которая нѣкогда сказалась въ Пушкинѣ и съ тѣхъ поръ какъ будто обмелѣла, разбилась на мелкіе ручьи, затерялась въ трясинахъ и болотахъ, вдругъ снова во-очію явилась намъ, вдругъ показалась намъ въ новыхъ формахъ, но съ тою же печатью несравненной прелести, здоровья, чистая, по своей простотѣ и внутреннему равновѣсію превосходящая самыя высокія поэтическія созданія».

«Если теперь иностранцы спросятъ у насъ о нашей литературѣ... мы прямо укажемъ на «Войну и Миръ», какъ на зрѣлый плодъ нашего литературнаго движенія... Западныя литературы въ настоящее время не представляютъ ничего равнаго, и даже ничего близко подходящаго къ тому, чѣмъ мы теперь обладаемъ».

«Эта книга есть прочное пріобрѣтеніе нашей культуры, столь же прочное, и непоколебимое, какъ, напримѣръ, сочиненія Пушкина». Столь рѣшительная, глубокая и правильная оцѣнка великаго произведенія — большая заслуга предъ русской критикой Н. Н. Страхова. Чтобы понять все это въ 1870 г., требовался высокій вкусъ. Въ самомъ дѣлѣ, что говорили другіе критики?

«Прочитайте «Войну и Миръ», — писалъ Н. В. Шелгуновъ, — если вы знали прежде мало, то, по прочтеніи романа графа Толстого, вы ощутите въ головѣ такую смутность понятій, что у васъ опустятся руки, и послѣдняя почва исчезнетъ изъ подъ вашихъ ногъ»[161]).

«Результатъ, къ которому приходитъ графъ Толстой, конечно, соціально вредный (sic)... Ни у Гончарова, ни у Писемскаго мы не встрѣчаемъ ничего подобнаго... Графъ Толстой вреднѣе ихъ, ибо онъ сильнѣе дѣйствуетъ на слабый умъ. Г.г. Гончаровы и Писемскіе слишкомъ прозрачны для того, чтобы не быть ясными для всякаго пониманія и для всякаго вѣрнаго чутья. Графъ Толстой, напротивъ, возбуждаетъ какую-то смутную ширь, вызы-

---

[161]) «Философія застоя». Дѣло. 1870 г. № 1.

ваетъ смутное стремленіе къ чему-то неопредѣленному, но, повидимому, доброму, хорошему, гуманному, и въ то-же время онъ убиваетъ всякую мысль, всякую энергію, всякій порывъ къ активности, и къ сознательному стремленію улучшить свое единоличное положеніе и достигнуть своего единоличнаго счастія. Говоря сравненіями, г.г. Гончаровъ и Писемскій подобны разбойнику въ извѣстной баснѣ, а гр. Толстой—клеветнику (sic). Еще счастіе, что графъ Толстой не обладаетъ могучимъ талантомъ (sic), что онъ живописецъ военныхъ пейзажей и солдатскихъ сценъ. Еслибы къ слабой опытной мудрости гр. Толстого придать силу таланта Шекспира или даже Байрона, то, конечно, на землѣ не нашлось-бы такого сильнаго проклятія, которое бы слѣдовало на него обрушить (sic). Графъ Толстой кидаетъ грязью въ европейскую науку и въ результаты европейской мысли, добытые вѣками, и въ то-же время предлагаетъ выводы своего скуднаго единоличнаго опыта... Мы не отрицаемъ въ гр. Толстомъ таланта для описанія солдатскихъ сценъ, но думаемъ, что міровая философія не его ума дѣло».

«Кто-же правъ — Огюстъ Контъ или графъ Толстой? Западъ или Востокъ? Кто ведетъ исторію міра — Европа или монголы?.. Если бы графъ Толстой смотрѣлъ не назадъ, а впередъ, не на востокъ, а на западъ; если-бы онъ обладалъ дѣйствительной силой для беллетристической популяризаціи (sic), разрабатываемаго теперь мыслителями вопроса,—о борьбѣ лица съ обществомъ, цивилизаціи съ варварствомъ, индивидуализма съ коллективностью, то, конечно, у него не вышло-бы, что историческое значеніе Каратаевыхъ выше значенія Контовъ, Стефенсоновъ, Морзовъ, и непосредственное чувство Востока сильнѣе европейской мысли. «Война и Миръ» въ сущности— славянофильскій романъ, въ которомъ напутаны правда съ ложью, наука съ невѣжествомъ, благо со зломъ, прогрессъ съ отсталостью».

«Признаемся откровенно, намъ страшно за гр. Толстого. Мы боимся, что одинъ изъ самыхъ могучихъ, свѣтлыхъ и симпатичныхъ талантовъ настоящаго времени погибнетъ такъ же ужасно, какъ погибъ талантъ Гоголя»[162]).

На романѣ «Война и миръ» особенно ярко сказалась полная несостоятельность утилитарно - педагогической критики по традиціямъ Чернышевскаго, Добролюбова и Писарева. Она ничего не смогла понять въ великомъ произведеніи, не найдя въ немъ «беллетристической популяризаціи» «вопросовъ» текущей журналистики. Она признала, что это «славянофильскій романъ», а потому и «вредный» для «направленія». Безсильное, но бѣшеное желаніе этой критики—поступить съ Львомъ Толстымъ, какъ съ Вольтеромъ поступилъ въ баснѣ Крыловъ — «въ котелъ его, да на вѣчный огонь».

[162]) А. М. Скабичевскій: Гр. Л. Н. Т. Какъ художникъ и мыслитель. «Отеч. Зап.» 1872 г.

Раньше Страхова, еще въ 1868 г., по выходѣ первыхъ частей романа въ «Русскомъ Вѣстникѣ» Анненковъ писалъ: «Мы имѣемъ передъ собою громадную композицію, изображающую состояніе умовъ и нравовъ въ передовомъ сословіи «новой Россіи», передающую въ главныхъ чертахъ великія событія, потрясавшія тогдашній европейскій міръ, рисующую физіономію русскихъ и иностранныхъ государственныхъ людей той эпохи и связанную съ частными, домашними дѣлами двухъ—трехъ аристократическихъ нашихъ семей... Ослѣпительная сторона романа заключается въ естественности и простотѣ, съ какими онъ низводитъ міровыя событія и крупныя явленія общественной жизни до уровня и горизонта зрѣнія всякаго выбраннаго имъ свидѣтеля. Великолѣпная картина Тильзитскаго свиданія, напримѣръ, вращается у него, какъ на природной оси своей, около юнкера или корнета, графа Ростова, ощущенія котораго, по этому поводу, составляютъ какъ-бы продолженіе самой сцены и необходимый къ ней комментарій. Безъ всякаго признака насилованія жизни и обычнаго ея хода, романъ учреждаетъ постоянную связь между любовными и другими похожденіями своихъ лицъ и Кутузовымъ, Багратіономъ, между историческими фактами громаднаго значенія, Шенграбеномъ, Аустерлицемъ и треволненіями московскаго аристократическаго кружка... Ничто не даетъ такого подобія дѣйствительности, какъ эти сопоставленія... Благодаря имъ — читателю кажется будто духъ времени, открытіе и опредѣленіе котораго стоитъ такихъ трудовъ изслѣдователямъ историческихъ эпохъ, воплощается на страницахъ романа, какъ индійскій Вишну, легко и свободно, безчисленное количество разъ».

Предъ нами огромная діорама, исполненная красокъ, свѣта, темныхъ массъ вооруженнаго народа и выдѣляющихся на ней образовъ. Мысль рецензента, который захотѣлъ-бы прослѣдить это сложное произведеніе во всѣхъ его явныхъ и тайныхъ ходахъ, должна непремѣнно спутаться въ виду громаднаго склада разнообразнѣйшихъ происшествій, здѣсь открывающихся передъ неисчислимой толпой лицъ, мелькающихъ одно за другимъ, и при непрерывномъ движеніи разсказа, который выводитъ явленія всякаго рода на столько времени, на сколько нужно, чтобъ они высказали свое содержаніе, стираетъ ихъ тотчасъ съ картины и вызываетъ ихъ снова, послѣ болѣе или менѣе долгаго промежутка, но когда они пріобрѣли уже другія формы и обновились.

Мастерство автора изображать сцены военнаго быта достигаетъ своего апогея. Планы сраженій и картины мѣстностей, гдѣ они происходятъ— бросаются отчетливо въ глаза, какъ гравюры англійскихъ кипсековъ.

БИБЛІОГРАФІЯ: Главнѣйшее критическіе разборы романа гр. Л. Н. Толстого «Война и Миръ» въ хронологическомъ порядкѣ: Н. Ахшарумовъ. Двѣ статьи въ «Всеміірномъ Трудѣ»: 1867 г. № 69. 1868,

№ 4; 1869. № 3.—Н. Щебальскій. Война и миръ. Русскій Вѣстникъ. 1868 г. № 1.—Писаревъ. Старое барство. 1868 г. (Соч. т. VI. Нов. изд.)—П. Анненковъ. Эстетическіе и историческіе вопросы въ романѣ «Война и миръ». 1868 г. (Воспоминанія и критич. очерки. Томъ II.)—А. С. Норовъ. «Война и миръ» съ исторической точки зрѣнія. Военный Сборникъ. 1868 г.—Н. Н. Страховъ. Война и миръ. Заря. 1869 г. № 1 2-й.—Н. В. Шелгуновъ. Философія застоя. 1870 г. (Соч. т. II).—А. Витмеръ. **1812-й годъ въ «Войнѣ и мірѣ». Чтеніе Общ. исторіи и древностей** росс. 1872 г. № 1.—Н. Карѣевъ. Историческая философія въ романѣ гр. Л. Н. Толстого «В. и М.». Вѣстн. Европы. 1887 г. № 7.—В. А. Кирпичниковъ. Московское общество въ изображеніи Грибоѣдова и Л. Толстого. Очерки по исторіи русской литературы. Спб. 1896 г.—М. Драгомировъ. Разборъ романа «Война и миръ». Кіевъ. 1898 г.—В. Зелинскій. Русская критическая литература о произведеніяхъ Л. Н. Толстого. Хронологическій сборникъ критико-библіографич. статей. Части III и V-я. (1888 и 1897 г.). Критика 60-хъ годовъ.

§ 5. Страховъ совершенно вѣрно замѣчаетъ, что «Война и миръ» значительностью и художественнымъ совершенствомъ созданія подняла гр. Л. Н. Толстого на такую высоту, что другіе художники — Тургеневъ, Писемскій, Гончаровъ отступили на второй планъ. Только Достоевскій не отступилъ, но сталъ приближаться къ «великому писателю земли русской» и скоро сталъ съ нимъ рядомъ, раздѣляя удивленіе Европы.

По скольку Толстой — объективный писатель, возсоздающій внѣшнія формы жизни, типы, обстановку, толпы человѣчества, его героевъ; строящій свою психологію на наблюденіи малѣйшихъ, тончайшихъ черточекъ, но все-же внѣшнихъ выраженій внутренняго содержанія жизни и человѣческой души, по стольку Достоевскій — писатель субъективный, подходящій къ предмету съ внутренней стороны, почти мистическимъ проникновеніемъ разверзающій тотъ хаосъ, который шевелится подъ кристаллическими гранями жизни. Если разсмотрѣть холодно рисунокъ романовъ Достоевскаго, онъ покажется тѣнями на стеклѣ волшебнаго фонаря. Но писатель вноситъ свѣтъ внутрь и онѣ оживаютъ. Творчество и художество Достоевскаго совершенно своеобразно, но имъ онъ, такъ-же какъ и Толстой, несомнѣнно сказалъ новое слово человѣчеству. Эти писатели къ концу вѣка и завоевали мѣсто русской литературѣ на западѣ.

Первый періодъ дѣятельности Достоевскаго относится къ сороковымъ годамъ. «Бѣдные люди» явились въ 1845 году; «Двойникъ» и «Прохарчинъ» въ 1846; «Романъ въ девяти письмахъ» въ 1847; «Слабое сердце», «Ревнивый мужъ», «Честный воръ», «Елка и свадьба» въ 1848. Это отчасти физіологическія картины мелкаго чиновничьяго быта, отчасти первые опыты художественной психіатріи, отчасти дневники уединеннаго мечтателя. Герои этихъ повѣстей — люди съ судорожно напряженной волей и внутреннимъ безсиліемъ, люди, которымъ обида и униженіе доставляютъ

болѣзненное наслажденіе; они сами не разобрались въ себѣ, сами себя вмѣстить не могутъ. Въ 1849 является превосходная повѣсть «Неточка Незванова», оставшаяся неоконченной: въ ночь на 23 апрѣля 1849 г., Достоевскій былъ арестованъ и провелъ восемь мѣсяцевъ въ Алексѣевскомъ равелинѣ Петропавловской крѣпости. Тамъ онъ написалъ прелестную повѣсть— «Маленькій герой» (напечатана только въ 1857 г.). Достоевскій былъ замѣшанъ въ дѣлѣ кружка Петрашевскаго — читавшаго и мечтавшаго надъ книгами Сенъ-Симона, Фурье и Кабэ, французскихъ соціалистовъ. Приговоръ о немъ гласитъ: «За участіе въ преступныхъ замыслахъ, распространеніе письма литератора Бѣлинскаго, полнаго дерзкихъ выраженій противъ православной церкви и верховной власти, за покушеніе, вмѣстѣ съ прочими, къ распространенію сочиненій противъ православной церкви и верховной власти, и за покушеніе, вмѣстѣ съ прочими, къ распространенію сочиненій противъ правительства посредствомъ домашней литографіи» онъ ссылается на каторгу на восемь лѣтъ. Приговоръ конфирмованъ— «каторга на четыре года, а потомъ рядовымъ».

21 декабря 1849 г. Достоевскій вмѣстѣ съ другими осужденными былъ вывезенъ на Семеновскій плацъ. Прочитанъ приговоръ къ смертной казни. Привязаны къ столбамъ. Ружья взяты къ прицѣлу. Потомъ объявлено помилованіе и окончательный приговоръ. 24 декабря Достоевскій былъ отправленъ въ Сибирь. Послѣ каторги, служилъ рядовымъ недолго и 1 октября 1855 г. произведенъ въ прапорщики. Вернулся въ Россію, женатымъ въ 1859 г. Тогда-же появились его двѣ большія повѣсти «Дядюшкинъ сонъ» и «Село Степанчиково и его обитатели» — произведенія еще переходнаго періода. Въ 1860 г. Достоевскій уже окончательно основался въ Петербургѣ, и съ 1861 г. съ братомъ сталъ издавать «Время». Здѣсь явились его романы: «Униженные и оскорбленные» и «Записки изъ мертваго дома». Въ «Русскомъ Вѣстникѣ» за 1866 г. явился его романъ «Преступленіе и наказаніе». Другое значительное произведеніе — «Идіотъ» явилось въ томъ-же «Русскомъ Вѣстникѣ» въ 1868—1869 г.г. Наконецъ къ 60-мъ годамъ относятся повѣсти «Скверный анекдотъ» (1862) и «Игрокъ» (1866). Написаніе послѣдней повѣсти совпадаетъ со второй женитьбой Достоевскаго.

Остальныя произведенія великаго романиста слѣдовали въ такомъ порядкѣ: «Бѣсы» (Русскій Вѣстникъ, 1871); «Вѣчный мужъ» (Заря, 1870); «Подростокъ» (Отеч. Зап. 1875); «Братья Карамазовы» (Русскій Вѣстникъ, 1879—1880). Достоевскій умеръ 28 января 1881 г.

Такимъ образомъ дѣятельность его принадлежитъ тремъ десятилѣтіямъ: сороковымъ, шестидесятымъ и семидесятымъ годамъ.

Разсматривая произведенія Достоевскаго со включеніемъ романа «Униженные и оскорбленные» Добролюбовъ ставитъ рядъ возбуждаемыхъ ими «недоумѣнныхъ» вопросовъ: Отчего этотъ Макаръ Алексѣевичъ Дѣвушкинъ

«прячется, скрывается, трепещетъ», безпрерывно стыдится за свою жизнь, «да вокругъ себя смущеннымъ взоромъ поводитъ, да прислушивается къ каждому слову», и единственное утѣшеніе находитъ въ томъ, что онъ «человѣкъ маленькій, человѣкъ ничтожный»? Отчего Горшковъ этотъ «жалкій, хилый такой: колѣнки у него дрожатъ, руки дрожатъ, голова дрожитъ, робкій, боится всѣхъ, ходитъ стороночкой»? Отчего это отецъ Покровскаго имѣетъ такой видъ, что «онъ чего-то какъ будто стыдится, ему какъ будто самого себя совѣстно», и въ разговорахъ съ сыномъ «приподымается немного со стула, отвѣчаетъ тихо, подобострастно, почти съ благоговѣніемъ»? А отчего г. Голядкинъ, въ мучительныхъ и безплодныхъ попыткахъ «быть въ своемъ правѣ», и «идти своей дорогой» — съеживается... мѣшается въ разсудкѣ? Отчего также г. Прохарчинъ двадцать лѣтъ скряжничаетъ и бѣдствуетъ, все отъ мысли о необезпеченности, и наконецъ отъ этой мысли захварываетъ и умираетъ? и т. д. и т. д. Гдѣ причина всѣхъ этихъ дикихъ, поразительно странныхъ людскихъ отношеній?».

Находя, что ни одно лицо, ни одна повѣсть Достоевскаго не даетъ прямого отвѣта на такіе вопросы, Добролюбовъ подчеркиваетъ невыясненность, въ этотъ первый періодъ, его героевъ для самого автора.

Только съ «Записокъ изъ мертваго дома», Достоевскій, благодаря громадному непосредственному опыту и наблюденію надъ преступнымъ человѣкомъ, вполнѣ овладѣваетъ своимъ матеріаломъ и всѣми средствами своего мастерства. Онъ выводитъ передъ нами вереницу преступниковъ, полупомѣшанныхъ, идіотовъ, самоубійцъ, больныхъ физически и еще болѣе нравственно, и изображаетъ ихъ душевную жизнь съ удивительною точностію и объективностію. На этомъ пути Достоевскій шелъ очень далеко; страшно было видѣть, какъ онъ все глубже и глубже спускается въ душевныя бездны, въ ужасныя бездны нравственнаго и физическаго растлѣнія. Но онъ выходитъ изъ нихъ невредимо. О достоинствѣ этихъ изображеній не можетъ быть спора. Несмотря на неправильную и неясную постройку иныхъ романовъ, несмотря на полуфантастическую постановку сценъ и отношеній между дѣйствующими лицами, изъ каждой картины Достоевскаго била такая правда душевная, такая открывалась глубина душевной правды, что невозможно было не испытывать живѣйшаго впечатлѣнія.

«Изображеніе помѣшанныхъ въ поэтическихъ произведеніяхъ, говоритъ Крафтъ-Эбингъ, большею частію невѣрно или по малой мѣрѣ одностороние».

«Достоевскій, какъ въ русской, такъ и во всемірной литературѣ, представляетъ исключеніе не только по количеству наблюденій, но и по вѣрности и точности описанія, достойныхъ лучшаго естествоиспытателя и наконецъ по глубинѣ пониманія предмета, возбуждающей изумленіе. Собраніе сочиненій Д—го — это почти полная психопатологія». (Д-ръ Чижъ). Въ «Униженныхъ и оскорбленныхъ» много длиннотъ, много путаницы. Но

есть типъ, который искупаетъ недостатки романа: это типъ маленькой Нелли. «Записки изъ мертваго дома» — результатъ десятилѣтнихъ непосредственныхъ наблюденій надъ каторгой. Картина, которую здѣсь даетъ Достоевскій, поразительна своей страшной правдою. Въ изображеніяхъ мертваго дома мы видимъ истиннаго художника. Въ каждомъ преступникѣ онъ ищетъ человѣка, и каждый его портретъ есть задушевный вопросъ, поставленный передъ обществомъ во имя правды или человѣколюбія.

«Преступленіе и наказаніе», — говоритъ А. Кирпичниковъ, — несомнѣнно, одно изъ самыхъ крупныхъ и характерныхъ произведеній всего нашего столѣтія; нельзя идти дальше въ глубинѣ психологическаго анализа и въ проповѣди величайшей идеи нашего вѣка — гуманности. Живо и глубоко схвачено въ романѣ то, какъ идея преступленія зарождается и укрѣпляется въ человѣкѣ, какъ борется съ нею душа, инстинктивно чувствуя ужасъ этой идеи; какъ человѣкъ, вскормившій въ себѣ злую мысль, почти лишается, наконецъ, воли и разума, и слѣпо повинуется ей; какъ онъ механически совершаетъ преступленіе, долго созрѣвавшее въ немъ органически; какъ пробуждается въ немъ потомъ боязнь, подозрительность, злоба къ людямъ, отъ которыхъ ему грозитъ кара, какъ начинаетъ онъ чувствовать омерзеніе къ себѣ и къ своему дѣлу; какъ прикосновеніе живой и теплой жизни пробуждаетъ въ немъ муки безсознательнаго раскаянія; какъ, наконецъ, ожесточенная душа не выдерживаетъ и размягчается до чувства умиленія.

Но изображая, такъ сказать, законы психологіи преступленія и неизбѣжно истекающаго изъ нихъ наказанія, Достоевскій рядомъ ставитъ другую задачу: его Раскольниковъ не простой убійца, а идейный. «Вотъ въ чемъ одномъ признавалъ онъ свое преступленіе: только въ томъ, что не вынесъ его, и сдѣлалъ явку съ повинною». Онъ помѣшанъ на примѣрѣ Наполеона, Робеспьера, Торквемады, на все дерзавшихъ, почему имъ все и прощалось. «Преступленіе? Какое преступленіе? То, что я убилъ гадкую, зловредную вошь, старушонку-процентщицу, которую убить сорокъ грѣховъ простятъ, которая изъ бѣдныхъ сокъ высасывала — и это-то преступленіе?» — «Но вѣдь ты кровь пролилъ?» — «Которую всѣ проливаютъ! Которая льется и всегда лилась на свѣтѣ, какъ водопадъ, которую льютъ, какъ шампанское, и за которую вѣнчаютъ въ Капитоліѣ и называютъ благодѣтелемъ человѣчества... Я рѣшительно не понимаю, почему лупить въ людей бомбами, правильной осадой, болѣе почтенная форма?»

Къ той же задачѣ возвращается Достоевскій въ «Братьяхъ Карамазовыхъ». Но тамъ предъ нами типъ Раскольникова раздвояется. Является практикъ, исполнитель, «Личарда вѣрный» — Смердяковъ, и полусознательный подстрекатель, теоретикъ, проповѣдывавшій, что «все дозволено» — Иванъ Карамазовъ, ужаснувшійся и почти помѣшавшійся, когда его уче-

никъ бросаетъ въ лицо ему: «Вы то настоящій убивецъ и есть... Все тогда храбры были, говорили — все дозволено».

Благодаря сложности Раскольникова, онъ смутенъ, и образъ его двоится. Это убійца на какой-то благородной ногѣ, и авторъ впадаетъ порою въ мелодраматизмъ. «Убилъ и блѣднымъ ангеломъ ходитъ!» заставляетъ онъ говорить слѣдователя Порфирія. Жизнь показала и очень скоро, однако, что такіе убійцы бываютъ. Въ Москвѣ совершено было аналогичное преступленіе. Что касается другихъ лицъ романа — четы Мармеладовыхъ, Сони, то въ нихъ еще больше мелодрамы. Великолѣпно выполненъ только Свидригайловъ — настоящій, безнаказанный преступникъ. Раскольниковъ вліяніемъ различныхъ жизненныхъ впечатлѣній доведенъ до теоріи, по которой вся сила въ томъ, чтобы «дерзнуть». Свидригайловъ-же безъ всякихъ теорій давно и постоянно «дерзалъ». Убійца, насильникъ, развратникъ, онъ не знаетъ раскаянія. Самая вѣчность представляется ему только закопченной избой съ пауками — вотъ и вся вѣчность. Если онъ кончаетъ съ собою, то лишь изъ томящей скуки и отвращенія.

Романъ даетъ поразительную по мрачности настроенія картину лѣтняго, знойнаго Петербурга, раскаленныхъ улицъ, многоэтажныхъ домовъ, набитыхъ бѣднотой, притоновъ, пьянаго разгула. Это настроеніе до того охватываетъ, что видишь передъ собою весь этотъ адъ кромѣшный.

Чрезвычайно замѣчательное произведеніе — романъ «Идіотъ». Главное дѣйствующее лицо — слабоумный князь, представляетъ своеобразный типъ всепрощающаго, кроткаго донъ-Кихота, брошеннаго въ алчную и хищную среду.

Интересно, что одновременно съ «Идіотомъ» гр. Ал. Толстой писалъ своего «Царя Θедора Ивановича». Лицо Θедора вполнѣ соотвѣтствуетъ герою Достоевскаго. Это тоже слабоумный, но богатый сердцемъ и простотой неврастеникъ, среди борящихся, исполненныхъ коварства и хищныхъ страстей царедворцевъ. Какъ царь Θедоръ хотѣлъ «все примирить, все сгладить» и достигъ обратнаго; какъ царь Θедоръ, не способный, при своей добротѣ, дать никакой защиты, прямо возмущаетъ порою, хотя никакъ нельзя на него сердиться, такъ и князь, въ романѣ Достоевскаго, подъ часъ заставляетъ признать правду пословицы, что «простота — хуже воровства». Романъ изобилуетъ самыми разнообразными типами. Изъ нихъ рѣзче всего выдѣляются — сынъ купца-старовѣра, наслѣдовавшій его милліоны, Парфенъ Рогожинъ, глубокая, сосредоточенно страстная, замкнутая фигура. Его страсть къ героинѣ романа — Настасьѣ Филипповнѣ — носитъ черты почти маніи. Настасья Филипповна, жертва сластолюбія богатаго эпикурейца Тоцкаго, очеркъ женщины, мстящей за поруганіе перваго пробужденія въ ней пола. Въ этомъ очеркѣ она еще невыяснена для художественнаго сознанія Достоевскаго и полнаго воплощенія достигаетъ лишь позднѣе, въ

Грушенькѣ («Братья Карамазовы»). Настасья Филипповна истеричка, но нельзя разобрать—сладострастна ли она или нѣтъ? Отношенія ея къ Рогожину загадочны. Она не можетъ забыть, что «любовницею Тоцкаго была», не можетъ полюбить отъ души, но и не отталкиваетъ Рогожина, напротивъ, нѣсколько разъ «бѣжитъ» неизвѣстно отъ кого съ нимъ. Отдается-ли она Рогожину? Неизвѣстно. Но видимо дразнитъ его и разжигаетъ страсть, такъ что Рогожинъ наконецъ убиваетъ ее. Послѣдняя сцена романа, когда безумный Рогожинъ сидитъ вмѣстѣ съ кроткимъ «идіотомъ» у трупа красавицы, запершись въ домѣ, со спущенными занавѣсями, обставивъ трупъ «пукетами», по мнѣнію западныхъ критиковъ не имѣетъ себѣ подобной во всей всемірной литературѣ. Все-же въ Настасьѣ Филипповнѣ есть что-то мелодраматическое. Грушенька — хищная и сладострастная, но на почвѣ потрясеннаго «несчастіемъ пола» организма, уже проще и художественнѣе.

Типъ ничтожнаго, себялюбца-сибарита Тоцкаго—monsieur aux camélias—совершенно художественъ.

Вторая героиня романа — Аглая, загадочна, но семья ея и особенно отецъ — генералъ Епанчинъ, верхъ типичности. Для того, чтобы обнаружить сокровенную суть своихъ многочисленныхъ героевъ, Достоевскій прибѣгаетъ къ чрезвычайнымъ эффектамъ, которые были-бы достойны бульварнаго романа, если-бы не искупались психологіей. Такъ, Настасья Филипповна бросаетъ въ горящій каминъ громадный пукъ ассигнацій, принесенный ей Рогожинымъ, и предлагаетъ его достать присутствующимъ. Поведеніе каждаго, сообразное съ его характеромъ, даетъ рядъ типическихъ положеній поразительной силы. Тутъ выясняется и личность нѣкоего Генички — котораго можно назвать подмастерьемъ Раскольникова. Раскольниковъ «дерзнулъ», но не въ силахъ былъ выдержать своего дерзновенія. А Геничка не въ силахъ даже и «дерзнуть» и постоянно обрывается самымъ плачевнымъ образомъ. Романъ страдаетъ длиннотами, но по необыкновенной оригинальности долженъ быть признанъ однимъ изъ лучшихъ произведеній десятилѣтія, послѣ «Войны и мира» и «Преступленія и наказанія».

БИБЛІОГРАФІЯ: Собранія сочиненій Ѳ. М. Достоевскаго. Изданіе 1882—83 г. 14 томовъ. Спб. Въ I-мъ томѣ: Біографія Ѳ. М. Достоевскаго, составленная Ор. Миллеромъ.—Воспоминанія Страхова.—Письма Достоевскаго.—Замѣтки изъ его записной книжки.—(Письма Достоевскаго кромѣ того см. въ Русск. Стар. (1850—54 г., изъ Сибири брату и 1867—70 гг.) 1885 г. №№ 7 и 9. И въ Сѣверн. Вѣстн. 1891 г. № 10 и 11).—Изданіе сочиненій 1885—1887 гг. Спб. 6 томовъ, съ краткимъ очеркомъ жизни и дѣятельности, составл. Д. В. Аверкіевымъ, портретомъ и факсимиле.—Изданіе 1888 г. третье, съ очеркомъ жизни и дѣят. написаннымъ К. К. Случевскимъ. Въ 12-ти томахъ.—Полное собраніе сочиненій въ 12-ти томахъ. Изд. Маркса. Приложеніемъ къ «Нивѣ».

Спб. 1894 - 95 г. Біографія напис. В. Розановымъ. Старыя изданія 1860 г. въ 2 томахъ (Москва) и 1865 г. изд. Стелловскаго въ 4 томахъ. въ два столбца. большой форматъ. Е. Соловьевъ. Достоевскій. его жизнь и литературная дѣятельность. Біографич. очеркъ. Біогр. библ. Ѳ. Павленкова. Спб. 1891 г. См. еще брошюру 1881 г. Изд. въ Спб. книгопродавц. Хлѣбниковымъ: «Ѳедоръ Михайловичъ Достоевскій»: въ ней проводы тѣла. похороны его и оваціи русскаго общества.— Оцѣнки творчества Достоевскаго. Ор. Ѳ. Миллеръ. Русскіе писатели послѣ Гоголя. Ч. I-я. Спб. 1886 г. Ѳ. М. Д-ій. Образы и идеи. Карамазовщина и иночество.—Дѣти. Д-ій. какъ нашъ учитель. Д-ій и славянскій вопросъ. —Владиміръ Соловьевъ. Три рѣчи въ память Д-го. Собр. Соч. т. II-й. Отдѣльно м. 1884 г.— К. Леонтьевъ. Наши новые христіане. По поводу рѣчи Д-го на праздникѣ Пушкина. М. 1882 г. - Н. Буличъ. Ѳ. М. Достоевскій и его сочиненія. Истор. литер. очерки. I. Первая литературная дѣят. Каз. 81 г.— Арс. Ив. Введенскій. Статья въ его книгѣ «Очерки по истор. русск. самосознанія».— Андреевскій. Литературныя чтенія. Достоевскій. Спб. 1891 г. — К. Головинъ. Русскій романъ и русское общество. Ч. II-я. Гл. VIII. XVII и XVIII-я. Спб. 1897 г.— А. Кирпичниковъ. Очерки по исторіи новой русской литер. Достоевскій и Писемскій. Опытъ сравнительной характеристики. Спб. 1896 г. — В. Чижъ. Достоевскій, какъ психопатологъ. М. 95 г.— Д. С. Мережковскій. Толстой и Достоевскій. Два тома.— А. М. Скабичевскій. Исторія новѣйшей русской литер. Гл. XI. - Отрицательная характеристика: Н. К. Михайловскій. Жестокій талантъ. 1882 г. (См. соч. т. V). Здѣсь Достоевскій уподобляется Нерону. Грозному и другимъ знаменитымъ «мучителямъ». - Зелинскій. Критическій комментарій къ сочиненіямъ Достоевскаго. Сборникъ критическихъ статей. 3 части. М. 1894 г.

§ 6. Мы переходимъ къ разбору тенденціозныхъ произведеній художниковъ школы 40-хъ годовъ. Во главѣ. конечно. должно поставить Тургенева. романы котораго появились въ такомъ порядкѣ: въ 1860 — «Наканунѣ»; въ 1862 — «Отцы и дѣти»; въ 1867 — «Дымъ». Эти три произведенія рисуютъ какъ-бы зарожденіе. эмбріонъ движенія прогрессивной волны пятидесятыхъ и шестидесятыхъ годовъ. его полный расцвѣтъ и наконецъ упадокъ и вырожденіе. Такимъ образомъ. всѣ три романа. хотя и написанные самостоятельно по духу и направленію. составляютъ какъ-бы трилогію. Вглядываясь въ нихъ. можно замѣтить двойственность содержанія — художественная часть представляетъ всегда поэму двухъ любящихся. улавливаетъ слабовольно-резонерскій типъ человѣка 40-хъ годовъ. или если и молодежи. то въ духѣ того-же гуманно-эстетическаго настроенія 40-хъ годовъ. Здѣсь Тургеневъ на высотѣ своего призванія. истинный поэтъ-художникъ. Но рядомъ идутъ главы. страницы. картины. образы иного содержанія. новаго утилитарно-приземистаго настроенія. типы разночинца-героя. собирающагося перестраивать міръ и Россію. Здѣсь какъ-бы художественное чутье оставляетъ Тургенева. Онъ слѣпнетъ. не можетъ раз-

глядѣть сути движенія, его психологіи, намѣтить, въ чемъ дѣйствительно его сила и безсиліе. Онъ становится, порою, фальшивъ и даже льстивъ, хотя его претитъ отъ тѣхъ личностей, которымъ должны уступить мѣсто его старые герои. Онъ пускаетъ въ то же время способность внѣшней своей наблюдательности и какъ-бы изъ записной книжки заноситъ въ реестръ черточки разныхъ реалистовъ и нигилистовъ. Но въ результатѣ получается только каррикатура, шаржъ, внѣшне подобныя дѣйствительности, но лишенныя художественно понятаго содержанія, фигурки. Художникъ становится безчеловѣченъ и не правдивъ со своими протоколами. Вотъ почему, трилогія Тургенева не даетъ истиннаго воспроизведенія эпохи, пробуждаетъ щемящее чувство досады на фальшь и деревянность многихъ изображеній, одновременно опьяняя поэзіей въ высокохудожественныхъ образахъ вѣчной поэмы человѣческой любви. Героемъ перваго романа трилогіи — «Наканунѣ» Тургеневъ сдѣлалъ прямо иностранца - болгарина Инсарова, не находя въ окружающей его дѣйствительности энергичнаго типа. Онъ, какъ-бы предвкушая рецептъ позднѣйшаго романа съ направленской «начинкой», надѣляетъ Инсарова чудовищной силой, заставляетъ его швырнуть пьянаго нѣмца въ воду «плашмя» - сцена въ достаточной мѣрѣ лубочная. Но и для второго своего романа «Отцы и дѣти», Тургеневъ придумываетъ собственно русскаго—иностранца. Его Базаровъ болѣе французъ, чѣмъ русскій. Самая знаменитая тирада его: «Природа не храмъ, а мастерская», ничто иное, какъ слова Фонтенеля, остроумнаго автора книги «О многочисленности населенныхъ міровъ», французскаго писателя XVII-го столѣтія. Сцена «тигровой страсти», проявленной Базаровымъ въ сценѣ съ богатой барыней Одинцовой, напоминаетъ женпремьеровъ французской сцены; она совсѣмъ не въ духѣ русскаго разночинца. Наконецъ, герой «Дыма» - Литвиновъ, ходячій анахронизмъ въ творчествѣ Тургенева. Это въ сущности тотъ же «лишній человѣкъ» и вѣчный тургеневскій, слабовольный предъ женскимъ вліяніемъ человѣкъ. Если онъ и выбился изъ паутины прелестнаго паука—Ирины, то больше по отсутствію въ ней настойчивости. Тургеневъ убѣжденъ, что «сильнѣе кошки звѣря нѣтъ», что гулящая, сладострастная, или затаенно-распутная, хотя и задавившая въ себѣ чувственные порывы эгоизмомъ бабенка, можетъ сдѣлать все, что угодно изъ человѣка, заставить его забыть долгъ, честь, невѣсту, убѣжденія.

Увы, эта слабовольная похотливость и падкость на распутную бабу, основной порокъ «людей сороковыхъ годовъ», даже самыхъ передовыхъ, какъ пьянство и неспособность выдержать при видѣ «четверти» и не очутиться на самомъ днѣ ея, характерная «слабость» гражданственныхъ «шестидесятниковъ»...

Тургеневъ заставляетъ пасовать и своего Базарова передъ Одинцовой,

какъ бы говоря: Вотъ на комъ сломится «новый человѣкъ» — реалистъ и позитивистъ, на женскомъ обаяніи.

Отношеніе нашей «направленческой» критики ко всѣмъ тремъ романамъ было различное. Когда «Накануне» появилось въ «Русскомъ Вѣстникѣ» 1860 г., о романѣ написалъ одну изъ своихъ лучшихъ статей Добролюбовъ. Статья носила заглавіе: «Когда же придетъ настоящій день?» Это чудо публицистическаго искусства. Добролюбовъ съумѣлъ превратить произведеніе художника въ призывный колоколъ, въ прокламацію, зовущую къ освобожденію. И онъ дѣйствительно писалъ статью «накануне», за нѣсколько мѣсяцевъ до 19-го февраля. Но имѣя великое значеніе, какъ призывъ къ свободѣ, эта статья всего лучше доказываетъ всю несостоятельность такой критики, съ предвзятой, политической, чуждой искусству цѣлью. Именно потому, что всего черезъ годъ—статья появилась въ третьей, февральской книжкѣ «Современника» — уже совершилось освобожденіе, а за нимъ цѣлый рядъ реформъ, обнаруживается та несомнѣнная истина, что критикъ совершенно фальшивое, сочиненное въ направленской части своей, произведеніе принялъ за изображеніе дѣйствительности неподдѣльной. «Эстетическая критика сдѣлалась теперь принадлежностью чувствительныхъ барышенъ», — такъ начинаетъ свою статью Добролюбовъ. «Малому знакомству съ чувствительными барышнями одолжены мы тѣмъ, что неумѣемъ писать такихъ критикъ... Мы хотимъ просто подвести итогъ тѣмъ даннымъ, которыя разсѣяны въ произведеніи писателя и которыя мы принимаемъ, какъ совершившійся фактъ, какъ жизненное явленіе, стоящее передъ нами... Мы дорожимъ всякимъ талантливымъ произведеніемъ именно потому, что въ немъ можемъ изучать факты нашей родной жизни, которая безъ того мало открыта взору простого наблюдателя. Въ нашей жизни до сихъ поръ нѣтъ публичности, кромѣ официальной»[163]).

Итакъ Добролюбовъ относится къ роману, какъ къ публицистическому факту или обличительной газетной статьѣ. Въ «Накануне», онъ видитъ неотразимое вліяніе естественнаго хода общественной жизни и мысли, которому невольно подчинилась сама мысль и воображеніе автора. Добролюбовъ восхваляетъ «чутье» Тургенева къ «живымъ струнамъ общества», его умѣнье «тотчасъ отозваться на всякую благородную мысль и честное чувство, только что еще начинающее проникать въ сознаніе лучшихъ людей». Этому свойству Тургенева критикъ и приписываетъ его успѣхъ. «Конечно, добавляетъ онъ, и литературный талантъ самъ по себѣ много помогъ этому успѣху». «Безъ живого отношенія къ современности всякій, даже самый симпатичный и талантливый повѣствователь, долженъ подвергнуться участи г. Фета, котораго и хвалили когда-то, но изъ котораго те-

---

[163]) Соч. Добролюбова. Изд. 4-е. 1885. т. III. 254.

перь только десятокъ любителей помнитъ десятокъ лучшихъ стихотвореній. Живое отношеніе къ современности спасло г. Тургенева и упрочило за нимъ постоянный успѣхъ въ читающей публикѣ».

Ниже мы увидимъ, какъ «спасло» и «упрочило» великаго художника это превозносимое критикомъ «живое отношеніе къ современности». Въ «Наканунѣ» Добролюбовъ находитъ «современность» самаго послѣдняго фасона.

«Въ послѣднее время, говоритъ онъ, въ нашемъ обществѣ обнаружились требованія совершенно отличныя отъ тѣхъ, которыми вызванъ былъ къ жизни Рудинъ и вся его братія. —Въ теченіе того періода времени пока рисовались передъ нами всѣ эти просвѣщенные поборники истины и добра, краснорѣчивые страдальцы возвышенныхъ убѣжденій, подросли новые люди, для которыхъ любовь къ истинѣ и честность стремленій уже не въ диковинку... Отъ гимназиста, отъ посредственнаго кадета, даже иногда отъ порядочнаго семинариста вы услышите нынѣ выраженіе такихъ убѣжденій, за которыя въ прежнее время долженъ былъ спорить и горячиться, напр. Бѣлинскій... Встрѣчая человѣка, такъ называемаго, прогрессивнаго направленія, теперь никто изъ порядочныхъ людей уже не предается удивленію и восторгу, никто не смотритъ имъ въ глаза съ нѣмымъ благоговѣніемъ, не жметъ имъ таинственно руки и не приглашаетъ шопотомъ къ себѣ въ кружокъ избранныхъ людей,— поговорить о томъ, что неправосудіе и рабство гибельны для государства... Ясно, что при такомъ положеніи дѣлъ прежніе сѣятели добра, люди Рудинскаго закала, теряютъ значительную долю своего прежняго кредита. Ихъ уважаютъ, какъ старыхъ наставниковъ... Нужно уже нѣчто другое, нужно идти дальше»[164]).

Въ «Наканунѣ» Добролюбовъ и находитъ это «нѣчто другое»,—другія положенія, другіе типы, нежели къ какимъ привыкли въ произведеніяхъ Тургенева «рудинскаго» періода 40-хъ и 50-хъ годовъ. Героиней романа является дѣвушка «съ серьезнымъ складомъ ума, съ энергической волей, съ гуманными стремленіями сердца». Въ «Наканунѣ» главное лицо—Елена. Въ ней сказалась та смутная тоска по чемъ-то, та почти безсознательная, но неотразимая потребность новой жизни, новыхъ людей, которая «охватываетъ теперь (т. е. въ 1860 г.) русское общество, и даже не одно только такъ называемое образованное».

Елена все ждетъ, все живетъ наканунѣ чего-то... Хотя это свойство всѣхъ дѣвушекъ, во всѣ времена, прибавимъ отъ себя—она готова къ самой живой, энергической дѣятельности, но приступить къ дѣлу сама по себѣ, одна—она не смѣетъ.

«Какую дѣятельность, спрашиваетъ Добролюбовъ, сообразную съ та-

[164]) Соч. Д. т. III. стр. 258.

кими внутренними требованіями, могъ дать г. Тургеневъ своей героинѣ? На это даже и отвлеченнымъ образомъ трудно отвѣтить: а художественно создать эту дѣятельность, вѣроятно, еще и невозможно для русскаго писателя, настоящаго времени. Неоткуда взять дѣятельности».

Предъ Еленой являются четыре человѣка, изъ которыхъ одинъ привлекаетъ къ себѣ всю ея душу. Одинъ изъ молодыхъ людей—художникъ Шубинъ, хорошенькій и граціозный юноша лѣтъ 25, скульпторъ, добродушный и остроумный, веселый и страстный, безпечный и талантливый. Елена скоро увидѣла художественность этой натуры, увидѣла, что здѣсь все зависитъ отъ минуты, ничего нѣтъ постояннаго и надежнаго, весь организмъ составленъ изъ противорѣчій, лѣнь заглушаетъ способности, вызываетъ потомъ безплодное раскаяніе. Все это Елена поняла инстинктивно и отвергла исканія влюбленнаго скульптора. Другой искатель—Берсеневъ, ученый, готовится къ каѳедрѣ, неуклюжъ, старообразенъ, лицо его некрасиво и даже нѣсколько смѣшно, но выражаетъ привычку мыслить и доброту. Онъ искренно готовъ пожертвовать личнымъ счастьемъ для одного изъ тѣхъ словъ, которыя онъ называетъ «соединяющими», какъ-то: родина, наука, свобода, справедливость. Сердце у него любящее, доброе. Но, видите-ли, «иниціативы нѣтъ у него въ натурѣ». «Не ему, восклицаетъ Добролюбовъ, слиться душою съ какимъ-нибудь великимъ дѣломъ, не ему позабыть весь міръ для любимой мысли, не ему воспламениться ею и сражаться за нее, какъ за свою радость, свою жизнь, за свое счастье... Онъ дѣлаетъ то, что велитъ ему долгъ, стремится къ тому, что признаетъ справедливымъ по принципу, но дѣйствія его вялы, холодны, неувѣренны, потому что онъ постоянно сомнѣвается въ своихъ силахъ».

Вялъ, нѣтъ иниціативы, нѣтъ увѣренности! Мало того, «вполнѣ доволенъ своимъ положеніемъ» и не находитъ лучше призванія, какъ «пойдти по слѣдамъ Тимоѳея Николаевича» т. е. Грановскаго... Какъ бы онъ ни былъ взволнованъ и грустенъ, это не мѣшаетъ ему однако взяться за Исторію Гогенштауфенновъ и начать читать ее съ самой той страницы, на которой онъ остановился наканунѣ. Елена имъ не можетъ увлечься. Третій претендентъ только промелькнулъ въ романѣ, и Елена сама даетъ о немъ отчетъ. Это прогрессивный чиновникъ новаго типа—Курнатовскій. Держится онъ очень просто, говоритъ отчетливо, и все у него отчетливо. Въ немъ есть что-то желѣзное... и тупое и пустое, въ тоже время и честное: говорятъ, онъ, точно, очень честенъ. Объявляетъ, безъ ложной скромности, что онъ въ художествѣ ничего не смыслитъ. Къ Петербургу и къ comme il faut онъ довольно равнодушенъ. Называетъ себя пролетаріемъ. Мы, говоритъ, чернорабочіе. Когда онъ хочетъ похвалить кого, онъ говоритъ, что у такого-то есть правила—это его любимое слово. Къ взяточникамъ безпощаденъ.

Чѣмъ не герой? Это — Саксъ изъ романа Дружинина. Но Елена сурово опредѣляетъ его: Служебная честность и дѣльность безъ содержанія!

Тремя этими лицами—Шубинымъ, Берсеневымъ и Курнатовскимъ— русская жизнь оказалась исчерпанной. Жениха Еленѣ пришлось выбрать даже и не изъ иностранцевъ, а изъ «братушекъ». Это Инсаровъ — «болгаръ, питающій въ душѣ страстное желаніе освободить свою родину». Однако, кончивъ учиться въ Москвѣ, онъ собрался въ Болгарію, но на дорогѣ умеръ; дѣятельности его мы такъ и не видимъ. Молодой человѣкъ 25 лѣтъ, худощавый, жилистый, съ впалой грудью, «узловатыми» руками, прямыми, черными волосами. Небольшой лобъ, небольшіе глаза — видимо не красавецъ...

Аккуратенъ, учтивъ.
Точенъ.

За все хочетъ уплатить «деньгами по разсчету». Сынъ тырновскаго купца, ужасно упрямъ, скрытенъ. Это желѣзный человѣкъ. Никогда не мѣняетъ никакого своего рѣшенія, точно также, какъ никогда не откладываетъ исполненія даннаго обѣщанія. При одномъ упоминовеніи о его родинѣ онъ совершенно мѣнялся: не то чтобы лицо его разгоралось, или голосъ возвышался—нѣтъ! но все существо его какъ будто крѣпло и стремилось впередъ, очертаніе губъ обозначалось рѣзче и неумолимѣе, а въ глубинѣ глазъ зажигался какой-то глухой, неугасимый огонь. Сосредоточенная обдуманность единой и давней страсти слышалась въ каждомъ его словѣ.

Этотъ сразу завоевалъ сердце Елены. Они «обвѣнчались тайно». Потомъ болгаринъ собрался на родину. Елена «вдругъ бросила ему обѣ руки вокругъ шеи» и спросила, «возьметъ-ли онъ ее съ собою?» На это болгаринъ отвѣчалъ, какъ и слѣдуетъ болгарину, ломанымъ языкомъ: «О, моя милая дѣвушка! О, моя героиня, какъ ты произнесла это слово! и т. д.» Все это насочинено Тургеневымъ, такъ какъ и до сихъ поръ болгары живутъ по «домострою», въ патріархальномъ быту, и хотя сами усиленно «политикуютъ», но жены ихъ спокойно занимаются кухней и дѣтьми и не вмѣшиваются ни во что. Тайнаго вѣнца и такихъ «идейныхъ» отношеній между болгариномъ и Еленой установиться рѣшительно не могло.

Но почему же Инсаровъ не могъ быть русскимъ? спрашиваетъ Добролюбовъ. Вѣдь онъ въ повѣсти не дѣйствуетъ, а только собирается на дѣло. Это и русскій можетъ. Характеръ его тоже возможенъ и въ русской кожѣ; особенно въ такихъ проявленіяхъ. Онъ любитъ сильно и рѣшительно; но неужели невозможно и это для русскаго человѣка?

Все это такъ, объясняетъ Добролюбовъ, и все-таки сочувствіе Елены не могло обратиться на русскаго человѣка съ тѣмъ правомъ, съ тою естественностью, какъ обратилось оно на этого болгара. Все обаяніе Инсарова

заключается въ величіи и святости той идеи, которой проникнуто все его существо. Елена, жаждущая дѣятельнаго добра, но не знающая, какъ его дѣлать (почему?) мгновенно и глубоко поражается, еще не видавши Инсарова, разсказомъ о его замыслахъ. «Освободить свою родину, — говоритъ она: — эти слова и выговорить страшно, — такъ они велики!» «И еще хотятъ, чтобъ онъ былъ русскимъ! Нѣтъ, онъ не могъ-бы быть русскимъ!» восклицаетъ сама Елена, въ отвѣтъ на явившееся было сожалѣніе, что онъ не русскій. И дѣйствительно, такихъ русскихъ не бываетъ, не должно и не можетъ быть, въ настоящее время, по крайней мѣрѣ...

А между тѣмъ, со дней Радищева у насъ являлись люди, жертвовавшіе всѣмъ ради идеи. Тѣ, которые дѣлали реформу 19-го февраля и послѣдующія, неужели не были достойны Елены? «Еленѣ, по мнѣнію Добролюбова, не оставалось никакого рессурса въ Россіи послѣ того, какъ она встрѣтилась съ Инсаровымъ и поняла иную жизнь... Что въ самомъ дѣлѣ, ожидало ее въ Россіи? Гдѣ для нея тамъ цѣль жизни, гдѣ жизнь?» Это говорилось накунѣ 19-го февраля, тогда какъ освобожденія Болгаріи нужно было ждать свыше четверти столѣтія. Бѣжать дѣвушкѣ, русской дѣвушкѣ изъ Россіи, наканунѣ Севастополя, наканунѣ 19-го февраля, ибо «гдѣ въ Россіи жизнь, гдѣ цѣль жизни?», — это называется «чутьемъ современности»... Зачѣмъ было Еленѣ наканунѣ Синопа въ 1853 году мѣнять родину, сбираться ходить сестрой милосердія за болгарами, когда и дома она могла пойти на то-же кровавое поле смерти? Правда, Тургеневъ основалъ свою повѣсть на были (одна русская дѣвушка дѣйствительно уѣхала съ болгаринымъ Катрановымъ), но это было очевидное исключеніе, не рисовавшее русской женщины «наканунѣ» реформъ. «Наканунѣ» имѣло слабый успѣхъ, вовсе-же повѣсть расхвалилъ Добролюбовъ. «Отцы и дѣти» самимъ Тургеневымъ названы «повѣстью, по милости которой прекратилось, и кажется навсегда, благосклонное расположеніе къ нему русскаго молодого поколѣнія». Тургеневъ говоритъ, что въ основаніе главной фигуры, Базарова, легла одна поразившая его личность молодого провинціальнаго врача [165]).

Въ мартѣ 1862 года «Отцы и дѣти» явились въ «Русскомъ Вѣстникѣ».

«Не стану распространяться, пишетъ Тургеневъ, о впечатлѣніи, произведенномъ этою повѣстью, скажу только, что когда я вернулся въ Петербургъ, въ самый день извѣстныхъ пожаровъ Апраксинскаго двора, — слово «нигилистъ» уже было подхвачено тысячами голосовъ, и первое восклицаніе, вырвавшееся изъ устъ перваго знакомаго, встрѣченнаго мною на Невскомъ, было: «Посмотрите, что ваши нигилисты дѣлаютъ! Жгутъ Петербургъ!» Я испыталъ тогда впечатлѣнія, хотя разнородныя, но одинаково тягостныя. Я замѣчалъ холодность, доходившую до негодованія, во мно-

[165]) Литературныя воспоминанія. V. По поводу «Отцовъ и дѣтей».

гихъ мнѣ близкихъ и симпатическихъ людяхъ; я получалъ поздравленія, чуть не лобзанія, отъ людей противнаго мнѣ лагеря, отъ враговъ. Меня это конфузило... огорчало; но совѣсть не упрекала меня... Выпущеннымъ мною словомъ «нигилистъ» воспользовались тогда многіе, которые ждали только случая, предлога, чтобы остановить движеніе, овладѣвшее русскимъ обществомъ... На мое имя легла тѣнь. Я себя не обманываю; я знаю, эта тѣнь съ моего имени не сойдетъ... Я не ослѣпляюсь на счетъ моего положенія, съ глубокой тоской заключаетъ Тургеневъ. Мое двадцатилѣтнее «служеніе музамъ» окончилось среди постепеннаго охлажденія публики (писано въ 1868—1869 гг.) —и я не предвижу причины, почему бы она снова согрѣлась. Наступили новыя времена, нужны новые люди».

Между тѣмъ, «Отцы и дѣти» произведеніе высокаго искусства. Оно написано изумительно въ техническомъ отношеніи, и въ отношеніи архитектоники. Оно счастливо по замыслу—изобразить вѣковѣчную распрю «отцовъ» и «дѣтей», распрю поколѣній. «Батькинъ Богъ —сыну не работникъ»—говоритъ русская пословица. Наконецъ, въ романѣ рядъ изумительно типичныхъ фигуръ.

Отношеніе критики къ роману было двойственное. Антоновичъ въ «Современникѣ», обрушилъ на него тяжеловѣсные громы своей тупой критики. Въ «Русскомъ Словѣ» Писаревъ прямо влюбился въ Базарова, и призналъ его представителемъ поколѣнія «мыслящихъ реалистовъ». Однако, что было хуже—брань Антоновича, или восторги Писарева—трудно рѣшить.

Статья Писарева, написанная въ концѣ 1864 года, носила заглавіе «Реалисты», но цензура или редакція дали ей названіе «Нерѣшенный вопросъ», подъ которымъ она испытала на себѣ, по словамъ Писарева, «нѣчто вродѣ геологическаго переворота»; однако большая часть измѣненій возстановлены при жизни Писарева, въ 1866 году.

«Нашихъ реалистовъ, говоритъ критикъ, упрекаютъ давно, и часто, и сильно въ томъ, что они не понимаютъ и не уважаютъ искусства. Упрекъ въ непониманіи несправедливъ; а что они не уважаютъ искусства — это вѣрно».

Такой приступъ самъ по себѣ предвѣщалъ очень мало добраго для Тургенева.

«Нашъ теперешній литературный реализмъ не выписанъ изъ за-границы въ готовомъ видѣ, продолжаетъ Писаревъ, а формируется у насъ дома. У насъ нѣтъ готовой системы, изъ которой мы могли-бы брать для нашей защиты сильные аргументы, придуманные какимъ-нибудь заграничнымъ учителемъ; мы въ этомъ отношеніи не похожи на гегелистовъ прошлаго поколѣнія; намъ приходится приготовлять каждый аргументъ своими домашними средствами; оттого дѣло идетъ у насъ не очень прытко, оттого мы иногда пятимся и провираемся, но это еще ничего не значитъ... Года два

тому назадъ наши литературные реалисты сильно опростоволосились. Дѣйствіе происходило въ 1862 г. Въ февральской книжкѣ «Русскаго Вѣстника» появляется романъ Тургенева: «Отцы и дѣти». Одинъ изъ лучшихъ людей старшаго поколѣнія, Тургеневъ, писатель честный, написавшій и напечатавшій «Записки Охотника» задолго до уничтоженія крѣпостного права. Тургеневъ, говорю я, обращается къ молодому поколѣнію и громко предлагаетъ ему вопросъ: «Что вы за люди? Я васъ не понимаю, я вамъ не могу и не умѣю сочувствовать. Вотъ что я успѣлъ подмѣтить. Объясните мнѣ это явленіе». Таковъ настоящій смыслъ романа. Этотъ откровенный и честный вопросъ пришелся какъ нельзя болѣе во́-время. Его предлагала вмѣстѣ съ Тургеневымъ вся старшая половина читающей Россіи... Надо было совершенно отодвинуть въ сторону оцѣнку романа и сосредоточиться на разборѣ базаровскихъ идей... «Современникъ» поступилъ какъ разъ наоборотъ. Совершенно измѣняя добролюбовскимъ преданіямъ, онъ далъ своимъ читателямъ чисто эстетическую рецензію. Антоновичъ употребилъ всѣ силы своей діалектики на то, чтобы доказать, что романъ Тургенева плохъ, хотя публикѣ не было никакого дѣла ни до Тургенева, ни до его романа. Она хотѣла знать, что такое Базаровъ». Итакъ, хотя Тургеневъ «писатель честный», «одинъ изъ лучшихъ людей старшаго поколѣнія», однако ни до него, ни до романа никому никакого дѣла нѣтъ. Всѣ интересуются однимъ Базаровымъ. Да и самъ Тургеневъ своимъ романомъ только слезно молилъ новыхъ критиковъ— «Объясните! не понимаю!»

Писаревъ великодушно соглашается объяснить и Тургеневу, и русской публикѣ, что такое Базаровъ въ дѣйствительности... И Писаревъ начинаетъ повѣствовать о Базаровѣ такъ, словно онъ еще раньше выхода романа Тургенева съ Базаровымъ чай пилъ. «Базаровъ даже и говоритъ-то совсѣмъ немного, и выражаетъ свои мысли такъ коротко и отрывисто, что почти каждое его слово требуетъ дополнительныхъ и пояснительныхъ комментаріевъ. Такъ не говорятъ болтуны, то есть люди, наслаждающіеся звукомъ собственныхъ рѣчей. Такъ говорятъ только дѣловые люди, чувствующіе непримиримую ненависть ко всякому риторству». И затѣмъ Писаревъ начинаетъ весьма пространные «комментаріи».

Конечно, Тургеневъ могъ-бы ему сказать: «Послушайте, г. критикъ! Пусть Базаровъ говоритъ «совсѣмъ немного», «выражаетъ свои мысли коротко и отрывисто», однако это немногое, и всѣ эти мысли вложилъ ему въ уста я, ибо онъ и мое созданіе. Вотъ вы признались, что у «мыслящихъ реалистовъ» «новаго поколѣнія» «дѣло идетъ не очень прытко», оттого, что у нихъ нѣтъ «готовой системы». Ну, такъ вотъ краткія мысли моего героя, и послужили этой «системой». И посмотрите, какъ «прытко» насочинили вы громадную статьищу, дополняя и поясняя эти мысли. Но вѣдь эти мысли чужія, взяты вами у меня. Вѣдь Базаровъ — плодъ моей творческой фанта-

зіи. А между тѣмъ вы моимъ же добромъ, да мнѣ же челомъ. и безъ всякой благодарности. Напротивъ, заявляете, что вамъ ни до моего романа, ни до меня самого — нѣтъ никакого дѣла. Очень ужъ безцеремонно и даже смахиваетъ на плагіатъ».

Но мало того, придавъ Базарову юношескую рѣзкость и безцеремонность тона, Тургеневъ сдѣлалъ все, чтобы охранить отъ утрировки и всего мелочнаго, пошлаго образъ, къ которому относился сочувственно. Писаревъ же въ своихъ «дополнительныхъ и пояснительныхъ коментаріяхъ» каждое словцо, каждую краткую «мысль» Базарова, которую тотъ ронялъ просто чтобы ошарашить собесѣдника, самъ будучи выше ея, распространилъ въ безконечныхъ разглагольствованіяхъ, съ наивной вѣрой въ эти «мысли», какъ въ изреченія оракула. Въ то же время Писаревъ съ необычайной злобой относится къ остальнымъ дѣйствующимъ лицамъ романа, словно это живые люди, которые чѣмъ либо ему насолили. «Это плоское животное, Аркадій, не утерпѣлъ и произвелъ новое визжаніе... подъ старость Аркадій сдѣлается безполезнѣйшимъ, а можетъ быть и дряннѣйшимъ тунеядцемъ (почему?). А старость, то есть житье въ брюхо, для этихъ восковыхъ господъ, начинается ровно черезъ годъ (?) послѣ выхода изъ университета».

Тургеневъ заставилъ своего героя спасовать передъ женщиной. Но вотъ какіе «комментаріи» ко всей этой психологической колизіи приписываетъ Писаревъ: «Самое серьезное значеніе для Базарова и самый серьезный результатъ во всѣхъ отношеніяхъ могли имѣть разговоры съ Одинцовой (раньше Писаревъ выражаетъ полное сочувствіе Базарову, которому своей родной матери «и сказать нечего», такъ она отъ него отстала, такъ отстала!); они могли доставить Базарову счастье взаимной любви, и они же могли дать обществу мыслящую женщину». «Разговоры съ Одинцовой» по комментаріямъ Писарева все время шли о предметахъ, имѣющихъ дѣйствительный интересъ: о химіи. о ботаникѣ, о новѣйшихъ открытіяхъ натуралистовъ... Отдайся Базарову Одинцова, эти химико-ботаническіе разговоры велись бы и тогда, когда «не думаетъ никто» и создалась бы «мыслящая женщина»... «Наслаждаясь разумнымъ счастьемъ, Базаровъ удесятерилъ бы свои рабочія силы, и это приращеніе пошло бы цѣликомъ на пользу общему умственному капиталу всего человѣчества (ужъ будто бы!). Одинцова, съ своей стороны, развернула бы всѣ силы своего здороваго ума».

Послѣдній романъ изъ трилогіи Тургенева «Дымъ» принесъ еще больше терній великому поэту, наглядно доказавъ, что отрекаясь отъ строгой художественности. онъ совершенно не къ выгодѣ своей увлекся «живымъ отношеніемъ къ современности», которое по увѣреніямъ Добролюбова, должно было его «спасти» и «упрочить за нимъ постоянный успѣхъ». Чѣмъ больше Тургеневъ усердствовалъ и «ловилъ моментъ», тѣмъ менѣе успѣвалъ. Тѣмъ болѣе, что нападки и неуспѣхъ возбудили его желчь, и побудили

вдаться въ шаржъ, каррикатуру и прямо пасквиль, а кромѣ того, вывести манекена, для провозглашенія политическаго credo романиста.

«Дымъ», говоритъ самъ Тургеневъ, «хотя успѣхъ имѣлъ довольно значительный, однако возбудилъ противъ меня большое негодованіе. Особенно сильны были упреки въ недостаткѣ патріотизма, въ оскорбленіи родного края, и т. д... Оказалось, что я одинаково, хотя съ различныхъ точекъ зрѣнія, оскорбилъ и правую, и лѣвую сторону нашей читающей публики. Я нѣсколько усумнился въ самомъ себѣ и умолкъ на нѣкоторое время»[166]).

«Романъ «Дымъ», — говоритъ г. Головинъ, — самое личное и субъективное изъ произведеній Тургенева, въ которомъ онъ высказался полнѣе, чѣмъ гдѣ-либо. Романъ этотъ представляетъ собою рѣдкое въ литературѣ сопоставленіе поразительно глубокаго психологическаго анализа женской натуры съ необыкновенно поверхностнымъ и фельетоннымъ изображеніемъ общественнаго быта. Фигура Ирины, въ которой весь интересъ и все достоинство романа, безспорно одно изъ лучшихъ созданій тургеневской кисти. За то обѣ каррикатурныя группы, извнѣ пристегнутыя къ фабулѣ разсказа, — группа великосвѣтскихъ шалопаевъ и не менѣе уродливая группа праздно шатающихся пустозвоновъ — образчикъ неудачнаго, хотя и ядовитаго пасквиля... нельзя, конечно, сказать, чтобы среди празднаго космополитическаго общества, каждое лѣто съѣзжающагося въ Баденъ, не пріѣзжало такихъ образчиковъ самодовольной пошлости, какими являются мужчины и дамы, окружающіе Ирину Ратмирову, такихъ безмозглыхъ болтуновъ, какъ революціонные диллетанты, собирающіеся у Губарева. Но типическимъ изображеніемъ великосвѣтскаго общества и русской заграничной демагогіи они служить не могутъ. Въ томъ-то и дѣло, что художникъ не всегда имѣетъ право изобразить первое ему попавшееся уродливое лицо, даже воспроизводя его мѣтко и вѣрно... Всю сатирическую часть «Дыма», все то, что придаетъ этому роману идейный смыслъ, нельзя не признать вполнѣ недостойнымъ пера Тургенева»[167]).

Герой романа — Литвиновъ — жалкая личность, а между тѣмъ долженъ представлять золотую середину между двумя крайностями, изображая положительную фигуру. Однако, вмѣсто симпатичнаго и просвѣщеннаго либерала, какимъ хотѣлъ представить его Тургеневъ, Литвиновъ вышелъ лишь безцвѣтнымъ представителемъ умѣренности и аккуратности, способнымъ, правда, совершить маленькую подлость, но даже не искупающимъ этой подлости силою страсти. «Тургеневъ, — говоритъ г. Головинъ, — должно быть почувствовалъ, что его герой не годится въ носители авторскихъ идей. Пространно развивать эти идеи онъ поручилъ иному лицу, пристегнутому

[166]) Собр. соч. т. II, изд. 3-е, 1891. Предисловіе автора къ собранію его романовъ, 1880 года. Стр. XIV.

[167]) Русскій романъ. Спб. 1897. Стр. 297.

къ роману въ видѣ ненужнаго аксессуара и въ промежутки между любовными сценами являющемуся излагать Литвинову ученіе западниковъ».

Про Потугина можно сказать, пародируя то, что о Чацкомъ сказалъ Пушкинъ: «Самъ онъ не уменъ, а Тургеневъ очень умный человѣкъ». Желчная тирада Потугина, конечно, голая правда отъ начала до конца, но правда не о всей Россіи, а только о лже-патріотахъ ея, о лицемѣрахъ, которые до Севастополя увѣряли, что русскому солдату хорошаго усовершенствованнаго ружья не требуется, что онъ съ плохимъ побѣждать привыкъ, а послѣ 19-го февраля утверждали, что русскій безграмотный мужикъ скажетъ между двумя рыготинами новую правду западному человѣчеству, а потому и нужно держать его въ грязи полнаго умственнаго убожества, дабы сохранить дѣвственность его «нутра».

БИБЛІОГРАФІЯ: 1) Критическія статьи о романѣ «Наканунѣ»: 1860 г.: Н. А. Добролюбова. Когда-же придетъ настоящій день? Соч. т. III. Статья появилась въ Современникѣ.—1861 г.: Ап. А. Григорьевъ. Искусство и нравственность. Свѣточъ. № 1, Стр. 1 — 22. — 1874 г. М. Авдѣевъ. Наше общество въ герояхъ и героиняхъ литературы. Наталья и Елена, героиня «Рудина» и «Наканунѣ». 2) Критическія статьи о романѣ «Отцы и дѣти». — 1862 г,: М. Антоновичъ. Асмодей нашего времени. Современникъ. № 3. (65 — 122). — Писаревъ. Базаровъ. Соч. т. II. Изд. 1894 г. — Его-же: Нерѣшенный вопросъ (Реалисты). Соч. т. IV.—Статьи въ журналахъ того времени. Время 1862 г. № 4 (50—83): Русскій Вѣстникъ. 1862 г. №№ 5 и 7; Вѣкъ. 1862 г. № 15 и 16; Библіотека для чтенія. 1862 г. № 4 5. Въ этихъ статьяхъ отраженіе полемики о романѣ и впечатлѣнія, произведеннаго имъ на русское общество. Заключеніе полемики въ статьѣ Incognito: «Начало конца». Отеч. Записки 1864 г. № 6. — Скабичевскій. Русское недомысліе. Соч. т. I. Лучшая оцѣнка въ книгахъ г. Головина: «Русскій романъ», и Н. Н. Страхова: «Критическія статьи о Тургеневѣ и Толстомъ». Спб. 1887 г. 3) Критическія статьи о романѣ «Дымъ»: 1867 г.: Отеч. Записки. Май. Н. Н. Страховъ. Новая повѣсть Тургенева.—Вѣстникъ Европы. Февраль П. В. Анненковъ. Русская современная исторія въ романѣ Тургенева «Дымъ». (въ собр. его статей).—1868 г.: А. М. Скабичевскій. Новое время и старые боги. Соч. т. I. — Дѣло: № 1 и 3. Н. Лунинъ. Старые романисты и новые Чичиковы.—1861. Заря. № 2. Н. Н. Страховъ: «Послѣднія произведенія Тургенева».

§ 7. Рядомъ съ Тургеневымъ, пытался изобразить движеніе шестидесятыхъ годовъ другой первоклассный талантъ 40-хъ годовъ — Писемскій.

По примѣру «Свистка» и «Современника», во всѣхъ журналахъ вошло тогда въ моду помѣщать въ концѣ книжекъ сатирическіе фельетоны. Завела такой фельетонъ и «Библіотека для Чтенія», редакторомъ которой съ 1858 г. былъ Писемскій. Въ концѣ 1861 г. самъ онъ выступилъ здѣсь подъ псевдонимомъ Никиты Безрылова въ декабрьской книжкѣ. Поднялась буря изъ-за фельетона въ январѣ 1862 г. Издатели «Искры», Курочкинъ

и Степановъ, послали Писемскому вызовъ (Sic!) на дуэль. Тотъ отказался редактировать Библ. для Чтен., переѣхалъ въ Москву и засѣлъ за большой романъ «Взбаломученное море», напечатанный въ 1863 г.

Произведеніе это даетъ широкую въ художественныхъ очеркахъ картину русской жизни. Оно навлекло на Писемскаго непримиримую вражду направленской критики, отзвуки которой живы и въ наши дни. Собственно половина романа — три первыя части — изображаетъ общество сороковыхъ годовъ. Здѣсь развертывается предъ нами галерея лицъ — Баклановъ, очаровательная Софья, типы и картины изъ помѣщичьяго быта, описаніе студенческихъ годовъ Бакланова, трактиръ Британія, гдѣ поетъ русскія пѣсни Тертіевъ, скандалы студентовъ въ театрѣ, встрѣчающихъ балерину Андреянову, затѣмъ неудачныя попытки Александра служить и безпечно — грязноватая жизнь баричемъ въ деревнѣ, романъ съ подневольной рабой — все это не выходитъ изъ круга романовъ 40-хъ годовъ. Все это писано кистью сильнаго мастера, бьетъ жизнью и полно художественной правды.

Четвертая часть начинается 1853 годомъ — эпохой нашего пробужденія и оканчивается картиной петербургскихъ пожаровъ 1862 г. И въ послѣднихъ трехъ частяхъ центральнымъ лицомъ является человѣкъ 40-хъ годовъ, со всѣми недостатками, свойственными его типу, и рядомъ съ нимъ Софья, мало по малу превращающаяся въ международную вакханку и кончающая дни въ парижской Клиши. Собственно эпоха 50-хъ и начала 60-хъ годовъ отражена въ описаніи гостиной Софьи въ Петербургѣ, когда Баклановъ намѣревается «приступить къ изданію журнала чисто эстетическаго», но быстро изъ эстетика преображается въ реалиста, въ безпощадной картинѣ деревни послѣ Положенія, гдѣ однако опять таки бичуется тотъ же Баклановъ, затѣявшій «братскій праздникъ съ народомъ», и наконецъ въ изображеніи нашихъ нигилистовъ заграницей. Во всемъ этомъ много вѣрнаго: интересно задуманъ Іона — циникъ, и богатый еврей — откупщикъ Галкинъ, однако глубоко изображены только 40-е годы, въ лицѣ зауряднаго представителя этой эпохи. Пѣна «взбаломученнаго моря» въ видѣ отдѣльныхъ, проплывающихъ мимо, хлопьевъ — вотъ что, въ сценахъ, посвященныхъ эпохѣ подготовленія и начала великихъ реформъ, изображаетъ романъ, но глуби въ немъ нѣтъ. Изобразить возрождающуюся Россію могъ только такой писатель, какъ Достоевскій. Тѣмъ не менѣе, романъ Писемскаго занимаетъ выдающееся мѣсто по богатству художественно выполненныхъ фигуръ и картинъ.

Еще менѣе удовлетворительны въ отношеніи раскрытія смысла движенія 60-хъ годовъ и всѣхъ теченій его, свѣтлыхъ и темныхъ, хотя и наполненные фотографически — точными снимками съ различныхъ нигилистовъ и нигилистокъ, романы Лѣскова «Некуда» (1864) и «На ножахъ» (1870—71). Лѣсковъ (Стебницкій) род. 4 февраля 1831 г. Первое печатное произведе-

ніе его появилось въ 1860 г. Статья о пожарахъ въ «Сѣверной Пчелѣ» (№ 143, 1862 г.) навлекла на него озлобленное гоненіе всей радикальной печати. «Некуда» и «На ножахъ» докончили дѣло. Лѣскова прокляли и отлучили отъ литературы, что не помѣшало ему однако дать потомъ рядъ художественныхъ произведеній и стать въ ряду оригинальнѣйшихъ нашихъ писателей, съ огромнымъ талантомъ разработать бытъ новый— духовенства, выяснивъ положительныя черты этого быта, тогда какъ другіе писатели 60-хъ годовъ изображали только отрицательныя стороны духовнаго сословія и возвеличивали однихъ только, порывавшихъ съ нимъ, прогрессивныхъ семинаристовъ-нигилистовъ. («Соборяне», 1872 г.).

Остракизму «направленцевъ подвергся тогда и другой молодой писатель—Викторъ Петровичъ Клюшниковъ (род. 10 марта 1841 г., ум. 7 ноября 1892 г.) Дядя его—поэтъ сороковыхъ годовъ, изъ кружка Станкевича и Бѣлинскаго. И. П. Клюшниковъ, имѣлъ большое вліяніе на него. Свой первой романъ—«Марево», Клюшниковъ напечаталъ въ 1864 году, въ 1866 романъ «Большіе корабли». Кромѣ того имъ написаны двѣ повѣсти «Другая жизнь» (1865 г.) и «Государь отрокъ» (1880 г.).

«Марево»—это польское повстанье 1863 года и мечта поляковъ возстановить былую Польшу. «Марево» — та великая ошибка, въ силу которой многіе передовые люди и самъ Герценъ, будучи демократами и соціалистами, впутались въ это «шляхетское» дѣло и въ концѣ концовъ очутились между двухъ стульевъ—и поляки, и дѣло ихъ было имъ чуждо, и русское общество отъ нихъ отшатнулось.. Изображая эту сложную картину, Клюшниковъ нигдѣ не впалъ въ каррикатуру, остался художникомъ. Особенно замѣчательны сцены въ замкѣ крупнаго магната, лагерь повстанцевъ въ лѣсу, набѣгъ ихъ на помѣщичью усадьбу. Вообще, романъ Клюшникова— вполнѣ художественное созданіе и долженъ занимать видное мѣсто въ русской литературѣ. Между тѣмъ, онъ былъ обруганъ, оплеванъ и какъ бы скрытъ отъ русскаго общества. Не понятъ былъ и тотъ тонкій юморъ, который разлитъ на каждой его страницѣ, беззлобный и гуманный. «Невѣжественная раздражительность» направленской критики не поняла этого юмора, и перетолковала все въ немъ нелѣпо и грубо.

Замѣтимъ, что романъ «Марево» напечатанъ былъ въ 1864 г., когда и Катковъ, и «Русскій Вѣстникъ» еще не разошлись съ прогрессистами. Это еще первый, англоманскій періодъ дѣятельности Каткова.

Герой романа Русановъ, нѣсколько безцвѣтенъ. Это просто добрый и честный малый съ большимъ здравымъ смысломъ. Но образъ героини — Инны, одинъ изъ удачнѣйшихъ женскихъ силуэтовъ въ художественной литературѣ десятилѣтія. Вотъ первое появленіе ея въ романѣ:

«— Вонъ непосѣда-то идетъ!» объявила Юлинька. Изъ саду шла высокая, стройная дѣвушка, въ черномъ платьѣ и мускетеркѣ, бравурно на-

двинутой на задумчивое, немного блѣдное лицо. Черные глаза смѣло глядѣли изъ-подъ рѣзко очерченныхъ бровей, черные волосы густыми локонами разсыпались по плечамъ. Рядомъ съ ней громадный черный водолазъ, величаво выступая, несъ во рту корзинку съ цвѣтами...

Характерна и обстановка, среди которой живетъ Инна въ деревенскомъ затишьи малороссійскаго, помѣщичьяго хутора.

«Русановъ вступилъ въ маленькую комнатку, рѣзко отличавшуюся отъ прочихъ. Обоевъ не было; надъ желѣзною кроватью висѣли портреты Жоржа Санда и Женни д'Эрикуръ; надъ ними старинная сабля, отдѣланная золотомъ и каменьями. Письменный столъ, комодъ, на которомъ стояли книги, два стула и стѣнные часы составляли все убранство». Направленіе Инны—положительно. Она занимается ботаникой. Она говоритъ:

— Я никогда романовъ не читаю; зачѣмъ? Смотрите по сторонамъ, вотъ вамъ и романы!

— И никакихъ?

— Диккенса кое-какъ осиливаю на сонъ грядущій...

Въ романѣ характеризуется отецъ Инны — письмами, по иниціаламъ Г. и Б., несомнѣнно Герцена и Бакунина... Онъ былъ центромъ, около котораго группировалось все мыслящее въ Россіи, а потомъ, когда онъ отшатнулся отъ этого кружка, вокругъ него стали собираться всевозможные элементы революціи 1848 года. Инна благоговѣетъ передъ памятью отца, и душа ея томится по неизвѣстнымъ героямъ, называемымъ ею — «они, которые всѣ умерли».

— Кто это «они»? спрашиваетъ Русановъ.

— Они тѣ, которые съумѣли стать выше земли.

— Романтики? Идеалисты?

— Они тѣ, перебила она съ досадой, чья душа и темна, и свѣтла, какъ эта ночь; они тѣ, что не продадутъ своей совѣсти... Вотъ могила моего отца, сказала она, указывая на заросшій цвѣтами холмикъ подъ самымъ домомъ. Онъ цѣлую жизнь промаялся одинъ и завѣщалъ похоронить себя въ саду; онъ боялся сосѣдей даже на кладбищѣ.

У Инны есть братъ, Леонъ, который сталъ нелегальнымъ и служитъ польскому дѣлу повстанья, подъ началомъ графа Бронскаго, поляка — магната. Характеренъ разговоръ Леона, ночью явившагося къ своей сестрѣ, показывающій, что въ головкѣ Инны уже бродитъ духъ скептическаго анализа:

«Онъ снялъ полотняный чахолъ; подъ нимъ оказался фантомъ человѣка изъ папье-маше, съ красными, синими жилками, бѣлыми нервами.

— Да, это новое, усмѣхнулась она, — это я тоже изъ Петербурга вывезла; тутъ вся ихъ и мудрость! Смотри, отойди лучше, того и гляди обругаетъ, да еще ударитъ... Я еще и не тому тамъ, въ Петербургѣ, выучи-

лась... Ты, можетъ быть, думаешь, что ты свободное существо, а ты просто физико-химическая машина... Это не ты думаешь, это фосфоръ въ твоемъ мозгу отдѣляетъ мысль. Что за безобразіе! вскрикнула она, толкнувъ фантомъ... Нѣтъ, слушай, Леня: — въ самомъ дѣлѣ: ѣсть, пить, рости, дряхлѣть, разсыпаться, тутъ и все?..»

Начало скептическаго отрезвленія замѣтно и въ словахъ Леона:

«Пока ты тутъ съ книгами, да съ этою дрянью возилась, я перебывалъ и въ раскольничьихъ скитахъ, и въ цыганскихъ таборахъ, корчемничалъ, у контрабандистовъ на Прутѣ годъ прожилъ. Что жь ты думаешь, есть въ этомъ хоть капля поэзіи? Сволочь»!

И вотъ оба, отъ «марева» матеріалистической науки, скитовъ, таборовъ, контрабандистовъ, идутъ къ другому «мареву» — польскому повстанью, потому, что въ немъ имъ мнится жизнь, свобода, «капля поэзіи»...

Удивительно обрисованъ въ романѣ типъ русскаго гимназиста — Коли. Съ нимъ только сравнится Коля Красоткинъ изъ «Братьевъ Карамазовыхъ» Достоевскаго.

Любопытенъ его споръ со старымъ вольтерьянцемъ, гегелистомъ, романтикомъ и скупердяемъ, бѣгающимъ по хатамъ мужиковъ и заглядывающимъ въ ихъ горшки — не варится-ли тамъ рыбы, краденной изъ его озера — Кономомъ Терентьевичемъ.

— Ну, будешь служить... изъ чего? Жалованье получать! Будешь литераторомъ — гонораріи; купцомъ — барыши; а результатъ одинъ: пить, ѣсть, наслаждаться жизнію... Дураки хлопочутъ, изъ кожи вонъ лѣзутъ, а умный человѣкъ и такъ проживетъ...

— Да какже, по вашему, и цѣли въ жизни нѣтъ?

— Да что ты лошакъ что-ли испанскій? Тѣмъ вотъ, когда на гору ѣдутъ, клочокъ сѣна передъ мордой вѣшаютъ. Ну, они и идутъ, все хотятъ дойдти... И вы туда же?

После этого и призванія никакого нѣтъ?

— Отстань, надоѣлъ... Ничего нѣтъ.

— Нѣтъ, дяденька! Вы сами себѣ противорѣчите... На той недѣлѣ вы читали Искандера и восхищались; вчера перечитывали «Переписку Гоголя» и опять восхищались, а нынче опять другое говорите...

— Да ты глупъ! Ну, смотришь ты на розу — тебѣ нравится; нюхаешь жасминъ — опять нравится...

— Да? Такъ это все цвѣточки?

— А ты, въ самомъ дѣлѣ, думалъ ягодки?

. . . .

— Дяденька ничему не вѣритъ... Онъ даже въ микроскопъ не вѣритъ! съ грустью говоритъ юноша.

Вотъ двѣ характерныя сцены въ городской публичной библіотекѣ и въ гимназіи:

— Тутъ чортъ знаетъ что дѣлается, проворчалъ вдругъ гимназистъ. Вотъ, полюбуйтесь: «Русскіе Вѣстники», «Домашнія Бесѣды», «Сыны Отечества»... знаете на что все это пригодно?

— А на что?

— Запалить ихъ, да и подпалить вонъ то прекрасное зданіе, — отвѣтилъ гимназистъ, показывая въ окно на стоявшій насупротивъ земскій судъ.

— Зачѣмъ же прятать то?— сказалъ инспекторъ, приподнимая крышку парты. Все утихло... Нашелся первый нумеръ «Колокола» за 1861 годъ, съ руководящей статьей Огарева, прокламація Михайлова, фотографическія картинки варшавской работы самаго пикантнаго содержанія.

— Да, вѣдь, это придирки, господинъ инспекторъ. Кто же не читаетъ «Колокола»? Развѣ только допотопные?.. Вы сами прогрессистъ...

Конечно, Коля яростно сочувствуетъ польскому повстанью:

— Cousin! кричала Юленька, высовываясь изъ кареты: venez donc!

Коля подбѣжалъ къ дверцамъ.

— Что это вы покупаете?

— Конфедератку, важно отвѣчалъ онъ.

Въ концѣ-концовъ онъ уходитъ «до ля́су» и впутывается руками и ногами въ чужое дѣле.

Превосходно выполненъ и польскій патріотъ, графъ Бронскій, съ принципомъ «цѣль оправдываетъ средство» и полной вѣрой въ свое шляхетское дѣло. Русановъ, однако, ему не поддается.

— Ни на чемъ нельзя остановиться, нѣтъ ни одного отраднаго явленія!—говоритъ Бронскій.

— Въ чемъ же спасенье? спрашиваетъ Русановъ.

— Спасенье? Ага! Вотъ что́! Доктрину имъ подавай! Формулы для жизни!

— Да, и хорошую доктрину! Дѣльныя формулы!

— Дайте срокъ, дадутъ вамъ и доктрину, и дѣйствовать научатъ, а теперь пока мы можемъ высказываться только такой душѣ, которая совмѣстила бы въ себѣ жаръ расплавленнаго желѣза съ молчаніемъ гробовой плиты...

— Помилуй Богъ, какіе страхи!

Какъ-бы то ни было, Бронскій на своемъ мѣстѣ въ «повстаньи», какъ оно ни химерично. Но русскіе, впутавшіеся въ эту чужую печаль, когда и своей на шеѣ было достаточно, постоянно чувствуютъ тайное сомнѣніе. Вотъ Леонъ смотритъ на спящаго Бронскаго:

«Графъ спалъ, беззаботно раскинувшись на постели: одна рука лежала

на груди, будто прислушиваясь къ ровному біенію сердца. Курчавые волосы разметались на подушкѣ, на губахъ бродила улыбка...

«Счастливецъ! можетъ быть его завтра схватятъ; онъ гордо выйдетъ на судъ. Кто вы такой? Званіе, имя, фамилія? Графъ Владиславъ Бронскій. Какого вѣроисповѣданія? Никакого. Не дѣйствовали-ли вы противъ правительства? Дѣйствовалъ. Знаете-ли вы, чему подвергаетесь? Знаетъ и спитъ... покойно. Онъ вѣритъ, вѣритъ!»

Поляки отбунтовали, а у русскихъ спала съ глазъ дымка «марева». Героиня романа, разбитая, больная, очутилась въ Лондонѣ.

«Годъ тому назадъ, пишетъ она грустное признаніе, я сошлась съ людьми, которые казались мнѣ поборниками правды, добра, свободы, всего, не потерявшаго для меня и до сихъ поръ своего истиннаго смысла. Теперь я вижу насквозь эту горсть честолюбцевъ, жадно рвущихъ другъ у друга власть, какъ стая коршуновъ тащитъ другъ у друга изъ клева требуху дохлой скотины».

«Я устала въ этой путаницѣ гадостей, низостей... Я шла бодро, пока впереди мелькало что-то неясное, но радужное, переливчатое, какъ марево нашихъ родныхъ степей; вихрь, охватившій ихъ въ послѣднее время, разогналъ миражъ; за нимъ бурлитъ безсмысленное, вздутое, свирѣпое море, грозящее всеобщимъ потопомъ... я сижу, какъ подстрѣленная чайка на берегу, и голоса моего не слыхать за общимъ воемъ».

Отрезвѣло и русское общество. «Да, думаетъ Русановъ, проснулось оно, русское чувство, заваленное, замусоренное, опрокинуло весь наплывъ; ходу проситъ, говорить хочетъ...»

Невдалекѣ отъ дебаркадера ему попался вооруженный отрядъ, сопровождавшій партію мятежниковъ, выселяемыхъ въ дальнія губерніи Россіи... «Сколько силъ сгублено, сколько жизней убито!» думалъ Русановъ, грустно глядя на отставшую толпу: «Изъ-за чего? изъ-за призрака, изъ-за марева...»

Такимъ образомъ «Маревомъ» Клюшниковъ именуетъ увлеченіе польскимъ повстаньемъ, чужимъ, шляхетскимъ дѣломъ, которое охватило русскихъ людей, чуждыхъ національнаго самосознанія, жаждавшихъ «капли поэзіи». А критика оклеветала Клюшникова, будто-бы онъ все движеніе 50-хъ и начала 60-хъ годовъ, освобожденіе крестьянъ назвалъ и изобразилъ «Маревомъ». И такъ и остается оклеветаннымъ правдивый и недюженный художникъ.

БИБЛІОГРАФІЯ: 1) Критическія статьи о романѣ «Взбаломученное море»: 1863 г.: Въ «библіотекѣ для чтенія» (№№ 11 — 12) статья Эдельсона. Въ «Русскомъ Словѣ» (№ 10). Статья Зайцева: Взбаломученный романистъ. — Отрицательная характеристика въ «Исторіи» г. Скабичевскаго и въ его сочиненіяхъ, въ статьѣ «Русское недомысліе». (т. I).—2). Николай Семеновичъ Лѣсковъ (Стебницкій). Собраніе сочиненій въ 12 томахъ. Два изданія 1889 — 1886 и 1897 (послѣднее

съ критико-біографической статьей Р. Сементовскаго). Здѣсь въ т. I: Соборяне; въ т. IV: Некуда; въ т. IX. На ножахъ. При т. X перваго изданія библіографич. указатель сочиненій Лѣскова. — О Лѣсковѣ въ книгѣ Головина: «Руccкій романъ». Гл. XXI. — Статьи Фаресова въ «Историч. Вѣстникѣ» 1895 г. № 4 и 1897 г. № 3 и Введенскаго, ibid. 1890. № 5. — 3) Викторъ Петровичъ Клюшниковъ. Отдѣльныя изданія его романовъ и произведенія оставшіяся въ журналахъ: Марево. М. 1863 (напис. 1861). — Не марево. Повѣсть. Заря 1871 г. № 2 и 4. — Цыгане. Романъ. Спб. 1871 г. (Напис. въ 1866 г.). — Клюшниковъ и Кельсіевъ. При Петрѣ. Историч. повѣсть Спб. 1872 г. — Большіе корабли. Ром. Спб. 1874 г. — Крѣпышъ. Разск. Русск. Вѣстн. 1885 г. № 1. — Богоданка. Сельская идиллія. Недѣля. 1887 г. № 1. — О немъ у Головина. Скабичевскаго («Исторія»), въ словарѣ Брокгаузъ—Эфронъ.

§ 8. Въ ряду художественныхъ произведеній нашихъ классиковъ одно изъ видныхъ мѣстъ занимаетъ «Обрывъ» Гончарова,—сложная, изумительно гармоничная по общей архитектоникѣ и выработкѣ подробностей композиція. Тѣмъ не менѣе Гончаровъ отдалъ въ этомъ романѣ дань и тенденціозности, покусившись отразить въ ней героя современности — нигилиста шестидесятыхъ годовъ въ фигурѣ Марка Волохова.

Странное дѣло — первоклассные таланты школы словесниковъ 40-хъ годовъ—Тургеневъ, Писемскій, Гончаровъ, при всѣхъ попыткахъ изобразить «новаго человѣка» поколѣнія, выступившаго въ 60-хъ годахъ, радикала—разночинца, ничего не въ силахъ дать, кромѣ болѣе или менѣе ловкой каррикатуры. Имъ не уловить «пафосъ» новыхъ людей и новой эпохи. Намъ кажется, что это объясняется художественной манерой и пріемами искусства школы словесниковъ сороковыхъ годовъ. Это искусство въ совершенствѣ могло изображать только застывшіе въ законченномъ обликѣ бытовые типы, выражавшіе коллективную національную, сословную и профессіональную личность. Но тамъ, гдѣ все бурлило и клокотало, все находилось въ образованіи, не было «натуры» съ чеканкой и лѣпкой, пластически выпуклой и цвѣтной, гдѣ ломались бытовыя формы и падали устои вѣкового строя, шло бурливое творчество жизни, тамъ это художество было безсильно, и уловляя отдѣльные рѣзкіе зигзаги и абрисы давало шаржъ, каррикатуры, цѣлое-же тонуло въ взбаломученномъ морѣ, «маревѣ», «дымѣ», въ томъ «шевелящемся хаосѣ», гдѣ ворочаются «демоны глухонѣмые», о чемъ говоритъ только Тютчевъ, изъ русскихъ лириковъ. Проникнуть въ «хаосъ», «дымъ», «марево», муть вскипѣвшей до дна пучины, ломавшаго ледъ закоченѣвшаго строя дореформенныхъ типовъ русскаго моря, могло только «изнутри» къ вещамъ подходящее искусство Достоевскаго. Онъ одинъ смогъ вызвать «бѣсовъ» изъ этого «хаоса». Другіе только съумѣли зарисовать «мелкаго бѣса изъ самыхъ нечиновныхъ» нашей эпохи «бури и натиска». Даже Левъ Толстой, когда попытался изо-

бразить въ 70-хъ годахъ уголокъ нигилистическаго міра, въ лицѣ сбившагося съ пути брата Левина («Анна Каренина»), не проявилъ никакой прозорливости. Переходя къ «Обрыву», необходимо замѣтить, что романъ былъ задуманъ еще въ концѣ сороковыхъ годовъ, писанъ въ теченіе двадцати лѣтъ, появился-же въ 1868 году на страницахъ воскрешеннаго Стасюлевичемъ «Вѣстника Европы». Въ періодъ между выходомъ «Обломова» и выходомъ «Обрыва», между 1858 и 1868 годомъ, совершился колоссальный переворотъ, измѣнившій весь строй русской жизни, составъ русскаго общества, его настроенія, міросозерцаніе. Еще больше произошло смѣнъ съ момента «замысла» романа и до момента его «завершенія». А между тѣмъ онъ въ это двадцатилѣтіе творился, и конечно въ душу писателя толкались всѣ перемѣны, всѣ волны движеній окружавшей его жизни. Отражались эти великія движенія жизни и въ творчествѣ Гончарова, портя строгость рисунка и понижая художественное достоинство изображенія, такъ какъ только въ устоявшейся дѣйствительности, чуждой возмущенія, словесное искусство художниковъ школы сороковыхъ годовъ достигало совершенства, такъ что оно было, при всей ненависти писателей школы къ дореформенному строю въ его темныхъ явленіяхъ, съ нимъ тѣсно связано, такъ какъ живопись этой школы всегда историческая. Вотъ почему въ «Обрывѣ» мы замѣчаемъ, что художникъ какъ-бы цѣпляется за убѣгающую жизнь вѣковыхъ сословныхъ типовъ, и страшится наступающаго новаго строя, въ которомъ чувствуетъ безсиліе своего искусства. Это чувствовали всѣ художники 40-хъ годовъ. Потому невольно уходящая жизнь рисовалась у нихъ,—дававшихъ въ юности «клятву Ганнибала» — во всей упоительной роскоши поэзіи, а новые люди и новое время зіяетъ у нихъ дикимъ и опаснымъ обрывомъ. И напрасно Гончаровъ живописуетъ этотъ «обрывъ» въ романтическомъ стилѣ:

«Объ этомъ обрывѣ осталось печальное преданіе... Тамъ на днѣ его, среди кустовъ... убилъ за невѣрность жену и соперника, и тутъ же самъ зарѣзался, одинъ ревнивый мужъ, портной изъ города... Отъ суевѣрнаго страха, ту часть сада, которая шла съ обрыва по горѣ и отдѣлялась плетнемъ отъ ельника и кустовъ шиповника, забросили... Плетень, отдѣлявшій садъ... отъ лѣса, давно упалъ и исчезъ. Деревья изъ сада смѣшались съ ельникомъ и кустами шиповника и жимолости, переплелись между собою, и образовали глухое, дикое мѣсто, въ которомъ пряталась заброшенная полуразвалившаяся бесѣдка». Этотъ поэтическій символъ — деревья изъ дворянскаго сада перемѣшенныя съ дичью простонароднаго обрыва, скрываетъ признаніе, что съ реформами для художника въ бытовомъ укладѣ Россіи разверзся обрывъ, изъ котораго для него возникаетъ только дико-каррикатурная фигура нигилиста, на днѣ котораго теряетъ честь красавица Вѣра и «новый человѣкъ» представляется художнику тѣмъ безобразнымъ кар-

ликомъ, который въ «Сумеркахъ боговъ» Гейне взбирается на небо и насилуетъ прекрасныхъ гурій и пери. Вотъ почему, мечта художника—завалить этотъ провалъ—осуществима только въ романѣ: «Савелій взялъ человѣкъ пять мужиковъ, съ топорами, спустился съ обрыва и они разнесли бесѣдку часа въ два, унеся съ собой бревна и доски на плечахъ. А бабы и ребятишки... растаскали и щепы».

«На другой день утромъ, сама барыня взяла садовника, да опять Савелья, и еще двоихъ людей, и велѣла мѣсто, гдѣ была бесѣдка, поскорѣе сравнять, утоптать, закрыть дерномъ и пересадить туда нѣсколько молодыхъ сосенъ и елей».

Что не додѣлала бабушка, докончилъ богатырь, «сила черноземная»—Тушинъ:

«Если лѣсъ мѣшаетъ идти впередъ, его вырубаютъ, восклицаетъ онъ, море переплываютъ и теперь вонъ прорываютъ и горы насквозь, и все идутъ смѣлые люди впередъ!»

«А здѣсь, ни лѣса, ни моря, ни горъ—ничего нѣтъ: были стѣны и упали, былъ обрывъ и нѣтъ его! Я бросаю мостъ черезъ него и иду, ноги у меня не трясутся... Дайте же мнѣ Вѣру Васильевну, дайте мнѣ ее! почти кричалъ онъ: я перенесу ее черезъ этотъ обрывъ и мостъ—и никакой чортъ не помѣшаетъ моему счастью и ея покою—хоть живи она сто лѣтъ!»

«Она будетъ моей царицей и укроется въ моихъ лѣсахъ, подъ моей защитой, отъ всякихъ грозъ и забудетъ всякіе обрывы, хоть-бы ихъ были тысячи!!»

Увы, древніе говорили, что сами боги не могутъ сдѣлать небывшимъ то, что уже разъ случилось!

Художество школы романистовъ сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ, самое художество «великаго писателя земли русской» графа Льва Толстого, связано было съ дореформенной жизнью тысячью живыхъ корней. Оно достигало совершенства лишь при наличности «натуры», какъ законченнаго историческаго національнаго, сословно—бытового и профессіональнаго типа, какъ жизни устоявшейся и цѣликомъ отлившейся въ обрядъ и коллективныя личности и формы. Это искусство гибло вмѣстѣ съ разложеніемъ бытовыхъ формъ, такъ что въ послѣднее двадцатилѣтіе вѣка Левъ Толстой, какъ бы истощивъ свое искусство въ эпопеяхъ, изображающихъ все то-же старое русское высшее сословіе, послѣ разложенія всѣхъ верхнихъ слоевъ Россіи, обращается къ цѣлинѣ народной, крестьянской жизни. Здѣсь еще для его искусства есть возможность найти бытовую «натуру». Но съ разложеніемъ народной массы въ продукты трактирно-фабричной цивилизаціи, съ разложеніемъ и обращеніемъ въ хаосъ и анархію всей національно-бытовой Россіи, со смертью всѣхъ формъ ея національной жизни, искусство, высочайшую

степень которой являетъ Толстой, остается безъ объекта. Оно должно обратиться исключительно къ историческимъ сюжетамъ.

Совершенно правильно указываетъ основную черту художества въ «Обрывѣ» Головинъ: «Гончаровъ не только противупоставляетъ вялому прекраснодушію, какъ дѣлалъ онъ это прежде, свой любимый типъ практической дѣловитости, онъ находитъ осуществленіе этого типа въ дореформенной Россіи. Его любимцами здѣсь являются бабушка Татьяна Марковна —это воплощеніе прочной старо-помѣщичьей патріархальности и воспитанная подъ ея крылышкомъ Марѳинька. Да въ придачу къ нимъ солидный молодой помѣщикъ Тушинъ»[168]).

Отъ Штольца въ «Обломовѣ» и Адуева — дяди въ «Обыкновенной исторіи» вѣяло несомнѣннымъ западомъ. Въ «Обрывѣ» уже не то. И бабушка, и Тушинъ, не только остатки отживающей эпохи, оказывающейся, однако, въ глазахъ ихъ творца гораздо болѣе живою чѣмъ сама современность,—они подлинные образчики настоящей русской почвенности. Такимъ образомъ въ «Обрывѣ» идеалъ Гончарова отодвинулся назадъ.

Какъ истинный художникъ, Гончаровъ съумѣлъ надѣлить самыми богатыми и, въ то-же время, самыми правдивыми красками тотъ складъ крѣпостного помѣщичьяго быта, симпатичною представительницей котораго является бабушка, такъ полновластно и такъ мягко правящая своимъ маленькимъ царствомъ. И всѣ окружающія ее фигуры —и кроткая, послушная Марѳинька, точно вышедшая изъ-подъ кисти фламандскаго живописца, и женихъ ея, милый и аккуратный Викентьевъ, и посѣдѣлый любезникъ чуть не екатерининской эпохи Титъ Никонычъ этотъ русскій маркизъ, какъ называетъ его Гончаровъ, и вся дворня Татьяны Марковны,—все это рядъ улыбающихся фигуръ изъ безобидной, хотя и правдивой эклоги. Ни одной черты, указывающей на гнетъ, на нужду или на горе. Правда, губернскій городъ, около котораго процвѣтаетъ помѣстье Татьяны Марковны, спитъ такимъ же сномъ, какъ щедринскій Глуповъ... но все-таки эти неприглядныя черты не заслоняютъ собою главную картину довольства и счастья.

А между тѣмъ все это анахронизмъ и бытъ одной эпохи надвинутъ на бытъ другой, отмѣнившей его. «Обрывъ» появился черезъ восемь лѣтъ послѣ 19 февраля, и умственное броженіе, разныя стороны котораго представлены въ лицахъ Райскаго, Вѣры и Марка Волохова, началось уже на развалинахъ крѣпостнаго строя. Мало того, этотъ строй не только пересталъ существовать юридически,—самый классъ, бывшій его главнымъ носителемъ, обнаружилъ въ себѣ явные признаки разложенія.

Такимъ образомъ, «бабушка» является въ романѣ «послѣдышемъ», во

---

[168]) Русскій романъ, 314.

владѣніяхъ которой хотя временно образовался «обрывъ», но силачъ Тушинъ перекинулъ черезъ него мостъ. Въ статьѣ «Лучше поздно» Гончаровъ даетъ подробныя объясненія о смыслѣ своего произведенія. О бабушкѣ онъ тутъ говоритъ:

«Я писалъ съ русской, старой, хорошей женщины или съ русскихъ старыхъ женщинъ стараго добраго времени — коллективно, не думая ни о какой параллели, должно быть, но она инстинктивно гнѣздилась въ моей головѣ, и когда я уже закончилъ фигуру, оглядѣлъ ее, — у меня, въ концѣ книги, вырвались послѣднія слова, которыми я и кончилъ романъ. Вотъ они: «За нимъ (Райскимъ, когда онъ былъ въ Италіи) все стояли и горячо звали къ себѣ его три фигуры: его Вѣра, его Марфинька, и бабушка, а за ними стояла и сильнѣе ихъ влекла къ себѣ еще другая исполинская фигура, другая великая бабушка — Россія!»

«Вотъ что отразилось, или если я слабый художникъ и не одолѣлъ образа, то по крайней мѣрѣ вотъ что просилось отразиться въ моей старухѣ, какъ отражается солнце въ каплѣ воды: старая консервативная русская жизнь!»

Искусство школы Пушкина и Гоголя было связано съ этой «консервативной русской жизнью». Всѣ произведенія великихъ мастеровъ нашихъ это показываютъ. Съ разложеніемъ этой жизни, въ послѣднее двадцатилѣтіе XIX вѣка мы видимъ и полный упадокъ этого искусства, безсиліе даже гр. Льва Толстого, дать что либо подобное эпопеямъ его «Война и миръ» и «Анна Каренина», хотя геній его не меркнетъ. Изъ художества Достоевскаго могло бы развиться новое искусство, но оно не развилось однако. Причины этому мы выяснимъ въ свое время.

Всматриваясь въ постановку отдѣльныхъ фигуръ романа, мы видимъ, что они взаимно объясняютъ другъ друга.

Сперва предъ нами выступаетъ фигура Райскаго, между фигурами Аянова и Софьи Бѣловодовой.

Затѣмъ предъ нами является бабушка Татьяна Марковна между Марфинькой и Вѣрой. Около этихъ женщинъ становятся мужскія фигуры — Титъ Никонычъ между фигурами Викентьева и Тушина.

Далѣе центральной фигурой является Вѣра между Райскимъ и Маркомъ Волоховымъ. Наконецъ Райскій становится между двумя нимфоманками Улинькой и Мариной съ ихъ мужьями — Козловымъ и Савелемъ.

Несомнѣнно въ романѣ герой — Райскій, а героиня вовсе не Вѣра, а бабушка Татьяна Марковна. Райскій — человѣкъ сороковыхъ годовъ. Это Бельтовъ изъ «Кто виноватъ?» Герцена, но выполненный художественно. Та-же талантливость и неспособность къ упорному труду; то-же метанье отъ науки къ искусству, къ тысячѣ спеціальностей; та-же непосѣдливость, «охота къ перемѣнѣ мѣстъ»; та-же падкость къ женской красотѣ, скрашенная

рыцарскими манерами и идейностью; тотъ-же либеральный покрой убѣжденій; тотъ-же «донъ-жуанизмъ».

— Донъ-жуанизмъ, говоритъ Райскій, то-же въ людскомъ родѣ, что донъ-кихотство: еще глубже; эта потребность еще прирожденнѣе.

— Коли потребность, такъ женись,—угрюмо возражаетъ старый чиновникъ Аяновъ.

— Ахъ! почти съ отчаяніемъ—комическимъ въ мѣру его искренности—произноситъ Райскій—вѣдь жениться можно одинъ, два, три раза: ужели я не могу наслаждаться красотой такъ, какъ бы наслаждался красотой въ статуѣ?

Райскій «благоговѣетъ богомольно» предъ красотой своей кузины Софьи Бѣловодовой, двадцатипятилѣтней вдовы, которая «сіяетъ и блеститъ, ничего не проситъ и ничего не отдаетъ». Но чиновникъ Аяновъ—ни характеръ, ни безхарактерность, ни знаніе, ни невѣжество, ни убѣжденіе, ни скептицизмъ. немного насмѣшливъ, скептиченъ, равнодушенъ и ровенъ въ сношеніяхъ со всѣми, не даря никого постоянной и глубокой дружбой, но и не преслѣдуя никого настойчивой враждой, въ которомъ отражались, какъ солнце въ каплѣ, весь петербургскій міръ, вся петербургская практичность, нравы, тонъ, природа, служба,—эта вторая петербургская природа, и болѣе ничего,—чиновникъ Аяновъ былъ недалекъ отъ истины, когда предложилъ Райскому любоваться имъ, Аяновымъ, вмѣсто кузины Софьи.

— Я самъ такой. Ходи ко мнѣ, вмѣсто нея...—Ты?—Да, я!

— Что-же ты, красотой блистаешь?—Блистаю спокойствіемъ и наслаждаюсь этимъ. И она то-же...

Дѣйствительно, при всей своей красотѣ, Софья порожденіе того-же чиновнаго Петербурга, что и Аяновъ.

Желая «оживить» блистательную Софью, Райскій открываетъ портьеру окна, и зоветъ ее на улицу: «Посмотрите, всѣ эти идущіе, ѣдущіе, снующіе взадъ и впередъ, всѣ эти живые, не полинявшіе люди—всѣ за меня! Идите-же къ нимъ, кузина, а не отъ нихъ назадъ! Тамъ жизнь... Онъ опустилъ портьеру:—а здѣсь—кладбище».

Но «оживить» Софью бѣдный Райскій смогъ только на портретѣ; думалъ, что произвелъ чудо искусства, и вотъ одинъ цѣнитель увидѣлъ въ «оживленной» Софьѣ—пьяную женщину, другой—актрису... Это роковой результатъ для Райскаго. Онъ показывалъ, какъ низменно было то, что казалось ему перломъ созданія, какъ далекъ онъ былъ отъ поклоненія красотѣ живой женщины,—«какъ красотѣ-статуи». Тутъ же разрѣшеніе и его печальной борьбы съ Маркомъ Волоховымъ изъ за Вѣры. Маркъ по крайней мѣрѣ не лжетъ. Онъ съ женщиной «добивается дѣла» и Вѣра сама сошла къ нему въ обрывъ и отдалась. Ну, а Райскій? Онъ развѣ незавлекъ-

бы только помощью эстетической «науки страсти нѣжной», а не помощью «реализма». Вѣру если не въ «обрывъ», то «на улицу» и превратилъ бы ее въ «актрису» или «пьяную женщину»? Маркъ Волоховъ никуда не годенъ, если на него смотрѣть, какъ на воспроизведеніе нигилиста шестидесятыхъ годовъ. Гончаровъ самъ объясняетъ, какъ онъ, благодаря долгому процессу творчества и вторженію современности, испортилъ фигуру Волохова: «Въ первоначальномъ планѣ «Обрыва», набросанномъ въ 1848 и 1850 годахъ, на мѣсто этого рѣзкаго типа, тогда еще не существовавшаго, у меня былъ предположенъ сосланный по неблагонадежности подъ присмотръ полиціи, выключенный изъ службы или изъ школы либералъ за грубость, за неповиновеніе начальству, за то наконецъ, что споетъ какую-нибудь русскую марсельезу или проврется дерзко про власть. Такихъ бывало не мало лѣтъ тридцать тому назадъ». «Но какъ романъ развился вмѣстѣ со временемъ и новыми явленіями, то лица конечно принимали въ себя черты и духъ времени и событій. Отъ этого и предположенный зародышъ «неблагонадежнаго» превратился къ концу романа уже въ рѣзкую фигуру Волохова, которая появлялась кое-гдѣ въ обществѣ».

«Зародышъ» у Гончарова превратился въ «выкидышъ».

Но фигуру Марка можно признать весьма удачной, если просто считать его искусникомъ новой манеры ухаживать и побѣждать недальновидныхъ женщинъ, новымъ видомъ «донъ-Жуана», идущаго къ цѣли прямо и грубо. Вѣдь приправа «донъ-жуанизма» Марка Волохова — фразы о собственности изъ Прудона и пр., вполнѣ аналогична фразамъ о духѣ времени, жизни, свободѣ стараго эстетика Райскаго. А на что способно тайное сладострастіе Райскаго, показываетъ гнусное вожделѣніе его къ чистой, дѣтски-довѣрчивой Марфинькѣ (даже что-то невѣроятно довѣрчивой!), его отношенія къ бѣдной Наташѣ и особенно поведеніе его съ двумя нимфоманками — Улинькой и Мариной. Обѣ женщины и ихъ мужья — рогоносцы написаны художественно-совершенно.

Вотъ Улинька: «У ней былъ прекрасный носъ и граціозный ротъ... Особенно профиль былъ правиленъ, линія его строга и красива. Волосы рыжеватые, немного потемнѣе на затылкѣ, но чѣмъ шли выше, тѣмъ были свѣтлѣе, и верхняя половина косы, лежавшая на маковкѣ, была золотисто-красноватаго цвѣта: отъ этого у ней на головѣ, на лбу, отчасти и на бровяхъ, тоже немного рыжеватыхъ, какъ будто постоянно горѣлъ лучъ солнца. Около носа и на щекахъ роились веснушки... Изъ-подъ нихъ пробивался пунцовый пламень румянца. Но веснушки скрадывали огонь щекъ и придавали лицу тѣнь, безъ которой оно казалось какъ-то слишкомъ ярко освѣщено и открыто. Оно имѣло еще одну особенность: постоянно лежащій смѣхъ въ чертахъ, когда и не было чему и не расположена она была смѣяться».

Гончаровъ отдаетъ ее въ жены, погруженному въ міръ классической древности, идеалисту Козлову.

«Онъ любилъ жену свою, какъ любятъ воздухъ и тепло. Мало того, онъ, погруженный въ созерцаніе жизни древнихъ, въ ихъ мысль и искусство, умудрился видѣть и любить въ ней какой-то блескъ и колоритъ древности, античность формы... Голова ея казалась ему похожей на головы римскихъ женщинъ, на классическихъ барельефахъ, на камняхъ...» Леонтій Козловъ весь въ своихъ книгахъ.

— Книги! восклицаетъ Райскій, развѣ это жизнь? Старыя книги сдѣлали свое дѣло; люди рвутся впередъ, ищутъ улучшить себя, очистить понятія, прогнать туманъ, условиться поопредѣлительнѣе въ общественныхъ вопросахъ, въ правахъ; наконецъ привести въ порядокъ и общественное хозяйство... А онъ глядитъ въ книгу, а не въ жизнь!

— Чего нѣтъ въ этихъ книгахъ, того и въ жизни нѣтъ, или не нужно! — торжественно рѣшилъ Леонтій. Вся программа, и общественной, и единичной жизни, у насъ позади: всѣ образцы даны намъ.

Леонтій Козловъ то-же представитель старой, консервативной жизни, какъ бабушка, но только не старорусской, а древней, античной. Другая пара — Савелій и Марина.

Марина была не то что хороша собой, а было въ ней что-то втягивающее, раздражающее — богъ знаетъ что! Только кто съ ней поговоритъ, поглядитъ на нее, а она на него, пойдетъ за ней. И Райскій видѣлъ въ ней, не просто распущенную дворовую женщину, въ родѣ горькихъ безнадежныхъ пьяницъ между мужчинами, а безкорыстную жрицу культа, «матерь наслажденій». Мужъ ея Савелій, то-же консерваторъ, постоянно по «Домострою» угрюмо и сосредоточенно возстановлялъ свои попранныя права возжею. Марина выказывала всю данную ей природой ловкость, извиваясь какъ змѣя, бросаясь изъ угла въ уголъ — возжа слѣдовала за ней и доставала ее повсюду. «Наука» въ прокъ не шла.

И что-же, рыцарь возвышеннаго «донжуанизма», ищущій «улучшить себя», Райскій не побрезговалъ ни Мариной, ни Улинькой...

Должно еще отмѣтить даровитую писательницу Надежду Степановну Соханскую — Кохановскую въ ряду мастеровъ объективнаго художественнаго воспроизведенія русскаго быта. Замѣчателенъ полногласный языкъ этой писательницы — истинная сокровищница живой русской рѣчи.

БИБЛІОГРАФІЯ: Оцѣнка «Обрыва» въ книгѣ ст. Миллера, «Рускіе писатели послѣ Гоголя» (Спб. 96 г.) и въ статьѣ И. А. Гончарова, «Намѣренія, задачи и идеи романа «Обрывъ». Критическій очеркъ». Русское Обозрѣніе. 1895 г. № 1 — Полемика по поводу этого романа: 1869 г. Н. Шелгуновъ. Талантливая безталантность. (Соч. т. II). — М. Салтыковъ. Уличная философія. По поводу 6-й главы 5-ой части романа. Отеч. Зап. № 6. (127—159). — А. Скабичевскій. Старая правда.

(Соч. т. I). —1870 г.: П. Якушкинъ. Почему въ Обрывѣ обруганъ нигилистъ, а не нигилистка. Искра. № 16. — М. Цебрикова. Псевдо-новая героиня. От. Зап. № 5.—Произведенія Кохановской: Повѣсти въ 2-хъ частяхъ. М. 1863 г. —1848 г.: Графиня Д*. (Отеч. Зап. т. 61). —1850 г.: Сосѣди. (Современникъ. № 12). —1856 г.: Гайка. Часть первая. Пантеонъ. № 6. (Обѣ части въ Русск. Словѣ. 1860 г. № 4). —1868 г. Послѣ обѣда въ гостяхъ. (Русскій Вѣстникъ. № 8). —Маленькая исторія. (Библ. для чт. № 7). — 1859 г.: Изъ провинціальной галлереи портретовъ. (Русск. Вѣстн. № 5). — Степной цвѣтокъ на могилу Пушкина. Русск. Бесѣда. № 5).— 1871 г.: Слава Богу, что мужикъ запоетъ спелъ. Комедія. (Заря. № 1).—1874 г. Словесная кроха хлѣба. Повѣсть. (Складчина и въ Русск. обозр. 1897 г. № 2). —1885 г.: Сумеречные разсказы. (Русь. № 7). — 1897 г. Очеркъ Малороссіи. (Русск. Обозр. № 1). — 1898 г.: Семейная память. (Руск. Обозр. № 1). —Біографическіе матеріалы: Автобіографія Н. С. Сохановской (Кохановской). Съ предислов. С. Пономарева. Русское Обозрѣніе. 1896 г. № 6—12. — Пономаревъ. Опись бумагъ и писемъ, оставшихся послѣ Н. С. Сахановской (находится въ Публичн. Библіотекѣ). Русск. Обозр. 1898 г. № 1. — Переписка Грота съ Плетневымъ. Т. III. Спб. 1896 г. — А. Н. Пынинъ. Новыя данныя для біографіи Кохановской. Вѣстникъ Европы. 1896 г. № 12.—Попытки серьезной оцѣнки замѣчательной писательницы въ книгѣ Анненкова. «Воспоминанія и критич. очерки» (т. II. Русск. беллетр. 1863 г.) и критическій очеркъ Н. Познякова о Кохановской въ Женскомъ Образованіи 1885 г. № 8 и 9, въ статьяхъ Эдельсона (Библ. для чтенія. 1864 г. № 4 — 5. 7). — Полемическія и просто безмозглыя статьи въ Отеч. Зап. 1862 г. № 1. стр. 344—375; Русск. Словѣ. 1863. № 3. стр. 32—40. —Смотри еще статью М. Протопопова: «Женское творчество». Русская мысль. 1891 г. № 1, 2 и 4.

§ 9. Строго говоря, въ 60-хъ годахъ сатира Щедрина примыкала къ тенденціознымъ попыткамъ беллетристовъ школы 40-хъ годовъ— осмѣять въ желчныхъ образахъ «новыхъ людей», принесшихъ съ собой голое отрицаніе не только крѣпостного строя, но и всего, чѣмъ жили лучшіе люди этого строя, чѣмъ они отъ него оборонялись, чѣмъ прямо освободились отъ него: искусства, красоты, отвлеченной мысли. Въ то-же время Щедринъ работалъ въ «Современникѣ» и стоялъ ближе къ партіи литературнаго отрицанія. Отсюда двойственность и неопредѣленность большинства его сатиръ этого времени. Теперь эти сатиры, кромѣ нѣкоторыхъ главъ «Исторіи одного города», совершенно поблекли, утомительно скучны, растянуты и смахиваютъ страницами на совершенно безсодержательное зубоскальство. Его сборники того времени: «Сатиры въ прозѣ» (1860—1862); «Невинные разсказы» (1857—1863); «Признаки времени» (1866—1869) и «Письма о провинціи», совершенно не напоминаютъ Щедрина 70-хъ и начала 80-хъ годовъ. Чувствуется, что послѣ того, какъ то теченіе, которое сказалось въ его «Губернскихъ очеркахъ» — теченіе обличительное пятидесятыхъ годовъ иссякло, онъ не находилъ другого, которое наполнило бы одушевленіемъ и

содержаніемъ его сатиру. Ни тѣмъ успѣхомъ, который встрѣтилъ «Губернскіе Очерки», ни тѣмъ который вызывали позднѣе его сатиры эпохи «Отечественныхъ Записокъ», произведенія Щедрина въ 60-хъ годахъ не пользовались. Какъ человѣкъ стараго, культурнаго сословія и воспитанія эпохи Бѣлинскаго, Салтыковъ не могъ подойти къ «новымъ людямъ» бурсацкаго типа, учинявшими надъ русской литературой и обществомъ своего рода «смазь вселенскую». Мало того, насмѣшкой надъ «Что дѣлать?» и выходками противъ «нигилистокъ» Щедринъ навлекъ на себя негодованіе радикаловъ и наконецъ, временно бросилъ литературу — поступилъ въ казенную палату.

Примкнувъ съ самаго начала 60-хъ годовъ къ тому литературному направленію, которое не удовлетворялось реформами, Салтыковъ не могъ однако питать иллюзій, подобныхъ тѣмъ, которые все стремительнѣе влекли къ роковому исходу Чернышевскаго. Онъ колебался въ выборѣ объекта сатиры. Вѣдь именно въ радикальномъ теченіи 60-хъ годовъ, внѣ прямой, логической полосы реформаціоннаго творчества, въ подпольныхъ теченіяхъ, въ увлеченіи Базаровщиной и шляхетскимъ, польскимъ дѣломъ, въ «нашихъ» дома и заграницей Салтыковъ много могъ бы найти достойнаго своей желчи. Но онъ беретъ только общія темы. Обличаетъ либеральное пустозвонство и сатира его становится чрезвычайно мелководна. Въ обращеніи «къ читателю» при «Сатирахъ въ прозѣ», находимъ весь основной замыселъ этого рода обличеній Салтыкова.

Недавно еще покладистая совѣсть общества въ затруднительныхъ случаяхъ обращалась «въ тотъ темный архивъ, въ которомъ хранилась попорченная крысами и побитая молью мудрость вѣковъ».

Тамъ лежали всегда готовыя къ нашимъ услугамъ связки старыхъ дѣлъ, надписи на которыхъ гласили: убѣжденія дворянскія, убѣжденія мѣщанскія, убѣжденія холопскія. Кодексъ мудрости, общежитія и приличій, кодексъ условной нравственности, условной истины, условной справедливости былъ весь тутъ на лицо. Въ эти недавнія счастливыя времена мы знакомились другъ съ другомъ, заводили дружескія связи, женились и посягали по соображеніямъ, совершенно не имѣющимъ никакого дѣла до убѣжденій. То есть, коли хотите, они и были, эти убѣжденія, но то были убѣжденія затылка, убѣжденія брюшной полости.

Въ тѣхъ-же немногочисленныхъ кружкахъ, которые прорывались сквозь слякоть и темень, удовлетворялись на безрыбьи и ракомъ.

«Если, говоритъ Салтыковъ, кто-нибудь пускалъ намъ въ носъ фразу, въ родѣ того, что «нельзя, господа, не сочувствовать тому честному направленію, которое характеризируетъ дѣятельность нынѣшняго молодого поколѣнія», то мы готовы были вылизать его всего, отъ головы до пятокъ».

Настала эпоха подъема, обличеній, гласности, либерализма. Что же получилось?

«Сквозникъ - Дмухановскій не только во снѣ, но и наяву видѣлъ кругомъ себя только свиныя рыла, что мудренаго, что онъ и Хлестакова признаiъ за человѣка? Наши публицисты такъ долго видѣли то же самое, что видѣлъ и вышеупомянутый градоначальникъ, что мудренаго, если въ настоящее время они съ остервенѣніемъ приглашаютъ согражданъ лобзать даже въ такихъ случаяхъ, когда, по совѣсти, слѣдовало бы приглашать ихъ плевать?»

«Россіяне такъ изолгались въ какіе-нибудь пять лѣтъ времени, что рѣшительно ничего нельзя понять въ этой всеобщей хлестаковщинѣ. Въ публичныхъ мѣстахъ нѣтъ отбоя отъ либераловъ всевозможныхъ шерстей».

«Гласность въ настоящее время составляетъ ту милую болячку сердца, о которой всѣ говорятъ дрожащими отъ радостнаго волненія голосами, но вмѣстѣ съ тѣмъ замѣтно перекосивши рыло на сторону».

Рядомъ идетъ въ обществѣ «нѣчто», обозначаемое Щедринымъ весьма неопредѣленнымъ словомъ: «Конфузъ». Мы сконфузились и оплошали почти поголовно. Конфузъ проникъ всюду: конфузъ въ сердцахъ помѣщиковъ, конфузъ въ соображеніяхъ почтеннаго купечества, конфузъ въ литературѣ и журналистикѣ, конфузъ въ умахъ администраторовъ. Но должно помнить однако, что конфузъ входитъ пудами, а выходитъ золотниками, и что однажды опоенную лошадь никакія человѣческія усилія не въ силахъ возвратить къ прежней лошадиной бодрости и настойчивости! Что, если вновь когда-нибудь приказано будетъ не конфузиться?

А что же литература? Литературная нива сдѣлалась простымъ выгономъ, на которомъ властно выступаютъ Ноздревы! Ноздревъ! ты ли это, mon cher? Если это ты, то почему ты смотришь такимъ Лафайэтомъ?

Какое же вліяніе оказало на общество мысль? Мысль, сдѣлавшаяся страстью, мысль, доведенная до энтузіазма — есть вулканическая сила, которая изъ сокровенныхъ нѣдръ толпы выбрасываетъ историческихъ дѣятелей, есть неистощимая струя, которая капля по каплѣ неотступно долбитъ камни невѣжества и предразсудка.

Но такой мысли въ Россіи Салтыковъ не находитъ.

Просто, въ русскихъ людяхъ волненіе душевное разрѣшается лишь прыщами и подозрительною накожною сыпью. Рекламы либерализма — не больше какъ прыщи, посредствомъ которыхъ разрѣшилось долго сдерживаемое умственное глуповское худосочіе. «Я не говорю, чтобъ прыщи были безполезны; я даже не отрицаю законности ихъ существованія, но вмѣстѣ съ тѣмъ не могу не скорбѣть душою, когда меня увѣряютъ, что дѣло такъ и дол-

жно кончиться одними прыщами, и что прыщи составляютъ вѣнецъ исторіи»[169]).

Вотъ картина движенія шестидесятыхъ годовъ, которую даетъ въ сатирахъ этой эпохи Салтыковъ.

Наиболѣе серьезное значеніе имѣетъ «Исторія одного города». Здѣсь съ мрачнымъ сарказмомъ осмѣяно все, что только было пошлаго въ русской исторіи преимущественно петербургскаго, «шпажнаго» періода. Надо однако замѣтить, что подъ этой сатирой подписался бы любой славянофилъ. Вся ложь и административная фальшь русской исторіи XVIII-го и первой половины XIX вѣка съ неменьшей силой обличается хотя бы Иваномъ Аксаковымъ въ его публицистическихъ памфлетахъ.

Предъ нами проходитъ картина междоусобія города Глупова. Анархія началась съ того, что глуповцы собрались вокругъ колокольни и сбросили двухъ гражданъ: Степку да Ивашку. Потомъ пошли къ модному заведенію француженки, дѣвицы де-Санъ-Кюлотъ и, перебивъ тамъ стекла, послѣдовали къ рѣкѣ. Тамъ утопили еще двухъ гражданъ: Порфишку да другого Ивашку, и, ничего не доспѣвъ, разошлись по домамъ... Таково глуповское «народо-правство»!

На градоначальство между тѣмъ одна за другой садятся самозванныя нѣмки.

Третья претендентша, ревельская уроженка Амалія Карловна Штокфишъ, основывала свои претензіи единственно на томъ, что она два мѣсяца жила у какого-то градоначальника въ помпадуршахъ.

«Опять шарахнулись глуповцы къ колокольнѣ, сбросили съ раската Семку и только что хотѣли спустить туда Ивашку, какъ были остановлены именитымъ гражданиномъ Силой Терентьевымъ Пузановымъ.—Атаманы—молодцы!—говорилъ Пузановъ,—однако вѣдь мы такимъ манеромъ всѣхъ людишекъ перебьемъ, а толку не измыслимъ!... Въ это время къ толпѣ подъѣхала на бѣломъ конѣ дѣвица Штокфишъ, сопровождаемая шестью пьяными солдатами, которые вели взятую въ плѣнъ безпутную Клементинку. Штокфишъ была полная бѣлокурая нѣмка, съ высокою грудью, съ румяными щеками и пухлыми, словно вишни, губами. Толпа заволновалась.

— Ишь, толстомясая! пупки-то нагуляла! — раздалось въ разныхъ мѣстахъ.

— Атаманы — молодцы!— гаркнула она молодецки, указывая на обезумѣвшую отъ водки Клементинку:—вотъ безпутная оная Клементинка, которую велѣно, сыскавъ, представить! видѣли?

— Видѣли!—шумѣла толпа.

---

[169]) Соч. Салтыкова. Изд. 3-е. 1894. Т. 2-й. Стр. 301, 302, 304, 309, 311, **312, 313, 317, 319.**

Точно видѣли? и признаете ее за ту самую безпутную оную Клементинку, которую велѣно, сыскавъ, представить! видѣли?

— Видѣли!—признаемъ!

— Такъ выкатить имъ три бочки пѣннаго! — воскликнула неустрашимая нѣмка, обращаясь къ солдатамъ, и, не торопясь, выѣхала изъ толпы.

— Вотъ она! вотъ она, матушка-то наша, Амалія Карловна! теперь, братцы, вина у насъ будетъ вдоволь!»

Подъ такимъ изображеніемъ средины XVIII-го вѣка подписался бы любой славянофилъ. Но, конечно, вступительная глава «О корени происхожденія глуповцевъ» не встрѣтила бы сочувствія у людей, ищущихъ въ сѣдой древности золотой вѣкъ. Воспѣтое славянофилами не разъ смиреніе русскаго народа осмѣяно Салтыковымъ въ сценѣ обличеній «ходокомъ», самымъ древнимъ въ городѣ человѣкомъ, Евсеичемъ, отъ глуповскаго «міра», бригадира Ѳердыщенко.

«И сдѣлался Евсеичъ ходокомъ, и положилъ въ сердцѣ своемъ искушать бригадира до трехъ разъ.

— Вѣдомо-ли тебѣ, бригадиру, что мы здѣсь цѣлымъ городомъ сироты помираемъ?—такъ началъ онъ свое первое искушеніе.

— Вѣдомо,—отвѣтствовалъ бригадиръ.

— И то вѣдомо-ли тебѣ отъ чьего бездѣльнаго воровства такой обычай промежъ насъ учинился?

— Нѣтъ, не вѣдомо.

Первое искушеніе кончилось. Бригадиръ — «весьма убоялся». Черезъ три дня Евсеичъ явился къ бригадиру во второй разъ, «но уже прежній твердый видъ утерялъ», началъ говорить о правдѣ, что правда — матушка непосѣдлива, съ правдой дома сидѣть не приходится, а жить съ правдой вездѣ хорошо и т. д.

«Бригадиръ-же, видя Евсеича о правдѣ безнуждно бесѣдующаго, убоялся его противъ прежняго не гораздо».

Еще черезъ три дня Евсеичъ пришелъ къ бригадиру въ третій разъ и сказалъ:

— А вѣдомо-ли тебѣ, старому псу... Но не успѣлъ онъ еще порядкомъ ротъ разинуть, какъ бригадиръ, въ свою очередь, гаркнулъ:

— Одѣть дурака въ кандалы!

Одѣли «самаго древняго въ городѣ человѣка» въ кандалы и повели въ сопровожденіи двухъ престарѣлыхъ инвалидовъ, на съѣзжую.

«Толпы глуповцевъ разступались и давали дорогу.

— Небось, Евсеичъ, небось! — раздавалось кругомъ, — съ правдой тебѣ вездѣ будетъ хорошо жить!

Онъ же кланялся на всѣ стороны и говорилъ:

— Простите, атаманы—молодцы! ежели кого обидѣлъ, и ежели передъ кѣмъ согрѣшилъ, и ежели кому неправду сказалъ... всѣ простите!

— Богъ проститъ!—слышалось въ отвѣтъ.

— И ежели передъ начальствомъ согрубилъ... и ежели въ зачинщикахъ былъ... и въ томъ, Христа ради, простите!

— Богъ проститъ!

Съ этой минуты исчезъ старый Евсеичъ, какъ будто его на свѣтѣ не было, исчезъ безъ остатка, какъ умѣютъ исчезать только «старатели» русской земли».

Въ изображеніи первой половины XIX-го вѣка полны сарказма образы градоначальника Беневоленскаго, который еще въ семинаріи чувствовалъ непреоборимую наклонность къ законодательству, составителя «устава о добропорядочномъ пироговъ печеніи», гдѣ «дѣлать пироги изъ грязи, глины и строительныхъ матеріаловъ навсегда возбранялось». Страсть къ пустопорожнему писанію регламентовъ и въ частности судьба законодательства Сперанскаго, здѣсь высмѣяны классически. Затѣмъ характеренъ образъ Эраста Андреевича Грустилова, человѣка чувствительнаго, съ наклонностью къ мистицизму, который робѣлъ и краснѣлъ въ присутствіи женщинъ, но подъ этою робостью таилось пущее сластолюбіе. Появленіе «Пфейферши» со словами: «Проснись, падшій братъ!» и ея объясненіе,—«я та самая юродивая дѣва, которую ты видѣлъ съ потухшимъ свѣтильникомъ въ вольномъ городѣ Гамбургѣ!» и картина «радѣній» проникнуты убійственной злостью. Наконецъ сатира поднимается до ювеналовскаго пафоса, когда возникаетъ предъ нами ужасный призракъ «бываго прохвоста» Угрюма—Бурчеева.

Этотъ образъ возможно сопоставить съ тѣми «Бѣсами» крѣпостной Россіи, которые изобразилъ намъ Достоевскій.

«Онъ былъ ужасенъ; но, сверхъ того, онъ былъ кротокъ... Страстность была вычеркнута изъ числа элементовъ, составляющихъ его природу.

... Совершенно беззвучнымъ голосомъ выражалъ онъ свои требованія и неизбѣжность ихъ выполненія подтверждалъ устремленіемъ пристальнаго взора, въ которомъ выражалась какая-то неизреченная безстыжесть. Человѣкъ, на которомъ останавливался этотъ взоръ, не могъ выносить его... То былъ взоръ свѣтлый, какъ сталь, взоръ, совершенно свободный отъ мысли и потому недоступный ни для оттѣнковъ, ни для колебаній. Голая рѣшимость — и ничего болѣе. Какъ человѣкъ ограниченный, онъ ничего не преслѣдовалъ, кромѣ правильности построеній. Прямая линія, отсутствіе пестроты, простота, доведенная до наготы, — вотъ идеалы, которые онъ зналъ и къ осуществленію которыхъ стремился... Во-время посторониться вотъ все, что было нужно. Районъ, который обнималъ кругозоръ этого идіота, былъ очень узокъ; внѣ этого района можно было и болтать руками, и громко

говорить, и дышать, и даже ходить распоясавшись; онъ ничего не замѣчалъ; внутри района можно было только маршировать. Еслибъ глуповцы своевременно поняли это, имъ стоило только встать нѣсколько въ сторонѣ и ждать. Но они сообразили это поздно, и въ первое время, по примѣру всѣхъ начальстволюбивыхъ народовъ, какъ нарочно совались ему на глаза. Отсюда безчисленное множество вольныхъ истязаній, которыя словно сѣтью охватили существованіе обывателей; отсюда же — далеко не заслуженное названіе «сатаны», которое народная молва присвоила Угрюму — Бурчееву. Когда у глуповцевъ спрашивали, что послужило поводомъ для такого необычнаго эпитета, они ничего толкомъ не объясняли, а только дрожали. Молча указывали они на вытянутые въ струну дома свои, на разбитые передъ этими домами палисадники, на форменные казакины, въ которые однообразно были обмундированы всѣ жители до одного, — и трепетныя губы ихъ шептали: «сатана!»

§ 10. Именемъ Салтыкова — Щедрина замыкается фаланга писателей старой школы.

Мы переходимъ теперь къ собственно «шестидесятникамъ», къ беллетристамъ тенденціозно — отрицательнаго направленія и этнографамъ — народникамъ.

Писатели этой школы — Якушкинъ, Слѣпцовъ, Николай Успенскій, Рѣшетниковъ, Помяловскій, Глѣбъ Успенскій.

Несомнѣнно, что въ шестидесятые годы на русской литературѣ сказался сильный сословный отпечатокъ. Два наиболѣе культурныя сословія наложили отпечатокъ на обѣ литературныя школы — дворянство и духовенство. Въ этомъ, благодаря разницѣ воспитанія, вкусовъ, положенія, — значительное основаніе розни двухъ школъ. Одна изъ характернѣйшихъ чертъ «семинарской» школы — отреченіе отъ Пушкина, отъ эстетики, голый, аскетически суровый реализмъ и утилитаризмъ. Положеніе «новыхъ людей» тоже значительно рознилось отъ положенія «старыхъ людей» общества. Первые оставляли за собой нищету, ужасы бурсы, побои, холодъ, голодъ; эти «новые люди» часто являлись дѣятельно проталкивающимися впередъ и во всякомъ случаѣ устраивающимися на новомъ мѣстѣ. Старое же земельное, служилое и первенствующее сословіе отреклось отъ части своихъ привиллегій, каялось, но выросло въ условіяхъ неизмѣримо благопріятнѣйшихъ, хотя дворянская усадьба стараго времени и не была ужъ такъ утонченна, а воспитаніе николаевскихъ временъ и для дворянина не смягчало своихъ суровыхъ формъ. Конечно, среди новой народнической школы беллетристовъ были и дворяне (Якушкинъ, Слѣпцовъ), какъ и среди представителей утилитарной критики (Писаревъ), но все же тонъ всей школѣ давали бурсаки и семинаристы. Изъ рядовъ низшаго, до крайности бѣднаго

духовенства —дьячковъ, дьяконовъ—вышли беллетристы, какъ Рѣшетниковъ. Изъ рядовъ болѣе обезпеченнаго духовенства, изъ iерейскихъ сыновей вышли публицисты и критики — Чернышевскiй, Добролюбовъ, Благосвѣтловъ. Такимъ образомъ, низшiе ряды духовенства, почти сливавшiеся съ крестьянствомъ, оказались одаренными болѣе творческимъ духомъ. Верхнiе же—исключительной способностью къ разлагающему анализу. «Отреченiе отъ Пушкина»—характерная черта писателей, вышедшихъ изъ духовенства и главный пунктъ раздора съ писателями помѣщичьяго сословiя. Это подчеркиваютъ всѣ художники школы 40-хъ годовъ, изображая «новаго человѣка». Конечно, среди «новыхъ людей» были и представители другихъ сословiй, вообще «разночинцы». Но въ цѣломъ школа носила отпечатокъ одного сословiя, одного воспитанiя—семинарiи и бурсы. Раньше—Кольцовъ, Никитинъ, Кокоревъ, хотя и принадлежали къ городскому мѣщанству, и самъ Бѣлинскiй по крови—духовный, Никитинъ-же получилъ образованiе въ семинарiи, но всѣ рѣзко сословныя черты съ нихъ стирала культура помѣщичьяго класса. Въ 60-хъ годахъ видимъ борьбу двухъ типовъ мысли, вкуса, воспитанiя, культуры, если такъ можно выразиться — «гимназической» и «семинарской», гуманитарной и схоластической.

Вспомнимъ характерный фактъ изъ отношенiй ржевскаго попа Матвѣя къ больному Гоголю.

«Отрекись отъ Пушкина. Пушкинъ былъ язычникъ и грѣшникъ», требовалъ этотъ фанатикъ. Невольно связывается этотъ фактъ съ цѣлымъ рядомъ другихъ изъ исторiи «отреченiя отъ Пушкина» — достаточно печальной исторiи.

Отреченiе отъ Пушкина! Вѣдь это отреченiе отъ самаго прочнаго факта русской культуры, это отреченiе отъ совершенной красоты, отъ свободы духа, отъ искусства, отъ всего, что представляетъ цвѣтъ и плодъ исторической жизни народа!

Вотъ и любопытно теперь отвѣтить, кто былъ у насъ въ литературѣ и обществѣ представителемъ традицiи «попа Матвѣя»? Кто у насъ проповѣдывалъ «отреченiе отъ Пушкина»? Откуда вышло это «отреченiе»?

Отвѣтъ одинъ—изъ семинарiи.

Въ самомъ дѣлѣ, воспитанники семинарiй, iерейскiе сыновья, хотя и порывавшiе со всѣми традицiями своего сословiя, въ одномъ были вѣрны завѣтамъ «попа Матвѣя»:Пушкина, и съ нимъ чистое художество, красоту, свободную, чуждую «полезнаго» мысль, ненавидѣли и гнали, и мало того, обучили «отреченiю отъ Пушкина» цѣлыя поколѣнiя русской молодежи.

Чѣмъ бы ни объясняли мы этотъ фактъ, но онъ стоитъ передъ нами во весь ростъ.

При жизни Пушкина, кто былъ одинъ изъ упорнѣйшихъ гонителей его? Воспитанникъ рязанской семинарiи и московской духовной академiи, ма-

гистръ богословскихъ наукъ, «ищущій степени изящныхъ искусствъ доктора», критикъ Надеждинъ.

И за что преслѣдовалъ Пушкина этотъ Надеждинъ?

Признавая «плѣнительную гармонію» стиховъ Пушкина, онъ не обрѣталъ въ нихъ полезнаго содержанія. О поэмѣ «Графъ Нулинъ» онъ писалъ: «Пѣвецъ Нулина есть par excellence поэтъ. Онъ сотворилъ чисто изъ ничего сію поэму. Но зато и оправдалась надъ ней во всей силѣ древняя аксіома Іонійской философической школы, что изъ ничего ничего не бываетъ (ex nihilo nihil fit). Никогда произведеніе не соотвѣтствовало такъ вполнѣ носимому имъ имени. «Графъ Нулинъ» есть нуль, во всей математической полнотѣ значенія сего слова».

Пушкинъ на это отвѣтилъ эпиграммой:

Мальчишка Фебу гимнъ поднесъ:
«Охота есть, да мало мозгу.
А сколько лѣтъ ему, вопросъ?»
— Пятнадцать.—Только-то? Эй, розгу!»
Засимъ принесъ семинаристъ
Тетрадь лакейскихъ дисертацій [1].
И Фебу вслухъ прочелъ Горацій,
Кусая губы, первый листъ.
Отяжелѣвъ, какъ отъ дурмана,
Сердито Фебъ его прервалъ
И тотчасъ взрослаго болвана
Поставить въ палки приказалъ.

Вновь послѣ Надеждина и о. Матвѣя, знамя «отреченія отъ Пушкина» и «безполезныхъ искусствъ» было поднято въ 1855 г. воспитанникомъ саратовской семинаріи, мечтавшимъ сначала о степени «бакалавра», но потомъ увлекавшимся «свѣтскими» науками, Чернышевскимъ, въ его знаменитой диссертаціи, доказавшей какъ дважды два—четыре, что яблоки на Щукиномъ дворѣ «совершеннѣе» nature morte въ Эрмитажѣ. Помогалъ ему въ примѣненіи этихъ воззрѣній къ дѣлу критики воспитанникъ нижегородской семинаріи—Добролюбовъ, которому Чернышевскій передалъ завѣдываніе критическимъ отдѣломъ «Современника» въ 1857 году. Самъ онъ занялся исключительно политической экономіей, а Добролюбовъ уже въ ноябрѣ 1861 года умеръ, такъ что въ сущности должно признать его критикомъ «пятидесятыхъ» годовъ.

Въ 60-е годы проповѣдь «отреченія отъ Пушкина» и отъ художества до крайнихъ предѣловъ была доведена въ «Русскомъ Словѣ» Благосвѣтлова.

---

[1]) Докторская дисертація Надеждина: De origine, indole et fatis poëseos, quae Romantica audit. Dissertatio historico-critico-elenctica.

тоже семинариста, который однако вдохновилъ на этотъ подвигъ помѣщичьяго сынка—Писарева. Въ статьѣ «Разрушеніе эстетики» 1865 года, Писаревъ воскрешаетъ положенія диссертаціи Чернышевскаго, объявляя, что «при томъ опредѣленіи прекраснаго, которое даетъ Чернышевскій, эстетика, къ нашему величайшему удовольствію, исчезаетъ въ физіологіи и гигіенѣ». Далѣе Писаревъ утверждалъ, что «истинное искусство есть чужеядное растеніе, которое постоянно питается соками роскоши, съ величайшей готовностью превращая себя въ лакея роскоши», что Микель Анжело и Рафаэль расписывали фресками потолки папскихъ дворцовъ, подобно тому, какъ московскіе художники украшаютъ «пукетами и амурами стѣны купеческихъ апартаментовъ...»

Но торжество принциповъ отца Матвѣя въ писаревскихъ извѣстныхъ статьяхъ о Пушкинѣ.

Мы не хотимъ унизить этими указаніями кристально чистыхъ личностей названныхъ сейчасъ критиковъ. Мы кромѣ того въ другомъ мѣстѣ достаточно оттѣнили значеніе историческаго момента и цензурныхъ условій въ данномъ случаѣ, не принимая въ разсчетъ которыхъ нельзя правильно оцѣнить 60-е годы. Но мы утверждаемъ все-же, что школа «шестидесятниковъ» ясно носитъ на себѣ всѣ признаки схоластической, семинарской мысли. Таково отношеніе ея и къ искусству, и къ дѣйствительности.

Глубокое вліяніе семинарскаго типа образованія на наше духовенство превосходно выясняетъ одинъ изъ современныхъ публицистовъ:

«Духовенство не только не любило теоретически поэзію, оно и не дало поэтовъ. Оно не сложило у себя и поэтическаго быта, обычаевъ».

«Мнѣ кажется здѣсь не столько традиціи сословія, сколько система образованія дѣйствуетъ. Семинарское образованіе замѣчательно послѣдовательно, систематично, философично. Ничего подобнаго никогда не было въ сложеніи гимназическаго образованія. Отъ того Ѳома Аквинатъ и Филаретъ, на Западѣ и Востокѣ, имѣютъ въ сущности одинаковую структуру ума. Далѣе, семинарское же образованіе глубоко проникнуто духомъ покорности, безропотности и дисциплины. Оно убиваетъ творчество и въ концѣ-концовъ духовное сословіе, столь способное въ общемъ, есть самое у насъ не творческое сословіе. Недвижность и безсиліе къ творчеству наконецъ задавило его самого. Это есть одна изъ главныхъ причинъ, что чиновники, люди безъ рясы, взяли въ руки свои всѣ дѣла духовнаго вѣдомства. Они сообщили импульсъ параличному. Они не отняли, а просто—пришли и начали дѣлать. Духовный все ждетъ приказанія; приказать—онъ робѣетъ. Лучше ужъ онъ будетъ какъ-нибудь копаться, подкапываться, но не распорядится. Свойства крота, а не орла присущи всему духовному сословію».

«Въ концѣ-концовъ тутъ дѣйствуетъ образованіе. Будучи вѣковымъ, почти тысячелѣтнимъ все приблизительно въ одномъ духѣ оно наложило

отпечатокъ и на физіономію цѣлаго сословія. Отпечатокъ этотъ имѣетъ и свои достоинства, хотя нельзя не сознаться, что онъ нѣсколько тяжелъ. Но откуда само это образованіе? Это римско-византійская система мышленія, не столько разрѣшившая, сколько осторожно обошедшая множество самыхъ тягостныхъ религіозныхъ проблемъ, волновавшихъ за двѣ тысячи лѣтъ человѣчество; примирившая казалось бы непримиримое, сгладившая всякіе рѣзкіе углы и замазавшая самыя опасныя щели вкрадчивыми и ласковыми словами. Все тутъ такъ мудро построено и такъ хрупко въ дѣйствительности, что кто поработалъ надъ этою системою—станетъ чрезвычайно методиченъ въ умѣ и осторожень въ мышленіи, въ рѣшеніяхъ. Тутъ невозможно ничего «отъ себя» и ума своего рѣшить, и въ тоже время этого нельзя и усвоить безъ очень тонкаго ума. Вдохновеніе здѣсь все неминуемо перепутало бы, испортило. Вдохновеніе здѣсь неприложимо, даже недопустимо».

«Вернемся къ примѣру о. Матвѣя Константиновскаго, личность котораго пробуждаетъ мысль не столько о качествахъ сословія, сколько о качествахъ и давленіи образованія. На горячую и пылкую натуру, полученную отъ рожденія, школа надѣла футляръ образованія, не только спеціальнаго, но и фанатично спеціальнаго. А спеціалистъ не только ничего не видитъ по сторонамъ, но и крайне упоренъ въ проведеніи своей линіи. Пушкина онъ не любитъ и не знаетъ. Пушкинъ для него звукъ пустой. Самое большее—это національно признанная слава, передъ которой по необходимости и скорѣе офиціально онъ долженъ отдать «честь», но про себя или наединѣ духовному сыну можетъ и хочетъ только сказать: «брось, грѣхъ». Никогда-то онъ не пролилъ слезы ни надъ однимъ стихотвореніемъ Пушкина и знойно не насладился имъ. Такова была и вся ихъ линія, Надеждина, Благосвѣтлова, Добролюбова: они были дѣловые люди, угрюмые; и когда, за очень частымъ у людей семинарскаго образованія религіознымъ скептицизмомъ, изъ нихъ вылетѣло собственно «credo» ихъ школы, то остался все-таки духъ ея, не веселый, скорѣе печальный, и если ужъ чему сочувствующій, то сѣрой практикѣ жизни, безъ единаго ея цвѣточка». Но оставьте въ Чернышевскомъ и Добролюбовѣ «credo» семинаріи, и вы получите много черть о. Матвѣя Константиновскаго. Вернемся къ нему. Если академикъ не сбивается въ чтеніи очень тонкаго, хрупкаго и длиннаго исповѣданія, не сбивается какъ ученый въ своей наукѣ, то ему кажется, что весь авторитетъ вѣковъ и тысячелѣтій даже санкціонируетъ каждое его слово. А о. Матвѣй, отчасти по невысокому своему образованію, нисколько не сомнѣвается, что авторитетъ вѣковъ такъ сказать поддерживаетъ каждое его принципіальное слово, напримѣръ объ «отметеніи Пушкина». Отсюда крайній его фанатизмъ и упорство, далекіе отъ того, чтобы быть личными. Вообще мы, міряне, говоримъ и поступаемъ не твердо, ибо

мы на каждомъ словѣ и поступкѣ своемъ отвѣчаемъ лично и творимъ; но о. Матвѣй и множество отцовъ Матвѣевъ, до извѣстной степени цѣлое сословіе, ничего лично и отъ себя не творя, зато не несутъ въ себѣ укуса совѣсти, мукъ раскаянія, рефлексіи за свои стереотипныя слова и поступки. Гамлетъ никогда бы не могъ произойти изъ духовнаго сословія, ни у насъ и нигдѣ. Отъ отсутствія личной работы моментъ самоукора почти неприсущъ духовнымъ лицамъ. Литература ихъ обширна. Тамъ много укоровъ міру, сословіямъ, грѣшнымъ душамъ, человѣческимъ совѣстямъ, но молитва мытаря: «Боже, буди милостивъ мнѣ грѣшному» отсутствуетъ въ нихъ и какъ фактъ, и какъ тенденція. Отъ этого міряналъ такъ трудно въ ихъ обществѣ, въ ихъ учрежденіяхъ, въ ихъ литературѣ: это все сплошная непогрѣшимость, непоправимость, повелѣніе, угнетающее волю, стѣсняющее сознаніе. Такимъ систематикомъ гнетущимъ былъ Ѳома Аквинатъ, Филаретъ, Сперанскій, Чернышевскій. Безъ рефлексіи, безъ самоукора, безъ сноповъ свѣта со стороны».

Въ школѣ беллетристовъ—шестидесятниковъ былъ одинъ только творческій, художественный талантъ—Глѣбъ Успенскій. Положительной чертой школы было знаніе народа, нужды, голода, холода, на шкурѣ собственной вытерпленныхъ. Множество точныхъ фотографій, обширный этнографическій матеріалъ дала эта школа. Но онъ болѣе однако былъ пригоденъ для публицистическихъ иллюстрацій и обобщеній, чѣмъ для искусства. Въ то-же время школа даетъ рядъ изображеній «новыхъ людей». Но они неудачны, не менѣе изображеній «нигилистовъ» въ романахъ школы сороковыхъ годовъ. Они пристрастны и писаны съ цѣлью дать образецъ героическихъ личностей. Это не реальныя фигуры. Это поддѣлка жизни, а не сама жизнь.

Удачныя, но крайне одностороннія и отрывочныя наблюденія фактовъ и мелочей простонародной жизни, въ случайныхъ фотографіяхъ даютъ Николай Успенскій и Слѣпцовъ.

Николай Васильевичъ Успенскій (род. въ 1837 году, зарѣзался въ Москвѣ 26 октября 1889 года), уроженецъ Тульской губерніи, внукъ сельскаго дьячка, воспитанникъ тульской семинаріи. Медико-хирургической академіи и Петербургскаго университета не кончилъ. Онъ выступилъ въ «Современникѣ» 1857—1858 гг. съ разсказцами изъ народной жизни, въ 1861 году изданными въ двухъ томахъ. Тупоуміе—вотъ основная черта его мужиковъ и бабъ. Наблюденія случайны, касаются встрѣчъ на дорогѣ, постояломъ дворѣ. Разсказы—сценки фотографически точны, а все таки тенденціозны. Послѣ недолгаго успѣха Николай Успенскій былъ забытъ и двадцать лѣтъ велъ жизнь нищаго пьяницы-бродяги, ночевалъ въ ночлежкахъ, забавлялъ разсказами публику въ вагонахъ, собиралъ подаяніе, всюду сопровождаемый дочерью...

Этнографическій матеріалъ случайныхъ наблюденій представляютъ и очерки Павла Ивановича Якушкина (род. въ 1820 г., умеръ въ 1872 году). Родомъ изъ зажиточной семьи орловскихъ дворянъ, всю жизнь скитался Якушкинъ по лицу русской земли, собирая пѣсни, наблюдая народную жизнь. Пьяница былъ то-же горькій. Василій Алексѣевичъ Слѣпцовъ (род. 17 іюля 1836 г.; умеръ 23 марта 1878 г.) то-же изъ хорошаго и зажиточнаго саратовскаго дворянскаго рода. Его произведенія составляютъ небольшой томъ. Крупнѣйшее изъ нихъ — тенденціозная повѣсть «Трудное время» (1865 г.); затѣмъ тѣ-же фотографіи—сценки: «Спѣвка», «Питомка», «Мертвое тѣло», которыя онъ самъ читалъ превосходно, но въ чтеніи про себя такъ-же проигрывающія, какъ сценки Горбунова.

Наиболѣе тяжкій, шершавый и безпросвѣтно мрачный изъ всѣхъ представителей школы «шестидесятниковъ»—Θедоръ Михайловичъ Рѣшетниковъ (род. 5-го сентября 1841 года —умеръ 9-го марта 1871 г. на тридцатомъ году жизни), уроженецъ Екатеринбурга, Пермской губерніи, сынъ дьячка, бурсакъ, вынесшій страшную нищету, порку, покаяніе среди монаховъ Соликамскаго монастыря, которые сдѣлали изъ него горькаго пьяницу. Первая вещь его— «Подлиповцы» напечатана въ «Современникѣ» 1864 г. и изображаетъ жизнь пермскихъ инородцевъ Пилы и Сысойки, круглыхъ, безпросвѣтныхъ идіотовъ. Написалъ Рѣшетниковъ много. Творенія его лишены всякаго искусства, однако это тяжкій, но большой талантъ. Болѣе литературны и художественны произведенія Николая Герасимовича Помяловскаго (род. въ 1835 году, умеръ отъ послѣдствій delirium tremens 5-го октября 1863 года), уроженецъ Петербурга, сынъ дьякона мало-охтенской, кладбищенской церкви, воспитанникъ Александро-Невскихъ духовнаго училища и семинаріи. Кратко было литературное поприще этого богато-одареннаго писателя. Въ 1857 году онъ кончилъ семинарію. Въ 1861 году появились его повѣсти «Мѣщанское счастье» и «Молотовъ» въ «Современникѣ». Эти повѣсти написаны хорошо, въ особенности первая. Образъ «новаго человѣка»—Молотовъ, правдивѣе всѣхъ изображеній подобнаго рода въ 60-хъ годахъ. Это честный труженикъ, но явленіе въ высшей степени простое—«новый человѣкъ» устраивающій на новомъ мѣстѣ свое «мѣщанское счастье» съ хозяйкой и хозяйствомъ—лампами, шторами, мебелью—«гарнитурчикомъ» и такъ далѣе. Все это онъ высоко цѣнитъ—вѣдь трудомъ и потомъ досталось!—однако введя своего героя въ вожделѣнную пристань, Помяловскій восклицаетъ: «Эхъ, господа! что-то скучно»!

«Очерки бурсы» гораздо значительнѣе, рисуя бытъ мрачный, хотя съ другой стороны изображенный уже Гоголемъ и Нарѣжнымъ. Фигуры Лявды, Гороблагодатскаго, Шестиухой Чиври, Карася и т. д., учителя, обычаи бурсы, гомерическія порки—все вводитъ насъ въ одинъ изъ гнусныхъ застѣнковъ крѣпостной Россіи. И все же это только этнографія, только пу-

блицистика въ картинахъ. Художественное творчество отсутствуетъ, такъ какъ не показано, какимъ образомъ изъ этой самой бурсы вышло столько замѣчательныхъ церковныхъ дѣятелей—iерарховъ?

Истиннымъ художественнымъ творчествомъ изъ всѣхъ, въ высшей степени интересныхъ, конечно, писателей—шестидесятниковъ, былъ надѣленъ только Глѣбъ Ивановичъ Успенскiй (род. 14 ноября 1840 года; злоупотребленiе алкоголемъ лишило его умственныхъ способностей; до смерти содержался въ безнадежномъ состоянiи въ психiатрической лѣчебницѣ).

Двоюродный братъ Николая Успенскаго, Глѣбъ Ивановичъ прiобрѣлъ громкое литературное имя въ 1866 г., когда въ «Современникѣ» появились его художественные очерки изъ быта тульскихъ слесарей, подъ общимъ заглавiемъ «Нравы Растеряевой улицы». Затѣмъ превосходна его «Будка»,—вещь вполнѣ художественная.

Читатель обратитъ вниманiе, что всѣ писатели этой школы гибнутъ отъ алькоголизма. Несчастное дѣтство, безпросвѣтная нищета привили имъ этотъ порокъ. Якушкинъ, правда, пилъ не отъ нужды, а «отъ любви къ народности». Исключенiе составляетъ Слѣпцовъ, страдавшiй за то половой разнузданностью въ такой степени, что она граничила бы съ преступностью, если бы женщины и дѣвушки не отдавались ему добровольно, во имя «женскаго вопроса» и за его «ражесть».

Явились эти писатели преимущественно въ годы полнаго литературнаго безвременья, въ годы валуевской «свободы слова».

Въ своей автобiографiи Гл. Ив. Успенскiй разсказываетъ: «Нравы Растеряевой улицы», задуманные мною въ 1866 г., только что начали печататься въ «Современникѣ», какъ журналъ былъ закрытъ. Продолженiе этихъ очерковъ, приготовленное для «Современника», должно было явиться въ сборникѣ «Лучъ», изданномъ редакцiей «Русскаго Слова», которое также было прекращено, причемъ все, что имѣло связь съ очерками, напечатанными въ «Современникѣ», надо было уничтожить, обрѣзать, выкинуть,—для того, чтобы «продолженiе» имѣло видъ работы отдѣльной и самостоятельной; вотъ почему дѣйствующiя лица были переименованы въ другихъ, имъ «сдѣлана» иная обстановка, и самое названiе измѣнено. Затѣмъ дальнѣйшее продолженiе той же серiи разсказовъ печаталось въ журналѣ «Женскiй Вѣстникъ», такъ какъ тогда (66 г.) почти совершенно не было другихъ литературныхъ журналовъ. Судите поэтому, что должна была претерпѣть «Растеряева улица» со своими пьяницами «сапожниками и мастеровщиной», появляясь въ журналѣ, посвященномъ женскому развитiю, женскому вопросу? При всемъ моемъ глубокомъ желанiи, чтобы пьяницы мои вели себя въ дамскомъ обществѣ поприличнѣй, всѣ они до невозможности пахли водкой и сокрушали меня. Но чтожъ было дѣлать? Я ихъ умылъ и прiодѣлъ, и они стали только хуже, а правды въ нихъ меньше...»

«Одиночество было полное. Съ крупными писателями я не имѣлъ никакихъ связей, а мои товарищи — люди старше меня лѣтъ на десять — почти всѣ безъ исключенія погибали на моихъ глазахъ, такъ какъ пьянство было почти чѣмъ то неизбѣжнымъ для тогдашняго человѣка. Всѣ эти подверженные сивушной гибели люди были уже извѣстны въ литературѣ... Спившихся съ кругу талантливыхъ людей было множество, начиная съ такой потрясающей въ этомъ отношеніи фигуры, какъ И. И. Якушкинъ...».

«Несомнѣнно народъ этотъ былъ душевный, добрый и глубоко талантливый; но питейная драма, питейная болѣзнь, похмелье и вообще разслабленное состояніе, извѣстное подъ названіемъ «послѣ вчерашняго», занимало въ ихъ жизни слишкомъ большое мѣсто. Не было у нихъ читателя. Они писали неизвѣстно для кого, и хвалили только другъ друга. Одиночество талантливыхъ людей вело ихъ къ трактирному оживленію и шуму. Ко всему этому надо прибавить, что въ годы 1863—1868 все въ журнальномъ мірѣ падало, разрушалось, валилось. «Современникъ» сталъ тусклъ и упалъ во мнѣніи живыхъ людей, отводя по полкнигѣ на безплодныя литературныя распри, а потомъ и былъ закрытъ. Закрыто и «Русское Слово», и вообще всѣ мало-мальски видные дѣятели разбрелись, исчезли. Начали появляться какія то темныя изданія съ темными издателями... Когда наконецъ, въ 1868 году основались новыя «Отечественныя Записки», первые годы въ нихъ то же было мало уюта... Все, что собралось, было значительно поломано нравственно и физически, пока наконецъ, дѣло не стало на широкую дорогу»[170].

БИБЛІОГРАФІЯ: 1). И. И. Якушкинъ: Путевыя письма изъ Новгородск. и Псковск. губ. Изд. Д. Кожанчикова. Спб. 1860 г. Бывалое и небывальщина. Спб. 1867 г. — Сочиненія. Съ портретомъ. Изд. Михневича. Спб. 1884 г.: Біографич. очеркъ С. В. Максимова. Воспоминанія Боборыкина, Вейнберга, Горбунова, Курочкина, Лейкина, Лѣскова, Минаева, и др. Псковское приключеніе съ Якушкинымъ. Разсказы и очерки. Путевыя письма. Народные стихи и пѣсни.—Великъ Богъ земли русской. Разсказы. Изд. А. С. Суворина. Спб. 1895 г.—Статьи объ этомъ замѣчательномъ народолюбцѣ и этнографѣ. Въ Истор. Вѣстн. 1897 г. № 8. Ашевскаго. Калика-перехожій XIX в. и въ Дѣлѣ. 1883 г. № 12. И. Шашкова. Народникъ Якушкинъ. — Некрологъ И. И. Якушкина. — Отеч. Зап. 1872 г. № 1. — Значеніе его, какъ этнографа — народоописателя у А. Н. Пыпина въ его «Исторіи русской этнографіи» (т. II). — 2) В. А. Слѣпцовъ. 1862 г.: Спѣвка. Очеркъ. (Отеч. Зап. № 9). — 1863 г.: Питомка, сцена въ больницѣ. Ночлегъ въ «Совр.» — 1864 г.: Казаки въ «Совр.» 1865 г.: Трудное время. Повѣсть въ совр. (№ 4, 5 7 и 8). — 1871 г. Начало романа «Хорошій человѣкъ» въ Отеч. Зап.» Сочиненія. Разсказы, очерки и сцены. 2 части. Изд. С. Звона-

[170]) Скабичевскій. Исторія новѣйшей русской литературы. Изд. 4-е. Спб. 1900 г. стр. 252—253.

рева. Спб. 1866 г. — Полное собраніе сочиненій. Съ портретомъ. Спб. 88 г.—О немъ: А. Кузинъ. Забытый писатель. Колосья. 1888 г. № 5.— Д. Писаревъ. Подростающая гуманность. Соч. т. V. Изд. 94 г. — 3) Н. В. Успенскій: Разсказы. 3 ч. Спб. 1864 г. — Новые разсказы. 1867 г. — Новѣйшіе разсказы. 1871 г. — Картины изъ русской жизни 1872 г.—Сочиненія. Повѣсти, разсказы и очерки. 3 т. М. 1876 г.—Повѣсти, разсказы и очерки. 4 т. М. 1883 г. — Разсказы. Спб. 1886 г.— О немъ: Чернышевскій въ «Критич. статьяхъ». (Изд. 93 г.) Эдельсонъ въ «Библ. для чтенія», 1864 г., № 3. (Стр. 1—21. — Библіографическія данныя въ статьяхъ Юдина. (Истор. Вѣстн. 1896. № 12) и Полонскаго (Ibid. 1898. № 4). 4) Ѳ. М. Рѣшетниковъ: 1864. Подлиповцы.—1866. Глумовы и не оконч. романъ Горнорабочіе. — 1868. Гдѣ лучше, романъ въ 2 част. 1870. Свой хлѣбъ. Романъ.—Сочиненія 2 т. Спб. 1869 г.—Соч. 2 т. Съ портр. и біограф. очеркомъ Гл. Успенскаго. Изд. Солдатенкова. М. 1874 г. — Соч. 2 т. съ портретомъ и вступительною статьею Протопопова.—«Рѣшетниковъ, какъ писатель и человѣкъ». Изд. Ф. Павленкова. Спб. 1890 г. и 1896 г.—Н. К. Михайловскій. Изъ біографіи Ѳ. М. Рѣшетникова. Собр. соч. т. II. Изд. 1897 г.— В. С. Десятовъ. Къ біографіи Р-ва. Казань. 1897 г. (Оттискъ изъ Волжск. Вѣстн.).—Г. Чуйко. Беллетристъ — самородокъ. Набл. 1890 г. № 8. — Критическія оцѣнки этого писателя: Н. Ткачевъ. Разбитыя иллюзіи. (Дѣло. 1868 г. № 11 и 12). — Н. В. Шелгуновъ. Народный реализмъ въ литературѣ. — (Соч. т. II). — Скабичевскій. Чего нужно добиваться реальному поэту. (Соч. т. I). — 5) Н. Г. Помяловскій 1861 г.—Повѣсти: «Мѣщанское счастье» и «Молотовъ». 1862 г. Очерки: «Зимній вечеръ въ бурсѣ» и «Бурсацкіе типы».—1863 г. Очерки: «Женихи бурсы» и «Бѣгуны и спасенные бурсы». 1865 г. Очерки бурсы. Отд. изд.—Полное собраніе сочиненій, съ портретомъ и біографіей автора, составл. Н. А. Благовѣщенскимъ. 2 тома. 7-ое изд. Спб. 1893 г.—Въ I томѣ повѣсти, въ II-мъ—очерки бурсы и не оконч. сочиненія.—В. Островскій. Этюды о русскихъ писателяхъ. Н. Г. Помяловскій. Спб. 1889 г.—В. Л—въ. Школьные годы П-ого. Истор. Вѣстн. 1896 г. № 7.—О П—мъ статья Писарева: «Мыслящій пролетаріатъ», «Романъ Кисейной дѣвушки» и «Погибшіе и погибающіе». Соч. т. IV. и V. Изд. 94 г.

§ 11. Первыя три десятилѣтія второй половины XIX-го вѣка подраздѣляются на четыре неравномѣрные періода, захватывая по нѣскольку лѣтъ изъ граничащихъ съ ними десятилѣтій. Вотъ эти періоды:

Первый періодъ (1848—1855) — крайней мыслебоязни, цензурнаго гнета, развитія до крайнихъ предѣловъ николаевской системы, взятія всего «въ казну» и внезапнаго краха и обнаруженія правды о Россіи на бастіонахъ Севастополя.

Второй періодъ (1855—1863) — періодъ пробужденія, возрожденія, подготовки освобожденія; рубикономъ этого періода является 19-е февраля; эту именно эпоху имѣютъ въ виду, когда говорятъ о «шестидесятыхъ» годахъ. Это время дѣятельности Добролюбова и Чернышевскаго.

Третій періодъ (1863—1868) — реакція, подъ вліяніемъ польскаго повстанья и покушенія Каракозова. Хотя реформы продолжаютъ развиваться логически изъ 19-го февраля, тѣмъ не менѣе это періодъ цензурнаго гнета, свирѣпаго выслѣживанія направленія, лицемѣрной системы Валуева съ его «свободой печати»; истинное было литературное безвременье. Это эпоха Писарева и Антоновича.

Четвертый періодъ (1868—1884)—въ литературѣ устанавливается извѣстнаго рода modus vivendi; создается правая литературы — «Русскій Вѣстникъ» Каткова и Леонтьева, въ которомъ выступаютъ художники школы сороковыхъ годовъ, и лѣвая — «Отечественныя Записки» Салтыкова и Елисѣева, гдѣ объединяются беллетристы школы шестидесятыхъ годовъ; возникаетъ умѣренно-либеральный органъ порядка и западничества — «Вѣстникъ Европы» Стасюлевича, гдѣ пишетъ Анненковъ. Центръ составляетъ газета «Голосъ» Краевскаго, о которой юмористъ Минаевъ говорилъ:

Стихнулъ порывъ вѣтра невскаго,
Къ вечеру сдѣлалось тише,
Флюгеръ на домѣ Краевскаго
Не шевельнется на крышѣ.
Хоть отдохнуть не мѣшало бы...
Но, недовольный судьбою,
Сталъ онъ высказывать жалобы
Предъ дымовою трубою:
— Нѣтъ въ тебѣ, милая, рвенія,
Только отъ дыма ты прѣешь,
И моего затрудненія
Даже понять не умѣешь...

Въ разсматриваемое нами десятилѣтіе продолжала плодовитую дѣятельность Хвощинская (Крестовскій) и выступилъ писатель Шеллеръ (Михайловъ).

Произведенія этихъ авторовъ чисто дидактическія, малохудожественныя. Однако они имѣли глубокое воспитательное вліяніе на общество, особенно Шеллеръ.

Хвощинская—писательница пятидесятыхъ годовъ, но расцвѣтъ ея дарованія и популярности, несомнѣнно, падаетъ на шестидесятые годы. Въ 1861 г. вышелъ ея романъ «Въ ожиданіи лучшаго». Затѣмъ въ 1869 — «Первая борьба», въ 1870—1871 ея лучшее произведеніе «Большая Медвѣдица», въ 1874 —1877—«Альбомъ: группы и портреты».

Хвощинская исполнена пессимизма, и строго говоря, ея произведенія — сплошное обличеніе фальши въ людяхъ эпохи реформъ.

Въ восьмидесятыхъ годахъ Хвощинская писала меньше и видимо да-

рованіе ея ослабѣло. Замѣчательнѣйшими произведеніями этой поры являются повѣсть «Прощаніе» (1884) и романъ «Обязанности» (1886).

Александръ Константиновичъ Шеллеръ - Михайловъ (род. 30-го іюня 1838 года), сынъ эстонца изъ Аренсбурга, камеръ-музыканта императорскихъ театровъ. Родъ его—крестьянскій. Кончивъ Анненскую школу, Шеллеръ былъ вольнослушателемъ въ университетѣ. Въ печати дебютировалъ стихами въ 1863 году, въ «Современникѣ». Тамъ же въ 1864 г. появился его первый романъ «Гнилыя болота», а въ 1865 г. «Жизнь Шупова». Написано имъ очень много и все написанное проникнуто чистой и честной тенденціей. Это—гражданское нравоученіе, которое всегда будетъ дѣйствовать на непосредственныя, юношескія натуры. Перечисленными писателями и произведеніями исчерпывается все, что представляетъ изъ себя серьезную сторону литературы шестидесятыхъ годовъ: въ смыслѣ художественномъ или идейномъ, новое слово ея и новыя направленія въ эволюціи литературы. Затѣмъ, надо указать еще на обширную область произведеній «занимательныхъ», отличающихся извѣстными достоинствами, но не вліявшихъ, ни на искусство слова, ни на душу общества; это историческіе, этнографическіе, мелодраматическо-бульварные съ приключеніями, великосвѣтскіе, уголовные и «злободневные» повѣсти и романы.

Къ числу «злободневныхъ» повѣствователей надо отнести Михаила Васильевича Авдѣева (род. въ 1821 г. въ Оренбургѣ, умеръ въ Спб. 1-го февраля 1876). Сынъ уральскаго казака, воспитанникъ польскаго писателя Ѳомы Зона, друга Мицкевича, основателя виленскаго патріотическаго общества Филаретовъ, сосланнаго въ Оренбургъ, Авдѣевъ кончилъ гимназію въ Уфѣ и корпусъ путей сообщенія. Въ 1849, 1851 и 1852 гг. въ «Современникѣ» появились его первыя повѣсти, герой которыхъ — выдохшійся типъ печоринскаго склада: «Варенька», «Записки Тамарина», «Ивановъ». Девять лѣтъ спустя въ 1860 г. явился его романъ «Подводный камень», въ «Современникѣ» же, сколокъ съ романа Жоржъ-Зандъ «Jacques» и разрѣшающій семейный вопросъ просто какъ палецъ, устраненіемъ одной изъ основныхъ страстей сердца человѣческаго, старыхъ, какъ сама природа —ревности. «Злободневность» романа произвела большое впечатлѣніе.

Въ 1868 г. Авдѣевъ далъ романъ «Между двухъ огней» (Современное Обозрѣніе). Здѣсь уже трактуется «земскій» вопросъ.

Затѣмъ на старую тему женскаго вопроса написаны имъ повѣсти: Магдалина (Дѣло, 1869), Сухая любовь (Дѣло, 1870) и Пестренькая жизнь (Отеч. Зап. 1870).

Посмертный его романъ «Въ сороковыхъ годахъ» появился въ 1876 году въ «Вѣстн. Европы».

Романы, богатые этнографическими наблюденіями, однако по своей «занимательности» и обилію приключеній мало серьезные, писалъ Григорій

Петровичъ Данилевскій (род. 14 апр. 1859 г.) Его обширные романы «Бѣглые въ Новороссіи», «Бѣглые воротились», «Воля» явились съ псевдонимомъ Скавронскій въ Эпохѣ и Времени 1862 и 1863 гг. Затѣмъ Данилевскій молчалъ одиннадцать лѣтъ и въ 1874 г. помѣстилъ въ «Вѣстн. Евр.» романъ «Девятый валъ». Далѣе онъ обратился къ исторической беллетристикѣ. Уголовные, запутанно-мелодраматическіе романы писалъ Николай Дмитріевичъ Ахшарумовъ (род. 3-го декабря 1819 г., умеръ 18-го августа 1893 г.) Главнѣйшія его произведенія: «Двойникъ» (1850); «Чужое имя» (1861); «Мудреное дѣло» (1864); «Натурщица» (1866); «Граждане лѣса» (1867); «Концы въ воду» (1872).

Сенсаціонные романы и довольно скабрезные стихи писалъ Всеволодъ Владиміровичъ Крестовскій (род. 11-го февр. 1840 г., ум. 1895 г.). Его стихи и повѣсти стали появляться съ 1857 г. Но громкую извѣстность пріобрѣли только «Петербургскія трущобы», «книга о сытыхъ и голодныхъ», напечатанныя въ Отеч. Зап. 1864—1867 г. Романъ заключаетъ нѣкоторыя фотографіи съ Вяземской Лавры и ея типовъ, но вообще писанъ въ манерѣ Сю, Дюма-отца и другихъ «занимательныхъ» разсказчиковъ. Дальнѣйшія его произведенія характерны для «направленской» беллетристики «Русскаго Вѣстника». Сюда же надо отнести обличительныя по отношенію къ шестидесятымъ годамъ повѣсти Василія Петровича Авенаріуса (род. въ 1839 г.) «Бродячія силы», «Современная идиллія» и «Повѣтріе».

Великосвѣтскіе романы писалъ Василій Григорьевичъ Авсѣенко (род. 5-го января 1842 г.). Въ литературѣ Авсѣенко началъ повѣстями «Буря» и «Тронутые» (1865 и 1866 г.). Значительные (по размѣрамъ) романы его: «Млечный путь» (1875—1876) и «Скрежетъ зубовный» (1878), напечатанные въ «Русскомъ Вѣстникѣ», гдѣ Авсѣенко писалъ не дурныя критическія статьи, отрицая всю школу «шестидесятниковъ».

Въ заключеніе этого необходимаго и достаточнаго перечня должно упомянуть историческій романъ поэта гр. Алекс. Толстого «Князь Серебряный» изъ эпохи Ивана Грознаго. Онъ явился въ 1861 году въ «Русскомъ Вѣстникѣ». Это правдивая и художественная вещь.

БИБЛІОГРАФІЯ: 1) Хвощинская — (Крестовскій, псевдонимъ). Собраніе сочиненій въ 5 томахъ, изд. Суворина. Спб. 1892 г. и 1898 г. В. Семевскій. Х—ая. Біогр. очеркъ. Русская мысль. 1890 г. № 10—12—В. Винницкая. Воспоминанія о Н. Д. Х—ой. Истор. Вѣстн. 1890 г. № 1.—Критическія оцѣнки: К. Арсеньевъ. Критич. этюды по русской литературѣ. Т. I.—В. Чуйко. Крестовскій—псевдонимъ. Крит. очеркъ. Наблюдатель. 1889 г. № 8.—К. Головинъ. Русскій романъ. Ч. III. Гл. IX.—2). Шеллеръ—Михайловъ. Полное собраніе сочиненій. 15 томовъ. Спб. 1894 г. Въ т. I. «Гнилыя болота»; въ т. II: «Жизнь Шупова» (автобіографія); въ т. IV: «Лѣсъ рубятъ, щепки летятъ». Это лучшія вещи Шеллера.—Ор. Миллеръ. А. К. Шеллеръ. Сборникъ ста-

тей изъ Пант. Литературы. 1889 г. 6—8.—Фаресовъ. А. К. Ш. Истор. Вѣстникъ. 1896 г, № 2. — 3) М. В. Авдѣевъ: Сочиненія. 2 т. Изд. Стелловскаго. Спб. 1868—1860 гг.—О немъ у Чернышевскаго (Критич. статьи), Григорьева. (Соч.), Дружинина. (Соч. т. VI. Письмо VII и т. VII), Шелгунова («Неоконченный вопросъ». Дѣло. 1871 г. № 4).—Венгеровъ. Крит. Біограф. словарь т. I. Стр. 47—56 и 905—906.—4) Г. П. Данилевскій (Скавронскій). Сочиненія (1847—1890 гг.). Изд. 7-е въ 9-ти томахъ, съ портр. и біограф. — См. еще статью С. Левина въ Истор. Вѣстн. 1890 г. № 4. — Переписка Д—го. Харьковъ. 1893 г. 5) В. В. Крестовскій. Собраніе сочиненій 8 томовъ съ біографіей. Изд. Общ. Пользы. Спб. 1899 г. — Введенскій. Соврем. литер. дѣятели. Вс. В. К—ій. Ист. В. 90 г. № 12.—Статьи въ Р. Сл. 62 г. № 5 и 63 г. № 1 и въ Всемірн. Трудѣ 1867 г. № 12.

III.

§ 1. Въ области поэзіи, шестидесятые годы не только не выставили новой «плеяды» поэтовъ, но даже ни одного, сколько нибудь значительнаго, имени. Майковъ, Полонскій, Фетъ, гр. Алексѣй Толстой—поэты «чистаго искусства» испытали глубокое охлажденіе публики. Имѣлъ успѣхъ только Некрасовъ, переводчики «изъ Гейне» и гражданско-народническіе стихотворцы. То гоненіе на поэзію, которое въ концѣ 40-хъ и началѣ 50-хъ годовъ совсѣмъ было уничтожило рубрику стиховъ въ журналахъ, поднялось съ новой силой въ 60-хъ годахъ.

Однако, должно принять во вниманіе всѣ стороны того «разрушенія эстетики» и «отреченія отъ Пушкина», которыя проповѣдывались въ эту эпоху утилитарной критикой.

«Отчего у насъ лирики плодятся, какъ дождевые грибы?—спрашивалъ Писаревъ.—Да просто оттого, что журналисты привыкли наполнять стишками тѣ бѣлыя страницы, или, выражаясь типографскимъ языкомъ, бѣлыя полосы, которыя случайно остаются между отдѣльными статьями. И до сихъ поръ не могутъ сообразить почтенные журналисты, что бѣлая полоса гораздо лучше лирическаго стихотворенія, во-первыхъ потому, что читатель не тратитъ на бѣлую полосу ни одной минуты времени, во-вторыхъ потому, что редакція за бѣлую полосу не платитъ ни копѣйки денегъ, въ-третьихъ потому, что существованіе бѣлыхъ полосъ не поощряетъ ни одной отрасли предосудительнаго тунеядства. Къ крайнему моему огорченію, даже «Русское Слово» не возвысилось еще до пониманія этихъ высокихъ и мудрыхъ истинъ»[170]).

Становится непонятной эта ненависть къ безобиднымъ «стишкамъ».

---

[170]) Соч. Писарева. Т. IV. Спб. 1894. стр. 108.

Между тѣмъ Писаревъ выставляетъ три предмета своей ненависти: «Во-первыхъ — наше общее невѣжество, во-вторыхъ — поэзія и эстетика, въ-третьихъ — ученое фразерство нашихъ добродѣтельныхъ и недобродѣтельныхъ «Маколеевъ».

Очевидно, дѣло тутъ не въ однихъ журнальныхъ стишкахъ. Подъ «эстетикой» Писаревъ подразумѣваетъ нѣчто совсѣмъ особенное.

«Читатель подумаетъ, вѣроятно, что эстетика — мой кошмаръ, и читатель въ этомъ случаѣ не ошибется. Эстетика и реализмъ дѣйствительно находятся въ непримиримой враждѣ между собою, и реализмъ долженъ радикально истребить эстетику, которая въ настоящее время отравляетъ и обезсмысливаетъ всѣ отрасли нашей дѣятельности, начиная отъ высшихъ сферъ научнаго труда и кончая самыми обыкновенными отношеніями между мужчиной и женщиной... Эстетика есть самый прочный элементъ умственнаго застоя и самый надежный врагъ разумнаго прогресса».

«Эстетика, безотчетность, рутина, привычка — это все совершенно равносильныя понятія. Реализмъ, сознательность, анализъ, критика и умственный прогрессъ — это такъ же равносильныя понятія, діаметрально-противуположныя первымъ».

Спрашивается, какъ однако отожествить Гете, Бетховена, Рафаэля, Торвальдсена, съ «рутиной»? Но тутъ является на сцену Фетъ, который «жаловался печатно на работника Семена»... Къ сожалѣнію, Писаревъ не дожилъ до того времени, когда Фетъ далъ и «полезныя» вещи — переводъ Шопенгауэра, хотя бы.

Клеймя русскихъ лириковъ «отъявленными тунеядцами», Писаревъ рисуетъ идеалъ поэта:

«Понимая вполнѣ глубокій смыслъ каждой пульсаціи общественной жизни, поэтъ, какъ человѣкъ страстный и впечатлительный, непремѣнно долженъ всѣми силами своего существа любить то, что̀ кажется ему добрымъ, истиннымъ и прекраснымъ, и ненавидѣть святой и великой ненавистью ту огромную массу мелкихъ и дрянныхъ глупостей, которая мѣшаетъ идеямъ истины, добра и красоты облечься въ плоть и кровь и превратиться въ живую дѣйствительность».

«Когда поэтъ охватилъ своимъ сильнымъ умомъ весь великій смыслъ человѣческой жизни, человѣческой борьбы и человѣческаго горя, когда онъ вдумался въ причины, когда онъ уловилъ крѣпкую связь между отдѣльными явленіями, когда онъ понялъ, что̀ надо и что̀ можно сдѣлать, въ какомъ направленіи и какими пружинами слѣдуетъ дѣйствовать на умы читающихъ людей, тогда безсознательное и безцѣльное творчество дѣлается для него безусловно невозможнымъ. Общая цѣль его жизни и дѣятельности не даетъ ему ни минуты покоя: эта цѣль манитъ и тянетъ его къ себѣ; онъ счастливъ, когда видитъ ее передъ собой яснѣе и какъ-будто ближе; онъ

приходитъ въ восхищеніе, когда видитъ, что другіе люди понимаютъ его пожирающую страсть и сами съ трепетомъ томительной надежды смотрятъ въ даль, на ту-же великую цѣль; онъ страдаетъ и злится, когда цѣль исчезаетъ въ туманѣ человѣческихъ глупостей, и когда окружающіе его люди бродятъ ощупью, сбивая другъ друга съ прямого пути».

И вы, господа эстетики, хотите, чтобы такой человѣкъ, принимаясь за перо, превращался въ болтливаго младенца, который самъ не вѣдаетъ, что̀ и зачѣмъ лепечутъ его розовыя губы! Вы хотите, чтобы онъ бездѣльно тѣшился пестрыми картинками своей фантазіи, именно въ тѣ великія и священныя минуты, когда его могучій умъ, развертываясь въ процессѣ творчества, льетъ въ умы простыхъ и темныхъ людей цѣлые потоки свѣта и теплоты! Никогда этого не бываетъ и быть не можетъ».

«Кто понялъ и прочувствовалъ до самой глубины взволнованной души различіе между истиной и заблужденіемъ, тотъ, волей и неволей, въ каждое изъ своихъ созданій будетъ вкладывать идеи чувства и стремленія вѣчной борьбы за правду».

«Поэтъ — или великій боецъ мысли, безстрашный и безукоризненный рыцарь духа, или же ничтожный паразитъ, потѣшающій другихъ ничтожныхъ паразитовъ мелкими фокусами безплоднаго фиглярства. Середины нѣтъ. Поэтъ — или титанъ, потрясающій горы вѣкового зла, или же козявка, копающаяся въ цвѣточной пыли».

Вотъ одна изъ благороднѣйшихъ и прекраснѣйшихъ страницъ въ русской критикѣ, которая показываетъ, какой силы мы лишились въ юношѣ Писаревѣ! Но эта страница находится въ полномъ противорѣчіи съ тѣмъ мертвеннымъ «реализмомъ», который проповѣдуетъ тотъ же Писаревъ.

§ 2. Достаточно вспомнить «Пророковъ» Пушкина и Лермонтова, чтобы убѣдиться, что они именно такъ и понимали призваніе поэта. Кто же въ русской литературѣ довольствовался ролью «козявки, копающейся въ цвѣточной пыли»? Кто почиталъ безсознательность творчества «правомъ на невѣжество»? Жажда знанія была присуща всѣмъ великимъ русскимъ писателямъ. Развѣ Гоголь не такъ же понималъ призваніе писателя, и не старался «потрясти горы вѣковѣчнаго зла»?

Что говоримъ! Онъ и потрясъ ихъ хотя бы своимъ «Ревизоромъ».

Если взять даже литературу XVIII-го столѣтія, то и въ ней уже проявляется сознаніе чрезвычайной отвѣтственности и значительности званія писателя.

Но дѣйствительно, были и такія условія въ русской литературѣ, которыя пытались обезплодить, оскопить ее, превратить русскихъ писателей въ «козявокъ, копающихся въ цвѣточной пыли». Это — легкомысліе и пустота читателей и цензурная мыслебоязнь.

Управлять мыслью страны можно лишь до тѣхъ поръ, пока страна не мыслитъ, или очень мало мыслитъ. До тѣхъ поръ беззащитенъ писатель, пока онъ совсѣмъ не нуженъ или очень мало нуженъ читателю. И надо помнить, что даже между Бѣлинскимъ и его аудиторіей связь исчерпывалась тѣмъ присловьемъ, которое еще въ 80-хъ годахъ истекшаго столѣтія повторялъ Щедринъ: «писатель пописываетъ, а читатель почитываетъ». Пересталъ почему-либо писать писатель. Читатель скажетъ: «жаль! жаль!» и перейдетъ въ другой органъ, станетъ «почитывать» другого писателя. Нравственной, живой связи между читателемъ и писателемъ не устанавливалось. Читатель вовсе не считалъ обязаннымъ защищать писателя, вовсе не былъ съ нимъ солидаренъ, тогда какъ на Западѣ всякій органъ и всякій публицистъ имѣетъ за собой партію. Положимъ, читатель 25 лѣтъ «почитывалъ» писателя и соглашался съ нимъ. Это не значило, что въ роковую минуту онъ сочтетъ своимъ нравственнымъ долгомъ поддержать его. Нѣтъ, стряслась бѣда съ писателемъ — дальше платоническихъ соболѣзнованій не шло.

«Читатель,—скорбно говоритъ Щедринъ,—представляетъ собой тотъ устой, на которомъ всецѣло зиждется дѣятельность писателя; онъ — единственный объектъ, ради котораго горитъ писательская мысль. Убѣжденность писателя питается исключительно увѣренностью въ восприимчивости читателей, и тамъ, гдѣ этого условія не существуетъ, литературная дѣятельность представляетъ собою не что иное, какъ безпредѣльное поле, поросшее волчцомъ, на обнаженномъ пространствѣ котораго безцѣльно раздается голосъ, вопіющій въ пустынѣ».

«Даже несомнѣннѣйшіе литературные шуты — и тѣ чувствуютъ себя неловко, утрачиваютъ бойкость пера, ежели видятъ, что читатель не помираетъ со смѣху въ виду ихъ кривляній. Даже тутъ, въ этой клоакѣ человѣческой мысли, чувствуется потребность поддержки со стороны читателя».

«Ежели въ странѣ уже образовалась воспріимчивая читательская среда, способная не только прислушиваться къ трепетаніямъ человѣческой мысли, но и свободно выражать свою воспріимчивость, — писатель чувствуетъ себя бодрымъ и сильнымъ. Но онъ глубоко несчастливъ тамъ, гдѣ масса читателей представляетъ собой бродячее человѣческое стадо, мятущееся подъ игомъ давленій внѣшняго свойства».

«Звуча на удачу, рѣчь писателя превращается въ назойливое сотрясеніе воздуха. Слово утрачиваетъ ясность, внутреннее содержаніе мысли ограничивается и суживается. Только одинъ вопросъ стоитъ вполнѣ опредѣленно: Къ чему растрачивается пламя души? Кого оно грѣетъ? На кого проливаетъ свой свѣтъ?» [175].

---

175) Соч. Щедрина. Изд. 3-е. 1895. Томъ пятый, стр. 145 и 146.

«Мы поминаемъ лихомъ, — писалъ И. С. Аксаковъ въ газетѣ «День» 11-го сентября 1865 г., — мы не можемъ, мы не должны не помянуть лихомъ того страшнаго стѣсненія, которому такъ долго подвергалась русская печать, равно какъ не можемъ и не должны оставлять безъ рѣшительнаго осужденія всякій положительный, существенный вредъ, наносимый духовному развитію русскаго общества, всякое посягательство на истину и извращеніе правды».

«Прежній цензурный порядокъ внесъ кривду въ область самого печатнаго слова. Мало было намъ кривды во всемъ строѣ нашего общественнаго развитія, — мы добились до того, что самыя слова искривились у насъ въ своемъ значеніи и получили иносказательный смыслъ, что писатель искусился и успѣвалъ проводить свою мысль въ публику, такъ сказать, воровски, между строкъ, что между читателемъ и авторомъ установился условный языкъ обиняковъ, намековъ, вразумительный только имъ обоимъ и недоступный даже для цензуры. Авторъ, садясь за работу, думалъ уже не о томъ, чтобы какъ можно яснѣе выразить свое искреннее убѣжденіе, или чтобъ какъ можно полнѣе и отчетливѣе передать на общій судъ свою доктрину, а только о томъ, чтобы какъ нибудь протащить свою мысль контрабандой сквозь цензурную стражу,—и мысль тихонько прокрадывалась, закутанная въ двусмысленные обороты рѣчи! Понятно, что чѣмъ благонамѣреннѣе была мысль, чѣмъ сильнѣе сознавалъ писатель ея правоту, чѣмъ выше ставилъ достоинство истины, которой служилъ, тѣмъ невыносимѣе былъ для него этотъ унизительный путь—годный и приличный только для лжи, для кривды, для ночного вора. Весь пріемъ сочинительства носилъ на себѣ отраженіе существующаго порядка; мысль была запугана, умъ сталъ робокъ, и его полетъ невольно соразмѣрялся короткому размѣру той привязи, на которой держала его своенравная прихоть цензора. Нравственныя пытки, которымъ при предварительной цензурѣ подвергался писатель, могутъ быть сравнены развѣ только съ пыткой художника кисти или карандаша, когда непрошенный цѣнитель мазнетъ толстымъ пальцемъ по его свѣжему рисунку и невысохшимъ краскамъ. Писатель зависѣлъ не отъ какихъ нибудь общихъ, однажды установленныхъ правилъ, — которыя и установить для живой, какъ міръ, разнообразной, какъ море, волнующейся человѣческой мысли нѣтъ никакой возможности,—а зависѣлъ отъ чужого ума, чужого вкуса, на казенномъ жалованьи приставленнаго къ нему въ опекуны и судьи. Языкъ, слогъ, внѣшняя форма выраженія—все систематически стушевывалось, обезцвѣчивалось, изувѣчивалось, теряло, такъ сказать, свою мужескую силу подъ операціей, производимой надъ сочиненіемъ усердной рукой чиновника».

«Слово изъ-подъ цензорскихъ рукъ, послѣ долгой и упорной изъ-за него борьбы автора съ цензоромъ, вырывалось на свѣтъ Божій взъерошен-

ное, растрепанное, искалѣченное, помятое — и привѣтствовалось публикою, какъ тріумфъ побѣды, вкушалось съ жадностью, какъ запрещенный, тайный, заманчивый плодъ...

«Стѣсненіе слова имѣло необъятныя послѣдствія для нашего общественнаго развитія. Нуженъ теперь уже не мерцающій, не мигающій, а прочный свѣтъ свободы для того, чтобъ излѣчить весь тотъ вредъ, который проникъ, благодаря этому стѣсненію, въ самый духовный составъ русскаго общества. Въ самомъ дѣлѣ, что представляетъ даже до сихъ поръ наша періодическая литература, на которой, какъ извѣстно, воспитывались преимущественно наши молодыя поколѣнія за послѣднія 15—20 лѣтъ? Какіе-то лоскутья, обрѣзки знаній и мнѣній, предлагавшіеся въ видѣ журнальныхъ статей».

«Правды, правды! — вотъ чего намъ недостаетъ, вотъ что намъ особенно нужно!»[172]).

«Мысль, слово, — это не «прерогативы», а неотъемлемая принадлежность человѣка, безъ которой онъ не человѣкъ, а животное. Безсмысленны и безсловесны только скоты. Посягать на жизнь разума и слова въ человѣкѣ значитъ не только совершать святотатство божьихъ даровъ, но посягать на божественную сторону человѣка, на самый Духъ Божій, пребывающій въ человѣкѣ, на то, чѣмъ человѣкъ — человѣкъ, и безъ чего человѣкъ — не человѣкъ»[173]).

«Государство въ видахъ собственнаго сохраненія должно предоставить полнѣйшую свободу дѣятельности общественному сознанію. Если государство желаетъ жить, то должно соблюдать непремѣнныя условія жизни, внѣ которыхъ — смерть и разрушеніе; условіе жизни государства есть жизнь общества; условіе жизни общества есть свобода слова, какъ орудія общественнаго сознанія»[174]).

«Пора уже прямо поставить себѣ вопросъ, — писалъ Аксаковъ 28-го августа 1872 г. въ газетѣ «Русь», — что безвкуснѣе и потому менѣе опасно: плодъ дозволенный или плодъ запрещенный? Что вреднѣе: ядъ ли, выступившій изнутри наружу, или ядъ, вогнанный внутрь? Что желательнѣе для правительства: прозрачность и гласность со всѣми ея подчасъ неизбѣжными неудобствами или совершенная темь, глушь и безмолвіе? Что согласнѣе съ интересами власти: вѣдать или не вѣдать ходъ и развитіе мысли въ разныхъ слояхъ русскаго общества?.. Вовсе не признавать никакого общественнаго мнѣнія страны, которое только тогда вѣдь и годно, то-есть, тогда лишь и способно сослужить полезную службу правительству и странѣ, когда

---

[172]) Соч. И. С. Аксакова. Томъ четвертый. Изд. 1886 г., 432, 433, 434, 438.

[173]) Ibid. Томъ пятый. Стр. 11 и 12.

[174]) Ibid. Томъ IV. Стр. 366, 367, 368.

слову вообще предоставлена возможность выражаться свободно и искренно»[175]).

«Намъ необходима свобода умственной жизни, иначе мы не добудемъ самосознанія и не достигнемъ полноты развитія народнаго духа, — слѣдовательно, не исполнимъ своего долга,—да и правительство нуждается для своей дѣятельности не въ умственныхъ малолѣткахъ, а въ взрослыхъ развитыхъ гражданахъ. Свобода слова есть цѣль,—въ которой необходимо стремиться, — непремѣнное условіе общественнаго развитія, добро, которое надо неуклонно насаждать, холить, беречь, растить непрерывно, хотя бы и неторопливо. воспитывать съ любовью, хотя бы и строгою... Если вы хотите искренности въ словѣ, такъ должны допустить каждому право говорить своимъ голосомъ, какъ бы даже грубъ и неблагозвученъ онъ ни былъ; гдѣ нельзя говорить своимъ голосомъ, тамъ не можетъ быть и искренной рѣчи, и вмѣсто нея будетъ раздаваться одна благонамѣренная фистула».

«Стѣсненіе печати есть стѣсненіе жизни общественнаго разума, — оно парализуетъ всѣ духовныя отправленія общества, осуждаетъ всѣ его дѣйствія на безсиліе, удерживаетъ общество въ вѣчной незрѣлости, обрекаетъ мертворожденности всѣ исчадія его духовной производительности. Никакія самоуправленія, никакія реформы, никакіе благодѣтельные законы не только не принесутъ добра, но даже и не привьются къ общественной жизни, если общество будетъ лишено существенныхъ условій жизни — свободы мысли и слова»[176]).

Какія-же намѣренія питала цензура шестидесятыхъ годовъ по отношенію къ слову и мысли? Мы ихъ легко можемъ узнать изъ книги, которая была «секретно» издана въ 1865 году по распоряженію Министра Внутреннихъ Дѣлъ въ Петербургѣ, подъ заглавіемъ: «Собраніе матеріаловъ о направленіи различныхъ отраслей русской словесности за послѣднее десятилѣтіе и отечественной журналистики за 1863 и 1864 гг.».

Въ цѣляхъ цензуры было насажденіе той самой «эстетики», которую «разрушалъ» Писаревъ.

§ 3. Поборникъ «чистаго искусства» изъ министерства внутреннихъ дѣлъ, «секретно» разсмотрѣвъ «всю совокупность важнѣйшихъ явленій въ области русской литературы съ 1854-го по 1864-й годъ» убѣдился, что «общій уровень внутренняго достоинства и независимаго положенія нашей литературы значительно понизился». «Оставя путь свободнаго развитія (?), литература наша значительно отклонилась въ несвойственную

[175]) Ibid., IV, 512.

[176]) Ibid. T. IV. 443. 467, 485, 496.

ей (?) среду одностороннягo служенія временнымъ политическимъ, гражданскимъ и общественнымъ вопросамъ». Послѣдствія — плохо скрытая тенденціозность», «скудость творческой дѣятельности», повсемѣстное (?) почти отсутствіе художественности».

«Въ минувшее время», — утверждаетъ эстетикъ, — «наша литература развивалась самостоятельно (sic) и согласно высшимъ законамъ эстетики». «Тѣсный кругъ дѣятельности, доступный въ прежнее время у насъ общественной инициативѣ, и болѣе сложный объемъ (какъ нѣжно!) цензурныхъ требованій, не препятствовали (sic!) однако нашей литературѣ блистать такими именами, какъ Гоголь, Лермонтовъ и Кольцовъ и при томъ достовѣрно (неужели!) извѣстно, что свобода творчества этихъ художниковъ не встрѣчала для себя стѣсненія (?!), потому что ими почти ничего не было даже и написано такого, чтобы запрещено было печатать (А «Демонъ» ?). Такъ истинная среда изящнаго можетъ развиваться совершенно свободно помимо преходящихъ явленій жизни».

Такія утвержденія дѣйствительно можно было только «секретно» развивать!

Ни словомъ не упомянутъ хотя-бы Пушкинъ. Ужъ про него трудно сказать, что могъ онъ «развиваться свободно», когда письма его переполнены жалобами на цензуру.

«Уклоненіе» литературы «имѣло самое вредное вліяніе на вкусъ читающей публики и даже на общественную нравственность».

«Небольшой кружокъ литературныхъ дѣятелей пріобрѣталъ въ глазахъ близорукой массы авторитетъ». «увлекъ многихъ неопытныхъ, но талантливыхъ писателей на ложный путь, развилъ въ публикѣ стремленіе искать въ изящныхъ произведеніяхъ слова заднюю мысль оппозиціи, обличенія и намека, и низвелъ большую часть новѣйшихъ явленій нашей литературы на степень фельетона, куплета, эпиграммы, каррикатуры, и даже пасквиля. Съ другой стороны тѣ же самыя стремленія выразились значительнымъ количествомъ произведеній въ духѣ матеріализма, соціализма и разныхъ утопій, разлагающихъ семейный союзъ и нравственность».

Итакъ, привычка во всемъ искать «заднюю мысль», развитая въ читателяхъ именно благодаря цензурному гнету, приписана какому-то «кружку».

Выходитъ, что цензурныя стѣсненія «свободѣ творчества», «истинной средѣ изящнаго» ни мало не мѣшаютъ.

Установивъ общій взглядъ, эстетикъ «секретно» подвергаетъ затѣмъ «разсмотрѣнію» лирическую поэзію.

Онъ указуетъ, что «ободряемая такимъ авторитетомъ по части критики, каковъ былъ напримѣръ Добролюбовъ, поощряемая воззрѣніями «Русскаго Слова», — лирика наша въ сильной степени обратилась къ рефлексіи, къ куплету, къ эпиграммѣ, и наконецъ къ пасквилю». «Теперь прежнее сво-

бодное (О!) творчество поэта, по мнѣнію многихъ, есть уже анахронизмъ. и потому для современной нашей критики и для многихъ поэтовъ — гражданъ не имѣетъ смысла совѣтъ Пушкина:

Поэтъ, не дорожи любовію народной!

Не имѣетъ значенія для нихъ и голосъ великаго поэта—художника нашего, поданный имъ въ пользу независимости искусства:

Не для житейскаго волненья,
Не для тревоги (sic!), не для битвъ—
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуковъ сладкихъ не молитвъ (sic!)...

Не болѣе цѣны для нихъ имѣетъ и авторитетъ Гете, который сказалъ:

Ich singe wie der Vogel singt...»

Такъ жестоко перевирая, приводитъ заповѣдь Пушкина наслѣдникъ Бирукова и Красовскаго.

Затѣмъ приводится весьма любопытная классификація русскихъ поэтовъ.

I. Поэты, слѣдовавшіе теоріи свободнаго искусства: Тютчевъ, Фетъ, Майковъ, Щербина, Полонскій, Мей, графъ А. Толстой, кн. Вяземскій, Бергъ, Алмазовъ (?), гр. Ростопчина, Ю. Жадовская, К. Павлова.

II. Поэты, развивавшіе сперва туманные пріемы (?) нѣмецкаго романтизма, а потомъ усвоившіе себѣ теоріи французскаго соціализма: Огаревъ, Григорьевъ (sic!), Плещеевъ. (?)

III. Поэты, предметомъ пѣснопѣній которыхъ суть попреимуществу народъ и разные общественные вопросы:

1. Славянофилы: Хомяковъ, И. Аксаковъ, К. Аксаковъ; украинофилъ—Шевченко.

2. Отрицатели и обличители, возникшіе съ преобразовательной дѣятельностью нынѣшняго царствованія: Розенгеймъ, Бенедиктовъ.

3. Перелагатели (?) соціализма и пауперизма на русскіе нравы (?): Некрасовъ, Никитинъ, Курочкинъ, Вс. Крестовскій, В. Костомаровъ, М. Михайловъ.

4) Нигилисты, эпиграмматисты и пасквилисты: Новый поэтъ (псевдонимъ г. Панаева), Добролюбовъ, Темный человѣкъ (псевдонимъ г. Минаева), Обличительный поэтъ (псевдонимъ тоже Минаева), Скорбный поэтъ (псевдонимъ) и прочіе, печатавшіе въ «Искрѣ» и въ «Занозѣ».

Такова эта курьезнѣйшая «секретная» классификація. Разсматривая затѣмъ каждую категорію отдѣльно, «Собраніе матеріаловъ о направленіи», указываетъ «знаменательный фактъ», что къ первой категоріи принадле-

жать лирики, произведенія которыхъ отличаются «наибольшими истинно-поэтическими достоинствами».

И находятъ, что «въ сущности этотъ фактъ весьма естественъ»: «слѣдуя теоріи свободнаго искусства, поэтъ не насилуетъ своего творчества какимъ-либо предвзятымъ направленіемъ».

Конечно, съ особой похвалой отзываются «матеріалы» о пьесѣ, въ которой нѣтъ ни одного глагола»!

Шопотъ, робкое дыханье...

Дѣйствительно, если-бы всюду въ литературѣ царили «шопотъ» да «робкое дыханье», и не было-бы ни одного «глагола», то-то было бы цензурно!

Въ заключеніе «Матеріалы» находятъ, что Тютчевъ, Фетъ, Майковъ, Щербина и Полонскій такіе поэты, талантъ которыхъ «не имѣетъ въ себѣ ничего собственно русскаго». Внѣшній колоритъ и внутреннее содержаніе большей части произведеній ихъ до такой степени принадлежатъ къ области непосредственнаго художества, что будучи переведены на иностранный языкъ, эти произведенія ничего-бы не утратили...

Вторая группа лириковъ—Огаревъ, Григорьевъ(?) и Плещеевъ,—съ направленіемъ, которое можетъ быть названо «переходомъ къ порабощенію искусства».

«Подъ двойнымъ вліяніемъ нѣмецкой идеальной философіи и соціальныхъ утопій образовалось съ легкой руки г. Огарева въ нашей лирикѣ эфемерное направленіе, въ которомъ нѣмецкій романтизмъ и французскій соціализмъ подали другъ другу руки во имя протеста противъ существовавшаго тогда въ Россіи нравственнаго, общественнаго и политическаго строя».

Видимо, чиновникъ отъ «эстетики» слышалъ звонъ, да не знаетъ откуда онъ.

Далѣе «Матеріалы» говорятъ о славянофилахъ: «Славянофильство было въ сущности единственной формой протеста, которую возможно было уложить въ призракъ системы и безъ большихъ препятствій заявлять въ литературѣ въ прежнее время. Выставленный на знамени славянофиловъ девизъ: православіе, самодержавіе, народность,—суть понятія до такой степени способныя измѣнять цвѣтъ и смыслъ, примѣняясь къ самымъ различнымъ воззрѣніямъ, что варьируя на эту тему можно весьма удобно дѣлать набѣги на настоящее и укрываться въ глубь прошедшаго,—смотря по надобности».

«Неудовлетвореніе современнымъ нашимъ строемъ—могло быть весьма рѣзко и остроумно выражаемо то исканіемъ идеала въ до-петровской эпохѣ, то громкимъ порицаніемъ результатовъ западной цивилизаціи (которая была намъ усвоена), то приданіемъ всякихъ похвальныхъ свойствъ быту простого народа въ противуположность «отщепенству» высшихъ слоевъ обще-

ства, и все это, въ сущности отрицательное, направленіе принимало въ глазахъ Правительства маску положительности, прикрываясь девизомъ «православіе, самодержавіе, народность», слова, которыя славянофилы понимали по своему, а оффиціальная среда — по своему. Такимъ образомъ, если такъ называемые «западники» усвоили себѣ искусство писать между строкъ, то славянофилы пріобрѣли еще болѣе умѣніе выражаться иносказательно».

Однимъ словомъ, славянофильство со всѣми «оттѣнками панславизма», является «самой удобной формой протеста», и сверхъ того, оно есть «самая тонкая форма агитаціи и пропаганды». «По наружности-же славянофильство всегда относилось къ предержащей власти покорно»; но «можно утвердительно сказать, что конечная цѣль видовъ Правительства и славянофильства не имѣетъ ничего между собою сходнаго». Такова «неискренность славянофильства». «Многіе, поясняетъ «секретный» эстетикъ, смотрятъ на славянофильство ошибочно, и не видя въ немъ протеста и неискренности, относятся къ нему съ терпимостью». А «всѣ черты и цѣли славянофильства выражаются и въ лирическихъ произведеніяхъ славянофиловъ—поэтовъ (Аксаковы и Хомяковы)»...

Далѣе «Собраніе матеріаловъ о направленіи» указываетъ, что русская лирика «стала такъ-же чаще и чаще проникаться тяжелой атмосферой крестьянскаго быта и «воспѣвать лохмотья и язвы нищеты». Это и значитъ, молъ, «перелагать пауперизмъ и соціализмъ на русскіе нравы»... «Ясно, что такое направленіе, подхваченное довольно горячо нашей наукой, литературой и искусствомъ было ничто иное, какъ протестъ».

Таковъ Некрасовъ — онъ «перелагатель пауперизма». Очевидно, «Матеріалы» полагали, что «пауперизмъ» какое-то «вредное» ученіе, и не знали, что это общественное явленіе, начинающееся въ жизни, а не въ литературѣ. На произведеніяхъ Некрасова было «всегда видно, какъ вредно отражается въ лирикѣ подчиненіе ея мѣсту, времени и средѣ, въ которыхъ поэтъ развивается». Наконецъ, изъ «пасквилистовъ» «пока одинъ только Добролюбовъ можетъ быть названъ представителемъ нигилизма въ нашей критикѣ». Въ доказательство приведено стихотвореніе: «Пускай умру—печали мало»...

«Чистое искусство», которое проповѣдуетъ «секретный» эстетикъ министерства внутреннихъ дѣлъ, очевидно совсѣмъ особаго сорта. Оно должно быть свободно отъ подчиненія «мѣсту, времени и средѣ», затѣмъ не должно имѣть въ себѣ «ничего собственно русскаго» и до того принадлежать «къ области непосредственнаго художества», чтобы, будучи переведены на иностранные языки, эти произведенія ничего не утратили.

Конечно, такое безличное и безсодержательное искусство превратилось-бы въ родъ архитектурнаго орнамента. Критики, стоявшіе за свободу художественнаго творчества, никогда, конечно, не понимали эту свободу такъ

своеобразно, какъ «секретный» эстетикъ. Наконецъ, Майковъ, Полонскій и Фетъ, при всей своей художественной независимости отъ «злобы дня», полны гуманнаго содержанія. И воспитанный на нихъ юноша, конечно, не былъ-бы чуждъ никакимъ прогрессивнымъ идеямъ вѣка. Его сердце, утонченное поэзіей, чутко отзывалось-бы на все, «что требуетъ въ жизни отвѣта».

Однако, изданіе министерства несомнѣнно компрометировало чистыхъ художниковъ и эстетическую критику, способствуя путаницѣ понятій. Писаревъ оказывался правъ, отождествляя эстетику съ застоемъ. Выходило въ самомъ дѣлѣ, что чистый художникъ — «козявка, копающаяся въ цвѣточной пыли». Поэты плеяды сороковыхъ годовъ, равно какъ и беллетристы, испытали охлажденіе публики. Въ литературѣ имъ почти не стало мѣста. Они сплотились въ тѣсный кружокъ, который посреди базаровскаго вандальства хранилъ традиціи искусства и художественной культуры.

Изъ поэтическихъ произведеній русской литературы въ эпоху шестидесятыхъ годовъ явилось вообще не много.

Майковъ написалъ двѣ классическія свои баллады: «Исповѣдь королевы» и «Приговоръ»:

> На соборѣ на Констанцкомъ
> Богословы засѣдали,
> Осудивъ Іогана Гуса,
> Казнь ему изобрѣтали...

Наконецъ «Новогреческія пѣсни».

Но истинный, громкій успѣхъ имѣли только многочисленныя произведенія Некрасова:

«Рыцарь на часъ», «Крестьянскіе дѣти», «Коробейники», «Дешевая покупка», «Зеленый шумъ», «Орина-мать солдатская», «Морозъ-Красный носъ», «Желѣзная дорога». Громадный талантъ Некрасова выразился здѣсь съ полной силой и яркостью. Наконецъ, надо еще упомянуть ипохондрическую юмористику Щербины и творенія безсмертнаго Козьмы Пруткова съ его «афоризмами» и «баснями».

IV.

§ 1. Многое измѣнилось съ тѣхъ поръ, писалъ въ 1866 г. Анненковъ, какъ русская историческая драма вышла впервые въ свѣтъ съ «Борисомъ Годуновымъ» Пушкина. Она представляется теперь уже не плодомъ геніальнаго прозрѣнія въ народную жизнь, какъ у Пушкина, не результатомъ болѣе или менѣе удачныхъ догадокъ, перемѣшанныхъ съ болѣе или менѣе мечтательными и фантастическими представленіями, какъ у писателей, слѣдовавшихъ за нимъ, но чѣмъ то въ родѣ новой исторической

науки, только обработанной не по пріемамъ ученаго спеціалиста, а художественнымъ способомъ»[177]).

Писатели почувствовали за историческими лицами и событіями присутствіе доселѣ еще неизвѣстнаго дѣятеля—именно народной культуры, и обратили на него все свое вниманіе; затѣмъ драма уже служитъ, кромѣ осуществленія своихъ ближайшихъ цѣлей и задачъ, еще и средствомъ для выраженія весьма серьезныхъ историческихъ взглядовъ на былыя эпохи и ихъ главныхъ представителей. Это произошло естественно и вслѣдствіе успѣха вообще исторической науки и подъ вліяніемъ повышенія требованій и развитія смысла и вкуса публики. Начала новой исторической драмы явились воочію. И въ самомъ дѣлѣ, 60-е годы замѣчательны урожаемъ именно на историческія драмы. Въ 1860 году явилась «Псковитянка» Мея. Затѣмъ Островскій пишетъ рядъ историческихъ драмъ: «Мининъ» (1862), «Воевода» (1865); трилогію: «Дмитрій Самозванецъ», «Василій Шуйскій», «Тушино» (1867); «Василиса Мелентьева» (1868); одновременно съ послѣдними произведеніями Островскаго являются драмы Аверкіева: «Каширская Старина», «Слобода Неволя» (1867) и «Фролъ Скобѣевъ» (1868); а такъ же и первыя двѣ части драматической трилогіи гр. Алексѣя Толстого: «Смерть Іоанна Грознаго» (1866), «Царь Ѳеодоръ Іоанновичъ» (1868). Мы упомянемъ еще драму Чаева: «Димитрій Самозванецъ» (1866). Мы видимъ, что всѣ эти произведенія Мея, Островскаго, Аверкіева, Чаева, Толстого, разработываютъ ту же эпоху, которую живописалъ и Пушкинъ. Во всѣхъ проходятъ образы Ивана Грознаго, затѣмъ Ѳеодора, Василія Шуйскаго, Бориса, Самозванца. Эпоха великой смуты и крушенія стараго, возростанія новаго строя занимаетъ всѣхъ драматурговъ.

Содержательность и колоритность эпохи настолько велика, что не затмевая другъ друга поэты наши могли выразить каждый особенности своего дара.

Мей въ своей «Псковитянкѣ» проявилъ въ полной мѣрѣ свойственный ему лиризмъ и пластику изображенія. Дѣйствіе происходитъ въ 1570 году, когда Грозный, покончивъ съ Новгородомъ, идетъ на Псковъ, и по непонятной причинѣ, щадитъ его. Мей даетъ такую версію: въ домѣ боярина Шелоги онъ находитъ свою дочь отъ жены боярина, нѣкогда впустившей царя въ свой теремъ, въ отсутствіе мужа. Этимъ событіемъ и начинается драма, первое дѣйствіе которой «происходящее еще въ 1555 г. является собственно прологомъ». Поэтическій образъ Вѣры возстаетъ въ ея разсказѣ о встрѣчѣ съ Грознымъ:

Идемъ мы по опушкѣ,
Вдругъ Степанида мнѣ и говоритъ:

[177]) «Вѣстникъ Европы», мартъ. 1866 г.

«Боярыня, глядика, подъосинникъ.
Пойдемъ искать грибовъ».—
— Ты и пошла?
— Я и пошла... Давно ужъ это было,
А какъ теперь гляжу на этотъ лѣсъ:
Уютъ, прохлада: солнышко, какъ зайчикъ,
По молодымъ кустамъ перебѣгаетъ;
Мохъ, что коверъ шелковый подъ ногами...
А впереди деревья гуще-гуще,
Темнѣй-темнѣе, такъ къ себѣ и манятъ...
Иду... кругомъ грибовъ и ягодъ вдоволь...
Тутъ боровикъ, волвянка, подъорѣшникъ,
Тутъ земляника... Тишь въ лѣсу такая,
Что ни одинъ листокъ не шелохнется...

Вѣра заблудилась въ лѣсу. Отъ усталости потеряла сознаніе:

...Очнулася я поздно,
Ужъ въ сумерки... Въ какомъ-то я шатрѣ...
Гляжу—коверъ подосланъ подо мною...
Приподняла я голову—подходитъ...
Въ потьмахъ лица не видно, только очи,
Какъ уголья въ жаровнѣ...

Вѣра томится страстью къ неизвѣстному встрѣтившемуся ей въ лѣсу:

Проснулася я ночью на постели:
Щемитъ мнѣ сердце—сладко таково...
Вскочила я, оконко распахнула,
Дышу-дышу всей грудью... А въ саду
Роса дымится и укропомъ пахнетъ...

Онъ является, и Вѣра впускаетъ его въ теремъ.

Первое дѣйствіе оканчивается эффектной сценой возвращенія изъ похода въ кольчугахъ и шлемѣ боярина Шелога. Видя ребенка на рукахъ жены, онъ распаляется гнѣвомъ, но сестра Вѣры,—Надежда беретъ на себя грѣхъ и спасаетъ жертву любострастія.

Шелога:

Неужто я на смертный грѣхъ вернулся?
Жена! А чей пащенокъ этотъ?

Надежда:

Мой.

Второе дѣйствіе открывается прелестной живой картиной.

Садъ. Яблони, груши, кусты смородины, малины, крыжовника. Вдоль сада пробита широкая дорожка. Направо видны боярскія хоромы; налѣво щелистый заборъ въ сосѣдній садъ... Изъ-за деревьевъ виденъ Кремль и часть Пскова. Сумерки. Боярышни и сѣнныя дѣвушки играютъ въ горѣлки.

Старая няня Перфильевна разсказываетъ о политическихъ новостяхъ:

Охъ, матушки, вѣдь царь Иванъ Васильичъ,
На Новгородъ прогнѣваться изволилъ.
Пришелъ со всей опричниною...
...Безъ жалости, безъ милости казнитъ.
Пригналъ оттуда къ князю спѣшный вершникъ:
«Стонъ стономъ, князь, по городу стоитъ;
На Волховѣ, пониже моста съ версту,
Набило тѣлъ—такая-то плотина,
Что полою водою не размоетъ...

Дальнѣйшія сцены полны поэзіи: «Сказка про храбраго витязя Горыню, про лютаго змѣя Тугарина и про царевну Ладу», прерванная молодецкимъ посвистомъ Михайлы Тучи и грустная пѣсенка его:

Раскукуйся ты, кукушечка,
Во темномъ лѣсу, въ дубравушкѣ,
Посчитай ты добру молодцу
Его годы безталанные...

Затѣмъ сцена свиданья:

Михайло Туча.

Княжна, ты не тревожься
И не пугайся. Повелишь—уйду.
Пришелъ сюда въ первой да и въ послѣдній...
Велишь уйти?..
Велишь?..

Ольга.

Не уходи...
Мнѣ страшно... Какъ я ночью въ садъ попала,
Однимъ одна...

Лучшія сцены драмы— вѣче на площади, озаренной кострами, въ мѣсячную ночь:

Соцкій:

Осудари—псковичи!
Присудите—быть сходкѣ, аль не надо?..

Народъ.

Быть сходкѣ, быть! на всей, на псковской волѣ!

Посолъ.

Поклонъ и слово Новгорода: братья
Молодшая, всѣ мужи псковичи!
А братъ де вашъ старшой открасовался
И наказалъ вамъ долго жить...

Вѣче закрывается при пѣніи подъ балалайку революціонной пѣсни, представляющей одну изъ удачныхъ имитацій русской поэзіи:

Осудари — псковичи!
Собирайтесь на дворы!
Зазубрилися мечи,
Притупились топоры...

Грозный является въ Псковъ. Его шествіе по улицамъ и приближеніе превосходно выражено трепетными возгласами зрителей:

Ударили въ Застѣнье!
Скачутъ! скачутъ!
Въ святыхъ воротахъ тронули хоругви!
Что пономарь-то машетъ съ колокольни?
Передовые!..

Самодуръ - Грозный обрисованъ классически однимъ штрихомъ, когда онъ кобенится, занеся ногу у порога боярскаго дома: «Войдти, аль нѣтъ? Инъ — войдти»! По лирической задушевности, поэтической прелести, по реальности воскрешенной жизни стараго города и совершенству формы «Псковитянка» Мея представляетъ одно изъ превосходныхъ созданій нашей исторической драмы.

§ 2. Драматическія хроники Островскаго, при широкомъ, величавомъ письмѣ, вѣрности исторіи, прекрасномъ языкѣ и гармоніи стиха, страдаютъ нѣкоторой холодностью и оффиціальной пышностью монологовъ, какъ хотя-бы этотъ, Дмитрія Самозванца въ тронной залѣ:

Сиротливо
Въ душѣ моей! Расписанные своды
Гнетутъ меня, и непривѣтно смотрятъ,
Не родственно, таинственные лики
Изъ темной позолоты стѣнъ угрюмыхъ...
Мнѣ рада Русь, но ты, холодный камень,
Святымъ письмомъ расписанный, ты гонишь,
Ты трепетомъ мою овѣялъ душу —
Я здѣсь чужой! Сюда безъ страха входятъ
Отшельники святые только, или
Московскіе законные цари...
Гляжу и жду, что съ низенькаго трона
Сухой старикъ, съ орлиными глазами,
Поднимется и взглянетъ грозно... грозно!
И зазвучитъ подъ сводами глухими
Презрительно — насмѣшливая рѣчь:
«Зачѣмъ ты здѣсь? Столѣтними трудами
И бранями потомство Мономаха,

Среди лѣсовъ Сарматіи холодной.
Поставило и утвердило тронъ,
Блистающій нетлѣнными вѣнцами
Святыхъ князей, замученныхъ въ Ордѣ,
Окутанной одеждой херувимской
Святителей и чудотворцевъ русскихъ,—
Гремящій тронъ! Кругомъ его подножья
Толпы князей, склоненныя, трепещутъ
Въ молчаніи... Бродяга безбородый! и т. д.

Эти самоукоренія Самозванца напоминаютъ стиль Кукольника и Полевого. Въ трилогіи Островскаго — «Дмитрій Самозванецъ», «Василій Шуйскій» и «Тушино» — наиболѣе удачна послѣдняя часть. Изображеніе «шатанія» и безвластнаго царя Шуйскаго превосходно. Должно признать болѣе художественнаго достоинства за другими историческими драмами Островскаго — «Воевода или Сонъ на Волгѣ» и особенно «Василиса Мелентьева». Въ послѣдней пьесѣ образы честолюбивой Василисы и кроткой царицы Анны, наконецъ самого Грознаго въ его кровожадномъ, старческомъ сластолюбіи — достойны такого первокласнаго драматурга, каковъ Островскій.

Положительно «новое слово» въ русской драматургіи представляетъ по своей щегольской конструкціи историческая трилогія гр. Алексѣя Толстого. Превосходную оцѣнку этого замѣчательнаго произведенія даетъ Анненковъ.

Драма гр. Толстого отличается полнымъ просторомъ, даннымъ фантазіи, развязностью своихъ пріемовъ и огромной долей изобрѣтенія, положенной въ ея основаніе. Мы имѣемъ здѣсь примѣръ обработки обязательнаго историческаго матеріала свободнымъ художникомъ, который свободою творчества столько-же дорожитъ, сколько и самымъ предметомъ своего изображенія.

Въ дѣлѣ искусства, передающаго историческія данныя, труднѣйшая задача для художника состоитъ именно въ томъ, чтобъ отыскать правильныя отношенія между фантазіей и выбранной имъ исторической темой. Только тогда, когда, въ глубинѣ своего духа художникъ открылъ законы, которыми ограждается, при сліяніи этихъ двухъ разнородныхъ элементовъ, самостоятельность и достоинство каждаго изъ нихъ, когда нашелъ мѣру и, такъ сказать, ритмъ, управляющіе ихъ совмѣстнымъ ходомъ и развитіемъ — только и можетъ явиться стройное произведеніе, одинаково удовлетворяющее достоинству науки и требованіямъ поэзіи.

Грозный представился фантазіи гр. Толстого, какъ человѣкъ, неутомимо занятый повѣркою своей власти, безпрестанной пробой ея силы и положенія, безпокойными, ѣдкими сомнѣніями — не понизилась-ли она и не потерпѣла-ли какого ущерба въ своемъ существѣ. Лицо Ивана IV въ драмѣ достигаетъ трагическаго выраженія и порождаетъ изъ себя и вокругъ себя

много драматическихъ положеній, много сильныхъ и потрясающихъ эффектовъ.

Бориса Годунова Анненковъ называетъ погубленнымъ характеромъ въ драмѣ. Все изображеніе его представляетъ одинъ сплошной наговоръ, совершенно свободно и мѣстами какъ-то добродушно развиваемый фантазіею безъ всякаго подозрѣнія о послѣдствіяхъ своей работы. Когда кончается драма, призракъ, носящій въ ней историческое имя Годунова, разсѣевается, какъ дымъ.

Самая блестящая сторона произведенія гр. Толстого есть сценическая. Не было еще въ русской литературѣ такого ловкаго, мастерского, и вмѣстѣ бойкаго приложенія обычныхъ формъ западной европейской драмы къ русскому міру, его исторіи, преданіямъ и быту. Толстой произвелъ настоящую современную, блестящую сценическую драму изъ матеріаловъ и изъ данныхъ, которыхъ надо было сперва подчинить нѣсколько чуждой имъ формѣ. Это—драма, совсѣмъ готовая для любого европейскаго театра, не смотря на свое чисто-русское содержаніе. Благодаря этому «приспособленію» русскаго историко-бытового матеріала къ формамъ европейской драмы, на нѣкоторыхъ мотивахъ и на нѣкоторыхъ ея эффектахъ лежитъ хотя и легкій, но однакоже не трудно распознаваемый чужевидный оттѣнокъ. Но утерявъ часть своего народнаго облика, они взамѣнъ пріобрѣли потрясающій сценическій характеръ.

Лучшая изъ драмъ гр. Ал. Толстого, это «Царь Ѳедоръ Ивановичъ».

Въ основаніи трагедіи положенъ одинъ полный психическій этюдъ главнаго дѣйствующаго ея лица—психическій очеркъ царя Ѳедора Ивановича, созданный еще съ большей обдуманностью, съ большею широтой кисти и съ большимъ мастерствомъ относительно обстановки портрета, чѣмъ даже великолѣпный очеркъ царя Ивана. Психическая разработка Ивана IV, какъ типа, гораздо легче, чѣмъ всякаго другого, менѣе характернаго. Онъ представляется соединеніемъ множества пороковъ, достигшихъ тѣхъ необычайныхъ размѣровъ, когда они становятся доступны всѣмъ глазамъ. Онъ даже составляетъ кладъ для второстепенныхъ писателей. Неистовыя страсти во всѣхъ видахъ, кровожадные порывы звѣря, пользующагося безграничнымъ просторомъ, дикое самоуслажденіе и коварное лицемѣріе, играющія своими жертвами, всѣ эти черты и другія имъ подобныя принадлежатъ къ разряду грубыхъ психическихъ элементовъ, легко понимаемыхъ и легко передаваемыхъ, именно вслѣдствіе ихъ грубой ясности, простоты и ощутительности. Личность Ивана IV, по богатству своего мрачнаго содержанія, уже не можетъ пострадать ни отъ какого наговора, и нѣтъ на свѣтѣ такого чудовищнаго предположенія, которое не могло-бы найти въ ней надлежащаго мѣста.

Совсѣмъ другое дѣло предстояло съ характеромъ Царя Ѳедора Ивановича. Здѣсь надо было почти цѣликомъ изобрѣсти, такъ сказать, его образъ,

сохраняя изъ преданія одни только внѣшнія очертанія портрета. На скудномъ и далеко не трагическомъ матеріалѣ авторъ создалъ типъ Өедора, замѣчательный по своему внутреннему смыслу. Онъ сдѣлалъ изъ него больного, неспособнаго къ труду и ограниченнаго человѣка, но съ такими сокровищами сердца, съ такимъ обиліемъ любви къ людямъ и съ такою ангельскою простотой воззрѣнія на себя и другихъ, что этотъ немощный правитель часто возвышается до пониманія характеровъ и до рѣшеній, превосходящихъ мудростію все, что около него подаетъ голосъ и совѣтъ. Трагизмъ его положенія заключается въ безсиліи его физической и нравственной природы, при самыхъ благородныхъ инстинктахъ и пожеланьяхъ. Царь Өедоръ второй трагедіи графа Толстого служитъ какъ бы оправданіемъ своего грознаго отца, непощаженнаго авторомъ въ первой его драмѣ. Злобный міръ, въ которомъ Өедору пришлось жить и дѣйствовать, видимо нуждается въ желѣзной рукѣ для своего успокоенія и для того, чтобы не дать ему расползтись врозь.

Иванъ IV и Өедоръ столь-же свободныя созданія, какъ, напримѣръ, король Лиръ или Гамлетъ.

Сосредоточивая всѣ усилія на обрисовкѣ одного или двухъ характеровъ, поэтъ словно освобождаетъ себя отъ обязанности заниматься долго всѣмъ остальнымъ міромъ, окружающимъ его героевъ. Для него міръ этотъ, видимо, составляетъ только орудіе, съ помощію котораго онъ извлекаетъ на свѣтъ всѣ нужныя ему черты и подробности у господствующихъ типовъ; другого и самостоятельнаго значенія онъ ему не даетъ. Правда, весь этотъ многолюдный міръ изображенъ весьма прилично: бояре говорятъ согласно съ тѣмъ, что говорится о нихъ въ лѣтописяхъ; не менѣе правильно и прилично своему званію выражается и дѣйствуетъ гусляръ, воинъ, монахъ, купецъ, мужикъ (множество мужиковъ поступаютъ рѣшительно такъ, какъ отъ нихъ ожидать слѣдуетъ), и со всѣмъ тѣмъ, въ общемъ строѣ произведенія, они составляютъ несчастную, обдѣленную и безличную толпу, осужденную быть грунтомъ картины, на которомъ выведены одна или двѣ главныя фигуры. Вся энергія творчества, а съ ней и отгадка психическихъ тайнъ, безъ остатка истощается у графа Толстого на немногія передовыя личности. Міръ олицетворенныхъ сословныхъ рубрикъ и наименованій ни на что не способенъ кромѣ поддакиванія общеизвѣстному историческому факту, излагаемому въ трагедіи. Онъ ничего не можетъ произвести самостоятельнаго, или такого, чего-бы вы не ожидали. Онъ дисциплинированъ въ высшей степени. Конечно, вся эта выправка составляетъ неоцѣненное качество въ лицахъ, обязанныхъ составлять живописныя группы около героевъ, или употребляемыхъ на то, чтобы различными и довольно хитрыми способами выманивать у тѣхъ-же героевъ тайны ихъ характеровъ, проблески ихъ нравственной природы и затѣмъ, покончивъ эту работу, свершать

надъ ними извѣстную кару, по предписанію исторіи, — но зрѣлище выправки иногда кончается досадой на податливость людей, отличающихся ею.

Основная мысль трагедіи графа Толстого несомнѣнно заключается въ борьбѣ за власть или, что все равно, за обладаніе царемъ Ѳедоромъ двухъ политическихъ системъ, представителями которыхъ служатъ, съ одной стороны, употребляя новѣйшіе термины, благородный консерваторъ князь Шуйскій, а съ другой смѣлый, честолюбивый и умный реформаторъ Борисъ Годуновъ.

Такъ какъ оба представителя противоположныхъ направленій, и Шуйскій и Годуновъ, написаны въ одной манерѣ, то они и становятся похожи другъ на друга, какъ братья. Они говорятъ различное, дѣйствуютъ въ противуположномъ смыслѣ, но общность ихъ происхожденія изъ поэтической работы, чуждающейся реальной стороны предметовъ и образовъ, роднитъ ихъ между собою до поразительнаго сходства.

«Погубленный», по мнѣнію Анненкова, въ двухъ первыхъ частяхъ трилогіи, характеръ Бориса, не воскресаетъ и въ третьей, которую должно признать слабѣйшей, по холодности, наготѣ скелета, преднамѣренности сценъ и наконецъ явной тенденціи провести любимыя мысли автора.

Здѣсь умѣстно сказать нѣсколько словъ о драматической поэмѣ гр. Ал. Толстого «Донъ-Жуанъ». Это замѣчательная попытка представить характеръ Жуана совсѣмъ съ особой стороны, но только попытка, въ высшей степени «нѣмецкая», холодная и совершенно испорченная филистерскимъ, елейнымъ концомъ покаянія Жуана предъ святой Инквизиціей.

Замыселъ произведенія выясняется изъ этихъ, достойныхъ курса метафизики, словъ Сатаны въ «Прологѣ»:

Любую женщину возьмемъ какъ данный пунктъ:
Коль къ верху продолжимъ ея мы очертанье,
То наша линія, какъ я уже сказалъ,
Прямехонько въ ея упрется идеалъ,
Въ тотъ чистый прототипъ, въ тотъ образъ совершенный,
Для каждой личности зàране припасенный.
Я этотъ прототипъ, незримый никому,
Изъ дружбы покажу любимцу моему.
Пусть въ каждомъ личикѣ, хоть нѣсколько годящемъ,
Какое бы себѣ онъ ни избралъ,
Онъ вмѣсто копіи все зритъ оригиналъ.
Послѣдній выводъ нашъ въ порядкѣ восходящемъ.
Когда-жь захочетъ онъ, моимъ огнемъ палимъ,
Въ объятіяхъ любви найти себѣ блаженства,
Исчезнетъ для него видѣнье совершенства,
И женщина, какъ есть, появится предъ нимъ.
И пусть онъ бѣсится. Пусть ловитъ съ вѣчной жаждой
Все новый идеалъ въ объятіяхъ дѣвы каждой!

Такъ съ волей пламенной, съ упорствомъ на челѣ,
Съ отчаяньемъ въ груди, со страстію во взорѣ,
Небесное Жуанъ пусть ищетъ на землѣ
И въ каждомъ торжествѣ себѣ готовитъ горе!

БИБЛІОГРАФІЯ: Историческія драмы Островскаго: «Воевода». Писаревъ. Прогулка по садамъ россійской словесности. Соч. т. IV. Изд. 94 г.—Статьи въ «Днѣ» 1865 г. № 10. 11 и 32 и въ Спб. Вѣд. 1865 г. № 107 и 109 (Анненкова).—«Козьма Захарьичъ Мининъ». П. Анненкова. О Мининѣ г. О—го и его критикахъ. Русск. Вѣстн. 1862 г. № 9. 397 — 413. — Статьи Скабичевскаго въ Отеч. Запискахъ. 1873 г. № 5 (24—43): 1875 г. № 1 (1—37) и № 2 (199—248). — «Дмитрій Самозванецъ и Василій Шуйскій». Статьи въ Голосѣ 1867 [г. № 89) (Костомарова), въ Гражданинѣ 1872. № 8 (273—274), въ «Складчинѣ», 1874 (431 — 453). — «Василиса Мелентьева». Статья Плещеева въ «Антрактѣ» 1868 г. № 2, Од. Вѣстн. 1868. № 118 и 120, Кіевл. 68. № 75, Биржю Вѣд. 68 г. № 15, Спб. Вѣд. 1858. № 13, Отеч. Зап. 1868 г. № 1. (130—134), Русск. Вѣд. 1876 г. № 260.

§ 3. Къ числу выдающихся драматурговъ должно причислить, выступившаго въ разсматриваемое десятилѣтіе, Аверкіева. Въ самомъ дѣлѣ при всѣхъ недостаткахъ его драмъ, нельзя не признать выдающагося по добросовѣстности изученія эпохи, языка, серьезности задачъ и наконецъ, извѣстной глубины его многочисленныхъ трагедій и драмъ. Недостатки Аверкіева—блѣдноватость стиха и растянутость, многословіе, водянистость діалога и монолога, затѣмъ съ одной стороны грубый реализмъ, усугубляемый грубостью самой эпохи, какъ въ «Слободѣ Неволѣ», а съ другой—педантизмъ и напыщенность. Тѣмъ не менѣе въ исторіи русской драматургіи XIX столѣтія имя Дмитрія Васильевича Аверкіева не потонетъ. Родился онъ 30-го сентября 1836 г. въ Екатеринодарѣ, въ купеческой семьѣ. Въ 1854 г. кончилъ курсъ комерческаго училища, и поступивъ въ университетъ по естественному факультету, получилъ степень кандидата въ 1859 г. Въ печати онъ появился впервые въ 1860 г. въ качествѣ фельетониста и театральнаго рецензента въ «Русскомъ Инвалидѣ» и «Сѣверной Пчелѣ». Его первая драма—«Мамаево Побоище»,—появилась въ «Эпохѣ» 1864 г. Затѣмъ въ 1867 и 1868 гг. «Слобода Неволя», «Бывальщина въ пяти дѣйствіяхъ, въ стихахъ», «Комедія о Россійскомъ дворянинѣ Фролѣ Скобѣевѣ и стольничей, Нардынъ-Нащекина, дочери Аннушкѣ» въ 5-ти дѣйствіяхъ. Наибольшій успѣхъ имѣла драма «Каширская старина», поставленная въ 1872 г. на московской и петербургской сценахъ, дающаяся и до сихъ поръ на частныхъ театрахъ.

Остальныя произведенія Аверкіева: «Темный и Шемяка» (1872), «Ульяна Вяземская» (1888), «Разрушенная невѣста» (1875), «Франческа Риминійская» (1876), «Царевичъ Алексѣй» (1877) «Непогрѣшимые» (1878),

«Смерть Мессалины» (1878). «Сидоркино Дѣло» (1879). «Трагическій Воевода» (1881). «Столичный слетокъ» (1884). «Теофано» (1888).

Въ вышеупомянутомъ «Собраніи матеріаловъ о направленіи различныхъ областей русской словесности» мы находимъ интересную характеристику драматургіи шестидесятыхъ годовъ. «Секретный» эстетикъ, обозрѣвая прошлое русской драмы, не можетъ не признать въ ней «на протяженіи цѣлаго столѣтія, непрерывнаго теченія одной и той же струи, неизмѣннаго преслѣдованія одной и той же задачи». Фонъ-Визинъ, Капнистъ, Грибоѣдовъ, Гоголь выражаютъ «всѣмъ имъ общую идею протеста противъ печальной дѣйствительности русской жизни». Но это особый протестъ, «непосредственный», и потому дозволительный (исторія «Ревизора» забыта!). Съ началомъ нынѣшняго царствованія (т. е. Александра II), сценическая литература наша вступаетъ въ новый фазисъ.

«Въ противоположность тому «непосредственному протесту», который, какъ мы замѣтили, составлялъ до этихъ поръ отличительный характеръ созданій нашихъ народныхъ драматическихъ дѣятелей, являются пьесы по преимуществу тенденціозныя, разумѣя подъ этимъ словомъ извѣстную опредѣленную идею, проводимую авторомъ въ пьесѣ и клонящуюся къ извѣстной цѣли».

«Въ тенденціозномъ направленіи нашего театра нельзя не видѣть отраженія той возбужденной дѣятельности общественной мысли, которая начинается у насъ съ эпохи крымской войны. Оно идетъ параллельно съ поступательнымъ движеніемъ нашей литературы и принимаетъ тотъ или другой оттѣнокъ, смотря потому, въ какую сторону направлены флюгери нашей (по преимуществу Петербургской) журналистики, которой, по большей части, современная русская сцена служитъ рабскимъ эхомъ».

Тутъ указываются первыя обличительныя пьесы, бичевавшія взяточничество: «Чиновникъ», гр. Соллогуба, «Свѣтъ не безъ добрыхъ людей» Львова, и наконецъ, «Мишура» Потѣхина. Авторъ записки забылъ «обличительный» хоръ изъ «Ябеды» Капниста:

Бери, большой въ томъ нѣтъ науки,
Бери, что только можешь взять!
На что-жъ привѣшены намъ руки,
Какъ не на то, чтобъ брать, брать, брать!..

«По мѣрѣ того, какъ журналистика, при постепенно возрастающемъ у насъ вліяніи ея и значеніи, вызываетъ къ обсужденію все болѣе и болѣе насущныхъ общественныхъ вопросовъ, и сообразно тому, какъ само общество все пытливѣе и тревожнѣе относится къ разностороннимъ явленіямъ русской жизни, русскій театръ устремляется въ ту же сторону, заявляетъ тѣ же притязанія на разрѣшеніе вопросовъ жизни. Представляясь же по

формѣ подражаніемъ театру, созданному у насъ Островскимъ, тенденціозный репертуаръ послѣдняго времени изобличаетъ, по духу въ немъ господствующему, близкое родство съ тѣми соціальными теоріями, которымъ въ прессѣ нашей служатъ главнѣйшими представителями журналы: «Современникъ» и «Русское Слово». Отраженіе идей, распространяемыхъ, впродолженіи многихъ лѣтъ, соціально-демократической литературой, замѣтно тѣмъ болѣе въ современныхъ произведеніяхъ нашего театра, что за исключеніемъ Островскаго, онъ не имѣетъ вовсе самобытныхъ и талантливыхъ писателей».

«Взаимныя отношенія между сословіями тенденціозные драматурги наши почитаютъ необходимымъ изображать крайне враждебными... Въ минувшемъ крѣпостномъ правѣ, или вѣрнѣе, въ его злоупотребленіяхъ (sic! какъ будто все крѣпостное право насквозь не было злоупотребленіемъ!), театральные борзописцы наши находятъ удобный предлогъ для изображенія высшаго сословія вполнѣ заслуживающимъ эти чувства злобы и омерзенія... Нѣтъ разумѣется и рѣчи о художественномъ безпристрастіи, о трезвости красокъ, о правдоподобности изображаемыхъ характеровъ и столкновеній ихъ между собою... Наша современная драматическая литература, почти безъ исключенія, носитъ на себѣ характеръ направленія положительно враждебнаго существующему общественному порядку и проводитъ путемъ сцены ученія самаго радикально-демократическаго свойства».

Въ доказательство приведены пьесы: «Гувернеръ» Виктора Антоновича Дьяченки и «Противъ теченія» Виктора Александрова (Крылова):

§ 4. Пьесы на данный случай, дѣйствительно, преобладаютъ въ репертуарѣ шестидесятыхъ годовъ.

Въ сезонъ 1860—1861 гг. появляется два раза Островскій: «Старый другъ лучше новыхъ двухъ» и «Свои люди—сочтемся», первая, знаменитая комедія великаго драматурга, десять лѣтъ остававшаяся подъ запрещеніемъ. Кромѣ того видимъ на сценѣ комедію Николая Потѣхина: «Быль молодцу не укоръ».

Въ сезонъ 1861—1862 года поставлены были двѣ тенденціозныя пьесы: комедія Чернышева «Испорченная жизнь». Основа ея—женскій вопросъ. Затѣмъ въ виду наступившихъ судебныхъ реформъ, Дьяченко далъ комедію: «Жертва за жертву». Въ слѣдующемъ году онъ-же поставилъ пьесу «Не первый и не послѣдній». Дьяченко былъ любимый драматургъ 60-хъ годовъ, лишенный истиннаго дарованія, но ловкій «театральныхъ дѣлъ мастеръ». Онъ примѣнялъ идейку къ публикѣ, роли къ актерамъ, сюжетъ къ сценѣ и былъ поставщикомъ и закройщикомъ ходовыхъ пьесъ. Въ томъ-же году появилась «Мишура» Алексѣя Потѣхина. Къ числу тенденціозныхъ пьесъ нужно отнести переводъ съ нѣмецкаго, невѣдомаго драматурга: «Было

да прошло» (1864 г.). Въ первый разъ со сцены говорилось о 19-мъ февраля и даже читали указъ объ освобожденіи. Островскій то-же написалъ пьесу въ обличительной манерѣ, знаменитую комедію «Доходное мѣсто», затѣмъ «Воспитанницу». Въ 1864 г. появилась и «Горькая судьбина» Писемскаго. «Гувернеръ» Дьяченки, созданіе В. В. Самойлова, и первый опытъ В. А. Александрова (Крылова), драма въ дьяченковскомъ стилѣ «Противъ теченія», гдѣ изображалась злая участь крѣпостного музыканта, явились въ сезонъ 1864—1865 г. Тогда-же выступили Чаевъ («Свѣтъ Ѳадѣичъ») и Лейкинъ («Рукобитіе»).

Комедія Алексѣя Потѣхина «Хоть шуба овечья, а душа человѣчья», выдержала съ 12-го ноября 1865 г. по 5-е февр. 1866 г., семнадцать представленій. Здѣсь являлся мужикъ Зосима, дочь котораго — гувернантка въ помѣщичьемъ домѣ. Зосима страдаетъ, ибо невинности его дочери отъ помѣщичьяго любострастія постоянно грозитъ величайшая опасность. Другая комедія Потѣхина «Отрѣзанный ломоть», въ которой отецъ — ретроградъ противупоставленъ юношѣ — либералу, была запрещена послѣ четырнадцатаго представленія. Одновременно явилась оригинальная «разбойничья» пьеса Островскаго «На бойкомъ мѣстѣ» и рядъ историческихъ драмъ: «Дмитрій Самозванецъ», Чаева, «Воевода» Островскаго, «Богданъ Хмѣльницкій» А. Соколова и «Мамаево побоище» Дм. Аверкіева. Вмѣстѣ съ тѣмъ стали разрабатывать совсѣмъ новую область — жизнь столичнаго пролетаріата, конечно подъ вліяніемъ громкаго успѣха романа Вс. Крестовскаго «Петербургскія трущобы». Таковы пьесы: Лейкина, «Не судьба»; Трофимова, «На пескахъ» и «Честная компанія»; Щиглова, «Помолвка въ Галерной гавани».

Въ сезонъ 1866—1867 гг. былъ поставленъ еще рядъ историческихъ драмъ: «Смерть Ивана Грознаго» гр. Ал. Толстого»; «Мазепа», А. Соколова; «Мининъ», Островскаго; «Князь Серебряный», Доброва. Затѣмъ «Самоуправецъ» Писемскаго и «Свекровь» Чаева. Модный вопросъ о «гражданскомъ бракѣ» отразился и на сценѣ. Пьеса Чернявскаго «Гражданскій бракъ», была одобрена, объявлена, потомъ ее задержали и отложили, затѣмъ запрещеніе сняли, дали съ успѣхомъ и навсегда позабыли.

Маленькія бытовыя пьески привились къ сценѣ (Трофимовъ: «Первый чинъ», «Смотрины», «Горемыки»; Лейкина: «Ряженые»; въ 1868 году «Гласная касса ссудъ» А. Соколова).

Въ 1868 году появились историческія драмы Островскаго: «Василиса Мелентьева» и «Тушино», Лажечникова «Опричникъ»; въ 1869 г.: «Фролъ Скобѣевъ» Аверкіева. Одновременно шли бытовыя и тенденціозныя комедіи «Виноватая» (обличеніе семейнаго деспотизма) и «Бракъ по страсти» Алексѣя Потѣхина; «Мѣщанская семья», Авдѣева; «Матери соперницы», Лажечникова; «Пробный камень» Дьяченки — передѣлка «Mlle de la Seiglière», Жюля Сандò; «На всякаго мудреца довольно простоты» и «Горячее сердце».

Островскаго. Явились пьесы, обличавшія уже либеральное теченіе: «Говоруны» Манна и «Расточитель» Лѣскова—Стебницкаго.

Въ 1868—1870 гг. на сцену проникло совершенно особое теченіе—увеселительное и довольно разухабистое. Началось съ удачной передѣлки французскаго водевиля Мих. Павл. Федоровымъ: «Всѣ мы жаждемъ любви». А главное, на александринской сценѣ появилась русская оперетка съ Лядовой въ роли «Прекрасной Елены», которую соблазнили лавры Деверіи на Михайловскомъ. Оперетка соперничала съ мелодрамой и легкой комедіей; вновь поставлены были: «Фаустъ на изнанку» (le Petit Faust), «Птички пѣвчія» (Péricole). Благодаря Лядовой и Монахову публика ломилась въ «александринку». «Купцы—самодуры, спившіеся съ круга купеческіе сынки, студенты развиватели, эманципированныя барышни видимо надоѣли публикѣ; начала ощущаться потребность чего-нибудь новаго—менѣе тенденціознаго. Вотъ почему съ такимъ восторгомъ встрѣтили даже и мелодраму «Хижина дяди Тома», переведенную Мих. Федоровымъ... В. Александровъ—Крыловъ, въ виду новыхъ требованій, принялся передѣлывать на русскіе нравы легкія и веселыя комедіи, не возбуждающія желчи и не мѣшающія пищеваренію. Первый опытъ въ такомъ родѣ: «Къ мировому», очень понравился»[178]).

Такимъ образомъ самъ собой театръ возвращался къ области «чистаго искусства».

БИБЛІОГРАФІЯ: Д. В. Аверкіевъ. Драмы. Спб. 1887 — 1876 3 т.—Повѣсти изъ стариннаго быта. 2 т. Спб. 1898 г. (Хмѣлевая ночь, Лихо и Вѣчу не быть). — Повѣсти изъ современнаго быта. 3 т. Спб. 1898 г. — Біографія. Словарь Венгерова. Т. І-й. Стр. 66 — 75. — В. А. Дьяченко. Драматическія сочиненія. 5 т. Изд. 2-е. Казань. 1892 — 1893. Перечень его сценическихъ издѣлій: Жертва за жертву, Институтка, Не первый и не послѣдній, Неровня. (1861—1863); Гувернеръ, Нынѣшняя любовь, Свѣтскія ширмы, Семейные пороги (1864 — 1867): Петербургскіе коршуны, Современная барышня, Пробный камень, Прямая душа (1868—1869). Новое время и старые нравы, Блестящая партія, Новые суды, Практическій господинъ (1870—1872): Скрытое преступленіе, Закинутыя тенета. Подвигъ гражданки, Гимназистка (1862—1875). — Николай А. Потѣхинъ: Безталанный. Повѣсть. Русск. Сл. 1859 г. № 2.—Дока на доку нашелъ. Ком. Отеч. Зап. 1860 г. т. 133—Кто лучше. Ком. въ 4 д. Отеч. Зап. 1860 г. № 12.—Быль молодцу не укоръ. Ком. Отеч. Зап. 1861 г. № 7. — Доля горе. Драма изъ простонароднаго быта. Отеч. Зап. 1863 г. № 6. — Родительская суббота. Оч. Русск. Слово. 1863. № 5. — Наши безобразники. Сцены Спб. 1864 г. — Уѣздное дитя. Эпоха. 1865. № 1.—Врачъ специалистъ. Комедія. Эпоха. 1865. № 2.—Нѣмецкій хвостъ. Картины нравовъ. Дѣло. 1870 г. № 12—Злоба дня. Комедія. Дѣло. 1875 г. № 1.—Мертвая петля. Драма. Дѣло. 1876. № 1. — Нищіе духомъ. Драма. Спб. 1879 г. и въ «Огонькѣ». — Біографія въ Словарѣ Брокгаузъ—Ефронъ. Т. XXIV.

[178]) Вольфъ. Хроника. Спб. 1884. Стр. 41.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Семидесятые годы.

(1860—1870).

I. Литературный modus vivendi. — «Уставъ вольнаго Союза Пѣнкоснимателей».—«Эклектики».—Дифференціація журналистики по лагерямъ.—Внѣшняя политика Россіи. — Культъ Пруссіи.— Бисмаркъ канцлеръ.— Прусскій король Георгіевскій кавалеръ 1-й степени. —Франко-прусская война.—Русско-турецкая война. — Желѣзнодорожная вакханалія.—Внутренняя политика Россіи. — Театръ «Буффъ» и дѣвица Шнейдеръ. — Придворные на представленіи «Герцогини Герольштейнской». — Дѣло Нечаева. —Хожденіе «въ народъ».—Классическая реформа гр. Дм. Толстого.—Циркуляръ 24-го мая 1875 г. о революціонной пропагандѣ. — «Вѣстникъ Европы» редакціи М. М. Стасюлевича. — Тургеневъ въ Баденъ-Баденѣ. — Отношенія Тургенева къ французскимъ писателямъ.—Тургеневъ и Флоберъ.—Тургеневъ и Зола.—Тургеневъ и Жоржъ-Зандъ. — Тургеневъ и Гюи-де-Мопассанъ. — Тургеневъ и «русское дѣло» на западѣ. — «Отечественныя Записки».—Николай Константиновичъ Михайловскій. — Борьба съ Дарвиномъ, Спенсеромъ и О. Контомъ. — «Дарвинизмъ и оперетки Оффенбаха».— «Разночинецъ» и «кающійся дворянинъ». - Отреченіе Н. К. Михайловскаго отъ нигилистическихъ «краткихъ формулъ». — Сатира Щедрина.—Александръ Николаевичъ Энгельгардтъ.—«Письма изъ деревни».— «Идите на землю, къ мужику!» — «Русскій Вѣстникъ» и «Дѣло».—«Гражданинъ» и кн. Вл. Мещерскій. -Эпизодъ съ «точкою». -Крахъ «Петербургскихъ Вѣдомостей» въ 1874 году. - Контора Баймакова, гр. Саліасъ и Болеславъ Маркевичъ. — Иванъ Сергѣевичъ Аксаковъ и славянская независимость. — Рѣчи въ Славянскомъ Комитетѣ. -Міросозерцаніе Достоевскаго.— «Дневникъ Писателя» 1873, 1876 и 1877 гг.—Философія Левина.—«Исповѣдь» гр. Л. Н. Толстого.—«Бога помнить надо, для души жить!».— II. Романы семидесятыхъ годовъ. — «Анна Каренина». — Левинъ и Вронскій — «Новь». -Неждановъ и Соломинъ.—Павелъ Ивановичъ Мельниковъ.—«Въ лѣсахъ». —«На горахъ».—Александръ Ѳомичъ Погосскій». — «Сибирлетка». — «Штуцерникъ Нечипоръ Зачинщи — вороты и его потомство». —Творчество Достоевскаго — «Бѣсы». — «Вѣчный мужъ».—«Подростокъ».—Романъ Кущевскаго «Николай Не-

горевъ или благополучный россіянинъ».—Александръ Степановичъ Аѳанасьевъ-Чужбинскій.- Александръ Ивановичъ Левитовъ.- Павелъ Владиміровичъ Засодимскій (Вологдинъ). -«Хроника села Смурина».—Реалистическая теорія Эмиля Зола.—«Протоколы» и «человѣческіе документы»—Петръ Дмитріевичъ Боборыкинъ. — Софья Ивановна Смирнова. — Николай Петровичъ Вагнеръ (Котъ-Мурлыка»). III. Поэты семидесятыхъ годовъ. — Поэмы Майкова. — «Бальдуръ».— «Пульчинелль». -«Княжна»—«Емшанъ».—«Панъ».—Поэма Полонскаго «Мими».—Лирика Полонскаго- — Лирика Фета.— Поэмы гр. Ал. К. Толстого «Драконъ» и «Портретъ».—Болѣзнь и кончина Н. А. Некрасова.— «Русскія женщины».—«Кому на Руси жить хорошо?» — Иванъ Захаровичъ Суриковъ.—«Пѣсни жизни» Омулевскаго.—IV. «Два міра», лирическая драма А. Н. Майкова.—«Посадникъ» гр. Ал. К. Толстого. — «Снѣгурочка», Островскаго.—«Старый баринъ». Пальма. — Репертуаръ семидесятыхъ годовъ.

I.

§ 1. Эпоха подготовленія, осуществленія и завершенія реформъ обнимаетъ двадцатилѣтіе съ 1855 по 1875 годъ. Начинаясь концомъ пятидесятыхъ годовъ, продолжаясь всѣ шестидесятые годы, эпоха великихъ реформъ кончается къ половинѣ семидесятыхъ, растянувшись, такимъ образомъ, на три десятилѣтія.

Законъ 6-го апрѣля 1865 года, снявшій предварительную цензуру съ книгъ, объемомъ свыше 10-ти печатныхъ листовъ (для переводовъ 20) и съ періодическихъ изданій, дѣлитъ всю эпоху на два десятилѣтніе періода: съ 1855 по 1865 и съ 1865 по 1875. Въ каждомъ изъ нихъ наблюдается по двѣ реакціи въ гармоничные годы: 1858 и 1862 въ первой половинѣ, 1868 и 1872 во второй. Причиной первыхъ двухъ реакцій, завершившихся арестами Михайлова и Чернышевскаго, былъ приступъ къ освобожденію 1857 и самое освобожденіе 1861 года, озлобившія могучую партію крѣпостниковъ, срывавшихъ зло на беззащитной литературѣ, а потомъ разразившееся польское «повстанье».

Реакціи 1868 и 1872 г. обусловливаются явленіями подпольнаго характера, выстрѣломъ Каракозова 1866 г., дѣломъ Нечаева 1869 — 1871.

Польское повстанье 1863 1864 г., бросило тѣнь на всю остальную часть эпохи реформъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, съ одной стороны пробудивъ патріотизмъ въ русскомъ обществѣ, съ другой—вызвавъ нижнее темное теченіе 60-хъ годовъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ характеръ эпохи опредѣляется двумя явленіями— волной семинаристовъ и разночинцевъ, хлынувшихъ въ помѣщичье, дворянское общество, съ особыми вкусами, взглядами, воспитаніемъ и цензурнымъ терроромъ министра Валуева въ періодъ съ 1863 по 1868 г.

Цензурный терроръ нарушилъ равновѣсіе въ обществѣ и правящихъ сферахъ. И тамъ, и тамъ взяли перевѣсъ крайніе элементы, а все умѣрен-

ное, благоразумное, просвѣщенно-уравновѣшенное, тѣ именно люди, которые въ первый періодъ съ 1855 по 1863 стояли во главѣ общества, потеряли кредитъ и отошли въ сторону.

Люди сороковыхъ годовъ утратили свое значеніе, вмѣстѣ съ художественной школой писателей. Поднялось гоненіе на искусство, на Пушкина. Одичаніе вкуса и мысли широко распространилось въ обществѣ.

Однако, къ 1870 году мало-по-малу это равновѣсіе опять было найдено; нижнее, темное теченіе 60-хъ годовъ однако не исчезло, а ушло въ «подполье» и выразилось въ 70-хъ годахъ рядомъ, все обострявшихся, преступныхъ актовъ, разрѣшившихся ужасающимъ злодѣяніемъ 1-го марта 1881 года.

Въ литературѣ, тѣмъ не менѣе, къ началу семидесятыхъ годовъ создался modus vivendi. Правда, не безъ ущерба для ея содержательности, цѣной такихъ уступокъ цензурѣ, которыя заставили Щедрина въ его «Дневникѣ Провинціала въ Петербургѣ» (1872—1873 гг.) изобразить русскую литературу въ видѣ «Вольнаго Союза Пѣнкоснимателей»...

«Уставъ» этого союза гласилъ: «За отсутствіемъ настоящаго дѣла и въ видахъ безобиднаго препровожденія времени, учреждается учено-литературное общество подъ названіемъ «Вольнаго Союза Пѣнкоснимателей». Объясненіе. Въ журналѣ «Вѣстникъ Пѣнкоснимапія», въ статьѣ «Вольный Союзъ Пѣнкоснимателей передъ судомъ общественной совѣсти» сказано: «Въ сихъ печальныхъ обстоятельствахъ, какой исходъ предстоялъ для русской литературы?

По нашему посильному пониманію такихъ исходовъ было два: во-первыхъ, принять добровольную смерть и, во-вторыхъ, развиться въ Вольный Союзъ Пѣнкоснимателей. Она предпочла послѣднее рѣшеніе».

Союзъ сей — вольный по преимуществу. Каждому предоставляется снимать пѣнки съ чего угодно и какъ угодно; эта уступка дѣлается тѣмъ охотнѣе, что въ подобномъ занятіи никакихъ твердыхъ правилъ установить невозможно. Въ члены Союза Пѣнкоснимателей имѣетъ право вступить всякій, кто можетъ безобиднымъ образомъ излагать смутность испытываемыхъ имъ ощущеній. Ни познаній, ни тѣмъ менѣе такъ называемыхъ идей не требуется. Но ежели бы кто, видя, какъ извозчикъ истязуетъ лошадь, почелъ бы за нужное, рядомъ фактовъ, взятыхъ изъ древности или изъ исторіи развитія современныхъ государствъ, доказать вредъ такого обычая, то сіе не токмо не возбраняется, но именно и составляетъ тотъ высшій видъ пѣнкоснимательства, который въ современной литературѣ извѣстенъ подъ именемъ «науки».

Чувство, одушевляющее пѣнкоснимателя, есть чувство наивной непосредственности.

Пора, наконецъ, убѣдиться, что наше время—не время широкихъ задачъ.

Отмѣтчики и хорошіе репортеры, то-есть, всѣ тѣ, кои наблюдаютъ, дабы полуда на посудѣ въ трактирныхъ заведеніяхъ всегда находилась въ исправности, могутъ вступать въ Союзъ даже въ томъ случаѣ, если не имѣютъ вполнѣ твердыхъ познаній въ грамматикѣ.

Разсѣянные по лицу земли, лишенные организаціи, не связанные ни идеалами, ни ясными взглядами на современность,—да послужатъ россійскіе пѣнкосниматели на славномъ поприщѣ россійской литературы, которая издревле всѣмъ безъ пороху палящимъ пріютъ давала!

Всякая отрасль человѣческой дѣятельности требуетъ и спеціальной подготовки, и спеціальныхъ пріемовъ. Сапожникъ обязуется шить непремѣнно сапоги, а не подобіе сапоговъ, и, чтобы достигнуть этого, непремѣнно, долженъ знать, какъ взять въ руки шило и дратву. Напротивъ того, публицистъ очень свободно можетъ написать не передовую статью, а лишь подобіе оной, и нимало не потеряетъ своей репутаціи.

Каковы обязанности членовъ Союза Пѣнкоснимателей?

Обязанности сіи суть:

Первое. Не пропускать ни одного современнаго вопроса, обо всемъ разсуждая съ такимъ разсчетомъ, чтобы никогда ничего изъ сего не выходило.

Второе. По наружности имѣть видъ откровенный и даже смѣлый, внутренно же трепетать.

Третье. Усиливать откровенность и смѣлость по мѣрѣ того, какъ предметъ, о которомъ заведена рѣчь, представляетъ меньшую опасность для вольнаго обсужденія. Такъ, напримѣръ, по вопросу о неношеніи нѣкоторыми городовыми на виду бляхъ надлежитъ дѣйствовать съ такою настоятельностью, какъ бы имѣлось въ виду получить за сіе третье предостереженіе.

Девятое. Опасаться вообще[179]).

Уставу «Пѣнкоснимаиія», по Щедрину, подчиняются всѣ органы семидесятыхъ годовъ: и журналъ «Вѣстникъ пѣнкоснимаиія», и газета «Старѣйшая Всероссійская пѣнкоснимательница», и «Зеркало пѣнкоснимателя», и «Истинный Россійскій Пѣнкосниматель», и «Обыватель пѣнкоснимающій» и журналъ «Пѣнкоснимательная подоплека», и газета «Пѣнкосниматель на—распашку»...

Щедринъ не говоритъ, конечно, подчинялись-ли этому уставу «Отеч. Записки».

---

[179]) Полное собр. соч. М. Е. Салтыкова. Томъ восьмой. Изд. 3-е. Стр. 135, 136, 137, 138, 139, 140, 143.

БИБЛІОГРАФІЯ: Евг. Соловьевъ (Андреевичъ). Семидесятые годы. Жизнь. 1899 г. № 1—11 и въ его «Очеркахъ исторіи русской литературы XIX вѣка». Освѣщеніе эпохи одностороннее съ «марксистской» точки зрѣнія, но талантливое. — П. Д. Шестаковъ. Графъ Дм. Андр. Толстой, какъ министръ народнаго просвѣщенія. 1866—1880. Рус. Ст. 1891 г. № 2—4.—О классической реформѣ смотри у Каткова въ собраніи передовыхъ статей и въ «Вѣстн. Европы» семидесятыхъ годовъ. — А. Д. Градовскій. Трудное время (1876—1880). Спб. 1880 г. — К. Д. Кавелинъ. Нашъ умственный строй. Недѣля. 1875 г. Политическіе призраки. Берлинъ. 1878 г. -Миртовъ (П. Лавровъ). Историческія письма. 1870 г. и Опытъ исторіи мысли. Спб. 1874 г. Воспоминанія кн. Вл. Мещерскаго (издателя «Гражданина»). Книга которой надо умѣть воспользоваться. Много фактовъ и нѣкоторыя стороны эпохи освѣщены безпристрастно и даже либерально.—Юзовъ (Каблицъ). Основы народничества. Соціологическіе очерки. Т. I. Спб. 1888 г. Изд. 2-е. Т. II. 1893 г. Изд. 2-е.—А. Н. Пыпинъ. Исторія русской этнографіи. Т. II. Гл. XII-я. О народничествѣ». — Ткачевъ. Мужикъ въ салонахъ современной беллетристики. Дѣло. 1879 г. № 3. 6. 7. 8 и 9.—О политическихъ процессахъ семидесятыхъ годовъ: О. З. 1871. № 9. (Нечаевское). Вѣстн. Евр. 1871 г. № 1: Дѣло. 1882 г. № 3. — Дурные литературные нравы въ либеральной печати. Недѣля. 1872 г. № 3. (Полемика «Нов. Вр.», «Голоса», «Спб. Вѣд.»).

§ 2. Интересную характеристику журналистики семидесятыхъ годовъ находимъ въ книгѣ Семена Венгерова, тогда молодого, начинающаго критика. «Пѣнкоснимание» онъ пристойно называетъ «эклектизмомъ».

«Ничуть не отказываясь отъ реальнаго направленія шестидесятыхъ годовъ, мы начинаемъ мириться съ идеальнымъ сороковыхъ и вотъ результатомъ этой амальгамы, этого нѣсколько страннаго комбинированія и являются семидесятые годы. Люди семидесятыхъ годовъ эклектики... Семидесятые годы реально-идеалистичны»[180]).

Затѣмъ г. Венгеровъ даетъ характеристику важнѣйшихъ органовъ 70-хъ годовъ.

«С.-Петербургскія Вѣдомости» (редакціи Валентина Корша) носили вполнѣ эклектическій характеръ. Придерживаясь отчасти такъ называемыхъ «буржуазныхъ» тенденцій въ экономическихъ вопросахъ, имѣя г. Скальковскаго постояннымъ сотрудникомъ по этому отдѣлу, «С.-Петерб. Вѣд.» въ то-же время были весьма радикальны въ политикѣ. Ихъ политическій отдѣлъ главнымъ образомъ пополнялся парижскимъ корреспондентомъ, принадлежащимъ по своимъ политическимъ убѣжденіямъ къ радикальной группѣ оттѣнка Луи-Блана-Кине. Для читателей «С.-Пет. Вѣд.» въ одинаковыхъ симпатичныхъ краскахъ являются Тьеръ и Гамбетта. Греви

[180]) Русская литература въ ея современныхъ представителяхъ. Критико-біографическіе этюды Семена Венгерова. Ч. I. стр. 12. Спб. 1875 г.

и Наке. Даже коммуналистическое движеніе 18-го марта 1871 г. не возбудило большого негодованія академической газеты, и редакція одно время приводила съ большимъ сочувствіемъ отзывы корреспондента Daily News, благопріятные для коммунаровъ.

Соціалисты же третируются «С.-Пет. Вѣд.» съ высоты ихъ буржуазнаго величія, и сотрудничество г. Скальковскаго не помѣшало появиться въ «С.-Пет. Вѣд.» очень благосклонному разбору жизни Прудона по поводу корреспонденціи его, изданной Сентъ-Бевомъ. Затѣмъ г. Венгеровъ характеризуетъ столповъ редакціи: Суворина, Буренина, Стасова, Кюи, Вырубова и Де-Роберти. «Суворинъ — Незнакомецъ, безъ сомнѣнія, самый даровитый и симпатичный изъ всѣхъ сотрудниковъ «С.-Пет. Вѣд.» ... Суворинъ вполнѣ дитя своего времени. Возставая противъ ложнаго идеализма... горячо, однако же, стоитъ за искусство, какъ возвышающій элементъ... какъ нельзя болѣе убѣжденный въ томъ, что errare humanum est, онъ находитъ смѣшныя стороны и въ реальномъ и въ идеальномъ направленіи и эмансипируясь отъ полнаго порабощенія однимъ изъ этихъ направленій, становится посрединѣ и потому очень нравится читающей публикѣ.... Не вдаваясь въ ярый анахронизмъ слѣпымъ поклоненіемъ сороковымъ и шестидесятымъ годамъ, онъ современенъ своимъ скептическимъ отношеніемъ ко всякаго рода эксцессамъ. Правда, водится за нимъ одинъ грѣшокъ—не долюбливаетъ онъ эмансипацію женщинъ—ну, да вѣдь не всякое-же лыко въ строку».

«Критика «Петерб. Вѣд.», репрезентируемая г. Буренинымъ, очень насмѣшливо относилась къ увлеченіямъ апологистовъ «новыхъ людей». Тенденція, безразлично какого характера, порицалась, и г. Михайловъ, наравнѣ съ «челядью» «Русскаго Вѣстника», получалъ неудовлетворительныя отмѣтки».

«Буренинъ въ одно и то же время расхваливалъ Рѣшетникова и благоговѣлъ предъ Пушкинымъ. Отношеніе къ Пушкину въ современной критикѣ вообще крайне характерно. Давно-ли прошло то время, когда хвалить великаго поэта значило рисковать нажить себѣ прозваніе человѣка отсталаго, «эстетика». А теперь на этотъ счетъ очень вольготно. Восхищаешься Пушкинымъ и ничего—сходитъ... Буренинъ вообще смотрѣлъ затѣмъ, чтобы и «мысль» проникала извѣстное беллетристическое произведеніе и «художественность» была-бы соблюдена... «Вешнія воды» наравнѣ съ тенденціозными романами «Дѣла» были неодобрительно встрѣчены г. Буренинымъ. Какъ видите, онъ не эстетикъ — реалистъ à la Аполлонъ Григорьевъ и не реалистъ à la Писаревъ. И онъ себѣ избралъ благую часть эклектика, черпающаго повсюду хорошее»[181]).

Стасовъ при всемъ своемъ стараніи одѣть на себя современный ко-

---

181) Ibid. Стр. 16.

стюмъ, все же при параллели съ тенденціями 60-хъ годовъ окажется довольно расположеннымъ къ искусству для искусства и хотя ратуетъ за мысль, но послѣдняя у него не составляетъ conditio sine qua non. Г. же Кюи... доводитъ свое требованіе мысли до безобразныхъ размѣровъ. Не даромъ-же его прозвали музыкальнымъ нигилистомъ... Стремленіе къ реализму доведено у него до Геркулесовыхъ столбовъ, такъ что г. Суворинъ былъ очень правъ, зло осмѣявъ своего-же товарища по газетѣ, предложеніемъ поручать въ будущихъ операхъ главныя роли танцовщикамъ т. е. людямъ, умѣющимъ отбивать тактъ. Гг. Вырубовъ и де-Роберти, какъ позитивисты, уже въ силу одной своей принадлежности къ школѣ Огюста Конта, предохранены отъ увлеченія въ ту или другую сторону. Въ ожесточенной полемикѣ, происходившей нѣсколько лѣтъ тому назадъ (1873) между «Отечественными Записками» и «Петерб. Вѣд.», первыя характеризовали направленіе послѣднихъ словами: «Должно признаться, хотя нельзя не сознаться». Но что-же дѣлать? Таковъ характеръ эпохи. Что эклектизмъ «Пет. Вѣд.» не случайный, а есть именно знаменіе времени, лучше всего доказываетъ «Голосъ». Эта газета можетъ безъ всякаго преувеличенія быть названа барометромъ общественнаго мнѣнія, и огромный ея успѣхъ всего лучше показываетъ, какъ умѣла она поддѣлаться подъ вкусъ и требованія публики. «Голосъ» умѣренно--либераленъ въ своемъ общемъ характерѣ, чуть-чуть подернутъ панславизмомъ при обсужденіи дѣлъ касающихся братьевъ—славянъ и нерѣшительно относится къ славянофиламъ. «Голосъ» яро вооружается противъ классицизма, радикаленъ въ политикѣ и помѣщаетъ у себя передовыя статьи либеральнаго профессора государственнаго права (Дм. Градовскаго). «Голосъ» нападаетъ сильно на нѣмцевъ, послабѣе на жидовъ и слегка на прочія національности, проживающія между русскими, когда онѣ станутъ поперегъ въ чемъ-нибудь кореннымъ обитателямъ Россіи. «Голосъ» вѣчно въ перебранкѣ съ «Моск. Вѣд.» и «Русскимъ Міромъ»; смѣшиваетъ съ грязью «Гражданина» и не считаетъ никогда нужнымъ полемизировать въ серьезныхъ вопросахъ съ такъ называемыми либеральными органами... «Голосъ» предпочитаетъ не комментировать разныя «движенія» среди учащейся молодежи, и политическіе процессы не вызываютъ на его страницы никакихъ или очень мало разсужденій... Литературная критика «Голоса» во многомъ походитъ на таковую «Пет. Вѣд.», но только отличается почти совершеннымъ отсутствіемъ полемическаго задора.

«Семидесятые годы, заключаетъ Венгеровъ обзоръ газетъ, составляютъ переходное время. А въ такія эпохи всегда замѣчается неопредѣленность, неоформленность симпатій и стремленій»[182]).

[182]) Ibid Стр. 19.

Затѣмъ онъ обозрѣваетъ журналы. «Вѣстникъ Европы», вступая въ возобновленное свое существованіе въ 1866 году простымъ сборникомъ историческихъ матеріаловъ вскорѣ преобразился въ ежемѣсячный журналъ съ отдѣлами литературнымъ и критическимъ. Чѣмъ же руководствовалась его редакція при составленіи книжекъ, какимъ духомъ проникнута она? Общій характеръ безъ сомнѣнія «либераленъ». Въ 1869 году на страницахъ «Вѣстн. Европы» появляется романъ Гончарова «Обрывъ». Это обстоятельство весьма смущаетъ г. Венгерова.

«Романъ пришелъ къ концу, развязка прочтена, и публика въ недоумѣніи, она не можетъ придти въ себя отъ изумленія. «Какъ! восклицаетъ она, все молодое поколѣніе, все благотворное движеніе шестидесятыхъ годовъ, олицетворено въ плутоватомъ Волоховѣ, не гнушающемся поддѣлать чужую подпись, чтобы раздобыться деньгами? И это говоритъ авторъ, всегда вѣрно и не тенденціозно писавшій физіологію нашего общества, а произведеніе его печатается не въ «Русскомъ Вѣстникѣ», а въ «Вѣстникѣ Европы», причисляющемъ себя къ фалангѣ либеральной прессы»? Недоумѣніе и негодованіе было всеобщее. Въ одной изъ критическихъ статей г. Евгенія Утина, редакція высказалась противъ основной тенденціи Гончарова. Но кромѣ «Обрыва» «Вѣстникъ Европы» никакихъ «прегрѣшеній» противъ «либерализма» не совершилъ. Какъ «С.-Петерб. Вѣд.» въ ежедневной прессѣ, такъ «Вѣстникъ Европы» въ ежемѣсячной, носитъ также вполнѣ эклектическій характеръ съ реально-идеалистическимъ направленіемъ. Какъ же иначе прикажете назвать журналъ, гдѣ г. Евгеній Утинъ пишетъ ультра-реалистическія критическія статьи, а г. Евгеній Марковъ до нельзя восторгается произведеніями искусства въ венеціанскихъ церквахъ. Въ «Вѣстникѣ Европы» постоянно сотрудничаютъ Полонскій, графъ Алексѣй Толстой, на ряду съ Левитовымъ, Глѣбомъ Успенскимъ, Боборыкинымъ. Но самымъ лучшимъ критеріумомъ для характеристики направленія «Вѣстника Европы» можетъ служить г. Пыпинъ, который въ своихъ статьяхъ о литературныхъ мнѣніяхъ періода времени съ 1820 г. по 1850 г., какъ нельзя болѣе является представителемъ современнаго примиренія съ идеализмомъ во имя реализма. Въ самомъ дѣлѣ, г. Пыпинъ всегда относится съ уваженіемъ къ какому бы то ни было образу мыслей, былъ бы лишь онъ не напускнымъ и служилъ бы дѣйствительно выраженіемъ какой бы то ни было умственной работы»[153]).

§ 3. «Отечественныя Записки» считаются всѣми за журналъ со строго-опредѣленною тенденціею, и при томъ радикальною, нѣчто въ родѣ группы лѣвой стороны, близко граничащей съ крайней лѣвой. Но отъ неизбѣж-

---

[153]) Ibid. стр. 27.

наго дѣйствія времени и онѣ не могли укрыться. Г. Михайловскій не убоялся здѣсь провозгласить ту вполнѣ вѣрную мысль, что статья Писарева о Пушкинѣ—вандализмъ, подвигъ похожій на разрушеніе Вандомской колонны коммунарами. Устами г. Скабичевскаго «Отечественныя Записки» рѣзко высказались противъ тенденціозности какого бы то ни было оттѣнка. Это же неодобреніе принципа «цѣль оправдываетъ средство», принимаемаго даже въ самомъ возвышенномъ смыслѣ, редакція «Отеч. Зап.» выразила въ своемъ примѣчаніи къ статьѣ г-жи Цебриковой о Шпильгагенскихъ герояхъ. Въ «бутадахъ» Щедрина нерѣдко попадаются очень злыя насмѣшки подъ «нашимъ временемъ, когда». Самые выдающіеся сотрудники «Отечественныхъ Записокъ» ничуть не суть безусловные поклонники шестидесятыхъ годовъ. Изъ всѣхъ сотрудниковъ «Отеч. Зап.» наиболѣе пригоднымъ для уловленія «credo» этого журнала является г. Михайловскій. Въ своихъ ежемѣсячныхъ замѣткахъ о текущей литературѣ онъ ведетъ бесѣду о самыхъ разнообразныхъ предметахъ и потому невольно долженъ обо всемъ высказаться.

Если «Отечественныя Записки» являются какъ бы продолженіемъ «Современика», то «Русское Слово» въ настоящее время имѣетъ своимъ преемникомъ «Дѣло». Въ первые годы своего существованія «Дѣло» только по наружности и названію отличалось отъ своего предшественника. Однако, главный сотрудникъ «Дѣла» перваго времени Писаревъ сталъ менѣе увлекаться. Затѣмъ главнымъ критикомъ «Дѣла» становится Петръ Ткачевъ. Онъ началъ свое литературное поприще въ самомъ реальномъ духѣ, но съ каждымъ годомъ онъ становился «смирнѣе» и въ 1872 году Ткачевъ начинаетъ толковать о «художествахъ».

«Читаешь и глазамъ своимъ не вѣришь: г. Ткачевъ, этотъ болѣе реальный, чѣмъ реализмъ, критикъ, упрекаетъ Тургенева въ отсутствіи «художественности»!.. Въ томъ же «Дѣлѣ», гдѣ были напечатаны почти всѣ произведенія г. Михайлова-Шеллера, г. Ткачевъ, превратившись въ «Постнаго», читаетъ своему товарищу длиннѣйшую и обстоятельнѣйшую нотацію за тенденціозность его романовъ».

«Мы видимъ, что «Дѣло» поддалось замѣчательному метаморфозу, пропроисшедшему въ нашей интеллигенціи послѣдняго времени. Радикальная броня преемника «Русскаго Слова» не могла устоять отъ напора идеализма, долго прятавшагося отъ лучей дневнаго свѣта, но теперь воспрянувшаго въ обновленной формѣ»[184]).

«Какъ «Московскія Вѣдомости» въ ежедневной печати, такъ «Русскій Вѣстникъ» въ ежемѣсячной стоитъ совершенно особо отъ русской жизни и вся его дѣятельность напоминаетъ намъ лай дряхлой собаки, которая

[184]) Венгеровъ, стр. 34 и др.

уже ничего не видитъ и не слышитъ, но все еще считаетъ своею непремѣнной обязанностью тявкнуть на всякое проходящее лицо. «Нигилизмъ» кажется уже совсѣмъ въ архивъ сданъ, а «Русскій Вѣстникъ» все еще противъ него ратуетъ и отыскиваетъ лицъ пропитанныхъ этимъ вреднымъ направленіемъ. Ретроградство его дошло въ послѣднее время до границъ невозможнаго... О тѣни Булгарина и Греча! Ликуйте во гробахъ своихъ. Вы имѣете вполнѣ вѣрныхъ представителей вашего направленія; духъ вашъ не умеръ. Онъ только принялъ другія имена! Критическій отдѣлъ «Русскаго Вѣстника» наполняется белибердой г. А., прославившагося своимъ открытіемъ «петербургской» журналистики, въ отличіе отъ правовѣрной московской, въ беллетристической же части фигурируютъ разные Лѣсковы, Маркевичи, Авсѣенки, Вс. Крестовскіе и имъ подобные, составляющіе ту знаменитую «плеяду», которая, покамѣсть, признается только лицами ее составляющими. Лишь изрѣдка появится въ «Русскомъ Вѣстникѣ», что-нибудь безъ обличенія различныхъ измовъ, въ родѣ талантливаго романа графа Сальяса, а затѣмъ пойдутъ писать разные талантики, а чаще всего бездарности, замѣняющія недостатокъ дарованія прохаживаніемъ по части клубнички, и обличеніемъ вредныхъ идей. «Челядь» «Русскаго Вѣстника», какъ остроумно и мѣтко назвалъ публицистъ «Отечественныхъ Записокъ» Катковскихъ молодцовъ, изъ кожи лѣзетъ вонъ, чтобы угодить своему патрону, и неизмѣримо ниже стоитъ въ нравственномъ отношеніи дѣятелей «Гражданина». Тамъ вамъ смѣшно, забавно, и ничего болѣе. Здѣсь же вы возмущаетесь на каждомъ шагу самымъ безцеремоннымъ извращеніемъ истины, самымъ нахальнымъ называніемъ бѣлаго чернымъ и наоборотъ, самымъ недобросовѣстнымъ и (будемъ мягки) не «гражданскимъ» отношеніемъ къ явленіямъ современной жизни, къ вопросамъ, волнующимъ русское общество»[185]).

Изъ характеристики Венгерова мы видимъ, что журналистика 70-хъ годовъ представляла уже строго дифференцированную организацію, тогда какъ въ 60-хъ годахъ она вся состояла изъ оппозиціи старому, крѣпостному порядку и только различалась степенью нетерпѣливости и требованій отъ правительства.

Теперь мы видимъ центръ: газету «Голосъ» и умѣренно либеральные «С.-Петербургскія Вѣдомости» и «Вѣстникъ Европы». Прогрессивную правую составляютъ московскіе, хилые органы славянофиловъ, ретроградную — старо - дворянская «Вѣсть» и органъ несуществующей «русской партіи» «Гражданинъ». Крайнюю правую составляютъ націоналистическій «Русскій Вѣстникъ» и «Московскія Вѣдомости». Въ свою очередь лѣвая — «Отечественныя Записки» и крайняя лѣвая — монтаньяры «Дѣла».

---

[185]) Венгеровъ. I, стр. 35.

Замѣчательно, что «Дѣло» дало отповѣдь Венгерову, при чемъ невольно въ силу крайностей обоюднаго положенія объединило себя съ «Русскимъ Вѣстникомъ».

«Когда г. Венгеровъ начинаетъ говорить объ «Отеч. Запискахъ» или обращается лично къ г.г. Суворину и Буренину, въ его душѣ появляется сладость, а въ его походкѣ проявляется угодливая хлопотливость и забѣганье, котораго г. Венгеровъ, при всемъ желаніи держать себя пристойно, скрыть не можетъ. И это понятно. Г. Венгеровъ чувствуетъ себя очень маленькимъ передъ «Отечественными Записками», г.г. Михайловскимъ, Скабичевскимъ, Щедринымъ. Конечно, онъ будетъ очень огорченъ, если они не прочитаютъ его этюда и не замѣтятъ, какъ онъ умѣетъ искусно сидѣть на заднихъ лапкахъ».

«Какъ краеугольнымъ камнемъ «Петербургскихъ Вѣдомостей» является г. Суворинъ, такъ Суворинымъ «Отечественныхъ Записокъ» г. Венгеровъ провозглашаетъ г. Михайловскаго, которому усиливается тоже преподнести нѣсколько комплиментовъ... Но если г. Венгеровъ относится такъ внимательно и даже подобострастно къ «Отечественнымъ Запискамъ» и къ «Вѣстнику Европы», въ которомъ г. Суворина изображаетъ г. Пыпинъ, за то тѣмъ рѣзче онъ относится къ «Дѣлу»[186]).

«Г. Венгеровъ сравниваетъ реализмъ съ кирпичнымъ остовомъ дома, совершенно еще не отдѣланнаго, безъ крыши, безъ оконъ, безъ дверей: въ такомъ домѣ еще жить нельзя... чтобъ сдѣлать это нежилое, холодное, лишенное крыши зданіе удобнымъ, является на помощь идеализмъ, этотъ истинный художникъ, архитекторъ, декораторъ и меблировщикъ, и начинаетъ свое дѣло съ увѣнчанія зданія крышей, затѣмъ штукатуритъ стѣны, оклеиваетъ ихъ обоями, устраиваетъ паркетные полы, вѣшаетъ драпировки, ставитъ мебель отъ Штанге, и зажигаетъ повсюду его-же лампы и кенкеты. «Одни звѣри удовлетворяются необходимымъ», говоритъ г. Венгеровъ, повторяя одного нѣмецкаго философа. Приравнивая такимъ образомъ реалистовъ къ звѣрямъ, г. Венгеровъ приглашаетъ въ свой замокъ, освѣщенный лампами Штанге, только одного себя и людей семидесятыхъ годовъ. О, бѣдные русскіе люди всѣхъ остальныхъ эпохъ и временъ! Вамъ нѣтъ мѣста во дворцѣ, построенномъ г. Венгеровымъ, и онъ будетъ жить въ немъ одинъ, съ представителями лишь эклектизма «Петербургскихъ Вѣдомостей», «Голоса», «Русскаго Міра», «Вѣстника Европы» и «Отечественныхъ Записокъ», не допустивъ даже до передней ненавистныхъ ему сотрудниковъ «Дѣла». Ужасно, г. Венгеровъ! Пощадите! За что мы будемъ мокнуть на улицѣ и дрожать отъ холода? Положимъ, что мы «звѣри», положимъ, что въ «Мо-

---

[186]) Н. Языковъ, Самоувѣренная скромность. «Дѣло», 1875 г. № 6, стр. 11—13. «Совр. Обор.».

сковскихъ Вѣдомостяхъ» и «Русскомъ Вѣстникѣ» работаютъ только «псы», но вѣдь и «у пса—по пословицѣ—есть своя конурка»[187]).

§ 4. Два великихъ историческихъ событія являются фономъ литературы семидесятыхъ годовъ: франко-прусская война съ объединеніемъ Германіи и война русско-турецкая за славянскую независимость.

Пять лѣтъ нашей иностранной политики (1865 — 1869), всецѣло посвященной культу Пруссіи, старика Вильгельма и Бисмарка, находило мало симпатій въ русскомъ обществѣ, въ особенности съ той поры, когда Берлинъ сталъ отъ насъ требовать чуть-ли не одобренія возмутительныхъ дѣйствій насилія и захвата, предпринятыхъ Бисмаркомъ въ Даніи... Всѣ помнили, какъ двѣ арміи, прусская и австрійская, ворвались въ Данію и праздновали свою побѣду надъ «грознымъ» и «сильнымъ» противникомъ, и какъ Россія на все это смотрѣла глазами нейтралитета.

Въ 1807 году, когда Наполеонъ рѣшаетъ уничтожить прусское королевство, какіе русскіе интересы могли побудить Александра I уступками насчетъ Россіи спасать прусскаго короля,—никто понять не могъ. Еще менѣе кто-либо могъ понять, какіе интересы русскіе могли побудить 8 лѣтъ спустя на вѣнскомъ конгрессѣ весь свой авторитетъ и весь свой престижъ употребить только на усиленіе маленькой Пруссіи. Въ 1848 году для всѣхъ осталось тайною, какіе русскіе интересы могли побудить Николая спасти Пруссію отъ революціи. Наконецъ, въ шестидесятыхъ годахъ, какъ могъ русскій умъ понять согласіе на ограбленіе Даніи въ пользу Германіи.

Русской дипламатіи не доставало того именно, что въ изобиліи было у Бисмарка,—энергіи и національнаго здраваго смысла. Спеціальность нашей дипломатіи заключалась въ комической маніи протестовать и, затѣмъ, потерпѣвши фіаско, раскланиваться и уходить.

Не сегодня, такъ завтра, предстояло Бисмарку заручиться нейтралитетомъ Россіи въ войнѣ Германіи съ Франціею. Германія сплотилась въ одну армію; пусть-же опять нейтралитетъ Россіи поможетъ Германіи совершить то, для чего она сплотилась и объединилась. Въ концѣ 1869 года для всей Европы было ясно, что управленіе международною политикою всецѣло перешло въ Берлинъ. Желѣзный канцлеръ съ ключемъ и мечемъ сидѣлъ въ Берлинѣ. Любезный канцлеръ ([188]) съ перомъ и съ иллюзіями сидѣлъ въ Петербургѣ.

26-го ноября 1869 г. старикъ Вильгельмъ, король прусскій, былъ пожалованъ въ георгіевскіе кавалеры 1-й степени. Одинъ кавалеръ Русскаго Георгія 1-й степени на землѣ—прусскій король! Суворовъ и Кутузовъ носили эту

[187]) Ibid. Стр. 19 и 20.

[188]) Горчаковъ.

ленту. Вотъ политика 70-хъ годовъ! 1870 годъ для Россіи имѣлъ важное историческое значеніе — обнародованіе указа объ общей воинской повинности и объ учрежденіи запасовъ арміи, а для Европы онъ имѣлъ громадное значеніе франко-прусской войной, окончившейся окончательнымъ уничтоженіемъ военной силы Франціи, низложеніемъ наполеоновской династіи и учрежденіемъ германской имперіи. Война Франціи съ Германіей, какъ это всегда почти бываетъ, вспыхнула вдругъ и для всѣхъ неожиданно.

Россія объявила строгій нейтралитетъ. Однако, съ минуты объявленія войны, всѣ симпатіи въ петербургскомъ обществѣ высказались на сторонѣ Франціи. Политика петербургскаго кабинета сводилась къ какому - то прямому сотрудничеству Россіи къ возвеличенію Пруссіи. Такая политика была русскимъ не по душѣ.

Франція была ослѣплена. Въ палатѣ, среди иступленно кричавшихъ: à Berlin, — одинъ только человѣкъ, предвидя безсиліе своей страны, поднялъ голосъ противъ войны,—это старикъ Тьеръ.

Россія уничтожаетъ пунктъ парижскаго трактата насчетъ ограниченія ея правъ на военный флотъ въ Черномъ морѣ. Разсказывали, что, прочитавъ эту декларацію Бисмаркъ до того пришелъ въ ярость, что швырнулъ бумагу, сказавъ: какая дерзость!

Тьеръ на свиданіи у русскаго Царя!

Тьеръ принятъ въ Версалѣ Бисмаркомъ! Какія минуты!

Князь Горчаковъ, когда кто-нибудь при немъ произносилъ слова: le chancelier, и подъ этимъ разумѣлъ Бисмарка, восклицалъ, сердясь: Quel chancelier? Il y a deux chanceliers — Bismark et moi!

Скоро появился и третій «chancelier»—австрійскій, графъ Андраши...

Императоръ Вильгельмъ, въ сопровожденіи князя Бисмарка, пріѣхалъ въ Петербургъ въ апрѣлѣ 1873 года, и пробылъ здѣсь почти 2 недѣли.

Въ 1873 г. Наполеонъ III-й умеръ въ изгнаніи въ Англіи...

Ты много, много лжи посѣялъ
И много бурь ты возрастилъ,
И уцѣлѣвшаго развѣялъ,
И собраннаго расточилъ!

Это были послѣдніе, предсмертные стихи Тютчева на кончину жалкаго Napoléon le petit.

Въ 1875 г. Россія спасаетъ Францію отъ вторичнаго нѣмецкаго погрома. Въ маѣ, проѣздомъ, въ Германіи, Государь пробылъ два дня въ Берлинѣ, и въ эти два дня имѣлъ объясненіе съ глаза на глазъ съ своимъ дядей, императоромъ Вильгельмомъ, и послѣдній далъ Русскому Императору торжественное завѣреніе, что Германія не помышляетъ ни о войнѣ съ Франціей, ни о нарушеніи европейскаго мира.

Начинается возстаніе герцеговинцевъ, въ 1876 году охватившее Сербію, Болгарію, Черногорію. Появляется Черняевъ— народный герой. 29-го октября 1876 года Императоръ Александръ II-й произноситъ въ Москвѣ свою знаменитую рѣчь.

«Когда министръ внутреннихъ дѣлъ Тимашевъ получилъ телеграмму со словами Государя, для напечатанія въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», онъ не захотѣлъ вѣрить этому тексту и сказалъ: «не можетъ быть, чтобы Государь это сказалъ, это переврано»... Тимашевъ былъ безусловно противъ славянофильскаго движенія и вслѣдствіе этого нашелъ текстъ Государевыхъ словъ нецензурнымъ. Тогда онъ телеграфировалъ министру Двора графу Адлербергу свое сомнѣніе и просилъ его ему передать настоящій текстъ Государевой рѣчи. Къ ужасу Тимашева оказалось, что текстъ вѣренъ...»[189]).

Все было готово къ войнѣ. Сосредоточены массы войскъ, сдѣланъ многомилліонный заемъ. А канцлеръ Горчаковъ утромъ говорилъ: Mon cher, la paix avant tout, il faut éviter la guerre à tout prix. Вечеромъ: Mon cher, la guerre est imminente... Объявленіе войны послѣдовало 12-го апрѣля 1877 года.

Печальный исходъ войны, когда плоды нашихъ побѣдъ вырвали западные дипломаты изъ слабыхъ рукъ петербургскаго кабинета, привелъ къ реакціи 1878 года. Этотъ годъ былъ роковымъ въ исторіи Россіи и царствованія Царя Освободителя. Прогремѣлъ выстрѣлъ Вѣры Засуличъ и послужилъ началомъ ряда политическихъ преступленій, уже не прерывавшихся до самаго 1881 года.

Въ августѣ 1878 г. убитъ Мезенцевъ. Въ 1879 четыре покушенія на жизнь Государя въ теченіе 4-хъ мѣсяцевъ... Взрывъ въ самомъ Зимнемъ Дворцѣ... Въ 1880 г. разгаръ диктатуры Лорисъ-Меликова, который свалилъ гр. Дм. Толстого. Ударъ по лицу мягкаго министра Сабурова студентомъ на актѣ, и глубокомысленное восклицаніе Лориса: «Это совсѣмъ неожиданно».

«Наканунѣ 1-го марта Государь пріобщался Св. Тайнъ, и когда его поздравляли, то онъ говорилъ съ сіяющимъ лицомъ: «Поздравьте меня вдвойнѣ! Лорисъ мнѣ возвѣстилъ, что послѣдній заговорщикъ схваченъ, и что травить меня уже не будутъ!» Когда-жe говорилъ эту ужасную ложь своему Государю Лорисъ-Меликовъ? — какъ разъ въ то время, когда Кобызевъ, послѣ долговременной работы въ подвалѣ дома на Малой Садовой, оканчивалъ съ своими сотрудниками мину, имѣвшую быть взорванною въ минуту проѣзда Государя 1-го марта, и когда Перовская подготовляла къ тому же дню трехъ человѣкъ съ бомбами, имѣвшихъ быть разставленными по набережной Екатерининскаго канала»[190]).

---

[189]) Кн. Вл. Мещерскій. Воспоминанія. Ч. II. Стр. 311.

[190]) Кн. Вл. Мещерскій. Воспоминанія. Ч. II. Стр. 495.

Но Лорисъ царю не лгалъ, надо думать. Для этого, самого умнаго изъ кавказскихъ восточныхъ человѣковъ, и первое марта было совершенно неожиданно».

§ 5. Министерство путей сообщенія въ началѣ 70-хъ годовъ представляло главный пунктъ, гдѣ тогда сосредоточивалась вся вакханалія желѣзнодорожной горячки во всемъ ея разгарѣ. Тогда уже произносились имена желѣзнодорожныхъ Монтекристо, вчера нищихъ, а сегодня милліонеровъ. Никто не могъ понять, почему такіе люди, какъ Меккъ, Дервизъ, Губонинъ, Башмаковъ и проч., которые не имѣли, во первыхъ, ни гроша денегъ, а во вторыхъ, никакихъ инженерныхъ познаній, брались за концессіи, какъ ни въ чемъ не бывало, и въ два, три года дѣлались милліонерами... Среднимъ числомъ концессіи выдавались по такой цѣнѣ за версту, что въ карманъ входило около 50 тысячъ рублей чистыхъ на каждую версту... А 500, 600 верстъ концессіи составляло капиталы въ 25, 30 милліоновъ рублей! Для съуженія района конкурентовъ концессіонеры прибѣгали, разумѣется, къ крупнымъ взяткамъ, и эти-то взятки и были главною причиною крупныхъ, баснословныхъ наживъ. Къ этой-же эпохѣ надо отнести послѣдніе, такъ сказать, широкіе размахи доѣдавшихъ на жизненныхъ пирахъ свои выкупныя свидѣтельства дворянъ—помѣщиковъ. (Кн. Вл. Мещерскій).

Первыя страницы «Дневника провинціала въ Петербургѣ» Салтыкова—Щедрина открываются изображеніемъ этой помѣщичьей и желѣзнодорожной вакханаліи. «Въ вагонѣ сидѣла губернія... Всѣ они были на лицо, съ своими жирными затылками, съ своими клинообразными кадыками, въ фуражкахъ съ красными околышами и съ кокардой... Всѣ притворялись, что у нихъ есть нѣчто въ карманѣ, и ни одинъ даже не пытался притвориться что у него есть нѣчто въ головѣ... Онъ, этотъ земскій авгуръ, населяетъ теперь всѣ вагоны, всѣ гостинницы! Онъ ораторствуетъ въ клубахъ и въ ресторанахъ, онъ проникаетъ въ педагогическія, экономическія, сельскохозяйственныя и иныя собранія и даже защищаетъ тамъ какія-то реформы...

Начались проэкты самыхъ фантастическихъ концессій... Слышались фразы: «вотъ бы»! «вотъ кабы»! «ну ужъ тогда бы» и проч.[191]).

Въ 1871 г. довольно трудно было выяснить себѣ, какого въ сущности направленія держалось во внутренней политикѣ правительство. Шуваловъ говорилъ: «Я далекъ отъ мысли о какой-нибудь конституціи, но я, напримѣръ, думаю, что прогрессъ требуетъ большаго расширенія мѣстнаго самоуправленія, дворянство должно было бы имѣть болѣе значенія въ губерніи, какъ сословіе, чѣмъ оно его имѣетъ, земство могло бы имѣть очень важныя экономическія задачи для разрѣшенія, хотя-бы, напримѣръ, этого вар-

[191]) Соч. Щедрина. Изд. 3-е. Томъ 8-й. Стр. 2-я и 3-я.

варскаго вопроса общины... Пора устроить болѣе европейскій порядокъ землевладѣнія, при которомъ была бы мыслима сельскохозяйственная культура и раціональное хозяйство... Что касается русской партіи, какъ политической партіи, то, откровенно говоря, я не признаю ея прелестей»[192]).

Тимашевъ болѣе принималъ къ сердцу свое искусство ваятеля и свои успѣхи умнаго человѣка въ свѣтѣ, чѣмъ министерскія заботы. У Валуева былъ decorum иллюзіи: говорившій съ нимъ уносилъ, по крайней мѣрѣ, музыкальныя воспоминанія его красивыхъ фразъ. Но у Тимашева и того не было. Оттого его пріемы производили меланхолическое впечатлѣніе.

Графъ Толстой въ двойной роли министра народнаго просвѣщенія и оберъ-прокурора святѣйшаго сѵнода мало вмѣшивался въ сферы политики другихъ министерствъ и этимъ покупалъ себѣ ихъ невмѣшательство въ его сферы. Тимашевъ дальше самаго платоническаго отношенія къ правительственнымъ интересамъ своего министерства не шелъ. Графъ Шуваловъ воздерживался отъ всякой консервативной инціативы, а въ вопросѣ о земствѣ былъ скорѣе на сторонѣ либеральной партіи.

Этимъ исчерпывался весь персоналъ консервативныхъ силъ, если не считать князя С. Н. Урусова, который говорилъ про себя: я консерваторъ, но я не имѣю храбрости имъ быть. Во главѣ прогрессивной министерской партіи стоялъ предсѣдатель государственнаго совѣта, великій князь Константинъ Николаевичъ. Тутъ былъ способный, умный и спокойный военный министръ Милютинъ, молодой министръ юстиціи графъ Паленъ, защитникъ самостоятельности судебныхъ установленій, желчный и умный Татариновъ, создатель новаго государственнаго контроля, и либеральный министръ финансовъ Рейтернъ. Конкретный центръ, около котораго вертѣлись всѣ либеральныя мысли того времени, было земство.

Въ сезонъ 1871—1872 гг. въ театрѣ Буффъ, въ бывшемъ циркѣ, вблизи Александрійскаго театра и Аничкова дворца, появилась каскадная французская пѣвица Шнейдеръ.

Это тотъ «Буффъ», о которомъ сказано у Некрасова:

Жизнь наша—пуфъ!
Пустѣй орѣха.
Заѣдешь въ Буффъ—
Одна утѣха.

И это та Шнейдеръ, о которой столько говорится въ «Дневникѣ Провинціала» Щедрина:

«Посѣтилъ товарищей моихъ по школамъ.

---

[192]) Кн. В. П. Мещерскій. Воспоминанія. Часть вторая. Стр. 147 и 149. Спб. 1898.

Прихожу къ одному — статскій совѣтникъ!

— Статскій совѣтникъ! — восклицаю я: — поздравляю, поздравляю!..

— Да, душа моя, — съ невозмутимою важностью отвѣчаетъ мнѣ бывшій товарищъ: не могу пожаловаться, начальство цѣнитъ-таки труды мои!

«Труды твои! шишъ твои труды — вотъ что!» со злобою помышляю я, но вслухъ говорю слѣдующее: — Ну, а дальше... есть виды?

— Насчетъ видовъ — это покамѣстъ еще секретъ. Но, конечно, съ Божьею помощью... Сказавъ это, онъ устремляетъ такой пронзительный взглядъ въ даль, что я сразу понялъ, что сей человѣкъ ни передъ какими видами несостоятельнымъ себя не окажетъ.

— Ну, а въ настоящемъ какъ?

— А въ настоящемъ... жуируемъ! Гандонъ, Ловато, Шнейдеръ... Да ты Шнейдеръ-то видѣлъ?

— Нѣтъ еще... Я такъ недавно въ Петербургѣ...

— Ты не видалъ Шнейдеръ! Чудакъ! Чего же ты ждешь? Желалъ бы я знать, зачѣмъ ты пріѣхалъ? Boulotte... да, вѣдь, это перлъ! Comme elle se gratte les hanches et les jambes... sapristi! И онъ не видѣлъ!

Въ эту минуту въ комнату входитъ другой товарищъ, еще только коллежскій совѣтникъ.

— Смѣльскій! ужасайся! онъ не видѣлъ Шнейдеръ!

— Ты не видалъ Шнейдеръ?

— Онъ не слыхалъ: «Dites-lui»!

— Et Boulotte donc! Comme elle se gratte les hanches et les jambes.. c'tte fille! Barbare!.. va! »[193]).

Шнейдеръ выбрала для своего репертуара знаменитую оперетку Офенбаха «Герцогиня Герольштейнъ». Въ Петербургѣ извѣстіе это произвело сенсацію. Стали ходить толки, что ей не позволятъ давать эту оперетку, такъ какъ всѣ знали, что въ ней героиней въ весьма двусмысленномъ видѣ представлена Екатерина II. Скоро въ афишахъ появился анонсъ знаменитой оперетки, только, съ заглавіемъ: «Le sabre de mon père». Въ одинъ моментъ всѣ мѣста были разобраны въ театрѣ, и въ первое представленіе кромѣ всего фешенебельнаго общества, было много придворныхъ особъ. Кн. Мещерскій въ своемъ «Гражданинѣ» написалъ протестующую статью. Она возбудила негодованіе въ придворныхъ сферахъ. Тимашевъ сказалъ кн. Мещерскому: «Объ такихъ вопросахъ лучше не писать. Ne soyons pas plus royalistes que le roi.» (Воспоминанія кн. Вл. Мещерскаго).

Въ то время, какъ общество разъѣдали ядовитыя подпольныя теченія, высшіе круги, бюрократія и самыя придворныя сферы проникались какимъ-то безсмысленнымъ цинизмомъ и легкомысліемъ, какъ-будто настало

---

[193]) Соч. Щедрина. Т. 8-й. Стр. 13 и 14.

послѣднее время, какъ-будто правили предсмертный пиръ во время чумы. Это распутно-легкомысленное состояніе умовъ въ семидесятые годы превосходно изображаетъ въ «Бѣсахъ» Достоевскій: «Странное было тогда настроеніе умовъ. Особенно въ дамскомъ обществѣ обозначилось какое-то легкомысліе, и нельзя сказать, чтобы мало-по-малу. Какъ бы по вѣтру, было пущено нѣсколько чрезвычайно развязныхъ понятій. Наступило что-то развеселое, легкое, не скажу, чтобы всегда пріятное. Въ модѣ былъ нѣкоторый безпорядокъ умовъ... Всѣ тогда только хохотали и тѣшились, а останавливать было некому. Устояла, правда, въ сторонѣ довольно значительная кучка лицъ, съ своимъ особеннымъ взглядомъ на теченіе тогдашнихъ дѣлъ; но и эти еще тогда не ворчали; даже улыбались... Въ смутное время колебанія и перехода всегда и вездѣ появляются разные людишки. Я не про тѣхъ такъ-называемыхъ «передовыхъ» говорю, которые всегда спѣшатъ прежде всѣхъ (главная забота) и хотя очень часто съ глупѣйшею, но все же съ опредѣленною болѣе или менѣе цѣлью. Нѣтъ; я говорю лишь про сволочь. Во всякое переходное время поднимается эта сволочь, которая есть въ каждомъ обществѣ и уже не только безо всякой цѣли, но даже не имѣя и признака мысли, а лишь выражая собою изо всѣхъ силъ безпокойство и нетерпѣніе. Между тѣмъ, эта сволочь, сама не зная того, почти всегда подпадаетъ подъ команду той малой кучки «передовыхъ», которые дѣйствуютъ съ опредѣленною цѣлью, и та направляетъ весь этотъ соръ куда ей угодно, если только сама не состоитъ изъ совершенныхъ идіотовъ, что, впрочемъ, тоже случается... Солиднѣйшіе изъ нашихъ умовъ дивятся теперь на себя: какъ это они тогда вдругъ оплошали? Въ чемъ состояло наше смутное время и отъ чего къ чему былъ у насъ переходъ—я не знаю, да и никто, я думаю, не знаетъ—развѣ вотъ нѣкоторые посторонніе гости. А между тѣмъ, дряннѣйшіе людишки получили вдругъ перевѣсъ, стали громко критиковать все священное, тогда какъ прежде и рта не смѣли раскрыть, а первѣйшіе люди, до тѣхъ поръ такъ благополучно державшіе верхъ, стали вдругъ ихъ слушать, а сами молчать; а иные такъ позорнѣйшимъ образомъ подхихикивать. Какіе-то доморощенные сопляки Радищевы, скорбно, но надменно улыбающіеся жидишки, хохотуны, заѣзжіе путешественники, поэты съ направленіемъ изъ столицы, поэты взамѣнъ направленія и таланта въ поддевкахъ и смазныхъ сапогахъ, маіоры и полковники, смѣющіеся надъ безсмысленностію своего званія и за лишній рубль готовые тотчасъ же снять свою шпагу и улизнуть въ писаря на желѣзную дорогу; генералы, перебѣжавшіе въ адвокаты; развитые посредники, развивающіеся купчики, безчисленные семинаристы, женщины, изображающія собою женскій вопросъ,—все это вдругъ у насъ взяло полный верхъ и надъ кѣмъ же? Надъ клубомъ, надъ почтенными сановниками, надъ ге-

нералами на деревянныхъ ногахъ, надъ строжайшимъ и неприступнѣйшимъ нашимъ дамскимъ обществомъ»[194]).

1873 годъ начался дѣломъ Нечаева.

Въ 1869 году, въ ноябрѣ, Нечаевъ, сынъ лакея, изъ Иваново-Вознесенска, студентъ Московской Петровской земледѣльческой академіи, собралъ «кучку» — «тройку» и убилъ студента Иванова, не желавшаго ему повиноваться. Затѣмъ онъ бѣжалъ заграницу, и какъ убійца, былъ выданъ Россіи швейцарскимъ правительствомъ.

Такъ называемое нечаевское дѣло, т.-е. политическій процессъ 1869—1871 годовъ, — единственное обширное политическое дѣло, производившееся на точномъ основаніи уставовъ 20-го ноября 1864 г., съ соблюденіемъ полнѣйшей гласности — единственное политическое дѣло, по которому напечатаны цѣликомъ рѣчи обвинителя и защитниковъ, объясненія подсудимыхъ и показанія свидѣтелей. Политическій процессъ 1866 года производился тоже на основаніи новыхъ судебныхъ уставовъ, но при закрытыхъ дверяхъ и съ оглашеніемъ въ печати лишь окончательнаго судебнаго приговора.

«Относясь къ одному изъ первыхъ фазисовъ подземнаго движенія, нечаевское дѣло соединяетъ въ себѣ, однако, многія характеристическія черты (дальнѣйшихъ) политическихъ процессовъ; тайное общество 1869 г. является какъ бы образцомъ для послѣдующихъ, дѣятельность Нечаева прототипомъ позднѣйшихъ формъ революціонной агитаціи, личный составъ подсудимыхъ—нормой, повторяющейся на будущее время съ небольшими только варіантами. Здѣсь встрѣчается впервые лозунгъ: «Въ народъ», обрисовывается система кружковой организаціи; здѣсь выступаютъ на видъ тѣ пріемы вербовки новыхъ членовъ, которые постоянно наблюдаются въ послѣдствіи времени; здѣсь ясно обозначены условія, облегчающія сравнительно быстрый и легкій успѣхъ преступной пропаганды; здѣсь, болѣе чѣмъ гдѣ-либо, бросается въ глаза громадность контингента, доставленнаго тайному обществу высшими учебными заведеніями»[195]).

«За нечаевскимъ дѣломъ потянулся длинный рядъ политическихъ процессовъ; революціонная агитація не ослабѣла, а постоянно возрастала... Въ 1874 году рѣшено особымъ присутствіемъ сената такъ называемое Долгушинское дѣло... за Долгушинскимъ дѣломъ послѣдовало въ 1875 г. дѣло Дьякова и Сѣрякова; въ 1877 г.—дѣло о безпорядкахъ на Казанской площади и такъ называемое «московское дѣло» о пятидесяти подсудимыхъ... Въ продолженіи... двухъ лѣтъ (1878—1879) мы видимъ и періодъ

---

194) «Бѣсы», романъ Ѳедора Достоевскаго. Спб. 1873 г. Часть II, стр. 161 и 162. Часть III, стр. 2 и 3.

195) «Вѣстникъ Европы». Май 1880 г. Стр. 322—323.

сравнительной снисходительности (приговоръ особаго присутствія по такъ называемому процессу ста-девяносто восьми, оправданіе Вѣры Засуличъ) и періодъ удвоенной строгости, начинающійся съ приговора одесскаго военно-окружнаго суда надъ Ковальскимъ»[196]).

«Въ приговорѣ по Нечаевскому дѣлу, принадлежность къ тайному обществу признана была доказанною относительно тридцати одного подсудимаго. Изъ нихъ достигли зрѣлаго возраста только двое; средній возрастъ остальныхъ 23—23$^1/_2$ года... 16 членовъ тайнаго общества были слушателями Петровской земледѣльческой академіи; четверо — студентами московскаго университета, трое — студентами медико-хирургической академіи»[197]).

«Изъ числа тысячи съ небольшимъ лицъ, привлеченныхъ, въ семидесятыхъ годахъ, къ отвѣтственности по обвиненію въ политическихъ преступленіяхъ, около 80% получили бо̀льшее или меньшее образованіе; между остальными грамотныхъ около 19, не грамотныхъ—около 1%»[198]).

Высш. образ.: 32$^1/_2$%; средн. муж.: 20$^1/_2$; женск. учебн. зав.: 6%. Медико-хирурги: 32%; технологи — 14%; петровцы — 13$^1/_2$; спб. универс.—11$^1/_2$; остальн. универ.—6%.

Гимназіи и семинаріи — 77% (38% и 36%). Гимназистокъ: 39%; акушерск. курс.—25%; женск. курс.: 17%.

Дворянъ—26%; духовныхъ—19%; крестьянъ—13%; купцы и разночинцы— 3 и 21$^1/_2$.

Евреевъ —6$^1/_2$% [199]).

§ 6. Въ семидесятые годы происходило насажденіе гр. Дм. Толстымъ классицизма въ русской школѣ, а между 1866 и 1871 г. борьба «классиковъ» и «реалистовъ».

«Мы хорошо помнимъ самое начало бывшаго министерства, писалъ органъ Стасюлевича, когда въ 1880 году Лорисъ Меликовъ «свалилъ» гр. Толстого, такъ какъ одновременно съ тѣмъ, весною 1866 года, вышла въ свѣтъ и первая книга «Вѣстника Европы»; это было наканунѣ первыхъ дней министерства гр. Толстого. Не задолго передъ тѣмъ, былъ Высочайше утвержденъ уставъ среднихъ учебныхъ заведеній и вступилъ въ дѣйствіе новый университетскій уставъ».

«Если въ послѣдніе три—четыре мѣсяца предъ увольненіемъ графа Толстого, наша печать предавалась невольному безмолвію,—то 14 лѣтъ тому

---

196) Ibid. Стр. 323 и 324.
197) Ibid. Стр. 325.
198) Ibid. Стр. 325.
199) Ibid. стр. 326

назадъ, въ послѣдніе мѣсяцы предъ увольненіемъ А. В. Головнина, «Московскія Вѣдомости» представили такіе образчики полемики, какіе послѣ уже не встрѣчались въ нашей печати... Среди поднятаго тогда «Московскими Вѣдомостями» вопля и брани противъ составителей гимназическаго и университетскаго уставовъ, суждено было явиться первой книгѣ нашего журнала»[200]).

Журналъ повторяетъ затѣмъ свои старыя, весьма разумныя, положенія:

1) Въ исторіи образованности каждаго человѣческаго общества должно непремѣнно удѣлить мѣсто классическому обученію и всему тому, что его обусловливаетъ.

2) Учебныя заведенія для тѣхъ классовъ населенія, которымъ дозволяютъ экономическія условія пользоваться ими, должны служить средствомъ къ поддержанію изученія классическихъ языковъ въ странѣ, но не убивать своими преимуществами, притомъ вовсе не образовательнаго характера, другія заведенія, непосредственно полезныя для общества, какъ-то: реальныя.

Вотъ точка зрѣнія, становленная нашимъ журналомъ 14 лѣтъ тому назадъ, при появленіи первой его книги въ свѣтъ, ровно за мѣсяцъ до начала министерства графа Толстого; съ этой точки зрѣнія журналъ не отступалъ ни на шагъ до самаго конца борьбы въ 1871 году, и въ слѣдующій затѣмъ періодъ, когда борьба должна была уступить мѣсто критикѣ»[201]).

БИБЛІОГРАФІЯ. Апрѣль. 1880 г. «Русскій Вѣстникъ». «Успѣхи греческаго языка и литературы въ Россіи за послѣднее 25 лѣтіе».—Статьи въ «Вѣстникѣ Европы»: проф. В. И. Герье: «Университетскій вопросъ» (1873 г. апр. 818): «Свѣтъ и тѣни университетскаго быта» (1876 г. февр. 646): «Наука и государство.—По поводу статьи въ «Русскомъ Вѣстникѣ»: «Къ университетскому вопросу». (1876 г. окт. 768. Ноябрь. 344)—Статьи В. Н.: «Ученый диспутъ въ Москвѣ въ связи съ университетскимъ вопросомъ». (1875. Іюнь. 900): «Нашъ аргонавтъ».—По поводу статей Любимаго въ «Русскомъ Вѣстникѣ» (1875 г. авг. 741) «Вопросные пункты». —По поводу пересмотра университет. устава (1876 г. янв. 269).

Гр. Толстой издалъ 24 мая 1875 года циркуляръ: «Въ декабрѣ мѣсяцѣ 1874 г. я препроводилъ... списокъ книгъ и брошюръ революціоннаго содержанія, съ цѣлью поставить о нихъ въ извѣстность директоровъ и инспекторовъ народныхъ училищъ, при обозрѣніи ими школъ... Оказывается, что революціонеры избрали орудіемъ своей гнусной пропаганды то, что для каждаго честнаго и просвѣщеннаго человѣка составляетъ предметъ особой заботливости и охраны—юношество и школу. И понятно: коммунистиче-

[200]) Вѣстникъ Европы. Іюнь. 1880. Внутреннее обозрѣніе. Стр. 798. 799.
[201]) Ibid. Стр. 800.

скія ихъ ученія, клонящіяся къ ниспроверженію всего общественнаго строя и водворенію взамѣнъ его анархіи, до такой степени нелѣпы и дики, что они могутъ найти успѣхъ развѣ между дѣтьми, недоучившимися юношами, и неразвитыми простолюдинами. Но, къ сожалѣнію, эти дѣти и юноши, вмѣсто того, чтобы найти въ окружающей ихъ средѣ и въ своихъ семействахъ отпоръ преступнымъ увлеченіямъ и политическимъ фантазіямъ, встрѣчаютъ иногда напротивъ того ободреніе и поддержку; только этимъ и можно объяснить распространеніе соціалистическихъ теорій, давно осужденныхъ здравою наукою; въ 37 губерніяхъ, какъ обнаружило судебное изслѣдованіе, нѣкоторые отцы и матери подбивали къ нимъ своихъ дѣтей... Пусть же наставники замѣнятъ въ этомъ случаѣ родителей,—это ихъ прямое призваніе... Истина не боится свѣта; поэтому я не только не нахожу основанія скрывать это печальное явленіе въ нашей общественной жизни отъ наставниковъ юношей, но, напротивъ того, поручаю передать отъ меня начальникамъ учебныхъ заведеній, что ихъ я уполномочиваю разсказать о немъ преподавателямъ и наставникамъ». Характерна наивность циркуляра. Можно подумать, что наставники и преподаватели не читали газетъ и не знали о политическихъ процессахъ, которые въ нихъ печатались, если имъ требовалось еще объ этихъ процессахъ «разсказать своими словами» чрезъ директоровъ!

§ 7. «Вѣстникъ Европы», подъ редакціей получившаго еще въ 1851 году доктора всеобщей исторіи Михаила Матвѣевича Стасюлевича, въ семидесятые годы занялъ то положеніе, которое въ пятидесятыхъ занималъ «Русскій Вѣстникъ». Строгая корректность и духъ приличія отличали его, просвѣщенно - европейская умѣренность тона и взглядовъ соединялись съ западничествомъ, которое однако не отрицало «народности». Защита и отчасти проведеніе, потомъ охраненіе судебной и земской реформы,—вотъ главная задача этого прогрессивнаго органа. Можно было подозрѣвать тайное «англоманство» журнала, но вообще онъ строго держался законности и исходилъ всегда отъ тѣхъ началъ, которыя уже вошли въ русскую жизнь и узаконились реформами.

Въ первые годы журналъ напечаталъ «Обрывъ» Гончарова, затѣмъ въ немъ появился романъ Тургенева «Новь» и съ 1868 г. рядъ разсказовъ: «Странная исторія», «Степной король Лиръ», «Стукъ - стукъ», въ 1872 г. повѣсть «Вешнія воды»; въ 1873 - «Конецъ Чертопханова и Недопюскина»; въ 1874: «Пунинъ и Бабуринъ».

«Внутреннее обозрѣніе» журнала велъ образованный адвокатъ изъ перваго выводка, Константинъ Константиновичъ Арсеньевъ. Онъ-же и критикъ. Затѣмъ по исторіи литературы, постоянно являлись статьи Александра Николаевича Пыпина. Оба—образцы корректности, высокой писа-

тельской добросовѣстности, но съ нѣсколько доктринерской отвлеченностью и догматичностью.

Беллетристика «Вѣстника Европы» семидесятыхъ годовъ дала рядъ блестящихъ произведеній. Въ 1870 г. появились: романъ Крестовскаго (псевдонимъ) «Большая медвѣдица»; Левитова «Безпріютный. Шоссейные типы, картины и сцены съ натуры»; въ этомъ-же году появились баллады Н. А. Вроцкаго: «Коромыслова башня», и «Утесъ Стеньки Разина»; послѣдняя была положена на музыку и пѣлась всей радикальной молодежью—

Есть на Волгѣ утесъ,
Сѣдымъ мохомъ поросъ
Онъ съ вершины до самаго края...

Въ 1873 г. появились романъ Боборыкина «Полжизни» и «Снѣгурочка» Островскаго. Однако оба писателя главную массу своихъ произведеній за это десятилѣтіе помѣстили въ «Отечественныхъ запискахъ».

Въ 1874: Гр. Данилевскій — «Девятый валъ»; Крестовскій (псевдонимъ) — «Альбомъ. Группы и портреты»; Крыловъ— «Земцы», комедія въ 5 д.; Евг. Марковъ — «Барчуки. Картины и разсказы»; Дм. Минаевъ — «Спѣтая пѣсня», комед. въ 4 д.; гр. Ал. К. Толстой: «Портретъ. Повѣсть въ стихахъ». Въ 1875: Боборыкинъ — «Въ усадьбѣ и на порядкѣ», повѣсть; Костомарова— «Кудеяръ. Историческая хроника»; А. Потѣхинъ — «Бой-дѣвка», повѣсть. Гр. А. К. Толстого. — «Драконъ. Разсказъ XII вѣка, въ стихахъ». Въ 1876: Авдѣевъ. «Въ сороковыхъ годахъ», повѣсть; А. Потѣхинъ — «Хворая», повѣсть и «Около денегъ», романъ; гр. Ал. Толстой — «Посадникъ», драма. Въ 1877: В. А. Крыловъ— «Въ духѣ времени», комедія въ 4 дѣйств. Въ 1878: А. Потѣхинъ — «Выгодное предпріятіе», комедія и «Молодые побѣги», повѣсть. Въ 1879: Гр. II. Данилевскій— «Мировичъ», историческій романъ; Минскій — «Бѣлыя ночи», поэма; Як. П. Полонскій: «Дешевый городъ», хроника—романъ; Д. Стахѣевъ — «Домашній очагъ», повѣсть.

Изъ соединенія именъ видимъ безпартійность журнала въ отношеніи художественной словесности.

Чрезвычайно важную роль игралъ въ журналѣ Тургеневъ, все это десятилѣтіе проживиій заграницей и устроившій въ «Вѣстникѣ Европы», тогда только еще начавшаго карьеру романиста, Эмиля Зола. Вообще роль Тургенева въ дѣлѣ обоюднаго ознакомленія русской публики съ молодыми писателями Франціи, а общества французскаго, англійскаго и нѣмецкаго съ шедеврами русской литературы весьма важная и плодотворная.

Нѣмецкая газета 1868 г. «Der Salon» писала о пребываніи Тургенева въ Баденъ — Баденѣ: «Около одной семьи группируется этотъ кружокъ:

около Луи Віардо и его жены, великой пѣвицы Полины Віардо. Имя этой знаменитой четы упоминается почти нераздѣльно съ другимъ, не менѣе блестящимъ именемъ ея друга, великаго русскаго повѣствователя Ивана Тургенева, автора «Записокъ охотника», «Отцовъ и дѣтей», «Призраковъ». И онъ нашелъ здѣсь отчизну вдали отъ родины и помѣстій своихъ отцовъ. Недалеко отъ виллы Віардо въ Тиргартенталѣ, со стороны Лихтентальской аллеи, возвышаются изъ за деревъ сада высокая крыша и высокія трубы виллы, которую онъ выстроилъ здѣсь себѣ». Описывается представленіе оперы въ этой виллѣ: «Многимъ извѣстна, вѣроятно, дружба, которую питаетъ въ великой артисткѣ королева прусская Августа, неизмѣнная лѣтняя гостья Бадена. Какъ на воскресныхъ утрахъ въ виллѣ Віардо, такъ присутствовала она и при исполненіяхъ оперы... Космополитическое баденское общество, многочисленная аристократія мысли и искусства составляли публику... Во второй половинѣ сентября прибылъ въ Баденъ король Вильгельмъ, и вечеромъ 24-го числа того же мѣсяца въ салонѣ замка собралось общество, какое едва-ли когда-нибудь собиралось въ домѣ писателя, человѣка частнаго, не служащаго, не чиновнаго, не имѣющаго ни какихъ знаковъ отличія... Рядомъ съ королевской четой сидѣли дочери Беттины фонъ-Арнимъ, графини Флеммингъ (супруги посланника въ Карльсруэ), графиня Оріолла, придворная дама е. в. королевы прусской и графъ Флеммингъ; въ слѣдующемъ ряду — придворныя дамы, сопровождавшія ея величество: принцесса Каролатъ и графиня Бранденбургъ, прусскій министръ двора графъ Швейницъ, и мужъ композиторши оперетты, Луи Віардо. Далѣе стояли баронъ Френцъ, каммергеръ королевы, знаменитый скрипачъ Леонардъ, тайный легаціонстратъ Абекенъ, которому французы дали многознаменательное прозвище: «la plume de Bismark», гофмаршалъ графъ Поклеръ и генералъ Байеръ. У рояля сидѣла сама m-me Віардо, а за нею, прислонясь къ камину, стояла мощная фигура Тургенева»[202]).

Интимными друзьями Тургенева въ Германіи были извѣстный критикъ Питчъ и его ученый собратъ Цабель.

Изданная Гальпериномъ — Каминскимъ книга: «Lettres inédites d'Ivan Tourguénew», бросаетъ яркій свѣтъ на отношенія великаго писателя къ французскимъ писателямъ.

Флоберъ является центральною фигурою во всѣхъ отношеніяхъ Тургенева къ иностраннымъ писателямъ, и занимаетъ въ нихъ совершенно исключительное мѣсто.

Когда въ 1843 г. Тургеневъ познакомился съ семействомъ Віардо, имя его было совершенно неизвѣстно въ русской литературѣ. Віардо уже былъ извѣстенъ своими учеными работами по искусству и иностранной литера-

---

[202]) Венгеровъ. II. 158—160.

турѣ. Полина Віардо, тогда еще очень юная, была уже знаменитой пѣвицей, высоко изящной артисткой.

Въ 1847 г. Тургеневъ уѣхалъ къ Віардо въ Парижъ. Мать ему отказала въ средствахъ. Онъ пріютился въ помѣстьи Куртавенель, въ Rosay—en-Brie, у Віардо. Тамъ онъ написалъ „Записки охотника".

Когда мать его въ 1850 г. умерла, Тургеневъ объѣхалъ всю Европу, потомъ поселился съ семействомъ Віардо въ Баденѣ, а въ 1870 г. переѣхалъ съ ними въ Парижъ. Черезъ семейство Віардо Тургеневъ познакомился съ артистическимъ и литературнымъ міромъ Франціи того времени. Въ ихъ-же домѣ, еще въ 1847 г., онъ встрѣтилъ въ первый разъ Жоржъ-Зандъ, старинную пріятельницу Луи Віардо, съ которымъ она основала въ 1841 г. «Revue Indépendante». Около этого-же времени онъ познакомился съ Мериме. Шарль Эдмондъ, съ которымъ онъ познакомился въ Берлинѣ у г-жи Языковой, ввелъ Тургенева въ избранный литературный міръ того времени, гдѣ бывали такъ-же Герценъ и Бакунинъ.

Сентъ-Бевъ, Теофилъ Готье, Флоберъ, братья Гонкуръ, Тэнъ, Бертело, Ренанъ, Гаварни, Поль де Сен-Викторъ, Шёреръ, Шарлъ Бланъ, Адріэнъ Гебраръ, Фромантенъ, Брока, Рибо, Нефтцеръ и т. д. — однимъ словомъ, всѣ посѣтители знаменитыхъ обѣдовъ ресторана Маньи. За исключеніемъ Флобера, котораго онъ зналъ съ 1858 г., Тургеневъ видѣлъ всѣхъ въ первый разъ.

Въ «Дневникѣ Гонкура» отъ 23 января 1863 г. читаемъ: «Обѣдъ у Маньи. Шарль Эдмондъ приводитъ намъ Тургенева, этого иностраннаго писателя съ такимъ изящнымъ талантомъ, автора Дневника лишняго человѣка и Гамлета (Щигровскаго уѣзда). Это прелестный колоссъ, кроткій великанъ съ сѣдыми волосами, съ благодушнымъ видомъ горнаго или лѣсного духа. Онъ красивъ, величественно красивъ, безпредѣльно красивъ съ синевой неба въ глазахъ, съ чудной пѣвучестью русскаго акцента, пѣвучестью, напоминающею немного не то ребенка, не то негра (sic!). Тронутый, ободренный сдѣланной ему нами оваціей, онъ разсказываетъ намъ много интереснаго о русской литературѣ, и говоритъ, что вся она, отъ романа до театра, стоитъ на широкомъ пути реалистическаго изученія».

Тургеневъ находился также въ постоянныхъ сношеніяхъ съ Жюль Симономъ, Эдмондомъ Абу, Гуно, Ожье, Максимомъ Дю-Канъ, Викторомъ Гюго, Жюль Жаненомъ, Франсископъ Сарсе, Жюлемъ Кларси, а позднѣе Флоберъ познакомилъ его съ молодой натуралистической школой: Зола, Додэ, которые вмѣсто съ Эдмондомъ Гонкуромъ, Флоберомъ и Тургеневымъ образовали маленькое „Общество пятерыхъ", собиравшихся ежемѣсячно на обѣды у Флобера или у братьевъ Гонкуровъ. Наконецъ, черезъ Зола, Тургеневъ познакомился съ другими молодыми писателями, и главнымъ образомъ, съ Гюи-де-Мопассаномъ.

§ 8. Знакомство Тургенева съ Густавомъ Флоберомъ начинается съ 1858 г., но болѣе частыя сношенія между ними установились только съ 1863 г., когда Тургеневъ сдѣлался постояннымъ посѣтителемъ «обѣдовъ Маньи». Эта дружба приняла характеръ интимности, благодаря одинаковому благоговѣнію обоихъ писателей къ Жоржъ-Зандъ. Гонкуръ, Зола, Мопассанъ также свидѣтельствуютъ о тѣсной дружбѣ, связывавшей Тургенева съ Флоберомъ. Слѣды этой дружбы можно видѣть на каждомъ шагу въ перепискѣ Флобера съ друзьями, и особенно съ Жоржъ-Зандъ. Отъ 2-го іюля 1870 г. Флоберъ пишетъ. Кромѣ васъ и Тургенева я не знаю ни одного смертнаго, которому бы я могъ излить все то, что наиболѣе близко моей душѣ; а вы оба такъ далеко живете отъ меня [203]).

Въ другомъ мѣстѣ: «Я провелъ вчера очень хорошій день съ Тургеневымъ, которому я прочелъ 115 уже написанныхъ страницъ изъ «Св. Антонія»... Какой слушатель! и какой критикъ! Онъ ослѣпилъ меня глубиною и ясностью своихъ сужденій... Онъ далъ мнѣ для «Св. Антонія» два или три чудныхъ совѣта относительно подробностей» [204]).

Въ письмѣ къ г-жѣ Ренье онъ говоритъ: «M-me Зандъ теперь мой единственный литературный другъ, вмѣстѣ съ Тургеневымъ! Правда, эти два стоятъ цѣлой толпы!» [205]).

Тургеневъ считалъ Флобера замѣчательнѣйшимъ французскимъ писателемъ, а «Madame Bovary» самымъ сильнымъ произведеніемъ нашего вѣка. Онъ перевелъ на русскій языкъ «La légende de S-t. Julien l'Hospitalier» и «Hérodiade», съ неподражаемымъ совершенствомъ.

Послѣ Франко-прусской войны Флоберъ и Тургеневъ рѣшили собираться въ интимномъ кружкѣ. «Въ это время, пишетъ Альфонсъ Додэ, возникла мысль о ежемѣсячныхъ собраніяхъ, гдѣ друзья могли бы сходиться за хорошимъ обѣдомъ. Это называлось «обѣдами Флобера» или «обѣдами освистанныхъ авторовъ»: Флоберъ былъ освистанъ за «Кандидата», Зола—за «Розовый бутонъ». Гонкуръ—за «Генріету Марешаль», я—за «Арлезіанку»... Что касается Тургенева, то онъ далъ намъ слово, что былъ за что то освистанъ въ Россіи, а такъ какъ она была очень далека, то мы туда не поѣхали, чтобы провѣрять его».

Кромѣ того были воскресныя собранія литераторовъ у Флобера. «Первымъ часто приходилъ Тургеневъ, котораго Флоберъ обнималъ, какъ брата»,—разсказываетъ Гюи де-Мопассанъ. Приходили также Тэнъ, Жоржъ Пуше, Клодіусъ Попелэнъ, Филиппъ Бюрти, Леонъ Кладель, Катуллъ Мендесъ, Эмиль Бержера, Жозе-Марія-д'Эредіа, Гюи-де-Мопассанъ, Поль Але-

---

[203]) Corespondence vol. IV. p. 25.
[204]) Ibid. vol. IV, p. 95.
[205]) Ibid. vol. IV. p. 140.

кенсъ, Гюисмансъ, Леонъ Генникъ, Сеаръ, Гастонъ Тудузъ, не считая посѣтителей обѣдовъ «освистанныхъ авторовъ». Тургеневъ опускался въ кресло и говорилъ. Флоберъ слушалъ его съ религіознымъ благоговѣніемъ. Ихъ разговоръ рѣдко касался событій текущей жизни и не выходилъ за предѣлы литературы и литературной исторіи. Тургеневъ часто являлся нагруженнымъ иностранными книгами и переводилъ Гете, Пушкина или Суинбёрна.

Обращенія въ письмахъ изображаютъ, какъ отношенія Тургенева къ Флоберу становятся болѣе интимными: сначала Cher Monsieur, потомъ Cher Monsieur Flaubert, Mon cher confrère, Mon cher ami, и наконецъ, Mon bon vieux.

Отъ 24-го ноября 1868 года Тургеневъ пишетъ:

«Если весь вашъ романъ такъ же хорошъ, какъ присылаемые вами отрывки, то вы создали образцовое произведеніе (l'Education sentimentale). Это *я* вамъ говорю..., найдите другое заглавіе: «Сентиментальное воспитаніе» не хорошо».

Отъ 30 января 1870 г.: «Въ первомъ номерѣ одного русскаго журнала, который издается въ Петербургѣ, и носитъ названіе «Messager Russe [206]» (нѣчто въ родѣ русской Revue des Deux Mondes), помѣщена огромная статья о вашей книгѣ (l'Education sentimentale) (и это только первая часть). Ее разбираютъ очень подробно и разсказываютъ весь сюжетъ. Много хвалятъ и автора, и его произведеніе. Заглавіе этой статьи «Новое французское общество».

«Я думаю, что дѣйствительно путешествіе въ Россію вдвоемъ со мной было бы для васъ полезно; въ аллеяхъ стараго деревенскаго сада, полнаго сельскихъ благоуханій, земляники, пѣнія птицъ и т. д.» (Изъ Москвы отъ 26-го іюня 1872 г.)... невольно замираешь въ какомъ то неподвижномъ состояніи, торжественномъ, безконечномъ и тупомъ, въ которомъ соединяется въ одно и то же время и жизнь, и животность, и Богъ».

Отъ 5-го іюня 1874 г. изъ Спасскаго: «Пишу вамъ изъ глубины моей трущебы... Уже не въ первый разъ я пишу вамъ отсюда, и вы знаете мѣстность: зелено, золотисто, широко, монотонно, тихо, какъ бы дряхло и странно неподвижно,— скука патріархальная, медлительная и охватывающая васъ со всѣхъ сторонъ... Вы довольны романомъ Зола? Я написалъ ему и устроилъ его дѣла на будущее время. Это немного, но все же лучше, чѣмъ ничего (благодаря посредничеству Тургенева Зола принятъ былъ корреспондентомъ изъ Парижа въ «Вѣстникъ Европы», гдѣ работалъ, начиная съ 1874 г.). Его много читали и переводили въ Россіи; только что издали его «Curée».

[206]) т. е. Messager de l'Europe—«Вѣстникъ Европы».

«Антоній» (Les tentations de St. Antoine) рѣшительно не для большой публики, а обыкновенные читатели отступаютъ въ ужасѣ даже и въ Россіи. Я не считалъ моихъ соотечественниковъ столь слабонервными. Тѣмъ хуже! Но какъ бы то ни было, «Антоній» такая книга, которая не забудется».

Отъ 30-го іюня 1874 г. изъ Москвы: «Завоеваніе Плассана Зола было переведено въ сокращенномъ видѣ въ одномъ русскомъ журналѣ, потомъ переведутъ in extenso. Зола любятъ въ Россіи».

«Зола кажется написалъ въ русскомъ журналѣ длинную статью о m-me Зандъ; говорятъ, статья очень хороша, но немного жестка. Золя не можетъ судить о m-me Зандъ вполнѣ вѣрно,— разстояніе между ними слишкомъ велико». (Изъ Спасскаго, отъ 23-го іюня 1876 г.).

«Я не читалъ фельетоновъ Зола,—но прочелъ первую часть Assommoir... Ну! ну! чертъ возьми—мы поговоримъ объ этомъ». (Буживаль. 8-го ноября 1876 г.).

«Я поправляю корректуры моего романа, которыя пересылаютъ мнѣ изъ Петербурга, и нахожу его плоскимъ, незначительнымъ («Новь»)... Гонкуръ прочелъ намъ отрывокъ изъ своего романа (La fille Elisa), прерывающимся отъ волненія голосомъ. Мнѣ показалось страннымъ, что человѣкъ съ сѣдой головой можетъ придти въ такое волненіе. То, что онъ прочелъ намъ, хорошо, но пожалуй нѣсколько скомкано. Я попробовалъ читать Assommoir и въ восторгъ не пришелъ. Это, конечно, строго между нами. Талантъ конечно есть, но романъ тяжелъ, и слишкомъ много тамъ вынесено на улицу домашняго сора».

Интересенъ, въ письмѣ отъ 19-го декабря 1876 г. отзывъ Тургенева о первой главѣ «Воспоминаній дѣтства» Ренана, появившихся въ Revue des Deux Mondes 1 декабря 1876 г.: «Его статья очень интересна во всемъ, что касается его лично, но какое отсутствіе колорита и жизни! Я ничего не вижу: ни Бретани, ни всѣхъ этихъ святыхъ, ни его матери... ни его самого. И зачѣмъ онъ говоритъ, что Богъ далъ ему дочь».

Мы видимъ, что Тургеневъ вовсе не подчинялся духовно своимъ французскимъ друзьямъ, напротивъ, онъ являлся среди нихъ критикомъ и законодателемъ вкуса.

«Я только что кончилъ «Набоба»,—пишетъ онъ отъ 5-го дек. 1877 г., въ этой книгѣ есть многое выше уровня Додэ, и многое ниже. То, что онъ наблюдалъ—великолѣпно; то, что онъ выдумываетъ — хило, безвкусно и даже неоригинально. Несмотря на все это, хорошія мѣста этой книги такъ хороши,—что я думаю,—я рѣшусь написать ему письмо безъ прикрасъ, которое одновременно причинитъ ему и удовольствіе и огорченіе. А можетъ быть, въ концѣ концовъ, я не сдѣлаю этого».

Письмо было написано. Додэ его приводитъ: «Скажу теперь только одно:

изъ всѣхъ книгъ, написанныхъ вами. Набобъ — самая замѣчательная и самая неровная. Если Фромона и Рислеръ изобразить прямой линіей, то Набоба должно изобразить такъ (слѣдуетъ изображеніе ломаной линіи) и верхушки зигзаговъ могутъ быть доступны только перворазрядному таланту». «Я прочелъ фельетонъ Зола, — пишетъ Тургеневъ отъ 14-го іюня 1878 г. — Что хотите? Я жалѣю его. Да, онъ внушаетъ состраданіе: и я боюсь, что онъ никогда не читалъ Шекспира. Въ немъ есть прирожденный грѣхъ, отъ котораго онъ никогда не избавится».

§ 9. Статьи Зола сначала появились въ Вѣстникѣ Европы, потомъ въ Фигаро (декабря 1877) и наконецъ были соединены въ одинъ томъ подъ заглавіемъ: Писатели натуралисты; въ нихъ заключались оцѣнки Стендаля, Бальзака, Флобера, Гонкура и Додэ. Въ минуту своего появленія онѣ вызвали такую ожесточенную критику, и такія нападки со стороны прессы, что Барду, министръ народнаго просвѣщенія, который, по настоянію Флобера и Додэ, хотѣлъ дать Зола орденъ Почетнаго Легіона, долженъ былъ отказаться отъ своего намѣренія. «Если увидите Зола, пишетъ Флоберу Тургеневъ въ 1879 г., — то скажите ему, что я пришлю ему сюжеты для фельетоновъ, какъ только увижу Стасюлевича, и переговорю съ нимъ. А пока я вотъ что придумалъ. Еслибъ онъ написалъ психологическій этюдъ о закулисной сторонѣ журнализма въ Парижѣ»? «Вотъ уже шестой день, какъ мы съ восторгомъ, съ восхищеніемъ читаемъ «Сентиментальное воспитаніе»... Есть впрочемъ, пятно, единственное, это описаніе пѣнія m-me Arnoux... впечатлѣніе получается неясное, и даже немного комическое, чего, конечно, вы не хотѣли, неправда-ли?» (13 го ноября 1879). «Въ скоромъ времени, читаемъ въ другомъ письмѣ, я пришлю вамъ романъ (Война и миръ) въ трехъ томахъ Льва Толстого, котораго я считаю первымъ современнымъ писателемъ. Вы знаете, кто, по моему мнѣнію, можетъ оспаривать у него это мѣсто? Къ несчастью, переводъ сдѣланъ русскою дамой, а я вообще боюсь дамъ-переводчицъ, въ особенности, когда дѣло идетъ о такомъ сильномъ писателѣ, какъ Толстой».

Въ письмѣ къ Льву Толстому отъ 12-го января 1880 г. Тургеневъ сообщаетъ автору Войны и Мира отрывокъ изъ письма Флобера относительно этого произведенія: «Благодарю, что вы дали мнѣ возможность прочесть романъ Толстого, это перворазрядная вещь! Какой художникъ и какой психологъ! Два первые тома изумительны, но третій страшно катится подъ гору. Онъ повторяется и философствуетъ. Однимъ словомъ, здѣсь виденъ самъ авторъ и русскій, тогда какъ до тѣхъ поръ видны были только природа и человѣчество. Мнѣ кажется, что есть мѣста, достойныя Шекспира. Мнѣ случалось вскрикивать отъ восторга во время чтенія, а оно продолжительно. Да, это сильно, очень сильно!»

Въ отвѣтъ Флоберу отъ 24-го января 1880 г., Тургеневъ писалъ: «Вы не можете вообразить, какое удовольствіе доставило мнѣ ваше письмо и то, что вы говорите о романѣ Толстого. Ваше одобреніе укрѣпляетъ мое мнѣніе о немъ. Да, это очень могучій человѣкъ, а между тѣмъ вы замѣтили его больное мѣсто. Онъ создалъ себѣ философскую систему, въ одно и то же время мистическую, дѣтскую и высокомѣрную, которая чертовски испортила его второй романъ, написанный имъ послѣ Войны и Мира, но гдѣ находятся также въ полномъ смыслѣ первокласныя вещи (Анна Каренина). Не знаю, что скажутъ гг. критики (я послалъ также Войну и Миръ Додэ и Зола), но для меня вопросъ рѣшенъ. Flaubertus dixit. Остальное не важно. Я радъ, что ваши добряки («Буваръ и Пекюше») подвигаются впередъ». Тургеневъ послалъ экземпляры «Войны и Мира», такъ-же Тэну, Эд. Абу, Андрэ Тёрье и др.

Тургеневъ познакомился съ Жоржъ Зандъ въ 1847 г. въ домѣ супруговъ Віардо. Только много лѣтъ спустя, послѣ появленія французскаго перевода Записокъ Охотника, Жоржъ Зандъ могла оцѣнить литературное достоинство Тургенева, и это было для нея открытіемъ. «Я была очарована, писала великая романистка, посвящая одинъ свой разсказъ Тургеневу, обширной галлереей портретовъ съ натуры, которую вы издали подъ заглавіемъ «Записки охотника». Какое мастерское изображеніе! Какъ хорошо видишь, слышишь и узнаешь всѣхъ этихъ крестьянъ сѣвера, еще рабовъ въ описываемую вами эпоху, и всѣхъ этихъ деревенскихъ жителей, мѣщанъ и дворянъ, съ которыми достаточно минутной встрѣчи, и нѣсколькихъ словъ, чтобы начертать портретъ, дышащій жизнію и красками! (Temps. 30-го октября 1872 г.) Въ концѣ 1868 г. она писала Флоберу о Тургеневѣ: «Что за талантъ! И какъ все это оригинально и сочно! Я нахожу, что иностранцы пишутъ лучше насъ. Они не позируютъ, между тѣмъ какъ мы драпируемся или копаемся въ грязи»[207]).

Вскорѣ послѣ войны 1870 г., Тургеневъ и Жоржъ Зандъ обмѣнялись первыми письмами. Ихъ переписка длилась до 1876 г.,—года смерти Жоржъ Зандъ. По словамъ Зола, онъ въ началѣ 1872 г. встрѣтился въ первый разъ съ Тургеневымъ у Густава Флобера, жившаго тогда въ улицѣ Мурильо, 4, въ квартирѣ, окна которой выходили въ паркъ Монсо. Въ это же самое время, и въ томъ-же самомъ домѣ, познакомился съ русскимъ писателемъ и Альфонсъ Додэ.

Зола переживалъ тогда тяжелые дни дебютовъ и только что напечаталъ Fortune des Rougon—первый томъ серіи Rougon—Macquart, которая должна была составить эпоху въ современной литературѣ. Онъ нашелъ въ Тургеневѣ почитателя и неутомимаго пропагандиста, и, благодаря ему, сдѣлался

---

[207]) Жоржъ Зандъ. Переписка. V. p. 290.

извѣстнымъ въ Россіи раньше даже, чѣмъ во Франціи. Зола признаетъ, что Тургеневъ первый представилъ его русской публикѣ въ самую трудную минуту его литературной дѣятельности.

Ни въ одинъ журналъ меня не пускали. Я умиралъ съ голоду, въ меня со всѣхъ сторонъ бросали грязью и вотъ, въ это-то время Тургеневъ представилъ меня этой великой Россіи, гдѣ меня очень полюбили [207]).

La Faute de l'abbé Mouret была переведена по-русски ранѣе, чѣмъ она появилась по-французски. Переводчица — Анна Николаевна Энгельгардтъ (А. Э.), долго сотрудничавшая въ «Вѣстникѣ Европы», жена автора «Писемъ изъ деревни», переводившая и корреспонденціи Зола съ такимъ совершенствомъ, что многіе не вѣрили, что это переводъ и удивлялись знанію Зола въ русскомъ языкѣ.

Мы уже указали выше, что духомъ Тургеневъ оставался свободенъ и понималъ всѣ недостатки молодой французской натуралистической школы. Въ письмѣ Салтыкову отъ 25-го ноября 1875 г. онъ пишетъ: «Когда Петръ Великій встрѣчалъ умнаго человѣка, то, говорятъ, цѣловалъ его въ лобъ. Но я, хотя и не Петръ, и не Великій, но прочитавъ ваше письмо отъ 18-го ноября, охотно поцѣловалъ бы васъ, мой дорогой другъ, до такой степени показалось мнѣ вѣрнымъ все то, что вы говорите о романахъ Гонкура и Зола. Я самъ смутно чувствовалъ это, и боролся съ неопредѣленнымъ недоумѣніемъ и только теперь я могу сказать: постой! Я понялъ. Имъ не таланта недостаетъ, особенно Зола, нѣтъ! но они идутъ по ложной дорогѣ и слишкомъ много выдумываютъ. Ихъ литература воняетъ литературой, вотъ въ чемъ ихъ недостатокъ. Но очевидно, что въ настоящее время это нравится нашей русской публикѣ... Сюжетъ романа Гонкура довольно смѣлъ. Это добросовѣстный и глубокій анализъ жизни публичной женщины (La fille Elisa). Во всякомъ случаѣ это не «Подростокъ» Достоевскаго! Получивъ послѣднюю книгу «Отечественныхъ Записокъ», я погрузился въ этотъ хаосъ. Боже! какая грязь, какая больничная вонь, какія ненужныя отрыжки, что за манія болѣзненной психологіи!!

Такъ независимо судилъ Тургеневъ, но въ то-же время глубоко уважалъ своихъ друзей—французскихъ писателей.

Г. Гальперинъ—Каминскій печатаетъ слѣдующее письмо къ нему отъ 11-го сентября 1896 г. поэта Якова Петр. Полонскаго, друга Тургенева: «Я позволяю себѣ утверждать съ полнымъ убѣжденіемъ, что Тургеневъ даже въ самыхъ откровенныхъ бесѣдахъ отзывался съ большимъ уваженіемъ о своихъ друзьяхъ, французскихъ писателяхъ, какъ-то о Флоберѣ, Зола, Додэ, Мопассанѣ, Гонкурѣ и другихъ, которыхъ онъ очень любилъ. Онъ гордился своими дружескими отношеніями съ знаменитыми французскими

[207]) Figaro, 5 novembre 1893.

писателями, и этого онъ ни отъ кого не скрывалъ». Не щадя ни времени, ни трудовъ, Тургеневъ заботился о томъ, чтобы познакомить Россію съ произведеніями Зола. Что онъ для него сдѣлалъ, онъ задолго уже передъ тѣмъ сдѣлалъ для Флобера, затѣмъ слѣдовала очередь Гонкура, а потомъ и Гюи-де-Мопассана. Онъ договаривался за нихъ, и взялъ у Зола для Россіи, такъ же какъ и отъ Толстого для Франціи, довѣренность относительно авторскихъ правъ.

Когда Тургеневу предлагали «гостепріимство въ Temps», онъ отвѣчалъ: «Вотъ матеріалъ перваго сорта для вашего журнала. Значитъ, что не я авторъ. Этотъ большой мастеръ, — потому что это дѣйствительно мастеръ — почти совсѣмъ не извѣстенъ во Франціи, но я увѣряю васъ моею совѣстью, что я не достоинъ развязать ремень у его сапога». Черезъ два дня появились въ Temps «Воспоминанія о Севастополѣ» графа Льва Толстого. Это происходило въ апрѣлѣ 1876 г.

Въ то время, какъ въ Россіи называли Тургенева отщепенцемъ, отказавшимся отъ отечества, и забывшимъ его, утратившимъ всякое чутье къ русской жизни, онъ совершалъ великое дѣло, служилъ истинному «русскому дѣлу», распространяя славу русской литературы, знакомя съ великими русскими писателями лучшихъ передовыхъ людей Франціи, Англіи, Германіи, а русское общество съ молодыми, новыми литературными силами этихъ странъ. Въ теченіи 70-хъ годовъ это было единоличное дѣло Тургенева. Въ 80-хъ уже началось полное ознакомленіе западнаго общества съ русской литературой, къ концу вѣка закончившееся признаніемъ ея міроваго значенія.

Тэнъ сказалъ про Тургенева, что его французскій языкъ былъ «языкомъ французскихъ салоновъ XVIII вѣка».

Однако, когда одинъ изъ него біографовъ (г. С. Венгеровъ), сталъ утверждать, что нѣкоторые его разсказы написаны сперва по-французски или по нѣмецки, Тургеневъ энергично протестовалъ: «Я не напечаталъ ни одной строчки, не написанной по-русски, въ противномъ случаѣ я былъ-бы не художникомъ, но простымъ писакой. Какъ можно писать на иностранномъ языкѣ, когда и на своемъ родномъ языкѣ не выразить столько мыслей и образовъ, которые преслѣдуютъ васъ?»

Тургеневъ хотѣлъ устроить Зола и въ «Отечественныхъ Запискахъ», какъ это видно изъ письма его отъ 3-го іюня 1876 г.: «Салтыковъ вернулся изъ Бадена въ Петербургъ наканунѣ моего отъѣзда. Я съ нимъ видѣлся раза два и говорилъ. Онъ намѣревался написать вамъ и предложить присылать имъ четыре фельетона въ годъ—по 100 руб. (330 фр.) за печатный листъ... Я совѣтую вамъ принять это предложеніе, конечно не упуская Стасюлевича, т. е. продолжая посылать ему 12 писемъ... Салтыковъ сказалъ мнѣ;

что вамъ дадутъ темы». «Названіе вашего новаго журнала Отечественныя Записки». (3-го іюля 1876). Дѣло однако не состоялось.

«Вотъ первый томъ вашихъ парижскихъ писемъ,—пишетъ Тургеневъ въ концѣ ноября 1877 г.: — напечатанныхъ Стасюлевичемъ. Онъ содержитъ ваши литературныя оцѣнки Бальзака, Флобера, Гонкура, Додэ, Мюссе, Тэна, Ремюза, Тьера, Ж. Занда, В. Гюго и Дюма сына. Второй томъ выйдетъ скоро».

«Вы знаете, что я всегда имѣлъ намѣреніе познакомить васъ съ нашимъ настоящимъ театромъ, и я это непремѣнно сдѣлаю, какъ только вы вернетесь въ Парижъ; — всѣ русскіе будутъ очень вамъ признательны, если вы пожелаете, въ слѣдующемъ же фельетонѣ, возстановить истину фактовъ. Право, даже досадно слышать, что на Крюковскаго (!!!) смотрятъ во Франціи, какъ на представителя русскаго театра!» (Письмо къ Зола 1878 г.).[209])

Извѣстный разсказъ Boule de Suif, создавшій Мопассану репутацію, и первый сборникъ «Стихотвореній», появились только въ 1880 г. Но уже въ письмѣ отъ 24-го января 1877 г. къ Густаву Флоберу, Тургеневъ говоритъ о Мопассанѣ, какъ объ одномъ изъ близкихъ ему людей. Мопассанъ такъ же внимательно прислушивался къ мнѣніямъ и совѣтамъ Тургенева, какъ и Флобера. Тургеневъ рано угадалъ въ немъ несравненнаго художника.

Гр. Л. Н. Толстой, въ своей статьѣ о Мопассанѣ, такъ излагаетъ свое первое знакомство съ его произведеніями: «Разъ Тургеневъ, гостя у меня, кажется въ 1881 году, взялъ въ своемъ чемоданѣ маленькую французскую книжку подъ заглавіемъ La maison Tellier и передалъ ее мнѣ. — Прочтите это при случаѣ, — сказалъ онъ тѣмъ же наружно равнодушнымъ тономъ, съ которымъ годъ передъ тѣмъ передалъ мнѣ номеръ Отечественныхъ Записокъ съ помѣщеннымъ въ немъ разсказомъ Гаршина, тогда только-что выступавшаго въ литературѣ. Очевидно, какъ и относительно Гаршина, онъ остерегался такъ или иначе повліять на меня, и желалъ имѣть мое совершенно самостоятельное мнѣніе. — Это молодой французскій писатель, — сказалъ онъ. Посмотрите, это не дурно: онъ васъ знаетъ и высоко цѣнитъ, — прибавилъ онъ, какъ бы желая расположить меня въ его пользу. — Какъ человѣкъ, онъ мнѣ напоминаетъ Дружинина: прекрасный сынъ, отличный другъ; человѣкъ вполнѣ корректный въ отношеніяхъ, и сверхъ того онъ много живетъ среди рабочихъ, помогаетъ имъ и учитъ ихъ».

Дружба съ Мопассаномъ не измѣнилась до самой смерти Тургенева, и изъ всѣхъ статей, ею вызванныхъ, наиболѣе горячимъ и восторженнымъ былъ отзывъ Мопассана. «Ваше имя гремитъ въ Россіи», — писалъ Тургеневъ

---

[209]) Крюковскій, Матвѣй Васильевичъ въ 1807 г. поставилъ трагедію «Пожарскій», одновременно съ «Дмитріемъ Донскимъ», Озерова. См. т. I. нашей Исторіи литературы стр. 116.

отъ 26-го сентября 1881 г. Мопассану, перевели все, что было переводимаго, и я привезъ съ собой огромную статью о васъ (напечатанную въ «Голосѣ») очень хорошую и очень теплую».

§ 10. Во главѣ «Отечественныхъ Записокъ» стояли Салтыковъ и Некрасовъ, внутренній отдѣлъ велъ умный и тактичный поповичъ Елисѣевъ; постоянными публицистами и рецензентами были юркій Михайловскій и Скабичевскій, мало даровитый, но трудолюбивый и знающій работникъ.

Роль «Отечественныхъ Записокъ» семидесятыхъ годовъ, какъ писательской школы, и Щедрина, какъ редактора, чрезвычайно значительны. Здѣсь нашелъ себѣ пріютъ, одинокій въ 60-хъ годахъ, писатель—разночинецъ, писатель изъ даровитыхъ семинаристовъ. Вся школа «шестидесятниковъ» выступила въ «Отечественныхъ Запискахъ». И что всего важнѣе, она получала указанія отъ Салтыкова, человѣка иной среды и воспитанія, писателя художественной школы пятидесятыхъ годовъ. Онъ причесывалъ, умывалъ, вводилъ въ границы это варварски--свѣжее, сильное, талантливое и дикое теченіе литературы, порожденное вступленіемъ въ среду цивилизаціи черноземныхъ силъ, «новыхъ людей». Всѣ эти Щаповы, Елисѣевы, Михайловскіе, Скабичевскіе и прочіе умные и даровитые поповичи находили въ Щединѣ драгоцѣннаго руководителя. «Дѣло», съ мальчишески-задорными статьями оставалось подъ ферулой Благосвѣтлова и его преемниковъ. Тамъ по прежнему «ляпали» всякія дикости, во вкусѣ «Русскаго Слова». Но въ «Отеч. Зап.» всегда были тактъ и мѣра, умъ и вкусъ.

Редакціонный карандашъ Салтыкова образовалъ цѣлый рядъ талантливыхъ писателей. Направленіе журнала было не славянофильское и не западническое. Въ немъ образовалось то теченіе, которое скоро приняло наименованіе «народничества». Народники принимали только экономически-бытовую правду крестьянства, но оставались чуждыми и даже враждебными церковно-государственнымъ идеаламъ русскаго народа. Въ экономическо-бытовомъ строѣ народа они находили воплощеніе соціалистическаго идеала, и въ этомъ отношеніи являлись наслѣдниками Чернышевскаго и кружка Огарева и Герцена съ ихъ соціальнымъ утопизмомъ. Широкое мѣсто давалось въ журналѣ художественному изображенію народа, хотя общиннаго, но всегда безрелигіознаго и безгосударственнаго. Однако, масса чисто этнографическихъ матеріаловъ здѣсь была дана, явились изображенія быта средняго сословія, евреевъ, мастеровщины. Въ «Отечественныхъ Запискахъ» появился впервые Сергѣй Атава — Терпигоревъ («Въ степи» 1869 и 1870 г. Комедія «Сліяніе» 1870 г.); рядъ романевъ П. Д. Боборыкина: «Солидныя добродѣтели» (1870), «Посестріе» (1871); «Дѣльцы» (1872), «Докторъ Цибулька» (1874), «Долго-ли?» (1875), «Лихія болѣсти» (1876), «Ранніе выводки» (1877); Багрова: «Записки еврея» (1871); Марко Вовчка: «Запи-

ски причетника» (1869—1870); «Теплое гнѣздышко» (1875); «Въ глуши» (1875); Вологдина-Засодимскаго «Хроника села Смурина» (1874); здѣсь былъ напечатанъ первый разсказъ Гаршина: «Четыре дня» (1877); начатъ былъ Дм. Гирсомъ романъ «Старая и новая Россія» (1868); появился Златовратскій («Крестьяне—присяжные», 1874—1875, «Въ артели», 1876, «Золотыя сердца», 1877); романъ Ѳ. М. Достоевскаго «Подростокъ» (1875); замѣчательный романъ Кущевскаго—«Николай Негоревъ или Благополучный Россіянинъ» (1871); романы и повѣсти Крестовскаго (псевдонимъ Хвощинской): «Счастливые люди» (1874), «На вечерѣ» (1876), «Изъ записной книжки» (1877) и «Между друзьями» (1877); романы даровитѣйшей Смирновой: «Огонекъ» (1871), «Соль земли» (1872), «Попечитель учебнаго округа» (1873), «Сила характера» (1876), «У пристани»; появился Садовъ («Мельница купца Чесалкина», 1877 г.); «Письма изъ деревни» А. Н. Энгельгардта; рядъ комедій Островскаго; рядъ интересныхъ этнографическихъ статей: Кроткова — «Волостные суды» (1873 г.), С. В. Максимовъ «Бродячая Русь» (1874—1876 г.), Никитина — «Многострадальные, очерки изъ быта кантонистовъ» (1871); романъ Рѣшетникова «Свой хлѣбъ» (1870 г.).

Значительную роль въ журналѣ, какъ публицистъ и критикъ, а также популярность у молодежи пріобрѣлъ талантливый и удивительно тактичный въ своихъ писаніяхъ, Михайловскій. Правда, эта либеральная тактичность шла въ ущербъ темпераменту у этого неутомимаго и обильнаго писателя. Николай Константиновичъ Михайловскій родился 15-го ноября 1842 г. въ Мещевскѣ, Калужской губерніи. Учился въ Костромской гимназіи и въ Горномъ институтѣ. Впервые выступилъ въ печати въ 1860 г. въ «Разсвѣтѣ» (журналѣ для дѣвицъ). Затѣмъ долгое время только «пописывалъ» въ разныхъ мѣстахъ, въ «Книжномъ Вѣстникѣ», «Дѣлѣ», «Недѣлѣ». Съ 1869 г. онъ становится постояннымъ сотрудникомъ «Отечественныхъ Записокъ», а по кончинѣ Некрасова въ 1877 г. является даже «соарендаторомъ» журнала [210]).

Въ «Отечественныхъ Запискахъ» семидесятыхъ годовъ Михайловскій велъ подъ разными заглавіями ежемѣсячный, весьма разнообразный по содержанію фельетонъ («Литературныя замѣтки», «Изъ дневника и переписки Ивана Непомнящаго», «Записки профана», «Въ перемежку», «Письма къ ученымъ людямъ» и т. д.). Въ манерѣ этихъ фельетоновъ чувствуется явное подражаніе королю фельетонистовъ 70-хъ годовъ, Незнакомцу (А. С. Суворину). Къ сожалѣнію Михайловскій лишенъ истиннаго юмора и замѣняетъ его достаточно тяжеловѣснымъ острословіемъ. Здѣсь ведутся имъ полемики, онъ яростно нападаетъ на «Русскій Вѣстникъ», аристократизмъ

[210]) См. «Исторію» г. Скабичевскаго, изд. 4-е, стр. 107.

Болеслава Маркевича. Руководящіе взгляды—редакціонные и скользящіе по поверхности вещей. Въ общемъ фельетоны эти вполнѣ подчиняются требованію «Устава пѣнкоснимателей»: «не пропуская ни одного современнаго вопроса, обо всемъ разсуждать съ такимъ разсчетомъ, чтобы никогда ничего изъ сего не выходило». Вообще, во всю свою долгую литературную карьеру Михайловскій строго держался спасительныхъ предписаній сего Щедринскаго «Устава». Въ силу этого онъ хотя и «страдалъ», но лишь въ видѣ поѣздки на станцію Колпино, и молодежь его качала на студенческихъ вечеринкахъ, и «со-арендаторомъ» онъ былъ. Кромѣ фельетоновъ, въ полной цѣлости («Всякая строка великаго писателя драгоцѣнна для потомства») собранныхъ въ шести колоссальныхъ томахъ «Сочиненій», Михайловскій написалъ еще рядъ научно-популярно-философско-соціологическихъ трактатовъ: «Что такое прогрессъ?» (1869); «Аналогическій методъ въ общественной наукѣ» (1869); «Теорія Дарвина и общественная наука» (1870—1871 г.); «Дарвинизмъ и оперетки Оффенбаха» (1871 г.). «Что такое счастье?» (1872); «Борьба за индивидуальность» (1875—1876 года.); «Вольница и подвижники» (1877 г.) и др. Въ этихъ статьяхъ онъ разбираетъ на сотняхъ страницъ теоріи Спенсера, Дарвина и О. Конта, при чемъ не столько опровергаетъ ихъ, сколько укоряетъ за жестокость, защищаетъ «дикаго человѣка», и вообще отстаиваетъ взгляды Руссо, положенные въ основу народничества и уничтожаемые трезвой наукой. Точка зрѣнія Михайловскаго довольно комическая, такъ какъ онъ судитъ объективную науку съ точки зрѣнія субъективныхъ, народническихъ симпатій къ меньшей братіи. Соціологическія статьи Михайловскаго въ наше время составляютъ положительный курьезъ. Въ то-же время онѣ могли-бы составить богатый вкладъ въ книгу Н. Н. Страхова: «Борьба съ западомъ», и достойны стать въ паралель съ знаменитыми «опроверженіями» дарвинизма Н. Данилевскаго.

«Спенсеръ трактуетъ объ общественныхъ вопросахъ совершенно также безстрастно, какъ о гипотезѣ туманныхъмассъ или о фазахъ развитія гидры. Мы къ этому не привыкли»[211]), заявляетъ нашъ «соціологъ».

Тотъ-же укоръ Михайловскій предъявляетъ и позитивизму: это сухое ученіе не разбираетъ, кто плачетъ - несчастный-ли русскій мужичекъ или богачъ—Губонинъ крокодиловы слезы проливаетъ?

«Слезы, какъ продуктъ химико-физіологическаго процесса, и тѣ-же слезы, какъ результатъ процесса соціально—психологическаго, и въ томъ, и въ другомъ случаѣ повинуясь извѣстнымъ законамъ, одинаково требуютъ изученія съ точки зрѣнія позитивизма»[212]).

[211]) Что такое прогрессъ?
[212]) Что такое прогрессъ?

Конта, Дарвина и Спенсера, котораго язвительно именуетъ «мистеръ Спенсеръ», нашъ Михайловскій разбираетъ съ точки зрѣнія извѣстной народнической марсельезы, которая пѣвалась на мотивъ изъ «Лукреціи Борджіа»:

> Укажи мнѣ такую обитель,
> Я такого угла не видалъ,
> Гдѣ-бы сѣятель нашъ и хранитель,
> Гдѣ-бы р-у-у-скій мужикъ не страда-а-алъ...

Особенно любопытенъ научный трактатъ Николая Константиновича «Дарвинъ и оперетки Оффенбаха». Вотъ что здѣсь говорится:

«Ничего, повидимому, между собою общаго не имѣющія, но дружно работающія, силы суть: дарвинизмъ и оперетки Оффенбаха. О, русская критика, если-бы я не зналъ, что твои громы подобны картоннымъ громамъ Юпитера въ оффенбаховскомъ «Орфеѣ», я бы сильно струсилъ, ставя эти имена рядомъ... Разница въ отношеніяхъ либеральной критики къ Дарвину и Оффенбаху дѣйствительно громадная. Одного всѣ — я продолжаю разумѣть либеральную критику, и письменную и устную — одного всѣ уважаютъ, хотя весьма мало читаютъ и еще меньше понимаютъ; другого всѣ презираютъ, хотя всѣ смотрятъ, слушаютъ, напѣваютъ, насвистываютъ, но то-же не понимаютъ. Въ одномъ видятъ гордость нашего вѣка, въ другомъ — позорное пятно на современной цивилизаціи... Дарвинъ и Оффенбахъ суть оба въ равной мѣрѣ продолжатели «просвѣтителей» XVIII вѣка»[213]).

«Если-бы пропагандисты Дарвина и исполнители Оффенбаха выглянули изъ-за своего педантизма и гаерства на вольный просторъ жизни, они увидѣли-бы, что нити, исходящія отъ нихъ въ общественное сознаніе, на извѣстномъ пунктѣ совершенно сходятся, сматываются въ одинъ клубокъ. Они поняли-бы, что въ извѣстномъ отношеніи они кровные братья по духу, по конечнымъ результатамъ своей дѣятельности»[214]).

«Я обращаю вниманіе читателей на утѣшительный конецъ, никогда, впрочемъ, не наступающій, борьбы за существованіе. Процессъ, которымъ вырабатываются высшія формы жизни, ужасенъ и глубоко — возмутителенъ. Это цѣпь насилій, голодныхъ смертей, медленныхъ и внезапныхъ самоубійствъ. Но кончается все прекрасно...

Дзинь-ля-ля...

Читатель, это просится на сцену Оффенбахъ»[215]).

---

[213]) Соч. Н. К. Михайловскаго. Томъ первый. Столбецъ 393 и 396. Изд. 1896 г.

[214]) Ibid. Столбецъ 401.

[215]) Ibid. Столбецъ 418-й.

Въ концѣ концовъ нашъ ученый соціологъ энергично провозглашаетъ: Развратъ есть одинъ изъ молотовъ исторіи»[216]).

Конечно, сотоварищъ по журналу, Александръ Михайловичъ Скабичевскій нѣсколько иного взгляда на ученые труды бывшаго «соарендатора» «Отечественныхъ Записокъ». Въ своей «Исторіи» онъ говоритъ: «Чтобы понять значеніе Михайловскаго, какъ философа, публициста и критика, нужно взять во вниманіе тотъ моментъ, въ который онъ выдвинулся... Это была эпоха полной умственной анархіи... Прежде всего былъ необходимъ свѣтъ знанія и философско—систематической мысли. Въ подобное-то смутное время какъ нельзя болѣе кстати было появленіе въ лицѣ Михайловскаго публициста, который обладалъ умомъ сильнымъ, свѣтлымъ, философски развитымъ и снабженнымъ богатою начитанностью и принялъ на себя трудную и неблагодарную обязанность расчистить хаотическую груду отъ всего накопившагося въ ней мусора, собрать все, что было въ ней драгоцѣннаго, и облечь его въ стройную философскую систему».

Почтенный историкъ, конечно, ошибается. Въ анархію нигилистическаго реализма конца 60-хъ годовъ внесъ нѣкоторую гармонію Салтыковъ, въ качествѣ редактора толстаго журнала. Его внушеніямъ обязанъ и Михайловскій умѣренностью своихъ взглядовъ. Всѣ сотрудники «Отеч. Записокъ» жили редакціоннымъ умомъ, и выйдя изъ журнала, многіе становились неузнаваемы. Такое значеніе имѣло редакціонное внушеніе.

«Главная сила таланта Михайловскаго, продолжаетъ г. Скабичевскій,- заключается именно въ философски—воспитанномъ умѣ, обладающемъ, при богатой эрудиціи, непреоборимою діалектикою, всеразлагающимъ анализомъ и своеобразнымъ остроуміемъ... Убійственный огонь критическихъ и полемическихъ статей Михайловскаго, вскорѣ послѣ появленія почтеннаго публициста на литературномъ поприщѣ, сдѣлался страшнымъ не для однихъ записныхъ и заклятыхъ враговъ его лагеря, но и для многихъ мнимыхъ друзей... Желая очистить лагерь отъ этихъ мнимыхъ друго-враговъ (какъ выразился въ одной своей статьѣ Михайловскій), онъ, не ограничиваясь ими, предалъ глубокому анализу и западные авторитеты, чтобы и въ нихъ очистить пшеницу отъ плевелъ и научить русскую публику обращаться къ нимъ критически, не принимая каждое ихъ слово на вѣру. Его статьи о Спенсерѣ, о Дарвинѣ и вообще по соціологіи представляютъ цѣнный вкладъ въ науку и если-бы ихъ перевести на одинъ изъ иностранныхъ языковъ, онѣ не замедлили-бы доставить автору общеевропейскую извѣстность»[217]).

---

[216]) Ibid. Столбецъ. 422-й.

[217]) А. М. Скабичевскій. Исторія новѣйшей русской литературы. Изд. 4-е. Стр. 108, 109 и 110.

Странно, что при такой увѣренности, переводъ не былъ сдѣланъ. Или г. Михайловскій пощадилъ Дарвина, О. Конта и мистера Спенсера? На нашъ взглядъ «опровերженіе» Дарвина, Спенсера и Конта, предпринятое Михайловскимъ, такого-же достоинства, какъ и ниспроверженіе Пушкина задорнымъ Писаревымъ. Только Писареву было немного больше двадцати лѣтъ и редакторомъ его былъ Благосвѣтловъ, поэтому статьи его и носили такой мальчишескій характеръ, онъ такъ смѣло ляпалъ. Имѣя тридцать лѣтъ отъ роду и Салтыкова редакторомъ, правда ничего въ естествознаніи не смыслившимъ, Михайловскій обходится съ Дарвиномъ и Спенсеромъ поприличнѣе. Статьи его писаны безцвѣтно— резонерскимъ, прилично-популярнымъ языкомъ, и только изрѣдка встрѣчаются очень умѣренныя выходки, въ самодовольно—филистерскомъ тонѣ:

«Ни въ неряшливости, ни въ тенденціозной наглости, ни въ тупости Спенсера заподозрить нельзя. Онъ мыслитель несомнѣнно сильный, осторожный и безпристрастный. А между тѣмъ приведенные промахи столь-же несомнѣнно грубы до послѣдней степени, такъ что ихъ замѣтилъ-бы самый дюжинный умъ. Можетъ быть, не всякій жалкій писака, взгляды котораго опредѣляются одиѣми случайностями и не имѣютъ какого-бы то ни было общаго источника и устоя, рѣшился-бы подписаться подъ такой статьей... чисто логическія ошибки, непростительно плохое наведеніе и непростительно плохой силлогизмъ... Надъ такимъ фактомъ стоитъ призадуматься и т. д., и т. д.» Или: «Этотъ обширный и карточный домикъ есть соціологическая теорія Спенсера и т. д.»[218]).

§ 11. Выступая на публицистическое поприще въ «Отечественныхъ Запискахъ», Михайловскій начинаетъ отреченьемъ отъ грубаго реализма и нигилизма благосвѣтловской эпохи.

Въ высказываемыхъ имъ взглядахъ много свѣтлаго и благоразумнаго.

«Оскудѣніе литературнаго русла не составляетъ ни для кого тайны. Оно много разъ и многими констатировалось и обсуждалось... Самое положеніе либеральной литературы въ концѣ пятидесятыхъ и началѣ шестидесятыхъ годовъ было гораздо выгоднѣе положенія теперешней либеральной литературы и обезпечивало ей многое, чего лишена современная литература. Во-первыхъ, у нея были враги, и враги не изъ-за непомѣщенія статьи и т. п., а изъ-за крупнаго жизненнаго дѣла, притомъ враги, въ началѣ, по крайней мѣрѣ, весьма сильные. Разъ есть такіе враги, значитъ есть серьезная борьба, а борьба, не мелочная, конечно, даетъ возможность развернуть силы. У теперешней либеральной литературы враговъ нѣтъ или почти нѣтъ: все стало либерально, все выкрашено одной краской, нѣкото-

218) Соч. т. I. Что такое прогрессъ?

рые пытаются притворяться не либеральными. но тщетно; столкновенія свелись на мелочныя дрязги. Во-вторыхъ, что еще важнѣе, прежняя либеральная литература имѣла передъ собой ясно поставленную живую цѣль, около которой, какъ около центра, группировались всѣ побочные вопросы. Цѣль эта была—освобожденіе крестьянъ. Нынѣшняя либеральная литература такой ясной, осязательной цѣли не имѣетъ»[219]).

«Литература «Современника» временъ возрожденія (1857—1862 гг.) это была литература смѣлая и честная, игравшая въ открытую, требовавшая отчета отъ всѣхъ явленій жизни и готовая всегда сама дать отчетъ въ каждомъ своемъ шагѣ... Припомнимъ второй періодъ развитія честной и смѣлой литературы, періодъ Русскаго Слова».

«Всѣ мы помнимъ это время господства такъ называемаго реализма, когда презрѣніе къ праздному любопытству достигло повидимому своего апогея. Но всѣ мы знаемъ также, что ни одного сколько-нибудь виднаго научнаго или художественнаго продукта это время не дало, хотя въ литературѣ фигурировали рядомъ съ бездарностями и высоко талантливыя натуры, каковъ покойный Писаревъ... Литература перваго періода дѣлала общенародное русское дѣло. ближайшія ступени котораго были всѣмъ ясны до мельчайшихъ подробностей. Задача жизни состояла въ возстановленіи справедливости. въ теченіе вѣковъ правомѣрно нарушавшейся въ отношеніи къ милліонамъ русскаго народа. Литература взяла на себя обязанность быть органомъ возмущенной совѣсти, и всѣ сферы науки, всѣ формы искусства пускала въ ходъ въ видѣ средствъ для достиженія своей цѣли... Въ періодъ Русскаго Слова... дѣло литературы вовсе не было народнымъ дѣломъ. Это было дѣло «мыслящаго пролетаріата», дѣло молодыхъ образованныхъ русскихъ людей обоего пола. Дѣло это было въ принципѣ совершенно законное и полезное. Отряхнувъ отъ ногъ своихъ прахъ крѣпостничества, образованные русскіе люди, главнымъ образомъ. конечно. молодые, естественно должны были пожелать выработать себѣ правила личнаго поведенія. И вотъ мы видимъ цѣлую вереницу романовъ и повѣстей. переполненныхъ образами молодыхъ людей, стремящихся къ личной чистотѣ. Литературная критика провѣряла эти образцы, сравнивала ихъ, спорила о томъ, какой изъ литературныхъ типовъ можетъ и долженъ быть образцомъ поведенія... Характеръ образа мыслей и дѣйствій, предписываемаго этой литературой, вполнѣ опредѣлялся требованіями времени... Требовалось свести ходульный идеализмъ на расчищенную землю, расчистить кучу позолоченнаго навоза. копившагося многіе и многіе годы».

Физіономія литературы приняла совершенно другой характеръ, когда силою внѣшнихъ обстоятельствъ и личныхъ вкусовъ литературныхъ дѣя-

[219]) Сочиненія Н. К. Михайловскаго. Томъ первый. Столбецъ 764 и 765.

телей, задача литературы специализировалась, когда въ ней не осталось ничего, кромѣ личнаго совершенствованія молодыхъ русскихъ людей обоего пола...

«Какъ мнѣ жить свято?» мнѣ, т.-е. мыслящему пролетарію [220]).

Разбирая книгу Авдѣева «Наше общество» Михайловскій говоритъ: «Голый фактъ — разночинецъ пришелъ — указанъ здѣсь Авдѣевымъ вѣрно» [221]).

«Разночинецъ не могъ довольствоваться общими категоріями цивилизаціи, изъ которыхъ выходили люди сороковыхъ годовъ. Онъ цѣнилъ ихъ лишь по отношенію къ народу, и благо послѣдняго было для него такимъ же критеріемъ, какимъ для людей сороковыхъ годовъ были отвлеченныя категоріи цивилизаціи» [222]).

Отъ себя скажемъ, что «благо народа» для разночинца было гораздо болѣе «отвлеченная категорія», чѣмъ идея цивилизаціи для мыслящаго дворянства. Разночинецъ напрасно совалъ это «благо» въ руки народа, тотъ не принялъ это «благо».

«Помните, какъ Писаревъ валилъ Пушкина. Это была своего рода Вандомская колонна. Но не Писаревъ, Дмитрій Ивановичъ, валилъ ее, онъ былъ только таранъ въ рукахъ разночинца (чрезвычайно важное и вѣрное замѣчаніе. Ник. Э.). Но, вѣдь, это варварство? Да, варварство, но его легко было предупредить (?), легче, по крайней мѣрѣ, чѣмъ вторженіе варваровъ въ Римъ. Не Пушкина собственно валилъ разночинецъ рукою Писарева: разночинецъ былъ для такого упражненія слишкомъ реаленъ, слишкомъ поглощенъ всяческими нуждами настоящаго и заботами о будущемъ. Пушкина, какъ грандіозный памятникъ прошедшаго, онъ не тронулъ бы, если бы ему было гарантировано на будущее время торжество его принципа, его исходной точки, побѣды идеи народа надъ отвлеченными категоріями цивилизаціи» [223]).

«Примиреніе, примиреніе и примиреніе. Примиреніе семидесятыхъ годовъ съ сороковыми, примиреніе двухъ знаменитыхъ отроговъ сороковыхъ годовъ — западничества и славянофильства... Я склоненъ думать, что примиряться некому... Цѣльный славянофилъ нынѣ также невозможенъ, какъ и цѣльный западникъ въ смыслѣ эмбріональныхъ идеаловъ сороковыхъ годовъ» [224]).

«Въ тѣсной связи съ пришествіемъ разночинца находилось появленіе другого общественнаго элемента — я разумѣю кающихся дворянъ. — не стою

[220]) Сочиненія Н. К. Михайловскаго. Томъ первый. Столбцы 816—818.
[221]) Сочиненія Н. К. Михайловскаго. Томъ второй. Столбецъ 624.
[222]) Ibid. Столбецъ 638.
[223]) Ibid. 639.
[224]) Литературныя замѣтки 1879 г.

за названіе. но оно удачно выражаетъ мою мысль. Писаревъ былъ, въ литературѣ, по крайней мѣрѣ, едва ли не самымъ яркимъ представителемъ этой секты. Именно секты, потому что тутъ были на лицо всѣ характеристическіе признаки сектантовъ: искренность, формализмъ, фанатизмъ, замкнутость, строгая, но узкая логичность... Когда бездна крѣпостничества и всего стараго строя русской жизни развернулась во всемъ своемъ ужасающемъ безобразіи, въ обществѣ явилась непреодолимая потребность самооругапія, самонаказанія, покаянія. Съ теченіемъ времени эта потребность удовлетворилась въ большинствѣ и замерла. Но осталась группа людей, преимущественно молодыхъ, которые сосредоточили всѣ свои помыслы на выработкѣ правилъ личнаго поведенія: какъ жить свято? Много труда расходовалось на уясненіе мельчайшихъ подробностей святой жизни, много искренности и самопожертвованія сказалось въ слѣдованіи этимъ правиламъ... Микроскопическія детали кодекса разрабатывались съ педантическою тщательностью: какъ жить, чѣмъ жить, съ кѣмъ жить, какъ съ кѣмъ жить, какъ съ кѣмъ обращаться, какъ ѣсть, спать, пить, какъ учиться, чему учиться и т. д. Все было смѣрено и взвѣшено. Таковъ былъ характеръ секты кающихся дворянъ. Разночинецъ же, вообще говоря, не былъ склоненъ къ такому формализму... Весьма тоже естественно было, что въ то же время, какъ кающійся дворянинъ Писаревъ разрабатывалъ кодексъ святой, умѣренной и аккуратной жизни, а сотни и тысячи другихъ кающихся дворянъ и дворянокъ прилагали этотъ кодексъ къ дѣлу, разночинецъ Помяловскій или Рѣшетниковъ, надломленные тяжелой жизнью, метались въ бѣлой горячкѣ. (Опять таки, весьма вѣрное замѣчаніе! Ник. Э.). Разночинцу не въ чемъ было каяться... Съ теченіемъ времени разночинецъ исчезъ... Кающійся дворянинъ еще подержался нѣсколько времени и тоже стушевался»[225]).

Но съ особенной отчетливостью выяснилъ свое отреченіе отъ реалистическаго нигилизма Михайловскій въ статьѣ «Идеализмъ, идолопоклонство и реализмъ» (1873 г.):

«Въ романахъ и романсахъ говорилось о пламенной любви, преданности, глубокомъ уваженіи... о великомъ значеніи женщины по части смягченія нравовъ, о блаженной невинности и святой наивности, какъ объ удѣлахъ женщины; въ обществѣ она являлась феей, царицей, передъ которой всѣ преклонялись... Мы не замедлили развѣять... слащавый идеализмъ, окружавшій женщину фальшивымъ ореоломъ... и яко-бы реалистическая формула: любовь исчерпывается половымъ влеченіемъ—восторжествовала для многихъ».

Далѣе Михайловскій приводитъ другую «краткую формулу»: «Жертва

[225]) Сочиненія Н. К. Михайловскаго. Т. II. 647—649.

есть сапоги въ смятку». Къ этой формулѣ привело «новыхъ людей» изслѣдованіе реальнаго дна» круга явленій, связаннаго съ понятіемъ жертвы, самоотверженія и т. д. «Реальное дно» оказалось опять-таки весьма просто: человѣкъ есть эгоистъ, каждый его шагъ, даже повидимому самый великодушный и самоотверженный, направленъ цѣликомъ къ пользамъ и наслажденіямъ его самого.

«Искусство,—говоритъ дальше Михайловскій,— есть обособленный отъ жизни и возвышающійся надъ нею міръ чудныхъ звуковъ и прекрасныхъ образовъ, въ которыхъ человѣкъ долженъ находить отдохновеніе отъ жизненной грязи. Такъ смотрѣли и практиковали наши отцы... Мы предлагали художнику обратиться въ фотографическій апаратъ».

«Нравственно все, что естественно; человѣкъ есть рабъ обстоятельствъ; наука должна служить исключительно практическимъ цѣлямъ, законы исторіи непреоборимы; человѣкъ есть животное. Вотъ еще рядъ краткихъ и ясныхъ формулъ, къ которымъ мы пришли».

«Какъ мы, восклицаетъ тридцатилѣтній Михайловскій, искатели истины, лгали и ломались, преклоняясь передъ какимъ-нибудь идоломъ Базаровымъ! Какъ бравировали мы базаровскимъ «богатымъ тѣломъ», черствостью и т. п., когда намъ такъ хотѣлось любить! Какъ трещалъ на насъ по всѣмъ швамъ узкій, якобы реалистическій мундиръ, который мы, подъ вліяніемъ увлеченія и травли, старались напялить на себя во что бы то ни стало!» (Соч. томъ четвертый, стр. 36, 38, 39, 66).

§ 12. Одной изъ самыхъ яркихъ сторонъ сатиры Щедрина въ «Отечественныхъ Запискахъ» семидесятыхъ годовъ, было обличеніе того нашествія «чумазыхъ», которое теперь особенно ярко сказалось въ русской деревнѣ.

«Въ послѣднее время,— говоритъ Щедринъ,— русское общество выдѣлило изъ себя нѣчто на манеръ буржуазіи, т. е. новый культурный строй, состоящій изъ кабатчиковъ, процентщиковъ, желѣзнодорожниковъ, банковыхъ дѣльцовъ, и прочихъ казнокрадовъ и міроѣдовъ. Въ короткій срокъ эта праздношатающаяся тля успѣла опутать всѣ наши палестины; въ каждомъ углу она сосетъ, точитъ, разоряетъ, и, вдобавокъ, нахальничаетъ. Въ большихъ центрахъ она теряется въ массѣ прочихъ праздношатающихся и потому не слишкомъ бьетъ въ глаза, но въ малыхъ городахъ и въ особенности въ деревняхъ она положительно подла и невыносима. Это ублюдки крѣпостного права, выбивающіеся изъ всѣхъ силъ, чтобы возстановить оное въ свою пользу, въ формѣ менѣе разбойнической, но несомнѣнно болѣе воровской».

«Помѣщикъ, еще недавній и полновластный обладатель сихъ мѣстъ, исчезъ почти совершенно. Онъ захудалъ, струсилъ, и потому или бѣжалъ,

или сидитъ, спрятавшись, въ ожиданіи, что вотъ-вотъ сейчасъ побѣжитъ. Мужикъ ничего отъ него не ждетъ; буржуа-міроѣдъ смотритъ такъ, что только не говоритъ: а вотъ я тебя сейчасъ слопаю; даже попъ,—и тотъ не идетъ къ нему славить по праздникамъ, ни о чемъ не докучаетъ, а при встрѣчахъ впадаетъ въ учительный тонъ»[226]).

«Улица ликуетъ, дома терпимости прихорашиваются, половые и гарсоны въ трактирахъ и ресторанахъ въ ожиданіи млѣютъ, даже стерляди въ трактирныхъ бассейнахъ—и тѣ рѣзвѣе играютъ въ водѣ, словно говорятъ: Слава Богу! кажется, скоро начнутъ ѣсть и насъ! По всей веселой Руси, отъ Мѣщанскихъ до Кунавина включительно, раздается одинъ кличъ: Идетъ Чумазый! Идетъ, и на вопросъ: «Что есть истина?» твердо и неукоснительно отвѣтитъ: «Распивочно и на выносъ!» Присутствуя при этихъ шумныхъ предвкушеніяхъ будущаго распивочнаго торжества, пропащіе люди жмутся и ждутъ... Они понимаютъ, что «чумазый» придетъ совсѣмъ не для того, чтобы «новое слово» сказать, а для того единственно, чтобъ показать, гдѣ раки зимуютъ».

«Придетъ «чумазый», придетъ съ ногъ до головы наглый, съ цѣпкими руками, съ несытой утробой—придетъ и слопаетъ! Только и всего».

«Знаетъ ли онъ, что такое отечество? слыхалъ ли онъ когда-нибудь это слово? Ахъ, это отечество! По настоящему то вѣдь это нестерпимѣйшая сердечная боль, неперестающая, гложущая, гнетущая, въ конецъ изводящая человѣка—вотъ какое значеніе имѣетъ это слово! А Разуваевъ думаетъ, что это падаль, брошенная на расклеваніе ему и прочимъ кровопійственныхъ дѣлъ мастерамъ!»

Разнаго рода и вида «чумазые» фигурируютъ въ щедринской сатирѣ семидесятыхъ годовъ. Въ «Благонамѣренныхъ рѣчахъ» видимъ содержателя постоялаго двора въ новыхъ фазахъ кровопійствъ, въ «Ташкенцахъ» всѣхъ родовъ щелкоперовъ, занимающихся «расклеваніемъ» своего отечества. Вакханалія «дѣльцовъ» этого десятилѣтія, всевозможныхъ хищеній дала неисчерпаемый матеріалъ для сатиры Щедрина. Но въ тѣхъ же «Отечественныхъ Запискахъ» раздался и призывъ интеллигенціи въ деревню.

Александръ Николаевичъ Энгельгардтъ родился 21-го іюля 1832 г. и дѣтство провелъ въ Духовщинскомъ уѣздѣ Смоленской губерніи. Первоначальное воспитаніе онъ получилъ дома. Затѣмъ кончилъ артиллерійское училище и академію, которыя тогда по составу преподавателей и духу стояли весьма высоко. Окончивъ академію въ 1853 году, Энгельгардтъ былъ назначенъ въ гвардейскую конную артилерію и въ ноябрѣ прикомандированъ къ петербургскому арсеналу, гдѣ и оставался до 1866 года главнымъ литейщикомъ. На этой службѣ онъ оказалъ большія услуги артиллерій-

---

[226]) Finis Монрепо.

скому дѣлу въ Россіи, внеся въ узкую спеціальность характеризующіе всю его дѣятельность огонь и энергію, способность быстрыхъ, блестящихъ обобщеній. Такъ имъ отлито для русской арміи до тысячи орудій. Посланный на заводъ Круппа, онъ первый изучилъ его способъ литья стальныхъ пушекъ и примѣнилъ затѣмъ свои знанія въ Арсеналѣ.

Въ то же время, несмотря на многочисленныя служебныя обязанности, онъ не оставлялъ занятій естествознаніемъ, преимущественно минералогіей и химіей. Въ 1853 - 1855 годахъ онъ совершилъ поѣздку на Уралъ, на магнитную гору Кочканаръ, въ Финляндію и Олонецкую губернію, съ спеціальными геологическими цѣлями. Вмѣстѣ съ извѣстнымъ химикомъ Соколовымъ, ученикомъ Либиха, Жерара, Кошие и Реньо, онъ открылъ въ Петербургѣ первую частную химическую лабораторію, а въ 1859 года при лабораторіи, началъ выходить первый «Русскій Химическій Журналъ» Н. Соколова и А. Энгельгардта». Книжки журнала наполнялись статьями Н. Соколова и Александра Николаевича, а также Бекетова, Менделѣева, Бутлерова. Нѣкоторые номера были сплошь составлены Энгельгардтомъ. Въ 1861 году Журналъ уже не выходилъ по независѣвшимъ отъ редакціи обстоятельствамъ, а въ 1866 г. А. Н., согласно прошенію, уволенъ отъ службы при арсеналѣ, для опредѣленія къ статскимъ дѣламъ. Военная карьера его была разбита. Но Энгельгардта это мало печалило. Мундиръ душилъ его энергичную натуру. Онъ радъ былъ возможности всецѣло отдаться научной дѣятельности. Возведенный въ степень доктора химіи за научныя работы, въ томъ же 1866 году 30 декабря, Энгельгардъ былъ назначенъ профессоромъ въ Земледѣльческій Институтъ (нынѣ Лѣсной) въ Петербургѣ. То было особенное время. Наука праздновала недавнюю побѣду. Энтузіазмомъ проникнуты многочисленныя статьи Ал. Ник. по естествознанію, печатавшіяся въ «Артиллерійскомъ Журналѣ», въ «Разсвѣтѣ», «Учителѣ», въ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ». Нѣкоторыя изъ нихъ вышли въ 1867 году отдѣльнымъ изданіемъ («Сборникъ общепонятныхъ статей по естествознанію»).

Обаятельная личность Энгельгардта и его живое, талантливое слово привлекало къ нему на лекціи и въ лабораторію множество молодежи. Изъ среды ея выдѣлились ученики, которые скоро могли принять участіе въ работахъ своихъ учителей. Благодаря этому лабораторія проявила замѣчательную научную продуктивность. Химики составляли тѣсный кружокъ, собиравшійся обыкновенно послѣ засѣданій химическаго общества на дружескія бесѣды въ какомъ-нибудь скромномъ ресторанѣ. Тамъ за полночь лились рѣкой рѣчи, царила простота и непринужденность, устанавливался свободный обмѣнъ мыслей, плановъ, предположеній. Лѣто 1863 г. А. Н. провелъ у родныхъ въ Бѣльскомъ уѣздѣ. Деревенскія впечатлѣнія

вылились въ «Письмахъ въ редакцію СП.-Вѣдомостей», подъ общимъ заглавіемъ: «Изъ деревни», подписанныхъ псевдонимомъ Буглима.

Въ началѣ 1871 года Энгельгардъ былъ принужденъ оставить Петербургъ и безвыѣздно поселиться въ запущенномъ имѣніи селѣ Батищевѣ, Дорогобужскаго уѣзда, Смоленской губерніи.

А. Н. Энгельгардтъ пріѣхалъ въ деревню спустя десять лѣтъ послѣ «Положенія». Процессъ разоренія помѣщичьихъ имѣній, первые симптомы котораго въ нечерноземной полосѣ Россіи А. Н. наблюдалъ еще въ 1863 г., теперь достигъ кульминаціоннаго пункта.

«Хозяйничать въ настоящее время невозможно», въ одинъ голосъ вопили мѣстные хозяева,—«имѣнія ничего, кромѣ убытка, не даютъ», «заниматься хозяйствомъ не стоитъ», «жить въ деревнѣ нельзя».

Казалось, то же подтверждало и Батищево, со своими заросшими березнякомъ полями и полуразвалившимися постройками. Хмуро и непривѣтливо глядѣло оно на петербургскаго профессора, изъ шумныхъ аудиторій, изъ водоворота блестящей свѣтской и научной жизни перенесеннаго волею судебъ въ его сугробы. Но Энгельгардтъ не потерялся. Пустыри одѣлись богатой жатвой. Его неутомимая энергія создала образцовое хозяйство, посмотрѣть которое, чтобы поучиться дѣлу, ѣхали со всѣхъ концовъ Россіи. Вмѣстѣ съ тѣмъ статьи А. Н., его «Письма изъ деревни» производили сильное впечатлѣніе на молодежь. Создалось движеніе на землю, въ мужики... Молодежь работала. Возникло нѣсколько интеллигентныхъ колоній съ цѣлью осуществленія трудовой жизни на братскихъ началахъ. Энгельгардъ скончался 21-го января 1893 года.

«Письма изъ деревни» даютъ правдивую и подчасъ художественно рельефную картину жизни деревенской съ ея радостями и печалями. Образы слугъ, «кондитера» Савельича, «старухи», поповъ, изображеніе «бабьяго лѣта» съ пѣснями и рубкой капусты, губернской сельскохозяйственной выставки, батищевскихъ собакъ, грабаровъ, урядниковъ, картины эпохи славянскаго возбужденія, все полно жизни и правды. Наконецъ, проповѣдь практическаго народничества Энгельгардта дышала такимъ глубокимъ убѣжденіемъ, что понятно увлеченіе ею молодежи семидесятыхъ годовъ, которая и безъ того была пропитана народническими традиціями.

«Счастливъ тотъ, кто спокойно ѣстъ свой хлѣбъ, зная, что онъ заработалъ его собственнымъ трудомъ. Можетъ-ли человѣкъ быть спокоенъ, счастливъ, если у него является сознаніе, что онъ ѣстъ не свой хлѣбъ? Счастливъ-ли нашъ интеллигентъ, котораго интересы до такой степени противуположны интересамъ мужика, что, когда мужикъ молится о дешевизнѣ хлѣба, онъ долженъ молиться о его дороговизнѣ?»

«Не оттого-ли такъ мечется нашъ интеллигентъ, не оттого-ли такое недовольство повсюду?»

«Кто счастливъ? Откликнись!»

«И чего метаться! Идите на землю, къ мужику! мужику нуженъ интеллигентъ. Мужику нуженъ земледѣлецъ—агрономъ, нуженъ земледѣлецъ—врачъ на мѣсто земледѣльца—знахаря, земледѣлецъ—учитель, земледѣлецъ—акушеръ. Мужику нуженъ интеллигентъ—земледѣлецъ, самолично работающій землю. Россіи нужны деревни изъ интеллигентныхъ людей».

«Тѣ интеллигенты, которые пойдутъ на землю, найдутъ въ ней себѣ счастіе, спокойствіе. Тяжелъ трудъ земледѣльца, но легокъ хлѣбъ, добытый своими руками. Такой хлѣбъ не станетъ поперекъ горла. Съ легкимъ сердцемъ будетъ ѣсть его каждый. А это-ли не счастье! Когда некрасовскіе мужики, отыскивающіе на Руси счастливца, набредутъ на интеллигента, сидящаго на землѣ, на интеллигентную деревню, то тутъ-то вотъ они и услышатъ: мы счастливы, намъ хорошо жить на Руси!»

«Россія—государство земледѣльческое, русскій народъ—земледѣлецъ. Русскій интеллигентъ долженъ внести свѣтъ въ русское земледѣліе, а внести свѣтъ онъ можетъ только тогда, когда будетъ самъ работать на землѣ»[227]).

«Я вѣрю, что наша молодая интеллигенція пойдетъ по этому пути, я живу этой вѣрой. Что можетъ быть ужаснѣе жизни въ отчужденіи отъ своего народа?»[228]).

§ 13. «Русскій Вѣстникъ» въ семидесятые годы явился органомъ, гдѣ находили пристанище не столько чистые художники, сколько художники—самобытники, какъ Мельниковъ, Лѣсковъ. Здѣсь появился рядъ замѣчательныхъ произведеній, при чемъ изображеніе быта народнаго было гораздо шире узко-народническаго письма беллетристовъ «Отечественныхъ Записокъ». Церковно-религіозная и національно-патріотическая жизнь народа находила здѣсь выраженіе, чего у народниковъ нѣтъ, и потому изображенія послѣднихъ главнымъ образомъ рисовали темныя стороны народнаго убожества, несчастья, пропойства.

Наконецъ здѣсь появились «Бѣсы» Достоевскаго и «Анна Каренина» гр. Льва Толстого. Въ обиліи мощныхъ художественныхъ талантовъ была сила «Русскаго Вѣстника». Здѣсь являлся народъ—церковь, народъ—государство, тогда какъ у народниковъ былъ на лицо одинъ лишь мужикъ—безъ Царя и безъ Христа, какъ будто-бы такой мужикъ мыслимъ! Только въ изображеніи эпизодическомъ народники, какъ Глѣбъ Успенскій, достигали правды. Но лишь только они брались за изображеніе крестьянства въ цѣломъ, получалась картина странная, односторонняя.

Въ 1872 г. нарождается въ Петербургѣ новый консервативный органъ.

---

[227]) Изъ деревни. Изд. 3-е. 1897 г. Стр. 532.
[228]) Ibid. Стр. 531.

подъ редакціей начинавшаго тогда публицистическое поприще, кн. Вл. Мещерскаго.

«Такъ какъ направленія консервативнаго въ петербургской печати представителя не было, то я и возымѣлъ мысль основать органъ консервативный... въ обличеніе всѣхъ увлеченій либерализмомъ... Въ тонѣ, съ которымъ Государь спросилъ: Ты идешь въ писаки?—я слыхалъ не только отсутствіе чего либо похожаго на поощреніе, но отголосокъ насмѣшливаго пренебреженія. Тогда быть консерваторомъ значило одно и то-же, что быть мошенникомъ... Я поговорилъ о моемъ намѣреніи съ Цесаревичемъ (Александръ III). Онъ смотрѣлъ иначе на это дѣло, чѣмъ относились къ нему при Дворѣ. Онъ прямо мнѣ сказалъ, что признаетъ это дѣло хорошимъ и полезнымъ, и вполнѣ ему сочувствуетъ...»[229]).

Денегъ на изданіе (6,000 руб.) далъ фабрикантъ изъ села Иванова. Редакторомъ утвержденъ былъ прибывшій тогда изъ Кіева І. К. Градовскій (Гамма). Воспріемниками органа кн. Мещерскаго были К. П. Побѣдоносцевъ, А. Н. Майковъ, Ф. М. Достоевскій, Ф. И. Тютчевъ, Н. Н. Страховъ, М. О. Кояловичъ, Б. М. Маркевичъ. Участвовалъ еще поэтъ Апухтинъ, давшій два-три стихотворенія, и гр. Ал. К. Толстой. Графъ Толстой не сопричислялъ себя ни къ какому лагерю: онъ дорожилъ правомъ не думать, какъ другіе, какъ лучшимъ благомъ своей свободы. Кн. Мещерскій до изданія «Гражданина» помѣстилъ только какую-то статью въ «Сѣверной Пчелѣ», очеркъ «Россія подъ перомъ замѣчательнаго человѣка» въ «Русскомъ Вѣстникѣ» и «Мои очерки общественной жизни въ Россіи» въ «Русскомъ Инвалидѣ».

Въ первое воскресенье 1872 г. вышелъ первый № «Гражданина», еженедѣльнаго изданія. Съ первыхъ-же шаговъ, рѣшительно все, что появлялось въ «Гражданинѣ», было предаваемо осмѣянію. Главный контингентъ подписчиковъ составляли духовенство и представители высшаго общества. Въ придворныхъ сферахъ «Гражданинъ» имѣлъ скорѣе неуспѣхъ. Изъ царской фамиліи его читали Цесаревичъ и Великій князь Николай Николаевичъ.

«Эпизодъ съ точкою вызвалъ противъ меня цѣлый ураганъ. Онъ заключался въ фразѣ, которую я дерзнулъ тогда сказать въ одномъ изъ первыхъ N-ровъ «Гражданина» о необходимости поставить къ либеральнымъ реформамъ точку. Съ этимъ словомъ все для меня кончилось»[230]).

Въ 1872 г. редакторомъ «Гражданина» сдѣлался Ѳ. М. Достоевскій. Это ему конечно поставили на счетъ «прогрессисты». Достоевскій отыскалъ въ редакціонныхъ рукописяхъ «Очерки съ сѣвера» В. И. Немировича-Данченко, тогда находившагося въ ссылкѣ, въ Архангельской губерніи и только пытавшагося выступить въ литературѣ.

---

[229]) Кн. В. Мещерскій. Воспоминанія. II, 158, 160 и 161.

[230]) Кн. В. Мещерскій. Воспоминанія. II, 169.

Въ 1874 г., состоялось правительственное рѣшеніе, на основаніи котораго «Спб. Вѣдомости» Валентина Корша, отнимались отъ академіи наукъ и отдавались въ департаментъ министерства народнаго просвѣщенія, съ цѣлью составить новую редакцію. Послѣдняя образовалась изъ Баймакова, хозяина банкирской конторы, графа Саліаса и Болеслава Маркевича. Съ тѣхъ поръ газета захудала.

«Голосъ» лишился единственнаго конкурента, а всѣ подписчики «Спб. Вѣд.» Корша перешли «Голосу». «Почти всѣ сановники въ то время считали «Голосъ», оракуломъ, и подчиняли его образу мыслей по каждому государственному вопросу свой образъ мыслей — до такой степени рабски, что подчасъ нельзя было разобраться, гдѣ кончается Краевскій и начинается правительство. Всѣ правительственныя учрежденія, начиная съ Государственнаго Совѣта, доставляли «Голосу» сотрудниковъ, по текущимъ свѣдѣніямъ и государственнымъ вопросамъ»[231]).

Въ томъ-же 1874 году, по случаю самарскаго голода, вышелъ Сборникъ «Складчина», соединившій всѣхъ литераторовъ, безъ различія лагерей. Въ немъ явились: В. П. Безобразовъ, М. Богдановичъ, кн. П. Вяземскій, Н. Гербель, И. Гончаровъ, А. Градовскій, Я. Гротъ, И. Горбуновъ, Ѳ. М. Достоевскій, П. Ефремовъ, В. Коршъ, Н. Кохановская, А. Краевскій, Н. Курочкинъ, Н. Лѣсковъ, А. Майковъ, Б. Маркевичъ, кн. В. Мещерскій, Н. Михайловскій, Н. Некрасовъ, А. Никитенко, А. Островскій, К. Побѣдоносцевъ, А. Плещеевъ, М. Погодинъ, Я. Полонскій, Погосскій, М. Салтыковъ-Щедринъ, гр. В. Соллогубъ, М. Стасюлевичъ, Н. Страховъ, А. Суворинъ, гр. А. Толстой, И. Тургеневъ и Т. Филиповъ.

§ 14. Семидесятые годы — эпоха, когда наши славянофилы въ лицѣ пламеннаго публициста и благороднѣйшаго патріота Ивана Сергѣевича Аксакова съиграли великую политическую роль. Мы говоримъ о борьбѣ славянъ за свою независимость и о русско-турецкой войнѣ. Порывъ, обьявшій общество и весь русскій народъ, былъ просвѣтленъ въ общественномъ сознаніи работою мысли именно славянофиловъ.

Это совершенно понятно, потому что одни славянофилы были подготовлены къ великому историческому моменту и могли его понять и растолковать.

Еще въ 1861 году, въ передовой «Дня» Ив. Серг. Аксаковъ говоритъ: «Освободить изъ-подъ матеріальнаго и духовнаго гнета народы Славянскіе и даровать имъ даръ самостоятельнаго духовнаго, и пожалуй, политическаго бытія, подъ сѣнію могущественныхъ крылъ Русскаго орла — вотъ историческое призваніе, нравственное право и обязанность Россіи»[232]).

[231]) Кн. Вл. Мещерскій. Воспоминанія. Ч. II. Стр. 248.

[232]) Соч. И. С. Аксакова. Томъ первый. М. 1886. Стр. 6.

«Общество наше,—продолжаетъ Аксаковъ,—ему извиненія нѣтъ; объяснить же его равнодушіе къ Славянамъ очень легко. Это симптомъ того-же общаго недуга, который давно разлагаетъ мало-по-малу все наше общественное тѣло. Не можетъ быть сочувствія къ славянской народности тамъ, гдѣ есть отчужденіе отъ своей собственной народности, явное къ ней равнодушіе и полный разрывъ со всѣми историческими преданіями своего племени».

Конечно, объясненіе Аксакова не совсѣмъ вѣрно. Русское чувство, правда, порою затмевалось въ русскомъ, особенно петербургскомъ обществѣ. Оно было вытравлено у большинства сановниковъ царствованія Александра II, какъ напр. у Горчакова. Но оно ярко вспыхивало въ роковыя минуты, какъ напр. Севастополя, польскаго Повстанья и др. Въ 1861 году общество ничѣмъ не могло интересоваться, кромѣ крестьянской реформы. Время славянъ не приспѣло. Аксаковъ въ 1862 г. указываетъ, что «имя Гарибальди вполнѣ народно между Славянами въ Турціи, и въ особенности теперь въ Сербіи, Черногоріи и Герцеговинѣ». Столь-же популярно было имя великаго борца за свободу италіянскаго народа и въ Россіи... «Преданность идеѣ, чистота, безкорыстіе,—продолжаетъ Аксаковъ,—готовность къ самопожертвованію въ Гарибальди—поднимали нравственный уровень нашего современнаго общества. Любовь къ отчизнѣ и народности, достойная всякаго уваженія сама по себѣ, никогда не оправдываетъ средствъ безнравственныхъ; она требуетъ чистыхъ дѣятелей, и значеніе Гарибальди состоитъ не въ его храбрости и геройствѣ, не въ его военномъ талантѣ и патріотизмѣ,—а именно въ его нравственныхъ качествахъ, въ его личной духовной доблести».

Но въ нужную минуту, то самое русское общество, которое въ оскудѣніи національнаго самосознанія обвинялъ Аксаковъ, дало Черняева—народнаго героя въ духѣ Гарибальди.

Съ необычайною прозорливостью Аксаковъ еще въ 1862 г. ожидалъ наступленія великаго историческаго момента и восклицалъ: «Горе той политической мудрости, которая опрометчиво попираетъ нравственныя требованія народа, которая не съумѣетъ уловить историческую минуту, когда самое дерзкое безотчетное чаяніе способно обратиться въ дѣйствительность, мечтательное—сдѣлаться неотложною необходимостью, казавшееся несбыточнымъ—стать жизненною правдою!» Отъ 5-го марта 1867 года въ газетѣ «Москва» И. С. Аксаковъ писалъ: «Неотразимая сила историческаго призванія Россіи, какъ православной и славянской державы—призванія, безъ котораго Россія не была-бы Россіей,—ощутительно и воочію, съ вѣдома ея и безъ вѣдома, волей и неволей, направляетъ и исправляетъ ея пути, возмѣщаетъ утраты, разрушаетъ враждебныя козни, и сквозь всѣ невзгоды и препятствія неуклонно ведетъ ее на высоту такого подвига, для

котораго, повидимому, нѣтъ у нея ни вещественныхъ средствъ, ни могучихъ нравственныхъ двигателей — властолюбія, гордости, дерзкой самоувѣренности. Она терпитъ пораженіе — и побѣжденной сильнѣе прежняго пугаются побѣдители; она унижается — и растетъ въ грозномъ величіи и обаяніи; она разорена — ее пуще боятся; она уменьшаетъ войско — всѣмъ это вѣдомо и всѣмъ чудятся несмѣтныя полчища; она мыслитъ идти назадъ и обрѣтается впереди; она блуждаетъ — и чья-то невѣдомая рука выводитъ ее на стезю правую; самое то, что творитъ она по малодушію и по слабости, — ея недругами приписывается разсчету, мысли и силѣ».

«Въ томъ-то и дѣло, что сила ея историческаго призванія слышится и чуется отчасти даже безотчетно и инстинктивно, всѣми ея врагами, всѣми западноевропейскими державами, хотя можетъ быть менѣе всего сознается самою Россіею, — и эта нравственная сила страшнѣе и грознѣе всякихъ вещественныхъ силъ, или вѣрнѣе сказать, — въ этомъ вся и сила Россіи, равно какъ и весь смыслъ, вся задача и причина ея историческаго бытія. Событія, будто волны на свои хребты, возносятъ ее на высоту, съ которыхъ шире всѣхъ объемлется ею историческій кругозоръ, и съ которой, какъ выражаются стратегики, можетъ она господствовать надъ политическимъ положеніемъ. Да, Россія занимаетъ господствующую позицію относительно Востока, позицію, которой она не искала, но которая ей неотъемлема по самой сущности дѣла, по всеобщему тайному и явному признанію [233]).

Прошло десять лѣтъ, и пророческое слово великаго патріота сбылось.

Пламенныя рѣчи Ивана Сергѣевича Аксакова въ засѣданіяхъ Московскаго Славянскаго Благотворительнаго Комитета въ 1876, 1877 и 1878 гг., его знаменитое воззваніе сыграли такую-же роль въ войну за славянскую независимость и Русско-Турецкую, какъ манифесты Шишкова въ 1812 году.

«То, что творилось въ Россіи — говорилъ Аксаковъ 24-го октября 1876 года, — въ эти послѣдніе мѣсяцы, — неслыхано и не видано не только въ русской, но и въ ничьей исторіи. Общество, — точнѣе самъ народъ, помимо своего правительства, безусловно вѣрнаго дипломатическимъ обязательствамъ, — безъ всякой помощи государственной организаціи, ведетъ войну въ лицѣ нѣсколькихъ тысячъ своихъ сыновъ (сыновъ, а не наемниковъ), на свои частныя средства, въ странѣ, хотя и родственной, но чужедальней, доселѣ ему почти неизвѣстной, — не изъ корысти, не за свои прямые, практическіе, матеріальные интересы, а за интересы, повидимому ему чуждые и отвлеченные. Ведетъ не прячась, не потаенно, а среди бѣла дня, съ полнымъ сознаніемъ законности, правоты, святости, — скажу болѣе, естественности своихъ дѣйствій». «Наше народное движеніе изумило не одну Европу, но и русское общество, т. е. образованный мыслящій слой Россіи,

---

[233]) Соч. т. I-й. Стр. 143.

именно тѣмъ самымъ, что оно было **народное**, не въ риторическомъ, а въ точномъ смыслѣ этого слова... Десятки лѣтъ раздавалась проповѣдь такъ называемыхъ славянофиловъ и была, казалось, лишь гласомъ вопіющаго въ пустынѣ; двадцать два года назадъ Крымская война, возникшая такъ-же изъ за Восточнаго или вѣрнѣе Славянскаго вопроса, вызвавъ могучій взрывъ «патріотизма», не пробудила однако-же историческаго самосознанія въ тѣхъ народныхъ слояхъ, гдѣ сидятъ самые корни русской силы, духовной и внѣшней... Когда... на почву возбужденнаго народнаго сочувствія пала, такъ сказать, первая капля русской крови, когда совершился первый подвигъ любви и принеслась первая, чистая жертва во имя Россіи, отъ Русскаго, за вѣру и братьевъ, тогда дрогнула совѣсть всей русской земли, и какимъ-то откровеніемъ сердца—народъ разомъ усвоилъ себѣ, не мудрствуя лукаво, весь міръ истинно—славянскаго т. е. православнаго братства. Онъ какъ-то разомъ перешагнулъ чрезъ всѣ географическія и иныя научныя трудности, да и ступилъ какъ ни въ чемъ не бывало, на путь своего историческаго призванія, который, казалось, такъ мудрено было ему втолковать безъ спеціальныхъ учебниковъ»[234]).

Шестое «Письмо изъ деревни» А. Н. Энгельгардта, посвященное наблюденіямъ надъ народной массой въ эпоху русско-турецкой войны, въ значительной мѣрѣ подтверждаетъ эти слова И. С. Аксакова:

«Зная, сколь невѣжественны крестьяне, зная, что они не обладаютъ даже самыми элементарными географическими, историческими, политическими познаніями, зная, что крестьяне 11-го мая празднуютъ и молятся **Царю—Граду**, чтобы градъ не отбилъ поля, зная, что не всякій попъ объяснитъ, что это за «Обновленіе Цареграда», о которомъ прописано въ календарѣ подъ 11-е мая, зная, что и дьячокъ, распѣвающій за молебномъ «аллилуя» и «радуйся», то-же убѣжденъ, что молятся Царю — Граду и усердно кладетъ поклоны, чтобы и его рожь не отбило градомъ,—право, не можешь себѣ представить, чтобы у этихъ людей могли быть какія-нибудь представленія о совершающихся политическихъ событіяхъ».

«Казалось бы, можно-ли интересоваться тѣмъ, чего не знаешь, можно-ли сочувствовать войнѣ, понимать ея значеніе, когда не знаешь, что такое Царьградъ?»

«А между тѣмъ, неся всѣ тяжести войны, которыхъ не можетъ не чувствовать мужикъ, слыша всюду толки о побѣдахъ, о пораженіяхъ, находясь, посредствомъ писемъ, въ тѣсной связи съ сражающимися подъ Плевной, Карсомъ, своими дѣтьми и братьями, можетъ-ли мужикъ оставаться равнодушнымъ ко всему этому? Его неподвижность, безучастіе мы принимаемъ за равнодушіе къ дѣлу... Но не кажущееся-ли это равнодушіе?»

---

[234]) Соч. т. I. Стр. 218, 219, 222.

«Подумайте! Возможно-ли, чтобы эта неподвижная, сѣрая масса не имѣла никакихъ представленій о томъ, что такъ близко касается его непосредственныхъ интересовъ? Возможно-ли, чтобы все дѣлалось такъ какъ дѣлается, если-бы не было сочувствія къ дѣлу, или, лучше сказать, сознанія необходимости сдѣлать что-то? [235]).

Надо принять во вниманіе, что это «Письмо» находилось въ полномъ противорѣчіи съ мнѣніемъ самихъ «Отеч. Зап.» на войну. Этотъ журналъ, какъ и «Голосъ», высказывались противъ войны. Поняло минуту изъ газетъ «Новое Время», которое съ 29-го февраля 1876 года перешло подъ редакцію А. С. Суворина. Это создало колоссальный успѣхъ газетѣ, которая въ слѣдующее десятилѣтіе, послѣ запрещенія «Голоса» гр. Дм. Толстымъ, становится во главѣ петербургской прессы.

Въ рѣчи отъ 6-го марта 1877 года, И. С. Аксаковъ восторженно говоритъ о томъ, какъ 20-го октября 1876 г. въ Кремлѣ, среди святыни и древности московской, Русскій Царь вступилъ въ общеніе со своимъ народомъ, въ общеніе духа съ его прошлыми и грядущими судьбами и держалъ къ нему рѣчь, на вѣки врѣзавшуюся въ народную память. Самодержавный Царь явилъ себя причастнымъ сердцемъ тому великому движенію, которымъ ознаменовалъ себя лѣтомъ 1876 года его народъ, выславъ своихъ сыновъ на борьбу съ врагами славянства и вѣры. Затѣмъ Аксаковъ громитъ ту малодушную реакцію, которая встрѣтила Александра II по возвращеніи въ Петербургъ, когда стали говорить, что народное сочувствіе славянамъ— миѳъ, выдумка; что все это «движеніе» не болѣе, какъ штука Славянскаго комитета, который-бы, кстати, слѣдовало совсѣмъ запретить, стереть, уничтожить; что комитетъ набралъ всякое отребье, да и отправилъ добровольцами въ Сербію и т. д.

«Это уже не самообличеніе,—восклицаетъ Аксаковъ,—а какое то добровольное самозаушеніе или самооплеваніе, доходящее до сладострастія, до безстыдства! Затаптывать въ грязь тотъ порывъ народнаго чувства, которымъ освятилась и обновилась Русская земля, то явленіе, въ которомъ одномъ въ наше печальное время мы почерпаемъ упованіе и вѣру въ себя самихъ, клеветать на Россію, на комитетъ, на славянъ,—забывать про тѣ милліоны, составившіеся въ буквальномъ смыслѣ изъ лептъ простонародныхъ—этого нельзя объяснить только умственною ограниченностью и невѣжествомъ—тутъ уже немощь и растлѣніе духа [236]).

Аксаковъ восторженно заявляетъ, что война съ Турками дѣло не только чести, но и совѣсти народной. Совѣсть зоветъ и подымаетъ на брань на всемъ необъятномъ пространствѣ нашей земли. Эта война ея духу по-

[235]) Письма изъ деревни. Изд. 3-е. 1897 г. Стр. 315 и 316.
[236]) Соч. т. I. Стр. 242.

требна; эта война за вѣру Христову; эта война за освобожденіе порабощенныхъ и угнетенныхъ славянскихъ братій; эта война праведная; эта война подвигъ, святой, великій, котораго сподобляетъ Господь Святую Русь... Надъ всѣмъ, накопленнымъ войною, хламомъ разнорѣчивыхъ толковъ, сплетень, интригъ, клеветъ, пререканій, въ безспорномъ величіи воздвигается лишь свѣтлый образъ русскаго солдата—съ его добродушіемъ и простотою, съ несокрушимою мощью вѣрующаго, смиреннаго духа. Онъ препобѣдилъ всѣ пристрастія, всѣ предубѣжденія завистниковъ, и Европейскій міръ съ почтеніемъ преклонился предъ его воинскою твердостью и человѣческимъ сердечнымъ незлобіемъ.

Но, Боже, какой Іереміинъ плачъ поднимаетъ великій патріотъ послѣ подвиговъ русской дипломатіи, провалившей всѣ успѣхи нашего оружія и постыдно принявшей «разграниченіе сферъ вліянія» Россіи и Австріи на Балканскомъ полуостровѣ! «Напрасный мученикъ, одураченный побѣдитель, полюбуйся на свое дѣло!..»[237]).

§ 15. Націонализмъ «Русскаго Вѣстника», народничество «Отечественныхъ Записокъ», западничество съ признаніемъ народности «Вѣстника Европы», славянофильство И. С. Аксакова, дополняется въ необыкновенно богатые идейнымъ содержаніемъ семидесятые годы еще оригинальнымъ міросозерцаніемъ Ѳ. М. Достоевскаго, которое онъ выразилъ, какъ въ идейныхъ страницахъ своихъ геніальныхъ романовъ, такъ и въ многочисленныхъ публицистическихъ статьяхъ и «Дневникѣ писателя» въ 1873, 1876 и 1877 гг.

Въ основѣ этого міросозерцанія лежитъ жажда широкаго, всемірноправаго идеала и общеніе съ народной массой.

«Я неисправимый идеалистъ;—говоритъ Достоевскій,—я ищу святынь, я люблю ихъ, мое сердце ихъ жаждетъ, потому что я такъ созданъ, что не могу жить безъ святынь». Достоевскій, однако, хорошо понимаетъ, какъ мало этого идеализма въ «злаченой черни» русскаго общества: «Въ нашъ вѣкъ негодяй, опровергающій благороднаго, всегда сильнѣе, ибо имѣетъ видъ достоинства, почерпаемаго въ здравомъ смыслѣ, а благородный, походя на идеалиста, имѣетъ видъ шута...»

«Мы, Петрашевцы,—такъ объясняетъ Достоевскій свое перерожденіе,—стояли на эшафотѣ и выслушивали нашъ приговоръ безъ малѣйшаго раскаянія... Это дѣло давно-прошедшее, а потому, можетъ быть, и возможенъ будетъ вопросъ: неужели это упорство и нераскаяніе было только дѣломъ дурной натуры, дѣломъ недоразвитковъ и буяновъ? Нѣтъ, мы не были буянами, даже, можетъ быть, не были дурными молодыми людьми. Приговоръ

---

[237]) Соч. т. I. Стр. 305.

смертной казни разстрѣлянiемъ, прочтенный намъ всѣмъ предварительно, прочтенъ былъ вовсе не въ шутку; почти всѣ приговоренные были увѣрены, что онъ будетъ исполненъ и вынесли, по крайней мѣрѣ, десять ужасныхъ, безмѣрно страшныхъ минутъ ожиданiя смерти... Не годы ссылки, не страданiя сломили насъ; напротивъ, ничто не сломило насъ, и наши убѣжденiя лишь поддерживали нашъ духъ сознанiемъ исполненнаго долга. Нѣтъ, нѣчто другое измѣнило взглядъ нашъ, наши убѣжденiя и сердца наши... Это нѣчто другое — было непосредственное соприкосновенiе съ народомъ, братское соединенiе съ нимъ въ общемъ несчастiи».

Изъ этого общенiя съ народомъ почерпнута мудрость. Но какъ она можетъ присутствовать въ темной невѣжественной массѣ? Можно многое не сознавать, а лишь чувствовать; можно очень много знать безсознательно. Есть идеи невысказанныя, безсознательныя и только лишь сильно чувствуемыя; такихъ идей много какъ бы слитыхъ съ душой человѣка. Есть онѣ и въ цѣломъ народѣ, есть и въ человѣчествѣ, взятомъ какъ цѣлое. Пока эти идеи лежатъ лишь безсознательно въ жизни народной, и только лишь сильно и вѣрно чувствуются, — до тѣхъ поръ только и можетъ жить сильнѣйшею, живою жизнью народъ. Въ стремленiяхъ къ выясненiю себѣ этихъ сокрытыхъ идей и состоитъ вся энергiя его жизни. Чѣмъ непоколебимѣе народъ содержитъ ихъ, чѣмъ менѣе способенъ измѣнить первоначальному чувству, чѣмъ менѣе можетъ подчиняться различнымъ и ложнымъ толкованiямъ этихъ идей, тѣмъ онъ могучѣе, крѣпче, счастливѣе...

Эта теорiя была высказана Достоевскимъ въ «Гражданинѣ» на 1873 г.

Болѣе ясную теорiю онъ создаетъ (если только это не простой откликъ московскихъ шеллингiанскихъ и гегельянскихъ идей изъ кружковъ 40-хъ годовъ) въ «Дневникѣ Писателя» 1877 года:

«Всякiй великiй народъ вѣритъ и долженъ вѣрить, если только хочетъ быть долго живъ, что въ немъ-то и только въ немъ одномъ (?) и заключается спасенiе мiра, что живетъ онъ на то, чтобъ стоять во главѣ народовъ, прiобщить ихъ всѣхъ къ себѣ во едино (?) и вести ихъ въ согласномъ хорѣ къ окончательной цѣли, всѣмъ имъ предназначенной».

Такъ было, будто бы, со всѣми нацiями мiра, древнѣйшими и новѣйшими.

Въ чемъ-же «спасенiе», несомое мiру русскимъ народомъ?

Достоевскiй обращается къ «западникамъ» и спрашиваетъ: чему вы вѣрите? Вы вѣрите (да и я съ вами) въ общечеловѣчность, т. е. въ то, что падутъ когда-нибудь, передъ свѣтомъ разума и сознанiя, естественныя преграды и предразсудки, раздѣляющiе до сихъ поръ свободное общенiе нацiй эгоизмомъ нацiональныхъ требованiй, и что тогда только народы заживутъ однимъ духомъ и ладомъ, какъ братья, разумно и любовно стремясь къ общей гармонiи. Что-жъ, господа, что можетъ быть выше и святѣе этой вѣры вашей?

Идеаломъ славянофиловъ было единеніе въ духѣ истинной, широкой любви, безъ лжи и матеріализма и на основаніи личнаго великодушнаго примѣра, который предназначено дать собою русскому народу во главѣ свободнаго всеславянскаго единенія Европѣ.

Всѣ у насъ, не смотря на всю разноголосицу, все же сходятся и сводятся къ одной окончательной общей мысли общечеловѣческаго единенія. На степени такой живой и новѣйшей потребности этого чувства нѣтъ еще нигдѣ ни въ одномъ народѣ. Но если такъ, то вотъ и у насъ, стало быть, у насъ всѣхъ есть твердая и опредѣленная національная идея. Если національная идея русская есть, въ концѣ концовъ, лишь всемірное общечеловѣческое единеніе, то значитъ вся наша выгода въ томъ, чтобы всѣмъ, прекративъ всѣ раздоры до времени, стать поскорѣе русскими и національными.

Изъ этого съ одной стороны слѣдуетъ, что всякій поэтъ – новаторъ Европы, всякій прошедшій тамъ съ новою мыслью и съ новою силой, не можетъ миновать русской мысли, не стать почти русскою силой. А съ другой: если общечеловѣчность есть идея національная русская, то прежде всего надо каждому стать русскимъ, то есть, самимъ собой, и тогда съ перваго шагу все измѣнится. Стать русскимъ, значитъ перестать презирать народъ свой.

Мы должны преклониться передъ народомъ и ждать отъ него всего, и мысли, и образа; преклониться предъ правдой народной и признать ее за правду.

Въ русскомъ человѣкѣ изъ простонародья нужно умѣть отвлекать красоту его отъ наноснаго варварства. Обстоятельствами всей почти русской исторіи народъ нашъ до того былъ преданъ разврату, и до того былъ развращаемъ, соблазняемъ и постоянно мучимъ, что еще удивительно, какъ онъ дожилъ, сохранивъ человѣческій образъ, а не то, что сохранивъ красоту его. Но онъ сохранилъ и красоту своего образа. А идеалы его сильны и святы, и они-то и спасли его въ вѣка мученій; они срослись съ душой его искони и наградили ее на вѣки простодушіемъ и честностью, искренностію и широкимъ всеоткрытымъ умомъ, и все это въ самомъ привлекательномъ гармоническомъ соединеніи. Соприкосновеніе съ народомъ писателей— художниковъ нашихъ придало имъ необычайныя силы. Они заимствовали у него (напр. Пушкинъ) его простодушіе, чистоту, кротость, широкость ума и незлобіе, въ противоположность всему изломанному, фальшивому, наносному и рабски заимствованному.

При приближеніи Русско-турецкой войны Достоевскій говорилъ: война изъ за великодушной цѣли, изъ за освобожденія угнетенныхъ, ради безкорыстной и святой идеи, – такая война лишь очищаетъ зараженный воздухъ отъ скопившихся міазмовъ, лечитъ душу, прогоняетъ позорную трусость и

лѣнь, объявляетъ и ставитъ твердую цѣль, даетъ и уясняетъ идею, къ осуществленію которой призвана та или другая нація. У насъ, Русскихъ, есть двѣ страшныя силы, стоящія всѣхъ остальныхъ во всемъ мірѣ — это всецѣлость и духовная нераздѣльность милліоновъ народа нашего и тѣснѣйшее единеніе его съ Монархомъ.

§ 16. Въ литературѣ семидесятыхъ годовъ, какъ въ публицистикѣ, такъ и въ беллетристикѣ, въ разныхъ формахъ, мы встрѣчаемъ одну и ту же идею: вѣру въ народъ, возвращеніе къ народу, спасеніе народомъ, его непосредственными вѣрованіями и чувствами, его бытомъ, даже мускульнымъ трудомъ, которымъ онъ занятъ. Это выражено въ формулѣ: Все за народъ, все для народа, все посредствомъ народа. Иногда, какъ это видимъ у Аксакова и Достоевскаго, эта идея возвращенія къ народу ведетъ къ признанію церковно-государственнаго уклада Россіи, только съ мыслью о возвращеніи къ чистотѣ допетровской его традиціи; иногда та же идея, какъ это находимъ у народниковъ, приводитъ къ идеализаціи общины, какъ строя первобытнаго, при чемъ всѣ государственно-церковныя вліянія на народъ считаются враждебными его идеаламъ, ихъ искажающими. Часто, въ идею народа вкладывалось совершенно фантастическое содержаніе, но во всякомъ случаѣ всѣ непремѣнно опирались на народъ. Къ нему апеллируетъ и гр. Левъ Николаевичъ Толстой, излагая въ послѣдней части своего романа «Анна Каренина» идеи Левина. Вскорѣ затѣмъ въ рукописи распространилась «Исповѣдь» гр. Толстого, изъ которой стало очевиднымъ, что многое вложенное въ уста Левина изображаетъ духовную эволюцію самого великаго художника земли русской. Въ Левинѣ происходитъ крушеніе на вѣру взятыхъ популярно-научныхъ воззрѣній и идей прогресса, развитія и т. д. Отчасти, это разочарованіе въ томъ же духѣ, какъ и опроверженіе теорій Дарвина, Спенсера и Огюста Конта Н. К. Михайловскимъ во имя субъективной любви къ l'homme de la nature et de la vérité.

Левинъ вдругъ почувствовалъ себя въ положеніи человѣка, который промѣнялъ бы теплую шубу на кисейную одежду и который въ первый разъ на морозѣ несомнѣнно, не разсужденіями, а всѣмъ существомъ своимъ убѣдился бы, что онъ все равно что голый и что онъ неминуемо долженъ мучительно погибнуть.

Вопросъ для Левина состоялъ въ слѣдующемъ: «если я не признаю тѣхъ отвѣтовъ, которые даетъ христіанство на вопросы моей жизни, то какіе я признаю отвѣты?» И онъ, объясняетъ графъ Толстой, никакъ не могъ найти во всемъ арсеналѣ своихъ убѣжденій, не только какихъ-нибудь отвѣтовъ, но ничего похожаго на отвѣты. Убѣдившись въ ничтожествѣ матеріализма, Левинъ перечиталъ и вновь прочелъ и Платона, и Спинозу, и Конта, и Шеллинга, и Гегеля, и Шопенгауера, тѣхъ философовъ, которые не

матеріалистически объясняли жизнь. Порою онъ вдавался въ ту «ловушку словъ», которую ставили ему философы. Но при малѣйшемъ движеніи духа вдругъ вся эта искусственная постройка заваливалась, какъ карточный домъ, и ясно было, что постройка была создана изъ «перестановленныхъ словъ». Левинъ прочелъ второй томъ сочиненій Хомякова, и, не смотря на оттолкнувшій его сначала полемическій, элегантный и остроумный тонъ, былъ пораженъ ученіемъ Хомякова о церкви. Но, прочтя потомъ исторію церкви католическаго писателя и исторію церкви православнаго писателя, и увидѣвъ, что обѣ церкви, непогрѣшимыя по сущности своей, отрицаютъ одна другую, онъ разочаровался и въ хомяковскомъ ученіи о церкви, и это зданіе разсыпалось такимъ же прахомъ, какъ и философскія постройки.

«Безъ знанія того, что я такое и зачѣмъ я здѣсь—нельзя жить. А знать я этого не могу, слѣдовательно, нельзя жить», говорилъ себѣ Левинъ.

И счастливый семьянинъ, здоровый человѣкъ, Левинъ былъ нѣсколько разъ такъ близокъ къ самоубійству, что спряталъ шнурокъ, чтобы не повѣситься на немъ, и боялся ходить съ ружьемъ, чтобы не застрѣлиться»[238]).

Въ «Исповѣди» мы встрѣчаемъ эти мѣста, почти въ тѣхъ же выраженіяхъ и узнаемъ, что здѣсь описано состояніе духа самого гр. Толстого, боримаго сомнѣніями. Какъ же выходитъ Левинъ и съ нимъ гр. Толстой изъ того пессимистическаго тупика, въ который они попали?

Разговоръ съ простымъ мужикомъ возрождаетъ Левина.

«Люди разные, говоритъ ему мужикъ, «выбирая колосья изъ потной пазухи»,—одинъ человѣкъ только для нужды своей живетъ, хоть-бы Митюха, только брюхо набиваетъ,—а Ѳоканычъ,— правдивый старикъ. Онъ для души живетъ. Бога помнитъ.

— Какъ Бога помнитъ? Какъ для души живетъ?

— По правдѣ, по Божью.

Эти, въ достаточной степени неопредѣленныя слова, въ которыхъ было, конечно, не болѣе содержанія, чѣмъ у Хомякова, Платона и Конта, производятъ магическое дѣйствіе на душу Левина: «неясныя, но значительныя мысли толпою какъ-будто ворвались откуда-то изъ-заперти и, всѣ стремясь къ одной цѣли, закружились въ его головѣ, ослѣпляя его своимъ свѣтомъ».

Конечно, простое паденіе яблока, какое тысячу разъ видѣли обыкновенные люди, зародило въ головѣ Ньютона мысль о всемірномъ тяготѣніи. Но что же открылось Левину?

Вотъ его разсужденіе:

«Не для нуждъ своихъ жить, а для Бога. Для какого Бога? И что можно сказать безсмысленнѣе того, что онъ сказалъ? Онъ сказалъ, что не надо

---

[238]) Анна Каренина. Часть восьмая. IX.

жить для своихъ нуждъ, т. е., что не надо жить для того, что мы понимаемъ, къ чему насъ влечетъ, чего намъ хочется, а надо жить для чего-то непонятнаго, для Бога, котораго никто ни понять, ни опредѣлить не можетъ. И что же? Я не понялъ этихъ безсмысленныхъ словъ? А понявъ усомнился въ ихъ справедливости? Нашелъ ихъ глупыми, неясными, не точными?»

«Нѣтъ, я понялъ его, и совершенно такъ, какъ онъ понимаетъ, понялъ вполнѣ и яснѣе, чѣмъ я понимаю что-нибудь въ жизни и никогда въ жизни не сомнѣвался и не могу усомниться въ этомъ. И не я одинъ, а всѣ, весь міръ одно это вполнѣ понимаютъ и въ одномъ этомъ не сомнѣваются и всегда согласны». «Разрѣшеніе всего — найдено. Жить для Бога, для души».

«Я ничего не открылъ. Я только узналъ то, что я знаю. Я понялъ ту силу, которая не въ одномъ прошедшемъ — дала мнѣ жизнь, но теперь даетъ мнѣ жизнь. Я освободился отъ обмана, я узналъ хозяина». «Откуда взялъ я это? Разумомъ что-ли дошелъ я до того, что надо любить ближняго и не душить его? Мнѣ сказали это въ дѣтствѣ, и я радостно повѣрилъ, потому что мнѣ сказали то, что было у меня въ душѣ. А кто открылъ это? Не разумъ. Разумъ открылъ борьбу за существованіе (?) и законъ, требующій того, чтобы душить (?) всѣхъ, мѣшающихъ удовлетворенію моихъ желаній. Это выводъ разума. А любить другого не могъ (?) открыть разумъ, потому что это неразумно».

«Да, гордость,— сказалъ Левинъ, — переваливаясь на животъ». «И не только гордость ума, а глупость ума. А главное — плутовство, именно плутовство ума. Именно мошенничество ума».

«Развѣ не видно ясно въ развитіи теоріи каждаго философа, что онъ впередъ знаетъ такъ-же несомнѣнно, какъ и мужикъ Ѳедоръ и ничуть не яснѣе его, главный смыслъ жизни, и только сомнительнымъ умственнымъ путемъ хочетъ вернуться къ тому, что всѣмъ извѣстно?»

Черезъ четверть столѣтія, теперь мы уже знаемъ, какое многовѣтвистое дерево выросло изъ этихъ первыхъ зародышей, пока не создалось то «толстовство», которое такъ характерно окрасило русское общество «конца вѣка». Однако здѣсь уже встрѣчаемъ тѣ термины, которые потомъ развились въ нѣчто весьма своеобразное, какъ, напримѣръ, «смыслъ жизни» «познать хозяина» и т. д. Опираясь на народную безсознательную мудрость, Левинъ однако не признаетъ обще-народныхъ церковно-государственныхъ идеаловъ. Онъ съ презрѣніемъ, почти что съ отвращеніемъ относится къ движенію, охватившему общество и народъ — къ сочувствію и жертвамъ въ пользу славянской независимости. И въ этомъ случаѣ, проклявшій за «гордыню», «плутовство» и «мошенничество» индивидуальный умъ, смиренный Левинъ заявляетъ:

«Я самъ народъ».

Эта фраза напоминаетъ историческую фразу Людовика XIV.

II.

§ 1. Если «Войну и Миръ» можно назвать Иліадой русскаго народа, то «Анна Каренина»—Одиссея его. Тутъ раскрывается семейная жизнь русскаго человѣка, со всей ея сложной психологіей. Въ то-же время это широчайшее полотно, на которомъ раскинулась картина быта русскаго общества, помѣщиковъ, уже послѣ Положенія, и петербургскаго свѣта. Необыкновенное художественное достоинство великаго произведенія графа Льва Толстого было выяснено еще критикой семидесятыхъ годовъ:

«Громадный художественный талантъ, это та сила, съ помощью которой графъ Толстой подавлялъ всѣ возраженія, возникающія при чтеніи его романа. Мысль сохраняетъ ихъ, но изъ впечатлѣнія они изглаживаются; читатель увлекается вкрадчивою, изящно-раздражающею прелестью разсказа; онъ не можетъ бороться противъ одолѣвающей его потребности отдаться свободному и широкому стремленію художника, и съ наслажденіемъ вступаетъ вмѣстѣ съ нимъ въ это поэтическое море, гдѣ сквозь молочный туманъ сверкаютъ озаренныя приближающіяся очертанія. Противъ чарующей и поднимающей силы этого впечатлѣнія мысль безсильна устоять. Временами она какъ-будто чувствуетъ какое-то неудовлетвореніе, она какъ будто хочетъ заглянуть куда-то черезъ голову выведенныхъ авторомъ лицъ, испытываетъ что-то похожее на недовѣріе къ нравственному исходу, обрѣтаемому Константиномъ Левинымъ въ его сельскохозяйственной идилліи, но краски, образы, подкупающее очарованіе разсказа держатъ въ плѣну воображеніе и чувство.

«Вопросы о внутреннемъ содержаніи, о соразмѣрности плана, о стройности концепціи, объ экономіи подробностей—все это какъ-то само-собой исчезаетъ, какъ скоро отдаешься свободному, неправильному, часто весьма капризному теченію романа. У графа Толстого вся сила тамъ, гдѣ свободно творится художническое своеволіе. Самымъ свѣжимъ впечатлѣніемъ вѣетъ у него отъ тѣхъ страницъ, гдѣ онъ не только не хочетъ высказать какую-нибудь опредѣленную мысль, какое-нибудь, хотя бы глубоко-вѣрное или смѣло-парадоксальное воззрѣніе, но гдѣ даже ему удается скрыть свои симпатіи къ дѣйствующему лицу»[239]).

Богатство безпрерывно варьируемыхъ оттѣнковъ, строгая обдуманность каждаго эпитета, способность доработаться до составныхъ элементовъ каждаго образа, каждаго тона и полутона—вотъ гдѣ главная техническая тайна того творчества, какое видимъ въ созданіяхъ графа Толстого.

Нѣсколько ворчливый отзывъ появился тогда въ «Вѣстникѣ Европы»:

---

[239]) Русскій Вѣстникъ. 1876 г. Т. 121. Стр. 502 и 503.

«Авторъ обѣщалъ намъ въ своемъ произведеніи «Анна Каренина» одинъ романъ, а далъ — два. Параллельно съ романомъ, героиней котораго является Анна Каренина, развивается въ произведеніи автора, живетъ и даже переживаетъ первый — совсѣмъ другой романъ, героемъ котораго остается Константинъ Левинъ. Въ литературѣ, конечно, можно указать примѣры еще бо́льшей щедрости, можно припомнить, напримѣръ, многотомные и сложные романы XVII вѣка, извѣстные romans de longue haleine, но въ наше время читать всѣмъ болѣе или менѣе некогда... На всѣхъ не угодишь, и хотя романы de longue haleine находили въ свое время многочисленныхъ и благодарныхъ читателей, но нашелся также и брезгливый философъ, который, по поводу подобныхъ произведеній, воскликнулъ: Eh, mon Diéu, si vous avez de quoi faire deux romans, faites en deux, mais ne les mèlez pas pour les gàter l'un l'autre![240]».

Въ романѣ «Анна Каренина» авторъ представляетъ намъ коллизію семейныхъ обязанностей жены и матери — и потребностей любви, наслажденія и счастья женскаго сердца, неудовлетворенныхъ въ семьѣ и напрасно ищущихъ удовлетворенія внѣ ея, — коллизію, разрѣшающуюся катастрофой, самоубійствомъ женщины, посягнувшей на святыню семейной жизни. Тема повѣствованія, героемъ котораго является Константинъ Левинъ, пожалуй, гораздо новѣе и свѣжѣе темы романа Анны Карениной. Счастливый бракъ и нормальная семейная жизнь Левина въ намѣреніи автора сопоставлялись съ печальною судьбою семьи Карениныхъ, и должны были выяснять мысль цѣлаго романа, задуманнаго авторомъ; но послѣдній увлекся загадочностью проблемы, представшей ему въ образѣ Левина, проблемою посторонней мысли цѣлаго произведенія, и исторія развитія причудъ, недоумѣній и умственнаго блужданія Левина сдѣлалась предметомъ особеннаго повѣствованія, сохраняющаго только слабую и внѣшнюю связь съ романомъ «Анна Каренина»[241]. Но можно сказать, что въ великое произведеніе вплетенъ и третій романъ — Долли и Стивы Облонскихъ. Семья Карениныхъ семья Левиныхъ и семья Облонскихъ — въ ихъ взаимо-оттѣняющей эволюціи, вотъ тема романа этой русской «Одиссеи», если «Война и Миръ» есть русская «Иліада».

«Облонскій представленъ съ необыкновенною отчетливостію, полнотою и послѣдовательностію. Степанъ Аркадьевичъ сохранитъ въ русской литературѣ мѣсто среди лучшихъ представленныхъ ею типическихъ образовъ. Съ образомъ Облонскаго у насъ всегда будетъ соединяться отчетливое понятіе о цѣломъ разрядѣ счастливыхъ, благодушныхъ людей, цѣль и при-

[240]) Каренина и Левинъ. Литературно-критическіе очерки А. Станкевича. «Вѣстникъ Европы». 1878 г. т. II. Стр. 785.

[241]) Станкевичъ. Стр. 788.

званіе которыхъ заключается въ томъ, чтобы пріятно жить, и у которыхъ всѣ стремленія, взгляды, мнѣнія опредѣляются такимъ призваніемъ. Самыя достоинства такихъ людей, ихъ обходительность, честность, ихъ незлобіе, такъ же какъ и ихъ вкусы, опредѣляются тою-же цѣлью. Они настолько равнодушны ко всему, постороннему ихъ существенной задачѣ, что ихъ ничто не смущаетъ и не озадачиваетъ въ жизни; они не встрѣчаютъ затрудненій и неразрѣшимыхъ противорѣчій, они знаютъ, что все это образуется для нихъ. Ихъ общественныя, политическія и даже религіозныя требованія, отношенія и мнѣнія, — все прилажено и приведено въ гармонію съ главною задачею, задачею — пріятно жить [242]).

Кто эта Анна Каренина? Анна уже восемь лѣтъ жена и мать, она умна среди свѣта и людей, въ ней не можетъ быть невѣдѣнія зла, людскихъ отношеній, семейныхъ и общественныхъ условій и обязанностей, а также и слѣдствія ихъ нарушенія. У этой жены и матери есть, конечно, крѣпкія связи съ близкими лицами, опредѣленныя цѣли установившейся жизни. Ея мужъ напоминаетъ ихъ ей, говоритъ о нихъ съ нею, но все напрасно. Со встрѣчи съ Вронскимъ мы не видимъ въ ней ни колебаній, ни сомнѣній. Она никогда не спрашиваетъ себя, куда приведетъ ее путь, на который она вступила. Въ этой женѣ и матери не замѣтно никакихъ признаковъ внутренней борьбы съ самой собой, если не называть такъ легкаго смущенія, на короткія мгновенія, овладѣвшаго ею во время сближенія ея съ Вронскимъ. Чтобы понимать увлеченіе, паденіе, раскаяніе, поступки, страданіе и даже самую смерть Анны, мы должны не забывать это легкомысліе, эту природу мотылька, эту родственную природу брата и сестры (Облонскихъ [243]).

Каренинъ — уменъ, честенъ, дѣятеленъ, у него есть серьезныя цѣли и интересы. Авторъ представляетъ въ немъ бюрократа, человѣка, который всегда чуждается жизни и имѣетъ только дѣло съ ея отраженіями, но вмѣстѣ и человѣкомъ, съ умственными интересами въ политикѣ, философіи, даже въ богословіи. Только поэзія и искусство были совершенно чужды ему.

Вронскій — блестящій и изящный, очень богатый, умный и очень образованный человѣкъ... Кромѣ занятій службою и свѣтомъ у Вронскаго было еще занятіе — лошади, до которыхъ онъ былъ страстный охотникъ. Эти интересы и цѣли жизни Вронскаго, какъ-то: полкъ, товарищество, лошади, вѣроятно, были понятнѣе Аннѣ, чѣмъ занятія мужа административными дѣлами, политикою или наукою и въ фантазіи свѣтской женщины окружали Вронскаго тѣмъ блескомъ, въ какомъ никогда не могъ представляться почтенный, но прозаическій образъ Алексѣя Александровича [244]).

---

[242]) Станкевичъ. Стр. 788.

[243]) Станкевичъ. Стр. 790 и 791.

[244]) Станкевичъ. Стр. 793.

Второй романъ является просто біографіей Левина, біографіей лица, весьма загадочнаго для самого себя, и съ которымъ мы должны знакомиться только изъ изложенія его смутныхъ концепцій, впечатлѣній, соображеній и разсужденій... Жизнь Левина вообще была только процессомъ уясненія разныхъ затруднительныхъ вопросовъ, хотя самаго уясненія онъ не достигалъ. Читатель, ознакомившись съ жизнію и мнѣніями Левина, не замѣчаетъ никакого вліянія семейной жизни на его нравственное или умственное состояніе. Счастливый бракъ съ Китти не имѣлъ въ этомъ отношеніи никакихъ послѣдствій для Левина, который въ концѣ повѣствованія автора остается тѣмъ же, какимъ выступилъ передъ нами въ началѣ его. Добрая Китти, руководимая несложными требованіями своего сердца, не запуталась ни въ какихъ противорѣчіяхъ и не заражалась резонерствомъ своего мужа. Ея нравственная природа была цѣльнѣе и здоровѣе природы ея мужа и Левинъ мирился съ тѣмъ, что всегда будетъ стѣна между «святая святыхъ» его души и женою его.

Въ романѣ «Константинъ Левинъ» нѣтъ никакого развивающагося событія, происшествія. Авторъ представляетъ въ немъ только рядъ сценъ, изъ которыхъ весьма немногія имѣютъ отношеніе къ лицу Левина, къ личной его участи, къ внутренней его жизни, собственно и составляющихъ содержаніе повѣствованія о Константинѣ Левинѣ. Нѣкоторыя изъ изображаемыхъ сценъ рисуются авторомъ съ большимъ искусствомъ и съ правдивостью, свидѣтельствующею о силѣ его наблюдательности.

Со стороны автора мы не замѣчаемъ ни малѣйшаго слѣда ироніи въ отношеніи къ герою его произведенія, къ его оригинальнымъ мнѣніямъ и умственному его блужданію. Онъ, повидимому, признаетъ въ Левинѣ серьезнаго человѣка, даже человѣка замѣчательнаго по глубинѣ и оригинальности свойственнаго ему какого-то таинственнаго и безсознательнаго пониманія. Путемъ послѣдняго, какъ кажется Левину, истина и добро открываются для него съ бо́льшею широтою и въ бо́льшей высотѣ, чѣмъ людямъ, руководящимся умомъ и мыслью, — людямъ подобнымъ Кознышеву, Метрову, Клинову, Катавасову, съ которыми трудно Левину спорить и разсуждать, которые способны ясно выражать свои мнѣнія именно вслѣдствіе ограниченности и узкости своихъ понятій. Левинъ же чувствуетъ, что понимаетъ все до того вѣрнѣе, глубже и возвышеннѣе, что и выразить ясно своего пониманія не можетъ, а потому и долженъ быть побѣждаемъ въ бесѣдахъ съ этими людьми.

При такомъ свойствѣ Левина, монологъ, а не бесѣды съ другими лицами, — самая удобная форма для выраженій души его, и его монологи, хотя и скучны, но за то свободны и не стѣснены противорѣчіями ограниченнаго разсудка и пониманія. Эти монологи не нарушаются и вмѣшательствомъ самого автора, не сопровождающаго ихъ съ своей стороны ни ма-

лѣйшимъ намекомъ, по которому читатель могъ-бы подозрѣвать, что авторъ хотя слегка пожимаетъ плечами при крайне дикихъ выходкахъ Левина»[245]).

Какъ и слѣдовало ожидать, подобно роману «Война и Миръ» и романъ «Анна Каренина» встрѣтилъ чрезвычайно своеобразную оцѣнку въ органахъ тогдашнихъ «крайнихъ»! Одно уже изображеніе свѣта, богатой помѣщичьей среды, придворной аристократіи, возмутило демократическія натуры этого лагеря.

О романѣ гр. Л. Н. Толстого «Дѣло» писало: «Не слѣдуетъ удивляться тому, что его новѣйшее произведеніе, при обычномъ блескѣ и совершенствѣ художественной формы, отличается такой же невѣроятной, можно даже сказать—такой скандальной пустотой содержанія: художникъ съ міросозерцаніемъ автора «Войны и Мира» долженъ былъ въ своемъ творчествѣ логически дойти до «Анны Карениной».

Всѣ герои романа, всѣ эти Левины, Вронскіе, Облонскіе, Анны Каренины, Долли, Китти,— обезпеченные матеріальнымъ довольствомъ субъекты, для которыхъ, вслѣдствіе склада ихъ воспитанія, а также довольно ограниченнаго нравственнаго и умственнаго развитія, главная и существенная «злоба дня» заключается въ ихъ половыхъ отношеніяхъ... Все, выходящее за предѣлъ отправленій половой сферы, есть для нихъ нѣчто внѣшнее».

Вронскій— «этотъ блестящій герой въ двухъ частяхъ романа высказался единственно только со стороны «галантерейнаго обращенія» и совершилъ два подвига: преклонилъ великолѣпную супругу высокопоставленнаго петербургскаго чиновника къ незаконнымъ амурамъ и переломилъ кровной англійской кобылѣ спину на скачкахъ».

«Вотъ какова эта эпопея амуровъ, сочиненная гр. Толстымъ: въ ней лошади и женщины третируются въ одинаковомъ тонѣ... въ ней разсказываются съ одинаковымъ художественнымъ анализомъ и одинаковой обстоятельностью и человѣческія, и коровьи, и лошадиныя привязанности... Стоитъ-ли говорить о великомъ художествѣ, если оно потрачено въ изобиліи на совершенно вздорное и даже, если хотите, растлѣнное содержаніе?[246]).

§ 2. Смерть Тургенева—писала газета «Daily News», потеря не для одной только Россіи, но и для всей Европы вообще. Онъ единственный русскій писатель, сочиненія котораго нашли себѣ массу читателей и за предѣлами его родины и, пожалуй, единственный русскій, обладавшій въ теченіе долгихъ годовъ обширнымъ кругомъ личныхъ друзей во Франціи, Англіи и Германіи, но преимущественно въ Парижѣ и Лондонѣ. Его пребываніе за

[245]) А. Станкевичъ. Каренина и Левинъ. Вѣстникъ Европы. Май 1878 г. Стр. 172, 186, 187, 188, 189.

[246]) Дѣло. 1875. Май. Критическій фельетонъ.

границей до нѣкоторой степени повліяло на уничтоженіе многихъ изъ крайне невыгодныхъ для Россіи предубѣжденій, которыя питались противъ нея Европой. Ибо не могла же быть объята безнадежнымъ мракомъ страна, которая произвела Тургенева»[247]).

Выше мы выяснили, какое истинно великое и патріотическое «русское дѣло» созидалъ Тургеневъ на западѣ. Однако, положеніе его, какъ «изгнанника добровольнаго» позволяло обвинять его въ томъ, что онъ забылъ Россію и русскую дѣйствительность, пишетъ по памяти и т. д.

«Понятно, говоритъ Н. Н. Страховъ, что Западъ, передъ которымъ Тургеневъ такъ преклонялся, не могъ дать ему какого-нибудь руководящаго начала. Западъ внушилъ ему только вѣру въ прогрессъ».

А Тургеневымъ просто водило здоровое русское чувство, которое никогда его и не покидало.

По поводу «Нови» въ «Дѣлѣ» (1884 г. № 1) писали: «Художникъ, чуть ли не 15 лѣтъ почти безвыѣздно проживпій заграницей, смѣло берется за «истолкованіе» такого явленія, передъ которымъ въ недоумѣніи останавливаются самые близкіе наблюдатели. Онъ смѣло берется за описаніе пропаганды, заговора (?), типовъ, хотя ни того, ни другого, ни третьяго совершенно не могъ наблюдать изъ своего прекраснаго далека. Ничто его не устрашаетъ».

То-же повторяетъ Ю. Николаевъ (Говоруха — Отрокъ) въ книгѣ о Тургеневѣ (М. 1894 г.): «Дворянское Гнѣздо, Рудинъ, Отцы и Дѣти, Наканунѣ, Дымъ были созданы имъ подъ непосредственными впечатлѣніями жизни... Не то было съ «Новью». Этотъ романъ не вылился у него изъ души, какъ другія произведенія... въ этомъ романѣ дѣйствуетъ одинъ умъ... Это романъ чисто головной, здѣсь видна работа ума и только, — работа ума надъ составленіемъ сложной, красивой и изящной мозаики... Думая, что только и свѣту, что въ европейскомъ окошкѣ, онъ, глядя изъ этого окошка на Россію, только и увидѣлъ въ ней, что Соломиныхъ. Ничего иного изъ этого окошка и нельзя было увидѣть, ибо то, что совершалось въ глубинѣ русской жизни, совершалось внѣ свѣта этого окошка. Вѣруя въ европейскую механическую идею безконечнаго прогресса и не понимая идеи органическаго развитія національностей, Тургеневъ... et cetera et cetera».

Превосходную оцѣнку этого замѣчательнаго произведенія великаго художника даетъ В. П. Буренинъ.

«Десятилѣтній срокъ отдѣляетъ романъ «Дымъ» отъ романа «Новь» — послѣдняго изъ крупныхъ произведеній Тургенева. Въ эти десять лѣтъ Тургеневъ постоянно жилъ вдали отъ родины, на короткое время пріѣзжая иногда въ Россію... Почти каждый годъ первая книга журнала «Вѣстникъ

---

[247]) Прибавленіе къ собранію Критич. матер. Зелинскаго. М. 1896 г. Стр. 101.

Европы» являлась «украшенной» какимъ-нибудь небольшимъ произведеніемъ Тургенева; но эти «украшающія» произведенія не возбуждали уже никакихъ волненій ни въ публикѣ, ни въ литературѣ, не отвѣчали ни на какіе запросы времени. Даже наиболѣе выдающіяся изъ этихъ произведеній, двѣ довольно значительныхъ по объему повѣсти «Степной король Лиръ» и «Вешнія воды», въ художественномъ отношеніи представляющія истинные шедевры — даже и эти повѣсти не произвели особеннаго впечатлѣнія. А между тѣмъ въ первой изъ нихъ талантъ Тургенева блеснулъ со всею былою силою и выразительностью, въ изображеніи оригинальныхъ бытовыхъ картинъ и характеровъ, мастерски задуманныхъ и обработанныхъ».

«Отъ «Вешнихъ водъ» вѣетъ всею поэзіею и изяществомъ тургеневскаго творчества самой счастливой, самой лучшей и зрѣлой поры... Въ новыхъ варіаціяхъ на знакомую тему художникъ выказалъ бездну свѣжаго чувства, изящества, тонкой психологіи, чудесной живописи, краски которой такъ же ярки и блестящи, какъ въ его молодыхъ работахъ»[248]).

Въ продолженіе десятилѣтія, раздѣляющаго «Новь» отъ «Дыма», критика, вообще говоря, холодно относилась къ произведеніямъ Тургенева, точно также какъ и публика.

Критики потомъ упрекали Тургенева, что онъ написалъ «Новь», по матеріаламъ, доставленнымъ ему какою-то «дамою». Желая просвѣтить художника насчетъ истиннаго характера стремленій «молодежи», дама сообщила ему разные «документы», въ которыхъ, по ея мнѣнію, выражались эти стремленія, наконецъ, даже рекомендовала его вниманію субъектовъ, могущихъ послужить достойными образцами героевъ, представителей «новыхъ людей» русскихъ «Лео» (герой извѣстнаго романа Шпильгагена). «Что касается вашихъ новыхъ людей,— пишетъ Тургеневъ,— какой-бы я былъ художникъ (не говорю уже — человѣкъ), если бы я не понималъ, что самоувѣренность, преувеличеніе, извѣстнаго рода фраза и поза, даже нѣкоторый цинизмъ, составляютъ неизбѣжную принадлежность молодости? Не въ этомъ я упрекаю вашихъ знакомыхъ, а въ скудости мысли, въ отсутствіи познаній, а главное въ бѣдности, въ нищенской бѣдности дарованія... Печать бездарности лежитъ на всѣхъ безъ исключенія... Я не знаю, напишу-ли я свой романъ; и знаю навѣрное, что въ немъ много будетъ недостатковъ... Отчего-же новые молодые люди не берутся за эти задачи: мы старики охотно-бы уступили имъ «честь и мѣсто» — и первые порадовались-бы приливу новыхъ силъ. Но на литературной аренѣ подвизаются беллетристы «Дѣла».

По объему и числу дѣйствующихъ лицъ романа «Новь» является са-

---

[248]) Буренинъ. Литературная дѣятельность Тургенева. Критическій этюдъ. Изд. 2-е. Спб. 1884. Стр. 198—199.

мымъ большимъ произведеніемъ Тургенева. Всѣ остальные его романы заключаются въ одной части, къ которой иногда присоединенъ небольшой эпилогъ; въ «Нови» художникъ отступаетъ отъ этой экономіи въ изложеніи романа, которая такъ цѣнилась въ нашемъ писателѣ нѣкоторыми иностранными критиками и беллетристами, и въ первый разъ даетъ романъ въ двухъ частяхъ. Какъ-бы въ соотвѣтствіе этому романъ имѣетъ двухъ центральныхъ героевъ, Нежданова и Соломина, очевидно поставленныхъ въ нѣкоторую противоположность другъ другу, для оттѣнка двухъ различныхъ вѣяній времени: одного, если можно такъ выразиться, артистически-политическаго, и другого практически-соціальнаго.

Дѣйствіе «Нови» происходитъ въ 1868 году и захватываетъ, такъ сказать, первые шаги того революціоннаго броженія на Руси, котораго тревожные, судорожные порывы въ ихъ крайнемъ развитіи обнаружились гораздо позднѣе. Эти первые шаги выразились въ формѣ стремленія «въ народъ», въ формѣ стремленія «опроститься», какъ охарактеризовалъ однимъ словомъ Тургеневъ это сложное явленіе. Эти молодыя головы думали свои книжные идеалы связать съ народными идеалами, посредствомъ «распропагандированія» темныхъ массъ.

Тургеневъ затронулъ это своеобразное явленіе русской жизни очень осторожно и далеко не съ тою аналитической выдержкой, не съ тою дерзкою правдивостью художническаго отрицанія, съ которыми онъ затрогивалъ прежніе недуги нашего общественнаго роста. Какъ проницательный мыслитель, онъ конечно понималъ, что русская жизнь пришла къ этому явленію процессомъ крайне сложнымъ, въ которомъ въ данный моментъ трудно было разобраться вполнѣ опредѣленно и ясно уже по тому одному, что оно представляло общественный недугъ, находящійся еще въ самомъ остромъ періодѣ. Бередить рану русской жизни, въ то время только что открывшуюся, запускать въ нее слишкомъ глубоко зондъ отрицательнаго анализа—было рисковано.

Подобно тому, какъ онъ это сдѣлалъ въ романѣ «Наканунѣ», Тургеневъ пытался отгадать героевъ «Нови», начертить ихъ обликъ по даннымъ, подсказаннымъ ему больше умомъ, чѣмъ непосредственными впечатлѣніями творческой фантазіи. И, надо отдать справедливость его беллетристическому искусству и его мыслительной проницательности, новая попытка удалась ему на столько, что образы имъ нарисованные, если и не столь точны, выразительны и живы, какъ образы «Отцовъ и дѣтей», или «Дворянскаго гнѣзда», то, во всякомъ случаѣ, скомпанованы съ замѣчательнымъ искуснымъ подборомъ наиболѣе характерныхъ признаковъ, и съ еще болѣе искуснымъ расположеніемъ свѣта и тѣни. Тургеневу не измѣнили ни его талантъ, ни его удивительная беллетристическая техника: они проявляются

быть можетъ съ меньшей силой и свѣжестью, чѣмъ въ произведеніяхъ, бывшихъ апогеемъ его творчества, но всетаки проявляются довольно полно.

«Молодое поколѣніе», какъ извѣстно, не признало себя въ герояхъ «Нови». Одинъ изъ учащейся молодежи прочиталъ Тургеневу нѣчто въ родѣ поученія по поводу того, что художникъ «не понялъ» въ своемъ романѣ «ихъ», хотя при этомъ поучающій поблагодарилъ поучаемаго за доброе и похвальное желаніе нарисовать такого премудраго и загадочнаго сфинкса, какъ русская молодежь новыхъ временъ. Поученіе это было высказано въ 1879 году, во время овацій, сдѣланныхъ тогда Тургеневу въ Москвѣ.

Цитируемый нами критикъ находитъ, что фигуры его молодыхъ героевъ если и не созданы типически, то намѣчены настолько вѣрно и правдиво, что безъ сомнѣнія онѣ исчерпываютъ почти всѣ существенныя стороны жизненнаго движенія, воспроизведеннаго художникомъ[249]).

Въ двухъ главныхъ герояхъ «Нови» Неждановѣ и Соломинѣ олицетворено это противоположеніе «таланта» и «характера», о которомъ было поднято столько толку у нѣмцевъ во время появленія «юной Германіи».

Барское происхожденіе отразилось на внѣшности Нежданова, отличавшейся изящностью и выказывавшей породу. Фальшивое положеніе, въ которое онъ былъ поставленъ своимъ происхожденіемъ, развило въ немъ болѣзненную нервность и, такъ сказать, вывихнуло его натуру съ раннихъ дней, надѣлило его качествами самыми противоположными и несовмѣстимыми. Демократическія и «политическія» вліянія времени окончательно развинтили и расшатали эту нервную, несложившуюся натуру. «Опрятный до щепетильности, брезгливый до гадливости, онъ силился быть циничнымъ и грубымъ на словахъ; идеалистъ по натурѣ, страстный и цѣломудренный, смѣлый и робкій въ одно и то-же время, онъ какъ позорнаго порока стыдился и этой робости своей, и своего цѣломудрія, и считалъ долгомъ смѣяться надъ идеалами. Сердце онъ имѣлъ нѣжное и чуждался людей; легко озлоблялся и не помнилъ зла».

Тургеневъ устами своего Паклина называетъ его «романтикомъ реализма».

Таковъ былъ Писаревъ, со своимъ «реализмомъ».

«Несмотря на неодобреніе «передовой молодежью» неждановскаго типа, слѣдуетъ сказать по справедливости, что въ компановкѣ этого типа Тургеневъ скорѣй усилилъ свѣтлыя его стороны, чѣмъ темныя. Его Неждановъ, безъ сомнѣнія, умнѣе, талантливѣе, изящнѣе, симпатичнѣе, искреннѣе и даже трагичнѣе многихъ господъ агитаторовъ, фигурировавшихъ въ пору хожденія «въ народъ». Эти господа, какъ они выяснились изъ нѣкоторыхъ

249) В. П. Буренинъ. Литер. дѣят. Тургенева. Изд. 2-е. Стр. 210—216.

извѣстныхъ документовъ о ихъ дѣятельности, являются не особенно крупными и значительными героями. Какъ ни достойны они сожалѣнія по своей участи, какъ ни ослабляются ихъ заблужденія печальными условіями времени, которое захватило ихъ своимъ удушливымъ вѣяніемъ, все же ихъ умственныя и моральныя качества, ихъ подвиги, по большей части, мизернѣе, низменнѣе тѣхъ, какіе Тургеневъ показалъ въ героѣ «Нови». Неждановъ — существо глубоко неудачное и понимающее свою неудачность: «Коли ты рефлектёръ и меланхоликъ, какой же ты къ черту революціонеръ?»

Второй герой «Нови» — Соломинъ во всѣхъ отношеніяхъ антитеза Нежданова. «Тамъ талантъ — тутъ характеръ; тамъ болѣзненная нервность, броженіе неустановившихся силъ, артистичность, романтическая закваска, невыдержанность; тутъ здоровая положительность, уравновѣшенность, дѣловитость, закваска вполнѣ реалистическая, твердая выдержка; тамъ ложное положеніе, оторванность отъ блестящей барской среды, съ которой сходство сказывается въ невольныхъ инстинктахъ изящнаго, въ брезгливости ко всему грубому, къ грязи, къ сѣрой безцвѣтности плебейства; тутъ положеніе самое устойчивое, близость къ народной средѣ уже по одному происхожденію (Соломинъ — сынъ дьячка), кровное, инстинктивное сочувствіе, хотя жестокимъ и темнымъ, но тѣмъ не менѣе трудовымъ качествамъ «чернаго» народа. При всей честности и разсудительности своихъ стремленій, Соломинъ не лишенъ практичности въ этомъ родѣ, не лишенъ эксплуататорской сноровки и не церемонясь пускаетъ ее въ ходъ, гдѣ нужно и когда это удобно. Вспомните, какъ ловко онъ вывернулся изъ сѣтей агитаціи, съ которой былъ въ близкихъ, но осторожныхъ отношеніяхъ. Вспомните, какъ ловко, спокойно и хладнокровно онъ, почти еще у теплаго трупа своего сотоварища, приглашаетъ невѣсту этого сотоварища «исполнить его волю», то есть обвѣнчаться съ нимъ, Соломинымъ, и черезъ два дня дѣйствительно обвѣнчивается съ нею... Клювъ у него тонкій, да крѣпкій за то: онъ продолбитъ»[250]).

Въ Соломинѣ невозможно отыскать ни одного малѣйшаго признака идеализма и эстетическаго начала. У него взглядъ на все — практика дѣльца.

Героиня «Нови» Маріанна сдѣлана Тургеневымъ и притомъ сдѣлана въ прикрашенномъ видѣ, кажется, несоотвѣтствующемъ той дѣйствительности и той средѣ, типическою представительницею которыхъ она, по замыслу автора, должна служить. Для компановки образа Маріанны Тургеневъ прихватилъ много красокъ у иностранныхъ беллетристовъ. Гораздо ближе къ русской дѣйствительности того жанра, который воспроизведенъ въ «Нови», — Машурина.

[250]) Буренинъ. Стр. 228—229.

Это доброе, ограниченное и честное существо, грубое и невзрачное по наружности, таящее въ душѣ нераздѣленное чувство любви къ Нежданову, и размыкивающее свое сердечное горе преданностью тому призраку революціонной дѣятельности, за которымъ она слѣдуетъ, покорно и скромно исполняя всякую, не только «черную», но и опасную работу, возлагаемую на нее вожаками. Машурина одна изъ самыхъ обыкновенныхъ и самыхъ живыхъ и правдивыхъ лицъ русской недавней дѣйствительности, одна изъ невзрачныхъ, но не лишенныхъ внутренняго трагизма жертвъ нашей кружковщины. Подобнаго же рода, хотя менѣе привлекательное лицо представляетъ Остродумовъ: герой изъ категоріи статистовъ русской революціи», изъ породы «угрюмыхъ тупицъ», у котораго самыя подошвы сапоговъ не такія, какія бываютъ у умныхъ людей». Это — «быдло» подпольнаго міра.

Эскизно, но мѣтко сработаны характеристики великолѣпнаго господина Кислякова и купца-кулака Галушкина, въ пьяномъ видѣ жертвующаго «тыщу рублёвъ» на революцію.

Галушкинскій обѣдъ съ агитаторами высоко комиченъ. Хороши и рѣчи съ набором словъ: прогрессъ, правительство, литература, податной вопросъ, церковный вопросъ, женскій вопросъ, судебный вопросъ, классицизмъ, реализмъ, нигилизмъ, коммунизмъ, интернаціоналъ, клерикалъ, либералъ, капиталъ, администрація, организація, ассоціація и даже кристаллизація... Какъ хорошъ приказчикъ Ваня, который въ заключеніе всей пьяной трескотни иностранныхъ словъ, какъ бѣшеный выкрикиваетъ изумительный вопросъ: «Что за дьяволъ такой — прогимназія?!?».

Если въ «Нови» хорошо отгадано, но быть можетъ не совсѣмъ законченно вырисована сторона русской жизни конца шестидесятыхъ годовъ, выражающая ея тревожное, революціонное начало, то другая сторона, выражающая начало, которое у насъ привыкли называть благонамѣреннымъ, обработана съ точностью и выразительностью самой зрѣлой поры творчества Тургенева. Въ обрисовкѣ фигуръ благонамѣреннаго либерала Сипягина, его закисшей въ лицемѣрной нравственности супруги, въ обрисовкѣ фигуры Коломѣйцева, петербургскаго охранителя, художественный талантъ автора «Нови», проявляется съ могучей силой.

Г. Сипягинъ просто великолѣпенъ въ своемъ благонамѣренномъ либерализмѣ. Это олицетвореніе петербургскаго прогрессиста-барина и бюрократа [251]).

БИБЛІОГРАФІЯ: О «Нови» статья А. (Авсѣенко) въ «Русск. Вѣстн.» 1877 г. № 2. Стр. 907—941.—Отвѣтъ на эту статью въ «Вѣстн. Евр.» 1877 г. №№ 2—3.—Никитинъ. Уравновѣшенныя души. Дѣло. 1877 г. №№ 2, 3. 4. —Зелинскій. Собраніе критическихъ матеріаловъ. Вып. II. Изд. 2-е. М. 1895 г.—

[251]) Буренинъ, стр. 241.

§ 3. Въ ряду художественныхъ произведеній, появившихся въ семидесятыхъ годахъ, одно изъ первыхъ мѣстъ занимаютъ романы Печерскаго «Въ лѣсахъ» и «На горахъ».

Великій знатокъ русской народной жизни и русскаго народнаго быта, Павелъ Ивановичъ Мельниковъ глубоко проникнулъ въ сокровенные тайники этой жизни, заглянулъ въ темный, непроницаемый міръ старыхъ бытовыхъ преданій, изслѣдовалъ его разнообразныя явленія и воспроизвелъ ихъ въ неподражаемыхъ народныхъ типахъ — въ своихъ очеркахъ, повѣстяхъ и романахъ[252]).

Въ бумагахъ П. И. Мельникова сохранился богатый, разнообразный матеріалъ для его жизнеописанія... Сохранился такъ же и дневникъ, который онъ началъ въ 1858 году. По преданію, предки Мельникова вышли съ Дону. Въ XVIII столѣтіи Мельниковы, небогатые и незнатные дворяне, служили въ рейтерскихъ полкахъ иноземнаго строя. Дѣдъ былъ женатъ на дочери сельскаго священника. Родился Павелъ Ивановичъ 22 октября 1819 года. Его дядя — Левъ Ник. Энгельгардтъ. Отецъ сдѣлалъ походы 1813 и 1814 гг. Женатъ былъ на дочери нижегородскаго исправника.

Дѣдъ со стороны матери былъ замѣчательный человѣкъ. Въ его библіотекѣ, доставшейся матери Павла Ивановича, были переводы классиковъ, всѣ изданія Новикова, сочиненія отъ Кантеміра и Ломоносова до Карамзина и Жуковскаго. Мельниковъ въ дѣтствѣ ею пользовался. Въ 1829 г. поступилъ въ Нижегородскую гимназію. Кончилъ ее въ 1834 г. Гимназисты въ башнѣ нижегородскаго кремля (въ часовой) устроили театръ и разыгрывали Эдипа, Фингала, Дмитрія Донского, Поликсену. Ихъ открыло начальство и распорядилось «круто».

Доставъ нѣмецкую рукопись на пергаментѣ «D. Faustens Geister Zwang», вызывали духа Аханта—но онъ не явился.

Учитель словесности Ал. Вас. Савельевъ читалъ въ классахъ и давалъ на домъ читать Пушкина, Козлова, Дельвига, Баратынскаго. Затѣмъ Мельниковъ поступилъ въ Казанскій университетъ. Вотъ эпизодъ, рисующій тогдашнія настроенія: «Въ пятницу, 5-го февраля 1837 года, въ 8 часовъ утра, на третьемъ курсѣ словеснаго факультета была лекція русской словесности. Суровцевъ, по обыкновенію, вошелъ въ аудиторію во время боя часовъ. Мы ожидали, что онъ, какъ водится, взойдетъ, слегка прихрамывая, на каѳедру, сядетъ, оглядитъ студентовъ, замѣчая, кто не пришелъ на лекцію, вынетъ серебряную табакерку, положитъ ее направо, вынетъ красный фуляровый платокъ и положитъ его налѣво и начнетъ лекцію обычною фразою: «Въ прошлый разъ бесѣдовали мы, государи мои, о томъ-то». Не тутъ-то было. Григорій Степановичъ взошелъ на каѳедру и, не садясь, вы-

[252]) П. Усовъ. Біографія. Соч. Мельникова-Печерскаго. Т. I. 1897 г.

нулъ изъ кармана газетный листокъ, помнится, «Русскаго Инвалида», поднялъ его къ верху и, окинувъ быстрымъ взглядомъ аудиторію, громко сказалъ: «Встаньте!» Мы встали, съ изумленіемъ глядя на профессора. Дрожащимъ отъ волненія голосомъ, въ которомъ слышались горькія задушевныя слезы, онъ прочелъ извѣстіе—всего нѣсколько строкъ. Живо помню первыя слова его: «Солнце нашей поэзіи закатилось—нѣтъ болѣе Пушкина!» Аудиторія ахнула въ одинъ голосъ, послышались рыданія... Самъ профессоръ сѣлъ и, склонивъ на каѳедру сѣдую, какъ серебро, голову, горько заплакалъ»...

«Добродушный, любимый нами старикъ—разсказываетъ Мельниковъ,—Григорій Степановичъ Суровцевъ, не былъ замѣчателенъ своими учеными трудами, да едва-ли, кромѣ рѣчей для университетскихъ актовъ, и писалъ онъ что-нибудь. Надъ нимъ подтрунивали студенты другихъ факультетовъ, но кто хотѣлъ учиться, и кто внимательно слушалъ его, тому онъ много приносилъ пользы».

Горацій и Аристотель были его кумирами. Прекрасно зная народный языкъ и созданія народнаго творчества, пѣсни, сказки, пословицы, Суровцевъ постоянно говаривалъ, что въ нихъ заключается чистый, ничѣмъ не возмутимый источникъ для настоящаго литературнаго русскаго языка, котораго еще нѣтъ, но который будетъ, и будетъ непремѣнно. Пушкина онъ зналъ лично. Однажды, говорилъ Суровцевъ, спросили Пушкина, какъ онъ находитъ даму, съ которою онъ долго говорилъ, умна-ли она? Поэтъ отвѣчалъ: «не знаю; вѣдь я говорилъ съ нею по-французски». «Это фейерверкъ!» говаривалъ Суровцевъ про Марлинскаго, когда всѣ въ тридцатыхъ годахъ преклонялись передъ нимъ: Избави васъ Богъ подражать ему. Огня много, но тепла ни на грошъ. Вспыхнетъ, блеснетъ, ослѣпитъ и померкнетъ». «Мы всѣ и донынѣ,—прибавляетъ Мельниковъ, благодаримъ судьбу, что выслушали полный курсъ философіи».

Кончивъ университетъ, Мельниковъ является въ роли учителя гимназіи и археолога. Добытыми въ нижегородскихъ архивахъ матеріалами Мельниковъ воспользовался для многочисленныхъ статей своихъ, помѣщенныхъ имъ въ «Нижегородскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ», редакторомъ неофиціальной части которыхъ онъ состоялъ съ 1 января 1845 года по 14 мая 1850 года. Въ 1847 г. у него уже было въ газетѣ 19 сотрудниковъ, въ томъ числѣ графъ В. А. Соллогубъ и М. И. Авдѣевъ, помѣстившій первый свой фельетонъ въ «Нижегородскихъ Вѣдомостяхъ».

Мельниковъ открылъ, что Минина звали не Козьма Мининъ, а Козьма Захарычъ Мининъ-Сухорукъ (статья въ «Отеч. Зап.» 1842 г., августъ).

«До 1847 года, живя въ Нижнемъ-Новгородѣ и занимаясь русскою исторіею,—говоритъ Мельниковъ,—я сталъ изучать расколъ и раскольниковъ. Моимъ занятіямъ способствовали два обстоятельства: поѣздки по Ни-

жегородскому заволжью, наполненному раскольниками, и знакомство съ книжниками на нижегородской ярмаркѣ. Въ Заволжьѣ, именно въ Семеновскомъ уѣздѣ, было у меня маленькое, доставшееся отъ матери, имѣнье; крестьяне, жившіе въ немъ, были всѣ до единаго раскольники, поповщинской секты». Дѣтство Мельниковъ провелъ въ городѣ Семеновѣ. По должности чиновника особыхъ порученій при нижегородскомъ военномъ губернаторѣ, Мельникову приходилось разъѣзжать по раскольничьимъ дѣламъ. Въ 1852 г. онъ перешелъ на службу въ Петербургъ, въ министерство внутрен. дѣлъ.

Первымъ печатнымъ произведеніемъ Мельникова были «Дорожныя записки изъ Тамбовской губерніи въ Сибирь», напечатанныя въ «Отечественныхъ Запискахъ» въ 1839 году.

Отъ 8 мая 1852 г. онъ писалъ невѣстѣ:

«Быть можетъ, до васъ дойдутъ слухи о томъ, что я арестованъ. Повѣсть «Красильниковы» имѣла сильный успѣхъ, но цензура, говорятъ, возопіяла и послала въ Москву узнать, кто такой «Печерскій»... Панаевъ въ «Современникѣ» превознесъ меня. И въ самомъ дѣлѣ, «Красильниковыхъ» читаютъ на расхватъ. Панаевъ задалъ мнѣ обѣдъ; вмѣсто 50 р. за листъ, которые даетъ Погодинъ, предлагаетъ 75 р. с. за листъ. Если не запретятъ писать, надобно будетъ воспользоваться».

Псевдонимъ «Печерскій» употребленъ былъ впервые Мельниковымъ не въ 1852 году, подъ повѣстью «Красильниковы», появившейся въ «Москвитянинѣ», а въ 1850 году, подъ статьею: «Концерты на нижегородскомъ театрѣ», напечатанной въ № 17 «Нижегор. Губерн. Вѣдом.». Только въ 1850 г. онъ подписался «П. Печерскій», а въ 1852 году «Андрей Печерскій».

Раскольничьи дѣла въ министерствѣ были сосредоточены въ рукахъ Н. И. Надеждина, доктора «изящныхъ наукъ», бывшаго критика и издателя «Телескопа».

Въ 1852 г. Мельниковъ произвелъ статистическое описаніе Нижегородской губерніи и точнѣйшее «счисленіе» раскольниковъ. Время до семидесятыхъ годовъ было временемъ собиранія матеріаловъ и троекратныхъ «приступовъ» Мельникова къ беллетристикѣ, говоритъ его біографъ. Первый приступъ его къ тому былъ въ 1840 году. Въ № 52 «Литературной газеты» 1840 года (въ послѣдній годъ редактированія ея А. А. Краевскимъ) появился разсказъ за подписью П. М—н—к—въ. «О томъ, кто такой былъ Элпидифоръ Перфильевичъ и какія приготовленія дѣлались въ Чернограде къ его именинамъ» (начало повѣсти, которая, можетъ быть, будетъ окончена, а можетъ быть и не будетъ, какъ объявилъ авторъ). Въ № 80-мъ продолженіе этой повѣсти уже за подписью П. И. Мельникова появилось подъ заглавіемъ: «О томъ, какія были послѣднія приготовленія

Эльпидифора Перфильевича, и какъ собрались къ нему гости . Третьяго продолженія повѣсти не появилось, и такимъ образомъ публика не узнала вполнѣ ея героя, уѣзднаго исправника. Повѣсть эта — слабое подражаніе Гоголю. Двѣнадцать лѣтъ Мельниковъ не принимался затѣмъ за беллетристику.

Въ 1852 году онъ написалъ повѣсть «Красильниковы» и прочелъ ее Вл. Далю. Тотъ уговорилъ напечатать. Повѣсть появилась въ № 8-мъ «Москвитянина», за подписью «Андрей Печерскій». Это былъ второй приступъ П. И. Мельникова къ беллетристикѣ. Тогдашніе журналы привѣтствовали даровитое произведеніе. «Передъ сжатостью и безъискусственностью разсказа Андрея Печерскаго—говорилъ «Современникъ».—въ которомъ нѣтъ ни одной слабой или невѣрной черты, ни одного неумѣстнаго, или вычурнаго слова, гдѣ дѣйствительность является безъ прикрасъ, безъ подмалевки, безъ ухищреній фантазіи, блѣднѣютъ даже нѣкоторые разсказы лучшихъ и талантливѣйшихъ современныхъ писателей. По вѣрности дѣйствительности, по мѣткости и по силѣ впечатлѣнія, этотъ разсказъ можетъ быть поставленъ на ряду только съ лучшими произведеніями».

Въ 1857 году, за подписью «Андрей Печерскій», появился въ «Русскомъ Вѣстникѣ» разсказъ: «Старые годы». Это было начало ряда разсказовъ («Поярковъ», «Дѣдушка Поликарпъ», «Медвѣжій уголъ», «Непремѣнный», «Бабушкины росказни»), которые въ 1857 и 1858 годахъ сдѣлали Андрея Печерскаго однимъ изъ любимѣйшихъ писателей русскаго общества. Эти разсказы были третьимъ приступомъ Мельникова къ беллетристикѣ. Въ десятилѣтіе съ 1858 по 1868 годъ, литературная дѣятельность Мельникова носила публицистическо-этнографическій, разбросанный характеръ.

«Старые годы» произвели сильное впечатлѣніе на читателей. По выраженію «Библіотеки для чтенія» 1857 года, этотъ разсказъ «глубоко поэтическая панихида надъ нашими безпутными годами. Выведенныя въ «Старыхъ годахъ» личности не только этнографически, но и психологически вѣрны: онѣ думаютъ, говорятъ, дѣйствуютъ, движутся, какъ живые люди, а это несомнѣнно обнаруживаетъ въ авторѣ поэтическій талантъ. Есть мѣста, гдѣ его историческій этюдъ переходитъ въ драматическія сцены, исполненныя удивительно художественно».

Всѣ разсказы Андрея Печерскаго появились въ журналахъ съ разрѣшенія тогдашней цензуры, но наибольшая ихъ часть была напечатана въ «Русскомъ Вѣстникѣ», цензоръ котораго, фонъ-Крузе, допускалъ для его редакціи такую свободу печати, которая заставляла завидовать петербургскихъ редакторовъ своему московскому собрату. Успѣху «Русскаго Вѣстника» въ первые годы его появленія подъ редакціею М. Н. Каткова, много содѣйствовалъ смѣлый и просвѣщенный цензоръ фонъ-Крузе. Но когда пе-

тербургскій книгопродавецъ А. Давыдовъ предпринялъ отдѣльное изданіе «Разсказовъ А. Печерскаго» и представилъ ихъ для того въ цензуру, то вышелъ своего рода курьезъ. Цензоръ Московскаго Комитета фонъ-Крузе, одобрилъ къ печати эти «Разсказы» 18 іюня 1858 г., но когда потребовалось разрѣшеніе петербургскаго комитета, вслѣдствіе печатанія этого изданія въ Петербургѣ, то комитетъ опредѣлилъ: «Возвратить издателю безъ одобренія причемъ зачеркнуть и разрѣшеніе московской цензуры, равно какъ и приложенную къ нему печать (?) московскаго комитета. Книгопродавцу Давыдову, въ его сборникѣ: «Для легкаго чтенія», разрѣшено было перепечатать только два разсказа: «Красильниковы» и «Поярковъ». Обличительный тонъ остальныхъ разсказовъ, не понравившійся въ тѣ годы (1858 г.—реакція) многимъ лицамъ высшей администраціи, былъ причиною цензурнаго ихъ запрещенія въ новомъ изданіи. Впослѣдствіи разсказы эти разошлись въ двухъ изданіяхъ.

Въ 1859 г. Мельниковъ попробовалъ издавать газету «Русскій Дневникъ». Здѣсь писалъ передовыя и помѣстилъ разсказъ «На станціи» и повѣсть «Заузольцы». «Приступъ» къ романамъ «За Волгой» и «Въ Лѣсахъ». Затѣмъ въ «Сѣверной Пчелѣ» появились: разборъ «Грозы» (№ 41 и 42, 1860 г.); разсказы «У Макарья» (№ 144, 1860 г.), «Въ Чудовѣ» (№ 30, 1862 г.); «Преданіе о судьбѣ Таракановой» (№ 39, 1860 г.) и пять «Писемъ о расколѣ», взволновавшихъ духовный міръ.

Съ 1863 г. въ «Русскомъ Вѣстникѣ» статьи: «Старообрядческіе архіереи» (1863 г.), «Историческіе очерки поповщины» (1864, 1866, 1867), «Счисленіе раскольниковъ» (1868), «Тайныя секты» (1868), «Бѣлые голуби, разсказы о скопцахъ и хлыстахъ» (1869). Писалъ Мельниковъ и передовыя въ оффиціозномъ органѣ министра Валуева «Сѣверная Почта», но не попалъ въ тонъ.

Такова дѣятельность Мельникова до семидесятыхъ годовъ. Переѣхавъ съ семьею въ Москву, 19-го августа 1866 года, Мельниковъ былъ откомандированъ въ распоряженіе московскаго генералъ-губернатора, но безъ назначенія ему содержанія. Устроившись въ Москвѣ, Мельниковъ съ 1867 года принялъ на себя редакторство внутренняго отдѣла въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ», но оно было такъ же недолговременно, какъ и подобнаго же рода обязанности въ «Сѣверной Пчелѣ» 1860—1862 года, и въ «Сѣверной Почтѣ» 1864—1865 года. По характеру труда, Мельниковъ не былъ способенъ къ газетной работѣ. Оставивъ редакторство, онъ всецѣло отдался большимъ беллетристическимъ работамъ въ «Русскомъ Вѣстникѣ».

Романы: «За Волгою», «Въ лѣсахъ» и «На горахъ» появились въ періодъ 1868—1881 годовъ. Это и былъ самый цвѣтущій періодъ творчества Мельникова, падающій такимъ образомъ на семидесятые годы. На романъ «Въ лѣсахъ», еще не оконченный, явились покупатели для отдѣль-

наго его изданія, но Мельниковъ напечаталъ романъ на свой счетъ въ Москвѣ въ 1875 г. Въ томъ же году, лѣтомъ, Мельниковъ началъ и «На горахъ».

Біографъ знаменитаго художника-бытовика, г. Усовъ говоритъ: «Начавъ «За Волгой», продолжая «Въ лѣсахъ», Мельниковъ, повидимому, и не думалъ, что очутится «На горахъ». Найденный планъ, представляя содержаніе въ краткихъ чертахъ романа въ четырехъ частяхъ, вылился, при его разработкѣ, въ два романа въ восьми частяхъ... Авторъ, работая надъ развитіемъ своей мысли — представить бытъ народа, живущаго по обоимъ берегамъ Волги, втягивался въ свой трудъ, совершенствовалъ его, пополнялъ, разрабатывалъ и тогда только увидѣлъ, что въ одномъ романѣ онъ и не совмѣститъ всего, что ему диктовали его память, его разъѣзды по Россіи, его изученіе ея жизни, ея вѣрованій, заблужденій, преданій. Многія, набросанныя имъ на планѣ замѣтки, долженствовавшія дать матеріалъ для цѣлыхъ главъ, не были осуществлены на дѣлѣ. Такъ, напримѣръ, онъ намѣревался описать артель гвоздарей, положеніе рабочихъ, вродѣ павловскихъ швецовъ по деревнямъ, охоту за рябчиками, можжевеловые кружки, опахиваніе при падежѣ скота, угольщиковъ и смолокуровъ, пожаръ въ скиту, пронившуюся раскольничью обитель Кутилину, набойщиковъ и красильщиковъ, пряхъ—мужиковъ, разносчиковъ — вязниковцевъ и проч.»[253]).

Слѣдующій отрывокъ письма профессора Любимова къ Мельникову указываетъ, какого рода требованія редакція «Русскаго Вѣстника» предъявляла къ художнику въ цензурномъ отношеніи: «Обратите, добрѣйшій Павелъ Ивановичъ, вниманіе на одно обстоятельство. Выводятся двѣ стороны: всѣ хлысты описываются добродѣтельными людьми съ возвышенными помыслами, а православное духовенство пьяница на пьяницѣ, воръ на ворѣ. Выводилась бы одна сторона—не бѣда. А то очень рѣзкое сравненіе. Поуменьшите водочки и мошенничества у православныхъ пастырей, игуменовъ и архіереевъ». Мельниковъ скончался 1-го февраля 1883 г. въ Нижнемъ-Новгородѣ, погребенъ на кладбищѣ при женскомъ Крестовоздвиженскомъ монастырѣ, близъ Оки, у начала большого арзамасскаго тракта, на самомъ краю города.

Мельниковъ-Печерскій — представитель высшей художественной школы въ русской литературѣ, вмѣстѣ съ С. Т. Аксаковымъ, Гончаровымъ, Тургеневымъ, Писемскимъ, Островскимъ, гр. Л. Н. Толстымъ, Достоевскимъ. И едва ли кто изъ писателей этой школы сумѣлъ глубже его «проникнуть въ тѣ сокровенные тайники русской жизни, гдѣ чисто-народная струя не смѣшивается ни съ какими посторонними примѣсями», — употребляя образное выраженіе его біографа.

---

[253]) Соч. М—ва, т. I. Біографія. Стр. 300. Изд. 1897.

Въ своей характеристикѣ творческой дѣятельности великаго художника А. П. Милюковъ говоритъ: „Вполнѣ талантъ П. И. Мельникова развернулся въ обширномъ его произведеніи, подъ названіемъ „Въ лѣсахъ“ и «На горахъ“. Въ этихъ двухъ романахъ, составляющихъ одно цѣлое, и по единству идеи, и по цѣлости сюжета съ одними и тѣми же лицами, авторъ является великимъ знатокомъ русской народной жизни и русскаго народнаго духа“.

Дѣйствіе этой обширной, но по концепціи плана весьма простой эпопеи, обставленной многочисленными и въ то же время органически связанными эпизодами, происходитъ въ приволжскихъ губерніяхъ, какъ на луговой, такъ и въ нагорной сторонѣ. Авторъ рисуетъ бытъ старообрядцевъ и раскольниковъ. Передъ нами въ ясныхъ картинахъ раскрывается своеобразный и въ высшей степени характерный бытъ этой милліонной общины. Мельниковъ съ полнымъ безпристрастіемъ, безъ всякой обличительной цѣли, какъ спокойный художникъ рисуетъ и обыденную, и праздничную жизнь этихъ людей, ихъ семейныя и общественныя отношенія, темныя и свѣтлыя стороны ихъ домашняго быта, особенности во взглядахъ и вѣрованіяхъ, сохранившіяся отъ временъ давнихъ.

И сколько характерныхъ лицъ проходитъ передъ читателемъ: этотъ умный и честный тысячникъ Чапуринъ и его симпатичная красавица-дочь Настя, эта суровая мать-игуменья Манеѳа, снисходительная къ грѣхамъ молодости, и продувной прикащикъ Алешка, соблазняющій дочь хозяина и молодую вдовушку — раскольницу, этотъ московскій посолъ Василій Борисовичъ, ухаживающій за всѣми смазливыми дѣвушками съ набожнымъ присловьемъ: „Охъ, искушеніе!“. Эти шаловливыя и веселыя уставщицы и канонницы, съ ихъ «метаньями» передъ матушкой и смѣхомъ съ гуляющими молодцами и, наконецъ, эта послушница Фленушка, устраивающая любовныя свиданія и свадьбы — все это чисто-русскіе люди, во всей полнотѣ этого понятія. Въ главную нить романа вплетается цѣлый рядъ народныхъ легендъ и преданій изъ коренной русской жизни, которыя раскрываютъ все богатство русской народной фантазіи. Таковы художественныя поэмы „О Громѣ Гремучемъ и веселомъ Ярилѣ, о хмѣлевыхъ ночахъ и подводномъ городѣ Китежѣ». Сказанія старообрядческихъ паломниковъ, пѣсни дѣвушекъ на вечеринкахъ и на Красной Горкѣ и причитанья плакушъ на похоронахъ — все обаятельно переноситъ читателя въ среду нашего исконнаго народнаго быта.

Въ описаніяхъ природы есть у Мельникова художественныя картины, которыя встрѣчаются развѣ у Тургенева, но онѣ какъ бы еще болѣе согрѣты русскимъ колоритомъ; таково его описаніе ветлужскихъ лѣсовъ съ ихъ непроходимыми чащами.

Не говоримъ о языкѣ Андрея Печерскаго: по чисто-русскому складу и типичности съ нимъ можетъ соперничать только языкъ Островскаго.

БИБЛІОГРАФІЯ: Бестужевъ-Рюминъ. П. И. Мельниковъ. «Журн. Мин. Нар. Просв.». 1883. Мартъ.—Д. И. Иловайскій. П. И. Мельниковъ и его двадцатипятилѣтняя литературная дѣятельность. «Русскій Архивъ». 1875. Кн. I. Стр. 77—85.—Невзоровъ. Н. И. П. М. (Андрей Печерскій), его жизнь и литературное значеніе. Казань. 1893.—П. Усовъ. Этнографъ-беллетристъ. «Историческій Вѣстникъ«. 1884. Т. XVII—XVIII.—Учено-литературная дѣятельность П. И. Мельникова по поводу годовщины со дня его смерти. «Историч. Вѣстн.». Т. XV.—Орестъ Миллеръ. Русскіе писатели послѣ Гоголя. Чтенія, рѣчи и статьи. Спб. 1888. III. Стр. 63—132.—«Въ лѣсахъ». А. (Авсѣенко). «Художественное изученіе раскола». «Русскій Вѣстникъ». 1879. Т. 109. № 1. Стр. 352—378.—«На горахъ». Его же. «Опытъ о народности въ культурныхъ типахъ». «Русскій Вѣстникъ». 1876. Т. 122. № 3. 362—387.—Полное собраніе соч. Т. I. 1897. Библіографія. Списокъ книгъ, брошюръ и статей, касающихся жизни и литературной дѣятельности П. И. Мельникова. Тамъ-же біографія П. Усова и характеристика А. П. Милюкова.

§ 4. Въ обще-народнической литературѣ семидесятыхъ годовъ имя Погосскаго, какъ «солдатскаго писателя» совершенно почти нашей критикой пропущено. Между тѣмъ этотъ писатель, подобно Мельникову, прикоснулся къ самымъ родникамъ народной жизни. Богатство языка у него идетъ объ руку съ чисто русскими, народными настроеніями. Эпическая наивность его веселыхъ побасенокъ драгоцѣнна своей высокой правдой. Подмѣченное Погосскимъ въ складѣ народной души выразилъ еще только Пушкинъ въ своей сказкѣ «О Балдѣ», да въ прелестномъ отрывкѣ, повѣствующемъ, какъ мужикъ обидѣлъ медвѣдя,—убилъ его медвѣдиху, медвѣжатушекъ въ мѣшокъ поклалъ.

Александръ Ѳомичъ Погосскій, изъ дворянъ Витебской губерніи, родился въ 1816 году, въ Полоцкѣ. Здѣсь, въ Бѣлоруссіи провелъ дѣтство до шести лѣтъ. «Такой красотой,—говоритъ Погосскій устами одного изъ своихъ героевъ—одарилъ Господь бѣдную сторонку нашу, что, куда ни взгляни—ажъ душѣ свѣтло: лѣса тѣнистые, воды свѣтлыя, холмы да пригорки словно золотомъ посыпаны, луга, какъ ситецъ дорогой—всякими цвѣтами пестрѣются, и почти изъ-за каждаго веселаго перелѣска виднѣется, словно кусокъ зеркала—край синяго, гладкаго озера. А воздухъ чистый, легкій; небеса безтуманныя: и съ каждымъ вѣтеркомъ несется тебѣ какая-нибудь душина пріятная: то смолка слышна изъ хвоя густого, то дятлина сладкая отъ зеленыхъ луговъ, то можжевельникомъ да черемухой пахнетъ!.. И очень просты и задушевны всѣ наши люди, у каждаго лицо веселое, сердце доброе, да немного-жъ ему и надо,—мало-мальски поотляжетъ горе, чуть про-

мигнетъ радость—все забылъ! Хлѣба шматокъ, да миску колотухи гороховой—вотъ и все. А если притомъ пива полкарица, да загудитъ дуда—все прочь:

Хадзи ты, хадзи я,
Хадзи печка, хадзи усе!..

Шести лѣтъ въ 1822 г., Александръ Ѳомичъ былъ привезенъ въ Петербургъ, принятъ въ богатый и аристократическій домъ Марковыхъ, получилъ прекрасную подготовку и наконецъ, поступилъ въ Высшее Училище (впослѣдствіи 2-я гимназія).

Въ 1831 году, Погосскій, шестнадцати лѣтъ, попалъ изъ училища въ одинъ изъ финляндскихъ линейныхъ баталіоновъ рядовымъ...

«Ныне не тѣ времена,—писалъ онъ впослѣдствіи, и не та наука: а старо-служащіе помнятъ, чай, какъ все это происходило прежде... На службѣ учебные карабинеры славились недосягаемымъ совершенствомъ. Такой, какъ у нихъ, чистки и щеголеватости, не было во всей арміи. Ружейные пріемы, не говоря о неуловимой глазомъ быстротѣ рукъ, изучались на обѣ руки! Въ маршировкѣ—многіе ходили «тихимъ и скорымъ» шагомъ съ полнымъ стаканомъ воды на киверѣ, подходили на ординарцы такъ, что этишкетъ не болтался, а плылъ въ воздухѣ. Они могли говорить между собой и переписываться на всевозможные, никому, кромѣ нихъ, непонятные лады: оборотными словами, сокращенными, по цифрамъ и т. п. А такого, какъ у нихъ, сборника поговорокъ, скороговорокъ, изреченій и анекдотовъ, конечно, не было и не будетъ ни въ какой въ свѣтѣ литературѣ. Погосскій не пользовался ничьей протекціей, ничьимъ заступничествомъ, и предоставленъ былъ исключительно себѣ и страшно суровой обстановкѣ «николаевской» солдатчины. Въ 45 Егерскомъ полку, гдѣ я имѣлъ честь начать службу рядовымъ, товарищи мои были, нечего сказать, ребята теплые... Кремни—люди были, со всѣхъ сторонъ обитые. Я полагаю, что въ дѣлѣ, въ сраженіи, эти люди наломали-бы народу дочерта! А ихъ и желѣзо не брало... И какъ пройдетъ человѣкъ этакую школу, выдержитъ ее—ну, такъ хоть головой о камень его,—камень лопнетъ, пожалуй, а голова ничего!.. И былъ народъ все больше мрачный, суровый, неприступный. Но полюбилъ я этихъ товарищей моихъ, и—съ благодарностію вспоминалъ—любили и они меня. Почти ребенокъ, нѣжный и малосильный еще, никогда не извѣдалъ я за ними никакой почти тяготы, и малѣйшее желаніе мое удовлетворялось мигомъ. Даже щенокъ мой, который я гдѣ-то добылъ, отлично воспитался въ ротѣ: всѣ походы отбылъ въ ламзакѣ на ранцѣ у флангового Захарова и потомъ былъ большимъ пріятелемъ почти всѣхъ до одного людей. Пудель этотъ, Медоръ, тоже не испыталъ никакой нужды».

И далѣе Погосскій разсказываетъ про одного солдатика, Филипова, имѣвшаго ученаго кота и пѣтуха; эти котъ и пѣтухъ танцовали подъ дудочку и не мало потѣшали всѣхъ, а иногда и приносили доходъ своему хозяину. Погосскій былъ боленъ и не могъ ѣсть солдатскаго харча.

«Ну-ко-съ, садитесь, да поѣшьте,—приглашалъ меня Филиповъ, поставилъ передо мной миску и снялъ съ нея тарелку: въ мискѣ лежалъ бѣлый, очень чистый и дымящійся пріятнымъ паромъ—вареный пѣтушокъ... Я съѣлъ его съ волчьимъ аппетитомъ: кромѣ крупныхъ костей рѣшительно ничего не осталось... Послѣ этого Филиповъ часто игрывалъ на своей дудочкѣ, но плясалъ по ней одинъ только котъ Васька».

Въ тяжелой службѣ запасся Погосскій знаніемъ народа, и въ особенности солдата, и сердце его наполнилось самою теплою любовью и сочувствіемъ къ нимъ. Все это и отразилось въ его повѣстяхъ и художественныхъ разсказахъ. Потому и читаетъ эти повѣсти и разсказы «простой человѣкъ» съ восторгомъ и сочувствуетъ имъ отъ души. Погосскій прослужилъ въ нижнихъ чинахъ восемь лѣтъ, и въ 1842 году поступилъ на гражданскую службу въ департаментъ корабельныхъ лѣсовъ. Теперь начинается и его литературная дѣятельность. Художникъ—наблюдатель, онъ записалъ много сценъ, встрѣчавшихся ему въ его безконечныхъ разъѣздахъ по Россіи. Онъ ихъ печаталъ подъ общимъ заглавіемъ «Изъ записокъ проѣзжаго». Въ «Современникѣ» появился его «Темникъ».

Въ департаментѣ корабельныхъ лѣсовъ Александръ Ѳомичъ прослужилъ цѣлыхъ двадцать лѣтъ до 1862 года.

На литературное поприще Погосскій выступилъ въ сороковыхъ годахъ, начавъ сотрудничать въ «Чтеніи для солдатъ», гдѣ была помѣщена его «Репетичка». Въ 1845 году онъ издалъ отдѣльною книжечкою—«Жизнь безъ горя и печали», походная сказка (въ стихахъ) Ива Меркулыча Щираго. Въ 1855 г., въ «Журналѣ для чтенія воспитанниковъ военно-учебныхъ заведеній», были помѣщены его «Солдатскія замѣтки». Въ нихъ впервые знакомимся съ богатымъ, бытовымъ языкомъ Погосскаго. Съ неподражаемымъ искусствомъ Погосскій объясняетъ въ этихъ «Замѣткахъ» солдату разные вопросы службы и жизни солдатской. Въ предисловіи къ 4-му изданію этихъ «Замѣтокъ», вышедшему въ 1872 г., Погосскій говоритъ: «Замѣтки эти написаны лѣтъ двадцать тому назадъ; много воды утекло съ тѣхъ поръ, и солдатскій бытъ измѣнился во всѣхъ своихъ подробностяхъ. Но основаніе службы солдата остается то-же и останется неизмѣннымъ навсегда, пока будетъ существовать военное дѣло; а ему и конца не предвидится... Эти «солдатскія замѣтки» списаны съ натуры; въ нихъ завѣтъ стараго солдата».

Въ 1858 г. Погосскій издаетъ журналецъ для солдатъ—«Солдатскую бесѣду». Въ 1859 имъ написаны повѣсти: «Дѣдушка Назарычъ», «Подоси-

новики», разсказы: «Чертовщина», «Медвѣжья наука», статьи: «Грамотность и знаніе», «Слушаю», «Не могу знать!», «Доблестные люди», «Доблестное народное дѣло» (такъ называлъ онъ начавшія тогда возникать общества трезвости и привѣтствовалъ ихъ съ радостью), «Наши женитьбы», «Слабосильные люди» (въ этой статьѣ Погосскій внушалъ любовь и сожалѣніе къ женщинамъ, дѣтямъ и вообще всему немощному, слабосильному, нуждающемуся въ защитѣ сильнаго) и «Замѣтка грамотѣямъ». Въ 1860 написаны имъ повѣсти: «Господинъ Колодникъ», «Посестра Танька», разсказъ.— «Первый винокуръ» и «Воскресныя школы» (мысль о которыхъ далъ все онъ-же и затѣмъ былъ учредителемъ и главнымъ дѣятелемъ по учрежденію ихъ), «Изъ природы», «Свѣтъ и потьма» (въ которой толкуетъ объ образованіи - свѣтѣ, и необразованіи — тьмѣ).

Наступила великая эпоха освобожденія крестьянъ. Первая книжка «Солдатской бесѣды» въ 1861 году вышла позже обыкновеннаго только потому, чтобы начать годъ восторженными словами привѣтствія новой «волѣ». «Есть сила, да воли не было; а вотъ-же и ее Богъ далъ! Съ нею, съ волею доброй, все хорошее въ нашихъ рукахъ! Только захоти! Хотящему добра честь и поклонъ, не хотящему — да будетъ стыдно!..»

Во второй книжкѣ появилась повѣсть «Свбирлетка», полное юмора, художественное произведеніе, одна изъ лучшихъ вещей Погосскаго.

Въ 1862 г. къ «Солдатской бесѣдѣ» присоединилась «Народная бесѣда». Къ участію въ журналѣ были привлечены: А. Н. Майковъ, Н. А. Некрасовъ, А. Слѣпцовъ, А. Наумовъ, проф. А. Бекетовъ, В. Дерикеръ (Василичъ), Д. Реутовичъ, Н. Лабзинъ, Ф. Толль (библіографія). Въ обновленномъ журналѣ самъ Погосскій помѣстилъ повѣсть «Суходольщина», а затѣмъ: «Мірскія дѣтки», «Злодѣй и Петька», «Солдатское пиво», «Путешествіе на луну по пути изъ кабака домой» и «Два кольца». Въ 1864 г. Погосскій долженъ былъ уѣхать заграницу лѣчиться и сдалъ журналъ В. Дерикеру. У того онъ не пошелъ и въ 1867 г. прекратился. Въ томъ-же, однако, 1867 г. Погосскій, возвратясь изъ заграницы, основалъ новое изданіе - «Досугъ и Дѣло», которое и велъ до самой смерти своей. Здѣсь съ 1867 по 1874 годы появились его повѣсти, разсказы и сказки: «Старики», «Сорочьи гнѣзда», «Неспособный человѣкъ», «Пестрая книжка», «Покойный Иванъ Ивановичъ Ивановъ», «Куча денегъ», «Божеское правосудіе», «Лѣшевъ хуторъ» и яркая, блещущая неподражаемымъ юморомъ, прелестная солдатская повѣсть: «Штуцерникъ Нечипоръ Зачины — вороты и его потомство». Послѣднимъ произведеніемъ Александра Ѳомича были лекціи, читанныя въ аудиторіи Соляного городка: «Оборона Севастополя». Описаніе обороны вышло затѣмъ иллюстрированнымъ М. Микѣшинымъ, Лагоріо, П. С. Пановымъ и др. Умеръ Погосскій 26-го августа 1874 г. Полное собраніе

сочиненій А. Ѳ. Погосскаго, въ четырехъ томахъ, съ портретомъ и біографіей вышло въ 1899 г. и слѣдующихъ.

Критикою Погосскій до сихъ поръ не оцѣненъ и остается въ сторонѣ отъ другихъ бытописателей нашихъ. Между тѣмъ его должно поставить рядомъ съ Печерскимъ и Островскимъ по богатству чисто народнаго, колоритнаго, согрѣтаго неподражаемымъ юморомъ языка. По его произведеніямъ можно провѣрять солдатскія сцены гр. Л. Н. Толстого. Наконецъ, его должно поставить въ первомъ ряду нашихъ писателей—народниковъ, по знанію народной души и «золота — сердца народнаго», по безконечной любви его къ «простому человѣку». Истинно его «Слово къ читателямъ»: «Твоимъ-же добромъ— тебѣ-же челомъ!... Почти всѣ разсказы эти не вымышлены, а взяты изъ дѣйствительной жизни. Восемь лѣтъ служилъ я нижнимъ воинскимъ чиномъ и жилъ съ народомъ, много почтенныхъ и любезныхъ людей коротко знавалъ я въ этой трудящейся средѣ; честные образы ихъ врѣзались въ моей памяти. Живые, они были примѣромъ добра для товарищей;— повѣсть о нихъ должна быть назидательна. Посвящаю эти книжки памяти моихъ друзей и товарищей и честному народу — солдатамъ и крестьянамъ. Примите, братья, писаніе, такъ какъ оно написано отъ чистаго сердца. Тутъ мое душевное «спасибо» за дружество, которое испыталъ я, проживая съ вами...»

§ 5. Въ 70-хъ годахъ Достоевскій написалъ три произведенія «Бѣсы», «Вѣчный мужъ» и «Подростокъ». Появленіе послѣдняго романа въ «Отеч. Зап.» заставило критика «Русск. Вѣстника» замѣтить:

«Отечественныя Записки», обратившись къ сотрудничеству Достоевскаго, заявили, что если бы романъ этого писателя противорѣчилъ направленію редакціи, то онѣ не напечатали бы его, будь онъ хоть геніальнѣйшее произведеніе. Но такое запальчивое заявленіе было, конечно, не что иное, какъ гримаса, какъ gros mot; всякій знаетъ, что между воззрѣніями г. Достоевскаго и направленіемъ Отеч. Зап. нѣтъ никакихъ точекъ соприкосновенія, и что если романъ «Подростокъ» попалъ въ этотъ журналъ, то единственно потому, что публика требуетъ талантливыхъ художественныхъ произведеній, а не продуктовъ тенденціозной письменности [254]).

Тотъ же критикъ говоритъ о «Бѣсахъ»:

«Полунаука, полуобразованность, есть именно та сила, которая выбрасываетъ изъ гармоніи жизни отдѣльныя единицы, и вмѣстѣ служитъ связующимъ звеномъ, объединяющимъ эти единицы въ форму общественнаго подполья... Подъ общественнымъ подпольемъ мы разумѣемъ именно под-

---

[254]) Русскій Вѣстникъ. 1876 г., т. 121, стр. 499. Литературное обозрѣніе. А.

полье нашей интеллигенціи. наносный слой. созданный у насъ пролетаріатомъ полуобразованности и вербующій свой контингентъ среди осадковъ образованныхъ классовъ. Все. что потеряло связь съ установившимися формами жизни. что враждебно имъ. что не находитъ себѣ мѣста въ гармоніи историческаго порядка. уходитъ въ подполье. пронизываетъ народный организмъ злокачественными элементами. непримѣтно. но дѣятельно содѣйствующими его разложенію... Подполье нашей интеллигенціи есть явленіе вполнѣ патологическое. порожденное безпочвенностью нашей цивилизаціи отъ вчерашняго числа и язвою полуобразованности. Каждый новый моментъ нашего развитія отзывается глухимъ броженіемъ и нерѣдко приводитъ къ тѣмъ сатурналіямъ мысли. съ которыми намъ приходится знакомиться на страницахъ нашей уголовной лѣтописи. и которыя съ такою художественною глубиною раскрыты и изображены во многихъ романахъ Достоевскаго. Самые дикіе силлогизмы. самыя уродливыя искаженія мысли и морали находятъ себѣ мѣсто въ этой больной средѣ. приводя мало-по-малу къ окончательному извращенію ума и человѣческой природы... Достоевскій — по свойству своего оригинальнаго таланта особенно чутокъ къ этимъ болѣзнямъ ума. къ этимъ психическимъ недугамъ нашего страннаго времени... Никому изъ нашихъ беллетристовъ не близокъ до такой степени этотъ уклонившійся отъ нормальныхъ путей жизни міръ нашего общественнаго подполья. эти больныя натуры. которыхъ. по выраженію одного изъ дѣйствующихъ лицъ романа «Бѣсы» — «съѣла идея» и которые съ своимъ психическимъ недугомъ стоятъ на чертѣ. отдѣляющей здороваго человѣка отъ помѣшаннаго. Душевная патологія этой категоріи людей изучена Достоевскимъ въ совершенствѣ и составляетъ ему одному принадлежащую область въ нашей беллетристикѣ. его литературную собственность.» [255]).

Всѣ язвы. всѣ міазмы. вся нечистота. всѣ бѣсы и всѣ бѣсенята. накопившіеся въ великомъ и миломъ нашемъ больномъ. въ нашей Россіи», это въ сущности почти тоже. что «вся ложь русской жизни», отразившаяся во «Взбаломученномъ морѣ» и въ позднѣйшихъ произведеніяхъ Писемскаго. Но талантъ Достоевскаго. въ извѣстномъ смыслѣ прямо противоположный таланту Писемскаго. подошелъ къ предмету своей художественной сатиры съ совершенно другой стороны.

Фабула романа «Бѣсы» отчасти какъ будто заимствована изъ пресловутаго нечаевскаго дѣла. Но авторъ воспользовался своимъ матеріаломъ совершенно художественно. взявъ изъ него то. что подходило къ его литературной задачѣ и обработалъ эти крупныя детали сообразно идеѣ и плану своего произведенія.

---

255) А. Общественная психологія въ романѣ. Русскій Вѣстникъ. 1873 г., т. 106. Стр. 799—800.

Сначала странныя, неестественныя краски, которыми авторъ рисуетъ избранную имъ среду, криволинейность изображеній, рѣзкіе тоны, напоминающіе фантасмагорію—ставятъ читателя въ нѣкоторое недоумѣніе».

«Кажется, будто авторъ ошибкою взялъ фальшивый тонъ, и опасаешься за правильность раздвигающейся дальше и дальше перспективы. Но чѣмъ болѣе подвигается дѣйствіе романа, чѣмъ болѣе накопляется на полотнѣ самыхъ удивительныхъ красокъ и контуровъ, тѣмъ яснѣе начинаешь сознавать, что въ этомъ случаѣ сама жизнь, въ ея подпольныхъ извилинахъ, нарядилась въ противоестественныя краски и изломала свои нормальные пути и очертанія. Мало по малу убѣждаешься, что тонъ дѣйствительно взятъ нестерпимо фальшиво, но не въ романѣ, а въ самой жизни, выступившей изъ своихъ законныхъ формъ и безмѣрно удалившейся отъ своего обычнаго русла. Чувствуешь все безобразіе этой жизни, все уродство этихъ ненужныхъ, нравственно искалѣченныхъ организацій, и сознаешь, что тѣмъ не менѣе авторъ изображаетъ дѣйствительность, только дѣйствительность подпольную».

Въ кружкѣ, который описываетъ Достоевскій, собрались единицы изъ самыхъ различныхъ общественныхъ слоевъ: тутъ и сынъ аристократки Варвары Петровны, и сынокъ Степана Трофимовича, и вышедшій изъ крѣпостнаго званія Шатовъ, и инженеръ Кириловъ, и отставной капитанъ Лебядкинъ, и молодой офицерикъ Эркель, и неизвѣстно изъ какого званія и состоянія вышедшіе Толкаченко, Шигалевъ, Виргинскій. Но есть нѣчто общее, родовое, роднящее ихъ всѣхъ.

Ихъ всѣхъ заѣла идея, и про каждаго изъ нихъ можно сказать то самое, что сказано авторомъ про Шатова: «Это было одно изъ тѣхъ идеальныхъ русскихъ существъ, которыхъ вдругъ поразитъ какая—нибудь сильная идея, и тутъ-же разомъ точно придавитъ ихъ собою, иногда даже на вѣки. Справиться съ нею они никогда не въ силахъ, а увѣруютъ страстно, и вотъ вся жизнь ихъ проходитъ потомъ какъ бы въ послѣднихъ корчахъ подъ свалившимся на нихъ и на половину совсѣмъ уже раздавившимъ ихъ камнемъ. Эти-то корчи подъ раздавившею ихъ «идеей» и производятъ ту изумительную умственную и нравственную сатурналію, которая составляетъ внутреннее содержаніе романа. Всѣ эти Ставрогины, Верховенскіе, Кириловы, Шигалевы постоянно носятся съ извѣстною идеей, пребываютъ въ непрерывномъ процессѣ умственной работы, въ страстномъ напряженіи мысли, приводящемъ однихъ къ умопомѣшательству, другихъ къ отвратительному преступленію. Что-то, когда-то, очень давно запало имъ въ ихъ мозгъ, и безпрерывно дѣйствуетъ тамъ, и держитъ ихъ въ состояніи умственной придавленности. У Кирилова эта напряженная, изнурительная возня съ идеей приводитъ къ нелѣпѣйшей философской системѣ; у Шигалева она создаетъ соціально-политическую теорію, требующую для своего осуществленія мил-

ліонъ годовъ: Ставрогина и Верховенскаго она бросаетъ въ сладострастие разврата, низводитъ ихъ на ту послѣднюю степень скотства, когда въ человѣкѣ пробуждается чисто животная жажда крови; Шатова она совершенно измочаливаетъ, превращаетъ въ глубоко несчастное существо, одичавшее и человѣконенавидящее, и вмѣстѣ способное растаять отъ малѣйшей ласки. Предъ читателемъ проходитъ рядъ лицъ въ одинаковой степени сдѣлавшихся жертвою непосильной умственной задачи, фанатиковъ идеи, кривыми путями внѣдрившейся въ слабосильный мозгъ. Читатель какъ бы присутствуетъ въ клиникѣ нравственныхъ и душевныхъ болѣзней и читаетъ надъ изголовьями паціентовъ ихъ скорбные листы [256]).

БИБЛІОГРАФІЯ: О романѣ «Бѣсы»: Авсѣенко. Общественная психологія въ романѣ. Русскій Вѣстникъ. 1873 г. № 8. —Никитинъ. Больные люди. Дѣло. 1873 г. №№ 3 и 4. —Въ сочиненіяхъ г. Михайловскаго см. замѣтки въ 2 томѣ.—

§ 6. Среди романовъ, рисующихъ эпоху 60-хъ годовъ, интересенъ романъ Н. А. Кущевскаго (Хайдакова), появившійся въ «Отеч. Зап.» въ 1871 году. «Романъ Кущевскаго «Николай Негоревъ или благополучный Россіянинъ» былъ встрѣченъ съ несравненно большимъ сочувствіемъ, нежели всевозможныя эпопеи о разныхъ доморощенныхъ Лео... Этотъ романъ... отличается и всѣми достоинствами хорошей фотографіи, и свойственными ей недостатками. Въ особенности хороши главы, въ которыхъ описывается дѣтство и школьная жизнь героевъ. Въ нихъ фотографія мѣстами расцвѣчивается живыми красками, и это не лубочная подмалевка фотографіи, а штрихи кисти живописца.

Въ дѣтской школьной жизни героевъ много правды, замѣчательная тонкость и глубина психологическаго анализа и много теплаго юмора [257]).

Овѣринъ—эмбріонъ русскаго Лео, знаменитаго героя романа Шпильгагена «Одинъ въ полѣ не воинъ», исправленнаго и радикально дополненнаго редакторомъ «Русскаго Слова» и «Дѣла», семинаристомъ Благосвѣтловымъ.

Въ рецензіи «Вѣстника Европы» о романѣ Кущевскаго признавалось, что избранные имъ герои являются лицами довольно тонко очерченными и выдержанными во всѣхъ мелочныхъ проявленіяхъ ихъ дѣтской природы; сцены дѣтскаго быта нарисованы иногда замѣчательно хорошо; нѣкоторый юморъ и способность схватывать яркія черты характеровъ Кущевскій обнаружилъ и въ описаніи взрослыхъ людей при столкновеніи ихъ съ дѣтьми, но лишь въ незначительной степени.

[256]) Ibid. стр. 815.

[257]) Беллетристы фотографы. «Отеч. Записки». 1873. т. 211. «Совр. Обозрѣніе», стр. 11.

Авторъ освоился съ этимъ міромъ настолько, что почти всѣ лица дѣтей явились съ опредѣленными чертами,—и Николая Негорева, брата его Андрея, Овѣрина нельзя смѣшать другъ съ другомъ. Романъ ведется отъ лица Николая Негорева, который и есть «благополучный россіянинъ». Подмѣтить зачатки этого «благополучія» въ ребенкѣ и послѣдовательно развить ихъ въ романѣ — задача не совсѣмъ легкая, и однако Кущевскій справился съ нею.

Неумѣнье обнаружилъ Кущевскій въ изображеніи женскихъ характеровъ: это или тѣни, или невозможныя самки, какъ Анниньк:а, страдающія какою-нибудь женскою болѣзнью. Такіе характеры могутъ существовать только въ воображеніи, или въ домахъ умалишенныхъ, но отнюдь не въ дѣйствительности [258]).

Романъ Кущевскаго «Николай Негоревъ или благополучный россіянинъ» охватываетъ періодъ времени съ крымской войны по 19-е февраля, приблизительно между 1853 и 1862 годами. Первая часть ея посвящена быту дореформенной гимназіи съ пьяницами — учителями и поркой. Тутъ выступаютъ уже почти всѣ дѣйствующія лица: Негоревы, Николай и Андрей, ихъ товарищи, Овѣринъ, Малининъ, «неизбѣжные въ каждой современной повѣсти» семинаристы, знакомые — баронъ Шрамъ, его полнотѣлая супруга и сынъ Володя. Во второй части видимъ обновленіе гимназіи новымъ духомъ. Въ третьей— провинціальный университетъ, первыя прокламаціи и хожденіе въ народѣ фантаста Овѣрина. Здѣсь-же даны три женскихъ типа: Лизы Негоревой, Анниньки и Софьи Васильевны. Объективность изображенія скрываетъ злой сарказмъ, съ которымъ авторъ живописуетъ своихъ героевъ.

«Андрей началъ говорить, что благомыслящіе люди соединились въ общество, которое располагаетъ въ Петербургѣ громадными силами, и, кромѣ того, во всѣхъ губернскихъ городахъ есть «способствующія вѣтви»... Андрей, какъ членъ этой «вѣтви», дѣлаетъ мнѣ честь, присоединяя меня тоже къ своему обществу... Онъ говорилъ довольно долго и съ большимъ эффектомъ, видимо дожидаясь, что я вскочу съ кровати и брошусь плясать отъ радости. Но, когда онъ кончилъ, я нарочно молчалъ.

— Что же, ты согласенъ? спросилъ Андрей.

— Нѣтъ... Какъ ты ни любезно приглашаешь въ каторжную работу, а ужъ позволь отказаться» [259]).

Николай Негоревъ съ крупицей здраваго смысла и съ сухимъ сердцемъ, портящимъ этотъ здравый смыслъ.

«Вдругъ начали кричать о какихъ-то прокламаціяхъ.

---

258) «Вѣстн. Евр.» 1872. т. I. Хроника. Новыя книги. Стр. 847 и 849.

259) Ibid. ч. III, стр. 125.

— Хочешь, я подарю экземплярчикъ, сказалъ мнѣ разъ Андрей, давая какой-то литографированный листокъ. ...«Собирайтесь подъ наши знамена, мы достаточно сильны, насъ много»... успѣлъ я пробѣжать въ первыхъ строкахъ, но тотчасъ-же скомкалъ въ рукѣ бумагу и бросилъ ее въ печь.

— Для кого это писано? презрительно спросилъ я.

— Для всѣхъ».

Эта прокламація сразу рѣшила участь Овѣрина. Прочитавъ ее нѣсколько разъ, онъ проходилъ всю ночь изъ угла въ уголъ, и къ утру исчезъ...

Переходя изъ деревни къ деревню, онъ какъ-то случайно забрелъ въ свое помѣстье. Тамъ Овѣринъ встрѣтился со старикомъ-лакеемъ, который когда-то нянчилъ его на рукахъ, и сразу преисполнился къ своему барину какой-то собачьей привязанностью. Послѣ этого старикъ уже не разлучался съ Овѣринымъ и можетъ быть, благодаря его опытности, первый скрывался такъ долго отъ поисковъ. Приходя въ деревню, старикъ съ благоговѣніемъ предупреждалъ крестьянъ, кто къ нимъ пришелъ и какъ слѣдуетъ его слушать. Тутъ онъ иногда со слезами умиленія вспоминалъ, что самъ когда-то носилъ Овѣрина на рукахъ. Послѣ этихъ приготовленій, выступаетъ на сцену Овѣринъ. Одинъ помѣщикъ такъ описываетъ въ романѣ встрѣчу съ Овѣринымъ: «Я ожидалъ увидѣть звѣря съ необыкновенной силой, со всклокоченной бородой. Овѣринъ не имѣетъ въ своей наружности ничего ужаснаго: глаза его даже довольно симпатичны; только очень строгій очеркъ рта свидѣтельствуетъ о фанатической неумолимости и непреклонности этого человѣка. Онъ средняго тѣлосложенія и очень блѣденъ; впрочемъ, можетъ быть, вслѣдствіе голода и дальнихъ переходовъ. Старикъ, его сопровождающій, тоже очень худъ и блѣденъ; онъ высокаго роста и совершенно сѣдой... Старикъ схватилъ подъ уздцы пристяжную—лошади бѣжали тихой рысью. — Овѣринъ подошелъ ко мнѣ, и задумчиво, даже какъ будто разсѣянно, спросилъ: нѣтъ ли у меня хлѣба? У меня былъ съ собой погребецъ, но въ немъ ничего не было, кромѣ чаю, сахару и немного рому... «Извините, мы у васъ возьмемъ сахаръ: мы ничего не ѣли два дня», сказалъ Овѣринъ и высыпалъ сахаръ въ полу своего оборваннаго сюртука[260]).

«Овѣрина привезли очень парадно на черныхъ высокихъ дрогахъ. На немъ была шляпа — цилиндръ, и онъ сидѣлъ очень спокойно, уткнувъ носъ въ воротникъ енотовой шубы... Сойдя съ своего эшафота, и оставшись одинъ у позорнаго столба, такъ какъ палачъ, засуетившись, отлучился куда-то,—Овѣринъ, не зная, что дѣлать, съ самымъ глупымъ видомъ началъ озираться на всѣ стороны на солдатъ и чиновниковъ, образовавшихъ

[260]) *Николай Негоревъ*. Ч. III. Стр. 195—196.

около него большой кругъ... Начали читать приговоръ, и Оверинъ очень покорно, по приказанію палача, снялъ шляпу, но пришелъ въ большое смущеніе, не зная, куда ее дѣвать; онъ нѣкоторое время перекладывалъ ее изъ одной руки въ другую, но потомъ это ему должно быть надоѣло, и онъ хотѣлъ уже надѣть ее на голову, когда догадливый палачъ услужливо взялъ у него шляпу и поставилъ на приступокъ позорнаго столба. Когда чтеніе приговора кончилось, Оверинъ надѣлъ свою шляпу и, можетъ быть думая, что все кончено, что онъ, достаточно потѣшивъ публику, можетъ съ ней раскланяться, хотѣлъ, кажется, уйти съ мѣста казни, но палачъ остановилъ его на первомъ же шагу, грубо дернувъ за руку. Обрядъ еще не былъ конченъ; послѣ преломленія шпаги, которое произвело большой эффектъ, Оверина привязали... Изъ толпы къ приступку позорнаго столба полетѣлъ букетъ[261]).

Этотъ своеобразный типъ «отвлеченнаго» человѣка такъ характеризуетъ одно изъ дѣйствующихъ лицъ романа: «Нѣтъ человѣка на свѣтѣ счастливѣе Оверина, такъ какъ онъ положительно лишенъ способности тревожиться чѣмъ бы то ни было, кромѣ теоретическихъ научныхъ вопросовъ, которые для него представляются безконечнымъ гранпасьянсомъ на всю жизнь»[262]).

Критики находили неестественнымъ типъ Анниньки, таящей въ стыдливой институткѣ совершенно безстыдную гетеру. «Аннинька была такая бѣленькая, хорошенькая дѣвочка, съ такими бѣлыми волосами, что Федосья называла ее дѣвочкой-снѣгурочкой... Я помню, какъ мы становились въ кругъ, и Аннинька, указывая своимъ розовымъ пальчикомъ, частила «ченчикъ, бренчикъ, бубенчикъ», до тѣхъ поръ, пока до кого-нибудь не доходили слова «вонъ пошелъ»[263]).

Во второй части романа Аннинька является только что вышедшей изъ института: «Маленькая дѣвушка-снѣгурушка очень выросла и на мои глаза очень похорошѣла. Ея бѣлые кудельные волосы были заплетены въ двѣ косы и придавали ея круглому лицу, съ большими глазами, откровенный и простодушный видъ... Ко всему этому она имѣла привычку краснѣть при каждомъ словѣ и такъ смущаться, что являлось серьезное опасеніе: вотъ, вотъ розовая Аннинька провалится сквозь землю».

И вотъ та-же самая Аннинька, охваченная животною страстью: «Аннинька, среди бѣшеныхъ поцѣлуевъ, съ горящими глазами, съ раскраснѣвшимся лицомъ, вдругъ остановилась и спросила меня: «Знаешь, за что я тебя люблю?» — «За что?» — «За то, что ты меня не любишь!» — «Нѣтъ, я люблю». — «Нѣтъ, ты не можешь никого любить. У тебя нѣтъ души». — «Дичь какая!» — «Правда, правда! Если-бъ ты былъ влюбленъ, я бы и не

[261]) Николай Негоревъ. Спб. 1872. Ч. III. Стр. 243—245.
[262]) Николай Негоревъ. Ч. III. Стр. 240.
[263]) Николай Негоревъ. Ч. I. Стр. 16.

посмотрѣла на тебя. Это обыкновенно. А вотъ рыба хороша, холодная рыба!..»[264]).

«Женись. Я буду твоей любовницей, твоей слугой. Я буду цѣловать твои ноги. Я твоя раба».—Выслушай меня. Если я женюсь на другой, я не буду твоимъ любовникомъ, сказалъ я. Но Аннинька рѣшительно не хотѣла слушать меня. Институтское воспитаніе сдѣлало ее такой, что она, находясь одинъ на одинъ съ мужчиной, вполнѣ теряла разумъ и не помнила себя...

— Понимаете —повторилъ я.—между нами все кончено, и мы больше никогда не увидимся одинъ на одинъ. Пойдемте, я провожу васъ къ намъ.

Я ожидалъ, что моя холодность произвела надлежащее впечатлѣніе, и вѣжливо поклонился, думая, что все кончено и остается только соблюдать офиціальную любезность съ дамой. Но я сдѣлалъ большую оплошность. Аннинька схватила меня за горло и начала душить своими гибкими пальцами.

— Я тебѣ перегрызу горло,—шипѣла она, стараясь вцѣпиться во что-нибудь своими зубами.

Я не безъ усилія оттолкнулъ ее и схватилъ подъ руку, чтобы вывести изъ бесѣдки, соображая, что страстный пароксизмъ скорѣе пройдетъ на чистомъ воздухѣ. Аннинька безъ сопротивленія пошла со мной, но не успокоилась.

— Я сдѣлаю хуже,—тиская зубами и до крови кусая губы, шипѣла она,—я найду другихъ.

— Мнѣ совѣстно слушать эти мерзости,—сказалъ я.

— Ты ихъ увидишь.

Аннинька ущипнула меня такъ, что я невольно вскрикнулъ[265]).

§ 7. Среди писателей семидесятыхъ годовъ должно упомянуть еще талантливаго повѣствователя Чужбинскаго. Александръ Степановичъ Афанасьевъ (Чужбинскій) родился 28-го февраля 1817 г. въ Лубенскомъ уѣздѣ, Полтавской губерніи, и дѣтство провелъ въ родномъ помѣстьѣ. На тринадцатомъ году его отвезли въ Нѣжинъ и опредѣлили въ гимназію Высшихъ Наукъ князя Безбородко, помѣстивъ на квартиру къ молодому профессору Никитѣ Ѳедоровичѣ Соловьеву, преподавателю естественныхъ наукъ, прекрасному педагогу. На квартирѣ у Соловьева жилъ и Е. П. Гребенка, подружившійся съ Афанасьевымъ.

Изъ лицея Безбородко вышло тогда не мало замѣчательныхъ людей: Гоголь, Н. Я. Прокоповичъ, Н. В. Кукольникъ, Н. В. Гербель, Н. Г. Рѣд-

[264]) Николай Негоревъ. Ч. III. Стр. 89.
[265]) Николай Негоревъ. Ч. III. 181—182.

кинъ и др. Въ лицеѣ Афанасьевъ провелъ шесть лѣтъ и окончивъ курсъ въ 1835 году, опредѣлился юнкеромъ въ Бѣлгородскій уланскій полкъ. Прослуживъ шесть лѣтъ, онъ вышелъ въ отставку съ чиномъ поручика въ 1843 г. Время службы не пропало даромъ. Афанасьевъ до тонкости изучилъ военный бытъ, его нравы и обычаи, приглядывался и къ жизни помѣщиковъ и крестьянъ. Съ полкомъ исколесилъ онъ почти всю Россію отъ Западнаго края до Кавказа.

Еще въ 1838 г., въ «Современникѣ» Плетнева появилось стихотвореніе «Кольцо», подписанное псевдонимомъ: Чужбинскій. Затѣмъ появился рядъ его стихотвореній и разсказовъ въ «Литературныхъ прибавленіяхъ» къ «Русскому Инвалиду», «Галатеѣ», «Маякѣ», «Москвитянинѣ» и т. д. Съ 1849 г. Афанасьевъ путешествуетъ по Россіи, пишетъ корреспонденціи, замѣтки, очерки, выпускаетъ книжечку своихъ малороссійскихъ стихотвореній: «Що було на сердци», а также три части разсказовъ въ стихахъ и прозѣ: «Русскій солдатъ». Въ 1855 г. великій князь Константинъ Николаевичъ пожелалъ преобразовать органъ морского вѣдомства — «Морской Сборникъ», изъ сухого спеціальнаго журнала въ общелитературный и озаботился привлечь къ участію въ немъ литераторовъ: А. А. Потѣхина, А. Ф. Писемскаго, М. Л. Михайлова, С. В. Максимова, Г. П. Данилевскаго, А. Н. Островскаго и наконецъ Афанасьева-Чужбинскаго. Афанасьевъ помѣстилъ здѣсь рядъ прекрасныхъ статей: «Общій взглядъ на бытъ приднѣпровскаго крестьянина», «Поѣздка на Днѣпровскіе пороги и на Запорожье», «Поѣздка по низовьямъ Днѣпра» и «Поѣздка по Днѣстру», изъ которыхъ потомъ составилась большая книга въ двухъ частяхъ «Поѣздка въ южную Россію», выдержавшая два изданія. Кромѣ того, Афанасьевъ помѣстилъ свои «Дорожныя записки» въ «Русскомъ Словѣ» 1859 — 1860 гг. и рядъ «Писемъ къ редактору» въ «Экономическомъ указателѣ» И. В. Вернадскаго. Въ 1861 г. сперва въ «Сѣверной Пчелѣ», а затѣмъ и отдѣльно появилось одно изъ лучшихъ его произведеній — «Деревенскія сцены» — «Бабушка».

Поселившись въ Петербургѣ, Чужбинскій долженъ былъ, ради насущнаго хлѣба, работать до полнаго истощенія силъ. Онъ писалъ фельетоны, романы, переводилъ, занимался редакціонной работой. Въ 1864 г. онъ задумалъ основать газету, которая занималась бы исключительно городской, петербургской жизнью; съ 15-го марта четыре раза въ недѣлю сталъ выходить «Петербургскій Листокъ». Однако, Чужбинскій скоро выпустилъ изъ своихъ рукъ газету. За нимъ, однако, остается заслуга основателя такъ называемой «мелкой прессы».

Въ 1866 г. Н. П. Мундтъ основалъ газету «Недѣля». Афанасьевъ два года велъ въ ней отдѣлъ «Журналистики» и помѣстилъ большой разсказъ: «Забытая исторія». Потомъ былъ долго редакторомъ моднаго, съ литера-

турнымъ отдѣломъ журнала «Новый Русскій Базаръ», гдѣ писалъ фельетоны подъ псевдонимомъ: А. Чайный. Затѣмъ во «Всемірномъ Трудѣ» и «Зарѣ» появились его произведенія: «Фаня», «Дуэлистъ», «Городъ Смуровъ» и сенсаціонный романъ «Петербургскіе игроки».

Попробовалъ Чужбинскій основать журналъ переводной беллетристики «Магазинъ Иностранной Литературы», но безъ успѣха.

Онъ скончался 6-го сентября 1875 года.

Афанасьевъ-Чужбинскій занимаетъ скромное мѣсто въ русской литературѣ, но безспорно имѣетъ свою оригинальную физіономію. Талантливый разсказчикъ, умный, увлекательный, съ большою наблюдательностью и знаніемъ помѣщичьей, военной и петербургской жизни,—онъ разсказываетъ просто и безхитростно житейскіе случаи, рисуетъ правдиво среду и событія.

Цѣлая галлерея интересныхъ, очевидно, списанныхъ прямо съ натуры фигуръ проходитъ у читателя предъ глазами. Тутъ и армейскіе «моншеры» 30-хъ годовъ съ комическимъ аристократизмомъ, и неотесанные, вышедшіе изъ нижнихъ чиновъ, «бурбоны», и легковѣсные корнеты, забубенные кутилы-мученики, и безобразные самодуры, и отчаянные дуэлисты, картежники, надувалы-ремонтеры. Въ связи съ этими лицами мелькаютъ и фигуры обывателей провинціальной глуши, степные помѣщики, чины уѣздной служебной іерархіи. Въ общемъ подъ перомъ бывалаго автора получается довольно цѣльная картина провинціальной жизни 20-хъ и 30-хъ годовъ.

§ 8. Талантливѣйшій изъ «семидесятниковъ»—беллетристовъ народнической школы, рано умершій, Левитовъ. Сынъ дьячка Александръ Ивановичъ Левитовъ родился 20-го іюля 1835 года въ тамбовскихъ степяхъ, въ большомъ и торговомъ селѣ Доброе, Лебедянскаго уѣзда. Отецъ его имѣлъ у себя на дому школу и кромѣ того, постоялый дворъ. Среди простого люда прошло дѣтство мальчика. Восьми лѣтъ онъ уже былъ «подмастерьемъ» въ отцовской школѣ. Въ Тамбовской семинаріи Левитовъ шелъ лучшимъ ученикомъ. Однако здѣсь его постигли преслѣдованія. Левитовъ говорилъ всегда правду, и за эту правду іерейскіе сынки возненавидѣли дьячковскаго сына. Однако у него нашлась, какъ раньше у «Карася» Помяловскаго силачъ Гороблагодатскій, защита — риторъ Яковъ Соколовъ, геркулесовской силы. Заключивъ дружескій союзъ съ Левитовымъ, онъ сейчасъ же сказалъ: «Ты чего смотришь на этихъ скотовъ? Бей ихъ по мордасамъ!». Соколовъ, какъ и Левитовъ, былъ однимъ изъ лучшихъ учениковъ семинаріи. Они вмѣстѣ читали — Шиллера, Гете, Диккенса, Тэккерея, Жоржъ-Зандъ, Пушкина, Грибоѣдова, Лермонтова, Гоголя. Въ 1855 г. они оба рѣшили поступить въ медико-хирургическую академію.

Весь путь отъ Тамбова до Москвы совершили они пѣшкомъ, съ котомками, толстыми палками и нѣсколькими рублями въ карманѣ. Какъ затѣмъ добрались въ Питеръ — трудно сказать... Левитовъ не долго однако пробылъ въ академіи. Какая-то неизвѣстная причина заставила его выйти изъ нея. Съ ноября 1856 года Левитовъ очутился, какъ казенный стипендіатъ, для отслуживанія потраченныхъ на него денегъ, фельдшеромъ при больницѣ въ Шенкурскѣ, Архангельской губерніи...

Здѣсь то привыкъ онъ пить и уже этотъ порокъ не покидалъ его. Однако, въ Шенкурскѣ онъ продолжалъ писать разсказъ, который началъ еще въ Петербургѣ. Соколовъ писалъ ему: «Мужикъ работаетъ руками, а ты работай головой. Богъ далъ тебѣ большія способности: зачѣмъ же ты не пользуешься ими, какъ мужикъ пользуется своими руками? Ты началъ прекрасную повѣсть, зачѣмъ же не кончить ее? Ты зналъ Успенскаго (Николая), посмотри-ка, какъ онъ теперь упрочилъ свое положеніе!

Ему одна редакція платитъ по сорока рублей въ мѣсяцъ и, кромѣ того, онъ получаетъ деньги отъ другихъ журналовъ, въ которыхъ помѣщаетъ свои статьи... Клянусь тебѣ своею совѣстью, что «Змѣй» Успенскаго, помѣщенный имъ въ «Современникѣ», и такъ много расхваленный, гораздо хуже твоего «Праздника», который ты началъ писать... въ Петербургѣ».

Изъ Шенкурска Левитовъ былъ переведенъ въ Вологду и отслуживъ стипендію, пѣшкомъ пришелъ домой въ Лебедянь. Возвращеніе это потребовало цѣлыхъ мѣсяцевъ. Онъ писалъ въ волостныхъ правленіяхъ по пути, получая полтинникъ въ недѣлю. Въ одномъ правленіи привелъ въ порядокъ за три рубля ревизскія сказки и съ этими рублями добрался до Москвы, оттуда-же домой. Пришелъ почти раздѣтый съ опорышами вмѣсто сапогъ. Подошвы были въ язвахъ и холстина врѣзалась въ мясо.

До 1860 г. онъ перебивался въ Тамбовѣ уроками. Затѣмъ ушелъ въ Москву. У Левитова не было здѣсь ни друзей, ни знакомыхъ. Пока не вышли деньги—13 руб. (сестра заложила салопъ!), ночевалъ на постоялыхъ дворахъ и обѣдалъ на Толкучкѣ; потомъ спалъ въ лодкахъ на Москворѣцкой набережной, будочники его кормили и угощали тютюномъ; днемъ бродилъ на бульварѣ... Между тѣмъ сестра продала пару отцовскихъ воловъ и прислала Левитову денегъ.

Левитовъ поселился въ «комнатахъ съ небелью». Наборщикъ изъ типографіи «Русскаго Вѣстника» взялся передать рукопись его разсказа «Ярмарочныя сцены» Аполлону Алекс. Григорьеву, тогда работавшему у Каткова. Затѣмъ самъ Катковъ предложилъ Левитову мѣсто помощника секретаря на 360 руб. въ годъ и далъ авансу 100 руб. Но черезъ два мѣсяца Левитовъ заболѣлъ, потерялъ мѣсто и рукопись ему была возвращена.

Наконецъ въ «Московскомъ Вѣстникѣ» и, по 15 руб. печ. листъ, во

«Времени» (1861 г.) были напечатаны его «Сладкое житье» и «Ярмарочныя сцены». Въ «Русской Рѣчи» — «Цѣловальничиха» и «Проѣзжая степная дорога». Онъ сошелся съ А. А. Григорьевымъ, К. Н. Бибиковымъ, А. А. Козловымъ, М. Я. Свириденко, Н. Н. Кельцевымъ. Рядъ его разсказовъ появляется въ тогдашнихъ московскихъ журналахъ. Но всѣ они внезапно скончались («Моск. Вѣсти.», «Зритель», «Русская рѣчь»). Осталось одно «Развлеченіе».

Левитовъ перебрался въ Петербургъ, гдѣ познакомился съ литераторами и писалъ въ «Искрѣ», подъ псевдонимомъ Ивана Сизова. Затѣмъ втеченіе четырехъ лѣтъ онъ переѣзжаетъ изъ Петербурга въ Москву и обратно. Онъ появляется въ «Современникѣ».

Въ 1866 году Левитовъ издалъ отдѣльно свои «Степные очерки». Онъ страшно бѣдствуетъ. Въ 1870 г. начинаетъ сотрудничать въ «Вѣстникѣ Европы». Онъ все пьетъ и кашляетъ. «Я недѣли двѣ ужъ не пилъ, — читаемъ въ письмѣ 1876 года, — но вчера нарѣзался. Теперь — шабашъ окончательный!» А черезъ двѣ недѣли: «Дорогой мой! Пьянъ я гибельно. Бодрюсь, бодрюсь; а все пьянъ. Даже, когда совершенно трезвъ, чувствую, что я все-таки пьянъ. Смерть какая-то ходитъ около меня...»

Съ 1872 по 1877 г. Левитовъ прожилъ все время въ Москвѣ и подгородныхъ селахъ, на окраинахъ, въ подвалахъ, въ убогой каморкѣ, въ обществѣ своего друга и двухъ кроликовъ.

Въ 1874 г. вышелъ томъ его очерковъ: «Горе селъ, городовъ и посадовъ». Третьимъ изданіемъ вышли его «Степные очерки» и вторымъ «Жизнь московскихъ закоулковъ». Отъ продажи этихъ изданій онъ получилъ 700 рублей, на которые и жилъ почти пять лѣтъ. Его убивало, что критика молчала о его книгахъ. Н. Н. Златовратскій, пріѣхавшій осенью 1876 года въ Москву, былъ пораженъ его ужаснымъ видомъ. Левитовъ былъ невыразимо худъ; его можно было поднять, какъ ребенка; грудь его разрывалась зловѣщимъ кашлемъ.

Несмотря на осеннюю холодную погоду, онъ прикрывался однимъ пледомъ, жилъ въ сыромъ, холодномъ, затхломъ номерѣ гостинницы, за который нечѣмъ было платить. Онъ работалъ до послѣдней минуты надъ очеркомъ «Бесѣдныя». Но не успѣлъ его кончить. Онъ тихо скончался въ университетской клиникѣ 4 января 1878 года на 42 году жизни и похороненъ на Ваганьковомъ кладбищѣ.

«Все, что Левитовымъ написано, говоритъ его біографъ, прошло не только черезъ его умъ и сердце, но было прямымъ выраженіемъ пережитаго и перечувствованнаго самимъ авторомъ: это — главная и отличительная черта всѣхъ произведеній Левитова... И сколько прелестныхъ, граціозныхъ и реальныхъ образовъ, характеровъ и типовъ создалъ намъ Левитовъ! Стоитъ только припомнить эту прекрасную дѣвушку въ очеркѣ «Цѣловальничиха»

маленькаго музыканта горбуна и его подругу дѣвочку («Горбунъ»), идеалиста дьякона («Яковъ Петровичъ Сыроѣдовъ»), фигуру Петра Крутаго и стараго солдата («Степныя выселки»), Ильюши и старика Акима («Аходскій посадъ»), прапорщика Бжебжицкаго и всю честную компанію этихъ «комнатъ съ небелью» и т. п. А добродушный юморъ, а эти живописныя описанія и разбросанные почти повсюду благоухающіе цвѣты чистой поэзіи!»

Къ стилю Левитова, къ его своеобразной манерѣ надо привыкнуть. Но какая дѣтски прекрасная любовь къ народу и бѣдному люду проникаетъ каждую, написанную имъ страницу. Какая музыка, какая поэзія, хотя бы эти задушевныя слова:

«Я тебя постараюсь какъ можно тише окрикнуть, бѣдный народъ! Я пою про тебя, вѣчно ноющая, вѣчно голодающая птица комнатъ съ небелью, настолько незлобивую пѣсню, насколько незлобивыхъ жизненныхъ темъ набралась въ этихъ клѣткахъ моя собственная, озлобленная голова».

«О, миръ вамъ, люди покоробленные, а чаще, какъ дуга, согнутые всесильною нуждой! Миръ вашимъ снамъ, озлобленно-тревожнымъ, ногамъ вашимъ, вѣчно снующимъ и ничего не выхаживающимъ, всегдашней злобѣ вашей желаю я скораго угомона!..»

«Ибо злоба ваша — смерть ваша. А какъ тяжело умирать одному въ меблированныхъ вертепахъ—одному, съ одною только злостью своей, даже и на этотъ день, который такъ свѣтло пробивается въ комнату сквозь грязно-желтую коленкоровую штору, на этотъ бойкій гулъ столичной жизни, неумолчно гудящій за стѣнами!»

БИБЛІОГРАФІЯ. Собраніе сочиненій Левитова съ портретомъ автора и статьею о его жизни Ф. Д. Нефедова 2 т. Изд. Солдатенкова. М. 1884 г. — Левитовъ (и Вороновъ). Московскія норы и трущебы. 2-е изд. М. 1869 г.—Горе селъ, дорогъ и городовъ. М. 1874.—Степные очерки. Изд, 2-е. 2 кн. Спб. 1875 г.—Жизнь московскихъ закулковъ. Изд, 3-е. М. 1875 г.—О Левитовѣ: А. Н. Пыпинъ. Беллетристъ-народникъ. Вѣстн. Евр. 1884 г. № 8.—А. М. Скабичевскій. Левитовъ, его жизнь и сочиненія. Въ соч. т. II.—Златовратскій. Л-овъ. Изъ литературныхъ воспоминаній. Сборникъ «Починъ». М. 1895 г.—Засодимскій. Изъ литературн. воспоминаній. Русское Богатство. 1881 г. № 12. –В. П. Буренинъ. Критическіе очерки. Нов. Вр. 1884 г. № 2924.

§ 9. Прекрасный талантъ Павла Владиміровича Засодимскаго (род. въ 1843 г. въ В. Устюгѣ) болѣе однако испорченъ тенденціей, чѣмъ дарованіе Левитова. Замѣчательнѣйшіе изъ произведеній этого писателя слѣдовали въ такомъ порядкѣ:

Грѣшница. 1868 г. Волчиха. 1868. А ей весело—она смѣется... 1870. Темныя силы. Повѣсть. 1870. Старый домъ. Повѣсть. Хроника села Смурина. Романъ. 1874. Мѣшокъ съ деньгами. 1875. Кто во что горазды. Романъ.

1878. Θедька Барененокъ. Повѣсть. 1879. Терехинъ сонъ. Святочный разсказъ. 1880. Семейство Подошвиныхъ. Романъ. 1880.

Извѣстнѣйшій романъ Засодимскаго «Хроника села Смурина» быть можетъ всего болѣе достоинъ ѣдкаго разбора, которому онъ подвергнутъ при его выходѣ въ «Русскомъ Вѣстникѣ». По словамъ критика, «хроника села Смурина» представляетъ собою прежде всего листъ бумаги, раздѣленный на двѣ половины чертою, изображающею рѣку. На одной сторонѣ «красуется рядъ новыхъ, двухъ-этажныхъ домовъ съ тесовыми красными кровлями»,— эта часть называется Закручье; другая часть, густо застроенная, «покрыта почернѣлыми, низкими, на бокъ скривившимися избами съ соломенными кровлями, тутъ-же лѣпится около сотни маленькихъ, закоптѣлыхъ кузницъ», эта часть собственно Смурино.

Въ богатыхъ хоромахъ живутъ все богачи—эксплуататоры, въ бѣдныхъ все бѣдняки—труженики, они куютъ гвоздь. «Куютъ взрослые, куютъ мальчишки-подростки, куютъ дѣвочки», и ничто не помогаетъ. Труженики все трудятся и бѣднѣютъ; эксплуататоры-же не трудятся, а богатѣютъ. Эксплуататоры всѣ безъ исключенія надѣлены авторомъ всевозможными физическими и нравственными уродствами; всѣ они, мало того, что кулаки и проходимцы, но и негодяи отъявленные; они не только эксплуатируютъ бѣдняковъ, но всячески притѣсняютъ ихъ, ругаются, дерутся, то и дѣло колотятъ дѣтей нагайками, шпарятъ ихъ кипяткомъ, травятъ людей собаками, безчестятъ женщинъ. Между бѣдняками есть всякіе, но всѣ они, по словамъ автора, таковы-же, какъ одинъ изъ его героевъ, который «былъ какъ и всѣ Смуринцы вообще, рабочій скотъ». На этомъ листѣ бумаги, изображающемъ село Смурино, разрѣшается въ лицахъ рядъ общественныхъ вопросовъ: устраивается ссудное товарищество, общественная лавка, рабочая лавка и т. д., и т. д.

Инціатива принадлежитъ «народному Лео», крестьянину села Смурина Дмитрію Кряжеву. Кузнецъ, столяръ и плотникъ, «онъ всегда горой стоялъ за міръ и друговъ своихъ не выдавалъ, а недругамъ въ иной разъ отъ него доставалось шибко». Ростомъ онъ высокъ, плечистъ и силенъ, словомъ, кремень—и фамилія такая—Кряжевъ. Голову держалъ онъ высоко, смотрѣлъ прямо въ упоръ и духомъ былъ гордъ и самостоятеленъ.

Въ довершеніе всѣхъ достоинствъ онъ мастерски игралъ на гармоникѣ, припѣвая:

На Пречистенкѣ направо
Есть большой прекрасный домъ;
Тамъ живетъ народу много...

Бывши однажды въ городѣ «онъ раздобылся книжечкой, къ которой былъ приложенъ образецъ устава ссудо-сберегательнаго товарищества». Эта книжка и дала толчокъ всей его общественной дѣятельности.

«Какая эта книжка, иронизируетъ критикъ «Русскаго Вѣстника», авторъ не говоритъ, но мы рѣшаемся выдать его тайну, такъ какъ книжка эта имѣла роковое вліяніе не только на героя романа, но и на его автора: не будь этой книжки, не было-бы и романа, который составляетъ въ большей своей части только передѣлку и распространеніе, или-же иллюстрацію къ этой «драгоцѣнной книжечкѣ»[266]).

Вотъ полное заглавіе этой книжечки: «Гдѣ и какъ дешево добыть денегъ?» Ссудо-сберегательныя товарищества. Н. Ф. 2-е изданіе, съ приложеніемъ проэкта устава ссудо-сберегательнаго товарищества, составленнаго по образцу устава, изданнаго коммиссіею и пр. и пр. Спб. 1873. Цѣна 5 к.

«Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, говоритъ критикъ «Русскаго Вѣстника», на одномъ постояломъ дворѣ намъ довелось видѣть картинку, изданную въ первой четверти текущаго столѣтія и долженствовавшую содѣйствовать распространенію оспопрививанія по деревнямъ. Картинка раздѣлена на двѣ части, подъ каждой соотвѣтственная подпись. Въ одной значится: несчастное положеніе семействъ, уклоняющихся отъ привитія оспы. Изображены развалевныя избы, толпы калѣкъ, обезображенныхъ, безрукихъ, горбатыхъ, слѣпыхъ, умирающихъ дѣтей и вдали кладбище со множествомъ могильныхъ крестовъ. На другой половинѣ картинки изображенъ домикъ подъ елочкой и предъ нимъ хороводъ, парни съ гармониками, неестественно толстыя бабы и пузатые ребятишки. Подпись гласитъ: счастливое состояніе поселянъ, воспользовавшихся благодѣтельнымъ привитіемъ оспы».

Въ «Хроникѣ села Смурина» авторъ воспользовался буквально тѣмъ-же пріемомъ. Всѣ манекены его, долженствующіе изображать идеалы новыхъ добродѣтелей, имѣютъ красивую внѣшность. Всѣ-же фигуры, олицетворяющія старые порядки, всѣ эксплуататоры, хищники, каверзники, имѣютъ внѣшность скаредную и отвратительную. Авторъ безъ церемоніи говоря объ ихъ физіономіяхъ обыкновенно употребляетъ выраженія: рыла, паскудныя морды, хари, рожи и т. д.

«Итакъ, грошевая брошюрка, уставъ ссудной кассы, учебно-вспомогательная книжка, да двѣ-три газетныя корреспонденціи и одна лубочная картинка— вотъ матеріалы, которые, будучи перефразированы и иллюстрированы, превращаются въ длинный—предлинный, скучный—прескучный, но безконечно назидательный, наглядно-педагогическій романъ»[267]).

Рядомъ съ тенденціознымъ романомъ, въ разсматриваемое десятилѣ-

---

[266]) «Педагогія въ романѣ». Вологдинъ. Хроника села Смурина въ пяти книгахъ. «Отеч. Зап.» 1874. №№ 8, 9, 10 и 12. Статья К. Н. «Русск. Вѣстн.» 1875 г., т. 115, стр. 869 и далѣе.

[267]) Ibid. 893.

тіе появляется и романъ натурально-протокольный, по рецепту Эмиля Зола. «Не литературная теорія, но ощущеніе художника, роковое и естественное стремленіе, побуждаетъ его придавать важное значеніе всему, что онъ наблюдалъ. Ему нужна живая модель, которая бы стояла передъ нимъ и будила всѣ его художественные инстинкты. Если у него нѣтъ такой модели, онъ чувствуетъ себя связаннымъ, у него опускаются руки, и онъ не можетъ работать, сознавая, что ничего путнаго не напишетъ. Все немедленно исчезаетъ, потому что модель приноситъ съ собой не только человѣческую фигуру, но еще и воздухъ, которымъ она окружена, среду, цвѣтъ и звукъ, — все, что составляетъ жизнь. Отсюда стремленіе втиснуть въ свою книгу всѣхъ лицъ, которыхъ ему удалось изучить. Вотъ что я называю горячкой дѣйствительности, — совсѣмъ новою болѣзнью у художниковъ. Ихъ мучитъ страсть составлять публичные протоколы, не пропуская ни одной подробности и рискуя оскорбить друзей и даже родныхъ, безсознательно послужившихъ имъ моделью. Въ одинъ прекрасный день попадаешь въ ихъ произведенія съ своимъ именемъ, жестами, платьемъ, исторіей, съ своими бородавками. Подъ ихъ скальпелемъ превращаешься въ человѣческій документъ, и было-бы неразумно сердиться на нихъ за это, потому что они поступаютъ такъ безъ малѣйшаго злорадства и единственно лишь потому, что повинуются желанію внести какъ можно больше жизни въ свои произведенія»[268]).

Послѣдователемъ протокольнаго реализма Зола у насъ явился весьма плодовитый романистъ Боборыкинъ («Дѣльцы», «Докторъ Цыбулька», «Полжизни», «Въ усадьбѣ и на порядкѣ»). Онъ прекрасно схватываетъ чисто-внѣшніе признаки того или другого лица, и чѣмъ мельче и несущественнѣе признакъ, тѣмъ лучше его онъ запоминаетъ, тѣмъ живѣе воспроизводитъ. Наружность, одежду, манеры, интонацію голоса онъ опишетъ вамъ съ самою тщательною обстоятельностью, но особенности характеровъ, процесы внутренней, психической жизни доступны его наблюдательности въ несравненно-меньшей степени. Къ тому-же и наблюдательность его въ этой сферѣ страдаетъ какою-то отрывочностью: читая о его многоразличныхъ герояхъ, такъ и кажется, что имѣешь дѣло съ случайными замѣтками, выхваченными изъ записной книжки автора, — книжки, въ которую онъ заносилъ различные факты, какъ изъ внутренней, такъ и чисто внѣшней жизни людей, сталкивавшихся съ нимъ на житейскомъ поприщѣ. Факты эти почти сырыми преподносятся читателямъ и изъ нихъ кое-какъ склеиваются нѣкоторыя подобія человѣческихъ характеровъ[269]).

---

[268]) Парижскія письма. Эмиля Зола. XXXIV. Вѣстникъ Европы. Мартъ. 1878 г. стр. 418.

[269]) Беллетристы-эмпирики. П. Никитинъ. Дѣло 1875. № 5.

Боборыкинъ талантливъ, начитанъ, много бывалъ въ обществѣ и видалъ виды. Онъ ловко и занимательно пересаживаетъ на русскую почву пріемы французскихъ романистовъ... Все отдѣлано гладко и щегольски; по каждой страницѣ словно прошла щетка, не оставившая на ней ни пылинки; кое-гдѣ это тщаніе можетъ-быть преувеличено, но уже неряшества не бываетъ никогда. Весь романъ точно французскій галантерейный магазинъ, съ бездною элегантныхъ вещей и вещицъ, разставленныхъ и разложенныхъ въ обдуманномъ безпорядкѣ.

Нужно много труда и опытности, нуженъ хорошій матеріалъ, нужна смышленая голова, чтобы выдѣлать галантерейную вещицу, и было-бы прискорбно, если-бы публика не оцѣнила этихъ качествъ. Отдавая имъ справедливость, она не измѣняетъ своему благоговѣнію къ качествамъ другого, болѣе высокаго порядка. Она помнитъ, что бываютъ у писателей и такія качества, какъ поэтическая свѣжесть, искреннее вдохновеніе, широта кругозора, глубина мысли, и что романы Боборыкина этихъ качествъ чужды [720]).

Въ 70-хъ годахъ появились «Сказки Кота-Мурлыки», принадлежавшія перу Николая Петровича Вагнера.

Когда русское общество было поглощено чисто практическими задачами, реализмъ царилъ въ критикѣ и литературѣ, гражданская муза Некрасова одна полновластно владѣла симпатіями и вкусами читателя, въ области отвлеченныхъ идей господствовало строго позитивное направленіе,—молодой зоологъ вдругъ выпустилъ томъ сказокъ. Эти сказки по духу, по идеямъ, по настроенію, по самому письму рѣзко противорѣчили господствовавшимъ въ обществѣ тенденціямъ.

Правда, нѣкоторыя изъ нихъ, повидимому, касались извѣстныхъ соціальныхъ проблемъ, и швея Фанни, умирающая въ сладкихъ грезахъ надъ недошитымъ бальнымъ платьемъ, и глубокая быль о «колесѣ жизни»,— эти образы и темы какъ будто и соотвѣтствовали гражданскимъ вопросамъ времени. Но на самомъ дѣлѣ это было не такъ. Что-то мистическое лежало въ основѣ сказокъ, задумчивое и полное затаенныхъ духовно-нравственныхъ запросовъ. Мистикъ-философъ, почти духовидецъ-поэтъ говорилъ въ этихъ сказкахъ съ читателемъ. И что-жъ! Сказки сразу пріобрѣли симпатіи взрослыхъ и русскихъ дѣтей хотя это были и далеко не дѣтскія сказки, и не совсѣмъ-то здорово было дѣйствіе ихъ на дѣтскія души: влили онѣ много нервности въ читавшія ихъ поколѣнія, и мальчикъ Максъ, съ его тоской, и прекрасная Мила, на островахъ блаженства, среди радостныхъ фей, томимая своей человѣческой неудовлетворенностью, глубоко запали въ юныя

---

[720]) Русскій Вѣстникъ. 1874. т. 109. стр. 414 и 412. Французскій романъ въ русской литературѣ. По поводу «Полжизни» Боборыкина. Л. Н.

сердца, запали тѣми же запросами неудовлетворенной совѣсти. Но если вліяніе «Сказокъ Кота-Мурлыки», —это были онѣ,—на русскихъ дѣтей не можетъ быть признано вполнѣ здоровымъ, все же оно было человѣчно и духовно. И у всѣхъ насъ, кто въ ранніе годы перетосковалъ грустью этихъ сказокъ, осталось горячее чувство признательности къ ихъ творцу—Н. П. Вагнеру.

Поэтъ-ученый, поэтъ-философъ, онъ явился предвѣстникомъ и провозвѣстникомъ среди поколѣнія позитивистовъ и утилитаристовъ, того особаго направленія мысли и чувства, что съ замѣтной силой развилось только за послѣднія 15—20 лѣтъ и озарило конецъ вѣка проповѣдью нравственнаго совершенствованія. Н. П. Вагнеръ, несомнѣнно, стоитъ въ истокахъ того духовно-нравственнаго теченія, которое пробудило въ обществѣ эстетизмъ, идеалистическія настроенія, интересъ къ спекулятивному мышленію, сказалось съ такою силой въ философскихъ твореніяхъ гр. Льва Толстого, въ живописи Ге, въ послѣднихъ вещахъ Лѣскова, и до сихъ поръ проявляется въ своеобразной евангельской и мистической настроенности нѣкоторой части молодежи и писателей.

Н. П. Вагнеръ — не только поэтъ и ученый, онъ — духовидецъ, онъ — спиритъ.... Но обширный кругъ читателей и почитателей его музы оставался всегда равнодушнымъ собственно къ спиритическимъ доктринамъ «Кота-Мурлыки».

Эти доктрины представляли внѣшнюю оболочку живого духа, присущаго личности писателя, и тѣ, кто любилъ мечтать съ его мечтами, болѣть тоскою запросовъ его чуткой совѣсти, только и воспринимали этотъ свободный духъ.

По своимъ настроеніямъ, какъ писатель, Н. П. Вагнеръ чрезвычайно новъ и свѣжъ. Эти настроенія намъ близки; эти настроенія — послѣднихъ лѣтъ закатывающагося вѣка, который ищетъ опоры своимъ нравственнымъ запросамъ и рвется изъ душныхъ сумерекъ пошлой обыденности къ вѣчному и прекрасному.

III.

§ 1. Странно, что шестидесятые годы, эпоха освободительныхъ реформъ, была такъ мало пѣвуча! Быть можетъ, это объясняется тѣмъ, что въ такія эпохи, когда перестраиваются всѣ учрежденія страны, и матеріальные вопросы выступаютъ на первый планъ - главную точку общественнаго горизонта занимаетъ ораторъ, а поэтъ уходитъ въ тѣнь. Въ семидесятыхъ годахъ поэзія уже поднимаетъ голову. Конечно, на вершинѣ русскаго Парнасса по прежнему предстоитъ тріумвиратъ поэтовъ—Майковъ, Полонскій и Фетъ.

Майковъ погружается въ область скандинавской Эдды и выноситъ оттуда превосходно разработанный эпизодъ «Бальдуръ» (1870):

Мракъ былъ въ мірѣ. Вдругъ орлы вскричали,
Съ горъ небесныхъ пролилися воды.
Грянулъ громъ и свѣтъ въ пространство брызнулъ:
Народился Бальдуръ златокудрый!

Граціознѣйшая изъ картинъ этой превосходной поэмы—забавы боговъ съ Бальдуромъ, послѣ того, какъ Фригга взяла клятву со всѣхъ твореній, что они не ранятъ его—

...ни въ сердце,
Ни въ сытую кость, ни въ ясны очи,
Ни во все живое бѣло тѣло...
..Всѣ кругомъ красавца оступили,
И давай метать въ него, кто стрѣлы,
Кто каменья; съ копьями, съ мечами
Нападали на него съ разбѣгу;
Но каменья, стрѣлы мчались мимо,
Копья и мечи по немъ скользили.
И стоялъ въ кругу неуязвимый
И еще свѣтлѣй чѣмъ прежде, Бальдуръ.

Майкову удалось передать всю безыскуственную простоту и прелесть древняго сказанія. Кромѣ «Бальдура», въ 1871 г. имъ написана поэма «Пульчинелль», а въ 1877: «Княжна», прихотливо названная поэтомъ «Трагедіей въ октавахъ».

Образъ уродливаго Пульчинелля, влюбленнаго безнадежно въ прелестную Коломбину, напоминаетъ однако образы въ романѣ Виктора Гюго «Notre Dame de Paris»,—образы Квазимодо, Эсмеральды, пошлаго Феба и рокового Клода Фролло. Но Майковъ обработалъ поэтическія настроенія, навѣянныя причудливымъ твореніемъ великаго французскаго поэта, съ неподражаемой граціей.

Она—полулежитъ на оттоманкѣ.
А онъ читаетъ: комната, по малу
Въ чертогъ преобразуясь, наполнялась
Героями, царицами, царями;
Стихійное иль божеское нѣчто
Блистаетъ въ нихъ величьемъ колоссальнымъ
Надъ сумракомъ обыкновенной жизни;
И вдругъ средь этихъ исполинскихъ силъ
Послышится ей родственное что-то—
Любовь, какъ голубь, рѣющій надъ бездной...
У ней отъ страха сердце замираетъ,
Она глядитъ, и, точно въ лихорадкѣ,
Слѣдя за нимъ, чтеца уже не видитъ...

И лишь когда онъ кончитъ—понемногу
Разсѣется блистательный миражъ.
Уйдетъ страстей клокочущее море;
И вмѣсто блеска, красоты, величья,
Она увидитъ вдругъ передъ собой.
Какъ будто этимъ кинутаго моремъ,
Какого-то нелѣпѣйшаго карлу...

Тотъ-же контрастъ между бурно-пламенными рѣчами Пульчинелла и его уродливой фигуркой, порождалъ гомерическій смѣхъ Неаполя:

...Тайна смѣха вотъ въ чемъ заключалась:
Пеппино никогда смѣшитъ не думалъ!
И въ колпакѣ дурацкомъ Пульчинелля
Все также роль свою игралъ серьезно,
Какъ будто роль Аякса иль Ахилла.
Онъ бросилъ фарсъ, далъ душу Пульчинеллю..
Онъ искренъ былъ, язвителенъ, былъ страстенъ,—
Но это все—при страшной образинѣ,
При заплетавшихся, кривыхъ ногахъ,
При маленькихъ ручонкахъ, при горбѣ—
Въ партерѣ вызывало взрывы смѣха!
. . . .
Не выдержитъ, и кинется онъ къ рампѣ,
И въ ярости грозить начнетъ, ругаться:
«О, пошлости клокочущая бездна!
Чудовища! Нѣтъ! я-бъ свое уродство
Не промѣнялъ на ваше»—онъ кричитъ.
И—пуще смѣхъ!.. Тогда на зло глупцамъ—
Онъ пустится кувыркаться и прыгать.
И ужъ конца рукоплесканьямъ нѣтъ!

Коломбина любитъ Арлекина. Напрасно несчастный карло ей твердитъ, что арлекинъ—бездарный фатъ, хвастунъ, глупъ—колоссально глупъ! Все тщетно... И вотъ насталъ день свадьбы. Пульчинель ночью убѣгаетъ на взморье.

..Ночь темна была, какъ гробъ.
Во тракѣ слышенъ былъ лишь грохотъ моря:
Изъ Африки дулъ раскаленный вѣтеръ.
И словно тысячи бѣсовъ иль фурій
Рвались въ дома, деревья гнули, выли,
И на подмогу имъ изъ нѣдръ земли
Изъ кратера Везувія летѣли
Въ фонтанѣ пламени и въ клубахъ дыма
Безчисленныя демонскія силы...
...Что-же дѣлалъ Пеппо—
Тамъ на террасѣ, выходящей въ море?
Онъ никогда и самъ не могъ сказать..
Какъ будто духъ его тогда носился

Въ пространствѣ, въ этихъ африканскихъ вихряхъ
И землю разорвать хотѣлъ и море,
И только къ утру въ маленькое тѣло
Вернулся и взглянулъ вокругъ себя,—
А вкругъ ладьи разбитыя лежатъ,
И травъ морскихъ по необсохшимъ камнямъ
И на сыромъ пескѣ торчатъ лохмотья.
Стихаетъ море. Съ сѣвера прохладой,
Исполненной благоуханій чудныхъ
Съ полей и виллъ цвѣтущихъ Позилиппо,
Повѣяло, и серебристой дымкой
Подернулися городъ, даль и небо..
Когда подъ крикъ ословъ и продавцовъ
Неаполь пробудился и пилъ кофе —
Смѣющійся явился съ поздравленьемъ
Къ счастливой Коломбинѣ первый — Пеппо,
Съ огромнѣйшимъ букетомъ...

«Княжна» — одна изъ удачнѣйшихъ поэмъ Майкова. Тема ея — современная. Дочь — нигилистка, взросшая у аристократки-княгини. Октавы, которыми писана поэма — верхъ совершенства. Въ то же время, въ октавахъ этихъ чрезвычайно много идейнаго содержанія. Поэтъ изображаетъ безпочвенность русскаго общества, разошедшагося съ народными идеалами:

...Побрежный людъ, должны
Бороться мы безъ устали съ приливомъ
Къ намъ издали катящейся волны...
Взлетитъ къ намъ всплескъ неистовымъ порывомъ
Богъ знаетъ гдѣ взмущенной глубины,
Зальетъ поверхность, и до новой смѣны,
Уйдетъ, оставя гнить здѣсь клубы пѣны...

Приведемъ одну изъ прекраснѣйшихъ октавъ поэмы, истинный перлъ поэзіи Майкова:

Пылинка влаги, въ небеса взлетая,
Тамъ золотомъ горитъ и серебромъ,
То въ радугахъ цвѣта переливая,
То разнося и молнію, и громъ...
Отбушевавъ и отблиставъ, кончая
Свой горній путь, теряется потомъ
Въ бездонныхъ глубинахъ, гдѣ отъ начала
Ни зыби не было, ни бурь, ни шквала...

Въ это же десятилѣтіе Майковымъ написана превосходная баллада «Емшанъ» (1874):

Половецкіе ханы Отрокъ и Сырчанъ, взявъ изъ Руси «великъ полонъ» пируютъ. Вдругъ шумъ, крикъ, стукъ мечей...

То съ русской силой Мономахъ
Всесокрушающій явился —
Сырчанъ въ донскихъ залегъ меляхъ,
Отрокъ въ горахъ кавказскихъ скрылся...

Прошли годы. Мономахъ умираетъ. Тогда ханъ Сырчанъ шлетъ къ брату, разбогатѣвшему на Кавказѣ, пѣвца:

Скажи ему, чтобъ бросилъ все,
Что умеръ врагъ, что спали цѣпи,
Чтобъ шелъ въ наслѣдіе свое,
Въ благоухающія степи!

Но что Отроку до брата?

Отрокъ сидитъ въ златомъ шатрѣ,
Вкругъ — рой абхазянокъ прекрасныхъ;
На золотѣ и серебрѣ
Князей онъ чествуетъ подвластныхъ.

Напрасно зоветъ его пѣвецъ, напрасно поетъ о половецкихъ набѣгахъ. Ханъ равнодушенъ...

И взялъ пучекъ травы степной
Тогда пѣвецъ и подалъ хану...

Едва вдохнулъ ханъ ароматъ степной травы, слезы брызнули изъ его глазъ, онъ все вспомнилъ и сейчасъ же пошелъ къ брату... Это сказаніе взято Майковымъ изъ Волынской лѣтописи. «Емшанъ» — степная, душистая трава...

Бѣлинскій считалъ Майкова антологическимъ поэтомъ по преимуществу. Къ сожалѣнію, великому критику не довелось узнать совершеннѣйшее изъ созданій Майкова въ этомъ родѣ. Въ стихотвореніи «Панъ» (1870) Майковъ уловилъ весь духъ древности. Своеобразная форма — двустопный бѣлый ямбъ — заставляетъ признать это стихотвореніе верхомъ стилистической трудности, съ которою Майковъ справился блистательно. Полуденная дрема природы, въ которой покоится Панъ — все, передана до осязательности скульптурно:

Онъ спитъ, онъ спитъ
Великій Панъ!
Иди тихонько —
Не то разбудишь!
Полдневный жаръ
И сладкій духъ
Поспѣлыхъ травъ
Умаялъ бога —
Онъ спитъ и грезитъ,
И видитъ сны...

Надъ нимъ кружитъ,
Жужжитъ, звенитъ,
Блеститъ, сверкаетъ
И вверхъ, и внизъ
Блестящій рой
Жуковъ и пчелъ...
. . . .
Разверзлось небо.
Онъ зритъ боговъ,
Своихъ собратій;
И, какъ цвѣты,
Рои видѣній
Съ улыбкой сыплютъ
Къ нему съ Олимпа
Богини—сестры...

§ 2. Яковъ Петровичъ Полонскій издалъ въ семидесятыхъ годахъ два сборника стиховъ и прозы, которой этотъ симпатичный поэтъ владѣлъ очень недурно—«Снопы» (1871) и «Озими» (1875—1876). Изъ произведеній этого періода должно указать на поэму «Мими» (1873), появившуюся въ «Отечественныхъ Запискахъ», и на прелестныя баллады «Казиміръ Великій» (1874), «Слѣпой таперъ» (1876) «Симеонъ царь Болгарскій».

Поэма «Мими»,—какъ впрочемъ большинство поэмъ Полонскаго,— не одинакого достоинства во всѣхъ своихъ частяхъ. Шаловливо—граціозная героиня этой поэмы порою спускается до строчекъ прямо прозаическихъ. Мими бѣжала съ какимъ-то барономъ на приморскую виллу и здѣсь капризничаетъ и даже почти заводитъ романъ съ сыномъ управляющаго — однимъ изъ безчисленныхъ «русскихъ Лео» семидесятыхъ годовъ. Изъ этого впрочемъ ничего не выходитъ, но читатель наслаждается картинами природы, мастерски развернутыми на всякомъ поворотѣ игривой поэмы задушевнаго пѣвца-романтика. Какъ хороша эта марина! «Море блещетъ синевой, и раскатистой волной шевелитъ береговой кой-гдѣ скученный тростникъ; бѣлой пѣны языки лижутъ желтые пески... Тамъ въ водѣ и на водѣ, въ глубинѣ и въ пестротѣ переливчатыхъ цвѣтовъ серебристо-голубыхъ, изумрудно-золотыхъ, то подъ сѣтью тростниковъ, то въ тѣни отвѣсныхъ скалъ...» Какая музыка! Просто слышишь плескъ и мѣрный прибой качающейся глуби морской! Или эта картинка:

Черный впрозелень дельфинъ
(Что зовутъ въ иныхъ моряхъ
Просто «свинкою») приплылъ
Къ берегу и въ камышахъ
Легъ въ тѣни на мягкій илъ,
Хвостъ свой въ волны опустилъ;
Вотъ, накренилъ свой плавникъ,

И къ груди его приникъ
Тупорылый сосунокъ.

Стихъ поэмы столь же разнообразенъ, какъ и картины природы, разбросанныя въ ней:

Ужъ августъ; лозы винограда,
Въ прозрачныхъ, матовыхъ кистяхъ,
Повисли на своихъ жердяхъ;
На яблоняхъ, въ куртинахъ сада,
Кой-гдѣ румяный плодъ повисъ,
И стала рѣже на карнизъ
Садиться ласточка...

Но иногда вдохновеніе совершенно оставляетъ поэта, и изъ подъ пера его выходятъ такія вирши:

Какъ изъ стѣны дубовой крѣпко
Въ нее засѣвшій гвоздь порой
Назадъ не лѣзетъ, такъ иной
Крѣпкоголовый слишкомъ крѣпко
Захватываетъ все, что разъ
Вошло въ мозги его...

Полонскій отдалъ въ семидесятыхъ годахъ дань реализму въ такихъ куплетахъ, какъ стихи по поводу догмата папской непогрѣшимости, въ стихотвореніяхъ «Встрѣча» (рѣчи ретрограда); «Міазмъ», удачнѣйшее изъ этихъ произведеній поэта; «Шиньонъ», «Письма къ музѣ» и т. д.

Но рядомъ находимъ превосходные, истинно поэтическіе шедевры. У Полонскаго мы не видимъ той выработки художественныхъ замысловъ, какъ у другихъ поэтовъ его школы. Онъ неряшливъ. Рядомъ съ законченными созданіями беспечно оставляетъ и хаотическіе эмбріоны своихъ романтическихъ мечтаній. Отчасти, къ такимъ произведеніямъ относится пьеса «Поэзія»:

Пока у алтаря, въ день свѣтлый воскресенья
Иль въ покаянный, будній день,
Ты видишь предъ собой свѣтъ въ правдѣ откровенья,
А за собой неправды тѣнь;
Пока ты чувствуешь благоговѣйный трепетъ,
Пока молитвенный твой лепетъ
Есть вѣра страстная, а не обрядъ пустой, —
Поэзія еще съ тобою, милый мой.

Этотъ неожиданный рефренъ, которымъ заканчивается каждая строфа пьесы; это—«милый мой», холодитъ цѣлое и заставляетъ предполагать, что стихи шли изъ охлажденной, резонерствующей души поэта... Иное, пьеса «Міровая ткань»:

Ткань природы мiровая—
Риза—Божья, можетъ быть...
Въ этой ризѣ я—живая,
Я—непорванная нить.
Нить идетъ, трепещетъ, бьется,
И ужь если оборвется,
Никакiе мудрецы
Не сведутъ ея концы

. . . .

Ткачъ же вѣчный неустанно
Ткань звѣздистую ведетъ;
И выводитъ онъ узоры:
Голубыя волны, горы,
Степи, пажити, лѣса,
Облака и небеса;
И куда мудрецъ ни взглянетъ,
Ни прорѣхи, ни узла нѣтъ:
Свѣтозарна и ровна
Божьей ризы тонина.

Прелестнѣйшiе изъ цвѣтовъ поэзiи Полонскаго, это пьесы: «Въ дни, когда надъ соннымъ моремъ», «Сбѣжавшая больная», «Могила въ лѣсу».

Въ дни, когда надъ соннымъ моремъ
Духота и тишина,
Въ отуманенномъ просторѣ
Еле движется волна.
Если-жь вдругъ дохнетъ надъ бездной
Вѣтеръ грозенъ и могучъ,
Закипитъ волна грознѣе
Надвигающихся тучъ...
И помчится, точно въ битву
Разъяренный шпорой конь,
Отражая въ брызгахъ пѣны
Молнiй солнечный огонь...
И, разсыпавшись о скалы,
Изомнетъ у береговъ
Раскачавшiяся перья
Прошумѣвшихъ тростниковъ...

Въ дивной балладѣ «Сбѣжавшая больная» дѣвочка умираетъ. Утомленная мать задремала. И дѣвочкѣ кажется, что кто-то выманилъ ее въ садъ, откуда таинственно сквозь стекла мерцаетъ ей ночь...

Вотъ, она цѣлуетъ розу.—
Вотъ, впивая запахъ тонкiй,
Жадно ловитъ вѣтвь сирени,
Ослабѣвшею рученкой...
И ей кажется, растенья
Ей лепечутъ: «Ты земною

Красотой налюбовалась,
И простись, простись съ землею!..»
И закинувши головку,
Вверхъ глядитъ она, нѣмая...
Видитъ, по небу дорожка
Пролегаетъ золотая...,
И плывутъ по той дорожкѣ
Звѣзды съ ясными очами,
И мигаютъ ей, и машутъ
Золотыми вѣерами...
И ей кажется, тѣ звѣзды
Ей лепечутъ: «Ты земною
Красотой полюбовалась,—
И простись, простись съ землею».

Сколько чуткой нѣжности и трогательности въ этихъ дивныхъ строфахъ, достойныхъ великаго мастера!

Стихотвореніе «Могила въ лѣсу», не такъ выработано (напримѣръ, здѣсь «птицы» рифмуютъ съ «тѣнью самоубійцы»). Однако соединивъ первую строфу съ послѣдней получимъ шедевръ:

Тамъ, у просѣки лѣсной,
Вѣетъ новою весной;
Только жутко подъ ракитой
Близъ могилы позабытой.

Чу... повѣдай чуткій слухъ,—
Вѣтеръ это или духъ?..
Это вѣтра шумъ — для слуха...
Это скорбный духъ — для духа...

Лирика Фета, сравнительно, бѣдна пьесами семидесятыхъ годовъ. Одна изъ этихъ идеально-художественныхъ пьесъ лучше всего характеризуетъ поэтическое творчество Фета, которое, подобно творчеству вѣчнаго Слова, творитъ буквально изъ ничего. Поэтъ собирается ѣхать на зимнюю прогулку съ кѣмъ-то, съ женщиной, и смотритъ въ расписанное морозомъ окно, и эти кристаллическія фигуры льдинокъ кристаллизуютъ и его думы въ чудный узоръ:

Къ окну приникнувъ головой,
Я поджидалъ съ тоскою нѣжной,
Чтобъ ты явилась, — и съ тобой
Помчаться по равнинѣ снѣжной.
    Но въ блескѣ скрылась ты лѣсовъ,
    Подъ листья яркія банана,
    За серебро пустынныхъ мховъ
    И пыль жемчужную фонтана.

Я видѣлъ горный поворотъ,
Гдѣ снѣгъ стопой твоей встревоженъ.
Я разсмотрѣлъ хрустальный гротъ,
Куда мнѣ доступъ невозможенъ...

(У окна, 1872 г.).

Какое безконечное содержаніе умѣлъ найти поэтъ въ поднимающихъ и зовущихъ настроеніяхъ весны!

Всю ночь гремѣлъ оврагъ сосѣдній,
Ручей бурля бѣжалъ къ ручью,
Воскресшихъ водъ напоръ послѣдній
Побѣду разглашалъ свою.
Ты спалъ. Окно я растворила,
Въ степи кричали журавли,
И сила думы уносила
За рубежи родной земли,
Летѣть къ безбрежью, бездорожью,
Черезъ лѣса, черезъ поля!
А подо мной весенней дрожью
Ходила гулкая земля.
Какъ вѣрить перелетной тѣни?
Къ чему мгновенный сей недугъ,—
Когда ты здѣсь, мой добрый геній,
Бѣдами искушенный другъ? (1873).

Женщина, пробужденная весеннимъ громомъ текущихъ водъ и криками журавлей и «мгновенный недугъ» подымающихся стремленій отъ береговъ осуществленнаго счастья, около любимаго человѣка «къ безбрежью, къ бездорожью»—вотъ образъ этихъ строфъ, которыя предъ вами развертываются безконечной поэмой, безчисленными перспективами раздвигаютъ пробужденное воображеніе!..

Другая поэма, весенняго вечера и юной, только что прихлынувшей къ груди, жизни:

Въ дымкѣ невидимкѣ
Выплылъ мѣсяцъ вешній;
Цвѣтъ садовый дышетъ
Яблонью, черешней.

Такъ и льнетъ, цѣлуя
Тайно и нескромно.
И тебѣ не грустно?
И тебѣ не томно?

Истерзался пѣсней
Соловей безъ розы;
Плачетъ старый камень,
Въ прудъ роняя слезы.

Уронила косы
Голова невольно.
И тебѣ не томно?
И тебѣ не больно?
(1874).

Эта великая поэма — торжество несравненнаго маэстро!

§ 3. 28-го сентября 1875 г., въ черниговскомъ своемъ имѣніи Красный-Рогъ скончался поэтъ графъ Алексѣй Константиновичъ Толстой.

Превосходную характеристику творчества этого высоко-одареннаго пѣвца далъ тогда же Ор. Ѳ. Миллеръ въ своей рѣчи «Графъ А. К. Толстой, какъ лирическій поэтъ», помѣщенной въ «Вѣстникѣ Европы». Критикъ указываетъ на широту горизонта поэта, на обиліе его творчества, которому доступна была и чистая лирика, и эпическая форма баллады и поэмы, и драматическая и прозаическая и даже художественная стихотворная юмористика.

«Поэтическое участіе гр. Ал. Толстого вызывалось даже скучною обителью такого, повидимому, непоэтическаго лица, какъ какой-нибудь станціонный смотритель, захрапѣвшій подъ сонный звукъ маятника, или запущеннымъ видомъ покинутаго барскаго дома, или наконецъ унылой картиной деревни въ сѣрый и пасмурный день, съ какимъ-нибудь оборваннымъ евреемъ — въ видѣ мало-утѣшительнаго дополненія къ этому незатѣйливому ландшафту. Поэтъ находилъ одинаковый художническій интересъ и въ заоблачномъ мірѣ свѣтлыхъ и темныхъ духовъ, спорящихъ изъ за души геніальнаго Донъ-Жуана, въ которой возвышенная жажда свободы должна была переродиться въ разнузданность страсти, и въ нравственномъ одиночествѣ русскаго мальчика, который подростаетъ въ пустынѣ роскошныхъ палатъ, при гувернерѣ — педантѣ, и силою неизбѣжно разыгрывающагося при такихъ условіяхъ воображенія создаетъ себѣ любящее и любимое существо въ оживающемъ для него «Портретѣ» (1874 г.). На самомъ закатѣ своей художнической жизни поэтъ, перенесясь въ средневѣковую Италію, заставилъ и насъ невольно участвовать, вмѣстѣ съ нимъ, въ суевѣрно-окрасившемся тамъ предчувствіи приближающагося напора нѣмцевъ, отъ чего и мерещился итальянцамъ залетній все небо ужасный «Драконъ».

И мы невольно повѣрили нашему поэту, что это переводъ съ итальянскаго (тогда какъ оказывается, что поэма эта вполнѣ оригинальна), до такой степени проникся онъ тутъ духомъ староитальянской поэзіи.

Муза Толстого то заводила его въ сумрачный міръ шотландскихъ или скандинавскихъ преданій, нерѣдко связывая эти послѣднія съ древне-русскими, то, зайдя съ нимъ къ балтійскимъ славянамъ, рисовала ему картину ихъ ожесточенной борьбы съ насильно навязаннымъ христіанствомъ, или

же, перейдя въ древнюю Русь, заглядывала въ душу князю Владиміру, слѣдя въ ней за тою внутреннею борьбой, которая разрѣшилась, наконецъ, полнѣйшею готовностью смиренно склониться главой подъ благое иго христіанской вѣры. Одна и та-же отзывчивая душа поэта и живо увлекалась перерожденіемъ «Грѣшницы» подъ благостнымъ взоромъ Спасителя и сочувственно вторила ратованью «язычника» Гёте (какъ онъ самъ себя называлъ) во имя правъ чувственности, безпощадно приносившихся въ жертву христіанской идеѣ «духа»[271]).

Графъ Алекс. Толстой является вѣрнымъ послѣдователемъ и сторонникомъ той высшей духовной свободы, которую воплощалъ собою и всѣмъ творчествомъ своимъ Пушкинъ. Думать, жить, чувствовать по своему, съ толпою розно, въ разлукѣ съ злословной, площадной, золоченой чернью и въ согласіи съ одинокими вершинами человѣческаго духа — вотъ высшія права и верховная свобода!

«Іоаннъ Дамаскинъ», эта лучшая изъ поэмъ Толстого по красотамъ изложенія, есть, вмѣстѣ съ тѣмъ, и самая сочувственная и живая по своей основной мысли. Изъ отдаленнаго прошлаго, изъ міра отшельническихъ легендъ христіанскаго востока, заимствованы здѣсь черты нестарѣющагося мірового характера. Дамаскинъ служитъ своеобразнымъ воплощеніемъ того стремленія къ художнической независимости, которымъ былъ до такой степени преисполненъ и самъ поэтъ.

Смѣлая рѣшимость плыть противъ теченія породила слѣдующія негодующія строки противъ угрюмой «нигилятины» и «реализма», гонящаго искусство и красоту:

Они звона не терпятъ гуслярнаго,
Подавай имъ товара базарнаго!
Все, чего имъ не взвѣсить, не смѣрити,
Все, кричатъ они, надо похѣрити!

. . . .

И пріемы у нихъ дубоватые,
И ученье-то ихъ грязноватое...

§ 4. Мы разсмотрѣли дѣятельность поэтовъ школы свободнаго, чистаго искусства. Переходимъ къ школѣ реально-гражданской поэзіи, которая впрочемъ сосредоточивается теперь почти нераздѣльно въ лицѣ допѣвающаго свои послѣднія пѣсни Некрасова.

Докторъ Н. А. Бѣлоголовый, въ статьѣ своей «Болѣзнь Н. А. Некрасова» («Отеч. Зап.» 1878. № 10) собираетъ много подробностей о послѣднихъ дняхъ поэта. Первые признаки болѣзни явились еще въ 1875 году. Жесто-

---

[271]) Ор. Миллеръ. Графъ А. К. Толстой, какъ лирическій поэтъ. «Вѣстн. Европы». 1875 г. т. 6. Стр. 561.

кія нервныя боли къ веснѣ 1877 года стали нестерпимы. Въ моменты отступа страданій поэтъ занимался литературой и даже написалъ поэму, которая однако встрѣтила цензурныя затрудненія.

«Вотъ оно, наше ремесло литератора! говорилъ онъ съ горечью. Когда я началъ свою литературную дѣятельность и написалъ первую свою вещь, то тотчасъ-же встрѣтился съ ножницами; прошло съ тѣхъ поръ 37 лѣтъ, и вотъ я, умирая, пишу свое послѣднее произведеніе, и опять-таки сталкиваюсь съ тѣми-же ножницами!»

На листочкѣ бумаги поэтъ заносилъ свои мысли. «Худо мнѣ!—пишетъ онъ въ мартѣ 1877 года. — Мой домъ — постель. Мой міръ — двѣ комнаты; пока освѣжаютъ одну — лежу въ другой. Полъ рюмки кипрскаго меня опьяняютъ; гранъ опіума дѣлаетъ меня идіотомъ, не всегда давая сонъ».

Вѣнскій хирургъ, Бильротъ, продлилъ жизнь поэта на восемь съ половиною мѣсяцевъ, сдѣлавъ операцію 12-го апрѣля 1877 г. Со всѣхъ концовъ Россіи слали привѣтъ и соболѣзнованіе поэту. Это поднимало его духъ. Но дни его были сочтены. Въ 8 часовъ 50 минутъ вечера 27 декабря 1877 г. поэтъ скончался. Похороненъ въ Новодѣвичьемъ монастырѣ 30-го декабря.

Къ семидесятымъ годамъ относятся поэмы Некрасова «Княгиня Трубецкая» и «Княгиня Волконская» (1871—1872 г.г.), завершена громадная эпопея «Кому на Руси жить хорошо» (1873 г.), написана сатирическая траги-комедія «Современники» въ двухъ частяхъ: «Юбиляры и тріумфаторы» и «Герои времени» (1875 г.), и появилось собраніе лирическихъ стихотвореній — «Послѣднія пѣсни» (1876—1877 г.г.). Во всѣхъ этихъ произведеніяхъ въ равной мѣрѣ отразились, какъ колоссальный талантъ поэта, такъ и специфическіе недостатки школы.

Исторія декабристовъ и самоотверженный подвигъ Трубецкой и Волконской, раздѣлившихъ съ мужьями своими каторгу, — предметъ богатый. Левъ Толстой пытался создать эпопею «Декабристы» и... не совладалъ съ ней. Почему? художество начинается только тамъ, гдѣ начинается правда. Но была-ли доступна Некрасову и Толстому правда «декабристовъ»? Раскрылась-ли она даже нынѣ нашему самосознанію? Кто такіе, эти декабристы— аристократы, съ ихъ религіозностью, фантастическими представленіями въ стилѣ Плутарха и возстаніемъ противъ монарха, отъ сына котораго должна была изойти свобода и который самъ каждый годъ своего царствованія тщетно начиналъ освобожденіе крестьянъ? Несомнѣнно, декабристы были лучшими людьми того поколѣнія. Но чьей они жатвы сѣмя? Въ 1829 г., одинъ изъ декабристовъ, князь Александръ Ивановичъ Одоевскій (1802—1839) написалъ княгинѣ М. Н. Волконской чудное стихотвореніе, которое рисуетъ, чѣмъ была эта женщина для декабристовъ въ каторгѣ:

Былъ край, слезамъ и скорби посвященный...

Уловилъ-ли Некрасовъ, при несомнѣнной тенденціозности поэмъ его, духъ декабристовъ?

Да, онъ уловилъ этотъ духъ. Вотъ почему нельзя безъ душевнаго волненія читать его поэмы.

Лучшія мѣста первой поэмы («Княгиня Трубецкая»)—описаніе дорожныхъ грезъ бѣдной женщины.

Впередъ! Душа полна тоской,
    Дорога все труднѣй,
Но грезы мирны и легки—
    Приснилась юность ей.
Богатство, блескъ! Высокій домъ
    На берегу Невы,
Обита лѣстница ковромъ,
    Передъ подъѣздомъ львы,
Изящно убранъ пышный залъ,
    Огнями весь горитъ.
О, радость! нынче дѣтскій балъ,
    Чу! музыка гремитъ!
Ей ленты алыя вплели
    Въ двѣ русыя косы,
Цвѣты, наряды принесли...

Грезы летятъ безконечной гирляндой. Она на югѣ съ молодымъ мужемъ:

Предъ нею чудная страна,
Предъ нею—вѣчный Римъ...
. . . .
Не слышенъ здѣсь житейскій шумъ.
    Прохлада, тишина
И полусумракъ... Строгихъ думъ
    Опять душа полна.
Святыхъ и ангеловъ толпой
    Вверху украшенъ храмъ.
Порфиръ и яшма подъ ногой
    И мраморъ по стѣнамъ...
Какъ сладко слышать моря шумъ!
    Сидишь по часу нѣмъ,
Неугнетенный, бодрый умъ
    Работаетъ межъ тѣмъ...
До солнца горною тропой
    Взберешься высоко—
Какое утро предъ тобой!
    Какъ дышется легко!
Но жарче, жарче южный день,
    На зелени долинъ—
Росинки нѣтъ... Уйдемъ подъ тѣнь
    Зонтообразныхъ пиннъ...

Но радостные и радужные сны исчезли. Родная земля грезится княгинѣ:

Ей снятся группы бѣдняковъ
На нивахъ, на лугахъ.
Ей снятся стоны бурлаковъ
На волжскихъ берегахъ...
Наивнымъ ужасомъ полна,
Она не ѣстъ, не спитъ.
Засыпать спутника она
Вопросами спѣшитъ:
«Скажи, ужель весь край таковъ?
Довольства тѣни нѣтъ?..»
— Ты въ царствѣ нищихъ и рабовъ!
Короткій былъ отвѣтъ...

Княгиня очнулась. Сибирь глянула ей въ глаза.

Луна плыла среди небесъ,
Безъ блеска, безъ лучей,
Налѣво былъ угрюмый лѣсъ,
Направо—Енисей.
Темно! На встрѣчу ни души.
Ямщикъ на козлахъ спалъ.
Голодный волкъ въ лѣсной глуши
Пронзительно стоналъ.
Да вѣтеръ бился и ревѣлъ,
Играя на рѣкѣ.
Да инородецъ гдѣ-то пѣлъ
На странномъ языкѣ...

Нельзя не признать удачнымъ выборъ метра балладъ Жуковскаго для поэмы. Въ этомъ метрѣ какъ-то воскресаютъ сами собой двадцатые годы. Лучшее мѣсто второй поэмы Некрасова — свиданіе княгини Волконской съ мужемъ въ шахтѣ (едва-ли возможное въ дѣйствительности).

Рыданьямъ моимъ часовой (?!) уступилъ.
Какъ Бога его я просила!—
Свѣтильникъ (родъ факела) онъ засвѣтилъ.
Въ какой-то подвалъ я вступила,
И долго спускалась все ниже; потомъ
Пошла я глухимъ корридоромъ,
Уступами шелъ онъ; темно было въ немъ
И душно; гдѣ плѣсень узоромъ
Лежала; гдѣ тихо струилась вода
И лужами книзу стекала.
Я слышала шорохъ: земля иногда
Комками со стѣнъ упадала;
Я видѣла страшныя ямы въ стѣнахъ;
Казалось, такія-жъ дороги
Отъ нихъ начинались...

...И стало, родные, свѣтлѣй и свѣтлѣй!
Увидѣла я возвышенье:
Какая-то площадь... и тѣни на ней...
Чу... молотъ! работа, движенье...
Тамъ люди! Увидятъ ли только они?
Фигуры отчетливѣй стали...
Вотъ ближе, сильнѣй замелькали огни.
Должно быть, меня увидали...
И кто-то, стоявшій на самомъ краю,
Воскликнулъ: «Не ангелъ-ли Божій?
Смотрите, смотрите!» . . . .
. . . .
— Волконская! вдругъ закричалъ Трубецкой.
...Отовсюду
Бѣжали къ намъ мрачные дѣти тюрьмы,
Дивясь небывалому чуду...

И вотъ изъ глубины шахты приближается мужъ Волконской.

Сергѣй торопился, но тихо шагалъ.
Оковы уныло звучали.
Предъ нимъ разступались, молчанье храня,
Рабочіе люди и стража...
И вотъ онъ увидѣлъ, увидѣлъ меня!
И руки простеръ ко мнѣ: «Маша!»
И сталъ, обезсиленный словно, вдали...
Два ссыльныхъ его поддержали.
По блѣднымъ щекамъ его слезы текли,
Простертыя руки дрожали...
Душѣ моей милаго голоса звукъ
Мгновенно послалъ обновленье,
Отраду, надежду, забвеніе мукъ,
Отцовской угрозы забвенье!
И съ крикомъ: «иду!» я бѣжала бѣгомъ,
Рванувъ неожиданно руку,
По узкой доскѣ надъ зіяющимъ рвомъ
На встрѣчу призывному звуку...
«Иду!..» Посылало мнѣ ласку свою
Улыбкой лицо испитое...
И я подбѣжала... И душу мою
Наполнило чувство святое.
Я только теперь, въ рудникѣ роковомъ,
Услышавъ ужасные звуки,
Увидѣвъ оковы на мужѣ моемъ,
Вполнѣ поняла его муки,
И силу его... и готовность страдать!..—
Невольно предъ нимъ я склонила
Колѣни,—и прежде чѣмъ мужа обнять,
Оковы къ губамъ приложила!

И тихаго ангела Богъ ниспослалъ
Въ подземныя копи,—въ мгновенье
И говоръ, и грохотъ работъ замолчалъ.
И замерло словно движенье...
Чужіе, свои,—со слезами въ глазахъ,
Взволнованы, блѣдны, суровы
Стояли кругомъ. На недвижныхъ ногахъ
Не издали звука оковы.
И въ воздухѣ поднятый молотъ застылъ...
Все тихо—ни пѣсни, ни рѣчи...

Картину эту могъ создать лишь великій мастеръ.

Столь-же сложна и обширная поэма въ четырехъ частяхъ съ прологомъ «Кому на Руси жить хорошо». Рядомъ съ проникнутыми чисто народнымъ духомъ, складомъ, искренностью и простотою картинами встрѣчаемъ мѣста прямо балаганныя, фельетонныя, насквозь фальшивыя.

А между тѣмъ это было любимѣйшее произведеніе Некрасова и незадолго до смерти онъ говорилъ: «Одно, о чемъ сожалѣю глубоко, это—что не кончилъ своей поэму «Кому на Руси жить хорошо». Глѣбъ Ивановичъ Успенскій передалъ въ 1878 г. разговоръ, бывшій у него съ поэтомъ. Некрасовъ думалъ обогатить свою поэму всѣмъ опытомъ, который ему дало изученіе народа, всѣ свѣдѣнія о немъ, накопленныя по словечку за 20 лѣтъ общенія съ нимъ. Онъ думалъ, что книга его будетъ понятна и близка народу. Къ сожалѣнію это не такъ. Многое прямо оттолкнетъ крестьянина; и что народнаго въ мнимо народной балладѣ IV-й части, гдѣ за убійство пана прощаются всѣ грѣхи пустыножительствовавшему разбойнику? Въ журналѣ «Маякъ» (1871 г. № 7), была помѣщена каррикатура. Некрасовъ лежитъ въ комфортабельномъ покоѣ. Подпись: «Кому на Руси жить хорошо». Мы знаемъ, какія муки перенесъ поэтъ среди этого комфорта!

Прологъ поэмы появился еще въ 1866 году въ «Современникѣ». Первая часть въ 1869—1870 г.г., «Послѣдышъ» въ 1873 г., «Крестьянка» въ 1874 г. Четвертая часть, написанная передъ смертью въ Крыму, въ 1876 году, появилась только въ посмертныхъ изданіяхъ твореній поэта. Но въ 1873 г., три первыя части были обработаны за ново и закончены, такъ что надо считать это произведеніе принадлежащимъ эпохѣ семидесятыхъ годовъ.

«Прологъ», въ которомъ крестьяне рѣшаютъ: «Въ домишки не ворочаться, не видѣться ни съ женами, ни съ малыми ребятами, ни съ стариками старыми, покуда дѣлу спорному рѣшенья не найдутъ, покуда не довѣдаютъ какъ ни на есть — доподлинно, кому живется весело, вольготно на Руси?» — построенъ вполнѣ художественно. Какъ хорошо начало первой части!

Широкая дороженька,
Березками обставлена,
Далеко протянулася,
Песчана и глуха.
По сторонамъ дороженьки
Идутъ холмы пологіе,
Съ полями, съ сѣнокосами...

Истинное вступленіе въ русскую народную поэму!

Весной, что внуки малые,
Съ румянымъ солнцемъ-дѣдушкой
Играютъ облака:
Вотъ правая сторонушка
Одной сплошною тучею
Покрылась — затуманилась,
Стемнѣла и заплакала:
Рядами нити сѣрыя
Повисли до земли.
А ближе, надъ крестьянами,
Изъ небольшихъ, разорванныхъ,
Веселыхъ облачковъ
Смѣется солнце красное,
Какъ дѣвка изъ сноповъ.
Но туча передвинулась,
Попъ шляпой накрывается,
Быть сильному дождю...

Какая яркая, правдивая и поэтическая картинка! Какъ хорошъ этотъ попъ, накрывающійся шляпой къ большому дождю! Сколько свѣтлаго юмора и въ опредѣленіи воображаемаго поповскаго благополучія:

Попова каша—съ маслицемъ,
Поповъ пирогъ—съ начинкою,
Поповы щи—съ снѣткомъ...
Жена попова толстая,
Попова дочка бѣлая,
Попова лошадь жирная,
Пчела попова сытая,
Какъ колоколъ гудётъ!

Такія мѣста поэмы положительно можно поставить рядомъ съ отрывками Пушкина въ простонародномъ складѣ: «Только что на проталинкахъ весеннихъ...», «Сватъ Иванъ, какъ пить мы станемъ...», «Какъ весенней теплой порою».

Много юмора и жизни даже въ знаменитой «Пьяной ночи», въ которой противники поэзіи Некрасова обыкновенно съ торжествомъ указываютъ эти ультра-реалистическіе стихи:

Эй, парень, парень глупенькій,
Оборваный, паршивенькій,
Эй, полюби меня!
Меня простоволосую,
Хмѣльную бабу, старую,
Зааа—пааaa—чкaную!..

Что-жъ стихи, въ подобномъ родѣ, въ семидесятыхъ годахъ даже на музыку клали, и представитель «могучей кучки», композиторъ Мусоргскій, даже романсы въ такомъ стилѣ писалъ, гдѣ какая-то особа прекраснаго пола:

За волосья ухватила!
За волосья ух—ва—ти—ла!
Надо тебя драaa—ать...

Апологіи пьянству, произносимой подгулявшимъ на ярмаркѣ мужичкомъ, нельзя не признать выраженной сильно и своеобразно:

Нѣтъ мѣры хмѣлю русскому.
А горе наше мѣряли?
Работѣ мѣра есть?
Вино валитъ крестьянина,
А горе не валитъ его?
Работа не валитъ?
. . . .
У каждаго крестьянина
Душа, что туча чорная—
Гнѣвна, грозна—и надо бы
Громомъ гремѣть оттудова,
Кровавымъ лить дождямъ,
А все виномъ кончается.
Пошла по жиламъ чарочка—
И разсмѣялась добрая
Крестьянская душа!
. . . .
Эй, царство ты мужицкое,
Безшапочное, пьяное,
Шуми—вольнѣй шуми!

Главы: «Помѣщикъ» и «Послѣдышъ» полны чертъ великороссійскаго быта, но часто каррикатурны. Лучшая часть: «Крестьянка». Здѣсь рисуется могучій образъ Савелія, богатыря святорусскаго, который съ товарищами нѣмца-управителя за тиранство живымъ въ землю закопалъ, да и искупилъ свой самосудъ дореформеннымъ судомъ, тюрьмой, плетями и каторгой. Но кто безъ волненія прочитаетъ исторію Дёмушки?

Изъ тонкой изъ пеленочки
Повыкатали Дёмушку
И стали тѣло бѣлое
Терзать и пластовать!

Некрасовъ почти буквально переложилъ народное причитанье несчастной матери, на глазахъ которой злодѣи лѣкаря производятъ вскрытіе трупика ея ребенка. Слезы народныя здѣсь перелилъ въ стихи свои великій поэтъ!

Падите мои слезоньки
Не нà землю, не нà воду,
Не нà Господень храмъ!
Падите прямо на сердце
Злодѣю моему!
Ты дай-же, Боже-Господи,
Чтобъ тлѣнъ пришелъ на платьице,
Безумье на головушку
Злодѣю моему!
Жену ему не умную
Пошли, дѣтей—юродивыхъ!
Прими, услыши, Господи,
Молитвы, слезы матери,
Злодѣя накажи!

И эта страшная бурсацкая острота священника, спокойно внимающаго этимъ воплямъ матери:

«Ножомъ въ сердцахъ читаете»,
Сказалъ священникъ лекарю,
Когда злодѣй у Демушки
Сердечко распласталъ...
Тутъ я опять рванулася...
«Ну, такъ и есть—помѣшана!
Связать ее!» десятнику
Начальникъ закричалъ.

Вотъ эти-то минуты подъема у Некрасова сдѣлаютъ безсмертнымъ его пѣсни, какъ бы многое въ нихъ тенденціозное со временемъ ни поблекло! Могутъ-ли умереть эти строфы поэмы его о ключахъ женской счастливой доли:

Ключи отъ счастья женскаго,
Отъ нашей вольной волюшки
Заброшены, потеряны,
У Бога самого:
Отцы—пустынножители,
И жены непорочныя,
И книжники—начетники
Ихъ ищутъ—не найдутъ!

Въ четвертой части поэмы собственно странствіе мужичковъ, ищущихъ счастливаго, по словамъ поэта, могло-бы окончиться, если-бы они заглянули въ сердце юнаго подвижника-идеалиста Гриши и подслушали великую пѣснь его, которая достойна стать національнымъ гимномъ русскаго народа:

Ты и убогая,
Ты—и обильная,
Ты и могучая,
Ты—и безсильная
Матушка-Русь!
Въ рабствѣ спасенное
Сердце свободное,
Золото, золото
Сердце народное!
Сила народная,
Сила могучая:
Совѣсть спокойная,
Правда живучая!
Сила съ неправдою
Не уживается,
Жертва неправдою
Не вызывается!
Спитъ словно мертвая
Русь недвижимая,
А загорѣлась въ ней
Искра незримая—
Встали—не бужены,
Вышли—не прошены,
Серебра—золота,
Горы наношены!
Рать поднимается
Неисчислимая!
Сила въ ней скажется
Несокрушимая!
Ты и убогая,
Ты—и обильная,
Ты и могучая,
Ты—и безсильная
Матушка-Русь!

Одинъ этотъ гимнъ даетъ Некрасову, печальнику народному, титло великаго поэта!

§ 5. Въ семидесятыхъ годахъ сказался прекрасный, хотя и небольшой талантъ поэта Сурикова, который вышелъ изъ крестьянской семьи.

Иванъ Захаровичъ Суриковъ родился 25 марта 1841 года въ крестьянской семьѣ въ деревенькѣ Новоселово, Юхтинской волости, Углицкаго уѣзда. Когда мальчику пошелъ девятый годъ, родители его перебрались въ Москву (1849 г.). Отецъ поэта завелъ тамъ овощную лавку. Состоятельные ямщики, обитатели Ямской близъ старыхъ Тріумфальныхъ воротъ, забирали у него много товару. Въ то время ямщики процвѣтали. Расторговался и Сури-

ковъ-отецъ. Мальчикъ скоро сталъ писать стихи, и дочери хозяина дома — Любниковы давали ему книги и журналы. Юному самоучкѣ — Сурикову пришлось пройти длинный путь выработки формы, одиноко, ощупью. Въ овощной набралась у него толстая тетрадь «стишковъ». Къ несчастію послѣ проведенія Николаевской жел. дор. дѣла Сурикова-отца упали. Онъ съ сыномъ принужденъ былъ поступить подручными въ лавку дяди. Ворчанье, выговоры, обидныя слова, трудъ поденщика — нынче и завтра... Ночью жесткое ложе на полу, въ кухнѣ. Это въ 17 лѣтъ, въ расцвѣтъ жизни.

Съ 1859 г. Суриковы, однако, сколотивъ деньженокъ, начали скупать старый желѣзный ломъ, мѣдь, тряпье. Завели лавочку, расторговались опять понемногу. 15-го мая 1860 г. молодой Суриковъ женился на любимой дѣвушкѣ. Случайно сталъ онъ по мелочамъ торговать углемъ, и мало по малу сбытъ дошелъ до десяти тысячъ кулей. Завели складъ и принялись снабжать углемъ кузницы. Стихи свои И. З. Суриковъ имѣлъ случай показать А. Н. Плещееву. Поэтъ одобрилъ его, нашелъ талантъ. Наконецъ въ 1863 г. два-три стихотворенія его появились въ «Развлеченіи» Ѳ. Б. Миллера. Въ 1870 г. одно стихотвореніе его попало наконецъ и въ толстый журналъ — «Дѣло». Чаще-же всего стихи его являлись въ иллюстрированныхъ изданіяхъ. Въ 1871 г. Суриковъ издалъ сборникъ стихотвореній — 54 пьесы. Около него собрался цѣлый кружекъ (существующій и нынѣ) поэтовъ-самоучекъ, имена которыхъ однако не всплыли въ литературѣ. Скопомъ издали они альманахъ или сборникъ «Разсвѣтъ» въ Москвѣ, въ 1872 г. Въ этомъ же году Суриковъ напечаталъ въ «Вѣстникѣ Европы» двѣ превосходныя баллады: «Садко» и «Богатырская жена». Послѣ второго изданія его стихотвореній въ 1875 г. о немъ появились сочувственныя рецензіи. Книжка разошлась въ два года. Суриковъ былъ избранъ членомъ Общества Любителей Русской Словесности въ Москвѣ по предложенію Ѳ. Б. Миллера и Буслаева.

Но увы, уже поэтъ былъ боленъ. Уголь и желѣзо, которыми онъ торговалъ, привели его къ чахоткѣ. Онъ умеръ 24 апр. 1880 г.

Пѣсни Сурикова безъискусственны, просты и полны поэзіи тихой и примиряющей. Сколько задумчивости, какой-то безконечной и застѣнчивой жалости къ любимому существу хотя-бы въ этой небольшой пьесѣ:

Ты, какъ утро весны,
Хороша и свѣтла,
Какъ цвѣтокъ, ты нѣжна,
Какъ дитя весела;
Но боюся тебя
Я, мой другъ, полюбить,
Чтобы скорби моей
Мнѣ къ тебѣ не привить.

Чтобы горемъ моимъ
Мнѣ тебя не убить[250]).

Вотъ лирическое стихотвореніе, которое не уступитъ лучшимъ пьесамъ такого рода нашихъ перворазрядныхъ лириковъ:

Ѣдемъ лѣсомъ, и насъ
Онъ накрылъ точно сводъ;
По корнямъ тарантасъ
Въ перевалку идетъ.
На землѣ отъ вѣтвей
Тѣни сѣткой лежатъ;
Милліоны лучей,
Въ глубь лѣсную глядятъ.
Въ вышинѣ—свѣтъ и шумъ;
А внизу—тишь и тѣнь.
Въ головѣ—рои думъ,
Въ сердцѣ—тягость и лѣнь.

Суриковъ вообще не многословенъ. Діапазонъ его лиры не обиленъ, но чистъ и вѣренъ. Порою глубокая философская дума выливается у него въ пьесѣ изъ десяти стиховъ:

Пройдетъ и ночь, пройдетъ и день,
Пройдутъ недѣли и года,
Какъ полемъ облачная тѣнь,—
Пройдутъ—и нѣтъ отъ нихъ слѣда.
Пройдетъ и жизнь, исчезнешь ты,
Исчезнутъ всѣ твои мечты.
И для чего, Богъ вѣсть, ты жилъ,—
И ненавидѣлъ, и любилъ?
И тайна вѣчная Творца
Все будетъ тайной безъ конца.

Изъ большихъ балладъ безвременно почившаго талантливаго поэта лучшая на нашъ взглядъ—«Садко»:

Садко руку отвелъ—замираетъ струна,
Звуки тихія чуть издавая;
Надъ морской глубиной улеглася волна,
Передъ солнцемъ горя и сверкая.
Точно муха, кружась, зацѣпляетъ струну,
Точно мошки, жужжа, гдѣ-то вьются,
Точно капли дождя тихо бьютъ о волну,
Звуки стройные, чудные льются.
Точно кто-то, рыдая, глубоко скорбитъ
О потерянномъ счастьѣ когда-то,

[250]) Стихотворенія. Изд. 1884 г. стр. 143.

Точно тихая рѣчь чья-то грустно звучитъ
О погибшей любви безъ возврата.
И подъ звуки игры у морского царя
Голова опустилась сѣдая;
Хороша, какъ по утру на небѣ заря,
Загрустилась царица морская.

. . . .

Садко дернулъ плечемъ и кудрями тряхнулъ—
И забѣгали пальцы быстрѣе,
И отъ струнъ побѣжалъ одуряющій гулъ,
Звуки льются живѣй и живѣе.
Точно дождикъ шумитъ, точно скачетъ волна,
Ударяясь о берегъ скалистый,
Зазвенѣла морская кругомъ глубина,—
Понеслись гоготанье и свисты.

. . . .

Скачетъ царь водяной, ходитъ фертомъ кругомъ,
И полой своей шубы онъ машетъ,—
По хрустальнымъ палатамъ вертится вьюномъ,
Присѣдаетъ и съ присвистомъ пляшетъ.

. . . .

Надъ морской глубиной волны, пѣнясь, кипятъ
И, свистя, другъ на друга несутся,
И трещатъ корабли, мачты въ воду летятъ.

. . . .

Эта баллада Сурикова вполнѣ выдерживаетъ сравненіе съ балладою на ту-же тему гр. Ал. Толстого, и даже выгодно отличается простотою склада.

§ 6. Изъ поэтовъ семидесятыхъ годовъ нельзя пройти молчаніемъ Омулевскаго, сборникъ стиховъ котораго «Пѣсни жизни» вышелъ въ 1883 года.

Инокентій Васильевичъ Ѳедоровъ-Омулевскій, сынъ исправника, родился въ Камчаткѣ въ 1835 году и послѣ чрезвычайно-бѣдственной жизни, умеръ въ Петербургѣ 26-го декабря 1883 года, въ глубокой нищетѣ. Въ 1870 году вышелъ отдѣльно его романъ «Свѣтловъ», о которомъ у насъ сказано раньше. Какъ поэтъ, онъ гораздо выше своего тенденціознаго романа. Прекрасный стихъ, вѣрный тонъ и вкусъ, обработанность каждой пьесы, строгая художественная школа, несмотря на гражданскій пошибъ его поэзіи, все дѣлаетъ справедливымъ признаніе за нимъ почетнаго мѣста среди нашихъ «малыхъ» поэтовъ, рядомъ хотя-бы съ Рылѣевымъ.

Кто не знаетъ этихъ стиховъ Омулевскаго?..

Міръ прекрасенъ, міръ чудесенъ...
О, не спорю я!
Только онъ немного тѣсенъ,
Только полонъ тайны весь онъ,

Только въ немъ не столько пѣсенъ,
Сколько слезъ, друзья!
Человѣкъ уменъ; онъ много
Дѣлаетъ добра...
Но у каждаго порога,—
Будь то храмъ—жилище Бога,
Зáмокъ, хижина, берлога,—
Нищіе съ утра!

Или этотъ призывъ:

Свѣтаетъ, товарищъ!
Работать давай!
Работы усиленной
Требуетъ край...
Работай руками,
Работай умомъ,
Работай безъ устали
Ночью и днемъ!

Бурный духъ поэта-гражданина порою проситъ отдыха, покоя, утомленный своими порывами:

Все кручи, да кручи,—
Нѣтъ силъ ужъ въ ногахъ...
Все тучи, да тучи,—
Рябитъ и въ глазахъ...
Все бури, да бури,—
Измучился слухъ...
Когда-жъ на лазури
Проглянешь ты вдругъ,
Желанное солнце,
Безъ бурь и безъ тучъ,
И въ наше оконце
Заронишь свой лучъ?[271]).

Одно изъ лучшихъ стихотвореній Омулевскаго обличаетъ двойственность и лицемѣріе, которымъ проникнуты люди. Въ храмѣ — ученіе любви. За стѣнами храма—борьба и злоба:

Забывчивы люди... не съ дѣтства ли мнѣ
Они постоянно твердили,
Что Богъ воплощенный училъ на землѣ,
Чтобъ люди другъ друга любили?
И я ихъ послушалъ, и заповѣдь ту
Храню я, какъ лучшую въ жизни мечту,
И вѣчно хранить ее буду...
Зачѣмъ же теперь упрекаютъ меня

[271]) Въ пути. На память уставшимъ. Стр. 66.

За то, что я вѣрю въ пришествіе дня,
Когда это сбудется всюду?
Забывчивы люди... не ихъ-ли урокъ
Я вынесъ изъ практики школьной,
Что жизненной честности подвигъ высокъ?
Къ чему-же съ улыбкой довольной
Они мнѣ насмѣшливо нынѣ твердятъ,
Что я непрактиченъ, что вреденъ мой взглядъ,
Когда благородно и смѣло,
Какъ рыцарь за даму въ минувшіе дни,
Стою я за честныя мысли свои,
За правое, честное дѣло?[272]).

Кромѣ «гражданскихъ» мотивовъ у Омулевскаго находимъ и чисто лирическія пьесы:

Все ближе клонятся къ закату
Мои нерадостные дни,
Все глубже чувствую утрату
Я золотой моей весны.
Какъ тѣни, образы былые
Проходятъ смутно предо мной,
И звуки слышу я родные
Какъ будто издали порой.
Но эти образы и звуки
Уже не радуютъ меня,
Безцѣльно умножая муки
Тоскливо прожитаго дня.

Но сейчасъ-же гремитъ барабанъ и развѣваются знамена гражданской лирики тѣхъ годовъ:

Дѣло святое за правду стоять,
Весело биться со зломъ,
Любо врага на борьбу вызывать
Съ яснымъ, открытымъ челомъ...
Въ этой упорной, неравной борьбѣ
Лучше побѣды не жди,—
Знай, что пожать не придется тебѣ
Думъ твоихъ свѣтлыхъ плоды...
Но, закаляясь все больше борьбой,
Не отступай ни на шагъ,
Чтобъ и трупъ опозоренный твой
Встрѣтилъ съ почтеніемъ врагъ!

Омулевскій пережилъ много. Гнетущая нищета, потеря зрѣнія одно время и ранняя смерть... Онъ жалуется на свое «сердце», которое не умѣетъ чувствовать въ половину.

---

[272]) Забывчивы люди... Стр. 93.

Зачѣмъ ты бьешься, сердце? Или мало
Кровавыхъ ранъ тебѣ нанесено?
Чего ты ждешь? Все лучшее давно
Тебя уже на вѣки миновало!
Разбитое безжалостно людьми,
Ты снова, снова просишь ихъ участья,
И думаешь, что свѣтлый призракъ счастья
Прочнѣй кругомъ тебя царящей тьмы...
. . . .
О, сжалься!.. Посмотри, какъ похудѣло
Мое лицо, не старое еще...
А ты все такъ-же бьешься горячо,
Все такъ-же кровь расходуешь ты смѣло!
Кругомъ тебя такія-же сердца,
Ихъ бьются тысячи въ одно мгновенье:
Прислушайся: не слышно ихъ біенье,
Какъ не слыхать его у мертвеца.
А бились и они, какъ ты, тревожно,
Но опытъ жизни ихъ угомонилъ—
И, робкія, они остатокъ силъ
Расходуютъ съ разсчетомъ, осторожно...
Учись у нихъ. Но... нѣтъ! не слѣдуй имъ.—
Терзай меня, пока не онѣмѣло,
Тебѣ могу пожертвовать я тѣло,
Согрѣтое біеніемъ твоимъ...[273]).

И вновь, и вновь «призывы, безъ отзыва»:

Путь къ идеаламъ покрытъ не цвѣтами:
Камни и терніи тамъ,
Шествовать надо босыми ногами
По заповѣднымъ стезямъ.
Подвигъ великій—достичь идеала,
Но лишь съ его высоты,
Окомъ артиста душа созерцала
Міръ неземной красоты![274]).

У Омулевскаго есть весьма удачныя пьесы въ народномъ стилѣ:

На печи лежишь—хоть обухомъ бей,
Ничего въ башку не идетъ ей-ей:
Съ бабой гуторишь—только брань да крикъ,
На міру стоишь—проглотилъ языкъ...
Въ поле выѣдешь—не пахалъ-бы вѣкъ,
На дѣтей глядишь—все бы билъ да сѣкъ,
Заберешься въ лѣсъ—озираешься,
Съ лѣшимъ, думаешь, повстрѣчаешься...

[273]) Зачѣмъ ты бьешься, сердце... Стр. 95.
[274]) Идеалы. Стр. 127.

А въ кабакъ зайдешь—человѣкъ другой:
Полилася рѣчь, какъ рѣка весной.
Ума—разума, хоть ведромъ черпнуть.
Черта за поясъ нипочемъ заткнуть![275]

Омулевскій—несомнѣнно искренній поэтъ. Чтобы въ этомъ убѣдиться, достаточно прочесть эту прелестную колыбельную пѣснь:

Спи, дитя! Въ странѣ изгнанья,
Ты—ей сынъ родной:
Всѣ ея мечты, желанья,
Пусть ростутъ съ тобой.
Закалитъ твой духъ въ отчизнѣ
Сѣверный морозъ,
Чтобъ не могъ извѣдать въ жизни
Ты безсильныхъ слезъ.
Разовьется умъ твой бойко
Подъ родной просторъ,
Чтобъ въ борьбѣ стоялъ ты стойко,
Какъ вершины горъ.
Помни твердо, что народу
Призванъ ты слугой,
Что беречь его свободу—
Слава за тобой.
Спи, дитя! Въ странѣ изгнанья,
Ты—ей сынъ родной:
Свѣтлый ангелъ упованья,
Дремлетъ надъ тобой;
Какъ цвѣтетъ Сибирь родная
Вся цвѣтами сплошь,
Пусть и ты на радость края
Пышно расцвѣтешь![276]

Кромѣ оригинальныхъ поэтовъ въ семидесятые годы въ журналахъ обильно печатались талантливые переводы П. П. Вейнберга, В. П. Буренина, В. Курочкина, Ф. Миллера, Дм. Минаева, А. Михайлова, Д. Михаловскаго.

IV.

§ 1. Русская драматургія обогатилась въ семидесятыхъ годахъ высоко-художественномъ созданіемъ Майкова.

«Два міра», лирическая драма Майкова, была помѣщена въ сборникѣ «Гражданина» за 1872 годъ, а затѣмъ въ третьемъ томѣ изданія его стихотвореній (князя В. П. Мещерскаго). Поэтъ давно уже интересовался вре-

[275] Деревенскія пѣсни. Стр. 137.
[276] Сибирская колыбельная пѣсня. Посвящается моему сыну. Стр. 217.

менемъ Нерона. «Первоначальная идея поэмы, сказано въ примѣчаніи къ ней (примѣчаніе это было напечатано въ «Гражданинѣ» и въ указанномъ изданіи сочиненій Майкова его нѣтъ), относится къ самому началу поэтической дѣятельности автора. Идея эта живетъ въ немъ уже три десятилѣтія, найдя себѣ выраженіе въ нѣсколькихъ напечатанныхъ и не напечатанныхъ опытахъ». Уже въ первомъ изданіи стихотвореній Майкова (1841 г.) напечатана молодая попытка подъ названіемъ Олинфъ и Эсѳирь, римскія сцены временъ пятаго вѣка христіанства. Попытка эта не была удачна, и самъ авторъ исключилъ ее изъ второго изданія своихъ стихотвореній. Въ изданіи 1858 г. былъ напечатанъ лишь отрывокъ изъ «Олинфа и Эсѳири» (т. I. стр. 142).

Интересно замѣчаніе Бѣлинскаго объ этомъ первомъ опытѣ. Критикъ говоритъ, что поэтъ, изображая эпоху выродившагося, умирающаго Рима, все-же въ противоположность христіанству долженъ былъ бы избрать послѣдняго Римлянина, который независимо отъ всего окружающаго, въ своемъ личномъ характерѣ, выразилъ бы сколько стоическою жизнью и трагическою смертію, столько-же и тоскою по цвѣтущимъ временамъ своего отечества, все субстанціональное, все, чѣмъ великъ былъ республиканскій Римъ. Но Олинѳъ Майкова только эпикуреецъ и больше ничего».

Ровно черезъ десять лѣтъ послѣ «Олинѳа и Эсѳири», была написана поэтомъ въ 1852 году, всѣмъ извѣстная и много читавшаяся лирическая драма «Три смерти». Здѣсь, правда, христіанскій міръ не нашелъ своихъ представителей, и изображены только лица языческаго Рима, но вторая часть «Трехъ смертей» (смерть Люція), явившаяся опять черезъ десять лѣтъ, въ 1863 г., вновь представляетъ попытку выставить типы двухъ противоположныхъ міровъ и столкновеніе руководящихъ идей ихъ. Эта вторая часть «Трехъ смертей», не смотря на отдѣльныя красоты и превосходные стихи, опять не можетъ считаться удовлетворительною. Вторая часть «Трехъ Смертей» появилась въ Русскомъ Вѣстникѣ 1863 года, а потомъ вмѣстѣ съ первою частью напечатана въ «Новыхъ стихотвореніяхъ» Майкова (М. 1864 г.). Поэтъ остался ею недоволенъ.

Опять черезъ десять лѣтъ, по случаю новаго изданія своихъ сочиненій, онъ принялся передѣлывать поэму. «Эта передѣлка, три раза повторявшаяся за 1872 годъ, дала наконецъ полную ясность богатству поэтическихъ идей, и имѣла результатомъ совершенно новое, самобытное созданіе, какого давно не видала европейская литература. Съ блѣднымъ очеркомъ, со второю частью «Трехъ смертей», послужившею новому созданію такъ-сказать внѣшнимъ поводомъ, оно имѣетъ общаго лишь главную ситуацію да около сотни стиховъ»[277].

---

[277]) П. Висковатовъ. Русская художественная литература. Русскій Вѣстникъ, 1873, томъ 106. Стр. 371.

«Два міра» — «не только крупный вкладъ въ русскую литературу, но, пожалуй, и вообще въ европейскую литературу нашего времени». (В. П. Буренинъ).

Высокое дарованіе Майкова сказалось съ зрѣлой силой въ этомъ произведеніи. Передъ нами очень сложное и въ то же время стройное и цѣльное созданіе. Оно воспроизводитъ эпоху, далеко отошедшую отъ насъ въ исторію; оно имѣетъ предметомъ вѣчныя и общечеловѣческія стремленія. Что изображаютъ «Два міра»? Тотъ огромный нравственный переломъ, то колебаніе человѣческой совѣсти, которое совершалось, когда міръ языческій уступалъ свое мѣсто міру христіанскому.

Трагическая гибель цѣлой цивилизаціи, неспособной вмѣстить въ себѣ новыя начала, и появленіе новой жизни, отрицающей основы стараго міра, этотъ великій контрастъ навсегда останется образцомъ человѣческаго прогресса и повторяется въ различныхъ формахъ и размѣрахъ въ каждую эпоху [278]).

«Два міра» въ произведеніи Майкова, которое первоначально носило названіе «Два Рима», сопоставлены въ самыя торжественныя свои минуты; одни толпою пируютъ вокругъ человѣка, идущаго на послѣднее оставшееся ему геройство — самоубійство, другіе толпою идутъ на казнь, чтобы засвидѣтельствовать свою вѣрность Христу. Форма произведенія — вольная, не держащаяся строгаго типа; это называютъ лирическою драмою, или лирическою трагедіею; въ настоящемъ случаѣ можно было бы пожалуй употребить названіе эпической трагедіи, если бы такое сочетаніе словъ не представляло слишкомъ рѣзкаго contradictio in adjecto [279]).

Въ выпуклыхъ образахъ, въ яркихъ краскахъ и живыхъ движеніяхъ выступаютъ передъ нами всякаго рода характерныя черты двухъ міровъ. Съ одной стороны — сенаторы, временщики, философы, гетеры, развратъ, рабство, эгоизмъ, жестокость и ненависть; съ другой стороны — рабы, дѣти, матери, раскаявшіеся грѣшники и грѣшницы, любовь, смиреніе, прощеніе и самоотверженіе [280]).

Рядъ образовъ проходитъ передъ нами, отчеканенныхъ съ выпуклостью древнихъ камей.

Галлусъ и Гиппархъ — образчики римскаго космополитизма, Фабій и Энній — консерваторы, Харидемъ и Циникъ — философы; больше же всего на сценѣ представителей не идей, а распутства. Эта толпа, profanum vulgus, оканчиваетъ свои рѣчи достойнымъ ея финаломъ: по дозволенію Деція, она

[278]) Отчетъ о первомъ присужденіи преміи А. С. Пушкина. Составленный Я. К. Гротомъ. Спб. 1882. Стр. 26. Оцѣнка принадлежитъ Н. Н. Страхову.

[279]) Ibid. 28.

[280]) Ibid. 29.

восторженно бросается грабить его сокровища. Но картина римскаго міра имѣетъ ясный центръ. Среди разлагающагося общества возвышается человѣкъ, еще сохранившій всю силу этой убывающей жизни. Лицо Децiя, въ такомъ яркомъ освѣщеніи стоящее на первомъ планѣ, совмѣщаетъ въ себѣ черты, которыя на первый разъ могутъ показаться разнородными и даже противорѣчащими. Онъ горячій патріотъ, чтитель Катона, и вмѣстѣ — приверженецъ цезаризма; онъ поклонникъ Эллады, вольнодумецъ въ религіи, и вмѣстѣ — защитникъ рабства и вѣры въ вѣчный Римъ; онъ эпикуреецъ по образу жизни и стоикъ по дѣйствіямъ и передъ лицомъ смерти; не смотря на то, нельзя не чувствовать жизненности, проникающей собою образъ Децiя. Чувствуется, что онъ дитя своего времени, отдающееся его сильнѣйшимъ теченіямъ; но ясно видна и та нить, которая связываетъ всѣ его стремленія, и по которой онъ является намъ истиннымъ представителемъ всей древности. Это — гордость, безграничная человѣческая гордость, обоготвореніе человѣка. Сила, съ которою поэтъ выражаетъ эту гордость, едва ли не превосходитъ всѣ другія частности поэмы. И вотъ главный пунктъ всей трагедіи. Поэтъ очень вѣрно заставилъ умирающаго Децiя говорить, что, останься онъ живъ, онъ жестоко гналъ бы христіанъ [281].

Всѣ разговоры не только представляютъ необыкновенную живость и естественность, но каждый говорящій выдерживаетъ свой тонъ и свой слогъ. Тонъ разговора иногда выражается въ построеніи стиха съ изумительнымъ искусствомъ. Напр., великій жрецъ въ жару спора кричитъ:

...Пьютъ,
Свершая жертвоприношенье,
Кровь человѣческую!

Этихъ стиховъ невозможно произнести иначе, какъ дѣлая сильныя ударенія на слова «пьютъ» и «кровь»; ударенія вѣдь бываютъ тѣмъ выше, чѣмъ больше предшествуетъ имъ и слѣдуетъ за ними слоговъ безъ ударенія. И выходитъ настоящій крикъ: въ семнадцати слогахъ тутъ можно налечь только на два слога, и какъ разъ на односложныя слова и на самыя важныя [282].

§ 2. Всѣ достоинства художественнаго драматическаго созданія имѣютъ и три первыя дѣйствія неоконченной драмы гр. Ал. Толстого «Посадникъ» изъ быта древняго Новгорода. Образъ правдиваго посадника Глѣба Мироныча возстаетъ во всемъ архаическомъ величіи и заставляетъ вѣрить въ свою правду:

[281]) Ibid. 31.

[282]) Отчеты о первомъ присужденіи преміи Пушкина. Стр. 38.

Не въ норовѣ моемъ
За дружбою гоняться. Еслибъ я
Пошелъ на то, чтобъ людямъ угождать,
Не стало бы меня на угожденья,
Все мало бъ имъ казалося. Людей
По шерсти ль гладь, иль противъ шерсти—то же
Тебѣ отъ нихъ спасибо! Я жь хочу
Не слыть, а быть. Для собственной своей
Чинить хочу для совѣсти, и самъ
Свое себѣ спасибо говорить.
А что болтать они про это будутъ,
То для меня равно, какъ если дождь
По крышѣ бьетъ!

Но истинное откровеніе, совершенно новое слово въ русской драматической литературѣ, представляетъ «Снѣгурочка», «весенняя сказка, въ четырехъ дѣйствіяхъ съ прологомъ» Островскаго (1879). Это граціозное созданіе смѣло можетъ быть по совершенству выполненія, живости прелестныхъ картинъ счастливаго царства «берендеевъ», смѣлой и трогательной поэзіи сопоставлено со «Сномъ въ лѣтнюю ночь» Шекспира.

Снѣгурочка, дитя Мороза и Весны, просится къ людямъ. Въ лѣсу «ни пѣшему, ни конному дороги и слѣду нѣтъ въ ея теремъ. Медвѣди овсяники и волки матерые кругомъ двора дозоромъ ходятъ; филинъ на маковкѣ сосны столѣтней ночью, а днемъ глухарь вытягиваютъ шеи, прохожаго, захожаго блюдутъ. Въ прислужницахъ у ней на побѣгушкахъ лукавая лисица сиводушка; зайчата ей капусту добываютъ; чѣмъ свѣтъ бѣжитъ на родничекъ куница съ кувшинчикомъ; грызутъ орѣхи бѣлки, на корточкахъ усѣвшись; горностайки въ приспѣшницахъ сѣнныхъ у ней на службѣ». Но скучно Снѣгурочкѣ, хотя сердце у нея и не человѣческое, не способное любить. И это въ благо ей. Солнце — Ярило «сбирается сгубить Снѣгурку; только и ждетъ того, чтобъ заронить ей въ сердце лучемъ своимъ огонь любви; тогда спасенья нѣтъ Снѣгурочкѣ, Ярило сожжетъ ее, испепелитъ, растопитъ...». Что же манитъ Снѣгурочку? Всю вѣщую силу поэзіи вложилъ великій русскій драматургъ въ безхитростный отвѣтъ Снѣгурочки:

Людскія пѣсни.

Бывало, я, прижавшись за кустами
Колючими, гляжу не нагляжуся
На дѣвичьи забавы. Одинокой
Взгрустнется мнѣ, и плачу. Ахъ, отецъ,
Съ подружками по алую малину,
По черную смородину ходить,
Аукаться; а зорькою вечерней
Круги водить подъ пѣсни, вотъ что мило
Снѣгурочкѣ...

Слыхала я,—говоритъ она матери Веснѣ—и жаворонковъ пѣнье,
Дрожащее надъ нивами, лебяжій
Печальный кличъ надъ тихими водами,
И громкіе раскаты соловьевъ,
Пѣвцовъ твоихъ любимыхъ: пѣсни Леля
Милѣе мнѣ. И дни, и ночи слушать
Готова я его пастушьи пѣсни:
И слушаешь, и таешь...

Морозъ.

Слышишь: таешь!
Ужасный смыслъ таится въ этомъ словѣ.
Изъ разныхъ словъ, придуманныхъ людьми,
Страшнѣе всѣхъ морозу слово: таять.
Снѣгурочка, бѣги отъ Леля, бойся
Рѣчей его и пѣсенъ, ярымъ солнцемъ
Пронизанъ онъ насквозь. Въ полдневный зной,
Когда бѣжитъ отъ солнца все живое
Въ тѣни искать прохлады, гордо, нагло
На припекѣ лежитъ пастухъ лѣнивый,
Въ истомѣ чувствъ дремотной подбираетъ
Лукавыя заманчивыя рѣчи,
Коварные обманы замышляетъ
Для дѣвушекъ невинныхъ...

Изображеніе Масляницы—Соломеннаго Чучела, ея рѣчей, бобыля и бобылихи, пѣсни, игры берендеевъ, въ среду которыхъ идетъ Снѣгурочка, верхъ совершенства. Прекраснѣйшее мѣсто изъ перваго дѣйствія—причитанья обманутой Мизгиремъ и опозоренной Купавы. Милое безсиліе проклятій Купавы перейти предѣлы неизмѣримаго благодушія сказочнаго народа счастливыхъ берендеевъ проникаетъ беззлобнымъ юморомъ этотъ монологъ:

Хмѣлинушко, тычинная былинка,
Высоко ты по жердочкѣ взвивался,
Широко ты развѣсилъ яры шишки;
Молю тебя, кудрявый ярый хмѣль,
Отсмѣй ему, насмѣшку, насмѣшку
Надъ дѣвушкой! За длинными столами,
Дубовыми, за важною бесѣдой,
Въ кругу гостей почетныхъ, посѣдѣлыхъ,
Поставь его, обманщика, невѣжей
Нетесаннымъ и круглымъ дуракомъ:
Домой пойдетъ, такъ хмѣльной головою
Ударь объ тынъ стоячій, прямо въ лужу
Лицомъ его безстыжимъ урони!

Тотъ же прелестный юморъ разлитъ и въ рѣчахъ царя Берендея, разсуждающаго съ вельможею своимъ Бермятою о „народномъ благѣ“ и на-

ходящаго, что «въ сердцахъ людей замѣтилъ онъ остуду немалую», «на женъ красавицъ, диковинныхъ, съ сокольими очами, на пышную лебяжью бѣлизну упругихъ плечъ, супруги Берендеи, сонливые, взираютъ равнодушно», вотъ почему «сердитъ Ярило» — «лѣто короткое, годъ отъ году короче становится, а весны холоднѣе». И понятно:

...Горячности любовной
Не вижу я давно у берендеевъ.
Исчезло въ нихъ служенье красотѣ;
Не вижу я у молодежи взоровъ,
Увлаженныхъ чарующею страстью;
Не вижу дѣвъ задумчивыхъ, глубоко
Вздыхающихъ...

И вдругъ является Купава и объявляетъ преступленіе Мизгиря. Трагикомическій ужасъ царя!

Красавица, повѣрь, что если-бъ громы,
Средь яснаго, безоблачнаго неба,
Раскатами внезапно возгремѣли,
Не такъ-бы я дивился, какъ дивлюсь
Словамъ твоимъ безхитростнымъ! Смѣяться
Надъ дѣвушкой покинутой, надъ сердцемъ,
Ребячески довѣрчивымъ! Ужасно!
Неслыханно, Бермята. Страшно вѣрить!

Драматическая поэма Островскаго, по нашему мнѣнію, является перломъ неистощимо-обильнаго творчества великаго русскаго драматурга. Форма — прекрасна, такъ какъ, не обладая совершенствомъ версификаціи Пушкина въ «Русалкѣ», она однако вполнѣ художественна и своею простотою соотвѣтствуетъ наивному складу всего замысла. Поэзія русскихъ сказокъ нашла здѣсь себѣ очаровательное выраженіе. Берендеи — все царство ихъ — живое передъ нами. И звучитъ безконечной тоскою вопль Мизгиря:

Снѣгурочка, обманщица, живи,
Люби меня! Не призракомъ лежала
Снѣгурочка въ объятіяхъ горячихъ:
Тепла была: и чуялъ я у сердца,
Какъ сердце въ ней дрожало человѣчье,
Любовь и страхъ въ ея душѣ боролись.
Отъ свѣта дня бѣжать она молила,
Не слушалъ я мольбы — и предо мною,
Какъ вешній снѣгъ, растаяла она.

§ 3. Рядъ драматическихъ произведеній Островскаго появился въ «семидесятые годы» въ «Отечественныхъ Запискахъ»: «Бѣшеныя деньги» (1870); «Не все коту масляница», «сцены изъ московской жизни» (1871);

«Лѣсъ» (1871); «Не было ни гроша, да вдругъ алтынъ» (1872); «Комикъ XVII столѣтія», комедія въ стихахъ (1873); «Поздняя любовь», сцены изъ жизни захолустья (1874); «Трудовой хлѣбъ», сцены изъ жизни захолустья (1874); «Волки и овцы» (1875); «Богатыя невѣсты» (1876). Изъ драматическаго репертуара семидесятыхъ годовъ затѣмъ можно указать рядъ пьесъ, сохранившихся для литературы; таковы: «Старый баринъ» Пальма; «Блуждающие огни» Антропова; «Женитьба Бѣлугина» Н. Соловьева; «Майорша» и «Фофанъ» Шпажинскаго; «Нищіе духомъ» Николая Потѣхина.

Отживающее и проживающее остатки барство и новые люди, наживатели — биржевики — вотъ основная тема «Стараго барина» Александра Ивановича Пальма (род. въ 1823 г., умеръ 10-го ноября 1885 года). «Старый баринъ» — Опольевъ и дѣлецъ Максъ фонъ-Гаммеръ, что-то вродѣ размѣняннаго Штольца, внукъ разумнаго гоголевскаго Костанжогло, противопоставлены въ комедіи Пальма и другъ друга оттѣняютъ. «Старый баринъ» съ мелодраматической слезой и благородствомъ довольно неопрятенъ, хотя и торжествуетъ дворянской широтой натуры надъ лакированнымъ Максомъ. Во второй картинѣ перваго дѣйствія «Старый баринъ» ярко обрисованъ въ этомъ діалогѣ:

Опольевъ.

Ага!.. c'est de la philantropie, ça! Вы всѣ тутъ стали такія благотворительныя, что, я думаю, бѣднымъ отъ васъ спрятаться некуда. Въ наше время было одно только общество посѣщенія бѣдныхъ, да и на то смотрѣли, какъ на франкмассонскую ложу.

Софья.

Ваше время, cher papa, стало преданіемъ. Мы не тѣмъ воздухомъ дышемъ: современный потокъ увлекаетъ всѣхъ, незамѣтно втягиваетъ въ общественную дѣятельность даже самыхъ лѣнивыхъ.

Опольевъ.

Это правда, воздухъ другой, да! Въ Европѣ теперь воняетъ колбасой конинной и петролемъ, вотъ я и пріѣхалъ сюда, понюхать вашего чистаго воздуха,- проѣхалъ сегодня по Невскому, завтракалъ у князя Петра, еще два—три визита... Другой, другой воздухъ! Раздражаетъ, однако ничего, чувствую себя отлично, даже какъ будто лицо свѣжѣе... какъ ты находишь? Притомъ, madame, ни-че-го искусственнаго, замѣтьте! все свое, натуральное, до послѣдняго зуба... каковъ я, а?

Софья (цѣлуя его въ щеку).

Безподобный мой папа!

Опольевъ.

Ну, а вы здѣсь совсѣмъ закисли, всѣ угрюмые, желтые, все бухгалтеры какіе-то, итоги сводятъ!.. И веселость-то у васъ какая-то сорокапудовая.. Бррръ!

Дѣйствительно, къ концу семидесятыхъ годовъ среднее сословіе принималось уже «итоги сводить» со старымъ, проѣвшимся барствомъ. Такіе, какъ «лакированный Максъ» должны были учесть обѣднѣвшее сословіе. На вопросъ Софьи, почему ея мужъ «лакированный»? Опольевъ отвѣчаетъ: «А какъ же? Неужели ты до сихъ поръ не замѣтила, что онъ всегда подъ лакомъ? Какъ же, какъ же! лакированный, сіяетъ! А впрочемъ онъ дѣльный и честный человѣкъ, à toute épreuve!».

О себѣ Опольевъ объясняетъ такъ: «Дружокъ мой! Вѣдь я къ вамъ явился на послѣднюю станцію... понимаешь?.. усталъ, мнѣ нуженъ коротенькій, но пріятный отдыхъ... Вы должны мнѣ его дать, а затѣмъ раскланяюсь, какъ порядочный человѣкъ, и маршъ туда, откуда никто не возвращается».

Въ Опольевѣ много размаху, какой-то безпорядочной — порядочности, что заставляетъ молодого реалиста, тутъ же въ комедіи выведеннаго, и который находитъ, что «и ерунда полезна, дай врать въ волю—она сама себя переврётъ», его опредѣлить: «Это маркизъ какой-то!». Конечно, онъ векселя «даетъ», а никогда не «беретъ», всю жизнь любилъ «подогрѣвать прѣсную похлебку гименея» и т. д. Онъ легкомысленъ, но въ немъ есть душа: «Я люблю,—объясняетъ Опольевъ,—когда въ человѣкѣ сердце говоритъ, сердце! Тогда выходитъ все просто, хорошо, красиво, а формализмъ, формализмъ—вотъ что васъ заѣло!». На это Гаммеръ отвѣчаетъ довольно ѣдко: «Можетъ быть, это логическая реакція прежней распущенности?»

Опольевъ.

Ну—да, ну—да! мы, старики, страдали распущенностью, но у насъ, сударь, вотъ тутъ (ударяя себя въ грудь), тутъ кое-что было... а что у васъ—не знаю, покажите.

Вадимъ.

Мы, cher papa, можемъ показать уваженье къ порядку, къ добрымъ нравамъ, защитѣ священныхъ основъ семьи и собственности, мы умѣемъ охранить все, что есть почтеннаго въ старомъ, и исподволь, постепенно стремиться впередъ.

Опольевъ.

Ну, ужъ это ты все врешь, мой милый!

Превосходна сцена между «старымъ бариномъ» и «старымъ камердинеромъ»:

Опольевъ.

Теперь ты, старый хрычъ, вотъ посѣдѣлъ совсѣмъ, а въ моихъ глазахъ ты все прежній Яшинька. Помнишь, бывало, походъ, биваки, ночи на пролетъ, золото горстями, все ни почемъ!

Яковъ.

Настоящая дворянская жизнь была!

Опольевъ.

А помнишь, какой у насъ порядокъ былъ заведенъ, какъ мы съ тобой каждое утро бесѣду вели?

Яковъ.

Какъ не помнить-съ! словно вчера.

Опольевъ.

А ну, ну, разсказывай, какъ?

Яковъ (усмѣхнувшись въ кулакъ).

Проснетесь, бывало, потягиваетесь и перво-на-перво сейчасъ крикните: Жакобъ!

Опольевъ.

Ну, ну!

Яковъ.

Я вхожу. Вы спрашиваете: Жакобъ, авонну де ляржанъ?

Опольевъ.

Такъ.

Яковъ.

Отвѣчаю: нонъ, мосье.

Опольевъ.

Браво! Однакожъ аржанъ всегда находился.

Яковъ.

Какъ не найтись, плевое дѣло!

Опольевъ.

Ха-ха-ха! Молодецъ! Ну, а нынѣшніе, небось, такъ жить не умѣютъ?

Яковъ.

Куда! далеко-о!..

Опольевъ.

Такъ, братецъ. А знаешь что, Жакобъ! умри-ка ты поскорѣе.

Яковъ.

Зачѣмъ это-съ?

Опольевъ.

Околѣй, старый хрычъ! Намъ съ тобой на свѣтѣ больше дѣлать нечего, понимаешь?

§ 4. «Женитьба Бѣлугина» Николая Яковлевича Соловьева (род. въ 1845 г. въ Казани), какъ и пьесы: «Счастливый день», «Дикарка», «Свѣтитъ да не грѣетъ», написаны имъ въ сотрудничествѣ съ Островскимъ и въ его школѣ.

Въ семидесятыхъ годахъ появились полныя собранія твореній водевилистовъ николаевскаго времени: «Театръ» П. И. Григорьева въ пяти томахъ; «Театръ» Ф. А. Кони въ четырехъ томахъ (1870—1871); «Театръ» Д. Т. Ленскаго, въ шести томахъ (1873); вышли пять томовъ «Драматическихъ сочиненій» В. Дьяченки (1873—1876), пять томовъ сборника пьесъ «Для сцены», Виктора Александрова (Крылова) и собраніе сочиненій въ 9 томахъ Островскаго (1874 г.).

Со смертью Лядовой въ 1870 году золотое время русской оперетки кончилось; началась эпоха, столь краснорѣчиво описанная Щедринымъ и воспѣтая Некрасовымъ «Театра Буффъ». Шнейдерши и Жюдикъ. Но дрожжи растлѣнія уже сдѣлали свое дѣло на русской сценѣ.

Къ 1870 году относится первое представленіе «Бориса Годунова» Пушкина. Характерной для эпохи является пьеса Штеллера «Ошибки молодости»: «Былъ тутъ и умирающій съ голоду ребенокъ, и несчастный литераторъ, прозябающій въ подвалѣ съ молоденькою супругою, и передовой человѣкъ, управляющій имѣніемъ аристократки и учащій ее уму и разуму»[283]).

Изъ пьесъ Островскаго шли въ 1871 г. «Лѣсъ» и «Не все коту масляница»; въ 1872 г. «Не было ни гроша, да вдругъ алтынъ. «Старый Баринъ» Пальма и «Каширская старина» Аверкіева явились въ томъ же 1872 году.

Въ 1874 году поставлена извѣстная комедія Антропова «Блуждающіе огни».

Перечислимъ остальныя, характерныя для репертуара семидесятыхъ годовъ пьесы: Николая Потѣхина — «Злоба дня» и «Мертвая петля» (1875); Дьяченки — «Болѣзненная страсть» (1876); переводъ итальянской мелодрамы «За монастырскою стѣною» Н. С. Курочкина; въ 1877 г. на сценѣ безъ всякаго успѣха шло посмертное произведеніе гр. Ал. Толстого «Посадникъ», о которомъ сказано выше; такъ же Алексѣя Потѣхина «Выгодное предпріятіе», Островскаго «Послѣдняя жертва», Н. Соловьева «Счастливый день», сцены изъ быта провинціальнаго чиновничества. Въ 1878 г.: «Женитьба Бѣлугина» Соловьева; «Ванька ключникъ», Антропова; «Безприданница» Островскаго; «Маіорша», И. Н. Шпажинскаго.

Роль Дьяченки въ семидесятыхъ годахъ перешла къ Виктору Александрову. Этотъ новый работникъ сцены и поставщикъ сезонныхъ пьесъ да-

283) Вольфъ. Хроника. Стр. 45.

валъ на новый вкусъ — легкія передѣлки, а на старый — дьяченковскія пьесы съ тенденціей. Такъ въ пьесѣ его «Горе — злосчастье» (1879), изображенъ на сценѣ департаментъ со всѣми подробностями сего учрежденія. 1879 г. былъ богатъ сенсаціонными пьесами. Николай Потѣхинъ сочинилъ произведеніе: «Нищіе духомъ» и съ колоссальнымъ успѣхомъ поставилъ. Тамъ явились на сцену модная кокотка, шулера, бюрократы, филантропки, плутократы, танецъ передъ смертью отъ разрыва сердца. А. И. Пальмъ далъ пьесу «Нашъ другъ Неклюжевъ» (исторія Юханцева — кассира, обворовавшаго банкъ). Оргія семидесятыхъ годовъ, послѣ отрезвленія эпохи конца 50-хъ и начала 60-хъ, эпопея новыхъ колоссальныхъ «крадствъ» можетъ быть помянута рѣчью въ ресторанѣ погибшей женщины въ «Нищихъ духомъ»:

«Сегодня роковой день въ моей жизни. Все, что было для меня дорогого, завѣтнаго, святаго — погибло безъ возврата. Послѣднія искорки моей вѣры въ людей и въ силу любви потушены; надежда на возможность пойти честной дорогой потеряна; мое сердце разбито... Что же у меня впереди? Позоръ до сѣдыхъ волосъ, безславная старость и тяжелое одиночество въ минуту смерти... О, ужасно, ужасно!.. Прочь раздумье, сомнѣнье, сожалѣнье! Мнѣ остается въ жизни одно — забыться! Пусть дремлетъ умъ и молчитъ сердце... «Все въ сей жизни скоротечно, потому живи безпечно!» Будемъ же жить, чтобъ наслаждаться, и наслаждаться, чтобъ жить... ура!..».

БИБЛІОГРАФІЯ: Пальмъ. Жанъ Бичевкинъ. Романъ. О. З. 1848. № 4, 5. — Благодѣтель. Ком. въ 5 д. Соврем. 1864 г. № 6. Просвѣтители. Соврем. картины въ 5 д. О. З. 1871. № 3. — Алексѣй Слободинъ. Семейная исторія. 1873 г. —Старый баринъ. Ком. въ 5-ти д. Д. С. 73 г. № 5. Конецъ стараго романа. В. Е. 1874. № 11, 12. — И крылья есть, да летѣть некуда! Ком. въ 5-ти д. Спб. 1876.—Гражданка (Доброволецъ Саладаевъ). Сцены изъ текущей провинц. жизни въ 4-хъ д. 1878 г. Нашъ другъ Неклюжевъ. Ком. 1879.—Пропащіе годы. Пов. О. З. 1880 г. № 2, 3.—Очертя голову. Сцены провинц. жизни. Въ 4-хъ д. М. 1880. — Господа избиратели. Ком. В. Е. 1881 г. № 4. — Мирныя времена. Романъ. Дѣло. 1882 г. № 8 — 12. — Послѣ судебнаго приговора. Прологъ драмы. Сборникъ «XXV лѣтъ». Спб. 1884 г. — Петербургская саранча. Ром. въ 3-хъ част. Спб. 1884.—Милочка. Ком. въ 5-ти д. Дѣло. 1884 г.—Фрося. Изъ однихъ записокъ. Сѣв. В. 1885. № 3; — Грѣшница. Др. Русск. Бог. 1885 г. № 7. — Крыловъ — Александровъ. Драматическія сочиненія. 2-е изданіе. 9 томовъ. 1899 г. — Для сцены. Сборникъ пьесъ: Спб. 1882 — 1884 гг. 7 томовъ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Восьмидесятые годы.

(1880—1890).

I. Пушкинскіе дни въ Москвѣ. — Рѣчь Достоевскаго. — Первое марта. — Значеніе этого событія.—«Русь» И. С. Аксакова.—Кончины его и М. Н. Каткова. — Послѣднія сатиры Щедрина. — Запрещеніе «Отечественныхъ записокъ». —Кончина М. Е. Щедрина.—Новый курсъ.—Николай Яковлевичъ Данилевскій.—«Россія и Европа».—Владиміръ Сергѣевичъ Соловьевъ.—«Національный вопросъ въ Россіи».—Критика восьмидесятыхъ годовъ.—Н. К. Михайловскій и В. П. Буренинъ. — Богословско - философская дѣятельность гр. Л. Н. Толстого.—«Разумѣніе жизни» и «непротивленіе злу».—«Такъ что-же намъ дѣлать?».—«О назначеніи наукъ и искусствъ».—II. Братья Карамазовы».—«Смерть Ивана Ильича».—«Чѣмъ люди живы».—«Свѣчка».—«Много-ли человѣку земли нужно». — «Сказка объ Иванѣ дуракѣ». — «Три старца».— «Пѣснь торжествующей любви».—«Стихотворенія въ прозѣ». -Послѣднія произведенія Щедрина-Салтыкова.— «Власть земли» Гл. И. Успенскаго.— «Устои» Н. Н. Златовратскаго.—«Оскудѣніе» Сергѣя Атавы (Терпигорева).— «Сашенька» В. Л. Дѣдлова.—Всеволодъ Михайловичъ Гаршинъ.—«Три дня». —«Трусъ».— «Красный цвѣтокъ». — Владиміръ Галактіоновичъ Короленко. — «Сонъ Макара».—Христіанскія легенды Лѣскова.—Эртель.— Ясинскій.— Альбовъ.—Баранцевичъ.— Короннинъ.—Мачтетъ. — Потапенко.—Вас. И. Немировичъ-Данченко.— Маминъ-Сибирякъ. — Тихоновъ (Луговой). — Станюковичъ.— Вл. Тихоновъ.— Гнѣдичъ.—Ольга Шапиръ.—М. Крестовская.—III. Послѣднія произведенія А. Н. Майкова. — «Excelsior». — «Акварели». — «Альбомъ Антиноя».— «Вѣчные вопросы». — «Изъ Аполлодора Гностика».—Бриигильда».—«Вечерніе огни» Фета.—«На закатѣ» и «Вечерній звонъ» Полонскаго.—Гр. Голенищевъ-Кутузовъ.—Надсонъ.—Поэтическая «туманность» 80-хъ годовъ. IV. «Власть тьмы».

I.

§ 1. Нѣкогда кн. Вяземскій писалъ въ Михайловское, томившемуся въ изгнаніи, Пушкину: «Имя твое сдѣлалось народною собственностью. Чего тебѣ не достаетъ?—Я знаю—чего; но покорись силѣ обстоятельствъ и времени... Въ библіотекѣ отведена тебѣ первая полка, но мы еще не дожили до поры личнаго уваженія... Повѣрь, что о тебѣ помнятъ по твоимъ поэмамъ, но объ опалѣ твоей въ годъ и двухъ разъ не поговорятъ, кромѣ друзей твоихъ; но ты имъ не ею дорогъ... Всѣ поклоняемся мы одному счастью, а благородное несчастье не имѣетъ еще кружка своего въ мѣсяцесловѣ народа ребяческаго... За выкупъ Пушкина никто не дастъ алтына, хотя по шести рублей и платится каждая его стихотворческая отрыжка».

Пережилъ Пушкинъ и эпоху посмертнаго дикаго гоненія. Уже въ первой половинѣ семидесятыхъ годовъ авторитетъ Пушкина былъ вновь воздвигнутъ въ литературѣ, и наконецъ настали незабвенные пушкинскіе дни въ Москвѣ 5, 6, 7 и 8 іюня 1880 г., дни открытія памятника великому поэту и чествованія его памяти. Эта память сблизила все мыслящее общество въ одномъ свободномъ влеченіи. Всѣ «партіи», всѣ тенденціи, всякая рознь, всѣ «заднія мысли» неминуемо отошли въ сторону. Съ свѣтлою памятью Пушкина не могло вязаться мрачное слово злобы и мщенія.

Да, казалось, что дни розни миновались, что опять вернулись тѣ весенніе дни единодушнаго порыва къ мирному преуспѣянію на благо родинѣ, которые выдались въ концѣ пятидесятыхъ и самомъ началѣ шестидесятыхъ годовъ. Опять, вокругъ памятника славнаго пѣвца, во главѣ общественнаго движенія стояли великіе художники школы сороковыхъ годовъ... но... все-таки было это роковое «но» — въ ихъ блестящемъ сонмѣ отсутствовалъ «великій писатель земли русской» графъ Левъ Николаевичъ Толстой.

Пушкинскіе дни были днями и примиренія русскаго общества съ И. С. Тургеневымъ, выносившаго тяжкое охлажденіе всѣ семидесятые годы. На празднествѣ оваціи дѣлили мирно Тургеневъ и Достоевскій. На литературномъ вечерѣ въ день открытія памятника особенно горячо привѣтствовали Тургенева, который былъ вызванъ семь разъ и прочелъ стихи Пушкина:

Послѣдняя туча разсѣянной бури!..
Довольно, сокройся!..

И всѣмъ казалось, что буря въ самомъ дѣлѣ разсѣяна и послѣдняя тѣнь улетаетъ съ яснаго небосклона... Увы, какъ не вспомнить слова самого Тургенева, что человѣкъ со своими надеждами напоминаетъ бѣлку, которая безпечно чиститъ себѣ носъ въ ту самую минуту, когда охотникъ нацѣлилъ ружье ей прямо въ лобъ...

7-го іюня 1880 г. въ Москвѣ на торжественномъ засѣданіи общества любителей россійской словесности говорили С. А. Юрьевъ, М. И. Сухомлиновъ, И. С. Тургеневъ. Прочтены были письма на имя И. С. Тургенева отъ нѣмецкаго романиста Бертольда Ауэрбаха, отъ Виктора Гюго, отъ англійскаго поэта Теннисона... «Пушкинъ,— сказалъ Юрьевъ,—перечувствовалъ все, какъ можетъ и что можетъ чувствовать русскій человѣкъ, отъ благоговѣйной любви къ нашей сѣдой старинѣ до пламеннаго сочувствія къ общечеловѣческимъ сторонамъ реформъ Петра Великаго; отъ глубокаго восприятія въ свое сердце смиреннаго нравственнаго идеала простого русскаго человѣка, со дна души котораго онъ поднялъ образъ старца Пимена, до восторженнаго увлеченія неукротимо-вольнолюбивыми идеалами Байрона, исполненными блеска и силы; отъ страстнаго наслажденія широко-шумною, блестящею жизнью города, дворца, до любви къ матери-пустынѣ, про которую воздыхалъ нашъ русскій перехожій человѣкъ. Нѣтъ русской народной особенности, нѣтъ глубокаго народнаго инстинкта, которые-бы не жили въ душѣ Пушкина и не нашли-бы себѣ яркаго поэтическаго выраженія въ его созданіяхъ... Изученіе созданій Пушкина ставитъ насъ на ту высоту, съ которой предъ нами освѣщаются всѣ сокровенныя внутреннія силы, слагавшія прошедшую жизнь русскаго народа, и открывается кругозоръ на возможное для насъ будущее».

На каѳедрѣ появился И. С. Тургеневъ. Бурю вызвало это появленіе. Тургеневъ привѣтствовалъ возвращеніе общества «на тропу, указанную Пушкинымъ». «Знамя его поэзіи на время затемнила пыль, но теперь опять засіялъ побѣдный стягъ».

«Сіяй-же и гласи народу русскому о правѣ его называться великимъ народомъ! Пускай у памятника Пушкина остановится всякій и скажетъ, что ему онъ обязанъ свободой, свободой нравственной. Пускай сыновья народа будутъ сознательно произносить имя Пушкина, чтобъ оно не было въ устахъ пустымъ звукомъ и чтобы каждый, читая на памятникѣ надпись «Пушкину», думалъ, что она значитъ—«учителю».

Второй «пушкинскій день» въ Москвѣ закончился обѣдомъ, на которомъ А. Н. Островскій сказалъ: «Предлагаю тостъ за русскую литературу, которая пошла и идетъ по пути, указанному Пушкинымъ. Выпьемъ весело за вѣчное искусство, за литературную семью Пушкина, за русскихъ литераторовъ! Выпьемъ очень весело этотъ тостъ. Нынче на нашей улицѣ праздникъ!».

Верховнымъ мгновеніемъ высшаго подъема была рѣчь Ѳ. М. Достоевскаго 8-го іюня: «Пушкинъ есть явленіе чрезвычайное и можетъ быть единственное явленіе русскаго духа, сказалъ Гоголь. Прибавлю отъ себя: и пророческое. Да, въ появленіи его заключается для всѣхъ насъ, русскихъ, нѣчто безспорно пророческое».

Указывая на изумительную всеобъемлемость и всеотзывчивость Пушкина, на его способность приобщаться духу всѣхъ народовъ, на всепониманiе его генiя, Достоевскiй выводилъ отсюда всеобъемлемость русскаго духа и характера и русскую нацiональную идею, какъ естественную общечеловѣчность. Стать русскимъ и значитъ стать всечеловѣкомъ. „Станьте русскими", говорили славянофилы. „Станьте общечеловѣками",— говорили западники. Они говорили одно.

Впрочемъ, передать рѣчь Достоевскаго невозможно: глубже и блистательнѣе ея, нельзя себѣ ничего представить; форма въ ней такъ слита съ содержанiемъ, что никакой отчетъ не дастъ и приблизительнаго понятiя объ ея силѣ. Къ тому-же она и произнесена была неподражаемо хорошо.

Когда Достоевскiй кончилъ, вся зала духовно была у ногъ его. Онъ побѣдилъ, растрогалъ, увлекъ, примирилъ. За эту-то минуту и не знали, какъ благодарить его. У мужчинъ были слезы на глазахъ, дамы рыдали отъ волненiя, стонъ и громъ оглашали воздухъ, писатели обнимали Достоевскаго, а нѣсколько молодыхъ дѣвушекъ спѣшили къ нему съ лавровымъ вѣнкомъ и увѣнчали его тутъ-же, на эстрадѣ... Вечеромъ устроили овацiю Тургеневу и поднесли ему такой-же вѣнокъ, какой утромъ получилъ Достоевскiй [284]).

Петербургъ праздновалъ Пушкину гораздо сдержаннѣе. Эхо рѣчи Достоевскаго дало здѣсь разнотѣнные отголоски... «Страна» замѣчала не безъ ехидства: „По отзыву И. С. Аксакова — рѣчь Достоевскаго была «настоящимъ событiемъ»... По другимъ отзывамъ, событiемъ была рѣчь А. А. Потѣхина, потому что онъ предложилъ поставить еще въ Москвѣ памятникъ и Гоголю, такъ какъ за этимъ предложенiемъ тотчасъ послѣдовала подписка и собрано было до трехъ тысячъ рублей... иные называютъ событiемъ еще и рѣчь М. Н. Каткова, называютъ не безъ основанiя, такъ какъ и это событiе также вызвало фактъ: П. А. Гайдебуровъ (издатель „Недѣли") подошелъ къ М. Н. Каткову и пожалъ ему руку». Свою рѣчь Ѳ. М. Достоевскiй помѣстилъ въ единственномъ выпускѣ за 1880 г. «Дневника писателя», сопроводивъ ее дополнительными разъясненiями и обширнымъ отвѣтомъ на возраженiя А. Д. Градовскаго.

«Рядомъ съ славянофилами, — говоритъ здѣсь Достоевскiй, — обнимавшими меня и жавшими мнѣ руку, тутъ-же на эстрадѣ, едва лишь я сошелъ съ каѳедры, подошли ко мнѣ пожать мою руку и западники, и не какiе-нибудь изъ нихъ, а передовые представители западничества, занимающiе въ немъ первую роль, особенно теперь. Они жали мнѣ руку съ такимъ-же горячимъ и искреннимъ увлеченiемъ, какъ славянофилы, и называли мою рѣчь генiальною, и нѣсколько разъ, напирая на слово это, произнесли, что

[284]) Вѣнокъ на памятникъ Пушкину. Спб. 1880. Стр. 61 и 64.

она геніальна. Но боюсь, боюсь искренно,—не въ первыхъ-ли «попыхахъ» увлеченія произнесено было это!».

Достоевскій далѣе пророчитъ, что «скажутъ» на рѣчь его въ Петербургѣ, и если вожаки не скажутъ, «зато масса-то, масса-то оторвавшихся и отщепенцевъ, масса-то нашего западничества, середина-то, улица-то, по которой влачится идея,—всѣ эти смерды-то «направленія» (а ихъ какъ песку морского), о, тамъ непремѣнно наскажутъ»...

Пушкинскіе дни являются какъ-бы улыбкой жестокой фортуны русской литературѣ. Точно предъ тѣмъ страшнымъ событіемъ, которое уже стояло за порогомъ исторіи, дано было русскому сердцу и уму четыре дня свѣтлыхъ ликованій на праздникѣ музъ, мирномъ, прекрасномъ, гдѣ собрались геніальные русскіе поэты, прозаики и вакхически пѣлъ романтикъ Полонскій:

Пушкинъ—это возрожденье
Русской музы—воплощенье
Нашихъ трезвыхъ думъ и чувствъ;
Это—не запечатлѣнный
Ключъ поэзіи священный
Для поклонника искусствъ.

Пушкинъ—это эхо славы
Отъ Кавказа до Варшавы,
Отъ Невы до всѣхъ морей...
Это—сѣятель пустынный...
Другъ свободы,—неповинный
Въ лжи и злобѣ нашихъ дней...

Поэтическій Мессія
На Руси,—онъ, какъ Россія,
Всеобъемлющъ и великъ.
Нынѣ мы поэта славимъ
И на пьедесталѣ ставимъ
Прославляющій насъ ликъ...

§ 2. За порогомъ стояло первое марта...

«Царь убитъ!.. Русскій царь, у себя въ Россіи, въ своей столицѣ, звѣрски, варварски, на глазахъ у всѣхъ — русскою же рукою... Тамъ, въ царскихъ чертогахъ, одѣянный царскою порфирой, лежитъ теперь, простертъ для послѣдняго лобызанія и поклоненія, искалѣченный, изувѣченный трупъ твоего Вождя, Русская земля, твоего Главы и Освободителя, русскій народъ, сокрушившаго твое рабство!.. Позоръ, позоръ нашей странѣ!»

Такъ писалъ Иванъ Сергѣевичъ Аксаковъ 4-го марта 1881 года въ «Руси».

«Что̀ такое сталось, что̀ подѣялось съ нашею землею? Небывалое, неслыханное творится на Святой Руси! Кто тѣ, что̀ смѣютъ пятнать грѣхомъ

и преступленіемъ наше историческое бытіе, класть позоръ и срамъ на наши головы? Посягательство на царя—это посягательство на самый народъ, —это насиліе надъ народною волею и свободою».

«Не просто—царь умеръ и мѣсто его заступилъ царь новый. Это цѣлая историческая эпоха отходитъ, это новая эпоха настаетъ! Конецъ одной, начало другой опредѣлены рѣзкими гранями, торжественно засвидѣтельствованы, такъ что самая смѣна эпохъ совершается воочию, такъ сказать, осязательно, съ общаго вѣдома и сознанія современниковъ». («Русь», 7-го марта 1881 г.).

«Смерть царя явленіе не случайное. Это нашъ общій грѣхъ. Всѣ мы повинны въ ней, во сколько повинны въ растлѣніи общества чрезъ воспитаніе нашего юношества, чрезъ созиданіе общественнаго духа и мнѣнія. Очнемся ли наконецъ?»

«Нужно проявленіе твердой, строгой, грозной, энергичной, умной власти».

«Въ настоящую минуту испытанія своихъ историческихъ судебъ, о чемъ въ особенности молитъ своего царя Россія, чтобъ высоко, честно и грозно было вознесено царское имя на страхъ злодѣямъ русской земли».

Въ то же время, оставаясь вѣрнымъ идеямъ славянофильства, Аксаковъ говорилъ: «Да, въ Москву, въ Москву призываетъ теперь своего царя вся Россія... Пора домой! Пора покончить съ петербургскимъ періодомъ русской исторіи, со всѣми кровавыми преданіями переворотовъ, измѣнъ, крамолъ XVIII и XIX вѣка! Пора наконецъ средоточію государственной власти перемѣститься съ крайней окраины государства въ историческое средоточіе русской земли, — то средоточіе, которое создало самую власть, дало ей историческое бытіе, оправданіе и освященіе...» («Русь», 10-го марта 1881 г.).

Когда наконецъ 15-го мая 1884 года совершилось коронованіе императора Александра III, великій патріотъ восклицалъ:

«Нуженъ царскій починъ Русской землѣ».

«Все возможно царю Русскому въ единствѣ духа съ своею землею!»

Трудно въ немногихъ словахъ опредѣлить колоссальное значеніе кроваваго злодѣянія перваго марта. Непосредственнымъ его результатомъ было то, что революція сама себѣ снесла голову. Долго еще ждали безумцы, что нѣчто подвигнется со своихъ основъ. Преступники 1-го марта на судѣ сохраняли увѣренность, что какой-то «народъ» имъ сочувствуетъ, ихъ защититъ... Затѣмъ общество содрогнулось, опамятовалось. Катковъ восклицалъ: «Встаньте, господа, правительство возвращается».

Аксаковъ умеръ въ 1886 г. Катковъ — въ 1887 г. Такимъ образомъ эти двѣ публицистическія силы только встрѣтили новое царствованіе. Въ 1884 г. «Отечественныя Записки» были запрещены. Салтыковъ сталъ писать въ «Вѣстникѣ Европы». Въ 1889 году его не стало. Сатира его утра-

тила свой смыслъ послѣ рокового дня. Этотъ смѣхъ, «неистощимой клеветою» прожигавшій всю русскую жизнь, отжилъ свое. Сатирикъ самъ это чувствовалъ и высказывалъ.

«Конецъ жизненнаго пути приближается... Онъ уже явственно мелькаетъ впереди, подобно тому, какъ передъ глазами путника, вышедшаго изъ лѣсной чащи, мелькаетъ сквозь рѣдколѣсье деревенское кладбище, охваченное рѣяньемъ смерти».

«Пмярекъ умираетъ».

«Пмярекъ» держался особой теоріи. Сущность этой теоріи заключалась въ томъ, чтобы практиковать либерализмъ въ самомъ капищѣ анти-либерализма. Съ этою цѣлью предполагалось намѣтить покладистое вліятельное лицо, прикинуться сочувствующимъ его предначертаніямъ и начинаніямъ, сообщить послѣднимъ легкій либеральный оттѣнокъ, какъ бы исходящій изъ нѣдръ начальства (всякій мало-мальски учтивый начальникъ не прочь отъ либерализма), и затѣмъ, взявъ облюбованный субъектъ за носъ, водить его за оный... Эпоха возрожденія была довольно продолжительна, но она шла такъ неровно, что трудно было формулировать сколько-нибудь опредѣленно сущность ея. Возрожденіе — и рядомъ несомнѣнные шаги въ сторону и назадъ. Движеніе — и рядомъ застой. Надежды — и рядомъ отсутствіе всякихъ перспективъ. Но, не уступая соблазнамъ, Пмярекъ остался вѣренъ возрожденію, движенію и надеждамъ. И вотъ теперь сзади у него повисъ ворохъ крохъ и мелочей, а впереди — ничего, кромѣ одиночества и оброшенности...»

Еще опредѣленнѣе высказывается Щедринъ послѣ «внезапнаго» запрещенія «Отеч. Записокъ» въ «Пестрыхъ письмахъ» (1884—1886): «Внезапность не составляетъ для меня новости. Я родился на лонѣ ея, воспитывался подъ ея сѣнью и до такой степени съ ней освоился, что даже никогда не спрашивалъ себя, ушибетъ она меня или помилуетъ. Но я долженъ сказать, что до послѣдняго времени внезапность имѣла несовершенный, переходный характеръ, и это въ значительной мѣрѣ помогало уживаться съ нею. Внезапностей было много, и онѣ постоянно другъ друга побивали. Нелегко было оріентироваться въ этомъ разнообразіи смѣняющихся внезапностей, но при извѣстномъ навыкѣ все-таки можно было нѣчто угадать. Это называлось: «Ловить моментъ!» Поймалъ моментъ — пользуйся! Не поймалъ — пеняй на себя! Игра была не весьма нравственная, но настолько замысловатая, что могла заинтересовать. Нынѣ эта переходная форма, очевидно, исчерпала все свое содержаніе. Внезапность окончательно отказалась отъ экскурсій въ сферу случайныхъ вѣяній, которыя своею противорѣчивостью подрывали ее: она сдѣлалась единою, неизмѣнною, сама себѣ довлѣющею. «Моменты» упразднены; ловить больше нечего».

Эта единая, неизмѣнная «внезапность», которая упразднила всѣ прочие и стала недвижно надъ русскимъ обществомъ, было роковое первое марта.- Оно опредѣлило «новый курсъ». Страна, точно послѣ тряской и бѣшеной скачки по ухабамъ грянувшаяся въ стѣну грудью тройка, пала на колѣни разбитая, ошеломленная. Покоя — вотъ чего жаждало общество.

§ 3. Въ области отвлеченной мысли особенно характернымъ для восьмидесятыхъ годовъ является выдающійся успѣхъ книги Данилевскаго «Россія и Европа».

Николай Яковлевичъ Данилевскій родился 28 ноября 1822 г. въ Орловской губерніи. Кончивши курсъ лицея въ 1842 г., онъ четыре года (1843—1847) пробылъ вольнымъ слушателемъ естественнаго факультета въ петербургскомъ университетѣ. Въ 1849 г. получилъ степень магистра ботаники, а лѣтомъ былъ неожиданно арестованъ и посаженъ въ Петропавловскую крѣпость. Его привлекли по дѣлу Петрашевскаго. Заключеніе продолжалось сто дней. Въ большой запискѣ онъ ясно и полно изложилъ систему Фурье, въ проповѣдованіи которой его обвиняли; оказывалось несомнѣнно, что она не содержитъ въ себѣ ничего революціоннаго и противурелигіознаго, а есть ученіе чисто экономическое.

Данилевскій былъ высланъ въ Вологду. Затѣмъ онъ долго служилъ и занимался изученіемъ положенія нашихъ рыбныхъ промысловъ. Умеръ 7 ноября 1885 г. Главныя его сочиненія: «Дарвинизмъ» (опровержение теоріи Дарвина) и «Россія и Европа». Послѣднее сочиненіе явилось въ 1869 году въ «Зарѣ» Кашперева. Ни одинъ изъ тогдашнихъ журналовъ, кромѣ «Зари», не рѣшился-бы напечатать сочиненіе, написанное въ такомъ духѣ. Отдѣльное изданіе (1871 г.) расходилось въ теченіе пятнадцати лѣтъ. Наибольшій ходъ книга имѣла въ разгаръ турецкой войны, когда многіе искали въ ней уясненія отношенія Россіи къ Славянамъ и къ Европѣ. Книга всплыла, благодаря новому духу и стараніямъ единомышленника ея автора, Н. Н. Страхова въ 80-е годы. Изданіе 1888 г. разошлось въ нѣсколько мѣсяцевъ. Въ 1889 г. вышло уже новое...

А между тѣмъ нынѣ прямо неловко становится, когда читаешь эту, переполненную парадоксами книгу. Желаніе успокоиться, замкнуться, погрузиться въ самихъ себя и въ свою боль, было естественно въ то десятилѣтіе. Въ наши дни мы не имѣемъ нужды въ наркотикахъ, въ анастезіи чувствъ.

«Самопожертвованіе есть высшій нравственный законъ. Но единственное основаніе для самопожертвованія есть безсмертіе. Но государство и народъ суть явленія преходящія. Поэтому, око за око, зубъ за зубъ, строгое право, Бентамовскій принципъ утилитарности, то есть здраваго понятія

пользы.—вотъ законъ внѣшней политики, законъ отношенія государства къ государству. Тутъ нѣтъ мѣста закону любви и самопожертвованія».

Пусть такъ, но доказательство совсѣмъ не убѣдительно. Малиновка за своего птенца отдаетъ жизнь, бросаясь въ пасть въ сто разъ превосходящей ее собаки. Безсмертна-ли малиновка? И если нація, по своему духу, не можетъ относиться къ другимъ народамъ безъ братской любви, какъ ее превратишь въ эгоистку? Все это инстинктивно, порывомъ дѣлается.

Задавая вопросъ: «Европа-ли Россія?» Данилевскій рѣшаетъ его такъ: Европа есть поприще германо-романской цивилизаціи. Принадлежитъ-ли въ этомъ смыслѣ Россія къ Европѣ? Къ сожалѣнію или къ удовольствію, къ счастію или къ несчастію — нѣтъ, не принадлежитъ. Она не питалась ни однимъ изъ тѣхъ корней, которыми всасывала Европа какъ благотворные, такъ и вредоносные соки непосредственно изъ почвы ею-же разрушеннаго древняго міра, — не питалась и тѣми корнями, которые почерпали пищу изъ глубины германскаго духа. Она не причастна ни европейскому добру, ни европейскому злу; какъ-же можетъ она принадлежать къ Европѣ? Ни истинная скромность, ни истинная гордость не позволяютъ Россіи считаться Европой.

Такъ говорилъ Данилевскій.

Конечно, это совершенный вздоръ. Двухъ послѣднихъ столѣтій нашей цивилизаціи вѣдь не вычеркнешь, потому что въ нихъ явилась во всемъ блескѣ русская геніальность. И европейскому добру, и европейскому злу мы причастны. Каждый шагъ нашъ это доказываетъ.

Кромѣ того, Данилевскій забываетъ общую «пуповину» Россіи и Запада—Византію. Изъ Византіи, этого древлехранилища античной и христіанской цивилизаціи, Россія восприняла начатки цивилизаціи. Но и на Западѣ, послѣ того, какъ римская культура была почти стерта варварами и монахами, выходцы изъ Византіи, ученые греки начали дѣло возрожденія культуры.

Данилевскій—ученикъ знаменитаго натуралиста Бэра. Когда всѣ ученые приняли теорію Дарвина и принципъ эволюціи, Бэръ одинъ пребывалъ вѣрнымъ неподвижнымъ типамъ Кювье. Данилевскій внесъ идею недвижныхъ типовъ въ исторію человѣческой культуры и на ней основалъ теорію самозаключенной «самобытности» націй.

Основное положеніе Данилевскаго: «Начала цивилизаціи одного культурно-историческаго типа не передаются народамъ другого типа».

На дѣлѣ, однако, видимъ, что передаются. Взаимообщеніе народовъ, торговля и войны разносятъ идеи, литературные образцы, формы быта, вкусы, моды изъ очаговъ старѣйшихъ культурныхъ націй во всѣ уголки земного шара, къ младшимъ молодымъ народамъ; движенія мірового духа

охватываютъ народы, распространяясь изъ центровъ древнѣйшихъ культуръ.

«Обще-человѣческая цивилизація не существуетъ и не можетъ существовать, потому что это была бы только невозможная и вовсе не желательная неполнота». Такъ говоритъ Данилевскій. Но ниже принужденъ прибѣгнуть къ идеѣ «человѣчества»: «Народности, національности суть органы человѣчества», читаемъ, на стр. 237 (4-е изд.), посредствомъ которыхъ заключающаяся въ немъ идея достигаетъ, въ пространствѣ и во времени, возможнаго разнообразія, возможной многосторонности осуществленія».

«Народности» суть «органы человѣчества!» Заключающаяся въ человѣчествѣ «идея» развивается въ «народностяхъ!» Но вѣдь это и значитъ признать «общечеловѣческую цивилизацію».

Наконецъ, русскую «самобытность» Данилевскій совершенно топитъ въ имѣющей народиться «всеславянской» цивилизаціи. При этомъ «славянскій типъ будетъ первымъ полнымъ четырехосновнымъ культурно-историческимъ типомъ». Пока же намъ должно отрѣшиться отъ всѣхъ формъ «европейничанья», которыя у Данилевскаго подведены подъ три разряда: 1) искаженіе народнаго быта — одежды, устройства домовъ, домашней утвари, и замѣна формъ быта,— формами чужими, иностранными; 2) заимствованіе разныхъ иностранныхъ учрежденій и пересадка ихъ на русскую почву; 3) взглядъ, какъ на внутреннія, такъ и на внѣшнія отношенія и вопросы русской жизни съ иностранной, европейской точки зрѣнія.

Идея культурно-историческихъ типовъ взята Данилевскимъ у нѣмецкаго историка Генриха Рюккерта (изъ Lehrbuch der Weltgeschichte, 1857), и несомнѣнно, составляетъ иностранную точку зрѣнія. Но Данилевскій развилъ эту идею въ стройную систему. При немногочисленности у насъ трудовъ по философіи исторіи, книга его представляетъ все таки замѣчательное произведеніе. Вмѣстѣ съ тѣмъ это завершительная точка славянофильства. Въ статьѣ «Теорія культурно-историческихъ типовъ» К. Н. Бестужевъ-Рюминъ, пламенный поклонникъ Данилевскаго, говоритъ: «Русской землѣ предлежала и предлежитъ громадная и трудная задача: сознать основы своего бытія, отдѣливъ ихъ отъ всей своей многовѣковой исторіи, и на нихъ воздвигнуть новое зданіе своей цивилизаціи».

«Книга Данилевскаго, представляющая собою систематизацію славянофильскаго воззрѣнія, основанную на широкомъ образованіи и проведенную глубокимъ умомъ, — должна служить поворотнымъ пунктомъ въ движеніи русскаго самосознанія, когда наконецъ съ нею ближе ознакомятся мыслящіе русскіе люди и рѣшатся изучить ее безъ всякаго предубѣжденія». «Славянофилы намѣтили всѣ важнѣйшія основы, на которыхъ должно покоиться зданіе все-славянской цивилизаціи: они развили понятіе о преиму-

ществѣ православія надъ всѣми иными христіанскими исповѣданіями (Хомяковъ, Самаринъ), указали основы русскаго народнаго характера (К. С. Аксаковъ), указали общность всѣхъ славянскихъ народовъ (Валуевъ, Хомяковъ, Погодинъ, Гильфердингъ), противуположность міровъ романо-германскаго и греко-славянскаго (Вл. Ив. Ламанскій)».

«Что-же сдѣлалъ Данилевскій, послѣ этихъ разносторонныхъ изслѣдованій, направленныхъ къ одной цѣли, послѣ вѣщихъ словъ поэтовъ славянства (Хомяковъ, Тютчевъ), послѣ глубоко прочувствованныхъ и пламенно высказанныхъ надеждъ и ожиданій великаго романиста (Достоевскій), послѣ неустанной борьбы съ врагами славянства и равнодушіемъ русской публики великаго публициста (И. С. Аксакова)?»

Намъ кажется, что Данилевскій положилъ гробовую плиту въ видѣ своей книги на направленіе, которое истощило себя до конца, и нынѣ является пустымъ кокономъ, изъ котораго давно вылетѣла бабочка — живая мысль, вступившая въ новые фазисы своей эволюціи.

БИБЛІОГРАФІЯ: Сочиненія Данилевскаго: Россія и Европа, взглядъ на культурныя и политическія отношенія славянскаго міра къ германо-романскому. Спб. 1871 г. 4-е изд. 1889 г. (Заря. 1869. № 1 — 6, 8, 9: 1871. № 1).—Россія и восточный вопросъ. Рус. Рѣчь. 1879. №1 и № 2.— Дарвинизмъ. Т. I. въ 2 ч. и т. II. Спб. 1885—1889.—О немъ: Біографія написана Страховымъ при 3 и 4 изд. «Россія и Европа».—Вл. С. Соловьевъ. Россія и Европа. Вѣстн. Евр. 1888. № 2 и 4. —К. Н. Бестужевъ—Рюминъ. Теорія культурно-историческихъ типовъ. Рус. Вѣстн. 1888. № 5.— Н. Страховъ. Споръ изъ-за книги Н. А. Данилевскаго. Рус. Вѣс. 1889. № 12. — Его-же. Послѣдній отвѣтъ. Вл. Соловьеву. Рус. Вѣстн. 1889. № 2.

§ 4. Прекрасно понимая и усвоивая чужія философскія идеи, мы не произвели въ этой области ни одного значительнаго творенія, останавливаясь, съ одной стороны, на отрывочныхъ набросках, а съ другой стороны воспроизводя въ карикатурномъ и грубомъ видѣ тѣ или другія крайности и односторонности европейской мысли. Шеллингіанство 20-хъ годовъ, гегельянство 30-хъ, увлеченіе соціальными утопіями въ 40-хъ не создало самостоятельной философской мысли въ Россіи. Станкевичъ рано умеръ, не оставивъ почти ничего. И. В. Кирѣевскій, въ 50-хъ годахъ, отрицаетъ германскій идеализмъ и пытается извлечь начала новой философіи у аскетическихъ писателей православнаго Востока, но все кончается двумя журнальными статьями. Бакунинъ, рьяный гегельянецъ, создаетъ на Западѣ анархическое ученіе. Въ 60-хъ годахъ русская популярно-философская литература отражала въ преувеличенномъ и карикатурномъ видѣ реакцію противъ философскаго идеализма, происшедшую въ умственномъ мірѣ Европы. Умозрѣніе признано было печальнымъ заблужденіемъ; кораномъ

сталъ нѣмецкій матеріализмъ, вышедшій изъ лѣвой гегельянства, французскій позитивизмъ и англійскій эмпиризмъ и утилитаризмъ. Въ 70-хъ Н. К. Михайловскій предпринялъ борьбу съ Дарвиномъ, Спенсеромъ и Контомъ... Вообще, съ середины семидесятыхъ годовъ замѣчается у насъ довольно сильная реакція противъ безраздѣльно господствовавшихъ передъ тѣмъ ученій матеріализма и позитивизма. Въ 80-хъ годахъ эта реакція достигла кульминаціоннаго пункта. Идеи Достоевскаго, гр. Л. Н. Толстого, Владиміра Соловьева обратили общество къ вопросамъ религіи и нравственности.

Владиміръ Сергѣевичъ Соловьевъ (род. въ 1853 г. ум. 1900 г.) сынъ знаменитаго историка, докторъ философіи, кончилъ историко-филологическій факультетъ моск. университета въ 1873 г., потомъ слушалъ лекціи въ духовной академіи. Изъ первыхъ философскихъ трудовъ его замѣчательны: «Кризисъ западной философіи противъ позитивистовъ» (1874 г.); «Чтенія о Богочеловѣчествѣ» (1878—1881); «Критика отвлеченныхъ началъ» (1877—1880); «Три рѣчи въ память Достоевскаго» (1884); «Религіозныя основы жизни» (1884); «Исторія и будущность теократіи» (Загребъ 1887); «L'idée Russe» (Paris, 1888); «La Russie et l'Eglise Universelle» Paris, 1889); «Очерки изъ исторіи русскаго сознанія» (1889). Партія московскихъ православныхъ, славянофиловъ и націоналистовъ выдвинула этого геніальнаго человѣка съ кристально-чистымъ сердцемъ, какъ защитника и толкователя нравственныхъ авторитетовъ христіанства, церкви и государства. Когда онъ выступилъ на каѳедрѣ сначала московскаго, потомъ петербургскаго университета, молодежь была увлечена его духовной, аскетической красотой, пламенной рѣчью. Но не долго стоялъ на каѳедрѣ Владиміръ Соловьевъ. Въ 1881 году онъ ее потерялъ, послѣ лекціи, въ которой высказался противъ смертной казни. Карьера профессорская его сломана, и въ послѣдующіе годы онъ въ сущности не имѣлъ въ литературѣ, гдѣ главу преклонить... Изъ лагеря славянофиловъ онъ переходитъ въ лагерь западниковъ. Его статьи начинаютъ появляться въ «Вѣстникѣ Европы». Вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ подвергаетъ рѣзкой критикѣ славянофиловъ и въ частности теорію культурно-историческихъ типовъ Данилевскаго. Онъ увлекается идеей соединенія церквей. Для 80-хъ годовъ и конца столѣтія Владиміръ Соловьевъ является центральной личностью, подобно Грановскому, Чаадаеву, Станкевичу, Веневитинову для первой половины вѣка. Въ немъ именно былъ тотъ темпераментъ русскаго вождя мысли, который выражается полнымъ безкорыстіемъ и самозабвеніемъ, преданностью только идеалу и духовной свободой. Владиміръ Соловьевъ послѣднимъ станетъ въ свиткѣ святыхъ именъ литературы XIX-го столѣтія.

Это не мѣшаетъ, конечно, критикѣ его взглядовъ.

Такъ, при всемъ ихъ возвышенномъ характерѣ, идеи, высказанныя въ

трактатѣ Владиміра Соловьева «Національный вопросъ въ Россіи», совершенно наивны, ибо соглашены не съ наличною дѣйствительностью русской исторіи и жизни, а только съ прекраснымъ сердцемъ философа.

Въ предисловіи ко второму изданію этой книги авторъ говоритъ: «Національный вопросъ для многихъ народовъ есть вопросъ о ихъ существованіи. Въ Россіи такого вопроса быть не можетъ. Тысячелѣтнею историческою работою создалась Россія, какъ единая, независимая и великая держава... Національный вопросъ въ Россіи есть вопросъ не о существованіи, а о достойномъ существованіи».

«Человѣкъ существуетъ достойно, когда подчиняетъ свою жизнь и свои дѣла нравственному закону и направляетъ ихъ къ безусловнымъ нравственнымъ цѣлямъ. Ложный и вредный предразсудокъ, отдѣляющій политику отъ нравственности, мѣшаетъ прилагать къ жизни народовъ высшія требованія личной жизни. Но по истинѣ нравственный законъ одинъ для всѣхъ и во всемъ. Область вопросовъ политическихъ есть лишь новая, болѣе широкая и сложная сфера для примѣненія тѣхъ самыхъ идеальныхъ началъ, которыми должна управляться личная дѣятельность каждаго. Здравая политика есть лишь искусство наилучшимъ образомъ осуществлять нравственныя цѣли въ дѣлахъ народныхъ и международныхъ. Поэтому руководящимъ мотивомъ политики должны быть не корысть и не самолюбіе національное, а долгъ и обязанность».

Прекрасно, но пусть-же не одна Россія, но и Англія, Германія, Японія, и т. д., руководящимъ мотивомъ политики, имѣютъ не «корысть», а самоотверженіе! Если же этого не будетъ, то къ чему-же спѣшить? Неужели разыграть роль кроткаго барашка среди зубастыхъ волковъ?

Далѣе Владиміръ Соловьевъ требуетъ прямо политики «самоотверженія», которой мы платили столько дани, сражаясь за чужіе алтари и престолы!

«Нравственный долгъ требуетъ отъ народа прежде всего, чтобы онъ отрекся отъ національнаго эгоизма». Разсматривая призваніе Варяговъ и реформу Петра Великаго, какъ «два акта національнаго самоотреченія», Владиміръ Соловьевъ утверждаетъ, что «намъ еще предстоитъ рѣшительный, вполнѣ сознательный и свободный актъ національнаго самоотреченія».

Въ чемъ-же будетъ состоять это самоотреченіе? Въ положительной духовной реформѣ, въ возсоединеніи церквей, въ отреченіи отъ церковной исключительности и замкнутости, въ свободномъ и открытомъ общеніи съ духовными силами Церковнаго Запада.— т. е. въ признаніи главенства Папы...

Опять таки, на это можно сказать: пусть Папа и западъ начнутъ, а мы подождемъ...

«Этому исполненію нашего нравственнаго долга (возсоединенію церк-

вей), по мнѣнію Владиміра Соловьева, препятствуетъ лишь неразумный псевдо-патріотизмъ».

Европа съ враждою и опасеніемъ смотритъ на насъ потому, что при темной и загадочной стихійной мощи русскаго народа, при скудости и несостоятельности (?) нашихъ духовныхъ и культурныхъ силъ, притязанія (?) наши и явны, и опредѣленны, и велики. Въ Европѣ громче всего (?) раздаются крики нашего «націонализма», который хочетъ разрушить (?) Турцію, разрушить Австрію, разгромить (?) Германію, забрать Царьградъ, при случаѣ, пожалуй и Индію. А когда спрашиваютъ насъ, чѣмъ же мы взамѣнъ забраннаго и разрушеннаго — одаримъ человѣчество, какія духовныя и культурныя начала внесемъ въ всемірную исторію, — то приходится или молчать, или говорить безсмысленныя фразы...

Самый существенный, даже единственно существенный вопросъ для истиннаго, зрячаго патріотизма есть вопросъ не о силѣ и призваніи, а о «грѣхахъ Россіи»[285]).

Опять таки, неужели у одной Россіи и русскаго человѣка «грѣхи», а у другихъ народовъ нѣтъ никакихъ «грѣховъ»? Пусть же они начнутъ каяться, а мы уже за ними.

§ 3. Критика представляется въ восьмидесятыхъ годахъ бывшими сотрудниками «Отечественныхъ Записокъ» — Александромъ Михайловичемъ Скабичевскимъ (авторомъ «Исторіи русской цензуры» и «Исторіи новѣйшей русской литературы») и Николаемъ Константиновичемъ Михайловскимъ, затѣмъ Николаемъ Николаевичемъ Страховымъ и Викторомъ Петровичемъ Буренинымъ. По закрытіи «Отеч. Зап.» г. Михайловскій работалъ сначала въ «Сѣверномъ Вѣстникѣ», затѣмъ становится сначала пайщикомъ, а потомъ и собственникомъ журнала «Русское Богатство».

Страховъ род. 16 октября 1828 г., умеръ 26 января 1896 г. Въ 1883 г. вышли двѣ книжки его «Борьба съ Западомъ въ нашей литературѣ». Человѣкъ съ громадными естественно-научными и философскими знаніями, Страховъ тѣмъ не менѣе, какъ и Михайловскій, прежде всего былъ человѣкомъ партіи; такъ-же лишенный темперамента писатель, онъ цѣненъ только въ своихъ немногихъ, чисто эстетическихъ работахъ, какъ представитель художественной критики и тонкій знатокъ словесныхъ красотъ поэзіи. Вліяніе его на общество было совершенно ничтожно.

Викторъ Петровичъ Буренинъ, сынъ свободнаго художника, родился въ Москвѣ, въ 1841 году и воспитывался въ Архитектурномъ Училищѣ. Въ литературѣ онъ выступилъ съ юмористическими стихами въ 1862—1866 г.г. въ «Искрѣ». Много переводилъ изъ западныхъ поэтовъ въ «Со-

[285]) Національный вопросъ. Изд. 2-е. 188 г. Стр. 208 и 209.

временникѣ» и «Вѣстникѣ Европы». И какъ юмористъ, и какъ переводчикъ онъ чрезвычайно даровитъ. Съ 1865 года Буренинъ писалъ блестящіе фельетоны за литерою «Z» подъ заглавіемъ «Журналистика» въ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ» редакціи Валентина Корша. Но только въ восьмидесятыхъ годахъ, ведя еженедѣльный критическій фельетонъ въ «Новомъ Времени», Буренинъ занялъ въ литературѣ такое значительное положеніе, что его вполнѣ можно назвать «критикомъ восьмидесятыхъ годовъ»[286]). Хотя у Буренина есть прекрасная работа о Тургеневѣ, но не въ положительныхъ оцѣнкахъ его главная сила. Пародія, памфлетъ, ѣдкая насмѣшка, бичующій сарказмъ — вотъ гдѣ онъ порою неподражаемъ, тонокъ, холодно-ядовитъ, порою-же пересаливаетъ, становится вульгаренъ. За долгую дѣятельность, при желчности и раздражительности пера, при непрерывности и спѣшности газетной работы, Буренинъ оказался повиненъ и въ напрасныхъ выходкахъ. Тѣмъ не менѣе, этому писателю нельзя отказать въ сильномъ темпераментѣ. У него вѣрный вкусъ, глазъ, критическое чутье, большой здравый смыслъ и обширная литературная эрудиція. Одинъ молодой писатель сказалъ, что у Буренина «настоящій злой смѣхъ». Можно еще сдѣлать ему упрекъ, что онъ часто тратилъ ядъ своего сарказма на осмѣиваніе всякихъ прыщей, бородавокъ, паршей и злокачественныхъ сыпей, въ обиліи украсившихъ къ концу вѣка лицо утомленной русской литературы. Однако, кто знаетъ? Безъ смѣха Буренина, эти парши и сыпи, прыщи и бородавки быть можетъ спокойно бы множились и множились, невѣждами принимались за «новыя мозговыя линіи» и понижали-бы вкусъ общества. Буренинъ—это критическій «чистотѣлъ».

Даровитый и неистощимый въ пародіи, памфлетѣ, эпиграммѣ, въ саркастической критикѣ, превосходный переводчикъ, въ попыткахъ оригинальныхъ созданій слабоватъ. Какъ критикъ, Буренинъ еще тѣмъ значителенъ, что поставилъ себя совершенно внѣ всякихъ партій, чуждъ педантскаго «направленства» и, благодаря этому, могъ хлестать своимъ критическимъ бичомъ и правую и лѣвую нашей литературы, судя по существу, а не по принадлежности къ приходу и отмѣткамъ о «либеральномъ

---

[286]) «Буренинъ есть безспорно одна изъ самыхъ замѣтныхъ фигуръ въ нашей текущей литературѣ... Версификаторская ловкость г. Буренина, его мелкое, но безспорное остроуміе, его «бойкое перо» вообще создали ему въ литературѣ извѣстное положеніе». (Сочиненія Н. К. Михайловскаго. Спб. 1897 г. Томъ шестой. Дневникъ читателя 1886 г., столбецъ 415 и 427-й). Приводимъ эту оцѣнку, какъ мнѣніе «врага». Въ той-же статьѣ Михайловскій горько жалуется на то обстоятельство, что «бывали и въ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ» (В. Корша), и въ «Новомъ Времени» (А. С. Суворина) такіе мѣсяцы, даже цѣлые годы, когда не проходило недѣли, чтобы г. Буренинъ, по крайней мѣрѣ разъ, а то и больше, не помянулъ мое имя всуе» (столбецъ 433-й).

поведенія». Это именно поставило его выше прочихъ критиковъ разсматриваемаго десятилѣтія, изъ которыхъ особенно слабъ Н. К. Михайловскій. Можно про него сказать, что занимаясь всю жизнь упроченіемъ своей популярности и гражданской своей постановкой, въ качествѣ новаго столпника, что сорокъ лѣтъ «воплощенной укоризною стоялъ передъ отчизною», Н. К. Михайловскій совсѣмъ забылъ быть писателемъ.

Образцомъ критической близорукости, узости, недальновидности и совершенной неспособности охватить ростъ писателя, является его оцѣнка Достоевскаго въ статьѣ: «Жестокій талантъ» (1882).

«Богъ съ нимъ, такъ говоритъ въ началѣ своей статьи г. Михайловскій, съ этимъ вздоромъ о роли Достоевскаго, какъ духовнаго вождя русскаго народа». Хотя г. Михайловскій «опять» говоритъ о Достоевскомъ, «и, можетъ быть, это повторится еще не разъ», но не думайте, что Достоевскій этого особенно заслуживаетъ. «Не то чтобы Достоевскій представлялъ собою одинъ изъ тѣхъ центровъ русской умственной жизни, къ которымъ критика должна волей — неволей часто возвращаться, въ виду бьющаго въ нихъ общаго пульса. Есть люди, которые желали-бы сдѣлать изъ него нѣчто подобное; но, не смотря на старательность этихъ людей, принимающихся за свое дѣло съ терпѣніемъ дятла, ничего какъ-то изъ ихъ усилій не выходитъ».

Михайловскому представляется, что «какіе-то совсѣмъ другіе люди занимаютъ сцену», а память Достоевскаго уже «погибе съ шумомъ».

Что-же такое Достоевскій? «Жестокій талантъ». «Жестокость и мучительство всегда занимали Достоевскаго и именно со стороны ихъ привлекательности, со стороны какъ бы заключающагося въ мучительствѣ сладострастія». «Никто въ русской литературѣ не анализировалъ ощущеній волка, пожирающаго овцу, съ такою тщательностью, глубиною, съ такою, можно сказать, любовью, какъ Достоевскій... Онъ рылся въ самой глубокой глубинѣ волчьей души, разыскивая тамъ вещи тонкія, сложныя — не просто удовлетвореніе аппетита, а именно сладострастіе злобы и жестокости». Достоевскій «просто любилъ травить овцу волкомъ». «Онъ выматываетъ изъ себя передъ читателемъ душу, стараясь дорыться до самаго ея дна и показать это дно во всей его грязи и гадости». «Точно какой-нибудь неряха прокаженный снимаетъ передъ тобой одну за другой грязныя тряпки съ своихъ гноящихся, вонючихъ язвъ». Далѣе г. Михайловскій отожествляетъ Достоевскаго съ Ѳомою Опискинымъ изъ повѣсти великаго психолога «Село Степанчиково», съ Иваномъ Грознымъ, Нерономъ «и другими жрецами чистѣйшаго и утонченнѣйшаго искусства мучительства». Яко-бы Достоевскій проповѣдывалъ, что «какъ въ экономіи природы существуютъ волки и овцы, такъ въ экономіи взаимныхъ людскихъ отношеній существуютъ и должны существовать мучители и мученики». «Поэтому общій порядокъ вещей, создающій мучителей и мучениковъ, представляетъ собою нѣчто священное

и неприкосновенное, и Достоевскій на разнообразныя манеры преслѣдовалъ всѣхъ, кто словомъ, дѣломъ или помышленіемъ посягалъ на этотъ неприкосновенный общій порядокъ».

Ѳома Опискинъ «вѣроятно, подалъ-бы руку Каткову и почтилъ бы его дѣятельность своимъ сочувствіемъ и уваженіемъ, но ему лично нуженъ только самый процессъ мучительства. Онъ, напримѣръ, былъ бы очень счастливъ, если-бы имѣлъ возможность пилить своей словесной пилой сто тысячъ человѣкъ изо-дня въ день, но не до умерщвленія, а такъ чтобы они неустанно корчились отъ душевной боли, а онъ-бы ихъ все пошпыливалъ, да потыкивалъ, да поджаривалъ». Благодаря беллетристическому таланту, Достоевскій имѣлъ эту возможность. Отличительное свойство «Жестокаго Таланта» — ненужность причиняемаго имъ страданія, безпричинность его и безцѣльность.

Отъ бездѣлья, или «если дѣло есть», но «постороннія обстоятельства не позволяютъ (?) его дѣлать», то общество «обращается къ разнымъ низменнымъ ненужностямъ наркотическаго свойства». Талантъ «такъ предъявитъ вамъ свое ненужное, невозможное, невѣроподобное, уродливое фантастическое, что вы не оторветесь», «перестрадаете предъявленное вамъ страданіе». «Возбужденіе, опредѣляемое ненужною жестокостью автора, станетъ потребностью, столь же сильною, какъ испанская потребность въ боѣ быковъ и римская потребность въ зрѣлищахъ».

Итакъ, произведенія Достоевскаго — «низменныя ненужности наркотическаго свойства»? Да. «Независимо отъ представленныхъ имъ поэтическихъ образцовъ ненужной жестокости, Достоевскій самъ былъ однимъ изъ любопытнѣйшихъ ея живыхъ образцовъ. Онъ былъ именно тотъ жестокій талантъ, о которомъ сейчасъ шла рѣчь...» —

«Вся политика и публицистика Достоевскаго представляетъ сплошное шатаніе и сумбуръ, въ которомъ есть, однако, одна самостоятельная, оригинальная черта: ненужная, безпричинная, безрезультатная жестокость».

БИБЛІОГРАФІЯ: Произведенія Страхова: О методѣ естественныхъ наукъ. Спб. 1865 г.—Значеніе гегелевой философіи. Свѣточъ. 1860. № 1.—Міръ, какъ цѣлое. Спб. 1872 г.—Борьба съ западомъ въ нашей литературѣ. 2 кн. Спб. 1883. Изд. 2-е.—Объ основныхъ понятіяхъ психологіи и физіологіи—(мой споръ о спиритизмѣ). Спб. 1887.—Замѣтки о Пушкинѣ и другихъ поэтахъ.—Произведенія Буренина: Былое. Стихотворенія. 2-е изд. Спб. 1897 г. — Голубые звуки и бѣлыя поэмы. Спб. 2-е изд. 1896 г. — Смерть Агриппины. Драма въ 5-ти д. Спб. 1886 г. — Комедія о княжнѣ Забавѣ Путятишнѣ. М. 1890 г.—Памфлеты: Пипа и Пуся; Мертвая нога: Хвостъ и др.—Произведенія Михайловскаго: Сочиненія. 6 томовъ. Спб. 1896 -1897 г. —Литературныя воспоминанія и современная смута. 2 т. Спб. 1900 г. Въ перв. томъ автобіографическія данныя. —О немъ: А. Красносельскій. Міровоззрѣніе гуманиста нашего времени. Спб. 1900 г.—Н. Бердяевъ. Субъективизмъ и индивидуализмъ

въ общественной философіи. Критическій этюдъ о Н. К. Михайловскомъ. Съ предисл. Петра Струве. Спб. 1901 г. — С. Ранскій. Соціологія Н. К. Михайловскаго. Спб. 1900 г.—Я. Абрамовъ. По разнымъ вѣдомствамъ. Недѣля. 1898 г. № 7. — П. Струве. На разныя темы (о марксизмѣ и г. Михайловскомъ). Міръ Божій. 1901 № 6. — М. Филипповъ. Литературная дѣятельность г. М—го. Русск. Бог. 1887. № 2. О. Батюшковъ. Критикъ уравнитель. Образованіе. 1900 г. № 12. — «На славномъ посту». (1860—1900). Литературный сборникъ. Посвященный Н. К. Михайловскому. Спб. 1901 г.

§ 6. Уже восьмая часть «Анны Карениной» отражаетъ новую фазу, въ которую съ конца семидесятыхъ годовъ вступилъ «великій писатель земли русской» графъ Левъ Николаевичъ Толстой. Разсудочность, поученіе взяли верхъ надъ образнымъ творчествомъ, и въ разсматриваемое десятилѣтіе Толстой главнымъ образомъ отдавался нравственно-философской публицистикѣ. Въ тѣхъ художественныхъ произведеніяхъ, которыя онъ далъ въ 80-е годы, то же учительство беретъ верхъ и обнажаетъ скелетъ замысла. Мы въ нихъ видимъ рисунокъ великаго мастера, но уже красокъ нѣтъ, только положены тѣни и что-то византійское, сухое, аскетическое, чувствуется во всей компановкѣ.

Толстой пишетъ комментаріи къ Евангелію, переводя его на ново съ греческаго. Это колоссальный трудъ, но весь онъ основанъ на филологическомъ анализѣ отдѣльныхъ словъ. Читая толкованіе на начало Евангелія Іоанна, гдѣ вмѣсто: «Въ началѣ было Слово» — Толстой ставитъ: «Въ началѣ было Разумѣніе Жизни», предъ нами воскресаетъ сцена изъ «Фауста». Фаустъ думаетъ перевести на родной языкъ Писаніе:

Написано: «въ началѣ было Слово»—
И вотъ уже препятствіе готово.
Я слово не могу такъ высоко̀ цѣнить:
Да, въ переводѣ текстъ я долженъ измѣнить.
Я напишу, что Разумъ былъ въ началѣ.
Но слишкомъ, кажется, опять я сталъ спѣшить
И мысли занеслись и въ заблужденье впали:
Не можетъ разумъ все творить и созидать.
Нѣтъ, Силу слѣдуетъ началомъ называть!
Пишу—и вновь беретъ меня сомнѣнье!
Невѣрно мнѣ сказало вдохновенье.
Но свѣтъ блеснулъ—и выходъ вижу я:
Въ Дѣяніи начало бытія!

И какъ разъ послѣ этого монолога изъ пуделя вылѣзаетъ Мефистофель въ одеждѣ странствующаго схоласта...

Терминъ «разумѣніе жизни» — весьма почтенная московская древность. Его въ 30-хъ годахъ создалъ шеллингіанецъ Станкевичъ.

Слова: «Блаженны нищіе духомъ» Толстой переводитъ такъ: «Блаженны

вы нищіе, бродяги, вы блаженны» и утверждаетъ, что здѣсь въ греческомъ текстѣ стоитъ слово «птахосъ» — нищій, бродяга, босякъ. Итакъ буквально и надо понимать. Туманное ученіе о «разумѣніи жизни» дополняется ученіемъ о «непротивленіи злу» и даже о «недѣланіи», въ смыслѣ уклоненія отъ передѣлки дурного строя жизни въ чаяніи создать нѣчто лучшее. «Деньги сами по себѣ зло. И потому, кто даетъ деньги, тотъ даетъ зло». («О переписи въ Москвѣ» 1882 г.). Ученіе Толстого быстро распространилось и въ Россіи, и заграницей, особенно въ Америкѣ, хотя настоящихъ дѣятельныхъ послѣдователей «толстовства» оказалось немного. По этому ученію Іисусъ Христосъ самый обыкновенный, смертный человѣкъ. Онъ только училъ людей «не дѣлать глупостей», а именно «не присягать», «не воевать», «не противиться злу», «не судить и не судиться», «не разводиться съ женами». Къ этому самъ уже Толстой прибавилъ въ видѣ «первой ступени» заповѣди: «Не курить», «не пить спиртного», «не ѣсть убоины». Выраженное съ убѣжденностью и съ обнаженной силлогистикой, съ притчами-примѣрами почти равными, подобнымъ же формамъ въ философіи индусовъ, ученіе Толстого поразило западныхъ людей. Но его невозможно разсматривать отрѣшенно отъ той почвы русской жизни и эволюціи русскаго самосознанія, на которой оно развилось, какъ и анархическое ученіе Бакунина, какъ и мечты объ аллюминіевыхъ дворцахъ Чернышевскаго. Кромѣ естественной почвы идей народничества, стараго шеллингіанства, идей Руссо, на которой выросла вся литература семидесятыхъ годовъ, на Толстого имѣли сильное вліяніе скандинавскіе писатели и англійскій критикъ Раскинъ.

Толстой относится съ полнымъ отрицаніемъ ко всѣмъ формамъ цивилизаціи, къ наукѣ, къ искусству, къ государству, къ церкви. Увѣряя, что онъ получилъ вѣру отъ народа, отъ него научился жить «по божьи», «для души» Толстой однако отвергаетъ всѣ историческія, народныя святыни. Всѣ заповѣди его чисто отрицательныя. Безпощаденъ онъ и къ прошлой своей дѣятельности, какъ художника-романиста.

Наука стала раздавательницей дипломовъ на праздность, говоритъ Толстой въ статьѣ «О назначеніи науки и искусства». Все значеніе научной науки только въ этомъ. Съ страшными борьбою и трудомъ люди понемногу высвободились изъ многихъ обмановъ. И вотъ, новый, еще злѣйшій обманъ выросъ на пути людей — обманъ научный. Царствующая наука съ обманной торжественностью заявляетъ, что разрѣшеніе всѣхъ (когда же она говорила, что «всѣхъ?») вопросовъ жизни возможно только изученіемъ фактовъ природы и въ особенности организмовъ. Легковѣрная толпа молодежи бросается на изученіе этихъ фактовъ въ естественныхъ наукахъ, проводятъ лучшіе годы въ отвыканіи отъ жизни, дѣлаются ни на что негодными паразитами, умственно вывихиваютъ себѣ мозги и становятся скопцами

мысли. И по мѣрѣ оглупѣнія пріобрѣтают самоувѣренность, лишающую ихъ уже навсегда возможности возврата къ простой, трудовой жизни, къ простому, ясному («Таё... таё?») и общечеловѣческому мышленію».

Можно бы возразить, что молодые люди дѣлаются, изучивъ ту или другую науку, хотя и не всезнающими, но все же полезными членами общества: докторами, техниками, строителями и т. д. Но это ни къ чему не поведетъ. Докторами? Лѣчить нажитыя въ развратѣ болѣзни? Строителями? Строить безполезные города, «гдѣ люди въ кучахъ, за оградой, не дышатъ утренней прохладой» и т. д. Далѣе идетъ и отрицаніе искусства, въ видѣ шаблонной софистики: «Живописецъ, для изготовленія своихъ великихъ произведеній, долженъ имѣть студію, по крайней мѣрѣ, такую, въ которой могла бы работать артель человѣкъ въ 40 столяровъ или сапожниковъ». Вѣдь это лишь новая перелицовка знаменитаго положенія 60-хъ годовъ о томъ, что «сапоги полезнѣе Рафаэля»! Живописецъ долженъ уступить студію артели сапожниковъ; ибо гнусно, что онъ одинъ занимаетъ помѣщеніе на сорокъ человѣкъ! «Тратятъ милліоны на поощреніе искусствъ, а произведенія этого искусства и не понятны, и не нужны народу».

Въ дальнѣйшихъ своихъ разсужденіяхъ Толстой прямо идетъ по стопамъ Писарева. Его тирады вполнѣ сходятся; это то же знаменитое «отреченіе отъ Пушкина».

«Гладкихъ, жирующихъ и самодовольныхъ мыслителей и художниковъ не бываетъ, — говоритъ Толстой. Духовная дѣятельность и выраженіе ея, дѣйствительно, нужныя для другихъ, есть самое тяжелое призваніе человѣка — крестъ, какъ выражено въ Евангеліи. И единственный, несомнѣнный признакъ присутствія призванія есть самоотверженіе, есть жертва собой, для проявленія вложенной въ человѣка на пользу другимъ людямъ силы. Безъ мукъ не рождается и духовный плодъ».

Святыя, великія слова! Сравните ихъ съ опредѣленіемъ поэта, которое даетъ Писаревъ, въ противоположность лирикамъ-козявкамъ, «копающимся въ цвѣточной пыли».

Но далѣе: «Учить тому, сколько козявокъ на свѣтѣ, разсматривать пятна на солнцѣ, писать романы и оперу — можно не страдая; но учить людей ихъ благу, которое все только въ отверженіи отъ себя и служеніи другимъ, и выражать сильно это ученіе, нельзя безъ отреченія».

Во первыхъ, и художникъ, и ученый — безъ страданій, тяжкаго труда, безъ любви къ людямъ, безъ жажды добра, безъ самоотверженія ничего не создаютъ. Вспомнимъ исторію наукъ и искусствъ! Вспомнимъ праведниковъ и мучениковъ знанія! Ихъ у науки и искусства не меньше, чѣмъ у религіи. А во вторыхъ, почему это люди такъ охотно берутъ и съ благодарностью отъ ученаго и художника плоды его трудовъ (народъ — расписанный живописцемъ и воздвигнутый ученымъ архитекторомъ храмъ, хотя

бы!), столь веселыхъ и легкихъ, а постное и угрюмое правоученіе ихъ заставляетъ томительно зѣвать?

Ничтожество и бездѣйственность правоученія всего лучше изобразилъ самъ Левъ Толстой. Во время переписи въ Москвѣ, въ какой-то трущобѣ, Толстой находитъ низкопробныхъ дѣвъ веселья. Онъ спросилъ одну изъ нихъ: «Чѣмъ занимаетесь?» Она засмѣялась, не отвѣчая. «Чѣмъ кормитесь?» «Въ трактирѣ сижу», сказала женщина. Толстой не понялъ и вновь спросилъ: «Чѣмъ вы живете?» Она не отвѣчала и засмѣялась. Изъ сосѣдней каморки тоже засмѣялись женскіе голоса. «Что болтать зря», презрительно сказалъ хозяинъ, — «въ трактирѣ сижу!» Въ трактирѣ сидишь, значитъ и говори дѣло — проститутка. Себѣ имени не знаетъ то же...

Тонъ этотъ оскорбилъ Толстого.

— Намъ ее срамить не приходится, — сказалъ онъ, — кабы мы всѣ по Божьи жили, и ихъ бы не было.

— Да, ужъ это такое дѣло, сказалъ хозяинъ, неестественно улыбаясь.

— Такъ намъ ихъ не укорять, а жалѣть надо. Развѣ онѣ виноваты?

Только что я сказалъ это, какъ изъ той каморки, изъ которой слышался смѣхъ, заскрипѣли доски кроватей, и надъ перегородкой, не доходящей до потолка, поднялась одна спутанная женская курчавая голова съ маленькими запухшими глазами и глянцевито-краснымъ лицомъ, а вслѣдъ за ней другая и еще третья. Онѣ, видно, встали на свои кровати и всѣ три вытянули шеи и, сдерживая дыханіе, съ напряженнымъ вниманіемъ, молча, смотрѣли на насъ».

«Произошло смущенное молчаніе. Студентъ, улыбавшійся передъ этимъ, сталъ серьезенъ; хозяинъ смутился и опустилъ глаза. Женщины всѣ не переводили дыханія, смотрѣли на меня и ждали. Я былъ смущенъ болѣе всѣхъ. Я никакъ не ожидалъ (sic!) чтобы случайно (sic!) брошенное слово произвело такое дѣйствіе. Точно поле смерти, усыпанное мертвыми костями, дрогнуло бы отъ прикосновенія духа, а мертвыя кости бы зашевелились. Я сказалъ необдуманное слово любви и сожалѣнія, и слово это подѣйствовало на всѣхъ такъ, какъ будто всѣ только и ждали этого слова, чтобы перестать быть трупами и ожить. Онѣ всѣ смотрѣли на меня и ждали, что̀ будетъ дальше. Онѣ ждали, чтобъ я сказалъ тѣ слова и сдѣлалъ тѣ дѣла, отъ которыхъ кости бы эти стали сближаться, обростать плотью и оживляться. Но я чувствовалъ, что у меня нѣтъ такихъ словъ, нѣтъ такихъ дѣлъ, которыми бы я могъ продолжать начатое; я чувствовалъ въ глубинѣ души, что я солгалъ, что мнѣ дальше говорить нечего, и я сталъ записывать въ карточки имена и званія всѣхъ лицъ въ этой квартирѣ».

И далъ правдивѣйшую и гуманнѣйшую страницу для русской литературы!

Совершенно безсильный, какъ проповѣдникъ, безъ «словъ», хотя и много-

словный, и «безъ дѣлъ», которому послѣ шаблонныхъ наставленій дальше говорить нечего». Толстой, какъ художникъ, нѣсколькими штрихами нарисовалъ изумительную картину, которой навѣрное воспользуется когда-нибудь геніальный живописецъ. Видишь, какъ живыхъ, и этого самодовольнаго хозяина-мѣщанина, и съ смущеннымъ смѣхомъ объясняющую и прикрывающую свое позорное занятіе блудницу, и эти изумленно-откликнувшіяся на слово сожалѣнія головы товарокъ надъ перегородкой. Подсмотрѣнный мигъ пробужденія души въ этихъ озвѣрѣлыхъ существахъ на вѣки закрѣпилъ карандашъ Толстого, но Толстого — художника, а не богослова-проповѣдника.

II.

§ 1. Еще въ 1870 г., въ письмѣ къ Ап. Н. Майкову отъ 25 марта, Достоевскій писалъ о замыслѣ большого романа: «Это будетъ мой послѣдній романъ, пророчески говоритъ онъ. Этотъ романъ будетъ состоять изъ пяти большихъ повѣстей... Общее названіе романа есть: «Житіе великаго грѣшника»... Вторая повѣсть будетъ происходить вся въ монастырѣ. На эту вторую повѣсть я возложилъ всѣ мои надежды. Можетъ быть, скажутъ наконецъ, что не все писалъ пустяки. (Вамъ одному исповѣдуюсь, Аполлонъ Николаевичъ: хочу выставить во второй повѣсти главною фигурой Тихона Задонскаго, конечно, подъ другимъ именемъ; но тоже архіерей будетъ проживать въ монастырѣ на покоѣ). 13-лѣтній мальчикъ, участвовавшій въ совершеніи уголовнаго преступленія, развитый и развращенный (я этотъ типъ знаю), будущій герой всего романа, посаженъ въ монастырь родителями (кругъ нашъ, образованный), и для обученія. Волченокъ и нигилистъ — ребенокъ сходится съ Тихономъ (вы, вѣдь, знаете характеръ и все лицо Тихона). Тутъ же, въ монастырѣ, посажу Чаадаева (конечно, подъ другимъ тоже именемъ). Почему Чаадаеву не посидѣть годъ въ монастырѣ?.. Но главное — Тихонъ и мальчикъ. Ради Бога, не передавайте никому содержанія этой второй части... Я вамъ исповѣдуюсь. Для другихъ пусть это гроша не стоитъ, но для меня — сокровище. Не говорите-же про Тихона. Я написалъ о монастырѣ Страхову, но про Тихона не писалъ. Авось, выведу величавую, *положительную* (курсивъ Достоевскаго), святую фигуру».

«Кто не узнаетъ, говоритъ В. В. Розановъ, въ торопливыхъ и разбросанныхъ строкахъ этого письма первый очеркъ «Братьевъ Карамазовыхъ», съ его старцемъ Зосимою и съ чистымъ образомъ Алеши, съ развитымъ и развращеннымъ, правда, уже не мальчикомъ («желторотымъ», однако, по собственному опредѣленію), но молодымъ человѣкомъ Иваномъ Карамазовымъ, съ поѣздкою въ монастырь (помѣщикъ Міусовъ — очевидно, передѣланная фигура Чаадаева) и сценами монастырской жизни и пр.».

Въ «Подросткѣ», въ сценѣ встрѣчи старца—странника съ «развитымъ», если не «развращеннымъ» мальчикомъ—подросткомъ уже видимъ первую попытку сопоставленія народнаго, подвижническаго идеала съ «интеллигентомъ».

Въ 1879 г. Достоевскій ѣздилъ въ знаменитую Оптину Пустынь, чтобы обновить свои воспоминанія о монастырской жизни. Въ старцѣ этого монастыря, знаменитомъ Амвросіи, онъ, вѣроятно, нашелъ нѣсколько драгоцѣнныхъ и живыхъ чертъ для задуманнаго имъ положительнаго образа. Четырнадцать книгъ, составляющія четыре части (съ эпилогомъ) «Братьевъ Карамазовыхъ», представляютъ собою выполненіе, уже доведенное до конца, перваго отдѣла обширной художественной эпопеи. Въ предисловіи къ роману Достоевскій говоритъ: «Хотя жизнеописаніе у меня одно, но романовъ два. Главный романъ—второй: это дѣятельность моего героя уже въ наше время, или въ нашъ теперешній текущій моментъ. Первый-же романъ произошелъ еще тридцать лѣтъ назадъ—есть почти даже и не романъ, а лишь одинъ моментъ изъ первой юности моего героя. Обойтись мнѣ безъ этого перваго романа невозможно, потому что многое во второмъ романѣ стало-бы непонятнымъ». Конечно, Достоевскій дѣлаетъ хронологическую ошибку. Дѣйствіе его перваго романа происходитъ въ пореформенное время, при новомъ судѣ съ присяжными, адвокатѣ Фетюковичѣ и проч. Въ 80-мъ году нельзя было сказать, что романъ произошелъ «тридцать лѣтъ назадъ», т. е. въ 1850 году.

Но очевидно, передъ нами только «не главный», первый романъ, а второй «главный» не написанъ и тайну его великій художникъ унесъ въ могилу. «Братья Карамазовы»—только прологъ. «Судя по прологу, говоритъ В. В. Розановъ, цѣлое должно было стать такимъ мощнымъ произведеніемъ, которому подобное трудно назвать во всемірной литературѣ. Только Достоевскій, способный совмѣщать въ себѣ «обѣ бездны—бездну вверху и бездну внизу», могъ написать не смѣшную пародію на дѣйствительную и серьезную трагедію этой борьбы, которая уже тысячелѣтія раздираетъ человѣческую душу,—борьбы между отрицаніемъ жизни и ея утвержденіемъ, между растлѣніемъ человѣческой совѣсти и ея просвѣтлѣніемъ». Но и въ томъ видѣ, какой удалось придать Достоевскому своему замыслу, «Братья Карамазовы» все-же величайшее произведеніе въ русской и всемірной литературѣ. Если это и «не главный» романъ, то лишь по отношенію къ герою романа, Алешѣ Карамазову. По отношенію этого лица—романъ лишь «одинъ моментъ изъ первой юности» этого юноши—столкновеніе съ старцемъ Зосимой, воплощеніемъ народно-церковнаго идеала святости. Оба, и Алеша, и Зосима только показываются въ романѣ. Одинъ умираетъ, благословляя на подвигъ жизни Алешу, а другой—этотъ «голубь» Алеша остается

на распутіи. По отношенію ко всѣмъ другимъ лицамъ — «Братья Карамазовы» романъ «главный», всю суть ихъ раскрывающій.

Но хотя Алеша только показанъ въ «моментѣ» ранней юности, правъ критикъ, который сказалъ: «Образъ Алеши запомнится въ нашей литературѣ, его имя уже произносится при встрѣчѣ съ тѣмъ или инымъ рѣдкимъ и отраднымъ явленіемъ въ жизни, и если суждено будетъ намъ возродиться когда-нибудь къ новому и лучшему, очень возможно, что онъ будетъ путеводною звѣздою этого возрожденія».

Арс. Ив. Введенскій судитъ образъ Алеши строже: «Центральную фигуру хотѣли видѣть въ Алешѣ Карамазовѣ, этомъ «раннемъ человѣколюбцѣ», котораго самъ Достоевскій, повидимому, стремился сдѣлать главнымъ героемъ; но критика должна была сознаться, что, быть можетъ, изъ всѣхъ значительныхъ лицъ романа онъ — наименѣе яркій образъ». По мысли автора, «Алеша — новый человѣкъ, грядущій въ нашъ русскій міръ»; онъ — герой будущаго романа, и обрисованъ только самыми легкими штрихами. «Но въ ту минуту, — говоря словами одного критика, когда русское общество стало жадно всматриваться въ эту новую и пока загадочную фигуру, занавѣсъ опустился: въ темную могилу унесъ угасшій писатель свѣтлый образъ Алеши, мелькнувшій передъ нами зарницею». Однако, въ ряду положительныхъ типовъ русской литературы, выдающееся мѣсто займутъ навсегда образы праведнаго «старца» Зосимы и чистаго «юноши» Алеши. Романъ «Братья Карамазовы» составляетъ, вмѣстѣ съ романомъ «Преступленіе и наказаніе», вершины, до которыхъ поднималась творческая мысль Достоевскаго. Вмѣстѣ съ тѣмъ, это завершеніе всѣхъ его замысловъ. Всѣ тѣ образы, которые мучили воображеніе Достоевскаго на протяженіи всей его литературной дѣятельности, сошлись въ этомъ романѣ (Арс. Ив. Введенскій, В. В. Розановъ). Семья Карамазовыхъ — «сладострастники и «стяжатели», всѣ, какъ люди одной крови, сходны по темпераменту, — всѣ натуры русскія, широкія, какъ ихъ земля, мечтатели, энтузіасты, мистики и кликуши.. Въ отдѣльности — Иванъ Карамазовъ есть довершеніе замысла Раскольникова, то-же съ «идеей» о томъ, что «все позволено». Но онъ только теоретикъ, преподаватель, а исполнитель, который въ Раскольниковѣ соединяется въ одномъ лицѣ, что затемняетъ типъ, «Личарда вѣрный» выдѣленъ въ типѣ Смердякова — это незаконное порожденіе Ѳедора Павловича Карамазова — отца, и юродивой Лизаветы «смердящей», какой-то обрывокъ человѣческаго существа, духовный Квазимодо, синтезъ всего лакейскаго, что есть въ человѣческомъ умѣ и въ человѣческомъ сердцѣ» (В. В. Розановъ). Алеша Карамазовъ уже являлся въ видѣ кн. Мышкина въ «Идіотѣ». Дмитрій Карамазовъ, который со дна и изъ смрада бездны порока взываетъ «Осанна» къ небесному идеалу, «Клопъ», «сладострастное насѣкомое», но съ воплями о благородствѣ и даже съ единственнымъ быть мо-

жетъ, но истинно благороднымъ поступкомъ: когда къ нему является дѣвушка, съ отвращеніемъ и ужасомъ готовая пожертвовать всѣмъ для спасенія чести отца, Дмитрій Карамазовъ, неожиданно для себя, очутился передъ тою границей порока, которую перейти значило уже навѣки засѣсть, подобно его родителю, на днѣ зловонной ямы. Но онъ, молча, съ глубокимъ поклономъ, отдаетъ дѣвушкѣ крупныя для него деньги, необходимыя для спасенія ея отца. Глубокій сладострастникъ, любитель «смрада» разврата, грязныхъ «переулочковъ», «самородковъ въ грязи», Дмитрій Карамазовъ есть уясненное завершеніе Николая Ставрогина («Бѣсы») и Свидригайлова («Преступленіе и наказаніе»). Грушенька,—«безстыдница», изъ за которой грызутся отецъ и сынъ Карамазовы, опять таки уясненный типъ Настасьи Филиповны («Идіотъ»), лишенная имѣвшагося тамъ мело-драматическаго элемента, въ стилѣ «Дамы съ Камеліями» Дюма—фиса. Наконецъ—капитанъ Снигиревъ—«мочалка», вѣчный типъ трактирнаго философа—забулдыги, «униженнаго и оскорбленнаго»,—начиная Макаромъ Дѣвушкинымъ («Бѣдные люди»), продолжая Мармеладовымъ (Преступленіе и наказаніе»), и кончая Лебедевымъ («Идіотъ») и Лебядкинымъ («Бѣсы»). Всего новѣе типъ самого «отца лжи», стараго блудника и шута, съ отвратительно отвисшимъ кадыкомъ—Карамазова—отца.

Всѣ герои романа проходятъ черезъ такіе моменты, когда разверзается въ ихъ существованіи «бездна вверху» и «бездна внизу». Такой моментъ для Алеши, когда умершій старецъ Зосима, вмѣсто ожидаемаго благовонія святости, чрезвычайно быстро и неприлично для подвижника «провонялъ», и такимъ образомъ химія и матерія какъ-бы торжествуютъ во очію надъ духомъ. Для Ивана такой моментъ—явленіе ему черта, «приживальщика», когда онъ убѣждается къ несносной язвѣ колоссальнаго самолюбія своего, что душа его могла породить только презрѣннаго «лакея», а вовсе не демона съ опаленными крыльями, и весь его «бунтъ» вполнѣ напоминаетъ сцену изъ Данта, въ которой взлетающій дьяволъ вызываетъ небо на поединокъ, издавая трубный звукъ помощью собственнаго зада.

Необходимо тоже отмѣтить классическую фигуру изувѣра-аскета Ѳерапонта—совершенство художества.

Помимо чисто художественнаго и психологическаго значенія, романъ полонъ еще идейнаго содержанія. Центромъ здѣсь является поэма въ прозѣ «Легенда о великомъ инквизиторѣ».

БИБЛІОГРАФІЯ: В. Зелинскій. Критическій разборъ романа «Братья Карамазовы». Спб. 1894 г.—С. Андреевскій, Братья Карамазовы. Русск. Вѣстн. 1889. № 6. — Ор. Миллеръ. Русск. писатели послѣ Гоголя. — В. Розановъ. Легенда о великомъ инквизиторѣ. Спб. 1894 г.

§ 2. «Все написанное Толстымъ послѣ Анны Карениной служитъ иллюстраціей къ его нравственной философіи... Онъ уже не по просту рисуетъ жизнь, онъ пишетъ, чтобы учить, какъ слѣдуетъ жить. Всего полнѣе, исключительнѣе господствуетъ этотъ дидактизмъ въ сказкахъ, гдѣ съ первыхъ-же строкъ чувствуется контрастъ между дѣланною наивностью формы и далеко не наивною моралью. Въ сказкахъ полное отсутствіе той грубой искренности, которая составляетъ неотъемлемую черту подлиннаго народнаго творчества, искусственность постройки разсказовъ, преднамѣренность каждаго событія и каждаго штриха докучливо ощущается читателемъ и заставляетъ ожидать, что авторъ собирается его огорошить заранѣе подготовленнымъ наставленіемъ» (Головинъ).

Нельзя не признать доли правды въ этомъ приговорѣ, однако на всѣхъ сказкахъ Толстого видна рука великаго мастера и глубокаго знатока народнаго быта. Рядъ этихъ сказокъ — «Чѣмъ люди живы» (1881), «Упустишь огонь, не потушишь» (1885), «Свѣчка» (1885), «Два старика» (1885), «Гдѣ любовь, тамъ и Богъ» (1885), «Тексты къ лубочнымъ картинкамъ» (1885), «Сказка объ Иванѣ дуракѣ» (1885), «Народныя легенды» («Какъ чертенокъ краюшку выкупалъ», «Крестникъ» и др. 1886) представляетъ драгоцѣнный вкладъ въ народную литературу. Въ параллель съ этими оригинальными поэмами въ прозѣ можно поставить «Сказки» Щедрина-Салтыкова и христіанскія легенды, обработанныя по «отреченнымъ повѣстямъ» Пролога-Лѣсковымъ, то-же написанныя въ восьмидесятыхъ годахъ.

Сказки Толстого, въ изданіяхъ фирмы Сытина, лубочнаго московскаго книгопродавца, раньше только печатавшаго «Георга Англійскаго» и «Гуака», пошли въ народъ и вслѣдъ затѣмъ было написано разными авторами множество книгъ для народа.

Эта, совершенно новая, прекрасная литературная дѣятельность для народа—одно изъ выдающихся явленій двухъ послѣднихъ десятилѣтій XIX-го столѣтія.

Изъ четырехъ произведеній въ повѣствовательной формѣ, которыя далъ въ этомъ періодѣ графъ Л. Н. Толстой: «Смерть Ивана Ильича», «Крейцерова соната», «Хозяинъ и работникъ», «Воскресенье», первое появилось въ разсматриваемое нами десятилѣтіе.

Графъ Толстой въ «Смерти Ивана Ильича» (1886 г.) примѣнилъ все тотъ-же аналитическій методъ, много разъ ему блистательно удававшійся — методъ, благодаря которому, точно съ микроскопомъ въ рукахъ, мы ясно видимъ самыя тайныя движенія человѣческаго сердца.

Произведеніе это — безпощадное по своему реализму. Иванъ Ильичъ ординарный человѣкъ изъ общества, членъ суда, жившій, какъ всѣ, безъ особыхъ грѣховъ на совѣсти, тонкій судья, формалистъ, все въ жизни осно-

вавшій на приличіи, безъ какихъ-либо вѣрованій, смѣшныхъ для интеллигентнаго человѣка. Этого Ивана Ильича авторъ ставитъ лицомъ къ лицу со смертью, съ гадкимъ умираніемъ, совершенно безоружнаго. Ничего за душей у этого цвѣта современной культуры не оказывается.

«Меня не будетъ, такъ что-же будетъ? Ничего не будетъ. Тогда гдѣ-же я буду, когда меня не будетъ? Неужели смерть? Нѣтъ, не хочу». Иванъ Ильичъ стукнулся бокомъ, прибивая гардину... И отъ этого умираетъ! Порою онъ развлечется, забудется. Вдругъ она мелькнула... Онъ еще надѣется, что она скроется, но невольно онъ прислушался къ боку — тамъ сидитъ все то-же, все такъ-же ноетъ, и онъ ужь не можетъ забыть, и она явственно глядитъ на него изъ-за цвѣтовъ. Къ чему все? «И, правда, что здѣсь, на этой гардинѣ, я, какъ на штурмѣ, потерялъ жизнь. Неужели? Какъ ужасно и какъ глупо! Это не можетъ быть! Не можетъ быть, но есть».

Онъ шелъ въ кабинетъ, ложился и оставался опять одинъ съ нею. Съ глазу на глазъ съ нею, а дѣлать съ нею — нечего. Только смотрѣть на нее и холодѣть.

Ужасна сцена послѣ причастія больного. Ни малѣйшей искры вѣры не влилъ обрядъ въ малодушие этого «интеллигента»: «Съ этой минуты начался тотъ, три дня не перестававшій крикъ, который такъ былъ ужасенъ, что нельзя было за двумя дверями безъ ужаса слышать его... Онъ понялъ, что онъ пропалъ, что возврата нѣтъ, что пришелъ конецъ, совсѣмъ конецъ. — У! Уу! У! кричалъ онъ на разныя интонаціи. Онъ началъ кричать: «не хочу!» и такъ и продолжалъ кричать на букву «у».

Этотъ животный страхъ смерти разрѣшается на послѣдней страницѣ внезапнымъ, мало понятнымъ перерожденіемъ, очевидно по требованіямъ теоріи:

«Всѣ три дня, въ продолженіе которыхъ для него не было времени, онъ барахтался въ томъ черномъ мѣшкѣ, въ который просовывала его невидимая, непреодолимая сила... Онъ чувствовалъ, что мученіе его и въ томъ, что онъ всасывается въ эту черную дыру, и еще больше въ томъ, что онъ не можетъ пролѣзть въ нее. Пролѣзть-же ему мѣшаетъ признаніе того, что жизнь его была хорошая. Это-то оправданіе своей жизни цѣпляло и не пускало его впередъ, и больше всего мучило его».

Толстой съ такимъ безпощаднымъ матеріализмомъ изобразилъ могущество надъ человѣкомъ «почки» и «слѣпой кишки», что теперь приходится ему на слово вѣрить, будто Иванъ Ильичъ страдалъ не отъ «кишки», а отъ «оправданія своей жизни».

Въ одномъ изъ романовъ Мопассана (Bel-ami) умирающій плачетъ, приговаривая: «Я никогда не увижу больше чашекъ, ложекъ, тарелокъ, вилокъ!» Понятное чувство въ человѣкѣ, цѣль жизни котораго была въ созиданіи «обстановочки». Таковъ и Иванъ Ильичъ. Ни одной великодушной

идеи не шевельнулось въ немъ, чтобы его поддержать. Даже какъ отецъ и общественный дѣятель онъ не находитъ естественнаго утѣшенія въ преуспѣяніи его рода или родины. Ничего, чистый nihil. Откуда-же этотъ deus ex machina: «И вдругъ (какъ-же это такъ, — вдругъ?») ему стало ясно, что то, что томило его и не выходило, то вдругъ все выходитъ сразу, и съ двухъ сторонъ, съ десяти сторонъ, со всѣхъ сторонъ. — Какъ хорошо и какъ просто — подумалъ онъ. — А боль? — спросилъ онъ себя. — Ее куда? — Ну-ка, гдѣ ты, боль? — Онъ сталъ прислушиваться. — Да, вотъ она. Ну что-жъ, пускай боль. — А смерть? Гдѣ она?» Онъ искалъ своего прежняго привычнаго страха смерти и не находилъ его. — Гдѣ она? Какая смерть? страха никакого не было, потому что и смерти не было. Вмѣсто смерти былъ свѣтъ. — Такъ вотъ что! вдругъ вслухъ проговорилъ онъ. Какая радость!.. — Кончено! сказалъ кто-то надъ нимъ. Онъ услыхалъ эти слова и повторилъ ихъ въ своей душѣ. — Кончена смерть, сказалъ онъ себѣ. Ея нѣтъ больше». Онъ втянулъ въ себя воздухъ, остановился на половинѣ вздоха, потянулся и умеръ».

Итакъ, безъ единой идеи, образа, просто была «смерть» и вдругъ сталъ «свѣтъ». Непонятно!

§ 3. Послѣднія повѣсти Тургенева: «Пѣснь торжествующей любви» и «Клара Миличъ». Въ обѣихъ введенъ поэтомъ мистическій элементъ. Въ «Кларѣ Миличъ» чувствуется явное утомленіе творчества. Но «Пѣснь торжествующей любви», посвященная памяти Флобера и написанная въ его манерѣ, — произведеніе высоко-художественное.

Картина итальянской жизни XVI-го столѣтія возсоздана во всей прелести колорита.

Въ 1882 г. появились въ «Вѣстникѣ Европы» превосходныя «Стихотворенія въ прозѣ» Тургенева. Въ нихъ мы встрѣчаемъ въ разныхъ образахъ, изображеніе роковой, надвигающейся смерти... Образы эти поэтичны, но холодно безутѣшны. Та-же мгла смотритъ на встрѣчу поэту, какъ и въ «Смерти Ивана Ильича». Писатели одной школы, почти одной эпохи, Толстой и Тургеневъ одинаково не находятъ ни единаго луча, который озарилъ-бы мглу надвигающагося невѣдомаго.

Смерть здѣсь является въ видѣ маленькой, сгорбленной старушки, которая вся закутана въ сѣрыя лохмотья. Оба глаза у ней были застланы полупрозрачной, бѣловатой перепонкой или плевой, какая бываетъ у иныхъ птицъ... Старуха по пятамъ преслѣдуетъ поэта, и гонитъ его къ черной, неизбѣжной ямѣ.

Другой, еще болѣе ужасный образъ: Въ комнату съ сухимъ трескомъ влетѣло большое насѣкомое, вершка въ два длиною... влетѣло, покружилось и сѣло на стѣну.

Оно походило на муху или на осу. Туловище грязно-бураго цвѣта; такого-же цвѣта и плоскія, жесткія крылья; растопыренныя мохнатыя лапки, да голова угловатая и крупная, какъ у коромысла; и голова эта, и лапки-ярко-красныя, точно—кровавыя. Странное это насѣкомое безпрестанно поворачивало голову внизъ, вверхъ, вправо, влѣво, передвигало лапки.. потомъ вдругъ срывалось со стѣны, съ трескомъ летало по комнатѣ — и опять садилось, опять жутко и противно шевелилось, не трогаясь съ мѣста. Во всѣхъ оно возбуждало отвращеніе, страхъ, даже ужасъ.. лишь одинъ ничего не видѣлъ, пожималъ плечами, улыбался, недоумѣвалъ, съ чего всѣ такъ волнуются. Вдругъ насѣкомое словно уставилось на него, взвилось и, приникнувъ къ его головѣ, ужалило его въ лобъ, повыше глазъ... Молодой человѣкъ слабо ахнулъ—и упалъ мертвымъ.

«Что я буду думать тогда, когда мнѣ придется умирать».—спрашиваетъ себя поэтъ.

«Мнѣ кажется, я буду стараться не думать — и насильно займусь какимъ-нибудь вздоромъ, чтобы только отвлечь собственное мое вниманіе отъ грознаго мрака, чернѣющаго впереди».

«При мнѣ одинъ умирающій все жаловался на то, что не хотятъ дать ему погрызть каленыхъ орѣшковъ,. и только тамъ, въ глубинѣ его потускнѣвшихъ глазъ, билось и трепетало что-то, какъ перешибленное крыло на смерть раненой птицы»...

Одинъ изъ героевъ Достоевскаго говоритъ, что вѣчность ему представляется въ видѣ низкой, закопченой избы, въ которой по угламъ все пауки, пауки... Вотъ и вся вѣчность! Интересно сравнить описанія предчувствій смерти Толстого, Тургенева и Щедрина. Всѣ три ничего не видятъ передъ собою, кромѣ «грознаго мрака». Ни единой искры, голоса, зова, луча, образа въ этомъ мракѣ.

Иначе отразились предчувствія смерти у поэтовъ 40-хъ годовъ — Майкова и Полонскаго.

Въ восьмидесятыхъ годахъ закончилась и литературная дѣятельность Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Въ 1884 г. «Отечественныя Записки» были запрещены, и Щедринъ перенесъ свою дѣятельность на страницы «Вѣстника Европы». Но тутъ уже онъ и по времени, и по робости редактора не могъ съ прежнею силою обличенія, рисовать свои, облитыя горечью и злостью, картины. Одинъ изъ его сборниковъ «Пошехонскіе разсказы» носитъ даже эпиграфъ «По Сенькѣ шапки». Въ «Мелочахъ жизни» онъ рисуетъ общіе типы изъ жизни. «Письма къ тетенькѣ» и «Пестрыя письма» теперь малопонятны. Однако, разительный образъ «торжествующей свиньи», пожирающей правду, останется безсмертнымъ. Умирающій, отклоненный отъ злобы дня, Щедринъ посвятилъ себя воспоминаніямъ крѣпостной эпохи. Вышла потрясающая, мрачная семейная хроника. Очерки

«Пошехонской старины» являются въ литературѣ XIX-го вѣка необходимымъ дополненіемъ къ многочисленнымъ произведеніямъ писателей школы 40-хъ годовъ, рисующихъ дореформенную Россію. Совершенно оригинальны 23 «сказки» Щедрина: краткость и выпуклость изложенія, поэтическій колоритъ, типы животныхъ — все въ этихъ послѣднихъ созданіяхъ басеннаго склада высоко-художественно. Послѣ Крылова, до самыхъ этихъ «сказокъ» ничего подобнаго въ нашей литературѣ не было.

§ 4. Народъ, помѣщики и интеллигенція восьмидесятыхъ годовъ воспроизведены въ четырехъ замѣчательныхъ произведеніяхъ. Мы имѣемъ въ виду «Власть земли» Глѣба Успенскаго, «Устои» Златовратскаго, «Оскудѣніе» Сергѣя Атавы и «Сашеньку», повѣсть Дѣдлова.

«Власть земли» рисуетъ тотъ внутренно трезвый и высокій строй жизни крестьянства, который всецѣло обусловленъ природой, хозяйствомъ, законами, которые диктуетъ земля. Здѣсь исчезаетъ человѣческая личность. Но въ то же время каждый мудръ, и могучъ, и праведенъ именно этой таинственной «властью земли». Какъ только крестьянинъ вышелъ изъ сферы этой власти, онъ неузнаваемъ—забаловался, онъ — ребенокъ, безъ воли и характера, гибнущій отъ соблазновъ «трактирной цивилизаціи».

«Власть земли» появилась въ 1882 г. въ «Отечественныхъ запискахъ».

Первыя произведенія Николая Николаевича Златовратскаго появились тамъ-же еще въ семидесятыхъ годахъ: «Крестьяне — присяжные» (1874—1875), «Въ артели» (1876), «Золотыя сердца» (1877). Въ самомъ значительномъ изъ своихъ произведеній — въ эпопеѣ-романѣ «Устои», Златовратскій далъ полное воплощеніе идеаловъ «народничества». Здѣсь изображена патріархальная, многолюдная семья домовитаго старца Пимена, работающая, какъ дружный улей, и рядомъ носитель и подвижникъ правды крестьянскаго міра Минъ Афанасьевъ. Романъ писанъ, какъ эпопея и порою даже прозой, въ которой скрытъ ритмъ гекзаметра. Трудно судить Златовратскаго, какъ только беллетриста. Но чистота его настроеній, безграничная любовь и уваженіе къ народу, цѣльность идеаловъ, по нашему мнѣнію, всегда сохранятъ за его произведеніями значеніе въ русской литературѣ.

Въ «Отечественныхъ Запискахъ» началъ свою литературную дѣятельность и Сергѣй Николаевичъ Терпигоревъ (С. Атава род. 20 мая 1841 г. ум. 13 іюня 1895). Еще въ 1869—1870 гг. тамъ появились его очерки «Въ степи» и комедія «Сліяніе». Въ «Оскудѣніи» Атава нарисовалъ поразительную картину помѣщичьяго разоренія и разложенія. Затѣмъ въ рядѣ очерковъ («Потревоженныя тѣни») онъ даетъ художественныя картины крѣпостныхъ нравовъ. Ненависть къ произволу крѣпостного строя — особенно симпатичная черта въ произведеніяхъ этого талантливаго писателя.

Въ своей повѣсти «Сашенька» Владиміръ Людвиговичъ Кигнъ (Дѣдловъ)

далъ яркую картину интеллигенціи 80-хъ годовъ и образъ тогдашняго юноши «Сашеньки» послѣ многихъ мытарствъ стучащаго въ двери дома «великаго демона» земли русской въ Хамовническомъ переулкѣ.

Изъ молодыхъ писателей восьмидесятыхъ годовъ должно прежде всего указать самыхъ значительныхъ—Гаршина и Короленко.

Всеволодъ Михайловичъ Гаршинъ родился 2-го февраля 1855 года въ Екатеринославской губерніи. Въ 1864 г. поступилъ въ 7-ю гимназію въ Петербургѣ, которую и кончилъ въ 1874 г. Въ 1872—1873 г.г. юный Гаршинъ подвергся впервые сильному приступу душевной болѣзни. Впрочемъ, былъ вылеченъ. Съ третьяго курса горнаго института Гаршинъ поступилъ рядовымъ въ дѣйствующую армію и былъ въ двухъ дѣлахъ съ турками. Впечатлѣнія войны выразились въ разсказѣ «Четыре дня», который появился въ 1877 г. въ «Отеч. Запискахъ» и сразу доставилъ извѣстность автору. Съ 1878 по 1880 годъ имъ былъ написанъ рядъ очерковъ: «Очень маленькій романъ», «Происшествіе», «Трусъ», «Встрѣча», «Художники», «Attalea princeps», «Ночь». Тутъ его вторично посѣтило душевное разстройство. Однако къ 1882 г., опять его здоровье возстановилось, такъ что онъ даже женился въ 1883. Къ этой порѣ относятся его разсказы—«То, чего не было», «Записки рядового Иванова», «Красный цвѣтокъ». Наконецъ въ послѣдніе годы жизни написана имъ повѣсть «Надежда Николаевна» и два разсказа: «Сигналъ» и «Гордый Аггей».

Но сумасшествіе опять вернулось. 24-го марта 1888 года Гаршинъ покончилъ съ собой, бросившись въ пролетъ лѣстницы дома, въ которомъ жилъ.

Въ 1885 г. началъ литературную дѣятельность разсказомъ «Сонъ Макара», помѣщеннымъ въ «Русской Мысли», Владиміръ Галактіоновичъ Короленко (родился 15-го іюня 1853 года въ г. Житомірѣ). Какъ это произведеніе, такъ и послѣдовавшія за нимъ: «Очерки сибирскаго туриста», «Въ дурномъ обществѣ», «Лѣсъ шумитъ», «Слѣпой музыкантъ», и др. поставили Короленко во главѣ молодой школы беллетристовъ восьмидесятыхъ годовъ. Его хорошо знаютъ и на западѣ, впрочемъ, какъ и всѣхъ теперь выдающихся русскихъ писателей.

Гаршинъ и Короленко—типичные представители общества и поколѣнія писателей восьмидесятыхъ годовъ. Прекрасную характеристику этихъ беллетристовъ даетъ Головинъ въ своемъ выдающемся трудѣ: «Русскій романъ и русское общество».

Отличительное свойство Гаршина и Короленко—глубокій, въ высшей степени искренній, проникающій все ихъ міросозерцаніе идеализмъ и связанное съ нимъ тонкое эстетическое чутье. Гаршинъ—болѣзненно-страстный, тенденціозный, оставилъ однако музу «мести» и политической ненависти. Орудіе борьбы съ неправдой у него одно—жалость, состраданіе.

Въ своихъ «Медвѣдяхъ» онъ глубоко трогаетъ насъ, описывая гибель бѣдныхъ звѣрей, какъ бы очеловѣченныхъ неволей, осужденныхъ на казнь, въ силу полицейскаго запрета водить медвѣдей на цѣпи. Въ разсказѣ «Attalea princeps» Гаршинъ вызываетъ наше сочувствіе къ судьбѣ растенія, — гордой южно-американской пальмы, сдавленной подъ стеклянной крышей оранжерей Ботаническаго сада и стремящейся вырваться оттуда на воздухъ и свѣтъ. Тутъ аллегорія. За стекломъ — холодъ и губящій туманъ. Аллегорія, впрочемъ, туманная. Но въ каждомъ словѣ автора бьется такое искреннее, такое правдивое чувство, что даже къ аллегорическому образу онъ вызываетъ сострадательное участіе. Въ разсказѣ «Художники» выведенъ контрастъ между представителемъ беззаботнаго, жизнерадостнаго искусства, Дѣдовымъ, и собратомъ его по призванію, Рябининымъ, котораго подавляетъ сознаніе обязательности для искусства служить нравственному подъему общества. Образъ заводскаго рабочаго — «глухаря», сидящаго въ котлѣ и держащаго заклепку, навалясь на нее всей грудью, въ то время, какъ снаружи колотятъ по ней молотами, заполоняетъ воображеніе Рябинина. Онъ бросаетъ искусство. Онъ идетъ «помогать» этому «глухарю»... Въ «Красномъ цвѣткѣ» — лучшемъ созданіи Гаршина — передъ нами сумасшедшій, у котораго умственное разстройство только обострило воспріимчивость сердца. На дворѣ больницы ростетъ кровавый макъ. И ему мнится, что все страданіе человѣчества сосредоточено въ этомъ цвѣткѣ и если его сорвать — страданіе исчезнетъ съ земли. Порабощенный этой идеей, бѣдный сумасшедшій бросается изъ окна второго этажа, чтобы сорвать цвѣтокъ...

Въ двухъ повѣстяхъ «Происшествіе» и «Надежда Николаевна» Гаршинъ рисуетъ любовь къ падшей женщинѣ — существу погибшему, но и глубоко несчастному.

Литературная дѣятельность Гаршина была слишкомъ непродолжительна, чтобы талантъ его успѣлъ окончательно сложиться. Онъ далъ намъ рядъ глубоко прочувствованныхъ и тонко написанныхъ этюдовъ, въ которыхъ съ поразительной чуткою нѣжностью штриховъ рисуются ощущенія мягкой, всегда немного больной души его героевъ. Но типа, даже характера, онъ не создалъ, или вѣрнѣе, передъ нами все одинъ и тотъ-же характеръ, съ самаго рожденія, какъ-бы обреченный на страданіе, съ скорбною немощью смотрящій на жизнь безъ вѣры въ нее и безъ способности къ счастью, съ горячею любовью къ людямъ и съ чисто-женскимъ инстинктивнымъ отвращеніемъ къ борьбѣ. А когда немилосердная жизнь все-таки приводитъ этотъ характеръ къ тяжелому конфликту, онъ умѣетъ одно лишь, — стойко, безропотно терпѣть и умирать, но выходить побѣдоноснымъ изъ борьбы съ обстоятельствами — не его дѣло. И рядомъ съ этимъ героемъ, въ которомъ нельзя не видѣть изображенія самого автора, мелькаетъ изрѣдка человѣкъ иного рода, — жизнерадостный и нѣсколько черствый; чер-

ствый именно потому, что Гаршинъ не допускаетъ возможности спокойнаго счастья, помимо эгоизма. Большаго Гаршинъ намъ не далъ. На широкое поле бытового романа и борьбы разнородныхъ натуръ онъ не выходилъ [287]).

Короленко имѣетъ много общаго съ Гаршинымъ. Оба они — идеалисты чистѣйшей воды.

Короленко такъ же, какъ и Гаршинъ, всегда отличается большой заботливостью объ отдѣлкѣ своихъ произведеній и охотно вставляетъ ихъ въ тѣсныя рамки мелкаго разсказа: имъ написана всего только одна повѣсть, пространная по объему—«Слѣпой музыкантъ».

Произведенія Короленко распадаются на двѣ группы: одни изъ нихъ— «Въ дурномъ обществѣ», «Лѣсъ шумитъ», «Слѣпой музыкантъ», происходятъ въ западномъ краѣ, другія въ Сибири, въ тайгѣ. Первый фантастическій разсказъ Короленко «Сонъ Макара» прельщаетъ удивительнымъ сочетаніемъ поэтическаго реализма въ картинахъ сибирской зимы съ чисто символическимъ смысломъ небеснаго суда дикаря-Макара.

Въ повѣсти «Лѣсъ шумитъ»—возстаетъ крѣпостное право, въ разсказѣ «Въ дурномъ Обществѣ» предъ нами босые жители подполья, въ «Очеркахъ сибирскаго туриста»—каторжные и бѣглые. И все-таки этотъ далеко неизящный міръ очерченъ съ такою роскошью красокъ, что невольно припоминаются босые мальчишки Мурильо и оборванцы Калло. Въ узкихъ рамкахъ, какъ разъ подходящихъ къ содержанію, вложенному въ нихъ, Короленко сумѣлъ начертить фигуры, блещущія яркостью кисти, и окружить ихъ ландшафтомъ, совершенство котораго, по мнѣнію г. Головина, иной разъ не уступаетъ тургеневскому. Въ двухъ мелкихъ разсказахъ—«Старый звонарь» и «Ночь передъ Свѣтлымъ праздникомъ»,—мы имѣемъ уже дѣло съ чистой поэзіей. Художественно-прекрасный языкъ, свѣтлая прозрачность колорита, тонкая образность, все здѣсь удовлетворяетъ самому требовательному эстетическому вкусу.

«Въ этихъ двухъ разсказахъ Короленко достигъ той высшей области творчества, гдѣ нѣтъ уже ни школъ, ни партій, ни направленій, гдѣ чистая, какъ хрусталь, человѣчность говоритъ языкомъ понятнымъ сердцу каждаго, гдѣ эстетическое наслажденіе сливается въ одно съ чувствомъ братскаго состраданія».

«Нельзя сказать того-же о «Слѣпомъ музыкантѣ», хотя на это произведеніе, кажется, Короленко потратилъ много стараній, и тема, имъ выбранная, трогаетъ глубоко.

«Слѣпой музыкантъ»—ничто иное, какъ попытка воспроизвести зрительныя впечатлѣнія у слѣпорожденнаго, посредствомъ звуковъ. Психологическая задача была несомнѣнно интересна, и образъ слѣпого мальчика,

[287]) Головинъ. Русскій романъ. Стр. 418—419.

у котораго природный музыкальный талантъ пробиваетъ себѣ дорогу какъ-бы ощупью, возсоздавая передъ нимъ формы и краски незнакомаго ему внѣшняго міра—образъ этотъ въ высшей степени поэтиченъ и трогателенъ. Бѣда въ одномъ—Короленко принялся за невыполнимую задачу. Передать зрительныя впечатлѣнія слѣпорожденнаго—зрячему невозможно по той простой причинѣ, что невольно онъ возсоздаетъ собственныя впечатлѣнія и прибѣгаетъ къ такимъ краскамъ, которыхъ слѣпой знать не можетъ.

Вотъ почему, несмотря на всю прелесть темы и богатство нѣжныхъ тоновъ, на которые не поскупилась изящная кисть Короленко, «Слѣпой музыкантъ», все-таки производитъ впечатлѣніе нѣкоторой вымученной дѣланности [258]).

Императорской Академіей Наукъ почтенный беллетристъ избранъ въ почетные академики.

БИБЛІОГРАФІЯ: В. М. Гаршинъ. Три книжки разсказовъ.—О немъ Протопоповъ. Литературно-критическія характеристики.—С. Андреевскій. Литературныя чтенія.—К. Арсеньевъ. Г—нъ и его творчество. В. Е. 88 г. № 5.—О. Миллеръ. Памяти Г—на. Сборникъ статей. Спб. 1898 г.—В. Чуйко. Надсонъ и Гаршинъ. Набл. 88 г. № 11.—Дм. Струнинъ. Г-нъ Критич. Оч. Русск. Богатство. 1891 г. № 1.—Вл. Короленко. Очерки и разсказы. Книга I. 8-е изд. Спб. 1899 г.—Книга II. Изд. 2-е. М. 1896 г.—Въ голодный годъ. Наблюденія, размышленія и замѣтки. Изд. 3-е. Спб. 1897 г.—О немъ: 1887 г. Арсеньевъ. Новыя литературныя силы. (Критич. опыты т. II).—Л. О. Разборъ сочиненій Вл. К—ко. Русск. Бог. 1887 г. № 1.—Е. Гаршинъ. Критич. опыты. Спб. 1888 г.—Д. Мережковскій. Разсказы Вл. Короленко. Сѣверн. Вѣстн. 1889. № 5.—А. Введенскій. Современные литературные дѣятели. В. Г. К—о. Истор. Вѣстн. 1892. № 11.—Ю. Николаевъ (Говоруха-Отрокъ). В. Г. К—ко. Критич. этюдъ. Русск. Обозр. 1893 г. № 1, 2, 4.—М. Плотниковъ. Вл. К—ко. Характеристики. Обр. 1898 г. № 10.—Ив. Ивановъ. Поэзія и правда міровой любви. М. Б. 99. № 7 и 8.

§ 5. Беллетристика 80-хъ годовъ настолько своеобразна по своимъ господствующимъ настроеніямъ и общему колориту, что даже писатели, уже много давшіе въ предшествующія десятилѣтія, повидимому вполнѣ законченные, какъ Лѣсковъ, восприняли эти особенности эпохи. Легенды «Пролога», мистическія и «отреченныя» христіанскія повѣсти, а также народныя легенды—вотъ матеріалъ, который въ послѣдніе годы своей дѣятельности обработывалъ Лѣсковъ. И надо отдать справедливость ему: эти вещи выходили художественными картинами у автора «Соборянъ».

Таковы разсказы «Скоморохъ Памфалонъ», «Очарованный странникъ», «Христосъ въ гостяхъ у мужика», «Сказаніе о тульскомъ лѣвшѣ» и др.

---

[258]) Головинъ. Русскій романъ. Стр. 423.

По самой школѣ, къ которой принадлежитъ Петръ Дмитріевичъ Боборыкинъ, — «протокольно-хроникерской», его романы не могли не отразить вѣянія времени. Чуткость этого опытнаго беллетриста — уловителя всѣхъ измѣненій моднаго покроя платья, ума, характера и настроеній человѣческой толпы, превращаетъ его романы въ интересные и полезные сборники матеріаловъ для характеристики этой смѣняющейся толпы у насъ въ Россіи. Добросовѣстно стараясь подобрать ключъ къ общественной эволюціи, Боборыкинъ въ своихъ романахъ, съ 80-хъ годовъ преимущественно появлявшихся въ «Вѣстникѣ Европы», изображаетъ не безъ ловкости и наглядности упадокъ земельнаго дворянства, ростъ и обогащеніе на счетъ его нашего «третьяго сословія», «марксистскія» тенденціи фабрикантовъ и пришествіе капитала со всею властію его. Это своеобразное и интересное явленіе представлено въ цѣломъ рядѣ большихъ романовъ Боборыкина («Китай-Городъ», «Перевалъ», «Василій Теркинъ», «Ходокъ», «Княгиня»).

Какъ и подобаетъ, представители разоряющагося дворянства изображены эгоистами, байбаками и зѣваками, а у новыхъ людей изъ купечества и разбогатѣвшаго крестьянства — «здоровый умъ въ здравомъ тѣлѣ». Вѣнецъ этихъ «новыхъ людей» — Василій Теркинъ. Онъ олицетворяетъ «творческую силу капитала» и при неблагозвучности фамиліи являетъ изъ себя особый типъ: онъ есть идеалистъ — кулакъ. Въ Захарѣ Кумачевѣ («Перевалъ») Боборыкинъ изобразилъ буржуазный «лоскъ», а въ Вѣрѣ Кунгуровой («Княгиня»)— буржуазное «великодушіе». Рядомъ съ этими явленіями русской жизни, Боборыкинъ рисуетъ и общественную неврастенію, перерожденіе «шестидесятниковъ» изъ радикаловъ въ журирующихъ старичковъ и ловцовъ сладкихъ кусковъ и кушей. «Пребывшій вѣрнымъ» старымъ традиціямъ смотритъ при этомъ изъ глубины романа, какъ судія неумытный. Ѣдкую и тонкими штрихами писанную сатиру представляетъ повѣсть «Поумнѣлъ» — «шестидесятникъ» въ ней обращается къ «трезвенности» взглядовъ и поведенія. Рисуетъ Боборыкинъ и такого рѣдкаго зубра, какъ «остальной изъ стаи славной» идеалистовъ 40-хъ годовъ, съ понятнымъ недоумѣніемъ внимающаго свысока кинутому юнымъ студентомъ замѣчанію, что Гамлетъ — «комикъ»... Конечно, утрированный «руссизмъ» тоже захваченъ въ записную книжку неутомимаго туриста русской дѣйствительности («Изъ новыхъ). Особенно много уловлено Боборыкинымъ и сконцентрировано въ рядѣ удачныхъ фотографій весьма тонкихъ и остроумныхъ наблюденій въ романѣ «Перевалъ».

Какъ бытописатель послѣдней четверти столѣтія, Боборыкинъ, несомнѣнно, займетъ опредѣленное мѣсто въ русской литературѣ, хотя это и не художникъ въ истинномъ смыслѣ этого слова.

Изъ писателей поколѣнія Боборыкина должно назвать еще Станюковича и Мачтета.

Константинъ Михайловичъ Станюковичъ (род. въ Севастополѣ 1844 г.), сынъ адмирала, окончившій пажескій и морской корпусъ и пробывшій три года въ кругосвѣтномъ плаваніи (1860—1863 г.), увлеченный идеями народничества, бросилъ карьеру моряка и въ 1865—1866 г.г. былъ сельскимъ учителемъ, а съ 1885 г. по 1888 г. въ ссылкѣ въ Томской губерніи. И пребываніе на морѣ и кораблѣ, какъ учительство и ссылка, равно отразились на литературной дѣятельности этого выдающагося писателя, который дебютировалъ въ «Морскомъ Сборникѣ» 1863 года «Очерками морского быта».

Морю и кораблю Станюковичъ обязанъ тѣми произведеніями, которыя составляютъ дѣйствительно художественный и потому цѣнный вкладъ въ русскую литературу. Мы имѣемъ въ виду его «Морскіе разсказы», гдѣ все дышетъ простотой, поэзіей, правдой, и матросы, и начальники, и даже разлитъ часто полный юмора тонъ добродушнаго морского бурбонства.

Но учительство и ссылка породила рядъ другихъ твореній Станюковича, совершенно фальшивыхъ и переполненныхъ паточными восторгами предъ гражданскими добродѣтелями земскихъ акушерокъ. И даже еще того хуже: Станюковичъ повиненъ въ писаніи романовъ съ начинкой для «Дѣла» Благосвѣтлова: «Безъ исхода» (1873 г.), «Два брата» (1880), «Омутъ» (1881). Станюковичъ такъ-же и талантливый фельетонистъ.

Григорій Александровичъ Мачтетъ (род. 1852 г. ум. 1901), авторъ романа «И одинъ въ полѣ воинъ», повѣсти «Человѣкъ съ планомъ», можетъ служить образцомъ идеально-благонамѣренныхъ писателей либеральнаго лагеря, о которыхъ критика всегда говорила: «Онъ хотя немножечко деретъ, за-то съ прекраснымъ поведеньемъ».

Однако у Мачтета есть недурные разсказы изъ сибирской жизни («Мірское дѣло» и «Вторая правда»).

§ 6. Типичными беллетристами восьмидесятыхъ годовъ являются Альбовъ, Баранцевичъ, Эртель и Короnинъ. Михаилъ Ниловичъ Альбовъ, сынъ дьякона, род. въ Петербургѣ 8 ноября 1851 г. Выступилъ онъ въ литературѣ повѣстью «День итога» въ «Словѣ» 1879 г. Мрачный тонъ его произведеній, сильное вліяніе Достоевскаго не лишаютъ ихъ однако своеобразія. Лучшія его вещи: «О людяхъ взыскующихъ града», «Воспитаніе Лельки» и хроника: «Конецъ Невѣдомой улицы». Затѣмъ хорошій романъ «Рыса» (1886), «Рыбьи стоны» (1888), довольно странное описаніе чувствъ стерляди, которую живой жретъ пьяный купчина, «Пшеницыны» (1890), «Юбилей» (1895). Головинъ отзывается объ этомъ писателѣ слишкомъ сурово «Отъ г. Альбова, избравшаго себѣ спеціальностью описаніе чердаковъ и подваловъ, вѣетъ непроходимой скукой. Его произведенія какъ-бы пропитаны затхлой атмосферой подваловъ, какіе онъ любитъ описывать. И боль-

ной онъ охотникъ оканчивать свои разсказы смертнымъ приговоромъ, исполняемымъ надъ собой его никуда негодными, истрепавшимися героями». Нѣтъ, Альбовъ интересенъ, какъ бытописатель уголковъ интеллигентнаго безвременья 80-хъ годовъ.

Владиміръ Станиславовичъ Баранцевичъ (род. 22-го мая 1851 г.), первую повѣсть свою «Одинъ изъ нашихъ старыхъ знакомыхъ» помѣстилъ въ «Гражданинѣ» кн. Вл. Мещерскаго 1873 г. Затѣмъ въ «Словѣ» 1878 г. повѣсть «Порванныя струны». Его романы: «Чужакъ» (1882), «Раба» (1887), «Двѣ жены (Семейный очагъ)» (1893). Кромѣ того нѣсколько сборниковъ разсказовъ. Сумерки и гниль петербургской голодной «интеллигентной» жизни съ задушевной болью описываетъ этотъ очень даровитый писатель. Есть что-то надрывающее душу въ этихъ русскихъ поэтахъ культурнаго пролетаріата. Таковъ былъ Левитовъ. Ихъ въ нашей лишь литературѣ теперь и найдешь. Это чистые сердцемъ.

Одинъ изъ выдающихся писателей восьмидесятыхъ годовъ — Александръ Ивановичъ Эртель (р. въ 1855 г.). Онъ выступилъ въ 1880—1882 г.г. въ «Вѣстникѣ Европы», гдѣ были напечатаны его «Записки степняка» — рядъ художественныхъ очерковъ. Затѣмъ имъ были написаны три большихъ романа: «Волхонская барышня» (1883), «Гарденины, ихъ дворня, приверженцы и враги» (1890) и «Смѣна» (1894). По своимъ взглядамъ народникъ чистѣйшей пробы. Эртель къ счастью и художникъ. Особенно выдается его описаніе дворни въ «Гардениныхъ». Въ «Смѣнѣ» удаченъ типъ молодого, рвущагося къ знанію, крестьянскаго парня. Въ «Волхонской барышнѣ» отмѣчено торжество новой, съ декадентской музыкой манеры плѣнять сердца, олицетворяемой графомъ Обленищевымъ надъ старой манерой 60-хъ и 70-хъ годовъ — развязной грубостью обращенія и высмѣиваніемъ предмета вожделѣнія, олицетворенной въ «изслѣдователѣ народной жизни», не играющемъ ни на какомъ инструментѣ, Тутолминѣ.

Должно отмѣтить такъ-же три тома сочиненій Николая Ельпидифоровича Петропавловскаго-Коронина (р. въ 1857 г. — ум. отъ чахотки 12 мая 1892 г.). Разсказы изъ народнаго быта и картины причудъ «толстовцевъ» 80-хъ годовъ — вотъ содержаніе его довольно мрачныхъ сочиненій (Ученый, Фантастическіе замыслы Миняя, Вольный человѣкъ, Послѣдній приходъ Демы, Мой міръ, На границахъ человѣка, Барская колонія и др.).

Несомнѣнно богато одаренные писатели — Ясинскій, Потапенко и Маминъ.

Іеронимъ Іеронимовичъ Ясинскій (Максимъ Бѣлинскій) родился въ Харьковѣ 18-го апрѣля 1850 года. Лучшія его произведенія: «Молодые всходы», «Болотный цвѣтокъ», «Спящая красавица» появились въ «Отечественныхъ Запискахъ» въ первой половинѣ восьмидесятыхъ годовъ.

Превосходная техническая отдѣлка, живопись слова, манера отчасти

въ стилѣ Готье и Флобера, дѣлаютъ многія его вещи положительно художественными и законченными. Въ 1881 году, въ «Вѣстникѣ Европы» появился первый очеркъ Игнатія Николаевича Потапенко (р. въ 1856) «Федонька». Затѣмъ въ 1885 г. появилась его повѣсть «Святое искусство», въ 1890 «На дѣйствительной службѣ», романъ «Здравыя понятія» и повѣсть «Секретарь его превосходительства». Даровитый, плодовитый, ясный и бодрый писатель, Потапенко подкупалъ юморомъ, чудными идилліями изъ жизни духовенства («Трое»), отчасти, конечно, въ стилѣ «Соборянъ» Лѣскова, большою простотой разсказа. Въ короткое время частью написалъ, а частью и просто «наваялъ» Потапенко двѣнадцать томовъ романовъ, повѣстей и разсказовъ, забывая мудрое изреченіе Козьмы Пруткова: «Заткни фонтанъ, и фонтану слѣдуетъ отдохнуть». Дмитрій Наркисовичъ Маминъ (р. 1852 г.)—бытописатель зауральскаго края и западной Сибири выступилъ, въ 1882, 1883 и 1884 г.г. тремя повѣстями: «На рубежѣ Азіи», «Золотуха» и «Горное гнѣздо» (въ «Отеч. Зап.»). Затѣмъ въ «Русской Мысли» явились его три романа: «Три конца» (1890), «Братья Гордѣевы» (1891), «Хлѣбъ» (1895). Кромѣ этихъ этнографическихъ романовъ, и составляющихъ главную силу этого талантливаго писателя, Маминъ далъ рядъ весьма недурныхъ романовъ и повѣстей изъ быта нашей интеллигенціи fin de siècle: «На улицѣ» (1886), «Первые студенты» (1887), «Ученое горе» (1892), «Очерки изъ жизни Петко» (1894).

§ 7. Намъ остается только перечислить немногихъ пропущенныхъ нами беллетристовъ, восьмидесятыхъ годовъ.

Въ 1884 г. вышелъ сборникъ разсказовъ князя Дмитрія Петровича Голицына (Муравлина) подъ общимъ заглавіемъ: «Убогіе и нарядные», въ 1885 г. его романы: «Теноръ» и «Баба»; въ 1886 г. романы: «Мракъ» и «Хворь»; въ 1887 г. «Около любви». Это типичный мрачно-пессимистическій писатель восьмидесятыхъ годовъ. Вырожденіе русскаго служилаго сословія, вымирающія княжескія семьи, старики, давно предавшіе всѣ завѣты сословія, молодежь—погруженная въ полусумасшествіе, неврастенію; общество—какъ-бы контуженное и разбитое преступленіемъ 1-го марта, люди, надъ которыми тяготѣетъ Немезида за явное и скрытое предательство, за ту гнусную двойную роль, которую они сыграли, потакая и потворствуя—вотъ предметъ романовъ Муравлина, быть можетъ невыдержанныхъ, спѣшно написанныхъ, но полныхъ пафоса, возмущеннаго гражданскаго чувства и гнѣва сердечнаго, несомнѣнно талантливыхъ и съ темпераментомъ писанныхъ.

Братья Тихоновы—Алексѣй Алексѣевичъ Тихоновъ (Луговой) и Владиміръ Алексѣевичъ Тихоновъ, котораго именуютъ въ еженедѣльныхъ иллюстрированныхъ журналахъ «бывшимъ редакторомъ Сѣвера»—похожи по

перу. Кто изъ нихъ даровитѣе? На нашъ взглядъ Владиміръ («Поверженные кумиры») и потому болѣе безпеченъ, тогда какъ менѣе даровитый Луговой за-то трудолюбивъ и болѣе серьезно относится къ задачѣ писателя. Лучшія его вещи—романъ «Грани жизни» и «Pollice verso».

Необходимо, конечно, упомянуть Василія Ивановича Немировича-Данченко, автора 80 томовъ «занимательныхъ» романовъ, въ которыхъ онъ стоитъ гдѣ-то на дорогѣ между Дюма—отцомъ и Викторомъ Гюго; Петра Петровича Гнѣдича, легкаго, красиво выводящаго силуэты и арабески своихъ разсказиковъ, юмориста, хорошаго, по «сценичности», драматурга, пишущаго и большія вещи, напоминающія развертывающіяся ширмы, изящно расписанныя парижскимъ мастеромъ на всевозможные articles. Таковъ его большой романъ «Китайскія тѣни» — калейдоскопъ петербургскаго «мельканія». Ни Гнѣдичъ, ни Немировичъ «задачъ» не имѣютъ, но ласкаютъ воображеніе читателя, поддерживаютъ въ немъ то возбужденное, то веселое настроеніе, иногда подчуютъ и каенскимъ перчикомъ. Они, какъ и журналы, «плодятъ читателей» и подготовляютъ ихъ къ серьезной литературѣ, «уча всему шутя».

Послѣ плеяды такихъ крупныхъ писательницъ, какъ Кохановская, Хвощинская, Марко-Вовчекъ, Смирнова, явились у насъ еще три: Марія Всеволодовна Крестовская (романъ «Артистка» 1891 г.), Ольга Александровна Шапиръ («Безъ любви», «Миширa») и Валентина Іовна Дмитріева («Доброволецъ», 1889). На нашъ взглядъ, при несомнѣнной талантливости этихъ писательницъ, все-же ихъ произведенія только «дамское рукодѣлье».

III.

§ 1. Поэтическое творчество Аполлона Николаевича Майкова закончилось къ послѣднему десятилѣтію вѣка цѣлымъ рядомъ произведеній, вполнѣ достойныхъ великаго поэта.

Подъ вліяніемъ предчувствій приближающейся кончины, лирика Майкова пріобрѣтаетъ особенно возвышенный, христіанско-философскій характеръ и вмѣстѣ является поэтическимъ credo поэта и его искусства. Можно смѣло сказать, что ни одинъ изъ поэтовъ русскихъ не далъ такихъ высокихъ настроеній на мистическія темы, какъ Майковъ. Лирическія стихотворенія Майкова восьмидесятыхъ годовъ, собраны имъ въ отдѣлы: «Excelsior», «Акварели», «Альбомъ Антиноя», «Вѣчные вопросы», «Наброски», «О память сердца! ты сильнѣй», «Изъ Аполлодора Гностика»[289]). Надо, однако,

[289]) Такого «гностика» никогда не существовало и въ этихъ совершенно оригинальныхъ созданіяхъ великаго поэта нѣтъ ничего ровно «гностическаго».

замѣтить, что сюда вошло нѣсколько пьесъ 70-хъ и даже 1868 и 69 г.г., а такъ-же пьесы 1890, 1891, 1892 и 1893 годовъ.

Поэтъ обращается къ міру «откровеній изъ царства вѣчной юности и красоты», вспоминая «сіяющіе мраморы», «безсмертныхъ Мадоннъ», «святую лиру и кристальный стихъ» Пушкина, «Моцартовы мелодіи». То неизвѣстное, что Толстому, Тургеневу и Щедрину представляется грознымъ мракомъ безъ лучей и звуковъ, предчувствіямъ поэта открывается въ сіяніи незакатнаго дня:

О царство вѣчной юности
И вѣчной красоты!

Въ рядѣ стихотвореній Майковъ опредѣляетъ сущность искусства и высокое призваніе поэта.

Ты—на горѣ:
Они—въ долинѣ.
Но—Богъ и свѣтъ
Въ твоей пустынѣ.

Ихъ духъ привыкъ
Ко тьмѣ и ночи,
И голый свѣтъ
Имъ рѣжетъ очи.

Но вѣдь и имъ
На самомъ пирѣ,
Имъ нужно знать,
Что есть онъ въ мірѣ:

Что гдѣ-нибудь
Еще онъ свѣтитъ,
Что воззовешь,—
И онъ отвѣтитъ!

Поэтъ—пустынникъ... «И Ангелъ мнѣ сказалъ: иди, оставь ихъ грады, въ пустыню скройся ты, чтобъ тамъ огонь лампады, тебѣ повѣренной, до срока уберечь, дабы, когда тщету суетъ они познаютъ, возжаждутъ Истины и свѣта пожелаютъ, имъ было бъ чѣмъ свои свѣтильники возжечь».

Но рядомъ съ этимъ образомъ схимника на горѣ и пустынника, хранящаго свѣтъ ему повѣренной лампады, поэтъ у Майкова является и въ роли активнаго борца за идеалъ, обличителя суетныхъ кумировъ черни человѣчества:

Мы выросли въ суровой школѣ,
Въ преданьяхъ рыцарскихъ вѣковъ,
И зрѣли разумомъ и волей
Среди лишеній и трудовъ.

Поэтъ той школы и закала,
Во всеоружіи всегда,
Въ сей вѣкъ Астарты и Ваала
Порой смѣшонъ, быть можетъ... Да!
Его коня—равняютъ съ клячей.
И съ Донъ-Кихотомъ самого.—
Но онъ въ святой своей задачѣ
Ужъ не уступитъ ничего!
И пусть для всѣхъ погаснетъ небо.
И въ тьмѣ приволье всѣ найдутъ.
И ради похоти и хлѣба
На все святое посягнутъ,—
Одинъ онъ—съ поднятымъ забраломъ—
На площади—предъ всей толпой—
Швырнетъ Астартамъ и Вааламъ
Перчатку съ вызовомъ на бой.

Въ рядѣ другихъ, чудно прекрасныхъ стихотвореній, Майковъ передаетъ тѣ образы, лучи и звуки, въ которые облекается для него таинственный міръ, къ вратамъ котораго приблизился старецъ — поэтъ... Онъ вѣритъ «впереди—Святый Іерусалимъ, то все была еще Антіохія»...

И я иду на чудный зовъ:
Достигъ предѣла вѣчныхъ льдовъ:
Но храма—нѣтъ!.. все пусто вкругъ:
Послѣдній замеръ жизни звукъ:
Туманомъ міръ внизу сокрытъ.—
Но надо мною все гудитъ
Во весь широкій небосклонъ!
—Сюда! сюда!—все тотъ же звонъ...

Эти стихи «конца вѣка» невольно просятся на сопоставленіе съ строфой баллады Жуковскаго «начало вѣка», воскрешая преданье юности русскаго романтизма:

...Вдругъ смутился онъ.
И въ радостномъ волненьи
Затрепеталъ... Знакомый звонъ
Раздался въ отдаленьи.
И долго, жалобно звенѣлъ
Онъ въ безднѣ поднебесной:
И кто-то, чудилось, летѣлъ
Незримый, но чудесный...
...Вадимъ взглянулъ—призракъ исчезъ;
А въ вышинѣ... звенѣло.

Но если «все пусто вокругъ», если при жизни недосягаемъ тотъ міръ, откуда доносится только могучій зовъ къ человѣку, то къ чему образы?

«Зачѣмъ предвѣчныхъ тайнъ святыни въ нашъ бренный образъ облекать, и вымысломъ небесъ пустыни, какъ бѣдный міръ нашъ, населять? Зачѣмъ давать цвѣта и звуки чертамъ духовной красоты? Зачѣмъ картины вѣчной муки и рая пышные цвѣты?» Съ глубокой человѣчностью поэтъ на это отвѣчаетъ: «Затѣмъ, что смертный подымаетъ тогда лишь взоры къ небесамъ, когда тамъ радуга сіяетъ его восторженнымъ очамъ...

Окрыленный прозрѣніемъ вѣры духъ поэта рвется ввысь. Нѣтъ, это не умираніе! Это восхожденіе, это возношеніе...

Выше, выше въ поднебесной
Возлетай, о мой орелъ,
Чтобы міръ земной и тѣсный
Весь изъ глазъ твоихъ ушелъ!

Вознесися въ тѣ селенья,
Гдѣ, какъ спящія мечты,
Первообразы творенья
Въ красотѣ ихъ чистоты.

Въ свѣтлый міръ, гдѣ пребыванье
Душъ, какъ создалъ ихъ Господь,
Душъ, не вѣдавшихъ изгнанья
Въ человѣческую плоть!

Въ этомъ прозрѣніи смерть не страшна поэту. Онъ называетъ ее — старымъ другомъ человѣчества: «Отъ узъ освобожденный духъ первоначальный образъ приметъ и съ вѣчныхъ тайнъ предъ нимъ подыметъ завѣсу Смерть — какъ старый другъ — и возвратитъ ему прозрѣнье, сквозь всѣ преграды вещества, во все духовное въ твореньѣ»... Но въ то-же время, поэтъ не клянетъ покидаемую жизнь и землю, онъ не соглашается съ древнимъ аскетомъ, который «изрекъ, восторженный, и нынѣ еще не смолкшія слова»:

Жизнь эта — сонъ и сновидѣнье,
Миражъ среди нагихъ песковъ:
Лишь въ смерти — полное забвенье
Всей этой лжи, успокоенье,
Сонъ въ лонѣ Бога — и безъ сновъ».

И въ жизнь земную, и въ инобытіе жарко вѣруетъ полная красоты душа поэта, но въ бытіе, въ жизнь, а не въ нирвану.

...Жизнь не сонъ, не сновидѣнье,
Нѣтъ! это пламенникъ святой,
Мнѣ озарившій на мгновенье
Міръ и небесный, и земной.
И смерть — не мигъ уничтоженья
Во мнѣ того живого я,

А новый шагъ, и восхожденье
Все къ высшимъ сферамъ бытія! (1893).

Жизнь — пламенникъ святой... не угашайте-же этотъ пламенникъ мелочами и соромъ повседневныхъ заботъ, питайте его высокими настроеніями и думами! «Не отставай отъ вѣка» — лозунгъ лживый, коранъ толпы. Нѣтъ: выше вѣка будь! Зигзагами онъ свой свершаетъ путь, и вкривь, и вкось стремя свои разливы. Нѣтъ! мысль твоя пусть зрѣетъ и растетъ, лишь въ вѣчное корнями углубляясь, и горизонтъ свой ширитъ, возвышаясь надъ уровнемъ мимобѣгущихъ водъ»!

И все-же поэтъ знаетъ страхъ смертный:

Близится вѣчная ночь... Въ страхѣ дрогнуло сердце...
Пристальнѣй сталъ я глядѣть въ тотъ ужасающій мракъ...
Вдругъ въ немъ звѣзда проглянула, за нею другая и третья,
И наконецъ засіялъ звѣздами весь небосклонъ.
... Есть вѣчное Солнце.
Солнце, котораго свѣтъ—блескъ и красу имъ даетъ...
О, какъ ты блѣдно предъ Нимъ, юныхъ дней моихъ солнце!
Какъ онъ ничтоженъ и пустъ гимнъ, что мы пѣли тебѣ! (1882).

Но высочайшей поэзіи достигаетъ Майковъ въ двухъ стихотвореніяхъ, коснувшихся самыхъ святыхъ чувствъ человѣка—христіанина.

Милыхъ, что умерли,
Образы свѣтлые
Въ сердцѣ своемъ схорони!
Тамъ они—Ангелы
Будутъ Хранители
Въ жизненныхъ буряхъ тебѣ.
Свободенъ ты—но надъ тобою
Есть судія. Въ дни ветхой тьмы
Онъ налеталъ огнемъ, войною,
Какъ громъ, какъ трусъ, какъ духъ чумы...
Его лица, ни даже тѣни,
Никто изъ смертныхъ не видалъ,
И лишь костями поколѣній
Въ пустынѣ путь его сверкалъ...
Теперь—не то...
Неслышный входитъ. Весь—сіянье.
Съ крестомъ, поправшимъ Смерть и плѣнъ;
Въ раскрытой книгѣ—начертанье
Святыхъ евангельскихъ письменъ;
Глубокій взоръ по малу свѣтомъ
Охватитъ внутрь всего тебя...

Ни одинъ изъ русскихъ поэтовъ, даже Пушкинъ, не возвышался до такихъ стиховъ. Только церковные пѣснотворцы такъ выражали евангельское Божество...

Въ 1888 г. Майковъ написалъ послѣднюю свою поэму «Бринтильда», изъ миѳическихъ преданій Скандинавской Старшей Эдды. Это великое произведеніе стоитъ въ ряду совершенныхъ созданій русской поэзіи. Прозрѣніе въ изображаемую миѳическую эпоху, величіе образовъ, красота и законченная простота гекзаметра (пушкинскаго склада), которымъ написана поэма, все соединилось здѣсь въ совершенно гармоническое цѣлое.

БИБЛІОГРАФІЯ: Аполлонъ Николаевичъ Майковъ (род. 23 мая 1821 г., умеръ 8 марта 1897 г.) Прадѣдъ, поэтъ екатерининскаго времени, Василій Ивановичъ Майковъ (1728—1778); дѣдъ, Аполлонъ Алекс. (1761—1838), директоръ императорскихъ театровъ, братъ его, Михаилъ Александровичъ (1796—1848), директоръ Демидовскаго училища высшихъ наукъ: оба писали стихи; отецъ—Николай Аполлоновичъ (1796—1873), академикъ живописи; Валеріанъ Ник., братъ (1826—1885), издатель журнала «Подснѣжникъ»; Леонидъ Ник., братъ (1839 — 1901), историкъ литературы, вице-президентъ Академіи наукъ. Біографія Майкова составлена М. Л. Златковскимъ. Изд. 2-е. Спб. 1889. Біографич. очерки: Н. С. Ремезова въ «Русск. Худож. Листкѣ» Тимма; А. У. Порѣцкаго въ изданіи Баумана «Русскіе современные дѣятели»; Н. Г. Гербеля, «Русскіе поэты». Дм. Языковъ: «Жизнь и труды А. Н. Майкова; Цертелева: «Памяти А. Н. Майкова». Русскій Вѣстникъ. Апрѣль 1897 г. Перечень посмертныхъ отзывовъ печати. Русск. Вѣст. май, іюль, ноябрь и декабрь. 1897 г.

§ 2. Въ восьмидесятыхъ годахъ Фетъ выпустилъ рядъ сборниковъ своихъ новыхъ стихотвореній подъ общимъ заглавіемъ «Вечерніе огни»: всего издано было четыре выпуска въ 1883, 1885, 1888 и 1891 гг. Кромѣ того остались стихотворенія приготовленныя для пятаго выпуска. Въ предисловіи къ третьему выпуску «Вечернихъ огней» поэтъ самъ объясняетъ свое творчество. Гражданская скорбь, говоритъ Фетъ, не могла вдохновить насъ. «Напротивъ, жизненныя тяготы и заставляли насъ въ теченіи пятидесяти лѣтъ по временамъ отворачиваться отъ нихъ и пробивать будничный ледъ, чтобы хотя на мгновеніе вздохнуть чистымъ и свободнымъ воздухомъ поэзіи».

Далѣе поэтъ говоритъ о критикахъ 60-хъ годовъ: «Имъ казались наши стихи не только пустыми, но и возмутительными своей невозмутимостью и прискорбнымъ отсутствіемъ гражданской скорби. Но, справедливый читатель, вникните же и въ наше положеніе. Мы, если припомните, постоянно искали въ поэзіи единственнаго убѣжища отъ всяческихъ житейскихъ скорбей, въ томъ числѣ и гражданскихъ. Откуда-же могли мы взять этой скорби тамъ, куда мы старались отъ нея уйти? Не все ли это равно, что обратиться къ человѣку, вынырнувшему изъ глубины рѣки, куда онъ бросился, чтобы потушить загорѣвшееся на немъ платье, съ требованіемъ: «давай огня»!

Понятно, что, при такомъ исключительномъ положеніи, стихотворенія

наши не могли быть помѣщаемы на страницахъ журналовъ, въ которыхъ они возбуждали одно негодованіе. Единственное исключеніе представлялъ Русскій Вѣстникъ, не ставившій тенденціозности единственнымъ условіемъ. Но, когда въ 1885 г. мы сочли дальнѣйшее наше сотрудничество въ Русскомъ Вѣстникѣ невозможнымъ, то единственнымъ путемъ обнародованія остались для насъ выпуски небольшихъ сборниковъ».

Объясненіе весьма характерное!

Въ предисловіи къ четвертому выпуску поэтъ говоритъ: «Раскрывая небольшое окошечко четвертаго выпуска, въ крайне ограниченномъ числѣ экземпляровъ, мы только желаемъ сказать друзьямъ, что всегда рады ихъ встрѣтить, и что за нашимъ окномъ Вечерніе Огни еще не погасли окончательно».

Кромѣ оригинальныхъ лирическихъ стихотвореній, Фетъ далъ рядъ переводовъ латинскихъ поэтовъ, переводъ «Фауста» Гете, философскихъ трактатовъ Шопенгауера «Міръ, какъ воля» и «О корнѣ достаточнаго основанія».

Еще въ 1856 г. въ «Отеч. Зап.» сталъ печататься переводъ Фета—Гораціевыхъ одъ... Переводчикъ въ теченіе почти тридцати послѣдующихъ лѣтъ продолжалъ начатое дѣло и, вмѣстѣ съ исправленіемъ прежнихъ переводовъ, велъ свой трудъ впередъ и переводилъ эподы, сатиры и посланія Горація, такъ что въ 1883 г. далъ полный переводъ всего Горація.

Переводъ Фета является первою полною передачею всѣхъ твореній римскаго поэта на русскомъ языкѣ. Въ разборѣ перевода проф. Помяловскій утверждаетъ, что по языку и отдѣлкѣ стиха переводъ Фета стоитъ неизмѣримо выше перевода Гнѣдича (Иліады), а по непосредственному изученію подлинника—выше перевода Жуковскаго [290]).

Помогали Фету при переводахъ съ латинскаго преподаватель латинской словесности нѣмецъ Максимъ Германовичъ Киндлеръ.

«Я постоянно находилъ людей, безкорыстно жертвовавшихъ въ мою пользу своими досугами. Такими являлись: Ѳед. Евгеньев. Коршъ, съ которымъ мы прослѣдили всего Ювенала, Овидіевы Превращенія, Катулла и половину Проперція; Ник. Ник. Страховъ, съ которымъ я перечиталъ Тибулла и Проперція; Влад. Серг. Соловьевъ, исполнившій переводъ 7-й, 9-й, и 10-й книгъ Энеиды Вергилія; Д. И. Нацевскій, снабдившій этотъ переводъ введеніемъ и примѣчаніями; и наконецъ гр. Ал. В. Олсуфьевъ, съ которымъ мы просматривали 2-ю часть Проперція и въ настоящее время усердно трудимся надъ переводомъ такого талантливаго капризника, какъ Марціалъ [291]).

[290]) Отчетъ о присужденіи пушкинской преміи въ 1884 г. Стр. 3.

[291]) А. Фетъ. Мои воспоминанія. Ч. II. М. 1890. Стр. 292.

Великій лирикъ въ восьмидесятыхъ годахъ, заканчивая свою дѣятельность (скончался въ 1892 г.), является предъ нами подобнымъ вѣчно юному Анакреону. Въ рядѣ стихотвореній, семидесятилѣтній поэтъ — все тотъ-же знакомый намъ мелодичный, волшебно-влюбленный Фетъ. Тайну этой юности дарованія поэтъ самъ объясняетъ:

«Полуразрушенный, полужилецъ могилы,
О таинствахъ любви зачѣмъ ты намъ поешь?
Зачѣмъ, куда тебя домчать не могутъ силы,
Какъ дерзкій юноша, одинъ ты насъ зовешь?»
Томлюся и пою. Ты слушаешь и млѣешь;
Въ напѣвахъ старческихъ твой юный духъ живетъ.
Такъ въ хорѣ молодомъ: Ахъ, слышишь, разумѣешь!
Цыганка старая одна еще поетъ. (1888).

Но не старой цыганкой — вѣщимъ чародѣемъ является въ лирикѣ своей старецъ-поэтъ. Это онъ и самъ сознаетъ:

Съ бородою сѣдою верховный я жрецъ:
На тебя возложу я душистый вѣнецъ,
И нетлѣнною солью горящихъ рѣчей
Я осыплю невинную роскошь кудрей.
Эту дѣтскую грудь разсѣку я потомъ
Вдохновеннаго слова звенящимъ мечомъ,
И раскроетъ потомку минувшаго мгла,
Что на свѣтѣ всѣхъ чище ты сердцемъ была.

Что лирика Фета, въ періодъ послѣдняго десятилѣтія его жизни (1882 1892), по юношеской свѣжести и совершенству красоты своей есть истинное чудо поэзіи, быть можетъ во всемірной литературѣ только и имѣющая аналогію въ пѣсняхъ Анакреона или юношескихъ восторгахъ передъ красотою Елены слѣпого старца Гомера, не трудно доказать, приведя рядъ примѣровъ:

Вотъ пѣсни 1883 года:

Только въ мірѣ и есть, что тѣнистый
Дремлющихъ кленовъ шатеръ;
Только въ мірѣ и есть, что лучистый
Дѣтски—задумчивый взоръ.
Только въ мірѣ и есть, что душистый
Милой головки уборъ;
Только въ мірѣ и есть —этотъ чистый
Въ лѣво бѣгущій проборъ.
Глубь небесъ опять ясна,
Пахнетъ въ воздухѣ весна;
Каждый часъ и каждый мигъ
Приближается женихъ.

Спитъ во гробѣ ледяномъ,
Очарованная сномъ,
Спитъ, нѣма и холодна,
Вся во власти чаръ она.
Но крылами вешнихъ птицъ
Онъ свѣваетъ снѣгъ съ рѣсницъ.
И отъ стужи мертвыхъ грезъ
Проступаютъ капли слезъ.

Едва-ли самъ античный эллинъ смогъ-бы вмѣстить такую дивную поэму въ двѣнадцать краткихъ стиховъ, по три съ половиной двусложныхъ стопы каждый... Это краткость изумительная, а какая полнота картины, чисто народной!..

Юношеская пѣсня 13 декабря 1886 года:

Жду я, тревогой объятъ,
Жду, тутъ, на самомъ пути:
Этой тропой черезъ садъ
Ты обѣщалась придти.
  Плачась, комаръ пропоетъ,
  Свалится плавно листокъ...
  Слухъ, раскрываясь, растетъ,
  Какъ полуночный цвѣтокъ.
Словно струну оборвалъ
Жукъ, налетѣвши на ель;
Хрипло подругу позвалъ
Тутъ-же у ногъ коростелъ.
  Тихо подъ сѣнью лѣсной
  Спятъ молодые кусты...
  Ахъ! какъ пахнуло весной!..
  Это—навѣрное ты.

Какъ умѣстно, что коростелъ хрипло подругу позвалъ! Тѣмъ граціознѣе быстрое появленіе подруги поэта, спѣшащей на свиданіе... Это писано въ началѣ мая? Поэту двадцать лѣтъ? нѣтъ, въ декабрѣ, и поэту 66 лѣтъ...

Приведемъ теперь три предсмертныя пѣсни торжествующей любви великаго лирика.

Пѣснь 1890 года:

Чуя внушенный другими отвѣтъ,
Тихій въ глазахъ прочиталъ я запретъ;
Но мнѣ понятнѣй еще говоритъ
Этотъ правдивый румянецъ ланитъ,
Этотъ цвѣтовъ обмирающихъ зовъ,
Этотъ тѣней набѣгающій кровъ,
Этотъ предательскій шопотъ ручья,
Этотъ разсыпчатый кличъ соловья.

Пѣснь 1891 года:

Безобиднѣй всѣхъ и проще
Въ общемъ хорѣ голосистомъ,
Вольной птицей въ вешней рощѣ
Раздражалъ я воздухъ свистомъ.
Все замолкло предъ зимою,
Нѣтъ и птицъ на голой вѣткѣ.
Но, счастливецъ,—я тобою
Въ золотой задержанъ клѣткѣ.
Дай мнѣ ручку, дорогая!
Къ ней прильнуть трепещутъ крылья:
Пусть умру я, распѣвая,
Отъ восторговъ и усилья.

Пѣснь 31 марта 1892 года:

Разсыпаяся смѣхомъ ребенка,
Явно въ душу мою влюблены,
Пролетаютъ прозрачно и звонко
Надо мною блаженные сны.
И мгновенной охваченъ истомой,
Снова молодость чую свою;
Узнаю я и голосъ знакомый,
И побѣдный призывъ узнаю.
И, когда этой пѣснѣ внимаю,
Окрыленный восторгомъ, не лгу,
Что я все безъ рѣчей понимаю
И, къ чему призываетъ,—могу.

Фетъ скончался 21 ноября 1892 года въ полдень, въ Москвѣ, не доживши двухъ дней до 72 лѣтъ.

§ 3. Всего лучше опредѣлилъ музу Якова Петровича Полонскаго, старшій изъ поэтическаго созвѣздія тріады великихъ пѣснопѣвцевъ второй половины XIX-го столѣтія, Аполлонъ Николаевичъ Майковъ:

Твой стихъ, красой и ароматомъ
Родной и небу, и землѣ,
Блуждаетъ странникомъ косматымъ
Между міровъ, свѣтя во мглѣ.
Люблю въ его кудряхъ я длинныхъ
И пыль отъ млечнаго пути,
И желтый листъ дубравъ пустынныхъ,
Гдѣ отдыхалъ онъ въ забытьи;
Стремится рѣчь его свободно:
Какъ въ звонѣ стали чистой, въ ней
Закалъ я слышу благородный
Души возвышенной твоей.

Въ самыхъ невыдержанныхъ, небрежныхъ пьесахъ Полонскаго звенитъ чистая золотая руда русской рѣчи, сверкаютъ искры мощнаго вдохновенія. Пусть взлохматитъ кудри свои длинныя, копна копной, лѣниво развалившійся на диванѣ своемъ поэтъ, а все это чародѣй — пѣвецъ, великій и велерѣчивый русскій романтикъ, если Фета и Майкова признать съ ихъ античной краткостью, совершенствомъ пластики и чекана, мѣры и гармоніи — классиками.

Въ восьмидесятыхъ годахъ маститый поэтъ, на знаменитыхъ пятницахъ котораго толпилось всегда все молодое племя пишущей братіи, издалъ два сборника: «На закатѣ» (стихотворенія 1877—1880 гг.) и «Вечерній звонъ» (стихи 1887—1890 гг.). Изъ эпическихъ произведеній этой эпохи творчества Полонскаго замѣчательна баллада «Кассандра» и разсказъ въ стихахъ «Анна Галдина». «Кассандра» Полонскаго, одноименная съ знаменитой балладой Шиллера, переведенной еще въ 1809 году Жуковскимъ, задумана вполнѣ оригинально. Его фантазія остановилась на одномъ намекѣ въ діалогѣ Эсхиловой Кассандры съ хоромъ въ его «Агамемнонѣ».

Стихъ «Анны Галдиной» совершенно своеобразенъ. Тонкій знатокъ дѣла, Поливановъ говоритъ: Подобно тому, какъ Пушкинъ воспользовался складомъ лубочныхъ виршъ для своей сказки о попѣ и работникѣ его Балдѣ, Полонскій здѣсь примѣнилъ мотивъ камаринской.

Шутливый тонъ раешника, показывающаго незамысловатыя картинки свои, мастерски мѣняется, разнообразно переливаясь, и порою переходя въ задушевный и грустный, гдѣ того требуетъ содержаніе, подобно тому какъ подъ пальцами искуснаго балалаечника игривый мотивъ порою звучитъ томно и уныло.

Безподобное мѣстечко, господа!
Не угодно-ли пожаловать сюда.
Поглядите, что за чудо городокъ...[292])

Однако, самъ поэтъ говоритъ, что за образецъ метра для своей поэмы онъ взялъ начало молитвы Господней.

Отче нашъ, иже еси на небеси...

Одно изъ лучшихъ мѣстъ поэмы указано Поливановымъ:

Нѣги, трепета и ужаса полна,
Съ торопливостью стыдливою она,
И на плечи, и на дѣвственную грудь
Натянула покрывало — отвернуть
Свою голову хотѣла, чтобъ зарыть
Въ пухъ подушекъ воспаленное лицо:

---

[292]) Отчетъ о [illegible] присужденіи пушкинской премiи въ 1891 году. Разборъ Л. И. Поливанова. Стр. 58.

Но ея палецъ жжетъ волшебное кольцо.
Но устами онъ прильнулъ къ ея устамъ...
Она силится, порывисто дыша,
Оттолкнуть его, но тѣло и душа—
Все въ ней замерло въ блаженномъ забытьи.
Разметавши руки бѣлыя свои,
Она вскрикнула... очнулась —онъ исчезъ...
Былъ-ли это Божій ангелъ или бѣсъ?

Изъ того-же періода замѣчательны баллады «Прометей», «На каланчѣ» и «Подросла». Первое изъ этихъ прекрасныхъ произведеній великаго русскаго романтика исполнено дивнаго величія и благородства, краткости и силы, простоты и выразительности.

Я шелъ подъ скалами
Мглой ночи одѣтъ.
Я несъ темнымъ людямъ
Божественный свѣтъ—
Любовь и свободу
Отъ страха и чаръ,
И жажду познанья,
И творческій даръ.

Перемѣна метра изображаетъ внезапное волненіе, столь не свойственное безсмертнымъ, которое произвело на блаженномъ Олимпѣ это скромное, неспѣшное, но величественное шествіе генія человѣчества на темной землѣ подъ скалами.

Вдругъ разорвалася
Ночи занавѣса.—
Брызнули въ пространство
Молніи Зевеса.
И проснулись боги,
И богини съ ложа
Поднялись, пугливымъ
Крикомъ міръ встревожа.

Восемь трехстопныхъ, по два слога стопа, стиховъ и какая картина! Вы видите этихъ богинь, съ просонья, какъ стая бѣлыхъ лебедей поднявшихъ съ ложницъ вѣчнаго сладострастія клики. Видишь, какъ поднялись онѣ, нагія, «пугливымъ крикомъ встревожа міръ». И самъ Владыка Зевесъ, побѣдитель древнихъ Титановъ, грубой, матеріальной силы, на удачу грохочетъ, зачуя страшную, неожиданно возникшую опасность:

Брызнули въ пространство
Молніи...

Но вотъ, черный воронъ, посланецъ боговъ, мелькнулъ и ринулся въ тьму... Сейчасъ онъ настигнетъ дерзкаго и вонзитъ въ его грудь, на вѣч-

ное терзаніе, клювъ и когти. Но Прометей уже позналъ безсиліе боговъ въ ихъ смущеніи, въ этомъ кликѣ богинь, въ этомъ фейерверкѣ молній, на удачу пущенныхъ въ пространство: «Я ужь знаю тайну, что не вѣчны боги ...

Что сдѣлаетъ громъ
Съ безсмертіемъ духа,
Съ небеснымъ огнемъ?
Вѣдь то что я создалъ
Любовью моей,
Сильнѣе желѣзныхъ
Когтей и цѣпей.

Прометей побѣдилъ Олимпъ. Метръ опять возвращается къ побѣдному, торжественному маршу.

Въ поэмѣ — балладѣ «На каланчѣ» изображаются поэтическія грезы сторожа на пожарной вышкѣ; и поэтъ уподобляется этому сторожу:

... Высока
Та вышка, гдѣ тебя судьба
Поставила... и не легка
Твоя задача...
... Но пока
Тебя не смѣнитъ кто-нибудь,
На высотѣ своей побудь...

Наконецъ въ поэмѣ «Подросла» въ своеобразныхъ стихахъ изображается первое пробужденіе страсти въ подросткѣ, стоящей на грани между дѣтствомъ и дѣвичествомъ:

Жарко пышетъ заря золотая:
Выползаютъ ужи...
Никого вдоль межи...
А я пѣсни пою, утопая
Вся во ржи...
И въ прохладный потокъ я бросаюсь,
И ныряю, и рву
Водяную траву,
И пугливо въ тростникъ забираюсь
И — ау!

Послѣдній стихъ — единственный въ своемъ родѣ. Каждая строфа состоитъ изъ трехъ стопнаго, двухъ двустопныхъ, опять трехстопнаго и наконецъ замыкающаго строфу одностопнаго анапеста:

∪ ∪ — / ∪ ∪ — ∪ ∪ — ∪
∪ ∪ — ∪ ∪ —
∪ ∪ — ∪ ∪ —
∪ ∪ — / ∪ ∪ — / ∪ ∪ — ∪
∪ ∪ —

Послѣдній стихъ второй изъ приведенныхъ строфъ «И — ау!» — одностопный анапестъ, три гласныхъ «и», «а» и «у»...

О вы, лѣтніе дни, золотые!
Я люблю солнца жаръ...
Полюби мой загаръ,
Полюби мои кудри густые, —
Божій даръ...

Въ послѣднихъ пѣсняхъ Полонскаго находимъ выраженія его поэтическаго credo и прощаніе съ землей. Два стихотворенія посвящены Фету, но столь-же примѣнимы и къ самому Полонскому:

Ночи текли,—звѣзды трепетно въ бездну лучи свои сѣяли...
Капали слезы,—рыдала любовь, —и алѣлъ
Жаркій разсвѣтъ,—и тѣ грезы, что въ сердцѣ мы тайно лелѣяли,
Трель соловья разносила, и—бурей шумѣлъ
Моря сердитаго валъ.—думы зрѣли, и—рѣяли
Сѣрыя чайки,..
Игру эту боги затѣяли...
Въ ихъ міровую игру Фетъ замѣшался и пѣлъ...

Образцовый стихотворный періодъ!

Уходитъ пестрый день и, тѣша смертныхъ очи,
Горитъ на западѣ зарею золотой;
Кой-гдѣ румянится тѣней сгущенныхъ рой,
И бездна яркихъ звѣздъ плыветъ надъ бездной ночи...
Вотъ—вотъ они,
О, Господи!—Твои вечерніе огни!..
Столицы дремлющей тяжелые фасады
Слѣпыми окнами глядятъ со всѣхъ сторонъ:
Кой-гдѣ голодному блестящій снится сонъ,
Кой-гдѣ для слезъ любви еще горятъ лампады...
Вотъ—вотъ они—
О, Господи!—Твои вечерніе огни!..
На склонѣ скорбныхъ дней, еще глаза поэта
Сквозь бездну зла и лжи провидятъ красоту:
Еще душа таитъ горячую мечту
И вдохновеніе,—послѣдній проблескъ свѣта...
Вотъ—вотъ они,—
О, Господи!—Твои вечерніе огни!..

§ 4. 23 января 1881 года состоялось учрежденіе при Академіи Наукъ премій имени Пушкина за изслѣдованія по исторіи языка и литературы, а также за сочиненія по изящной словесности, какъ въ прозѣ, такъ и въ стихахъ. Въ разсматриваемое десятилѣтіе Академіей были увѣнчаны три молодыхъ поэтахъ: кн. Цертелевъ, гр. Голенищевъ-Кутузовъ и Надсонъ.

Въ 1883 году кн. Д. Н. Цертелевымъ была издана книжка стихотвореній, обратившая на себя вниманіе любителей литературы. Цертелевъ равнодушенъ къ окружающей его русской современной жизни и вдохновляется почти исключительно событіями и героями временъ давно минувшихъ. Особенную склонность онъ питаетъ къ древне-арійскимъ и буддійскимъ преданіямъ и миѳамъ, олицетворяющимъ религіозно-философское міросозерцаніе древняго Востока. Такая склонность, равно какъ и нѣкоторыя другія черты творчества князя Цертелева, объясняются основнымъ свойствомъ его творческой природы: онъ не поэтъ-художникъ, а поэтъ мыслитель.

Однако, въ поэмахъ Цертелева мы находимъ нерѣдко музыкальныя строфы, и художественное наслажденіе, доставляемое ими читателю, невольно заставляетъ его простить поэту нѣкоторые техническіе недочеты и промахи, кое-гдѣ встрѣчающіеся въ этихъ стихахъ. Есть у Цертелева и прекрасныя лирическія пьесы. Какъ эта напримѣръ:

Все, что лучами надежды манило,
Что озаряло такъ ярко нашъ путь,
Все, что блаженство когда-то сулило,
Вновь не пытайся ты къ жизни вернуть.
Прежніе сны не пригрезятся снова,
Счастье, блеснувъ, не вернется назадъ—
Крѣпки желѣзныя двери былого,
Времени жатву навѣки хранятъ.
Еслижъ въ безумномъ порывѣ желанья
Ты и проникнешь до царства тѣней,
Тамъ въ этотъ мигъ рокового свиданья
Ты не узнаешь святыни своей[293]).

Въ іюньской книжкѣ «Вѣстника Европы» за 1878 г. были напечатаны три превосходныя стихотворенія гр. А. Голенищева-Кутузова, подъ общимъ заглавіемъ «Изъ дневника». Приводимъ отрывки:

...Гремящіе потоки,
Смѣясь, бѣгутъ съ оттаявшихъ холмовъ,
И сладкіе, живительные соки
Изъ нѣдръ земли ползутъ въ стволы деревъ,
Ползутъ къ вѣтвямъ и въ стебли травкой каждой,
Творящихъ силъ и трепета полны;
Весь юный міръ, томясь любовной жаждой,
Объятій ждетъ волшебницы весны.
Я услыхалъ сегодня первый громъ;
Онъ въ полдень прогремѣлъ...

[293]) Отчетъ о девятомъ присужденіи Пушкинскихъ премій въ 1893 году. Стр. 9, 10 и 11.

...Я вышелъ въ садъ. Шумя со всѣхъ сторонъ,
Пахучими и мокрыми вѣтвями
По воздуху махая, какъ руками,
Безъ умолку болталъ о чемъ-то онъ.
Его перекричать старались птицы,
Свистала иволга и зябликъ пѣлъ;
И вдругъ опять, какъ грохотъ колесницы,
Далекій громъ въ природѣ прогремѣлъ.
Мнѣ говорятъ: Забудь тревоги дня,
Забудь «болѣзнь, печаль и воздыханье»:
Въ предѣлъ иной,—гдѣ вѣчное сіянье,
Гдѣ вѣчный міръ,—пусть мчится мысль твоя.
Но я въ отвѣтъ: нѣтъ, братья, пусть тревога,
Пусть боль и скорбь мою терзаютъ грудь,
Быть можетъ, съ вами суждено немного
Мнѣ по землѣ брести одной дорогой—
Въ землѣ-жъ всегда успѣю отдохнуть.
Тогда—покой...

«Эпохою, когда установилась извѣстность графа А. Голенищева-Кутузова, говоритъ Н. Н. Страховъ, нужно считать появленіе трехъ его поэмъ: «Старыя рѣчи» 1879 года, «Дѣдъ простилъ» 1881 года и «Развѣтъ» 1882 г. Шестистопный ямбъ особенно любимъ поэтомъ, который владѣетъ въ совершенствѣ этимъ спокойнымъ размѣромъ и даетъ ему, смотря по надобности, очень различныя теченія. Русско-турецкая война вызвала у него рядъ прекрасныхъ стихотвореній. Глубина чувства, патріотизма, вдохновеніе героизмомъ страданія, энергія стиха и языка — вотъ ихъ достоинства. Поэма «Развѣтъ» есть самое совершенное произведеніе гр. Кутузова, хотя психологическій мотивъ его видимо взятъ изъ сценъ предсмертнаго состоянія Андрея Болконскаго въ «Войнѣ и мирѣ» гр. Л. Толстого. Молодой человѣкъ пріѣзжаетъ въ деревню на свадьбу дѣвушки, съ которой былъ коротко знакомъ лѣтъ пять назадъ. Между ними возникаетъ такая сильная любовь, что невѣста отказываетъ жениху наканунѣ дня свадьбы. Женихъ посылаетъ вызовъ герою; они стрѣляются и герой раненъ такъ, что находится на волосъ отъ смерти. Тутъ въ немъ происходитъ глубокій переворотъ: онъ видитъ развѣтъ, новаго лучшаго пониманія жизни и міра. Въ немъ утихаетъ всякая страсть; онъ понимаетъ красоту смерти и холодно отворачивается отъ любимой дѣвушки. Полное отрѣшеніе отъ жизни изображено съ удивительною ясностью и силою [294]).

Ни одинъ изъ русскихъ поэтовъ не разошелся въ такомъ количествѣ изданій, какъ Надсонъ.

---

[294]) Отчетъ о десятомъ присужденіи пушкинской премiи въ 1894 году, Стр. 19.

Уже въ 1890 году разошлось десятое изданіе книжки его стихотвореній. Умершій отъ чахотки 24 лѣтъ, Надсонъ является въ ореолѣ юноши-поэта, обреченнаго на раннюю смерть.

Этотъ образъ плѣнялъ русское общество еще въ концѣ XVIII-го вѣка. Карамзинъ возлагаетъ словесный «Вѣнокъ на гробъ моего Агатона». Жуковскій вдохновляется ранней смертью юноши Андрея Тургенева; Батюшковъ и Баратынскій переводили знаменитые стихи Мильвуа о юномъ поэтѣ, умирающемъ вмѣстѣ съ паденіемъ послѣднихъ листьевъ; въ раннихъ стихотвореніяхъ Пушкина уже является образъ этотъ, и въ «Евгеніи Онѣгинѣ», въ лицѣ безвременно умирающаго поэта Ленскаго онъ развитъ въ цѣлостный, плѣнительный типъ, чисто романтическій.

Не рыдай такъ безумно надъ нимъ!
Хорошо умирать молодымъ!—

говоритъ Некрасовъ. Таковъ и Надсонъ. Искренней, чистой, хотя и малой искоркой, горѣлъ въ немъ истинный поэтическій огонь. Съ жизнью его и сгорѣлъ. Но видя, при безпристрастномъ анализѣ, некрупныя творческія силы поэта, невольно спрашиваешь себя — живи поэтъ долго, не перегорѣлъ-ли бы этотъ пламень? Что если поэта — «обыкновенный ждалъ удѣлъ»? Его сверстники, поэты хмурой, ноющей, пессимистичной, слабовольной и неврастеничной «интеллигенціи» 80-хъ годовъ—Минскій и Мережковскій устремились въ концѣ вѣка на пути кривые, декадентскіе... Но къ чему гаданія? Поэта нѣтъ. Надъ могилой его теплится то-же чистое пламя, которое озаряло его скорбный и хрупкій обликъ при жизни, и это пламя не погаснетъ. Имя поэта Надсона на вѣки вписано, среди именъ особенно дорогихъ и близкихъ русскому обществу. Родился Семенъ Яковлевичъ Надсонъ въ Петербургѣ 14-го декабря 1862 года. По отцовской крови онъ былъ еврей, о чемъ и говоритъ въ стихотвореніи, которое по непонятной причинѣ не вошло ни въ одно изданіе стихотвореній Надсона и напечатано въ сборникѣ отрывковъ поэта: «Недопѣтыя пѣсни». «Изъ посмертныхъ бумагъ» (Спб. 1902): «Я росъ чужой тебѣ, отверженный народъ». Мать поэта изъ дворянъ Мамонтовыхъ. Еще будучи въ военной гимназіи онъ помѣстилъ свое стихотвореніе «На зарѣ» въ журналѣ «Свѣтъ», который тогда издавалъ Николай Петровичъ Вагнеръ (Котъ-Мурлыка).

Въ офицеры Надсонъ произведенъ въ сентябрѣ 1882 года, а въ январѣ этого года появились его стихи въ «Отечественныхъ Запискахъ». И тогда уже доктора опредѣлили у поэта «хроническій процессъ въ верхнихъ легкихъ» или, говоря проще, «чахотку»... Жилъ поэтъ въ Кронштадтѣ, гдѣ стоялъ его полкъ. Извѣстность его быстро росла. Какія-то струны затронулъ въ поколѣніи людей 80-хъ годовъ Надсонъ своими болѣзненно-страстными строфами... Можно сказать о немъ: живутъ, до сихъ поръ живутъ

его пѣсни, разъ ударивъ по сердцамъ. Къ сожалѣнію, простой, милый, скромный русскій офицеръ, лишь съ достоинствами чуткой еврейской души, отъ тѣхъ прекрасныхъ евреевъ, которые являются въ этомъ племени, гдѣ все полно контрастовъ и ужъ если плохъ человѣкъ, то грязенъ и гадокъ, какъ финикіянинъ, а если хорошъ, то истинно чудный душею, къ сожалѣнію, повторяемъ, Надсонъ, по мѣрѣ его успѣха попалъ въ опеку людей съ очень пошлымъ вкусомъ, которые одѣли его въ бархатный пиджакъ и устроили ему шевелюру «молодого льва». Впрочемъ, въ Россіи успѣхъ всегда неразлученъ со скандаломъ. Шумиха поклонницъ и поклонниковъ поэта, по нашему мнѣнію, затемнила простой и наивный обликъ Надсона и создала какую-то южную вулканическую натуру тамъ, гдѣ билось и умирало кроткое и чистое сердце. При успѣхѣ, онъ оставался бѣднякомъ по прежнему. Лѣто 1883 года, когда у него открылась на ногѣ туберкулезная фистула, юноша-поэтъ пролежалъ все лѣто въ Петербургѣ, въ маленькой комнаткѣ, выходившей на пыльный и душный дворъ, окномъ въ сосѣдній брандмауеръ... Только 4 октября 1885 года Надсонъ отправленъ былъ на средства Литературнаго фонда заграницу въ Висбаденъ и Ментону. По возвращеніи въ Россію жилъ въ Кіевѣ и въ Крыму. Умеръ Надсонъ въ Ялтѣ 19 января 1887 года въ 9 часовъ утра.

Маститый пѣвецъ великой тріады сороковыхъ годовъ Я. П. Полонскій написалъ прекрасные стихи на смерть юноши-поэта:

...Запѣлъ,
И былъ тотъ голосъ съ нервной дрожью,
Какъ голосъ брата, въ часъ глухой,
Подслушанъ пылкой молодежью
И чуткой женскою душой...
Спи съ миромъ, юноша-поэтъ,
Вкусившій на дорогѣ краткой,
Отраву ласки и клеветъ,
Все, что любовь даетъ украдкой,
Разлуки гнетъ, часы свиданій,
Шумъ славы, громъ рукоплесканій,
Насмѣшку, холодъ и привѣтъ, —
Спи съ миромъ, юноша-поэтъ!

Присуждая премію за стихи Надсона, рецензентъ Академіи Наукъ говоритъ:

«Стихотворенія Надсона могутъ по справедливости быть причислены къ лучшимъ поэтическимъ произведеніямъ молодой плеяды русскихъ поэтовъ, выступившихъ на литературное поприще съ начала 70-хъ годовъ» [295]).

[295]) Отчетъ о третьемъ присужденіи премій въ 1886 году. Разборъ стихотвореній С. Я. Надсона, составленный графомъ А. А. Голенищевымъ-Кутузовымъ. Стр. 78.

Надсонъ при изложеніи мысли или начертаніи образа не схватываетъ сразу существенныя черты и выраженія, а отыскиваетъ ихъ, какъ бы ощупью, при чемъ не однажды возвращается къ одной и той-же идеѣ, излагая ее различными способами и предоставляя читателю самому судить, который изъ этихъ способовъ лучше другихъ[296]).

Милый другъ, я знаю, я глубоко знаю,
Что безсиленъ стихъ мой блѣдный и больной!

восклицаетъ поэтъ въ искреннемъ порывѣ самообличенія, но изъ сознанія своего безсилія выводитъ совершенно неожиданное общее заключеніе:

Холоденъ и жалокъ нищій нашъ языкъ...

Замѣтьте: «нашъ», а не «мой»[297]).

Лучшее произведеніе Надсона, поэма «Іуда».

Христосъ молился. Потъ кровавый
Съ чела поникшаго бѣжалъ.
За родъ людской, за родъ лукавый
Христосъ моленья возсылалъ...

Затѣмъ рядъ задушевныхъ элегій, отчасти субъективнаго, отчасти гражданскаго, отчасти философскаго характера: «Томясь и страдая во мракѣ ненастья». «Я не тому молюсь...». «Сбылося все, о чемъ за школьными стѣнами». «Вѣрь—говорятъ они—мучительны сомнѣнья...», «Снилось мнѣ, что я боленъ, что мозгъ мой горитъ». «Безпокойной душевною жаждой томимъ». «Умерла моя муза!»

Умерла моя муза! Недолго она
Озаряла мои одинокіе дни:
Облетѣли цвѣты, догорѣли огни,
Непроглядная ночь, какъ могила темна!..

Въ стихахъ Надсона есть личная его гармонія, особое, ему только свойственное настроеніе. Это истинный поэтъ и кромѣ того поэтъ 80-хъ годовъ, характерный для этого десятилѣтія.

БИБЛІОГРАФІЯ: С. Я. Надсонъ. Стихотворенія. Съ портретомъ, факсимиле, и біографическимъ очеркомъ, М. В. Ватсонъ. 2 тома. Изд. 17-е. Спб. 1899 г. — Кромѣ стихотвореній, изданъ сборникъ его критическихъ статей и замѣтокъ.—Сборникъ статей, посвященныхъ памяти Надсона. Спб. 1887 г.—Изъ писемъ Н—на. Нед. 1891 г. № 11.—Надсонъ и графиня Лида. Ихъ переписка. Нед. 1887. № 17. — Гриневичъ. Пѣвецъ больного поколѣнья. Русс. Бог. 1897 г. № 5. — О. Миллеръ. Н—нъ. Р. Ст. 1887 г. № 11.—Арс. Введенскій. Поэтъ переходнаго времени. Дѣло. 1886 г. № 5.—К. Арсеньевъ. въ критич. этюдахъ. Т. II.

---

[296]) Отчетъ о третьемъ присужденіи. Стр. 85.
[297]) Отчетъ о третьемъ присужденіи. Стр. 87.

§ 5. Восмидесятые годы были обильны стихотворцами, которые вдругъ отроились, словно комары послѣ теплаго, лѣтняго дождя и наполнили всю литературу своимъ пискомъ.

Новое стихотворство стало расти чрезвычайно быстро, писалъ Н. Н. Страховъ, — лѣтъ пять тому назадъ оно все еще не бросалось сильно въ глаза; но теперь новые поэты считаются едва-ли не сотнями, и мы имѣемъ до полусотни отдѣльныхъ сборниковъ, большею частью появившихся въ послѣдніе годы. Это даже не плеяда, а цѣлая туманность, состоящая изъ мелкихъ звѣздъ, не различимыхъ простымъ взглядомъ.

Въ этомъ множествѣ нашлось нѣсколько книгъ, имѣвшихъ успѣхъ, раскупленныхъ и вновь изданныхъ, даже иногда нѣсколько разъ»[298]).

Строгій эстетикъ находитъ затѣмъ, что уровень новыхъ поэтовъ очень низокъ, и что они обязаны своимъ успѣхомъ только столь-же низкому, или еще болѣе низкому уровню читающей публики, которая очень возросла въ числѣ, но очень упала въ своихъ требованіяхъ: какъ будто порвалась нить преданія, какъ будто и писатели и читатели уже забыли, что такое хорошіе стихи, а потому довольствуются такими слабыми произведеніями, съ какими прежде авторъ не смѣлъ-бы явиться въ печать, и какія прежде читатель забраковалъ-бы съ первыхъ же строкъ[299]).

Въ интересной книжкѣ «Очерки новѣйшей русской литературы» г. Н. Котляревскій разсматриваетъ поэтическое теченіе 80-хъ годовъ. «Незамѣтно и тихо зарождалось оно, — говоритъ критикъ, — на страницахъ нашихъ журналовъ. Публика вообще обращала мало вниманія на стихи—она болѣе интересовалась романомъ. Критика занялась стихами лишь недавно (писано въ 1890 г.), когда стихотворные сборники стали домогаться общественнаго суда, если не своимъ качествомъ, то количествомъ. Дѣйствительно, критика не могла умолчать объ этомъ странномъ, одновременномъ появленіи безчисленнаго количества стихотворцевъ, въ произведеніяхъ которыхъ она стала находить совершенно сходныя мысли и чувства... Несмотря на видимое неодобреніе, высказываемое критикой, несмотря на холодный пріемъ, оказанный публикой большинству изъ нихъ, поэты не переставали печатать свои сборники съ непонятнымъ упорствомъ и даже съ ожесточеніемъ... Набросанное и законченное, созданное и списанное, прочувствованное и холодное, написанное на случай и продуманное—все было вынесено на столъ и предложено. Одинъ этотъ фактъ доказываетъ намъ, что мы имѣемъ дѣло съ людьми, которые не поставили своему творчеству ясныхъ требованій и ясной цѣли... Трудно поэтому установить между ними

---

298) Отчетъ о четвертомъ присужденіи пушкинскихъ премій въ 1888 г. Стр. 75.

299) Ibid. Стр. 76.

какую бы то ни было литературную іерархію. Молодые поэты родились какъ грибы, у которыхъ нѣтъ общаго видимаго родоначальника. Постепенно подготовленная почва и данное состояніе атмосферы вызвали ихъ наружу и, если случайныя обстоятельства измѣнили ихъ окраску или покосили ихъ въ томъ или другомъ направленіи, то составъ и вкусъ ихъ остался всетаки одинъ и тотъ же...»

«Стихотворные сборники послѣдняго времени носятъ на себѣ яркую печать эклектизма. Читая ихъ, вамъ кажется, что вы присутствуете при разговорѣ четырехъ собесѣдниковъ. Первый — прогрессистъ 50-хъ годовъ типа Рудина, второй — «мыслящій реалистъ—шестидесятникъ»; третій — запоздалый, безобидный поэтъ 20-хъ годовъ. Четвертый собесѣдникъ — самый для насъ интересный — молодой поэтъ нашего времени. Онъ внимательно слѣдитъ за ходомъ разговора. Красивыя слова его увлекаютъ и онъ поддакиваетъ всѣмъ говорящимъ, и обличителю, и идеалисту - реформатору, и пѣвцу чистой красоты. Онъ находится подъ ихъ обаяніемъ и только, оставшись наединѣ, начинаетъ разбираться въ этихъ пестрыхъ мысляхъ и чувствахъ, которыя только-что пережилъ. Его записная книжка — настоящій сборникъ мотивовъ изъ разныхъ авторовъ и отличается отъ обыкновеннаго попурри только тѣмъ, что вмѣсто традиціоннаго веселаго марша, кончается похоронной мелодіей».

Нельзя не согласиться съ этой характеристикой. Изъ многочисленныхъ стихотворцевъ 80-хъ годовъ никто не могъ запомнить ни строки. Критики часто брали изъ нѣсколькихъ поэтовъ по строфѣ, соединяли въ одно стихотвореніе, и не было возможности отличить, кому какая строфа принадлежитъ. Однако, обиліе молодыхъ стихотворцевъ сулитъ въ грядущемъ хорошій урожай пожилыхъ прозаиковъ. Всѣ начинаютъ рифмами. Тургеневъ писалъ отличные стихи, но поэзія только въ его прозѣ, и онъ никогда не включалъ свои рифмы въ собранія сочиненій. Стихотворцы «конца вѣка» запасный кадръ литературы. Они, надо надѣяться, дадутъ въ XX-мъ вѣкѣ талантливыхъ публицистовъ, критиковъ, беллетристовъ, драматурговъ. Перечислимъ главнѣйшихъ.

§ 6. Леонидъ Николаевичъ Трефолевъ (род. въ 1843 г.), выступилъ еще въ 1864 г., и назваться молодымъ поэтомъ не можетъ, сказать правду. Но собраніе стиховъ его вышло только въ 1894 г. Александръ Васильевичъ Кругловъ (род. 5 іюня 1853 г.). Писалъ еще въ «Искрѣ». Сборники 1895, 1897 и 1899 г.г. Беллетристъ и стихотворецъ. Ему принадлежатъ стихи: «А изъ рощи, рощи темной, пѣснь любви несется...» Владиміръ Сергѣевичъ Лихачевъ (род. 6 февр. 1849 г. въ Полтавѣ). Даровитый переводчикъ. Переводы Мольера увѣнчаны Академіей. Талантливый драматургъ, юмористъ и оригинальный стихотворецъ. Николай Максимовичъ Виленкинъ—Минскій

(род. въ 1855 г., еврей). Печатается съ 1876 г. Въ первую пору дѣятельности сильно подражалъ Некрасову и вообще гражданской одѣ («Бѣлыя ночи», «Серенада», «Передъ зарей» и др.). Затѣмъ стихотворенія его, полныя символовъ въ духѣ Державина — трубъ, зеркалъ, разныхъ видѣній и монументовъ, принимаютъ характеръ метафизическихъ трактатовъ. Наконецъ Минскій даже и пишетъ трактатъ въ прозѣ «При свѣтѣ совѣсти», «Мысли и мечты о цѣли жизни» (1890), гдѣ доказываетъ, что вожделѣнная святыня есть «мэонъ», что по гречески значитъ — пустой орѣхъ, но что только тотъ и великъ, кто причастился блаженства «мэоновъ». Затѣмъ Минскій ударился въ декадентство, и создалъ чудовищную трагедію «Альма». Однако, у этого стихотворца, который постоянно давалъ пищу пародіямъ Буренина, есть вещи замѣчательныя: «Робкому соловью», многіе изъ сонетовъ и др. Но всюду стихотворство, риторство, всюду втиснутыя въ шаблонныя «общія мѣста» темныя мысли расширяютъ стихотворную форму, и лѣзутъ словно вата изъ куклы въ сказкѣ Гофмана.

Николай Ивановичъ Поздняковъ (род. 27 апр. 1856 г.), лирикъ и беллетристъ. Поликсена Сергѣевна Соловьева (Allegro), дочь историка и сестра философа. Родилась 20 марта 1867. Небольшее, но цѣнное дарованіе. Первое стихотвореніе появилось въ «Нивѣ», въ 1885 г. Сборникъ въ 1899 г. Леонидъ Николаевичъ Афанасьевъ (род. 26 декабря 1863 г.); сборникъ въ 1896 г. Неутомимый заполнитель бѣлыхъ полосъ во всѣхъ русскихъ журналахъ. Константинъ Дмитріевичъ Бальмонтъ (род. 3 іюня 1867 г.), прекрасный переводчикъ Шелли, Эдгара По и др. Оригинальныя его лирическія стихотворенія сначала легкостью стиха и поэтическимъ настроеніемъ что-то обѣщали («Подъ сѣвернымъ небомъ» 1894). Къ сожалѣнію затѣмъ Бальмонтъ пошелъ ложной дорогой безобразнаго декадентства, утратилъ всякое чувство красоты, и падая ниже и ниже породилъ на свѣтъ «Горящія зданія», сборникъ такой чудовищной галиматьи, что даже менторъ россійскихъ декадентовъ, покойный адвокатъ кн. А. И. Урусовъ призналъ, что это твореніе принадлежитъ патологіи, а отнюдь не литературѣ. Графъ Петръ Дмитріевичъ Бутурлинъ (17 марта 1859 г.- 25 іюля 1895). Авторъ «Сонетовъ» (1891 и 1895 г.). Сборникъ въ 1898 г. Василій Львовичъ Величко (род. въ 1860 г.), авторъ «Восточныхъ мотивовъ». Имѣлъ значительный успѣхъ своими восточными, подернутыми юморомъ, картинками. Зинаида Николаевна Гиппіусъ (род. въ 1867 г.) пишетъ стихи безъ размѣра, повѣсти и «дамскіе» романы. Прославилась стихами, въ которыхъ заявила, что «любитъ себя, какъ Бога». Аполлонъ Аполлоновичъ Коринфскій (род. 29 авг. 1868 г.) неистощимо плодовитый стихотворецъ, такъ что вполнѣ заслуживаетъ наименованіе «новаго Хераскова». Ведра, потоки, моря красивыхъ стиховъ, лирическихъ и эпическихъ непрерывно исходятъ изъ этой даровитой головы, украшая наши еженедѣльныя иллюстрированныя изданія. Сборники

его носятъ красивыя заглавія: «Пѣсни сердца», «Черныя розы», «Тѣни жизни», «Гимнъ красотѣ», «Бывальщины». Запомнилась его «Русалочная заводь». Владиміръ Николаевичъ Ладыженскій (род. 8 марта 1859 г.). Пишетъ съ 1888 г. Сборникъ стиховъ изданъ редакціей «Русской Мысли» и вполнѣ удовлетворяетъ вкусу руководителей этого почтеннаго изданія. Константинъ Николаевичъ Льдовъ (род. 1 мая 1862 г.). Три его сборника вышли въ 1891, 1897 и 1899 г.г. Но лучше всего его шутливые стишки для дѣтей. Эти стихи дѣти запоминаютъ, а изъ сборниковъ для взрослыхъ никто ничего не помнитъ. Левъ Михайловичъ Медвѣдевъ (род. въ 1865 г.). «Стихотворенія» 1886 г. Дмитрій Сергѣевичъ Мережковскій (род. въ 1866 г.) началъ гражданскими стихами въ «Отеч. Зап.». Авторъ недурной поэмы «Вѣра». Первый сборникъ его вышелъ въ 1888 г., второй—«Символы» въ 1892 г. Потомъ ударился въ декадентство и проповѣдовалъ «сладкій грѣхъ», «олимпійскій хохотъ», и «оргіастическій вакхизмъ» въ стихахъ совершенно уже лишенныхъ поэзіи. Прекрасно переводилъ Эсхила, Софокла и Эврипида. Къ концу вѣка перешелъ къ прозѣ. Его историческіе романы («Отверженный» и «Воскресшіе боги») имѣютъ большой успѣхъ заграницей. Талантливый критикъ.

Николай Андреевичъ Пановъ (род. 29 апр. 1861 г.), сынъ крестьянина. Написалъ романъ въ стихахъ «Владиміръ Волгинъ» и сборникъ «Гусли звончаты». Сергѣй Александровичъ Сафоновъ (род. 5 ноября 1867 г.) Выступилъ въ 1888 г., подавалъ большія надежды. Николай Матвѣевичъ Соколовъ (род. 14 апр. 1860 г.), авторъ прекрасныхъ балладъ, отличающихся скульптурностью картинъ: «Мелхола», «Графъ Неверъ». Переводчикъ Канта, Шопенгауера, Апулея. Ѳедоръ Кузьмичъ Тетерниковъ (Соллогубъ); род. въ 1863 г.; странный, болѣзненный сочинитель романа «Тяжелые сны» и повѣсти «Тѣни» и двухъ книгъ декадентскихъ «Стиховъ», въ которыхъ ни дна, ни покрышки.

Владиміръ Германовичъ Богоразъ (Танъ), род. въ 1864 г. «Чукотскіе разсказы» и «Стихотворенія» 1900 г. Князь Эсперъ Эсперовичъ Ухтомскій (род. 14 авг. 1861 г.), путешественникъ, публицистъ и стихотворецъ. Семенъ Григорьевичъ Фругъ (род. въ 1860 г.) Выступилъ въ 1880 г. Сборники 1885 и 1887 г. Преимущественно поэтъ библейскихъ темъ и еврейства. Ольга Николаевна Чюмина (24 дек. 1864 г.), талантливая переводчица и оригинальная поэтесса. Владиміръ Александровичъ Шуфъ (род. въ 1865 г.). Въ 1890 г. «Крымскія стихотворенія». Въ 1892 г. въ «Вѣстникѣ Европы» поэма «Бакланъ». Юмористъ и публицистъ (псевд. Борей). Александръ Митрофановичъ Ѳедоровъ (род. въ 1859 г.). Сборники его вышли въ 1894 г. и 1898 г.г. Владиміръ Петровичъ Лебедевъ (род. 8 іюля 1869 г.). Писалъ и прозой, и стихами. Мирра Александровна Лохвицкая (род. 19-го ноября 1871 г.) Стихи ея славятъ любовь и увѣнчаны Пушкинской преміей. Вы-

шли въ 1896, 1898 и 1900 г.г. (три тома). Петръ Θедоровичъ Порфировъ (род. 1 февр. 1860 г.), переводитъ оды Горація. Авторъ красивой поэмы «Первая любовь». Даніилъ Максимовичъ Ратгаузъ (род. 25 янв. 1869 г.). Сборникъ въ 1900 г. Татьяна Львовна Щепкина-Куперникъ (род. 12-го янв. 1874 г.). Талантливая поэтесса, беллетристка, драматическій авторъ и переводчица.

Не считаемъ себя въ правѣ, въ заключеніе этого списка «поэтической туманности» 80-хъ годовъ, изъ произведеній которыхъ, конечно, съ теченіемъ времени будетъ собрана прекрасная антологія удачныхъ пьесъ, и на которыхъ все-же надо смотрѣть, какъ на надежду русской литературы, умолчать о небольшомъ сборникѣ (66 пьесъ) стиховъ Екатерины Андреевны Бекетовой, умершей 36 лѣтъ въ 1891 г.

«Милое, и грустное впечатлѣніе производитъ эта маленькая книжечка; ни претензій, ни самонадѣянности, ни протестовъ, ни ходуль, все искренно, натурально, и что всего болѣе плѣняетъ, это душевная чистота, поэтическое чувство какъ-бы безсознательное, натура не изломанная. Къ книжечкѣ можно примѣнить строки, находящіяся въ ней на стр. 43:

А въ рощѣ молодой, прохладной и тѣнистой,
Душистыхъ ландышей селеніе ростетъ:
Раскрывшись, каждый ихъ цвѣточекъ серебристый
Волшебный ароматъ далеко разольетъ...[300])

Отзывъ Ап. Ник. Майкова (посмертный).

IV.

Въ 1886 году скончался Александръ Николаевичъ Островскій.

Но въ томъ-же 1886 году явилась геніальная драма графа Льва Николаевича Толстого «Власть тьмы или ноготокъ увязъ, всей птичкѣ пропасть». Это произведеніе какъ бы умѣряло для русской драматургіи ту невознаградимую потерю, которую она понесла въ лицѣ Островскаго.

Драма Толстого изображаетъ съ потрясающимъ реализмомъ крестьянскую среду, вполнѣ художественна, хотя въ ней и есть предвзятая идея.

Одинъ критикъ говоритъ, разбирая характеры двухъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ драмы — Акима и Матрены:

«Между Акимомъ, съ языка котораго не сходятъ слова «Богъ», «законъ», «душа» и Матреной, дѣйствующей во имя грубо практическихъ ин-

[300]) Отчетъ о двѣнадцатомъ присужденіи пушкинской преміи въ 1897 году.

тересовъ. происходитъ борьба, которая въ сущности есть только рядъ поражений добраго начала злымъ.

Акимъ нравственно—стойкій и чистый человѣкъ, но бѣда его въ томъ, что онъ гораздо глупѣе и невѣжественнѣе своей жены, вслѣдствіе чего онъ возбуждаетъ и въ сынѣ, и въ невѣсткѣ, и въ другихъ персонажахъ полуснисходительное, полу-презрительное чувство, тогда-какъ къ Матренѣ всѣ обращаются, какъ къ признанному авторитету». И критикъ восхищается Матреной: «Вотъ это дѣятель, вотъ это боецъ, вотъ это человѣкъ отъ міра сего!» восклицаетъ критикъ, указывая на ея житейскую находчивость, на ея умѣнье примѣняться къ людямъ и пріобрѣтать надъ ними вліяніе, заставляя ихъ, какъ говорится, плясать подъ свою дудку». Дудка Матрены скверная, мелодіи ея отвратительны, однако она вотъ умѣетъ заставить людей плясать, успѣшнѣйшимъ образомъ достигаетъ своихъ цѣлей, тогдакакъ превыспренные идеалисты вродѣ Акима, на сторонѣ которыхъ вся правда, вся нравственность, все добро, остаются при «печальномъ интересѣ».

Старая это исторія, на каждомъ шагу встрѣчающаяся въ жизни, но приглядѣться, привыкнуть къ ней нѣтъ возможности, и негодованіе съ новою и новою силою поднимается въ насъ каждый разъ, какъ мы наблюдаемъ ее. Негодованіе на кого? Не на Матренъ, а на Акимовъ, которые своей тупой слюнявой защитой «закона» болѣе компрометируютъ его, нежели Матрены своимъ презрѣніемъ къ нему ... Акимы твердятъ: законъ! законъ! а не знаютъ, какъ примѣнить законъ. Этого Акимы никогда не понимали и Богъ вѣсть когда поймутъ. Мораль превращается въ ихъ рукахъ въ какое-то Прокрустово ложе, пригодное не для жизни, а для пытки. «Не человѣкъ для субботы, а суббота для человѣка»—этого они уразумѣть не въ состояніи. Они не оживляютъ моралью, но казнятъ ею, не поднимаютъ павшихъ, а отвертываются отъ нихъ, не просвѣтляютъ и не исправляютъ жизнь, а изобличаютъ ее или уходятъ отъ нея. Это не живые люди, полные участія, прощенія и любви къ своимъ павшимъ братіямъ, это «сердцемъ хладные скопцы», которые, какъ дятлы по дереву, долбятъ измученныхъ прегрѣшившихъ людей своею кастратской чистотою. Чортъ бы ихъ побралъ, этихъ мнимыхъ праведниковъ, безъ капли горячей крови въ жилахъ!» энергично заключаетъ критикъ [301]).

Критикъ совершенно вѣрно указываетъ нравственный центръ геніальной драмы Льва Толстого въ борьбѣ между Акимомъ и Матреной. Но онъ совершенно не понимаетъ, ни Акима, ни Матрены. Акимъ не резонеръ, не разсуждающій моралистъ, не законникъ, дѣйствующій по правиламъ,—онъ

---

[301]) М. А. Протопоповъ. Литературно-критическія характеристики. Спб. 1896 г.

представитель безсознательной жизни духа, импульса воли, которая добра въ себѣ».

Матрена — это дѣйствительно «раціоналистъ» въ юбкѣ. Просмотрите ея реплики: какъ у Акима постоянно на языкѣ «Богъ», «душа», «законъ» — традиціонныя слова, подъ которыми онъ подразумѣваетъ тѣ выше его ума, выше его темноты и невѣжества подымающіеся импульсы свѣтлаго начала, живущаго въ немъ, содроганія чуткой совѣсти, дѣлающей изъ этого косноязычнаго «губошлепа» — мужиченки безошибочнаго нравственнаго судью,— такъ у Матрены съ языка не сходитъ «умъ». Умъ — кумиръ Матрены. Она все презираетъ, кромѣ ума. Зло не страшитъ ее потому, что кажется умнымъ. Добро она презираетъ, считая его «простотою», глупостью. Это распространенное воззрѣніе нетолько среди народа, но и среди нашей интеллигенціи. «Умный человѣкъ не можетъ быть не плутомъ».

Матрена выступаетъ на сцену съ тѣмъ, чтобы «разсудить всѣ дѣла», съ заранѣе обдуманнымъ, хитрымъ планомъ дѣйствія, съ ясно намѣченными цѣлями. «Старичекъ (Акимъ) мой зря болтаетъ. Да не его ума дѣло. Тетка Матрена терта, терта да перетерта, подъ землей на аршинъ видитъ. Все знаю... всѣ 77 увертокъ знаю. А старикъ зря болтаетъ. Все глупость одна. Умъ у него вовсе расхожій».

Умъ и глупость, — вотъ критерій Матрены. То, что ей кажется умно, то доброе дѣло. Она отлично понимаетъ, что дѣлаетъ зло. Но что-жь дѣлать: надо потрудиться.

«Что-жь я дура, что-ль! восклицаетъ она. Баба, вѣдашь, съ печи летитъ, 77 думъ передумаетъ, такъ гдѣ-же мужику догадаться. Всѣ дѣла просѣю, процѣжу, ничего не останется». Когда она приноситъ яду Анисьѣ, то объясняетъ, что достала снадобья у старичка: тоже человѣкъ умный, добавляетъ она, чтобы разсѣять всѣ сомнѣнія Анисьи. Какъ раціоналистка, Матрена говоритъ тонко, съ подходами и крючками, что называется, «зубы заговариваетъ» и высоко цѣнитъ свое умѣнье говорить. «Вотъ только и рѣчей отъ орла моего: тае, тае, а что тае,—самъ не знаетъ»... — съ презрѣніемъ обрываетъ она косноязычнаго Акима. — Ты погоди говорить, у меня языкъ помягче, дай я скажу». Когда-же Акимъ со всей глубиной нравственной душевной мудрости указываетъ на все ничтожество отдѣльнаго ума съ его казуистикой передъ началомъ міродержательной вселенской правды: «Ты на свое воротишь, какъ лучше, а Богъ, значитъ, тае, на свое поворотитъ. Ладишь, значитъ, какъ тебѣ лучше, да про Бога, тае, и запамятуешь; думаешь лучше... на себя воротишь, глядь, анъ накашлялъ на шею себѣ, значитъ; думаемъ, какъ лучше, анъ хуже много, безъ Бога-то».—Матрена съ досадой восклицаетъ: «Эхъ, только съ тобой языкъ терзать!» и продолжаетъ утверждать, что на ея разумъ надо такъ и такъ...

Уговаривая Анисью, что «ротъ разѣвать некогда, а какъ никакъ, обыс-

30*

кать да чайкомъ (съ ядомъ) попоить (больного мужа)»—Матрена всѣ аргументы сводитъ къ тому, что «деньги пропадутъ даромъ», а развѣ это хорошо? «Помилуй Богъ, да такія деньжищи даромъ пропадутъ Развѣ это не грѣхъ? Дѣло на виду. Промашку теперь сдѣлаешь, вѣкъ каяться будешь. Теперь сморгаешь, ищи тогда на орлѣ—на правомъ крылѣ...» Поступить согласно съ совѣстью, значитъ. съ точки зрѣнія «ума» Матрены, сдѣлать промашку. сморгать, т.-е. сглупить. А глупость—грѣхъ. не хорошо, помилуй Богъ! Тѣ-же пріемы употребляетъ Матрена и убѣждая сына—Никиту. «Дѣло твое, говоритъ она, тоже обдумать надо, а не какъ-нибудь... Тутъ, ягодка, тоже ума надо много». Она уже совѣтовалась съ «умственнымъ мужичкомъ», «открылась ему во всѣхъ дѣлахъ»,—«все, говоритъ, надо съ умомъ дѣлать. Деньги говоритъ, всему дѣлу голова. Такъ мотри. Дѣло, сынокъ, доходитъ». Какъ совершенно безхарактерный, слабый человѣкъ, но по существу добрый, который лишь «любитъ бабъ какъ сахаръ», въ то-же время по опредѣленію самой Матрены. «жалостливъ очень. курицы не зарѣжетъ». — Никита сейчасъ хочетъ свалить все на чужія плечи: «Мнѣ что, деньги Анисьи, она и хлопочи». — «Развѣ баба можетъ обдумать, возражаетъ Матрена, гдѣ-же ей обдумать — бабье дѣло извѣстно, а ты все мужикъ. У тебя все-таки ума больше коли что коснется».

Она льститъ сыну, хваля «мужской умъ», когда раньше выхваляла Анисьѣ умъ бабій. Но сынъ, инстинктивно чувствуя неправду, восклицаетъ: «Эхъ, женское ваше понятіе необстоятельное совсѣмъ!» И Акимъ и Никита — при всей слабости и сластолюбіи человѣкъ съ совѣстью. съ божьей искрой—оба чутьемъ понимають. что Матренинъ умъ въ сущности совершенно глупъ, что разсчетъ ея въ сущности построенъ на пескѣ, что изъ всѣхъ ея интригъ и увертокъ ничего не выйдетъ, что въ концѣ концовъ дѣло сорвется. И сама Матрена понимаетъ. что сынъ жалостливъ и не пригоденъ для дѣла, которое она затѣяла.

Матрена ведетъ все дѣло на-авось. Но она остается до конца вѣрной себѣ, идолопоклонствуя передъ умомъ, все разрѣшающимъ, все оправдывающимъ. Она не останавливается передъ убійствомъ: «ужь дѣло такое, ягодка, — умѣлъ гулять. умѣй и концы хоронить... Ну, да слава Богу, — дай это дѣло прикроемъ, и концы въ воду... Спихнемъ дѣвку безъ грѣха. Останется сынокъ жить покойно. Домъ. слава Богу. полная чаша. Тоже и меня не забудетъ. Безъ Матрены чтобы они были? Ничего-бъ имъ не обдумать». Когда-же Никита въ ужасѣ отъ предстоящаго преступленія, она спокойно резонерствуетъ: «Жалостливъ онъ. Трудно ему, сердечному. Ну, да что-же. Его грѣхъ то-же... хоть и трудно, помимо-то нельзя. Куда дѣнешься-то... О-охъ! И радъ-бы не грѣшить, а что сдѣлаешь...» Когда же всѣ «дѣла» прикрыты. когда остается только «благословить честь честью», затѣмъ жить-поживать. добра наживать, а Никита вмѣсто того вдругъ

падаетъ на колѣни и во всемъ всенародно кается: послѣдній возгласъ Матрены: «Что ты съ ума спятилъ? Миленькіе, у него умъ зашелся, увести его».

Совершенно неправильно представлять себѣ Акима резонеромъ старыхъ комедій, Стародумомъ Фонвизина, лицемѣромъ, законникомъ, мнимымъ праведникомъ, безъ капли горячей крови въ жилахъ. Это совершенно невѣрно. Правда, Акимъ высказываетъ извѣстныя сентенціи, но это лишь по наслѣдству доставшіяся ему исконныя правила народной морали. Если-бы этотъ честный золотарь говорилъ только одно свое «тае», то въ интонаціяхъ, съ которыми произносилъ-бы онъ всегда это одно слово, въ выраженіи лица, въ жестахъ, воплощалась-бы ясно вся его чистая, праведная душа, вся его великая совѣсть. Онъ вовсе не обличаетъ, не проповѣдуетъ, не наставляетъ. Онъ именно человѣкъ съ горячей кровью, съ горячимъ сердцемъ. Онъ органически честенъ, натура его не выноситъ лжи и неправды, возмущается противъ нея. И Никита вполнѣ его сынъ. Онъ слабъ, безхарактеренъ, чувственъ, но и онъ отвращается отъ зла инстинктивно. Акимъ силенъ противостать злу. Онъ не можетъ сдѣлать зла. Сынъ его самъ бы не сдѣлалъ всего того, что совершаетъ подъ давленіемъ Матрены, и въ концѣ концовъ жалость беретъ въ немъ верхъ надъ слабостью воли и трусливымъ характеромъ. «Глупое добро» побѣждаетъ въ концѣ концовъ «умное зло». Зданіе, построеное Матреною, рушится въ одинъ мигъ. И Акимъ съ полнымъ правомъ восклицаетъ въ восторгѣ: «Богъ-то, Богъ-то! Онъ во!»

Чтобы понять Акима, надо вдуматься въ тотъ евангельскій взглядъ, по которому правда и мудрость часто избираетъ своими глашатаями худородныхъ, невѣжественныхъ рыбарей, мудрость-же разумныхъ отвергаетъ. Выше его ума, выше его темноты и невѣжества подымаются импульсы свѣтлаго начала, живущаго въ Акимѣ!

БИБЛІОГРАФІЯ: О «Власти тьмы» см. статью М. Вогюэ. (Пант. литер. 88 г. 4), Волынскаго (въ его книгѣ «Борьба за идеализмъ»), Скабичевскаго, (въ соч. т. II.), Л. Оболенскаго. (Р. Б. 87 г. 3).

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Конецъ вѣка.

(1890—1900).

«Сумерки просвѣщенія». — Верленъ, Ришпенъ и Ростанъ, Ницше и Гауптманъ. — Ибсенъ и Бьернсенъ, — Германская культура. — Сумерки германской мысли. — Вліяніе китайско-японской культуры. — Англія «конца вѣка». — Ренесансъ и декадансъ. — Русскіе декаденты. — «О, закрой свои блѣдныя ноги!» — Сотрудники «Скорпіона». — «Сухое опьяненіе мое». — Оскудѣніе журналовъ. — Газетное «мельканіе». — Нео-марксизмъ. — «Русское Собраніе». — Роль русскаго языка въ славянствѣ. — Польское культурно-экономическое «примиреніе» — Памятникъ Мицкевичу въ Варшавѣ. — Всероссійское празднованіе столѣтія со дня рожденія Пушкина. — Споръ о «самобытности». — «Что такое искусство?» гр. Л. Н. Толстого. — «Крейцерова Соната». — «Воскресеніе». — Антонъ Павловичъ Чеховъ. — «Палата № 6». — «Черный монахъ». — «Мужики». — Максимъ Горькій. — «Мальва». — «Въ степи». — «Ѳома Гордѣевъ». — Послѣднія пѣсни Якова Петровича Полонскаго. — Константинъ Михайловичъ Фофановъ. — К. Р. — Стихотворенія Владиміра Соловьева.

I.

§ 1. Какое-то всемірное утомленіе воли и мысли замѣчается къ концу вѣка. Одинъ изъ нашихъ публицистовъ весьма удачно назвалъ это неврастеническое состояніе «сумерками просвѣщенія». Оскудѣла вѣра въ себя, свои призванія, въ великія идеи. Крупныя личности уходятъ, а представителями европейскихъ литературъ являются дарованія сомнительнаго качества — «грибы, выросшіе у корней дубовъ». Въ воцарившихся «сумеркахъ» литература предается нездоровымъ мечтамъ, фантасмагорія замѣняетъ преж-

ніе яркіе и чистые образы, озаренные сіяніемъ солнца: туманы, тѣни, міазмы наполняютъ мозгъ человѣчества; патологія врывается въ литературу: она становится вычурна, криклива, наркотична: оттѣнки, настроенія, неуловимыя вибраціи празднаго духа — вотъ ея предметъ. Является литература вырожденія, «декаданса». Во французской литературѣ мы видимъ Верлена, съ его лирикой «нюансовъ», всю жизнь проведшаго въ кабакахъ, вертепахъ и госпиталяхъ Парижа, нѣчто вродѣ французскаго Фета, но чуждаго его простотѣ, глубинѣ и силѣ выраженія. Затѣмъ, циническую музу Ришпена съ его оплеваніемъ всѣхъ попытокъ человѣчества подняться надъ земной грязью, съ жаргономъ парижскихъ проходимцевъ, сотрудника газеты для кокотокъ «Gil Blas»'а. Наконецъ, предъ нами «нео» — романтикъ Ростанъ, съ дѣланнымъ пафосомъ и наивностью, нѣчто вродѣ нашего Аполлона Коринфскаго, по способности извергать гладкіе стихи. Въ нѣмецкой литературѣ первое мѣсто занимаетъ философъ Ницше съ проповѣдью новой морали и сверхъ-человѣка и Гауптманъ съ его «Ганнеле». Сильное вліяніе, подобное вліянію Оссіана въ началѣ вѣка, имѣли въ концѣ вѣка скандинавскіе писатели — Ибсенъ, Бьернсенъ. Мрачная, морализирующая, прямолинейная муза этихъ драматурговъ, влила особую, тягостную струю въ «сумерки» утомленнаго вѣка, но по крайней мѣрѣ она напоминала о правахъ добра, о подвигѣ долга, о суровой справедливости и явилась костылемъ больному духу вѣка. Въ Англіи видимъ даровитыхъ разсказчиковъ — Ансти, Стивенсона, и такого поэта — романиста, какъ Ридіардъ Киплингъ. Но никакого глубокого впечатлѣнія на мысль человѣчества, эти писатели не могли произвести, какъ это было съ Диккенсомъ и Тэккереемъ. Особую роль играютъ порнографы — эксцентрики: Оскаръ Уальдъ, англичанинъ, за противоестественные пороки попавшій въ рабочій домъ, и Габріэль д'Анунцио, итальянецъ. Вотъ почти всѣ имена корифеевъ «конца вѣка». Русская литература и въ ней Левъ Толстой явилась поэтому во главѣ Европы. Недавно ее узнавъ, она поразилась величіемъ и богатствомъ нашего творчества.

Но все-же, европейская, западная культура въ цѣломъ продолжаетъ свое вліяніе на русское самосознаніе, и первенствующую роль въ этомъ вліяніи по прежнему занимаетъ великая германская культура. Протестантско-нѣмецкая культура есть прежде всего «инструкція человѣческаго поведенія».

Первый годъ столѣтія открывается выходомъ системы трансцендентальнаго идеализма великаго мыслителя Шеллинга... Германія наканунѣ французскаго вторженія 1804-й года. Наполеонъ I — императоръ. Чѣмъ же отвѣчаетъ на это событіе духъ, сокрытый въ порабощенномъ и униженномъ германскомъ племени? Въ томъ же году является «Вильгельмъ Телль» Шиллера и «героическая симфонія» Бетховена... Черезъ годъ Наполеонъ беретъ Іену. Но когда онъ, торжествующій, входитъ въ одни ворота города, изъ другихъ удаляется скромный малоизвѣстный професоръ іенскаго универси-

тета, человѣкъ, по злому опредѣленію Артура Шопенгауэра, «съ лицомъ трактирщика». Но этотъ бѣглецъ, этотъ смиренный гелертеръ въ поношенномъ сюртукѣ, этотъ человѣкъ «съ лицомъ трактирщика», — величайшій изъ философовъ вѣка, Гегель. За бортомъ сюртука онъ уноситъ изъ взятаго города великое сокровище мысли — свою «Феноменологію»... Тильзитъ — этотъ, по выраженію Пушкина, «обидный звукъ», — но одновременно философъ Фихте выпускаетъ свое посланіе къ нѣмецкой націи! Затѣмъ выходитъ первая часть «Фауста» Гете. 1810-й годъ — основанъ берлинскій университетъ. 1811-й — Нибуръ выпускаетъ «Римскую исторію». Черезъ восемь лѣтъ выходитъ «Нѣмецкая грамматика» Якова Гримма и трактатъ Артура Шопенгауэра: «Міръ, какъ воля и представленіе», которому суждено многія десятилѣтія таиться въ неизвѣстности, и уже значительно спустя послѣ расцвѣта и отцвѣта гегелизма, какъ бы «осолить» конецъ столѣтія отрезвляющей горечью пессимизма и аскетизма. 1820-й годъ — Гегель созидаетъ правовое основаніе германской государственности изданіемъ «Философіи права». Затѣмъ въ періодъ вплоть до 1845 года выходитъ исторія XVIII столѣтія въ Берлинѣ, появляется вторая часть «Фауста», «Жизнь Христа» Штрауса; Гейне, Берне и молодая Германія выступаютъ на общественное поприще. Въ 1844 году выходятъ «Химическія письма» Юстуса Либиха, въ слѣдующемъ знаменитый «Космосъ» Александра фонъ-Гумбольдта. Въ своихъ «письмахъ» великій химикъ впервые разъясняетъ почвенные процесы и съ тѣмъ вмѣстѣ сущность земледѣлія. Онъ обличаетъ хищническое хозяйство Европы и грозно пророчествуетъ о послѣдствіяхъ истощенія почвы, превратившей въ свое время сады Пестума, славившіеся класическими розами, въ пустыри, поросшіе чертополохомъ, и зловредныя болота.

Событія духа и воли идутъ своимъ чередомъ. «Комунистическій манифестъ», революція 48-го года, реакція вслѣдъ за ней, «Рыцари духа» Гуцкова, Крымская кампанія, «Римская исторія» Момсена и наконецъ 1861 г., въ Россіи годъ освобожденія крестьянъ, въ Германіи годъ вступленія на престолъ Пруского королевства Вильгельма I. Затѣмъ головокружительное десятилѣтіе крови и желѣза. Датская война, отнятъ Шлезвигъ-Гольштейнъ, франко-пруская война, Вильгельмъ — Kaiser von Deutschland и Бисмаркъ — Reichskanzler... Но и въ это десятилѣтіе духъ протестантской культуры не дремлетъ. Въ 1867 году выходитъ первый томъ «Капитала» Карла Маркса. И затѣмъ послѣдняя четверть столѣтія озарена расцвѣтомъ Рихарда Вагнера и Бейрутскаго театра, безумной философіей эпигона вѣка — Фридриха Нитцше, вмѣстѣ съ этимъ вѣкомъ угасающаго въ сумеркахъ слабоумія, наконецъ «Ганнеле» и «Іоаннъ» Гауптмана вѣнчаютъ столѣтіе. Подготовленный тремя съ половиной столѣтіями съ явленія Лютера — мощный расцвѣтъ духа! Видимъ, что политическое и экономическое могущество Гер-

маніи создано на духовномъ основаніи. Въ основу его положена мысль, полностью развившаяся и озарившая свѣтомъ сознательности и жизнь въ широчайшемъ захватѣ. Довѣріе къ разуму и генію, культурная среда, берегшая таланты и великихъ людей, власть, ищущая оправданія и руководящихъ началъ у національныхъ мыслителей — вотъ поучительное зрѣлище Германіи въ XIX столѣтіи. Шеллингъ, Шиллеръ, Гегель, Гете, Нибуръ, Шопенгауеръ, Гейне, Либихъ, Гумбольдтъ, Марксъ, Нитцше, Гауптманъ... Какія имена! И не связаны ли съ каждымъ изъ нихъ, даже изъ младшихъ, какъ Нитцше и Гауптманъ, воспоминанія о минутахъ глубочайшаго духовно-культурнаго общенія съ германской мыслью всего русскаго общества! Цѣлыя полосы въ исторіи русскаго самосознанія озарены вліяніемъ въ мѣру генія каждаго изъ этихъ людей. Изъ театральныхъ воспоминаній послѣднихъ лѣтъ глубоко-нравственнымъ является несомнѣнно впечатлѣніе отъ «бѣдной Ганнеле», и то благотворное и миролюбивое теченіе, которое такъ рѣзко обозначилось за послѣдніе годы въ русскомъ обществѣ, несомнѣнно обогатилось потрясающей мистикой наивно реалистической фантастики пьесы Гауптмана. А Нитцше? И онъ уже сталъ намъ роднымъ, сталъ болью нашего сердца, безуміемъ нашего, русскаго «конца вѣка»... Наконецъ, если старшія поколѣнія еще доживаютъ остатками шеллингіанства, на которомъ взошло идейное тѣсто и славянофильства и народничества и даже религіозная философія Ясной Поляны, то молодежь питается остатками гегельянства въ видѣ «марксизма».

Основное и преимущественное качество протестантской культуры въ томъ, что она всякое явленіе чувства, безсознательнаго творчества, исключительныхъ качествъ духа и генія, проводитъ чрезъ сознаніе и разложивъ на простыя, удобопонятныя формулы дѣлаетъ достояніемъ массъ. Такъ и образуется «инструкція человѣческаго поведенія».

Загляните въ «Письма» Карамзина: вы тамъ найдете страстную, горячую любовь ко всѣмъ западнымъ странамъ, какъ къ духовному отечеству.

«Итакъ я уже въ Швейцаріи, въ странѣ живописной натуры, въ землѣ свободы и благополучія! Кажется, что здѣшній воздухъ имѣетъ въ себѣ нѣчто оживляющее: дыханіе мое стало легче и свободнѣе, станъ мой распрямился, голова моя сама собою поднимается вверхъ, и я съ гордостью помышляю о своемъ человѣчествѣ».

«Мысль, что я пью рейнвейнъ на берегу Рейна, веселила меня, какъ ребенка!

«Послѣ Россіи нѣтъ для меня земли пріятнѣе Франціи».

«Вотъ онъ (Парижъ) — вотъ городъ, который въ теченіи многихъ вѣковъ былъ образцомъ всей Европы, источникомъ вкуса, модъ... — котораго имя стало мнѣ извѣстнымъ почти съ моимъ именемъ».

«Я въ Англіи, — въ той землѣ, которую въ ребячествѣ своемъ любилъ

я съ такимъ жаромъ, и которая по характеру жителей и степени народнаго просвѣщенія есть конечно одно изъ первыхъ государствъ Европы».

Въ сороковыхъ годахъ однако идейная молодежь раздѣлялась на французофиловъ и германофиловъ, и безразличное, жадное тяготѣніе къ культурнымъ сокровищамъ Запада смѣнилось болѣе осмотрительнымъ выборомъ. Вчитываясь въ исторію духовнаго роста нашего общества за это столѣтіе, приходишь къ заключенію, что общеніе съ протестантскими культурами оставляетъ болѣе плодотворный слѣдъ на русскомъ человѣкѣ и болѣе ему даетъ, чѣмъ общеніе съ культурами католическими, романскими. Въ частности нѣмцы больше дали намъ, чѣмъ французы. Французская культура повидимому тоже популяризируетъ и создаетъ международные формы и шаблоны. Но еще Герценъ замѣтилъ, что французъ добросовѣстно убѣжденъ въ пригодности конституціи, выработанной въ Парижѣ, и для Исландіи, и для Отаити. Французскіе шаблоны не имѣютъ достоинствъ протестантской «формулы человѣческаго поведенія». Мало того, французы такія же «акулы», грабящія чужія культуры, какъ и мы грѣшные. На французской литературѣ видимъ послѣдовательное вліяніе испанской, итальянской, англійской, германской, скандинавской, даже русской. А все это переваривается, перерабатывается и подается въ красивыхъ, но неглубокихъ формахъ. Этотъ интернаціонализмъ плохо дѣйствуетъ на русскую душу. Наконецъ католицизмъ и все католическое для славянъ опасно, и по согласному мнѣнію славянофила Ив. Аксакова и западника Герцена, — дѣйствуетъ разрушительно на славянскую природу. Въ романскихъ культурахъ слишкомъ много чувственнаго. А славянинъ чувственъ самъ по себѣ, и въ высшей степени склоненъ жить «нутромъ». Духъ его — какое то облако, мѣняющее формы. Нѣмецкая разсудочность помогаетъ славянину найтись въ самомъ себѣ и самого себя растолковать своему сознанію.

Оставимъ въ сторонѣ вопросъ о политическихъ выгодахъ общенія съ Франціей. Это не входитъ въ задачу нашего очерка. Но нельзя не видѣть, что политическое общеніе наше съ этой великой страной за послѣднее пятнадцатилѣтіе не сопровождалось сколько-нибудь значительнымъ культурнымъ вліяніемъ.

Въ сферѣ идей мы продолжали общеніе съ протестантскими культурами — съ одной стороны съ германской, а съ другой съ духовными богатствами своеобразныхъ писателей Скандинавіи. Вліяніе Франціи можно усмотрѣть скорѣе до франко-русскаго союза. Не говоря уже о вліяніи Бальзака, Жоржъ-Зандъ, Фурье, Ог. Конта на поколѣнія 40-хъ и 60-хъ годовъ, позднѣе значительную роль у насъ сыгралъ реализмъ Зола и его школы, а въ научныхъ сферахъ, конечно, великій Пастеръ. А чѣмъ просвѣщала насъ Франція послѣднихъ лѣтъ? Декадентствомъ? Но вліяніе парижскихъ декадентовъ — Бодлера (старая новинка-поэтъ эпигоновъ романтизма, у насъ же

съ нимъ познакомились очень недавно[1]). Поля Верлена. Ришпена. Ростана, не говоря уже о незначительности этихъ писателей, было совершенно поверхностно и уродливо. Кто же ярко отразился въ духовныхъ настроеніяхъ русскаго общества послѣднихъ лѣтъ? Шопенгауеръ, старикъ Карлъ Марксъ, Ницше, Гауптманъ, Ибсенъ, Бьернсонъ... Все писатели протестантскихъ странъ.

Германская культура за это столѣтіе дала изумительно обильный урожай такихъ произведеній духа, въ которыхъ геній высказался до конца, которыя объясняютъ громадный, мірового охвата кругъ явленій. Въ основѣ ихъ лежитъ единая, но великая мысль, и мысль эта нашла полное, исчерпывающее выраженіе. Эти произведенія принадлежатъ человѣчеству. Ими можно жить.

Геній германской отвлеченной мысли озарилъ начало пережитаго русскимъ обществомъ столѣтія. Онъ бросаетъ невѣрный фосфорическій свѣтъ на него и теперь, угасая въ утомленіи вмѣстѣ съ вѣкомъ. Люди двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ, въ пору расцвѣта нашей поэзіи и прозы, въ пору явленія Пушкина и Гоголя, воспитали свою мысль на твореніяхъ Гегеля, величайшаго, всеобъемлющаго мыслителя германской философіи. Въ наши дни вербуетъ въ томъ же русскомъ обществѣ многочисленныхъ поклонниковъ и послѣдователей ученіе Ницше. И какъ бы символомъ сближенія этихъ двухъ увлеченій, двухъ настроеній, двухъ полосъ въ исторіи русскаго самосознанія является почти одновременно кончина нѣмецкаго автора «Антихриста» и нашего Владиміра Соловьева, гегеліанца по философскимъ убѣжденіямъ, по складу и методу мысли, обличавшаго несостоятельность «жалкихъ», по его словамъ, нападковъ Ницше на христіанство.

Соловьевъ, внукъ русскаго священника и сынъ русскаго историка, всю жизнь стоялъ за ученіе Богочеловѣка въ томъ его совершенномъ выраженіи, которое восприняло чистое сердце великаго русскаго племени, еще на зарѣ своего историческаго бытія, въ совершенно-прекрасныхъ формахъ и образахъ эллинскаго гармоничнаго духа. Ницше объявилъ себя открытымъ врагомъ всего строя моральныхъ понятій христіанства, пытался заложить основы новой, антихристіанской, «переоцѣненной» нравственности. И оба умерли такъ, что впечатлѣніе отъ исчезнувшихъ внезапно изъ нравственнаго и духовнаго міра двухъ умственныхъ силъ, діаметрально противоположныхъ по направленію своихъ чаяній и стремленій, легло на русское общество почти одновременно.

Можно указать и другое, внѣшнее, символическое проявленіе интимнѣйшей связи германскаго мыслительнаго генія съ русскимъ еще въ другомъ фактѣ начала этого вѣка.

Въ 1806 году Наполеонъ беретъ Іену. И когда онъ вступаетъ въ одну изъ заставъ города со своимъ полчищемъ, изъ другой, противоположной,

выходитъ бѣдный, неизвѣстный професоръ въ одномъ сюртукѣ. Но этотъ бѣднякъ — Гегель, и подъ полой сюртука онъ уноситъ свою «Феноменологію».

1812 годъ. Оставленную Москву наводняютъ полчища Наполеона. Москва горитъ. Но въ то же время русскій исторіографъ Карамзинъ спокойно покидаетъ столицу. Все его имущество погибло въ разгромѣ, но спасены первые шесть томовъ «Исторіи Государства Россійскаго». «Вся моя библіотека обратилась въ пепелъ, — писалъ Карамзинъ къ Дмитріеву изъ Нижняго, — но «Исторія» цѣла». Москва и Іена, наводненныя полчищами того же Наполеона, Гегель и Карамзинъ, «Феноменологія» и «Исторія Государства Россійскаго», великое откровеніе совершенной русской прозы и мощное созданіе патріотизма, два спасенныя творенія духа двухъ народовъ... Тутъ чуется въ видимой случайности невидимый внутренній смыслъ!

За нѣсколько мѣсяцевъ до своей смерти Владиміръ Соловьевъ предсказывалъ ее, ощущалъ «блѣдное дыханіе» таинственнаго призрака и спѣшилъ высказать послѣднее свое слово. И слово это было возвѣщеніе вступленія въ міръ антихристіанскаго начала. Облеченное въ ортодоксальныя традиціонныя формы, это слово было трудно усвояемо. Но когда вслѣдъ затѣмъ взволновался великій азіатскій міръ Дальняго Востока, это слово пріобрѣло особое значеніе. Міръ буддійской и конфуціанской мысли, которая въ основѣ своей есть чистый атеизмъ, у Будды — отвлеченный, у Конфуція — утилитарный, а вмѣстѣ міръ тысячелѣтняго шаманства, темныхъ ученій колдовского духа входитъ въ ближайшее соприкосновеніе съ міромъ христіанскимъ. Вліянія Востока уже чрезвычайно глубоки. Они во всякомъ случаѣ подготовляютъ тѣ особыя настроенія, которыя даютъ благодарную почву для посѣва антихристіанскихъ началъ. Эти настроенія, которыя можно назвать «демоническими», обильными струями проходятъ въ цивилизованномъ человѣчествѣ, въ искусствѣ и въ отвлеченной мысли европейцевъ. Эти демоническія настроенія питаются экстазами и психозами неестественной, изломанной, отрѣшенной жизни гигантскихъ столицъ міра. Наконецъ имъ помогаетъ особое нервное утомленіе, разложеніе воли, пресыщенная извращенность вкусовъ, всегда замѣчаемыя въ концѣ вѣка. Потребностямъ этихъ демоническихъ настроеній шли и идутъ навстрѣчу многіе поэты, художники; но особенно яркое и мощное воплощеніе далъ имъ въ своихъ экзотическихъ по формѣ и смыслу созданіяхъ покойный Ницше. Въ самомъ дѣлѣ, стиль Ницше — чисто восточный, экзотическій. Мысль не развивается въ стройныхъ системахъ силлогизмовъ. Она выбрасываетъ афоризмы, говоритъ притчами, символами. Она какъ бы «выкликаетъ» подъ вліяніемъ борющагося и рвущагося изъ души мыслителя бурнаго духа. Такимъ стилемъ говоритъ и Дальній Востокъ, говоритъ даже въ минуты патріотическаго одушевленія. такимъ «декадентскимъ» стилемъ писаны и прокламаціи ки-

тайскихъ «боксеровъ». Иносказанія, намеки, рядъ наброшенныхъ поэтическихъ изреченій въ этихъ прокламацiяхъ ярко націоналенъ и своеобразенъ.

«Свѣтъ разума», принесенный христіанствомъ, созидаетъ чистые, прозрачно-ясные, простые міры идей и храмы постиженій, стройные, соразмѣрные во всѣхъ частяхъ, радостные и цѣломудренно прекрасные. «Темный пламень» азіатской шаманщины и демонизма говоритъ крикливо, вычурно, изнѣженно, прекрасно, но дико-прекрасно и вдохновенно-сумбурно, если позволятъ эти выраженія.

Начавъ говорить именемъ Заратустры, въ послѣдней книгѣ этого своего творенія Ницше погружается въ безумное, чисто патологическое бормотаніе, выкрики, словесный бредъ. И таково все созданное демонизмомъ. Оно растворяется въ безуміи, бредѣ и гаснетъ въ полномъ слабоуміи. Бунтъ демонической мысли безсиленъ, какъ и бунтъ «Большого Кулака».

Востокъ —колыбель цивилизацій, религій, философскихъ ученій. Есть Востокъ и Востокъ. Рядомъ съ атеизмомъ и шаманствомъ тамъ стоятъ хотя бы древнія ведическія ученія, исходящія изъ возвышеннаго единобожія. Скажутъ, что и Гегель подвергался вліянію Востока. Да, но именно другого Востока, пѣвшаго дивные гимны невѣдомому въ древнихъ «Ведахъ»,— Востока бѣлолицыхъ арiевъ.

Въ глубинахъ духа гегелевой системы — образъ предвѣчнаго творческаго слова, ткущаго безпредѣльную вселенную отъ высшихъ ея до низшихъ ступеней въ безчисленныхъ существахъ. А чей образъ темнѣетъ на днѣ мутной, бунтующей, дико и несвязно выкликающей ницшеанской мысли?

Яркій полдень германской мысли озарилъ русскихъ людей начала вѣка. Въ концѣ-же вѣка набросили на нихъ свой сѣрый свѣтъ и сумерки этой мысли. Но это дѣйствительно сумерки. Быть-можетъ расплата за имперское величіе «крови и желѣза». Міръ сильныхъ безжалостныхъ «сверхъ-человѣковъ», перешагнувшихъ «по ту сторону добра и зла», замѣнившихъ старое нѣмецкое «ты — должень», гордымъ «я — хочу», міръ не внемлющій стонамъ страдальца и «толкающій падающаго» — не есть-ли міръ насильниковъ вселенной, колонизаторовъ и культуртрегеровъ, разыскивающихъ себѣ рабовъ въ низшихъ расахъ? Ницше — провозвѣстникъ и поэтъ все разрѣшающей эпохи насильничества. Но вліяніе этой философіи на русское общество не можетъ быть глубоко или продолжительно. Оно для этого слишкомъ здорово и чисто. Дохнувъ демоническихъ газовъ германскаго разложенія мысли, оно поспѣшитъ возвратиться въ чистыя области христіанской красоты и правды.

§ 2. Англійская литература конца вѣка имѣла своего «великаго старца» Раскина, глубокое вліяніе котораго и на нашего «великаго старца»—внѣ сомнѣнія. Идеи Раскина—проповѣдь своеобразнаго «народничества». Раскинъ желаетъ художества въ промышленности и поэтому пытается воскресить «кустаря», убитаго мертвой фабричной фактурою. Онъ прикоснулся къ той древней, народной культурѣ, которая стерта въ Англіи насиліемъ высшаго класса. Изъ этихъ идей, видимо, изойдетъ возрожденіе англійской мысли, литературы и культуры. Въ самомъ дѣлѣ, къ концу вѣка, культура лордовъ вступила на путь имперіализма и задорно-воинственной политики, сокрушившейся однако въ борьбѣ съ маленькимъ народцемъ Трансвааля. Весь міръ былъ свидѣтелемъ исполняющихся давнихъ предсказаній...

Безславныя пораженія, которыми сопровождался каждый шагъ англичанъ въ Африкѣ,—этихъ окаменѣлыхъ въ величественномъ сознаніи своего превосходства англичанъ, раскрыли всему міру внутреннюю слабость Британской имперіи. Но гдѣ основная причина этой слабости? Отвѣтъ, быть можетъ, проскользнулъ въ одномъ замѣчаніи о составѣ британскихъ войскъ. Набранныя изъ всевозможныхъ слоевъ народа, они не заключаютъ въ себѣ только одного элемента—крестьянскаго. Да, тѣ крестьяне, которые еще въ началѣ столѣтія поставляли арміи безстрашныхъ бойцовъ, отсутствуютъ въ рядахъ англійскихъ наемниковъ. Но гдѣ же это сословіе въ самой Англіи? Гдѣ старое земельное крестьянство? Его нѣтъ или его такъ мало, что и считать не стоитъ. Цѣлыя столѣтія послѣдовательныхъ усилій употребили англійскіе лорды и фабриканты и достигли наконецъ того результата, къ которому стремился щедринскій «дикій помѣщикъ»: «Богъ всѣ владѣнія ихъ отъ крестьянишекъ избавилъ». Обезземеливъ свое крестьянство, Англія лишилась солдата, связаннаго неразрывными узами съ землей, а потому и способнаго самоотверженно защищать ее до послѣдней капли крови. Не только съ голландскими мужиками-бурами въ другой части свѣта, но у себя дома Англіи не найти защитниковъ, которые постояли бы грудью за свою родину, потому-что у пролетарія нѣтъ родины, и свои личные и классовые интересы онъ никогда не отожествитъ съ интересами богачей, завладѣвшихъ его землями. Въ Англіи возможенъ только патріотизмъ высшихъ классовъ, патріотизмъ газетный, книжный, патріотизмъ стиховъ Рудіарда Киплинга и рѣчей Чемберлэна, безсильный и пустой патріотизмъ. Но истиннаго, дѣятельнаго патріотизма народныхъ массъ, который живъ сознаніемъ своей неразрывности съ родной нивой, съ могилами дѣдовъ и прадѣдовъ, съ холмами, рѣчками, деревьями, съ наслѣдственнымъ домомъ и садомъ,—такого патріотизма въ Англіи быть не можетъ. И во всякой странѣ, обезземелившей свои массы, его не можетъ быть. Поэтому Англія во-истину беззащитная страна, и въ ея государственномъ бытіи дѣйствительно зіяетъ

грозный пробѣлъ. Пролетарій-фабричный ничего не чувствуетъ, кромѣ вражды къ своимъ хозяевамъ, ничѣмъ со страной не связанъ. Онъ идетъ на всякій рынокъ, гдѣ есть спросъ. Его можно нанять. Но ради чего онъ станетъ собою жертвовать? Такъ не могъ обезземеленный польскій хлопъ стоять за «отчизну» обезземелившаго его пана. Дѣло не въ томъ, что Британская имперія разрослась по всей вселенной и не только въ отдаленности театра войны. Дѣло въ томъ, что Англіи некого послать сражаться за свое имперское дѣло. Нѣтъ такихъ подданныхъ у нея, которые оставили бы на родинѣ хотя клочекъ собственной, прадѣдовской земли съ домомъ и семьей. Русскаго мужика Царь можетъ послать сражаться за общее государственное дѣло хоть на край свѣта. Онъ не выдастъ. Почему? Да по той простой причинѣ, что въ немъ живъ инстинктъ дѣятельнаго патріотизма, свойственный человѣку, у котораго есть собственность въ родной землѣ. Участвуя искони во владѣніи отечествомъ, онъ и стоять будетъ за него вездѣ, гдѣ только придется. Онъ умретъ за «государево дѣло» во всѣхъ странахъ, всѣмъ существомъ своимъ понимая, что въ общихъ государственныхъ сотахъ, которые онъ защищаетъ, есть капля и его меда. Это живетъ въ немъ, какъ тысячелѣтній инстинктъ, какъ завѣтъ, какъ стремленіе.

Но припомните, какъ поступали англійскіе лорды со своими крестьянами еще въ началѣ этого вѣка! Достаточно указать на «очистку» земель графини Сутерлендъ. Вступивъ въ управленіе своими владѣніями, она рѣшила принять радикальныя хозяйственныя мѣры и обратить свое графство въ овечье пастбище. Съ 1814 по 1820 годъ она систематически изгнала три тысячи семей. Деревни ихъ были разрушены и выжжены, поля обращены въ пастбища. Графиня призывала войска на помощь. Одна старуха сгорѣла въ пламени лачуги, которую не хотѣла оставить. Графиня присвоила себѣ около 800 тысячъ акровъ земли, съ незапамятныхъ временъ принадлежавшей изгнанному клану. На этихъ земляхъ у нея въ 1825 г. паслось уже болѣе ста тысячъ овецъ. Людямъ же, исконнымъ хлѣбопашцамъ, она отдала въ аренду по 2 шил. 6 пенс. за акръ безплодную полосу по берегу моря. Тамъ влачили они жалкую жизнь, ловя рыбу. Но этого мало. И отсюда изгнала графиня своихъ подданныхъ, а морской берегъ отдала въ аренду крупнымъ лондонскимъ рыбнымъ торговцамъ. Это не помѣшало графинѣ въ 1853 г. встрѣчать съ величайшей торжественностью въ Лондонѣ знаменитую Бичеръ-Стоу. Гдѣ теперь подданные графини Сутерлендъ? Пусть бы ея наслѣдница воззвала къ ихъ патріотизму и предложила бы имъ идти отстаивать интересы британскаго отечества въ дальней Африкѣ!

Великую вѣковую неправду англійскаго строя, безразсудность ея хозяйства понималъ еще Либихъ. «Англія какъ вампиръ сидитъ на хребтѣ народовъ,— писалъ великій химикъ въ 50-хъ годахъ.—Она питается чужой

кровью, но часъ ея близокъ». А нашъ Хомяковъ въ извѣстныхъ стихахъ пророчествовалъ:

..,Скрывъ въ груди предсмертный стонъ,
Куетъ безсильныя крамолы,
Дрожа надъ бездной, Альбіонъ!

Повидимому эти прорицанія предвѣщали бурю, когда сіялъ безоблачный день. Англія переходила отъ успѣха къ успѣху. Невозможно играть рискованнѣе и вмѣстѣ счастливѣе, чѣмъ это дѣлала Англія. Но громъ грянулъ дѣйствительно изъ безоблачнаго неба. Правда открылась вдругъ и ослѣпительная правда. Сознаніе рокового пробѣла въ англійскомъ строѣ явилось у лучшихъ людей страны еще до послѣдняго урока. «Очистка» Англіи отъ крестьянства пугала ихъ уже давно. Поднимался даже вопросъ о средствахъ исправить давнюю ошибку, о мѣрахъ къ возстановленію земельнаго крестьянства на островѣ. Послѣдніе неуспѣхи несомнѣнно вновь воскресятъ въ сознаніи англійскаго общества этотъ основной вопросъ. Но и другіе народы тоже должны принять къ свѣдѣнію урокъ, который преподала исторія гордой Британіи.

Есть основанія думать, что на Дальнемъ Востокѣ образовалась вулканическая почва, подобная той, которая еще такъ недавно поддерживала тревожное напряженіе Европы на Востокѣ Ближнемъ. Видимо исторія перенесла на Дальній свой центръ тяжести. Тамъ поднялись и столкнулись всѣ великія идеи, всѣ противорѣчивыя культурныя начала, которыми живетъ человѣчество. Если тяжко и трудно волнуемый океанъ народовъ ветхаго днями Китая наморщилъ высоко-хребетную волну, главнымъ образомъ разбившуюся о русскіе штыки, но грозившую всѣмъ европейцамъ, то вѣдь возмущеніе развилось на болѣзненной почвѣ религіозныхъ столкновеній. Съ другой стороны «экзаменаціонная коммиссія», хранящая традиціи своеобразной китайской мудрости, воспитывала правящіе классы Китая въ національномъ духѣ. До сихъ поръ исторія воздвигала, сопоставляла и сталкивала противоположныя культурныя начала на Востокѣ Ближнемъ. И надо признать, что тамъ эти начала возникали менѣе сложно и противорѣчиво, захватъ ихъ былъ уже, хотя и сталкивались здѣсь начала трехъ міровъ,— германо-романскаго, греко-славянскаго и міра ислама. Все же въ вопросахъ Ближняго Востока, вопросахъ Царьграда и Дарданелъ и облегающихъ ихъ міровъ сравнительно легче было разобраться, чѣмъ теперь, въ вопросахъ Дальняго Востока, въ вопросахъ Пекина и Ян-Цзы. Тутъ сходятся народы, совершенно чуждые другъ другу, по всѣмъ нравственнымъ понятіямъ, и нѣтъ никакого сомнѣнія, что для людей Крайняго Запада, для англичанъ и нѣмцевъ почти невозможно что-либо понять въ желтолицемъ мірѣ, признать какія-либо права за его тысячелѣтней культурою. Это под-

тверждается миссіонерской и культуртрегерской дѣятельностью западныхъ цивилизаторовъ, пробудившей въ азіатскихъ толпахъ неугасимую ненависть къ европейцамъ и давшей ей въ руки усовершенствованное оружіе. Мы, русскіе люди — старые, тысячелѣтніе христіане, давно вѣдались съ шаманской азіатчиной и поганствомъ. Она творила намъ многія великія нужды, бѣды и досады. И тѣмъ не менѣе мы не оставимъ Азію по ту сторону человѣчества. Мы понимаемъ, что Китай — гигантскій муравейникъ, что народы его своеобразной, уравнительной, изъ сѣдой древности идущей государственности, обладающей тайной какъ бы замуровывать духъ націи въ самомъ себѣ, доведены отчасти до состоянія термита, исчезающаго во множествѣ; мы понимаемъ, что эта государственность вытравила въ значительной мѣрѣ изъ китайца человѣка, она сдѣлала его какимъ-то деревяннымъ, жестокимъ и мало чувствительнымъ даже къ физической боли утилитаристомъ. И въ то же время въ устояхъ китайской государственности мы обрѣтаемъ осуществленіе идеаловъ нашего собственнаго древняго земскаго строя... Таковъ парадоксъ русскаго отношенія къ Азіи.

Повторяемъ, предстоитъ еще великая экономическая, политическая, идейная и нравственная тяжба народовъ. Мы присутствуемъ только при ея истокахъ, при первыхъ трубныхъ гласахъ ея. Она еще развернется гигантской эпопеей. Видимо, наступаетъ одинъ изъ тѣхъ поворотныхъ пунктовъ въ жизни человѣчества, когда сталкиваются всѣ концы міра, происходитъ культурное, экономическое и вмѣстѣ идейное взаимопроникновеніе не только отдѣльныхъ народовъ въ свалкѣ нашествій и погромовъ, идейныхъ и экономическихъ кризисовъ, но цѣлыхъ отдѣльныхъ міровъ. Результатомъ такой міровой толчеи, избирающей обыкновенно одну какую-либо точку земного шара, является сравненіе и повѣрка тѣхъ недостаточныхъ въ своей оторванности началъ, которыми живутъ отдѣльные народы. Отсюда повышеніе самосознанія человѣчества, обогащеніе вселенскаго разума.

Вліяніе буддійскаго и конфуціанскаго Востока на умственный и нравственный строй Европы, на философію, искусство, даже будничные вкусы — уже сказалось явственно. Достаточно указать, что японское и китайское искусство произвело глубокое впечатлѣніе на европейское искусство, — въ смыслѣ самаго пониманія прекраснаго, а такъ же манеры исполненія и художественнаго замысла. Тотъ стиль fin de siècle, который мы называемъ стилемъ декаданса и который сказался на разнообразнѣйшихъ предметахъ промышленности, на рисункахъ тканей, на мебели, драпировкахъ и пр., всецѣло стиль и вкусъ Дальняго Востока, только примѣненный къ европейскому глазу. Самый демонизмъ настроеній конца вѣка исходитъ изъ древняго восточнаго шаманства. Западъ вливается въ Востокъ, и стоящей на грани этихъ двухъ міровъ истинной срединной Руси предстоитъ

совершить какъ бы третейскій судъ тѣхъ началъ, которыми живутъ народы Востока и Запада, и быть-можетъ, отразивъ эти противоположныя культурныя начала въ глубинахъ своего самосознанія, слить ихъ въ высшій синтезъ... Мы видимъ во всякомъ случаѣ, что русскій человѣкъ стремится занять независимую точку зрѣнія въ событіяхъ Дальняго Востока. Предъ нимъ открываются двѣ правды и двѣ неправды равно на обѣихъ сторонахъ, и азіатской и европейской. И въ этой гигантской борьбѣ едва ли не одинъ только русскій народъ стоитъ за торжество истинной человѣчности...

§ 3. Декадентство! Уличное, ходячее словечко, которое словно бубноваго туза пришпиливаютъ у насъ ко всякому сколько-нибудь оригинальному, будящему воображеніе явленію творчества.

У насъ и сѣверное сіяніе назовутъ «декадентство». Удобная вещь— ходячее словечко для неимѣющаго своихъ мыслей россіянина. Это волшебный «сезамъ», который отворяетъ всѣ двери, разрѣшаетъ всѣ затрудненія.

Въ чемъ разница стиля возрожденія отъ стиля упадка, «ренесанса» отъ «декаданса»? Постоянно въ сужденіяхъ, въ критикѣ и въ самыхъ попыткахъ самоновѣйшаго россійскаго искусства видишь смѣшеніе этихъ двухъ стилей.

Явленія возрожденія и упадка, по самой сущности своей—повторяемыя въ исторіи человѣческаго прогреса. Помимо тѣснаго смысла, связаннаго съ опредѣленной эпохой, слову «ренесансъ» можетъ быть дано болѣе широкое значеніе.

Всякій разъ въ исторіи, когда крѣпкое, устоявшееся, тысячелѣтнее вино древнихъ цивилизацій, на которое алчно накидывается юный, полнокровный варваръ, воодушевитъ его,—можно наблюдать явленіе возрожденія, точнѣе расцвѣта національнаго искусства, мысли, жизни. Это общеніе съ древними цивилизаціями и кружитъ голову молодому народу, и переполняетъ его мозгъ новыми идеями, образами, пробуждаетъ всѣ страсти, поднимаетъ всѣ силы и, какъ весеннее тепло, заставляетъ прозябнуть въ душѣ народной всѣ сѣмена, всѣ ростки, всѣ зародыши. Древняя культура является бродильнымъ началомъ, мгновенно возбуждающимъ бурные процесы въ народной жизни. Все это отражается въ роскошномъ, яркомъ искусствѣ. Вакхическій элементъ—необходимая черта въ стилѣ ренесанса.

Быть-можетъ слова наши покажутся парадоксомъ, если мы скажемъ, что Россія уже пережила однажды свой «ренесансъ» на зарѣ ея исторіи... Въ самомъ дѣлѣ, вмѣстѣ съ крещеніемъ Руси, византійская культура вызвала тотъ подъемъ духа, тотъ творческій экстазъ, то полнокровное опьяненіе, тотъ «вакхизмъ», который характеризуетъ возрожденіе. Въ теченіе XI и XII вѣковъ, несмотря на смуты, усобицы, нападенія кочевниковъ, развилась въ кіевской Руси городская и монастырская культура. Археоло-

гія показала, что эта культура была далеко не ничтожна. Это было нѣчто въ высшей степени своеобразное, но настолько замѣчательное, что мы понимаемъ нашего поэта графа Алексѣя Толстого, который такъ восхищался этой эпохой и готовъ былъ видѣть въ ней прямо золотой вѣкъ Руси.

Юный народъ, сильный, переимчивый зажилъ всею удалью своей. Контрастъ между княжескими пирами и монастырскимъ аскетизмомъ только увеличиваетъ художественное достоинство общей картины.

На княжескомъ дворѣ собираются удальцы, богатыри и русскіе, и чужеземцы. Тутъ же и дорогіе гости — купцы, вооруженными караванами проходящіе великій путь «изъ Варягъ въ Греки», люди свѣдущіе, хитрые, храбрые, видавшіе страны и народы, краснобаи. Въ Кіевѣ видимъ пеструю, разнообразную толпу греческихъ зодчихъ, сирійскихъ и армянскихъ знахарей, евреевъ, хозаръ, нѣмцевъ, свейскихъ и датскихъ наемниковъ. На княжескомъ дворѣ появляются даже «шпильманы» съ марионетками. Гридня князя полна гостей — шумъ, пѣсни, разговоры. Вдругъ входитъ мрачная фигура аскета, облаченнаго черной схимой...

Языческо-богатырская свободная жизнь князей, походы, посольства, паломничества, торговыя сношенія, все способствуетъ обогащенію жизни и расцвѣту ея. Связь съ Византіей, постоянная связь съ великимъ центромъ цивилизаціи. Князья Ярославова дома женятся на иностранныхъ принцессахъ. Княжны выходятъ замужъ за иностранныхъ владѣтелей. «Свѣтлый Кіевъ съ женами-чаровницами» въ ту эпоху далеко славится.

О немъ пишутъ нѣмцы и арабы.

Это первое возрожденіе однако не разлилось по Руси прочной культурой. Маревомъ заиграло оно надъ лѣсами и болотами дѣвственной страны и заглохло. Наше второе возрожденіе уже при Петрѣ. Тутъ пламя культуры принялось, не погасло и чѣмъ далѣе, тѣмъ жарче разгорается. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что мы продолжаемъ еще эпоху нашего возрожденія, тѣмъ болѣе, что воспріятіе античной культуры, великихъ восточныхъ культуръ, наконецъ сокровищъ германско-романскаго Запада и до сихъ поръ еще у насъ очень поверхностно. Попытались мы создать по всей Руси классическую школу, да вмѣсто античной культуры стали въ ней преподавать филологическое декадентство «послѣднихъ словъ» германскаго эллинизма и латинизма... Эта погоня за «послѣдними словами» — самое гибельное явленіе. Именно первыя слова всякой культуры велики, глубоки, жизненны. Послѣднія же проникнуты маразмомъ старости. Утомленіе чувствуется нерѣдко и къ концу столѣтія. Возьмите хоть германскую культуру истекшаго столѣтія. Первыя слова — Шеллингъ и Гегель, послѣднія слова — Ницше. И конечно мы, увлекавшіеся и Шеллингомъ, и Гегелемъ, когда это были еще «послѣднія слова», теперь навалились на ницшеанство.

А что такое стиль и искусство декадентства? Это искусство достигшее пол-

ной зрѣлости и даже перезрѣлости, пряное, доцвѣтающее въ лучахъ заходящаго солнца старѣющейся цивилизаціи. Стиль этого искусства—вычурный, сложный, ухищренный, полный тончайшихъ оттѣнковъ, намековъ, теряющій простоту формъ и подобный перезрѣлымъ, багровѣющимъ и блекнущимъ плодамъ. Онъ воспринялъ цвѣта всѣхъ палитръ, звуки всѣхъ клавіатуръ, усиливается сдѣлать достояніемъ мысли почти неуловимое, а потому контуры его едва намѣчены, смутны, тонутъ въ убѣгающихъ тонахъ. Этотъ стиль хочетъ передать хрупкія откровенія невроза, томленія блекнущей, старѣющейся страсти и странныя галлюцинаціи неподвижныхъ идей, близкихъ къ безумію. Такъ или почти такъ опредѣляетъ стиль декаданса Теофиль Готье. Таковъ стиль латыни временъ упадка и византійской школы, послѣдней формы греческаго искусства, которое превратилось въ символику и словесный филигранъ акростиховъ. Стиль декаданса любитъ сумракъ мысли, рои таинственныхъ тѣней, фантомы, порожденные безсонницей старческаго мозга, ночные страхи и видѣнія, сплинъ и болѣзненную чуткость обезсиленныхъ нервовъ, трепещущихъ отъ малѣйшаго шума, чудовищныя мечты, темныя фантазіи, гаданія пресыщенной жизнью души надъ разсѣлиной смерти, изъ которой вырываются удушливые газы мистики... Настроенія поэтовъ декаданса не выносятъ филантроповъ, прогрессистовъ, утилитаристовъ, утопистовъ и всѣхъ тѣхъ, кто хочетъ перекраивать по своему шаблону самовластную природу и роковыя противорѣчія общества; эти настроенія не грозятъ адомъ или гильотиной грѣшникамъ и преступникамъ; не считаютъ и того, будто бы человѣкъ самъ по себѣ добръ; на днѣ самой чистой души они находятъ извращеніе, злого совѣтника, который толкаетъ человѣка на все, что ему ненавистно, именно потому, что это ему ненавистно и ради удовольствія нарушить законъ, при чемъ непослушаніе здѣсь само себѣ наградой. Цвѣты поэзіи декаданса—странныхъ, неестественныхъ формъ, металлической окраски, головокружительнаго, пронизывающаго аромата, и въ чашечкѣ ихъ вмѣсто прозрачной росы дрожитъ горечь холодной слезы. Корни этихъ цвѣтовъ могутъ питаться только жирной и насыщенной разлагающимися остатками почвой кладбищъ и погибшихъ цивилизацій и развиваются среди міазмовъ, распространяемыхъ трупами миновавшихъ вѣковъ. Великая грусть гигантскихъ, старыхъ городовъ одна можетъ породить болѣзненную поэзію декаданса. Здѣсь блѣдный, преждевременно износившійся, разбитый человѣкъ въ конвульсіяхъ искуственныхъ страстей и въ томленіи ненасытимыхъ желаній, со своими болѣзнями, тоской, нищетою душевной и тѣлесной, прострацією и экстазомъ, нервный, полубезумный—является предметомъ странныхъ пѣсенъ. Поэтъ декаданса изображаетъ болѣзненную, изломанную, извращенную душу этого человѣка большихъ центровъ цивилизаціи, и анализируетъ темные страсти и инстинкты, извращенные вкусы и маніакальныя идеи, лѣниво копошащіеся въ грязи и

разложенiи оскудѣвшаго духа. Неисцѣлимая грусть терзаетъ его при видѣ этого зрѣлища и съ тоскою жаждетъ онъ яснаго неба и тихихъ звѣздъ, застланныхъ темными испаренiями и чадомъ гигантскаго города. Наконецъ, пресыщенный вкусъ этой поэзiи тяготѣетъ ко всему искуственному, острому, ядовитому. Онъ предпочитаетъ разложенiе красоты и истины болѣе, чѣмъ самыя красоту и истину. И обратно: отвратительное ему кажется, хотя и разложенiемъ красоты, ея распадающимся трупомъ, но все же красотой. Смѣшенiе жизни и смерти въ разложенiи — вотъ извращенное мiросозерцанiе декаданса.

У насъ нѣтъ никакой почвы для процвѣтанiя поэзiи декаданса. Гдѣ у насъ старѣющая цивилизацiя и перезрѣлая культура? Правда, Петербургъ тонетъ въ болотѣ и переполненъ натуральными мiазмами, но этого далеко недостаточно, чтобы создать въ немъ атмосферу старыхъ центровъ великихъ цивилизацiй.

Поэзiя упадка у насъ является простымъ упадкомъ ума, вкуса, таланта, воображенiя, чуждымъ всякой поэзiи. Иное дѣло, если бы наши молодые поэты и художники обогащали себя изученiемъ античной цивилизацiи великихъ культуръ Востока, сокровищъ германо-романскаго Запада, вдохновлялись и возрождались этими культурами. Тогда мы увидѣли бы бытьможетъ «ренесансъ» нашего, остановившагося на шаблонахъ, искусства и литературы, выродившейся въ журнальную «беллетристику» чисто ремесленнаго пошиба. Но подражать парижскимъ вычурамъ легко. Изучать культуры трудно. Великая жажда знанiя нужна для этого...

Изученiе не «послѣднихъ словъ» только, а великихъ культуръ въ ихъ цѣломъ поднимаетъ наше самосознанiе, и у себя въ своей сторонѣ начинаемъ мы открывать прекрасное. Сравненiе вызываетъ къ жизни многое позабытое.

Въ новѣйшемъ русскомъ искусствѣ можно уловить свѣтлое дыханiе возрожденiя. И не въ яркихъ полотнахъ Семирадскаго, даже не въ изумительныхъ по мастерству работахъ Бакаловича, хотя здѣсь и царятъ античные сюжеты, бронза, мраморъ, перламутръ, нагiя тѣла, голые черепа сенаторовъ, прозрачныя тѣни юга. Въ трактованiи духовныхъ сюжетовъ мы видимъ возвращенiе отъ расцвѣта итальянскаго ренесанса къ его зарѣ, къ прерафаэлитамъ и, дальше, къ византiйскому искусству. Повидимому это понятные шаги, а между тѣмъ они полны глубокаго смысла. «Послѣднее слово» возрожденiя вырождается у насъ въ сладкую итальянщину. Мы обратились теперь къ первымъ словамъ возрожденiя, и русская духовная живопись сразу почуяла подъ собою твердую почву.

Въ одной повѣсти покойнаго Д. В. Григоровича — кстати сказать проникнутой особой теплотой и искренностью — изображается скромная кухмистерская на Васильевскомъ островѣ, гдѣ собирались молодые живописцы

Въ весеннее время обѣды происходили на маленькомъ дворикѣ, примыкавшемъ непосредственно къ кухнѣ доброй нѣмки, содержавшей эту кухмистерскую. Дворикъ, обнесенный дырявыми барочными досками, былъ тщательно усыпанъ пескомъ и отражалъ чистоту и опрятность, какими отличалось все заведеніе. По серединѣ его возвышалась тощая рябина; несмотря на свои чахлыя вѣтви, прокопченныя дымомъ, деревцо доставляло неизъяснимое утѣшеніе посѣтителямъ. Весною гости здѣсь шумѣли, кричали, провозглашали тосты въ честь Италіи и Рима, курили немилосердно, такъ курили, что проѣзжающій по Невѣ, взглянувъ въ ту сторону, могъ легко принять столбъ дыма надъ кровлей нѣмки за дымъ парохода, готовящагося къ отплытію по Малой Невкѣ. Тутъ молодежь спорила, горячилась, и авторъ передаетъ одинъ изъ такихъ споровъ о сущности искусства.

Одинъ изъ гостей собирается писать картину. Мысль богатая: «Паденіе Ниневіи»; холстина въ десять саженъ, фигуръ пятьсотъ... Другой возражаетъ, что изображеніе сильныхъ движеній не есть необходимость въ картинѣ. Какъ бы ни было живо передано движеніе, — воображеніе зрителя всегда будетъ въ какомъ-то недовольномъ ожиданіи, всегда опередитъ и слѣдовательно пересоздастъ по своему мысль художника. При видѣ бѣгущихъ испуганныхъ лицъ въ картинѣ воображенію остается еще работа: невольно ждешь, когда и чѣмъ разрѣшится это движеніе. Картины, изображающія груды обнаженныхъ женщинъ съ перламутровой кожей, перепутанныя драгоцѣнными тканями и жемчугами, облитыми неестественными лучами свѣта, похожими на бенгальскій огонь, недостойны кисти, точно такъ же, какъ изображеніе шлемовъ, париковъ, огня и дыма... Что въ нихъ? Они не производятъ благодѣтельнаго впечатлѣнія, не доставляютъ того мирнаго, чистаго, эстетическаго наслажденія, которое и составляетъ цѣль искусствъ.

Въ самомъ дѣлѣ въ этомъ взглядѣ много правды. Стремленіе, томленіе — скорѣе черта декаданса. Въ свѣтломъ мірѣ возрожденія мы видимъ глубокое удовлетвореніе и при роскошной полнотѣ и богатствѣ жизни — сосредоточенную тишину и созерцаніе. «Вакхизмъ» возрожденія не что иное, какъ плодовитость генія, но полная олимпійскаго величія. Возрожденіе — это цвѣтникъ, гдѣ пышно развернулись благоуханныя розы всѣхъ красокъ, облитый щедрымъ солнцемъ и безмятежный. Именно внутренній строй изображенія кладетъ непереходимую грань между сладкой «итальянщиной» и міромъ «ренесанса». И возвращеніе отъ расцвѣта итальянскаго ренесанса къ его зарѣ, прерафаэлитамъ, — эти шаги, съ высокой талантливостью сдѣланные въ русской духовной живописи Васнецовымъ, глубоко осмысленны. Копированіе зрѣлаго итальянскаго искусства удаляетъ нашу духовную живопись отъ родной церковной старины. Прерафаэлиты же насъ учатъ находить начатки оригинальной школы въ древней русской иконописи.

Естественно возвратиться къ изученію источниковъ византійскаго искусства, зерно котораго проросло на тучной итальянской почвѣ и дало совершенство настроеній триптиховъ Перуджино и олимпійскую красоту Рафаэля. Это же зерно и на русской почвѣ прорастетъ и дастъ начало высокимъ національнымъ созданіямъ. Здѣсь прокладывается путь къ русскому «ренесансу» въ живописи...

Однако для толпы это своеобразное и многообѣщающее направленіе новѣйшаго русскаго искусства покроется тѣмъ же ходячимъ словечкомъ— «декадентство»...

Что такое культура? Это проникновеніе искусства въ самую жизнь народа. Посмотрите на обиходъ восточныхъ націй. Какое высокое совершенство искусствъ во всѣхъ самыхъ будничныхъ повседневныхъ предметахъ его! У насъ искусство — само по себѣ, жизнь сама по себѣ. Мы даже не подозрѣваемъ, что столъ, за которымъ мы обѣдаемъ, стулъ, на которомъ сидимъ, лампа, тарелка, коверъ, шкафъ — всѣ предметы обихода могутъ и должны быть произведеніемъ національнаго искусства. Мы довольствуемся рыночными, пошлыми формами въ нашей жалкой обстановкѣ.

Но дыханіе возрожденія, пробуждая дремлющій художественный вкусъ общества, создаетъ жажду красоты въ строѣ будничнаго обихода. Изящество обстановки, оригинальность ея, украшеніе жизни — становится насущной потребностью. Поэтому знаменіемъ времени должно признать попытки, которыя мы наблюдаемъ въ области художественной промышленности.

Правда, и на этихъ попыткахъ сказывается то же роковое смѣшеніе «ренесанса» съ «декадансомъ», которое дѣлаетъ ничтожными и всѣ новшества въ литературѣ. На «декадентскихъ» выставкахъ въ залѣ музея Штиглица — были выставлены нѣкоторые образцы нашей художественной промышленности.

У «декадентовъ» находимъ попытки художественныхъ предметовъ обихода. Гончарныя произведенія старо-русскихъ формъ, кувшины, братины, шкафы, кресло, печи, умывальникъ, дверь и т. п. Но въ этихъ попыткахъ ни тѣни «ренесанса», а одинъ только жалкій «декадансъ». Все это грубо, аляповато, бѣдно по замыслу и совершенно неудовлетворительно въ отношеніи практическихъ удобствъ. Это — бутафорскія вещи, а не настоящія. Напримѣръ, умывальникъ: предъ нами просто плита, обыкновенная кухонная плита и даже съ топкой. На этой плитѣ стоитъ безобразнѣйшая въ мірѣ разлапистая, пудового вѣса, съ толстѣйшими стѣнками умывательная посудина... А кресло? Оно только можетъ пригодиться для кабинета профессора черной и бѣлой магіи или жирнаго банкира съ карфагенскимъ профилемъ. А между тѣмъ тутъ же въ музеѣ сколько дивныхъ шкафовъ, кроватей и всевозможныхъ стильныхъ художественныхъ предметовъ обихода стараго Запада!

И все же наши попытки достойны сочувствія. Это зародышъ нашей художественной промышленности. Но этотъ зародышъ, какъ и всѣ прочія начинанія молодежи въ искусствѣ, увѣнчается лишь тогда успѣхомъ, когда она будетъ сама собой—дѣвственнымъ варваромъ, съ волчьимъ апетитомъ, непочатыми силами, свѣжимъ мозгомъ, которому свойственно набрасываться на богатую трапезу старыхъ цивилизацій, чтобы, оплодотворивъ свое воображеніе вселенской культурой, приняться за самостоятельное творчество. Эти начинанія тогда успѣхомъ увѣнчаются, когда русскій человѣкъ перестанетъ изображать изъ себя пресыщеннаго цивилизаціей рамоли, который не можетъ жить безъ пряностей, нюхаетъ разныя мерзости изъ флаконовъ, читаетъ романы маркиза де-Сада, смакуетъ птичку съ наперстокъ и отъ искусства требуетъ —

De la musique avant toute chose...
Car nous voulons la nuance encore,
Pas la couleur, rien que la nuance!

Т.-е.—«музыки прежде всего другого, ибо мы хотимъ оттѣнковъ, не цвѣтовъ, но только оттѣнковъ».

§ 4. «Декадентство» въ Россіи вылилось въ самыхъ отталкивающихъ и безобразно крикливыхъ формахъ. Началась его проповѣдь въ журналѣ «Сѣверный Вѣстникъ», редакціи А. Волынскаго (Флексора), знаменитаго критика, отыскавшаго «новую мозговую спираль» и Л. Я. Гуревичъ, безпредѣльно увѣровавшей въ «новаго Спинозу». Декаденщину сюда поставляли Соллогубъ, Мережковскій и Гиппіусъ. Затѣмъ въ Москвѣ, нѣкій піитъ Валерій Брюсовъ выпустилъ прославившееся одностишіе, ставшее какъ-бы девизомъ русскихъ декадентовъ и символистовъ:

О, закрой свои блѣдныя ноги!

Даровитый критикъ и публицистъ В. В. Розановъ такъ говоритъ по поводу этого стиха:

«Эросъ не одѣтъ здѣсь болѣе поэзіей, не затуманенъ, не скрытъ; весь смыслъ, вся красота, всѣ безконечныя муки и радости, изъ которыхъ исходитъ актъ любви, и которыя позднѣе, съ инымъ характеромъ поэзіи и другими заботами, изъ него слѣдуютъ — все это здѣсь отброшено; отброшено самое лицо любимаго существа: на него, какъ на лицо оперируемаго, набрасывается въ этой новой «поэзіи» покрывало, чтобы своимъ выраженіемъ страданія, ужаса, мольбы оно не мѣшало чему-то «существенному», что должно быть совершено тутъ, около него, но безъ какого-либо къ нему вниманія. Женщина не только безъ образа, но и всегда безъ имени фигурируетъ обычно въ этой «поэзіи», гдѣ голова въ объектѣ изображаемомъ

играетъ почти столь же ничтожную роль, какъ и у субъекта изображающаго: какъ это, напримѣръ, видно въ слѣдующемъ классическомъ по своей краткости стихотвореніи, исчерпываемомъ одною строкой:

О, закрой свои блѣдныя ноги! (Брюсовъ).

Уголъ зрѣнія на человѣка и, кажется, на всѣ человѣческія отношенія, то-есть на самую жизнь, здѣсь открывается не сверху, идетъ не отъ лица, проникнутъ не смысломъ, но поднимается откуда-то снизу, отъ ногъ, и проникнутъ ощущеніями и желаніями, ничего общаго со смысломъ не имѣющими.

Умеръ человѣкъ и остались только панталоны. Ступень паденія еще ниже тотчасъ слѣдуетъ за этимъ: въ живописи мы видѣли этотъ кадансъ въ изображеніи раковины-женщины, поглощающей въ себя солнечный лучъ, въ беллетристикѣ — мистическаго самца», порхающаго надъ жено-подобными цвѣтами. Тамъ и здѣсь уродливое впало въ безсмысленное, и мы не чувствуемъ никакого удивленія, не видимъ ничего новаго, читая такіе стихи:

Всходитъ мѣсяцъ обнаженный
При лазоревой лунѣ:
Звуки рѣютъ полу-сонно,
Звуки ластятся ко мнѣ...

или еще:

Мертвецы, освѣщенные газомъ!
Алая лента на грѣшной невѣстѣ!
О, мы пойдемъ цѣловаться къ окну! [2])

Наконецъ, въ Москвѣ создалось цѣлое книгоиздательство, съ язвительнымъ названіемъ «Скорпіонъ». Оно издаетъ творенія Брюсова, Коневскаго, Александра Добролюбова, Бальмонта и др.

Наиболѣе интересная — съ точки зрѣнія патологіи литературы, конечно, — личность между ними — Александръ Добролюбовъ. Еще студентомъ сталъ онъ писать стихи, проникнутые самодовольствомъ идіота; потомъ поступилъ послушникомъ въ монастырь; потомъ явился въ Петербургъ, побираясь Христовымъ именемъ, пришелъ къ знакомымъ, сѣлъ на полъ и сталъ пѣть пѣсни... На этомъ прерываются свѣдѣнія о его біографіи, и продолженіе надо, конечно, разыскивать въ скорбныхъ листахъ какой нибудь психіатрической больницы. Однако «Собраніе стиховъ» этого несчастнаго издано въ 1900 г. въ Москвѣ все тѣмъ-же «Скорпіономъ». Нѣкій Иванъ Коневскій приложилъ къ «Собранію» статейку, озаглавленную: «Къ изслѣдованію личности Александра Добролюбова». Здѣсь онъ говоритъ: «Чело-

[2]) Религія и культура. Стр. 130 и 134. Спб. 1899.

вѣкъ, писавшій издаваемые здѣсь стихи, задумалъ отрѣшиться, какъ отъ тѣлесныхъ впечатлѣній, такъ и отъ умственныхъ понятій (Охотно вѣримъ!)... Онъ положилъ себѣ пересоздать лѣзущіе извнѣ въ проводы его воспріятій предметы и возсоздавать свои предметы внутри себя...

Такимъ путемъ создано имъ было особое творчество — не художественное и не научное, а составленное изъ отраженій и тѣней, съ одной стороны — отъ внѣшнихъ впечатлѣній и настроеній воображенія, съ другой стороны — отъ понятій и обобщеній отвлеченной мысли. Единственной управляющей силой этого творчества является влеченіе (инстинктъ) мгновеннаго расположенія личности. Этотъ ходъ творчества самъ сочинитель превосходно обозначилъ словами: «сухое опьяненіе мое».

Чтобы осуществить свой замыселъ о сотвореніи своего міра внѣ человѣческихъ чувствъ и внѣ человѣческихъ мыслей, внѣ тѣла и внѣ ума, этому человѣку оставалось выбрать, какъ наиболѣе цѣлесообразный путь, цѣльное тайновидѣніе и тайнодѣйствіе, упражненія въ тѣхъ состояніяхъ иного сознанія, которыя были извѣстны чистымъ мистикамъ всѣхъ вѣковъ, прежде всѣхъ индійскимъ волхвамъ, далѣе новоплатоникамъ и гностикамъ, а въ обителяхъ восточнаго христіанства производились подъ названіемъ «умнаго дѣланія». Таковъ прямой путь къ перерожденію сознанія силой одной личной воли. Повидимому, оставивъ словесное творчество, Александръ Добролюбовъ и сталъ на этотъ путь. Но заранѣе должно предположить, что, помимо этого пути къ пересозданію міра для себя, волѣ его будетъ необходимо еще осуществить пересозданіе сознанія и у другихъ существъ. Изъ свойствъ его личности проистекаетъ, что отъ борьбы съ общеживотной, общечеловѣческой и личной природой и въ себѣ самомъ, онъ обратится къ борьбѣ съ общечеловѣческой и личной природой въ другихъ личностяхъ. Въ этомъ привѣтствуемъ мы будущую задачу этого великаго духа, который на зарѣ своей дѣятельности пытался осуществить ее въ творчествѣ словесной красоты».

Приведемъ образчики «сухого опьяненія» этого бѣднаго маніака!

Всталъ ли я ночью? утромъ ли всталъ?
Свѣчи задуть иль зажечь приказалъ?
Съ кѣмъ говорилъ я? одинъ ли молчалъ?
Что собиралъ? что потерялъ?
— Гдѣ улыбнулись? Кто зарыдалъ?

Гдѣ? на равнинѣ? иль въ горной странѣ?
Отрокъ ли я, иль звѣзда въ вышинѣ?
Вспомнилъ ли что иль забылъ въ полуснѣ?
Я ль надъ цвѣткомъ, иль могила на мнѣ?
Я ли весна, иль грущу о веснѣ?

Воды ль струятся? кипитъ ли вино?
Все ли различно? все ли одно?

Я ль въ полѣ темномъ? я ль поле темно?
Отрокъ ли я? или умеръ давно?
— Все пожелалъ? или все суждено?

Дѣйствительно, авторъ здѣсь очевидно потерялъ уже всякую различительную способность. Внѣшній міръ превратился для него въ хаосъ. Тогда онъ принимается «возсоздавать свои предметы внутри себя».

Мы не хотимъ превратной свободы.
Будемъ покорны законамъ всего.
Эти деревья, животныя, воды
Ходятъ путями Творца Самого.
Мы не хотимъ надъ землею
Вѣчно вѣчнымъ сознаньемъ какъ солнце сіять.
Жаждемъ повергнуться въ море заката, покоя.
Жаждемъ растеніемъ снова блестя расцвѣтать!
Солнце надъ нами восходитъ недаромъ,
Краски недаромъ намъ сладки и сны.
Мы надъ землею возстали закатнымъ пожаромъ,
Дымные жъ корни для земли рождены.

Это состояніе, однако, вызываетъ острый крикъ боли:

А и знаю я, братцы,
Что у васъ въ головахъ.
А и у меня, братцы,
Завелась болѣзнь.
А и съ той поры, братцы,
Гвоздь въ головѣ.

Добролюбовъ въ стихахъ вполнѣ искрененъ, ибо вполнѣ «готовъ». Это имѣетъ свою выгоду, ибо попавъ въ больницу, онъ можетъ еще вылѣчиться... Но прочіе сотрудники «Скорпіона» являются толпой психопатовъ, свободно разгуливающихъ по градамъ и вѣсямъ русскимъ. Mania grandiosa связана у нихъ съ кривляньемъ и притворствомъ. «Намъ хоть на головѣ ходить, лишь-бы обратить на себя вниманіе!» Вотъ циническій девизъ этихъ графомановъ, порожденныхъ атмосферой общественнаго разложенія.

Одинъ изъ нихъ пишетъ «сонетъ»: «Передъ клѣткой обезьяны», гдѣ говоритъ:

Тобой лишь, человѣкъ, презрѣнье рождено.
И робкихъ обезьянъ презрѣнное кривлянье.
Тобой смущенное, тобой вдохновлено.

Этотъ «сонетъ» автору слѣдуетъ посвятить тому сонму «великихъ-безликихъ» и «гордыхъ-безмордыхъ» (Великолѣпное опредѣленіе В. П. Буренина!), которые пишутъ для «Скорпіона». Передъ нами дѣйствительно

клѣтка «робкихъ обезьянъ», перенимающихъ у Парижа fin de siècle «презрѣнное кривлянье».

Вотъ образцы изъ разныхъ рифмачей:

Орнаменты колоннъ голубыхъ.
Тигровъ спящихъ дыханье,
Дуновенье несбыточныхъ сновъ золотыхъ
И рыданье...

Если розы красны,
То купавы блѣдны.
Небеса безстрастны,
Мы-же, люди, бѣдны[303]).

Вотъ стихи «Играющей въ игры любовныя»:

Есть поцѣлуи—какъ сны свободные,
Блаженно-яркіе—до изступленія.
Есть поцѣлуи—какъ снѣгъ холодные.
Есть поцѣлуи—какъ оскорбленіе.

Вѣримъ послѣднему охотно!

Если всмотришься въ дальнее небо,
Гдѣ блуждаютъ деревьевъ вершины,
Утихаютъ людскія кручины,
Замираетъ людская потреба.
Вѣдь жестоко здѣсь кости коснѣютъ.
И шагамъ преткновенье—коряги.
А въ бушующей облачной влагѣ
Проясненныя сферы синѣютъ.
И великія древа глаголятъ,
На привольѣ небесномъ витая...

Воистину «древа глаголятъ», только полно, великія-ли?

§ 5. Именно на произведеніяхъ русскихъ «декадентовъ», равно какъ и на общественно-политическихъ идеалахъ «марксистовъ», появившихся на смѣну «народникамъ», какъ ихъ антитеза, можно прослѣдить то несомнѣнное оскудѣніе мысли и творчества въ русской литературѣ, которымъ ознаменовано послѣднее десятилѣтіе вѣка, нами разсматриваемое теперь. Нельзя сказать, что-бы въ литературѣ вообще не было талантовъ. Но замѣчается полный упадокъ школы словеснаго искусства. Старые журналы въ этомъ отношеніи представляютъ явленіе глубокой внутренней омертвѣ-

303) Сравни: Въ огородѣ бузина, а въ Кіевѣ дядя и т. д.

лости. Руководители ихъ, справившіе юбилеи 35, 40 и 50-лѣтней дѣятельности, поражены старческой глухотой и слѣпотой ко всему новому; съ полнымъ равнодушіемъ и жестокостью доктринеровъ, они предоставили литературной молодежи кое-какъ перебиваться въ газетахъ, находя, что для ихъ редакціонныхъ салоновъ она слишкомъ шумлива и безпокойна. Почтенные руководители журналовъ сладко дремлютъ въ мягкихъ редакціонныхъ креслахъ, и молодой сотрудникъ за этимъ кресломъ можетъ явиться лишь въ роли обмахивающаго мухъ вѣточкой прислужника... Спрашивается, какой степенью бездарности и безличности долженъ обладать молодой сотрудникъ, согласный играть такую роль.

Молодые писатели пробовали основывать свои журналы («Новое слово», «Начало», «Жизнь»). Эти журналы «конца вѣка» не дожили до XX-го столѣтія!

На поляхъ россійской словесности, что ни годъ, то новый покойникъ.

Вездѣ пируетъ алчно смерть,
Косою острой быстро машетъ,
Богату ниву аду пашетъ,
И губитъ Фебовыхъ дѣтей,
Какъ вѣтръ осеннiй злакъ полей.

Роль «Фебовыхъ дѣтей» въ данномъ случаѣ играютъ наши «повременныя» изданія, прекращающія свои дни порою прямо отъ непонятныхъ причинъ. Такъ, прекратилась еженедѣльная газета «Недѣля», съ ежемѣсячными «книжками», органъ, существовавшій свыше 35-ти лѣтъ. За кѣмъ же очередь въ слѣдующемъ сезонѣ? спрашиваешь себя наканунѣ новаго года, кто не отзовется на «братской перекличкѣ» объявленій о подпискѣ?

— Да о чемъ вы хлопочете?—слышу я возраженія.—Неужели каждое первое число мѣсяца вамъ недостаточно тѣхъ «толстыхъ» ежемѣсячниковъ, которые у насъ еще остались и благоденствуютъ?

Въ самомъ дѣлѣ, образецъ аккуратности, умѣренности, порядка и корректности, каждое первое число на вашъ столъ ложится компактный кирпичикъ «Вѣстника Европы». Рядомъ шлепается рыхлый, пухлый томъ «Русской Мысли», съ высовывающимися изъ-подъ обертки, плохо сброшюрованными, сѣрыми листами. Далѣе располагается позеленѣлая книжка «Русскаго Богатства», въ которой г. Михайловскій спорить съ гг. Струве, Бердяевымъ и Тугановъ и разъясняетъ, какъ понимать второй абзацъ 945-го столбца 4-го тома его сочиненій, написанный имъ въ 1869 году, и какъ согласовать его съ изреченіемъ въ «Запискахъ профана» 1874 года на столбцѣ 1341-мъ 6-го тома «Собранія» 37-я строка сверху...

Чего же еще надо? Все обстоитъ благополучно. Книжки выходятъ въ срокъ, одна за другой. Вѣрность направленію, подобная вѣрности рыцаря

Гришвальюса въ балладѣ Кузьмы Пруткова, который «все въ той же позиціи на камнѣ сидитъ».

Я, конечно, не буду спорить, что въ названныхъ журналахъ всегда есть, что почитать. Вы съ интересомъ пробѣжите романъ заслуженнаго беллетриста Петра Дмитріевича Боборыкина, отдохнете на художественной вещицѣ Антона Чехова, переживете сладкія минуты дѣтства, когда вы знакомились впервые съ популярными романами «Гуакъ или непобѣдимая вѣрность», «Битва русскихъ съ кабардинцами или прекрасная магометанка, умирающая у ногъ возлюбленнаго», читая шляхетскій романъ Сенкевича въ недурномъ переводѣ Вукола Лаврова, наконецъ не безъ пользы для ума одолѣете «фундаментальную» статью какого нибудь ординарнаго профессора или земскаго статистика. И несмотря на это, множество признаковъ указываетъ, что наши ежемѣсячники, если и не умерли, то и не живы. Публицистика и критика въ нихъ—эта душа жива настоящаго журнала, — давно представляетъ изъ себя не то «шопотъ, робкое дыханье», не то «разговоры въ царствѣ мертвыхъ». Журналъ не является школой словеснаго искусства. Беллетристы, даже одаренные недюжиннымъ талантомъ, видимо спутаны по рукамъ и ногамъ мертвеннымъ «направленіемъ». Словесное художество не развивается, хотя и выдвигаетъ новыя молодыя силы. Оно подгоняется къ шаблону, оно только терпится.

Вотъ почему мнѣ всегда и упорно мнится, что бытіе нашихъ толстыхъ ежемѣсячниковъ—полу-призрачное бытіе, если не маринада или набальзамированнаго трупа, то кататоника. Хоть какая нибудь жизнь замѣчается въ газетахъ. По самому существу своему газета должна откликаться на «злобу дня», а слѣдовательно, не можетъ замереть въ томъ кататоническомъ покоѣ, какой доступенъ ежемѣсячной прессѣ. На за то здѣсь мы видимъ нестерпимое «мельканіе» мысли, чувства и творчества. Очень цѣнные и крупные таланты здѣсь размѣниваются на мелочь, замѣтки, наброски, крокѝ... Ничего цѣльнаго, законченнаго, продуманнаго. Какой-то листопадъ мысли. Участь его — тленіе уже на другой день послѣ выхода номера газеты...

Критика конца вѣка теряетъ подъ собой всякую почву, какъ научно-критическаго, сравнительнаго изученія явленій литературы народа, такъ и какой либо эстетической обобщающей доктрины. Критика сводится къ мимолетному рецензированію часто даже непрочитанной книги... Вышучиваніе всякихъ прыщей и паршей литературы болѣе или менѣе остроумное—вотъ сущность этой критики, и конечно, отечественные декаденты fin de siècle представляли богатѣйшую почву для такихъ вышучиваній, бередящихъ пріятно печенку разсѣяннаго газетнаго читателя. Надо надѣяться, что это явленіе временное, и что будущее принадлежитъ не журналу, и не газетѣ, гдѣ личность писателя стирается и подавляется,

по книгѣ. Только книга можетъ быть зеркаломъ души писателя. Но пока книжный рынокъ въ Россіи чрезвычайно ограниченъ.

Съ развитіемъ газетъ на счетъ журналовъ можно ожидать того явленія, о которомъ въ 70-хъ годахъ говорилъ Э. Зола:

«Трудно представить себѣ, какой переворотъ готовитъ въ литературѣ у насъ легкость добывать хлѣбъ журналистикой. Въ прежнее время молодой человѣкъ, желавшій писать книги, цѣлые годы проживалъ на чердакахъ, умирая съ голоду; онъ игралъ роль мученика и былъ тѣмъ геніальнѣе, чѣмъ злѣе терпѣлъ нищету. Такова была традиція романтизма. Въ настоящее время, если бы молодой человѣкъ поступилъ такимъ образомъ, никто бы не сталъ жалѣть о немъ. Ему бы спокойно сказали: «Почему вы не пишете въ газетѣ? Газета даетъ хлѣбъ всѣмъ». Самые извѣстные и самые уважаемые писатели — всѣ перешли черезъ журналистику. Нѣкоторые даже снова время-отъ-времени появляются въ ней съ большимъ блескомъ. Лично я того мнѣнія, что работа въ газетѣ не только не вредитъ таланту истинныхъ писателей, но еще служитъ наилучшей школой языка, какую только можно себѣ представить. Ничто такъ не вырабатываетъ слога... Наконецъ, журналистика соприкасается со всѣмъ, она открываетъ писателю обширный кругозоръ. Я скажу даже, что въ настоящее время писатель, не бывши журналистомъ, неспособенъ понять и изображать современную жизнь» [304]).

§ 6. Начало тому движенію мысли, которое получило наименованіе «марксизма», быстро обняло всю русскую молодежь и столь-же быстро выгорѣло, положили книги Бельтова и Струве.

Кругъ философскихъ идей, въ которомъ вращается русскій нео-марксизмъ, исчерпывается слѣдующими вопросами: a) антиномія свободы воли и механической законопричинности и роль личности въ историческомъ процессѣ; b) идея монизма и теорія экономическаго матеріализма; c) классовая мораль и обосновка идеаловъ на классовой борьбѣ; d) противоположеніе «утопическому субъективизму» (народничество) — реалистическаго объективизма (марксизмъ). Прочныя убѣжденія вырабатываются лишь преемствомъ мысли. «Убѣжденіе» — это полная сѣть представленій, въ которой нѣтъ ни пропущенныхъ петель, ни разрывовъ. Сѣть эта создается жизнью, постояннымъ мышленіемъ въ одномъ направленіи, вѣчно заполняющимъ собственные просвѣты. Это мышленіе всегда преемственное, создающее себѣ извѣстныя традиціи, идущее въ установленномъ точномъ направленіи, безъ скачковъ и перерывовъ или внезапныхъ перемѣнъ» (Шелгуновъ). Маркси-

---

[304]) Эмиль Зола. Парижскія письма. XXXV. Вѣстникъ Европы, 1878, Т. 2-й. Стр. 865.

сты различаютъ два «идейныхъ наслѣдства» русской преемственной мысли: «Одно наслѣдство — просвѣтителей вообще, людей, безусловно враждебныхъ всему дореформенному, стоящихъ за европейскіе идеалы и за интересы широкой массы населенія» — истинное наслѣдство, другое — «романтическо-мелкобуржуазная прибавка» — народничество (Владиміръ Ильинъ). Подъ «народниками» марксисты понимаютъ всѣхъ русскихъ писателей, отвѣчающихъ двумъ основнымъ признакамъ: a) признающихъ самобытность русскаго экономическаго строя вообще и крестьянскаго въ частности; b) имѣющихъ особый взглядъ на творческую роль личности въ исторіи (Владиміръ Ильинъ и Петръ Струве). Народническая «прибавка» — на повѣрку вся русская литература, начиная Бѣлинскимъ и Чернышевскимъ, продолжая Аксаковыми, Хомяковымъ, кончая Шелгуновымъ, Н. К. Михайловскимъ, проф. Карѣевымъ, Вл. Соловьевымъ. Изъ «ряда» невѣдомыхъ представителей «перваго наслѣдства» г. Вл. Ильинъ называетъ только М. М. Стасюлевича. Но если марксисты милостиво принимаютъ М. М. Стасюлевича въ душеприказчики, то самъ онъ открещивался и открещивается и отъ Маркса, и отъ нѣмецкихъ марксистовъ, и отъ русскихъ «струвистовъ». Марксисты отказываются только отъ «прибавки», но за вычетомъ ея изъ русской литературы ничего не останется, кромѣ ихъ самихъ. Утвержденіе Н. К. Михайловскаго (№ 10 «Русск. Бог.» за 1897 г.), что марксисты порвали преемство мысли и «отказались отъ наслѣдства» — не «вздорная и клеветническая выходка» (г. Вл. Ильинъ), а истинная правда. По изложенію г. Петра Струве (Критическія замѣтки, 1894 г.), ученіе народниковъ о личности (Миртовъ и Михайловскій) сводится къ положенію: исторія дѣлается критически мыслящими личностями. Этому Петръ Струве противоположилъ въ 1894 г. «діаметрально противоположное» ученіе «экономическаго матеріализма», которое «просто игнорируетъ личность, какъ соціологически ничтожную величину» (Крит. замѣтки, стр. 30 — 68). Въ 1897 г., Петръ Струве отказался отъ «діаметрально противоположной» точки зрѣнія и согласился съ Миртовымъ и Михайловскимъ, провозгласивъ, что «исторія дѣлается людьми, стремящимися къ осуществленію своихъ цѣлей, во имя своихъ идеаловъ». Петръ Струве самъ призналъ свою измѣну собственнымъ убѣжденіямъ, нѣжно назвавъ яркое противорѣчіе — «уклоненіемъ» (Вопросы философіи и психологіи, январь — февраль 1897 г., стр. 121. Примѣчаніе): Г. Булгаковъ призналъ личность «я» — первопричиной, самобытной причиной (Вопр. фил. и псих., ноябрь — декабрь 1896 г., стр. 610). Вслѣдъ за Петромъ Струве и г. Булгаковымъ марксисты возвратились на почву народнической, нравственно-философской мысли, провозгласивъ: «Исторія дѣлается людьми», «великіе люди — герои начинатели», «подвигъ или измѣна дѣлу отдѣльной мыслящей личности можетъ ускорить или замедлить событія исторіи» (Кирсановъ). Въ своей пятилѣтней эволюціи съ 1894 г.

по 1898 г., марксисты совершили крутъ — вышли отъ г. Михайловскаго провозгласивъ его «готтентотомъ» (Бельтовъ, стр. 224), и вернулись къ г. Михайловскому, подъ его крыло, согласившись съ его взглядомъ на героическую личность («Герой ломаетъ ледъ»), продолжая, однако, величать этого нашего публициста и соціолога «обломкомъ потерпѣвшаго полное банкротство движенія, представителемъ окончательно разложившагося міросозерцанія, носителемъ безвозвратно погибшихъ идеаловъ» (А. Санинъ. Научн. Обозр. 1898, № 2, стр. 256).

Въ результатѣ марксисты подходятъ подъ главнѣйшій признакъ народничества, ими выставленный. Вращаясь въ сферѣ только классовыхъ моралей, мы не въ состояніи будемъ найти никакого критерія, на основаніи котораго мы могли бы отдать предпочтеніе интересамъ одного класса, какъ производной нравственныхъ истинъ, предъ интересами другихъ. Идея классовыхъ интересовъ не можетъ служить критеріемъ нравственности, съ нимъ весьма часто не совпадая. Классовые интересы рабочихъ не всегда сходятся съ нравственнымъ критеріемъ и, какъ чисто матеріальные и эгоистическіе интересы, могутъ разрѣшаться дѣяніями безнравственными («Надай!» въ «Кому на Руси жить хорошо?» Некрасова). Г. Булгаковъ признаетъ, что съ точки зрѣнія классовой морали невозможно доказать объективную незаконность людоѣдства вездѣ и во всякое время (статья въ «Вопр. философ. и псих.», стр. 594. Примѣч.). Идея абсолютнаго достоинства человѣческой личности (Н. К. Михайловскій, Вл. С. Соловьевъ) — единый критерій нравственности. Родовая, сословная, классовая, національная мораль не можетъ служить всеобщимъ критеріемъ нравственности. Чѣмъ я субъективнѣе, тѣмъ я объективнѣе. Карлъ Марксъ въ оцѣнкѣ капитализма употреблялъ субъективное мѣрило нравственности и иного употреблять не могъ. Карлъ Марксъ стоялъ за угнетенныхъ во имя абсолютнаго достоинства человѣческой личности. Карлъ Марксъ стоялъ не за классовые интересы рабочихъ, а за человѣка, угнетеннаго и униженнаго, за живую личность и ея достоинство, даже въ животномъ. «Декартъ смотритъ глазами мануфактурнаго періода, когда опредѣляетъ животныхъ, какъ простыя машины» (Капиталъ. Т. I. Изд. 3-е. Стр. 341. Примѣч. 116). Экономическій матеріализмъ Карла Маркса — обличеніе протестантскаго лицемѣрія и критика вѣры и ея идеаловъ «изъ дѣлъ». Въ этомъ Карлъ Марксъ сходится съ гр. Львомъ Толстымъ. Въ идеѣ абсолютнаго достоинства человѣческой личности русская литература давно возвысилась до «монизма», до котораго эволюція марксистской мысли еще не доразвилась. Если личность можетъ ускорить или замедлить процессъ исторіи, то она тѣмъ самымъ можетъ «свернуть ее съ пути», «двинуть по другой линіи» (при взглядѣ на исторію, какъ на процессъ борющихся силъ), ибо процессъ замедленный или ускоренный есть тѣмъ самымъ процессъ, измѣненный въ своемъ направленіи.

Исторія движется «преступленіями» и «подвигами» отдѣльныхъ личностей (Бисмаркъ, Моисей). Противорѣчія марксизма могутъ быть хоть какъ нибудь прикрыты лишь идеей «общей пользы». Но идея «классовыхъ и личныхъ эгоизмовъ» согласованныхъ въ «общей пользѣ»—это идея XVIII вѣка и Іереміи Бентама, котораго Карлъ Марксъ называетъ «архифилистеромъ, педантически пошлымъ, болтливымъ оракуломъ ходячихъ буржуазныхъ взглядовъ XIX стол.» (Капиталъ: т. I. Изд. 3-е. 534). «Пролетарская точка зрѣнія», какъ «мораль будущаго» немыслима, безъ ея обосновки на идеѣ абсолютнаго достоинства человѣческой личности. Признавъ несостоятельность нравственно-философскаго ученія русскаго нео-марксизма, его послѣдователи возвратятъ себѣ то богатое «наслѣдство» преемственной мысли, отъ котораго они отказались.

По мнѣнію гг. Бельтова и Петра Струве, «нигдѣ не приходится натыкаться на такое непониманіе Маркса, какъ у русскихъ публицистовъ и ученыхъ». Г. Бельтовъ понимаетъ «Капиталъ» Маркса, какъ «историческую философію», сущность которой въ томъ, что «пониманіе закона производственнаго процесса даетъ возможность свергнуть его иго». Къ этому «пониманію» приводитъ насъ «логика развитія» самаго процесса. («Къ вопросу о развитіи монистическаго взгляда на исторію». (Стр. 229—232). По мнѣнію г. Петра Струве, «историческая философія» Карла Маркса не исчерпывается «выясненіемъ генезиса капиталистическаго строя», она «шире». «Она, по мысли ея творца, обнимаетъ всѣ возможныя измѣненія общественныхъ формъ, какъ въ прошломъ, такъ и въ будущемъ; это смѣлая попытка изъ одного начала объяснить весь историческій процессъ». Если русскіе публицисты «этого не замѣтили», то просто потому, что не усвоили духъ и «недостаточно знакомы съ литературной дѣятельностью Карла Маркса въ ея цѣломъ» (Критическая замѣтка стр. 45) На стр. 179 «Критич. зам.» г. Струве приводитъ, въ обличеніе «узкаго пониманія» г. Михайловскимъ теоріи Маркса, цитату изъ письма послѣдняго, въ которомъ знаменитый экономистъ упрекаетъ русскаго писателя именно въ слишкомъ «широкомъ» пониманіи его очерка западнаго капитализма, въ стремленіи преобразовать его «историко-философскую теорію общаго хода развитія — въ теорію, которой фатально должны подчиняться всѣ народы». Карлъ Марксъ упрекаетъ г. Михайловскаго и народниковъ въ «расширенномъ» пониманіи его ученія, въ превращеніи «очерка» въ «теорію», простого анализа процесса въ данной средѣ во всеобъемлющую историческую философію. Тѣмъ самымъ онъ обличаетъ и гг. Бельтова и Струве, именно и требующихъ такого «расширеннаго» пониманія. А г. Струве обвиняетъ г. Михайловскаго съ народниками въ «обуженномъ» пониманіи ученія Маркса, въ превращеніи «теоріи» въ простой очеркъ. Очевидно, г. Струве обличаетъ при этомъ и самого Карла Маркса въ непониманіи имъ собственной теоріи

и въ незнакомствѣ съ собственной литературной дѣятельностью въ ея цѣломъ. Марксъ именно и настаивалъ въ своемъ письмѣ на такомъ «обуженномъ» пониманіи его «очерка». Еще въ 1877 г. Михайловскій въ своей статьѣ: «Карлъ Марксъ передъ судомъ Ю. Жуковскаго», какъ бы предсказалъ появленіе «неомарксистовъ» и то противорѣчіе, въ которое они впадутъ, находя въ надѣленномъ землею крестьянствѣ начатки своего идеала— совпаденія труда и собственности, и въ то же время какъ послѣдователи фаталистической историко-философской теоріи, обязанные желать и радоваться разлученію труда и собственности земли и работника, земледѣлія и промысла. Н. К. Михайловскій впалъ въ недоразумѣніе, приписавъ Карлу Марксу мнѣніе, что описанный имъ процессъ капитализма есть процессъ, для всѣхъ націй неизбѣжный. Карлъ Марксъ исправляетъ эту ошибку въ извѣстномъ «письмѣ», заявляя, что «событія поразительно аналогичныя, но происходящія въ средѣ исторически различной, приводятъ къ результатамъ совершенно несходнымъ» («Юридич. Вѣстн.» 1888. Кн. 10. стр. 270—273). «Историческое развитіе противорѣчія, свойственнаго данной формѣ производства», не есть «единственный путь, которымъ эта форма можетъ быть разрушена». Самъ Карлъ Марксъ указываетъ, что въ XV вѣкѣ въ Италіи мелкій земельный собственникъ превратился въ пролетарія, ушелъ въ города на мануфактуры, но затѣмъ вновь вернулся на землю и создалъ почти садовую земледѣльческую культуру (Капиталъ. Т. I. Изд. 3-е. Стр. 633. Прим. 199, а).

Основная идея «Капитала» почерпнута Карломъ Марксомъ у Юстуса Либиха: «Ограниченіе фабричнаго труда было продиктовано той же самой необходимостью, которая заставила выливать гуано на англійскія поля. Та же самая слѣпая жажда наживы, которая въ одномъ случаѣ истощала поля, въ другомъ—стала подтачивать жизненныя силы націи» (Капиталъ. Т. I. стр. 190). Либихъ далъ критику истощающаго почву земледѣльческаго хозяйства Европы, а Марксъ—критику истощающаго націи фабрично-промышленнаго хозяйства. Фабрика—пережитокъ XVIII вѣка и воплощеніе отжившей идеи картезіанской механики. Перемѣна и утонченность вкуса можетъ повлечь за собою крушеніе и перестройку всей промышленности. Вліяніе восточныхъ кустарныхъ издѣлій, развитіе артистическаго вкуса убьетъ безличный фабричный товаръ и потребуетъ работы кустаря-артиста, вносящаго въ нее свою индивидуальность. Характеръ промышленнаго производства опредѣляется центральнымъ двигателемъ. Вѣроятная замѣна парового двигателя—электрическимъ, пользующимся даровой энергіей водопадовъ, приливовъ, вѣтра и т. д., измѣнитъ характеръ производства.

Русская фабрика работаетъ на крестьянскій рынокъ и зависитъ отъ благосостоянія крестьянина. Только артистъ-кустарь и національно-своеобразное артистическое производство могутъ завоевать намъ внѣшній ры-

нокъ. Петровская фабрика была фабрикой «казенной», возникшей на средства «казны», скверно работавшая «казенный» товаръ по «казенному» заказу и лишь послужившая школой для кустарей. Фабрики съ 20-хъ по 60-е годы истекающаго столѣтія—были фабрики «крестьянскія», работавшія «крестьянскій» дешевый товаръ на «крестьянскій» рынокъ, отъ покупной способности котораго и зависятъ. До 40 года фабрика становится все крупнѣе, а затѣмъ начинаетъ мельчать и раздробляться; кустарь побиваетъ фабриканта. Состояніе пореформенной крупной промышленности колебалось въ тактъ до зимы 1885—87 года. Съ этого момента кривая промышленности дѣлаетъ огромный скачекъ «вверхъ» и почти вертикально повышается безъ всякихъ колебаній (кривая г. Тугана-Барановскаго). Крестьянское благосостояніе за тотъ же періодъ колебалось вверхъ и внизъ, въ общемъ, несомнѣнно, поднимаясь, но съ 1886 г. кривая земледѣлія дѣлаетъ огромный скачекъ «внизъ» и уже идетъ подъ гору, не колеблясь (кривая г. Тернера). Фабрично-рабочій вопросъ въ Россіи есть вопросъ милліона семей, улучшенію быта которыхъ можно отдать всю жизнь, вопросъ самъ по себѣ чрезвычайно важный, но неотдѣлимый отъ крестьянскаго вопроса, ибо промышленность наша должна быть только подспорьемъ земледѣлію.

Съ 1886 года—расцвѣтъ декадентства въ Парижѣ, сейчасъ же перекинувшагося къ намъ. Русскій «неомарксизмъ» воспринялъ въ себя пріуготовлявшее ему почву въ обществѣ декаденство. Книжки «Жизни» содержали въ себѣ «имморально-сверхморальныя» разсужденія Нитцше и Метерлинка. Только на почвѣ расшатывающаго нравственные устои декаденства возможенъ «отказъ отъ наслѣдства» и проповѣдь «освобожденія народа отъ земли». Г. Туганъ утверждалъ, что Чернышевскій и Михайловскій «вполнѣ сходились во взглядахъ съ воззрѣніями крѣпостниковъ николаевской эпохи», ихъ экономическая программа имѣла «реакціонный характеръ», отстаивая единеніе земли и пахаря, земледѣлія и промысла; себя же г. Туганъ, очевидно, считаетъ солидарнымъ съ «биржевиками» шестидесятыхъ годовъ, съ «буржуазнымъ теченіемъ», стоявшимъ «на сторонѣ полной экономической европеизаціи Россіи» («Русская фабрика», страница 469 и дальше).

По ученію марксистовъ, «полная экономическая европеизація Россіи» является основой полной «идейной европеизаціи» ея. Но какія условія, по Марксу, требуются для развитія капитализма въ его западной формѣ? Обезземеленье народа, экспропріація, «разъединеніе» земли и работника промысла и земледѣлія; уничтоженіе вѣковыхъ формъ «единенія»—общины и общиннаго землевладѣнія. Можетъ ли это совершиться самопроизвольно, законопричинно, безъ вмѣшательства высшихъ классовъ? Активную роль въ процессѣ наши марксисты ограничиваютъ «устраненіемъ

внѣшнихъ препятствій къ естественному ходу вещей». Игра неопредѣленными терминами «естественный» и «искусственный», которую пускали въ ходъ еще англійскіе защитники и идеологи фабрикантовъ, высмѣяна самимъ Марксомъ («Капиталъ», т. I. изд. 3-е 447 стр.). Карлъ Марксъ всю исторію признавалъ искусственной. «Исторія человѣка отличается отъ естественной исторіи тѣмъ, что она сдѣлана нами, между тѣмъ, какъ другая сдѣлана не нами». (Id. 323, прим. 94). Разсматривая капиталъ, какъ какую-то метафизическую сущность, «самодѣйствующій автоматъ», «внѣшній фатумъ», «самопричинный процессъ саморазвертыванія противорѣчій экономической діалектики», марксисты становятся представителями «капиталистическаго фетишизма», обличеннаго Марксомъ. Въ исторіи Англіи не наблюдается «эволюціи» обезземеленья, но «расхищеніе», «захватъ», «насильственное отчужденіе съ безпощаднымъ терроризмомъ» (Id. 647). Развитіе западнаго капитализма требовало, по Марксу, извѣстной общей государственной экономической политики. Если наши марксисты требуютъ неуклоннаго капитализированія страны, «полной экономической европеизаціи Россіи», то должны же они понимать, что имъ предстоитъ активно участвовать въ совершенно сознательномъ процессѣ, заниматься его идеалогическимъ оправданіемъ. Желаютъ ли марксисты обезземеленья крестьянъ? Вотъ ихъ взгляды: «Нашъ крестьянинъ — осѣдлый пролетарій», «сохраненіе прикрѣпленія крестьянъ къ землѣ — задерживаетъ экономическое развитіе страны» (Ильинъ). Рускій «ученикъ не можетъ не служить необходимости капиталистическаго процесса, онъ «страстно хочетъ и не можетъ не хотѣть служить» (Кирсановъ). «Отдѣленіе обрабатывающей промышленности отъ земледѣлія задерживается тѣмъ «правомъ на землю», которое осуществилось въ видѣ общиннаго землевладѣнія» (Масловъ). «Усиливающійся разрывъ связи съ деревней — могучій рычагъ развитія культуры», «каждый новый пролетарій — увеличиваетъ число лицъ, способныхъ къ идейной европеизаціи». (Xeno). «Повышеніе цѣнъ и земельной ренты «сметаетъ отсталыя формы и отношенія въ земледѣліи», является «факторомъ прогресса», ускоряетъ развитіе фабричной промышленности наиболѣе прогрессивной (Novus). Нарушеніе «равновѣсія варварскихъ порядковъ», т. е. единенія земли и пахаря, промысла и земледѣлія, крушеніе «устоевъ», т. е. общины, переводитъ «на высшія ступени культурнаго развитія», разгоняетъ «вѣковой сонъ варваровъ», вноситъ «широкія полосы свѣта въ темное царство» (Н. К.). «Россія должна превратить въ пролетаріевъ членовъ земельной общины» (Антоніо Лабріола). «Россія должна развить у себя промышленный капитализмъ»; «историческая миссія капитализма — въ созданіи матеріальныхъ и интеллектуальныхъ условій прогресса»; «я не за земельно устойчиваго крестьянина»; «признаемъ свою

некультурность и пойдемъ на выучку къ капитализму» (Петръ Струве). «Пока въ Россіи существуетъ община, намъ нечего дѣлать. Первой и единственной нашей цѣлью должно быть «раскрѣпощеніе (т. е. разложеніе) русской общины». Должно говорить «объ устраненіи внѣшнихъ препятствій» къ «скорѣйшему уничтоженію» общины и къ «естественному ходу» вещей (Марксисты по показаніямъ Л. Е. Оболенскаго). «Пойдемъ навстрѣчу обезземеленья народа»; «я бы освободилъ народъ безъ земли» (Вертъ). Прибавимъ къ этому гимны г. Гвоздева кулакамъ-ростовщикамъ, работающимъ для «первоначальнаго накопленія», т. е. для осуществленія «условій прогресса» и послѣднюю главу изъ книги г. Туганъ-Барановскаго «Русская фабрика», въ которой онъ всѣ симпатіи свои устремляетъ на «буржуазное теченіе» 60-хъ годовъ, на биржевиковъ и «либеральныхъ экономистовъ», стоявшихъ за «полную идейную европеизацію Россіи», за освобожденіе народа безъ земли, за уничтоженіе «отжившихъ формъ» единенія, а взгляды «Современника» и «Отеч. Зап.» называетъ регрессивными. Г. Туганъ-Барановскій открываетъ предъ русскимъ крестьяниномъ, которому, по его словамъ «нечего дѣлать» въ деревнѣ, два пути: во-первыхъ въ «промышленную армію» рабочихъ-пролетаріевъ, въ арміи «дѣйствующую» и «запасную» — «lumpen», босяковъ, безработныхъ, sans profession classée», паріевъ XIX вѣка; во-вторыхъ, въ «армію лакеевъ», «домашнихъ рабовъ», въ «служащій классъ», по переписи 1861 г. въ Англіи и Уэльсѣ превосходившую армію рабочихъ (Марксъ. «Капиталъ». Т. I. Изд. 3-е, стр. 391 и прим.). Взглядъ Карла Маркса на умственное и соціальное положеніе рабочаго противорѣчитъ всему, что говорятъ «неомарксисты».

«Изъ уважаемаго и до нѣкоторой степени независимаго» существа, по Марксу, онъ превращается въ «раболѣпную сволочь, живущую унизительнымъ хлѣбомъ благотворительности». «Значеніе, пониманіе и воля» проявляются самостоятельнымъ земледѣльцемъ и ремесленникомъ, а у фабричнаго атрофируются. Въ Россіи совершено въ 1861 г. освобожденіе крестьянъ съ землею, которой они владѣли по праву давности, по обычаю и по молчаливому признанію помѣщиковъ. Длящійся съ 1861 года въ русской деревнѣ процессъ есть съ одной стороны отстаиваніе крестьяниномъ своихъ правъ на землю, а съ другой — попытки капитализаціи страны на западный ладъ и овладѣнія прибавочной стоимостью, источникомъ которой является страдный трудъ крестьянина. Мужикъ, который не обязывается лѣтними работами, потребляетъ самъ свой страдный трудъ — богатѣетъ; мужикъ, который обязывается лѣтними работами, запродаетъ страдный трудъ — бѣднѣетъ. Мужику необходимъ зимній заработокъ, потому что онъ даетъ ему возможность работать лѣтомъ на себя, не обязываясь лѣтними работами. Хлѣбный экспортъ страны зависитъ отъ двухъ мѣсяцевъ «страды». Семейство изъ трехъ паръ, по вычисленію А. Н. Эн-

гельгардта, можетъ отпускать зимою на сторонніе заработки, или занимать дома промыслами $^{2}/_{3}$ или, самое малое, $^{1}/_{2}$ людей. По г. Тугану, наша крупная промышленность даетъ заработокъ всего 4.7% взрослаго мужского населенія Россіи, то есть удовлетворяетъ самую ничтожную долю гигантской народной потребности въ промыслахъ. По Марксу, чѣмъ крупнѣе промышленныя предпріятія, тѣмъ меньше они занимаютъ рукъ, слѣдовательно необходимы кустарные промыслы. Идеалъ народа — земля, страдная работа на «своей» землѣ и зимній заработокъ. По понятіямъ мужика, земля можетъ быть только общинной собственностью (А. Н. Энгельгардтъ. Изъ деревни. Изд. 3-е. 392 стр.). Преобразованіе земельнаго строя крестьянъ — реформа, столь же грандіозная, какъ 19-е февраля. Это дѣло, касающееся судебъ всей Россіи. Все отъ земли, все на землѣ, все черезъ землю. Нѣтъ иного обезпеченія народной свободы, кромѣ земли. У славянъ земля и политическая независимость нерасторжима, и часъ обезземеленья польскаго хлопа былъ часомъ гибели Рѣчи Посполитой. Почву марксизму подготовило ученіе Льва Толстого о «непротивленіи злу». Въ наши дни — дни квіетизма, только и мыслимо бездушное механическое міропониманіе, а въ сферѣ экономической — марксизмъ. Философское ученіе марксизма есть нравственный квіетизмъ и проповѣдь бездѣйствія, безволія.

Жизнь шире доктрины. Всякая доктрина, всякое, самое широкое обобщеніе, при сопоставленіи съ дѣйствительностью, оказывается недостаточной. Причиной этого —несовершенство самыхъ методовъ обобщающей мысли. Между тѣмъ умъ человѣческій легко свыкается съ извѣстной доктриной, принимаетъ ее за что-то окончательное. Тогда работа мысли останавливается, замираетъ въ рутинѣ. Важно время отъ времени подвергать критическому анализу господствующія въ обществѣ доктрины. Провѣрять и самую степень ихъ методичности, сопоставлять ихъ между собою, а главное,—сопоставлять ихъ съ жизнью.

Что надо подразумѣвать подъ «народничествомъ»? Точнаго опредѣленія у самихъ народниковъ мы не находимъ. Но въ данномъ случаѣ намъ приходятъ на помощь марксисты. Они подвели всѣхъ народническаго духа писателей подъ такіе признаки: 1) признаніе самобытности русскаго народа; 2) особый взглядъ на творческую роль личности въ историческомъ процессѣ; 3) отрицательное отношеніе къ капитализму. Эти признаки дѣйствительно характеризуютъ народничество въ широкомъ смыслѣ и позволяютъ раздѣлить всѣхъ народническаго духа писателей на слѣдующія группы: I) собственно народники: Чернышевскій, Юзовъ, В. В., Н. Н. Златовратскій; II) славянофилы: Константинъ и Иванъ Аксаковы, Хомяковъ; III) почвенники: Апол. Григорьевъ, Данилевскій, Страховъ, Достоевскій; IV) нравственно-риторическое народничество: Гр. Л. Н. Толстой, М. О. Меньшиковъ; V) этико-соціологическая школа: П. Лав.

Лавровъ, Елисѣевъ, Шелгуновъ, Н. К. Михайловскій; VI) независимая, не входящая во всѣ остальныя группы: Герценъ, А. Н. Энгельгардтъ («Письма изъ деревни»). Сопоставленіе нѣкоторыхъ именъ въ этой группировкѣ покажется быть можетъ страннымъ, хотя бы именъ Н. Н. Страхова—консерватора съ именемъ Н. К. Михайловскаго, слывущаго прогрессистомъ. Но вспомнимъ, что самыя существенныя статьи г. Михайловскаго тѣ, гдѣ этотъ публицистъ борется съ корифеями западной, новой мысли—Дарвиномъ, Ог. Контомъ и Спенсеромъ. Эти статьи дали бы прекрасный матеріалъ для особой главы въ книгѣ Страхова: «Борьба съ Западомъ». Кромѣ перечисленныхъ выше признаковъ, марксисты указываютъ еще на общее народникамъ непониманіе взаимоотношенія экономической структуры общества и структуры правовой, политической, духовно-нравственной его. Признакъ этотъ однако подойдетъ не ко всѣмъ группамъ писателей народническаго духа, но поставленная марксистами идея можетъ дѣйствительно послужить критеріемъ цѣльности и достаточности народничества, какъ доктрины.

Идея взаимоотношенія экономики, права и высшихъ идеологій—душа такъ-называемой теоріи экономическаго матеріализма. Марксъ признаетъ, что правовыя отношенія наравнѣ съ формами государства коренятся въ матеріальныхъ условіяхъ существованія общества. Экономическая структура страны—реальное основаніе, базисъ, на которомъ возвышается правовая и политическая надстройка. Развитіе матеріальныхъ, экономическихъ силъ страны идетъ вмѣстѣ и во взаимопроникновеніи съ развитіемъ политическихъ и нравственныхъ силъ, экономическое творчество—съ творчествомъ религіознымъ и государственнымъ. Мысль о глубокой связи экономики и права, кромѣ Маркса, высказывалась и многими другими учеными, начиная Рошеромъ. Фольграфъ и Данквартъ доказывали, что экономическая наука вводитъ юриста въ духъ права, въ жизненный смыслъ и основы его. Позднѣе ту же мысль развивалъ Лоренцъ Штейнъ.

Въ чемъ состояли идеалы Златовратскаго, А. Н. Энгельгардта и Аксаковыхъ? Первый изъ этихъ писателей исключительно видѣлъ общинно-земскій, экономическій союзъ, тысячелѣтніе экономическіе устои народа, а за границей этого союза, выше этихъ устоевъ, для него начиналось нѣчто чуждое и прямо враждебное этимъ устоямъ. Народническій идеалъ «Писемъ изъ деревни» гораздо шире. Онъ принимаетъ во вниманіе, кромѣ тысячелѣтней земской общины, еще и тысячелѣтнее государство, видитъ въ немъ заложенныя великія начала. Функція государства—всѣхъ равнять, при чемъ это равненіе не можетъ быть по отношенію къ кому-либо неправдой или обидой. Это равненіе—разумное поддержаніе равновѣсія въ распредѣленіи богатствъ въ народѣ. Государство—главный земельный хозяинъ, чуждый эгоизма, проникнутый началомъ общественной пользы и

справедливости. Но и это болѣе широкое міросозерцаніе не принимаетъ во вниманіе третьей великой силы, развивающейся въ народной жизни. Доктрина славянофиловъ включаетъ въ себя и тысячелѣтнюю церковную общину. Здѣсь мы видимъ термины «земля» и «государство», по своему значенію близкія къ тѣмъ понятіямъ, которымъ Марксъ даетъ образныя наименованія «базиса» и «надстройки». Государство покрываетъ какъ щитъ, землю. Его цѣль — охрана земли, безъ вмѣшательства и посягательства на самоопредѣленіе, самоуправленіе, свободу жизни духа великаго земскаго союза и великой церковной общины. Землѣ — свобода мысли и совѣсти, духа и внутренней жизни; государству — свобода дѣйствія. Конечно осуществленіе этого «невмѣшательства и непосягательства» на практикѣ довольно мудрено. И не даромъ Градовскій назвалъ идею славянофиловъ — юридическимъ парадоксомъ, который легче поставить, чѣмъ разрѣшить. Несмотря однако на то, что въ нѣкоторыхъ группахъ народническихъ писателей создавалось болѣе широкое міросозерцаніе, все же въ общемъ народничество не прониклось яснымъ сознаніемъ необходимости гармоніи между экономическимъ идеаломъ съ одной стороны, политическимъ и нравственно-идеологическимъ идеаломъ съ другой. Яснаго сознанія, что учрежденія и гарантіи политической свободы въ духѣ Западной Европы, въ духѣ либерально-буржуазномъ, а также утилитарно - матеріалистическая мораль строго соотвѣтствуютъ капиталистической экономикѣ общества, у народниковъ не было. Не было и яснаго сознанія, что ратуя за общинно-земскіе, тысячелѣтніе экономическіе устои Руси, народники тѣмъ самымъ фактически являются поборниками и тѣхъ государственныхъ формъ, и того чисто идеалистическаго духа общественной морали, которые одни только и могутъ развиваться на этихъ устояхъ. Въ силу этого до самыхъ послѣднихъ дней мы видимъ, что наши демократы-либералы, принимая и защищая экономическіе идеалы народничества, въ области этики и политики, выставляютъ себя сторонниками буржуазно-либеральныхъ учрежденій и утилитарнаго матеріализма, съ земскимъ строемъ несовмѣстимыхъ. Такъ же и наши консерваторы-аграріи, въ области государственныхъ и духовныхъ идеаловъ заявляя себя спиритуалистами и приверженцами нашихъ древнихъ политическихъ формъ, въ экономической области желаютъ насажденія капитализма, мечтаютъ о созданіи для своихъ экономій безземельнаго кнехта, относятся съ ненавистью къ реформѣ 19-го февраля. Эта двойственность, противорѣчивость внутренняя общественныхъ идеаловъ, какъ слывущаго либеральнымъ, такъ и оглашеннаго охранительнымъ направленія, была основной причиной и слабости, путанности, незаконченности реформъ шестидесятыхъ годовъ, и вялости попытокъ позднѣйшаго времени. Она же внесла массу лжи и лицемѣрія въ оба лагеря. И наши марксисты, напомнивъ идею Маркса, впрочемъ не ему одному принадлежащую, оказали тѣмъ

великую услугу народничеству. Они дали ему критерій, который побудитъ къ всестороннему пересмотру доктрины, къ выработкѣ гармоническаго цѣльнаго трехсоставнаго міросозерцанія, къ доразвитію идеаловъ народническихъ въ народные.

Полное разложеніе теоретическаго и практическаго марксизма на родинѣ его, въ Германіи, совершившійся фактъ. Наивный матеріализмъ 50-хъ и 60-хъ годовъ давно оставленъ наукой, которая во всѣхъ областяхъ проникласъ духомъ критицизма и слишкомъ обогатилась новыми фактами, чтобы не видѣть недостаточности старыхъ формулъ и гипотезъ. Но судьбы марксовой историко-философской теоріи съ абсолютнымъ объективизмомъ связаны съ судьбами матеріализма. Съ разложеніемъ послѣдняго падаетъ и первая. Марксъ заимствовалъ у Гегеля діалектическій методъ. Но логика противорѣчій не выдерживаетъ критики и въ области метафизическихъ отвлеченій она не привела къ желанному результату. Чего же можно было достигнуть съ этимъ методомъ въ области положительной политической экономіи? Когда мы размышляемъ о явленіяхъ нашего ограниченнаго міра, мы пользуемся логикой Аристотеля, по которой о предметѣ можно говорить или «да», или «нѣтъ», но нельзя одновременно и отрицать, и утверждать что-либо относительно одного и того же предмета. Гегель, желая, вопреки предостереженіямъ Канта, проникнуть въ область абсолютную, мыслить не подлежащее нашему слабому разуму, сбрасываетъ узы аристотелевой логики и прибѣгаетъ къ діалектикѣ, съ помощью которой можно прилагать къ одному и тому же предмету взаимно исключающіе признаки. Такимъ насиліемъ надъ разумомъ Гегель хотѣлъ уловить сверхразумное абсолютное, уловить въ сѣть противорѣчій. Извѣстно, чѣмъ это кончилось. Абсолютное осталось недостижимымъ. Колосальная система Гегеля обанкротилась. Самая философія надолго потеряла всякій кредитъ и впала въ общее презрѣніе. Зачѣмъ же Марксъ взялъ такое опасное орудіе, какъ діалектическій методъ? Онъ не стремился, подобно Гегелю, объять необъятное, вознестись въ горній міръ. Цѣль его была практическая, земная. Но ему надо было придать своему политическому памфлету — мы имѣемъ въ виду «Капиталъ» — видъ абсолютно-точной научной теоріи. Ему надо было съ чисто партійными цѣлями доказать, что накопляетъ только рабочій и онъ одинъ трудится, что высшій классъ капиталистовъ-предпринимателей не работаетъ, совершенно празденъ и только похищаетъ у рабочаго весь излишекъ его труда, какъ пасѣчникъ запасы меда пчелинаго улья. Человѣчество у Маркса дѣлится на тружениковъ, которыхъ милліоны, и которые все отдаютъ, кромѣ нужнаго для поддержанія полуголоднаго существованія, и на бездѣятельныхъ богачей, которыхъ тысячи, и которые тѣмъ не менѣе все себѣ забираютъ. Можетъ ли стоять такое общество? Конечно не можетъ. Отсюда теорія конечной катастрофы капиталистическаго міра. Все

это построено помощью «тріадъ» и постоянной игры противорѣчіями. Это было хорошо для памфлета, могло сослужить временную службу, но слишкомъ надо быть ослѣпленнымъ, чтобы принять все это за научную, серьезную теорію. Въ настоящее время подавляющее большинство западныхъ ученыхъ отвергаетъ теорію прибавочной стоимости Маркса, признавая, что истинный порядокъ вещей совершенно иной, чѣмъ указанный авторомъ «Капитала». Марксъ упустилъ значеніе умственнаго, распорядительнаго, творческаго и иныхъ категорій труда и не видѣлъ ничего кромѣ труда механическаго. Нынѣ пала и вѣра въ крахъ капиталистическаго строя. Соціалъ-демократы видятъ, какіе прочные корни имѣетъ еще современное германское общество съ его способами производства. Сектантская нетерпимость и экстазъ погасли. Мирная парламентская дѣятельность, законодательныя реформы — вотъ о чемъ говорятъ соціалъ-демократы. Ихъ соціальныя идеи стали общимъ достояніемъ. Ихъ раздѣляетъ и германское имперское правительство, и прусскіе аграріи, и баварскіе католическіе патеры. Можно сказать, что нынѣ Марксъ и Лассаль всецѣло принадлежатъ исторіи. Обузданіе жадности къ наживѣ въ средѣ фабрикантовъ, улучшеніе быта рабочихъ, ихъ организація въ союзы парализуетъ ненормальныя темныя стороны современнаго строя, просвѣтляетъ его и съ тѣмъ вмѣстѣ укрѣпляетъ. Дѣятельность соціальной партіи предупреждаетъ всякій крахъ, и чѣмъ она успѣшнѣе, чѣмъ болѣе дѣлается для блага рабочихъ, тѣмъ прочнѣе общественный строй. Поэтому государство подало руку этой мощной партіи. И вмѣстѣ съ тѣмъ соціалъ-демократы начинаютъ отказываться отъ космополитизма и безрелигіозности Маркса и Лассаля. Выдвинулись этическія задачи и ученія о національности, тѣмъ болѣе, что рабочему на Западѣ приходится бороться съ наплывомъ чужеземныхъ рабочихъ. Однимъ словомъ, марксизмъ на Западѣ больше не существуетъ.

А что же у насъ? Не имѣя подъ собою исторической почвы, явленіе заимствованное, отраженное лишь интеллигентнымъ слоемъ, далекимъ отъ русской дѣйствительности, у насъ марксизмъ не болѣе, какъ временная игра ума. Русскій марксизмъ можно характеризовать четырьмя признаками: 1) отрицаніе экономической, а вмѣстѣ, политической и идеологической самобытности Россіи; 2) отрицаніе творческой роли личности въ исторіи; 3) вѣра въ благодѣтельное и прогрессивное значеніе капиталистически-биржевого строя для нашей страны и 4) вѣра въ капиталъ, какъ въ политическую творческую силу, почти какъ въ метафизическое, самодѣятельное, законопричинное начало. Въ наше время торжества націонализма, пробужденія національнаго самосознанія и пониманія, что драгоцѣннѣйшее благо какъ для личности, такъ и для народа — быть самимъ собою, «марксизмъ» въ первомъ пунктѣ своей программы есть чистѣйшее ретроградство. Что касается вопроса о роли личности въ исторіи, то по этому пункту наши марксисты

давно сдались. Такъ, г. Струве, утверждавшій сначала, что личность «соціологически ничтожная величина», кончилъ признаніемъ ея великой роли въ исторіи. Воспѣвая фабрику, наши «марксисты» впадаютъ въ буржуазность. Моральный идеалъ ихъ — матеріализмъ, утилитаризмъ, «классовая мораль» и «пролетарская идеологія» — научное ретроградство, и только невѣдѣніе послѣднихъ успѣховъ знанія можетъ объяснить увлеченіе этими заплѣсневѣлостями. Практическій идеалъ «марксистовъ», ихъ вѣра въ капиталъ — совершенное фантазерство. У насъ капиталъ никакой политической роли не играетъ. Сыграть таковую могъ бы иностранный капиталъ, но это было бы равносильно колонизаціи Россіи нѣмцами и мирнаго ея завоеванія, отъ чего упаси насъ Боже. Въ концѣ-концовъ должно засвидѣтельствовать и у насъ полное разложеніе марксизма, который «не расцвѣлъ и отцвѣлъ въ утрѣ пасмурныхъ дней». Однако работа мысли, имъ возбужденная, не прошла даромъ. Марксисты напомнили одну великую, плодотворную идею, впрочемъ высказанную многими учеными и помимо Маркса. Это идея — о глубокой связи экономическихъ устоевъ съ политическими и религіозными формами, о необходимости полнаго согласованія идеала экономическаго, политическаго и нравственнаго, — этики, политики и экономики.

БИБЛІОГРАФІЯ: О народничествѣ: О. Булгаковъ. Оригинальное народничанье. Истор. Вѣстн. 1881 г. № 6. — В. В. (Воронцовъ). Наши направленія. Спб. 1892 г.—Его-же. Судьбы капитализма въ Россіи. Спб. 1882 г.—Его-же. Попытки обоснованія народничества. Русс. Бог. 1892 г. № 2, 3, 6, 10, 11. — А. Волгинъ. Основаніе народничества въ трудахъ г-на Воронцова. (В. В.). Критич. этюдъ. Спб. 1896 г.—А. Д. Градовскій. Трудные годы. (1876—1880). Спб. 1880 г. — П. Л. Лавровъ. (Миртовъ). Историческія письма. 1870 г. — Его-же. Опытъ исторіи мысли. Спб. 1874 г. — Его-же. Задачи пониманія исторіи. М. 1898. — С. Венгеровъ. Нородничество. Словарь Брокгаузъ—Ефронъ. Т. XX, Стр. 587.—Л. Оболенскій. О народничествѣ. Русск. Бог. 1884. № 1. — А. Н. Пыпинъ. Исторія русской этнографіи. Т. II. гл. XII. — В. Слонимскій. Наши теоретики народничества. В. Евр. 93 г. № 11.—Л. Тихомировъ. Лѣтопись печати, Русск. Обозр. 1892 г, № 12.—Юзовъ (Каблицъ). Основы народничества. Соціологическіе очерки. Т. І. Спб. 1888 г. 2-е Изд. Т. II. Спб. 1893. 2-е Изд. —А. Н. Энгельгардтъ. Письма изъ деревни. 3-е. Изд. съ приложеніемъ статьи Николая Энгельгардта: Батищевское дѣло.—Николай Энгельгардтъ. Земля и государство. Русскій Вѣстникъ. 1902 г.—Марксизмъ: Н. Бельтовъ. Къ вопросу о развитіи монистическаго взгляда на исторію. Отвѣтъ гг. Михайловскому, Карѣеву и комп. Спб. 1895 г. — Бердяевъ. Борьба за идеализмъ. Міръ Божій. 1901. № 6.—В. В. Экономическій матеріализмъ на русской почвѣ. Нов. Сл. 1895. № 2 и 3. — Его-же. Нѣмецкій соціалъ — демократизмъ на русской почвѣ. Нед. 1894 г. № 47—49. — К. Головинъ. Мужикъ безъ прогресса или прогрессъ безъ мужика. (Къ вопросу объ экономич. матер.) Спб. 1896 г.—Н. Карѣевъ. Старые и новые этюды объ экономическомъ матеріализмѣ. Матеріалы для его исторіи и критики. Спб. 1896 г.—Его-же. Экономическій матеріа-

лизмъ и закономѣрность соціальныхъ явленій. Вопр. Фил. и Псих. кн. 36-я. — С. Н. Кривенко. На распутьи. Культурные скиты и культурные одиночки. М. 1901 г. — А. Мануйловъ. Капиталистическая идиллія. Русск. Бог. 1897 г. № 11. — Неждановъ. Нравственность. М. 1898 г. — Н. О. Николаевъ. Активный прогрессъ и экономическій матеріализмъ. Спб. 1892 г. — Николай —онъ. Апологія власти денегъ, какъ признакъ времени. Р. Бог. 1895 г. № 1. 2. — Novus. Наши утописты. (Народники и марксизмъ). Новое Слово. 1897 г. № 6. — Л. Е. Оболенскій. Идеалы современной жизни и литературы. Русск. Бог. 1885 г. № 10—12. — Его-же. Новый расколъ въ нашей интеллигенціи. Русск. Мысль. 1895 г. № 8, 9.—Его-же. Народники и марксисты. Истор. Вѣсти. 1899. № 4. — Его-же. Изложеніе и критика идей неомарксизма. Спб. 1899 г. — П. Струве. Критическія замѣтки къ вопросу объ экономическомъ развитіи Россіи. Вып. I. Спб. 1894 г.—Его-же. На разныя темы. Сборникъ статей. — С. Ушаковъ. Нѣсколько словъ въ защиту экономическаго матеріализма. Русск. Мысль. 1896 г. № 9. — М. Филипповъ. Оригинальное примиреніе двухъ теорій. Научн. Обозр. 1899 г. № 3. — Его-же. Современные русскіе экономисты. Id. 1899. № 7—12. — Его-же. Полемическія упражненія г. Нежданова. Id. 1899. № 12.—Его-же. Субъективизмъ и народничество. Id. 1897. № 12. — В. Черновъ. Экономическій матеріализмъ и критическая философія. Вопр. Фил. и Псих. Кн. 39.—Николай Энгельгардтъ. Батищевскіе идеалы. Недѣля. 1896 г. № 11. — Его-же. Лже — народничество. Id. № 11.

§ 2. Рядомъ съ марксизмомъ и декадентствомъ въ русскомъ обществѣ конца вѣка замѣтно оживленіе націоналистическаго самосознанія. Такъ что 26 января 1901 г. былъ утвержденъ уставъ «Русскаго Собранія» въ Петербургѣ, первыя статьи котораго гласятъ:

Ст. 1.

«Русское Собраніе» имѣетъ цѣлью содѣйствовать выясненію, укрѣпленію въ общественномъ сознаніи и проведенію въ жизнь исконныхъ творческихъ началъ и бытовыхъ особенностей Русскаго народа.

Ст. 2.

«Русское Собраніе» ставитъ ближайшими задачами своей дѣятельности:

а) изученіе явленій русской и славянской народной жизни въ ея настоящемъ и прошломъ;

б) разработку вопросовъ русской и вообще славянской словесности, художествъ, народовѣдѣнія, права и народнаго хозяйства; а также изслѣдованіе всѣхъ другихъ проявленій русской и славянской духовной и обиходной самобытности;

в) охраненіе чистоты и правильности русской рѣчи.

Это націоналистическое движеніе совпадаетъ съ реформой средней школы

и отмѣной той ультра-классической системы, которую въ 70-хъ годахъ ввелъ графъ Дм. Анд. Толстой.

Вмѣстѣ съ тѣмъ замѣчается оживленіе, почти замершихъ при Александрѣ III-мъ, симпатій русскаго общества къ славянству.

Дѣло въ томъ, что русскій языкъ въ концѣ вѣка сталъ пріобрѣтать силою вещей значеніе языка всеславянскаго.

Эта мирная побѣда—быть-можетъ величайшая изъ всѣхъ нашихъ побѣдъ. Она прежде всего разрѣшаетъ томительное чувство недоумѣнія, которое поневолѣ овладѣло самыми вѣрующими сердцами при видѣ медлительности осуществленія исконныхъ задачъ русскаго народа, потребовавшихъ уже отъ него столькихъ жертвъ. Побѣда русскаго языка—прочнѣйшая изъ всѣхъ возможныхъ побѣдъ. Въ ней сказалась сила вещей, сама собой передвигающая стрѣлки историческихъ часовъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ культурная и политическая роль русскаго языка, какъ языка не только великорусскаго племени и языка государственнаго, имперскаго въ предѣлахъ Россіи, но и какъ языка всеславянскаго и міроваго, въ смыслѣ одного изъ языковъ интеллигенціи человѣчества, открыласьтакъ ясно, такъ вразумительно, что только сознательное нежеланіе видѣть или безнадежная косность мысли можетъ отвернуться отъ совершившагося факта.

Русская изящная словесность, русская наука—все это настолько мощныя величины, что знакомство съ ними уже обязательно не только для славянина, но и для каждаго цивилизованнаго человѣка вообще. Германо-романскій Западъ не можетъ пренебрегать сокровищами русскаго духа. Онъ ими и не пренебрегаетъ. Онъ учится русскому языку, онъ читаетъ русскихъ великихъ писателей, онъ ихъ переводитъ. А что же славяне? Понятно, что для нихъ знаніе русской рѣчи и сокровищъ русской мысли сугубо важнѣе. Вся русская литература и наука въ цѣломъ для младшихъ славянскихъ народностей имѣютъ великое культурно-просвѣтительное значеніе. Русская мысль и языкъ усвоили себѣ всѣ сокровища всечеловѣческаго духа, а съ тѣмъ вмѣстѣ и всему славянству. Обогащенный идеями, образами, понятіями какъ античныхъ культуръ, такъ и германо-романскаго Запада, русскій языкъ однако органически усвоилъ и переработалъ въ смыслѣ своей самобытности, подъ угломъ своего національнаго своеобразія, всѣ эти понятія, идеи, образы. Такая работа младшимъ отраслямъ славянскаго народнаго древа видимо дается съ трудомъ. Такъ, даже въ польскомъ языкѣ видимъ механическія напластованія чуждыхъ понятій и словъ, признаки какъ бы умственнаго несваренія въ языкѣ, выражающагося его засореніемъ французскими, нѣмецкими, латинскими словами. Творчество языка обезсилѣло въ борьбѣ съ наплывомъ чужихъ идей. Усвоительная же и претворительная творческая мощь русской рѣчи безпредѣльна и

далеко оставляетъ за собой всѣ прочіе славянскіе діалекты. Это одно дѣлаетъ не подлежащими оспариванію права его на всеславянскую роль.

Рядомъ съ культурно-просвѣтительнымъ значеніемъ русской рѣчи, а чрезъ нее и русской мысли, стоитъ и политическое ея значеніе для всего славянства. Русскій языкъ, какъ языкъ общенія славянъ, какъ языкъ дипломатическій и академическій, является могучимъ оплотомъ славянскаго духовнаго единства. Вмѣстѣ съ тѣмъ взаимообщеніе и взаимопроникновеніе славянскихъ діалектовъ и русскаго языка чревато самыми благими последствіями для обѣихъ сторонъ. Творчество этихъ діалектовъ оживится отъ общенія съ русскимъ. Не даромъ же расцвѣтъ національной польской литературы, явленіе Мицкевича — совпали съ переходомъ Польши подъ крыло русской государственности. Нашъ же языкъ припомнитъ многіе забытые термины, разсѣянные теперь въ разныхъ славянскихъ нарѣчіяхъ, многіе синонимы. Все это чрезвычайно важно, освѣжитъ вкусъ къ языку, если можно такъ выразиться, который и у насъ въ интеллигентномъ слоѣ, подъ вліяніемъ наплыва писателей-инородцевъ, особенно евреевъ, нѣсколько начинаетъ тупѣть. Невозможно быть славянскимъ писателемъ, не зная русскаго языка и русской литературы. Но и русскому писателю обязательно знакомство съ славянскими діалектами.

§ 8. Рядомъ съ движеніемъ въ славянствѣ въ сторону признанія русскаго языка, просто практическаго признанія — всеславянскимъ, въ средѣ русскихъ поляковъ замѣчается «примирительное» движеніе, имѣющее великое культурное значеніе.

Мы переводимъ со страстью Сенкевича, мы любимъ польскую литературу. Эти симпатіи русскаго общества къ братскому племени ярко сказались при открытіи памятника въ Варшавѣ Мицкевичу, совпавшаго съ всероссійскимъ празднованіемъ столѣтія со дня рожденія нашего Пушкина.

Два образа встаютъ передъ нами, едва мы вспомнимъ Мицкевича, — два образа, изваянные кристальнымъ словомъ Пушкина.

Одинъ Мицкевичъ, — тотъ, который «жилъ межъ нами, мирный, благосклонный, посѣщалъ бесѣды» русскихъ поэтовъ, который «вдохновенъ былъ свыше и съ высоты взиралъ на жизнь», который

...Говорилъ о временахъ грядущихъ,
Когда народы, распри позабывъ,
Въ великую семью соединятся.

Мирный, благосклонный, освященный для насъ симпатіей и пріязнью Пушкина и созвѣздія пушкинской плеяды поэтовъ русскихъ, образъ поэта-славянина, поэта-христіанина, который «ушелъ отъ насъ» и «благословеньемъ его мы проводили»...

Другой образъ Мицкевича, намъ чуждый, съ озлобленной душой, «пѣвца ненависти», «угодника черни буйной»,—черни, какъ это слово понималъ Пушкинъ, черни духа, черни свѣтской, черни политической, черни, быть можетъ, золоченой и цивилизованной, но именно неспособной «съ высоты взирать на жизнь».

Который же изъ этихъ двухъ образовъ возсталъ въ Варшавѣ, уже не въ русскомъ словѣ воплощенный, а въ мѣди, изваянный полякомъ?

Только первый Мицкевичъ составляетъ славу польской и всеславянской литературы, въ дивныхъ балладахъ, въ полныхъ чисто славянской задушевной грусти сонетахъ.

Литературный памятникъ поэту долженъ воплотить его первый образъ. Я пишу эти строки, и со стѣнъ смотрятъ на меня многія величавыя лица вдохновенныхъ трибуновъ мыслящаго человѣчества и между ними безконечно грустное лицо Адама Мицкевича. Это львовская геліогравюра работы Чеховича съ фотографіи, снятой въ годъ смерти поэта въ Парижѣ. Здѣсь лицо поэта полно такой резиньяціи, такого примиренія, что вѣришь какъ-то, что предъ смертью поэтъ вернулся къ первому своему образу, взглянулъ съ высоты на пройденное поприще, на бурныя распри народовъ и успокоеннымъ отошелъ къ вѣчному покою.

И кто бы теперь задумалъ надъ гробомъ поэта воспламенить ненависть, исторгнутую понятнымъ отчаяніемъ изъ души его, рожденной «для звуковъ сладкихъ и молитвъ», и вновь угашенную высшимъ прозрѣніемъ, тотъ бы помогъ умаленію поэта, тотъ бы поднялъ низменное и ничтожное, что самъ онъ бросилъ, какъ ненужную ветошь, какъ преходящее, какъ прахъ, возвращаемый праху.

Пятьдесятъ-пять лѣтъ, полъ-столѣтія протекло, какъ Пушкинъ молилъ Бога возвратить миръ душѣ поэта. Пушкина нѣтъ, Мицкевича нѣтъ. Юбилеи ихъ совпали, если не днями и мѣсяцами, то годомъ. Пусть же миръ и и всепрощеніе возвратятъ намъ, русскимъ, того Мицкевича, который дѣлился мечтами и пѣснями съ Пушкинымъ, который нашелъ поддержку въ «Московскомъ Телеграфѣ» Полевого и кн. Вяземскаго, когда заскорузлые критики Варшавы ополчились на великаго поэта.

Это дружественное единеніе двухъ поэтовъ имѣетъ глубокую христіанско-славянскую основу, дѣлающую родственной самую ихъ поэзію.

«Мы его любили», говоритъ Пушкинъ. Дѣйствительно, въ поэзіи Мицкевича есть нѣчто, что мы можемъ любить, и это, конечно, и даетъ ему право на безсмертіе, это дѣлаетъ его глубоко оригинальнымъ и самобытнымъ.

Поэзію Мицкевича не разъ сопоставляли съ поэзіей Пушкина, но сопоставленіе это было чисто внѣшнее и внушенное именно непріязнью ко всему русскому, желаніемъ принизить великое и поднять на ходули Мицкевича.

въ чемъ онъ вовсе не нуждается. Исходной точкой бралось при сопоставленіи самое ничтожное въ двухъ поэтахъ, что вовсе не составляло сущности ихъ духа, навѣянное, подражательное, что скользило по поверхности и ею лишь было отражено, напримѣръ — байронизмъ. Вопросъ о томъ, кто скорѣе откликнулся на звуки лиры Байрона, и выводимое отсюда превосходство того или другого поэта, — какой ничтожный и поверхностный вопросъ! Вспомнимъ стихи Баратынскаго:

Когда тебя, Мицкевичъ вдохновенный,
Я нахожу у Байроновыхъ ногъ,
Я думаю: поклонникъ униженный,
Возстань, возстань и помни — самъ ты богъ!

Люди, водимые самыми мелкими чувствами ложнаго національнаго самолюбія, только затемняли передъ нами «перваго» Мицкевича и роняли его.

Мицкевичъ родственъ Пушкину. Истоки его поэзіи питаются одною почвою съ нимъ, образами и духомъ славянскихъ пѣсенъ. Славянскія пѣсни достигли Пушкина окольнымъ путемъ, чрезъ подделку Мериме, говоря о которой Пушкинъ замѣчаетъ: «Поэтъ Мицкевичъ, критикъ зоркій и знатокъ въ славянской поэзіи, не усомнился въ подлинности сихъ пѣсенъ». Пятнадцатая изъ этихъ пѣсенъ — «Янышъ королевичъ», исторія красавицы Елицы, брошенной милымъ, которая затѣмъ кинулась въ Мораву и тамъ стала царицей водяною, это первый набросокъ «Русалки», а если мы заглянемъ въ баллады Мицкевича, то найдемъ ту же повѣсть — это баллада «Рыбка». Подъ нею, какъ и подъ нѣкоторыми другими балладами Мицкевича помѣчено — «ze śpiewu gminnego», т.-е. въ основу баллады положена деревенская пѣсня. Предъ нами является тотъ же образъ бѣдной дѣвушки, обманутой богатымъ паномъ, женившемся на княжнѣ. Образъ бѣдной, убогой Крисьи, или Хреси, это тотъ же образъ мельничихи Пушкина.

Хреся выбѣгаетъ изъ лѣсу, гдѣ стоитъ ея бѣлая хатка, выбѣгаетъ, распустивъ волосы и ломая руки, на берегъ рѣки и, обращаясь къ «сестрамъ-русалкамъ», живущимъ въ водѣ, плачетъ и причитаетъ. Пусть бы обманулъ ее панъ! Но онъ еще пріѣхалъ въ лѣсъ съ гостями и молодой женой ругаться надъ нею. Въ самомъ дѣлѣ, въ лѣсу, гдѣ притаилась ея бѣлая хата, сверкаютъ тысячи огней, музыка, крики и танцы... Характерная черта для польскаго шляхетства, характерная и для Мицкевича, показывающая, какъ чужды были его славянской душѣ, въ сущности, крѣпостники-паны! Вспомните еще жестокаго «Воеводу» и хлопца, уложившаго ему прямо въ лобъ изъ винтовки, и вы признаете, что Мицкевичъ эпохи балладъ и «Пѣсни филаретовъ» чувствовалъ, что въ славянствѣ

Грѣхъ великій — быть рабомъ,
Большій грѣхъ — быть паномъ.

И мы это поймемъ, принявъ во вниманіе скромное происхожденіе поэта. Дѣдъ его не умѣлъ писать. Мать—изъ «дробной» шляхты, иначе zaścian-kowej, zagonowej владѣющей одной полоской земли (zagon) или совсѣмъ не имѣвшей земли—такъ называемая «голь», «голытьба»—golota или holota. Смотри въ біографіи Петра Хмелевскаго, при первомъ томѣ новаго изданія соч. Мицкевича (Widzimy ją biedną i żyjącą wśród rzeszy szlachty zaś iaykowej... Dziad poety nie umiał pisać... Syn ten, Mikołaj... ożeniwszy się z Barbarą Mojewską, tak samo jak on z drobnej szlachty...)

Хреся бросается въ рѣку и становится русалкой, но баллада не развилась у Мицкевича въ ту высокую трагедію, какъ это видимъ у Пушкина, когда мельничиха бросилась безъ памяти въ воду

Отчаянной и презрѣнной дѣвчонкой,
И въ глубинѣ Днѣпра рѣки очнулась
Русалкою холодной и могучей.

Вглядитесь въ поэзію Пушкина, въ совершеннѣйшее изъ его созданій «Евгенія Онѣгина», и вы увидите, что та же тема, помимо вліянія славянскихъ пѣсенъ, и здѣсь разработана. Въ образѣ робкой, мечтательной, деревенской Татьяны, простодушной, довѣрчивой, вы уловите образъ мельничихи, образъ бѣдной Хреси Мицкевича, славянскій образъ. Евгеній Онѣгинъ—тотъ же князь, презрѣвшій, хотя и не растоптавшій, чудное сердце, прелестное существо, когда оно явилось ему безъ пышной «оправы». И та же Татьяна, являющаяся затѣмъ «неприступною богиней роскошной, царственной Невы», не та же ли это мельничиха, очнувшаяся «русалкою могучей и холодной» на днѣ Днѣпра рѣки? Даже слово одно для характеристики прежней Татьяны, какъ и прежней мельничихи—«дѣвчонка»—употребилъ Пушкинъ:

Кто-бъ смѣлъ искать дѣвчонки нѣжной
Въ сей величавой, въ сей небрежной
Законодательницѣ залъ.

И Онѣгинъ, теперь влюбленный, теперь постигшій, чѣмъ онъ пренебрегъ, что упустилъ изъ рукъ, не тотъ ли это князь, который бродитъ по берегу рѣки, который въ «Янышъ-королевичѣ» молитъ:

Люба ты моя, млада Елица,
Выйдь ко мнѣ на зеленый берегъ,
Поцѣлуй меня попрежнему сладко,
Попрежнему полюблю тебя крѣпко.

И внемлетъ безнадежный отвѣтъ:

Нѣтъ, не выйду, Янышъ-королевичъ,
Я къ тебѣ на зеленый берегъ...

Пѣсни западныхъ славянъ» написаны годъ спустя послѣ Евгенія Онѣгина». Но книга Меримэ вышла еще въ концѣ 1822 г.

Славянская основа поэзіи Пушкина, образы древнихъ славянскихъ, русалочныхъ пѣсенъ, пѣсенъ обманутой любви, развита имъ, конечно, съ мощью, превышающею ту разработку, которую далъ ей Мицкевичъ въ своихъ, все же чудныхъ, балладахъ. Мицкевичъ смогъ только деревенскую пѣсню превратить въ романтическую балладу. Пушкинъ эту пѣсню вознесъ до романа и трагедіи, давъ и въ видѣ баллады «вышеупомянутую исторію о Янышъ-королевичѣ и красавицѣ-Елицѣ. Прибавлю, что у Сенкевича въ романѣ его «Безъ догмата» Анеля совершенная Татьяна, а Плошовскій— Онѣгинъ, и сущность ихъ отношеній та-же, что и у Пушкина. Но не для сравнительнаго измѣренія глубины и мощи поэтическаго генія Пушкина и Мицкевича дѣлаю я это сопоставленіе.

Сопоставленіе мною сдѣлано для выясненія той основы, общей обоимъ поэтамъ, которая объясняетъ слова Пушкина: «Мы его любили. Мы жадно слушали поэта. Мы благословеньемъ его проводили». Это общее есть то родное намъ въ поэзіи Мицкевича, что и теперь позволяетъ намъ любить и слушать его, доколѣ онъ славянинъ-христіанинъ, доколѣ въ немъ чуется литовскій крестьянинъ, поющій свои пѣсни, тѣ пѣсни, что пѣли наши предки-славяне еще на берегахъ Дуная, что поютъ они еще и нынѣ на истокахъ Днѣпра, въ нашей Смоленской губерніи.

Скажите, гдѣ стояла воспѣтая Пушкинымъ мельница на Днѣпрѣ, и что за князь былъ тотъ, что сгубилъ красавицу-мельничиху?

Та мельница могла только стоять передъ порогами, пока еще Днѣпръ узокъ. Далѣе мельницъ на Днѣпрѣ нѣтъ. Несомнѣнно, мельница въ трагедіи Пушкина стояла въ предѣлахъ Смоленской губерніи, и князь былъ одинъ изъ князей или князьковъ великаго княжества Смоленскаго, послѣдній изъ которыхъ кончилъ такъ печально и именно благодаря любовной, мрачной исторіи.

Наши древнія, чудныя пѣсни смоленскія, отличныя и отъ великорусскихъ, и бѣло- и малорусскихъ, особенно близки духомъ и образами балладамъ Мицкевича. Что не Смоленскіе пустоши—колыбель этихъ пѣсенъ, доказываютъ «синее море», которое «расходилось, разыгралось», «роза червленая» и «виноградъ зеленый», который въ нихъ воспѣвается. Наконецъ, дѣйствіе происходитъ «на Дунай, на рѣкѣ».

Смоленскія пѣсни — русалочныя пѣсни, глубочайшей, сѣдой, языческой старины, съ качающимся, очевидно, подъ прибой волнъ морскихъ сложеннымъ, таинственно страстнымъ напѣвомъ.

Древность ихъ засвидѣтельствовалъ такой музыкантъ, какъ Н. А. Римскій-Корсаковъ.

Вотъ одна изъ этихъ пѣсень-балладъ. Дѣва свила вѣнокъ изъ вѣтвей

ракиты; первый знакъ, что дѣва эта—русалка. Этотъ вѣнокъ дѣва бросаетъ на Дунай, на рѣку. «Плыви, мой вѣнокъ, — говоритъ она,—и кто его первый достанетъ, тотъ меня, молоду, первый познаетъ». Въ это время молодецъ поилъ коня и привязалъ его къ дереву. Услыхавъ призывъ дѣвы, онъ вступаетъ въ воду:

Первый шагъ ступилъ—по колѣна вода.
Второй шагъ ступилъ—по поясъ вода.
Третій шагъ ступилъ—шапка поплыла...
Ты рви, мой коню, шелковый поводъ!
Бѣги, мой коню, къ родимой на дворъ!
Скажи, мой коню, что я женился,
Желтые пески—постеля моя,
Круты берега—изголовье мое,
Зелена осока—одѣяло мое,
Студена струя—невѣста моя.

Перечтите балладу Мицкевича — «Свитезіанка», и вы найдете этотъ образъ въ ея основѣ.

§ 9. Нельзя, однако, не замѣтить, что въ русскомъ націонализмѣ проглянула и доза узкой нетерпимости. Понятіе самобытности у насъ для многихъ сливается съ понятіемъ «борьбы съ западомъ» и съ отгораживаніемъ отъ западной культуры китайской стѣной.

Если стихотворецъ наполнитъ цѣлый томъ стихами, въ которыхъ все время толкуетъ, что онъ будетъ пѣть, пѣть, и пѣснь его будетъ чиста, вдохновенна, чужда земной суеты, что въ ней явится чистая красота и т. п., и т. п., конечно, на десятой страницѣ читатель закроетъ его сборникъ и скажетъ: «Другъ милый! Не говори, что будешь пѣть и какъ пѣть будешь, но пой. Не говори: Я буду пѣть гимны красотѣ! Но дай намъ въ стихахъ своихъ эту красоту». Что можетъ быть скучнѣе человѣка, который все толкуетъ о томъ, что будетъ дѣлать и какъ дѣлать будетъ, а самъ ни съ мѣста? Такъ плохіе повара, перепортивъ даромъ припасы, объясняютъ подробно причины, по которымъ кушанье «не задалось». Вообще, когда начинаютъ толковать о томъ, что такое творчество и какъ поэтъ долженъ творить—сидя, стоя или задравъ ноги къ потолку, и нужно ли писать гусинымъ перомъ или стальнымъ, — знайте, что въ литературѣ полоса безплодія и бездарности! Должно помнить мудрое правило Кузьмы Пруткова: «Если хочешь быть счастливымъ, то будь имъ». Все это невольно приходитъ на умъ, когда слышишь пространные толки о «самобытности».

«Мы должны быть самобытны! Пора намъ стать самобытными! Ну-те, братцы, будемъ самобытными! Эй, начинайте же быть самобытными!» и т. д. безъ конца. Возраженій на эти заявленія что-то не слышно. И въ са-

момъ дѣлѣ, вѣдь одно можно сказать на это: «Милый другъ, не говори о самобытности, но будь самобытенъ въ своей личности, въ плодахъ твоего ума, искусства, во всемъ, что ты дѣлаешь!».

Съ 40-хъ годовъ прошлаго столѣтія съ малыми перерывами идутъ у насъ эти безконечные толки и растабарыванія все о «самобытности», да о «самобытности». Цѣлые томы наполнены разсужденіями подобнаго рода. Между тѣмъ Россія живетъ, живетъ и русское общество, являются художники, поэты, ученые, общественные дѣятели и не говоря о «самобытности» творятъ самобытно и даже, несмотря на страшно тяжелыя условія для всякаго творчества, и именно самобытнаго творчества мысли, слова, духа и совѣсти,— сотворили уже не мало—цѣлую литературу, цѣлую своеобразную культуру. Еще Ломоносовъ писалъ о Петрѣ полтораста лѣтъ назадъ:

Тогда божественны науки
Чрезъ горы, рѣки и моря
Въ Россію простирали руки
Къ сему монарху, говоря:
«Мы съ крайнимъ тщаніемъ готовы
Подать въ россійскомъ родѣ новы
Чистѣйшіе ума плоды!»
Монархъ къ себѣ ихъ призываетъ.

Итакъ, по мысли Ломоносова, призванныя изъ-за моря божественныя науки должны были принести плоды «въ россійскомъ родѣ», новые. И они принесли. И до сихъ поръ приносятъ. И плодоношеніе было обильнѣйшее, хотя быть можетъ двѣ трети духовнаго урожая Россіи въ XIX вѣкѣ и осыпалось на корнѣ,— писатели наши и работники общественные умирали рано, сдѣлавъ далеко не все, что могли. Но даже пользоваться плодами самобытности русскаго народа, изучать ихъ, собирать, мы лѣнимся. Вѣдь у насъ громадная часть этихъ плодовъ лежитъ въ закоулкахъ библіотекъ, музеевъ, и мы ею не пользуемся или очень мало пользуемся. Намъ некогда. Мы толкуемъ о томъ, надо ли намъ быть самобытными или не надо? Совсѣмъ какъ толстые, лѣнивые хохлы, которые лежатъ на баштанѣ, на солнечномъ припекѣ и меланхолически поютъ:

Гей, братцы, пора встаты!
Пора волю здобуваты!
Гей, гей, гей, братцы милы,
Надо братися за дило!

И если во время этого занятія на нихъ наѣхалъ бы возъ, то кажется и тутъ они не рѣшились бы подобрать ноги: «пусть лучше переѣзжаетъ, лишь бы не пошевелиться!»

Плодоношеніе русской мысли за послѣдніе двѣсти лѣтъ было обильно

и доказало тучность нашей «самобытности», этого духовнаго чернозема, на которомъ прорастаютъ сѣмена идей, корни знаній, «божественныхъ» наукъ и искусствъ. Но наше общество дѣйствительно мало пользуется этими плодами. Многое ему совсѣмъ неизвѣстно. Итоги мысли нашей не подведены. Нѣтъ инвентаря обильныхъ плодовъ нашей самобытной мысли за два послѣднія столѣтія. А знаетъ ли «большая публика» исторію русской науки, техники, живописи, архитектуры? Знаетъ ли просто исторію своей страны, славянскихъ народностей, нашихъ окраинъ, исторію политическую, общественную, экономическую, идейную XIX вѣка? Кто хочетъ будить спящее самосознаніе русской «интеллигенціи», дѣйствительно питающейся главнымъ образомъ сухими плодами европейской цивилизаціи, въ видѣ дубовыхъ переводовъ популярныхъ книжонокъ, которыя работаютъ дюжинные нѣмцы и французы по трафарету, тому должно знакомить эту публику съ плодами русской самобытности, а не твердить только: «Будемъ, будемъ, будемъ самобытны!» А кто хочетъ способствовать самому самобытному творчеству русскаго народа, будить эти силы творческаго духа, ума, русскаго сердца, тому кромѣ того надо знакомить общество съ міровой мыслью, съ плодами чужихъ культуръ, не только германо-романской, но и античной и восточной. А знакомство съ чужими культурами у русскаго «интеллигента» то же чрезвычайно примитивное и недостаточное, «популярное».

Вѣдь мы даже Запада совсѣмъ не знаемъ! Кто знакомъ съ вѣкомъ Раблэ и вѣкомъ Декарта во Франціи? Кто изучалъ сочиненія Лютера или Вольтера? Кто изучалъ прерафаэлитское движеніе въ Англіи? Свѣдѣнія русской «большой» публики о западной культурѣ поверхностны. Могучія и великія движенія мысли Запада не задѣли и крыломъ русскую публику, а занималась она только всякими мелкими явленіями и питалась стряпней изъ кухни дюжинныхъ популяризаторовъ. Отсюда выходитъ, что иного писателя, которымъ у насъ зачитывались, именемъ котораго клялись, на Западѣ и не знаютъ! Какъ упало у насъ знаніе языковъ: еле читаютъ по печатному пальчикомъ водя.

Еще въ 1843 году въ «Москвитянинѣ» Шевыревъ писалъ: «Два направленія видны во всемъ движеніи русскаго образованія. Они должны отразиться противоположными образами мыслей и въ литературѣ. Одни признаютъ западно-европейское образованіе почти единственнымъ источникомъ, изъ котораго должна черпать жизненныя силы наша Россія, другіе, напротивъ, полагаютъ, что отечество наше только изъ самого себя и черезъ самого себя, при содѣйствіи старшихъ учителей, должно и можетъ развивать свое образованіе... Поклонники Запада считаютъ Россію прекраснымъ, но порожнимъ сосудомъ, который назначенъ къ тому, чтобы получить полноту свою и содержаніе изъ западнаго хранилища... Защитники же русскаго начала видятъ въ Россіи самобытное зерно, которое не иначе, какъ

само изъ себя, изъ своихъ собственныхъ началъ подъ высшимъ вліяніемъ мысли, отъ Промысла ему предоставленной, должно развиваться».

Откуда однако германо-романскій западъ взялъ сѣмена культуры, основныя идеи, творческія начала свои? Изъ сокровищницъ античной греко-римской культуры. Въ вѣкъ возрожденія «разверзлись хляби», и юные народы Запада проявили чудовищную алчность и жажду знаній и поглощали все, что только могли найти. И на тучной почвѣ ихъ самобытности всѣ эти сѣмена мировыхъ культуръ проросли, взошли, и плодоношеніе было обильно и конечно «самобытно». Въ пирамидахъ, въ гробницахъ находили сѣмена, которыя судя по надписямъ лежали въ нихъ по три тысячи лѣтъ. Эти сѣмена сажали, и они прорастали и въ свою очередь давали плодъ. Жизнь въ нихъ не угасла, но таилась тысячелѣтія. Такъ и сѣмена культуръ. Добывайте ихъ изъ гробницъ отжившихъ восточныхъ и западныхъ цивилизацій и смѣло сѣйте на тукъ родной почвы! Въ нихъ—жизнь. Они прорастутъ. Откуда взяли мы, на зарѣ исторіи, сѣмена своей культуры? Изъ великолѣпной гробницы — Византіи. То были послѣдніе плоды эллинизма, оплодотвореннаго идеями всего міра. Сѣмена культуръ — идеи — международны и всенародны и переходятъ преемственно съ начала вѣка изъ Азіи въ Европу, изъ Египта въ Элладу, изъ Эллады на нивы юныхъ варваровъ-франковъ, германцевъ, славянъ.

Свойство всякой великой идеи — превратиться сейчасъ же въ достояніе человѣчества. И куда падаетъ такая великая идея, тамъ она непремѣнно пробуждаетъ творчество и даетъ обильное и вполнѣ самобытное плодоношеніе. Кто хочетъ будить самосознаніе русскаго общества и способствовать плодоношенію нашей самобытности, тотъ во-первыхъ долженъ знакомить его съ тѣми плодами мысли и слова, которыя уже составляютъ цѣлыя сокровищницы, а лежатъ подъ спудомъ, изучаются только спеціалистами, такъ что даже библіографическихъ указателей нѣтъ, изданія вышли изъ продажи и ходятъ по четвертной цѣнѣ; во-вторыхъ — улучшить самыя условія свободной дѣятельности духа, самобытнаго народнаго творчества, окованныя у насъ чрезмѣрною цензурною недовѣрчивостью, и въ-третьихъ «открыть шлюзы» древнихъ и новыхъ, западныхъ и восточныхъ культуръ. «Самобытность» всякаго народа требуетъ обильнаго посѣва великихъ идей мыслящаго человѣчества, тогда и плодоношеніе его будетъ обильно и «самобытно».

§ 10. Изъ философскихъ трудовъ гр. Льва Николаевича Толстого, появившихся въ послѣднее десятилѣтіе вѣка, для нашихъ цѣлей интересенъ трактатъ, вышедшій въ 1897 г.: «Что такое искусство?»

Вопросами эстетики занимался также Владиміръ Соловьевъ и даже готовилъ къ печати курсъ «Эстетики», но смерть не дала ему осуществить

это важное предпріятіе. Трактатъ гр. Льва Толстого поэтому является единственнымъ, законченнымъ взглядомъ на искусство. Здѣсь вновь разсматривается вопросъ объ отношеніи «безполезнаго искусства» къ области всякихъ «полезностей», этики къ эстетикѣ и красоты къ морали. Къ сожалѣнію, взглядъ Толстого отличается явной предвзятостью и раздражительной непріязнью къ искусству, къ пушкинской традиціи, которой великій художникъ измѣнилъ съ конца 70-хъ годовъ, когда въ 8-й части «Анны Карениной» взялъ фальшивую ноту, да и тянулъ ее forte, fortissimo двадцать лѣтъ подъ рядъ...

Трактатъ начинается учетомъ тратъ «народнаго труда» на поддержаніе искусства:

«Въ каждомъ большомъ городѣ строятъ огромныя зданія для музеевъ, академій, консерваторій, драматическихъ школъ, для представленій и концертовъ. Сотни тысячъ (?) рабочихъ — плотники, каменщики, красильщики, столяры, обойщики, портные, парикмахеры, ювелиры, бронзовщики, наборщики — цѣлыя жизни проводятъ въ тяжеломъ трудѣ для удовлетворенія требованій искусства». «Сотни тысячъ(?) людей съ молодыхъ лѣтъ посвящаютъ всѣ свои жизни на то, чтобы выучиться очень быстро вертѣть ногами (танцоры); другіе (музыканты) на то, чтобы выучиться очень быстро перебирать клавиши или струны; третьи (живописцы) на то, чтобы умѣть рисовать красками и писать все, что они увидятъ; четвертые на то, чтобы умѣть перевернуть всякую фразу на всякіе лады и ко всякому слову подыскать рифму. И такіе люди, часто очень добрые, умные, способные на всякій полезный трудъ, дичаютъ въ этихъ исключительныхъ, одуряющихъ занятіяхъ и становятся тупыми ко всѣмъ серьезнымъ явленіямъ жизни, односторонними и вполнѣ довольными собой спеціалистами, умѣющими только вертѣть ногами, языкомъ или пальцами».

Мы видимъ, что съ первыхъ страницъ своего трактата, Толстой, переполненный какой-то дикой злости, становится на площадную точку зрѣнія маляровъ, столяровъ и парикмахеровъ, невѣжеству которыхъ артистъ представляется дармоѣдомъ и бездѣльникомъ, а искусство — барскими прихотями. Но вѣдь Толстой знаетъ, что поэты, музыканты, живописцы и даже танцоры, какъ Вестрисы, не суть спеціалисты, умѣющіе «только» вертѣть ногами, языкомъ или пальцами. Онъ знаетъ, что для того, чтобы быть танцоромъ, или живописцемъ, или поэтомъ не достаточно только умѣть «очень быстро вертѣть» ногами, «очень быстро перебирать» клавиши или «перевертывать всякую фразу на всякіе лады». Онъ знаетъ, что такое сужденіе объ артистахъ можетъ создать только глухонѣмой. Наконецъ, развѣ сотни тысячъ занимаются искусствомъ? Развѣ музеи, академіи, консерваторіи слу-

жать одному только чистому искусству? Развѣ они не выпускаютъ массу полезныхъ ремесленниковъ музыки, архитектуры, словесности?

Но разъ взялъ Толстой фальшивую ноту, онъ уже будетъ тянуть ее до конца.

Онъ начинаетъ нападеніе на искусство со стороны того вульгарнаго, повседневнаго искусства подмостокъ, которое уже граничитъ съ ремесломъ. Однако это искусство, такъ же какъ и періодическая печать, удовлетворяетъ именно массовому читателю, объ интересахъ котораго Левъ Толстой такъ заботится. Высокое искусство есть золото, рѣдкими зернами разсѣянное въ рудѣ. Оно ежедневно отмывается и накопляется въ видѣ умственнаго богатства страны. Но закройте академіи, театры, музеи, консерваторіи, газеты, журналы, выставки — искусство погибнетъ.

Семидесятилѣтній гр. Толстой клеймитъ искусство такъ же рѣшительно, какъ и двадцатилѣтній Писаревъ: «Если и есть въ оперѣ изрѣдка хорошенькіе мотивы, то ихъ можно бы было спѣть безъ этихъ глупыхъ костюмовъ... Балетъ же... есть прямо развратное представленіе... Не поймешь, на кого это разсчитано. Образованному человѣку это несносно, надоѣло (?); настоящему рабочему человѣку это совершенно непонятно (А пусть себѣ!) Нравиться это можетъ, и то едва ли, набравшимся господскаго духа, но не пресыщеннымъ господскими удовольствіями, развращеннымъ мастеровымъ, желающимъ засвидѣтельствовать свою цивилизацію, да молодымъ лакеямъ».

«Вся эта гадкая глупость» иллюстрируется разборомъ, все съ той-же точки зрѣнія «глухонѣмого», видящаго только неестественно широкое открываніе рта, дрыганіе ногами и маханіе руками, — трилогіи Рихарда Вагнера... Разборъ этотъ останется въ литературѣ нашей, какъ совершенство «своего рода» въ ряду съ разборомъ Пушкина—Писаревымъ и Достоевскаго—Михайловскимъ.

«Въ Байрейтѣ, — говоритъ Толстой о трилогіи Рихарда Вагнера, съѣзжались со всѣхъ концовъ свѣта, расходуя около тысячи рублей на человѣка, для того, чтобы видѣть это представленіе, люди, считающіе себя утонченно - образованными и, четыре дня сряду, высиживая каждый день по шести часовъ, ходили смотрѣть и слушать эту безсмыслицу и фальшь».

Въ своемъ трактатѣ Толстой даетъ еще цѣлый рядъ подобныхъ «съ ногъ сшибательныхъ» отзывовъ о великихъ произведеніяхъ и художникахъ:

«Произведеніе, основанное на заимствованіи, какъ напр., (Фаустъ Гете) (sic!) можетъ быть очень хорошо обдѣлано, исполнено ума и всякихъ красотъ, но оно не можетъ произвести настоящаго художественнаго впечатлѣнія, потому что лишено главнаго свойства произведенія искусства и т. д.

Пушкинъ «подъ вліяніемъ ложной критики, восхваляющей Шекспира, пишетъ Бориса Годунова, разсудочно—холодное произведеніе, и это произведеніе, критики восхваляютъ и ставятъ въ образецъ».

«Главный вредъ критиковъ», что, будучи людьми, лишенными «способности заражаться искусствомъ», «а таковы всѣ критики», они восхваляютъ разсудочныя, выдуманныя произведенія и «съ увѣренностью расхваливаютъ» — кого бы вы думали? — греческихъ трагиковъ, Данта, Тасса, Мильтона, Шекспира, Гете (почти всего подъ рядъ); изъ новыхъ — Зола, Ибсена; музыку послѣдняго періода Бетховена, Вагнера, для оправданія же своихъ восхваленій этихъ разсудочныхъ, выдуманныхъ произведеній они придумываютъ «цѣлыя теоріи», которымъ всѣ подчиняются! «Только благодаря критикамъ, восхваляющимъ въ наше время грубыя, дикія и часто безсмысленныя для насъ произведенія древнихъ грековъ: Софокла, Еврипида, Эсхила, въ особенности Аристофана, или новыхъ: Данта, Тасса, Мильтона, Шекспира; въ живописи — всего (sic!) Рафаэля, всего (sic!) Микель-Анджело съ его нелѣпымъ (sic! sic!) «Страшнымъ судомъ», въ музыкѣ— всего Баха (sic!) и всего Бетховена съ его послѣднимъ періодомъ, стали возможны въ наше время Ибсены, Метерлинки, Верлены, Малларме, Пювисъ де-Шаванны, Клингеры, Беклины, Штуки, Шнейдеры, въ музыкѣ—Вагнеры, Листы, Берліозы, Брамсы, Рихарды Штраусы и т. п. и вся та огромная масса ни на что ненужныхъ подражателей этихъ подражателей».

Итакъ, у Толстого Ибсены, Пювисы де-Шаванны, Беклины, Вагнеры и Листы — цѣлыми толпами надо думать являются, а не представляютъ unicum'ы.

Какъ и слѣдуетъ ожидать, все завершается «отреченіемъ отъ Пушкина»:

«Дѣти и народъ вдругъ видятъ», «что пѣвцы, сочинители, живописцы, танцовщицы наживаютъ милліоны, что имъ оказываютъ почести больше, чѣмъ святымъ, и люди народа и дѣти (хороши «дѣти», знающіе о милліонахъ, нажитыхъ танцовщицами!) приходятъ въ недоумѣніе».

«Надо только представить себѣ положеніе такого человѣка изъ народа, когда онъ по доходящимъ до него газетамъ и слухамъ узнаетъ, что въ Россіи духовенство, начальство, всѣ лучшіе люди Россіи съ торжествомъ открываютъ памятникъ великому человѣку, благодѣтелю, славѣ Россіи — Пушкину, про котораго онъ до сихъ поръ ничего не слышалъ». «Каково же должно быть его недоумѣніе, когда онъ узнаетъ, что Пушкинъ былъ человѣкъ больше чѣмъ легкихъ нравовъ, что умеръ онъ на дуэли, т. е. при покушеніи на убійство другого человѣка, что вся заслуга его только въ томъ, что онъ писалъ стихи о любви, часто очень неприличные».

«То, что Александръ Македонскій, Чингисъ-ханъ и Наполеонъ были велики, онъ понимаетъ», что Будда, Сократъ и Христосъ велики, онъ

то-же понимаетъ». «Но почему великъ человѣкъ за то, что онъ писалъ стихи о женской любви,—онъ не можетъ понять».

Опять таки, Толстой вѣдь отлично знаетъ, что заслуга Пушкина не только въ томъ, что онъ писалъ неприличные любовные стихи. И почему этотъ идіотъ «изъ народа» съ его дурацкими недоумѣніями, можетъ знать и понимать Будду и Сократа, Наполеона и Александра? Но мы начинаемъ теперь понимать, почему въ 1880 г., на пушкинскихъ празднествахъ гр. Л. Н. Толстой, великій писатель земли русской, одинъ не присутствовалъ, и не воздалъ дани благоговѣнія тѣни великаго учителя!..[305])

То-есть, мы ровно ничего не понимаемъ. Неужели возможно, чтобы гр. Толстой не понималъ Пушкина, Шекспира, Софокла, Данте, Баха, Беклина, Вагнера? Тогда зачѣмъ-же это изступленное отреченіе? Во имя принциповъ трактата «Въ чемъ моя вѣра».

«Чѣмъ больше мы отдаемся красотѣ, говоритъ Толстой, тѣмъ больше мы удаляемся отъ добра».

«Нельзя заставлять людей подневольно трудиться для искусства, не рѣшивъ прежде вопроса, правда ли, что искусство есть такое хорошее и важное дѣло, что оно выкупаетъ это насиліе?»

«Искусство, поглощающее огромные труды народа и жизней человѣческихъ и нарушающее любовь между ними (?), не только не есть нѣчто ясно и твердо опредѣленное, но понимается такъ разнорѣчиво своими любителями, что трудно сказать, что вообще разумѣется подъ искусствомъ и въ особенности хорошимъ, полезнымъ искусствомъ, такимъ, во имя котораго могутъ быть принесены тѣ жертвы, которыя ему приносятъ».

Толстой находитъ, что въ Россіи до Петра и въ европейскихъ обществахъ до XIII, XIV вѣковъ было «общее всему народу искусство». «Съ тѣхъ поръ, какъ высшія сословія христіанскихъ народовъ потеряли вѣру въ церковное христіанство, искусство высшихъ классовъ отдѣлилось отъ искусства всего народа, и стало два искусства: искусство народное и искусство господское». Странно, что при такомъ взглядѣ, Толстой отвергаетъ Данте, Софокла, Эсхила, молившагося однимъ богамъ съ толпою.

«Наше утонченное искусство могло возникнуть только на рабствѣ народныхъ массъ и можетъ продолжаться только до тѣхъ поръ, пока будетъ это рабство». «Освободите рабовъ капитала и нельзя будетъ производить такого утонченнаго искусства». «Искусство нашего времени и нашего

[305]) «Все это комедія», сказалъ, говорятъ (пишутъ въ газетахъ), гр. Толстой г. Тургеневу, который приглашалъ его на пушкинскій праздникъ. Сказалъ и не поѣхалъ. Да, это несомнѣнно комедія, хотя, надо замѣтить, одна изъ тѣхъ комедій, участвовать въ которыхъ ни мало не зазорно. Н. К. Михайловскій. Сочиненія. Изд. 1897 г. Томъ четвертый. Столбецъ 912. «Литературныя замѣтки» 1880 г.

круга стало блудницей. И это сравненіе вѣрно до малѣйшихъ подробностей. Оно также неограничено временемъ, также всегда разукрашено, такъ же всегда продажно, такъ же заманчиво и губительно... Это должны понять люди нашего времени и круга, чтобы избавиться отъ заливающаго насъ грязнаго потока этого развратнаго блуднаго искусства».

Выступивъ въ роли новаго Саванороллы, гр. Толстой не сомнѣвается въ успѣхѣ, и потому пророчествуетъ объ «искусствѣ будущаго». Содержаніе искусствъ будущаго будетъ составлять не выраженіе «исключительныхъ чувствъ, а чувствъ, доступныхъ всѣмъ людямъ безъ исключенія».

«Художникъ будущаго будетъ понимать, что сочинить сказочку, пѣсенку, которая тронетъ, —прибаутку, загадку, которая забавитъ,—шутку, которая насмѣшитъ, нарисовать картинку, которая будетъ радовать десятки поколѣній или милліоны дѣтей и взрослыхъ,—несравненно важнѣе и плодотворнѣе, чѣмъ сочинить романъ, симфонію, или нарисовать картину, которыя развлекутъ на короткое время нѣсколько людей богатаго класса и навѣки будутъ забыты».

Очевидно, это «искусство будущаго» уже зародилось подъ сѣнію фирмы «Посредника», книгопродавца Сытина. Вмѣсто «блуднаго, господскаго искусства» съ его «Войною и Миромъ» намъ дадутъ «Свѣчку» съ придачей картинки «Какъ мыши кота хоронили». Въ 60-хъ годахъ Писаревъ находилъ примѣненіе таланту Тиціана и Рубенса въ рисованіи картинокъ для популярныхъ книжекъ по ботаникѣ и зоологіи. Въ 90-хъ предлагается новое поприще, конечно почтенное; однако какая-же разница съ предложеніемъ Писарева?

§ 11. Само собой понятно, что теоретическіе взгляды гр. Л. Н. Толстого не могли не отразиться на послѣднихъ его произведеніяхъ глубокимъ упадкомъ творчества. И дѣйствительно, «Крейцерова соната», «Хозяинъ и работникъ», романъ «Воскресенье», не смотря на колоссальный успѣхъ этихъ произведеній, успѣхъ всемірный, являются плодомъ рефлексіи, проникнуты поученіемъ и узкой сатирой обличительнаго пошиба. Порою художникъ просыпается и всюду видишь мазки великаго мастера, но цѣлаго уже нѣтъ, нестерпимая фальшь проникаетъ героя «Воскресенья», натащившаго на себя ненужное смываніе грѣха юности насильственной женитьбой на проституткѣ, осужденной въ каторгу. Отвратительный лицемѣръ юныхъ произведеній гр. Толстого, Нехлюдовъ воскресаетъ въ этомъ злосчастномъ «Воскресеньи» и нудно кривляется въ роли «толстовца» на пятистахъ страницахъ. И нельзя не сочувствовать Масловой, когда она кричитъ Нехлюдову: «Я каторжная, а вы баринъ, князь, и нечего тебѣ со мной мараться. Ступай къ своимъ княжнамъ... Ты мной въ этой жизни услаждался, мною-же хочешь и на томъ свѣтѣ спастись! Противенъ ты мнѣ, и очки твои.

и жирная, поганая вся рожа твоя. Уйди, уйди ты!» Даже каторжную стошнило отъ нестерпимаго фарисейства и лицемѣрія этого фата.

Изъ беллетристовъ молодой школы первое мѣсто принадлежитъ несомнѣнно Антону Павловичу Чехову. Это настоящій художникъ, хотя нѣсколько и суховатъ въ письмѣ своихъ небольшихъ картинъ. Выступивъ въ концѣ 80-хъ годовъ, Чеховъ сначала писалъ въ юмористическихъ журналахъ легкіе наброски подъ псевдонимомъ Антоши Чехонте. Однако здѣсь уже сказывался свѣжій, прекрасный талантъ его. Чувство мѣры въ этихъ шаржахъ, художественность деталей, сразу выдѣлило ихъ изъ заурядныхъ «сценокъ», обычно помѣщаемыхъ въ такихъ изданіяхъ. Замѣченный публикой и критикой, Чеховъ начинаетъ помѣщать въ газетахъ небольшіе художественные разсказы. Здѣсь уже вполнѣ высказался его разнообразный талантъ. Небольшой по объему разсказъ — вотъ форма, которой и потомъ держался Чеховъ. Его даже болѣе объемистыя вещи «Палата № 6», «Степь», «Черный монахъ», «Дуэль», «Каштанка», «Мужики», «Моя жизнь» и др., все-же по внутреннему строю являются законченными картинками съ различныхъ уголковъ жизни. Обобщающее названіе «Мужики» поэтому не соотвѣтствуетъ содержанію хотя бы этой превосходной по выпискѣ вещи. Это — мужики спившейся деревни, не больше. Элементъ пессимистической мистики особенно глубоко проникаетъ такія вещи, какъ «Палата № 6» и «Черный монахъ», и въ особенности пьесы Чехова (напр., «Чайка»). Въ этомъ отношеніи Чеховъ вѣренъ традиціи 80-хъ годовъ. Онъ воспроизводитъ часто то фантастическое впечатлѣніе, которое вызываютъ самыя реальныя вещи, сѣрыя будни. Но какъ хорошо его изображеніе животныхъ въ «Каштанкѣ». Какъ дивно передана смерть гуся Ивана Ивановича и тотъ ужасъ, который посѣщеніе смерти вселяетъ въ людей и животныхъ, равняя ихъ въ этомъ чувствѣ! Перечислимъ здѣсь главнѣйшихъ публицистовъ и беллетристовъ, продолжавшихъ работать въ сумеркахъ конца вѣка. Во первыхъ, надо указать на плодовитыхъ поставщиковъ историческихъ романовъ, каковы графъ Саліасъ-де-Турнемиръ, издавшій 22 тома романовъ (Пугачевцы, На Москвѣ, Петербургское дѣйство, Самозванка и др.), Д. Л. Мордовцевъ (Царь и гетманъ, Сагайдачный, Мамаево побоище и мн. др.); Всеволодъ С. Соловьевъ (Княжна Острожская, Царь-дѣвица, Сергѣй Горбатовъ, Вольтерьянецъ, Старый домъ и др.); кн. М. Волконскій; писательницу свѣтскаго пошиба — Северинъ (Мердеръ) и Головина — Орловскаго (романы «Молодежь», «Внѣ колеи», «Погромъ» и др.); должно назвать талантливаго живописца и колоритнаго разсказчика изъ средне-азіатскаго быта, Каразина («Въ камышахъ», «Двуногій волкъ», «На далекихъ окраинахъ»); затѣмъ талантливыхъ беллетристовъ — Бѣжецкаго (А. Н. Масловъ), автора прекрасныхъ очерковъ «Военные на войнѣ»; Гарина — Михайловскаго, автора тенденціозныхъ, но интересныхъ «семейныхъ хроникъ» — «Гимнази-

сты» и «Студенты»; автора книги «Въ мірѣ отверженныхъ», Мельшина (Якубовичъ), изобразившаго, какъ очевидецъ, современную каторгу; А. И. Свирскаго, автора трехъ томовъ «Погибшіе люди», гдѣ онъ талантливо, живо и съ глубокимъ знаніемъ описалъ міръ трущобный, тюремный, нищихъ и пропойцъ; изъ писательницъ назовемъ талантливую Микуличъ-Веселитскую, автора прелестной трилогіи: «Мимочка невѣста», «Мимочка на водахъ», «Мимочка отравилась» и разсказовъ «Черемуха» и «Зарницы». Укажемъ еще «марксистскихъ» беллетристовъ: Вересаева («Записки врача»), Чирикова, Леонида Андреева, хотя послѣдній—писатель XX-го вѣка!.. Изъ публицистовъ обращали на себя вниманіе публики: М. О. Меншиковъ, В. В. Розановъ, С. Н. Сыромятниковъ и даровитые фельетонисты—Дорошевичъ и Амфитеатровъ.

Быструю и громадную извѣстность получилъ въ концѣ вѣка писатель, пишущій подъ псевдонимомъ «Максимъ Горькій».

Алексѣй Максимовичъ Пѣшковъ родился 14 марта 1869 года въ Нижнемъ-Новгородѣ, въ семьѣ красильщика, отъ дочери его и пермскаго мѣщанина, по ремеслу обойщика. По пятому году Пѣшковъ потерялъ отца, потомъ и мать. Сирота, онъ то служитъ мальчикомъ въ башмачной лавкѣ, то поваренкомъ, то въ «крендельномъ заведеніи». Урывками учится и читаетъ, что попало. Въ Казани, лѣтъ 15-ти, поступаетъ въ среду босяковъ и разныхъ «бывшихъ людей», потомъ продавалъ квасъ, въ 1890 г. исходилъ Донскую область, Украину, Крымъ, бродилъ на Кубани. Въ октябрѣ 1892 г. Горькій работалъ въ Тифлисѣ, въ желѣзнодорожныхъ мастерскихъ. Въ этомъ же году, въ мѣстной газетѣ «Кавказъ» появился первый разсказъ Горькаго «Макаръ Чудра». Затѣмъ онъ пишетъ небольшіе разсказы для казанской газеты «Волжскій Вѣстникъ», а въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ» печатается его «Пиляй». «Въ 1893—1894 г., — сообщаетъ Горькій, я познакомился въ Нижнемъ-Новгородѣ съ В. Г. Короленко, которому обязанъ тѣмъ, что попалъ въ большую литературу. Онъ очень много сдѣлалъ для меня, многое указалъ, многому научилъ». «Пишите,— говорилъ онъ одному «интервьюеру»,—первымъ учителемъ Горькаго былъ солдатъ—поваръ Смурый, вторымъ—адвокатъ Ланинъ, третьимъ—Александръ Меѳодіевичъ Колюжный, человѣкъ «внѣ общества», четвертымъ—Короленко». Итакъ, предъ нами «самородокъ», такъ называемый писатель—«самоучка».

Въ «толстыхъ» журналахъ Горькій появляется съ 1895 г.—«Челкашъ» («Русское Богатство») и «Ошибка» («Русская мысль»); въ 1896 г.—«Тоска» и «Коноваловъ» («Новое Слово»), «Мальва» («Сѣверный Вѣстникъ»). Затѣмъ на страницахъ «Самарской Газеты»—«Старуха Изергиль», «Пѣсня о Соколѣ», «Однажды осенью» и др. Съ осени 1898 г. произведенія Горькаго появлялись исключительно въ журналѣ «Жизнь». Это были уже объемистыя повѣсти—«Ѳома Гордѣевъ», «Мужики», «Трое».

Съ необычайной быстротой Горькій пріобрѣлъ прямо всемірную славу. Его читаютъ на западѣ. О немъ неумолчно пишутъ въ Россіи. Спрашивается, какіе размѣры этого таланта? Или, судя по славѣ, мы можемъ ожидать въ немъ Достоевскаго или Толстого XX-го вѣка?

Авторъ критико-біографическаго этюда о Горькомъ, В. Ѳ. Боцяновскій говоритъ: «Горькій — безусловно крупный и талантливый художникъ. У него сочная кисть и свѣжія краски. Пишетъ онъ мазками, безъ лишнихъ словъ, безъ всякой риторики. Всего двумя-тремя штрихами онъ передаетъ цѣлую, вполнѣ реальную картину. Особенно любитъ онъ море, которое у него несравненно болѣе разнообразно, чѣмъ у Айвазовскаго». «Разносторонность художественнаго дарованія Горькаго сказывается особенно въ томъ, что онъ съ такимъ же успѣхомъ, какъ и пейзажи, рисуетъ жанровыя картинки, пишетъ вполнѣ живые портреты». «Изображеніе смѣха и веселости Горькому удаются столь же хорошо, какъ и изображеніе скуки... Юморомъ скрашены у него самыя трагическія положенія... Юморъ этотъ — чисто народный, русскій юморъ». «Пробѣгая разсказъ за разсказомъ, вы не можете не обратить вниманіе... на разнообразіе его типовъ»[306]).

Однако, при всемірномъ громѣ побѣдной колесницы Горькаго, такой опытный критикъ, какъ В. П. Буренинъ сохранилъ достаточно скептическое отношеніе къ новому писателю, и указалъ на «романтизмъ» его письма.

Интересно такъ-же мнѣніе кн. А. И. Урусова, въ письмѣ его отъ 4 іюня 1900 г.: «Прочелъ Ѳому Гордѣева — не подъ рядъ, невозможно размазано, но почти подъ рядъ. Авторъ — закоренѣлый романтикъ, воспитанный въ самыхъ плохихъ традиціяхъ русской, крѣпостной журналистики. Онъ, видимо, малый сноровистый: знаетъ, какъ потрафлять рынку, и преуспѣлъ тотчасъ-же... Романтизмъ виденъ въ фальшивомъ колоритѣ всего романа... Ѳома кутитъ и развратничаетъ... Дѣвы, раздѣляющія его восторги, очерчены недурно... но авторъ все портитъ, заставляя и своего пьяницу и дѣвицъ «искать правду», сокрушаться, обличать зло! Это до тошноты невыносимо и фальшиво... Безвкусіе автора и его туповатое отношеніе къ природѣ, слабая индивидуализація личностей и изобиліе ругательствъ (маскирующихъ вялость вымысла) также должны быть поставлены ему въ счетъ дефектовъ. Въ немъ не чувствуется настоящей силы, а всѣ внѣшніе признаки ея — подобіе, изображеніе. Такой писатель, при отвратительной манерѣ все размазывать и все изображать подъ условнымъ угломъ зрѣнія, едва-ли принадлежитъ къ крупнымъ». Вотъ какое разнообразіе мнѣній!

[306]) Боцяновскій. Стр. 33—38.

Гдѣ-же правда?

Одни говорятъ: «Крупный художникъ. Безъ лишнихъ словъ. Безъ всякой риторики. Цѣльныя, вполнѣ реальныя картины. Разносторонность, разнообразіе картинокъ и типовъ. Вполнѣ живые портреты. Море болѣе разнообразно, чѣмъ у Айвазовскаго. Чисто народный, русскій юморъ».

Другіе говорятъ: «Отвратительная манера все размазывать. Романтизмъ самаго плохого качества и виденъ въ фальшивомъ колоритѣ. Безвкусіе и слабая индивидуализація личностей. Ругательства маскируютъ вялость вымысла. Не чувствуется настоящей силы. Едва-ли принадлежитъ къ крупнымъ».

Искусство начинается тамъ, гдѣ начинается правда. Гдѣ правды нѣтъ, тамъ нѣтъ и искусства — художества. У Горькаго правды нѣтъ, и та среда, которую онъ только и знаетъ — среда золоторотцевъ, «босяковъ», воровъ, уличныхъ сутенеровъ, проститутокъ, пьяницъ, «бывшихъ людей» — среда только по видимости разнообразная, и въ сущности весьма бѣдная содержаніемъ, у него изображена фальшиво, въ стилѣ мелодрамы, насусалена, и реальная основа изображенія этимъ перепорчена въ конецъ. Только наивный вкусъ можетъ не замѣчать фальши изображеній Горькаго. Возьмемъ Мальву. Она — чиститъ рыбу на промыслахъ. Извѣстно, что отъ такихъ женщинъ столь отвратительно разитъ, что ихъ никуда не пускаютъ въ «углы» такъ силенъ смрадъ, исходящій отъ всего тѣла, волосъ и одежды такой женщины. Объ отвратительномъ, «оскорбительномъ» запахѣ — вони тухлой рыбой, которой все пропитано на промыслѣ, Горькой самъ три раза говоритъ въ разсказѣ. И въ то-же время его Мальва описана какой-то бѣлоплечей русалкой и отъ ея обольстительныхъ членовъ «моремъ пахнетъ». Уrусовъ правъ, говоря, что Горькій «размазываетъ». Особенно томительны большія вещи, но и малыя чужды художественной краткости. Въ описаніяхъ хорошіе штрихи тонутъ въ шаблонной, кричащей лубочно - романтической мазнѣ. Возьмемъ разсказъ «Въ степи». Онъ былъ-бы хорошъ, если-бы не былъ испорченъ въ трехъ мѣстахъ дурной манерой автора «пущать» золоторотское бахвальство, напоминающее тираду Капитону Островскаго: «Наполню міръ злодѣйствомъ и упокойники въ гробахъ спасибо скажутъ, что умерли».

Такъ о «студентѣ», который задавилъ ночью несчастнаго столяра, хлѣбомъ котораго наѣлся, потомъ скрылся, «вкативъ» своихъ товарищей и о которомъ другой «бывшій человѣкъ» отзывается, какъ о негодяѣ, сказано: «Онъ мечталъ объ универсальной мести всѣмъ и всему». Въ серединѣ разсказа «солдатъ», вдругъ начинаетъ глядѣть въ небо и говоритъ изъ плохой мелодрамы: «Люблю я, другъ, эту бродяжную жизнь. Оно и холодно, и голодно, но свободно ужъ очень. Нѣтъ надъ тобой никакого начальства... самъ ты своей жизни хозяинъ... Хоть голову себѣ откуси, никто

тебѣ слова не можетъ сказать... Хорошо... Наголодался я за эти дни, назяблся, а вотъ теперь лежу, смотрю въ небо... Звѣзды мигаютъ мнѣ...»

Разсказчикъ, отъ лица котораго ведетъ Горькій эту исторію, отпускаетъ въ заключеніе такую сентенцію: «Никто ни въ чемъ не виноватъ, **ибо всѣ мы одинаково скоты».**

Содержаніе Горькаго очень однообразно: пьянство, пѣнье проститутокъ двадцать разъ повторяющійся, очень легкій для выполненія эффектъ разсказа о пѣніи. Эффектъ очень избитый со временъ «Пѣвцовъ» Тургенева, часто повторяемый Левитовымъ, съ которымъ по манерѣ есть сходство у Горькаго, удававшійся даже Мачтету; картины звѣрскаго «мордобоя», писанные съ видимымъ наслажденіемъ; тирады — или лживо-сентиментальныя, или представляющія ругань, съ выкрикиваніемъ — «скоты», «гниды» и т. д.; картины животной страсти и разнаго «баловства» съ непотребными, провонялыми, послѣдняго разбора проститутками, однако полными необычайной и непонятной гордости; много порнографіи въ этихъ животныхъ описаніяхъ; наконецъ, всюду угрюмый, напыщенный пафосъ и нѣтъ никакого юмора, особенно народнаго. Попадается тотъ юморъ особаго жанра, который носитъ у нѣмцевъ названіе «юмора висѣльника». Горькій — это атавизмъ въ литературѣ. Мелодрама, разбойничьи романы, Кукольникъ и Марлинскій, вотъ его школа. Но отличіе въ томъ, что разбойники и нищіе старой мелодрамы говорятъ благородныя сентенціи, а «босяки» Горькаго — ругаются и обличаютъ, гордясь «свободой» жеста, костюма, рѣчи, дѣлъ и своего соціальнаго положенія. Ругательства, которыми осыпаютъ герои Горькаго крестьянство и интеллигенцію, вообще трудящихся людей — отвратительны. Здѣсь уже прямо Смердяковымъ разитъ. Вообще авторъ чуждъ всякаго пониманія психологіи, и наивно убѣжденъ, что можно «побѣдить совѣсть», что и высказываетъ въ началѣ «Ѳомы Гордѣева»: «Совѣсть — это сила непобѣдимая лишь для слабыхъ духомъ; сильные же быстро овладѣваютъ ею и порабощаютъ ее своимъ желаніямъ, ибо они безсознательно чувствуютъ, что если дать ей просторъ и свободу — она изломаетъ жизнь». Достоевскій изобразилъ въ Раскольниковѣ и Иванѣ Карамазовѣ, чѣмъ кончаются попытки «порабощенія совѣсти своимъ желаніямъ». Да и Ѳома Гордѣевъ кончаетъ очень плохо. Да, правды нѣтъ у Горькаго. Поэтому успѣхъ его — эфемерный и быстро выгоритъ. Успѣхъ за границей — есть успѣхъ очень позорный. Недоброжелатели наши или имѣющіе уличное представленіе о Россіи западные люди видятъ подтвержденіе въ изображеніяхъ Горькаго взгляда на Россію какъ на колосса-босяка, пьянаго, ругающагося, осклабленнаго, неопрятнаго...

Мы приведемъ нѣсколько особенно яркихъ мѣстъ изъ Горькаго, подтверждающихъ наше мнѣніе о нестерпимой фальши его твореній и весьма сомнительную ихъ мораль. Совѣтъ тридцатилѣтней проститутки, изъ женщинъ, чинящихъ мѣшки въ волжскихъ пристаняхъ, юному Ѳомѣ: «Много,

много будетъ у тебя полюбовницъ-то... Ты тогда женись, когда перекипишь, когда всѣхъ сластей наѣшься до сыта,—аржаного хлѣбца захочется... Вотъ когда женись! Замѣчала я — мужчинѣ здоровому, для покоя своего, нужно не рано жениться... одной жены ему мало будетъ... И ты долженъ для своего счастья тогда жену брать, когда увидишь, что и одной ее хватитъ съ тебя...»

Превосходный совѣтъ!

Купецъ Маякинъ, писанный яко-бы въ стилѣ неумолимаго пріобрѣтателя и кряжистаго «стараго закала папаши», передъ дочерью разражается такой тирадой: «Все! Все дѣлай! Валяй, кто во что гораздъ! А для того,—надо дать волю людямъ... полную свободу! ужъ коли настало такое время, что всякій шпиздикъ полагаетъ про себя, будто онъ—все можетъ и сотворенъ для полнаго распоряженія жизнью—дать ему, стервецу, свободу! На, сукинъ сынъ, живи! и т. д.

Горькій въ рѣчи своихъ героевъ влагаетъ своеобразное «ницшеанство», но всего лучше характеризуетъ фальшь этого бахвальства слова одного изъ купцовъ въ «Ѳомѣ Гордѣевѣ»: «Накопилъ злобы на клопа, а пошелъ на медвѣдя».

Если-бы карандашъ Щедрина проходился по произведеніямъ Горькаго, онъ приготовилъ-бы для «Отеч. Зап.» хорошаго бытовика, на «босяцкія темы», но и то, это былъ-бы писатель второго ранга, съ узкою спеціальностью.

Изъ начинающихъ беллетристовъ должно отмѣтить выдающееся дарованіе Будищева, соединяющаго съ яркостью образовъ еще наклонность къ разработкѣ сложныхъ психологическихъ темъ. Кромѣ сборника разсказовъ «Степные волки», среди которыхъ прелестенъ — «Малиновка», укажемъ его романы «Пробужденная совѣсть» и «Лучшій другъ». Юморъ въ концѣ вѣка замѣтно изсякъ. Продолжалъ свою неистощимую дѣятельность Александръ Николаевичъ Лейкинъ, легкія «сценки», котораго не оцѣнены по достоинству критикой. Конечно, много у Лейкина спѣшнаго, газетнаго, много шаржа, но есть вещи и художественныя и законченныя, и съ глубиной искренняго чувства. Смѣхъ его беззлобенъ. Талантъ громадный. Знаніе жизни купечества средней руки замѣчательное. Изъ болѣе молодыхъ писателей укажемъ прекрасное дарованіе Ивана Леонтьевича Леонтьева-Щеглова, прелестнаго своимъ сердечнымъ юморомъ. Онъ выступилъ въ 1881 г., разсказомъ «Первое сраженіе». Далъ рядъ драматическихъ произведеній: «Въ горахъ Кавказа», «Затерянный мудрецъ», «Красный цвѣтокъ», «Женская чепуха» и др. Написалъ юмористическіе очерки—«Дачный мужъ» сборники «Добродушные разсказы,», «Невинные вопросы», романы «Гордіевъ узелъ» и «Милліонъ терзаній».

Всюду разлитъ тонкій, живой и задушевный юморъ у этого даровитаго писателя.

§ 12. Въ 1892 году скончался Фетъ; въ 1893 — Плещеевъ и Апухтинъ; въ 1897 — Майковъ; въ 1898 — Полонскій... Изъ старой школы поэтовъ перешагнули порогъ XX-го вѣка только Случевскій, Кусковъ и Жемчужниковъ.

Тихо удаляются старческія тѣни,
Душу заключавшія въ звонкіе кристаллы.
Званы еще многіе въ царствѣ пѣснопѣнія,
Избранныхъ, какъ прежніе, — ужъ почти не стало.

(Владиміръ Соловьевъ).

Произведенія Апухтина отличаются умомъ, обработкою формы, но вообще стихотворенія его холодны. Лучшая изъ его поэмъ — «Годъ въ Монастырѣ». Въ 4-мъ изданіи его сочиненій вошелъ цѣлый томъ прозы. Превосходна его повѣсть «Архивъ графини Д.» разительная картина свѣтскихъ нравовъ. Затѣмъ замѣчательна «недоконченная повѣсть», помѣщенная въ «Вѣстн. Евр.» (1896 г. № 3—6), рисующая эпоху Севастополя и возрожденіе 50-хъ годовъ.

Константинъ Константиновичъ Случевскій — выдающійся поэтъ и прозаикъ. Сочиненія его въ 6 томахъ изданы въ 1898 г. Порою онъ страдаетъ небрежностью формы, прозаизмомъ, порою вычурностью, почти декадентствомъ. Но это поэтъ глубоко интересный. Какъ хороша его поэма «Въ снѣгахъ»! Его баллады, фантазіи и сказки замѣчательны своей картинностью. Случевскій — философъ, и его прозаическая поэма «Профессоръ безсмертія», одна уже могла-бы сдѣлать ему имя. Изъ послѣднихъ его произведеній интересны «Пѣсни изъ уголка». Поэтъ-гражданинъ, Жемчужниковъ занимаетъ почетное мѣсто въ нашей поэзіи, хотя бы рядомъ съ Рылѣевымъ. Гражданская ода Жемчужникова — всегда плодъ глубокаго убѣжденія и искренняго чувства. Форма — превосходна.

Послѣдніе годы творчества Полонскаго обогатили нашу лирику нѣсколькими прекрасными стихотвореніями. До конца поэтъ оставался вѣрнымъ возвышеннымъ пушкинскимъ традиціямъ, смѣло бросая перчатку толпѣ.

По торжищамъ влача тяжелый крестъ поэта,
    У дикарей пощады не проси.
Молчи и не зови ихъ въ скинію завѣта,
    И съ ними жертвъ не приноси.
... И если чернь слѣпа, не жаждетъ и не проситъ,
    И если свѣтъ, къ злу равнодушный свѣтъ,
Надменно, какъ трофей свои оковы носитъ,
    Знай, что для нихъ поэта нѣтъ...

Когда-то поэтъ двадцатыхъ годовъ, пушкинской плеяды, слѣпецъ Козловъ написалъ дивную романтическую элегію:

Вечерній звонъ! Вечерній звонъ!
Какъ много думъ наводитъ онъ.

Подъ вечеръ столѣтія и на склонѣ долгой жизни Полонскій откликается на голосъ пѣвца пушкинской плеяды въ своемъ стихотвореніи «Вечерній звонъ».

На всѣ призывы безъ отзыва
Идетъ къ концу мой сѣрый день...
И дрогну я, и терпѣливо
Жду... Приходи, святая тѣнь!
Я къ ночи сердцемъ легковѣрнѣй,
Я буду вѣрить какъ-нибудь,
Что ночь, гася мой свѣтъ вечерній,
Укажетъ мнѣ на звѣздный путь.
Вечерній звонъ!.. и въ отдаленьи,
Сквозь гулъ тревоги городской,
Пророчь мнѣ къ ночи вдохновенье,
Или—могилу и покой.
Но жизнь и смерти призракъ—міру
О чемъ-то вѣчномъ говорятъ,—
И какъ ни громко пой ты,—лиру
Колокола перезвонятъ.

Предчувствія смерти и глубокое утомленіе отъ пережитыхъ волненій долгой жизни выражены въ двухъ превосходныхъ пьесахъ «Сѣрые годы» и «Выжатые лимоны».

Всѣ эти годы сѣрые,
    День—изо—дня,
Влачилъ почти безъ вѣры я
    Въ сны бытія.
Не такъ и жить хотѣлось мнѣ,
    Какъ мнѣ жилось,
И ужъ давно не пѣлось мнѣ,
    Безъ прежнихъ грезъ.
И все, чѣмъ сердце грѣлося,
    Чтя красоту,
Въ минутный блескъ одѣлося
    И въ суету.
И суета наскучила,
    И отошло
Все, что когда-то мучило—
    И обожгло...
Одинъ лишь крикъ подавленный
    Оставилъ слѣдъ
Недугами отравленный
    На склонѣ лѣтъ.
Лишь смерть, свой вѣчный ликъ тая
    Пока я жилъ,

Подслушаетъ все то, что я
Въ груди таилъ.
Разбудитъ безотвѣтнаго
На ужасъ сновъ.
И со всего завѣтнаго
Сорветъ покровъ...

Старческой безнадежностью проникнута небольшая поэма «Выжатые лимоны», заставляющая удивляться искусству, съ которымъ поэтъ и изъ «выжатыхъ лимоновъ» выжалъ поэзію...

Въ ночь цвѣты полярной флоры
Разрослись на томъ стеклѣ:
Рдѣютъ бѣлые узоры,
Уловляя въ сѣрой мглѣ
Пурпуръ солнца, блескъ лучистый,
Розовато-золотистый...
Въ томъ-же розовомъ огнѣ,
Въ полосѣ луча и пыли,
Золотились на окнѣ
Два лимона: ихъ забыли
И не выкинули ихъ...
Два лимона,—какъ два брата.—
Оба выжаты...
...Съ дѣтства мыслящій старикъ,
То-же смятый, онъ не даромъ
Оглянулся—и поникъ
У стола, за самоваромъ.
Самоваръ его потухъ,
Но еще таилась сила,—
Паръ таился въ немъ,—и вдругъ
Мѣдь его заголосила,
Тихо стала пѣть и ныть...
. . . .
...Какъ-бы сквозь сонъ,
Бормоталъ онъ: «Боже правый!
Денегъ жаждетъ міръ лукавый,
Глупый гонится за славой,
Ропщетъ выжатый лимонъ!»

§ 13. Въ 1887 г. вышелъ сборникъ стихотвореній Константина Михайловича Фофанова. Сборникъ обратилъ на себя вниманіе, хотя при несомнѣнномъ дарованіи поэта, стихи его поражали неряшливостью и небрежностью. Безпечной и неряшливой долго оставалась муза поэта, но когда въ 1896 году вышло пять частей его стихотвореній: «Маленькія поэмы», «Этюды въ рифмахъ», «Снѣгурочка», «Майскій шумъ» и «Монологи» — знатоки дѣла увидѣли громадный шагъ впередъ, сдѣланный со времени перваго сборника поэтомъ. Изъ всей «туманности» поэтовъ 80-хъ и 90-хъ годовъ, не исклю-

чая и симпатичнаго Надсона, строго говоря только одинъ Фофановъ есть поэтъ истинный, «Божіею милостью», которому свойственна стихотворная форма, какъ плоть его духа, лирикъ, среди стиховъ своихъ давшій такія вещи, которыя можно поставить въ рядъ съ пьесами Майкова и Фета, и стихи не поблекнутъ. Приведемъ нѣсколько примѣровъ.

Здѣсь отуманилъ,
Тамъ проблеснулъ
Свѣтлый день мая,
Праздничный гулъ.
Тамъ зарумянилъ
Тучки небесъ
И, угасая,
Въ морѣ исчезъ!
Въ тихую прелесть,
Въ блескъ и цвѣты
Жизнь наряжаетъ
Наши мечты.
Отблескъ и шелестъ,
Море и лѣсъ,
Все открываетъ
Міръ для чудесъ!
Душу, какъ прежде,
Сны и любовь
Въ свѣтлый день мая
Мучаютъ вновь.
Сердце надеждѣ
Гимны поетъ.
И, умирая,
Дружбу зоветъ...

(Майскій шумъ).

Какая грація, легкость, непринужденность... Положительно, только у поэтовъ первой четверти вѣка пѣсня такъ естественно свободно лилась изъ груди.

Судьба—моя кудесница.
Для милыхъ сновъ, для нѣжныхъ словъ.—
Любовь—тоски предвѣстница,
Согрѣй меня весной огня...
Весна—любви ровестница!
Идетъ весна при шумѣ водъ,
Цвѣты кропитъ, въ цвѣтахъ поетъ..,
Идетъ весна,—встаетъ отъ сна
Кто солнцу милъ, кто вѣрой жилъ,
Чья дума не разгадана.,,
Ползетъ съ могилъ, какъ дымъ кадилъ,
Туманъ душистѣй ладана!..

(Весенняя запѣвка).

Эта пьеса производитъ впечатлѣніе чародѣйнаго наговора любовнаго. Послѣдніе два стиха—верхъ совершенства! Оригинальность формы, ритма все говоритъ, что предъ нами настоящій поэтъ—самородокъ.

Гдѣ ты молодость моя?
Гдѣ растратилъ я тебя,
Вдохновеніе губя,
Въ шумномъ вихрѣ бытія?
Не въ бою, среди огня,
Не въ любви, въ огнѣ страстей.
Ты измучила меня
Знойной горечью своей!
Не найти мнѣ никогда
Похороненныхъ надеждъ,
Ихъ въ румяные года
Растоптали позоръ невѣждъ.—
И теперь у ихъ пути
Старость гнѣвная стоитъ.
И клюкой своей стучитъ,
Медля къ гробу подвести...

Быть можетъ, въ первую минуту подчеркнутыя выраженія покажутся вульгарными? Но нѣтъ, они въ стилѣ этой, какъ-бы застольной, разудально печальной пѣсни...

Догоралъ закатъ
Золотыхъ небесъ,
Поблѣднѣлъ—исчезъ...
И дремалъ нашъ садъ
И звенѣлъ раскатъ
Соловьевъ ночныхъ
Изъ аллей глухихъ—
Сладострастіемъ...
Я касался рукъ,
Блѣдныхъ рукъ твоихъ,
Изнывалъ отъ мукъ,
Замиралъ,—какъ звукъ
Полный счастіемъ.
Я молилъ, любя,
И рыдалъ, скорбя,
У любимыхъ ногъ,
Какъ люблю тебя
Разсказать не могъ.
И опять, и вновь
Проклиналъ любовь,—
Но пылала кровь
Безпокойная.
И къ душѣ твоей,—
Въ глубину очей,—

Все рвалась сильнѣй
Вѣчно—знойная
Страсть души моей
Недостойная.

(Разлука).

Возьмемъ теперь другой рядъ пьесъ, писанныхъ въ иной гаммѣ.

Голубая неба мгла
Душнымъ пологомъ легла
И, тоскуя, обожгла
Запыленную листву.
По обрывамъ, у канавъ
Вьются пчелы —и припавъ
Къ стебелькамъ зеленыхъ травъ,—
Мнится —грезятъ на яву.
Зной, повсюду тяжкій зной!
И томленье, и покой.—
Лишь оборванной струной
Шмель, летая, дребезжитъ.
За лѣсами,—цѣпь холмовъ
Изъ косматыхъ облаковъ:
Вихремъ молній и громовъ
Небо издали грозитъ!

Можно-ли совершеннѣе изобразить картину предгрозового зноя въ лѣтній полдень?

Все таетъ, все каплетъ, все таетъ...
Снѣга помутнѣли и съ крыши
Серебряный дождь упадаетъ...
Все таетъ... все тише и тише!
Послѣднія слезы мороза
Румяное солнце лобзаетъ.
Послѣдняя зимняя греза
Звенитъ, и дымится, и таетъ!

Какъ прекрасны и смѣлы два послѣдніе стиха!

Все таетъ... но грустно и больно
Внимать пробужденному шуму...
Встрѣчая весну богомольно
Я тяжкую думаю думу -
Все таетъ, надежды и годы...
И память о миломъ когда-то,
Какъ ледъ пробужденной природы,
Растаетъ... уйдетъ безъ возврата.
И дружба, какъ счастье, не вѣчна,
И сердце, какъ слезы, остынетъ.

И все, что лелѣемъ сердечно
Усталую память покинетъ.

Таковы всѣ отзвуки природы въ поэзіи Фофанова.

Приведемъ еще пьесу, чтобы показать разнообразіе средствъ поэта. Эта пьеса называется «Оживленное эхо».

«Оно родилось на зарѣ; оно родилося случайно, когда весь лѣсъ молчалъ, какъ тайна, въ своемъ росистомъ серебрѣ. Оно родилося въ тотъ мигъ, когда грибы они сбирали и молодой ихъ перекликъ звучалъ и таялъ въ синей дали. Ихъ жизни радостный разсвѣтъ былъ озаренъ мечтой крылатой: ему едва минулъ двадцатый, а было ей шестнадцать лѣтъ...

«Они ушли — умолкнулъ лѣсъ и ждалъ ихъ новаго прихода; его таинственный навѣсъ темнѣлъ пышнѣе годъ отъ года. И вотъ опять пришли они. Онъ былъ старикъ, она старуха, и эхо, спавшее въ тѣни, вновь долетѣло имъ до слуха. То откликъ былъ иныхъ дѣтей, иныхъ безпечныхъ и влюбленныхъ, гулявшихъ здѣсь въ тѣни зеленыхъ, въ тѣни застѣнчивыхъ вѣтвей... Услыша бойкій отзвукъ смѣха, какъ откликъ юности былой вдругъ, улыбаяся на эхо, она поникла головой. И онъ все пережилъ мгновенно, что было прожито давно. Онъ прошепталъ ей вдохновенно: «Опять родилося оно!»

Манера Фофанова чрезвычайно разнообразна. Ему прекрасно удаются баллады и сказки въ стихахъ. Къ чему онъ прикоснется, — то обращается въ поэзію. Вотъ два стихотворенія, которыми могъ-бы гордиться первокласный лирикъ.

Муха.

Весенній шумъ едва коснулся слуха,
Весенній лучъ едва блеснулъ очамъ, —
За стеклами тепломъ согрѣтыхъ рамъ
Проснулася съ жужжаньемъ звонкимъ муха.
Затворница воскресшая жужжитъ,
Стеклянную темницу облетая,
И рвется вдаль, гдѣ свѣтитъ золотая
Лазурь весны — и міръ животворитъ.
Я отворилъ стеклянную тюрьму —
Затворница исчезла точкой темной
Въ лазури дня... зачѣмъ ей міръ огромный
И запахъ травъ, и ропотъ волнъ къ чему?
Рожденная въ искусственномъ теплѣ,
Дитя жилищъ и суетнаго шума,
Докучная, какъ будничная дума,
И жадная, какъ алчность на землѣ!
Лети, лети тяжелымъ вздохомъ дня, —
Не докучай тревогою земною...
Лети!.. лети! О, если бы съ тобою
И грусть заботъ покинула меня

Шарманщикъ.

Усталый и блѣдный сіяющимъ днемъ
Шарманщикъ играетъ у насъ подъ окномъ.
Сбѣгаются дѣти послушать игру.
Пришлася шарманка его ко двору.
Онъ вертитъ шарманку, на окна глядитъ:
Шарманка тоскуетъ, шарманка визжитъ.
Унылые звуки, несвязные сны!
Зачѣмъ вы звучите кошмаромъ весны?
Зачѣмъ отголоскомъ счастливыхъ людей
Вы плачете, звуки, въ печали своей?
Вамъ дѣти внимаютъ наивной душой,
Да камень холодный, поросшій травой,
Да сердце, печальное сердце одно,
Гдѣ звякнуло тихо раскрывшись окно.
И тонкіе пальцы дрожащей руки,
Подъ робкіе звуки пѣвучей тоски,
Роняютъ, какъ слезы, монеты, затѣмъ,
Чтобъ дворъ оставался по прежнему нѣмъ,
Чтобъ дряхлые звуки шарманки твоей
Не вызвали-бъ слезы изъ тусклыхъ очей,
Чтобъ слаще дремали въ беззвучной тиши
Разбитыя струны разбитой души!..

§ 14. Послѣ Фофанова, поэта конца вѣка, на которомъ почилъ истинный геній вдохновенія, надо назвать еще укрывающагося подъ двумя буквами К. Р.[307]) даровитаго лирика.

Талантъ не крупный, но чистой воды; школа въ традиціяхъ поэтовъ 40-хъ годовъ, большая обработанность формы и оригинальный колоритъ поэзіи К. Р. ставятъ его въ рядъ выдающихся современныхъ стихотворцевъ. Въ первомъ сборникѣ его особенно милы «Письма про алые цвѣты». Намъ не очень нравится, обыкновенно приводимая пьеса — «Я баловень судьбы». Она не достаточно проста. Но сколько чистоты и свѣжести въ этой пьескѣ:

Повѣяло черемухой,
Проснулся соловей,
Ужъ пѣснью заливается
Онъ въ зелени вѣтвей.
Учи меня, соловушко,
Искусству своему!
Пусть пѣснь твою волшебную
Прочувствую, пойму.

---

[307]) То-есть, Константинъ Романовъ. Подъ этими литерами пишетъ Великій Князь Константинъ Константиновичъ, президентъ Академіи Наукъ.

Это прелестно!

Кромѣ поэмы «Себастіанъ — мученикъ» — прекрасной поэмы, въ стихотвореніяхъ поэта (1889—1899) находимъ глубокую небольшую поэму «Будда».

Подвижникъ стоитъ на скалѣ, вытянувъ руки, и ласточка «гнѣздо въ изсохшей длани безбоязненно вила».

И въ рукѣ его простертой,
Средь заоблачныхъ высотъ,
Много птенчиковъ крылатыхъ
Выводилось каждый годъ.

Но вотъ ласточки облетѣли подвижника, и тайно отъ самого себя ожидавшій ихъ аскетъ заплакалъ...

Въ стихотвореніяхъ К. Р. — 90-хъ годовъ — гораздо болѣе мужественная обработка. Нѣкоторыя превосходны, напримѣръ «Въ дѣтской»:

Крошка, слезы твои такъ и льются ручьемъ,
И прозрачнымъ сверкаютъ въ глазахъ жемчугомъ.
Вѣрно, няня тебя въ садъ гулять не ведетъ?
Погляди-ка въ окно: видишь, дождикъ идетъ.
Какъ и ты, словно плачетъ развѣсистый садъ,
Изумрудныя капли на листьяхъ дрожатъ.
Полно, милый, не плачь и про горе забудь!
Ты головку закинь: я и въ шейку, и въ грудь
Зацѣлую тебя. Слезы въ глазкахъ твоихъ
Голубыхъ не успѣютъ и высохнуть, въ нихъ
Ужъ веселье блеснетъ: въ пухлыхъ щечкахъ опять
Будутъ взоръ мой двѣ мягкія ямки плѣнять;
И зальешься ты хохотомъ звонкимъ такимъ,
Что и самъ небосводъ синимъ окомъ своимъ
Засіяетъ тебѣ изъ-за сумрачныхъ тучъ,
И сквозь капли дождя брызнетъ солнышка лучъ.

Такая трудная форма, какъ сонетъ, дается поэту; вотъ прекрасная пьеса:

Взятъ отъ сохи, полей вчерашнихъ житель,
Ты на часахъ сегодня, рядовой,
Недремлющій терпѣнья выразитель,
Неколебимъ, могучъ и твердъ душой.
Предстань тебѣ крылатый небожитель
И повели съ поста сойти долой,
Не внялъ-бы ты; лишь тотъ твой повелитель,
Чьимъ словомъ здѣсь стоишь ты, часовой.
Твоя рука оружья не положитъ,
Тебя ничто лишить его не можетъ,
Ты лишь Царю отдать его готовъ.
Въ глазахъ толпы пусть твой удѣлъ ничтоженъ,

Нѣтъ, на тебя великій долгъ возложенъ:
Здѣсь на посту ты Божій да Царевъ!

Кромѣ оригинальныхъ произведеній, К. Р. издалъ переводъ «Гамлета» съ обширными комментаріями.

Въ 1900 г. вышло третье изданіе стихотвореній Владиміра Соловьева. Пьесы въ него вошедшія печатались въ 1895—1900 г.г. въ «Вѣстникѣ Европы». Философъ не обладалъ, конечно, глубокимъ даромъ поэта, однако стихи его прекрасны. Въ нихъ много чувства, мысли, хорошая форма, благозвучіе, большой вкусъ. Стихотвореніе его «Ex oriente lux» всѣми запомнилось, особенно заключительная строфа:

О, Русь! въ предвидѣньѣ высокомъ
Ты мыслью гордой занята;
Какимъ-же хочешь быть Востокомъ:
Востокомъ Ксеркса иль Христа?

Приведемъ послѣднее стихотвореніе Владиміра Сергѣевича Соловьева, не вошедшее въ собраніе, написанное имъ къ «бѣлымъ колокольчикамъ» 8-го іюля въ Пустынькѣ (имѣніе пок. поэта гр. Ал. К. Толстого):

Въ грозные, знойные,
Лѣтніе дни—
Бѣлые, стройные
Тѣ-же они.
Призраки вешніе
Пусть сожжены —
Здѣсь вы, нездѣшніе,
Вѣрные сны.
Зло пережитое
Тонетъ въ крови,—
Всходитъ омытое
Солнце любви.
Замыслы смѣлые
Въ сердцѣ больномъ,—
Ангелы бѣлые
Встали кругомъ.
Стройно—воздушные
Тѣ-же они,
Въ тяжкіе, душные
Грозные дни.

31-го іюля 1900 г. Владиміра Соловьева не стало...

Намѣченныя еще три года назадъ важныя работы философа—его «Теоретическая философія», «Оправданіе Истины» и вмѣстѣ съ нею задуманный коментарный переводъ Св. Писанія за такой краткій промежутокъ времени конечно не могли подвинуться далеко впередъ. И вотъ его не стало.

самые зрѣлые, быть можетъ, труды остались незавершенными. Остановился и переводъ твореній Платона. У русскаго общества въ наши дни и въ данной области мысли это былъ едва ли не единственный работникъ, вполнѣ вооруженный знаніями въ уровень современному ихъ росту, настоящій ученый и докторъ, но къ тому же одаренный литературнымъ краснорѣчіемъ, талантомъ публициста и поэта, и свободный духомъ отъ всякой рутины. У насъ обиліе талантливыхъ любителей, даже съ проблесками большой мыслительной силы, которые берутъ истину чутьемъ, догадкой, именно талантливостью ее завоевываютъ. Но тѣмъ драгоцѣннѣе логическая голова специалиста, не утонувшаго въ мелочахъ своей специальности, вооруженнаго съ ногъ до головы, но не задушеннаго этимъ вооруженіемъ, призваннаго паладина нравственной и философской мысли.

На моемъ экземплярѣ перваго изданія «Оправданія добра» дружеская рука автора набросала шутливо — глубокомысленное четверостишіе. Вотъ оно:

Явился я на свѣтъ подъ знакомъ Водолея...
Читатель! не страшись и смѣло воду пей!
Она не отъ меня, ее нашелъ въ скалѣ я:
Изъ камня Истины выходитъ мой ручей.

Мнѣ всегда думалось, что философъ ошибался. Не Водолей тотъ знакъ, подъ которымъ онъ родился, а Сатурнъ. Подъ знакомъ этой мистической планеты родились и живутъ всѣ идеалисты «конца вѣка».

Рожденные подъ знакомъ Сатурна не бываютъ счастливыми баловнями житейскихъ успѣховъ. Загадка жизни и смерти, неизъяснимая тайна міроздания и скорбныхъ судебъ человѣчества ихъ томитъ и тревожитъ.

Они отворачиваются отъ даровъ житейскихъ, которые надо покупать цѣною примиренія съ житейской пошлостью, низостью, даже грязью: покупать цѣною равнодушія къ истинѣ и правдѣ. Жгучій уголь вложенъ въ ихъ грудь, жажда въ уста, но жажда струй чистыхъ, вѣчныхъ, небесныхъ...

Почему заглавіе—«Оправданіе добра»—сердило? Никто не отдавалъ себѣ отчета. А между тѣмъ совершенно понятно, почему оно вызывало раздраженіе. Вѣдь это лучшая сатира на высоко-цивилизованное общество, которое все «прошло», — и права, и этику, и небо позналo, и утробу земную, все знаетъ —

Какъ лѣсъ цвѣтетъ!
Какъ грибъ растетъ!

Въ этомъ невинномъ заглавіи столько желчи, сарказма, прямо гнѣва идейнаго.

«Да, какъ бы говорилъ философъ, въ средѣ цивилизованнаго человѣчества fin de siècle, добро нужно оправдывать. Быть можетъ всего болѣе тре-

буетъ оно оправданія именно въ глазахъ искушенныхъ совопросниковъ міра сего», мудрецовъ, стоящихъ на верху горы. Оглянитесь вокругъ себя. Что вы увидите? Добро, поруганное, въ толчки выгнанное изъ всѣхъ дверей, плетущееся бокомъ, узкой тропинкой, избитое, окровавленное».

«Добро есть добро. Добро въ оправданіи не нуждается!» — кричите вы, бія себя въ грудь. Да, конечно, добро не требуетъ оправданія для себя самого, но для васъ это оправданіе необходимо. Уже потому необходимо, что въ тайнѣ вы поклоняетесь «умному злу»; отожествляете умъ со зломъ. Добро же вамъ кажется глупенькимъ. Невинно блеящій барашекъ, отдающій шерсть, сало, нерѣдко кожу и мясо, и кушающій одну травку... Развѣ вамъ хочется быть такимъ барашкомъ? Вашъ идеалъ — хищный волкъ съ лязкающими бѣлыми зубами и глазами, горящими какъ свѣчи, кровожадный, неслышно подкрадывающійся къ добычѣ тигръ, цѣпкій удавъ, лукавая лисица. Вамъ хочется мясца съ кровушкой, а вовсе не добродѣтельнаго вегетаріанскаго сѣнца... «Добро есть добро! Красота есть красота! Идеалъ есть идеалъ!» Но знаете ли, двери рая отверсты, ихъ никто не сторожитъ. Вы подходите, заглядываете и... отходите прочь. Эта правильная, чистая, небесная красота кажется вамъ скучной, это совершенное райское благо — прѣснымъ. Васъ манитъ именно адъ со смрадцой и грязцой, но близкій вамъ и понятный. Много ли среди васъ искренно любятъ фуги Баха, мадоннъ Перуджино и Рафаэля, поэмы Гомера и Данте — строгое, высокое, божественно-чистое искусство? Очень немногіе. Большинство предпочитаетъ романъ съ бульварно-сальными приключеніями, жирную олеографію, шарманочные мотивчики. Въ вашей средѣ надо добро усиленно оправдывать. Потому что оно давно безповоротно обвинено, да къ тому же краснорѣчивѣйшими прокурорами міра сего. Добро обвинено, какъ глупенькое и скучноватое. Дѣвственная красота прѣсна предъ смрадной прелестью и заманивающей тайной порока. И дѣло философа снять катаракты съ вашего мозга, возродить вашъ извращенный вкусъ, доказать, что именно зло и порокъ — скучны, глупы, пошлы, однообразны. И повѣрьте — это далеко не легкая задача.

Свѣтлымъ, непорочнымъ именемъ Владиміра Соловьева заключимъ мы послѣднюю страницу нашей лѣтописи. Сто лѣтъ труда! Сто лѣтъ великихъ страданій и самоотверженной борьбы! И вотъ предъ нами великая, прекрасная литература. Да послужитъ же чистое имя русскаго мыслителя залогомъ и дальнѣйшаго духовнаго служенія этой литературы. Пусть не сякнетъ въ ней творческій геній и въ то-же время, останется она честной, и русскій писатель, превыше всего, превыше похвалъ, благъ временныхъ, страдая, любя свой народъ и родину, въ мукахъ слова изнывая, да ставитъ наименованіе писателя честнаго.

ПРИЛОЖЕНІЯ

А.

Синхронистическая таблица литературы съ 1850 по 1900 гг.

1850. [Бальзакъ, Бастіа, Водсвортъ †.—Шопенгауеръ: «Parerga und Paralipomena».—Гуцкова «Рыцари духа».—«Copperfield»].

— «Тюфякъ», Писемскаго.

1851. [Wesen der Religion», Фейербаха. — Ruskin: «The stones of Venice». — Гейне: «Romanzero»].

— «Вѣчный жидъ», Жуковскаго.—«Записки Тамарина», Авдѣева.—«Пропилеи», Каткова и Леонтьева (1851—1857).

1852. [Томасъ Моръ†.—«Edmund», Тэккерея.—«La dame aux camélias».—Куно Фишера: «Исторія новой философіи». (1852—1878)].

— Жуковскій, Гоголь, Загоскинъ, Шаликовъ†.—«Бѣдная невѣста».—«Записки охотника».—«Казаки» гр. Л. Н. Толстого.—«Записки ружейнаго охотника», С. Т. Аксакова.—«О родовомъ бытѣ у славянъ»—К. Аксакова.—«Московскій сборникъ».—«Три смерти», Майкова.

1853. [Крымская война. — Открыты свайныя постройки. — Knies «Politische Okonomie vom Standpunkt der geschichtlichen Methode»].

— «Не въ свои сани не садись». —«Русь», стихотвореніе Никитина.

1854. [Ламене. Бланки †.—Момсенъ. «Римская исторія». Newcomes].

— «О характерѣ просвѣщенія Европы», Кирѣевскаго. — «Бѣдность не порокъ».—Стихи Тютчева въ «Современникѣ».—Достоевскій отбылъ каторгу.

1855. [Freitags «Soll und Haben».—Бюхнеръ: «Kraft und Stoff»].

— Грановскій †. — Батюшковъ †. — Кончина Николая I-го. — Александръ II-й. — Сдача Севастополя. — «Яковъ Пасынковъ». —«Свадьба Кречинскаго» на московской сценѣ.—«Очерки гоголевскаго періода» Н. Г. Чернышевскаго. — «Эстетическое отношеніе искусства къ дѣйствительности», его-же. —«О мысли въ произведеніяхъ изящной словесности».— Анненкова. Записка Константина Аксакова: «О внутреннемъ состояніи Россіи». Знакомство Добролюбова съ Чернышевскимъ.

1856. [Огюстинъ Тьерри †.—Лютце: «Mikrokosmos»].
— Иванъ и Петръ Кирѣевскіе †.—Чаадаевъ и Надеждинъ †.—«О возможности и необходимости новыхъ началъ въ философіи», Ив. Кирѣевскаго.— «Вопросы жизни». Пирогова.—«Русскій Вѣстникъ», Каткова и Леонтьева. — «Рудинъ», — «Губернскіе очерки». — «Фаустъ». — «Фрегатъ Паллада». — «Семейная хроника», С. Т. Аксакова. — «Доходное мѣсто». — Плещеевъ возвращенъ изъ ссылки.

1857. [Беранже †.—О. Контъ †.—Сю †.—Мюссе †.—«Little Dorrit»]. [Переводъ Ниневійской клинописи].
— «Изъ записокъ князя Нехлюдова».—Начало освобожденія крестьянъ.

1858. [Новая эра въ Пруссіи.—Ж. Эліотъ: «Adam Bede».—«Виргинцы», Тэккерея].
— «Ася». — «Обломовъ». — «Тысяча душъ». — «Дѣтскіе годы Багрова внука». — «Пѣсни Гейне», въ переводѣ Михайлова. — «О нравственной стихіи въ поэзіи», Ор. Миллера.—«Общинное владѣніе», Чернышевскаго.— Добролюбовъ, о Станкевичѣ.—Шевченко получилъ право жительства въ столицахъ.—«Кулакъ», поэма Никитина.

1859. [Маколей †.—«Происхожденіе видовъ», Дарвина.—Война за итальянскую независимость.—Спектральный анализъ].
— «Дворянское гнѣздо».—«Семейное счастье». гр. Л. Н. Толстого. — «Что такое обломовщина?» и «Темное царство», Добролюбова.—«Искра».—«Парусъ». —Достоевскій возвращенъ изъ ссылки.

1860. [Шопенгауеръ. †.—Шпильгагена: «Problematische Naturen». —Гарибальди въ Сициліи].
— Хомяковъ и К. Аксаковъ †.—«Капиталъ и трудъ», «Антропологическій методъ въ философіи», «Политическая экономія Милля съ примѣчаніями», Чернышевскаго.—«Когда-же придетъ настоящій день?» и «Лучъ свѣта въ темномъ царствѣ». Добролюбова.—«Наканунѣ».—«Подводный камень», Авдѣева. —«Псковитянка», Мея.

1861. [Скрибъ и Мюрже †].
19-е февраля: Освобожденіе крестьянъ отъ крѣпостной зависимости.
— Добролюбовъ, Никитинъ и Шевченко †. — «Стоячая вода» и «Женскіе типы». Писарева. —«Униженные и оскорбленные».—«Записки изъ мертваго дома».—«Мѣщанское счастье».—«Молотовъ».—«Князь Серебряный».

1862. [«Les Misérables». Victor Hugo.—Флобера. «Salambo».—Бисмаркъ министръ—президентъ.—Интернаціональная рабочая ассоціація.—«Zurück zu Kant!»—Изобрѣтенъ динамитъ].
— Мей †. — «Отцы и дѣти». — Статьи о романѣ «Отцы и дѣти» Антоновича и Писарева. — Чернышевскій арестованъ.

1863. [Датская война. — Шлезвигъ — Гольштейнъ взятъ нѣмцами. — Тэккерей †.—Альфредъ Виньи †.—Ренанъ, «Vie de Jésus». — «Utilitarianism,», S. Mill.].
— Польское повстанье.—Помяловскій †.—«Что дѣлать?»,—«Взбаломученное море»,—«Кузнечикъ музыкантъ»,

1864. [Догматъ непогрѣшимости («Sillabus») Пія IX-го. — Эберса: «Дочь египетскаго царя»].

— Дружининъ, Апол. Григорьевъ и Шевыревъ †. — Тургенева: «Довольно». — «Подлиповцы», Рѣшетникова. — «Гнилыя болота». — «Реалисты», Писарева.

1865. [«Auguste Conte and positivism», S. Mill.—Ланге: «Geschichte des Materialismus».—Юліана Шмита: «Geschichte des deutschen Nationallitteratur seit Lessings Tode».—Гонкуровъ: «Germinie Lacerteux».

— Отмѣна предварительной цензуры. — «Разрушеніе эстетики» и «Пушкинъ и Бѣлинскій», Писарева.—«Жизнь Шупова», Шеллера. — «Некуда», Лѣскова.—«Трудное время», Слѣпцова.—«Воевода», Островскаго.

1866. [Бисмаркъ — канцлеръ.—Гамерлингъ, «Агасферъ въ Римѣ»].

— «Нравы Растеряевой улицы», Гл. Успенскаго. — «Смерть Іоанна Грознаго», гр. Ал. К. Толстого. —Писаревъ вышелъ изъ крѣпости. —«Война и миръ» (1866—1869).

1867. [Викторъ Кузенъ †.—«Капиталъ» (I т.), Карла Маркса.—Динамомашина Сименса.—Goncourt, «Manette Salomon»].

— «Дымъ». —«Петербургскія трущобы» Вс. Крестовскаго. —«Дмитрій Самозванецъ», «Василій Шуйскій», и «Тушино», Островскаго.— «Слобода Неволя», Аверкіева.

1868. [Ауербахъ: «Дача на Рейнѣ»].

— Писаревъ †.—Кукольникъ †.— «Обрывъ».— «Идіотъ».—«Василиса Мелентьева», Островскаго.—«Царь Өедоръ Іоанновичъ», гр. А. Толстого. «Фролъ Скобѣевъ», Аверкіева.—«Отечественныя Записки» Некрасова и Щедрина.

1869. [Ламартинъ. Сентъ-Бёвъ †. — Гартманъ: «Философія безсознательнаго».— «The subjection of women», S. Mill.—Flaubert: «L'éducation sentimentale».— Гамерлингъ, «Царь Сіона».—Стихотворенія Ады Кристенъ].

— Щербина †.—Лажечниковъ †. —«Преступленіе и наказаніе». —«Что такое прогрессъ?» Н. К. Михайловскаго.

1870. [Дюма, отецъ †. —Проспэръ Мериме †. —«L'homme qui rit». —Франко-прусская война. —Вильгельмъ I, императоръ Германіи. —Бисмаркъ канцлеръ].

— Уничтоженіе парижскаго трактата о флотѣ на Черномъ морѣ. —Герценъ †. —«Слоевой составъ русскаго эпоса», Ор. Миллера. —«Азбука», Гр. Л. Н. Толстого. — «Вѣчный мужъ», Достоевскаго. —«Шагъ за шагомъ», Омулевскаго.—«Царь Борисъ», гр. А. Толстого.

1871. [Пьеръ Леру †. —Старокатолики. —«Происхожденіе человѣка», Дарвина. — Зола: «Les Rougon Macquart»].

— Рѣшетниковъ †. —«Вешнія воды». —«Бѣсы».— «Дѣльцы», Боборыкина. —«Николай Негоревъ», Кущевскаго.

1872. [Теофиль Готье †. —Fr. Nietzsche, «Die Geburt der Tragödie».—Брандесъ: «Литература IX-го столѣтія»].

— Павелъ Якушкинъ †. —«Въ лѣсахъ». —«Каширская старина».— «Два міра», Майкова. — «Соборяне», Лѣскова. — «Сказки Кота-Мурлыки», — «Изъ деревни», А. Н. Энгельгардта.

1873. [Стюартъ Милль †. — Nietzsche: «Unzeitgemässe Betrachtungen» (1873—1876).—Наполеонъ III-й †].

— Тютчевъ †. — «Снѣгурочка», Островскаго. — «Запечатлѣнный ангелъ», Лѣскова. — «Безъ исхода», Станюковича. — «Марина изъ Алаго Рога», Болеслава Маркевича. — «Мими», Полонскаго. — «Идеализмъ, идолопоклонство и реализмъ». Михайловскаго.

1874. [Жюль Жаненъ.—Flaubert, «La tentation de St. Antoine»].

— «О народномъ образованіи», гр. Льва Ник. Толстого. — «Хроника села Смурина», Засодимскаго.—«Горе селъ, дорогъ и городовъ», Левитова.—«Крестьяне присяжные», Златовратскаго. — «Бродячая Русь», Максимова.—«Девятый валъ», Гр. Данилевскаго. —«Портретъ», гр. Ал. К. Толстого.—Крушеніе «С.-Пбургскихъ Вѣдомостей», Корша.

1875. [Съѣздъ марксистовъ и лассалистовъ въ Готѣ.—Нѣмецкая соціалъ-демократія.—Изобрѣтеніе телефона].

— Гр. Ал. Толстой †. — Бенедиктовъ †. — «Анна Каренина». — «Подростокъ».—«На горахъ».—«Парижскія письма» Эмиля Зола въ «Вѣстникѣ Европы».

1876. [Жоржъ Зандъ †. —Флоберъ: «Trois Contes». — Бейрутскій театръ Рихарда Вагнера].

— Славянское возстаніе. — «Новое Время», А. С. Суворина. — «Дневникъ писателя», Достоевскаго.—«Черноземныя поля». Евг. Маркова.—«Сила характера», Смирновой.—«Около денегъ», А. Потѣхина.

1877. Русско-турецкая война.—«Четыре дня», Гаршина.—«Новь». —«Разсказъ отца Алексѣя». — «Золотыя сердца», Златовратскаго. — Левитовъ †.—Огаревъ †.—Некрасовъ †.

1878. [Гонкуръ: «La Fille Elisa».—Nietztsche: «Menschliches Allzumenschliches».—Клодъ Бернаръ †.—Папа Левъ XIII-й].

— Кн. П. А. Вяземскій †.—Слѣпцовъ †.—«Скрежетъ зубовный», Авсѣенко.

1879. [Ибсенъ, «Nora»].

— Гр. Данилевскаго: «Мировичъ». —Полонскаго: «Дешевый городъ».—Минскаго: «Бѣлыя ночи».

1880. [Флоберъ: «Bouvard et Pécuchet».—Э. Зола: «Les soirées de Médan»].

— Суриковъ †. —«Русь» И. С. Аксакова. —Открытіе памятника Пушкину въ Москвѣ.—«Братья Карамазовы».—«Два брата», Станюковича.

1881. [Nietzche: «Morgenröte»].

— Первое марта.—

— «Пѣснь торжествующей любви». Тургенева. — «Оскудѣніе» Атавы.—«Чѣмъ люди живы», гр. Л. Н. Толстого.—Достоевскій. †.—Писемскій, †.

1882. [Ибсенъ: «Врагъ народа»].

— «Стихотворенія въ прозѣ», Тургенева.—«Власть земли».—«Деревенскіе будни.—«Китай-городъ», Боборыкина.

1883. [Fr. Nietzche, «Also sprach Zarathustra»].

Тургеневъ †.—Печерскій †.—Чернышевскій возвращенъ изъ ссылки.—«Бездна», Болеслава Маркевича.

1884. Марковичъ †.—Запрещеніе «Отечественныхъ Записокъ».—«Устои», Златовратскаго. «Такъ что-же намъ дѣлать?» и «О назначеніи науки и искусства», гр. Л. Н. Толстого.—

1885. «Сонъ Макара», Короленко.

1886. [Ранке †.—Зудерманъ: «Frau Sorge».—Nietzsche: «Jenseits von Gut und Böse»].
— Иванъ Аксаковъ †.—Островскій †.—«Смерть Ивана Ильича».—«Пестрые разсказы», Антона Чехова.

1887. [Nietzsche: «Zur Genealogie der Moral»].
— Анненковъ †.—Надсонъ †.—«Власть тьмы».—Первый сборникъ стихотвореній Фофанова.—«Въ сумеркахъ», Чехова.

1888. [Вильгельмъ I-й и Фридрихъ III-й †. Вильгельмъ II Императоръ].
— Гаршинъ †.—«Брунгильда», Майкова.—

1889. [Ибсенъ въ Берлинѣ.—Nietztche: «Götzen dämmerung».—Гюисмансъ: «A rebours»].
— Чернышевскій †.—Салтыковъ †.

1890. [P. Loti: «Pècheurs d'Islande»].
— «Крейцерова соната».—«Гарденины», Эртеля.—«Пшеницыны», Альбова. «Горное гнѣздо», Мамина.—«Борская колонія», Коронина.—«На дѣйствительной службѣ», Потапенко.—«На ущербѣ», Боборыкина.

1891. [Ибсенъ: «Гедда Габлеръ».—Метерлинкъ: «La princesse Maleine».—Редіарда Киплинга: «The light that failed»].
— «Плоды просвѣщенія», гр. Л. Н. Толстого.

1892. [Поль Верленъ: «Choix de poésies».—Метерлинкъ: «Les Aveugles» и «L'Intruse»].
— «Макаръ Чудра», Максима Горькаго.—«Палата № 6», Антона Чехова. «Василій Теркинъ», Боборыкина.—Фетъ †.

1893. [Гауптманъ: «Ганнеле».—Muther: «Geschichte der Malerei»].
— «Двѣ жены», Баранцевича.

1894. [Открытъ аргонъ—новая составная часть воздуха].
— «Смѣна», Эртеля.

1895. «Хозяинъ и работникъ», гр. Л. Н. Толстого.—«Челкашъ», Максима Горькаго.

1896. «Мальва». «Тоска» и «Коноваловъ», Максима Горькаго.

1897. [Гауптманъ: «Fersunkene Glocke».—«Иоганнъ», Зудермана].
— Майковъ †.—«Оправданіе Добра», Владиміра Соловьева.

1898. Бисмаркъ †.—Ростанъ: «Cyrano de Bergerac».
— «Что такое искусство?» гр. Л. Н. Толстого.—Полонскій †.

1899. «Воскресенье», гр. Л. Н. Толстого.—«Три разговора», Владиміра Соловьева.—Григоровичъ †.—Россія празднуетъ столѣтіе со дня рожденія Пушкина.

1900. Владиміръ Соловьевъ †.

Б.

Хронологическій указатель писателей и писательницъ съ 1850 по 1900 годъ, расположенный по годамъ ихъ кончины.

1783—1852. Жуковскій, Василій Андреевичъ.
1789— — Загоскинъ, Михаилъ Николаевичъ.
1768 — — Шаликовъ, кн. Петръ Ивановичъ.
1802— — Гоголь, Николай Васильевичъ.
1814— — Вонлярлярскій, Василій Александровичъ.
1792— — Катенинъ, Павелъ Александровичъ.
1767—1853. Хвостова, граф. Александра Петровна.
? — — Туманскій, Θедоръ Антоновичъ.
? — — Кокоревъ, Иванъ Тимофеевичъ.
? — —1855. Грановскій, Тимофей Николаевичъ.
1787— — Батюшковъ, Константинъ Николаевичъ.
1792— — Раичъ, Семенъ Егоровичъ.
1810— — Красовъ, Василій Ивановичъ.
1793—1856. Чаадаевъ, Петръ Яковлевичъ.
1806— — Кирѣевскій, Иванъ Васильевичъ.
1808— — Кирѣевскій, Петръ Васильевичъ.
1804— — Надеждинъ, Николай Ивановичъ.
1810—1857. Прокоповичъ, Николай Яковлевичъ.
? — — Свѣчина, Софья Петровна.
1811—1858. Растопчина, гр. Евдокія Петровна.
1819— — Стаховичъ, Михаилъ Александровичъ.
1789—1859. Булгаринъ, Θаддей Венедиктовичъ.
1792— — Панаевъ, Иванъ Ивановичъ.
1791— — Аксаковъ, Сергѣй Тимофеевичъ.
1804—1860. Хомяковъ, Алексѣй Степановичъ.
1817— — Аксаковъ, Константинъ Сергѣевичъ.
1802— — Туманскій, Василій Ивановичъ.
1836—1861. Добролюбовъ, Николай Александровичъ.
1824— — Никитинъ, Иванъ Савичъ.
1814— — Шевченко, Тарасъ Григорьевичъ.
1822—1862. Мей, Левъ Александровичъ.

? — — Волконская, кн. Зинаида Александровна.
1835—1863. Помяловскій, Николай Герасимовичъ.
1794— — Давыдовъ, Иванъ Ивановичъ.
1805—1864. Павловъ, Николай Филипповичъ.
1781— — Востоковъ, Александръ Христофоровичъ.
1825— — Дружининъ, Александръ Васильевичъ.
1822— — Григорьевъ, Аполлонъ Александровичъ.
1806— — Шевыревъ, Степанъ Петровичъ.
1810— — Жуковскій (Бернетъ), Александръ Кирилловичъ.
1792—1865. Плетневъ, Петръ Александровичъ.
1826— — Михайловъ, Михаилъ Иларіоновичъ.
1796—1866. Дмитріевъ, Михаилъ Александровичъ.
1810— — Грековъ, Николай Порфирьевичъ.
1787—1867. Гречъ, Николай Ивановичъ.
1801— — Полевой, Ксенофонтъ Алексѣевичъ.
1841—1868. Писаревъ, Дмитрій Ивановичъ.
1809— — Кукольникъ, Несторъ Васильевичъ.
1811— — Деларю, Михаилъ Даниловичъ.
1803—1869. Одоевскій, кн. Владиміръ Өедоровичъ.
1821— — Щербина, Николай Өедоровичъ.
1794— — Лажечниковъ, Иванъ Ивановичъ.
1815— — Ершовъ, Петръ Павловичъ.
1816— — Дуровъ, Сергѣй Өедоровичъ.
1812—1870. Герценъ, Александръ Ивановичъ.
1800— — Вельтманъ, Александръ Өомичъ.
1841—1871. Рѣшетниковъ, Өедоръ Михайловичъ.
1820—1872. Якушкинъ, Павелъ Ивановичъ.
1803—1873. Тютчевъ, Өедоръ Ивановичъ.
1816—1874. Погосскій, Александръ Өомичъ.
1817—1875. Афанасьевъ-Чужбинскій, Александръ Степановичъ.
1817— — Толстой, гр., Алексѣй Константиновичъ.
1831— — Курочкинъ, Василій Степановичъ.
1807— — Бенедиктовъ, Владиміръ Григорьевичъ.
1821—1876. Авдѣевъ, Михаилъ Васильевичъ.
1819— — Самаринъ, Юрій Өедоровичъ.
1847— — Кущевскій, Иванъ Афанасьевичъ.
1827— — Алмазовъ, Борисъ Николаевичъ.
1813—1877. Огаревъ, Николай Платоновичъ.
1821— — Некрасовъ, Николай Алексѣевичъ.
1792—1878. Вяземскій, кн. Петръ Андреевичъ.
1836— — Слѣпцовъ, Василій Алексѣевичъ.
1835— — Левитовъ, Александръ Ивановичъ.
1841—1880. Суриковъ, Иванъ Захаровичъ.
1821—1881. Достоевскій, Өедоръ Михайловичъ.
1820— — Писемскій, Алексѣй Өеофилактовичъ.
1847—1883. Садовниковъ, Дмитрій Николаевичъ.
1825— — Жадовская, Юлія Валеріановна.
1818— — Тургеневъ, Иванъ Сергѣевичъ.
1819— — Мельниковъ (Печерскій), Павелъ Ивановичъ.
1836— — (Омулевскій) Өедоровъ, Иннокентій Васильевичъ.

1827— — Гербель, Николай Васильевичъ.
1825—1884. Кохановская-Соханская, Надежда Степановна.
1822— — Маркевичъ, Болеславъ Михайловичъ.
1823— — Бергъ, Николай Васильевичъ.
1818—1885. Кавелинъ, Константинъ Дмитріевичъ.
1822— — Данилевскій, Николай Яковлевичъ.
1823— — Пальмъ, Александръ Ивановичъ.
1823—1886. Аксаковъ, Иванъ Сергѣевичъ.
1823— — Островскій, Александръ Николаевичъ.
1813—1887. Анненковъ, Павелъ Васильевичъ.
1818— — Катковъ, Михаилъ Никифоровичъ.
1820— — Розенгеймъ, Михаилъ Павловичъ.
1862— — Надсонъ, Семенъ Яковлевичъ.
1855—1888. Гаршинъ, Всеволодъ Михайловичъ.
1824—1889. Хвощинская (Крестовскій), Надежда Дмитріевна.
1826— — Салтыковъ (Щедринъ), Михаилъ Евграфовичъ.
1828— — Чернышевскій, Николай Гавриловичъ.
1835— — Минаевъ, Дмитрій Дмитріевичъ.
1837— — Успенскій, Николай Васильевичъ.
— — — Миллеръ, Орестъ Ѳедоровичъ.
1824—1891. Шелгуновъ, Николай Васильевичъ.
1841— — Козловъ, Павелъ Алексѣевичъ.
1841— — Пальминъ, Иліодоръ Ивановичъ.
1815—1892. Саліасъ-де-Турнемиръ (Евгенія Туръ), гр. Елизавета Васильевна.
1820— — Фетъ-Шеншинъ, Афанасій Афанасьевичъ.
1841— — Клюшниковъ, Викторъ Петровичъ.
? — — Лачинова (Лѣтневъ), Прасковья Александровна.
1866— — Бибиковъ, Викторъ Ивановичъ.
1812—1893. Гротъ, Яковъ Карловичъ.
1819— — Ахшарумовъ, Николай Дмитріевичъ.
1825— — Плещеевъ, Алексѣй Николаевичъ.
1832— — Энгельгардтъ, Александръ Николаевичъ.
1839— — Барыкова, Анна Павловна.
1841— — Апухтинъ, Алексѣй Николаевичъ.
1841— — Гайдебуровъ, Павелъ Александровичъ.
1823—1894. Маннъ, Ипполитъ Александровичъ.
1841— — Ивановъ (Классикъ), Алексѣй Ѳедоровичъ.
1857— — Астыревъ, Николай Михайловичъ.
1811—1895. Клюшниковъ (—Ѳ—), Иванъ Петровичъ.
1831— — Лѣсковъ, Николай Семеновичъ.
1836— — Горбуновъ, Иванъ Ѳедоровичъ.
1840— — Крестовскій, Всеволодъ Владиміровичъ
1841— — Терпигоревъ (Атава), Сергѣй Николаевичъ.
1845— — Дьяковъ (Незлобинъ-Житель), Александръ Александровичъ.
1859— — Бутурлинъ, гр. Петръ Дмитріевичъ.
? — — Лялечкинъ, Иванъ Осиповичъ.
1826—1896. Жемчужниковъ, Александръ Михайловичъ.
1828— — Страховъ, Николай Николаевичъ.
1834— — Потѣхинъ, Николай Антиповичъ.
? — — Говорухо-Отрокъ (Николаевъ), Юрій Николаевичъ.

1818—1897. Буслаевъ, Өедоръ Ивановичъ.
1819— Кулишъ, Пантелеймонъ Александровичъ.
1821— Майковъ, Аполлонъ Николаевичъ.
1820—1898. Полонскій, Яковъ Петровичъ.
1833— — Конради, Евгенія Ивановна.
1835—1899. Ромеръ, Павелъ Эмильевичъ.
1839— — Чуйко, Владиміръ Викторовичъ.
1822— — Григоровичъ, Дмитрій Васильевичъ.
1838—1900. Шеллеръ (А. Михайловъ), Александръ Константиновичъ.
1839— — Майковъ, Леонидъ Николаевичъ.
1844— — Воскресенскій, Василій Алексѣевичъ.
1847— — Назарьева, Капитолина Валеріановна.
1851— — Джаншіевъ, Григорій Австовичъ.
1853— — Соловьевъ, Владиміръ Сергѣевичъ.

В.

Алфавитный указатель собственныхъ именъ.

(Римскія цифры обозначаютъ томъ, арабскія — страницу).

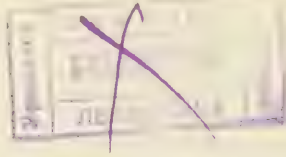
ОГЛАВЛЕНІЕ ВТОРОГО ТОМА.

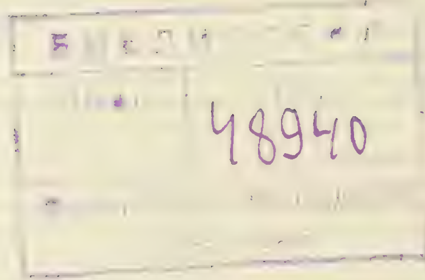
(1850—1900).

СТРАН.

СТРАН.

СТРАН.




48940